H. lit. P. 307om Pypin

Bayerische Staatsbibliothek

38001414640012

Hbost
Au 181

ВСЕОБЩАЯ
ИСТОРІЯ ЛИТЕРАТУРЫ
І. ШЕРРА

ПЕРЕВЕДЕНО ПОДЪ РЕДАКЦІЕЮ

А. ПЫПИНА

Изданіе О. Бакста

ПРИЛОЖЕНІЕ

ОБЗОРЪ
ИСТОРІИ СЛАВЯНСКИХЪ ЛИТЕРАТУРЪ

А. Н. ПЫПИНА и В. Д. СПАСОВИЧА

С. ПЕТЕРБУРГЪ
ВЪ ТИПОГРАФІИ О. И. БАКСТА, СТРЕМЯННАЯ, № 14
1865

135-Н,

ОБЗОРЪ

ИСТОРІИ

СЛАВЯНСКИХЪ ЛИТЕРАТУРЪ

А. Н. ПЫПИНА и В. Д. СПАСОВИЧА

ИЗДАНІЕ О. И. БАКСТА

С. ПЕТЕРБУРГЪ
ВЪ ТИПОГРАФІИ О. И. БАКСТА
СТРЕМЯННАЯ, № 14
1865

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 20 марта 1865 года.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Первымъ поводомъ къ составленію настоящей книги было желаніе дополнить русское изданіе «Всеобщей исторіи литературы» І. Шерра,—пока единственной книги этого рода на русскомъ языкѣ,—изложеніемъ исторіи славянскихъ литературъ, слишкомъ недостаточно переданной нѣмецкимъ писателемъ. Нашъ очеркъ задуманъ былъ сначала въ объемѣ довольно короткомъ, но, при выполненіи его, новость предмета въ нашей литературѣ заставила войти въ болѣе подробный разсказъ.

Послѣ перваго цѣльнаго, впрочемъ почти только библіографическаго, обзора славянскихъ литературъ Шафарика (1826), и послѣ опытовъ Тальви (1837, 1850) и г. Григоровича (1841, 1843),—опытовъ и въ свое время невполнѣ удовлетворительныхъ,—до сихъ поръ не было книги, которая бы выполняла подобную задачу для нашего времени,—хотя предметъ пріобрѣлъ съ тѣхъ поръ больше интереса для большинства и ученая разработка подробностей значительно расширилась. Я желалъ бы хотя приблизительно восполнить этотъ недостатокъ, слишкомъ замѣтный не только въ нашей, но и вообще въ цѣлой славянской литературѣ, и по свойству дѣла долженъ былъ имѣть въ виду двоякую цѣль: дать общій обзоръ для читателей-неспеціалистовъ, и вмѣстѣ руководство, указаніе фактовъ и пособій изученія, для желающихъ познакомиться съ предметомъ ближе. Славянскій вопросъ, вообще говоря, извѣстенъ у насъ мало и принимается нашимъ обществомъ довольно равнодушно или слишкомъ на-вѣру, но онъ безъ сомнѣнія способенъ возбудить большой историческій интересъ, и, поставленный въ извѣстномъ соціальномъ смыслѣ, можетъ быть и очень близкимъ для насъ общественнымъ вопросомъ. Знакомство съ цѣлымъ его объемомъ мо-

жетъ навести на правильное рѣшеніе частныхъ вопросовъ того же свойства, которые могутъ представиться и въ самомъ дѣлѣ представляются въ современной русской дѣйствительности. Извѣстная часть нашей литературы старается особеннымъ образомъ связать нашъ общественный вопросъ съ славянскимъ; она проповѣдуетъ извѣстное панславянское сліяніе раздѣленныхъ народовъ въ одну національную массу и принимается благодѣтельствовать «славянскимъ братьямъ», не спрашиваясь ихъ самихъ—съ своей собственной точки зрѣнія; мы желали бы, чтобы факты, которые читатель найдетъ въ этой книгѣ, дали ему понятіе о томъ, каково должно быть въ этомъ смыслѣ наше разумное отношеніе къ «братьямъ». Ограничиваясь указаніемъ данныхъ, мы должны предоставить ближайшіе выводы собственнымъ заключеніямъ читателя.

Изложеніе исторіи польской литературы должно было занять важное мѣсто въ этой книгѣ, и потому мнѣ пріятно было воспользоваться содѣйствіемъ В. Д. Спасовича, которому принадлежитъ въ книгѣ глава о польской литературѣ и компетентность котораго въ этомъ предметѣ безъ сомнѣнія будетъ оцѣнена читателемъ.

Нѣкоторыя неполноты въ изложеніи, которыя будутъ можетъ быть замѣтны спеціалистамъ, и очень естественныя въ подобной работѣ, между прочимъ происходятъ и отъ весьма элементарной, но существенной причины: это—трудность составить у насъ достаточную славянскую библіотеку и почти совершенное отсутствіе книгопродавческихъ сношеній съ южными и западными славянскими землями, — обстоятельство, иногда лишавшее насъ возможности пользоваться нѣкоторыми любопытными книгами.

А. П.

Мартъ 1865.

СОДЕРЖАНІЕ.

Стр.

Введеніе . 1—46

1. Данныя этнографическія и статистическія, стр. 3—14.
2. Историческая судьба славянскаго племени. Вопросъ о національномъ единствѣ, стр. 14—33.
3. Христіанство и грамота, стр. 33—42.
4. Народная поэзія, стр. 42—49.

Глава первая. Болгарія 50—90

(Историческій обзоръ, стр. 50—53).

1. Древнія времена. (Литература церковно-византійская; византійскія повѣсти и сказанія; болгарскія суевѣрія и богомильство; ложныя книги; попъ Іеремія; состояніе языка), стр. 53—80.
2. Новая литература. (Упадокъ народа и литературы; турецкое иго и фанаріоты; признаки возрожденія; Венелинъ; новѣйшіе писатели; церковный вопросъ), стр. 80—87.
3. Народная поэзія болгаръ. (Сборники пѣсенъ; болгарскій эпосъ), стр. 87—90.

Глава вторая. Сербы 91—169

(Историческій обзоръ, стр. 91—100).

1. Собственная Сербія въ древнемъ періодѣ. (Сербскія редакціи старо-славянскихъ произведеній церковныхъ; сербскіе писатели—Стефанъ первовѣнчанный, Савва, Дометіанъ и пр.; лѣтописи; Законникъ Стефана Душана; сербскія редакціи византійско-болгарскихъ повѣстей; ложныя книги), стр. 100—109.
2. Дубровникъ и Далмація. (Историческое положеніе Дубровника и Далмаціи; элементы римско-итальянскій и славянскій; четыре азбуки; кириллица и ея памятники; глаголическія книги; буквица; латинское письмо; дубровницкая литература съ 15-го вѣка: Марко Маруличъ и пр.; цвѣтущій періодъ далматинской поэзіи: Златаричъ, Гундуличъ, Пальмотичъ и пр.; упадокъ съ 18-го вѣка; Андрія Качичъ; новѣйшіе писатели), стр. 108—130.

3. Хорватская литература. (Историческія отношенія хорватскаго племени; первыя литературныя попытки въ эпоху реформаціи; католическая реакція; новое движеніе со второй половины 17-го вѣка: Витезовичъ; новѣйшіе писатели: Тома Миклушичъ и др.; сліяніе съ «иллиризмомъ»), стр. 130—132.
4. Хорутанская литература. (Историческія отношенія племени; древніе памятники: «фрейзингенскіе отрывки»; дѣятельность временъ реформаціи: Труберъ, Унгнадъ; католическій періодъ: 17—18-е столѣтіе; новое движеніе: Поглинъ, Водникъ; новѣйшіе писатели; современный упадокъ), стр. 132—138.
5. Новая сербская литература. (Первыя попытки возрожденія съ конца 18-го вѣка; Досиѳей Обрадовичъ; Вукъ Караджичъ; дѣятельность сербскихъ писателей въ австрійской Сербіи,—въ княжествѣ,—въ Черногоріи: владыка Петръ Петровичъ Нѣгошъ,—въ Далмаціи), стр. 138—151.
6. «Иллирійское» возрожденіе. (Его политическій и панславистскій характеръ; отношеніе Хорватовъ къ Венграмъ; Людевитъ Гай и другіе дѣятели того времени: Станко Вразъ, Вукотиновичъ, Мажураничи и пр.; современные писатели: Кукулевичъ-Сакцинскій, Боговичъ, Ткалацъ и пр.), стр. 151—163.
7. Народная поэзія Сербовъ, стр. 163—169.

Глава третья. Русское племя 170—241
1. Русская литература. (Древнія связи съ южнымъ славянствомъ; византійскій характеръ литературы; два ея слоя: оффиціально-церковный и простонародный; ереси; литература народныхъ суевѣрій; 17-е столѣтіе: вліяніе юго-западной схоластики; никоновское исправленіе; народная старина, высказавшаяся въ расколѣ; народная поэзія;—реформа Петра; развитіе литературы въ привиллегированныхъ классахъ подъ европейскими вліяніями, съ Кантемира и Ломоносова; новое движеніе съ конца 18-го вѣка: Радищевъ, Новиковъ, Пушкинъ, Гоголь и Бѣлинскій; національныя отношенія русской литературы къ славянству), стр. 170—206.
2. Малоруссы. (Спорныя мнѣнія о малорусскомъ языкѣ и народности; Русь западная и южная подъ вліяніемъ Польши; борьба политическая и религіозная; — первыя литературныя проявленія малорусскихъ народныхъ элементовъ съ конца 18-го столѣтія: Котляревскій, Квитка, Шевченко; новѣйшіе писатели; народная поэзія), стр. 206—231.
3. Галицкіе Русины. (Историческое положеніе Галицкой Руси; литературное возрожденіе съ 1830 годовъ), стр. 232—241.

Глава четвертая. Чешское племя 242—347
(Историческій обзоръ, стр. 242—251).
1. Древній періодъ чешской литературы. (Національная поэзія: «Судъ Любуши», «Краледворская рукопись»; нѣмецкое романтическое вліяніе; упадокъ народныхъ элементовъ; поэзія аллегорико-сатирическая и рыцарская: Смиль изъ Пардубицъ; лѣтописцы; старое чешское право), стр. 251—267.
2. Гусситское движеніе и «золотой» вѣкъ чешской литературы. (Продолженіе прежняго направленія и начало но-

ваго; первые признаки реформаторскаго движенія: Ѳома Штитный, Миличъ и Матвѣй изъ Янова; ученіе Виклефа и споры въ пражскомъ университетѣ; дѣятельность Гуса, — его личность и сочиненія, латинскія и чешскія; національный характеръ его дѣятельности; его послѣдователи и враги; умѣренный гусситизмъ и таборитство; радикальныя секты таборитовъ, ихъ литературная дѣятельность. — Книгопечатаніе и классическое возрожденіе; католическая реакція; чешское право: Викторинъ, Цтиборъ и др. Хельчицкій и основаніе Братской общины. — «Золотой» вѣкъ, матеріальное распространеніе литературной дѣятельности и недостатокъ внутренней силы; вѣкъ Велеславина), стр. 267—315.

3. Періодъ паденія. (Реакція послѣ Бѣлогорской битвы; эмиграція и упадокъ чешской націи; истребленіе книгъ; литература эмиграціи: Янъ Амосъ Коменскій), стр. 315—320.
4. Возрожденіе литературы и народности. (Первые признаки возрожденія; правленіе Іосифа II; заботы о народномъ образованіи; аббатъ Добровскій; возстановленіе національныхъ преданій; основаніе чешскаго музея; панславянскія стремленія; Ганка, Шафарикъ, Палацкій, Юнгманнъ; Копитаръ; Колларъ, Челяковскій; другіе писатели того времени; политическое движеніе 48 — 49 года: Гавличекъ; новѣйшіе писатели), стр. 321—340.
5. Словацкая литература. (Прежнее единство съ литературой Чеховъ; новое стремленіе къ отдѣльности: Бернолакъ, Янъ Голый; Людевитъ Штуръ; Гурбанъ, Годжа; новѣйшіе писатели), стр. 340—347.

Глава пятая. Лужичане — Верхніе и Нижніе. (Историческое положеніе лужицкаго племени; первыя литературныя попытки со временъ реформаціи; 17-е столѣтіе: Михаилъ Бранцель; 18-е столѣтіе: Авраамъ Бранцель и другіе писатели; церковныя книги у Верхнихъ и Нижнихъ Лужичанъ; новѣйшее движеніе: Любенскій, Зейлеръ, Смолеръ; лужицкая Матица; Нижніе Лужичане) 348—360

Глава шестая. Польская литература 361—492
(Историческій обзоръ, стр. 361—366).

1. Періодъ съ древнѣйшихъ временъ до 16-го столѣтія. (Латинскія школы и схоластика; господство латинской поэзіи: Сарбѣвскій; первые памятники польскаго языка), стр. 366—371.
2. Золотой вѣкъ Сигизмундовъ. (Состояніе общества; шляхетскіе нравы; вліяніе западной образованности; Рэй изъ Нагловицъ, Кохановскій; поэзія буколическая: Шимоновичъ; сатира: Кленовичъ; шляхетская исключительность; іезуитская пропаганда: Скарга), стр. 372—403.
3. Періодъ іезуитско-макароническій. (Вліяніе іезуитовъ на воспитаніе и литературу; макаронизмъ, краснорѣчіе и риторство; поэзія: Потоцкій; псевдоклассицизмъ: Морштыны; исторіографія; положеніе общества въ 18-мъ столѣтіи; литература мемуаровъ), стр. 404—423.

4. Періодъ Станислава Августа Понятовскаго. (Начало обновленія и реформы—въ литературѣ: Яблоновскій, Станиславъ Лещинскій,—въ народномъ воспитаніи: піяры, Конарскій, Залускій; дворъ Понятовскаго и Чарторыжскихъ; Эдукаціонная Коммиссія; вліяніе французской литературы 18-го вѣка; сатира: Венгерскій, Трембецкій, Красицкій, Нарушевичъ; историческій трудъ Нарушевича; развитіе театра), стр. 423—456.

5. Періодъ Лелевеля и Мицкевича. (Трудность изложенія новѣйшей польской литературы; демократическое измѣненіе общества и отраженіе этого въ литературѣ; романтизмъ и общественное движеніе, украинская школа поэтовъ: Мальческій, Залѣскій, Гощиньскій; Лелевель; Мицкевичъ; литература эмиграціи), стр. 456—492

Глава седьмая. Возрожденіе и панславизмъ. (Причины, вызвавшія славянское движеніе; историческій и общественный смыслъ панславизма и его утопіи; заключеніе), стр.493—530

Указатель стр. 531—536.

ВВЕДЕНІЕ.

Не можетъ быть спора о томъ, что славянскія литературы, съ точки зрѣнія культурной исторіи, далеко не имѣютъ такого важнаго значенія, какое принадлежитъ главнѣйшимъ литературамъ западной Европы. Еще до очень недавняго времени Славяне были почти совершенно удалены отъ того движенія общечеловѣческаго развитія, дѣятелями котораго были западные народы: они играли роль или чисто подчиненную, и не имѣли возможности дѣйствовать въ общечеловѣческомъ интересѣ мысли, или роль подражательную, не дававшую возможности создать что нибудь самобытное, сообщить этой мысли новую силу или новое плодотворное направленіе. Уже Гердеръ, одинъ изъ первыхъ писателей, начавшихъ защищать историческое право славянскаго племени, и поэтому весьма популярный у западно-славянскихъ патріотовъ, замѣтилъ, что «славянскіе народы занимаютъ больше мѣста на землѣ, чѣмъ въ исторіи,» — и былъ совершенно правъ. Ихъ историческая дѣятельность представлялась двумя явленьями: поддержаніемъ своей національной особности, поставленной историческими событіями въ опасность или погибнуть совсѣмъ или затеряться въ чужой народности; и распространеніемъ извѣстной цивилизаціи, — черезъ посредство русскаго племени, — на европейскій и азіатскій востокъ. Очевидно, что относительно западной цивилизаціи эти явленія имѣли только пассивное значеніе. На западъ, гдѣ именно и шло главнымъ образомъ европейское историческое развитіе, ихъ дѣятельность не простиралась: тѣ національныя качества, за которыя восхваляютъ славянское племя ревностные защитники славянской народности, — эти качества, противопоставляемыя мнимой испорченности запада, къ сожалѣнію не подвигали впередъ дѣла образованія, да въ сущности не устроили и собственнаго внутренняго благосостоянія племени. Славянскіе патріоты думаютъ, напротивъ, что Славяне уже приносятъ въ міръ свою цивилизацію съ иными, высшими началами, которая должна замѣнить современную европейскую цивилизацію, будто разъѣдающую славянскія натуры, — какъ нѣкогда образованіе христіанское замѣнило собой образованіе греко-римское. Нечего говорить, что эти увѣренія очень далеки отъ дѣйствительности, — тѣмъ больше, что и нѣтъ нужды истреблять евро-

пейскую цивилизацію: она еще съ полнымъ правомъ остается цивилизаціей господствующей, она не сказала еще своего послѣдняго слова, —и то, что уже сказано ея лучшими представителями, современный результатъ ея мысли, еще далеко не подорвано другой теоріей, а тѣмъ менѣе теоріей славянской. Наконецъ, славянская теорія еще и не успѣла опредѣлиться исторически, какъ что нибудь единое, цѣльное и культурно-дѣятельное: исторія знаетъ Славянъ вѣчно раздѣленными на нѣсколько отдѣльныхъ народностей, съ весьма различнымъ характеромъ образованія и дѣятельности, и вовсе еще не выставившихъ особеннаго, общаго имъ всѣмъ культурнаго принципа.

Поэтому, исторія славянскихъ литературъ имѣетъ интересъ болѣе частный, нежели общечеловѣческій; интересъ ея ограничивается предѣлами частной славянской исторіи, она дополняетъ эту исторію изображеніемъ умственной и поэтической дѣятельности племени, результаты которой сосредоточиваются въ нынѣшнемъ состояніи славянской культуры.

Тѣмъ не менѣе однако, если своей матеріальной силой и дѣятельностью славянскіе народы имѣли непосредственное вмѣшательство въ исторію Европы и внесли свою долю вліянія въ ея политическую судьбу, то и въ исторіи литературы этого племени мы также найдемъ факты, гдѣ славянскіе элементы участвовали въ движеніи европейскихъ идей, или даже факты вполнѣ самостоятельной дѣятельности, имѣющіе глубокое значеніе въ исторіи цивилизаціи. Для примѣра намъ достаточно указать — самый крупный фактъ въ средневѣковой славянской культурѣ — гусситское движеніе, поставившее первую дѣятельную и энергическую оппозицію средневѣковой религіозной традиціи и послужившее первымъ твердымъ основаніемъ для послѣдующаго разъясненія понятій религіозныхъ и общественныхъ. Этого одного факта было бы достаточно, чтобы дать славянской литературѣ принадлежащую ей долю въ исторіи цивилизаціи. Этотъ примѣръ энергической мысли — въ эпоху, когда Европа еще такъ мало была на нее способна,—указываетъ достаточно, что въ славянскомъ племени мы имѣемъ дѣло съ племенемъ, дѣйствительно культурнымъ, слѣдовательно, исторически интереснымъ. Правда, такихъ широкихъ проявленій дѣятельной и передовой мысли было не много, но мы увидимъ, что въ славянскомъ племени высказывалась однако способность смѣлаго вывода и смѣлаго отрицанія, которая можетъ быть хорошимъ предзнаменованіемъ. Внѣшняя историческая судьба славянскаго племени была замѣчательно неудачна. Только одно изъ славянскихъ племенъ создало сильное, независимо развивающееся государство; многія племена погибли, потерявши свою народность; другія до сихъ поръ должны бороться за свое національное существованіе; но мы увидимъ, что при всемъ томъ славянское племя сберегло много здоровыхъ силъ, и даже въ народахъ, еще не идущихъ далѣе непосредственнаго патріархальнаго быта, эти силы высказались въ замѣчательно свѣжей и жизненной народной поэзіи; у другихъ, принявшихъ уже формы европейской цивилизаціи,—особенно Русскихъ и Поляковъ, —литература представляетъ въ своихъ лучшихъ талантахъ высокую степень поэтическаго и литературнаго значенія.

Въ новѣйшее время для славянскихъ народовъ наступилъ новый оригинальный періодъ ихъ развитія, когда въ раздѣленныхъ до того племенахъ, почти совершенно забывшихъ другъ о другѣ, обнаружилось стремленіе къ единству и сосредоточенію, стремленіе къ обособленію цѣлой славянской національности (панславизмъ); это явленіе защитники славянской народности и считаютъ началомъ той новой цивилизаціи, которой представителями должны быть славянскіе народы.

Въ своемъ изложеніи мы постараемся по возможности сказать, въ какихъ формахъ совершалась исторически духовная жизнь этого громаднаго племени, какія начала успѣла она выразить въ свои болѣе счастливыя времена и у болѣе счастливыхъ отраслей этого племени, какой смыслъ имѣетъ его новое возрожденіе, и наконецъ, въ какомъ отношеніи вся культура славянскаго племени стоитъ къ европейской культурѣ.

1. Данныя этнографическія и статистическія.

Имѣя въ виду только очеркъ литературы славянскихъ племенъ, мы не имѣемъ нужды останавливаться долго на древнѣйшей судьбѣ этого племени, и ограничимся только очеркомъ его древняго разселенія и его нынѣшняго состоянія [1]). Въ обширномъ смыслѣ, исторія литературы имѣетъ тѣсную связь со всей нравственной физіономіей народа, его національной стариной, преданіями и т. п., слѣдовательно, съ его миѳологіей, археологіей и т. д., но

[1]) Изъ общихъ сочиненій по славянскимъ древностямъ, этнографіи, языку и литературѣ, могутъ быть особенно названы слѣдующія книги:

— Dr. Anton, Erste Linien eines Versuchs über der alten Slaven Ursprung, Sitten, Gebräuche, Meinungen und Kenntnisse, Leipz. 1783—89. 2 т.; — Schlözer, Nord. Geschichte, Halle 1771;—Z. D. Chodakowski, O Slowiańszczyznie przed Chrzescianstwem (1818, потомъ) Krakow 1835;—W. Surowiecki, Sledzenie poczatku narod. Slowiańskich, Warszawa 1824 (русскій переводъ въ „Чтеніяхъ Моск. Общ. Исторіи и Древн.“);—П. Шафарикъ, Ueber die Abkunft der Slawen nach Surowiecki, Ofen 1828; — Шафарикъ, Slovanské starožytnosti, Прага 1836 (съ подробнымъ указаніемъ литературы слав. древностей; переводъ Бодянскаго: Слав. Древности, въ 5 кн., М. 1848); — W. A. Maciejowski, Historya prawodawstw Slowiańskich, 2-е изд. Warsz. 1858—62 (рус. переводъ въ „Чтеніяхъ“); — П. Шафарикъ, Slovanský narodopis (съ этнографич. картой), 3-е изд. Прага 1849. — Ami Boué, La Turquie d'Europe, Paris 1848, 4 т.; — Cyprien Robert, Les Slaves de Turquie, 2 v. Paris 1843; — Hippolyte Desprez, Les peuples de l'Autriche et de la Turquie, Paris 1850, 2 т.; — Les Slaves Occidentaux, Paris, Franck, 1859;—Czoernig, Die Vertheilung der Völkerstämme in Oesterreich (съ этнографич. картой), Вѣна 1856; — Brachelli, Statistik der Oesterr. Monarchie, Вѣна 1857; — Dr. A. Ficker, Bevölkerung der Oesterr. Monarchie, 1860; — П. Кёппенъ, Этнографическая карта Европ. Россіи, изд. Геогр. Общ. Спб. 1851.

— Труды по сравнительной грамматикѣ индоевропейскихъ языковъ Боппа, Потта, Гримма, Шлейхера и др.;—Miklosich, Vergleichende Grammatik der Slawischen Sprachen,—Lautlehre, Wien 1852,—Formenlehre, Wien 1856;—Fr. L. Čelakovski, Čtení o srovnavací mluvnici slovanské, Прага 1863.

— П. Шафарикъ, Geschichte der Slawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten, Ofen 1826 (особенно съ библіографической точки зрѣнія); — Тальви (г-жа Робинсонъ): Historical view of the Slavic language in its varions dialects. From the Biblical Repository, conducted by Edw. Robinson, D. D. Andover (въ сѣв. Америкѣ) 1834; 2-е изданіе: Historical view of the languages and literature of the Slavic nations; with a sketch of their popular poetry, New-York 1850 (нѣм. переводъ:

мы имѣемъ въ виду только собственно литературную дѣятельность славянскихъ племенъ,—въ особенности новѣйшую, а для нея изслѣдованіе доисторическихъ временъ, по нашему мнѣнію, не представляетъ особенной важности.

Первымъ историческимъ событіемъ, которое ясно освѣщаетъ для насъ исторію славянскихъ племенъ, было христіанство. Главная эпоха его введенія была для Славянъ въ 9—10-мъ столѣтіяхъ,—хотя оно отчасти появляется и раньше этого времени (у западныхъ Славянъ) и получило окончательное господство уже въ болѣе поздніе вѣка (особенно у Славянъ русскихъ). Эти вѣка были также и временемъ образованія государствъ, или по крайней мѣрѣ, болѣе тѣснаго политическаго сплоченія племенныхъ массъ, занимавшихъ и въ тѣ времена приблизительно тѣ же самыя мѣста, какія занимаютъ они теперь. Въ памятникахъ 9—10 вѣка, при бо́льшей близости языка къ его первоначальной формѣ, мы однако имѣемъ уже возможность отличать и тѣ главныя нарѣчія, на которыя славянскій языкъ распадается въ наше время. Однимъ словомъ, историческая жизнь застаетъ эти племена уже развившимися въ отдѣльные славянскіе типы, разнообразіе которыхъ достаточно объясняется разнообразіемъ естественныхъ условій ихъ географическаго распредѣленія,—отъ сѣверныхъ новгородскихъ пустынь до цвѣтущихъ земель балканскаго полуострова и адріатическаго приморья, — и разнообразіемъ ихъ историческихъ столкновеній съ племенами крайняго востока Европы, и съ другой стороны съ племенемъ германскимъ, съ Римомъ и Византіей.

Какимъ образомъ произошло разселеніе славянскаго племени, послѣ неизвѣстно когда случившагося ихъ прихода въ Европу, остается до сихъ поръ неясно. Русскіе сохранили только темную память о приходѣ изъ-за Дуная; Чехи помнили только, что ихъ предки пришли въ чешскую землю черезъ три рѣки; Сербы и Хорваты знали только о приходѣ своемъ изъ Бѣлой Сербіи и Хорватіи за Карпатами,... но какъ жили они на своихъ прежнихъ мѣстахъ, откуда появились они въ тѣхъ мѣстахъ, этого, кажется, не знали они и въ то отдаленное время, до котораго достигаютъ наши памятники. Съ тѣхъ поръ и до нынѣ, какъ мы сказали, происходили большей частью только незначительныя частныя передвиженія,—исключая только племя русское, захватившее съ тѣхъ поръ громадныя земли на востокѣ, и племя балтійскихъ Славянъ, изчезнувшее въ борьбѣ съ нѣмцами.

Uebersichtliches Handb. einer Gesch. der slaw. Spr. etc. übertr. von B. H. Brühl, Leipz. 1851);—E. v. O. (Olbrecht). Geschichtliche Uebersicht der slaw. Sprache in ihren versch. Mundarten und der slaw. Literatur (по Шафарику и Тальви), 1837;—[Мицкевичъ, Vorlesungen über slaw. Literatur und Zustände, пер. съ франц., Зигфрида, 1843—45, 4 т.];—В. Григоровичъ, Краткое обозрѣніе славянскихъ литературъ (въ Учен. Зап. Каз. Унив. 1841, кн. 1) и: Опытъ изложенія литературы Словенъ въ ея главнѣйшихъ эпохахъ, Казань 1843;—Wurzbach v. Tannenberg. Bibliographisch-statistische Uebersicht des Oester. Kaiserstaates (отчеты за 1853—1854 годы), Wien 1856.—Jordan и J. E. Schmaler (Смолеръ), Jahrbücher für slaw. Literatur, Kunst und Wissenschaft, 1843 и слѣд. 1862;—Fr. Miklosich und J. Fiedler, Slawische Bibliotek, 2 Bde, Вѣна 1851—58;—Извѣстія II Отд. Акад. Наукъ, Спб. 1852 и слѣд.—Fr. L. Rieger, Slovník Naučný, Прага 1859 и слѣд.

По своимъ этнографическимъ особенностямъ и языку, а за тѣмъ и по историческимъ условіямъ, цѣлая масса славянства распадается на два главные отдѣла: Славянъ восточнаго племени и Славянъ западныхъ. Къ первому принадлежатъ Русскіе—съ ихъ подраздѣленіями (Великоруссы, Малоруссы и Бѣлоруссы), за тѣмъ Болгары и Сербы—съ ихъ подраздѣленіями (Сербы, Хорваты и Словинцы, или Хорутане). Къ западнымъ: Ляхи, или Поляки, племя чешское съ его подраздѣленіями (Чехи, Мораване, Словаки); Лужичане (верхніе и нижніе, или горные и дольные) и изчезнувшее племя Славянъ полабскихъ и балтійскихъ. Это отличіе двухъ славянскихъ вѣтвей и ихъ подраздѣленій все больше обозначалось въ теченіи исторической жизни племенъ, которая ставила ихъ въ различныя условія, давала разное направленіе ихъ національнымъ свойствамъ, и тѣмъ еще сильнѣе оттѣнила первоначальныя племенныя видоизмѣненія.

Русское племя, централизованное сначала въ Полянахъ, въ южной кіевской Руси, мало по малу, вслѣдствіе собственной подвижности и принудительныхъ историческихъ обстоятельствъ, расширилось на сѣверъ и востокъ далеко за тѣ границы, въ которыхъ заключались его первоначальныя жилища. Этотъ единственный примѣръ широкаго распространенія славянскаго племени объясняется главнымъ образомъ тѣмъ, что здѣсь, на востокѣ, Славяне русскіе встрѣчались съ племенами, которыя стояли ниже ихъ по культурному значенію или также и по матеріальной силѣ. Это распространеніе русскаго племени продолжается до самаго 19-го столѣтія. Въ этомъ растяженіи племени, вѣроятно, скрывается и тотъ недостатокъ интензивности, который отличаетъ русскую исторію стараго періода, и мѣшалъ ему до самаго 18-го столѣтія собрать свои племенныя силы и начать свое внутреннее развитіе въ смыслѣ развитія европейскаго... Когда происходило это движеніе на востокъ, совершавшееся въ племени великорусскомъ и имѣвшее центромъ Москву, на западѣ обособились другіе типы этого цѣлаго, племя малорусское, или русинское и Русь западная. На долгое время, самая исторія ихъ отдѣлилась отъ великорусской, потому что они стали въ зависимость сначала отъ Литвы, потомъ Польши; послѣ паденія Польши, они перешли въ составъ великорусской имперіи или германской Австріи. Мы не будемъ указывать границъ разселенія великорусскаго племени, такъ какъ эти границы достаточно извѣстны, и сошлемся только напр. на этнографическія данныя, сообщаемыя Шафарикомъ и Кеппеномъ. Малоруссы (Украинцы, Южноруссы, Черкасы, Запорожцы, въ Галиціи—Русины, Галичане, Русняки [Rusniacy у Поляковъ], карпатскіе Русины, Гуцулы и Бойки въ горной части Галиціи) занимаютъ въ западномъ краѣ Россіи небольшую часть Гродненской и Минской губерній, всю Волынскую и Каменецъ-Подольскую, въ южномъ краѣ всю Херсонскую, Кіевскую, Полтавскую, Харьковскую, Черниговскую губернію, части Курской и Воронежской, Екатеринославскую, третью часть Таврической губерніи и землю Кубанскаго Черноморскаго войска; въ Польшѣ они занимаютъ половину Люблинской губерніи, наконецъ въ Австріи — большую часть Галиціи и кромѣ того, болѣе

или менѣе многочисленными поселеніями живутъ въ Венгріи (карпатская, угорская Русь), Буковинѣ и по южной австрійской границѣ [2]). Бѣлоруссы, по раздѣлѣ Польши снова входящіе въ составъ великорусской имперіи, занимаютъ значительную часть такъ называемыхъ западныхъ губерній: Могилевскую, Минскую, большую часть губерній Витебской и Гродненской, часть губерніи Виленской и, по новымъ извѣстіямъ, — Августовской въ Польшѣ. Наконецъ, отдѣльные выселенцы великорусскаго племени живутъ въ прусскихъ и австрійскихъ раскольничьихъ колоніяхъ (филипоны и липованы), въ турецкой Добруджѣ (некрасовцы) и даже въ Малой Азіи.

Другая вѣтвь восточнаго славянства, Болгары, занимали въ древнія времена болѣе обширное пространство, чѣмъ теперь: въ цвѣтущую эпоху стараго болгарскаго царства, до прихода Венгровъ, Половцевъ и Печенѣговъ въ Паннонію и Трансильванію, славянское племя занимало и эти страны на сѣверъ отъ Дуная, въ Валахіи, Трансильваніи и нынѣшней Венгріи до Песта и съ другой стороны до Карпатъ, у истоковъ Тиссы,—въ земляхъ, гдѣ теперь господствуютъ Венгры и Валахи. Но Славяне распространены были, еще до временъ болгарскаго царства, и дальше этихъ предѣловъ: первыя поселенія ихъ на балканскомъ полуостровѣ, начинающіяся исторически съ 5 — 6-го вѣка, шли, кромѣ Ѳракіи и Македоніи, въ Ѳессалію, Эпиръ, Грецію и даже Пелопоннезъ, гдѣ до сихъ поръ уцѣлѣло много мѣстныхъ славянскихъ названій. Здѣсь они не удержались впрочемъ, окруженныя чужими племенами (Греками, Валахами, Арнаутами), но оставили свой слѣдъ въ образованіи новогреческой народности [3]). Приходъ Венгровъ и постепенный упадокъ болгарскаго царства сократили и границы племени,—которое однако и въ настоящее время занимаетъ огромное пространство отъ р. Тимока, на сербской границѣ, и устьевъ Дуная съ одной стороны, до Солуня и границъ Албаніи съ другой — т. е. древнюю Мизію, Ѳракію и Македонію; болгарскія селенья доходятъ до самаго Константинополя. Кромѣ этихъ старо-болгарскихъ земель, значительная часть этого племени живетъ въ сосѣднихъ земляхъ Дунайскихъ княжествъ и Россіи, куда заставляло ихъ бѣжать турецкое угнетеніе. Незначительное число болгарскаго населенія находится также въ Банатѣ и Трансильваніи.

На западъ отъ Болгаръ распространилось сербское племя, доходящее до Адріатическаго моря и составляющее сплошное, непрерывающееся населеніе западной части балканскаго полуострова и юга нынѣшней Австріи. Нѣкогда

[2]) Основа, 1861, май; 1862, январь. Названныя мѣстности, конечно, не сплошнымъ образомъ заселены Малоруссами: въ Галиціи и Люблинской губерніи высшій классъ и горожане большей частію Поляки, также какъ почти всѣ помѣщики и отчасти мѣщане въ западныхъ и Кіевской губ.; въ южныхъ губ. живутъ Нѣмцы-колонисты, Болгары, Сербы и пр.; въ Харьковской много поселенцевъ русскихъ; по всему западному краю много Евреевъ, въ Курской и Воронежской губ. Малоруссы мѣшаются съ населеніемъ русскимъ. Внѣ этой границы Малоруссы живутъ слободами и поселеніями въ Саратовской и Самарской губ. и другихъ мѣстахъ.

[3]) Объ этихъ греческихъ Славянахъ см. въ особенности сочиненія Фалльмерайера: Geschichte der Halbinsel Morea. Stuttg. 1830, 2 т.; Ueber die Entstehung der heut. Griechen, Stuttg. 1835; Fragmente aus d. Oriente. Stuttg. 1845, 2 т.; Гильфердингъ, Письма объ ист. Сербовъ и Болгаръ, М. 1855—59.

это племя составляло нѣсколько свободныхъ, независимыхъ владѣній (царство сербское, королевство хорватское, далматинскія республики и т. д.); но поставленныя сначала между Греками, а потомъ Турками, Венеціей, Венгріей и Германіей, всѣ эти свободныя сербскія земли должны были сначала ограничить предѣлы своего распространенія, и потомъ совершенно потеряли свою самобытность, за исключеніемъ небольшой Черногоріи, къ которой въ нынѣшнемъ столѣтіи присоединилась другая свободная земля этого племени, княжество Сербія. Все остальное сербское населеніе занимаетъ вполнѣ или въ значительной степени разныя провинціи Турціи и Австріи. Собственные Сербы занимаютъ кромѣ княжества и Черногоріи Босну, Герцеговину, турецкую Кроацію, Далмацію, часть Истріи, Славонію, Военную границу, Сремъ, Бачку и Банатъ, и заходятъ далеко въ самую Венгрію, куда направилось въ 17-мъ столѣтіи сербское переселеніе съ патріархомъ Арсеніемъ Черноевичемъ, уходившее отъ турецкаго угнетенія: это—Сербы, Босняки, Герцеговинцы, Черногорцы, Далматинцы, Дубровчане, Чичи (въ Истріи), Ускоки и т. д. Сербы есть также и за границами этихъ земель: сербскія колоніи въ Херсонской губерніи (потомки переселенцевъ изъ Славоніи и южной Венгріи въ 1751—53), въ Турціи между Болгарами и Арбанасами. Другая сербская вѣтвь, Хорваты, или Кроаты, занимаютъ въ собственной Хорватіи столицы Вараждинскую и Крижевецкую и значительную часть Загребской, Саладской и Шомодской; кромѣ того ихъ поселенія также заходятъ въ собственную Венгрію, западную, до самаго Пресбурга, отличаясь нѣсколько по языку отъ собственныхъ Хорватовъ. Имя Хорватовъ шло, впрочемъ, гораздо дальше границъ ихъ собственнаго племени, потому что оно обозначаетъ также сербскихъ жителей турецкой Хорватіи и жителей сѣвернаго адріатическаго Приморья и острововъ. Третье сербское племя, Хорутане (Винды, Словинцы, Штайерцы, Краинцы и пр.) занимаютъ часть Штиріи, Каринтіи, почти весь Крайнъ, земли иллирскаго Приморья, часть собственной Кроаціи, Истрію. Крайніе слѣды славянскихъ поселеній въ этомъ направленіи дошли до южной Италіи [4]).

Западная половина славянскаго племени распространилась въ болѣе тѣсномъ и непосредственномъ сосѣдствѣ германскаго племени (къ которому восточные Славяне имѣли болѣе отдаленныя отношенія), и это обстоятельство отразилось и на разселеніи западной половины славянства, на его культурѣ и на его историческихъ судьбахъ. Славянское племя заняло въ западной Европѣ земли, только что оставленныя германскимъ племенемъ во время народнаго переселенія, и повидимому распространилось сначала даже дальше границы нѣмецкаго племени: славянское населеніе доходило до Фульдскаго монастыря, и, по мнѣнію нѣкоторыхъ, даже до Рейна. Встрѣча была враждебная; напоръ Славянъ былъ отброшенъ нѣмецкой національностью, орудіемъ которой было въ этомъ случаѣ римское христіанство, вводимое съ мечемъ въ рукахъ

[4]) Славянскія поселенія въ Неаполитанскомъ королевствѣ, въ „Чтеніяхъ Моск. Общ." 1858.

ревностными нѣмецкими миссіонерами. Эпоха Карла Великаго уже охарактеризовала собой то вѣчное соперничество и ненависть, которыя раздѣляютъ, съ тѣхъ поръ и до нынѣ, племена славянское и германское; тогда положено было и начало германизаціи, которая до сихъ поръ составляетъ постоянный характеръ нѣмецкой политики относительно славянства. Племя Славянъ полабскихъ и прибалтійскихъ, самое близкое къ Нѣмцамъ, уже въ средніе вѣка стало жертвой международной ненависти: нѣкогда сильное и многочисленное, развивавшее обширную торговую и мореходную дѣятельность (знаменитый городъ балтійскихъ Славянъ Юлинъ, или Винета), раньше всѣхъ другихъ племенъ создавшее извѣстную культуру, еще съ языческимъ характеромъ, оно было уже давно или истреблено почти окончательно, или потеряло народность. Мѣстныя названія сѣверной прибалтійской Германіи до самаго Люнебурга до сихъ поръ носятъ слѣды славянскихъ топографическихъ названій, и, какъ говорятъ, въ тѣхъ мѣстахъ существуютъ даже немногіе изчезающіе остатки и стараго народа [5]).

Самое многочисленное изъ западныхъ племенъ — польское. Его столкновенія съ германскимъ племенемъ не были такъ часты и опасны, оно сохранило свою національную самобытность, своей культурой и католицизмомъ вошло въ рядъ народовъ европейской цивилизаціи. Дальнѣйшая судьба его извѣстна: оно имѣло свою блестящую исторію, широко распространило нѣкогда свое политическое господство, обнимавшее земли отъ Чернаго моря до Балтійскаго, но затѣмъ поставленное между сильными сосѣдями и не выработавшее прочныхъ соціальныхъ отношеній, оно кончило свою политическую независимость въ 18-мъ столѣтіи, нѣсколькими послѣдовательными раздѣлами. Въ настоящее время, кромѣ собственнаго Царства, Поляки составляютъ значительную часть населенія въ русскихъ западныхъ губерніяхъ, въ Галиціи, австрійской Силезіи, Буковинѣ, затѣмъ въ Помераніи, Познани и прусской Силезіи. Это—Великополяне, Малополяне, Поморяне, Мазуры, Куяване, Слезаки и т. д. Польское племя представляетъ мало частныхъ мѣстныхъ отличій; одни только Кашубы, старое польское племя, почти затерявшееся въ Помераніи, значительно отличаются языкомъ отъ кореннаго польскаго типа [6]). Польское населеніе

[5]) См. Шафарика, Slov. Narodopis, стр. 107—109. Отъ языка ихъ остались немногіе сборники словъ и молитвенныхъ формулъ изъ 17-го столѣтія. Объ ихъ исторіи мс. Гильфердинга, Исторія Балтійскихъ Славянъ, М. 1855;—Schwartz, Einleitung zur Geogr. der nord. deutsch-slaw. Nation. Greifsw. 1745;—Lützow, Versuch einer pragm. Geschichte von Meklenburg, Berl. 1827—35;—Barthold, Geschichte von Rügen und Pommern. Hamb. 1839—45, 4 т.;—Giesebrecht, Wendische Geschichten. Berlin 1843, 3 т. Объ языкѣ этихъ племенъ, кромѣ замѣчаній Шафарика, укажемъ сочиненіе Бурмейстера, Ueber die Sprache früher in Mecklenburg wohnenden Obotriten-Wenden, переведенное въ „Трудахъ Росс. Академіи“ (1841, IV, стр. 1—52) и Гильфердинга, Памятники нарѣчія Залабскихъ Древлянъ и Глинянъ. Спб. 1856. Опытъ о восточномъ балтійскомъ нарѣчіи — Воцеля: Památky Lutických Slovanův въ Čas. Č. Mus. t. XXIII. Наконецъ, литературныя свѣдѣнія о языкѣ полабскихъ Славянъ въ статьѣ Гануша, въ Slawische Bibliotek 2, стр. 109—140.

[6]) См. Шафарика, Narodopis, стр. 84—85. Цейнова, Trze rosprave wóros kile słov wó Kaszcbach e jich zemji, Краковъ 1850. Гильфердингъ, О нарѣчіи Померанскихъ Словинцевъ и Кашубовъ,—въ Извѣстіяхъ т. 8, стр. 41—56.

этихъ мѣстъ не вездѣ является однако плотнымъ населеніемъ: напр. въ русскихъ западныхъ губерніяхъ оно составляетъ только одинъ слой на бѣлорусско-литовской основѣ, въ большей части Галиціи также одинъ слой между Русинами. Въ прусской Польшѣ, въ область польской народности начинаетъ больше и больше проникать нѣмецкое населеніе, усиленію котораго помогаетъ преднамѣренная административная система.

Другое обширное западное племя, чешское (Чехи, Мораване и Словаки), также съ первыхъ поръ своей исторіи стало въ близкое сосѣдство и враждебныя отношенія къ Нѣмцамъ. Первоначальное славянское христіанство и здѣсь, какъ въ Польшѣ, должно было уже рано уступить римскому католицизму; чешская земля вступила и въ тѣсную политическую связь съ нѣмецкой имперіей и въ сильной степени, уже въ средніе вѣка, подверглась вліяніямъ нѣмецкой культуры. Это вліяніе раздѣляли съ ней потомъ и Мораване, въ древнемъ царствѣ которыхъ начиналось было славянское христіанство временъ Кирилла и Меѳодія. Мораване и Словаки одинаково имѣли своихъ дѣятелей въ чешской литературѣ, и до послѣдняго времени связь племенная поддерживалась, несмотря на политическое разъединеніе. Въ настоящее время, чешское племя остается приблизительно въ тѣхъ же предѣлахъ, въ какихъ оно существовало въ древности, обнимая большую часть Богеміи и Моравіи, сѣверозападную часть Венгріи и югозападный уголъ прусской Силезіи. Чехи занимаютъ центръ и большую часть Богеміи, окруженные съ сѣверозапада нѣмецкимъ населеніемъ и значительно перемѣшанные съ Нѣмцами въ городахъ; нѣкоторое число ихъ находится также въ нижней Австріи и Военной Границѣ. Мораване, кромѣ собственной Моравіи, гдѣ также, какъ Чехи, имѣютъ значительное число нѣмецкихъ сосѣдей, имѣютъ свою долю въ австрійской Силезіи (Мораване, Гораки, Ганнаки, Валахи и т. д.). Словаки распространены главнымъ образомъ въ сѣверозападной Венгріи; нѣкоторое число ихъ есть также въ Моравіи, Войводинѣ, Банатѣ и нижней Австріи.

Особую, незначительную вѣтвь западнаго славянскаго племени составляютъ Лужичане, или Сербы или Венды Лужицкіе, обломокъ прежняго обширнаго племени полабскихъ Сербовъ, языкъ котораго распространялся отъ Салы черезъ Эльбу до Одера, и которое онѣмечено было почти совсѣмъ: отъ него остались только немногіе представители, раздѣленные на два нарѣчія (горнолужицкое и дольнолужицкое).

Этнографическая статистика славянскаго племени до сихъ поръ составляетъ для ученыхъ камень преткновенія и, дѣйствительно, трудно назначить цифры, которыя бы вѣрно опредѣлили его статистическія отношенія: съ одной стороны, разныя вѣтви его находятся въ условіяхъ весьма неблагопріятныхъ для статистическаго изслѣдованія, напр. Болгары и Сербы; съ другой стороны, когда эта цифра опредѣляется научно и оффиціально, возможно сомнѣніе въ ея достовѣрности. Въ такомъ положеніи находятся Славяне ав-

стрійскіе, цифра которыхъ — по словамъ собственно славянскихъ этнографовъ — намѣренно сокращается правительственной статистикой, желающей уменьшить значеніе славянскихъ народностей относительно господствующаго нѣмецкаго племени. Мы покажемъ дальше примѣры подобныхъ статистическихъ недоразумѣній. Невѣрность цифръ, приводимыхъ до сихъ поръ статистикой, напр. для Болгаріи, весьма возможна потому, что никто до настоящаго времени не имѣлъ возможности заняться точнымъ ихъ изслѣдованіемъ. До послѣдняго времени не были даже извѣстны всѣ топографическія отношенія болгарскаго племени. Австрійское славянство было высчитано уже много разъ: съ одной стороны, представилъ свои цифры Шафарикъ, съ другой — болѣе или менѣе оффиціальные статистики, Чёрнигъ и Брахелли [7]), цифры которыхъ, въ особенности перваго, сокращаютъ количество отдѣльныхъ славянскихъ населеній иногда до 20%. Мы предпочитаемъ однако цифры Шафарика, и вообще находимъ бо̀льшія цифры болѣе вѣроятными, такъ какъ, въ самомъ дѣлѣ, не подлежитъ сомнѣнію, что правительственная статистика старается уменьшить цифру славянскаго населенія и относитъ къ числу Нѣмцевъ каждаго Славянина, у котораго есть нѣсколько значительное нѣмецкое образованіе. Есть дѣйствительно цѣлый неопредѣленный слой населенія, полу-славянскій, полу-нѣмецкій (преимущественно въ городахъ), который одинаково можетъ входить въ обѣ категоріи: національные статистики удерживаютъ этотъ слой (состоящій изъ чиновниковъ, торговцевъ и т. п. людей, которые по необходимости знаютъ нѣмецкій языкъ) въ числѣ Славянъ, правительственные относятъ къ числу Нѣмцевъ, — и кто изъ нихъ правъ, собственно говоря, рѣшить очень трудно, потому что германизація пріобрѣтаетъ въ разныхъ индивидуумахъ весьма различную степень прочности. Выбирая вообще скорѣе точку зрѣнія національныхъ статистиковъ, — мы и относительно этого сомнительнаго слоя также становимся скорѣе на сторонѣ статистики неоффиціальной, потому что изъ опыта извѣстно, что упомянутая нами германизація не всегда бывала такой прочной, какой предполагало ее правительство: первоначальная и коренная національность этихъ людей брала верхъ, когда могла высказываться безпрепятственно, и когда обстоятельства возвращали ей общественное значеніе. Такъ въ 48—49 годахъ, Прага вдругъ оказалась такъ мало нѣмецкой, что этого не предвидѣли и сами Чехи. Такимъ образомъ, статистика имѣетъ полное право предпочитать—конечно съ извѣстными ограниченьями—національность коренную прививной.

Цифра болгарскаго племени до сихъ поръ не опредѣлена сколько нибудь положительно. Въ 20-хъ годахъ, Шафарикъ считалъ ихъ только до 600,000 [8]); впослѣдствіи, эта, явно ошибочная цифра была доведена у Ами-Буэ до $4^1/_2$ милліоновъ, —что казалось невѣроятнымъ Шафарику. Въ 1842 г. самъ онъ счи-

[7]) Slov. Narodopis, изд. 1849, цифры—1842 года; Czörnig, Die Vertheilung etc. 1856; Brachelli, Statistik 1857; Ficker, Bevölkerung etc. 1860.

[8]) Gesch. der slaw. Sprache, 1826, стр. 26.

талъ 3.587,000, изъ которыхъ 3½ относилъ въ турецкія владѣнія, 80,000 къ Россіи, 7,000 къ южной Венгріи (у Чёрнига: въ Банатѣ — 22,780; въ Трансильваніи—207; у Брахелли: въ Войводинѣ—27,000; въ Транс.—205). Но люди, спеціально интересующіеся болгарскимъ племенемъ, считаютъ его въ настоящее время несравненно обширнѣе, полагая его одни до 6, другіе до 7-ми или даже 7½ милліоновъ,—цифра, выставленная самими Болгарами въ прошеніи ихъ депутатовъ къ султану въ 1856 году [9]). Въ религіозномъ отношеніи они распредѣляются по Шафарику такимъ образомъ: 3.287,000 православныхъ, 50,000 католиковъ и 250,000 потурченыхъ Болгаръ-магометанъ, сохранившихъ однако свой языкъ.

Сербское племя вообще Шафарикъ считаетъ въ 7.246,000, изъ которыхъ 4.546,000 находится въ Австріи, 2.600,000 — въ княжествѣ и турецкихъ провинціяхъ, 100,000 — въ Россіи; и которые въ религіозномъ отношеніи распредѣляются такъ: 3.803,000—римскихъ католиковъ, 2.880,000—православныхъ, 13,000—протестантовъ и 550,000 — потурченыхъ Сербовъ, и незначительное количество уніатовъ въ Далмаціи, Кроаціи и Славоніи.

Затѣмъ, три частныя распредѣленія сербскаго племени, собственные Сербы, Хорваты, и Хорутане, представляютъ слѣдующія цифры:

Число собственныхъ *Сербовъ* доходитъ до 5.294,000. Въ турецкихъ областяхъ—2.600,000, и именно:

въ княжествѣ	950,000
— Боснѣ, Герцеговинѣ и другихъ турецкихъ провинціяхъ	1.552,000
— Черногоріи.	100,000

Въ Россіи — 100,000.

Въ Австріи — 2.594,000 (у Чёрнига — круглыми цифрами — только 1.427,000; у Брахелли—безъ войска—1.554,000), и именно:

въ Войводинѣ и Банатѣ	532,000
— Славоніи и Славонской границѣ	738,000
— Кроаціи и Кроатской границѣ	629,000
— южномъ Крайнѣ	40,000
— Истріи и венгерскомъ Приморьѣ	254,000
— Далмаціи	391,000

Въ религіозномъ отношеніи собственные Сербы имѣютъ:

православныхъ (въ Австріи, Сербіи и Турціи)	2.880,000
католиковъ (въ Австріи и Турціи, именно въ Боснѣ и Герцеговинѣ)	1.864,000
магометанъ (въ Боснѣ, Герцеговинѣ и древней Расѣ) . . .	550,000

Эти послѣдніе удерживаютъ впрочемъ сербскій языкъ.

Племя *хорватское*, исключительно римскіе католики въ Австріи, имѣетъ по Шафарику 801,000, но по Чёрнигу (Словено-кроаты, Сербо-кроаты и

[9]) Палаузовъ въ „Сѣв. Пчелѣ" 1860, № 120; Slovník Naučný Ригера, статья Bulhaři; Раковскій, Показалецъ или Руководство и пр. Одесса, 1859, ч. I, стр. 28.

далматинскіе Кроаты) 1.330,000; по Брахелли, въ томъ же объемѣ, какъ у Чёрнига (но безъ войска) 1.554,000.

Племя *Словинцевъ, Виндовъ* или *Хорутанъ* Шафарикъ считаетъ въ 1.151,000, по Чёрнигу однако 1.172,000, по Брахелли (безъ войска) 1.248,000, и въ этомъ случаѣ, какъ и относительно Хорватовъ, послѣднія цифры должны быть вѣрнѣе показаній Шафарика: разница отчасти должна быть отнесена къ различію времени счета (1842. 1851. 1854) и разности въ опредѣленіи національностей, здѣсь часто не рѣзко одна отъ другой отдѣленныхъ. Въ томъ числѣ считается:

въ Штиріи	378,000
— Хорутаніи	84,000
— Крайнѣ	398.000
— иллирскомъ Приморьѣ	247,000
— Фурляніи	22,000
— Венгріи	52,000

Всѣ они католики, за исключеніемъ 13,000 протестантовъ въ западной Венгріи.

Относительно чешскаго племени, показанія оффиціальной статистики опять гораздо ниже чиселъ, приводимыхъ Шафарикомъ. Въ цѣломъ, число чешскаго племени, по Шафарику, доходитъ до 7.167,000 (изъ нихъ 44,000 въ прусской Силезіи, и затѣмъ 6.223,000 католиковъ, и 944.000 протестантовъ), тогда какъ по Чёрнигу чешское племя въ цѣломъ не превышаетъ 5.854,000, по Брахелли (безъ войска) 6.278,000.

Тоже различіе оказывается, конечно, и относительно подраздѣленій племени: мы приведемъ ихъ, потому что эти цифры въ особенности были предметомъ чешской національной ревности, такъ какъ уменьшеніе ихъ правительственной статистикой казалось Чехамъ прямымъ оскорбленіемъ ихъ національности.

Собственныхъ *Чеховъ* Шафарикъ считаетъ 3.016,000, тогда какъ Чёрнигъ насчитываетъ всѣхъ Чеховъ 2.635,000, Брахелли—въ одной Богеміи, не считая нѣсколькихъ тысячъ, разсѣянныхъ по имперіи — 2.847,000. Въ 1857 г., оффиціальная статистика опредѣляла число жителей Богеміи въ 2.925.982 Чеховъ, 1.766,372 Нѣмцевъ и 86,339 Евреевъ [10]).

Далѣе, число *Мораванъ*, по Шафарику, 1.354,000, по Чёрнигу, Мораванъ въ Моравіи и австрійской Силезіи — 1.278,000, по Брахелли таже цифра опредѣляется въ 1.481,000.

Въ религіозномъ отношеніи, Чехи и Мораване (въ томъ числѣ 44,000 прусскихъ) представляютъ, по Шафарику, 4.270,000 кат., и 144,000 прот.

Племя *словацкое*, по Шафарику, имѣетъ до 2.753,000, изъ которыхъ 1.953,000 католиковъ, остальные 800,000 протестанты; по Чёрнигу и по Брахелли, только до 1.900,000 всего, круглымъ счетомъ.

[10]) См. Slovník Naučný, ст. Čechy.

Лужицкіе Сербы, по Шафарику, представляютъ въ цѣломъ до 142,000, распредѣляясь слѣдующимъ образомъ: горные или верхніе Лужичане—98,000 (60.000 въ Саксоніи, и 38.000 въ Пруссіи), изъ которыхъ 88,000 протестантовъ и 10,000 католиковъ; дольные или нижніе Лужичане въ Пруссіи—44,000, исключительно протестанты.

Новѣйшія данныя, сообщаемыя Богуславскимъ, представляютъ слѣдующія общія цифры:

въ Верхнихъ-Лужицахъ:
— саксонскихъ 50,000
— прусскихъ 37,000
(въ этомъ числѣ до 10,000 католиковъ)
въ Нижнихъ-Лужицахъ, въ Пруссіи 60,000

Съ прибавленіемъ Сербовъ, живущихъ внѣ собственныхъ Лужицъ, среди нѣмецкихъ поселеній, цѣлая цифра доходитъ до 167,500.

Число Поляковъ Шафарикъ для 1842 г. опредѣляетъ слѣдующимъ образомъ: общая цифра 9.365,000, изъ которыхъ въ Россіи—4.912,000 (въ Царствѣ 3.728,000, и въ западныхъ губерніяхъ 1.184,000); въ Австріи, безъ Краковской области, 2.341,000 (въ Галиціи 2.149,000, въ Силезіи 192,000), въ Краковской области—130,000; въ Пруссіи—1.982,000. Изъ всего этого числа 8.923,000 католиковъ и 442,000 протестантовъ.

Статистика Кольба (русскій перев. Спб. 1862, 1, стр. 179) считаетъ Поляковъ въ Царствѣ и западныхъ губерніяхъ до 5.250,000. Цифры западныхъ губерній въ послѣднее время представляютъ новыя спорныя данныя, на что мы можемъ только указать читателю [11]).

Чёрнигъ число австрійскихъ Поляковъ полагаетъ въ 2.056,000; Брахелли (безъ войска) въ 2.224,000.

Съ уменьшеніемъ славянской цифры, правительственные статистики, какъ мы уже сказали, увеличиваютъ цифру нѣмецкаго населенія: такъ напр. цифра нѣмцевъ въ Богеміи, полагаемая Шафарикомъ въ 1842 г. въ 1.145,000, въ оффиціальныхъ показаніяхъ 1857 года доходитъ уже до 1.766,000.

Наконецъ, обширнѣйшее славянское племя, русское, Шафарикъ опредѣляетъ въ 1842 г. въ 51.184,000, которые распредѣляются между Россіей (48.410,000) и Австріей (2.774,000), и по религіи представляютъ 47.844,000 православныхъ, 2.990,000 уніатовъ и 350,000 католиковъ.

Число собственныхъ *Великоруссовъ* Шафарикъ считалъ въ 35.314,000. Въ настоящее время цифра опредѣляется выше, и въ ней считается до 11.000,000 раскольниковъ; впрочемъ, статистика Кольба, переведенная г. Корсакомъ, полагаетъ число Великоруссовъ въ 34.000,000; число Малоруссовъ, о которыхъ мы скажемъ дальше, въ 12.000,000 (въ Россіи); и Бѣлоруссовъ въ 4.000,000.

[11]) См. объ этомъ показанія Риттиха, Эркерта, и польскія данныя.

Племя *малорусское* по Шафарику представляетъ 13.144,000, изъ которыхъ въ Россіи 10.370,000; въ Австріи 2.774,000 —

и именно: въ Галиціи	2,149,000
— Венгріи	625,000

Новѣйшіе статистики южно-русскаго племени считаютъ общую его цифру въ 14.300,000 [12]).

По Чёрнигу, круглая цифра русскаго племени въ Австріи опредѣляется (Русины Галицкіе, карпатскіе, Гуцулы и т. д.) въ 2.940.000. Эта цифра распредѣляется у него такимъ образомъ:

на Галицію—собственные Русины (Червоноруссы), горные Русины (Бойки, Гуцулы и пр.)	2.280,000
— Буковину	142,000
— Венгрію (угорскіе Русины, Леммаки, Лишаки)	440,000
— Войводину	6,700
— войско	65,900
Наконецъ, великорусскихъ липованъ въ Буковинѣ	2,300

По Брахелли, эти цифры имѣютъ такой видъ:

въ Галиціи	2.510,000
— Буковинѣ	165,000
— Венгріи	487,000
— Войводинѣ	7,500
всего (безъ войска)	3.160.000

Въ религіозномъ отношеніи, малорусское племя представляетъ, по Шафарику, 10.154,000 православныхъ и 2.990,000 уніатовъ (2.774,000 въ Австріи и 216,000 въ Польшѣ).

Племя *бѣлорусское* Шафарикъ считаетъ въ 2.726,000, — почти исключительно православныхъ (350,000 католиковъ, по Платеру и др.).

2. Историческая судьба славянскаго племени. Вопросъ о національномъ единствѣ.

И такъ, уже въ очень древнюю эпоху славянство было разбито на столько отдѣльныхъ народностей, разсѣяно было на такомъ огромномъ пространствѣ, перепутано и поставлено въ политическія связи съ такими разнообразными чужими племенами, что уже въ то время раздѣльность славянскихъ племенъ была чрезвычайно велика, не смотря на то, что національныя свойства и языкъ, въ значительной степени, сохраняли первобытное сходство. Историческая жизнь еще больше увеличила эту раздѣльность: восточные Славяне (за исключеніемъ далматинскихъ Сербовъ, Хорватовъ и Хорутанъ) приняли восточное, византійское христіанство; у Славянъ западныхъ пріобрѣло нераздѣльное господство христіанство римское.

[12]) Основа, 1861, май.

Христіанство, вводимое изъ двухъ разныхъ источниковъ, Византіи и Рима, произвело сильное раздѣленіе племени, разбивъ его на два религіозно-враждебные лагеря. Религіозное различіе способно вообще раздѣлить, въ общественномъ смыслѣ, даже части одного и того же народа; здѣсь это различіе должно было имѣть еще болѣе рѣзкія слѣдствія. Религіозное различіе повело за собой два различныя направленія въ общественномъ и политическомъ развитіи славянскихъ племенъ; само собою разумѣется, что оба эти направленія, обусловленныя извнѣ пришедшимъ религіознымъ и политическимъ вліяніемъ, нарушали вмѣстѣ съ тѣмъ и старый порядокъ славянской жизни. Византія, вмѣстѣ съ своимъ каноническимъ правомъ, передавала восточному славянству и обычаи своего политическаго права, которые, конечно, играли большую роль въ упадкѣ стариннаго демократическаго устройства славянскихъ общинъ. Византійскія понятія объ авторитетѣ политической власти привились такъ сильно на славянской почвѣ, что ихъ невозможно обойти, если мы хотимъ говорить о такъ называемыхъ началахъ славянской старины. Болгарія и Сербія, послѣ этого вліянія, стали до извѣстной степени копіей византійскаго управленія и византійскаго двора, и «славянскія начала» были въ нихъ уже сильно попорчены. На западѣ, римское католичество и отношенія къ Нѣмцамъ привели къ развитію феодализма, который нашелъ ревностныхъ приверженцевъ въ домашней славянской аристократіи и мало по малу совершенно отдѣлилъ ее отъ народа. Такимъ образомъ, совершенно исчезла впослѣдствіи чешская аристократія: она окончательно онѣмечилась. Кромѣ того, нѣмецкіе элементы дѣйствовали и другимъ образомъ: оказывало свое дѣйствіе нѣмецко-латинское образованіе; цѣлыя колоніи Нѣмцевъ, иногда призываемыя самими славянскими властителями, поселялись между Славянами и приносили съ собой упорную привязанность къ своей національности, которая кончала тѣмъ, что пускала крѣпкіе корни въ славянскую почву. Нѣмецкій элементъ, съ нѣмецкимъ городскимъ правомъ, былъ силенъ даже въ Польшѣ, стоявшей, сравнительно съ Чехами, въ болѣе выгодныхъ условіяхъ. Въ литературныхъ попыткахъ западнаго славянства господствовала церковно-латинская схоластика: одни только Чехи успѣли создать національную литературу; у Поляковъ ея не было до самаго 15-го столѣтія; у другихъ Славянъ, напр. Хорватовъ и Хорутанъ, начатки ея являются только съ реформаціей; у далматинскихъ Сербовъ, литературное движеніе начинается только съ половины 15-го вѣка.

Это разъединеніе не обѣщало славянскимъ племенамъ національной побѣды надъ препятствіями, которыя окружали ихъ развитіе, и уже рано оказало свои вредныя послѣдствія на судьбѣ славянскихъ народностей. Славяне полабскіе, не поддержанные соплеменниками, даже совершенно исчезли или превратились въ Нѣмцевъ. Въ концѣ среднихъ вѣковъ это разъединеніе было еще усилено историческими обстоятельствами, вслѣдствіе которыхъ Славянамъ приходилось бороться за самое существованіе: Русскіе должны были бороться сначала съ Татарами, потомъ съ Литвой и Польшей; Болгары и Сербы —

съ Византіей и Турками, въ 15-мъ столѣтіи они были покорены и таже борьба перешла въ наслѣдство къ другому славянству, жившему по границѣ турецкихъ завоеваній—Хорватамъ и Сербамъ нынѣшней Австріи; у Чеховъ національности грозили Нѣмцы. У Славянъ, покоренныхъ Турками, отнята была всякая возможность интеллектуальнаго развитія; всѣ другіе заняты были каждый своимъ дѣломъ, въ которомъ, для каждаго, былъ вопросъ о существованіи. Національное единство разрывалось болѣе и болѣе, и съ тѣхъ поръ славянство уже окончательно пошло въ разныя стороны.

Въ смыслѣ духовныхъ принциповъ и литературной дѣятельности это раздѣленіе было столько же сильно, какъ въ политическомъ отношеніи; литературная жизнь развилась только тамъ, гдѣ народное существованіе сколько нибудь обезпечивалось. Литература восточнаго славянства образовалась подъ византійскимъ вліяніемъ, и кончившись въ южно-славянскихъ государствахъ съ ихъ паденіемъ въ 14—15-мъ столѣтіяхъ, продолжалась довольно слабо на Руси. Другая литература, подъ латинско-европейскими вліяніями, развилась въ особенности въ Чехіи, Польшѣ и свободномъ Дубровникѣ. Славянскіе ученые напрасно старались указать извѣстную параллельность между этими различными литературами,—потому что и здѣсь движеніе шло въ совершенно различномъ смыслѣ: въ то время, когда на Руси все еще младенчески повторялись византійскія и южно-славянскія традиціи, въ Польшѣ господствовала католическо-шляхетская литература съ европейской окраской; Чехія упорно боролась за религіозную и общественную реформу, а Дубровникъ подпалъ вліяніямъ Италіи, изъ которыхъ мало вынесъ положительныхъ результатовъ для дальнѣйшаго успѣха своей народности.... Впослѣдствіи, когда средніе вѣка окончились, положеніе опять измѣняется: чешская литература прерывается, послѣ политическаго паденія націи въ 17-мъ столѣтіи; литература далматинская дѣлается въ большинствѣ безплоднымъ подражаніемъ латинско-итальянскимъ образцамъ, изрѣдка попадая на національную дорогу; русская литература, въ 18-мъ столѣтіи въ первый разъ пріобрѣтаетъ культурное значеніе, оставивши, вслѣдствіе реформы, преданія исключительной національности и знакомясь съ содержаніемъ европейской науки... Еще разъ славянскіе народы оказались въ совершенно различныхъ положеніяхъ: они почти не подозрѣвали взаимно своего существованія; связи ихъ, если и бывали иногда, имѣли чисто случайный характеръ, ограничивались ближайшимъ сосѣдствомъ, и во всякомъ случаѣ совершенно лишены единства національной идеи.

Тѣмъ не менѣе новѣйшіе славянскіе патріоты постоянно настаиваютъ на этомъ единствѣ. Соглашаясь, что внѣшняя судьба народностей была различна (какъ будто это различіе ограничивалось одной внѣшностью), они утверждаютъ постоянно, что единство имѣло и имѣетъ однако достаточно основаній въ единствѣ языка, народныхъ преданій, обычаевъ и общественныхъ понятій, и что, развившись въ настоящее время, оно будетъ тріумфомъ славянскаго племени. Эта идея о наступающемъ торжествѣ до такой степени проникаетъ

новѣйшія литературы славянскаго племени, съ тѣхъ поръ какъ началось ихъ «возрожденіе»; славянскіе патріоты такъ часто говорили о ней и такъ согласно видѣли въ ней весь смыслъ славянской исторіи, что мы не можемъ не коснуться этого вопроса, при самомъ началѣ нашего изложенія.

Конечно, никому не придетъ въ голову утверждать, чтобы въ указанныхъ отношеніяхъ Славяне не представляли сходства. Но вопросъ въ томъ, на сколько это сходство можетъ имѣть дѣйствительнаго, т. е. практическаго значенія. Языки французскій и итальянскій имѣютъ чрезвычайно много сходнаго, не меньше даже, чѣмъ иныя славянскія нарѣчія между собою; но никому не приходитъ въ голову, что это сходство можетъ быть основаніемъ для національнаго единства Италіи и Франціи. Филологическое родство языковъ говоритъ только о прежнемъ единствѣ, но не составляетъ достаточнаго средства объединенія въ такую эпоху, когда, въ практическомъ употребленіи, эти языки уже непонятны одинъ другому, и когда положеніе народовъ опредѣляется многими другими, болѣе важными силами. Быть можетъ, даже исторически могъ бы быть въ извѣстной степени указанъ національный инстинктъ, сближавшій отчасти разныя славянскія племена; но этотъ инстинктъ никогда не былъ въ ихъ прошедшей исторіи яснымъ опредѣленнымъ сознаніемъ.

Какимъ же образомъ опредѣляются указанныя нами причины этого инстинкта: языкъ, поэзія, преданья и пр.?

Въ первыя, исторически извѣстныя, времена, *славянскіе языки* дѣйствительно были несравненно ближе одинъ къ другому, чѣмъ теперь. Мы легко можемъ видѣть это на тѣхъ памятникахъ, какіе остались отъ ихъ древняго періода: болгарскій языкъ «Остромирова Евангелія» вовсе не такъ далекъ отъ чешскаго «Суда Любуши», хорутанскихъ «Фрейзингенскихъ отрывковъ» и т. д., какъ далеки теперь эти нарѣчія, почти уже непонятныя одно другому. Но тѣмъ не менѣе и тогда существовали значительныя отличія въ языкѣ, замѣтныя въ первыхъ древнихъ памятникахъ разныхъ славянскихъ нарѣчій. Съ теченіемъ времени, съ полнымъ историческимъ разъединеніемъ племенъ, усиливалось постепенно и разъединеніе нарѣчій. Первобытное богатство формъ исчезаетъ, и въ каждомъ нарѣчіи замѣняется новыми формами различнаго образованія, которыя все дальше и дальше расходились отъ первоначальнаго центра. Въ концѣ этихъ постепенныхъ измѣненій, славянскія нарѣчія представляютъ большое разнообразіе вокализма, флексій, синтаксиса, удареній. Въ своихъ послѣднихъ результатахъ, это разнообразіе отдѣльныхъ нарѣчій часто не даетъ уже для непривычнаго глаза никакихъ признаковъ первоначальнаго единства, —которое возстановляется только историческимъ изученіемъ. Столько же измѣнился и словарь: изъ прежняго общаго запаса словъ одни нарѣчія сберегали одно, другія другое, каждое находило новый источникъ словъ у тѣхъ сосѣдей, которыми надѣляла ихъ исторія; когда русскій языкъ принималъ слова восточныя, болгарскій и сербскій принимали турецкія, чешскій—нѣмецкія, хорватскій—венгерскія и

т. д. Въ новѣйшее время, возрожденіе славянскихъ литературъ привело новый источникъ лексическаго разнообразія: образованіе новаго литературнаго языка произвело множество новыхъ словъ для новыхъ понятій, не существовавшихъ въ языкѣ патріархальныхъ временъ, и эти слова опять въ каждомъ нарѣчіи сочинялись по своему.... Степень разъединенія славянскихъ нарѣчій въ настоящую минуту характеризуется тѣмъ, что когда представители разныхъ племенъ, большей частью люди, изучавшіе родственныя народности, собрались на славянскомъ съѣздѣ въ Прагѣ, руководимые идеей единства, они увидѣли, что не могутъ понимать другъ друга.

Въ сущности, они не могутъ непосредственно понимать другъ друга и въ остальныхъ отношеніяхъ.

Если единство языка становится вполнѣ ощутительно для славянскаго наблюдателя только послѣ научнаго изученія, то въ сущности тоже надобно сказать и о *народной поэзіи*, совмѣщающей въ себѣ народную миѳологію, преданія и обычаи. Панслависты и защитники національной идеи вообще придаютъ особенную цѣну этому элементу національности, и мы остановимся на немъ нѣсколько дольше.

О народной славянской поэзіи мы судимъ большею частію уже по новѣйшимъ собраніямъ, и, за недостаткомъ памятниковъ отъ древней эпохи, должны замѣнять факты предположеніями. Нѣтъ сомнѣнія впрочемъ, что народная поэзія древнѣйшаго времени представляла у разныхъ племенъ то же тѣсное родство, которое мы указывали въ языкѣ. Въ это первое время были еще живы воспоминанія о первобытныхъ національныхъ миѳахъ цѣлаго племени, и содержаніе народной поэзіи необходимо должно было встрѣчаться на однихъ темахъ... но это было только въ первое время.

Общія формы славянской поэзіи были эпосъ и лирическая пѣсня; драма является только въ позднѣйшее время и въ искусственной формѣ,—заимствованная съ запада. Миѳологическія представленія, служившія основаніемъ славянскаго эпоса, состояли въ пантеистическомъ обожаніи природы, какъ у всѣхъ европейскихъ племенъ; но эта славянская миѳологія, сколько извѣстно, была развита несравненно меньше, чѣмъ напр. германская. Личности языческихъ божествъ, въ народныхъ преданіяхъ и пѣсняхъ, далеко не имѣютъ опредѣленной физіономіи, — у нихъ нѣтъ той поэтической исторіи, которая наполняетъ миѳологію другихъ народовъ дѣяніями боговъ и даетъ ей извѣстное характерное содержаніе: повидимому, языческая славянская культура шла довольно медленно, чтобы дать своему миѳологическому міру полную организацію. Народное преданіе сохранило только немногія указанія на божества старой миѳологіи; ихъ мало знаетъ и славянская исторія: Перунъ, Святовидъ, Дажьбогъ и т. п. остаются для насъ темны; только по немногимъ слѣдамъ, напр. по упоминаніямъ «Слова о Полку Игоревѣ» о Велесѣ, Стрибогѣ и т. п. мы можемъ судить о существованіи миѳической генеалогіи языческихъ божествъ. Немногія черты древней языческой космогоніи также неясны и перепутаны съ позднѣйшими представленіями христіан-

скими и апокрифическими преданіями, заходившими изъ чужихъ источниковъ. Такова напр. дуалистическая исторія о твореніи міра двумя началами, добрымъ и злымъ, которая извѣстна была въ болгарскомъ богомильствѣ и нашла отголосокъ и въ народныхъ пѣсняхъ; таково и смутное сказаніе объ упавшей съ неба «Голубиной Книгѣ». Множество другихъ повѣрій и преданій, жившихъ въ народѣ, напр. о чудодѣйственной силѣ разныхъ вещей, о необыкновенныхъ существахъ и т. п., были очевидно новѣйшаго и даже иноземнаго происхожденія и не относятся къ первобытной старинной миѳологіи. Такимъ образомъ, заходили къ намъ черезъ Грековъ и Болгаръ и другими путями клочки миѳологическихъ преданій, иногда извѣстныхъ и всей средневѣковой Европѣ.

Миѳологическій эпосъ славянскихъ племенъ остается для насъ теменъ и потому, что мы имѣемъ народные памятники почти исключительно изъ позднѣйшаго періода, знаемъ эту миѳологію по народнымъ пѣснямъ, собраннымъ только новѣйшими изслѣдователями. Славянская народная поэзія не представляетъ почти ни одного древняго памятника, въ параллель къ Эддѣ, Нибелунгамъ и подобнымъ произведеніямъ средневѣковаго германскаго эпоса: наше «Слово о Полку Игоревѣ» и «Краледворская рукопись» очень поздни по своему содержанію и только случайно касаются миѳологическихъ подробностей. И тотъ источникъ нашего знакомства съ древней миѳологіей, который заключается въ народномъ эпосѣ, только въ настоящее время изслѣдуется должнымъ образомъ. Пѣсни, собранныя Рыбниковымъ, открываютъ много новаго даже въ русской народной поэзіи, изученной болѣе другихъ; болгарскія пѣсни стали записывать только въ послѣднее время... Но при этихъ новыхъ открытіяхъ славянская миѳологія и космогонія все еще остаются темны и отрывочны. Ясно, кромѣ того, что чѣмъ больше славянскіе патріоты восхищаюся новыми открытіями въ этой области, намекающими на древнее единство, тѣмъ больше они сознаются въ слабости *непосредственнаго* единства и вообще въ слабости «національнаго» сознанія племени.

Славянскій эпосъ есть по преимуществу уже эпосъ героическій, въ которомъ элементы миѳологіи являются только какъ дополненіе къ героическому сюжету. Но и этотъ героическій эпосъ, сложившійся у разныхъ племенъ въ разное время, сохранился далеко не у всѣхъ Славянъ и также почти вездѣ лишенъ письменныхъ памятниковъ: только «Слово о Полку Игоревѣ», «Краледворская рукопись» и «Судъ Любуши» даютъ намъ непосредственное понятіе о древнемъ эпосѣ у Русскихъ и у Чеховъ. Затѣмъ, мы знакомимся съ нимъ только въ новой устной передачѣ, сохранившейся въ теченіе столѣтій въ народной памяти... Эта народная эпопея вообще сберегается всего живѣе тамъ, гдѣ народъ остается болѣе вѣренъ патріархальной старинѣ и бываетъ меньше тронутъ цивилизаціей, которая даетъ ему новыя формы жизни, ставитъ новые вопросы для мысли и, однимъ словомъ, выводитъ его изъ круга его консервативной исключительности; тамъ, гдѣ вліяніе цивилизаціи дѣйствовало сильнѣе, древній эпосъ забывался и исчезалъ иногда почти безслѣдно. Поэтому, народный славянскій эпосъ вообще гораздо лучше со-

хранился у восточныхъ племенъ, которымъ (именно Сербамъ) и принадлежатъ его замѣчательнѣйшіе образцы. Въ эпосѣ народъ запоминаетъ именно ту героическую эпоху, гдѣ онъ дѣйствовалъ самъ, какъ народъ, — такъ, что существованіе эпоса отъ извѣстнаго періода народной исторіи указываетъ кромѣ проявленія цѣльной народной дѣятельности и патріархальныя свойства быта. Такіе періоды были именно у восточнаго славянства, которое почти одно и представляетъ памятники древней народной эпопеи.

Въ этомъ пунктѣ славянскія племена представляютъ уже весьма крупное отсутствіе единства.

Русскій героическій эпосъ остановился главнымъ образомъ на временахъ князя Владиміра, и богатыри этого цикла проходятъ черезъ всѣ періоды народной жизни и не забываются народомъ, который съумѣлъ пріурочить ихъ и къ позднѣйшимъ богатырямъ—напр. Ермаку и Стенькѣ Разину. Эпосъ гораздо рѣже останавливается потомъ на другихъ историческихъ эпохахъ,—татарскаго нашествія и московскаго царства; новая исторія остается ему почти совершенно чуждой. Это вполнѣ соотвѣтствуетъ степени народнаго участія въ исторіи, потому что собственно народная дѣятельность заслоняется потомъ княжеской дружиной и высшимъ классомъ. Эпосъ возраждается опять—и въ старыхъ формахъ—когда народная дѣятельность снова нашла представителей въ Ермакѣ, Стенькѣ Разинѣ и другихъ «удалыхъ атаманахъ» и «разбойничкахъ». Новое, еще болѣе централизаціонное государство, чѣмъ московская Русь, совершенно остановило продолженіе народнаго эпоса. Онъ выражался только немногими историческими пѣснями. Другая отрасль русскаго племени, Малоруссы нашли въ эпоху своей борьбы съ Татарами и Поляками новый періодъ самобытной народной дѣятельности, и старое эпическое преданіе о Владиміровомъ циклѣ было забыто почти безслѣдно: оно было заслонено новымъ героическимъ эпосомъ, вызваннымъ народной войной малороссійскаго казачества въ 16 и 17-мъ столѣтіяхъ. Знаменитыя малорусскія «думы» создали себѣ и новую форму эпоса, удержавши отъ старины только его общія основанія. Ясно, что между этой поэзіей Малоруссовъ и великорусской нѣтъ уже настоящаго единства: ихъ идеалы разрознились, какъ разрознился характеръ народностей.

Болгарская народная поэзія, особенно героическая, до сихъ поръ мало извѣстна; но изъ того, что было записано новѣйшими собирателями, легко видѣть, что она также имѣла свое живое время. Современная пѣсня сохранила отчасти воспоминаніе даже о старыхъ болгарскихъ царяхъ и иногда имѣетъ однихъ героевъ съ сербскимъ эпосомъ, героевъ народнаго богатырства и борьбы съ Турками. Но всего сильнѣе этотъ героическій эпосъ, эпосъ дѣятельной народной жизни, и слѣдовательно, частныхъ народныхъ интересовъ, развился въ сербскомъ племени, которое въ своихъ пѣсняхъ представляетъ всю національную исторію, особенно со временъ Косовской битвы и до настоящаго времени. Сербскій народъ сохранилъ въ себѣ больше энергіи противъ турецкаго угнетенія, и борьба съ Турками оставалась національнымъ сю-

жетомъ поэзіи, не терявшимъ своего интереса. Сербскій эпосъ — единственный славянскій эпосъ, сберегшій до послѣдняго времени свою творческую силу. Условіями его жизни были именно — присутствіе народной исторической дѣятельности, которая, при всемъ патріархальномъ консерватизмѣ быта и преданій, удерживавшемъ народъ въ традиціонной колеѣ, создала для него исключительную, ему только принадлежащую, область поэтическихъ идеаловъ и національныхъ стремленій. Древнія основы эпоса отступаютъ на задній планъ передъ его новымъ частно-народнымъ содержаніемъ, и единство разрушается снова.

Съ другой стороны, западные Славяне—Поляки, Чехи и т. д.—почти окончательно забыли свой старый народный эпосъ, и это очень естественно. Они очень рано замѣшаны были въ разнообразныя событія и шумная дѣйствительность отрывала народъ отъ воспоминаній старой миѳологіи. Въ чешской Краледворской рукописи еще собраны преданія старыхъ временъ, и поэзія, за подвигами Ярослава, еще не забывала о подвигахъ Забоя и Славоя; но миѳологическая древность терялась изъ народной памяти уже и въ это время. Въ 15-мъ столѣтіи чешская старина окончательно заслонена была бурными событіями гусситскаго движенія, эта старина забывалась—и никто не имѣетъ права обвинить чешскій народъ 15-го вѣка за его забвеніе—передъ новыми идеями, охватившими мысль этой замѣчательнѣйшей героической эпохи Чеховъ; народная дѣятельность была самая напряженная, но въ ней не было уже никакихъ патріархальныхъ свойствъ, и на сцену въ первый разъ являются развитыя требованія личности — противныя свойствамъ и условіямъ народнаго эпоса. Въ настоящее время чешскій народъ уже совершенно не знаетъ преданій героическаго эпоса, въ настоящемъ смыслѣ этого слова: они забылись совершенно. Подобное явленіе произошло и въ Польшѣ: народъ, угнетенный и лишенный самобытной дѣятельности, не могъ создать эпоса и терялъ смыслъ даже и въ прежнихъ преданіяхъ; высшее сословіе должно было забыть ихъ еще скорѣе, потому что уже очень рано подверглось вліянію латинской образованности, которая, конечно, не была благопріятна для сохраненія наивной поэтической старины. Если, какъ можно видѣть изъ лѣтописцевъ, событія и вызывали эпическую дѣятельность массъ, эта дѣятельность ограничилась отдѣльными поэтическими попытками, не имѣющими характера народной эпопеи.

У этихъ народовъ, потерявшихъ свой миѳическій и героическій эпосъ, почти единственной поэтической формой осталась лирика, легче примѣняющаяся къ измѣнчивымъ народнымъ судьбамъ. Пѣсни бытовыя и обрядныя существуютъ въ огромной массѣ у всѣхъ славянскхъ народовъ, и сберегли большую живучесть и тамъ, гдѣ всего меньше уцѣлѣлъ первобытный составъ народной поэзіи. Тѣмъ не менѣе однако, различіе національныхъ характеровъ и исторіи, обнаруживающееся на судьбѣ эпоса, оказывается и здѣсь. Племена, наиболѣе вѣрныя патріархальной старинѣ, вѣрнѣе сохранили и древнюю лирику, съ ея миѳической подкладкой и

древне-бытовой обстановкой; другія, болѣе затронутыя историческимъ движеніемъ, даютъ своей миѳической пѣсни новый оттѣнокъ, вовсе не архаическаго свойства. Если, напримѣръ, народное творчество продолжалось у Чеховъ, то ихъ новая лирика отличается особенностями, которыхъ конечно не было въ древней: любовная пѣсня дѣлается слегка фривольной и даже скандалезной. У Русскихъ, народная пѣсня начинаетъ пропадать тамъ, гдѣ сельскій бытъ подчиняется вліянію городскаго, и вмѣсто народной пѣсни появляются въ селахъ искаженія книжныхъ романсовъ, и народный напѣвъ уступаетъ мотивамъ романсовъ и напѣвамъ цыганскимъ.

Это явленіе, упадокъ старинной народной поэзіи, представляетъ слишкомъ много примѣровъ въ разныхъ славянскихъ краяхъ,—и мы скажемъ о немъ нѣсколько словъ. Любители народности и патріоты, обыкновенно, оплакиваютъ это явленіе, и готовы вопіять противъ развращающаго вліянія цивилизаціи; но на дѣлѣ это явленіе конечно вовсе не такъ печально, какъ можетъ показаться на первый взглядъ. Замѣтимъ прежде всего, что выборъ въ этомъ случаѣ вполнѣ находится въ распоряженіи самихъ «людей народа»; ихъ никто не заставляетъ измѣнять народной поэзіи и принимать на ея мѣсто городскія нововведенія. Если понятно, что народная поэзія можетъ быть забыта образованными классами, создающими себѣ болѣе сознательную и широкую поэзію, то и народъ не совершаетъ преступленія, когда перестаетъ удовлетворяться традиціонной поэзіей. Образованнымъ классамъ больше нравится цивилизованная поэзія и искусство,—и совершенно справедливо, потому что въ народной поэзіи слишкомъ много инстинктивнаго, безсознательнаго, наивнаго,—что не можетъ мириться съ цивилизованнымъ складомъ понятій. И это вовсе не бываетъ отрицаніемъ народности: народный сюжетъ и складъ пѣсни продолжаютъ нравиться намъ, въ ихъ новой художественной обработкѣ (напр. у Кольцова, Некрасова), народный мотивъ продолжаетъ нравиться намъ въ музыкѣ Глинки,—и мы предпочитаемъ послѣднихъ, потому что въ народный матеріалъ, наивный и непосредственный, они вносятъ сознательную мысль, и ведутъ ее дальше и глубже, чѣмъ народная пѣсня, ограниченная своими традиціями. Когда народъ покидаетъ свою пѣсню,—это значитъ только, что для него начинается тотъ же переходъ. Если этотъ переходъ обнаруживается въ формахъ довольно грубыхъ (каковы напр. цыганскіе романсы), то также случилось и съ литературой, которая, прежде чѣмъ достигла осмысленнаго національнаго содержанія, должна была пройти періодъ безвкуснаго подражанія. Этотъ переходъ кончается тѣмъ, что народъ, оставивъ традиціонную пѣсню, находитъ себѣ новаго поэта, своего Беранже или Дюпона. Нѣтъ сомнѣнія, что первое нѣсколько разумное и нѣсколько обширное распространеніе грамоты именно усилитъ этотъ переходъ народа отъ его поэтической традиціи къ той новой поэзіи, которая вѣрнѣе выразитъ его новыя жизненныя стремленія и укажетъ ему новые идеалы. Мы полагаемъ, что современная русская поэзія, какъ ни бѣдна

она въ цѣломъ, нѣкоторыми своими сторонами даетъ намъ залогъ такого будущаго, которое сблизитъ поэтическій интересъ народа съ интересомъ общественнаго развитія.

Но нѣтъ сомнѣнія также, что эта новая поэзія, народная поэзія будущаго русскаго Беранже, отдалитъ народъ отъ такъ называемыхъ «народныхъ началъ». Въ новой поэзіи содержаніе будетъ уже спеціально русское; въ немъ не будетъ уже старыхъ миѳологическихъ лохмотьевъ, которые собственно и составляютъ орудіе единства.

Итакъ, въ настоящемъ своемъ положеніи народная славянская поэзія уже подверглась значительному разъединенію: ученые, конечно, могутъ еще отыскать въ ней много общихъ мотивовъ, оставшихся отъ старины, но это будетъ такимъ же ученымъ открытіемъ, какъ открытіе филологическаго единства. Оно не прибавитъ много къ фактическому сближенію славянства.

Если мы приходимъ къ подобному заключенію о славянской народной поэзіи, это значитъ, конечно, что тоже самое разъединеніе происходитъ и въ цѣломъ кругѣ народныхъ идей, для которыхъ поэзія служитъ отголоскомъ и выраженіемъ. Сказать, что народная поэзія приняла различныя направленія, что ея содержаніе стало уже слишкомъ частнымъ народнымъ содержаніемъ, что она перестаетъ служить пунктомъ національнаго соединенія, значитъ сказать, что разошлись и самые идеалы народностей, ихъ жизненныя народныя идеи.

Мы убѣждаемся въ этомъ и на другихъ элементахъ славянской народной жизни, *обычаяхъ и общественныхъ понятіяхъ*. Новѣйшія изслѣдованія, еще далеко, впрочемъ, недостаточныя, показываютъ, что въ извѣстной намъ древности славянскія племена значительно сближались между собой въ своихъ бытовыхъ понятіяхъ и нравахъ: иначе говоря, въ тѣ времена славянскіе народы еще въ значительной степени сохраняли тотъ первобытный типъ общественнаго устройства, который составлялъ древнѣйшую черту цѣлаго племени. Типъ этотъ былъ, повидимому, общинно-демократическій, съ княземъ во главѣ, съ народными собраніями, патріархальнымъ управленіемъ въ семьѣ и юридической солидарностью общинъ (honitva, újezd у Чеховъ; opole у Поляковъ; «околина» у Сербовъ; вервь у Русскихъ). Юридическія понятія, господствовавшія въ обычномъ правѣ славянскихъ племенъ и сохранившіяся въ древнѣйшихъ славянскихъ законодательствахъ (Русская Правда, Законникъ царя Душана, Викторинъ изъ Вшегордъ и проч.), представляютъ много аналогій, объясняемыхъ общимъ происхожденіемъ. Таковы были, напримѣръ, понятія объ отношеніяхъ семейныхъ, о положеніи женщины, которая въ древнѣйшія времена пользовалась извѣстной самостоятельностью и равноправностью, объ общей порукѣ, о денежной пенѣ за уголовныя преступленія и т. п. Поэтому, древнія славянскія законодательства удобно объясняются одно другимъ, и тамъ, гдѣ патріархальная жизнь не была много передѣлана историческими событіями, народные обычаи славян-

скихъ племенъ до сихъ поръ обнаруживаютъ значительное сходство. Эта родственность простирается и на массу другихъ, не юридическихъ явленій быта, праздниковъ, обрядовъ, увеселеній и т. п., первоначальнымъ источникомъ которыхъ были религіозныя понятія стараго язычества: славянская этнографія до сихъ поръ впрочемъ еще не раскрыла хорошенько всего объема этой родственности.

Но и здѣсь опять съ большой силой дѣйствовало то историческое разъединеніе, которое мы видѣли въ судьбѣ языка и народной поэзіи. Славянскія племена съ самаго начала поставлены были въ самыя разнообразныя историческія условія, и юридическая идея первобытнаго славянства, собственно говоря, нигдѣ не нашла своего настоящаго развитія: она или была подавлена чужими общественными или политическими началами, или, даже и въ свободныхъ славянскихъ земляхъ, должна была уступить другимъ идеямъ. Въ южныхъ славянскихъ царствахъ эта идея не развилась, потому что самыя царства не сохранили политической самостоятельности; а во времена свободы она уступала передъ византійскимъ вліяніемъ. Въ древней Руси, старое общественное право, выражавшееся въ вѣчахъ, общинномъ самоуправленіи, избраніи князя, судебныхъ обычаяхъ и т. д., упало вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ цѣлая земля изъ демократической общины превращалась въ централизаціонное по своему царство: на мѣсто народнаго авторитета сталъ авторитетъ княжескій, обычный законъ измѣнился радикально, сначала подъ вліяніемъ византійства, потомъ московскаго царства. У Чеховъ, то же народное право уступало передъ феодальными нововведеніями; Поляки и западная Русь принимали цѣликомъ нѣмецкое магдебургское право и т. п. Вообще, въ западномъ славянствѣ отклоненія отъ первоначальнаго славянскаго типа юридическихъ народныхъ понятій были еще сильнѣе; восточные Славяне также удержали его далеко не въ той степени, какъ увѣряютъ приверженцы «народныхъ началъ». Въ послѣднее время, «правильныя законодательства» тѣхъ странъ, въ которыхъ жили славянскія племена, вообще слишкомъ мало руководились народными юридическими понятіями: они руководствовались и феодальными традиціями старой Европы, и обломками римскаго права, и новѣйшими бюрократическими изобрѣтеніями, и здравыми понятіями, пріобрѣтенными европейскимъ развитіемъ, — но не юридическими и общественными понятіями народа, и всего менѣе его патріархальными преданіями, — о которыхъ собственно и идетъ рѣчь. И славянство, не только на западѣ, но и на востокѣ (въ Россіи), должно было подчиняться юридическимъ началамъ, въ выработкѣ которыхъ не участвовало. На югѣ, оно должно было просто подчиняться безправію и произволу турецкаго господства и магометанскаго фанатизма... Народныя юридическія понятія, если гдѣ и сохранились, то сохранились чисто случайно, въ отдѣльныхъ обычаяхъ народнаго быта, гдѣ они бывали забыты законодательствомъ.

Таковъ теперь порядокъ вещей, относительно юридической идеи славян-

скаго племени. И пусть не думаютъ приверженцы народности, что эти народныя понятія такъ легко возстановить, такъ легко поднять ихъ изъ неразвитаго элемента въ принципъ цѣлаго законодательства,—потому, между прочимъ, что вліяніе чужихъ элементовъ, виной самаго народа, вошло уже въ исторію, стало также достояніемъ и чертой народности: это вліяніе должно было войти въ кровь. Если это возвышеніе народныхъ юридическихъ началъ крайне затруднительно, или даже невозможно, въ западномъ славянствѣ (напр. у Чеховъ, принявшихъ столько нѣмецкаго и австрійскаго), то оно не менѣе затруднительно и у восточныхъ (т. е. у насъ). Славянофильство можетъ толковать о самоуправленіи, и при настоящихъ реформахъ можетъ вспоминать о древней общинѣ, даже намекать на думы и соборы,—но оно можетъ быть положительно увѣрено, что «земскія учрежденія» взяты не изъ древней русской жизни, а изъ новыхъ бюрократичсскихъ соображеній, и что если бы даже явились у насъ и соборы, источникомъ ихъ была бы не память о народной старинѣ, а необходимость современной политической жизни, сознанная мимо всякихъ археологическихъ затѣй. Славянофильство и западный панславизмъ заблуждаются и въ томъ отношеніи, что не назначаютъ степени давности тѣхъ народныхъ началъ, которыя выдаются ими за національный идеалъ племени; относительно Руси, всего чаще припоминаютъ при этомъ времена московскаго царства, — но есть достаточно основаній думать, что эти времена были уже порядочнымъ упадкомъ «народныхъ началъ», потому, между прочимъ, что это были времена прикрѣпленія крестьянъ—факта самаго противо-народнаго.

Вообще говоря, древне-славянскій общественный строй совершенно упалъ уже въ старыя времена: вмѣсто демократическихъ общинъ, являются въ заключеніе государства съ центральной властью, сословіями и т. д., и вовсе не въ силу того, что славяне «измѣняли» своей старинѣ (какъ утверждаютъ крайніе приверженцы народности, считающіе, напримѣръ образованіе сословій явленіемъ чужимъ, принесеннымъ), а просто въ силу того, что прежнія общественныя основы не имѣли достаточной внутренней силы противъ притязаній монархіи и централизаціи, и, составляя принадлежность патріархальнаго быта, не были достаточны для болѣе сложныхъ отношеній развивавшагося общества...

Мы уже указали, какъ радикально славянскія племена были кромѣ того раздѣлены *религіозными* отличіями. Во имя «единства», цѣлый разрядъ славянскихъ патріотовъ отвергалъ это дѣленіе, въ томъ смыслѣ, что оно незаконно, что славянское племя должно возвратиться теперь къ тому же религіозному единству, которое до извѣстной степени соединяло славянскій міръ прежде, когда христіанство распространилось въ немъ преимущественно изъ Византіи, когда Византія, кромѣ южныхъ Славянъ и древней Руси, имѣла свои корни у Чеховъ и даже въ Польшѣ. Славянскіе патріоты, этого разряда, утверждаютъ, что римскій католицизмъ по своей сущности есть анти-славянская религія, и что онъ долженъ пасть... Относительно этого му-

дренаго вопроса, мы ограничимся здѣсь только замѣчаніемъ, что съ римскимъ католицизмомъ многія славянскія племена прожили все свое историческое существованіе, и что въ это время онъ успѣлъ сообщить имъ черты, которыя въ настоящее время составляютъ ихъ народное качество. Католицизмъ могъ быть анти-славянскимъ, но онъ сдѣлался въ нѣсколькихъ славянскихъ племенахъ давнимъ качествомъ народности, и слѣдовательно, въ настоящую минуту это опять новый фактъ противъ единства,— по крайней мѣрѣ въ томъ смыслѣ, какъ желаютъ этого единства славянофилы.

При всѣхъ обстоятельствахъ, нами указанныхъ, трудно ожидать конечно, чтобы славянская исторія представляла какія нибудь доказательства въ пользу славянскаго единства. Племена дѣйствительно жили раздѣльною жизнью, разорванныя въ самомъ началѣ въ своихъ интересахъ и стремленіяхъ, окруженныя совершенно разнохарактерными условіями. Образовалось множество «видовъ» славянскаго типа, которые вполнѣ отразили въ себѣ это разнообразіе условій, и наконецъ, стали въ самое отдаленное отношеніе къ своему первоначальному источнику, въ которомъ соединяло ихъ единство происхожденія. Ограничиваясь народной массой, мы найдемъ, что трудно возстановить общій типъ, соединяющій бѣлорусскаго крестьянина, великорусскаго мужика, далматинскаго ускока и т. д. Переходя въ образованный классъ, намъ столько же трудно совмѣстить въ какое нибудь славянское единство современныя общественныя стремленія Русскаго, Поляка, Чеха, Серба и т. д.: единство ихъ можетъ быть не столько славянское, сколько европейское, единство образованія и политическаго развитія; мѣстные же интересы совершенно своеобразны и очень часто противорѣчивы.

Не смотря на то, приверженцы славянскаго единства утверждали не рѣдко, что славянская исторія, при всей раздѣльности, представляетъ примѣры, доказывающіе силу славянской идеи, сознанія племенной родственности и т. д. Но достаточно всмотрѣться ближе въ общій характеръ мѣстной славянской исторіи, чтобы убѣдиться именно въ противномъ. Съ другой стороны, увѣряютъ, что мысль о славянскомъ единствѣ была сильна во многихъ сильныхъ умахъ, которые еще въ старину сознавали солидарность племенъ, составляющую предметъ стремленій новѣйшаго панславизма. Къ сожалѣнію, и это обстоятельство нельзя принять за несомнѣнный фактъ. Мы остановимся на нѣсколькихъ примѣрахъ. Историки указывали напр. то отчетливое знаніе славянскихъ племенъ, которое замѣчается въ разсказѣ лѣтописца Нестора. Народныя названія, которыя даетъ онъ славянскимъ племенамъ, показываютъ, что они знакомы были ему не книжнымъ образомъ,—иначе онъ могъ бы, пожалуй, и не знать ихъ племеннаго родства съ его собственной народностью:—слѣдовательно, у него было живое сознаніе племеннаго родства. Этнографическое знаніе Нестора дѣйствительно любопытно, но мы не придаемъ ему особеннаго значенія, въ смыслѣ панславизма. Во первыхъ, его этнографическое знаніе распространяется точ-

но такъ же и на народы не славянскіе: онъ такъ же хорошо знаетъ Свеевъ, Урманъ и даже Англичанъ; онъ знаетъ дорогу отъ Рима до Новгорода, — это было уже, конечно, не панславянскимъ инстинктомъ, а книжнымъ знакомствомъ съ современной географіей Европы, какъ у Аѳанасія Никитина было знакомство съ географіей южной Азіи. Что это было явленіе, до извѣстной степени исключительное, можно думать изъ того, что современные Нестору писатели и лѣтописцы другихъ Славянъ мало обнаруживаютъ подобнаго знакомства съ распредѣленіемъ своего племени. Всѣ они, и даже болѣе поздніе писатели, напротивъ, крайне рѣдко вспоминаютъ своихъ соплеменниковъ, или, даже называя ихъ, не подозрѣваютъ своей родственности съ ними, если эти соплеменники были слишкомъ далекимъ народомъ. Далматинскіе поэты цвѣтущей эпохи вспоминаютъ иногда о родственныхъ славянскихъ племенахъ, даже съ извѣстнымъ чувствомъ національной гордости, — но все это слишкомъ случайно и рѣдко, и знакомы имъ почти исключительно одни ближайшіе сосѣди, которыхъ они знали по непосредственнымъ сношеніямъ. Однимъ изъ самыхъ доказательныхъ примѣровъ панславянскаго сознанія въ старыя времена могъ бы служить извѣстный сербъ Юрій Крижаничъ, пріѣхавшій въ Россію въ 17-мъ столѣтіи и въ своихъ сочиненіяхъ старавшійся пробудить въ Русскихъ сознаніе своей славянской національности, напомнить имъ о единоплеменникахъ, подчиненныхъ иноземцамъ, и указать имъ роль освободителей и соединителей славянскаго племени. Крижаничъ — примѣръ дѣйствительно любопытный; но его панславизмъ — вовсе не непосредственное сознаніе, которое могло бы имѣть для насъ историческую цѣну въ настоящемъ случаѣ; это — чисто ученый панславизмъ, почти въ томъ родѣ, какъ онъ сталъ появляться съ конца 18-го столѣтія. Его исключительность доказывается, между прочимъ, тѣмъ, что стремленія Крижанича были мало понятны, или занимательны для тогдашнихъ Русскихъ. Въ нашей литературѣ 17-го вѣка онъ стоитъ совершенно одинокимъ явленіемъ. Русскіе въ то время такъ законопатили себя отъ всей Европы, что рѣчи Крижанича, безъ сомнѣнія, были бы совершенно непривычны и дики для ихъ слуха; и ссылка Крижанича въ Сибирь едва ли не имѣла своего основанія въ томъ, что онъ показался правительству вздорнымъ фантазеромъ. Что Крижаничу могли придти въ голову панславянскіе замыслы относительно Россіи, это весьма естественно для человѣка, который самъ лично хорошо зналъ западныя славянскія земли, слышалъ о сильномъ московскомъ царствѣ и потомъ, увидѣвъ его самъ, могъ убѣдиться, что при своихъ средствахъ оно могло бы въ самомъ дѣлѣ оказать помощь страдавшимъ единоплеменникамъ. Но эта мысль была не для всѣхъ доступна и доказательствомъ можетъ служить другой примѣръ — кроатскій поэтъ конца 17-го и начала 18-го вѣка, Витезовичъ, современный Петру Великому и написавшій ему стихотворный панегирикъ. Извѣстно, что имя Петра Великаго значительно разнеслось по славянскимъ землямъ. Когда Россія

вошла въ связи съ европейскими государствами и обратила на себя вниманіе гораздо сильнѣе, чѣмъ когда бы то ни было прежде, въ славянскихъ народахъ сказалась впервые та инстинктивная надежда, съ которой они послѣ такъ часто думали о Россіи и русскомъ заступничествѣ. Можно бы было ожидать, что славянскій поэтъ того времени, пишущій панегирикъ Петру Великому, именно остановится на этой сторонѣ предмета, что прославленіе русскаго царя затронетъ въ немъ національный интересъ племени, наведетъ на ту мысль, которая гораздо раньше, и при менѣе благопріятныхъ условіяхъ, овладѣвала Крижаничемъ. Но панегирикъ Витезовича вовсе не отвѣчаетъ этимъ ожиданіямъ: онъ остается совершенно хладнокровенъ къ племенному родству. Если славянскіе поэты и патріоты иначе стали относиться къ идеѣ племеннаго единства впослѣдствіи, — это имѣло свой источникъ уже въ обстоятельствахъ инаго свойства: къ идеѣ единства обратились не изъ врожденной наклонности, а изъ чувства самосохраненія.

Намъ скажутъ, что было однако много историческихъ фактовъ, которые указываютъ на важную роль племеннаго родства въ ходѣ славянской исторіи. Скажутъ напримѣръ, что съ этимъ родствомъ связано одно изъ важнѣйшихъ событій древней славянской исторіи — введеніе христіанства, которое явилось къ разнымъ славянскимъ племенамъ, какъ въ одну семью, и распространялось изъ Болгаріи на Русь, какъ изъ одной части одного и того же племени въ другую его часть: Русскіе приняли болгарское письмо и болгарскія книги, какъ свои. Намъ укажутъ, какъ долго длилась эта взаимность православной Руси съ православнымъ южнымъ славянствомъ, взаимность, до сихъ поръ продолжающая между ними родственную связь и симпатію. Намъ укажутъ на другіе факты, на связь Чеховъ съ Польшей въ средніе вѣка и въ эпоху гусситскаго движенія; укажутъ на труды славянскихъ послѣдователей реформы въ 16-мъ столѣтіи, дѣйствовавшихъ въ югозападныхъ племенахъ славянства, у Хорватовъ и Словинцевъ; укажутъ на родственную связь далматинскихъ Славянъ съ ихъ единоплеменниками въ Турціи; укажутъ, наконецъ, новѣйшіе факты родственнаго сочувствія, съ какимъ населеніе балканскаго полуострова принимало русскія войска, сражавшіяся съ Турціей, съ какимъ Далматинцы встрѣчали отряды нашего флота, появлявшіеся на Адріатическомъ морѣ и т. д. и т. д.

Всѣ эти факты дѣйствительно существовали, но они относятся къ общественнымъ и политическимъ причинамъ инаго рода, чѣмъ чистая идея національнаго единства. Отношенія древней Руси къ южному славянству основывались, конечно, на близости племенныхъ свойствъ; Русскіе могли принять болгарскія книги, потому что эти два языка были въ то время очень близки одинъ къ другому; въ первое время, Русскимъ по той же причинѣ удобно было принимать и самыхъ болгарскихъ священниковъ. Но сущность этихъ отношеній, ихъ прочность и продолжительность объясняются не національнымъ, а религіознымъ принципомъ: его вліянію и

должна быть приписана извѣстная связь, которая долго держалась и еще держится между православной частью славянскаго міра. Религіозный принципъ дѣйствуетъ совершенно независимо отъ національныхъ условій—и въ самомъ дѣлѣ, здѣсь онъ сначала только воспользовался удобными національными условіями (т. е. близостью нарѣчій), но за тѣмъ, національныя обстоятельства остались совершенно въ сторонѣ, и религіозное единство соединяло Русскихъ съ Болгарами и Сербами точно такъ же, какъ съ византійскими Греками, и съ послѣдними соединяло въ сущности даже больше. Южное славянство осталось близко намъ не столько потому, что было съ нами единоплеменно, сколько потому, что было единовѣрно. Иначе, мы должны были бы чувствовать ту же нѣжность и къ босанскимъ католикамъ (тѣмъ же Сербамъ) или къ католическимъ Далматинцамъ и Хорватамъ (также Сербамъ) и проч., но этой нѣжности никогда не оказывалось. Теоретически несомнѣнно, что религіозный принципъ въ сущности вредитъ и противорѣчитъ національному, когда разныя части одного народа держатся различныхъ религіозныхъ системъ. И въ самомъ дѣлѣ, если Русскіе были близки въ старину и послѣ къ единовѣрнымъ Сербамъ и Болгарамъ, они крайне удалились отъ всего остальнаго славянства только потому, что оно было католическимъ. Въ тѣ времена, когда наша историческая жизнь была еще свободна отъ всякихъ чужихъ культурныхъ вліяній, и руководилась непосредственными внушеніями патріархальныхъ понятій, Русскіе были какъ нельзя больше далеки отъ своихъ соплеменниковъ, которые были къ нимъ даже гораздо ближе Сербовъ и Болгаръ, но виноваты были въ католицизмѣ. Таковы были, напримѣръ, отношенія древней Руси къ «Литвѣ», т. е. къ Бѣлоруссамъ: они были еретиками, съ которыми, конечно, не могъ имѣть дѣла русскій православный человѣкъ 16—17-го вѣка,—онъ отрекся бы даже отъ нихъ, не только отъ другихъ славянскихъ католиковъ, если бы кто нибудь сталъ требовать отъ него братскаго сочувствія къ нимъ и единенія.

Тѣми же религіозными поводами объясняются связи между Чехами и Поляками, сначала въ эпоху введенія христіанства, потомъ въ эпоху гусситскаго движенія и реформаціи. Въ первое время и здѣсь національное сродство играло нѣкоторую роль, какъ оно обнаруживалось и въ дѣятельности славянскихъ апостоловъ и ихъ учениковъ на Моравѣ и въ Болгаріи. Но затѣмъ, существеннымъ рычагомъ отношеній сталъ чисто религіозный принципъ: гусситизмъ проникалъ въ Польшу, и двѣ страны соединялись въ извѣстной степени подъ одной реформаціонной идеей не потому, что они были единоплеменны, а потому, что находились въ аналогическомъ культурномъ положеніи. Извѣстный успѣхъ гусситизма въ Польшѣ оказался не потому, что онъ шелъ отъ Чеховъ, а потому что католицизмъ въ обѣихъ странахъ доводилъ дѣло до реакціи; и реакція, начавшись въ одномъ мѣстѣ, могла сообщиться и другому. Принципъ религіозный становится вообще выше національнаго въ такія эпохи, когда религія вообще владѣетъ умами. Чешскіе гусситы заботились только о пропагандѣ своего религіоз-

наго убѣжденія и были слишкомъ равнодушны къ національному вопросу цѣлаго племени. Когда извѣстные «чешскіе братья» старались отыскать историческія основы своего ученія, они послали своихъ довѣренныхъ ученыхъ людей къ Вальденсамъ западной Европы и въ Азію, гдѣ надѣялись отыскать первыхъ христіанъ, въ мнимомъ царствѣ пресвитера Іоанна; и эти союзники были для нихъ, конечно, дороже всякихъ славянскихъ единоплеменниковъ.

Приложивши вообще эту точку зрѣнія къ вопросу національнаго единства, мы увидимъ, что цѣнность національнаго начала значительно падаетъ, въ сравненіи съ вліяніемъ начала религіознаго, совершенно безразличнаго въ національномъ смыслѣ, или, въ другихъ случаяхъ, съ вліяніемъ культурныхъ отношеній, т. е. съ вліяніемъ образованія, промышленной дѣятельности и т. п. — Само собою разумѣется, что если потомъ, въ 18-мъ столѣтіи, опять начала вспоминаться у насъ связь съ южнымъ славянствомъ, то здѣсь снова играло важную роль то же религіозное единство, подогрѣтое дипломатическими соображеніями. Къ возобновленію воспоминаній немало послужили турецкія войны; войны эти велись изъ чисто-русскихъ интересовъ, но присутствіе православныхъ славянскихъ населеній было выгодно для интересовъ войны и потому въ число поводовъ, оправдывавшихъ войну, входила и защита самаго славянства. Но и здѣсь постоянно говорилось о «единовѣрныхъ», которые страдали подъ турецкимъ игомъ; «единоплеменность» или оставалась неизвѣстной, или стояла на второмъ планѣ.

Далѣе, указанные нами примѣры національныхъ сближеній или совмѣстнаго дѣйствія двухъ народностей ограничивались почти всегда ближайшимъ сосѣдствомъ. Въ такомъ сосѣдствѣ была нѣкогда Русь съ землей болгарской, Болгары съ Сербами, Чехи съ Поляками; — ясно, что это родство обнаруживалось слишкомъ наглядно: близкое сосѣдство должно было показать это родство той и другой сторонѣ. Дальніе соплеменники были вообще неизвѣстны: Русскіе едва знали о Чехахъ или Хорватахъ; Чехи едва ли подозрѣвали о существованіи Болгаръ. Нечего и говорить, что не могло быть и рѣчи о сознаніи какого нибудь славянскаго единства.

Такъ это велось въ старину, когда не было сдѣлано искусственнаго, учено-археологическаго изобрѣтенія славянскаго единства, изобрѣтенія, которое берется изобразить намъ славянское племя одной семьей любящихъ братьевъ и пророчить этимъ братьямъ такое завидное будущее. Когда славянскія племена не знали еще этого изобрѣтенія и довольствовались тѣми понятіями о своемъ родѣ-племени, какія давала непосредственная дѣйствительность, — имъ въ голову не приходили панславянскія мечты, они считали другъ друга родственными, но разными народами, поддерживали политическія отношенія, когда были политическими сосѣдями, какъ Россія съ Польшей, питали религіозное сочувствіе, когда принадлежали къ одному исповѣданію, какъ Россія съ Болгарами и Сербами, — и только. Во всемъ

они считали себя чужими другъ другу, и были дѣйствительно чужими. Народности нынѣшней Австрійской имперіи (Чехи, Хорваты, Галичане, Словинцы) почти всѣ были единовѣрны, т. е. были католиками, но это обстоятельство не дало имъ и религіозной связи: общій центръ, въ которомъ они сближались,—римскій папа,—былъ центръ слишкомъ отдаленный, и относясь къ нему, они не имѣли нужды сближаться между собою, и дѣйствительно не сближались. Отсюда и вышло то странное явленіе, что имперія, представляющая значительное меньшинство Нѣмцевъ, называется нѣмецкой и въ свое удовольствіе управляетъ огромнымъ большинствомъ Славянъ. Въ настоящее время, славянскіе патріоты съ негодованіемъ возстаютъ противъ этого факта, но не замѣчаютъ, что возставать смѣшно, потому что австрійское славянство и теперь осталось такимъ же, какъ прежде, и что, за недостаткомъ его политическаго развитія, Нѣмцамъ все еще не остается ничего больше, какъ распоряжаться имъ по своему вкусу.

Но въ заключеніе этой исторіи, длившейся многіе вѣка, мысль о единствѣ снова является на сцену, и уже сознательно. Это совершилось въ такъ называемомъ панславизмѣ. Въ нашемъ изложеніи, мы остановимся подробнѣе на этомъ національномъ движеніи славянскаго племени, и теперь указываемъ его—вмѣстѣ съ тѣми данными, на которыхъ оно опирается—чтобы обозначить условія, опредѣлившія историческое развитіе славянскаго образованія и литературы, и точнѣе понять то явленіе, которому славянскіе патріоты предсказывали міровое господство. И на этотъ разъ, Славяне разныхъ племенъ пришли къ идеѣ панславизма различными путями. Прежде всего, она была почти ученымъ открытіемъ, въ родѣ открытія единства индоевропейскаго: ученыя изслѣдованія, въ которыхъ началось первое зарожденіе панславистской идеи, шли совершенно ощупью,—и представители ея прежде всего являются въ тѣхъ народностяхъ, гдѣ возможнѣе была ученая дѣятельность и гдѣ, кромѣ того, сильнѣе чувствовалась потребность въ этой идеѣ. Это было у Чеховъ (Добровскій, Шафарикъ, Колларъ и др.) Панславистская идея дѣйствительно имѣла свои историческія данныя. Конецъ 18-го и 19-е столѣтіе ознаменовываются въ славянской литературѣ всеобщимъ, хотя и въ разной степени сильнымъ, возрожденіемъ славянскихъ народностей,—но въ этомъ возрожденіи еще не было панславизма: оно появлялось просто вслѣдствіе бóльшаго распространенія образованія и гуманныхъ идей прошлаго вѣка. Панславизмъ, какъ опредѣленное направленіе, является уже значительно позднѣе. Когда, вмѣстѣ съ потребностью народнаго образованія, явилась и потребность политическихъ правъ народности (освобожденіе Сербіи; стремленіе къ народной равноправности съ Нѣмцами—у Чеховъ, съ Мадьярами—у Словаковъ и Хорватовъ, съ Греками—у Болгаръ), то народы невольно оглядывались на свое прошедшее и искали себѣ нравственной поддержки въ мысли о цѣломъ племени: слабые сами по себѣ, они надѣялись на силу этого цѣлаго племени, археологія подтверждала ихъ прежнюю самобытность и единство съ этимъ цѣлымъ, и—

самый восторженный панславизмъ былъ готовъ. Самые рьяные панслависты, или виновники панславизма, были археологами; археологами дѣлались даже поэты панславизма, какъ напр. Колларъ. Такимъ образомъ, у каждаго племени панславянское стремленіе происходило отъ чисто-мѣстныхъ, практическихъ и потому относительно новыхъ причинъ; его напряженность была соразмѣрна съ большей или меньшей силой ихъ дѣйствія; когда эти практическія причины дѣйствовали особенно сильно, панславянское движеніе могло обнаруживаться почти внезапно, какъ было напр. у Хорватовъ. Въ томъ цѣломъ, къ которому старались примкнуть эти безправныя народности, первую роль по своей силѣ играла конечно Россія,—и съ этого времени въ особенности она пріобрѣтаетъ между Славянами популярность, какой не имѣла никогда прежде. Панславизмъ нашелъ своихъ защитниковъ и здѣсь, но здѣсь они руководились уже другими основаніями: въ нихъ задѣто было національное самолюбіе, и желаніемъ ихъ всего чаще бывало то, чтобы «славянскіе ручьи сливались въ русскомъ морѣ»,—о чемъ собственно и не думали западные панслависты, по крайней мѣрѣ лучшіе.

Въ этомъ своемъ видѣ, т. е. въ видѣ неяснаго инстинкта и археологическаго открытія, панславизмъ хотя и подавалъ надежды тѣмъ политическимъ стремленіямъ, которыя стали пробуждаться въ южномъ и западномъ славянскомъ мірѣ, но онъ все еще не давалъ для политическаго прогресса никакой положительной поддержки. Вся разница исторической жизни, которая легла въ цѣлыя столѣтія между славянскими племенами, не уничтожалась отвлеченнымъ открытіемъ панславянской идеи. На дѣлѣ, они продолжаютъ оставаться чужды другъ другу. Литературная «взаимность», о которой такъ много говорилось въ 30-и 40-хъ годахъ, мало помогаетъ дѣлу, тѣмъ больше, что до сихъ поръ она существуетъ въ размѣрахъ самыхъ ограниченныхъ; славянскія народности — взятыя въ цѣломъ—почти также мало какъ прежде, понимаютъ другъ друга, потому что до сихъ поръ не имѣютъ общаго интереса политическаго и интереса общественнаго; а въ немъ, конечно, и заключается единственная возможность единства и взаимности. Разбитые на нѣсколько государствъ, изъ которыхъ одно только вполнѣ самостоятельно, славянскіе народы поглощены совершенно различными заботами и почти вездѣ до такой степени лишены всякой свободной общественной иниціативы, что не могутъ дать другъ другу никакой положительной помощи, еслибы даже мысль о ея необходимости и вполнѣ въ нихъ созрѣла. Чѣмъ могъ бы Чехъ помочь Болгарину или Русскій Словаку или Хорвату?... Ихъ раздѣляетъ и весьма различный уровень и направленіе общественной культуры: для однихъ, какъ для Болгаръ и Сербовъ, вопросъ идетъ о какомъ нибудь спасеніи отъ азіатскаго произвола и фанаріотскаго грабежа; для другихъ, какъ для Чеховъ и другихъ австрійскихъ Славянъ, онъ заключается въ сохраненіи народности, угрожаемой ненавистной германизаціей, т. е. притязаніями нѣмецкой цивилиза-

ціи, чувствующей свое интеллектуальное и матеріальное превосходство; для значительной массы третьихъ, Поляковъ, вопросъ о національномъ развитіи принимаетъ опять особое направленіе, и у значительной части общества не отдѣляется отъ европейскаго радикализма, отъ котораго всѣми силами открещивались Чехи, и который совершенно непонятенъ для другихъ Славянъ; наконецъ, для Русскихъ этотъ вопросъ поглощенъ дѣломъ собственной организаціи и стремленіемъ установить разумнымъ образомъ внутреннія отношенія. Такимъ образомъ, уровень общественнаго интереса весьма различенъ и интересъ этотъ направленъ на весьма различные предметы, такъ что отдѣльныя народности, призываемыя панславизмомъ къ единству и взаимности, должны ограничиться только отвлеченными симпатіями; настоящаго общаго практическаго дѣла у нихъ еще нѣтъ. Оно будетъ возможно только тогда, когда въ отдѣльныхъ народностяхъ достаточно объединятся общія руководящія начала общественнаго развитія, когда политическое освобожденіе несвободныхъ славянскихъ племенъ дастъ имъ полную свободу дѣйствія. Но какъ пойдетъ тогда славянскій прогрессъ,— будетъ ли онъ слѣдовать тѣмъ принципамъ славянской старины, которые были отысканы археологами, и которые, по надеждамъ славянофиловъ, должны представить міру новую невиданную славянскую цивилизацію, — или же этотъ прогрессъ пойдетъ уже открытымъ путемъ, и сдѣлается прогрессомъ европейскимъ,—рѣшитъ конечно исторія... Мы находимъ только, что для высокомѣрнаго провозглашенія «новой» цивилизаціи еще не предвидится достаточно данныхъ, и что усвоеніе и продолженіе европейскаго прогресса вовсе не кажется намъ дѣломъ антипатичнымъ славянской природѣ.

3. ХРИСТІАНСТВО И ГРАМОТА.

Принятіе христіанства, какъ мы уже замѣтили, было первымъ важнымъ событіемъ въ культурной исторіи славянства [13]). Съ него начинается и

[13]) Для знакомства съ древнимъ періодомъ старо-славянской письменности и языка, и съ дѣятельностью Кирилла и Меѳодія, могутъ служить слѣдующія книги: — I. Добровскій: Institutiones linguae Slavicae dialecti veteris, Vind. 1822 (русскій перев. Шевырева и Погодина, 1833 — 34, 2 ч.); Entwurf zu einem allgemeinen Etymologikon der slaw. Sprache, Prag 1813; Slavin, Прага 1808, 2-е изд. Ганкп, 1834; Slovanka, ib. 1814—15;—А. Востоковъ: Разсужденіе о славянскомъ языкѣ и пр. въ „Трудахъ Общ. Люб. Росс. Слов. при Моск. Унив." 1820, ч. 17; его же статьи въ „Библіогр. Листахъ" П. Кёппена, Спб. 1827 (объясненія къ Фрейзингенской рукописи); Описаніе рукописей Румянцовскаго Музеума, Спб. 1842; Остромирово Евангеліе, Спб. 1843; Словарь церковно-слав. языка (въ акад. Извѣст. и отдѣльно);— Barth. Copitar: Glagolita Cloz'anus; B. K-rs Kleinere Schriften, herausg. von Miklosich, Wien 1857;—П. Шафарикъ, Rozkvět slov. literatury v Bulharsku, въ Čas. Česk. Mus. 1848; О древне-слав. кирилловскихъ типографіяхъ (переводъ въ „Чтеніяхъ" 1846);—Фр. Миклошичъ: Radices linguae Slovenicae veteris dialecti, Лейпц. 1845; Lexicon l. Slov. vet. dial., Вѣна 1850; Monumenta linguae Palaeoslov. e codice Suprasliensi, Вѣна 1851; Lautlehre der altslovenischen Sprache, Вѣна 1850; Formenlehre der altslov. Spr., Вѣна 1850, и друг.; — A. Schleicher, Die Formenlehre der Kirchenslav. Sprache, erklärend und vergleichend dargestellt, Bonn 1852;—

первая славянская грамота, первое образованіе, открывшее возможность литературнаго развитія, — потому что о *чертахъ* и *рѣзахъ*, которыми писалось у Славянъ до христіанства, неизвѣстно ровно ничего. Мы не будемъ разсказывать исторіи проповѣди христіанства между Славянами: мы предполагаемъ, что читателямъ нашимъ достаточно извѣстна дѣятельность Кирилла и Меѳодія, съ именами которыхъ связано изобрѣтеніе славянской азбуки и первый переводъ св. писанія и церковныхъ книгъ на славянскій языкъ; извѣстна дѣятельность Меѳодія между паннонскими и моравскими Славянами и отношенія его къ Риму и римскому духовенству. Мы считаемъ возможнымъ опустить эти не существенныя для насъ подробности тѣмъ больше, что вопросъ о введеніи христіанства и о грамотѣ принадлежитъ къ числу наиболѣе разработанныхъ пунктовъ славянской старины. Достаточно упомянуть, что въ переводахъ св. писанія и другихъ церковныхъ книгъ православные Славяне получили первые общіе памятники литературнаго языка и первыя основы ихъ общей религіозной культуры.

Языкъ, на который впервые было переведено у Славянъ св. писаніе, былъ народный языкъ Славянъ болгарскихъ, — историческое значеніе перевода заключается въ томъ, что болгарскій языкъ въ первый разъ пріобрѣлъ въ немъ литературную обработку: при тогдашней близости славянскихъ нарѣчій между собою, этотъ языкъ былъ легко доступенъ другимъ славянскимъ племенамъ и сталъ общимъ церковнымъ языкомъ православнаго славянства; и такъ какъ первая писательская дѣятельность посвящалась всего больше церковному догматическому ученію и церковной морали, то тотъ же церковный языкъ сталъ и языкомъ литературнымъ. Формы

В. Григоровичъ, Статьи, касающіяся древняго Слав. языка, Казань 1858;—Ѳ. Буслаевъ, О вліяніи христіанства на слав. языкъ, опытъ исторіи языка по Остромирову Евангелію, М. 1848;—К. Калайдовичъ, Іоаннъ, Экзархъ Болгарскій, Спб. 1824;—Филаретъ (еп. рижскій), Кириллъ и Меѳодій, слав. просвѣтители, въ „Чтеніяхъ“ 1846, кн. 4;—С. Палаузовъ, Вѣкъ болгарскаго царя Симеона, Спб. 1852;—О. Бодянскій: О времени происхожденія славянскихъ письменъ (съ обширнымъ разборомъ литературы вопроса), М. 1855; Кириллъ и Меѳодій. Собраніе памятниковъ, до дѣятельности св. первоучителей и просвѣтителей слав. племенъ относящихся, въ „Чтеніяхъ“ 1863, кн. 2 слѣд.;—Franjo Rački, Viek i djelovanje sv. Cyrilla i Methoda, Загребъ 1857;—П. Лавровскій, Кириллъ и Меѳодій, какъ правосл. проповѣдники у западн. Славянъ, въ связи съ современною имъ исторіею церковныхъ несогласій между Востокомъ и Западомъ, Харьковъ 1863.

Литература вопроса о глаголицѣ подробно указана у Шафарика, въ изданіи глаг. памятниковъ (р. LV—LVI) и въ изслѣдованіи о времени изобрѣтенія слав. азбуки, Бодянскаго. Мы назовемъ только главныя сочиненія: І. Добровскій, Glagolitica, Пр. 1807; 2-е изд. 1832;—Б. Копитаръ: Gramm. der slav. Sprache in Krain etc., Laibach 1808; Glagolita Clozianus, Vind. 1863;—Fr. Miklosich, Zum Glagolita Clozianus, Wien 1860; (таже Извѣст., т. 9-й);—Добровскій: Institutiones; Slavin и Slovanka;— Я. Гриммъ, рецензія Glag. Cloz. Копитара въ Gött. Gel. Anzeig. 1836, № 33—36;— П. Прейсъ, въ Журн. М. Нар. Просв. 1843, кн. 3; — И. Срезневскій, ib 1848, кн. 7, и въ академич. Извѣстіяхъ;—В. Григоровичъ, Очерки путешествія по Евр. Турціи, Каз. 1848; въ „Извѣстіяхъ“, и въ Журн. М. Н. Пр. 1852, кн. 3;—В. Ганка, Остатьци славянскаго богослуженія у Чеховъ. Пр. 1859;—П. Шафарикъ: Památky hlaholského písemnictví, Прага 1853;—Ueber den Ursprung und die Heimath des Glagolitismus, Прага 1858 (разборъ мнѣній Шафарика, Викторова, въ Лѣтоп. рус. Литер. и Древн.);—I. Berčič, Chrestomathia linguae veteroslovenicae charactere glagolitico, Прага 1859.

его господствовали въ произведеніяхъ писателей болгарскихъ, сербскихъ и русскихъ, и держались, при всѣхъ усиліяхъ народныхъ нарѣчій пріобрѣсть литературную независимость, очень долго, — въ церковной литературѣ его вліяніе отзывается и до сихъ поръ.

Изобрѣтеніе славянской азбуки относятъ къ 861 — 862 году. Но кромѣ этой азбуки, — кирилловской, — существовала, также съ очень древняго времени, другая славянская азбука, такъ называемая глаголическая или глаголица, имѣющая во многихъ отношеніяхъ сходство съ кирилловской, но совершенно своеобразная, искусственная и довольно вычурная по формѣ своихъ знаковъ. Глаголица въ древности была въ большомъ употребленіи у Славянъ южныхъ, особенно у Болгаръ и далматинскихъ Хорватовъ; глаголическія рукописи находимы были также въ Россіи и даже въ Чехіи. Но происхожденіе этой азбуки покрыто совершеннѣйшимъ мракомъ неизвѣстности: поэтому и мнѣнія о ея древности и началѣ сильно раздѣлились, такъ что иные (Копитаръ, Григоровичъ, Шафарикъ) считали глаголицу древнѣе кирилловской азбуки, утверждали даже, что она и была настоящимъ изобрѣтеніемъ Кирилла, которое потомъ упрощено было Климентомъ, и впослѣдствіи, въ новомъ своемъ видѣ, неправильно приняла названіе кириллицы. Далѣе, одни родиной ея считаютъ Болгарію, другіе приморскую Хорватію, гдѣ глаголица всего больше была въ ходу впослѣдствіи. Кромѣ совершеннаго отсутствія всякихъ положительныхъ историческихъ указаній, запутанность вопроса увеличивается тѣмъ, что глаголица существовала у Болгаръ и Хорватовъ одновременно съ кирилловской азбукой, что и то и другое письмо передавало одинъ переводъ священныхъ книгъ, что обѣ азбуки смѣшивались иногда въ одной и той же рукописи. Самое вѣроятное изъ всѣхъ мнѣній объ этомъ предметѣ то, которое считаетъ, что глаголица была изобрѣтеніемъ Славянъ далматинскихъ, что это изобрѣтеніе (можетъ быть, вслѣдствіе гоненій на славянскую литургію, приводившихъ далматинцевъ къ православнымъ Болгарамъ) занесено было и въ Болгарію, гдѣ также нашло вѣроятно не мало прозелитовъ; у этихъ далматинскихъ Славянъ оно и сохранилось исключительно впослѣдствіи. Глаголическія книги заключали въ себѣ первоначально списки съ кирилловскихъ текстовъ св. писанія и церковныхъ книгъ; но впослѣдствіи, когда православная литургія подверглась въ Далмаціи запрещеніямъ и преслѣдованіямъ, эти книги были измѣнены въ духѣ римской церкви, богослуженіе стало совершаться по римскому обряду; и въ этомъ новомъ видѣ глаголическія книги, уже не опасныя больше для католическаго духовенства, остаются до сихъ поръ церковными книгами въ значительной массѣ Сербохорватовъ Далмаціи, — хотя впрочемъ число глаголитовъ въ послѣднее время сильно уменьшается.

Глаголиты были такимъ образомъ единственные католики, сохранившіе (хотя въ измѣненномъ видѣ) славянское богослуженіе. Но общимъ правиломъ было то, что славянское богослуженіе и кирилловская азбука при-

надлежали православнымъ; у Славянъ католическихъ господствовала латынь въ богослуженіи и латинская азбука въ славянскомъ письмѣ.

Двойная азбука, славянская (главнымъ образомъ кирилловская, и только отчасти глаголица) и латинская, соотвѣтствовала двойному характеру славянскаго христіанства.

Христіанство распространилось между Славянами изъ двухъ источниковъ, византійскаго и римскаго: первое распространялось на Славянъ восточныхъ, Болгаръ, Сербовъ и Русскихъ, соединялось съ литургіей на народномъ языкѣ; второе господствовало у западныхъ племенъ, у Славянъ прибалтійскихъ, Чеховъ, Поляковъ, западныхъ Сербовъ и Хорутанъ, и приводило съ собой католическую латынь. Первоначально, грековосточное христіанство имѣло впрочемъ болѣе обширную область, и кромѣ Моравіи, гдѣ дѣйствовали Кириллъ и Меѳодій, оно простиралось также на Польшу и Чехію, куда оно проникло сначала также изъ византійскаго источника. Впослѣдствіи, даже очень скоро, это грековосточное христіанство вытѣснено было изъ Польши, Чехіи и самой Моравіи католическимъ духовенствомъ. Притязанія католицизма не ограничились и этимъ: южные Славяне, Болгары и Сербы (не только въ Далмаціи, но и въ самой Сербіи и Боснѣ), были постоянно подъ вліяніемъ Рима. Это вліяніе Рима въ южныхъ земляхъ началось еще до раздѣленія церквей, когда папы старались включить эти земли въ составъ своей епархіи, — вліяніе продолжалось и послѣ раздѣленія церквей, когда отношенія папъ къ Византіи становились чисто враждебными: славянскіе князья, цари Болгаріи, крали Сербіи, князья Босніи, очень часто дѣлали религіозный вопросъ католицизма и грековосточнаго православія просто вопросомъ политики и переходили на сторону Рима, когда нужно было его вліяніе, когда желательно было получить титулъ и церковное освященіе власти. Въ теченіи очень долгаго времени южно-славянское христіанство было спорнымъ между Римомъ и Византіей. Мы не имѣемъ достаточно точныхъ свѣдѣній о томъ, какъ собственно смотрѣла на это народная масса, — но результатомъ было то, что въ Болгаріи и Сербіи перевѣсъ остался на сторонѣ православія, хотя въ нихъ были и послѣдователи католичества; въ Боснѣ число этихъ послѣдователей было уже весьма значительно (католицизмъ играетъ въ ней роль и до сихъ поръ); наконецъ въ Далмаціи — перевѣсъ католичества былъ рѣшительный.

Нѣтъ сомнѣнія, что это религіозное раздѣленіе оставило большіе слѣды и на цѣлой исторіи племени, — потому что усилило его разъединеніе; и на отдѣльныхъ народностяхъ, — потому что давало различное направленіе первымъ зародышамъ образованія, которые уже съ того времени должны были развиваться въ нихъ подъ различными вліяніями, или Рима, или Византіи. Но конечно очень странно было бы давать этому различію въ религіозномъ направленіи то фатальное значеніе, какое даютъ ему нѣкоторые ревнители древняго славянства, особенно изъ школы московскаго панславизма. Забывая, что Славяне нѣкогда были даже вовсе язычниками, что

народныя свойства и понятія старыхъ Славянъ, уже имѣвшихъ отдѣльныя народности, выработались еще въ далекій до-христіанскій періодъ; что въ слѣдствіе консерватизма медленно развивающейся народно-патріархальной среды даже и въ наше время этнографія нападаетъ иногда въ народѣ на слѣдъ языческаго пантеизма; забывая наконецъ и факты дальнѣйшей исторіи,—эти историки выдаютъ намъ одну форму христіанства за непремѣнное условіе славянской природы и народности, другую за послѣднюю гибель этой природы. Первая изъ этихъ формъ, по ихъ мнѣнію,—православное христіанство; вторая—христіанство римское: истинная славянская народность должна необходимо соединяться съ православіемъ; та, которая не соединяется съ нимъ, есть народность не настоящая, а испорченная. На этомъ положеніи строится затѣмъ вся исторія славянскаго племени, имъ объясняются всѣ прошедшія и настоящія его судьбы: одной религіозной формѣ приписываются нравственныя и общественныя достоинства восточнаго славянства, сохранившаго будто бы древнія народныя начала; другой, заключавшей въ себѣ преклоненіе передъ ложнымъ авторитетомъ,— потеря народности и всѣ гибельныя явленія въ жизни славянства западнаго, его ненормальныя общественныя отношенія, отдѣленіе аристократіи отъ народа, униженіе массъ, феодализмъ, паденіе общины и т. д. Важнѣйшее событіе религіозной исторіи западнаго славянства, гусситизмъ, возставшій противъ католичества, изображается въ этой школѣ именно «національно-славянскимъ» протестомъ противъ Рима, протестомъ, которому будто бы Чехія только и обязана спасеніемъ отъ окончательной гибели ея народности и т. д. Эта исключительная точка зрѣнія проводится на всѣ явленія славянской исторіи; на ея основаніи, вся исторія западнаго славянства представляется грѣхомъ, за который оно терпитъ въ настоящее время униженіемъ своей народности и своего политическаго значенія: западное славянство можетъ возвратить свою нравственную силу только полнымъ возрожденіемъ, возвращеніемъ къ выше указаннымъ непремѣннымъ условіямъ истинно славянской народности.

Мы могли бы, собственно говоря, оставить въ сторонѣ мнѣнія, объясняющія славянскую исторію такимъ одностороннимъ фатализмомъ, но люди этихъ мнѣній въ особенности часто берутся въ нашей литературѣ объяснять судьбы славянскаго племени, и обойти ихъ было бы невыгодно въ интересѣ читателя. Притомъ этими мнѣніями питается школа, которая и въ исторію нашей собственной народной жизни вноситъ тѣ же односторонности и странности... Мы уже замѣтили, что религіозныя отношенія славянства имѣли безъ сомнѣнія значительное вліяніе на его исторію, но никакъ не думаемъ, чтобы дилемма, выставленная школой, могла имѣть такія крайнія слѣдствія. Кромѣ религіозныхъ отношеній, славянская исторія устроилась множествомъ другихъ отношеній: племена занимали извѣстныя мѣстности, которыя дѣйствовали на характеръ ихъ культуры своими естественными свойствами; пріобрѣтали разныхъ сосѣдей, часто самымъ положительнымъ образомъ опредѣлявшихъ направленіе ихъ развитія (напр.

сосѣдство Чеховъ съ Нѣмцами, далматинскихъ Сербовъ съ Италіей и проч.), становились въ разныя культурныя условія. Матеріальное подчиненіе, независѣвшее отъ нравственныхъ качествъ народности, одинаково уничтожало свободу развитія, каковы бы ни были условія религіозныя (положеніе подчиненныхъ Болгаръ и Сербовъ, и положеніе бѣлорусскаго и великорусскаго крѣпостнаго въ прежнія времена); близость культурнаго народа могла дѣйствовать независимо отъ религіозныхъ отношеній, и чужая культура иногда связывалась съ самымъ живымъ сознаніемъ своей народности (Гусъ и его послѣдователи); извращеніе общественныхъ отношеній совершилось также совершенно независимо отъ религіозныхъ условій: рядомъ съ феодализмомъ германскимъ можетъ быть поставленъ феодализмъ византійскій, рядомъ съ не національно развившейся аристократіей Поляковъ и Чеховъ могутъ быть вполнѣ поставлены боярство русское и старое южно-славянское; положеніе народной массы было одинаково въ государствѣ по нѣмецки-феодальномъ и въ московскомъ царствѣ 17-го вѣка и т. д. Гдѣ больше терялся характеръ народности, гдѣ больше народъ становился тяжелой на подъемъ массой, — выбрать трудно. Однимъ словомъ, странно приписывать одной религіозной формѣ значеніе исключительнаго условія истинной славянской національности и къ ней одной сводить не только славянское прошедшее, но и будущее. Славянство восточное и западное одинаково представляло въ своемъ прошедшемъ много печальныхъ примѣровъ народнаго упадка, которыхъ никакъ не объяснитъ исключительно клерикальная точка зрѣнія. Если школа указываетъ на внутренній упадокъ нравственныхъ началъ и представленій народности, совершавшійся будто бы въ католическомъ славянствѣ, и бывшій будто бы источникомъ внѣшняго общественнаго упадка, то и здѣсь опять является передъ нами та же параллельность явленій, не рѣшающая вопроса: если католическій Римъ требовалъ поклоненія религіозному авторитету, онъ давалъ—въ противодѣйствіе ему —и значительную долю умственнаго развитія, смягчавшую крайности этого поклоненія; у Славянъ восточныхъ не было правда этого именно авторитета, но за то народное невѣжество поддерживалось литературнымъ застоемъ. Умственное развитіе восточнаго славянства во всѣ средніе вѣка, и почти и до нашего времени, всегда стояло ниже, чѣмъ у Славянъ западныхъ. Отрицаніе одинаково является въ славянствѣ восточномъ и западномъ, только въ первомъ формы его были несравненно грубѣе и неразвитѣе: таковы съ одной стороны еретическія движенія восточнаго славянства—богомильство у Болгаръ и Сербовъ, стригольничество и жидовство, ересь Башкина и т. д. у Русскихъ; таковы съ другой стороны, въ западномъ славянствѣ знаменательное движеніе гусситовъ въ Чехіи и замѣчательный успѣхъ протестантизма въ цѣломъ чешскомъ племени, у Хорватовъ и Хорутанъ, и даже у Поляковъ. Первыя не могли создать никакой положительной доктрины, хотя и не лишены были значенія для своей частной среды; смѣлая мысль гусситовъ стала культурнымъ

явленіемъ великой исторической важности... Наконецъ, и сами послѣдователи панславянской школы должны согласиться, что общественное развитіе новаго времени совершается уже независимо отъ воззрѣній, господствовавшихъ въ средніе вѣка, и потому средневѣковая мѣрка уже не прилагается къ фактамъ новой общественной и политической жизни.

По мнѣнію школы, римскій католицизмъ подкапывалъ самыя основы славянской народности, такъ что послѣдняя можетъ быть теперь отыскана только въ русской землѣ, и преимущественно въ московской губерніи; что католицизмъ истребилъ весь тотъ запасъ народныхъ взглядовъ и убѣжденій, обычаевъ и преданій, который составляетъ то, что называютъ народностью; что поэтому у Славянъ восточныхъ она сохраняется чище и невредимѣе... Эти понятія о славянской народности, очевидно, основаны на недоразумѣніи. Неизмѣнныхъ народностей не бываетъ на свѣтѣ,—они не измѣняются, по крайней мѣрѣ скоро и замѣтно, только у народовъ ведущихъ жизнь чисто животную; но во всякомъ народѣ, имѣющемъ сколько нибудь собственной мысли и живой дѣятельности, такъ называемая народность измѣняется съ каждымъ періодомъ его исторической жизни. Если намъ говорятъ о подлинной русской православной народности, выдавая ее за коренную славянскую, мы въ полномъ правѣ не считать ее таковой, потому что коренная народность уже измѣнилась самымъ фактомъ принятія христіанства. Затѣмъ и послѣ русская народность нѣсколько разъ видоизмѣнялась событіями—татарскимъ нашествіемъ, московскимъ царствомъ, крѣпостнымъ состояніемъ, реформами Петра и т. д., которыя всѣ опять положили на нее новыя черты, неизвѣстныя прежде и конечно не принадлежавшія первобытной славянской народности. Изъ того, что русская народность самая обширная по своей численности, никому конечно не вздумается выводить, что она есть и самая подлинная славянская народность... Если русское племя далеко не сохранило своего прежняго характера,—хотя имѣло для того всѣ удобства по своему уединенному положенію,—естественно, что и другія народности также могли видоизмѣняться по своимъ историческимъ условіямъ: разница только въ обстоятельствахъ, а не въ сущности явленія. Правда, въ западномъ славянствѣ сильнѣе сказалось вліяніе элементовъ чуженародныхъ, но если они были имъ переработаны и усвоены безъ потери своей національной особности, то въ этомъ мы видимъ только новую форму, какую способна была принять славянская племенная природа; если же народность терялась при этомъ, перерождаясь въ чужую національность высшей культуры, то и это собственно не представляетъ ничего особенно печальнаго, потому что народность оказывается въ такомъ случаѣ слабой и неспособной... Защитники славянской расы оплакиваютъ обыкновенно въ западномъ католическомъ славянствѣ упадокъ стараго славянскаго преданія и обычая, миѳовъ народной поэзіи и т. д.; — но эти сожалѣнія опять не убѣдительны исторически. Въ чемъ состоитъ это затерянное богатство миѳовъ и т. п.? Оно состояло въ запасѣ фантастическихъ представленій патріархальнаго быта, запасѣ, который съ

теченіемъ времени потерялъ уже всякій дѣйствительный смыслъ и сохранилъ непосредственную прелесть только для неразвитаго воображенія, незанятаго болѣе зрѣлымъ поэтическимъ содержаніемъ. Если мы сами имѣли нѣкоторое право не сожалѣть о потерѣ вѣры въ народную миѳологію, то съ тѣмъ же правомъ можно не жалѣть и о народѣ, который перестаетъ вѣрить въ фантастическія пугала своего дѣтства, и замѣняетъ ихъ болѣе здравыми понятіями. Защитники народности обыкновенно замѣчаютъ на это, что отъ этого много теряетъ народная поэзія: теряетъ конечно, потому что съ прекращеніемъ миѳологической вѣры и поэзія ея забывается народомъ, который начинаетъ искать себѣ поэзіи, болѣе отвѣчающей его дѣйствительному настоящему. Если только народная жизнь развивается свободно, народъ создаетъ себѣ новую поэзію, какъ создали ее напр. Малоруссы въ 15—17 столѣтіяхъ... Наконецъ, сбереженіе тысячелѣтнихъ миѳовъ мы не считаемъ для народа особеннымъ преимуществомъ: археологу и этнографу конечно пріятно встрѣтиться съ ними черезъ такой длинный промежутокъ времени, но сохраненіе ихъ едва ли не показываетъ, что этотъ длинный промежутокъ прошелъ для народа совершенно даромъ, не остановивши его вниманія никакимъ новымъ предметомъ. Исторія конечно заключается не въ этой неподвижной традиціи народности (которую такъ восхваляютъ въ восточномъ славянствѣ его приверженцы), а въ широтѣ ея опыта и продуманнаго содержанія, въ живой и развивающейся дѣятельности ея матеріальныхъ и нравственныхъ силъ, — что собственно и даетъ ей значеніе въ исторіи культуры.

Такимъ образомъ, съ самаго начала славянское племя пошло двумя разными путями. Западное славянство приняло католицизмъ, взявшій здѣсь верхъ надъ грековосточнымъ христіанствомъ, и вслѣдствіе своихъ географическихъ условій стало въ непосредственныя отношенія къ средневѣковому европейскому западу. Чехія, Польша, югозападныя сербскія племена, не говоря о затерявшихъ свою народность Славянахъ прибалтійскихъ, вовлечены были въ исторію средневѣковой средней Европы, и за исключеніемъ Польши и крайняго югозапада, вошли даже въ составъ нѣмецкой римской имперіи. Наиболѣе характеристично было состояніе Чехіи: католическая латынь не помѣшала въ ней явиться замѣчательнымъ народно-поэтическимъ произведеніямъ, отъ 9—10 до 13-го столѣтія; впослѣдствіи, народное направленіе литературы ослабѣваетъ, но вовсе не отъ вліянія латыни, а отъ вліянія нѣмецкаго, не религіознаго, а культурнаго. Такимъ образомъ, если народная литература долго не развивалась въ Польшѣ, пользуясь языкомъ латинскимъ, этого нельзя приписывать специфическому вліянію католицизма, который и тогда не мѣшалъ бы обработкѣ народнаго языка, какъ не мѣшалъ впослѣдствіи въ той же Польшѣ, и какъ не мѣшалъ у Чеховъ. Латынь, получившая въ средніе вѣка и надолго послѣ, господство у Чеховъ, Поляковъ, далматинскихъ Сербовъ, была именно латынь тогдашняго образованія, схоластической

науки. Она вводила мысль западнаго славянства въ кругъ европейскихъ идей, и въ этомъ не было никакой измѣны славянскимъ началамъ, потому что другой, собственно-славянской науки, не существовало вовсе, и научное стремленіе необходимо попадало на эту дорогу: на ту же дорогу попало, только позднѣе, и восточное славянство, именно въ русской литературѣ 17-го вѣка. Въ тѣ старыя времена, эта наука, средневѣковая схоластика, говорила на латинскомъ языкѣ, и онъ водворился у Славянъ, какъ водворился у самихъ Нѣмцевъ, не отставшихъ отъ него и тогда, когда они уже отстали отъ католицизма. Эпоха «возрожденія» дала ему новую силу.

Посредствомъ латыни, западное славянство непосредственно соединялось съ европейскимъ литературнымъ центромъ,—такъ что отдѣльныя племена не имѣли собственно поводовъ къ спеціальному сближенію: ихъ уже соединяло общее отношеніе къ европейскому образованію. Они совершали свою исторію отдѣльно и независимо...

Восточное славянство представляетъ больше этого спеціальнаго сближенія отдѣльныхъ племенъ, хотя впрочемъ оно и не произвело особенныхъ культурныхъ результатовъ. Мы уже сказали, что ихъ соединяло единство церкви и единство церковно-литературнаго языка. На всѣхъ этихъ племенахъ легло сильное, хотя и въ различной степени, вліяніе Византіи, проходившее или черезъ прямыя церковныя сношенія, или черезъ литературу. Болгары, Сербы и Русскіе пріобрѣтаютъ одно общее образованіе церковно-византійскаго характера. Древній періодъ ихъ литературы, до самаго 14-го столѣтія, представляетъ полное единство по своему основному содержанію: общія церковныя книги; частыя церковныя сношенія, приводившія къ Русскимъ болгарское и сербское духовенство; связи съ Аѳономъ, гдѣ каждое изъ этихъ племенъ имѣло свои монастыри и своихъ представителей, подвижниковъ и писцовъ книгъ; единство условнаго старо-славянскаго языка, ставшаго языкомъ ихъ общей литературы,—все это позволяетъ до значительной степени соединять всѣ три литературы подъ одну общую точку зрѣнія. Болгарская литература, въ то время самая богатая изъ всѣхъ, была общимъ достояніемъ Сербовъ и Русскихъ; произведенія ея были для нихъ одинаково доступны,—каждому племени приходилось только слегка измѣнять языкъ книги по формѣ своего нарѣчія: странствованіе рукописей произвело наконецъ чрезвычайное смѣшеніе формъ языка, который не могъ установиться въ одно общепринимаемое цѣлое. Господствующей формой остались впрочемъ тѣ-же основныя черты такъ называемаго старо-славянскаго языка.

Къ сожалѣнію, византійское образованіе, или даже клочки его, доставшіеся на долю восточнаго славянства, принесло ему мало пользы. Это было образованіе совершенно выродившееся: въ числѣ элементовъ его были и остатки славной древней литературы Греціи, но они не вязались съ настоящимъ; вмѣсто живой мысли господствовала реторическая фразеологія, ставшая наконецъ всеобщимъ условнымъ языкомъ; недостатокъ собствен-

ной мысли дѣлалъ византійцевъ тѣхъ временъ компиляторами или вздорными энциклопедистами, въ родѣ Михаила Пселла. Это и было естественно при томъ извращенномъ порядкѣ общества, какой представляла византійская исторія того времени: эта исторія разлагающейся имперіи была плохимъ примѣромъ для свѣжихъ славянскихъ племенъ, которымъ пришлось принять первые уроки цивилизаціи отъ византійскихъ Грековъ. Правда, въ византійской литературѣ сохранялось еще знаніе классическихъ произведеній славной древности,— но во первыхъ, настоящее развитіе этого знанія относится болѣе къ эпохѣ возрожденія, а во вторыхъ—и это главное,— классическая литература осталась чужда славянскому образованію, которое было еще слишкомъ дѣтски-неопытно, чтобы интересоваться философіей Платона. Изъ византійской культуры славяне вынесли довольно бѣдное количество отрывочныхъ византійскихъ знаній, наполнявшее потомъ «хронографы», «азбуковники», «сборники» и т. п. Преобладающимъ характеромъ образованія была исключительная церковность; литература была по большей части повтореніемъ и подражаніемъ византійской,—только одна лѣтопись (и то почти одна русская) была самостоятельнымъ литературнымъ направленіемъ. Народные элементы поэзіи, такъ великолѣпно развившіеся въ древней Чехіи при всемъ ея латинствѣ, здѣсь, за единственнымъ почти исключеніемъ Слова о полку Игоревѣ, совершенно молчали въ восточномъ славянствѣ, и если образовалась потомъ отрывочная литература поэтическихъ сказаній народнаго свойства, то въ сущности это была только помѣсь изъ разрозненныхъ народныхъ миѳовъ и остатковъ византійской литературы, которая не всегда даетъ выгодное понятіе о поэтическомъ вкусѣ времени и не могла похвалиться развивающимъ содержаніемъ. Подъ конецъ эта легендарная литература больше и больше забывалась и держится теперь какъ обрывокъ фантастическихъ суевѣрій, исчезающій передъ сколько нибудь разумнымъ обученіемъ...

Общая литературная жизнь восточнаго славянства, соединеннаго однимъ церковно-литературнымъ языкомъ и одними книгами, идетъ до 14-го столѣтія, когда южныя славянскія царства кончили свое независимое существованіе и потеряли всякую возможность образованности. Русская народность продолжала неизмѣнно двигаться въ томъ же направленіи, до половины 17-го вѣка, когда—черезъ юго-западный край—стали проникать изъ Польши латинская схоластическая ученость и первыя попытки европейскаго образованія, предшествовавшія реформѣ Петра.

4. НАРОДНАЯ ПОЭЗІЯ.

При томъ состояніи славянскихъ литературъ, въ какомъ находятся онѣ въ настоящую минуту, при тѣхъ взглядахъ на національное возрожденіе, какія господствуютъ между славянскими патріотами, исторія славянскихъ

литературъ неизбѣжно должна дать особенное мѣсто народной поэзіи [14]). Эту народную поэзію, какъ выраженіе народности, новѣйшіе славянскіе патріоты понимаютъ не только какъ важную отрасль современной, національной внутренней жизни,—но, какъ ея глубочайшую идею и источникъ, изъ котораго должно быть почерпнуто національное развитіе. Есть и ученые, которые готовы видѣть весь объемъ этого развитія въ объемѣ принциповъ и идеаловъ народной поэзіи, и которые весь успѣхъ литературнаго развитія ставятъ въ зависимость отъ возвращенія къ источникамъ, скрытымъ въ идеяхъ народной поэзіи. Такъ говорили обыкновенно энтузіасты новаго славянскаго движенія; въ этомъ родѣ говорятъ многіе и теперь... Съ этой точки зрѣнія, едва ли не существенный предметъ литературной исторіи славянства состоялъ бы именно въ изученіи народной поэзіи.

Это значеніе ея явно преувеличено. Сколько бы мы ни признавали историческое значеніе народной поэзіи, но видѣть въ ней содержаніе національной жизни, обязательное, такъ сказать, и для послѣдующихъ поколѣній, было бы конечно крайне неисторической односторонностью. Это преувеличеніе могло впрочемъ явиться очень естественно у людей, взявшихъ на себя защиту славянскаго національнаго вопроса. Когда панславизмъ поднималъ свое національное знамя противъ чужихъ цивилизацій и европейскаго вліянія вообще, онъ не могъ выставить противъ нихъ никакого иного культурнаго принципа, кромѣ понятія «славянской народности», въ которой главнымъ образомъ играла роль народная поэзія. Очевидно, что народная поэзія, какъ представительница народности, была почти единственнымъ оружіемъ, которымъ можно было съ удобствомъ воспользоваться. При случаѣ, патріоты охотно брались и за болѣе осязательныя доказательства славянскаго превосходства: древнія общественныя идеи и учрежденія, мягкость и миролюбіе славянскихъ нравовъ, свободу славянской женщины, демократическій характеръ славянскаго общества, судъ присяжныхъ (будто-бы по преимуществу славянское учрежденіе), даже кирилловскую азбуку, будто бы совершеннѣйшую изъ всѣхъ европейскихъ азбукъ и т. п.,—хотя эти вещи оказывались или не совсѣмъ достаточными, или и вовсе проблематическими. Преувеличенная идея о славянской народности стала любимымъ аргументомъ, на который ссылались славянскіе патріоты, «народность» сдѣлалась лозунгомъ панславизма западнаго и восточнаго, и народная поэзія есте-

[14]) О народной словесности существуетъ, кромѣ самыхъ сборниковъ, обширная, но большей частью довольно мелкая литература—разработка, болѣе или менѣе серьезная, частныхъ подробностей и ни одного цѣлаго сочиненія, которое бы обняло предметъ съ достаточной полнотой или достаточной научной критикой. Назовемъ нѣсколько болѣе извѣстныхъ книгъ:

О. Бодянскій, О народной поэзіи славянскихъ племенъ, Москва 1837; — Talvi, Historical view и пр. (Sketch of the popular poetry of the Slavic nations; p. 315—404); — Ludevít Štur, O národních písních a pověstech plemen Slovanských, Прага 1853; — Буслаевъ, Историческіе очерки и проч.; — Н. Костомаровъ, Объ историческомъ значеніи русской народной поэзіи, Харьковъ 1843; — П. Безсоновъ, Болгарскія пѣсни и пр. (Эпосъ сербскій и болгарскій, стр. 1—136).

ственно должна была сдѣлаться альфой и омегой національной мечтательности и надеждъ.

Къ этому вызывала повидимому и современная наука, которая съ особеннымъ интересомъ обратилась въ нынѣшнемъ столѣтіи къ языкознанію и этнографіи. Когда эта наука стала съ чрезвычайной настойчивостью изслѣдовать этнографическіе элементы исторической жизни народовъ, ихъ миѳологію и поэтическія преданія, когда она ввела цѣлый новый отдѣлъ въ историческое знаніе, славянскіе патріоты и ревнители подумали, что этотъ отдѣлъ и составляетъ всю науку. Если наука говорила, что въ народной миѳологіи высказывалось содержаніе народнаго мышленія, что въ народной поэзіи собрались народные идеалы; приверженцы національности думали, что это мышленіе и идеалы заключены здѣсь навсегда, что они не могутъ быть иными и что народная жизнь падаетъ, когда удаляется отъ нихъ. Это недоразумѣніе поддерживалось тѣми стремленіями исключительной національности, о которыхъ мы упоминали выше; широкое опредѣленіе важности народно-поэтическаго матеріала нравилось тѣмъ, кто поставлялъ въ немъ свой національный палладіумъ, и такимъ образомъ недоразумѣніе выработалось въ цѣлую исключительную теорію. Эта теорія часто сталкивалась съ опровергающими фактами новой исторической дѣйствительности, и, не умѣя совладѣть съ ними, по неволѣ убѣгала въ старину и въ ней одной искала спасенія.

Стремленіе къ старинѣ, къ которой были отнесены мнимо вѣчные народные идеалы, составляетъ весьма отличительную черту панславянскихъ энтузіастовъ. Въ этой старинѣ заключаются для нихъ и идеалы поэтическіе, и идеалы общественнаго устройства; этотъ романтизмъ питалъ явную антипатію къ новымъ учрежденіямъ и нерѣдко становился прямо ретроградными, потому что новыя явленія жизни никакъ не укладывались въ средневѣковую рамку.

Въ чемъ же состоитъ истинное положеніе дѣла?

Народная поэзія должна конечно найти мѣсто въ литературной исторіи, только это мѣсто вовсе не исключительное и не господствующее. Народная поэзія входитъ въ эту исторію съ двухъ точекъ зрѣнія: во первыхъ, какъ произведеніе эпохи, которая была исходной точкой литературнаго образованія, — хотя впрочемъ въ большинствѣ случаевъ, какъ увидимъ, народная поэзія не была въ славянскихъ племенахъ источникомъ литературнаго развитія, которое приходило обыкновенно извнѣ и совершалось подъ чужими вліяніями; во вторыхъ, какъ предметъ новѣйшаго изученія народности, стоящаго въ связи съ національнымъ движеніемъ послѣдняго времени. Говоря выше о стремленіяхъ къ славянскому единству, мы уже имѣли случай указывать, въ какомъ отношеніи славянская народная поэзія находится къ идеѣ единства, какъ уже въ первыя, исторически доступныя времена, содержаніе народной поэзіи у разныхъ славянскихъ народовъ разбивается на отдѣльныя мѣстныя направленія съ отдѣльной исторической судьбой. Съ этой стороны,

содержаніе славянской народной поэзіи уже не удовлетворяетъ желаніямъ тѣхъ славянскихъ патріотовъ, которые хотѣли бы видѣть въ ней звѣно, соединяющее разъединенныя племена, и источникъ будущей панславянской цивилизаціи. Ея древнѣйшія основы, изъ тѣхъ временъ, когда она представляла дѣйствительно общее достояніе всего славянства по своей миѳологіи, космогоніи и общественнымъ идеямъ, эти основы забывались уже при самомъ началѣ раздѣльной жизни племенъ, и вся историческая жизнь племенъ все больше и больше отдаляла ихъ другъ отъ друга. Единство и полнота миѳологіи должны были затеряться уже очень рано, вѣроятно еще задолго до принятія христіанства. Когда племена окончательно установились въ отдѣльныя географическія и этнографическія группы, и наконецъ въ отдѣльныя политическія общества, и съ введеніемъ христіанства, сильно нарушившаго древній бытъ, народная поэзія безвозвратно потеряла свое первобытное единство.

Съ тѣхъ поръ она развивается въ мѣстныхъ условіяхъ отдѣльныхъ племенъ. Съ дѣленіемъ племенъ, съ принятіемъ христіанства, окончательно порвались старыя національныя традиціи и существенно измѣнился весь характеръ народной поэзіи. Даже въ границахъ отдѣльнаго племени народная поэзія не могла быть хранилищемъ неизмѣнныхъ народныхъ идеаловъ и преданій. Первоначально, эти идеалы и преданія были чисто языческой миѳологіей; — теперь эта миѳологія радикально измѣнилась подъ вліяніемъ христіанскихъ понятій, отчасти исчезла и забылась совсѣмъ, отчасти переодѣлась въ новую одежду, которая едва давала узнавать первоначальныя черты. Такимъ образомъ напр. русская или сербская поэзія 14—15-го вѣка была уже нѣчто совершенно иное, чѣмъ русская и сербская поэзія 8—9-го вѣка. Въ границахъ одного племени, народная поэзія измѣнилась опять также сильно, какъ измѣнилась она въ періодъ этнографическаго обособленія племенъ. Если ученые и отыскиваютъ теперь много слѣдовъ старины и язычества и въ народной поэзіи позднѣйшихъ христіанскихъ временъ, то нѣтъ однако никакого сомнѣнія, что христіанская эпоха уже наложила на нее свою печать и что народное сознаніе уже измѣнилось въ цѣломъ. Прежній пантеизмъ изглаживался и сохранившіяся формулы его дѣлались совершенно безсознательными, т. е. лишились своего основнаго смысла. Если бы историки народной поэзіи, вмѣсто того, чтобы искать въ ней однихъ обломковъ старины, стали напротивъ искать въ ней постепеннаго наплыва новыхъ особенностей, то стало бы совершенно ясно, что въ народной поэзіи хранится гораздо меньше такъ называемыхъ «исконныхъ» элементовъ народности, чѣмъ обыкновенно думаютъ. Историческое изученіе памятниковъ народной поэзіи и ея новѣйшаго состоянія убѣждаетъ, что въ ней мы имѣемъ дѣло съ такимъ же преходящимъ явленіемъ, какъ всякое историческое явленіе и что она также имѣла свои предѣлы во времени, дальше которыхъ идти не можетъ. Если для народа наступаетъ пора другихъ понятій, она должна уступить имъ мѣсто и забыться, или измѣниться снова.

Такъ это и было уже въ исторической судьбѣ народнаго развитія. Когда

оканчивается первая пора непосредственнаго патріархальнаго быта, народная поэзія этого быта, если она не подчиняется новому порядку, или забывается или даже становится предметомъ гоненія; культурные элементы, входящіе въ народную жизнь, всегда стоятъ къ ней въ извѣстной оппозиціи, и винить ихъ за это было бы совершенно безразсудно. Вводимое христіанство преслѣдуетъ «бѣсовскія пѣсни и игрища», въ 17-мъ столѣтіи правительственная власть гонитъ народныя повѣрья, 18-й вѣкъ пренебрегаетъ народную поэзію какъ вульгарную. Однимъ словомъ, культурные элементы постоянно стремятся подчинить себѣ и даже истребить народную поэзію — т. е. остатки прежняго содержанія народной мысли, и обыкновенно они успѣваютъ въ этомъ.

Этому какъ будто противорѣчитъ то обстоятельство, что современное образованіе напротивъ дорожитъ народной поэзіей; патріоты и ученые собираютъ пѣсни, наблюдаютъ обряды, записываютъ сказки и пословицы, — но въ сущности дѣло этимъ нисколько не поправляется. Въ то время, какъ отдѣльные любители гоняются за произведеніями народной поэзіи, самъ народъ больше и больше забываетъ ихъ по мѣрѣ того, какъ на него начинаетъ дѣйствовать образованіе, исходящее изъ городовъ. Мало по малу забывается все то, что уже мало находитъ себѣ соотвѣтствія въ современной дѣйствительности, и возвратить эту забывающуюся старину не поможетъ никакое искусственное подогрѣванье.

Таковъ историческій смыслъ судьбы народной поэзіи. Какимъ же образомъ, въ такомъ случаѣ, нужно понимать то обращеніе къ народности, которое составляетъ господствующую черту современнаго славянскаго движенія, и которое хочетъ однако въ народной поэзіи, и въ народности, искать теперь элементовъ національнаго возрожденія? Явленіе это довольно сложное, и было вызываемо разными обстоятельствами.

Обращеніе къ народности имѣло, во первыхъ, общеевропейскую культурную причину. Конецъ прошедшаго столѣтія принесъ существенное измѣненіе господствующихъ понятій литературныхъ и общественныхъ. Старое общество и старый условный классицизмъ были подорваны философіей 18-го столѣтія и романтизмомъ: общественная жизнь искала новыхъ началъ и находила ихъ въ демократизмѣ; литературные вкусы, впадавшіе въ 18-мъ вѣкѣ въ идиллію Бернардена де Сенъ-Пьера, искали теперь непосредственной природы въ средневѣковомъ романтизмѣ и въ «простодушной» народной поэзіи. Замѣчательно, что славянская поэзія указана была однимъ изъ первыхъ нѣмцемъ Гердеромъ (который съ тѣхъ поръ пользуется доброй памятью въ литературѣ панславизма); Гёте въ свое время цѣнилъ новооткрытыя пѣсни Сербовъ едва ли не лучше, чѣмъ ихъ славянскіе единоплеменники. Однимъ словомъ, въ этомъ обширномъ смыслѣ славянское обращеніе къ народности было явленіемъ общеевропейскаго происхожденія, хотя большинство славянскихъ патріотовъ и не сознавало этого.

Это общее явленіе обособилось въ славянскихъ племенахъ своими исклю-

чительными подробностями. Если въ понятіяхъ Гердера и Гёте, отражающихъ собой цѣлое европейское воззрѣніе, этотъ интересъ къ народной поэзіи былъ космополитическаго характера, — то въ славянскомъ движеніи онъ выросъ въ національную исключительность, которая до сихъ поръ продолжаетъ отличать это движеніе.

Мы уже упоминали выше, какимъ образомъ «народность», старина и народная поэзія стали предметомъ ученаго любопытства и вмѣстѣ оружіемъ національной гордости — за неимѣніемъ другаго, лучшаго оружія. Если національность сильна другими средствами и богата другими проявленіями, она не имѣетъ нужды прибѣгать къ погонѣ за стариной. Таковы напр. національныя стремленія современной Италіи.. Въ славянскомъ мірѣ положеніе было иное: въ большинствѣ племенъ чужое господство и чужая культура грозили самому существованію національности, и стѣсненный національный инстинктъ произвелъ наконецъ реакцію: не имѣя силъ бороться противъ болѣе сильной культуры равными средствами, онъ сталъ отвергать самую культуру и утѣшалъ себя тѣмъ, что гораздо высшіе культурные элементы заключались въ самой непосредственной славянской народности.

Всѣ эти литературныя и общественныя явленія — европейское опредѣленіе демократическихъ принциповъ, литературная реакція противъ классицизма, успѣхи этнографіи и языкознанія, наконецъ практическія отношенія самихъ славянскихъ племенъ — дали поводъ искать въ народности литературную и общественную панацею. Ясно, что на тему народности могли высказываться самыя разнородныя тенденціи, и что обращеніе къ ней имѣло въ литературѣ различныя послѣдствія, смотря по степени развитія ея литературныхъ представителей. Изученіе народной поэзіи давало извѣстную свѣжесть литературнымъ идеаламъ, освобождая ихъ отъ прежней отжившей рутины и указывая поэзіи новое содержаніе въ жизни народа; но вмѣстѣ съ тѣмъ, это изученіе породило исключительность и односторонность литературныхъ понятій, вредную самому дѣлу. Если съ одной стороны общеевропейскіе, философскіе элементы новаго направленія приводили къ болѣе глубокому пониманію народа, его правъ и потребностей, съ другой, исключительная національность приводила къ узкой ограниченности культурныхъ понятій. Въ этомъ смыслѣ стремленія къ «народности» соединяютъ въ себѣ и благородныя симпатіи къ народу и серьезное желаніе изучить требованія массы, и философскій туманъ и мистицизмъ, и самоотверженный демократизмъ, и полную ретроградность. Всѣ эти свойства отражаются очень ясно въ представителяхъ современнаго славянскаго движенія: національныя стремленія вызвали серьезное изученіе въ Шафарикѣ, національное фантазерство въ Колларѣ и Хомяковѣ, мистическій туманъ въ Кирѣевскомъ, непосредственный патріотизмъ въ Караджичѣ и Смолерѣ, мистическій демократизмъ въ К. Аксаковѣ, мистицизмъ реакціонный въ Шевыревѣ и т. д., но вообще стремленіе къ народности, мало понимаемой, даетъ людямъ и теоріямъ извѣстный консерватизмъ,

который къ сожалѣнію слишкомъ часто сталкивается враждебно съ требованіями времени и здраваго развитія.

Послѣ этого можно видѣть, что, ссылаясь на непосредственное вліяніе «народности» и въ особенности народной поэзіи на современное литературное развитіе и приписывая имъ въ этомъ особенную мистическую силу, энтузіасты «народности» смѣшиваютъ въ одно явленія, совершенно различныя и даже независимыя вовсе отъ самой «народности». Народная поэзія только рѣдко давала непосредственное вдохновеніе замѣчательнѣйшимъ славянскимъ поэтамъ новаго времени; и если говорятъ напр. о родствѣ съ ней Кольцова или Шевченка, то на дѣлѣ народная поэзія оказывала на нихъ скорѣе формальное вліяніе, чѣмъ давала имъ самое содержаніе. Если намъ указываютъ поэтовъ, которые стояли съ ней въ болѣе непосредственной связи, то они бывали только пересказчиками ея, не прибавляя въ литературѣ ничего новаго: такъ и дѣйствительно повторяютъ ее множество второстепенныхъ поэтовъ, у всѣхъ славянскихъ народовъ. Если же въ нашей и славянской литературѣ больше имѣютъ теперь силы народные элементы, если, другими словами, поэзія и литература чаще говорятъ за народный интересъ, за народныя права и потребности, то причина симпатическаго отношенія къ народу заключается въ развитіи собственно общественныхъ понятій, а это развитіе принесено вовсе не изученіемъ народной поэзіи, а вліяніемъ европейскихъ идей. Если бы напр. русская литература увлекалась народностью въ томъ смыслѣ, какъ увлекается ею славянско-патріотическая теорія, мы увидѣли бы безъ сомнѣнія иные результаты этого явленія,—между прочимъ увидѣли бы больше интереса къ другимъ славянскимъ народностямъ: на дѣлѣ, этого интереса вовсе нѣтъ, или онъ принадлежитъ только одному извѣстному кружку. Изученіе народности могло помочь поднять вопросъ, дать средство познакомиться съ тѣмъ народомъ, національность котораго требовала защиты, съ его образомъ мыслей, и тѣмъ языкомъ, какой для него понятенъ и какимъ можно говорить съ нимъ; отвлеченная народность могла быть предметомъ толковъ, когда не были доступны вопросы болѣе опредѣленные; но разъ сдѣлавши это знакомство,—литературѣ странно было бы довольствоваться прежней отвлеченностью и прежнимъ мистицизмомъ.

Въ настоящую минуту эта теоретическая народность уже сдѣлала свое дѣло, и продолжать настаивать на томъ, что еще имѣло извѣстный смыслъ въ 30-хъ годахъ, теперь совершенно безплодно. Національное дѣло, и дѣло славянскаго развитія требуетъ уже иныхъ средствъ — оно должно обратиться къ средствамъ общественной дѣятельности и средствамъ политическимъ.

Между современными славянскими дѣятелями есть уже люди, для которыхъ эта истина не подлежитъ сомнѣнію. Старыя увлеченія и односторонности для нихъ уже понятны, и сближеніе съ народомъ, изученіе его внутренней жизни для нихъ не есть уже средство возвращать идиллическую старину. Они полагаютъ, что еслибы славянская національность пріобрѣла наконецъ всѣ свои права, она не стала бы тратить времени на фан-

тастическіе планы новой цивилизаціи, а постаралась бы усвоить себѣ тѣ культурные результаты, которые уже достигнуты цивилизаціей европейской. Понятно, что идеалы народной поэзіи получаютъ для нихъ смыслъ чисто археологическій...

Припоминая сказанное выше и ставя литературный вопросъ въ связь съ явленіями общественными, мы находимъ такимъ образомъ, что обращеніе къ народу, въ обширномъ смыслѣ этого явленія, стоитъ въ несомнѣнной связи съ развитіемъ новаго европейскаго демократизма, и въ самыхъ славянскихъ литературахъ было слѣдствіемъ новаго характера общественныхъ стремленій, пробуждавшихъ симпатію къ народу (напр. у насъ — давно уже появившихся стремленій къ уничтоженію крѣпостнаго права). Защитники народности повиновались этимъ стремленіямъ, но къ сожалѣнію, въ огромномъ большинствѣ случаевъ, повиновались безсознательно. Отдавшись своему спеціальному интересу, они увлеклись имъ и не сознавали истиннаго смысла начинавшагося дѣла, и въ томъ, что было только внѣшнимъ обнаруженіемъ серьезнаго общественнаго сочувствія къ массамъ, они стали искать всей сущности и цѣли дѣла. Отсюда — крайнія народно-литературныя школы, національная исключительность, ненависть къ мнимо-ненародному и, вслѣдствіе того, ненависть къ скептической критикѣ и знанію «запада», надѣванье поддевокъ и сермягъ и пр. Забывъ или не понявъ настоящую важность явленія, выразившагося въ обращеніи къ народности, эти защитники ея полагаютъ, что общественная и народная жизнь должна совершаться только въ предѣлахъ, допускаемыхъ преданіями этой народности. То, что было средствомъ, они сдѣлали цѣлью; они не понимали, что изученіе «народности» опредѣляетъ только мѣстныя условія, а вовсе не самое содержаніе и источникъ развитія, что «народность» есть преходящая форма, способная къ улучшенію только подъ вліяніемъ знанія и общественнаго улучшенія...

Эта безсознательность, указанная нами, и была поводомъ ко многимъ недоразумѣніямъ, которыя и у насъ, и въ другихъ славянскихъ литературахъ, мѣшали вѣрному пониманію дѣла и вмѣстѣ съ тѣмъ и самому успѣху этого дѣла.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

БОЛГАРІЯ.

Въ настоящее время, болгарская литература почти не существуетъ,—она едва обнаруживаетъ признаки жизни. Но въ первую эпоху славянской культуры ея роль была иная: это была первая литература православнаго славянства—и по времени, и по историческому значенію для національнаго образованія [1]). Впрочемъ, эта первая эпоха еще очень темна: историческія бѣдствія народа, его продолжительное одичаніе подъ турецкимъ игомъ, истребили множество памятниковъ его литературы, и наконецъ совершенно перервали всякую литературную традицію. Въ новѣйшее время, въ эпоху

[1]) — Раичъ, Исторія разныхъ слав. народовъ, наипаче же Болгаръ и проч. Вѣна 1794, Пестъ 1823;—Engel, Geschichte der Bulgaren in Moesien, Halle 1797;—Гильфердингъ, Письма объ исторіи Сербовъ и Болгаръ, М. 1855—59;—В. Григоровичъ, Очеркъ путешествія по Европ. Турціи, Казань 1848.

— Ami Boué, C. Robert см. выше; — Юкичъ, Pregled turskog carstva v Europi, Zagreb 1850;—A. Blanqui, Voyage en Bulgarie, Paris 1843;—Bulharsko, въ «Научн. Слов.» Ригера;—этнограф. карта Ами Буэ въ Physikal. Atlas, Берггауза, 8-е отд., № 19;—этн. карта Лежана въ Этнограф. Сборн. Геогр. Общ., вып. VI, Спб. 1864;—см. также Unsere Zeit, Брокгауза, 1858, 2, 99—121, и Oesterr. Revue, 1864.

— Неофитъ, Болгарска грамматика, Крагуевацъ 1835; — А. и Д. Цанковы, Gramm. der bulgar. Sprache, Wien 1852;—Миклошичъ, Die Sprache der Bulgaren in Siebenbürgen, Wien 1856;—Найденъ Геровъ, Русско-болгарскій словарь (въ акад. „Извѣст.“).

— Юрій Венелинъ: Древніе и нынѣшніе Болгаре въ ихъ отношен. къ Россіянамъ и пр. т. 1-й, М. 1829; т. 2-й, М. 1841, изд. 2-е, М. 1856; О зародышѣ новой болгарской литературы, книжка первая (только), М. 1838; Влахо-болгарскія грамоты, Спб. 1840;—В. Априловъ, Денница ново-болгарскаго образованія, Одесса 1841;—С. Палаузовъ: Вѣкъ б. ц. Симеона (см. выше); Грамота патріарха Каллиста, какъ новый источникъ исторіи болгарской церкви, въ акад. „Извѣст.“ (т. 7-й); Синодикъ царя Бориса, во Временникѣ Моск. Общ. 1855, № 21; статьи о болгарскомъ религіозномъ движеніи, въ Сѣв. Пчелѣ 1860, № 120, 122, 132, 142; 1861, № 22, 32;—Отвѣтъ Русскому Вѣстнику по болгарскимъ дѣламъ, Спб. 1858;—По вопросу о болгарскомъ патріаршествѣ, Берлинъ 1860, 45 стр. (книжка, изчезнувшая изъ продажи, и вмѣстѣ съ первой, представляющая тупую защиту фанаріотовъ противъ болгарскаго движенія);—И. Срезневскій, о болгарской литер. въ Čas. Česk. Mus. 1847, II, вып. 2;—Безсоновъ, Эпосъ сербскій и болгарскій (въ „Болг. пѣсняхъ“).

общаго оживленія славянскихъ племенъ, у Болгаръ также обнаружились признаки жизни, но слабѣе, чѣмъ у кого бы то ни было изъ другихъ Славянъ. Болгарскій народъ до сихъ поръ остается наименѣе движущимся славянскимъ народомъ, наименѣе развитымъ въ духовномъ отношеніи. Мы увидимъ, что на это были свои достаточныя историческія причины.

Сначала нѣсколько словъ о народѣ. Болгарское племя составилось и отдѣлилось въ отдѣльную семью послѣ покоренія первобытнаго славянскаго населенія нынѣшней Болгаріи народомъ «болгарскимъ» собственно, народомъ бродячимъ, алтайскаго происхожденія. Первыя нападенія и начало покоренія относятся къ 7-му вѣку, но главнымъ образомъ власть чужаго племени надъ балканскими Славянами установилась только съ 9-го вѣка; наконецъ, покоренное населеніе собралось въ болгарское царство, имѣвшее свою бурную исторію, запутанное въ между-національную вражду съ сосѣдними Сербами и другими народами, соединявшее иногда съ ними свою судьбу, дѣлавшее завоеванія и терявшее ихъ, наводившее страхъ на Византію и само страдавшее отъ нея. Въ половинѣ 9-го вѣка болгарскій князь Борисъ принялъ христіанство; эпоха его сына, перваго царя болгарскаго, *Симеона* (892—927), была блестящимъ временемъ болгарскаго просвѣщенія.

Историческая судьба болгарскаго народа въ политическомъ и культурномъ смыслѣ опредѣляется отношеніями съ Византіей. Отъ нея Болгары приняли первые залоги своей культуры—въ христіанствѣ. Греки не въ состояніи были противодѣйствовать болгарскимъ нашествіямъ оружіемъ, и для обезпеченія себя рѣшились подѣйствовать на нихъ религіей. Византійское христіанство дѣйствительно бросило сильные корни въ народѣ, но вмѣстѣ съ религіей вошли въ болгарскую культуру и «тѣ начала перерожденной (т. е. выродившейся) свѣтской образованности Ромео-Грековъ, которая отрицательно отозвалась на государственномъ организмѣ Болгаріи. Эти-то начала не могли не подточить своеобычнаго развитія народа. Начиная съ двора, принявшаго напыщенный и ненужный церемоніалъ византійскихъ кесарей, вся административная часть Болгаріи, на сколько сохранились въ этомъ отношеніи слѣды въ древнихъ лѣтописяхъ, приняла характеръ чисто византійскій»[2]). Эти выродившіяся начала греческой цивилизаціи безъ сомнѣнія должны были разрушительно дѣйствовать на свѣжую народность, — и этому можно приписать то обстоятельство, что болгарскій народъ не успѣлъ впослѣдствіи выработать себѣ прочныхъ основъ, которыя бы поддержали его цѣльное, независимое существованіе. Болгарія въ одномъ только отношеніи обнаружила свой протестъ противъ этого убивающаго вліянія — въ стремленіи къ религіозной свободѣ, къ самобытности болгарской церкви. Это стремленіе начинается на самыхъ первыхъ порахъ болгарскаго христіанства: Борисъ уже вскорѣ послѣ крещенія обращался къ папѣ (церковнаго разрыва еще не было, и папа безпрестанно вмѣшивался въ дѣла православнаго славянства,—явленіе, надолго

[2]) С. Палаузовъ.

удержавшееся въ исторіи югозападныхъ Славянъ), жалуясь на злоупотребленія греческаго духовенства, и для бо́льшаго укрѣпленія новой вѣры и бо́льшаго церковнаго порядка просилъ назначить для Болгаріи патріарха. Папа Николай отказалъ на томъ основаніи, что Болгарія еще не была вполнѣ обращена. Церковный расколъ при Фотіи заслонилъ дѣло о болгарскомъ патріаршествѣ, но отношенія оставались тѣ же, и войны царя Симеона съ Греками имѣли не только политическій, но и религіозный характеръ: греческій патріархъ Николай, въ письмахъ къ Симеону, упрекаетъ его, что онъ «изгоняетъ изъ своей державы цареградскихъ священниковъ и ставитъ своихъ». Нѣтъ сомнѣнія, что причиной были тѣже злоупотребленія, на которыя жаловался и Борисъ. Особенное значеніе получаютъ эти стремленія Симеона потому, что этотъ царь, самъ имѣвшій византійское образованіе, еще лучше зналъ Грековъ и вѣроятно еще сознательнѣе желалъ іерархическаго отдѣленія Болгаріи отъ Константинополя. Мы увидимъ впослѣдствіи, что тѣже стремленія къ независимой отъ Константинополя патріархіи существовали и были достигнуты у Сербовъ: кромѣ политическаго разсчета, здѣсь былъ вѣроятно и разсчетъ внутренняго религіознаго порядка.

Юридическимъ основаніемъ для этихъ требованій религіозной независимости было, безъ сомнѣнія, то, что еще во времена Юстиніана даны были права независимой, автокефальной іерархіи архіепископству въ Охридѣ, въ югозападной части тогдашняго болгарскаго царства. Независимая іерархія и дѣйствительно основалась. При царѣ Петрѣ Симеоновичѣ, въ первой половинѣ 10-го вѣка, въ достоинство болгарскаго патріарха возведенъ былъ Даміанъ, съ согласія императора Романа Лакапина и съ утвержденія императорскаго синклита: это право независимости болгарскаго духовенства было такъ сильно, что «автокефальные» архіепископы сохраняются въ Болгаріи и въ то время, когда она въ 11-мъ столѣтіи была покорена византійцами, при императорѣ Василіи Болгарохтонѣ. Они упоминаются и въ 12-мъ вѣкѣ.

Въ 1019 году царство болгарское пало: войны съ Греками кончились перевѣсомъ греческой стороны и императоръ Василій, прозванный Болгарохтономъ («Болгаробойцемъ», убійцей Болгаріи), ввелъ ее въ число греческихъ провинцій. Началось господство византійцевъ: патріаршество было уничтожено, славянское развитіе должно было упадать. Впрочемъ, паденіе Болгаріи не было полное: постоянно происходили отдѣльныя возстанія недовольныхъ, и наконецъ, черезъ полтораста лѣтъ рабства, двумъ братьямъ, Асѣню и Петру, удалось возстановить болгарское царство (1186), которое при ихъ преемникѣ Іоаннѣ Асѣнѣ II опять возвысилось до небывалаго прежде могущества: болгарскіе цари назывались съ того времени царями «всѣмъ Болгаромъ и Грекомъ». Но и это новое царство не принесло прочныхъ залоговъ національнаго развитія: оно имѣло свои блестящіе моменты въ 13-мъ столѣтіи, когда оно было страшно для Грековъ, но вообще судьба его не удалась, предѣлы становились тѣснѣе, оно по слабости подпадало вліянію сосѣдей, нѣсколько лѣтъ даже зависѣло отъ Татаръ, потомъ подчинилось силь-

нымъ Сербамъ и наконецъ, безъ большаго сопротивленія покорено было Турками (1392).

Второе болгарское царство продолжало тѣже стремленія къ церковной независимости, и на этотъ разъ достигло ея еще болѣе положительнымъ образомъ: мысль о самобытности возвращалась такимъ образомъ каждый разъ, когда народъ чувствовалъ себя сильнѣе политически. Теперь положеніе его было весьма выгодно: византійскій императоръ, перенесшій свою столицу въ Никею изъ Константинополя, занятаго крестоносцами, искалъ помощи у царя болгарскаго, вступилъ съ нимъ въ родственныя связи и долженъ былъ соглашаться на его требованія. Старое болгарское сказаніе такъ изображаетъ царя, обновившаго болгарское патріаршество—это типическое изображеніе стариннаго южно-славянскаго царя, въ которомъ не трудно видѣть черты византійскаго происхожденія: «Іоаннъ Асѣнь, царь великій и благочестивый, сынъ стараго Асѣня, имѣвшій великую любовь къ Богу, прославившій и просвѣтившій болгарское царство больше всѣхъ царей, прежде него бывшихъ, соорудившій монастыри, украсивъ ихъ златомъ, и бисеромъ, и камнями многоцѣнными, и всѣ святыя и божественныя церкви одарившій дарами многими, объявилъ имъ чистую свободу; и весь священническій чинъ: архіереевъ, іереевъ и дьяконовъ наградившій великими почестями, но болѣе всего прославившій себя тѣмъ, что съ пламеннымъ желаніемъ *обновилъ патріаршество* болгарскаго царства». Патріаршество основано было въ новой столицѣ болгарскаго царства, Терновѣ, и утверждено грамотами императорскаго совѣта и вселенскихъ патріарховъ: первымъ терновскимъ патріархомъ былъ Іоакимъ, избранный и рукоположенный въ Лампсакѣ въ 1234 году. Рядъ ихъ тянется потомъ до конца 14-го столѣтія; послѣднимъ патріархомъ терновскимъ былъ Евѳимій, занимавшій терновскій престолъ во время турецкаго завоеванія.

Съ турецкимъ нашествіемъ кончилось и политическое существованіе Болгаріи и ея религіозная независимость, и началось двойное рабство: трудно сказать, которое было страшнѣе для національнаго существованія — угнетеніе ли отъ турецкаго произвола, или угнетеніе отъ іерархической власти константинопольскихъ фанаріотовъ, которые съумѣли взять въ свои руки болгарскую іерархію и отнимали у народа послѣднее достояніе. Греческая іерархія, занятая своими денежными интересами, не думала конечно заботиться о духовномъ развитіи или по крайней мѣрѣ о сохраненіи прежняго, и Болгарія впадаетъ въ крайнюю матеріальную и нравственную нищету. Этотъ порядокъ вещей, наступившій тотчасъ послѣ турецкаго покоренія, составлялъ до послѣдняго времени существенную черту въ положеніи Болгаріи. Ея новѣйшее возрожденіе, начинающееся съ 20—30-хъ годовъ, только теперь начинаетъ сознательно думать объ освобожденіи отъ турецкаго ига и отъ ига константинопольскихъ фанаріотовъ, которое бы дало возможность прочнаго національнаго развитія.

1. ДРЕВНІЯ ВРЕМЕНА.

Литературныя попытки Болгаръ были первыми литературными попытками православнаго славянства. Здѣсь являются древнѣйшіе писатели на томъ языкѣ, которому даютъ теперь названіе старо-славянскаго и который до сихъ поръ остается церковнымъ языкомъ славянскаго православія.

По смерти Меѳодія въ Моравіи (885), преслѣдованіе заставило учениковъ его, извѣстныхъ подъ именемъ св. Седмичисленниковъ, удалиться въ Болгарію, гдѣ дѣятельность ихъ была началомъ широкаго развитія старо-славянской литературы. Особенно дѣятельнымъ изъ этихъ учениковъ былъ Климентъ. Вѣкъ царя Симеона считается золотымъ вѣкомъ болгарской письменности. Самъ Симеонъ былъ воспитанъ въ Византіи и получилъ даже названіе полугрека за свою византійскую ученость; въ Византіи онъ привыкъ конечно быть и ревностнымъ христіаниномъ. Онъ покровительствовалъ новому просвѣщенію своего народа, приглашалъ къ себѣ Климента на совѣтъ, вызывалъ богословскіе труды, переводы съ греческаго и т. п.: современники его, какъ напр. составитель извѣстнаго Симеонова (Святославова) «Изборника», уже сплетають ему похвалы, напыщенныя по византійски.

Время Симеона какъ нельзя лучше пришлось, слѣдовательно, для дѣятельности Климента и другихъ церковныхъ писателей. Сочиненія ихъ подходятъ болѣе или менѣе подъ одинъ общій характеръ: это были поученія, проповѣди, пересказы житій святыхъ и «похвалы» имъ, компиляціи изъ византійцевъ. Исключеніемъ могуть быть развѣ проповѣди Климента, «написанныя,—по словамъ его жизнеописанія,—языкомъ простымъ и яснымъ, такъ что каждый болгаринъ могъ понимать ихъ»;—потому что уже въ эту первую эпоху старо-славянскаго писанья, въ него уже въ сильной степени проникли качества византійскихъ образцовъ, т. е. крайняя напыщенность и совершенно ненужная ухищренность выраженія, сдѣлавшая наконецъ эти книги почти непонятными для вѣрующихъ читателей. Клименту между прочимъ принадлежатъ житія Кирилла и Меѳодія и «похвалы» имъ.

Другой плодовитый писатель временъ Симеона былъ Іоаннъ, извѣстный подъ именемъ «экзарха болгарскаго», которому принадлежатъ: переводъ богословія Дамаскина подъ названіемъ *Небеса*; *Шестодневъ*, заключающій толкованіе первыхъ главъ Моисея о твореніи міра; переводъ греческой грамматики Дамаскина, приноровленный къ славянскому языку; переводъ его же діалектики, или философіи, и наконецъ нѣсколько поучительныхъ словъ. У Іоанна очевидно преобладаютъ ученыя стремленія: Шестодневъ, до нѣкоторой степени самостоятельная работа его, составленъ по византійскимъ источникамъ и образцамъ и совершенно сохраняетъ ихъ манеру; онъ не прочь цитировать и языческихъ мудрецовъ Греціи, напр. Платона, Аристотеля, Ѳалеса, Діогена и т. д., но для того только, чтобъ обличать ихъ ложныя языческія понятія объ излагаемомъ имъ предметѣ. Манера ссылаться на фи-

лософовъ древности была у него чистымъ подражаніемъ византійцамъ. Конечно, ученые труды экзарха были слишкомъ скороспѣлымъ явленіемъ для тогдашней письменности, но вѣроятно люди того времени ожидали для нея обширной дѣятельности въ будущемъ.

Такіе же церковно-византійскіе были труды епископа Константина и пресвитера Григорія, переводчика византійскаго лѣтописца Малалы, — которыхъ называютъ въ числѣ дѣятелей вѣка Симеона. Назовемъ еще монаха Храбра, котораго статья «о письменехъ» сдѣлалась классической для старинныхъ букварей и даетъ намъ древнѣйшее свидѣтельство объ изобрѣтеніи и характерѣ древнѣйшей славянской азбуки: онъ писалъ въ то время, когда «были еще живы люди, видѣвшіе Кирилла и Меѳодія», слѣдовательно въ 10-мъ столѣтіи; — и пресвитера Козьму, обличавшаго, какъ мы увидимъ дальше, сильно распространенную въ Болгаріи ересь богомиловъ.

Были безъ сомнѣнія и другіе писатели, но ихъ имена неизвѣстны; остались и нѣсколько другихъ сочиненія, которыя могутъ принадлежать этой первой эпохѣ, но они идутъ въ томъ же византійскомъ направленіи и не измѣняютъ общей характеристики.

Этимъ собственно и кончается единственно живая эпоха болгарской письменности. Прошло немного поколѣній послѣ Симеона, и царство болгарское, потрясенное сначала русскимъ княземъ Святославомъ, было разрушено византійцами (1019).

Прошелъ длинный періодъ времени, прежде чѣмъ явилось новое болгарское царство, освободившее народъ отъ греческаго политическаго и іерархическаго гнета. Снова является возможность національной дѣятельности въ литературѣ. Намъ однако чрезвычайно мало извѣстна фактическая исторія памятниковъ этого позднѣйшаго времени, такъ называемаго средне-болгарскаго періода. За вѣкомъ Симеона свѣдѣнія почти прекращаются: извѣстны имена только немногихъ писателей до конца болгарской независимости (14—15 в.), до болгарина родомъ Григорія Цамблака, имя котораго вносятъ обыкновенно въ исторію русской литературы, и до послѣдняго терновскаго патріарха Евѳимія, оставившаго нѣсколько сочиненій, житій и посланій, еще нигдѣ не напечатанныхъ. Между тѣмъ рукописи, въ особенности старыя русскія рукописи, представляютъ множество памятниковъ—отечниковъ, поученій, повѣстей, житій, апокрифовъ, народныхъ преданій, византійскихъ историковъ (Амартолъ, Малала, Манассія, — послѣдній переведенъ уже въ 14-мъ столѣтіи), — которые или несомнѣнно извѣстны за болгарскіе, или по крайней мѣрѣ носятъ слѣды южно-славянскаго происхожденія и иногда замѣчательнымъ образомъ сохраняютъ древнюю старо-славянскую форму. Самые болгарскіе прототипы этихъ произведеній очень рѣдки, потому что болгарскія рукописи затерялись или даже были намѣренно истребляемы Греками со временъ турецкаго покоренія; но множество этихъ памятниковъ сохранилось въ русскихъ спискахъ, которые вмѣстѣ съ тѣмъ даютъ намъ возможность судить о распространеніи старо-болгарской литературы по всей области стара-

го православнаго славянства. Большей частью мы не знаемъ и хронологіи этихъ памятниковъ, такъ что вообще средне-болгарскій періодъ можетъ быть опредѣленъ пока только самыми общими чертами.

Характеръ его въ сущности тотъ же, какой болгарская литература получила у своихъ первыхъ писателей—церковно-догматическій, легендарный, историческій, въ византійскомъ, строго сохранявшемся смыслѣ. Это были всего чаще простые переводы церковныхъ писателей греческихъ или же собственныя произведенія въ той же общей манерѣ, которая большею частію не даетъ возможности открыть какія нибудь спеціальныя народныя черты писателя. Церковный языкъ, установившійся прочно послѣ трудовъ первыхъ болгарскихъ писателей, дѣлалъ эти произведенія общедоступными для всѣхъ грамотниковъ славянскаго православія: такимъ образомъ, масса произведеній переходила готовыми къ Сербамъ и Русскимъ. Церковныя сношенія Русскихъ, сосѣдство Сербовъ съ Болгарами и съ Аѳономъ, облегчали этотъ переходъ рукописей. Аѳонъ игралъ чрезвычайно важную роль въ этой литературной взаимности: его славянскіе монастыри (Зографъ и Хилендаръ) были предметомъ благочестивыхъ странствій, собирали значительные вклады и приношенія и принимали дѣятельное участіе въ литературномъ движеніи; здѣсь собиралось и переписывалось множество рукописей, отсюда расходились онѣ въ разныя славянскія земли; Аѳонъ, кромѣ того, имѣлъ и нѣсколькихъ своихъ писателей.

Не приводя церковно-византійскихъ памятниковъ, которые принадлежали этой литературѣ, сохранившись въ болгарскихъ или русскихъ спискахъ, и характеръ которыхъ достаточно извѣстенъ, мы укажемъ здѣсь только особый разрядъ произведеній старо-болгарскихъ, которыя точно также сдѣлались достояніемъ и сербской, и русской письменности того времени. Это—повѣсти и сказки, героическаго и романическаго содержанія, источникомъ которыхъ также была Византія, и которыя почти безъ исключенія принадлежатъ средневѣковому циклу «странствующихъ разсказовъ». Этотъ запасъ поэтическихъ исторій, составлявшійся изъ восточныхъ и западныхъ сказаній, существовалъ въ извѣстной мѣрѣ и въ греческой литературѣ,— и черезъ нее многія изъ нихъ перешли въ литературу южныхъ Славянъ. Таковы были, напримѣръ: *книги Олѣксандрѣ*, извѣстная псевдо-Каллисѳенова исторія объ Александрѣ Македонскомъ, породившая въ Европѣ цѣлый рядъ героическихъ романовъ. Старѣйшій списокъ этихъ «книгъ» внесенъ въ хронографъ Малалы въ спискѣ 15-го вѣка, переписанномъ съ рукописи 1261 года, и произведеніе это во всякомъ случаѣ древнее; — изъ этой и изъ другой сербской редакціи эта баснословная исторія перешла и въ русскія рукописи, идущія до самаго 18-го столѣтія. Далѣе особенная редакція баснословной исторіи о Троянской войнѣ или *Притча о кралехъ*, вставленная въ ватиканскомъ спискѣ средне-болгарскаго перевода Манассіи (половины 14-го вѣка), и въ многочисленныхъ русскихъ спискахъ носящая названіе: «повѣсть о созданіи и плѣненіи Тройскомъ и о конечномъ

разореніи» и проч.,—эта исторія, отличная отъ Дареса и Диктиса, знаменитыхъ въ средніе вѣка, представляетъ, по мнѣнію Востокова, пересказъ троянской исторіи на народномъ языкѣ, и имена героевъ передаются иногда въ ней въ славянскомъ переводѣ. Затѣмъ, любопытная сказка изъ Тысячи и одной ночи: *Синагрипъ, царь Адоровъ и наливскія страны* (въ новыхъ русскихъ спискахъ «Слово о премудромъ Акирѣ»), находившаяся въ томъ сборникѣ 14—15-го столѣтія, который сохранилъ намъ Слово о полку Игоревѣ; другой извѣстный списокъ этого памятника, изъ 15-го столѣтія, своимъ складомъ и языкомъ не оставляетъ сомнѣнія въ южнославянскомъ происхожденіи этой сказки, зашедшей съ Востока въ Византію и оттуда въ славянскую письменность. Это произведеніе, конечно болѣе древне, чѣмъ извѣстные его списки, и можетъ характеризовать поэтическіе вкусы времени: сказка наполнена мудрыми поученіями и загадками, фантастическими чудесами; безъ сомнѣнія, нравилась грамотникамъ (число русскихъ ея списковъ, напр., весьма значительно) и оставила свой слѣдъ даже въ современныхъ южно-славянскихъ сказочныхъ преданіяхъ,—они разсказываютъ напр. о летаніи на грифахъ, описанномъ въ этой сказкѣ, только приписываютъ его другому сказочному герою, Соломону. Дальше, въ томъ же сборникѣ 14—15-го вѣка, сохранившемъ Слово о полку Игоревѣ, существовалъ еще одинъ интересный по рѣдкости византійскій героическій романъ, найденный нами въ другомъ болѣе новомъ русскомъ спискѣ: это—*Девгеніево Дѣяніе* («Дѣяніе прежнихъ временъ и храбрыхъ человѣкъ, о дерзости и о храбрости и о бодрости прекраснаго Девгенія»), также несомнѣнно принадлежавшее старой болгарской литературѣ. Все содержаніе романа показываетъ, что романъ былъ по всей вѣроятности переводный: дѣйствующія лица и событія принадлежатъ землѣ греческой; одно изъ главныхъ основаній повѣсти—противоположность греческой земли съ сарацинскою или аравитскою; герои воюютъ за вѣру и т. д.,—что совершенно примѣняется къ византійскимъ событіямъ временъ крестовыхъ походовъ. Разсказъ отличается чисто эпическимъ тономъ, такъ что и южно-славянская редакція передаетъ его очень живо. Вѣроятно черезъ болгарское посредство появились въ православно-славянской письменности и другія произведенія средневѣковой повѣсти: извѣстная исторія *Варлаама и Іоасафа*, легенда, распространенная и въ литературахъ западной Европы (рукоп. 15-го столѣтія), и *Стефанитъ и Ихнилатъ*, знаменитая въ средніе вѣка сказочная исторія, имѣющая свое начало въ индѣйской Панча-тантрѣ, перешедшая потомъ черезъ персидскій переводъ въ европейскія литературы, въ самыхъ разнообразныхъ редакціяхъ и передѣлкахъ. Славянскій (вѣроятно также болгарскій) переводъ сдѣланъ по греческой редакціи 11-го вѣка и сохранился почти исключительно въ русскихъ спискахъ; извѣстна впрочемъ и сербская редакція 14—15-го столѣтія. Сюда же, въ число памятниковъ, несомнѣнно принадлежавшихъ первоначально южно-славянской, и по всей вѣроятности болгарской, литературѣ принадле-

жатъ и фантастическія *сказанья о царѣ Соломонѣ и Китоврасѣ*, также извѣстныя теперь преимущественно въ русскихъ рукописяхъ. Это цѣлый рядъ сказочныхъ преданій о царѣ, знаменитомъ на Востокѣ своей мудростью, которая давала ему даже волшебную власть надъ духами, — опять сюжетъ, которымъ воспользовался и западно-европейскій эпосъ среднихъ вѣковъ, и который какъ нельзя больше приходился къ уровню тогдашней славянской культуры. Мы не имѣемъ теперь болгарскихъ списковъ этихъ сказаній, но они сохранились очень хорошо у Сербовъ и Русскихъ: у первыхъ память объ этомъ миѳическомъ Соломонѣ удержалась въ народныхъ сказкахъ и до сихъ поръ; у Русскихъ эти сказанія существовали въ разнообразныхъ редакціяхъ и также получили подъ конецъ чисто народную сказочную форму. Къ этому циклу относятся: «повѣсть царя Давида и сына его Соломона и о ихъ премудрости», гдѣ въ сказочномъ тонѣ разсказывается о бѣгствѣ Соломона изъ родительскаго дома, его похожденіяхъ, о возвращеніи отцовскаго царства, о похищеніи Соломоновой жены царемъ Поромъ и о хитромъ возвращеніи ея (мотивъ, повторяющійся въ нѣмецкой поэмѣ 12-го вѣка: Salomon und Morolff); «притча царя Соломана о цари Китоврасѣ», гдѣ Китоврасъ занимаетъ мѣсто царя Пора первой редакціи; «повѣсть о Китоврасѣ», странномъ чудовищѣ, которое было побѣждено Соломономъ и употреблено для строенія іерусалимскаго храма; «сказаніе о премудрости царя Соломана и о южской царицѣ и о философѣхъ», гдѣ между прочимъ мудрость Соломона доказывается хитрымъ угадываніемъ загадокъ; «повѣсть о царѣ Дарьянѣ», наконецъ знаменитые «Соломоновы Суды» [3]).

Весь этотъ запасъ литературы, начиная съ переводовъ св. писанія и богослужебныхъ книгъ, переводы религіозно-догматическихъ произведеній византійской литературы, Номоканона, византійскихъ лѣтописцевъ, собственныя произведенія болгарскихъ писателей, наконецъ переводы византійскихъ повѣстей, романовъ и миѳическихъ сказаній, — весь этотъ запасъ, появившійся въ болгарской литературѣ, со введеніемъ христіанства, переходилъ готовымъ къ Сербамъ и Русскимъ. Болгарская литература становилась источникомъ, изъ котораго они брали и готовое содержаніе новыхъ понятій, и готовые образцы для собственной литературной дѣятельности. Очень часто, мы были-бы не въ состояніи опредѣлить этотъ ходъ вещей, по собственно болгарскимъ памятникамъ; мы говорили уже, что эти послѣдніе чрезвычайно рѣдки, потому что множество ихъ погибло во время войнъ и турецкаго ига и даже преднамѣренно истреблялось греческимъ духовенствомъ въ болѣе близкое къ намъ время; но историческое значеніе литературы болгарской возстановляется по тѣмъ русскимъ рукописямъ, которыя сохранили слѣды своего южно-славянскаго происхожденія.

[3]) См. вообще подробности и тексты этой литературы въ моемъ „Очеркѣ литер. исторіи стар. повѣстей русскихъ“, Спб. 1857.

Таково было блестящее начало болгарской письменности, доставившее Болгаріи значительную роль въ развитіи другихъ православныхъ Славянъ. Но независимо отъ правительственнаго и церковнаго просвѣщенія Болгаріи, которое налагалось, кромѣ убѣжденія, и силой (возстаніе бояръ противъ Бориса), шло свободное народное движеніе, ставшее наконецъ своего рода оппозиціей: это—движеніе, въ которомъ инстинктивно высказывалась масса, желавшая сохранить старыя преданія или увлекавшаяся инымъ ученіемъ, которое приходилось по ея вкусу больше, чѣмъ византійская книжность.

Мы разскажемъ здѣсь исторію болгарскихъ *суевѣрій*, которыя, точно также какъ церковная литература, перешли къ другимъ православнымъ Славянамъ и произвели въ свое время такое дѣйствіе, что слѣды его существуютъ даже и до сей минуты.

Въ этихъ суевѣріяхъ, собственно говоря, и заключается единственный чисто литературный (въ смыслѣ этой книги), поэтическій элементъ, который представляетъ намъ Болгарія стараго періода. И въ этомъ направленіи, какъ въ развитіи чисто-церковной литературы, Болгарія опять была богатымъ источникомъ, изъ котораго нравственная пища шла черезъ рукописи и живыхъ людей къ Сербамъ и Русскимъ. Историческія изслѣдованія только въ послѣднее время показали всю обширность этого болгарскаго вліянія, и мы остановимся на изложеніи этихъ явленій нѣсколько дольше, тѣмъ болѣе, что, быть можетъ, наше изложеніе дастъ нѣкоторыя новыя подробности объ этомъ предметѣ.

Не смотря на то, что уже Борисъ, по словамъ одного панегириста, «озарилъ Болгарію семисвѣтнымъ свѣтильникомъ», основавши семь соборныхъ церквей, современникамъ Симеона, напр. Іоанну Экзарху, приходилось жаловаться на «скверныхъ манихеевъ и поганыхъ» (т. е. язычниковъ) «Словенъ». Очевидно, язычество не скоро уступило христіанству. Этого мало. Какъ всегда бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, даже обратившіеся долго не могли отстать отъ языческихъ представленій, съ которыми отцы и дѣды ихъ жили цѣлые вѣка и которыя вошли въ плоть и кровь дѣтей. Такимъ образомъ, рядомъ съ христіанствомъ существовали еще цѣликомъ и языческія представленія народной миѳологіи и космогоніи. Это былъ одинъ элементъ, изъ котораго развилось указанное нами явленіе. Другимъ его элементомъ было богомильство. — Какъ мы увидимъ дальше, эти элементы оказывались очень близки одинъ къ другому и соединялись въ цѣлое народное вѣрованье.

Ересь *богомиловъ* [1]), распространившаяся въ Болгаріи одновременно

[1]) Объ исторіи богомильства см. Euthymii Zygadeni, Narratio de Bogomilis, ed. Gieseler, Gott. 1842;—Petrus Siculus, Historia Manichaeorum, ed. Gieseler, Gott. 1846;—Schmidt, Histoire et doctrine de la secte des Cathares ou Albigeois;—Gieseler, Lehrbuch der Kirchengeschichte, и друг.;—Гильфердингъ, Письма объ исторіи Сербовъ и Болгаръ. Есть и славянская теорія объ исторіи богомильства и его вліяніи; см. Kollár, Cestopis (Spisy Iana Kollára, изд. 1862, т. 3-й), стр. 199—207.

съ введеніемъ христіанства, была ересь манихейскаго происхожденія, занесенная изъ Азіи. Первое появленіе ея относятъ къ 9-му вѣку, но по всей вѣроятности, павликіане, другое развѣтвленіе этой ереси, уже раньше утвердились въ этихъ мѣстахъ. При Симеонѣ и особенно его преемникѣ, Петрѣ (927—967), богомилы уже возбудили живѣйшее безпокойство въ ревнителяхъ вѣры. Въ царствованіе Петра явился знаменитый ересіархъ, попъ *Богомилъ*, имя котораго было и именемъ цѣлой ереси [5]). Его пропаганда заслонила всѣ прежнія попытки манихейства и дала сектѣ ея особенный, славянскій и народный колоритъ. Богомилъ выбралъ между своими учениками *апостоловъ*, и его пропаганда имѣла огромный успѣхъ. Въ это время богомильство распространялось повидимому совершенно свободно; по историческимъ преданіямъ, даже царь болгарскій Самуилъ былъ въ связяхъ съ павликіанами. Съ той же силой богомильство переходитъ и въ 12-е столѣтіе: цѣлые болгарскіе края были наполнены еретическимъ населеніемъ. Немногіе уцѣлѣвшіе памятники сохранили для насъ слѣды борьбы православія съ богомильствомъ. Таковы сочиненія уже упомянутаго нами пресвитера Козьмы, котораго относятъ къ 10-му вѣку, и отъ котораго извѣстны: «Слово святаго Козмы пресвитера на еретики препрѣніе и поученіе отъ божественныхъ книгъ», «Слово о церковномъ чину», «О мятущихся чернцѣхъ», «О затворницѣхъ», «О епископахъ», «Отъ патерика» (первыя два изд. въ «Архивѣ» Кукулевича, 4, 71—97). За пресвитеромъ Козьмой слѣдовалъ другой обличитель, Иларіонъ Меглинскій. Въ славянскіе Номоканоны вносятся съ тѣхъ поръ цѣлыя статьи о богомилахъ и манихеяхъ. Дальнѣйшимъ заключеніемъ этой исторіи манихейскаго богомильства было то, что Болгарія стала для южной Европы центромъ, откуда новая ересь подъ именами патареновъ, катаровъ и др. распространилась не только по славянскимъ землямъ балканскаго полуострова, но и въ Италіи и южной Франціи, гдѣ альбигойцы были даже въ прямыхъ сношеніяхъ съ южно-славянскими еретиками. Въ другихъ южно-славянскихъ земляхъ, въ Босніи и Далмаціи, богомильство пустило такіе крѣпкіе корни, что на его сторонѣ были семейства бановъ и королей и даже высшее духовенство.

Успѣхъ богомильства объясняется очень легко тѣми его качествами, которыя мы можемъ услѣдить во враждебныхъ отзывахъ его обличителей. Эти особенности богомильства именно способны были дать ему доступъ въ народную массу: народъ увлекался и внѣшними пріемами еретиковъ, и ихъ ученіемъ. Съ одной стороны, по словамъ самихъ обличителей, они были благочестивы, отрекались отъ внѣшней суеты и роскоши, и даже от-

[5]) „Въ лѣта православнаго царя Петра, бысть попъ именемъ Богумилъ, а по истинѣ Богу не милъ, иже нача первіе учити ереси въ земли болгарстѣй“ — говоритъ о немъ обличитель богомильской ереси, пресвитеръ Козьма, жившій въ концѣ 10-го вѣка. Но „первымъ“ онъ назвалъ его безъ сомнѣнія только какъ наиболѣе энергическаго проповѣдника ереси.

личались суровымъ аскетизмомъ. Обличители конечно видятъ въ этомъ притворное смиреніе и обманъ, но нѣтъ сомнѣнія, что аскетизмъ бывалъ у богомиловъ и совершенно искреннимъ фанатическимъ увлеченіемъ. Подобныя вещи вездѣ и во всѣ времена производятъ свое дѣйствіе на массу. Съ другой стороны, въ самомъ ученіи богомиловъ было множество подробностей, которыя были для нея крайне привлекательны; они объясняли желающему множество тайнъ религіи, твореніе міра, спасеніе души, будущія судьбы, — все такія вещи, на объясненіе которыхъ не рисковали православные учители, боясь произвольныхъ толкованій, но которыя всегда въ высшей степени занимательны для народной фантазіи, всегда желающей найти для нихъ осязательное разрѣшеніе. Въ отношеніяхъ общественныхъ, богомилы отвергали оффиціальную іерархію (ихъ собственная была скопирована съ перваго вѣка христіанства), съ отрицаніемъ ея соединялось и отрицаніе всѣхъ господствовавшихъ общественныхъ отношеній: «учатъ же своя си не повиноватися властелемъ своимъ, хуляще богатыхъ, отецъ ненавидятъ, ругаются старѣйшинамъ, укоряютъ бояры, мерзки Богу мнятъ (считаютъ) работающихъ царю, и всякому рабу не велятъ работати господину своему».

Эти демократическіе и соціальные принципы не могли не увлекать народнаго большинства, особенно когда они подкрѣплялись у богомиловъ религіознымъ престижемъ, тѣмъ глубокимъ знаніемъ божественныхъ тайнъ, которымъ они хвалились и которое было неизвѣстно оффиціальному клиру. Если они подвергались преслѣдованіямъ клира и властителей, ихъ считали только мучениками за правое дѣло.

Знаніе божественныхъ тайнъ представляло для народной фантазіи ту желанную пищу, которой она доискивается всегда, когда заходитъ для нея вопросъ о вещахъ подноготныхъ. Какъ мы сказали, вопросы о твореніи міра, о спасеніи души, о судьбѣ человѣка въ загробной жизни, находили у богомиловъ положительные отвѣты, которые совершенно подкупали поэтическую потребность народа. Къ сожалѣнію мы мало знаемъ подробности богомильскаго ученія и ихъ космогонической системы. Въ нихъ было безъ сомнѣнія много варіацій, какъ бываетъ всегда съ народными религіями, гдѣ многое отдается на произволъ отдѣльныхъ учителей. Одному изъ обличителей богомильства нужно было искать человѣка, отъ котораго бы онъ могъ съ точностью узнать ученіе этихъ еретиковъ. Другой, Козьма, даетъ видѣть, что разногласіе касалось даже самыхъ существенныхъ пунктовъ ученія: «одни, говоритъ онъ, называютъ дьявола творцомъ человѣка и всей божьей твари.., другіе называютъ его отпадшимъ ангеломъ; третьи несправедливо считаютъ его икономомъ (строителемъ)... потому что рѣчи ихъ не сходятся и влекутся въ разныя стороны, какъ гнилое сукно». Какъ мы сейчасъ увидимъ, тѣ, которые считали Сатанаила только отпадшимъ ангеломъ, значительно уклонялись отъ собственнаго богомильства и сближались съ понятіями ортодоксальными.

Основой богомильскаго ученія былъ манихейскій дуализмъ — признаніе двухъ началъ, управляющихъ міромъ, добраго и злаго, равно сильныхъ и борющихся. Богомилы положительно отвѣчали на темный вопросъ: «почто Богъ попусти діаволу на человѣки?» Богомильство признавало троицу, но понимало ее неправильно, и совершенно извращало христіанскіе догматы о воплощеніи, о земной жизни Спасителя и т. д. Ветхій завѣтъ богомилы отвергали, какъ порожденіе злаго начала, не вѣрили книгамъ Моисея и другихъ пророковъ, думая, что до пришествія Спасителя люди повиновались злому духу, отъ него получали законъ. Царство Бога на землѣ начиналось, по ихъ мнѣнію, только съ пришествія Спасителя. Признавая два начала, отъ которыхъ произошелъ міръ, богомилы совершенно по своему разсказывали исторію сотворенія міра и человѣка. Они утверждали, что могущественный духъ, котораго Спаситель назвалъ сатаной, самъ былъ сыномъ Бога Отца и назывался Сатанаиломъ; сверженный съ неба за свои гордыя покушенія, онъ сохранилъ силу творчества, но «не могъ удержаться въ водахъ» (Euthym. Zygad.) и уже послѣ того, какъ Богъ въ началѣ создалъ небо и землю, онъ съ своими ангелами рѣшился создать второе небо и другую землю, и затѣмъ всю тварь, которая наполняетъ землю. Онъ сдѣлалъ потомъ тѣло человѣка, смѣшавши землю съ водою, но не могъ вдохнуть въ него души: онъ дунулъ было въ Адама, но духъ его прошелъ сквозь тѣло и вылетѣлъ черезъ большой палецъ правой ноги и перешелъ въ змѣю, которая отъ того стала мудрою между животными, такъ какъ въ нее перешелъ духъ Сатанаила. Тогда Сатанаилъ, увидѣвъ, что трудился по напрасну, просилъ Бога вдохнуть душу въ человѣка, и обѣщалъ, что живой человѣкъ будетъ одинаково принадлежать имъ обоимъ... Но впослѣдствіи, Сатанаилъ всегда стремился завладѣть бо̀льшимъ количествомъ людей; онъ далъ законъ Моисею, говорилъ черезъ пророковъ и люди безраздѣльно были во власти его во всемъ Ветхомъ Завѣтѣ. Родъ человѣческій спасенъ былъ отъ власти діавола только Іисусомъ Христомъ, который побѣдилъ Сатанаила, заключилъ его въ безднахъ ада и назвалъ его *Сатаной*.

Другіе источники сообщаютъ иныя подробности. Но подлинныхъ слѣдовъ богомильской литературы осталось очень мало. Они однако же есть, и мы по возможности воспользуемся ими. Слѣды эти мы найдемъ въ томъ разрядѣ памятниковъ древняго болгарскаго періода, которые въ особенности служили народнымъ вкусамъ и наконецъ опредѣлились постепенно въ особую народно-поэтическую литературу, не признаваемую ортодоксальными книжниками и подъ конецъ формально ими запрещаемую. Это такъ называемые «отреченныя» или «ложныя книги», отчасти темнаго восточнаго происхожденія, отчасти византійскія, отчасти, несомнѣнно, болгарскія или даже богомильскія.

Ложными книгами [e]) назывались у насъ въ старину: во-первыхъ, апо-

[e]) О литературѣ ложныхъ книгъ см. мое изданіе: „Ложныя и отреч. книги рус. старины“ (въ Памятникахъ стар. рус. лит., Спб. 1862, вып. 3-й), также „Очеркъ литер. исторіи повѣстей и сказокъ русскихъ“;—Буслаева, Историч. очерки и пр.;—Тихонравова, Памятники отреч. литературы, 2 т., М. 1863. Другія пособія указаны ниже.

крифическія, т. е. подложныя книги и сказанія о лицахъ и событіяхъ Ветхаго и Новаго Завѣта, не принятыя въ христіанскій канонъ; затѣмъ книги позднѣйшія, заключавшія въ себѣ фантастическія нреданія того же свойства; книги, или собственно говоря статьи, представлявшія собой попытки легендарной народной поэзіи, не стѣснявшей себя церковными указаніями, наконецъ книги волшебныя, гадательныя, суевѣрія и т. п. Значительная масса ложныхъ книгъ, имѣвшихъ древнее восточное происхожденіе, была одинаково распространена на всемъ христіанскомъ востокѣ и западѣ. Значительное количество ихъ появилось и въ болѣе позднюю христіанскую эпоху и распространялось въ массахъ, не смотря на запрещенія церкви. Византійская литература была особенно богата ложными книгами, и отсюда — при близкомъ сосѣдствѣ и постоянныхъ связяхъ — эти книги удобно приходили въ Болгарію. Къ этому основному, византійскому запасу, въ болгарской литературѣ прибавилось, какъ мы увидимъ, и много своихъ національныхъ преданій такого же ложнаго свойства.

Мало извѣстные до послѣдняго времени, славянскіе памятники ложной литературы, переводные и оригинальные, раскрываютъ теперь передъ нами цѣлую область народной религіозной поэзіи православнаго славянства старыхъ временъ. Эти славянскія ложныя книги всего больше извѣстны намъ теперь въ старыхъ русскихъ рукописяхъ, которыхъ вообще уцѣлѣло гораздо больше, чѣмъ болгарскихъ и сербскихъ, и которыя нерѣдко положительно выказываютъ свой южно-славянскій источникъ. Южно-славянское происхожденіе нашихъ редакцій уже теперь не подлежитъ сомнѣнію и, конечно, опредѣлится еще яснѣе, когда будутъ наконецъ собраны и объяснены уцѣлѣвшія рукописи сербскія и болгарскія, до сихъ поръ извѣстныя чрезвычайно мало. Изъ ложныхъ книгъ только немногія извѣстны въ древнихъ спискахъ, но встрѣчаются однако памятники, доходящіе до 12 вѣка [7]) и вполнѣ сохраняющіе старо-славянскую форму, какъ она существовала въ болгарской письменности въ ея лучшую, т. е. древнѣйшую эпоху. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что начала апокрифической славянской литературы должны восходить къ первымъ началамъ славянской литературы вообще.

Ложныя книги имѣли безъ сомнѣнія обширный успѣхъ въ новообразовавшейся христіанской публикѣ. Ихъ легендарный, почти всегда фантастическій характеръ, ихъ наклонность браться за самые животрепещущіе пункты христіанскихъ вѣрованій, давали имъ привлекательность, которая сдѣлала изъ нихъ надолго любимое чтеніе и даже кодексъ вѣры, конечно страшно фальшивый. У насъ многое изъ нихъ сбереглось въ народѣ до сей минуты.

Всего больше успѣха имѣли тѣ изъ нихъ, которыя наиболѣе были доступны массѣ по своей формѣ и занимали ее содержаніемъ, любопытнымъ для младенческой фантазіи. Въ этой литературѣ соединилось множество разнообраз-

[7]) Таково, для примѣра, „Хожденіе Богородицы по мукамъ", въ рукоп. 12 вѣка, изданное г. Срезневскимъ въ хронологическомъ обзорѣ русскихъ памятниковъ (акад. Извѣстія, 1862).

ныхъ преданій апокрифическаго свойства. Въ ней были апокрифы Ветхаго Завѣта, отчасти еврейскаго, отчасти поздняго христіанскаго происхожденія; въ ней разсказывались преданія новозавѣтной эпохи, или поэтическія легенды, или догматическія повѣрья и суевѣрія древнихъ христіанъ; далѣе въ числѣ апокрифовъ были фантастическія легенды о святыхъ, и въ старину уже отмѣченныя какъ невѣроятныя и сказочныя; наконецъ, книги волшебныя, астрологическія, гадательныя, зелейныя и т. п. Прежде всего, для новаго христіанина занимательны были преданія объ исторіи христіанства, о Спаситель, ученикахъ Его, святыхъ и мученикахъ. Ветхозавѣтные апокрифы — особенно еврейскіе — стояли отъ него вообще слишкомъ далеко, но занимательнаго было не мало и здѣсь. Изъ Ветхаго Завѣта вниманіе читателя поражено было всего больше сказаньями о сотвореніи міра, судьбѣ перваго человѣка: съ одной стороны, здѣсь былъ корень всей церковной исторіи искупленія; съ другой, была крайне завлекательна космогонія. Апокрифическія преданья объ Адамѣ были однимъ изъ любимѣйшихъ пунктовъ ложныхъ сказаній, литературная судьба котораго завершается современными народными разсказами. Другая ветхозавѣтная личность ложныхъ книгъ, поражавшая воображеніе своими фантастическими чертами, былъ царь Соломонъ: на его имени построено было множество миѳовъ и на древнемъ востокѣ, и на средневѣковомъ западѣ; у насъ и у южныхъ Славянъ они дошли до степени народной сказки. Еще болѣе интереса возбуждали апокрифы христіанскіе: они примыкали къ тому же извѣстному содержанію христіанской исторіи, въ нихъ встрѣчались тѣ же извѣстныя лица, съ которыми связывалось христіанское ученіе о вѣрѣ, — но все добавлено было сказочными и поэтическими подробностями, соблазнительными для легковѣрнаго грамотѣя. Древнее запрещеніе ложныхъ книгъ уже предостерегаетъ вѣрующаго, что эти книги разсказываютъ множество исторій, о которыхъ не говорится у *истинныхъ* писателей церкви: здѣсь было и прѣніе Христа съ дьяволомъ, и хожденіе Богородицы по мукамъ, и чудныя исторіи апостоловъ, посланіе съ неба самого Христа, въ послѣдній разъ дававшаго людямъ заповѣдь о спасеніи. Особенный успѣхъ въ народной массѣ давало этимъ памятникамъ то обстоятельство, что они часто обращались именно къ тѣмъ пунктамъ вѣры, для которыхъ масса стремилась найти положительное объясненіе: вопросы о подробностяхъ творенія, о загробной жизни, о страшномъ судѣ и адскихъ казняхъ и т. д. Обо всемъ этомъ апокрифическія сказанья говорили съ такими подробностями и въ доказательство называли такіе авторитеты, что неопытный читатель увлекался и вѣрилъ имъ на слово. Простота формы, состоявшей въ прямомъ положительномъ разсказѣ, въ короткихъ вопросахъ и отвѣтахъ и т. п. дѣлала эти памятники еще болѣе доступными, и они крѣпко затверживались въ народной памяти. Стремясь дать всему полное объясненіе, апокрифы въ своихъ толкованіяхъ разныхъ предметовъ св. Писанія предавались произвольному символизму, которымъ такъ легко удовлетворяется патріархальное глубокомысліе, и позднѣйшая русская раскольничья литература нерѣдко пользуется этимъ источникомъ: наив-

ное стремленіе открывать глубокій тайный смыслъ писанія видѣло символическій смыслъ даже въ такихъ разсказахъ, которые само евангеліе изображало положительнымъ фактомъ, а не притчей и иносказаніемъ.

Таковы были въ общихъ чертахъ всѣ эти «хожденія», «вопросы», «слова», «бесѣды» и т. д., которые мы находимъ во множествѣ въ старыхъ русскихъ рукописяхъ, и источникомъ которыхъ въ большинствѣ случаевъ была для нашей письменности Болгарія. Ихъ болгарское происхожденіе долго помнилось у насъ и апокрифическое суевѣріе слыло подъ именемъ *болгарскихъ басней* [8]).

Оффиціальный клиръ не могъ не обратить вниманія на эту ложную литературу, чтобы предохранить православныхъ отъ соблазна. Съ этой цѣлью составленъ былъ index — такъ называемая статья *о книгахъ истинныхъ и ложныхъ*, которая, пересчитывая тѣ и другія, представляетъ любопытный указатель запрещаемыхъ ею ложныхъ книгъ. Воспользовавшись такими же греческими индексами для перечисленія главнѣйшихъ неканоническихъ книгъ ветхаго и новаго Завѣта, статья приводитъ потомъ другія указанія, очевидно основанныя на наличномъ составѣ славянской ложной литературы. Время составленія этой статьи въ точности неизвѣстно; впослѣдствіи она (по крайней мѣрѣ въ русскихъ спискахъ) много разъ дополнялась и измѣнялась, но нѣтъ сомнѣнія, что первоначально и она имѣла южно-славянское, и именно болгарское происхожденіе. Древнѣйшій извѣстный текстъ ея находится въ старо-славянскомъ Номоканонѣ 14-го вѣка, гдѣ авторство многихъ ложныхъ книгъ уже приписано Іереміи, попу болгарскому [9]).

Такимъ образомъ, индексъ сохранилъ для насъ объемъ ложной литературы, представляющей, какъ мы замѣтили, оппозицію народно-поэтическихъ вкусовъ и стремленій противъ сухаго догматизма оффиціальной книги. Многіе изъ памятниковъ, въ немъ названныхъ, неизвѣстны до сихъ поръ; другіе найдены только недавно. Мы остановимся на нѣкоторыхъ изъ нихъ, чтобы познакомить читателя съ направленіемъ народной фантазіи и вмѣстѣ показать, какое мѣсто занимало въ ложной литературѣ богомильство. Мы начнемъ съ памятниковъ, гдѣ связь эта не такъ замѣтна, и потомъ перейдемъ къ фактамъ этой литературы, явно принадлежащимъ богомильству. Напомнимъ еще разъ читателю, что хотя мы пользуемся здѣсь и русскими рукописями, мы будемъ имѣть дѣло съ памятниками несомнѣнно южно-славянскими, и что, въ слѣдствіе указанныхъ нами литературныхъ

[8]) Опис. Рум. Музея, стр. 242.

[9]) Тексты этого индекса и ихъ исторію см. въ „Лѣтописи занятій Археограф. коммиссіи" за 1861 г., стр. 1—55; также „объясненія къ памятникамъ древней русской литературы", въ Русскомъ Словѣ, 1862 г. Для источниковъ самой отреченной литературы см. въ особенности книги Фабриція: Codex Apocr. Vet. Test. и Codex Pseudepigraphus Novi Test., и сборникъ аббата Миня (Migne): Dictionnaire des Apocryphes, 2 vol. 4°, Paris 1856—58; также Thilo, Codex Apocryphus Novi Testamenti, Лейпц. 1832.

связей, въ этихъ памятникахъ раскрывается передъ нами народная религіозная поэзія не только Болгаръ и богомиловъ, но цѣлаго православнаго славянства стараго періода, въ которомъ народная масса до самаго 18-го столѣтія была очень привязана къ ложной литературѣ.

Въ индексѣ между прочимъ упоминается книга: *Воспросы Іоанна Богослова, что воспроси Господа на горѣ Елеонстѣй* [10]). Эти воспросы извѣстны по русскимъ, большей частью позднимъ спискамъ, касаются Антихриста и втораго Христова пришествія и, судя по разнымъ даннымъ, составляютъ отрасль ложныхъ сказаній богомильства. Замѣтимъ прежде всего, что этотъ апокрифъ принадлежитъ къ числу тѣхъ, которые въ статьѣ о ложныхъ книгахъ прибавлены уже славянской редакціей и не находятся въ греческомъ индексѣ, послужившемъ для нея основаніемъ. Если греческій индексъ не упоминалъ объ этомъ апокрифѣ, важномъ по своему еретическому содержанію,—то это можетъ объясниться тѣмъ, что или апокрифъ составился не на греческомъ языкѣ, или онъ явился уже въ позднѣйшую эпоху, послѣ составленія статьи, или и то и другое вмѣстѣ. Въ эту позднѣйшую эпоху и былъ именно поводъ явиться подложному произведенію съ именемъ Іоанна Богослова; этотъ апостолъ пользовался особеннымъ почитаніемъ ново-манихейской ереси богомиловъ. Эта ересь въ особенности дорожила сочиненіями Іоанна Богослова, котораго послѣдователи ея считали ангеломъ; но каноническій Апокалипсисъ не удовлетворялъ мистическимъ идеямъ еретиковъ, и это вѣроятно было поводомъ къ сочиненію книги, которая ближе излагала ихъ ученіе и могла быть принята ими за кодексъ ихъ ученія и вѣрованій.

Такая апокрифическая книга Іоанна Богослова пользовалась авторитетомъ у альбигойцевъ, къ которымъ по старому преданью она была принесена изъ Болгаріи, отечества богомиловъ. Латинская редакція ея издана была доминиканцемъ Бенуа въ его исторіи альбигойцевъ и потомъ перепечатана у Тило [11]). На рукописи этого памятника было именно замѣчено, что «эта тайная книга конкорезскихъ еретиковъ принесена была изъ Болгаріи Назаріемъ, ихъ епископомъ, и наполнена заблужденіями» (hoc est secretum Haereticorum de Concoresio portatum de Bulgaria a Nazario, suo episcopo, plenum erroribus). Книга конкорезцевъ не вполнѣ соотвѣтствуетъ нашему памятнику, извѣстному подъ заглавіемъ «Воспросовъ Іоанна Богослова», но цѣлое содержаніе ея состоитъ именно въ вопросахъ Іоанна и отвѣтахъ Христа, который говоритъ ему въ началѣ—о состояніи злыхъ духовъ до ихъ паденія, о созданіи міра и человѣка, и въ концѣ—о второмъ пришествіи. Наши апокрифы, носящіе названіе «Воспросовъ Іоанна Богослова къ Господу», соотвѣтствуютъ этой второй половинѣ латинской книги и оба памятника вѣроятно сводятся къ одному общему источнику.

[10]) Изданы у Тихонравова, Отреч. книги, 2, 174—192. Г. Буслаевъ перепуталъ „Воспросы“ съ „Бесѣдой трехъ святителей“ (Очерки, 2, стр. 31).

[11]) J. Benoist, Histoire des Albigeois, 1, p. 283—296; Thilo, Cod. Apocryphus Novi Test. p. 884—896.

Латинская книга представляетъ чрезвычайно любопытный матеріалъ не только для исторіи альбигойской ереси; для насъ она въ особенности важна по отношенію къ болгарскимъ богомиламъ. Эта альбигойская книга, занесенная изъ Болгаріи, можетъ быть важнымъ источникомъ для того, кто бы вздумалъ прослѣдить исторію богомильскаго еретичества въ нашихъ памятникахъ и народныхъ преданьяхъ. Не имѣя возможности войти теперь въ разсмотрѣніе этого предмета, мы ограничимся нѣсколькими указаніями на содержаніе книги, въ которой мы имѣемъ полное право находить отголосокъ древней литературы болгарскаго богомильства.

Послѣ перваго вопроса Іоаннъ Богословъ спрашиваетъ Христа о томъ, въ какой славѣ былъ Сатана прежде своего паденія? Онъ повелѣвалъ небесными силами, отвѣчаетъ Христосъ, и сходилъ съ неба въ преисподнюю и изъ преисподней до престола невидимаго Отца. Онъ возгордился потомъ и рѣшился возстать противъ Него и возмутилъ другихъ ангеловъ. «И онъ видѣлъ славу движущаго небесами, и замыслилъ поставить свое сѣдалище надъ облаками небесъ и хотѣлъ быть равенъ Всевышнему. И когда онъ сошелъ въ воздухъ, онъ сказалъ ангелу воздуха: отвори мнѣ двери воздуха,—и тотъ отворилъ ему двери воздуха. И стремясь далѣе, онъ нашелъ ангела, державшаго воды, и сказалъ ему: отвори мнѣ двери водъ, и отворилъ ему. И прошедши, онъ нашелъ все лицо земли покрытое водами. И прошедши подъ землю, нашелъ *двухъ рыбъ*, лежащихъ на водахъ, и они были соединены, какъ волы въ плугѣ, и *держали всю землю* повелѣніемъ невидимаго Отца отъ запада и до востока солнца» (et transcendens subtus terram invenit duos pisces jacentes super aquas, et erant sicut boves juncti da arandum, tenentes totam terram invisibilis patris praecepto ab occasu usque ad solis ortum).

Эти рыбы, держащія всю землю отъ востока до запада, вѣроятно не случайно похожи на знаменитыхъ китовъ, на которыхъ по русскому народному преданью вся земля стоитъ; этотъ богомильскій миѳъ во всякомъ случаѣ любопытенъ для нашего древняго эпоса. Комментаторъ этого мѣста указываетъ источникъ преданья о рыбахъ въ четвертой книгѣ Ездры, гдѣ, гл. VI, ст. 47—52, пророкъ разсказываетъ исторію творенія, и при пятомъ днѣ упоминаетъ о двухъ животныхъ, Бегемотѣ и Левіаѳанѣ; одного изъ нихъ принимаютъ за слона, другаго за кита. Они были помѣщены въ разныхъ концахъ міра, потому что седьмая часть его, гдѣ собрались воды, не могла помѣстить ихъ обоихъ. Бегемотъ поставленъ былъ тамъ, гдѣ земля осушена была на третій день творенія, и онъ долженъ былъ оставаться тамъ среди горъ; Левіаѳанъ помѣщенъ былъ въ седьмой части міра, гдѣ собрались воды, и нѣкогда долженъ былъ поглотить то, что Богъ осудилъ на истребленіе. Замѣтимъ, что и средневѣковый памятникъ англосаксонской литературы,—бесѣда Соломона съ Сатурномъ,—также считаетъ Левіаѳана китомъ, и на вопросъ Сатурна: «гдѣ свѣтитъ солнце ночью?» Соломонъ отвѣчаетъ: «я скажу тебѣ—въ трехъ мѣстахъ: сначала во чревѣ

кита, котораго зовутъ Левіаѳаномъ, потомъ въ аду и наконецъ на томъ островѣ, который называется Глитъ (Glith), и гдѣ покоятся души святыхъ до суднаго дня» [12]). Очевидно, что китъ и здѣсь имѣетъ какое-то мистическое и важное значеніе.

Въ цѣломъ памятникѣ рѣзко выступаютъ идеи о твореніи міра, которыя имѣютъ несомнѣнное тождество и съ западнымъ манихеизмомъ, и съ ученіемъ богомиловъ, на сколько оно извѣстно изъ Козьмы, болгарскаго пресвитера, Евѳимія Зигадена и другихъ писателей. Такъ, проповѣдуется въ немъ дуалистическій принципъ богомиловъ, которые признавали, что міръ созданъ былъ Сатаной, — или Сатанаиломъ, какъ онъ назывался по мнѣнію богомиловъ до своего паденія, — получившимъ отъ Бога власть на семь дней. Латинская книга разсказываетъ, что создавши видимую природу, Сатана сдѣлалъ изъ земли тѣло человѣка и велѣлъ ангелу третьяго неба войти въ него; потомъ сдѣлалъ тѣло женщины и велѣлъ войти въ него ангелу втораго неба. Онъ научилъ ихъ потомъ *плотскому грѣху* (et praecepit opus carnale facere in corporibus luteis, etc.). Въ другихъ нашихъ преданіяхъ объ Адамѣ есть также слѣды подобнаго пониманія исторіи творенія: бѣсъ также является при самомъ началѣ творенія и стремится показать свое участіе въ этомъ дѣлѣ,—но отъ цѣлаго богомильскаго представленія уцѣлѣли здѣсь только обрывки и варіаціи. Преданіе сохранило и понятіе альбигойской книги о первомъ грѣхѣ, совершенномъ прародителями: у богомиловъ миѳическое предположеніе о томъ, что діаволъ соединилъ Адама и Еву брачными узами, было прямой поддержкой и объясненіемъ отрицанія брака, которое составляло одинъ изъ существенныхъ пунктовъ ихъ ученія. Козьма пресвитеръ говоритъ о богомилахъ, что по ихъ мнѣнію «того (т. е. діавола) повелѣніе — жены поимати... женящаяся человѣки и живущія въ мірѣ мамонины слуги зовутъ;»... дѣтей они ненавидѣли и звали ихъ «мамоничища» и «діаволичища» (см. Arkiv za povjestn. jugoslav., IV, стр. 88—90). Впослѣдствіи, кремонскій монахъ Монета приводитъ такое же мнѣніе катаровъ: Sathan alium angelum inclusit in corpore muliebri facto de latere Adae dormientis, cum qua peccavit Adam; fuit autem peccatum Adae, ut asserunt, *fornicatio carnalis* (Hahn, Geschichte der Ketzer im Mittelalter. Stuttg. 1845, 1, стр. 68). Этотъ послѣдній предразсудокъ до сихъ поръ живетъ въ сербскомъ народѣ, по понятіямъ котораго въ бракѣ есть грѣхъ, и въ эпическомъ языкѣ сынъ обыкновенно называетъ отца своимъ родителемъ «по гриjеху», т. е. черезъ грѣхъ.

Далѣе памятникъ нашъ представляетъ ветхозавѣтную исторію человѣка дѣломъ бѣса, который прельстилъ всѣхъ патріарховъ, выдавая имъ себя за Бога, до самаго пришествія Спасителя, который началъ новую исторію человѣка, исторію его избавленія. Это опять совершенно согласно съ ученіемъ богомиловъ, которые не принимали книгъ ветхаго завѣта. Не

[12]) Migne, Dictionnaire des Apocryphes, t. 2, p. 882.

входя въ дальнѣйшія подробности этого ученія, замѣтимъ, что въ нашемъ памятникѣ видятъ и намекъ на то преданье вальдензовъ и катаровъ, что «люди предстанутъ на судъ въ образѣ совершеннаго мужа и въ возрастѣ *тридцати лѣтъ* и женщины измѣнятъ свой полъ» [13]). Замѣтимъ, что тоже мнѣніе повторено буквально въ другомъ апокрифѣ старой нашей письменности, именно въ *Вопросахъ Іоанна Богослова къ Аврааму*, — принадлежащихъ безъ сомнѣнія къ тому же богомильскому циклу ложныхъ сказаній объ Іоаннѣ Богословѣ, —гдѣ въ дополненіе къ этому преданью утверждается еще, что умершій ребенокъ будетъ на томъ свѣтѣ расти также до *тридцати* лѣтъ, чтобы явиться на послѣдній судъ зрѣлымъ мужемъ.

Въ слѣдующихъ словахъ латинской исторіи, —которыми мы закончимъ свои извлеченія, — выдается быть можетъ вліяніе славянской мѣстности, среди которой составлялась эта редакція памятника. Послѣ того, какъ Сатана нашелъ двухъ рыбъ, державшихъ землю, — «онъ спустился и нашелъ висящія облака, держащія море, и когда онъ спустился внизъ, нашелъ свой *оссопъ,* что есть родъ огня, и потомъ уже не могъ сойти далѣе по причинѣ пламени пылающаго огня» [14]). Издатель памятника, Тило, отказывается объяснять слово *ossop,* для него непонятное; судя по объясненію этого слова, въ самомъ текстѣ, можно думать, что это было слово, произведенное отъ того же корня, отъ котораго мы имѣемъ «жупелъ». Предоставляемъ филологамъ разрѣшить это недоумѣніе. Замѣтимъ только, что по космогоніи этого апокрифа пылающій огонь есть еще болѣе далекое основаніе земли, чѣмъ *двѣ рыбы*. Въ такомъ порядкѣ элементы земли помѣщаются и въ другомъ варіантѣ этого преданья, которое сообщаетъ г. Буслаевъ по болгарской рукописи Григоровича, изъ 16-го вѣка: «Вопросъ: скажи мнѣ, что держитъ землю? Отвѣтъ: вода высока. — Да что держитъ воду?—Великій камень.—Да что держитъ камень?—Четыре золотые кита.— Да что держитъ золотыхъ китовъ?—Рѣка огненная.—Да что держитъ тотъ огонь?—Другой огонь, *еже есть пожечь* (?), того огня двѣ части......» (Очерки, 1, стр. 498).

Мы думаемъ, такимъ образомъ, что въ связи съ этимъ памятникомъ конкорезскихъ еретиковъ находятся и наши апокрифическіе «Вопросы Іоанна Богослова», которые, какъ мы замѣтили, въ извѣстныхъ теперь рукописяхъ ограничиваются только разсказомъ Христа объ Антихристѣ и второмъ пришествіи, — что по латинской редакціи составляетъ только одну послѣднюю часть книги. Нашъ апокрифъ представляетъ повидимому только развитіе второй части латинскаго, которая—при общемъ сходствѣ— гораздо короче нашихъ «Вопросовъ» [15]). Могло быть однако, что въ этомъ

[13]) Эбрардъ, въ книгѣ contra Waldenses: affirmant, quod in specie viri perfecti et in aetate XXX annorum ad judicium veniamus et mulieres suum permutent sexum.

[14]) Et cum descendisset, invenit nubes pendentes, tenentes pelagum maris. Et cum descendisset deorsum, invenit suum o s s o p, quod est genus ignis, et postea non potuit descendere deorsum propter flamman ignis ardentis.

[15]) Въ старой русской редакціи: „азъ Іоаннъ... помолихся къ Богу... сподоби.

памятникѣ было и не одно именно славянское богомильство; по крайней мѣрѣ существуютъ греческія рукописи этого апокрифа,—одну изъ нихъ, заключающую апокрифическій разсказъ о вопросахъ св. Іоанна и отвѣтахъ Христа, указываетъ Мингарелли въ Болонскомъ каталогѣ [16]),—не знаемъ, соотвѣтствуетъ ли этотъ греческій памятникъ латинской редакціи альбигойцевъ или краткому тексту русской редакціи.

Мы остановимся еще на одномъ русскомъ народномъ сказаньѣ космогоническаго содержанія и апокрифическаго свойства, которое до сихъ поръ ходитъ въ рукописяхъ. Въ немъ мы также увидимъ слѣды дуалистическихъ преданій о твореніи, составлявшихъ черту богомильскаго ученія.

Эта статья называется въ новыхъ рукописяхъ *Свитокъ божественныхъ книгъ*, — заглавіе очевидно позднее и случайное, — но разсказъ о твореніи, сообщаемый въ этомъ сказаньѣ, извѣстенъ и по старымъ рукописямъ 15—16-го вѣка.

Статья начинаетъ разсказъ еще до сотворенія міра, когда «бысть Господь Саваоѳъ въ трехъ каморѣхъ, на воздухѣ, въ лѣпотѣ, безначальный царь, невѣдомыя тайны».... «Тогда бысть свѣтъ отъ лица Господа Саваоѳа семидесяти седмерицею свѣтлѣе свѣта сего; ризы его были бѣлѣе снѣгу, свѣтозарнѣе солнца». Затѣмъ слѣдуетъ опредѣленіе троицы. Міръ еще не существовалъ: «не было тогда ни неба, ни земли, ни моря, ни ангелъ, ни архангелъ, ни херувимъ, ни серафимъ, ни рѣкъ, ни озеръ, ни кладезь, ни источникъ, ни человѣкъ, ни горницъ, ни холмовъ, ни облакъ, ни звѣздъ, ни свѣту, ни звѣрей, ни птицъ, ни вѣтру, ни зари: егда была тьма, и не бысть тогда ни дней, ни нощей».... За этимъ предисловіемъ слѣдуетъ исторія творенія. «Рече Господь: буди небо по хрусталю на воздухѣ сотворено, и буди заря, и облако, и звѣзды, и облаки, и вѣтры дунувъ изъ нѣдръ своихъ, и рай насади на востоцѣ, и востокъ, и западъ, и сѣверъ, и югъ, — а Богъ сидитъ на востоцѣ, въ вельлѣпотѣ превыспренней славы своея, и седмь небесъ словомъ своимъ сотворилъ Господь; а мразъ отъ лица Господня, а громъ—гласъ Господень, въ колесницѣ огненной утвержденъ; а молнія — слово Господне, изъ устъ Божіихъ исходитъ; а солнце—внутреннія ризы Господни».

Потомъ Богъ создалъ тьмы столповъ на воздухѣ, и столпы неподвижны, связаны отъ начала вѣка, «а на томъ столпѣ камень неподвиженъ»; потомъ создана земля и адъ съ вереями желѣзными, и мѣдными вратами, «подъ адомъ тартаръ — дна нѣсть.» За твореніемъ первыхъ столповъ и ада слѣдуетъ новый фазисъ творенія: «И рече Господь: буди тьмы стол-

мя раба твоего быти, услыши гласъ мой, и научи мя о пришествіи твоемъ, егда хощеши пріити на землю.... И слышахъ гласъ, глаголющь ми: слыши, праведный Іоанне!“ и проч. (Тихонр. 2,174 слѣд.). Въ латинской книгѣ конкорезцевъ: „Ego autem interrogavi Dominum de die judicii: Quod signum erit adventus tui? Et respondens dixit mihi: Cum consummabitur numerus justorum etc.“ (Thilo, p. 894).

[16]) Catalog. Bonon. 1784, стр. 298. Ср. въ книгѣ Тило: Codex Apocryphus Novi Test. p. 885.

повъ мѣдныхъ и каменныхъ, и на камени земля, и ста подъ исподъ песокъ, а на днѣ сотвори Господь словомъ камень и кремені̇е.... и на той земли море Тиверіадское, а бреговъ у него не было.»

«И сниде Господь на море по воздуху.... и видѣ на морѣ *гоголя* плавающа, а той есть рекомый Сатана, заплелся въ тинѣ морской. И рече Господь Сатанаилу, аки не вѣдая его: ты кто еси за человѣкъ?—И рече ему Сатана: азъ есмь богъ.—А меня како нарещи?—Отвѣщавъ же Сатана: Ты Богъ богомъ и Господь господемъ.—Аще бы Сатана не рекъ Господу такъ, тутъ же бы Господь его сокрушилъ на морѣ Тиверіадскомъ.

«И рече Господь Сатанаилу: понырни въ море и вынеси мнѣ песку и кремень. Сатанаилъ же послушася Господа и нырну въ море и вынесе песку и кремень, и разсѣя по морю Тиверіадскому, глаголя: «буди земля толста и пространна». И взявъ Господь кремень и преломи на двое; въ правой рукѣ Господь (остави) у себя, а изъ лѣвой руки отдастъ Сатанаилу. И взя Господь песокъ, и нача бить изъ того кремня, и рече Господь: «вылетайте ангелы и архангелы и вся силы небесныя по образу и по подобію», —и нача изъ того кремня вылетати искры съ огнемъ, и сотвори Господь ангелы и архангелы и всю девять чиновъ.

«И видѣ Сатанаилъ, что Господь сотвори, и нача той кремень бити, что Господь дастъ изъ лѣвой руки, и начали у Сатанаила вылетать его аггелы и сотвори Сатанаилъ силу на небесахъ. Потомъ сотвори Господь Сатанаила начальникомъ надо всѣми чинами его ангельскими; сатанинову силу—его сотвореніе—причте въ десятый чинъ.» По списку г. Буслаева это разсказывается нѣсколько иначе: Сатана досталъ со дна моря камень, этотъ камень преломляется на двое, и изъ одной половины его отъ ударовъ божественнаго жезла «вылетали духи чистые;» изъ другой же половины Сатана «набилъ бѣсовскую безчисленную силу боговъ *плотныхъ*» т. е. плотскихъ, нечистыхъ. На морѣ Тиверіадскомъ произведены тридцать три *кита*; на тѣхъ китахъ утверждена земля, и стала она на нихъ «толста, широка и пространна.»

Сатанаилъ увидѣлъ, что онъ почтенъ, и возгордился и захотѣлъ быть подобнымъ Вышнему. Тогда Богъ повелѣлъ архангелу низвергнуть лукавую силу, но огонь отъ Сатаны попалилъ архангела, и онъ воротился не исполнивъ повелѣнія. Богъ постригъ за то архангела въ чернецы и назвалъ его Михаиломъ; въ другомъ спискѣ прибавлено, что Богъ положилъ на него схиму «со крестами *простыми*, знаменіями Христа сына Божія.» И послалъ Богъ во второй разъ Михаила: онъ ударилъ скипетромъ силу сатанину и она пала на землю какъ дождь. Михаилъ поставленъ былъ начальникомъ надъ всѣми чинами ангельскими, и архангелы сказали: аминь. Это слово застало много изъ лукавыхъ въ горахъ, много въ рѣкахъ, много летающимъ по воздуху, кто увязъ ногою, кто рукою въ облакѣ, — тамъ они пребываютъ и до сего дня.

За тѣмъ идетъ извѣстный разсказъ о твореніи человѣка отъ восьми частей и т. д. и т. д.

Приведенный отрывокъ «Свитка» представляетъ разнообразныя соотношенія съ славянской народной поэзіей. Разсказъ о ныряніи въ море и твореніи земли изъ песку повторяется въ русскихъ легендахъ (у Якушкина, Аѳанасьева); въ карпатской колядкѣ (у Костомарова) два голубя достаютъ песку со дна моря и творятъ землю — вѣроятно одинъ изъ древнихъ славянскихъ космогоническихъ миѳовъ; въ карпато-русской же сказкѣ чортъ подобнымъ образомъ достаетъ песку со дна морскаго и участвуетъ въ твореніи; въ сербской сказкѣ онъ выводится параллельно съ ангеломъ. Тѣже самые мотивы повторяются и въ малорусской «оповидкѣ», записанной теперь въ Винницкомъ повѣтѣ (Основа, 1861, іюнь, стр. 59—60). Съ другой стороны представленіе о Сатанаилѣ въ «Свиткѣ», перешедшее безъ сомнѣнія изъ старыхъ источниковъ, и тридцать три кита, могутъ быть отраженіемъ богомильскаго преданья. Сопоставленіе Сатанаила въ такомъ отношеніи къ Богу не имѣетъ въ себѣ ничего православнаго. По самому разсказу видно, что діаволу приписывается какая-то самостоятельность дѣйствій; онъ только слабѣе Бога,—но ясно, что его считаютъ независимымъ. Вспомнимъ, что у самихъ богомиловъ твореніе злаго духа оказывается неудачнымъ, онъ не можетъ сотворить человѣка безъ Божіей помощи; но онъ создаетъ животное — змѣю, какъ въ сербской сказкѣ онъ создаетъ сороку. Мы полагаемъ, что въ произведеніяхъ, подобныхъ «Свитку», къ преданьямъ славянской народной космогоніи примѣшалось положительно и воспоминанье о богомильскихъ басняхъ.

Но если здѣсь мы должны были говорить только предположеніями о вліяніи богомильства, то съ другой стороны есть и исторически отмѣченные литературные факты богомильскаго вліянія.

Эти факты—ложныя и еретическія басни *Іереміи*, попа болгарскаго. Въ упомянутомъ нами индексѣ нѣсколько разъ названо имя этого Іереміи, который, по словамъ его, *солгалъ* много отреченныхъ книгъ и басней. Изъ показаній индекса можетъ быть извлеченъ слѣдующій рядъ ложныхъ книгъ и басней попа Іереміи: о крестномъ древѣ; о св. Троицѣ; о Христѣ, какъ его въ попы ставили; какъ Христосъ плугомъ оралъ; сказанье о томъ, какъ Провъ Христа другомъ звалъ; вопросы Іереміи къ Богородицѣ (?); вопросы и отвѣты о томъ, изъ сколькихъ частей созданъ Адамъ; лживыя молитвы о трясавицѣ или лихорадкѣ, и о нежитахъ.

Сначала нѣсколько словъ о личности этого плодовитаго распространителя богомильскихъ басней. Индексъ представляетъ его какъ-бы единственнымъ законодателемъ еретическаго баснословія, поэтому многіе предположили прямо, что индексъ подъ именемъ попа Іереміи разумѣетъ самого Богомила, знаменитаго главу болгарской ереси. И это имѣетъ свои основанія: имя Богомилъ было вѣроятно только прозвищемъ, какое носила и самая ересь; византійскія и болгарскія обличенія богомильства не называютъ

попа Іереміи; Козьма говоритъ о попѣ Богомилѣ, — между тѣмъ очевидно, что такой важный пропагандистъ ереси, какимъ представляетъ индексъ именно Іеремію, не могъ бы быть пропущенъ другими обличеніями ереси. Всего вѣроятнѣе, что онъ поминается тамъ просто подъ своимъ еретическимъ прозвищемъ. Кромѣ индекса, попъ Іеремія названъ своимъ собственнымъ именемъ и въ другой древней болгарской статьѣ, именно у Аѳанасія, іерусалимскаго мниха, какъ еретикъ богомильскій. Наконецъ одна редакція индекса 1608 г. подтверждаетъ догадку о тождествѣ этихъ лицъ, говоря такимъ образомъ: «Іеремія, попъ болгарскій» (вѣроятно: попъ Богомилъ), «паче же Богу не милъ» — послѣдняя антитеза предполагаетъ дополненныя нами слова и напоминаетъ Козьму пресвитера, именно такъ сказавшаго о Богомилѣ.

Произведенія, перечисленныя нами выше, почти всѣ болѣе или менѣе извѣстны и по нашимъ старымъ памятникамъ, и по живымъ народнымъ суевѣрьямъ, такъ что это одно можетъ служить доказательствомъ присутствія слѣдовъ ереси въ древней Руси, что и вообще весьма вѣроятно: мы находимъ наконецъ и тѣ посредствующіе болгарскіе и сербскіе памятники, которые соединяютъ эту отдаленную болгарскую старину съ нашей русской стариной. Въ нашихъ памятникахъ сохранились «лживыя молитвы» о трясавицахъ и апокрифическое сказанье о ихъ происхожденіи, легенды о Христѣ, преданья о крестномъ деревѣ, вопросы о томъ, «отъ колика частей сотворенъ бысть Адамъ» и пр., однимъ словомъ *басни*, — которыя приписываются Іереміи древнимъ индексомъ въ Номоканонѣ 14-го вѣка, и другими редакціями его до «Кирилловой книги» 17-го столѣтія. Въ послѣднее время эти «басни» открываются и въ старыхъ рукописяхъ сербскихъ и болгарскихъ.

По всей вѣроятности попъ Іеремія не былъ вовсе настоящимъ изобрѣтателемъ всѣхъ этихъ произведеній: онъ только первый могъ дать опредѣленную форму уже существовавшимъ народнымъ сказаньямъ или первый могъ дать особенный ходъ легендамъ, вовсе не имъ составленнымъ. Повѣрья о трясавицахъ и «лживыя молитвы» принадлежатъ къ тому разряду народныхъ суевѣрій, который мы называемъ заговорами; эти вещи такъ знакомы всѣмъ вѣкамъ и народамъ, что для нихъ едва ли можно найти авторовъ: Іеремія вѣроятно только воспользовался готовымъ языческимъ повѣрьемъ, соединилъ отдѣльные миѳы въ закругленное цѣлое и пустилъ въ обращеніе какъ законную формулу. Если съ другой стороны Іереміи приписываются ложныя легенды о Христѣ, и т. д., то и здѣсь онъ могъ только первый пустить въ ходъ извѣстное сказаніе, еще недошедшее прежде до народной массы; самъ онъ бралъ изъ готоваго чужаго источника. Одно древнее болгарское свидѣтельство именно указываетъ на принятіе этихъ легендъ какъ на латинство [17]). Іеремія лег-

[17]) Въ посланіи Аѳанасія мниха іерусалимскаго, гдѣ онъ укоряетъ своего друга

ко могъ заимствовать изъ латинскаго источника, потому что латыни, т. е. римскаго католицизма, было достаточно въ южныхъ славянскихъ земляхъ въ то время, когда папы еще не окончательно разграничили надъ ними свою власть съ византійскими патріархами и когда страны переходили то въ одни, то въ другія руки.

Такимъ образомъ, дѣятельность Іереміи оказывается чисто народною: онъ былъ собирателемъ народныхъ суевѣрій; чужой, занесенной ереси и чужимъ легендамъ онъ сообщилъ народный характеръ и сдѣлалъ ихъ популярными преданьями. Демократизмъ секты выразился не только въ ея религіозныхъ чертахъ и общественныхъ тенденціяхъ, но и въ ея поэтическомъ выраженіи.

Индексъ сообщаетъ еще одну подробность объ Іереміи, которая дополняетъ его характеръ опять чисто народнымъ образомъ. Въ видѣ осужденія его индексъ говоритъ, что попъ Іеремія «былъ въ навѣхъ на Верзіуловѣ колу». Наши археологи сдѣлали очень вѣроятное предположеніе, что эти слова должны означать, что попъ Іеремія считался (по крайней мѣрѣ противниками) волкодлакомъ, оборотнемъ. Но какую связь это имѣетъ съ составленіемъ ложныхъ книгъ?—Южнославянскія народныя повѣрья совершенно объясняютъ смыслъ этого извѣстія. Въ нихъ до сихъ поръ сберёглось множество преданій о «вукодлакахъ», людяхъ, которые по смерти, въ видѣ волка продолжаютъ гулять по землѣ, нападать на людей и страшно ихъ мучить. Человѣкъ дѣлается вукодлакомъ, когда водится съ вилами, вѣщицами и умретъ безъ покаянія. Такимъ образомъ, вукодлакъ при жизни почти неизбѣжно водится съ вражьей силой; вилы разсказываютъ вукодламъ обо всемъ на свѣтѣ, отъ чего приходитъ болѣзнь и всякое несчастье на людей и скотъ, и чѣмъ можно избавиться отъ этой напасти; вилы показываютъ имъ и разныя лекарственныя травы. Эти люди становятся знахарями и вѣдунами, по сербски «врач», «врачар» — слово, соединявшее и въ древнемъ русскомъ языкѣ понятіе врачевства и колдовства. — Попъ Іеремія былъ такой же знахарь: вотъ почему, кромѣ распространенія своей ереси и ложныхъ книгъ, онъ былъ и авторомъ лживыхъ молитвъ, почему онъ заклиналъ трясавицы, «нежитъ» и всякіе недуги. Въ этомъ послѣднемъ дѣлѣ онъ былъ вѣроятно образцомъ стариннаго врачара, слава котораго держится у Сербовъ и до сихъ поръ. Преданье сдѣлало изъ него вукодлака, — потому, что онъ былъ вѣдунъ и знался съ нечистой силой (иначе средніе вѣка, — а народъ и до сихъ поръ, — и не понимали вѣдуна); притомъ какъ еретикъ, онъ долженъ былъ умереть безъ христіанскаго покаянія. Оттого, когда онъ былъ «въ навѣхъ», т. е. мертвецомъ въ могилѣ, онъ «былъ на Верзіуловѣ колу», т. е. противъ него употреблено было спе-

въ довѣріи къ богомильской ереси: „и се слышахомъ, твориши Христа поставлена попомъ, плугомъ и двѣмя волома оравша, — послушьствуеши Латинѣ" и т. д. Кормч. 15—16-го вѣка, Рум. № 231, л. 210.

цифическе средство — вельзевуловъ (бѣсовскій), т. е. извѣстный осиновый колъ, — единственный способъ удержать такого мертвеца въ могилѣ.

Легенды, приписанныя индексомъ попу Іереміи, дѣйствительно не имѣютъ въ себѣ ничего исключительно богомильскаго, что и должно было быть, если — какъ мы предположили — онѣ были получены имъ готовыми изъ инаго источника. Всѣ онѣ сохранились въ русскихъ рукописяхъ. Легенда о томъ, «какъ Христа въ попы ставили», извѣстна у греческихъ писателей [18]) и могла быть взята Іереміей изъ греческаго источника; легенда о Провѣ, изданная въ памятникахъ г. Костомарова подъ именемъ легенды о братствѣ, могла быть взята изъ латинскихъ источниковъ. Что въ этихъ легендахъ не было ничего собственно богомильскаго, можно видѣть хоть изъ этой легенды.

Провъ, сынъ царя Семиклея, желавшаго видѣть Христа, отправился собирать съ подданныхъ дань, потому что отецъ его ослѣпъ. Провъ собиралъ дань съ большимъ трудомъ, пока не встрѣтился съ человѣкомъ, который называлъ себя Эммануиломъ. Это былъ самъ Христосъ. Эммануилъ вошелъ въ городъ и когда онъ потребовалъ, чтобы граждане отдали божіе Богу, то Провъ за одинъ разъ собралъ множество богатствъ. Провъ заключилъ съ нимъ братство; Христосъ написалъ братство на харатьѣ и сказалъ: проклятъ тотъ человѣкъ, который сотворилъ братство и не вѣровалъ въ него. Эммануилъ вошелъ потомъ въ рѣку, взялъ рыбу и далъ ее Прову. Возвратившись домой, Провъ глазами этой рыбы изцѣлилъ слѣпоту отца, стомахомъ проказу матери, а желчью избавилъ свою жену отъ нечистаго духа, котораго она въ себѣ имѣла. — Когда Провъ разсказалъ отцу встрѣчу съ Эммануиломъ, царь Семиклей узналъ, что Провъ побратался съ Христомъ: въ это время Христосъ появился предъ ними вдали и исчезъ.

Легенда опять имѣла отношеніе къ народнымъ нравамъ: она даетъ освященіе обычаю братства, который до сихъ поръ чрезвычайно живо хранится у южныхъ Славянъ и еще имѣетъ въ ихъ жизни великую важность. Побратимство у Сербовъ утверждается даже церковными обрядами.

Переходимъ теперь къ народно-суевѣрнымъ произведеніямъ попа Іереміи. Ихъ литературная судьба была такова, что знакомясь съ ними въ первый разъ въ исторіи болгарскаго 10-го вѣка мы находимъ слѣды ихъ до сихъ поръ въ преданьяхъ южно-славянскихъ и русскихъ. Они замѣчательны по чрезвычайной живучести, которую сообщали имъ крайнее невѣжество и предразсудки массъ, въ которыхъ они нашли пріемъ. Древнѣйшій индексъ запрещаетъ ихъ слѣдующимъ образомъ:.. «естественный недугъ, который называютъ трясавицами, какъ разсказываетъ Іеремія попъ болгарскій. Этотъ окаянный говоритъ, что будто бы святой отецъ Сисиній сидѣлъ на горѣ Синайской, называетъ ангела Сихайла, на соблазнъ многимъ людямъ,

[18]) Suidas s. v. Ἰησοῦς Migne, Dict. 2,383. Изданіе русской редакціи въ „Отреч. книгахъ“ Тихонравова, т. 2-й.

и баснословилъ онъ, злой человѣкъ, о семи трясавицахъ, дочеряхъ Иродовыхъ, которыхъ ни евангелисты и ни одинъ изъ святыхъ не называли семь,—а была только одна, выпросившая, чтобы усѣкли голову Предтечи; о ней же извѣстно, что она была дочь Филиппова, а не Иродова. Великій же Сисиній, патріархъ Константинопольскій, въ своихъ словахъ говоритъ такъ: не считайте меня за того Сисинія лживаго, о которомъ написалъ Іеремія попъ, на соблазнъ неразумнымъ....».

Такъ передаетъ индексъ черты ложнаго писанія, которое имѣло и еще имѣетъ авторитетъ въ нашемъ народѣ въ видѣ преданья и вмѣстѣ заговора отъ двѣнадцати лихорадокъ (двѣнадцать—такое же условное число народныхъ преданій, какъ семь, три, и т. д.). Это преданье очень извѣстно въ рукописяхъ, оно вносилось въ сборники, лечебники—старинныя энциклопедіи медицинскихъ повѣрій, примѣтъ, книжныхъ лекарственыхъ свѣдѣній и т. п. Повѣрье о двѣнадцати лихорадкахъ чрезвычайно извѣстно и въ устномъ народномъ преданьѣ: почти въ полной своей формѣ оно передано было съ народной рѣчи г. Гуляевымъ, записавшимъ его въ Сибири (Очерки Южн. Сиб. въ Библ. для чтен. 1848, № 8, стр. 51). Въ одномъ изъ такихъ старинныхъ лечебниковъ, ложное писаніе Іереміи, указанное индексомъ, передается со всѣми подробностями.

«При морѣ Чермномъ стоитъ столпъ каменнъ (Синайская гора); въ столпѣ сидитъ святой великій апостолъ Сисиній, и видитъ—возмутилось море до облаковъ, и выходитъ изъ него двѣнадцать женъ простоволосыхъ, окаянное дьявольское видѣніе» (по народнымъ редакціямъ: изъ огненнаго столпа). «И говорятъ тѣ жены: «мы трясавицы, дщери Ирода царя». И спросилъ ихъ св. Сисиній: «окаянные дьяволы! Зачѣмъ вы пришли сюда?» Онѣ же отвѣчали: «мы пришли мучить родъ человѣческій: кто насъ перепьетъ, къ тому мы и привьемся и помаемся — помучимъ его, — и кто заутреню просыпаетъ, Богу не молится, праздники не чтетъ, и вставая пьетъ и ѣстъ рано: то нашъ угодникъ» [19]). И помолился Богу св. Сисиній: «Господи, Господи, избавь родъ человѣческій отъ окаянныхъ сихъ дьяволовъ!» И послалъ къ нему Христосъ двухъ ангеловъ, Сихайла и Аноса, и четырехъ евангелистовъ. И начали трясавицъ бить четырьмя дубцами желѣзными, давая имъ по три тысячи ранъ на день. И взмолились имъ трясавицы: «святой великій апостолъ Сисиній, и Сихайло, и Аносъ, и четыре евангелиста, Лука, Марко, Матѳей, Іоаннъ! не мучьте насъ! гдѣ ваши имена святыя заслышимъ, и въ которомъ роду имена ваши прославятся, того мы роду бѣгаемъ за три дня, за три поприща»...

Это собственно историческая часть преданья. Она продолжается потомъ описаніемъ свойствъ каждой изъ трясавицъ. Апостолъ Сисиній спросилъ

[19]) Въ народной редакціи свойства и имена лихорадокъ описываются иначе: дальше они говорятъ: „мы посланы отъ Ирода царя въ міръ, въ родъ христіанскій, кости ихъ крушить, власы ихъ студить, жилы ихъ тянуть, самихъ ихъ огнемъ жечи“. Эта послѣдняя варіація кажется намъ старѣе.

ихъ имена, и онѣ называя себя описываютъ и свои качества, ясныя впрочемъ изъ ихъ прозвищъ: одна называется Трясея, другая Огнея, третья Ледея, и т. п. Невея указывается, какъ плясавица, выпросившая голову Предтечи. Затѣмъ идетъ заклинаніе: всѣ лихорадки пересчитываются, угрожаются именами апостола Сисинія и т. д. «Побѣгите отъ раба божія, имрекъ, за три дни, за три поприща: а если не побѣжите отъ раба божія, имрекъ, и я призову на васъ великаго апостола Сисинія, и святыхъ Сихайла и Аноса, и четырехъ евангелистовъ Луку, Марка, Матѳѣя, Іоанна [20]); и учнутъ васъ мучить, даючи вамъ по четыре тысячи ранъ на день».

Дальше въ индексѣ приписываются Іереміи «по молитвенникамъ *лживыя молитвы о* (трясавицахъ) *нежитахъ* и о недугахъ». Заговоры или сказанья о нежитахъ построены такимъ же образомъ, даже во внѣшней формѣ. «Нежить» въ древнемъ языкѣ означалъ демоническое существо, въ имени котораго олицетворялось понятіе болѣзни и вообще всякой напасти. Слово осталось и въ живомъ русскомъ языкѣ; напр. въ Олонецкой губерніи подъ именемъ нежита до сихъ поръ разумѣются всѣ пугала деревенской жизни, лѣсовики, водяные и т. д. (Максимовъ, Годъ на Сѣв. 2,512). Сказанья о нежитѣ найдены были въ одной полууставной, пергаменной, слѣдовательно вѣроятно очень старой, *сербской* рукописи, и какъ преданья о трясавицахъ, соединяютъ вмѣстѣ и миѳическую исторію, и заговоръ.

«Сходилъ нежитъ отъ сухаго моря, и сходилъ отъ небесъ Іисусъ и сказалъ ему Іисусъ: «куда идешь, нежитъ»? Сказалъ ему нежитъ: «сюда иду, господине, въ человѣческую голову, мозгъ сушить, челюсти переломить, зубы ронять, шею кривить, и уши оглушить, очи ослѣпить, и носъ сдѣлать гугнивымъ, крови ихъ пролить, вѣка изсушить, уста кривить, и члены разслабить, жилы умертвить, тѣло измозжить, красоту измѣнить и бѣсомъ мучить». И сказалъ ему Іисусъ: «воротись, нежитъ, иди въ пустую гору и въ пустыню, найди тамъ оленью голову и поселись въ ней, — тотъ все терпитъ и все вынесетъ... иди въ камень, тотъ все терпитъ, зиму и зной...; тотъ отъ природы суровъ, онъ силенъ держать тебя. И тамъ, нежитъ, имѣй жилище до тѣхъ поръ, пока небо и земля мимо идутъ и окончатся, отойди отъ раба божія имрекъ».

Въ другой исторіи разсказывается, что святой Михаилъ-Гавріилъ, взявши желѣзный лукъ и желѣзныя стрѣлы, хотѣлъ стрѣлять оленя и лань, но не нашелъ ихъ, а нашелъ нежита, который сидѣлъ, разцѣпивъ камень. Это онъ разцѣпилъ человѣческую голову, чтобы жечь мозгъ и проливать кровь. Михаилъ-Гавріилъ также заклялъ его угрозами оставить людей въ покоѣ и скрыться въ гору.

Въ составленіи этихъ ложныхъ молитвъ попъ Іеремія, — если онъ составлялъ ихъ, — вполнѣ слѣдовалъ инстинктамъ массы, которая, принимая

[20]) Что двѣнадцать лихорадокъ въ преданьѣ являются позднѣе семи, видно уже изъ того, что число семь удержалось еще на сторонѣ святыхъ.

христіанство, безсознательно смѣшивала его съ своими языческими повѣрьями, мѣшала Перуна съ громовникомъ-Иліей, Волоса съ Власіемъ, какого-то миѳическаго повелителя животнаго царства съ Георгіемъ и т. д. Христіанскія имена входили въ языческіе заговоры или произвольно, или по какому нибудь сближенію. Основаніе преданій было безъ сомнѣнія языческое, но народъ узнавалъ ихъ въ новой формѣ и это давало имъ еще большій успѣхъ: записанныя въ «лживыя» тетрадки, по видимому издавна ходившія между грамотниками, они прошли всю православную славянщину, — потому что вездѣ въ народѣ находили ту же полухристіанскую, полуязыческую почву. Отъ перваго ихъ начала въ Болгаріи мы нашли послѣднее ихъ слово въ народныхъ преданьяхъ Сибири. Оффиціальное духовенство возставало противъ этихъ «лживыхъ» сказаній: оно ясно видѣло въ нихъ остатки стараго язычества и инстинктивно чувствовало независимый народный элементъ, порождавшій эти «лживыя молитвы» мимо его собственнаго авторитета. Индексъ сохранилъ для насъ память о запрещеніяхъ и о самыхъ произведеніяхъ, ихъ вызывавшихъ. Но, какъ мы видѣли, запрещенія не сдѣлали ничего и памятники прожили цѣлыя столѣтія, прошли по цѣлымъ славянскимъ племенамъ.

Въ упомянутомъ нами индексѣ 14-го вѣка указано, кромѣ писаній попа Іереміи, много другихъ апокрифическихъ книгъ, которыя безъ сомнѣнія существовали уже въ то время и теперь встрѣчаются дѣйствительно въ очень старыхъ рукописяхъ. Это были переводныя апокрифическія преданья, восточнаго и византійскаго происхожденія, которыя имѣли ту же завлекательность для массы, потому что къ христіанскому содержанію догматовъ и преданій прибавляли фантастическія дополненія и украшенія, имѣющія для простой грамотной массы поэтическую прелесть. Иногда, это были придуманныя религіозныя умствованія и символика, но нерѣдко здѣсь была дѣйствительная поэзія, развившаяся въ періодъ религіознаго увлеченія. И то, и другое направленіе апокрифовъ вполнѣ приходилось къ народному пониманію и въ тѣхъ странахъ, куда они заходили изъ своей первобытной родины. Неудивительно, что они имѣли успѣхъ и въ славянской письменности. Индексъ называетъ напр. *Вопросы Іоанна Ѳеолога къ Аврааму* (о судьбѣ душъ въ будущей жизни), его же *Вопросы къ Господу*, о которыхъ мы говорили выше; *Вопросы Варѳоломея къ Богородицѣ*—о томъ, какъ происходило рождество Христа; *Видѣніе апостола Павла*—извѣстное и въ западной средневѣковой поэзіи; *Дѣтство Христово*; *Епистолію о недѣлѣ*—письмо, будто-бы написанное Христомъ, о почитаніи воскресенья и упавшее съ неба, также извѣстное на западѣ; *Хожденіе Богородицы по мукамъ* — весьма поэтическій разсказъ о посѣщеніи Богородицей ада и молитвѣ ея за мучимыхъ грѣшниковъ; *Прѣніе дьявола со Христомъ*; *О Соломонѣ и Китоврасѣ* и мн. др. Всѣ эти произведенія еще существуютъ, и происхожденіе ихъ должно быть отнесено въ древній періодъ южнославянской письменно-

сти до 14-го столѣтія; въ это время вѣроятно переводились они съ греческаго и переходили къ Сербамъ и Русскимъ, у которыхъ потомъ преимущественно и сохранились.

Шафарикъ расширяетъ эту литературу еще дальше. Тотъ же индексъ, въ другихъ своихъ редакціяхъ, упоминаетъ еще цѣлый рядъ разнаго рода волшебныхъ и гадательныхъ книгъ: Мартолой или Острологъ, Чаровникъ, Громникъ, Молніянникъ, Колядникъ, Царевы Сновидцы, Мысленникъ, Волховникъ, Путникъ, Звѣздочтецъ и т. д., которыя, хотя собственно и не принадлежали къ религіознымъ книгамъ, но преслѣдовались духовенствомъ, потому что суевѣріе ихъ заслоняло въ народномъ сознаніи самую религію. Шафарикъ полагаетъ, что эти книги произошли въ ту же богомильскую эпоху [21]). Рѣшить это еще трудно; мы почти не знаемъ этихъ книгъ, — но правда и то, что тѣ, которыя мы знаемъ, напр. Громникъ, Колядникъ (переведенные также съ греческаго) имѣли южно-славянское и старое происхожденіе.

Общій смыслъ всей этой литературы состоитъ въ томъ, что она была дополненіемъ и вмѣстѣ оппозиціей къ той оффиціальной литературѣ, которая съ самаго начала увлеклась догматической схоластикой, напыщенностью и безплодностью византійцевъ и отталкивала отъ себя искусственностью выраженія. Народная масса, не удовлетворенная такими книгами, искала и находила свою пищу въ ложной литературѣ, отъ фантастическихъ заклятій богомильскаго попа Іереміи до баснословныхъ, а иногда и истинно поэтическихъ произведеній древняго христіанскаго апокрифа. Въ этой народной письменности не было конечно чистаго христіанства, и къ сожалѣнію слишкомъ часто бывало грубое суевѣріе, въ своихъ крайностяхъ превращавшееся въ совершенный фетишизмъ.

Все это содержаніе болгарской литературы стало общимъ достояніемъ славянъ, принявшихъ кирилловскую письменность. У самихъ Болгаръ осталось мало памятниковъ, которые бы помогли намъ послѣдовательно провести ихъ литературную исторію до конца ея; тяжелая историческая судьба истребила множество ихъ на ихъ родинѣ, и они уцѣлѣли только отчасти въ православномъ славянскомъ сосѣдствѣ

Писатели вѣка Симеона представляютъ почти чистый старо-славянскій языкъ, но господство его продолжалось не долго. Народный языкъ болѣе и болѣе подчинялся чужимъ вліяніямъ; паденіе перваго царства въ особенности открыло языкъ разнообразному дѣйствію чужихъ элементовъ. Кромѣ той неславянской примѣси, которую необходимо должны были оставить и первые покорители, Болгары, языкъ портился и удалялся отъ первоначальной чистоты отъ вліянія Грековъ, Албанцевъ, Валаховъ, и т. д. Въ рукописяхъ конца 12-го вѣка, временъ Асѣня, уже ясно видно начало

[21]) См. Шафарика, Kurze Uebersicht der ältest. kirchenslaw. Literatur, Leipzig 1848 (изъ Slawische Jahrbücher, Іордана), стр. 21.

порчи; еще больше встрѣчается этой порчи въ грамотахъ 13-го вѣка. Старо-славянское книжное нарѣчіе не совсѣмъ забылось однако и послѣ турецкаго завоеванія: оно сохранялось какъ оффиціальный языкъ при дворахъ владѣльцевъ валашскихъ, арбанасскихъ (напр. Юрія Кастріоты или Скандербега 1459 и слѣд.), но впрочемъ уже сильно измѣнилось отъ чужихъ вліяній. Нѣкоторые памятники изъ 16-го и 17-го столѣтій доказываютъ, что народная рѣчь того времени почти нисколько уже не отличалась отъ нынѣшняго болгарскаго языка, — потерявшаго множество формъ, обѣднѣвшаго и изуродованнаго до такой степени, что даже ученымъ казалось совершенно невѣроятнымъ, чтобы этотъ испорченный языкъ былъ нѣкогда ближайшей вѣтвью языка, — если не тѣмъ самымъ языкомъ, — на которомъ писали Кириллъ и Меѳодій.

2. Новая литература.

Съ турецкимъ завоеваніемъ всякая умственная жизнь начинаетъ застывать въ Болгаріи и наконецъ совершенно заглохла подъ двойнымъ гнетомъ: турецкая власть давила своимъ произволомъ, Греки — своей духовной администраціей.

Отъ прежней своей исторіи Болгары сберегли только одинъ общественный элементъ, который поддержалъ до сихъ поръ ихъ существованіе, какъ отдѣльной народности: это было православное христіанство, — мы видѣли, что литература ихъ представляла броженіе однихъ религіозныхъ идей, еще не успѣвшее впрочемъ прійти къ положительному концу и не имѣвшее за собой прочныхъ политическихъ основаній. Завоеваніе захватило ихъ врасплохъ. По отзывамъ самихъ друзей болгарскаго народа и его новаго возрожденія, — «не смотря на то, что Болгары еще въ 9-мъ вѣкѣ являются народомъ независимымъ, исторія ихъ водворенія, юридически признаннаго, равно какъ и послѣдующая судьба этого народа не представляютъ однако ничего утѣшительнаго въ значеніи общечеловѣческомъ. Развиваясь подъ исключительнымъ вліяніемъ Ромео-Грековъ, Болгары не были въ состояніи выработать своими нравственными силами никакихъ прочныхъ началъ, которыя обезпечили бы ихъ будущее существованіе. Правда, христіанская религія и христіанско-византійская образованность, лишь на нѣсколько столѣтій, отсрочили политическое паденіе Болгаръ, и Борису или Симеону едва ли можно было сохранить язычество въ сосѣдствѣ православной Византіи. Такимъ образомъ не внутреннія учрежденія Болгаріи, не правильное устройство и отправленіе производительныхъ ея силъ, и не государственный смыслъ ея правителей поддерживали напряженное ея существованіе до времени турецкаго покоренія, а христіанская религія, которая и въ настоящее время твердо сохраняется въ этомъ заброшенномъ народѣ юго-востока Европы».

Но и эта христіанская религія была для несчастнаго народа причиной

новыхъ истязаній. Для своихъ турецкихъ повелителей онъ становился невѣрнымъ, — противъ котораго позволительно всякое насиліе; съ другой стороны, какъ народъ христіанскій, онъ подпалъ власти константинопольскаго патріархата и сдѣлался цѣлью постоянной и безграничной эксплуатаціи, которая продолжается и до сихъ поръ. По уничтоженіи терновской патріархіи, Болгарія подчинена была константинопольскому патріарху, который, кромѣ своей духовной власти, получилъ отъ Порты и гражданскую власть надъ народами Турціи, исповѣдующими православіе. Константинопольскій патріархъ сдѣлался единственнымъ посредникомъ между правительствомъ и народомъ, который отданъ былъ въ его полное распоряженіе: старая борьба славянскаго элемента съ греческимъ кончилась полнымъ подчиненіемъ перваго. Съ этого времени Болгары уже не получали высшихъ духовныхъ должностей, несмотря на то, что ихъ племя составляло наибольшую часть православныхъ подданныхъ патріарха. Фанаріотская іерархія, не зная ни языка, ни обычаевъ народа, да и не заботясь нисколько о его нуждахъ, обирала его всякими непозволительными средствами, и чтобы лишить народъ всякаго сознанія несправедливаго гнета, всякой мысли о независимомъ управленіи, эта фанаріотская іерархія преднамѣренно, — и совершенно въ духѣ турецкаго правленія, — поддерживала въ народѣ невѣжество, уничтожала все, что напоминало народу о его народности, уничтожала славянское богослуженіе, вводя непонятную народу греческую литургію, злобно преслѣдовала въ послѣднее время болгарскія училища, заставляя учиться только по гречески, истребляла даже славянскія книги и рукописи, и въ заключеніе заставляла бѣдный народъ оплачивать свои прихоти и удовольствія. Все это сопровождалось самымъ наглымъ и вовсе не іерархическимъ презрѣніемъ къ народу. Грабительство фанаріотовъ не знало никакой мѣры; рабство народа и невѣжество было полное.

Въ этомъ, и больше ни въ чемъ, состояла исторія болгарскаго народа отъ покоренія Турками и до новѣйшихъ временъ. Народъ былъ въ самомъ бѣдственномъ положеніи, и это уже давно заставляло Болгаръ переселяться въ сосѣднія страны, иногда цѣлыми селеніями. Всего больше они выселялись въ Валахію и Молдавію и (съ половины прошлаго столѣтія) въ южную Россію, также въ княжество Сербію и Банатъ. Съ другой стороны, Болгары стали обращаться въ католичество, чтобы избавить себя отъ ненавистной власти константинопольскаго патріарха: они дѣлались уніатами. Эта унія не есть впрочемъ явленіе новое въ болгарской исторіи. Мы видѣли, что еще царь Борисъ, чтобы прекратить злоупотребленія греческаго духовенства, пытался сблизиться съ папой. Затѣмъ унія водворилась на время въ новомъ болгарскомъ царствѣ, при Іоаннѣ I Асѣнѣ, въ первые годы 13-го столѣтія. Въ слѣдующіе вѣка уніаты появляются снова, въ слѣдствіе фанаріотскихъ угнетеній, и мало по малу составили общину Болгаръ-католиковъ, которые называются «павликіанами» (можетъ быть по старой памяти о богомильствѣ, въ которомъ видѣли «латынь») и жи-

вутъ въ окрестностяхъ Филиппополя и Свиштова, не превышая впрочемъ 50.000 человѣкъ. Уніатское движеніе вызвано было и въ послѣдніе годы тѣмъ же гнетомъ фанаріотовъ, который вынудилъ нѣкоторыхъ Болгаръ искать отъ него спасенія въ католицизмѣ и въ покровительствѣ западныхъ державъ. — Наконецъ, значительная часть Болгаръ по тѣмъ же причинамъ принимала магометанство и отуречивалась; нѣкоторая часть людей болѣе состоятельныхъ и получавшихъ извѣстное образованіе принимали греческій или волошскій языкъ. Самый болгарскій языкъ съ теченіемъ времени измѣнился до того, что Болгарамъ становились мало понятны и тѣ священныя книги, какія еще оставались отъ старины. Для новаго образованія народа нужно было дать ему книги на его собственномъ новомъ языкѣ. Этихъ книгъ не было.

Само собою разумѣется, что въ такомъ положеніи не могло быть и рѣчи о какой нибудь литературной дѣятельности. Въ самомъ дѣлѣ, нѣсколько времени спустя послѣ турецкаго завоеванія еще продолжаютъ появляться кое-какія болгарскія рукописи, но потомъ они исчезаютъ почти совершенно, и книги для богослуженія Болгары стали получать изъ Россіи, сначала рукописныя, потомъ печатныя. Болгары были почти окончательно забыты. Вспоминалъ о нихъ Шлёцеръ [22]) находившій, что изученіе новаго болгарскаго языка могло бы показать, что за народъ были древніе Болгары. Шафарикъ въ своей книгѣ о славянскихъ литературахъ насчитывалъ только до 600.000 Болгаръ. Другіе полагали, что славянскій языкъ уже совершенно исчезъ въ земляхъ прежняго болгарскаго царства.

Первые признаки возрожденія болгарскаго народа появляются только въ нынѣшнемъ столѣтіи, въ тѣхъ земляхъ, куда направились болгарскіе переселенцы и гдѣ они чувствовали себя свободнѣе. Правда, были и въ прошломъ столѣтіи, и еще раньше, случаи употребленія народнаго языка съ извѣстнаго рода литературными цѣлями, напр. Шафарикъ [23]) упоминаетъ, что въ началѣ 17-го вѣка римская курія дѣлала попытки привлечь на свою сторону Болгаръ, и что этому стремленію обязанъ былъ своимъ происхожденіемъ переводъ на народный болгарскій языкъ Meditationes S. Bonaventurae (Romae, typis propag. 1638), сдѣланный Богданомъ Бакшичемъ (Baksich). Были и другіе литературные опыты: археологи указываютъ подобные рукописные памятники, даже замѣчательные по силѣ народнаго языка [24]); но все это были случаи крайне рѣдкіе и уединенные, и могутъ быть любопытны только какъ литературная рѣдкость, какой было бы трудно ожидать въ это тяжелое для Болгаръ время. Рѣдкость даже подобныхъ памятниковъ всего лучше обнаруживаетъ всю степень народнаго упадка. Затѣмъ — первой болгарской книгой называютъ «Молитвенный кринъ», изд. въ 1806 въ

[22]) Nord. Geschichte 1771, стр. 334.
[23]) Gesch. der Slaw. Sprache und Liter., стр. 225.
[24]) См. Извѣстія, т. 8, стр. 400.

Пестѣ. За этимъ одинокимъ явленіемъ послѣдовали въ двадцатыхъ годахъ нѣсколько другихъ книгъ. Докторъ Петръ Беровичь издалъ въ 1824 году «Букварь» (въ Брашовѣ, въ Трансильваніи); Анастасій Стояновичъ-Кипиловскій — «Священное Цвѣтособраніе» изъ ветхаго и новаго завѣта (Пестъ, 1825). Петръ Сапуновъ издалъ въ болгарскомъ переводѣ «Новый Завѣтъ» (Букарестъ, 1828). Но особенная дѣятельность начинается съ тридцатыхъ годовъ: разъ пробудившаяся мысль о новомъ воспитаніи болгарскаго народа нашла нѣсколько ревностныхъ послѣдователей, которые старались установить существованіе новой болгарской литературы. Особенно знаменитое имя въ этомъ дѣлѣ пріобрѣлъ себѣ Юрій Венелинъ (1802—1839), родомъ изъ карпатскихъ Русиновъ, въ сѣверной Венгріи. Венелинъ учился во львовскомъ университетѣ, занимаясь всего больше исторіей славянскихъ племенъ; въ 1823 г. переселился въ Россію, жилъ сначала въ Бессарабіи, гдѣ познакомился съ кишиневскими Болгарами и окончательно заинтересовался судьбой болгарскаго народа, стараго и новаго. Затѣмъ онъ отправился въ Москву, гдѣ ему присовѣтовали поступить въ университетъ и сдѣлаться медикомъ. Въ 1829, Венелинъ кончилъ курсъ въ университетѣ, сдѣлался медикомъ, но въ томъ же году издалъ и первый томъ своего сочиненія: «Древніе и нынѣшніе Болгаре», которое произвело сильное впечатлѣніе на людей, составлявшихъ въ то время немногочисленную болгарскую публику, и на другихъ Болгаръ, которымъ до того времени еще не приходила въ голову мысль о ихъ національности. Въ слѣдующемъ году Россійская академія дала ему возможность предпринять путешествіе въ Болгарію, гдѣ онъ еще ближе ознакомился съ положеніемъ народа, которому посвятилъ свое изученіе: онъ вошелъ и въ тѣсныя сношенія съ тѣми, въ комъ встрѣтилъ ревность къ дѣлу народнаго образованія. Венелинъ нашелъ въ болгарскихъ патріотахъ горячее сочувствіе, на него возлагали они свои надежды: въ его оригинальной, и не всегда какъ слѣдуетъ ученой, книгѣ Болгары находили въ первый разъ исторію своего племени, написанную съ сочувствіемъ къ ихъ старой славѣ и настоящему бѣдственному положенію. Какова бы ни была научная сторона дѣла, уже это одно было чрезвычайно важно. Когда Венелинъ начиналъ свои труды, нужно было опредѣлять первые элементарные вопросы исторіи и этнографіи болгарскаго народа: между прочимъ онъ считалъ нужнымъ доказывать, что древніе Болгары были народомъ славянскимъ, что имъ принадлежалъ тотъ языкъ, на которомъ въ первый разъ появилось у Славянъ св. Писаніе. За «Древними и нынѣшними Болгарами» послѣдовали другіе труды Венелина, посвященные большею частью тому же изученію южнаго славянства и нами выше перечисленные: нѣкоторые изъ нихъ были изданы уже послѣ его смерти. Венелину принадлежитъ безъ сомнѣнія очень сильное возбуждающее вліяніе въ дѣлѣ болгарскаго возрожденія. Съ 30-хъ годовъ начинается здѣсь гораздо болѣе оживленная дѣятельность. Болгарскія книги все еще составляли рѣдкость: до 1840 года насчитывали только до трид-

цати болгарскихъ книгъ, — но прочное начало было уже положено. Существенную заслугу болгарскому образованію оказали болгарскіе выселенцы, основавшіеся въ Одессѣ: двое изъ нихъ, В. Априловъ и Н. Палаузовъ, рѣшились основать болгарское училище въ селѣ Габровѣ, своей родинѣ, небольшомъ городкѣ, находящемся въ Балканскихъ горахъ: они основали это училище въ 1835 году, назначили для него значительное ежегодное пособіе и пригласили учителемъ іеромонаха Неофита, оказавшаго народной болгарской педагогіи большія услуги. Основатели габровскаго училища озаботились и изданіемъ необходимыхъ учебныхъ книгъ. Не смотря на всѣ препятствія, на противодѣйствіе Грековъ и болгарскихъ грекомановъ, габровское училище имѣло большой успѣхъ. Примѣръ основателей его подѣйствовалъ и на другихъ, явились новыя пожертвованія, и черезъ шесть лѣтъ послѣ открытія габровскаго училища основано было двѣнадцать другихъ болгарскихъ училищъ, которыя получили изъ Габрова необходимыя учебныя пособія. Съ этихъ поръ элементарное народное образованіе было обезпечено.

Вліяніе Венелина было здѣсь непосредственное. В. Априловъ, выступившій потомъ какъ писатель («Болгарскіе книжники,» Одесса 1841; «Денница ново-болгарскаго образованія,» Одесса 1841; «Мысли за сегашно-то болгарско ученіе,» Одесса 1847, и др.), самъ говорилъ, что именно Венелинъ «пробудилъ въ немъ любовь къ національности». Точно также Венелинъ пробудилъ ее и во многихъ другихъ. У Болгаръ явилось ревностное усердіе къ распространенію образованія въ народѣ, и съ 30-хъ годовъ болгарскія книжки, — почти исключительно дидактическаго содержанія, — уже перестаютъ быть рѣдкостью. Однимъ изъ дѣятельнѣйшихъ людей этой народно-педагогической литературы былъ упомянутый нами Неофитъ, іеромонахъ Рыльскаго монастыря и одно время учитель въ Габровѣ, который кромѣ разныхъ учебныхъ книгъ: таблицъ взаимнаго обученія, катихизиса, болгарской грамматики, изданныхъ въ Крагуевцѣ, 1835, на счетъ габровскаго училища, и др., издалъ новый переводъ «Новаго Завѣта» (Смирна 1840), напечатанный американскимъ библейскимъ обществомъ. Кромѣ его могутъ быть названы: Христаки-Дупничанинъ («Писменникъ общеполезенъ», «Разговорникъ греко-болгарскій», Бѣлгр. 1835 и др.); Райно Поповичъ («Христоиѳія и благонравіе» и пр. Пестъ 1837 и друг.); другой Неофитъ, архимандритъ Хиландарскаго монастыря («Славено-болгарское дѣтоводство», — родъ небольшой школьной энциклопедіи, Крагуев. 1835; «Краткая св. Исторія», Бѣлгр. 1835); І. А. Богоевъ, издавшій между прочимъ небольшой сборникъ пѣсенъ. Вмѣстѣ съ этими первыми книгами начались толки и споры о правописаніи. Болгарскій языкъ представлялъ нѣсколько мѣстныхъ нарѣчій, между которыми нужно было выбрать основной литературный языкъ; было кромѣ того и стремленіе сблизиться съ церковнымъ языкомъ, въ которомъ Болгары видѣли свою родную старину. Отсюда постоянныя колебанія въ орѳографіи и неопредѣленность литературной формы, которая не устано-

вилась и до сихъ поръ. Въ 40-хъ годахъ опять идетъ цѣлый рядъ педагогическихъ книжекъ, букварей, учебниковъ, наставленій о воспитаніи, переводы книгъ въ родѣ Телемака; К. Огняновичъ издаетъ альманахъ («Забавникъ», Парижъ 1845); болгаринъ К. Фотиновъ нашелъ даже возможнымъ издавать журналъ «Любословіе» (Смирна, 1845). Все это разсчитывало на литературное развитіе болгарской публики,—но къ сожалѣнію выборъ иноземныхъ руководителей былъ не всегда удаченъ: многое бралось изъ русской литературы, и между прочимъ болгарскіе литераторы снабдили своихъ соотечественниковъ нѣсколькими переводами изъ твореній Вельтмана [25]), Булгарина и т. п. Появляются наконецъ и собственные поэтическіе опыты, напр. «Стоянъ и Рада» Найдена Герова (Одесса 1845); стихотворенія П. Р. Славейкова; Р. Жинзифовъ перевелъ на болгарскій языкъ Слово о Полку Игоревѣ, пѣсни Краледворской рукописи и нѣсколько стихотвореній изъ «Кобзаря» Шевченки (Новоболгарска сбирка, М. 1863) и проч.

Въ пятидесятыхъ годахъ дѣятельность болгарской литературы значительно усиливается, т. е. увеличивается число книгъ, хотя сущность ея еще мало отличается отъ прежней. Всего больше книжекъ посвящается до сихъ поръ элементарному чтенію и учебнымъ руководствамъ, при чемъ не мало заимствуется изъ русской литературы. Въ этомъ разрядѣ литературы особенно можно назвать имена: Петка Р. Славейкова, Парѳенія Зографскаго, Стояна П. Андреева Робовскаго, І. Груева, Н. Богданова, С. Радулова и др. Въ это послѣднее время чаще начинаютъ появляться и опыты журнальной дѣятельности,—напр. «Цареградскій Вѣстникъ», «Бѫлгарскы книжици», начатыя въ 1858 году Д. Мутіевымъ, «Болгарія», небольшое изданіе «Братски трудъ», выходившее въ 1860—62 г. въ Москвѣ и др.

Такимъ образомъ новая болгарская литература имѣетъ преимущественно или почти исключительно воспитательный характеръ: главная цѣль ея,—отчасти и достигаемая,—доставленіе народу элементарныхъ средствъ знанія и развитія его національной особности. Въ послѣднее время обстоятельства складываются уже болѣе благопріятно: многіе изъ Болгаръ пріобрѣтаютъ болѣе и болѣе широкое образованіе, или, если это бывало и прежде, пріобрѣтаютъ его не теряя своихъ національныхъ тенденцій: одни въ Одессѣ, другіе въ Москвѣ, третьи наконецъ въ нѣмецкихъ университетахъ. Съ тѣмъ вмѣстѣ, конечно, въ лучшихъ представителяхъ новаго болгарскаго народа, становится выше и уровень національныхъ требованій. Они уже не ограничиваются элементарной школой, и если обстоятельства еще не позволяютъ Болгарамъ громко говорить о политическихъ правахъ, то они уже громко говорятъ о независимости церковной и поднимаютъ тотъ старый вопросъ, который такъ долго остается спорнымъ между бол-

[25]) Впрочемъ „Райна" Вельтмана, по мнѣнію болгарскихъ читателей, вѣрно изображающая выбранную мѣстность Болгаріи и времена Петра Симеоновича, имѣла для нихъ національный интересъ.

гарами и Греками, и отъ котораго много зависитъ нравственное освобожденіе Болгаріи. Послѣдній фазисъ болгарскаго сознанія мы можемъ наблюдать на томъ религіозномъ движеніи, которое составляетъ теперь главное явленіе въ общественной жизни Болгаріи. Отвлеченныя стремленія первыхъ начинателей дѣла становятся уже практическимъ вопросомъ жизни.

Мы уже нѣсколько разъ упоминали о томъ, какимъ образомъ поставленъ въ Болгаріи церковно-административный вопросъ. Заведеніе школъ и расширеніе національнаго сознанія, наконецъ ближайшія потребности народнаго образованія, болѣе и болѣе указывали необходимость его рѣшенія. Столкновенія съ константинопольскимъ Фанаромъ стали переходить въ открытую вражду; явилась попытка образовать «народную болгарскую церковь». Греки нисколько однако не хотѣли уступать. Болгарскій народъ былъ главнымъ источникомъ доходовъ фанаріотской іерархіи и отдѣленіе Болгаръ отъ патріархіи повело бы за собой цѣлый финансовый кризисъ для Фанара. Ясно, что Греки должны были всѣми силами оспаривать законность той независимой іерархіи, которой Болгары желали для своего народа. Между фанаріотами и патріотическими Болгарами началась горячая полемика, перешедшая даже въ русскую литературу, и подъ каноническими и историческими резонами скрывавшая простой денежный вопросъ... Этого не упускали изъ виду католическая и іезуитская пропаганда, и когда фанаріотскія притязанія уже выводили изъ терпѣнія народную партію, пущена была въ ходъ мысль объ уніи. Эта унія, освобождавшая своихъ послѣдователей отъ юрисдикціи патріарха, дѣйствительно нашла нѣсколькихъ приверженцевъ въ средѣ болгарскаго духовенства. 25 декабря 1860 г. происходила первая уніатская литургія...

Унія, какъ говорятъ, не находитъ сочувствія въ народѣ, вѣрномъ православному преданію, но она можетъ усилиться, если продолжится прежній характеръ дѣйствій патріархіи и прежняя политическая безпомощность народной партіи. Послѣ появленія уніи патріархъ обличалъ ее въ окружномъ посланіи, но послѣдователи «народной болгарской церкви», прекратившей всякія сношенія съ греческой іерархіей, отвѣчали на него своей прокламаціей, гдѣ, сожалѣя о своихъ братьяхъ, ушедшихъ въ унію, обвиняли въ томъ самого патріарха и выражали свое убѣжденіе, что не смотря на всѣ препятствія они достигнутъ своей цѣли — независимости Болгаріи и отъ патріарха, и отъ папы... Унія нашла своихъ защитниковъ и въ средѣ писателей: ревностнымъ послѣдователемъ ея сталъ Драганъ Цанковъ, издатель журнала «Болгарія», дѣйствующій подъ вліяніемъ іезуитовъ; ему противодѣйствовалъ «Цареградскій Вѣстникъ», прекратившійся потомъ за неимѣніемъ средствъ, и смѣненный въ этомъ дѣлѣ другими журналами.

Вмѣстѣ съ появленіемъ уніи, изъ тѣхъ же побудительныхъ причинъ сталъ выростать другой планъ, исполненіемъ котораго думали нѣкоторые избавиться отъ фанаріотовъ,—планъ присоединиться къ свободной проте-

стантской церкви. Какъ говорятъ, это протестантское движеніе и въ настоящую минуту находитъ больше сочувствія между Болгарами, чѣмъ унія...

Въ такомъ положеніи находится теперь болгарскій общественный вопросъ: нѣтъ сомнѣнія, что Болгары настаиваютъ здѣсь именно на томъ, что можетъ въ нынѣшнемъ состояніи дѣла дать основу для развитія національнаго сознанія. Прямой вопросъ о независимости политической станетъ потомъ на очереди.

3. Народная поэзія болгаръ.

Наконецъ, мы должны упомянуть объ изученіи болгарской народной поэзіи. Оно началось очень недавно, и какъ по этой недавности, такъ и вообще по ограниченнымъ размѣрамъ болгарскаго книжнаго образованія, оно не могло, конечно, оказать дѣйствительнаго вліянія на литературное развитіе и послужить для него источникомъ новыхъ литературныхъ принциповъ и вкуса. Значительныя собранія болгарскихъ пѣсенъ изданы были только въ послѣдніе годы. Извѣстное прежде количество ихъ было весьма ограниченно. Вукъ Караджичъ напечаталъ въ своей «Песмарици Србске» (Вѣна 1815) и въ своемъ «Додатку к с.-петерб. сравнит. речницима» (Вѣна 1822) нѣсколько болгарскихъ пѣсенъ, преимущественно женскихъ; въ 1842 г. Иванъ А. Богоевъ издалъ свой сборникъ [26]), гдѣ помѣщено двѣнадцать любопытныхъ былинъ; нѣсколько пѣсенъ напечатано было въ Москвитянинѣ 1845 (ч. VI, № 12); въ сороковыхъ годахъ, значительное количество болгарскихъ пѣсенъ собралъ В. Григоровичъ, напечатавшій впрочемъ только часть ихъ въ хорватскомъ журналѣ «Kolo» (кн. 4—5) и въ Казанскихъ Губерн. Вѣдомостяхъ; нѣсколько пѣсенъ издано было въ академическихъ «Извѣстіяхъ»; болгаринъ Хаджи Найденъ Іовановичъ издалъ небольшой сборникъ «Нови българскы народни пѣсни» (Бѣлградъ 1851); нѣсколько народныхъ пѣсенъ напечатано было въ болгарскихъ журналахъ, напр. въ «Цареградскомъ Вѣстникѣ», «Болгарскихъ книжицахъ» и др. Первый большой сборникъ изданъ былъ П. Безсоновымъ: это — «Болгарскія пѣсни изъ сборниковъ Ю. И. Венелина, Н. Д. Катранова и другихъ Болгаръ» (М. 1855), къ которому онъ присоединилъ сравнительное реальное изслѣдованіе сербскаго и болгарскаго эпоса, и изученіе болгарскаго языка. Затѣмъ новый трудъ началъ сербскій археологъ Стефанъ И. Верковичъ: изъ его собранія «Народне песме македонски Бугара» (Бѣлградъ 1860), вышла пока, сколько мы знаемъ, только первая книга, заключающая въ себѣ женскія, т. е. не эпическія пѣсни. Наконецъ, послѣдній замѣчательный сборникъ издали братья Миладиновы [27]), — почтенные болгарскіе патріоты, за свою преданность народному дѣлу заплатившіе, говорятъ, насильственной смертью въ турецкой тюрьмѣ.

[26]) Бѫлгарски народни пѣсни и пословици, кн. 1, Пестъ, 1842.

[27]) Бѫлгарски народни пѣсни, собрани одъ братья Миладиновци, Димитрія и Константина, Загребъ, 1861.

Въ дополненіе къ списку этихъ трудовъ, назовемъ еще полезную книгу Г. С. Раковскаго [28]), гдѣ кромѣ программы изслѣдованія народнаго быта, языка, обычаевъ и проч., находится и выполненіе этой этнографической задачи, — географическія и стастическія свѣдѣнія о народѣ, его занятіяхъ, земледѣліи и промышленности, правахъ и обычаяхъ, преданіяхъ и народной поэзіи.

Матеріалъ, заключающійся въ названныхъ нами изданіяхъ, еще не имѣлъ почти никакой ученой разработки, кромѣ упомянутаго изслѣдованія г. Безсонова. Болгарская народная поэзія и въ особенности болгарскій эпосъ, были настоящимъ открытіемъ—такъ мало знали о нихъ до послѣдняго времени даже люди, интересовавшіеся дѣломъ. Теперь содержаніе болгарской поэзіи извѣстно еще далеко не вполнѣ, но общій характеръ ея уже опредѣляется изданными памятниками. Вообще говоря, она представляетъ много общаго съ поэзіей сербской. Тотъ же основный складъ народнаго быта, сходство исторической судьбы, сближавшей оба народа въ одинаковыхъ обстоятельствахъ и потомъ подъ однимъ игомъ, тѣ же общія черты мѣстной природы отзываются и общимъ тономъ ихъ народной поэзіи. Существенная разница заключается только въ степени національной энергіи, по которой Сербы стоятъ выше своихъ единоплеменниковъ. Племенное различіе обнаруживается и въ другихъ болѣе частныхъ подробностяхъ народной поэзіи, до сихъ поръ впрочемъ мало опредѣленныхъ. Болгарскія пѣсни достигаютъ иногда по своимъ мотивамъ замѣчательной древности, и исторія славянскаго обычая и древняго быта еще найдетъ въ нихъ много любопытнаго матеріала. Существенное дѣленіе болгарскихъ пѣсенъ тоже, какъ и въ сербскихъ; это—пѣсни женскія, пѣсни личнаго чувства; пѣсни обрядныя; и пѣсни мужскія, эпосъ. Миладиновы дѣлятъ пѣсни на самовильскія (въ которыхъ дѣйствуютъ самовилы, соотвѣтствующія сербскимъ виламъ), церковныя (духовные стихи), юнацкія, овчарскія (пастушьи), жалобныя, смѣшныя, любовныя, свадебныя, Лазарскія и жатвенныя (сборн. Милад., VI.). Относительно болгарскаго эпоса, г. Безсоновъ принимаетъ три историческіе періода, параллельные съ періодами эпоса сербскаго. Въ этомъ послѣднемъ онъ отмѣчаетъ три главныя эпохи: первую, которая обнимаетъ древнѣйшій періодъ самостоятельнаго сербскаго царства и заканчивается косовской битвой; вторую, изображающую героевъ, переживщихъ эту битву или являющихся въ сторонѣ отъ нея и послѣ нея; третью, заключающую время турецкаго владычества, періодъ гайдучества, доходящій съ конца 15-го до 18-го столѣтія. Болгарскій эпосъ можетъ быть понятъ вообще только сравнительно съ сербскимъ. Эти два народа были такъ давно сосѣдями, такъ часто сталкивались другъ съ другомъ въ мирѣ и враждѣ, жили въ такихъ сходныхъ отношеніяхъ внутреннихъ и внѣшнихъ, что ихъ поэзія очень естественно можетъ представлять много то-

[28]) „Показалецъ или Ржководство“ и пр., какъ должно изслѣдовать древнія черты болгарской исторіи, языка и пр. кн. I, Одесса, 1859.

чекъ соприкосновенія. Но болгарскій эпосъ сохранился несравненно меньше и слабѣе, потому что вообще болгарскій характеръ обнаруживаетъ меньше энергіи и стойкости, или потому, что ему пришлось вынести болѣе суровыя историческія испытанія. Въ границахъ первыхъ двухъ періодовъ, сходство болгарскаго эпоса съ сербскимъ ограничивается только самыми общими чертами, нѣсколькими преданіями и эпическими пріемами. Сербскій эпосъ этого времени нерѣдко касается болгарскихъ событій и героевъ, но болгарскій эпосъ самъ вообще не знаетъ этихъ двухъ періодовъ: онъ затерялъ уже преданія этого періода, и если въ немъ есть еще отрывочныя воспоминанія миѳологическаго эпоса, то періодъ независимаго болгарскаго царства въ немъ, кажется, совершенно забытъ. Самыя старыя пѣсни вспоминаютъ только о кралѣ Шишманѣ (сборн. Миладиновыхъ, стр. 73 слѣд.), затѣмъ всѣ его герои позднѣйшіе: самые извѣстные изъ нихъ — Марко Кралевичъ, знаменитый по сербскимъ пѣснямъ, и гайдукъ Стоянъ. Гайдуки — обыкновенные герои позднѣйшаго сербскаго эпоса: Сербы живутъ подъ турецкимъ владычествомъ, древняя сила изчезла, старые роды упали, и противъ Турокъ возстаютъ только отдѣльные удальцы, — гайдуки, — люди, дѣйствующіе внѣ народа, убѣгающіе шайками и порознь въ горы и ущелья и ведущіе непримиримую вражду противъ Турокъ. Болгарскій эпосъ, главнымъ образомъ, знаетъ уже только этихъ гайдуковъ, и если помнитъ еще преданія о старыхъ герояхъ, то представляетъ ихъ себѣ уже въ этой позднѣйшей одеждѣ гайдучества. Такимъ образомъ, болгарскій эпосъ слилъ всѣ періоды своего прежняго развитія въ одинъ, и герои его всѣ почти гайдуки, дѣйствующіе уже противъ Турокъ. Изъ числа ихъ можно отдѣлить нѣсколькихъ героевъ, очевидно, болѣе древнихъ (какъ Марко Кралевичъ), соотвѣтствующихъ второму сербскому періоду, но затѣмъ бо̀льшая часть принадлежитъ несомнѣнно 17-му и 18-му столѣтію или даже позднѣе. Вообще, «не зная сербскаго эпоса, мы не поймемъ болгарскаго», — замѣчаетъ г. Безсоновъ, — «ибо въ первомъ только мы встрѣчаемъ древнѣйшіе эпическіе мотивы, въ первомъ только встрѣчаемъ мы въ ясномъ свѣтѣ тѣхъ героевъ, о которыхъ у Болгаръ сохранилось большею частію только смутное и большею частію уже искаженное воспоминаніе. А потому сербскимъ эпосомъ мы постоянно должны пополнять болгарскій; ознакомившись хорошо съ лицами и событіями у Сербовъ, должны потомъ отыскивать разбросанныя черты у Болгаръ, древнихъ героевъ узнавать въ гайдукахъ, обширность древнихъ владѣній встрѣчать какъ одно воспоминаніе въ кругѣ уже узкихъ воззрѣній». Это единство лицъ и событій прекращается въ третьемъ періодѣ, гдѣ болгарскій эпосъ имѣетъ общаго съ сербскимъ только два-три имени. Но взамѣнъ этого, характеръ гайдучества совершенно одинаковъ и въ Сербіи, и въ Болгаріи. Не смотря на то, что гайдучество и тамъ, и здѣсь развилось совершенно независимо и самостоятельно, оно въ обѣихъ странахъ очень сходно, потому что вызвано было одинаковыми отношеніями славянскаго народонаселенія къ турецкому владычеству.

Но если, относительно содержанія, болгарскій эпосъ много уступаетъ сербскому въ давности и полнотѣ историческихъ пред ній эпоса, то онъ нисколько не уступаетъ ему относительно эпическихъ воззрѣній, поэтическихъ пріемовъ, формы и языка. «Въ этомъ отношеніи»—говоритъ г. Безсоновъ — «сербскій и болгарскій эпосъ находятся между собою въ связи ближайшей, другъ друга пополняютъ, другъ друга разнообразятъ, одинъ другому не уступаютъ. Не уступаетъ болгарскій эпосъ сербскому и относительно красоты, какъ гармоническаго выраженія всѣхъ особенностей эпоса. Такъ въ сербскомъ эпосѣ позднѣйшихъ гайдуковъ мы часто видимъ ослабленіе силы и красоты изображеній, сравнительно съ пѣснями о древнѣйшихъ періодахъ... между тѣмъ въ болгарской гайдуцкой пѣсни встрѣчаемъ цѣликомъ такія мѣста, какія могутъ сравниться только съ лучшими мѣстами изъ двухъ древнѣйшихъ сербскихъ періодовъ. Но только относительно понятія эпической красоты нужно условиться... Тотъ очень ошибется, кто въ болгарскомъ эпосѣ будетъ искать плодовитости, обилія, нѣжности, граціи, мягкости, свойствъ чисто-сербскихъ: въ замѣнъ всего этого, онъ найдетъ у Болгаръ простоту, восходящую до суровости, глубину, силу и большую краткость. Нужно признаться, что въ этой суровости болгарскаго эпоса слышится намъ иногда отголосокъ періода древнѣйшаго, чѣмъ многія мѣста эпоса сербскаго, и мы не прочь иногда вспомнить здѣсь отношеніе Иліады и Одиссеи. Очень естественно: болгарскій эпосъ не прошелъ такого богатаго развитія во времени, не получилъ тонкаго изящества, но за то по временамъ выигрываетъ сохраненіемъ запаса первобытности. Для примѣра сравните только сербскія и болгарскія описанія домашняго быта, одежи, пищи и питья».... (*Безсоновъ*, Болгарскія пѣсни, стр. 101 — 103).

ГЛАВА ВТОРАЯ.

СЕРБЫ.

Переходимъ къ сербскому племени [1]). Въ обширномъ смыслѣ это имя, какъ было уже замѣчено, обнимаетъ цѣлое славянское племя, которое стали называть въ послѣднее время «иллирійскимъ» и «южно-славянскимъ», т. е. обнимаетъ кромѣ собственныхъ Сербовъ, также Далматинцевъ разныхъ названій, Хорватовъ, Славонцевъ, Хорутанъ. Въ слѣдующемъ теперь историческомъ изложеніи мы будемъ говорить прежде всего о собственно-сербскомъ племени.

Мы не будемъ входить въ подробности темной исторіи его прихода изъ сѣверной Бѣлой Хорватіи и первоначальныхъ поселеній на Иллирійскомъ полуостровѣ; достаточно сказать, что оно раскинулось здѣсь на

[1]) Сочиненія по географіи и исторіи: Ami Boué, C. Robert, Раичъ, Шафарикъ (Древн. и Этногр.) см. выше;—Heinr. Berghaus, Physikal. Atlas, 8-е отд. № 10 — этногр. карта Австр. имперіи, № 19 — этнограф. карта Европейской Турціи, составленная Ами-Буэ; — Лежана, этнограф. карта Европ. Турціи, съ объясненіями, въ Этногр. Сборн. Геогр. Общ., вып. VI, Спб. 1864;—Гильфердингъ, Боснія, Герцеговина и Старая Сербія, Спб. 1859; — Юкичъ, Zemljopis i poviestnica Bosne, Zagreb (Аграмъ) 1851; — Іов. Гавриловичъ, Рѣчникъ географійско-статистичный Сербіе, Бѣлградъ 1846;—(Матія Мажураничъ), Pogled u Bosnu ili kratak put u onu krajinu, učinjen (1839—40) po jednom domorodcu, Загр. 1842;—Jihoslované, obraz historicko-statistický (изъ „Научн. слов.“ Ригера) Прага 1864;—Раичъ, Краткая исторія Сербіи, Вѣна 1793;—Pejacsevich, Historia Serviae, Coloc. 1799; — Энгель, Geschichte von Servien und Bosnien, Halle 1801;—Max. Schimek, Politische Geschichte des Königreichs Bosnien und Rama (съ 867 до 1741), Вѣна 1787; — Давидовичъ, Дѣянія къ исторіи Серб. народа, Вѣна 1821; — Видаковичъ, Исторіа Славено-Серб. народа, 4 ч., Бѣлгр. 1833—35;—Момировичъ, Краткая исторія и географія Сербіи, Спб. 1839; — Милутиновичъ, Исторія Сербіе одъ 1813 до конца 1815 г. Лейпц. 1837;—А. Майковъ, Исторія Сербскаго языка по памятникамъ, писаннымъ кириллицею, въ связи съ исторіею народа, М. 1857;—В. Григоровичъ, О Сербіи въ ея отношеніяхъ къ сосѣднимъ державамъ, преимущественно въ XIV и XV стол. Казань 1859;—Палацкій, Сравненіе законовъ царя Стефана-Душана съ древнѣйшимъ земскимъ порядкомъ у Чеховъ, въ Časopis Českého Mus. 1837, I, и русскій перев. въ „Чтеніяхъ“ 1846; — Янко Шафарикъ, матеріалы для сербской исторіи изъ Венеціанскихъ архивовъ, въ „Гласникѣ“ серб. Общества 1859—62, и отдѣльная книга; — Гласникъ Дружтва Сербске словесности, 16 кн., 1847 — 1863, и

нѣсколько отдѣльныхъ земель, совершенно однородныхъ по языку, но представлявшихъ независимыя общины и маленькія государства подъ властью бановъ, жупановъ, князей и т. д. Такими отдѣльными землями были, кромѣ собственной Сербіи, Босна, княжество Захлумское, Нерства, Конавлія, Травунія и Дукля (Діоклея, Зета) съ адріатическимъ Приморьемъ: собственная Сербія управлялась верховнымъ княземъ, или великимъ сербскимъ жупаномъ, который повидимому имѣлъ очень слабое или никакого вліянія на другія земли и находился вмѣстѣ съ ними въ зависимости отъ византійскаго императора. Впослѣдствіи, когда болгарскій царь Симеонъ (924) страшно опустошилъ Сербію, больше всѣхъ усилился великій діоклейскій жупанъ, даже присвоившій себѣ названіе короля. Христіанство проникло къ Сербамъ въ первый разъ въ половинѣ 7-го вѣка, когда императоръ Гераклій убѣдилъ ихъ принять крещеніе отъ римскаго духовенства; но это раннее христіанство не имѣло успѣха между прочимъ вѣроятно потому, что передавалось не на народномъ языкѣ. Большинство упрямо держалось язычества. Второе крещеніе, совершенное духовными, посланными императоромъ Василіемъ, произошло кажется при сербскомъ князѣ Мунтимірѣ, около 867 г. Исторія этого времени очень темна и запутанна: Сербы то находятся въ подчиненіи Грекамъ, то освобождаются отъ нихъ, воюютъ съ Болгарами, ведутъ междоусобныя распри дома и съ сосѣдними, сербскими же землями. Въ 924 году Сербія падаетъ жертвой упорной войны Грековъ и Болгаръ, которые оспаривали другъ у друга обладаніе Ѳракійскимъ полуостровомъ; Сербы, не успѣвшіе бѣжать въ Хорватію, были отведены въ болгарскую землю. Черезъ нѣсколько лѣтъ, остатки Сербовъ основываютъ, съ помощью Грековъ, новое княжество, которое опять подчиняется византійскому императору и движется въ той же

др. сербскіе журналы;—Fr. Miklosich, Monumenta Serbica, Вѣна 1858;—L. Ranke, Die serbische Revolution. 2-е изд. Берлинъ 1844 (рус. перев Б.артенева, М.);—Die serbische Bewegung in Südungarn, Берлинъ 1851.

По языку и литературѣ: В. Караджичъ, Српски Рjечник (и грамматика) Вѣнѣ 1818; 2-е изд. 1852;—Шафарикъ, Serbische Lesekörner oder historisch-kritische Beleuchtung der serb. Mundart, Pesth 1833;—Даничичъ, Српска граматика, Вѣна 1851; Рjечник из књижевних старина српских, 2 ч. Бѣлгр. 1863—64; Рат за српски jезик и правопис, Вѣна 1847;—Fröhlich, Gramm. der serb. Sprache, Wien 1850: Serb. Wörterbuch, Wien 1852—53;—П. Шафарикъ: Pamatky dřevního písemnictví Jihoslovanův, Прага 1851; о славянскихъ, именно кирилловскихъ типографіяхъ въ южнославянскихъ земляхъ въ 15—17 стол., въ Časop. Česk. Mus. 1841, I, перевед. въ „Чтеніяхъ“ 1845—46; — V. Křížek, Přehled veškeré literatury jihoslovanské (Časop. Česk. Mus. 1859, вып. I—IV);—Dr. J. Subbotić, Einige Grundzüge aus der Gesch. der serb. Literatur, 1850;—Ristić, Die neuere Literatur der Serben Berl. 1852;—В. Ламанскій, Сербія и южно-славянскія провинціи Австріи, Петербургъ 1864.

О Черногоріи: Montenegro und Montenegriner, Stuttg. 1837;—Е. Ковалевскій, Четыре мѣсяца въ Черногоріи, Спб. 1841;—А. Поповъ, Путешествіе въ Черногорію, Спб. 1847;—Милутиновичъ, Исторія Црне Горе, Бѣлгр. 1835;—М. Медаковичъ, Повѣстница Црнегоре, Землинъ 1850;—Д. Милаковичъ, Исторія Црне Горе, Зара 1856; —A. Andrić, Gesch. des Fürstenthums Montenegro (до 1852), Вѣна 1853; —Kohl, Reise nach Istrien etc. und Montenegro, Дрезденъ 1851, 2 т.;—Wilkins Dalmatia and Montenegro, Lond. 1848.

колеѣ войнъ съ Греками и Болгарами и междоусобій. Въ 1040 г. Стефанъ Боиславъ изгналъ императорскихъ намѣстниковъ, а сынъ и преемникъ его Михаилъ, жившій вѣроятно въ Дуклѣ, даже объявилъ себя сербскимъ королемъ, получивши отъ папы Григорія VII и самые знаки царскаго достоинства. Около 1120 вошелъ на княжескій престолъ Бела Урошъ, по извѣстіямъ позднѣйшихъ лѣтописцевъ родоначальникъ дома Неманичей, правившаго потомъ Сербіей и впервые основавшаго ея цѣльное національное существованіе. Зависимость отъ Грековъ продолжалась, но ослабѣвала больше и больше. Въ послѣдній разъ преобладающее вліяніе Грековъ на внутреннія дѣла Сербіи выразилось въ возведеніи на великожупанскій престолъ внука Уроша, Стефана Немани, младшаго сына Тѣши или Тѣхомила (род. 1114, въ Рыбницѣ на Зетѣ), — этимъ былъ нарушенъ обычный родовой порядокъ, по которому у Сербовъ старшій братъ имѣлъ преимущество передъ младшимъ. Неманя сосредоточилъ власть въ своемъ родѣ, собралъ по возможности сербскія области и внесъ въ ихъ жизнь государственное начало. Получивши въ наслѣдіе отцовскую землю, онъ долженъ былъ бороться со старшими братьями, наконецъ одолѣлъ ихъ, сталъ великимъ жупаномъ Расы, освободилъ сербскія земли отъ Грековъ, и послѣ долгаго царствованія оставилъ престолъ и пошелъ въ монахи. Онъ строилъ много церквей, обновилъ знаменитый монастырь Хиландарскій («царская лавра») на Аѳонѣ и умеръ тамъ въ 1200 г. Съ него начинается болѣе достовѣрная и блестящая пора сербской исторіи. Въ культурномъ смыслѣ, Сербія еще далеко не вышла изъ своего патріархальнаго древне-народнаго быта: лѣтописцы называютъ его утвердителемъ православія и «потребителемъ ересей своего отечества» т. е. патареновъ, секты богомильскаго разряда. Біографъ его Дометіанъ указываетъ и на присутствіе язычества: Неманя, по словамъ его, «опровергъ бѣсовскіе храмы» — слѣдовательно, язычество было въ это время еще очень замѣтно. Преемникомъ его былъ сынъ его Стефанъ Первовѣнчанный (до 1224 г.), при которомъ родовые споры опять были причиной внутреннихъ волненій; продолжались войны съ Болгарами, греческимъ императоромъ и Венграми. Вѣроятно для того, чтобы пріобрѣсти себѣ союзниковъ противъ Венгріи, онъ женился на внучкѣ венеціанскаго дожа Дандоло и склонился на сторону западнаго духовенства: папа велѣлъ вѣнчать его королемъ, — вмѣшательство, начавшееся уже давно и постоянно питавшее надежду папства стать твердой ногой въ области сербскихъ Славянъ. Другой сынъ Немани, Растько, еще при жизни отца сдѣлавшійся монахомъ подъ именемъ Саввы, недовольный связями Стефана съ папой, удалился на Аѳонъ: поставленный въ Никеѣ архіепископомъ сербскимъ, Савва вернулся въ Сербію только тогда, когда Стефанъ, достигши своихъ цѣлей, отказался отъ римскаго католицизма, и Савва вѣнчалъ его во второй разъ на царство. Этотъ Савва также игралъ роль въ сербскихъ событіяхъ: ему принадлежитъ между прочимъ основаніе сербскихъ епископствъ и устройство іе-

рархіи. Стефанъ оставилъ нѣсколько сыновей, которые правили одинъ за другимъ; изъ нихъ замѣчателенъ особенно Стефанъ III или Урошъ Великій, умѣвшій сохранить цѣлость и спокойствіе Сербіи, и между прочимъ отразившій нашествіе Монголовъ, захватившихъ на своемъ пути часть сербской земли (1241). Сыновья Уроша, Драгутинъ и Милутинъ, также царствовали одинъ за другимъ. Милутинъ (1275—1321) былъ ловкій политикъ и своими войнами, въ которыхъ доходилъ до Аѳона, онъ значительно расширилъ границы сербской земли; для политическихъ цѣлей онъ считалъ позволительными всякія средства, напримѣръ, нѣсколько разъ бросалъ своихъ женъ и женился вновь, когда бракъ представлялъ ему новые виды на пріобрѣтенія: въ послѣдній разъ женился онъ на восьмилѣтней византійской принцессѣ. Этимъ хотѣли обязать его не тревожить греческой имперіи, но планы Милутина разсчитывали теперь во первыхъ на прекрасную равнину Македоніи, всегда привлекавшую сербскихъ кралей, и наконецъ на самую греческую имперію. Онъ успѣлъ пріобрѣсти расположеніе супруги греческаго императора, которая готовила ему византійскій престолъ, ловко отдѣлывался отъ другихъ претендентовъ, давалъ обѣщанія папѣ и изъявлялъ покорность римской церкви, что не мѣшало ему потомъ обмануть папу, когда Милутинъ увидѣлъ его безсиліе и т. д. Но онъ не успѣлъ достичь своей цѣли; онъ умеръ среди своихъ предпріятій. За нимъ слѣдовалъ Стефанъ Дечанскій, — прозванный такъ потому, что построилъ въ Дечанахъ великолѣпную церковь и богато одарилъ ее драгоцѣнностями и селами. При Стефанѣ повторились опять сцены семейной ненависти: Стефанъ, самъ враждовавшій съ отцомъ, нашелъ врага и въ своемъ сынѣ, который, по возбужденіямъ бояръ, открыто возсталъ на него; краль, бѣжавшій изъ столицы, былъ настигнутъ и задушенъ боярами. Приключеніе чисто византійское. Этотъ сынъ былъ знаменитый въ сербской исторіи Стефанъ Душанъ (1336—1355). Сербія достигла при немъ вершины своего могущества: византійскіе писатели сравниваютъ его дикую, неудержимую силу то съ занявшимся пламенемъ, то съ рѣкой, выступившей изъ своихъ береговъ. Рѣка дѣйствительно выступила изъ береговъ: кромѣ своихъ собственныхъ областей, Сербія обнимала теперь Албанію, Этолію, Эпиръ, Ѳессалію и Македонію; непокорный банъ долженъ былъ уступить Душану Боснію; Рагуза торжественно принимала его и признавала своимъ покровителемъ; царь болгарскій давно признавалъ его власть. Душанъ замышлялъ завоевать самую Византію (онъ принялъ уже титулъ ромейскаго кесаря и сталъ носить тіару), и навсегда остановить приливъ Турокъ, — онъ уже предвидѣлъ опасность отъ ихъ частыхъ переходовъ въ Европу, куда зазывали ихъ противъ своихъ враговъ византійскіе императоры. Душанъ самымъ блестящимъ образомъ осуществлялъ планы цѣлаго ряда сербскихъ кралей, но смерть помѣшала ихъ завершенію. Въ сношеніяхъ съ папой Душанъ держался обыкновенной политики, изъявлялъ покорность папскому престолу, надѣясь отъ этого политическихъ вы-

годъ, но это не помѣшало ему быть благочестивымъ православнымъ, строить церкви и одарять монастыри, и въ своихъ законахъ осуждать въ рудники того, кто уклонится въ «латинскую ересь». Наконецъ, Душанъ знаменитъ въ сербской исторіи своимъ законодательствомъ («Законникъ»), и основаніемъ сербскаго патріаршества, которое нужно было ему для пріобрѣтенія полной самостоятельности. Такимъ образомъ, Сербы вступали теперь въ эпоху сознательной государственной и общественной жизни, пріобрѣли церковную независимость, развили внѣшнюю силу; они готовы были стать въ ряду народовъ европейской цивилизаціи. Но историческія обстоятельства не дали созрѣть этимъ начаткамъ: съ одной стороны явился страшный внѣшній врагъ въ лицѣ Турокъ, съ другой — внутреннія междоусобія. Душану удалось сдержать родовые споры и вмѣстѣ унизить значеніе боярства, которое играло такую роль въ этихъ спорахъ; но теперь, боярство, лишенное прежняго сословнаго значенія, стало искать иного удовлетворенія своему честолюбію; оно стремилось возвыситься само на счетъ царской власти, и слабость преемника Стефана, Уроша, дала ему возможность думать и о пріобрѣтеніи самой этой власти. Всего возможнѣе было это для областныхъ правителей: одинъ изъ нихъ, Вукашинъ, убивши Уроша на охотѣ, сдѣлался полновластнымъ господиномъ Сербіи. Не смотря на всю энергію и ловкость Вукашина, областные правители по его собственному примѣру стали стремиться къ самостоятельности: частью земель его овладѣлъ Лазарь; въ Зетѣ, Македоніи и другихъ краяхъ явились также независимые воеводы. Подобный порядокъ вещей всего меньше могъ спасти отъ наступавшихъ Турокъ, которые теперь стали уже твердой ногой на Балканскомъ полуостровѣ. Вукашинъ воевалъ съ ними неудачно, Лазарь уже обязался ежегодной данью. Раздѣленіе Сербовъ не кончилось и теперь: когда Лазарь задумалъ возстать противъ Турокъ, султанъ Мурадъ предупредилъ его, и съ огромнымъ войскомъ вторгнулся въ Сербію. Лазарь встрѣтилъ его съ одними Сербами; произошла знаменитая Косовская битва (15-го іюня 1389), окончившая независимое существованіе и остановившая исторію Сербіи.

Правда, и послѣ этого продолжалась еще извѣстная независимость Сербіи: султанъ Баязетъ оставилъ Сербію за Стефаномъ, сыномъ Лазаря, но Стефанъ долженъ былъ дать ему клятву въ вѣрности: онъ сдерживалъ эту клятву и сражался за Турокъ, не предвидя, что это послужитъ только къ гибели его собственнаго народа. Сербія сохранила еще тѣнь независимости и по смерти Стефана, подъ властью энергическаго Юрія Бранковича. Господство Бранковичей продолжалось лѣтъ сорокъ: турецкія притязанія стѣсняли власть, угнетали народъ, и Бранковичи вынуждены были дѣлаться то вассалами Венгріи, то слугами султановъ. Событія этого времени мы передадимъ вкратцѣ словами Ранке.

«Вскорѣ началось истребленіе владыкъ народа, которые вмѣстѣ съ княжескимъ семействомъ принуждены были искать спасенія въ принятіи ма-

гометанства. Завѣщаніе послѣдней княгини, бѣжавшей въ Римъ и при своей кончинѣ передавшей права свои римскому папѣ, который въ знакъ принятія ихъ коснулся поднесенныхъ ему меча и башмака, — это завѣщаніе основано на томъ, что дѣти княгини, сынъ и дочь, приняли исламъ и черезъ то лишились возможности наслѣдовать ей. Знатнѣйшіе роды, угрожаемые опасностью потерять все и съ другой стороны соблазняемые надеждою сохранить свое общественное значеніе, послѣдовали примѣру княжескаго семейства. За то они получили право наслѣдственнаго владѣнія въ своихъ замкахъ, и пока жили согласно, пользовались большимъ вліяніемъ въ областяхъ: иногда имъ дозволялось даже имѣть визиря изъ среды своей. Но тѣмъ самымъ они отдѣлились отъ народа, который твердо сохранялъ старую вѣру, и за то исключенъ былъ изъ государства, лишенъ права носить оружіе и сдѣлался райею, какъ и всѣ христіане оттоманской Порты.

«Участь Герцеговины была нѣсколько легче; тамошніе христіанскіе князья, во главѣ воинственнаго народонаселенія, еще сохраняли нѣкоторый видъ самостоятельности: Порта своими бератами иногда признавала независимыя права ихъ, и паши должны были щадить ихъ.

«Но въ собственной Сербіи, по Моравѣ, Колубарѣ и Дунаю, турецкая система господствовала во всей своей силѣ. Султаново войско почти ежегодно ходило черезъ эти земли къ венгерскимъ границамъ, и не оставляло ихъ въ покоѣ. Крестьяне изъ окрестностей Бѣлграда отправлялись въ Константинополь косить сѣно на лугахъ султанскихъ. Страна подѣлена между спахіями, и жители обязаны были отправлять имъ всякаго рода службу. Они не смѣли носить оружія: при началѣ возстанія все вооруженіе ихъ состояло въ длинныхъ дубинахъ. Они не могли обзавестись лошадьми, которыхъ отнимали у нихъ Турки. Одинъ путешественникъ 16-го вѣка описываетъ ихъ нищими, узниками, изъ которыхъ ни одинъ не осмѣливается глядѣть прямо. Каждые пять лѣтъ производился наборъ мальчиковъ: цвѣтъ и надежда народа, они уводимы были въ Константинополь для непосредственной службы султану, изъ нихъ выростали ревностные губители христіанства» [2]).

Турецкое господство начало между тѣмъ уже серьезно безпокоитъ Европу. Борьба расширялась, Юрій Бранковичъ примкнулъ къ Венгріи и Польшѣ, но и это не помогло: подвиги Яна Гуніада не спасли Сербію и пораженіе Венгровъ и Поляковъ при Варнѣ повлекло за собой господство турецкаго ига, до сихъ поръ тяготѣющаго надъ балканскими Славянами. Сербамъ предлагали защиту подъ условіемъ католицизма, но ни Юрій Бранковичъ, ни сербскій народъ не принимали этого условія. Да и оно было бы безполезно... Послѣ окончательнаго покоренія, Сербія еще удерживала своихъ деспотовъ, изъ которыхъ послѣднимъ былъ другой Юрій

[2]) Ранке, Исторія Сербіи, М. 1857, стр. 25—26.

Бранковичъ. Страна находилась въ бѣдственномъ положеніи, становилась сценой войнъ, земли переходили изъ рукъ въ руки, и Сербы нѣсколько разъ переселялись изъ турецкихъ областей въ Сремъ, Банатъ и въ Венгрію; въ 1690 г. перешелъ за Дунай въ Австрію патріархъ Арсеній Черноевичъ и съ нимъ тридцать семь тысячъ сербскихъ семействъ, которымъ даны были земли и обѣщана религіозная независимость. Турки конечно не хотѣли допустить вліянія Арсенія въ своихъ земляхъ, и для Сербіи поставленъ былъ новый патріархъ; но религіозно-народныя возстанія продолжались и Турція отняла наконецъ у Сербовъ право выбирать собственнаго патріарха и подчинила ихъ патріаршеству константинопольскому, въ вѣрности котораго не сомнѣвалась. Вмѣстѣ съ независимостью церкви, народъ потерялъ послѣднее общественное значеніе и послѣднюю возможность образованія... Тяжесть ига произвела то, что множество народа приняло исламизмъ. Отуреченіе началось особенно въ Боснѣ, съ бояръ, которые посредствомъ отступничества желали пріобрѣсти и въ новыхъ условіяхъ богатство и значеніе. За ними слѣдовали и другія сословія...

Другія земли имѣли ту же участь: Босна и Герцеговина подъ конецъ терпѣли тоже самое угнетеніе. Босанская исторія, мы видѣли, очень часто совпадаетъ съ сербской. Босна имѣла также своихъ независимыхъ бановъ, впослѣдствіи имѣла даже своихъ королей, но также не могла составить цѣльнаго и прочнаго государства: въ религіозномъ отношеніи она подвергалась вліянію Рима или колебалась между православіемъ и патаренскою ересью, въ политическомъ подчинялась вліянію то Византіи, то Сербіи, то Венгріи. Во внутреннихъ ея отношеніяхъ господствуетъ тоже явленіе, которое мы замѣчали въ Сербіи—усиленіе боярства, которое повлекло за собой раздѣленіе областей, ослабленіе политической силы и наконецъ подчиненіе турецкому игу. Когда началось отуреченіе, оно всего сильнѣе дѣйствовало въ Боснѣ, гдѣ постоянная встрѣча православія съ католицизмомъ и патаренскою ересью дѣлала болѣе возможнымъ измѣненіе религіи [3]).

Южная часть Сербіи, Зета, или Дукля (Діоклея), изъ которой вышелъ родъ Неманичей, также недолго осталась свободной; приближеніе Турокъ

[3]) „Боснія,—говоритъ одинъ современный наблюдатель,—находится въ особенныхъ общественныхъ отношеніяхъ. Въ собственной Сербіи феодальные владѣтели (въ старое время), развившіеся очень поздно и только изъ подражанія западу, были вовлечены въ несчастія своей родины и погибли или низошли на степень райевъ, какъ и остальной народъ... Въ Босніи, напротивъ того, высшее сословіе приняло исламизмъ, чтобы сохранить свои лены, и составляетъ до сихъ поръ элементъ самый отсталой и наиболѣе феодальный во всей Турціи; и дѣйствительно, Боснія не переставала протестовать съ оружіемъ въ рукахъ противъ реформъ Махмуда II и Абдулъ-Меджида. Эта аристократія, слишкомъ тягостная для своихъ вассаловъ, мусульманская, но вовсе не турецкая; она сохраняетъ свои обычаи, свой языкъ, фамильныя прозванія, и путешественникъ, знающій одинъ турецкій языкъ, впадалъ бы въ безпрестанныя ошибки, проѣзжая Боснію. Съ другой стороны райи, подавленные податями и налогами, берутся часто за оружіе во имя своей вѣры и гатти-гумаюна, и внутренняя борьба уменьшаетъ безпрерывно населеніе Босніи, (турецкой) Кроаціи и особенно Герцеговины, гдѣ христіане въ большемъ числѣ и смѣлѣе, вслѣдствіе сосѣдства съ Черногоріей“ (Лежанъ, въ Этногр. Сборн. стр. 30—31).

заставило ея жителей уйти въ горы, — это было основаніе знаменитой Черногоріи, единственнаго сербскаго края, уцѣлѣвшаго тогда отъ общаго крушенія...

Такъ закончился старый періодъ сербской исторіи окончательнымъ упадкомъ націи. Но можно думать, что катастрофа турецкаго нашествія не была единственной причиной этого явленія; до извѣстной степени оно объясняется и тѣмъ внутреннимъ состояніемъ, въ которомъ находилась Сербія въ послѣднее время своего свободнаго существованія. Именно, въ этомъ упадкѣ имѣло свою большую долю вліяніе Византіи. Мы имѣли уже случай замѣтить, какъ оно сказывалось въ политическихъ понятіяхъ Сербовъ и въ жизни владѣльческихъ домовъ, куда проникли всѣ подробности византійской придворной интриги и предательства, прикрытыхъ маской благочестія; проникли качества византійскаго деспотизма,—крупнаго, стремившагося къ созданію обширнаго государства и ради того считавшаго позволительными всѣ средства, и мелкаго, мечтавшаго объ областной феодальной независимости. Общее дѣйствіе этихъ отношеній въ 14—15 столѣтіяхъ довольно наглядно объясняетъ г. Григоровичъ:

«Славяне основывали свою самостоятельность на непреодолимой, хотя и не ясно сознаваемой, потребности охранить свою народность; Византія— на политикѣ, вытекающей изъ отвлеченной теоріи о римскомъ владычествѣ; феодализмъ торжествовалъ тамъ, гдѣ нарушалась связь народнаго общенія.

«Славяне, выдержавъ неоднократные удары явныхъ враговъ, въ стремленіи создать самодержавныя государства опираясь на собственное могущество, были только крѣпки народнымъ единствомъ, сильны духовною самостоятельностью. Но своебытная, юная силами жизнь Славянъ, едва успѣвавшихъ ограждать государственную цѣлость отъ явныхъ враговъ, заранѣе поражаема была примѣсью чуждыхъ началъ, пагубно дѣйствовавшихъ въ грозную минуту вторженія Османовъ.

«Византія, съ завистью взирая, среди собственныхъ раздоровъ, на усиленіе Славянъ, достигала своего преобладанія, дѣйствуя на нихъ своею политикою. Вѣрная темнымъ преданіямъ о Римской имперіи и сознавая свое безсиліе, она нуждалась въ гибели другихъ для собственнаго существованія. Недоступная кореннымъ преобразованіямъ, коснѣя въ самолюбивой мечтѣ о своемъ превосходствѣ, она не дорожила просвѣщеніемъ единовѣрныхъ народовъ, но своимъ вліяніемъ вносила разладъ въ гражданскую ихъ жизнь, чтобы легче распоряжаться ихъ довѣріемъ или возвышаться надъ пораждаемыми ею крамолами. Политика ея, не воодушевляясь мужественнымъ самоотверженіемъ, искала только жертвъ и жертвами ея были народности. Потерявъ внутреннюю связь въ государственной жизни, Византія прилагала тѣже начала внѣшней политики и въ собственной администраціи. Обезсиливъ коренной греческій народъ, она отвлеченному понятію о Римлянинѣ придавала значеніе преимущества, служившаго къ разобщенію, не къ соединенію ея обитателей. Питая тщеславіе своихъ граж-

данъ, сохранившихъ античныя прикрасы отъ міра, давно ими отверженнаго, она не внушала имъ также гражданскихъ добродѣтелей. Византійцы не жили общею жизнью, не волновались общимъ чувствомъ, но, образуясь какъ софисты, копировали съ древнихъ участіе къ гражданскимъ доблестямъ, а въ сущности исполнены были отвлеченной премудрости, доводившей до обольстительной способности скрывать корыстолюбивые виды подъ личиною заботливости объ общемъ благѣ. Среди опасностей, угрожавшихъ цѣлости отечества, Византійцы не разъ измѣняли его пользамъ, ввѣряя чужимъ защиту его и забывая, что сила государства лежитъ въ сочувствіи собственнаго народа. Отрицаніе, слѣдственно, народности и усиленіе эгоизма—это главныя черты Византіи въ эпоху водворенія Османовъ. Съ этой точки зрѣнія можно пояснить предательскую уступку коренныхъ областей чужеплеменникамъ и легкомысленное довѣріе къ Османамъ. Съ равнодушіемъ къ участи коренныхъ обитателей, естественно, долженъ былъ усиливаться духъ частнаго корыстолюбія, жертвовавшій безъ разбора для личныхъ выгодъ интересами государства. Византіецъ, часто сомнительнаго происхожденія, присвоивая себѣ имя Римлянина для тщеславныхъ видовъ, умышленно допускалъ самый разнообразный сбродъ народовъ, разногласіе которыхъ давало возможность господствовать. Немудрено, слѣдственно, что государство имѣло самое отвлеченное основаніе и лишено было жизненныхъ началъ.

«Рядомъ съ такимъ направленіемъ Византіи развился феодализмъ въ ея же областяхъ, въ Пелопоннезѣ, Элладѣ, и черезъ Ѳессалію и Эпиръ достигалъ славянскихъ земель. Наслѣдіе господства франковъ въ 13-мъ столѣтіи, феодализмъ въ 14 и 15-мъ столѣтіяхъ сдѣлался явнымъ союзникомъ Византіи. Не бывъ въ состояніи основать самодержавія на народномъ единствѣ, Византія мало по малу сживалась съ нимъ. Да, казалось, Феодализмъ отвѣчалъ видамъ византійской политики, легко постигшей, что въ дробности, разобщеніи мелкихъ владѣній легче, пользуясь взаимными раздорами, то враждовать съ ними, то снискивать ихъ содѣйствіе. Византія глубоко сознавала, что феодализмъ, способствуя отчужденію сильныхъ властелиновъ, увеличивалъ безсиліе цѣлаго общества, и что личное мужество феодаловъ не всегда противилось приманкамъ корысти.

«Препятствуя возниканію сословій, подавляя свободное развитіе гражданства, феодализмъ тамъ, гдѣ народность отстаивала свое существованіе, дѣйствовалъ косвенно, но не менѣе гибельно. Его-то вліянію надо приписать возниканіе у южныхъ Славянъ самовольныхъ властелиновъ, людей, мощныхъ своимъ боярствомъ, утверждавшихъ свои притязанія на увѣреніи, что сила есть право и право есть сила. И эти притязанія особенно обнаружились въ Сербіи во второй половинѣ 14-го столѣтія.

«Поставленная между силою, расплавляющею народное общеніе, и силою, раздробляющею государственную цѣлость, между Византіею и феодализмомъ, Сербія не могла не поколебаться, испытывая то явное, то тайное ихъ дѣй-

*

ствіе. Вотъ почему мы замѣчаемъ, что Сербія, достигнувъ въ 14-мъ столѣтіи значительнаго могущества, съ прекращеніемъ династіи Неманичей, была, не смотря на народное единство, терзаема распрями соперниковъ—властелиновъ, посягавшихъ на раздробленіе отечества.

«Среди этихъ распрей Сербія вызвана была на роковую борьбу съ Османами [4])...»

Она не выдержала этой борьбы и начало турецкаго ига оканчиваетъ историческій періодъ древней независимой Сербіи.

1. СОБСТВЕННАЯ СЕРБІЯ ВЪ ДРЕВНЕМЪ ПЕРІОДѢ.

Переходимъ къ литературѣ. Мы уже говорили прежде, что старо-славянская литература, вышедшая изъ Болгаріи, была общимъ достояніемъ Славянъ православной церкви. Священное писаніе и церковныя книги переходили къ нимъ готовыми, какъ только у нихъ утверждалось православное христіанство. Такъ они были приняты Русскими, еще легче они могли получить свое значеніе у Сербовъ. Первоначальная близость этихъ языковъ другъ къ другу чрезвычайно облегчала это принятіе чужихъ книгъ: грамотные скоро освоивались съ ними, и языкъ ихъ, все-таки нѣсколько отличный отъ народнаго, пріобрѣталъ характеръ языка священнаго, и такъ какъ литературная дѣятельность обращалась въ тѣ времена почти исключительно къ содержанію богословскому или наставительному вообще, то очень естественно, что языкъ церковныхъ книгъ становился и вообще литературнымъ языкомъ. Это явленіе происходило и на Руси, гдѣ писатели повторяли старо-славянскія формы, и у Сербовъ, гдѣ они слѣдовали тому же правилу. Но, стараясь писать на старо-славянскомъ языкѣ, писатели не могли однако удержаться отъ употребленія формъ народныхъ, такъ что языкъ ихъ выдаетъ національность автора; переписчики старо-славянскихъ книгъ точно также не могли не поддаваться вліянію роднаго нарѣчія, которое припоминалось при каждой отличной формѣ подлинника, и переписанная рукопись опять выдавала національность писца. Такимъ путемъ являются сербскія редакціи перевода св. писанія, церковныхъ и поучительныхъ книгъ, составлявшихъ общую принадлежность старой православной письменности. Съ другой стороны, кромѣ этого церковнаго стиля языка мы встрѣчаемъ другой, болѣе народный стиль юридическихъ актовъ и грамотъ, которые, ближайшимъ образомъ относясь къ интересамъ дѣйствительной жизни, по необходимости должны были держаться ея обиходнаго языка. Эти грамоты, не представляя литературнаго интереса и весьма важныя въ историческомъ отношеніи, представляютъ вмѣстѣ съ тѣмъ лучшій источникъ для изученія древне-сербскаго языка [5]); до сихъ поръ извѣстно

[4]) О Сербіи, въ ея отношеніи къ сосѣднимъ державамъ, стр. 8—11.

[5]) Это изученіе сдѣлано А. Майковымъ, въ его „Исторіи сербскаго языка" и пр. М. 1857. Тамъ же подробный указатель этихъ грамотъ и ихъ изданій. Словарь этихъ памятниковъ составилъ Даничичъ.

значительное количество грамотъ: *сербскихъ*, данныхъ кралями, царями, деспотами и ихъ родичами; *босанскихъ*, данныхъ банами и королями; *герцеговинскихъ*, или хлумскихъ и травунскихъ; *турецкихъ*, писанныхъ по сербски; *зетскихъ*, къ которымъ принадлежатъ и грамоты Скандербега и черногорскія; *дубровницкихъ*, и *приморскихъ*. Древнѣйшія изъ нихъ — грамота босанскаго бана Кулина, 1189 г., и грамота великаго жупана Немани, 1199.

Мы видѣли, что Сербы довольно поздно выходятъ изъ первобытнаго патріархальнаго быта; только съ конца 12-го вѣка земля начинаетъ образовываться въ націю, когда болгарское царство уже успѣло пережить свою блестящую эпоху. Литературные памятники сербскаго происхожденія появляются также поздно. Когда христіанство стало господствующей религіей, первыя потребности ученія достаточно удовлетворились тѣмъ литературнымъ содержаніемъ, которое легко доставалось Сербамъ изъ Болгаріи: вѣроятно, такимъ образомъ объясняется недостатокъ собственной литературной дѣятельности.

Изъ тѣхъ памятниковъ древне-сербской письменности, какіе были изданы или описаны до сихъ поръ, можно видѣть, что сербская письменность дѣйствительно питалась болгарскимъ содержаніемъ: переводы множества памятниковъ церковнаго нравоученія, догматики и церковной легенды, переходили къ Сербамъ и въ самомъ началѣ доставили значительный запасъ христіанскаго нравоученія. Таковы, напр. сербскія редакціи болгарскаго *Шестоднева* 1263 г.; сербскій *Прологъ*, 13-го вѣка; Слова Іоанна *Златоуста*, *Патерикъ*, Богословіе *Дамаскина* — 14-го вѣка; Слова *Григорія Богослова*, Лѣствица Іоанна *Климаха* и т. д. 15-го вѣка, — не говоря о спискахъ евангелія, апостола, библейскихъ и богословскихъ книгъ (см. у Майкова, стр. 47, пр.). Нѣтъ сомнѣнія, что это литературное общеніе продолжалось постоянно не только въ первую эпоху христіанскаго образованія Сербіи, но и впослѣдствіи, до тѣхъ поръ, пока продолжалась литературная жизнь самой Болгаріи; въ этомъ убѣждаютъ сербско-болгарскія рукописи этого позднѣйшаго времени. Иногда подобные памятники могли быть и сербскаго происхожденія, могли быть напр. переводы прямо на сербско-болгарскій, т. е. на старо-славянскій языкъ, въ которомъ переводчикъ не могъ освободиться отъ собственныхъ сербизмовъ. Но вообще для произведеній этого рода, церковныхъ, догматическихъ и нравоучительныхъ, старо-славянскій языкъ требовался необходимо, и большее или меньшее присутствіе сербскихъ признаковъ показываетъ только большую или меньшую степень начитанности или «учености» переводчика или переписчика.

Это самое явленіе мы встрѣчаемъ и въ произведеніяхъ собственно сербскихъ. Если только шла въ нихъ рѣчь о предметахъ церковныхъ и нравоучительныхъ, старо-славянскій языкъ былъ обязателенъ. Понятно, что это требованіе не ограничивалось однимъ языкомъ; точно также, какъ бол-

гарская литература, устроиваясь по своимъ византійскимъ образцамъ, выработала себѣ, вмѣстѣ съ извѣстной формой литературныхъ пріемовъ и языка, и извѣстный кругъ догматическо-христіанскаго содержанія, такъ и здѣсь вмѣстѣ съ старо-славянскимъ языкомъ господствовалъ и кругъ идей, которому онъ служилъ выраженіемъ. На собственныхъ произведеніяхъ сербскихъ писателей лежитъ тотъ же отпечатокъ византійства, какой мы уже замѣтили въ Болгаріи. Этотъ отпечатокъ могъ, безъ сомнѣнія, явиться у Сербовъ и прямо изъ византійскихъ источниковъ: знаніе греческаго языка не было конечно рѣдкостью при тѣсныхъ связяхъ съ Византіей; взглядъ на вещи переходилъ вмѣстѣ съ нравами; какъ сербскій краль перенималъ привычки византійскихъ кесарей, такъ и сербскій риторъ копировалъ ритора византійскаго. Старо-славянскій языкъ, уже обработанный въ этомъ смыслѣ, давалъ писателю удобное орудіе, приспособленное къ извѣстнаго рода содержанію, и въ результатѣ сербскій писатель — дидактическій, легендарный, догматическій — представляетъ намъ тотъ же общій типъ, который мы видимъ въ писателѣ этого рода болгарскомъ и старинномъ русскомъ. Всѣ они исходятъ изъ одного литературнаго корня.

Древній періодъ сербской литературы представляетъ очень мало собственно сербскихъ произведеній, и такъ какъ большая часть ихъ относится къ указанному нами разряду — дидактической литературы византійскаго склада, — то намъ достаточно будетъ остановиться на нихъ только вкратцѣ. Эти произведенія, оригинальныя или переводныя, состоятъ изъ житій святыхъ, номокануновъ и церковныхъ уставовъ, лѣтописей. Изъ писателей этого времени могутъ быть названы Стефанъ Первовѣнчанный (†1228), сербскій краль, написавшій біографію или скорѣе «житіе» своего отца Стефана Немани, въ монашествѣ Симеона («Житіе и жизнь светаго и блаженаго и прѣподобнаго отца нашего Симеона, прѣжде бывшаго наставьника и учителя, господина же и самодрьжьца отьчьствія си вьсе срьбьскыие земле поморьскые», рук. 13—14 в., изд. Шафарикомъ), которое повидимому пользовалось извѣстностью, потому что имъ пользовался Дометіанъ, писатель сербскій 13-го вѣка, и безыменный сербскій лѣтописецъ, вставившій изъ него нѣкоторыя извѣстія. Св. Савва, братъ названнаго короля, сербскій архіепископъ (†1237), также написалъ житіе своего отца («О наследовани светаго монастира сего [Студеницкаго] прѣподобнымь отьцемь нашимь и хтиторомь, господиномь Симеономь, и о житіи его, каково бысть прѣдь богомь и чловѣкы», рук. 1619, изд. у Шафарика). Оба житія, особенно послѣднее, представляютъ любопытные памятники сербской культуры. Стефанъ, зять греческаго императора Алексѣя III, имѣлъ значительное по тому времени литературное образованіе, не только старославянское, но и греческое; въ мюнхенской библіотекѣ есть его литургическіе вопросы къ архіепископу болгарскому Димитрію Хоматину (и отвѣты послѣдняго) на греческомъ языкѣ, — естественно, что знакомство съ Греками отразилось на его произведеніи извѣстной византійской манерой.

Біографія, писанная Саввой, быть можетъ, любопытнѣе, —она написана проще и живѣе. Кромѣ того Саввѣ принадлежитъ «Типикъ» (уставъ), данный имъ Студеницкому монастырю, гдѣ онъ былъ игуменомъ, «служба» тому же св. Симеону и другія подобныя произведенія. Дальше: Дометіанъ, монахъ Хиландарскаго монастыря на Аѳонѣ, написалъ около 1263—64 г. еще обширное житіе св. Симеона Немани и св. Саввы (рук. 14-го вѣка); Даніилъ, архіепископъ (1325—1338), написалъ «Родословъ», заключающій въ себѣ исторію сербскихъ королей до Стефана Душана, и исторію современныхъ имъ архіепископовъ, — вмѣстѣ съ дополненіями продолжателей этотъ «Родословъ» идетъ съ 1224 до 1375 (подлинникъ въ Хиландарѣ), а въ новѣйшихъ спискахъ, все еще сохраняющихъ имя Даніила, доводится даже до конца 18-го вѣка [6]). Къ сербскимъ памятникамъ относятъ по содержанію и житіе Стефана Дечанскаго, написанное Григоріемъ Цамблакомъ, извѣстнымъ кіевскимъ митрополитомъ литовскаго княжества, бывшимъ прежде игуменомъ въ Дечанскомъ монастырѣ (+1419), — хотя Цамблакъ былъ родомъ изъ Болгаріи и языкъ житія скорѣе носитъ на себѣ болгарскіе, а не сербскіе признаки [7]). Къ историческимъ памятникамъ принадлежатъ за тѣмъ: *Цароставникъ* или *Троадникъ*, неизвѣстнаго автора и времени, заключающій въ себѣ списокъ сербскимъ, греческимъ, болгарскимъ и русскимъ государямъ и событіямъ ихъ царствованій; *Лѣтовникъ*, собранный изъ разныхъ лѣтописцевъ инокомъ Георгіемъ, при царѣ Лазарѣ; «Житіе» деспота Стефана Лазаревича и т. д., наконецъ цѣлый рядъ сербскихъ *лѣтописей*. Онѣ извѣстны по рукописямъ съ 15-го вѣка, напр. «Житіе и жителство краль и цареи срьбскыихь, кои по комь или колико царствова» (до 1453 г.), «Историа вь кратцѣ о срьбскыихь цареи» (до 1503 г.), «Лѣтописьць господь срьбьскыихъ» (Сеченицкій, до 1501), къ которому прибавлена и хронологія всемірныхъ событій съ сотворенія міра; наконецъ разные другіе лѣтописцы, состоящіе изъ простаго, голаго обозначенія годовъ и происшествій [8]). Эти монастырскія лѣтописи, не лишенныя своего значенія для сербской исторіи, въ литературномъ смыслѣ не представляютъ ничего замѣчательнаго: въ ихъ сухомъ и короткомъ перечетѣ нѣтъ ни живаго разсказа, ни рельефнаго отраженія времени и личностей, что мы находимъ напр. въ русской лѣтописи. Сербскія лѣтописи кончаются большей частью съ 16-мъ вѣкомъ, въ нѣкоторыхъ занесены календарнымъ образомъ и событія 17-го вѣка. Послѣднимъ представителемъ старой эпохи сербскаго лѣтописательства былъ Юрій Бранковичъ (+1715), послѣдній деспотъ, который написалъ «сербскую исторію», доведенную до времени Леопольда I [9]).

[6]) См. въ „Гласникѣ“ вып. 6, 1854, стр. 25—87.

[7]) Издано въ „Arkiv za pov. jugosl.“ Кукулевича, 4, стр. 1—29; см. также „Гласникъ“, кн. 11, 1859, стр. 35—93.

[8]) Изданы у Шафарика въ „Památk. dřevn. písemn. Jihoslov“. и въ разныхъ сербскихъ изданіяхъ, напр. Гласникѣ, 5 кн. стр. 17—112; кн. 11, стр. 144—156,—и др.

[9]) Она до сихъ поръ остается неизданной; ей пользовался Раичъ и другіе серб

Въ концѣ 15-го столѣтія началось и сербское книгопечатаніе, конечно ограничивавшееся первоначально одними церковными книгами. Первыми дѣятелями православнаго книгопечатанія были здѣсь Юрій Черноевичъ (1493) и Божидаръ Вуковичъ. Церковныя книги выходили не только въ Сербіи, въ черногорскомъ Цетинѣ (1494), въ Гораздѣ (1529), въ монастыряхъ Руянскомъ (1537), Милешевскомъ (1544) и Меркшинскомъ (1562), Бѣлградѣ (1552); Скадрѣ (1563), но и въ чужихъ земляхъ, напр. въ Венеціи (1493), въ Терговищѣ (1512) и др.

Изъ памятниковъ иного рода, которые стоятъ внѣ монашескаго авторства и которые можно было бы назвать народными по ихъ происхожденію, замѣчательнѣйшее и единственное явленіе представляетъ *Законникъ* Стефана Душана («Законъ благовѣрнаго царя Стефана» и пр. Ходошская рукопись 1390 г.). Онъ составленъ былъ въ 1349 г. на соборѣ, гдѣ присутствовалъ сербскій патріархъ «со всѣми архіереями и церковниками, малыми и великими» и царь Стефанъ «со всѣми властелями своего царства, малыми и великими». Это произведеніе національнаго собора, какъ множество другихъ памятниковъ средневѣковаго законодательства, не было плодомъ личной мысли одного законодателя; самое присутствіе властелей «малыхъ и великихъ» заставляетъ предполагать, что Законникъ только утвердилъ или слегка усовершенствовалъ то, что было уже готовымъ результатомъ самой жизни. Законникъ освящаетъ народный обычай и даетъ ему юридическую силу. Поэтому онъ чрезвычайно важенъ и любопытенъ для изученія той степени культурнаго развитія, которой достигла Сербія въ самую блестящую эпоху старой исторіи. Самая неполнота его законодательства показываетъ только, что въ народѣ жило еще много общественныхъ обычныхъ положеній, столько всѣмъ извѣстныхъ, что они не нуждались въ письменномъ утвержденіи. Тѣмъ не менѣе изъ него раскрывается ясно характеръ этой общественной жизни — отношенія духовенства, имѣвшаго свои права и служившаго царскому дѣлу; отношенія властелей, «великихъ и малыхъ», которымъ принадлежало управленіе; положеніе низшаго класса, закрѣпленнаго за землями, но имѣвшаго однако свои личныя права; обычаи суда, охраненія общественной безопасности и т. д. Уголовное право еще отличается патріархальной жестокостью, можетъ быть поддержанной византійскими примѣрами; но законодательство уже сдѣлало шагъ впередъ, уничтожая самоуправство и право кровной мести. Съ другой стороны, въ немъ сказываются и гуманныя стремленія: таково, напр., поощреніе гостепріимства относительно торговцевъ и право убѣжища, которое давало прощеніе узникамъ, бѣжавшимъ на дворъ царскій или патріаршій... Во всякомъ случаѣ это законодательство представляло элементы для будущаго развитія [10]).

скіе историки. Одна лѣтопись „Бранковича", служившая ему источникомъ вмѣстѣ съ другими, — въ латинскомъ переводѣ Пеячевича, издана въ „Архивѣ" Кукулевича, 3, стр. 3—30.

[10]) „Законникъ" изданъ былъ нѣсколько разъ: у Ранча, Ист. 4,242; — Магара-

До сихъ поръ, въ этомъ литературномъ содержаніи мы не видѣли еще поэтическихъ элементовъ, и историки сербской литературы до сихъ поръ обращали очень мало вниманія на ихъ отсутствіе, занимаясь исключительно указаннымъ разрядомъ памятниковъ. Между тѣмъ, полное отсутствіе этихъ поэтическихъ элементовъ было-бы странно въ народѣ, который всетаки представлялъ извѣстную историческую энергію, — хотя неудачно направленную и испорченную византійствомъ. Оно особенно странно въ народѣ, который и черезъ нѣсколько сотъ лѣтъ подавляющаго ига сохранилъ блестящія произведенія народнаго эпоса. Литература осталась чужда этой національной поэзіи на томъ же основаніи, на какомъ она не признавала этой поэзіи въ древней Руси: простонародное было слишкомъ низко для литературы, имѣвшей характеръ церковно-поучительный, притомъ въ этомъ простонародномъ скрывалось конечно много языческихъ подробностей, которыя прожили въ сербской пѣснѣ и до нашего времени. Можно предположить, что и въ Сербіи духовенство дѣйствовало также, какъ въ древней Руси и ревностно ратовало противъ бѣсовскихъ, т. е. языческихъ, народныхъ игрищъ и пѣсенъ: это видно уже изъ одного пристрастія къ старославянской литературной формѣ, которая сама по себѣ отрицала настоящую, полноправную народность. Если русская письменность успѣла всетаки дойти по возможности «Слова о Полку Игоревѣ», то у Сербовъ, какъ мы видѣли, не было такого литературнаго развитія, какое представляетъ древняя русская письменность, и древне-сербскій авторъ не дошелъ до народной поэзіи. Впервые народная пѣсня у православныхъ Сербовъ записывается кажется только въ 17-мъ столѣтіи...

Такимъ образомъ тѣ, кому принадлежалъ литературный трудъ, или не интересовались поэтическими созданіями народа, или считали ихъ неудобными для литературнаго памятника, отъ котораго требовалась поучительность. Но народъ конечно не отказался отъ старины и его поэтическая дѣятельность свободно развивалась въ своей особой области, безъ всякаго соприкосновенія съ письмомъ. Мы увидимъ дальше, что даже современная сербская пѣсня сохранила слѣды этой дѣятельности въ воспоминаніи о временахъ стараго сербскаго царства...

Но кромѣ этой устной поэзіи, жившей въ народѣ, были и произведенія книжно-народныя того же разряда, какія мы видѣли въ древне-болгарской письменности, и которыя служили религіозно-поэтическимъ вкусамъ массы. Эти письменные памятники опять были или чисто болгарскаго, или смѣшаннаго сербско-болгарскаго происхожденія. Таковы были, во первыхъ, тѣ переводныя произведенія сказочной византійской литературы, какъ «Александрія», «Троянская исторія», «Девгеніево Дѣяніе», «Сказаніе о Сина-

шевича, „Серб. Лѣтоп.“;—Кухарскаго, Monum. juris slov. 92, и Шафарика, Pam. pisemn. Jihosl. 29 — 50. Разборъ содержанія у Майкова, стр. 244 — 259. См. также упомянутую выше статью объ этомъ Законникѣ, Палацкаго, и „Гласникъ“, кн. 6—7.

грипѣ» и т. д., которыя, существуя иногда только въ русскихъ спискахъ, многими своими признаками указываютъ на южно-славянскій источникъ. Сербскіе списки *Александріи*, представляющіе особый, независимый отъ болгарскаго переводъ, не составляютъ большой рѣдкости; Шафарикъ упоминаетъ и сербскій списокъ *Стефанита и Ихнилата*, 14 — 15-го столѣтія [11]); сербскія сказки до сихъ поръ пересказываютъ разныя миѳическія подробности произведеній этого рода, напр. фантастическое летанье на грифахъ Александра Македонскаго или мудраго Акира, приписывая его Соломону [12]). Эпизоды преданій о *Соломонѣ и Китоврасѣ* также сохранились въ народныхъ сербскихъ пересказахъ, такъ что нужно предположить существованіе и этихъ памятниковъ въ сербскихъ редакціяхъ [13]). Съ другой стороны, обильную поэтическую пищу представляла также упомянутая нами литература апокрифовъ, несомнѣнно древняя и несомнѣнно общая всему православному славянству стараго періода. Мы не будемъ повторять того, что сказано было нами о ея народномъ значеніи, — потому что и здѣсь условія для ея распространенія были тѣ же, какъ въ Болгаріи и на Руси: она имѣла и здѣсь ту же поэтическую завлекательность и тотъ же авторитетъ, противъ котораго напрасно боролась тогдашняя строгая ортодоксія, съ своей стороны также не свободная отъ легковѣрія. Намъ достаточно здѣсь сказать, что апокрифическія книги не рѣдко встрѣчаются въ сербскихъ редакціяхъ (трудно сказать, всегда-ли передѣланныхъ съ болгарскаго), при всей малоизвѣстности древнихъ сербскихъ памятниковъ въ настоящее время. Такимъ образомъ, существуютъ въ сербскихъ редакціяхъ изъ 15-го столѣтія слѣдующія апокрифическія сказанія: *Слово о честномъ крестѣ*, *Хожденіе Богородицы по мукамъ* («Обьхожденіе мукамь прѣчистіе Богородице»), *Ипатіево мученіе*, *Написаніе Іисусово въ іерейство*, о *Двѣнадцати Пятницахъ* («Начело 12 петкомь вѣликымь» и пр.), *Имена ангеловъ* («А се имена ангельска, иже обладають и винограды и градинами»), Лживыя молитвы (въ рукописяхъ 15-го в.), *Громникъ*, *Колядникъ* («Колѣдарникь, твореніе Озреде пророка», т. е. Ездры) и проч. [14]). Въ сербскихъ рукописяхъ, до сихъ поръ мало собранныхъ и описанныхъ, должно заключаться много подобнаго матеріала, въ которомъ кромѣ чужаго были, безъ сомнѣнія, и собственно сербскія произведенія того же направленія. До сихъ поръ извѣстно уже значительное количество сербскихъ памятниковъ, которые указываютъ, что эта особая поэзія была весьма распространена въ грамотной народной массѣ. Заговоръ, таинственный символизмъ и фантастическія предвѣщанія были популярны и связывались наконецъ съ извѣстными сербскими личностями. Такова напр. «Муд-

[11]) Wiener Jahrb. Bd. 53. Anz.-Bl. 29, № 79.

[12]) См. Вука, Срп. Нар. Приповјетке 1853, стр. 200 и „Очеркъ лит. исторіи ст. повѣстей и сказ. русскихъ", стр. 73.

[13]) „Очеркъ", стр. 121—123. Вукъ, № 41—43, гдѣ Соломонъ смѣшанъ отчасти съ Александромъ Македонскимъ.

[14]) См. Тихонравова, Памятники отреч. литературы, т. 1—2.

рость и пророчаствіе св. Стефана Лазоревича» въ рукописи 17-го вѣка... [15]). Въ Сербіи былъ безъ сомнѣнія распространенъ и другой разрядъ ложныхъ книгъ, именно ложныя книги богомиловъ. Говоря о болгарскихъ произведеніяхъ попа Іереміи, мы упоминали древнія сербскія редакціи лживыхъ молитвъ о нежитѣ,—это были именно тѣ произведенія, о которыхъ говорилъ старинный индексъ. Существованіе богомильскихъ ложныхъ книгъ естественно предположить и потому, что эта ересь изъ Македоніи и Болгаріи перешла и въ области сербскаго народа, въ Сербію, Босну, Герцеговину и Далмацію. Біографы Стефана Немани уже называютъ его потребителемъ ересей, т. е. богомиловъ, которые носили въ Сербіи названіе патареновъ,—слѣдовательно, число ихъ было уже значительно, если преслѣдованіе ихъ могло считаться достопримѣчательнымъ подвигомъ правителя. Но въ особенности патаренская ересь распространилась въ Босніи: босанскій банъ Кулинъ (въ концѣ 12-го и началѣ 13-го вѣка), женатый, по нѣкоторымъ извѣстіямъ, на сестрѣ Стефана Немани, извѣстной патаренкѣ, открыто покровительствовалъ патаренамъ;—послѣдователемъ ереси былъ даже епископъ Даніилъ. Вмѣшательство и угрозы папы и короля венгерскаго заставили Кулина отречься отъ ереси, его отреченію послѣдовали и многіе изъ народа; но ересь не исчезла, и впослѣдствіи она снова является сильнымъ общественнымъ началомъ и показываетъ свое политическое вліяніе: при Нинославѣ, преемникѣ Кулина, она господствовала по прежнему и навлекла войну со стороны венгерскаго короля Белы IV. Она сохранялась во всей силѣ и въ 14-мъ столѣтіи: баны Стефанъ Котромановичъ и Твертко (впослѣдствіи король босанскій) покровительствовали ей болѣе или менѣе открыто,—папы не упускали ея изъ виду и всегда ревностно старались о ея истребленіи, устроивали крестовые походы, посылали своихъ миссіонеровъ. Но всѣ эти мѣры были напрасны: въ 15-мъ столѣтіи мы видимъ патареновъ въ тѣхъ же условіяхъ; король Твертко III по прежнему поддерживалъ ихъ и секта имѣла своихъ послѣдователей не только въ народѣ, но и въ высшихъ правителяхъ земель, деспотахъ и воеводахъ. По смерти этого короля, сочувствіе патареновъ доставило престолъ его преемнику Стефану Томашу, который былъ также патареномъ: эта партія очевидно была очень сильна, если могла стать во главѣ государства. Но въ слѣдующее царствованіе, при Стефанѣ Томашевичѣ (убитъ 1463), взяла верхъ католическая партія, издавна интриговавшая въ Боснѣ въ пользу папскаго престола; патарены подверглись жестокому преслѣдованію, такъ что больше сорока тысячъ ихъ бѣжало въ Герцеговину, герцогъ которой отпалъ теперь отъ католицизма. Преслѣдованіе патареновъ отразилось на паденіи Босны: когда Турки явились въ Боснѣ, съ цѣлью окончательнаго ея завоеванія, города добровольно отдавались имъ, надѣясь боль-

[15]) См. „Извѣстія" т. 8, стр. 400 и ср. Шафарика, Slov. Narodopis, Прага. 1849, стр. 160.

шей терпимости отъ Турокъ, чѣмъ отъ римскихъ католиковъ. Къ сожалѣнію, Босняки ошиблись въ разсчетахъ: покореніе Турками стоило народу страшнаго истребленія, съ нимъ кончилось и историческое существованіе патаренской ереси (1463).

Мы остановились на историческихъ судьбахъ этой ереси потому, что и здѣсь, въ Боснѣ она имѣла тоже самое культурное значеніе, какое имѣла она въ Болгаріи. Патарены и здѣсь были представителями народныхъ началъ и народной оппозиціи противъ церковной іерархіи, особенно католической, и противъ церковнаго ученія. Къ сожалѣнію, исторія сербскихъ патареновъ до сихъ поръ чрезвычайно мало разработана, и трудно сказать, какими подробностями отличалась ихъ общественная дѣятельность. Всего ярче выступаетъ однако главная черта—вражда къ римскому католицизму, который съ своей стороны употреблялъ всѣ мѣры къ истребленію ереси, находя въ ней главную помѣху для своего полнаго господства. Также мало мы знаемъ и литературные памятники патаренскаго происхожденія, которые безъ сомнѣнія существовали.

Съ паденіемъ государства, Босну постигла таже участь, какъ и Сербію. Сдѣлавшись рабами Турокъ, которые распоряжались райями какъ полные хозяева и считали похвальнымъ всякое насиліе противъ невѣрныхъ, Сербы лишились всякой возможности развитія. Литература прерывается.... Появилось даже полное отреченіе отъ старыхъ преданій народности, отуреченіе. Живучая народная поэзія останавливается по преимуществу на эпохѣ борьбы съ Турками, которая была послѣднимъ подвигомъ свободнаго народа.

Грамотность ограничивается однимъ духовенствомъ, которое сберегаетъ и списываетъ то, что уцѣлѣло отъ древности; оно продолжаетъ списывать, хотя уже давно существуютъ типографіи, и грамотность скрывается въ уединенныхъ монастыряхъ, большей частью защищенныхъ природой отъ нашествій и грабительствъ, и перестаетъ быть просвѣтительнымъ средствомъ для массы. Вмѣстѣ съ тѣмъ литературный интересъ опять ограничивается чисто церковнымъ кругомъ и языкъ старо-славянскій, до самаго Досиѳея Обрадовича, дѣлается господствующимъ способомъ выраженія, державшимся долго даже и послѣ возрожденія сербской народности въ наше время. Свободныя отъ Турокъ сербскія земли не могли помочь этому упадку; они или сами находились въ трудномъ положеніи, какъ Сербы австрійскіе, или прекращаютъ сношенія съ Сербіей и Босной, потерявшими политическую самостоятельность.

2. Дубровникъ и Далмація.

Прежде чѣмъ мы будемъ говорить о сербскомъ возрожденіи, начавшемся съ послѣднихъ годовъ прошлаго столѣтія, мы должны остановиться еще на другомъ сербскомъ краѣ — иллирскомъ или хорватскомъ (см. выше),

имѣвшемъ свою особенную и замѣчательную судьбу [1]. Этотъ край—Дубровникъ (Рагуза) и Приморье, занятые Хорватами и Сербами въ ихъ приходъ на Ѳракійскій полуостровъ въ 7-мъ столѣтіи. Это—край съ тѣмъ же сербскимъ населеніемъ, но сильно измѣненнымъ итальянскими вліяніями, край католическій, съ иными историческими судьбами и блестящимъ литературнымъ развитіемъ.

Далмація дѣлилась въ славянскія времена на двѣ части: южную, представителемъ которой былъ Дубровникъ, и сѣверную, хорватскую, которая принадлежала Хорватамъ и носила ихъ имя со временъ прихода ихъ на иллирійскій полуостровъ. Вслѣдствіе этого, языкъ Далматинцевъ иногда просто назывался хорватскимъ, хотя собственно языкъ сѣверной Далмаціи былъ тотъ же общій сербскій языкъ, не отличавшійся отъ языка восточныхъ Сербовъ и Дубровника. Собственно хорватское нарѣчіе, какъ мы видѣли, составляетъ особую отрасль сербскаго.

Дубровникъ возникъ изъ древняго Эпидавра, на другой сторонѣ залива, и нѣкогда наравнѣ со всей Далмаціей признавалъ власть Византіи, но въ

[1]) О „Хорватахъ", въ обширномъ смыслѣ, см. по исторіи и этнографіи:—Шафарика, Jihoslované (у Ригера), Раича (см. выше); —Lucii, De regno Dalmatiae et Croatiae, Amst. 1666;—Engel: Gesch. von Dalmatien und Kroatien, Halle 1798; Gesch. von Ragusa, Wien 1807; —Micocsi, Otior. Croatiae liber unus, Budae 1806;—Catancsich, In veterem Croatarum Patriam indagatio philol. Zagrab. 1790; —Catalinich, Storia della Dalmazia, 4 v., Zara 1834—35;—Jv. Kukuljević-Sakcinski, Arkiv za povjestnicu jugoslavenskų, 5 книгъ, Zagreb 1851—59;—Joh. v. Csaplovics, Slawonien und zum Theil Croatien, 2 ч., Pesth 1819;—Abate Fortis, Viaggio in Dalmazia, 2 ч., Venezia 1774;—Giovanni Lourich, Osservazioni sopra div. pezzi del viaggio... del signor Fortis, Venezia 1776;—Kohl, Reise nach Istrien, Dalmazien und Montenegro, 2 Bde. Dresd. 1851: —Wilkinsoņ, Dalmatia and Montenegro, Lond. 1848;—Švear, Ogledalo Iliriuma, Zagreb, 1839—40, 3 ч.; —Seljan, Zemljopis pokrajinach iliskich, Zagr. 1843;—Luka Jlić', Narodni Slavonski običaji, Zagreb 1846;—Gius. Valentinelli, Bibliografia della Dalmazia e del Montenegro, Zagabria 1855;—J. Kukuljević': Monumenta historica, Zagr. 1863. I; Jura regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, 6 v. Zagr. 1862—63 (я знаю только извѣстія объ этихъ двухъ книгахъ).

По языку:—Appendini, Gram. della lingua illirica, Ragusa 1808;—Kristianovich, Gram. der Kroatischen Mundart, Agram 1837;—A. T. Berlić, Gram. der Illyrischen Sprache, wie solche im Munde und Schrift der Serben und Kroaten gebräuchlich ist, Wien 1854;—Babukić, Ilirska slovnica, Zagr. 1854;—Микали, Thesaurus linguae illiricae in quo verba illirica italice et latine redduntur. Laureti 1649; Anconae 1651;—J. Belloszteneсz, Gazophylacium s. Latino-illyricor. onomatum aerarium, Zagrab. 1740;—A. Jambressich, Lex. Lat. interpretatione illyr., germ. et hung. locuples, Zagrab. 1742;—P. A. Della Bella, Dizionario Italiano, Latino, Illirico, Ven. 1728;—J. Voltiggi, Ricsoslovnik illyricskoga, italianskoga i nimacskoga jezika, u Becsu 1803;—J. Stulli, Lexicon Latino-Italico-Illyricum, 3 ч. въ 6 томахъ, Офенъ и Рагуза 1801—1810.

По литературѣ: Vaclav Křížek (см. выше);—Appendini, Notizie storico-critiche sulle antichità, storia e letteratura dei Ragusei, 2 тома, Ragusa 1802;—Galleria di Ragusei illustri, Ragusa 1841;—A. Mažuranić, Ilirska Citanka, Вѣна 1856;—J. Kukuljević, Stari pjesnici hrvatski XV—XVI vieka, 2 вып. Zagreb 1856—1858; Bibliografia Jugoslavenska. I. Bibliografia Hrvatska (печатн. книги), Загребъ 1860;—II. Шафарикъ, Geschiche der Südslawischen Literatur, herausg. von J. Jireček. II. Illyrisches und Kroatisches Schriftthum. Prag, 1865; — Geschichte des Illyrismus oder des Süd-Slawischen Antagonismus gegen die Magyaren, Leipz. 1849;—Л—скій, Путешествіе по южнымъ краямъ Австріи (Русск. Слово, 1860 кн. 5—6, 1861 кн. 1);—А. Троянскій, Замѣтки изъ путешествія по Далмаціи и Черногоріи (Р. Вѣст. 1863, № 11—12).

9-мъ вѣкѣ вся Далмація освободилась отъ этого господства и вошла въ новыя отношенія. Въ концѣ 10-го вѣка Далмація была покорена Венеціанцами и испытывала вліяніе Венеціи, Хорватіи и Византіи; но Дубровникъ сохранилъ свою независимость и образовалъ богатую торговую общину, больше и больше развивавшую свои силы. Какъ городъ торговый, Дубровникъ рѣдко брался за оружіе, но обстоятельства впутывали его въ войны съ разными сосѣдями и претендентами: въ 9-мъ вѣкѣ онъ нѣсколько разъ отбивался отъ Сарацинъ; въ 10-мъ защищался отъ Венеціанцевъ, наречанскихъ разбойниковъ, болгарскаго царя Самуила, императора Оттона; въ 11-мъ союзъ съ Робертомъ Гвискаромъ вовлекъ его въ войну съ Византіей и Венеціанцами; въ 12-мъ онъ воевалъ съ баномъ Босніи и Стефаномъ Неманею. Дубровникъ умѣлъ выгодно выходить изъ этихъ войнъ и обезпечивать свою независимость и торговлю мирными договорами.

Такихъ договоровъ онъ много заключалъ съ сосѣдними сербскими и боснскими владѣльцами, съ которыми былъ въ постоянныхъ связяхъ по дѣламъ торговымъ, а иногда и военнымъ, и съ которыми держалъ себя самостоятельно и на ровной ногѣ. Дубровницкіе купцы пользовались въ сербскихъ земляхъ почетомъ. Для сербскихъ владѣльцевъ и бояръ Дубровникъ служилъ и мѣстомъ убѣжища, въ случаѣ политическихъ невзгодъ; здѣсь они отдавали на сохраненіе свои сокровища на черный день. Городъ богатый и сильный, Дубровникъ умѣлъ внушить къ себѣ уваженіе: въ сербскихъ грамотахъ граждане его называются «пріятелями, сродниками, и братьями, вѣрными, любимыми» и т. д., Дубровникъ съ своей стороны оказывалъ князьямъ «господскую почесть».

Его торговыя сношенія были чрезвычайно обширны: они шли не только съ внутренними землями Ѳракійскаго полуострова, но также съ Италіей, Сициліей, Испаніей, Греціей, Александріей, Левантомъ и т. д. Особенно дѣятельныя связи онъ поддерживалъ съ Венеціей.

При славянскомъ нашествіи римское населеніе Далмаціи спаслось въ Дубровникъ, Трогиръ, Сплитъ, и другіе города,—остальные запустѣли и были заняты Славянами. Эти римскіе города, составлявшіе ключь къ Далмаціи и особенно привлекавшіе сначала Византію, потомъ Венецію, съ 12-го вѣка теряютъ свою независимость, теряютъ также свой римскій характеръ. Наплывъ славянскаго элемента и соединеніе его съ римскимъ уравниваютъ эти города съ другими пунктами Далмаціи. Дубровникъ и острова, какъ полагаютъ, ославянились уже въ 10-мъ вѣкѣ; Сплитъ, Трогиръ и др. позднѣе: статуты Керка, города римскаго, писаны въ 14-мъ вѣкѣ уже на славянскомъ языкѣ. При всемъ томъ римское происхожденіе не забывалось, и впослѣдствіи итальянскіе элементы Далмаціи начинаютъ тѣснить славянскій языкъ: въ Трогирѣ, уже славянскомъ, съ 15-го столѣтія оффиціальнымъ языкомъ дѣлается латинскій или итальянскій; въ Дубровникѣ въ 1472 г. въ совѣщаніяхъ сената также былъ запрещенъ славянскій языкъ и вмѣсто него принятъ латино-рагузанскій, т. е. особенное нарѣчіе итальянскаго языка. Это легко

объясняется тѣми вліяніями, подъ которыя поставлено было здѣсь славянское населеніе. Весь характеръ дѣятельной жизни Далмаціи и Дубровника, ихъ внутреннее устройство и обычаи, предпріимчивость и образованность, показываютъ, что славянскіе элементы не были здѣсь единственно-господствующими: славянская масса, подавившая сначала туземное населеніе, впослѣдствіи сама подчинилась дѣйствію итальянскихъ элементовъ, уцѣлѣвшихъ отъ старины, и новыхъ условій. Римскія или итальянскія воспоминанія, торговыя связи, новый притокъ итальянскихъ жителей, политическое вліяніе Византіи, Венгріи, и особенно Венеціи привели къ этому оффиціальному преобладанію далматинско-итальянскаго языка. Далмація и особенно Дубровникъ, представлявшій собою высшую ступень далматинской культуры, уже тогда, въ концѣ среднихъ вѣковъ, обнаруживали ту чрезвычайно характерную смѣсь элементовъ итальянскаго и славянскаго, которая и теперь остается поразительной чертой населенія Далмаціи.

Римскій элементъ тѣмъ легче могъ подновиться новымъ итальянскимъ, что Венеція уже въ 10-мъ вѣкѣ дѣлала завоеванія въ Далмаціи и постоянно была съ ней въ торговыхъ и политическихъ связяхъ; съ 13-го вѣка и самый Дубровникъ въ извѣстной степени подчиняется венеціанскому господству. Дѣло въ томъ, что съ 13-го вѣка князья, стоявшіе во главѣ дубровницкой республики, выбираются уже изъ венеціанскихъ графовъ, которые хотя и присягали въ сохраненіи дубровницкихъ правъ и обычаевъ, но были поставляемы Венеціей и съ своей стороны требовали отъ Дубровника вѣрности Венеціи. Имена князей этого времени, извѣстныя по актамъ, дѣйствительно показываютъ итальянское происхожденіе. Да и кромѣ того итальянскій элементъ въ населеніи Дубровника былъ весьма силенъ: большая часть именъ аристократіи Дубровника, его «властелей», носятъ или чисто итальянскую форму или обнаруживаютъ итальянское происхожденіе (Ломьпридичь, Маринь, Паскали, Донатевичь и т. п.): такимъ образомъ въ высшихъ слояхъ господствовало сильное смѣшеніе славянскаго съ итальянскимъ, отразившееся и на языкѣ. Если одно время могъ преобладать славянскій языкъ, то въ другое могъ стать выше латинскій или итальянскій. Итальянская литература имѣла ревностныхъ любителей въ Дубровникѣ. Наибольшей силы достигло итальянское преобладаніе въ 15-мъ или до половины 16-го вѣка; славянскія имена замѣнялись итальянскими или передѣлывались на итальянскій ладъ. Но съ половины 16-го вѣка снова беретъ верхъ славянскій элементъ, и теперь итальянскія фамиліи стали измѣняться въ славянскомъ духѣ: Гондола, Пальма стали Гундуличами, Пальмотичами и т. д. Развилась блестящая сербская поэзія Дубровника и аристократическіе роды дубровницкихъ «властелиновъ» стали ея поборниками... Господство Венеціанцевъ смѣнилось во второй половинѣ 14-го вѣка венгерскимъ, но когда Венгріи стала угрожать крѣпко ставшая на Балканскомъ полуостровѣ Турція, то Венеціанцы снова стали пріобрѣтать больше и больше вліянія въ Далмаціи, особенно въ 16-мъ столѣтіи. И это было для нихъ тѣмъ необходимѣе, что въ разныхъ

мѣстахъ Далмаціи образовались съ 15-го столѣтія небольшія разбойничьи государства, крайне безпокоившія Венецію. Съ покореніемъ сербскихъ земель Турками, сюда явились «Ускоки» (бѣглецы), центромъ которыхъ стала Сенья или Ценгъ (Segna, Zengh), откуда они нападали и на Турокъ и на Венеціанцевъ. Ускоки отличались необыкновеннымъ удальствомъ и были отличными морскими разбойниками; подвиги ихъ дали богатый матеріалъ для сербскаго эпоса. Сила ихъ продолжалась и до второй половины 18-го вѣка... Обезпечивая отъ нихъ свою торговлю, Венеціанцы мало по малу овладѣли къ началу 18-го вѣка почти всѣмъ далматинскимъ приморьемъ. Одинъ Дубровникъ съ своимъ округомъ сохранилъ независимое положеніе.

Дальнѣйшая судьба Далмаціи извѣстна: кампоформійскій трактатъ отдалъ ее въ руки Австріи; потомъ она не надолго освободилась, но затѣмъ вѣнскій конгрессъ снова приписалъ ее къ Австрійской имперіи, на этотъ разъ уже вмѣстѣ съ Дубровникомъ. Старинная республика по распоряженію Европы поступила подъ начальство австрійскихъ чиновниковъ.

Переходя къ литературной исторіи сербскихъ Славянъ Далмаціи и Дубровника, замѣтимъ прежде всего, что здѣсь мы встрѣчаемъ уже католическое славянство и что преданья православной письменности здѣсь прекращаются. Далмація уже издавна стояла въ зависимости отъ римскаго престола, и съ раздѣленіемъ церквей осталась католическою. Какъ извѣстно, католическіе Славяне пользуются латинской азбукой, но Далмація и здѣсь представляетъ оригинальное явленіе: въ ней были извѣстны и употреблялись всѣ четыре славянскія азбуки,—кирилловская, глаголическая, босанско-хорватская буквица и латинская азбука. Каждая принадлежала особому разряду письменности.

Кирилловское письмо Дубровничане употребляли въ своихъ сношеніяхъ съ другими Сербами: памятники этихъ сношеній писаны общимъ сербскимъ народнымъ языкомъ, и тянутся, отъ древнѣйшихъ временъ, черезъ весь періодъ самостоятельнаго существованія Сербіи и Босны до самаго ихъ паденія (извѣстны грамоты, обозначенныя годами, съ начала 13-го вѣка до 1465). Эти кирилловскія грамоты Дубровника представляютъ любопытный матеріалъ для старой исторіи этого города и отражаютъ въ себѣ ту нравственную связь, которая соединяла племена, уже раздѣленныя политическимъ различіемъ, нравами и религіей. Дубровникъ, какъ и другіе города и острова Далмаціи, былъ свободной общиной, съ преобладаньемъ властельскаго сословія, съ бо̀льшимъ развитіемъ личности, чѣмъ у соплеменныхъ сосѣдей; при сношеніяхъ съ Сербами, дубровницкое право, представлявшее много римскихъ элементовъ, имѣло вліяніе на право сербское, и въ свою очередь приняло нѣкоторое дѣйствіе и съ его стороны.

Область кирилловскаго письма повидимому ограничивалась одними этими сношеніями. Съ другой стороны, Далмація была главнѣйшею областью глаголицы: здѣсь эта азбука держалась всего дольше и сохранилась въ употребленіи даже и до настоящаго времени. Мы не будемъ возвращаться

къ крайне темному вопросу о томъ, когда и кѣмъ она была изобрѣтена, и почему здѣсь распространилась: достаточно сказать, что нѣкоторые ученые считаютъ именно Далмацію родиной глаголицы, откуда она распространилась въ другія славянскія земли, и что эта далматская или хорватская (такъ какъ она захватываетъ и хорватскія земли) глаголица,—которую впрочемъ нѣкоторые ученые отличаютъ отъ болгарской,—повидимому представляла первоначально тѣ же древніе церковные, кирилловскіе памятники и литургію по греческому обряду, что̀ безъ сомнѣнія и было поводомъ къ ея преслѣдованію со стороны римскаго духовенства. Далматинское христіанство было издавна подъ властью римской іерархіи, но впослѣдствіи (трудно впрочемъ сказать, когда именно) въ Далмаціи появляется славянское богослуженіе; въ началѣ 10-го вѣка оно было уже въ полномъ цвѣтѣ, потому что латинскіе епископы спорили съ славянскими изъ-за богослуженія и папа Іоаннъ X убѣждалъ хорватскаго князя Томислава склониться къ богослуженію латинскому [2]). Католическіе соборы въ Далмаціи (925 и 1059) запрещали славянскую литургію, но все это было напрасно, потому что славянское богослуженіе удержалось. Изъ свидѣтельства одной глаголической рукописи, начала 13-го вѣка, видно, что въ то время глаголица считалась уже чрезвычайно древней. Но впослѣдствіи это славянское богослуженіе съ глагольскимъ письмомъ стало совершаться по римскому обряду, и было наконецъ подтверждено оффиціально буллой папы Иннокентія IV (1248). Изъ этой буллы видно между прочимъ, что туземцы относили древность своего письма ко св. Іерониму (quod in Slavonia est *litera specialis*, quam illius terrae clerici se habere a b. Hieronymo asserentes, eam observant in divinis officiis celebrandis). Въ этомъ новомъ періодѣ своего существованія глаголица распространилась чрезвычайно широко: почти вся Истрія, хорватское Приморье, часть провинціальной Хорватіи и Далмаціи до самаго Цетина и даже до Неретвы, со всѣми прилежащими островами Адріатическаго моря, были наполнены глаголическими церковными приходами. По извѣстіямъ изъ 17-вѣка и половины 18-го [3]) видно, что въ то время число этихъ приходовъ было весьма значительно: славянское богослуженіе существовало конечно рядомъ съ латинскимъ и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ имѣло даже надъ нимъ перевѣсъ. Въ настоящее время церковная глаголица болѣе и болѣе падаетъ....

Но въ старину, какъ мы видѣли, употребленіе ея было очень широко, и она стала даже оффиціальнымъ письмомъ: глаголицей писались грамоты и уставы. Въ 14-мъ столѣтіи она вышла даже за границы хорватскихъ земель: въ славянскомъ монастырѣ, основанномъ Карломъ IV въ Прагѣ для хорватскихъ бенедиктиновъ, глаголица существовала около ста лѣтъ, до 1436, когда была замѣнена богослуженіемъ утраквистовъ. Въ 1483

[2]) Онъ писалъ къ нему около 920: Quis etenim specialis filius sanctae Romanae ecclesiae, sicut vos estis, Slavonica lingua deo sacrificium offerre delectatur?

[3]) Assemani, Calendaria eccles. univ. 4, 410—411.

изданъ, вѣроятно въ Венеціи, глаголическій служебникъ; въ половинѣ 16-го вѣка, когда баронъ Унгнадъ дѣйствовалъ въ Тюбингенѣ для распространенія реформаціи между южными Славянами, Антонъ Далматинъ и Степанъ Истріянинъ издали съ этой цѣлью и нѣсколько глаголическихъ книгъ (1561 — 1564). Не смотря на то, что латинское духовенство не любило глаголицы, она продолжала держаться, потому что находила покровителей не только въ высшихъ духовныхъ властяхъ, но даже въ папахъ. Въ 17-мъ столѣтіи изданы были особые уставы для глаголическаго духовенства, нѣкоторые архіепископы заботились о его образованіи, — которое повидимому находилось тогда въ жалкомъ положеніи. Въ 17-мъ столѣтіи, по повелѣнію папы, начато было и исправленіе глаголическихъ книгъ: глаголическія книги, взятыя первоначально изъ кирилловскихъ, т. е. старо-славянскихъ переводовъ церковныхъ книгъ, со временемъ приняли въ себя многое изъ народнаго языка, и тексты нуждались въ исправленіи. Такой трудъ сдѣлалъ надъ миссаломъ и бревіаріемъ Рафаэль Леваковичъ (1631 — 48), потомъ, съ такой же осторожностью, Янъ Пастричъ (1688—1706); въ третій разъ взялся за то же дѣло Матвѣй Караманъ (1741—45), но очень неудачно. Въ половинѣ 18-го вѣка глаголица нашла ревностныхъ покровителей въ далматинскихъ прелатахъ Винцентіи Змаевичѣ и Антонѣ Кадчичѣ: они основали семинаріи для глаголическаго духовенства, но впослѣдствіи эти заведенія упали, да и преподаваніе при недостаткѣ учебныхъ книгъ не могло имѣть большаго успѣха. Знаніе глаголицы больше и больше упадало, такъ что въ нынѣшнемъ столѣтіи одинъ епископъ далматинскій вынужденъ былъ напечатать славянскій миссалъ, вмѣсто глаголицы, латинскими буквами (Epistolarum et evangeliorum... volumen illyricum, *Schiavet* nuncupatum, въ Рѣкѣ, 1819; Schiavet — обыкновенное названіе для славянской книги).

Глаголическія типографіи дѣйствовали въ Венеціи (1483—1812), Сеньѣ (1507—1508), Рѣкѣ (Фіуме, 1531), Тюбингенѣ (1561—1564) и въ Римѣ (1621 — 1791). Рукописи и печатныя книги заключаютъ въ себѣ почти исключительно букварии богослужебныя книги: псалтырь (рукопись 1222 г.), евангелистарій, Новый Завѣтъ, миссалъ (рукопись 1368), объясненія св. писанія, молитвы; затѣмъ протестантскій катихизисъ, изложеніе аугсбургскаго исповѣданія, наконецъ духовныя пѣсни и т. п.

Мы сказали выше, что глаголица была и оффиціальнымъ письмомъ: глаголическія грамоты и оффиціальныя письма извѣстны съ 14-го и до 18-го столѣтія. Но замѣчательнѣйшимъ памятникомъ этого разряда былъ *Законъ Винодольскій*, 1280 г. (рукопись 16-го вѣка), весьма любопытный для изученія устройства старыхъ далматинскихъ общинъ [4]), далѣе такой же *Статутъ* острова *Керка*, 1388 г. [5]), и наконецъ нѣсколько

[4]) Изданъ въ „Kolo“ 1843, и во „Временникѣ“ Моск. Общ.
[5]) Изд. въ „Архивѣ“ Кукулевича, кн. 2.

другихъ памятниковъ общественной жизни Далмаціи. Глаголицей писались наконецъ и лѣтописи, какъ напр. древнѣйшее историческое произведеніе далматинско-хорватской литературы, извѣстная *Лѣтопись* попа Дуклянскаго, написанная во второй половинѣ 12-го столѣтія: эта лѣтопись не сохранилась въ своемъ глаголическомъ подлинникѣ, и извѣстна была по латинскому переводу Марка Марулича (Regum Dalmatiae et Croatiae gesta), и затѣмъ отыскана въ другой редакціи, написанной латинскими буквами въ половинѣ 16-го вѣка [6]). Лѣтопись эта не отличается исторической истиной, наполнена анахронизмами, перепутываетъ мѣста и лица, но «въ это время», — замѣчаетъ К. Сакцинскій, — «все писалось такъ, какъ разсказывали или пѣли старики, въ это время люди такъ творили исторію, какъ народъ сербскій творитъ свои героическія юнацкія пѣсни»: однимъ словомъ, историкъ долженъ пользоваться ей съ большой осторожностью. Извѣстно также изъ 16-го вѣка нѣсколько другихъ глаголическихъ хроникъ, похожихъ своей отрывочностью на сербскія лѣтописи, — они изданы въ «Архивѣ» Кукулевича (4, стр. 30 и слѣд.).

Каково бы ни было происхожденіе глаголицы, содержаніе литературы ея было, какъ мы видимъ, очень не богато, но тѣмъ не менѣе глаголица имѣла въ Далмаціи свое историческое значеніе: получивши готовые переводы священныхъ книгъ изъ кирилловскихъ рукописей, она сохранила богослуженіе на славянскомъ языкѣ. Въ то время, когда латинская церковь, поддерживаемая неславянскимъ элементомъ населенія, должна была настаивать на латинскомъ католичествѣ, глаголица представляла собой элементъ народно-церковный и сберегала для народа религіозный обрядъ на его собственномъ или родственномъ языкѣ. Но этимъ и ограничивается ея значеніе: глаголическая церковная литература почти не развивалась, реформатскія стремленія Антона Далматина не имѣли большаго успѣха, глаголическое духовенство — предоставленное своимъ бѣднымъ средствамъ — впало наконецъ въ невѣжество, съ которымъ конечно не могло просвѣтить своего народа. Въ нынѣшнемъ столѣтіи глаголица больше и больше падаетъ; отъ глаголическихъ семинарій осталось только каѳедра глаголицы въ Зарѣ, которую (съ 1855 года) занимаетъ Янъ Берчичъ, составившій глаголическую хрестоматію по 55 рукописямъ съ 10-го вѣка и до нынѣшняго столѣтія (Chrestomathia linguae vetero-Slovenicae charactere glagolitico, Прага, 1859).

Кромѣ глаголицы въ Далмаціи употреблялась еще особенная славянская азбука, «буквица», извѣстная только въ Босніи и далматско-хорватскихъ земляхъ. Это была кириллица, измѣненная по требованіямъ скорописи, и вмѣстѣ съ тѣмъ принявшая нѣкоторыя новыя формы правописанія. Употребленіе буквицы (примѣшивавшей иногда и глаголическія буквы) ип-

[6]) Латин. переводъ у Луція, De regno Dalmatiae et Croatiae, и Швандтнера, Scriptores rerum Hung., t. 3. Латинскій списокъ оригинала въ „Архивѣ" Кукулевича, 1, 1—37.

сколько не удивительно въ Далмаціи, гдѣ уже употреблялось письмо кирилловское и глаголическое. Вмѣстѣ съ кирилловскимъ письмомъ это была еще одна связь Далматинцевъ съ сербскими единоплеменниками. Сколько можно судить по извѣстнымъ до сихъ поръ памятникамъ, идущимъ до самаго 19-го вѣка, буквица имѣла болѣе разнообразное употребленіе, чѣмъ глагольское письмо: эти памятники представляютъ разныя грамоты и списки оффиціальныхъ установленій, статьи нравоучительнаго и легендарнаго содержанія, наконецъ пѣсни и т. п. [7]). Буквицей писаны, между прочимъ, *Полицкій статутъ* (рук. 16-го вѣка), важный для исторіи далматинскихъ общинъ [8]); очень старый (13—14-го вѣка?) списокъ *Александріи* [9]); и въ одной рукописи 1520 года помѣщенъ писанный буквицей «Наукъ примудрога Акира,» зашедшій по всей вѣроятности отъ сербскихъ сосѣдей. Буквицей печатались и нѣкоторыя стихотворныя произведенія, напр. легенда о св. Катеринѣ въ стихахъ и др., босанскаго францисканца Матвѣя Дивковича (†1631), котораго историки ставятъ въ число далматинскихъ поэтовъ,—и много другихъ произведеній босанскихъ францисканцевъ (употреблявшихъ впрочемъ и латинскую азбуку), произведеній почти исключительно богословскаго и поучительнаго содержанія [10]).

Глаголица, какъ мы видѣли, исполнила свою историческую роль на церковномъ поприщѣ, сохранивши славянскую литургію, —но чѣмъ дальше, тѣмъ меньше она отвѣчала тому новому народному развитію, которое блестящимъ образомъ проявляется въ Далмаціи и особенно Дубровникѣ уже въ 15-мъ столѣтіи. Элементы стараго славянства, хранившіеся въ глаголицѣ, не выросли вровень съ этимъ новымъ развитіемъ, которое шло инымъ путемъ и выбрало своимъ органомъ—народный языкъ. Результатомъ этой новой жизни, порожденной историческими условіями и судьбами сербскаго Приморья, явилась замѣчательная поэтическая литература, главнымъ центромъ которой былъ Дубровникъ. Блестящій періодъ этой литературы представляютъ конецъ 15-го, 16-е и 17-е столѣтія, въ теченіи которыхъ сербское Приморье обнаружило чрезвычайно живую литературную дѣятельность, до тѣхъ поръ еще невиданную въ южно-славянскомъ мірѣ. Эта литературная дѣятельность вѣрно отразила въ себѣ культурныя условія, въ которыхъ стала совершаться жизнь далматинскихъ общинъ и Дубровника.

Мы уже говорили о томъ, въ какой тѣсной связи стоялъ здѣсь элементъ славянскій съ итальянскимъ: постоянное передвиженіе Итальянцевъ въ Рагузу и Далмацію, Сербовъ въ Венецію, торговыя и политическія отно-

7) См. „Архивъ“ 5, стр. 168—170.

8) Изд. въ „Архивѣ“ 5, стр. 241—318; статья о немъ Шафарика въ Časop. Česk. Mus. 1854.

9) Отрывокъ у Мажуранича, Ilirska Čitanka, Вѣна 1856, стр. 5—11.

10) Имена и сочиненія этихъ босанско-францисканскихъ писателей въ значительномъ количествѣ приводятся у Шафарика, Gesch. der slaw. Spr. und Liter., и Кржижека, Časop. 1859, 4, 520—524.

шенія, наконецъ религіозныя сношенія съ Римомъ, усиливали эту связь больше и больше, и открыли путь вліянію итальянскаго образованія, которое не могло не стать господствующимъ на свѣжей, мало тронутой славянской почвѣ. Итальянская культура дѣйствовала всѣми своими средствами: наукой, религіей, искусствомъ, учрежденіями, обычаями цивилизованнаго быта. Она дѣйствовала уже издавна, и въ ту пору, когда эти культурныя явленія достигли въ Италіи самой живой своей дѣятельности, движеніе, подготовленное заранѣе, обнаружилось и въ Дубровникѣ яркими фактами, которые съ 15-го вѣка начинаютъ тамъ — почти вдругъ — своеобразную національную литературу, совершенно не похожую на старо-славянскія традиціи. Свободная, богатая и разнообразная жизнь торговыхъ общинъ, не подавленная ни деспотизмомъ кралей, ни внутренними междоусобіями, какъ въ сосѣдней Сербіи, давала просторъ для новой культуры, начало которой относится конечно къ первымъ болѣе тѣснымъ связямъ Дубровника и Далмаціи съ Венеціей и Италіей. Дубровникъ уже давно началъ принимать европейско-итальянскую физіономію и мало по малу привыкъ обращаться къ Италіи, въ которой отыскивалась для него метрополія новаго образованія. Молодые Далматинцы начали отправляться для своего образованія въ Италію, гдѣ ихъ привлекалъ особенно Падуанскій университетъ; итальянское населеніе не оставляло своихъ привычекъ, и хотя ославянивалось въ домашнемъ быту, сохраняло свои вкусы къ учености и поэзіи своей родины, и эти вкусы — при своемъ явномъ превосходствѣ надъ туземными славянскими элементами — становились общимъ достояніемъ цѣлаго общества. Латинская литература, отчасти подъ вліяніемъ средневѣковой церкви и ея науки, но еще болѣе подъ вліяніемъ начинавшагося «возрожденія» 15—16-го вѣка, имѣла своихъ извѣстныхъ представителей въ Далмаціи и получила тамъ полное право гражданства. Возрожденіе отразилось въ Далмаціи тѣми же явленіями, какія оно приносило съ собой вездѣ; вмѣстѣ съ нимъ отражалась здѣсь и вся итальянская современность новыхъ литературныхъ вкусовъ и стремленій: параллельность далматинской литературы съ итальянской начинается съ признанія древнихъ классиковъ и латинской учености, съ удивленія Петраркѣ и Боккаччьо, какъ ученымъ и поэтамъ, и доходитъ до повторенія Гварини и Метастазія. Параллельность выказывается и въ той роли, которую получаетъ народный языкъ: если въ Италіи прочное утвержденіе его въ литературѣ совпадаетъ съ господствомъ классической литературы, такъ и здѣсь въ одно время съ античнымъ и итальянскимъ вліяніемъ, въ первый разъ пріобрѣтаетъ широкіе размѣры литературная дѣятельность на языкѣ чисто народномъ. Двойственность литературнаго языка въ Италіи (итальянскій и латинскій) повторяется въ Далмаціи употребленіемъ трехъ языковъ: сербско-далматинскаго (или хорватскаго), латинскаго и итальянскаго. Всѣ три были признаннымъ литературнымъ выраженіемъ: очень не рѣдко всѣ три соединялись въ одномъ и томъ же писателѣ, напр. у Марко Марули или Марулича, Кабоги, Налешковича, Франьо Лукарича, Игнатія Джорджича, извѣст-

наго Мавро Урбина и другихъ. Въ этомъ новомъ своемъ періодѣ, далматинскіе писатели принимаютъ всѣ тѣ литературныя формы, которыя образовались въ Италіи со временъ возрожденія: ихъ лирика, эпосъ и драма имѣютъ уже не извѣстный средневѣковой типъ, — въ нихъ полновластно господствуетъ стиль возрожденія. Внѣшній характеръ литературной дѣятельности и общественнаго положенія писателей представляетъ тоже сходство: писатель пріобрѣтаетъ извѣстный авторитетъ, литературный кружокъ собирается въ дружеское общество, соединяемое общимъ интересомъ, личныя связи поддерживаются поэтической перепиской и т. д.

Какъ ни было сильно это вліяніе, оно не было неизбѣжно подавляющимъ. Первое свидѣтельство національной особности выразилось въ томъ, что далматинскіе писатели съ замѣчательной ревностью стремились къ обработкѣ новаго содержанія на народномъ языкѣ, когда для нихъ представлялся большой соблазнъ воспользоваться готовой латинской или итальянской формой, которыя обѣ были для нихъ доступны. Обработка народнаго языка до степени литературнаго выраженія совершалась въ то же время, когда совершалось и принесеніе новыхъ понятій. Народныя стремленія выказались въ самомъ содержаніи литературы: она не увлекается соблазнительнымъ примѣромъ образцовъ до полнаго забвенія условій своей народности, какъ это часто бывало, напримѣръ, въ исторіи французскаго псевдоклассицизма. Народный сюжетъ, обстановка народной жизни сохраняютъ свою важность для далматинскаго писателя. Значительная часть дубровницкихъ и далматинскихъ поэтовъ принадлежала къ аристократическимъ «властельскимъ» фамиліямъ, но литературное движеніе шло и глубже и писатели выходили изъ самого народа. Поэтическая дѣятельность развилась чрезвычайно; она становилась фамильнымъ дѣломъ, — переходила отъ отца къ сыну и внуку: такъ, по нѣсколько поэтовъ представили фамиліи Минчетичей, Гундуличей, Буничей, Держичей и др.

Масса далматинскихъ поэтовъ съ 15-го столѣтія огромна; только незначительная часть ихъ была издана или въ старое время, или теперь, когда ихъ начали изучать снова. Рукописи ихъ разсѣяны въ разныхъ библіотекахъ Далмаціи; они встрѣчаются и въ большихъ библіотекахъ Европы [11]). Чтобы передать по возможности ихъ характеръ, намъ достаточно впрочемъ остановиться только на главнѣйшихъ представителяхъ [12]). Мы уже указывали, изъ какихъ источниковъ исходила далматинская поэзія; ея античные

[11]) Нѣсколько рукописей далматинскихъ поэтовъ мы имѣли случай просматривать въ библіотекѣ Британскаго Музея.

[12]) Appendini, Notizie storico-critiche etc.;—Orsat Počić, Slav. Anthologia (изъ рукописей далматинскихъ поэтовъ), Вѣна, 1844;—K. Sakcinski, Stari pjesnici hrvatski, 1856—68, 2 vol.:—Шафарикъ, Gesch. der Südslaw. Literatur, во 2-мъ выпускѣ заключаетъ много свѣдѣній о далматинскихъ писателяхъ, но эти свѣдѣнія остались, къ сожалѣнію, недополнены новыми изслѣдованіями. Есть и рукописные сборники и исторія далматинской литературы изъ прежняго времени, напр. Ignacius Georgi, Vitae et carmina nonnullorum illustrium civium Rhacusanorum; Serafini Cerva. Bibliotheca scriptorum Ragusinorum, и друг.

и новые итальянскіе образцы очень нерѣдко встрѣчаются и въ далматинскихъ переводахъ. Такъ напр., Ветраничъ переводитъ Гекубу Эврипида, Златаричъ — Электру Софокла и Метаморфозы Овидія, Буничъ — Анакреона и Горація, Гекторевичъ — De remedio amoris Овидія; затѣмъ переводили Виргилія, Катулла, Тибулла, Проперція, Марціала; Марко-Маруличъ переводитъ Петрарку, Солтановичъ — Тасса, Канавеличъ — Pastor fido Гварини и т. д. Въ этомъ уже высказываются вкусы времени: кромѣ античныхъ образцовъ, далматинская литература принимала и тѣ поэтическія формы, которыя господствовали въ итальянской литературѣ, какъ результатъ возрожденія и новаго итальянскаго романтизма. Въ эпосѣ замѣтно вліяніе итальянскаго романтическаго эпоса, въ лирикѣ встрѣчаются античныя формы; любовныя пѣсни (piesni ljuvene), которыя были почти обязательны для далматинскаго поэта, отражаютъ въ себѣ итальянскую канцону Петрарки и его послѣдователей; драма обнаруживаетъ вліяніе и церковной драмы среднихъ вѣковъ, и новой итальянской драмы, пасторали и народной комедіи. Перешли наконецъ и макароническіе стихи, смѣсь латинскаго съ славянскимъ.

Первымъ замѣчательнымъ писателемъ, начавшимъ этотъ періодъ далматинской литературы, былъ Марко Марули или Маруличъ, родомъ изъ Сплета (род. 1450, † 1524 или 1528); съ него начинаютъ ея исторію, хотя онъ безъ сомнѣнія имѣлъ своихъ предшественниковъ, теперь почти совершенно неизвѣстныхъ. Маруличъ былъ писатель далматинскій, итальянскій, и латинскій, оставилъ много сочиненій археологическаго, историческаго и богословскаго содержанія и пользовался большой славой не только дома, но и въ Италіи: Аріосто, по тогдашнему способу выраженія, называлъ его божественнымъ. Изъ его поэтическихъ произведеній была извѣстна до сихъ поръ только «Повѣсть о св. Юдиѳи» (Венец. 1522, 1627), но кромѣ того онъ написалъ еще «Исторію о Сусаннѣ» и много другихъ пьесъ церковной поэзіи и т. п. Современникъ его, Шишко Минчетичъ (Menze, 1457—1501), —первый писатель, съ котораго начинается рядъ собственно дубровницкихъ поэтовъ. Въ біографіи Минчетича уже играетъ большую роль любовь, навѣявшая его «Pjesni ljuvezne», которыя такъ нравились, что его сравнивали съ Петраркой. Любовь Минчетича была чисто итальянско-романтическая и тонъ его пѣсенъ прямо напоминаетъ эротическихъ поэтовъ Италіи.

Вотъ для примѣра одна изъ его любовныхъ пѣсенъ:

> Vazmi me za slugu, presvitlo sunačce
> Da želju i tugu nepati sàrdačce,
> Neka te ja pravim za svoju gospoju,
> Neka te proslavim u piesmem, kê poju.
> Neka se pogizdam tvojomzi liposti,
> Jak misec medj zvizdam sunčanom svitlosti.
> Neka mi s' još dika, jak venčac na glavi,
> U drugom zač lika ni mojoj ljubavi.
> Ako li prikrati meni se sada lik,
> Meni se obrati u gork plač vas moj vik,
> Meni bi još bolje da nisam na svit bil
> Ter željne nevolje nebih ja sad atil.

Тѣмъ же характеромъ отличаются любовныя пѣсни его современника Георгія Дàржича (Gjore Dàržić, † около 1510), также дубровчанина. Далѣе, Ганнибалъ Лучичъ (Lucio, † около 1530) написалъ, кромѣ необходимыхъ любовныхъ пѣсенъ, драму «Robinja», содержаніе которой взято изъ временъ хорватской борьбы съ Турками; сочиненія его были изданы въ Венеціи 1556 (потомъ 1638, и въ Загребѣ 1847). Изъ числа другихъ его произведеній любопытна его пѣсня въ похвалу Дубровнику: въ ней сказывается то уваженіе, которое возбуждала къ себѣ свободная община:

Sam sebi je stavil zakone, po kojih
 Lipot'je upravil sam sebe i svojih,
Njim se je htil dati, a veće nikomu
 Voditi i vladati u dilu svakomu....
A zakon je dosta prav i pun razloga,
 Ne manje za gosta nego li za svoga.
Tim ga svak počita, tim su Dubrovčani
 Po sve strane svita ljubljeni, štovani....
.
Moj pisni sbrojiti nikakor nij' moći,
 Sve kraje, čestiti Dubrovnik gdi obći.
Kroz gore, kroz luge po svitu svej miče;
 Tàrgovce brez druge zabave ni priče;
Po stranah, ké gleda sunce na daleče,
 J koje prik reda, i s redom ké peče,
Svi tàrge primaju, mirno ké donosi,
 J ké oni daju, on mirno odnosi....
Dostojan je svudi ovi grad da slove,
 Da ga Bog i ljudi vazda blagoslove....

Онъ обращается и къ мысли о славянствѣ, погибавшемъ отъ Турокъ, проситъ божьей помощи противъ невѣрныхъ и печалится о томъ, что Славяне оставляютъ друга друга безъ поддержки.

Далѣе, однимъ изъ извѣстнѣйшихъ рагузанскихъ поэтовъ былъ Никола Ветраничъ (въ монахахъ Мавро, 1482—1576). Онъ происходилъ отъ одной изъ самыхъ старыхъ властельскихъ фамилій Дубровника, былъ уважаемымъ аббатомъ одного монастыря, но потомъ, неизвѣстно почему, удалился въ небольшой монастырь на одномъ изъ острововъ приморья, гдѣ жилъ настоящимъ пустынникомъ, продолжая однако свои поэтическіе труды и сношенія съ своими друзьями, учеными и поэтами. По смерти Ветранича, многіе изъ нихъ воспѣвали его въ хорватскихъ, итальянскихъ и латинскихъ стихотвореніяхъ и элегіяхъ. Кромѣ перевода Эврипидовой *Гекубы*, онъ написалъ драмы: *Авраамова жертва* (М. V., Hekuba i Posvetilište Abramovo, Zagreb 1853), *Воскресенье Христово*, *Чистая Сусанна;* въ стихотвореніи «Remeta» онъ поэтически описалъ свою пустынническую жизнь на островѣ; въ *Путникѣ* Ветраничъ водитъ своего путника по дубровницкимъ горамъ, долинамъ и пустынямъ, разсказываетъ ихъ исторію и описываетъ природу. Изъ другихъ его пьесъ замѣтимъ стихотвореніе: *Италіи*, гдѣ онъ желаетъ ей прежней ея славы, независимости, и свободы отъ «поганыхъ» (Турокъ), Французовъ и Нѣмцевъ, — чтобы ея не клевалъ ни пѣтухъ, ни орелъ (подъ которыми понималась Австрія и

Франція), и какъ итальянскій патріотъ желалъ ей независимости и единства:

> Gospoje od gospoj, zatoj se spomeni,
> Sama se posvoji, a tudje odždeni;
> Oružni taj zvokot neka se ne čuje,
> I orao i kokot neka te ne kljuje....
>
>
>
> Čin', da te ne cvile iztočni pogani,
> I oružjem ne dile tudjini neznani.
> Toj li si odluke da se ćeš udati,
> Ne daj se u ruke od mnozieh vladati.
> Jednoga ti vieri i dàrži za sebe,
> A ostale otieri daleče od tebe.
> Neka se slobodiš od tugah i jada',
> I vesel provodiš tvoj život od sada....

Такъ соединялось у далматинскаго писателя два ровныхъ патріотизма,— привязанность къ Дубровнику и любовь къ Италіи, въ которой далматинецъ видѣлъ настоящую родину своего образованія.

Петръ Гекторевичъ (1486—1572), богатый аристократъ изъ Гвара, извѣстенъ какъ первый далматинскій поэтъ, возвратившійся къ источникамъ народной поэзіи: въ своей поэмѣ «Ribanje i ribarsko prigovaranje» (Венеція 1569, 1638; Зара 1846) онъ вставилъ уже нѣсколько народныхъ пѣсенъ.

Новый періодъ далматинской поэзіи начинаетъ Андрія Чубрановичъ (┼ около 1550), дубровчанинъ, поэтъ вышедшій изъ народа. Наибольшую славу онъ пріобрѣлъ своимъ стихотвореніемъ *Цыганка* (Jedjupka, т. е. египтянка; Венеція 1599; изд. Казначича въ Дубровникѣ 1838, съ біографіей), въ семи отдѣленіяхъ или пѣсняхъ, гдѣ цыганка дѣлаетъ предвѣщанія и открываетъ тайны шести различнымъ госпожамъ. О поводѣ этой поэмы разсказываютъ различно, и иногда романически: по всей вѣроятности пьеса написана для карнавальнаго праздника. Карнавальныя и маскарадныя стихотворенія и маленькія драматическія пьесы были принадлежностью итальянскаго карнавала; веселые обычаи Италіи перешли и въ Дубровникъ, и поэты его также оставили нѣсколько маскарадныхъ пьесъ,— между прочимъ нѣсколько ихъ написалъ и Чубрановичъ [13]). «Цыганка» принадлежитъ, безъ сомнѣнія, къ тому же разряду (сохранилось извѣстіе, что она была *рецитирована* въ Рагузѣ 20-го іюля 1527); быть можетъ, поэтъ воспользовался праздникомъ, чтобы выразить свои чувства плѣнившей его особѣ — на эту мысль наводитъ одна изъ пѣсенъ («къ шестой госпожѣ»), гдѣ цыганка объясняетъ госпожѣ, что она любима и убѣждаетъ ее принять эту любовь:

[13]) Извѣстіе объ этихъ карнавальныхъ пьесахъ сохранилось въ словахъ Лучича (┼ 1530), который говоритъ, что его „Robinja“ написана „u minulih pokladnih danih, — takove bo te pisni u pridnje vrime iznaštene biše i obićahu se puku prikaživati samo na konac: da razlike druzih kriposti i pomanjkanja slišajući i gledajući, svaki sam sebe i život svoj umiti bude bolje prociniti i srediti.“ (Sakcinski, Piesnici 1, 54). Такимъ образомъ карнавальныя пьесы существовали уже за долго до Лучича.

Jes u misti u ovomu
Jedan, za te ki umire
Cić goruće ljubi i vire
Kú t' u sàrcu nosi svomu и т. д.

и даетъ благоразумный совѣтъ:

Ipak neka ljubav vaša
Skrovna bude tja do vika,
A ne, da ju zlob jezika'
Po ulicah svud razglaša, и пр.

Чубрановичъ сталъ далеко выше своихъ предшественниковъ чистотой и гладкостью языка, — изученіе итальянскихъ произведеній приносило уже свои плоды, — и дѣйствительно поэтическимъ настроеніемъ: Гундуличъ и Пальмотичъ вставляли стихи его «Цыганки» въ свои произведенія. Этого мало: «Цыганка» нравилась такъ, что въ томъ же 16-мъ вѣкѣ этотъ сюжетъ повторили еще три далматинскихъ поэта, и одинъ изъ нихъ, Пелегриновичъ, написавши свою пьесу въ 18 пѣсняхъ, взялъ изъ «Цыганки» Чубрановича цѣликомъ четыре пѣсни и введеніе.

Никола Налешковичъ (род. около 1510, † 1586), дубровчанинъ, ученый математикъ и астрономъ, споривщій впрочемъ противъ системы Галилея, извѣстенъ въ далматинской поэзіи своими любовными пѣснями, и особенно комедіями (семь) и маскарадными пѣснями (двѣнадцать), которыя давались въ домахъ его пріятелей и публично. Другимъ писателемъ комедій былъ Маринъ Дàржичъ, также дубровчанинъ (род. около 1520, † 1580), у котораго друзья его хвалили «il puro, vago e dolce canto»: изъ его комедій (одиннадцать) была особенно извѣстна *Тирена* (Венец. 1551 и др.); кромѣ того онъ написалъ драму *Авраамова жертва* и пастораль *Рождество Христово* и наконецъ неизбѣжныя любовныя пѣсни. Далѣе, однимъ изъ извѣстнѣйшихъ поэтовъ 16-го вѣка былъ дубровчанинъ Динко или Доминикъ Раньина (род. 1536, † 1607), изъ властельской фамиліи. Онъ прожилъ долго въ Италіи, гдѣ занимался по порученію отца торговыми дѣлами; вернувшись потомъ въ Дубровникъ, онъ сталъ служить республикѣ, находившейся тогда въ цвѣтущемъ состояніи, и нѣсколько разъ былъ выбранъ въ князья. Любовныя пѣсни занимаютъ значительную долю его поэзіи; кромѣ того онъ писалъ посланія, дидактическія и идиллическія стихотворенія, переводилъ Тибулла, Проперція и Марціала, а также и изъ греческихъ поэтовъ (Ranjina Dinko, Piesni razlike, съ біографіей, Zagreb 1850). Динко Златаричъ, также родомъ изъ Дубровника (род. около 1556, † 1610), получилъ образованіе въ падуанскомъ университетѣ, и еще очень молодымъ человѣкомъ, 23 лѣтъ, былъ ректоромъ университетской гимназіи (almae Universitatis philosophorum et medicorum Patavini gymnasii rector dignissimus), потомъ жилъ въ Загребѣ, наконецъ въ Дубровникѣ. Въ молодости дамой его сердца была Флора Цуцери или Зузоричева, знаменитая своей красотой и талантами и из-

вѣстная также своими произведеньями и въ далматинской поэзіи [14]). Она вышла замужъ во Флоренціи, и флорентинцы называли ее рагузанской Аспазіей. Къ ней относится большая часть любовныхъ пѣсенъ Златарича, также и нѣкоторыя пѣсни Раньины. Еще въ Падуѣ, Златаричъ перевелъ Тассову «Аминту» подъ названіемъ «Ljubmir» (Венец. 1580); впослѣдствіи онъ перевелъ «Электру» Софокла и «Пирама и Тисбу» изъ Овидія; въ пѣсняхъ его, какъ и у Раньины, значительную роль играетъ дидактизмъ (Zlataric'a D. Djela, изд. Сакцинскимъ, Загребъ 1853, 3 части, съ біографіей). Наконецъ, высшую степень развитія далматинской поэзіи представляетъ дубровчанинъ Иванъ Гундуличъ (или Gondola, 1588—1638). Началомъ его образованія были обыкновенныя studia humaniora, потомъ онъ занимался философіей и правомъ; въ гуманистическихъ предметахъ и въ философіи учителями его были іезуиты. Свое поэтическое поприще онъ началъ около 1610 года; изученіе итальянскихъ поэтовъ отразилось въ нѣсколькихъ переводахъ, изъ которыхъ особенно замѣчателенъ переводъ «Освобожденнаго Іерусалима» Тасса, — итальянское благозвучіе стиха онъ старался перенести и въ далматинскую поэзію, и въ этомъ отношеніи достигъ такого совершенства, какое было неизвѣстно ни его предшественникамъ, ни послѣдователямъ. Онъ присоединился потомъ къ обществу молодыхъ поэтовъ, посвятившихъ свою дѣятельность развитію драмы, и написалъ или перевелъ нѣсколько драматическихъ пьесъ, которыя давалъ вмѣстѣ съ своими сотоварищами («Ariadna», «Proserpina ugrabljena», «Dubravka», «Galatea», «Diana», «Armida», «Posvetilište ljuveno» и др.) Затѣмъ онъ перевелъ нѣсколько псалмовъ, написалъ элегическое произведеніе: *Слезы блуднаго сына* (Suze sina razmetnoga) и другія вещи, наконецъ знаменитаго въ далматинской литературѣ *Османа*, эпическую поэму (въ итальянскомъ смыслѣ), которой современники пророчили безсмертную славу, и которая въ самомъ дѣлѣ до сихъ поръ пользуется огромной репутаціей въ хорватской и далматинской литературѣ. Желая выбрать такой сюжетъ, который бы имѣлъ высокій поэтическій интересъ и вмѣстѣ съ тѣмъ далъ поводъ къ прославленію славянскаго народа, особенно его любимаго Дубровника, онъ взялъ предметомъ для своей эпопеи войну, происходившую 1621 г. между Поляками и турецкимъ султаномъ Османомъ. Поэма дѣйствительно представляетъ весьма много поэтическаго; патріотизмъ поэта выражался въ поэтическихъ обращеніяхъ къ Дубровнику:

Ah! da bi uvěk jako sade
Živio miran i slobodan,
Dubrovniče běli grade,
Slavan světu, nebu ugodan....

.

[14]) Біографія Флоры Зузоричъ (Zuzzeri, 1555—1600), написанная Сакцинскимъ, въ „Иллирской Даницѣ“ 1846, № 18—20.

Robovi su tvoji susèdi,
Težke sile svem gospode.
Tvé vladanje samo sèdi
Na prestolju od slobode. (Пѣсня 8).

Но этотъ патріотизмъ не ограничивался Дубровникомъ. Въ другой пѣснѣ Гундуличъ бросаетъ поэтическій взглядъ на сербскую исторію и славу ея героевъ:

U njih (Сербовъ) svud se vitez hvali,
Koga krunom kopje obdari:
Stèpan, Uroš i ostali
Od Nemanjske kuće cari.

U njih žive slava obilna,
Kû Obilić steče mudri,
Kad handžarom cara silna
Na Kosovu smèrtno udri.

Prosvètlit se je u njih hajo,
Kudgod svètli sunce žarko,
Svilojević još Mihajo
I Kraljević junak Marko...

Glasi se u njih srèd naroda'
Od iztoka do zapada
Vèra, gospodstvo i sloboda
Dubrovnika mirna grada и т. д. (Пѣсня 3).

Изъ двадцати пѣсенъ «Османа» двѣ были затеряны, и впослѣдствіи ихъ дополнилъ его внукъ Петръ Соркочевичъ, а въ новѣйшее время Янъ Мажураничъ [15]).

Послѣ Гундулича, далматинскіе поэты уже не могли удержаться на той высотѣ, которой достигла его поэзія: съ тѣхъ поръ они усвоили себѣ легкость стиха и внѣшней формы, но заботясь о ней, не дали своимъ произведеніямъ истинно поэтической, внутренней красоты. Поэзія начинаетъ упадать, и позднѣйшіе поэты: два Пальмотича, четыре Бунича, Иванишевичъ, Владиславъ Минчетичъ, Канавеличъ, Витезовичъ, Виталичъ, младшій Гундуличъ и другіе, при всѣхъ усиліяхъ не могли остановить этого упадка въ теченіи всего 17-го столѣтія. Впрочемъ, дѣятельность поэтовъ нисколько не уменьшилась относительно массы произведеній, которая и въ этомъ столѣтіи еще приводитъ въ удивленіе. Мы впрочемъ остановимся только на важнѣйшихъ поэтахъ этого времени.

Замѣчательную плодовитость выказалъ современникъ и двоюродный братъ Гундулича, столько же знаменитый, Юній Пальмотичъ (Palmotta, 1606—1657), изъ властельской дубровницкой фамиліи. Прошедши подъ руководствомъ іезуитовъ гуманныя изученія, Пальмотичъ, пріобрѣлъ сначала извѣстность какъ латинскій поэтъ, но потомъ, подъ вліяніемъ Гундулича, обра-

[15]) Gundulich, Suze sina razmetnoga, Sedam pjesnji pokornich и проч. Дубровникъ 1828; — Osman, Spievagne vitescko. Дубр. 1826. Новыя изданія: Djela Jvana Gundilića. Zagreb 1844; — Jv. Gundulića Osman, 2-е изд. Загребъ 1854. Біографіи: F. M. Appendini. Vita di G. Fr. Gondola, Ragusa 1828 и Мажуранича при изданіи сочиненій.

тился къ національной поэзіи и сталъ ревностно изучать народный языкъ, и такъ какъ въ Дубровникѣ этотъ языкъ принялъ много итальянскихъ элементовъ, то Пальмотичъ искалъ коренной народности въ Боснѣ. Поэтическое творчество давалось ему легко: обдумавъ планъ драмы, и распредѣливъ роли своимъ молодымъ товарищамъ, любившимъ сцену, онъ могъ каждому изъ нихъ диктовать стихами его роль. Въ выборѣ сюжетовъ онъ былъ впрочемъ мало самостоятеленъ: изъ Виргилія онъ взялъ свою драму «Ulaz Enee k otcu Anchizu», изъ Гомера *Ахиллеса*, изъ Софокла—*Эдипа*, изъ Овидія—*Похищеніе Елены* (Otmica Helene), изъ Тасса—*Ринальдо* и *Армиду* и т. д.; изъ преданій о началѣ Дубровника — своего *Павлимира*, наконецъ изъ Дуклянскаго лѣтописца взята его «Zaptislava», гдѣ онъ прославляетъ славянскія героическія дѣянія. Пальмотичъ былъ извѣстенъ также какъ сатирикъ. Далматинская литература имѣла въ немъ и своего представителя итальянской импровизаціи: Пальмотичъ легко импровизировалъ на далматинскомъ благозвучномъ языкѣ, и особенно замѣчательны были его пѣсни, которыя пѣвались въ веселомъ обществѣ,—въ то время, когда пѣлась одна строфа, онъ уже готовилъ другую, еще болѣе веселую. Наконецъ, благочестивое воспитаніе отозвалось извѣстнѣйшимъ его произведеніемъ *Христіадой*, вольной передѣлкой поэмы этого названія Іеронима Виды, и лирическими пѣснями, преимущественно духовнаго содержанія. «Христіада», въ которую Пальмотичъ намѣшалъ античной и славянской миѳологіи, пользуется въ далматинской литературѣ великимъ почетомъ (Римъ 1670, Пештъ 1835, Загребъ 1852;—послѣднее изд. съ біографіей).

Затѣмъ, къ тому же времени принадлежатъ: Владиславъ Минчетичъ (†1666), дубровчанинъ, которому принадлежатъ «Trubja slovinska» (изд. 1665, 1844), драмы и любовныя пѣсни; Яковъ Пальмотичъ (†1670 или 1680), дубровницкій властелинъ, написавшій эпосъ: «Dubrovnik ponovljen», по поводу страшнаго землетрясенія, разрушившаго Дубровникъ въ 1663 году; Петръ Канавеличъ, дубровницкій сенаторъ (†1690), написавшій эпопею «Sveti Jvan biskup Trogirski i kralj Koloman» (Osiek 1858), стихотвореніе «Grad Dubrovnik» и проч. по поводу того же землетрясенія (изд. 1667, 1841, 1850), «Пѣсню во славу освобожденія Вѣны», прославляющую Собѣскаго, наконецъ духовныя пѣсни и проч.; Мавро Орбинъ (Mauro Urbini), извѣстный гораздо больше, какъ писатель итальянскій; Иванъ Гундуличъ (1677—1721), внукъ славнаго Гундулича, которому приписываютъ пробужденіе «далматинскихъ музъ» послѣ землетрясенія, нанесшаго ударъ и дубровницкой поэзіи, и который написалъ нѣсколько драмъ, поэму и разныя пѣсни; Антунъ Гледьевичъ (†1728), изъ дубровницкаго народа, оставившій нѣсколько драмъ, сатиръ и пр.; духовно-дидактическіе писатели Арделій Делла-Белла, флорентинецъ, Бернардо Цуццери и пр.

Въ теченіи ста лѣтъ послѣ Гундулича далматинская поэзія теряла больше и больше свои силы; только въ началѣ 18-го столѣтія ее снова под-

нялъ дубровчанинъ Игнатій Джорджичъ (1676—1737). Получивши свое образованіе у іезуитовъ, онъ съ 22-го года вступилъ сначала въ орденъ іезуитовъ, потомъ бенедиктинцевъ и имѣлъ значительное положеніе въ дубровницкой республикѣ. Онъ умеръ аббатомъ. Джорджичъ отличается большой ученостью, трудолюбіемъ и плодовитостью; онъ началъ латинскими и славянскими стихотвореньями и оставилъ много произведеній на латинскомъ, итальянскомъ и славянскомъ языкахъ, напр. изъ латинскихъ: «Rerum Illyricarum seu Illyrici historia», упомянутые нами «Vitae et carmina nonnullorum illustrium civium Rhacusanorum»; изъ итальянскихъ: «Il novizzo benedittino», «Raccolta di varie lettere erudite», «Poesie varie» и проч. Его славянская поэзія преимущественно поучительная и религіозная, напр. поэма «Вздохи кающейся Магдалины» (Uzdasi Mandaljene pokornice, изд. 1728, Загр. 1851), «Saltjer slovinski» (Псалтырь, изд. 1729, Загр. 1851), наконецъ шуточная поэма «Marunko i Pavica». Но этотъ новый успѣхъ далматинской поэзіи опять не имѣлъ результатовъ, потому что у позднѣйшихъ писателей не нашлось достаточно силы поддержать народность, уступавшую передъ латинскимъ и итальянскимъ вліяніемъ. Эти преемники Джорджича: Бетондичи, Іосифъ и Яковъ, переводившіе Овидіевы героиды; Маройе Тудижевичъ, переводившій Мольера; двѣ писательницы—Аница Бошковичева и Лукреція Богашиновичева, и друг.—не давали ни новаго содержанія, ни поэтическаго чувства и отдѣлки.

Въ 18-мъ столѣтіи явился еще только одинъ писатель, успѣвшій пріобрѣсти въ далматинской литературѣ обширную популярность, которая сохранилась до сихъ поръ, и представляетъ наиболѣе живую связь стараго далматинскаго періода съ новой литературой.

Этотъ писатель былъ Андрія Качичъ-Міошичъ (1690—1760), изъ стараго княжескаго рода въ далматинскомъ Приморьѣ. Онъ рано поступилъ въ орденъ францисканцевъ, и докончивъ свое философское и богословское образованіе въ Пестѣ, былъ профессоромъ сначала философіи, потомъ богословія. Свою философію, которая не шла дальше францисканскихъ образцовъ, онъ изложилъ въ латинской книгѣ: «Elementa peripatetica juxta mentem subtilissimi doctoris Ioannis Duns Scoti»; онъ перевелъ потомъ пять книгъ Моисеевыхъ и нѣсколько пророчествъ подъ заглавіемъ «Korabljica», наконецъ обратился къ изученію славянской народности. Мы уже замѣтили прежде, что интересъ къ народной поэзіи сохранялся у дубровницкихъ писателей, не смотря на чужое литературное вліяніе. Кукулевичъ-Сакцинскій не разъ упоминаетъ въ своемъ описаніи старыхъ далматинскихъ рукописей о «народныхъ пѣсняхъ». Между прочимъ, онъ упоминаетъ одинъ сборникъ такого рода еще изъ 15-го столѣтія [16]); Гунду-

[16]) „Narodne popjevke dubrovačke i pjesme bugarske (?) iz 15 vieka. Rkp. 16 vieka“ (214); „Piesme razlike umietne i narodne, iz 16 i iz 17 vieka“ (232) и др.—Arkiv 5, стр. 184—185. Миклошичъ сообщаетъ любопытный памятникъ этого рода—пѣсню о Свилоевичѣ, помѣченную 1663 годомъ, и имѣющую несомнѣнныя народныя черты. Она начинается такъ:

личъ вспоминаетъ о Кралевичѣ Маркѣ. Это чувство къ народно-поэтическому содержанію, не заглушенное книжными вліяніями, сказывалось и у другихъ далматинскихъ поэтовъ, но ни у кого такъ сильно, какъ именно у Качича. Бывши много лѣтъ папскимъ легатомъ въ Далмаціи, Боснѣ и Герцеговинѣ, онъ воспользовался своими путешествіями по этимъ краямъ, чтобы собирать народныя преданья, старыя рукописи и другіе историческіе памятники. Онъ собралъ все это въ книгу пѣсенъ, подъ названіемъ «Razgovor ugodni naroda slovinskoga», которая пользуется чрезвычайной извѣстностью. Его пѣсни нравились, потому что написаны были народнымъ складомъ, и въ поэтической формѣ передавали народную исторію, начавъ ее съ баснословныхъ извѣстій, идущихъ за двѣ тысячи лѣтъ до Р. Х.; послѣ этого начала Качичъ разсказываетъ настоящую исторію сербскаго народа, его кралей, его борьбы съ Турками, его юнаковъ, витязей и ускоковъ въ томъ поэтическомъ тонѣ, въ какомъ излагаетъ ихъ народная пѣсня. Книга Качича имѣла до 1851 г. двѣнадцать изданій (въ Венеціи, Дубровникѣ, Зарѣ, Вѣнѣ, Загребѣ и др.), — такого успѣха не имѣло ни одно произведеніе далматинской поэзіи. Національное содержаніе никогда еще не являлось въ такой симпатичной народу формѣ. Качичъ какъ будто предвидѣлъ литературныя потребности позднѣйшей эпохи. Правда, та степень, на которую Качичъ поднимаетъ народное содержаніе, еще не высока, но во всякомъ случаѣ его книга первая положила начало прочной связи литературы съ народомъ. Пѣсни Качича перешли и въ народную массу.

Послѣ Джорджича и Качича опять наступаетъ періодъ далматинской литературы, не обѣщавшій живаго дѣйствія. Этотъ періодъ продолжалъ двигаться въ границахъ старой традиціи, время которой уже проходило окончательно. Даже нѣкоторые отдѣльные таланты, появлявшіеся въ ней, не могли поднять ее при этомъ общемъ характерѣ. Далматинская литература, какъ мы видѣли, оставалась почти исключительно литературой поэтической, или стихотворной, — она почти не имѣла прозы, или эта проза ограничивалась легендой и религіознымъ поученіемъ. Научная образованность продолжала жить на латинскомъ и итальянскомъ языкахъ, — такъ что національная литература не имѣла этой прочной основы, и люди, ограниченные одними національными средствами, должны были оставаться внѣ серьезнаго образованія; — притомъ и латинская и итальянская литературы, господ-

Ali side divojka misecu govoriti, neboga divojka: Kasi meni, lipi misec, koj dohodiš z istoka! Jesi vidil Carigradu moga mlada Svilojevića, zaručnika moga, je i sad životu, a da su ga izgubili?

Ali side jasan misec toj divojki govoriti, zaručnici mladi: jesam vidil pred večerom u lipomu Carigradu, i hoću ti istinu nut, divojka, kazivati, gizdava divojko, tako mi se ne mrčati, kako istinu kazivati.

Car je činil preda se nut junaka dozivati, car sileni turski, tere side govoriti mladomu Svilojeviću: da imaš mi istinu, Svilojeviću, kazivati, moj sužnju nevoljni, s tole hoću zmožan car ja sadahna opitati.

Ali nasta Svilojević silnu caru cgovoriti, caru čestitomu и пр. (Slaw. Bibliothek I, стр. 259 — 260).

ствовавшія здѣсь, слишкомъ страдали тогда старой схоластикой, чтобы имѣть живое развивающее вліяніе въ начинавшихся условіяхъ новой жизни. Вотъ почему могло такъ быстро совершиться паденіе литературы, когда въ ней перестали являться люди, поддерживавшіе литературную жизнь сильнымъ поэтическимъ талантомъ. Мы не имѣемъ нужды пересчитывать прозаическихъ писателей далматинской литературы, такъ какъ ихъ спеціально церковная и дидактическая дѣятельность не приносила ничего новаго и не измѣняла положенія образованности [17]). Съ конца 18-го столѣтія и до тридцатыхъ годовъ нынѣшняго могутъ быть еще упомянуты слѣдующіе дубровницкіе и вообще далматинскіе писатели: Лука Михальевичъ-Буничъ (✝ 1778), между прочимъ переводившій Горація и Виргилія; Соркочевичъ, переводившій Метастазія; духовные поэты и моралисты—францисканецъ Петръ Княжевичъ, Матей Чуличъ, далѣе Брюеръ (Bruerović, собственно Bruère Derivaux, ✝ 1827), французъ, сынъ французскаго посланника въ Дубровникѣ, въ 1774 прибывшій сюда съ отцомъ и прекрасно изучившій далматинскій языкъ, — кромѣ переводовъ изъ Проперція, Катулла, Марціала и пр., онъ написалъ сатиры (двѣ изданы Казначичемъ въ 1838), и комедію ; Юрій Феричъ (или Гвозденица, 1744 — 1824), каноникъ, родомъ изъ Дубровника, писавшій латинскія стихотворенія и иллирскія *Притчи* (нѣсколько ихъ издано въ «Далматин. Магазинѣ» 1851) и поэму *Взятіе Очакова* («Kolo,» ч. 2); Маринъ Златаричъ (1753 — 1826), дубровчанинъ, переводившій Геснеровы идилліи и писавшій собственныя стихотворенія разнаго рода; Иванъ Салатичъ (✝ 1829), писавшій по латыни и по славянски; наконецъ Юрій Хидья (Juraj Hidja, 1752—1833), родомъ изъ Дубровника, извѣстный переводами Катулла, Тибулла, Проперція и Виргиліевой Энеиды.

Въ это время, когда сербская литературная дѣятельность упадала въ Далмаціи, она стала развиваться во внутреннихъ провинціяхъ, на сѣверѣ, такъ что въ концѣ 18-го и 19-го вѣка здѣсь опять являются писатели, поддерживающіе нить далматинской поэзіи. Нѣсколько литературныхъ именъ принадлежитъ Славоніи, языкъ которой очень мало отличается отъ далматинско-хорватскаго: жители ея православные и католики, — первые пишутъ кирилловской азбукой и дѣйствуютъ въ сербской литературѣ; другіе — азбукой латинской и связываются такимъ образомъ съ западно-сербской литературой. Таковы были: двое Релковичи, славонцы. Первый—Матія Антунъ (✝1800), граничаръ, написавшій во время своихъ военныхъ похожденій «Сатира», (изд. въ Дрезд. 1761), затѣмъ онъ перевелъ Езоповы басни, и т. п.; другой, Іосифъ-Степанъ, издалъ «Хорошаго хозяина» (Kucnik, изд. 1796), въ стихахъ. Далѣе: Антунъ Канижличъ, родомъ изъ Пожега въ Славоніи,

[17]) Списокъ этихъ далматинскихъ писателей и, вмѣстѣ съ ними, босанскихъ францисканцевъ, писавшихъ тѣмъ же языкомъ, но употреблявшихъ кромѣ латинской азбуки также и буквицу, см. у Шафарика, въ названныхъ выше книгахъ и Časopis 1859, 4, стр. 519 и слѣд.

іезуитъ, написалъ поэму о святой Розаліи и книгу по церковной исторіи: «Kamen pravi smutnje velike», гдѣ говорится о причинахъ раздѣленія восточной и западной церкви (Осекъ 1780); Іосифъ Кермпотичъ, придворный капелланъ въ Вѣнѣ, написалъ между прочимъ «Radost Slavonie» 1787 и описывалъ въ стихахъ «Put u Krim» (1788), т. е. путешествіе въ Крымъ императрицы Екатерины и Іосифа II. Далѣе, Видъ Дошенъ, которому принадлежитъ дидактическая поэма: *Седмиглавая змья* («Axdaja sedmoglava», Загр. 1768). Матія-Петръ Катанчичъ (1750 — 1825), францисканецъ, родомъ изъ Славоніи, нѣсколько времени профессоръ пестскаго университета, извѣстный своей ученостью; кромѣ большаго количества латинскихъ сочиненій, посвященныхъ и славянской древности, — въ славянской литературѣ онъ имѣетъ замѣчательное имя по своему переводу Библіи. О переводѣ Библіи для католическихъ Сербовъ думали уже съ 16-го столѣтія Кассій, потомъ въ 1750—70 Роза, около 1800 Бургаделли, но ихъ переводы остались неизданными; переводъ Катанчича, съ латинскимъ текстомъ, изданъ былъ въ Пестѣ 1831. Его идиллическія стихотворенія изданы были въ книгѣ: «Fructus autumnales in jugis Parnassi Pannonii maximam partem lecti», Загребъ 1794. Гергуръ Чевановичъ (1786 — 1835), францисканецъ, написалъ безъ особеннаго таланта, но по крайней мѣрѣ правильнымъ и народнымъ языкомъ, драматическую пьесу «Josip, sin Jakova patriarke» (Пестъ 1820), и др.

Такимъ образомъ историческое преданье старой далматинской литературы доходитъ до нынѣшняго столѣтія,—но блестящая эпоха ея уже не возвращалась. Вліяніе ея на общественное развитіе было незначительно. Усвоивши себѣ одинъ разъ ту степень литературныхъ идей, которую она заимствовала изъ Италіи и латинскихъ источниковъ, далматинская литература не могла освободиться отъ нея, и въ то время, когда въ цѣлой Европѣ начиналось уже броженіе новыхъ понятій, новыхъ соціальныхъ и народныхъ цѣлей, далматинская и хорватская поэзія все еще поставляла духовныя поэмы и пасторали. Правда, далматинская литература, какъ мы видѣли, нерѣдко обращалась къ народному интересу и содержанію, но по большей части она обработывала это содержаніе въ чуждой или недоступной для массы формѣ, и слишкомъ ограничилась чисто-поэтическимъ направленіемъ; — притомъ образованность мало по малу сходила съ національной на итальянскую и латинскую почву, и была чужда тому просвѣтительному движенію, которое распространялось тогда изъ Франціи по всей Европѣ и которое способно было оживить общественную мысль и связать ее съ дѣломъ народа. Въ прежнія времена своей славы, далматинская поэзія была по крайней мѣрѣ живымъ и дѣйствительно поэтическимъ отраженіемъ жизни свободнаго и богатаго Дубровника и далматинскихъ общинъ, ихъ независимой, подвижной и часто бурной дѣятельности; теперь политическая и соціальная дѣйствительность была инаго рода, и литература, не нашедши новой дороги національному патріотизму, становится больше и больше книжной отвлеченностью, и теряетъ интересъ, или же ограни-

чивается элементарными книжками для мелкаго житейскаго обихода. Новая эпоха этой литературы западнаго сербскаго народа начинается тогда, когда центръ ея дѣятельности перенесенъ былъ къ Хорватамъ, и когда въ новой «иллирской» литературѣ сталъ дѣйствовать панславизмъ, идея цѣлаго славянскаго возрожденія, а вмѣстѣ съ нимъ и идея сербскаго единства.

3. Хорватская литература.

Намъ слѣдуетъ упомянуть еще о двухъ областяхъ западнаго славянства, которыя представляли въ извѣстной степени отдѣльную литературную жизнь. Это—собственные *Хорваты*, въ австрійской провинціи, носящей ихъ имя, и *Хорутане*, славянскіе обитатели Каринтіи, Крайна и отчасти Штиріи и Истріи.

Мы видѣли, что имя Хорватовъ въ старину распространялось очень далеко въ земляхъ Далмаціи; хорватскіе патріоты увѣряютъ, что и теперь Далматинецъ, даже отдаленныхъ краевъ, называетъ себя Хорватомъ. Историческія обстоятельства дѣйствительно дали большое распространеніе имени Хорватовъ, но собственно говоря, оно принадлежитъ только одной вѣтви западнаго сербскаго племени, — собственнымъ Хорватамъ, занимающимъ особенно такъ называемую провинціальную Кроацію.

Хорваты являются въ первый разъ въ земляхъ, носящихъ теперь ихъ имя, въ первой половинѣ 7-го столѣтія, когда они были призваны изъ Бѣлой Хорватіи, за Карпатами, императоромъ византійскимъ Ираклiемъ, противъ Аваръ. Завоевавъ эти края, Хорваты приняли христіанство и вступили въ зависимость отъ императора, образовавъ двѣ общины — далмато-хорватскую и паннонo-хорватскую. Хорваты, какъ и далматинскіе города, скоро освободились отъ этой зависимости, но затѣмъ, въ концѣ 8-го вѣка, подпали власти Франковъ: это новое иго, крайне жестокое, они свергли въ первой половинѣ 9-го вѣка. Теперь снова стало утверждаться слабое до сихъ поръ христіанство подъ вліяніемъ Рима; но появленіе славянскаго богослуженія и церковныхъ славянскихъ книгъ у Болгаръ и Моравовъ опять привлекло Хорватовъ къ Византіи: Хорваты отпали отъ папы и кажется уже въ это время, въ концѣ 9-го вѣка, приняли славянское богослуженіе. Впослѣдствіи, они опять, и уже окончательно, подчинились папѣ, ввели латинскую литургію, но не совсѣмъ потеряли и славянскую, державшуюся въ глаголическихъ книгахъ. Хорватская земля пріобрѣтаетъ затѣмъ извѣстную независимость и князья ея начинаютъ называться королями: слѣдуютъ безпрестанныя войны, дружескія и враждебныя отношенія къ Болгарамъ и Сербамъ, Византіи, Далмаціи и западнымъ сосѣдямъ. Въ концѣ 11-го столѣтія, по смерти послѣдняго короля изъ національнаго дома Держиславичей, хорватское государство подверглось внутреннимъ смутамъ и было на краю гибели: къ этому времени относится соединеніе хорватской земли съ Венгріей, — Хорваты признали венгерскаго короля Коло-

мана и его потомковъ своимъ королемъ, а онъ обѣщался хранить и уважать всѣ ихъ народныя права, вольности и учрежденія. Коломанъ вѣнчался хорватскимъ королемъ въ 1102 г. Съ тѣхъ поръ Хорваты раздѣляли венгерскую исторію: ими управляли королевскіе намѣстники или баны, а венгерскіе короли стали называться королями Хорватіи и Далмаціи, впослѣдствіи и Славоніи. Это соединеніе было долго безобидное для обѣихъ сторонъ: Хорваты пользовались своей конституціей, подчиняясь однако въ большей или меньшей степени господствующему элементу; они дѣлили подвиги венгерской исторіи, имѣли своихъ славныхъ героевъ въ войнахъ съ Турками, и, подобно Венграмъ, сохранили старую свѣжесть своего племени. Новѣйшее время поссорило ихъ: притязанія венгерской національности на исключительное господство вызвали со стороны Хорватовъ рѣзкую оппозицію, которая, съ одной стороны, дала новую жизнь литературѣ западныхъ Сербовъ, съ другой, привела къ кровавому столкновенію, ознаменовавшему 48 — 49 годы.

Собственное хорватское нарѣчіе, въ тѣсномъ смыслѣ, не имѣло литературы. Въ первый разъ оно является въ книгахъ въ 16-мъ столѣтіи, въ то время, когда въ эти земли, къ Хорватамъ и Хорутанамъ, проникла реформація. Новое ученіе встрѣтило здѣсь усердныхъ послѣдователей; оно нашло поддержку въ сильныхъ магнатахъ, такъ что хорватскіе послѣдователи реформаціи, во второй половинѣ 16-го столѣтія, могли сдѣлать попытки для религіознаго просвѣщенія народа. Однимъ изъ знаменитѣйшихъ покровителей этой дѣятельности былъ князь Юрій Зринскій (+1603), который устроилъ хорватскую типографію въ Загребѣ (1570). Здѣсь архидіаконъ Михаилъ Бучичъ напечаталъ, какъ говорятъ, «Новый Завѣтъ», «Христіанское ученіе» и проч., — книги, совершенно истребленныя потомъ іезуитской инквизиціей. Въ той же типографіи Иванъ Пергошичъ издалъ свой хорватскій переводъ «Венгерскихъ правъ» (1574). Антонъ Врамецъ написалъ «Хронику» (Любляна 1578) и «Толкованіе на евангеліе» и проч. Бучичъ открыто принялъ и проповѣдывалъ кальвинизмъ; вмѣстѣ съ своими послѣдователями онъ подвергся преслѣдованію епископовъ и синодовъ, но нашелъ нѣкоторое покровительство въ терпимости императора Максимиліана II. Но при его преемникахъ дѣла приняли иной оборотъ: сильнѣйшіе изъ венгерскихъ магнатовъ поднялись съ оружіемъ въ рукахъ на защиту римской церкви, и новое ученіе пало. Хорваты возвратились къ католицизму и не имѣли своихъ типографій до времени Павла Витезовича (1696); народный языкъ, вспомянутый протестантизмомъ, опять уступилъ мѣсто латыни.

Новыя попытки начать литературное развитіе народа относятся уже ко второй половинѣ 17-го вѣка. Не много впрочемъ было писателей, которые обратили вниманіе на народный языкъ; между ними могутъ быть названы: Петръ Зринскій, банъ хорватскій (+1667), — правнукъ сигетскаго героя Зрини, — который перевелъ поэму, написанную его братомъ Николаемъ, пер-

воначально по венгерски: «Adrianszkoga mora Sirena» (Венеція 1660); Юре Габделичъ, іезуитъ, написавшій «Dictionarium vocabulorum croaticorum», и кромѣ того «Kerztchanzki navuk», «Pervi otcza nashega Adama greh» (1674) и др.; но въ особенности Павелъ Риттеръ или Витезовичъ († 1713). Онъ снова устроилъ въ Загребѣ типографію и оставилъ много латинскихъ и хорватскихъ сочиненій,— изъ послѣднихъ напримѣръ всемірную «Хронику» (доведенную потомъ Рафаемъ до 1744; Лауренчичемъ и Керчеличемъ до 1762), поэму «Oddilenye Szigetzko», «Хорватскую Сивиллу», и наконецъ также хорватскій словарь. Въ загребской библіотекѣ Сакцинскаго находится также поэма Витезовича, писанная босанско-хорватской кириллицей, въ прославленіе Петра Великаго, — «сѣвернаго властелина», котораго онъ желалъ видѣть обладателемъ Царяграда и освободителемъ турецкихъ христіанъ, и которому посвящали свои поэтическія труды и другіе западно-сербскіе поэты [1]. Но стремленія Витезовича не имѣли успѣха; число хорватскихъ писателей увеличивается уже только со второй половины 18-го столѣтія, и особенно въ началѣ нынѣшняго. Первое мѣсто занимаетъ между ними Тома Микушичъ († 1833): по старому обычаю онъ писалъ также и по латыни; изъ хорватскихъ его сочиненій извѣстны больше другихъ: «Ztoletni kalendar», «Izbor dugovany vszakoverztneh» (1821), «Podvuchanya vu najpoglaviteshch vere iztinah»; кромѣ того много стихотвореній хорватскихъ и латинскихъ. Коритичъ переводилъ въ стихахъ псалмы и Виргилія; Кризманичъ переводилъ прозой Мильтона и проч. Въ третьемъ десятилѣтіи для дѣятельности хорватскихъ писателей наступаетъ новая пора, когда литература становится дѣйствительнымъ отраженіемъ и орудіемъ общественной жизни, и когда она вышла изъ ограниченныхъ предѣловъ мелкаго областнаго нарѣчія. Хорватскіе писатели, между которыми на первомъ планѣ дѣйствовалъ докторъ Л. Гай, выбрали своимъ литературнымъ языкомъ тотъ языкъ, на которомъ совершалось развитіе старой западно-сербской литературы, и ихъ дѣятельность пріобрѣла значеніе, важное для цѣлаго сербскаго міра не только западнаго, но и восточнаго. Собственно хорватское нарѣчіе предоставлено было своей судьбѣ: на немъ только изрѣдка появляются книги для простаго народа. Серьезные вопросы политики и общественной жизни выражаются на новомъ литературномъ языкѣ, которому дали тогда названіе «иллирскаго»,— долженствовавшее соединить всѣ частныя отрасли не только западнаго, но и восточнаго сербскаго племени въ одно національное цѣлое.

4. Хорутанская литература.

Прежде, чѣмъ перейдти къ этому новому періоду западно-сербской литера-

[1]) Rodosudje, iliti osudi iz imén prejasnoga etc. poglavnika i gospodina, gospodina Petra Aleksijevica, cara moskovskoga и проч. съ латинскимъ переводомъ: Geniticon sive fatum etc., въ стихахъ. См. Arkiv, кн. 5, 1859, стр. 141, 170. Стихотвореніе издано въ 1710, и хорватскій текстъ напечатанъ двумя азбуками — латинской и кирилловской. Перепечатано въ Чтен. Моск. Общ., 1862, кн. 2.

туры, мы упомянемъ еще объ одной отрасли его — Хорутанахъ [1]. Старая средневѣковая исторія Каринтіи, Крайна, Штиріи и Истріи, земель, занятыхъ племенемъ Хорутанъ, чрезвычайно запутывается въ народныхъ переселеніяхъ, такъ что очень трудно сказать, было ли здѣсь славянское население раньше 6-го вѣка, когда хорутанскіе Славяне были вытѣснены сюда Аварами съ востока. Но съ этого времени есть уже несомнѣнныя историческія данныя объ этомъ народѣ, который у западныхъ писателей называется обыкновенно Виндами и Карантанами, а по славянски—Словинцами или Хорутанами (у Нестора и Далимила). Быстро распространившись и утвердившись въ этихъ земляхъ, Хорутане съ самаго начала вступаютъ во враждебныя отношенія къ Аварамъ, къ своимъ итальянскимъ и нѣмецкимъ сосѣдямъ и къ Византіи, еще имѣвшей владѣнія въ этихъ мѣстахъ. Въ 7-мъ столѣтіи хорутанскіе Славяне присоединяются къ обширному славянскому царству Само (627—662), который подавилъ въ это время аварское царство. Но этотъ славянскій союзъ не удержался надолго, и Хорутане опять впадаютъ въ столкновенія съ сосѣдями, которыя кончились тѣмъ, что Хорутане подчиняются сначала Баварцамъ, а потомъ, въ концѣ 8-го столѣтія, при Карлѣ Великомъ, окончательно подчиняются Франкамъ. Положеніе покоренныхъ было очень трудно: побѣдители оставили Славянамъ ихъ мелкихъ князьковъ, — но только для того, чтобы удобнѣе управлять ими; затѣмъ они были совершенно подчинены нѣмецкимъ герцогамъ и маркграфамъ. Земли, занятыя покоренными виндскими Славянами и Аварами, образовали подъ властью Карла Великаго и его преемниковъ три провинціи: Восточную марку, послужившую впослѣдствіи основаніемъ герцогству австрійскому; далѣе княжество Хорутанское (Каринтія, Карантанія) и наконецъ славянскую Украйну, состоявшую изъ нынѣшняго Крайна, части Каринтіи и части Штиріи. Первыя двѣ земли подчинены были герцогству баварскому, послѣдняя — фріульскому или фурлянскому. Съ тѣмъ вмѣстѣ кончается независимое славянское существованіе этихъ земель, исторія которыхъ входитъ въ исторію нѣмецкой имперіи.

Христіанство проникло къ виндскимъ Славянамъ уже давно: еще съ 7-го

[1]) О хорутанской исторіи, языкѣ, литературѣ см.: Göth, Das Herz. Steiermark etc., Wien 1840—41, 2 т.;—K. Mayers, Gesch. von Kärnten, Cilly 1785;—Valvasor, Ehre d. Herz. Krain, Laib. 1689, 4 т.; — A. Linhart, Versuch einer Gesch. von Krain, Laib. 1788—91, 2 т.; — Muchar, Geschichte d. Herz. Steiermark, Grätz 1844—1850, 5 т.; — Herrmann, Handbuch der Gesch. d. Herz. Kärnten, Klagenf. 1843;—Ant. Krempl, Dogodovšine Štajerske zemlè, v' Grádci 1845 слѣд.;—Клунъ, Словенцы (въ Р. Бесѣдѣ 1857).

—Копитаръ, Grammatik der Slaw. Sprache in Krain, Kärnten und Steiermark, Laib. 1808; — P. Dainko, Lehrbuch der windischen Sprache, Grätz 1824; — F. S. Metelko, Lehrgebäude der slowenischen Sprache im Königreich Illirien etc. (по системѣ Добровскаго), Laibach 1825; — Мурко, Gram. der slaw. Sprache in Steiermark, Grätz 1843; — Янежичъ, Slovenska slovnica, Celov. 1854;—Янежичъ, Popólni roĉni slovár slovenskega in nĕmsk. jezika, Celov. 1851, 2 т.

—Dr. Klun, Die slovenische Literatur. Eine historische Skizze, Wien 1864 (изъ „Oesterreichische Revue“ 1864, 3 Bd., стр. 76—100; 5 Bd., стр. 52—66); — P. J. Šafařik, Geschichte der Südslawischen Literatur. I. Slowenisches und glagolitisches chriftthum (herausg. von J. Jireček). Prag 1864.

столѣтія западные проповѣдники начинаютъ появляться у Хорутанъ, и притомъ съ двухъ сторонъ: со стороны Аквилеи, отъ духовенства итальянскаго, и со стороны Зальцбурга, отъ Нѣмцевъ. Но аквилейскіе патріархи меньше прилагали заботъ объ этомъ предметѣ, чѣмъ епископы зальцбургскіе, и послѣдніе дѣйствительно пріобрѣли потомъ главную духовную власть надъ этими землями. Христіанство, проводимое западнымъ духовенствомъ, принималось впрочемъ туго: Славяне не понимали латинскаго богослуженія и подозрѣвали своекорыстныя цѣли въ стремленіяхъ иноземнаго духовенства. Нѣсколько разъ происходили возстанія. Но проповѣдь продолжалась съ 7-го вѣка постоянно. Во второй половинѣ 8-го столѣтія особенно ревностно заботился о распространеніи христіанства между Хорутанами епископъ зальцбургскій Виргилій, получившій поэтому имя апостола Хорутанъ, — хотя самъ онъ ни разу не навѣстилъ лично этихъ земель. Окончательное введеніе христіанства установилось послѣ франкскаго покоренія, когда западному духовенству открыты были всѣ пути для достиженія этой цѣли: хорутанскіе христіане зависѣли отъ аквилейскаго патріарха и зальцбургскихъ епископовъ и приняли латинскую литургію по римскому обряду.

Этимъ хорутанскимъ Славянамъ принадлежатъ знаменитые *Фрейзингенскіе отрывки*, заключающіе въ себѣ двѣ формулы исповѣди и отрывокъ поученія, вставленные въ старую латинскую рукопись. Эти отрывки относимы были учеными къ началу 11-го, къ 10-му и даже 9-му вѣку, такъ что они считаются однимъ изъ древнѣйшихъ памятниковъ славянскаго языка [2]). Эти отрывки, — по мнѣнію Шафарика, писанные въ 957—994, можетъ быть епископомъ фрейзингенскимъ Авраамомъ, — очевидно служили для латинскихъ священниковъ, которые должны были имѣть руководство для поученія своей славянской паствы. Такому памятнику и естественно было явиться въ странѣ, гдѣ, какъ мы видѣли, проповѣдь христіанства была постоянно въ рукахъ латинскаго духовенства — итальянскаго и нѣмецкаго. Не смотря на то, въ ученомъ славянскомъ мірѣ до сихъ поръ существуетъ мнѣніе, что Хорутане были именно тѣмъ славянскимъ народомъ, для котораго была изобрѣтена Кирилломъ и Меѳодіемъ знаменитая азбука, и что именно на ихъ языкъ и было переведено ими св. Писаніе. Первымъ защитникомъ этого мнѣнія былъ знаменитый въ свое время Копиторъ, родомъ Краинецъ, о которомъ мы будемъ говорить дальше: онъ относилъ къ хорутанской землѣ то, что говорилось о дѣятельности Кирилла и Меѳодія въ Панноніи (т. е. Паннонской Моравіи), объяснялъ старо-славянскій языкъ формами хорутанскаго нарѣчія и обстоятельствами хорутанской исторіи, и старался доказать, что хорутанская земля и была родиной старо-славянскаго языка. Но парадоксъ Копитара не имѣетъ за себя ни историческихъ, ни филологическихъ данныхъ...

[2]) Изданіе ихъ съ fac-simile и объясненіями см. у Кеппена, въ „Собраніи словенскихъ памятниковъ, находящихся внѣ Россіи“. Спб. 1827. 4°, и у Копитара, Glagolita Cloz. Вѣна 1836.

Послѣ Фрейзингенскихъ отрывковъ, мы на нѣсколько столѣтій теряемъ изъ виду хорутанское нарѣчіе. Настоящая исторія его литературнаго развитія начинается только со времени реформаціи, когда въ Штирію, Каринтію и Крайнъ проникло новое ученіе и нашло тамъ горячихъ послѣдователей. Хорутанскіе приверженцы реформы естественно пришли къ мысли воспользоваться для распространенія новаго ученія народнымъ языкомъ. Такимъ образомъ во второй половинѣ 16-го вѣка, хорутанское нарѣчіе вдругъ пріобрѣло извѣстную обработку въ книгахъ, которыя должны были служить для религіознаго просвѣщенія народа. Знаменитѣйшій изъ этихъ хорутанскихъ дѣятелей реформы былъ Примусъ Труберъ (1508—1586), каноникъ и викарій въ нѣсколькихъ мѣстахъ Карніоліи и Каринтіи. Онъ рано кажется сталъ приверженцемъ реформы; онъ сдѣлалъ распространеніе ея въ своемъ народѣ цѣлью своей жизни и для того рѣшился писать на нарѣчіи, которое еще не было до тѣхъ поръ письменнымъ. «Тридцать четыре года тому назадъ,—говорилъ онъ въ своемъ изданіи Новаго Завѣта 1582,—не было писано нашимъ языкомъ даже писемъ, не говоря о книгахъ; народъ думалъ, что виндскій и венгерскій языки слишкомъ грубы и дики, чтобы на нихъ писать или читать». Дѣятельность Трубера нашла усердную поддержку въ баронѣ Иванѣ Унгнадѣ, который вслѣдствіе приверженности къ реформаціи долженъ былъ оставить родину и переселиться во владѣнія герцога Виртембергскаго, открывшаго у себя убѣжище для тѣхъ, кто терпѣлъ въ другихъ мѣстахъ за свою вѣру. Унгнадъ ревностно заботился о распространеніи протестантскихъ книгъ, основалъ типографію и давалъ средства для изданій цѣлому кружку славянскихъ протестантовъ, которые собрались здѣсь и печатали книги хорватскія и краинскія, глаголическія и кирилловскія. Въ одно время и отчасти непосредственно вмѣстѣ съ Труберомъ на этомъ поприщѣ трудились въ особенности Себастіанъ Крель (1538—1567), Юрій Далматинъ (†1589) и Адамъ Богоричъ, которые, особенно послѣдній, старались объ усовершенствованіи языка, еще далеко не установленнаго Труберомъ. Кромѣ того, въ этой дѣятельности участвовали также истріянинъ Степанъ Консулъ, Антонъ Александровичъ Далматинъ, сербъ Матвѣй Поповичъ, далматинцы Юрій Юричичъ и Леонардъ Мерчеричъ, боснякъ Иванъ Малешевичъ и другіе представители южно-славянскихъ народностей, собравшіеся вокругъ Трубера [3]). Книги печатались, кромѣ хорутанской Любляны (Лайбахъ), преимущественно въ Тюбингенѣ, потомъ въ Урахѣ, Виттенбергѣ, Регенсбургѣ, Нюренбергѣ и проч. Кромѣ изложеній протестантскаго ученія, издатели скоро позаботились и о переводѣ св. писанія. Не зная по гречески, Труберъ составилъ свой переводъ Новаго Завѣта по латинскому, нѣмецкому и итальянскому

[3]) Объ исторіи этой типографской дѣятельности славянскихъ протестантовъ см. Schnurrer, Slawischer Bücherdruck in Würtemberg im XVI Jahrh. Tübingen 1799; Добровскаго, Slavin и Копитара, Хорут. грамматику; также Arkiv za pov. jugosl. 1,142 слѣд.

переводамъ; впослѣдствіи издана была и цѣлая библія (1584). При этомъ долженъ былъ конечно явиться и неизбѣжный вопросъ объ орѳографіи; мы уже сказали, что первые послѣдователи Трубера расходились съ нимъ въ системѣ языка и правописанія. Первую грамматику написалъ ученый Адамъ Богоричъ (Виттенб. 1584) ученикъ Меланхтона [4]).

Но эта протестантская жизнь не долго удержалась у хорутанскихъ Славянъ и Хорватовъ. Въ первой половинѣ 17-го столѣтія, римскіе католики, поддерживаемые деспотическими мѣрами эрцгерцога, а потомъ императора Фердинанда II, взяли окончательно верхъ надъ приверженцами реформы. Начала свою дѣятельность «Reformations-Commission in Krain», занимавшаяся возстановленіемъ католичества, и дѣла перемѣнились. Всѣ евангелическіе проповѣдники и всѣ, кто не хотѣлъ отказаться отъ протестантизма, были изгнаны, имѣнія ихъ конфискованы, люблянская типографія уничтожена—книги были сожигаемы іезуитами... Съ этихъ поръ начинается *католическій* періодъ словинской литературы, обнимающій 17-е и 18-е столѣтія. Въ теченіи 17-го столѣтія католическое духовенство только изрѣдка издавало на народномъ языкѣ книги чисто религіознаго и поучительнаго содержанія. Намъ достаточно назвать имена: ревностнаго католика епископа Грена (Chrön, Hren, +1630), подъ наблюденіемъ котораго изданъ переводъ евангелія; Кастеллеца (Matija Kastelec, Castellez, Kasteliz); Янежа Керстника (Janez Kerstnik od S. Križa, Jo. Baptista a S. Cruce); тупаго грамматика капуцина Ипполита (+1722); Пагловица (1690—1740) и др. Начинаетъ, еще въ 17-мъ столѣтіи, показываться и ученая дѣятельность, но языкомъ ея былъ латинскій и нѣмецкій; такими учеными были І. Л. Шёнлебенъ (+1681) и особенно Вальвасоръ (+1693), стоявшіе поэтому внѣ развитія національной литературы.

Истребленіе реформаціи было тяжелымъ ударомъ для хорутанской народности; съ побѣдой католицизма беретъ верхъ и нѣмецкое вліяніе. Когда для высшихъ классовъ нѣмецкій языкъ становился языкомъ образованія, и когда народный языкъ предоставлялся неразвитой массѣ, — литература не могла имѣть большаго успѣха. Только въ послѣднее время, когда у всѣхъ Славянъ обнаружились попытки самобытной національной дѣятельности, хорутанскій народъ нашелъ также нѣсколькихъ защитниковъ своей національности. Словинскія книги стали появляться чаще со второй половины 18-го столѣтія, и литература уже начинаетъ оставлять свою прежнюю исключительно религіозную точку зрѣнія, хотя все еще остается главнымъ образомъ въ рукахъ духовенства. Новый періодъ ея начинаютъ съ патера Марка Поглина (1735—1801), который сталъ издавать книжки для народа

[4]) Заглавіе этой грамматики: Arcticae horulae succisivae de Latino-Carniolana litteratura, ad Latinae linguae analogiam accommodata, unde Moshoviticae, Rutenicae, Polonicae, Boemicae et Lusaticae linguae cum Dalmatica et Croatica cognatio facile deprehenditur и проч. Разборъ ея см. у Добровскаго, Slavin 1834, стр. 11—22, 124—145.

и распространилъ кругъ читателей; его послѣдователями и сотрудниками были Юрій Япель (1744—1807), Блажъ Кумердей, Антонъ Лингартъ (1758—1795), нѣмецкій историкъ Крайна и словинскій писатель, и въ особенности монахъ-поэтъ Валентинъ Водникъ (1758—1819). Водникъ одинъ изъ первыхъ съ наибольшимъ успѣхомъ сталъ вводить въ литературную дѣятельность народный языкъ, и какъ многіе писатели славянскаго возрожденія, соединялъ трудъ поэтическій съ трудомъ изслѣдователя своей народности. Многія изъ его пѣсенъ стали народными. Въ 1809 онъ писалъ свои воинственныя пѣсни (pesmi sa brambovze) для словинскаго ополченія; но когда «Иллирія» отошла къ Франціи, появилась его «Ilirija oživljena», въ которой высказались его національно-патріотическія надежды народной цѣлости и свободы и которая послѣ навлекла на него преслѣдованія австрійскаго правительства. Водникъ есть вообще замѣчательнѣйшая личность словинской литературы, которая начинаетъ съ его дѣятельности свой новѣйшій періодъ. Въ этомъ новомъ періодѣ извѣстны литературной обработкой языка и поэтическими трудами въ особенности епископъ Матеужъ Равникаръ, Петръ Даинко, Урбанъ Ярникъ, Якобъ Зупанъ, Миха Кастеличъ (его Krajnska Zhbeliza, 1830) и замѣчательнѣйшій изъ новыхъ хорутанскихъ поэтовъ Францъ Прешернъ. Народныя пѣсни этого племени собирали всего лучше Станко Вразъ, Корытко († 1839; Slovenske pèsmi krajnskiga naróda, Лайб. 1839—42, 4 вып.), Ант. Янежичъ [5]) и другіе.

Извѣстное нравственное вліяніе имѣли въ новой дѣятельности словинскихъ писателей и труды знаменитаго Копитара; но труды его, какъ и труды его ученика и единоплеменника Фр. Миклошича, всѣ писаны по нѣмецки и по латыни и потому не имѣютъ непосредственнаго мѣста въ хорутанской литературѣ, тѣмъ больше, что содержаніе ихъ—отвлеченная филологія и археологія.

Нѣсколько книгъ имѣетъ и родственное хорутанскому нарѣчіе штирско-словинское въ западной Венгріи,—между этими Словинцами остались единственные слѣды прежняго хорутанскаго протестантства. Ихъ нарѣчіе приближается съ другой стороны къ словацкому, такъ что можетъ считаться соединительной нитью между языками западнаго и восточнаго славянства. «Новый Завѣтъ» переведенъ былъ на это нарѣчіе Степаномъ Кюзьмичемъ (Stevan Küzmics: Nouvi Zakon и пр., Галле 1771, Спб. 1818).

Въ настоящее время хорутанское нарѣчіе поставлено въ литературѣ едва ли не хуже всѣхъ славянскихъ нарѣчій. Это немногочисленное и раздѣленное племя не имѣетъ достаточно силы, чтобы образовать свою самостоятельную литературу и все еще однако держится отдѣльно отъ сосѣднихъ Хорватовъ, которые могли бы служить для него поддержкой. Вся литература Хорутанъ ограничивается только случайными книжками, кален-

5) A. Janežić, Cvetie Slovanskega naroda, кн. 1-я. Целовецъ 1852.

дарями и альманахами, которые представляются постороннему наблюдателю «послѣдними вспышками затухающаго огня». Кажется ни одно славянское племя Австріи не обнѣмечивается и не истощается такъ быстро, какъ хорутанское. Страсть къ національной особности грозитъ стать для него причиной окончательнаго паденія... «Въ послѣднія десять лѣтъ, — замѣчаетъ о хорутанскомъ народѣ новѣйшій путешественникъ, негодующій противъ Нѣмцевъ, — германизація пустила такіе глубокіе корни, что не въ городахъ уже только, а въ *селахъ* и *деревняхъ* не трудно бываетъ встрѣтить Словинцевъ или забывшихъ языкъ свой, или на половину, если не болѣе, примѣшивающихъ къ нему словъ нѣмецкихъ. Въ молодомъ поколѣніи нѣмецкій языкъ сталъ модою... Теперь нѣтъ больше и неудовольствія на отсутствіе языка роднаго во всѣхъ общественныхъ учрежденіяхъ, а этимъ еще больше дана возможность спѣшить поскорѣе устранять и то, что еще осталось изъ туземнаго, напоминающаго о народности» [6]).

5. НОВАЯ СЕРБСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

Возрожденіе литературы у Сербовъ православныхъ почти совпадаетъ съ политическимъ возрожденіемъ Сербовъ, но тѣмъ не менѣе явилось независимо отъ него: свобода Сербіи поддержала впрочемъ это явленіе, — и дало возрождающемуся образованію Сербовъ силу и обезпеченность развитія, какихъ до сихъ поръ еще не имѣетъ подневольный народъ болгарскій. Возрожденіе сербской литературы, съ другой стороны, совпадаетъ съ возрожденіемъ чешской литературы, — и то, и другое было фактомъ пробуждающагося славянскаго сознанія, которое потомъ сформировалось въ цѣлый особый порядокъ идей, получившій названіе панславизма.

Мы видѣли, что покореніе православной Сербіи окончательно порвало всякую возможность литературной жизни. Внѣшнія бѣдствія не давали даже и матеріальныхъ способовъ образованія и первые признаки обновленія націи являются очень естественно у православныхъ сербскихъ переселенцевъ въ Австріи. Побужденіе къ давно прерванной литературной дѣятельности явилось у нихъ естественно, когда въ среду ихъ начало проникать образованіе, существовавшее въ ихъ обстановкѣ; и естественно также, что первыя изданныя книги, порожденныя этими обстоятельствами, могли не совсѣмъ соотвѣтствовать тому положенію, въ которомъ находилась вся масса народа, и ея потребностямъ. Еще въ 1742 г. Жефаровичъ издалъ

[6]) Русское Слово 1861, кн. I, стр. 28. Д-ръ Клунъ защищаетъ словинскій языкъ отъ подобныхъ нареканій, хотя сознается, что около Лайбаха народный языкъ уже крайне испорченъ: „не слѣдуетъ однако — прибавляетъ онъ — судить о словинскомъ языкѣ по тѣмъ ужасающимъ уродливостямъ (abschreckende Verunstaltungen), какія напр. приходится слышать въ Лайбахѣ, гдѣ пестро перемѣшаны нѣмецкія и даже итальянскія слова съ славянскими окончаніями, или славянскія слова съ нѣмецкими окончаніями, и гдѣ все это производитъ такое смѣшеніе языковъ, что одинъ сатирикъ остроумно противопоставлялъ эту „iblauska Špraha“ и настоящій „Slovenski jezik“. (Oesterr. Revue 3,82).

генеалогическую «Стемматографію», д-ръ Янковичъ въ 1787 — физическое сочиненіе объ испареніи воды въ воздухѣ, Ст. Раичъ — «Разсужденіе о недостаткахъ воспитанія» (1794); Терлаичу (1766—1811), секретарю русскаго посланника кн. Голицына принадлежатъ книжки: «Идея, или мужеская и женская добродѣтель» (съ нѣм. 1793, Вѣна) и «Нума Помпилій» (Пестъ 1801), и т. п. Ясное дѣло, что подобныя книжицы не особенно были нужны народу, большинство котораго было притомъ совершенно безграмотно и который для начала нуждался бы въ вещахъ болѣе вразумительныхъ и нужныхъ, чѣмъ Нума Помпилій или книжка объ испареніи воды.

Эти книжки были тѣмъ менѣе доступны народу, что писались на особомъ языкѣ, представлявшемъ испорченный церковный языкъ съ сербскими примѣсями. Въ силу той литературной общности, какая соединяла православныхъ Славянъ въ старомъ періодѣ и доставляла произведенія болгарскія и сербскія Русскимъ, теперь Сербы и Болгары въ свою очередь пользовались книгами, доходившими къ нимъ изъ Россіи. Книги эти были почти исключительно церковныя, съ тѣми формами старо-славянскаго языка, какія получилъ онъ въ средневѣковую пору русской письменности. Вмѣстѣ съ языкомъ церковныхъ книгъ, до нѣкоторой степени пріобрѣталъ извѣстность и русскій языкъ: вліяніе его уже замѣтно у западно-сербскаго исправителя глаголическихъ книгъ Карамана (см. выше), и теперь еще болѣе естественно было у Сербовъ православныхъ, которыхъ связи съ Русскими были конечно гораздо ближе. Языкъ церковныхъ книгъ былъ впрочемъ знакомъ Сербамъ только грамотнымъ, читавшимъ много славянско-русскихъ книгъ: для народа онъ былъ непонятенъ въ той же степени, какъ церковный языкъ непонятенъ массѣ и у насъ. Замѣчательнѣйшимъ изъ писателей, употреблявшихъ этотъ смѣшанный языкъ, былъ архимандритъ І. Раичъ (1726—1801), родомъ изъ Карловца, получившій свое высшее образованіе въ Кіевѣ и усвоившій себѣ языкъ нашихъ церковныхъ писателей. Изъ его сочиненій всего больше извѣстна его «Исторія разныхъ славенскихъ народовъ, наипаче же Хорватовъ, Болгаровъ и Сербовъ» (Вѣна, 1792—95, въ 4 т.); ему принадлежатъ также «Проповѣди», переведенныя или лучше сказать переложенныя съ русскаго (1794, 3 ч.), «Цвѣтникъ» (1802) и др. Осталось много и другихъ его сочиненій, между прочимъ духовныя пѣсни, которыя не были изданы. Какъ ни мало было въ этихъ и выше названныхъ нами книгахъ того, что̀ именно было нужно для начинающагося народнаго образованія, эти книги имѣли чрезвычайный успѣхъ. «Народъ,—чему едва можно повѣрить, — принялъ эти сочиненія, которыхъ не понималъ ни по содержанію, ни по языку, съ безграничной любовью и считалъ ихъ сокровищемъ націи; у кого была какая нибудь изъ нихъ, тотъ сохранялъ ее, какъ сивильскую книгу» [1]). Такъ говоритъ сербскій писатель, которому мы можемъ вполнѣ повѣрить, —и этотъ горячій пріемъ первыхъ появившихся

[1]) Subbotić, Grundzüge, стр. 8.

книгъ объясняется инстинктивнымъ ожиданіемъ образовательнаго развитія, цѣна котораго бываетъ понятна для свѣжаго народа. Если писатели такъ неудачно выбирали предметы для своего литературнаго труда, это объясняется и новостью дѣла, и тѣмъ, что истинная дорога народнаго писателя угадывается только талантомъ или по крайней мѣрѣ близкимъ, на себѣ испытаннымъ, сознаніемъ народной потребности.

Представителемъ такого сознанія является весьма замѣчательный и оригинальный человѣкъ, съ котораго собственно и беретъ свое начало новая сербская литература. Это былъ Досиѳей Обрадовичъ (1739—1811), родомъ изъ австрійскаго Баната. Обрадовичъ пошелъ сначала въ монастырь, но любознательность, чисто народнаго свойства, заставила его бросить монастырь и сдѣлала на десятки лѣтъ странникомъ; онъ исходилъ южныя земли, былъ въ Турціи, Греціи, Малой Азіи, потомъ въ Италіи, Германіи, Польшѣ, Лифляндіи, слушалъ лекціи въ Галльскомъ университетѣ, посѣтилъ Францію и Англію, и наконецъ поселился въ Сербіи, гдѣ былъ наконецъ сенаторомъ, главнымъ начальникомъ школъ и воспитателемъ дѣтей Кара-Георгія. Будучи въ Лейпцигѣ, онъ нашелъ у Брейткопфа въ типографіи кирилловскія буквы, и это дало ему мысль издать свой *Животъ* (жизнь) *и приключенія* (1783). Затѣмъ онъ напечаталъ *Совѣты здраваго разума*, въ 1788 свои *Басни*, въ 1789 *Собраніе разныхъ нравоучительныхъ вещей*. По его смерти, Соларичъ издалъ его «Мезимца»; затѣмъ сочиненія его изданы были въ Бѣлградѣ 1833, *Дамашнія письма*—тамъ же 1845. Второе изданіе сочиненій вышло въ 1850 («Сва дѣла», въ 10 кн., въ Новомъ-Садѣ). Великая заслуга Обрадовича состоитъ въ томъ, что онъ первый понялъ и указалъ на дѣлѣ, какъ и что слѣдовало писать для сербскаго народа. Вышедши самъ изъ народа, онъ всегда остался близокъ къ народной точкѣ зрѣнія, зналъ народныя нужды и недостатки, и понимая, съ чего нужно начать развитіе народныхъ понятій, сталъ говорить тѣмъ языкомъ, который былъ прямо и непосредственно доступенъ для массы. Въ томъ положеніи дѣла, какое было во второй половинѣ прошлаго столѣтія, не было другаго исхода: народъ не понималъ церковнаго языка, и чтобы дѣйствовать на него, нужно было говорить его языкомъ, да и не то, что онъ могъ найти въ своихъ старыхъ книгахъ. Обрадовичъ дѣйствовалъ въ этомъ случаѣ вполнѣ сознательно. Правда, въ его языкѣ есть еще остатки старой манеры, но въ цѣломъ онъ былъ безъ сомнѣнія народенъ, какъ ни одинъ изъ его предшественниковъ. Дѣло не обошлось безъ противорѣчій. Въ своихъ «Совѣтахъ здраваго разума» Досиѳей Обрадовичъ разсказываетъ, между прочимъ: «когда мой игуменъ увидѣлъ, что я держу въ рукѣ книжку, напечатанную гражданскими буквами, то прямо сказалъ мнѣ, что если я не буду остерегаться такихъ книгъ, то потеряю и тѣ крохи разума, какія есть. Развѣ ты не видишь (говорилъ игуменъ), что въ этой книгѣ половина латинскихъ буквъ, и развѣ ты не знаешь, что всякая книга, въ которой есть хоть одна латинская буква, проклята, и что съ тѣхъ поръ,

какъ начали выходить такія книги, люди начали ѣсть улитокъ... Свѣтъ могъ бы стоять нѣсколько сотъ лѣтъ дольше, если бы вы такими книгами не привели его на край погибели». Въ своихъ письмахъ и автобіографіи этотъ оригинальный человѣкъ разсказываетъ любопытную исторію своихъ странствій и своихъ патріотическихъ стремленій. Онъ все больше убѣждался въ необходимости науки для своего народа, горевалъ о его невѣжествѣ и рабствѣ, мечталъ объ его освобожденіи отъ ига и соединеніи въ одну крѣпкую землю. Это былъ прямой и непосредственный начинатель сербскаго возрожденія [2]). Начало было очень трудно, но не смотря на про-

[2]) Вотъ нѣсколько выдержекъ, рисующихъ отчасти характеръ этого простодушнаго христіанскаго моралиста и искренняго патріота.

Въ „правоученіи" къ баснѣ: „Ластавица и проче птице", Доси‍ѳей Обрадовичъ разсказываетъ, — замѣтимъ, въ 80-хъ годахъ прошлаго столѣтія:

„Я самъ различне націе желіо и искао познати; а на властито нашу Славено-Сербску одъ Баната до Албаніе. У Сербіи, у Босни, у Славоніи, у Далмаціи и Ерцеговини, свуда э у селяни ови кралѣвства, характерь во обще еднакъ; као дасу, како и есу, една фамилія. Гди годъ добро стое, ту су великодушни, страннолюбиви, мужественни, пощени (почтенны), на добро склонни, и здравимъ то есть общимъ человѣческимъ разумомъ одарени; а притомъ и трудолюбиви. Гди се годъ изметьу себе у комшилуку мрзе, то по найветьой части происходи изъ тога, що су неки греческога и неки римскога закона и наричу едни друге съ коекакви ружни и презрителними именами; први фторе зову, или шокци или буніевци или римци или латини. А ови оне, власи, ркатьи и шизматици: А честно, свето и братско име хрістяни то свакъ само за се држи; или ако кадъедна страна другу назове крштьани, или риштьани (христіане), то се за особиту милость и учтивость твори и држи; и по несретьи (несчастью) врло редко бива"... Этого бы не было, замѣчаетъ онъ, если бы священство съ обѣихъ сторонъ было „добровоспитано"; оно открыло бы народу очи и объяснило бы ему святую евангельскую науку любви и мира. И теперь мы уже видимъ милость промысла: турецкая власть падаетъ, а христіанская вездѣ возвышается. „Сербія, Босна и Ерцеговина избавитьесе съ временомъ одъ турака и ослободити: али, ако народь у овимъ землямa не почне отресати одъ себе суевѣріе и неизкорени ону древню и богомрску вражду и мрзость за законъ (религіозную вражду); они тьеду сами себе бити турци и мучители". (Басне, Лейпц. 1788, стр. 305—6).

Изъ этого видно, что Доси‍ѳей Обрадовичъ понималъ вещи весьма разумно, какъ многіе не понимаютъ ихъ и до сихъ поръ.

Въ автобіографіи Обрадовичъ разсказываетъ, какъ мечталъ онъ въ молодости объ ученьѣ и какъ онъ собирался для этого въ Россію. Одинъ умный старецъ-монахъ, хотя самъ неученый — по имени Ѳедоръ Милутиновичъ — убѣждалъ его предпочесть науку калугерству (монашеству).

„Колико самь я прость и неучень—говорилъ этотъ старецъ — мені е миліе видити ученогь младога Раича, него четири вселѣнска патріарха, кои би били без Науке као я, видио си га како е младь и без браде; али кадь стане беседити, ми сви с великимь брадама гледамо га као дасмо из дивіегь вилаета дошли... Вѣруй ми, мой синко! кадь годь чуемь младога Раича да беседи, уздишемь за моіомь младоштьу и да имамь какву власть, све би ове наше манастире у школе и у училища преобратіо. За то послушай ти мой последни совѣть: извади из главе то твое светиниченѣ; я ти задаемь мою србску вѣру да из тога нетье нища бити (ничего не выдетъ); тражи науку и гладуютьи, и жеднетьи, и наготуютьи. Я ти више желимь, да у едномь маломь сеоцу будешь мале деце учитель него у Опову игумань или архімандрить..."

Этотъ старецъ прославлялъ Петра Великаго, который ввелъ науки въ свое царство и чрезъ то пріобрѣлъ себѣ безсмертное имя „паче всѣхъ земледержцевъ", и просилъ Бога, чтобы онъ чаще производилъ на свѣтъ такихъ „человѣколюбивыхъ цезарей и цезарицъ", которые бы могли „сву Европу, Сербію, Босну и Херцеговину, наши стари мило отечество, Болгаріу, Греціу и остале божіемъ раю подобне землѣ од Тиранства Глупости и Варварства избавити и освободити."

Эти мнѣнія перенялъ отъ почтеннаго старца и Доси‍ѳей. Въ своей автобіографіи онъ разсказываетъ о томъ, какія возраженія встрѣчала его дѣятельность, будто нарушавшая народную старину понятій,—и восклицаетъ: „За що да не почнемо разумно и

тиворѣчія, дѣло Обрадовича имѣло полный успѣхъ; книга, писанная народнымъ языкомъ, всякому знакомымъ, по своему легкимъ и выразительнымъ, была новостью и настоящей радостью для народа: у кого была книжка Обрадовича, тотъ берегъ ее какъ драгоцѣнность.

Вліяніе Обрадовича оказалось и на языкѣ и на содержаніи книгъ, которыя писались съ тѣхъ поръ у Сербовъ: языкъ славянскій окончательно потерялъ свое господство, и если не исчезъ изъ книги совершенно (онъ имѣлъ своихъ защитниковъ до послѣдняго времени, какъ языкъ возвышеннаго слога), то по крайней мѣрѣ сильно смѣшался съ сербскимъ и даже подчинился ему; съ другой стороны, въ содержаніи книгъ обнаруживалось больше вниманія къ народнымъ потребностямъ и степени народнаго пониманія. Такимъ образомъ, хотя все еще выходятъ книги въ родѣ «Нумы Помпилія», Циммерманова «Уединенія» (пер. Соларича 1809) и т. п., но есть и книги съ практической пользой для народа, какъ напр. «Цвѣтникъ» (сборникъ разсказовъ) упомянутаго Раича, «Катихизисъ здравія» П. Хаджича, «Секретарь» т. е. письмовникъ Стойковича (†1830, профессоромъ въ Харьковѣ), географія Соларича (его же: «Поминакъ книжескій» 1810 и «Римляни славенствовавшіе» 1818) и т. п. Сталъ развиваться и интересъ поэтическій: Алекс. Везиличъ уже въ 1788 издалъ книжку «О спокойной жизни»; І. Раичъ — сатирическое стихотвореніе «Бой змѣя съ орломъ» (Вѣна 1791) и въ 1798 трагедію «Урошъ»; упомянутый Стойковичъ написалъ два романа въ тогдашнемъ вкусѣ. Но самое замѣтное мѣсто въ этой поэтической литературѣ той поры принадлежитъ Миловану Видаковичу (1779 — 1841). Видаковичъ, родомъ изъ Сербіи, былъ профессоромъ гимназіи въ Новомъ-Садѣ и написалъ много романовъ, имѣвшихъ большой успѣхъ въ сербской публикѣ, напр. «Усамлѣни юноша» (Одинокій юноша 1810, 1852), «Любомиръ въ Элизіумѣ или Светозаръ и Драгиня» (1814, 1817, 1823, 1857—58, 3 части); «Касія царица» 1827; «Силоанъ и Милена» 1829 и др.; въ стихахъ написалъ онъ: «Исторію о прекрасномъ Іосифѣ», «Молодаго Товію», «Путь въ Іерусалимъ». Не смотря на то, что въ языкѣ его было еще много славянской примѣси, онъ читался очень жадно и имѣлъ большое вліяніе

свободно као словесни люди мислити? За що да не дрзнемо и да се неусудимо полезніе неполезніему предьпочитавати? Доклетье сродни наши у старой простоти лежати?.. Защо, како се що почне противь стари, плесниви и зартьати обичая чинити нама да вичу: пропадосмо! пропаде православіе... Отье ли православіе пропасти ако не буде вѣровати да има вампира, да има вещица, да има врачарица, и по воздуху митарства?... Отье ли що найманѣ вреда благочестію и православію бити, ако калугера настане, кои нису ничимь, развѣ црнимь, алинама неженидбомь и именомь калугери? Не били много полезніе и болѣ било и за православіе и за народъ, да се сви манастири у школе и у училища преобрате?.. Правда и истина може ли православію бити противна?.. За що смо друго примили одь Бога разумь и словесность развѣ да се шнима служимо всегда, мислетьи и разсуждаваютьи?.. (Животь и приключенія Димитріа (Досвѳеа) Обрадовича, Лейпц. 1783, стр. 109 — 120).

Такимъ образомъ въ Обрадовичѣ начало національной дѣятельности очевидно связывается съ вліяніемъ европейскаго образа мыслей.

въ своей литературѣ: онъ создалъ сербскую читающую публику, и въ позднѣйшихъ писателяхъ остались замѣтные слѣды его манеры.

Уже во второмъ десятилѣтіи нынѣшняго вѣка явился въ сербской литературѣ замѣчательный дѣятель, вліяніе котораго дало ей новую силу въ изученіи народныхъ элементовъ. Это былъ знаменитый Вукъ Стефановичъ Караджичъ (1787 — 1864). Вукъ родился въ турецкой Сербіи и перешелъ въ Австрію съ остатками арміи Георгія Чернаго. Все его образованіе состояло въ умѣньѣ читать и писать, но, человѣкъ очень умный, онъ владѣлъ обширнымъ знаніемъ народнаго характера, преданій и произведеній народной словесности, и это знаніе доставило сербской литературѣ великолѣпные результаты въ многочисленныхъ сборникахъ пѣсенъ, сказокъ, пословицъ и проч. Въ 1814 Вукъ издалъ свое первое собраніе народныхъ пѣсенъ (двѣ части), размноженное впослѣдствіи до четырехъ томовъ. Пѣсни Вука обратили на себя европейское вниманіе. Въ то время, когда европейскія литературы доискивались въ романтизмѣ непосредственности и народности, когда съ любовью раскапывались преданья средневѣковой поэзіи, пѣсни Сербовъ представили невиданный и превосходный образчикъ чисто народнаго эпоса, не испорченнаго никакими внѣшними примѣсями. Успѣхъ сербскихъ пѣсенъ долженъ былъ отразиться и въ литературѣ расширеніемъ національнаго сознанія народа, который былъ авторомъ этихъ пѣсенъ, и установленіемъ литературнаго языка. Въ томъ же, 1814, г. Вукъ издалъ вмѣстѣ съ пѣснями свою грамматику, и затѣмъ началъ цѣлый рядъ трудовъ, посвященныхъ изученію языка и народной поэзіи. Чтобы вѣрнѣе изучить свой матеріалъ, Вукъ сдѣлалъ нѣсколько путешествій по Сербіи, Срему, Славоніи, Кроаціи, Далмаціи и Черной Горѣ. Въ 1818 онъ издалъ свой «Српски Рјечник» (другое, болѣе обширное изд. Вѣна 1852), потомъ повторялъ изданія пѣсенъ, постоянно расширяя ихъ объемъ; съ 1826 издалъ нѣсколько выпусковъ альманаха «Даница» (Денница), съ любопытными матеріалами по сербской исторіи и языку; въ 1836 напечаталъ «Српске народне пословице» (2-е изд. Вѣна 1849), переводъ Новаго Завѣта (Вѣна 1847); въ 1852 издалъ «Српске народне приповиjетке» (сказки), наконецъ нѣсколько другихъ мелкихъ статей и книжекъ... Всѣ эти изданія были несомнѣнно важнымъ пріобрѣтеніемъ для сербской литературы и для славянскаго изученія, которое съ третьяго десятилѣтія нынѣшняко вѣка стало сильнымъ орудіемъ въ нравственной и литературной жизни западнаго славянства. Но если съ одной стороны Вукъ оказалъ огромную услугу сербской литературѣ, то съ другой онъ сдѣлался причиною раздѣленія и безплодныхъ споровъ. Поводомъ къ этому было новое, изобрѣтенное Вукомъ, сербское правописаніе. Подъ вліяніемъ ученаго Копитара, о которомъ мы будемъ говорить впослѣдствіи, Вукъ изобрѣлъ новый сербскій алфавитъ, который окончательно разрывалъ съ тѣмъ славянско-русскимъ преданіемъ, которое, какъ мы видѣли, удерживалось у Сербовъ, не смотря на возвращеніе къ народному языку со временъ Обрадовича. Вукъ требовалъ, чтобы въ литературѣ господствовалъ чисто-народный

языкъ съ его оборотами и звуками, и изгналъ изъ своего правописанія все, въ чемъ держалась еще аналогія съ языкомъ русскимъ; люди, сочувствующіе Вуку, думаютъ, что онъ зашелъ слишкомъ далеко въ своихъ требованіяхъ народности языка (Subbotić, Grundz., 29), хотя находятъ это совершенно естественнымъ, какъ послѣдовательное увлеченіе ново-найденнымъ принципомъ, — но противники Вука (главнымъ образомъ въ княжествѣ) сдѣлали Вуку преступленіе изъ его правописанія. Въ нарушеніи господствовавшей азбуки они видѣли нарушеніе славянской (православной) традиціи и приближеніе къ латинскому алфавиту, съ которымъ нераздѣльно понимается католичество. Эти противники Вука, сначала осмѣянные какъ старовѣры и педанты, удержались однако, и книги, печатающіяся въ Австріи для православныхъ Сербовъ, продолжаютъ сохранять старую ороографію. Одинъ изъ извѣстныхъ сербскихъ писателей, Давидовичъ, бывшій секретаремъ князя Милоша, побудилъ Милоша наложить запрещеніе на книги, печатанныя по способу Вука (1833); это запрещеніе было повторено въ 1849. Подозрительность нашла себѣ оправданіе, когда Вукъ въ 1847 издалъ свой переводъ Новаго Завѣта на сербскій народный языкъ: въ числѣ разныхъ ошибочныхъ истолкованій нашли одно, приписывавшее апостолу Петру высшую власть надъ другими апостолами; стало также извѣстно, что изданіе сдѣлано было на деньги римской пропаганды.—Это нововведеніе въ ороографіи стало такимъ образомъ причиной раздора и горячей полемики, долго и безплодно занимавшей сербскихъ писателей. Вукъ до сихъ поръ имѣетъ жестокихъ враговъ въ тѣхъ людяхъ, которые приписываютъ его ороографическимъ нововведеніямъ религіозную и политическую тенденцію, и изъ за нея не хотятъ признать въ трудахъ Вука и того, что въ нихъ есть дѣйствительно важнаго.

Въ одно время съ Вукомъ началась дѣятельность Димитрія Давидовича (род. 1789 въ Землинѣ, съ 1821 секретарь князя Милоша). Онъ сталъ дѣйствовать на развитіе литературы посредствомъ газеты, которую онъ издавалъ съ 1814 до 1821; вмѣстѣ съ газетой онъ издавалъ и альманахъ,— въ этихъ изданіяхъ сосредоточилась вся литературная жизнь того времени: здѣсь печатались стихотворенія, статьи историческія, критическія и полемическія. Около Давидовича собрался кружокъ, въ которомъ соединялись лучшіе представители литературной дѣятельности, составившіе себѣ большую славу у сербскихъ читателей: между ними былъ напр. шишатовецкій архимандритъ, потомъ епископъ, Мушицкій и Милошъ Светичъ. Лукіанъ Мушицкій (1777—1837) есть одно изъ самыхъ знаменитыхъ именъ сербской литературы: при жизни онъ издалъ только немногія изъ своихъ стихотвореній, но и они уже доставили ему великую славу у соотечественниковъ; онъ имѣлъ также значительное вліяніе на развитіе литературной предпріимчивости. Въ 1819 онъ издалъ «Гласъ шишатовацкой арфы», въ 1821 «Гласъ народолюбца»: его стихотворенія (оды) были собраны уже по его смерти въ Новомъ-Садѣ 1838—48, въ 4 кн. Мушицкій произвелъ сильное впечат-

лѣніе и имѣлъ множество, впрочемъ неудачныхъ, подражателей: въ его талантѣ впервые видѣли истинно поэтическую силу, направленную на сюжеты чисто національные. Мушицкій создалъ въ сербской литературѣ національную оду, прославлявшую языкъ, вѣру и героевъ Сербіи. Въ языкѣ его одъ сначала слышалось вліяніе славянской манеры, но потомъ онъ стремился дать ему болѣе народный колоритъ. Но вліяніе Мушицкаго совершалось въ ограниченныхъ предѣлахъ: съ одной стороны его поэзія слишкомъ была привязана къ случайнымъ обстоятельствамъ дня, съ другой она облекалась въ классическія формы, которыя хотя и удавались автору, но во всякомъ случаѣ не были лучшей формой для сербской поэзіи. Нѣсколько позднѣе его выступилъ на литературное поприще Милошъ Светичъ (псевдонимъ І. Хаджича, род. 1799): въ 1821 онъ издалъ свое первое поэтическое произведеніе «Отзывъ молодаго серба на Голосъ шишатовацкой арфы», въ 1827—переводъ Горація De arte poetica и другія стихотворенія; наконецъ онъ извѣстенъ трудами историческими и филологическими (его «Дѣла» изданы въ Карловцѣ 1858).

Вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ сербская литература пріобрѣтала больше сознательности, она стала больше заботиться и объ элементарныхъ потребностяхъ народа. Точно также, какъ новая болгарская литература, она получаетъ характеръ педагогическій, наполняется руководствами и популярными книгами. Во второмъ и третьемъ десятилѣтіи число этихъ книгъ сравнительно съ прежнимъ, очень возрастаетъ. Вуичъ переводитъ «Естествословіе» (ест. исторію) и «Робинзона» Кампе; Ст. Живковичъ переводитъ приключенія Телемака; Боичъ пишетъ «Памятникъ» славныхъ сербскихъ людей; П. Атанацковичъ переводитъ «Тысячу и одну ночь», Юрій Магарашевичъ (род. 1792, былъ профессоромъ въ Новомъ-Садѣ) пишетъ новую европейскую исторію и переводитъ «Жизнь Наполеона»; наконецъ издаются руководства географіи, физики, всеобщей исторіи, рекомендуется «Новооткрытая школа добродѣтели» и т. п. Этимъ пока и удовлетворялась простодушная и еще невзыскательная публика.

Матеріальныя средства начинавшейся литературы были чрезвычайно незначительны; читающій кружокъ былъ невеликъ и небогатъ,—такъ что успѣхъ дѣла существенно зависѣлъ отъ облегченія изданія книгъ и распространенія ихъ въ публикѣ: нужно было наконецъ и обезпеченіе литературнаго труда. Всѣмъ этимъ потребностямъ стремилось удовлетворить учрежденіе, основанное въ 1825 г. подъ названіемъ *Сербской Матицы* и представлявшее родъ литературной компаніи на акціяхъ, дивидендомъ которыхъ служатъ книги. Матица основана была упомянутымъ І. Хаджичемъ, вмѣстѣ съ Мушицкимъ, Магарашевичемъ и П. І. Шафарикомъ, въ Пестѣ. Въ первое время Матица имѣла немного средствъ, но уже успѣла поддержать *Сербскую Лѣтопись*, журналъ Юрія Магарашевича, посвященный изученію сербской народности. По смерти Магарашевича изданіе «Лѣтописи» продолжалось подъ редакціей Хаджича, и др., и съ 1850 подъ редак-

ціей І. Субботича, одного изъ извѣстныхъ новыхъ писателей. Успѣхъ Матицы былъ весьма значителенъ: въ послѣднее время капиталъ ея доходилъ до 120.000 флориновъ, такъ что она стала самымъ богатымъ изъ славянскихъ литературныхъ обществъ въ Австріи. Въ тридцатыхъ годахъ дѣятельность ея стала впрочемъ падать и не удовлетворяла ожиданіямъ,— но вліяніе ея во всякомъ случаѣ было очень полезно, потому что она въ первый разъ установила матеріальныя отношенія литературы. Другимъ вліяніемъ Матицы было распространеніе повременныхъ изданій; по примѣру «Лѣтописи» явились потомъ «Геликонъ» П. Стойшича, Банатскій альманахъ Д. Тирола, «Ружица» А. Николича, «Сербская Пчела» (1830 — 41) священника П. Стаматовича, бѣлградская «Голубица» (1839 — 44) М. Светича и т. д.

Замѣчательнѣйшимъ изъ поэтовъ этого времени былъ Симеонъ Милутиновичъ (род. въ Сараевѣ, въ Боснѣ, 1791 — 1848), одинъ изъ дѣятельнѣйшихъ сербскихъ писателей. Милутиновичъ получилъ свое высшее образованіе въ Германіи и въ 1826 издалъ свою *Сербянку*, съ которой и начинается его поэтическая репутація: въ этомъ циклѣ эпико-лирическихъ пѣсенъ онъ воспѣваетъ освобожденіе Сербіи. Поэма произвела чрезвычайное впечатлѣніе, превзошла въ этомъ отношеніи даже оды Мушицкаго, впрочемъ успѣхъ былъ недолговременный и ограничивался литературнымъ кружкомъ. Въ поэмѣ есть истинное поэтическое вдохновеніе и фантазія, но внѣшняя обработка ея слишкомъ искусственна и потому тяжела,—такъ что поэма недоступна простому читателю: нѣмецкая литература оставила здѣсь свой слѣдъ,—въ Сербянкѣ находятъ именно вліяніе Виланда и Рамлера. Сербскіе критики не сомнѣваются, что «Сербянка» была бы совсѣмъ инымъ, и лучшимъ произведеніемъ, если бы Милутиновичъ остался самъ собой и не насиловалъ поэзіи на ладъ чужой школы. Это конечно справедливо относительно «Сербянки», но во всякомъ случаѣ только школа могла дать сербскимъ писателямъ извѣстную самостоятельность, которую отмѣчаютъ въ нихъ съ этого времени ихъ критики; съ этой самостоятельностью соединялось и развитіе художественнаго чутья. Этотъ новый рядъ писателей представляютъ, кромѣ Милутиновича, Іованъ Пачичъ (1771 — 1850, лирич. стихотворенія 1827), Евг. Поповичъ («Милошіада» 1820), Іованъ Ст. Поповичъ, Л. Лазаревичъ («Владиміръ и Косара», одна изъ лучшихъ сербскихъ драмъ, 1829), Петръ Петровичъ Нѣгошъ (Цетинскій пустынникъ 1834), І. Николичъ (трагедія «Царь Лазарь», 1835) и друг. Мы еще возвратимся къ этому ряду поэтовъ.

Въ 1834 «Сербская Лѣтопись» упала, и адвокатъ Теодоръ Павловичъ началъ издавать еженедѣльный «Сербскій народный листъ»; онъ принялъ потомъ редакцію и возстановленной «Лѣтописи». Въ 1838 году появилась и политическая газета «Сербскія Народныя Новины,» при которыхъ продолжался и «Народный Листъ». За этими изданіями появились нѣкоторыя другія, и въ этихъ новыхъ газетахъ и журналахъ заключалась вся почти ли-

тературная производительность за это время. Журналы впрочемъ не отличались особеннымъ интересомъ и предались полемикѣ съ хорватскими писателями изъ-за именъ «Сербъ», «Хорватъ», «Иллиръ» и изъ-за того, чья литературная традиція и чье имя должно быть поставлено во главѣ новаго сербскаго движенія.

До сихъ поръ литературная дѣятельность шла почти исключительно въ австрійской Сербіи, — и это очень естественно: для австрійскихъ Сербовъ и въ Австріи представлялось больше возможности приготовиться къ писательскому поприщу; здѣсь были ближе правильная школа и университетъ. Въ тридцатыхъ годахъ литературное движеніе переходитъ и въ сербское княжество. Съ 1833 начали выходить «Сербскія Новины» въ Бѣлградѣ, сначала подъ редакціею названнаго прежде Давидовича, потомъ М. Поповича. Чтобы поднять нравственный уровень націи, сербское правительство вызвало изъ Австріи замѣчательнѣйшихъ представителей литературы въ княжество, гдѣ теперь и основалось для нея новое поприще. Въ числѣ призванныхъ, кромѣ Давидовича, былъ и Симеонъ Милутиновичъ, авторъ «Сербянки». Милутиновичъ сдѣлался въ Сербіи секретаремъ министерства народнаго просвѣщенія и сербскимъ исторіографомъ. Въ 1833 онъ издалъ (подъ псевдонимомъ Чубра Чойковича) сборникъ народныхъ пѣсенъ: «Пѣванія црногорска и герцеговачка», потомъ исторію Черногоріи (Бѣлгр. 1835) и драму въ стихахъ «Дика Црногорска» (Цетинье 1835); затѣмъ «Троесестарство», трагедію «Милошъ Обиличъ» и сербскую исторію 1813—15 г. За правдивость этой исторіи онъ былъ изгнанъ изъ княжества, и вернувшись туда опять, имѣлъ новыя непріятности изъ-за драмы «Кара-Георгій». Вызванъ былъ также Милошъ Светичъ, который составилъ для Сербіи земскіе уставы и судебный порядокъ. Но самымъ дѣятельнымъ изъ приглашенныхъ писателей былъ Іованъ Ст. Поповичъ (1806—1856), родомъ изъ Баната. Онъ началъ свою дѣятельность еще 17-лѣтнимъ юношей, и съ тѣхъ поръ написалъ множество драмъ, которыя дали матеріалъ для сербской сцены. Въ 1827 дана была его драма «Светиславъ и Милева», потомъ явились трагедіи: «Милошъ Обиличъ», «Несчастный бракъ»; комедіи: «Скряга» (Тврдица), «Злая жена», «Женидьба и удаванье»; драма «Гайдуки» и т. д. и т. д. (Позориштна дела, Нов.-Садъ 1845 — 50, 4 ч.); наконецъ лирическія стихотворенія («Даворіи», изд. въ Новомъ-Садѣ 1854). Драмы его давались въ Бѣлградѣ, Крагуевцѣ и Шабцѣ, и нравились своей публикѣ: сюжетъ ихъ почти всегда взятъ изъ сербской исторіи и сербской жизни, онѣ дѣйствовали на національное чувство и развивали его, и Поповичъ умѣлъ придавать имъ сценическій эффектъ. Изъ поэтовъ этого круга можетъ быть названъ Юрій Малетичъ (род. 1816), родомъ изъ Баната, жившій то въ Австріи, то въ Сербіи, и приглашенный потомъ профессоромъ въ бѣлградскую гимназію. Изъ сочиненій его извѣстенъ особенно его «Споменикъ Лукіану Мушицкомъ» (1845), и потомъ «Апотеоза Кара-Георгія» (1847); это — поэтъ очень извѣстный у Сербовъ, но поэтъ не самостоя-

тельный и впадающій въ реторику. Милошъ Поповичъ, редакторъ Сербскихъ Новинъ, издалъ въ 1846 свои стихотворенія подъ заглавіемъ: «Мачъ и Перо».

Стараніями Іована Поповича основано было въ 1841 г. въ Бѣлградѣ «Дружство србске словесности» и музей: «Дружество», въ которомъ соединялись всѣ извѣстные писатели сербскаго княжества, имѣло цѣлью обработку языка и распространеніе знаній въ народѣ. Въ 1847 оно начало издавать журналъ «Гласникъ», въ которомъ заключается не мало матеріаловъ по сербской исторіи и старой литературѣ; въ 1850 оно раздѣлилось на пять спеціальныхъ отдѣленій, въ 1857 нашло возможнымъ устроить ученую экспедицію, поручивши д-ру Янку Шафарику изученіе венеціанскихъ и миланскихъ архивовъ для собранія матеріаловъ по сербской исторіи. Оно стало наконецъ издавать и книги для народа (хоть и не всегда съ особенно удачнымъ выборомъ), между прочимъ небольшую энциклопедію. Д-ръ Шафарикъ, сдѣлавшій много для сербской исторіи, открылъ въ 1844 лекціи о славянской исторіи и литературѣ. Въ настоящее время Янко Шафарикъ занимаетъ вообще первое мѣсто въ ученой литературѣ Сербовъ. Кромѣ того по ученой и этнографической дѣятельности, отчасти сосредоточенной въ «Дружествѣ», извѣстны особенно: филологъ Юрій Даничичъ; ревностный послѣдователь Вука; Ст. Верковичъ, родомъ боснякъ, воспитанникъ францисканцевъ, принявшій православіе и посвятившій свои труды изслѣдованію сербской и болгарской старины и друг.

Наконецъ само правительство стало заботиться о педагогическихъ потребностяхъ литературы и устроило особую коммиссію для составленія учебныхъ книгъ для сербскихъ школъ: здѣсь, подъ руководствомъ М. Спасича, трудились по разнымъ предметамъ К. Бранковичъ, Исайловичъ, Матичъ, Маринковичъ, и пр. Независимо отъ этого продолжалось то педагогическое направленіе, о которомъ мы упоминали прежде, и въ 40—50-хъ годахъ мы опять видимъ значительное количество книгъ для народа: пишутся и переводятся книги по исторіи всеобщей и сербской, жизнеописанія знаменитыхъ людей, «Искусный земледѣлецъ», «Славянскій Пантеонъ» и т. п. Въ литературѣ преобладающимъ интересомъ является ближайшая практическая польза.

Оживленная дѣятельность литературы въ княжествѣ отразилась и у австрійскихъ Сербовъ, такъ что въ 40—50-хъ годахъ мы снова встрѣчаемъ здѣсь много именъ, пріобрѣтшихъ извѣстность въ сербскомъ читающемъ мірѣ. Таковы напр. Петръ Іовановичъ (род. 1801: «Различне песме и бесѣде», альманахъ «Бачка вила» 1841—44), священникъ Василій Субботичъ (род. 1807), Н. Груичъ (род. 1811), но въ особенности д-ръ Іованъ Субботичъ (род. 1817 въ Сремѣ, адвокатъ въ Новомъ-Садѣ). Онъ началъ мелкими лирическими стихотвореніями, которыя издалъ подъ заглавіемъ «Лира» (Пестъ 1837), завѣдывалъ потомъ съ успѣхомъ редакціей «Сербской Лѣтописи», и въ 1846 издалъ главное свое произве-

деніе—эпосъ «Стефанъ Дечанскій», въ которомъ онъ удачно воспроизвелъ многія черты народной поэзіи (его «Дѣла», собраніе сочиненій, изд. въ Карловцѣ 1858). Въ молодомъ поколѣніи поэтовъ, формы искусственной поэзіи начинаютъ больше сливаться съ національнымъ содержаніемъ. Однимъ изъ значительнѣйшихъ лириковъ считается у Сербовъ Бранко Радичевичъ, у котораго находятъ богатство фантазіи и чувства, легкую и музыкальную форму съ прекрасными образцами сербскаго языка (онъ писалъ на банатско-сремскомъ нарѣчіи): стихотворенія его изданы въ 1847 и 1851. Другой талантливый поэтъ, Іованъ Иличъ, отличается пылкимъ патріотическимъ одушевленіемъ (стихотворенія его изд. въ Новомъ-Садѣ 1858, 2 ч.). Извѣстное имя новой сербской литературы—Утѣшеновичъ, православный австрійскій сербъ, авторъ поэмы «Недѣлько», написанной съ патріотической вѣрой въ сербское возрожденіе;—онъ извѣстенъ и своими учеными работами. Наконецъ могутъ быть еще названы Димитрій Михайловичъ, издавшій два сборника стихотвореній: «Смилье» (Новый-Садъ 1847) и «Войводянка» (Темешваръ 1852), и антологію изъ сербскихъ поэтовъ: «Цвѣты сербскихъ пѣсенъ» (Карловецъ 1859); Стефанъ Фрушичъ, издавшій стихотворенія и повѣсти подъ заглавіемъ: «Славолюбъ» (Загр. 1851); Милица Стояд иновичева, напечатавшая свои «Пѣсни» (1852); І. Райковичъ перевелъ басни Крылова (1854). — Является также нѣсколько новеллистовъ, напр. Богобой Атанацковичъ (†1858), которому принадлежитъ сборникъ повѣстей «Дарак Србкиньи» (1846, 2 ч.), и «Пупольци»; Якубъ Игнатовичъ и др.

Начала развиваться и литература историческая: Павелъ Іовановичъ написалъ «Исторію важнѣйшихъ событій въ Сербіи съ 1459 до 23 сент. 1813» (Новый-Садъ 1847); А. Стоячковичъ—«Исторію восточно-славянскаго богослуженія и кирилловской письменности у Славянъ западной церкви» (Новый-Садъ 1847) и «Черты жизни сербскаго народа въ венгерскихъ областяхъ» (1849); Милорадъ Медаковичъ—«Исторію Черногоріи» (Землинъ 1850); другой Медаковичъ, Даніилъ,—исторію сербскаго народа («Повѣстница србског народа од найстаріи времена до године 1850», Новый-Садъ 1851—53).

Изъ періодическихъ изданій можно замѣтить: «Войводянку» (1851) М. Медаковича, журналъ, посвященный развитію сербской народности и въ томъ же году запрещенный; «Сербскій Дневникъ» Дан. Медаковича, «Свєтовидъ» Ал. Андрича.

Сербская литература нашла наконецъ своихъ дѣятелей и въ патріархально-воинственной Черной-Горѣ. Самъ владыка ея, Петръ Петровичъ Нѣгошъ II (1813—1851) не только заботился о распространеніи образованія въ своей землѣ, но и составилъ себѣ большую извѣстность собственными литературными трудами, которые дѣлаютъ его однимъ изъ замѣчательныхъ представителей новой славянской литературы. Воспитателемъ его былъ извѣстный Милутиновичъ. До Петра въ Черной-Горѣ не было школъ, и толь-

ко немногіе, готовившіеся вступить въ духовенство, учились читать и писать; владыка устроилъ школы, въ которыхъ между прочимъ обучали и исторіи. Затѣмъ онъ основалъ типографію, въ которой напечатаны были между прочимъ: альманахъ «Грлица» секретаря владыки, М. Милаковича (1835), одна книжка Караджича и «Дика Црногорска» Милутиновича; впрочемъ эта типографія дѣйствовала недолго. Изъ произведеній самого Петра Петровича укажемъ «Луча Микрокозма» (Бѣлгр. 1845), «Огледало Србско, юначке пјесме црногорске о србском војеванју» (Бѣлгр. 1846) — это сербское зерцало состоитъ отчасти изъ пѣсенъ чисто народныхъ, отчасти изъ сложенныхъ Петромъ Петровичемъ. Извѣстнѣйшее изъ его произведеній есть «Горный вѣнокъ» (Горски венац, Вѣна 1847), прекрасная національная поэма, описывающая въ драматической формѣ изгнаніе Турокъ изъ Черногоріи: она исполнена народныхъ мотивовъ, истинно поэтической силы и мастерскаго изображенія народныхъ сценъ, и проникнута черногорскимъ чувствомъ національной свободы. Но драма не была собственно въ характерѣ его поэзіи; она остается только вѣрнымъ изображеніемъ нравовъ и общественный жизни, а не развитіемъ и борьбой характеровъ. Такова и послѣдняя его драма: «Ложный царь Стефанъ Малый» (Тріестъ, 1851). Въ 1854 Ненадовичъ издалъ въ Землинѣ «Слободіаду» Нѣгоша, — это эпическая поэма въ 10 пѣсняхъ, воспѣвающая битвы Черногорцевъ съ Турками отъ древнѣйшихъ временъ. Изъ меньшихъ его стихотвореній замѣтимъ еще «Цетинскаго Пустынника», «Молитву Черногорцевъ къ Богу», которыя отличаются оригинальностью и горячимъ чувствомъ.

Въ заключеніе, намъ остается упомянуть о литературной дѣятельности православныхъ Сербовъ въ Далмаціи, у которыхъ сохраняется здѣсь и употребленіе кирилловскаго письма. Въ Далмаціи отразилось общее возрожденіе сербской націи и явились тѣ же стремленія къ обособленію національности и изученію народа и старины. Изъ писателей, дѣйствовавшихъ въ этомъ смыслѣ въ Далмаціи, могутъ быть названы: д-ръ Теодоръ Петрановичъ (род. 1809), изъ Шибеника, издававшій съ 1836 г. «Сербско-Далматинскій Магазинъ», который посвященъ былъ сербской исторіи, географіи, поэзіи и проч., и гдѣ сосредоточивалась вся дѣятельность православно-далматинскихъ писателей; въ новѣйшее время онъ началъ издавать «Исторію литературы главнѣйшихъ народовъ міра», въ которой должны получить мѣсто и народы славянскіе. Далѣе священникъ Юрій Николаевичъ (род. 1807) изъ Срема, завѣдывавшій въ 1841 — 53 редакціей «Магазина»; Іованъ Сундечичъ, православный священникъ въ Задрѣ, издавшій «Срце или различне пѣсме» (Зара 1850) и другія поэтическія произведенія; родомъ изъ Дубровника былъ и названный нами секретарь владыки Петра, Милаковичъ. Однимъ изъ плодовитыхъ далматинскихъ писателей былъ Матей Банъ (род. 1818), изъ Дубровника. Матей Банъ провелъ жизнь, наполненную разнообразными приключеньями: на 21-мъ году онъ оставилъ свою родину и поселился въ Константинополѣ, потомъ жилъ въ Малой Азіи,

въ Бруссѣ; 1844 переѣхалъ въ Бѣлградъ. Свою литературную дѣятельность онъ началъ на итальянскомъ языкѣ еще въ Бруссѣ, гдѣ написалъ драму и нѣсколько трагедій; изъ нихъ напечатана только одна трагедія: «il Moscovita». Въ Сербіи князь Александръ выбралъ его воспитателемъ своихъ дочерей, и по этому случаю онъ издалъ книгу о «женскомъ воспитаніи» (1847); въ 1848 году онъ написалъ небольшое руководство къ военной наукѣ для Сербовъ, которые, подъ начальствомъ Кничанина, отправлялись тогда помогать своимъ австрійскимъ единоплеменникамъ противъ Венгровъ. Въ 1849 Банъ отправился на родину и началъ издавать тамъ на счетъ иллирской Матицы журналъ «Dubrovnik», прекратившійся по несогласіямъ его съ Матицей. Собраніе его стихотвореній начало выходить въ 1855; поэтическая дѣятельность Бана главнымъ образомъ обнаружилась въ драмѣ: его трагедія «Мейрима» (Новый-Садъ 1851) считается однимъ изъ лучшихъ произведеній южно-славянской драмы. Его политическая репутація незавидна.

6. «Иллирійское» возрожденіе.

Мы видѣли, что литература западныхъ Сербовъ падала больше и больше, переживши свой блестящій Рагузанскій періодъ, что только по временамъ показывались въ ней талантливые писатели, обыкновенно не оставлявшіе впрочемъ большаго слѣда въ народномъ развитіи. Мы указывали отчасти и причины этой бѣдности литературнаго движенія. Далматинская сербская литература, хотя и имѣла сильныя дарованія въ своихъ представителяхъ, не была самостоятельна ни по своему происхожденію, которымъ была обязана вліянію итальянской литературы и Возрожденія, ни по своему значенію для общества, гдѣ она была поэтической роскошью, дополненіемъ къ итальянскому образованію «властелиновъ», но всего чаще оставалась чужда народной массѣ. Правда, въ числѣ ея дѣятелей мы видѣли много людей, вышедшихъ изъ народа, но эти люди отдѣлялись отъ него своимъ образованіемъ, и содержаніе литературы не проникало въ низшій слой націи, — о которомъ она не особенно заботилась, — такъ что, когда поэзія и литература изсякали въ высшихъ слояхъ общества, народъ не могъ примкнуть къ нимъ и поддержать ихъ своими силами. Для народа существовала только литература церковныхъ книгъ, застарѣлая глаголица и т. п., которыя конечно не доставляли ему никакого развивающаго содержанія... Съ другой стороны, литературныя силы западно-сербскаго міра были крайне раздѣлены. Одна часть его жила остатками кирилловской литературы, другая римскимъ католичествомъ; отдѣльныя отрасли племени были раздѣлены мѣстными нарѣчіями и не соединялись въ общее цѣлое, которое было бы для нихъ возможно, — Кроаты добивались особенной литературы, Хорутане — также, притомъ послѣдніе одно время отдѣлялись еще своими протестантскими стремленіями, которыя были совершенно здравы

сами по себѣ, но остались непонятны для ихъ сосѣдей и соплеменниковъ, и потомъ заглохли подъ іезуитскимъ гнетомъ. Литература могла бы сохранить свою внутреннюю цѣнность, если бы шла вровень съ европейскими понятіями, но и здѣсь она сильно запоздала: до самаго 19-го столѣтія она еще стояла на тѣхъ мотивахъ, какіе завѣщало ей 16 и 17-е столѣтіе, и какъ будто не чувствовала, что совершается кругомъ нея; она превращалась въ простое филологическое упражненіе и забывала объ образованіи народа, которое впрочемъ и вообще забывалось въ тогдашнія времена. Отдѣльныя національно-характерныя явленія литературы, въ родѣ Качича-Міошича, не могли помочь общему застою — потому въ особенности, что вся сущность ихъ содержанія не шла дальше неяснаго національнаго сознанія, не приносившаго затѣмъ никакого положительнаго принципа, который бы могъ подвинуть народную жизнь. Притомъ же такія явленія были очень рѣдки.

Литература могла освѣжиться только однимъ средствомъ—если бы, стряхнувши съ себя старую схоластическую пыль, она съумѣла соединить разбросанныя силы и направить къ дѣйствительной, жизненной цѣли. Однимъ этимъ средствомъ она могла пріобрѣсти себѣ интересъ и содержаніе.

Такой переворотъ дѣйствительно совершился въ западно-сербской литературѣ. Это произошло въ тридцатыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія. Центромъ новаго литературнаго движенія сдѣлался хорватскій Загребъ (Аграмъ).

Эта новая эпоха западно-сербской литературы въ сравненіи съ прежнимъ была дѣйствительнымъ переворотомъ, потому что литература нашла свою жизненную цѣль, эта цѣль привлекла національное сочувствіе, кругъ зрѣнія расширился и нашелъ себѣ дѣйствительную историческую и народную опору...

.... Въ Загребѣ съ 30-хъ годовъ открывается живая литературная дѣятельность, вдругъ пріобрѣтающая общественный интересъ и задѣвающая за живое. Въ этомъ западно-сербскомъ возрожденіи передъ нами открывается одно изъ явленій такъ называемаго панславизма, который всего сильнѣе сказался здѣсь и въ чешской литературѣ того же времени. Частныя стремленія западныхъ Сербовъ сошлись съ тѣмъ общимъ движеніемъ славянскихъ народностей, которое называли панславизмомъ и которое было въ особенности живо въ 30—50-хъ годахъ.

Кромѣ общихъ причинъ—т. е. давно подготовлявшагося національнаго славянскаго движенія—у западныхъ Сербовъ дѣйствовали особенныя мѣстныя условія, заключавшіяся въ ихъ отношеніяхъ къ Венгріи. Литературный вопросъ съ самаго начала сдѣлался политическимъ или, собственно говоря, онъ вышелъ изъ политическаго: Хорваты должны были защищать свою національность отъ венгерскихъ притязаній, и горячій литературный споръ разрѣшался кровавыми схватками, происходившими на выборахъ 1842—45 годовъ въ Загребѣ, и наконецъ событіями 48—49 года. Хорватское движеніе явилось какъ оппозиція ультра-національнымъ притязаніямъ Венгровъ, которые, стремясь къ высвобожденію отъ австрійской централизаціи и къ

возбужденію политической жизни, одно изъ средствъ къ этому видѣли въ возвышеніи національнаго языка. Латинскій языкъ, господствовавшій до тѣхъ поръ въ юридическихъ и политическихъ актахъ, былъ замѣненъ венгерскимъ, которому съ тѣхъ поръ Венгры старались всѣми силами доставить господство во всѣхъ земляхъ Венгріи, пересыпанныхъ Славянами, и между прочимъ въ королевствахъ Кроаціи и Славоніи, издавна соединенныхъ съ венгерской короной. Это распространеніе венгерскаго языка, по признанію самихъ защитниковъ венгерскаго дѣла, сопровождалось крайностями и преувеличеніями, которыя сами по себѣ могли стать зерномъ послѣдовавшихъ столкновеній [1]: мы увидимъ дальше, что тоже самое дѣйствіе произвела мадяризація и въ другихъ Славянахъ, которые должны были подвергнуться ей,—въ Словакахъ и православныхъ Сербахъ южной Венгріи. Подъ конецъ они также взялись за оружіе. Дѣло было очень естественно, и странно было бы считать его только слѣдствіемъ интриги австрійскаго правительства, которое желало, возбужденіемъ Кроатовъ, создать оппозицію въ самой Венгріи и тѣмъ ослабить ея стремленія къ свободѣ. Но интрига впрочемъ также играла свою роль, и однимъ изъ самыхъ ловкихъ агентовъ ея былъ именно тотъ человѣкъ, который игралъ тогда первую роль въ литературномъ возрожденіи западныхъ Сербовъ.

Это былъ докторъ Людевитъ Гай (род. 1810), который въ первый разъ поднялъ кроатскій политическій вопросъ и вмѣстѣ съ тѣмъ сталъ ревностнымъ проповѣдникомъ панславянскихъ тенденцій; онъ игралъ потомъ и дѣйствительную роль въ дѣлахъ Кроаціи, когда онѣ отъ литературной полемики перешли на политическую и военную почву. Каковы бы ни были однако побужденія, руководившія Гаемъ, его предпріятіе не имѣло бы успѣха, если-бы было только его личнымъ дѣломъ и результатомъ интриги: на этотъ разъ интрига сошлась съ народными стремленіями, потому что обстоятельства заставили ее поддерживать славянское дѣло противъ венгерскаго. Литературная пропаганда, чистота которой заподозрѣна теперь въ Гаѣ, имѣла другихъ дѣятелей, которые взялись за нее со всѣмъ искреннимъ энтузіазмомъ національнаго возрожденія: таковы были Станко Вразъ, Вукотиновичъ, братья Мажураничи, Кукулевичъ, Боговичъ и другіе. Въ 1835 Гай началъ изданіе политической газеты «Novine Horvatzke» и литературнаго прибавленія «Danica Horvatzka, Slavonzka i Dalmatinzka»,—но скоро онъ увидѣлъ, что ограничиваясь собственной Хорватіей (населеніе которой не превышало 700.000), онъ не можетъ достигнуть никакого прочнаго и обширнаго дѣйствія. Поэтому уже въ слѣдующемъ году онъ назвалъ свое изданіе «Ilirske narodne novine» и «Danica Ilirska»; необрабо-

[1]) Gesch. des Illyrismus, стр. 12 и слѣд. Авторъ этой книги, написанной въ венгерскомъ смыслѣ, указываетъ три причины кроатскихъ волненій: „излишнюю поспѣшность и недостатокъ терпимости со стороны самихъ Венгровъ"; „возбужденія панславизма" и „ошибки правительства", которое поощряло Кроатовъ. Эти причины указаны совершенно вѣрно.

танное хорватское нарѣчіе замѣнено было богатымъ и обработаннымъ сербскимъ языкомъ, который господствуетъ въ Далмаціи, Славоніи, Истріи, Сербіи, Боснѣ и т. д., и который имѣлъ уже славныхъ писателей въ далматинскую эпоху. Для того, чтобы соединить въ одно общее понятіе эти разбросанныя отрасли одного народа, Гай принялъ для него старое классическое названіе Иллировъ: для этого иллирскаго языка принято было новое упрощенное правописаніе, съ тѣхъ поръ прочно установившееся въ западно-сербской литературѣ. Новое имя давало возможность говорить о цѣлой массѣ сербскаго племени; оно поддерживало мысль о національной силѣ племени, которое должно было теперь выдерживать венгерскія нападенія: иллирскій патріотическій энтузіазмъ легко могъ соединять, — и дѣйствительно соединялъ, — подъ одно знамя представителей всѣхъ мелкихъ отдѣльныхъ народностей, которыхъ до того времени раздѣляла провинціальная ревность.

Упомянемъ однако, что эта иллирская унія возстановила противъ себя православныхъ Сербовъ, которые не хотѣли допустить этихъ «Иллировъ» овладѣть ихъ языкомъ, народными преданьями и національной славой, — началась ожесточенная полемика между двумя литературными сторонами, представлявшими двѣ отрасли одного и того же племени, между литературой загребской и литературой православныхъ Сербовъ. Впослѣдствіи, загребская школа оставила имя «Иллировъ», дѣйствительно не имѣвшее никакого корня въ народныхъ понятіяхъ и не представлявшее ничего осязательнаго. Иллиры назвались «Юго-Славянами», потомъ стали доказывать, что нѣкогда земли сербскаго языка принадлежали Хорватамъ, и что поэтому они имѣютъ право на старыя сербскія преданья, языкъ и исторію, — однимъ словомъ между «Иллирами» и Сербами начался споръ о національности, безплодно раздѣлявшій ихъ силы, и только въ послѣднее время кажется немного утихающій.

Какъ бы то ни было, эта перемѣна имени и принятіе новаго литературнаго языка, обнимавшаго значительную часть австрійскаго славянскаго населенія, имѣли полный успѣхъ и нашли совершенное сочувствіе въ передовыхъ людяхъ тогдашней славянской литературы. Шафарикъ вполнѣ одобрялъ эту реформу, которая по словамъ его была вызвана настоящей потребностью времени, и поддерживалъ своимъ авторитетомъ иллирскія стремленія [2]; и въ самомъ дѣлѣ южнымъ Славянамъ такъ нуженъ былъ какой-нибудь центръ, гдѣ бы они могли сосредоточиться, что Загребъ вдругъ сталъ въ это время почти такимъ же важнымъ славянскимъ средоточіемъ, какъ Прага. Идеи «Иллировъ» о славянскомъ единствѣ и взаимности были тѣ же, какія проповѣдывались въ Прагѣ, и были горячо приняты славянскими патріотами юго-западнаго края Австріи и вызвали много дѣятельныхъ и ревностныхъ талантовъ. Сначала «Хорватскія», потомъ «Иллирскія

[2]) Ost und West, 1838, № 17.

Новины» напоминали своимъ читателямъ о ихъ великомъ славянскомъ отечествѣ, говорили о могуществѣ славянскаго исполина, раскинувшагося отъ Адріатики до Ледовитаго океана и Китая, напоминали старую славянскую исторію, указывали враговъ славянства, и призывали къ единству и взаимной связи, которыя одни могли дать Славянамъ полную свободу ихъ развитія и обезпечить имъ достиженіе народнаго блага. Они постоянно напоминали о великой цѣли славянскаго племени, которое должно наконецъ занять свое настоящее мѣсто между народами и низвергнуть своихъ враговъ. Въ особенности же «Иллиры» указывали на исторію своего собственнаго народа, возбуждали къ дѣятельности и защитѣ своего интереса отъ врага. Подъ этимъ врагомъ нѣсколько опытный читатель легко отгадывалъ Венгровъ. Мало по малу намеки дѣлались яснѣе и яснѣе... Статьи загребскихъ публицистовъ были составляемы съ значительнымъ искусствомъ и удачно дѣйствовали на свою публику. Хорватскіе поэты не уступали имъ въ пропагандѣ той же общей идеи. Самъ Гай написалъ стихотвореніе, начинавшееся словами: «Хорватія еще не погибла, пока мы живы», призывавшее всѣхъ Иллировъ къ новому союзу и соединенію въ одно «Коло» (хороводъ), въ которомъ въ старыя времена хорватскаго царства соединены были Крайнцы, Штирійцы, Каринтійцы, Славонцы съ Босніей, Истріей и Далмаціей. Людевитъ Вукотиновичъ, писатель, еще дѣйствующій теперь, былъ однимъ изъ самыхъ ревностныхъ проповѣдниковъ, и кажется наиболѣе даровитымъ поэтомъ того же новаго союза (Pèsme i pripovèdke, Загр. 1838; Ruže i tàrnje, Загр. 1842; Pèsmarica, которую онъ издалъ вмѣстѣ съ др. Раковцемъ, Загр. 1842). Онъ призывалъ въ своихъ пѣсняхъ хорватскій народъ «сбросить суровое иго, которое пятнаетъ ихъ имя и подкапываетъ ихъ племя». Не указывая еще прямо на настоящаго врага, онъ уже съ самаго начала говорилъ Хорватамъ:

„Все на этой землѣ, и старецъ и дитя, желаетъ себѣ золотой свободы и съ отточеннымъ оружіемъ выходитъ противъ ея нарушителя.

„Пора уже теперь отточить наши мечи противъ враговъ нашего имени, и въ потокахъ вражеской крови затопить вражескую несправедливость, — пусть это будетъ нашей первой заповѣдью, и т. д.

Онъ призываетъ ихъ явиться со всѣми силами на священную войну и обѣщаетъ имъ вѣрную побѣду.

Другой поэтъ, Тарскій, въ своихъ «Пѣсняхъ» (Ivan Tarnski, Pèsme, Загребъ 1842) также даетъ понять, что стремленіе къ соединенію касалось не одной литературы. — «кто поражаетъ моего брата — Серба или Далматинца или кого нибудь другаго, — тотъ проливаетъ и мою кровь; поэтому, пусть единство наше низвергнетъ чужеземца, — и ты, братъ, открой глаза!» Патріотическая поэзія обращалась къ старинѣ и на развалинахъ замковъ и разрушенныхъ городовъ указывала слѣдствія старыхъ несогласій и новое убѣжденіе — соединиться.

При каждомъ новомъ годѣ изданія газета, сосредоточившая труды пи-

сателей новаго союза, повторяла свои основныя темы и чѣмъ дальше, тѣмъ больше высказывала открытую ненависть къ венгерскому господству. Газета старалась ввести въ свое дѣло разбросанныя отрасли «иллирскаго» племени, и въ самомъ дѣлѣ находила симпатическіе отклики изъ разныхъ славянскихъ земель; ея пропаганда педдерживалась у Чеховъ; сочувствіе оказывалось и у отдѣленныхъ своимъ нарѣчіемъ виндскихъ Славянъ; симпатическія корреспонденціи стекались отовсюду; даже и отъ православныхъ Сербовъ послышались одобренія (посланіе Саввы Текелія, президента сербской Матицы въ Пестѣ, къ Людевиту Гаю, въ Dan. Ilirska, 1840, № 40),—потому что Иллиры въ своихъ стремленіяхъ къ единству не останавливались религіозными отличіями, и на первомъ планѣ стояла единственная цѣль — политическая. Заявляло свое сочувствіе и русское славянофильство. Въ 40-хъ годахъ «Иллиры» становятся уже дѣятельной политической партіей: они громко говорятъ объ отдѣленіи славянскихъ королевствъ западной Австріи отъ венгерской короны, они пророчатъ гибель Венгріи и наконецъ прибѣгаютъ и къ внѣшнимъ выраженіямъ своей особенности. «Иллиры» надѣли національный костюмъ, основали читальню (Čitaonica), въ которой собраны были газеты почти всѣхъ славянскихъ земель, и которая еще больше помогала размѣну идей; наконецъ старались ввести свое дѣло и въ общественную жизнь посредствомъ національныхъ баловъ, концертовъ, процессій съ пѣньемъ патріотическихъ пѣсенъ и т. п., — даже ученики гимназіи приняли участіе въ дѣлѣ: они сожгли свои венгерскія грамматики на кострѣ и оставили школу, — такъ что все это составляло наконецъ чистую демонстрацію, которая не лишена была своего возбуждающаго дѣйствія. Въ одно время съ этимъ основываются въ Загребѣ разныя патріотическія общества: сельско-хозяйственное, президентомъ котораго былъ загребскій епископъ Гавликъ (родомъ словакъ), приверженецъ новаго движенія, заботившійся о народныхъ школахъ; «Иллирская Матица», основанная по образцу сербской и издававшая произведенія старой далматинской поэзіи; «народное дамское общество»; «читальни» распространялись изъ Загреба и по другимъ городамъ Кроаціи и поддерживали интересъ къ литературному и политическому движенію хорватской столицы. Пропаганда доходила и до наивностей. Графъ Янко Драшковичъ, равностный «Иллиръ», поддерживавшій всѣ патріотическія предпріятія того времени, президентъ иллирской Матицы, загребской Читальни и т. д., написалъ книжку для обращенія въ иллиризмъ хорватскихъ дамъ [3]): пересчитывая въ ней разныя знаменитости иллирской исторіи и литературы, онъ считаетъ своему племени не меньше трехъ тысячъ лѣтъ! Появилась наконецъ и историческая марсельеза приготовлявшейся національной борьбы: это была военная пѣсня такого содержанія:

[3]) Ein Wort an Illyriens hochherzige Töchter über die ältere Geschichte und Regeneration ihres Vaterlandes. Agram 1838.

„Тотъ, кто родился Славяниномъ, и родился героемъ, — подними теперь высоко свое знамя; каждый подпояшь свою саблю, каждый садись на бойкаго коня! Впередъ, братья, Богъ съ нами, злой духъ противъ насъ.

„Смотрите, какъ черный дикій Татаринъ (т. е. Венгръ) попираетъ нашу націю и языкъ; но прежде чѣмъ онъ успѣетъ покорить насъ, мы сбросимъ его въ бездну ада.

„Съ сѣвера храбрый Словакъ и съ юга Иллиръ братски подаютъ другъ другу руки на геройское пиршество, на блескъ копій, звуки трубъ, трескъ мечей, громъ пушекъ.

„Пусть каждый срубитъ одну голову, чтобы омыть нашу славу во вражеской крови, и конецъ нашихъ страданій достигнутъ. Впередъ, братья“ и т. д.

Мы упоминали уже, что на конституціонныхъ выборахъ въ Загребѣ въ 1842 — 45 годахъ происходили уже сцены кровопролитія. Страсти были возбуждены до послѣдней степени [1]): политическое броженіе закончилось войной 48—49 года.

Эти порывы національнаго сознанія не ограничились впрочемъ одной дѣятельностью публицистовъ и политическихъ поэтовъ. «Иллиры» распространяли свои взгляды и въ такъ называемыхъ серьезныхъ книгахъ, которыя бывали нерѣдко только повтореніемъ и распространеніемъ газетныхъ воззваній. Примѣромъ могутъ служить хоть труды Сельяна (Početak etc. literature Ilirske 1840; Zemljopis pokrajinach ilirskich 1843). Въ своей географіи, весьма неважной въ ученомъ отношеніи, онъ также настаиваетъ на томъ, что «Славяне—та великая и могущественная нація, которая не только въ Венгріи имѣетъ двойной перевѣсъ надъ венгерской націей, но даже и въ Австрійской имперіи составляетъ двѣ трети цѣлаго населенія; она занимаетъ даже больше половины Европы, треть Азіи и значительную часть Америки и, словомъ, это—величайшая нація на бѣломъ свѣтѣ, потому что считаетъ до 80 милліоновъ» и пр.; онъ указываетъ затѣмъ малочисленность Венгровъ,—неевропейскаго народа, пришедшаго изъ Азіи,—заманчиво изображаетъ счастливую жизнь стараго, еще свободнаго славянства и опять призываетъ къ національному единству,—которое, подразумѣвается, могло бы возвратить къ этой счастливой жизни. Въ другой своей книжкѣ онъ опять говоритъ объ этомъ единствѣ: «Мы тождественны не только по крови и языку вообще, и въ этомъ отношеніи составляемъ одно тѣло съ Чехами, Поляками и Русскими; мы больше родственны съ ними и въ тѣснѣйшемъ смыслѣ по нарѣчіямъ, пѣснямъ, обычаямъ, національнымъ воспоминаніямъ, — духъ настоящаго славянства налагаетъ на насъ другую высшую обязанность —именно, чтобы всѣ Славяне считали себя братьями одного великаго семейства». Первое изъ этихъ произведеній, кажущееся теперь довольно невиннымъ, тогда обратило на себя вниманіе своими панславистскими наклонностями и венгерскія власти остановили продолженіе этой книги...

[1]) Die gesammte Literatur des „Jung-Illyriens“ erhielt einen neuen, doch höchst beklagenswerthen Aufschwung, und glich einem grossartigen Pasquill, das fast die ganze illyrische Intelligenz in Anspruch zu nehmen schien. Gesch. des Illurismus, стр. 78. Но и „мадьяроны“, какъ называютъ крайнихъ Венгровъ, нисколько не уступали съ своей стороны.

Мы уже назвали нѣсколькихъ писателей, бывшихъ сотрудниками Гая. Самъ Гай писалъ вообще мало; онъ былъ больше начинателемъ и руководителемъ. Сотрудники его были люди съ болѣе искренними тенденціями, — и ихъ дѣятельность, имѣвшая полный успѣхъ въ свое время, доказываетъ всего лучше, что литературная реформа, произведенная ими, была дѣйствительною потребностью. Станко Вразъ, издавшій небольшое, но прекрасное собраніе иллирскихъ пѣсенъ изъ Штиріи, Крайна, Каринтіи и западной Венгріи [5]), былъ однимъ изъ самыхъ ревностныхъ и даровитыхъ «Иллировъ», но рано умеръ. Вмѣстѣ съ Драгутиномъ Раковцемъ и Вукотиновичемъ онъ издавалъ наиболѣе любопытный иллирскій журналъ «Kolo» (съ 1842 года), который былъ одушевленнымъ органомъ новаго національно-литературнаго и политическаго движенія. Д. Деметеръ, одинъ изъ поэтовъ и публицистовъ новой школы, писалъ драмы (Teuta, Krvna osvèta и др. Dramatička pokušenja, Загребъ 1838) и политическія статьи, а въ послѣднее время сталъ редакторомъ оффиціальныхъ «Загребскихъ Новинъ». Праусъ, родомъ Чехъ, также ревностный Иллиръ, былъ редакторомъ нѣмецкой юго-славянской газеты и иллирскаго «Невена»... Мирко Боговичъ (род. 1816), одинъ изъ даровитѣйшихъ хорватскихъ поэтовъ, началъ свое поприще въ журналѣ «Кроація» и въ Иллирской Денницѣ, затѣмъ издавалъ свои пѣсни, стихотворенія: «Ljubice» 1844, «Smilje i kovilje» 1847, политическія стихотворенія: «Domorodni glasi» 1848, игралъ политическую роль во время революціи. Впослѣдствіи онъ отдался исключительно литературной дѣятельности, писалъ повѣсти, преимущественно историческія (изд. 1860), драмы: «Франкопанъ» 1856, «Матія Губецъ» 1860 и трагедію «Степанъ, послѣдній краль босанскій» 1857. Братья Мажураничи, Антонъ и Иванъ, имѣли также свою большую долю въ дѣлѣ иллирскаго возрожденія и начали свою дѣятельность еще съ 30-хъ годовъ. Антонъ трудился въ особенности надъ изданіемъ старыхъ далматинскихъ поэтовъ, и между прочимъ составилъ, съ другими сотрудниками, хрестоматію «иллирской» литературы, въ которую вошли и нѣкоторые писатели православныхъ Сербовъ («Ilirska Čitanka», Вѣна 1856). Иванъ Мажураничъ издалъ въ послѣдніе годы героическую поэму «Смерть Смаилъ-аги Ченгича», которая издана была сначала по «иллирски» — латинскими буквами въ загребскомъ альманахѣ «Искра» 1845, потомъ перепечатана по «сербски» — кирилловскими буквами (Субботича, Цвѣтникъ серб. Слов., 1853), наконецъ еще разъ издалъ ее Ткалацъ, кирилловскими буквами, въ Загребѣ (1859) — образчикъ сближенія враждебныхъ литературъ, сербской и иллирской, какіе начинаютъ теперь появляться съ обѣихъ сторонъ. Къ числу поэтовъ новой «Иллиріи» можетъ быть отнесенъ и Никола Томашичъ (или Niccolo Tommaseo, столько извѣстный въ итальян-

[5]) Narodne pèsni Ilirske, koje se pèvaju po Štajerskoj, Kranjskoj, Koruškoj i zapadnoj strani Ugarske, Загребъ 1839.

ской литературѣ): «его «Iskrice» пользуются у южно-славянскихъ читателей славой классическаго произведенія. Впрочемъ Томашичъ скорѣе итальянскій политическій человѣкъ и писатель, чѣмъ славянскій поэтъ: въ числѣ его итальянскихъ книгъ мы замѣтимъ только Canti popolari Slavi, raccolti ed illustrati da N. T. Venezia 1842.

Наконецъ, однимъ изъ дѣятельнѣйшихъ приверженцевъ иллиризма былъ и еще остается Иванъ Кукулевичъ-Сакцинскій (род. 1816), который въ настоящее время играетъ едва ли не первую роль въ литературномъ движеніи Хорватовъ. Кукулевичъ былъ сначала въ военной службѣ, которую оставилъ въ первыхъ сороковыхъ годахъ, и въ 1848 сдѣланъ былъ архиваріусомъ королевства Кроаціи. Уже тогда онъ началъ свою литературную дѣятельность, написалъ, кромѣ многихъ стихотвореній, героическую драму «Juran i Sofia» (1838), издалъ потомъ свои «Različita djela» (4 ч.), въ которыхъ собралъ свои разсказы, драматическія пьесы и пѣсни, и къ послѣднимъ прибавилъ и народныя хорватскія пѣсни, имъ записанныя. Въ 1848 онъ напечаталъ свои политическія стихотворенія («Slavjanke, od Ха», Загребъ 1848), въ которыхъ господствуетъ общій характеръ «иллирской» поэзіи той эпохи—ненависть къ «врагамъ» и панславянскія воспоминанія и надежды. Вотъ, напр. его обращеніе къ славянскимъ племенамъ въ одномъ стихотвореніи этихъ «Славянокъ»:

Slavjani Slavjani
Vi narodah sluge!
Vi čuvari carstvah!
A drugovi tuge.

Tudji vi kmetovi!
Tudji vi vojaci!
Gdè su vaša polja?
Gdè vaši barjaci?

Nigdè ništa svoga,
Od nikog ljubavi,
Svi vas puci mèrze,
Svak vas pod se spravi.

Na noge se dižte!
Mač u ruke sada!
Tudjinstvo nek padne,
Slavjanstvo da vlada!

Кукулевичъ рано принялъ и практическое участіе въ политическихъ волненіяхъ Хорватіи въ 40-хъ годахъ. Онъ первый предложилъ на хорватскомъ сеймѣ 1843, чтобы хорватскій языкъ принятъ былъ оффиціальнымъ языкомъ вмѣсто латыни,— предложеніе, принятое съ великимъ участіемъ патріотами юной Иллиріи, но отвергнутое высшей аристократіей. Рѣчи Кукулевича на земскихъ собраніяхъ, не проходившія въ печать по своей рѣзкости, и слава его какъ политическаго писателя, доставили ему такую популярность, что въ 1848 г., когда настала полная анархія, онъ избранъ былъ, вмѣстѣ съ Гаемъ и Враничаномъ, временнымъ правителемъ Хорватіи.

Въ это время устроилъ онъ то народное собраніе, въ которомъ баномъ Кроаціи выбранъ былъ извѣстный Елачичъ. Кукулевичъ былъ и главой хорватской депутаціи, изъ нѣсколькихъ сотъ человѣкъ, которая представила императору Фердинанду 24 пункта народныхъ желаній. Затѣмъ Кукулевичъ былъ первый, сдѣлавшій весной 1848 въ газетѣ «Славянскій Югъ» предложеніе о славянскомъ съѣздѣ, который собрался потомъ въ Прагѣ; и исполнялъ затѣмъ дипломатическія порученія въ австрійской Сербіи и въ княжествѣ, и т. д. Когда оказалось, что стремленія Хорватовъ не имѣли желаннаго успѣха, и началась реакція, Кукулевичъ оставилъ оффиціальную дѣятельность и возвратился къ своимъ архиварскимъ и антикварскимъ занятіямъ и здѣсь также работалъ очень ревностно. Въ 1850 его стараніями основано было «Общество юго-славянской исторіи и древностей», которое выбрало его своимъ президентомъ; Кукулевичъ завѣдуетъ редакціей «Архива», издаваемаго этимъ обществомъ и очень важнаго для юго-славянской исторіи. Онъ и самъ предпринималъ изданія старинныхъ далматинскихъ писателей, составилъ историческую хрестоматію изъ ихъ произведеній («Stari pjesnici hrvatski XV—XVI vieka»), собралъ обширную библіотеку рукописей, предпринималъ антикварскія путешествія по иллирскимъ землямъ и въ Италіи и т. д. и т. д.

Таково было это «иллирское» возрожденіе, внезапно вызвавшее столько дѣятельности въ литературѣ, которая передъ тѣмъ едва подавала признаки жизни. Мы упоминали, что австрійское правительство смотрѣло сквозь пальцы на это расширеніе славянской народности и даже тайкомъ помогало ему, потому что въ то время оно видѣло въ этомъ возбужденіи славянской народности оружіе противъ венгерскихъ притязаній. Но когда цѣль была достигнута, дѣла совершенно перемѣнились.

Извѣстно, что побѣда надъ Венграми нисколько не помогла Кроатамъ, и Венгерцы имѣли полное право смѣяться надъ ними, что они, сражаясь за Австрію, выиграли пожалуй меньше, чѣмъ Венгерцы, сражаясь противъ Австріи. Венгерская война повлекла за собой централизаціонную реакцію, которая распространилась на всѣ славянскія земли, гдѣ правительство замѣтило вредныя славянскія тенденціи: оно пользовалось ими тогда, когда они были ему нужны, но не хотѣло терпѣть ихъ тогда, когда они хотѣли стать чѣмъ-то самостоятельнымъ. Реакція началась, какъ только Австрія снова почувствовала свою силу, и Хорваты должны были понять (впрочемъ, еще не всѣ поняли), что кромѣ того «врага», съ которымъ они боролись съ такимъ жаромъ, у нихъ есть другой, гораздо болѣе опасный. Со времени венгерской революціи вмѣсто мадяризаціи началась германизація, поддерживаемая всѣми средствами чиновничьяго управленія. Люди, посѣщавшіе Загребъ въ послѣднее время, указываютъ на сильное ея распространеніе. Разумѣется само собою, что правительство не могло теперь спокойно смотрѣть на продолженіе прежнихъ литературныхъ предпріятій и хорватскій патріотъ, а тѣмъ паче панславистъ, прежде свободно высказывавшій свои мысли, теперь

становился нарушителемъ общественнаго спокойствія и государственнаго порядка. Все живое въ литературѣ подверглось преслѣдованію. Одни, какъ напр. Кукулевичъ, Боговичъ и др. должны были ограничиться чисто литературными стремленіями; другіе покорились тому, что имъ указывало правительство. Начинаются преслѣдованія преступленія печати. Ихъ испыталъ Боговичъ въ 1853, когда онъ подвергся тюремному заключенію «за оскорбленіе величества»; испыталъ въ жестокой степени Праусъ, издававшій «Süd-Slawishe Zeitung», гдѣ онъ разбиралъ скользкій вопросъ объ отношеніяхъ между Славянами и Нѣмцами; имъ подвергся талантливый д-ръ Имбро Ткалацъ, бывшій редакторомъ нѣмецкой газеты «Ost und West», которую онъ велъ въ оппозиціонномъ духѣ, противъ новѣйшей конституціи Шмерлинга и т. д.

Та же судьба постигла конечно новую «южно-славянскую» литературу, какъ стали называть ее въ послѣднее время, и въ другихъ мѣстахъ, гдѣ пустили корень ея идеи, именно въ Далмаціи. Иллирское движеніе нашло и здѣсь своихъ ревностныхъ партизановъ, и конечно не осталось безъ результата въ большемъ развитіи общаго національнаго сознанія. Условія литературы и здѣсь тѣ же, какъ и у самихъ Хорватовъ: славянская литература должна бороться и съ итальянствомъ и съ австрійской реакціей, и въ настоящее время вообще находится въ положеніи довольно бѣдственномъ. Кромѣ названныхъ нами прежде далматинскихъ писателей, можно назвать графа Медо-Пучича, потомка старинной дубровницкой фамиліи, который въ своей патріотической поэзіи призывалъ Сербовъ къ единству противъ иноземнаго утѣсненія, и извѣстенъ также своими трудами по старой исторіи; и Казначича, который также былъ издателемъ произведеній старой далматинской литературы — историческая заботливость, въ которой далматинскіе писатели совершенно сходятся съ желаньями загребскихъ ученыхъ. Но люди, еще чающіе движенія воды, не теряютъ надежды, что дѣло поправится, потому что народъ, т. е. простой народъ, въ хорватской землѣ и въ Далмаціи еще хранитъ запасъ національности, котораго можетъ достать до лучшихъ временъ. Съ другой стороны хорватскіе «Юго-Славяне» стараются сблизиться съ восточными Сербами, и внѣшнимъ знакомъ этого служить то, что они даютъ мѣсто въ своихъ книгахъ ихъ кирилловской азбукѣ: мы видѣли примѣръ этого на поэмѣ Мажуранича; Ткалацъ напечаталъ по кирилловски свое «Державное право Сербіи»; Вукотиновичъ даетъ мѣсто этой азбукѣ въ своемъ альманахѣ «Лептиръ» и т. д.

Вообще, современная юго-славянская литература носитъ на себѣ слѣды того затруднительнаго положенія, въ которомъ находятся политическія и общественныя дѣла сербскаго народа, его восточной и западной половины.

Одно въ сущности племя остается раздѣленнымъ и въ политическомъ отношеніи, — между свободными землями, и между Австріей и Турціей, — и въ религіи, и въ литературѣ. Ограниченный провинціализмъ преувеличи-

ваетъ мѣстныя отличія племени, и дѣлаетъ изъ нихъ національныя перегородки, одинаково вредныя всѣмъ частямъ племени. Литературная дѣятельность болѣе просвѣщенныхъ людей только теперь начинаетъ разрушать эти перегородки и ставить на ихъ мѣсто болѣе широкій національный интересъ. Въ этомъ смыслѣ дѣйствуетъ и новая сербская поэзія.

Съ эпохи возрожденія эта поэзія, у Сербовъ всѣхъ оттѣнковъ, одинаково подверглась вліянію европейскихъ вкусовъ и начала усвоивать формы европейской поэзіи: это было естественнымъ слѣдствіемъ европейскаго образованія, начинавшаго свое дѣйствіе. У Сербовъ австрійскихъ не было въ этомъ отношеніи никакой традиціи, и вліяніе нѣмецкой литературы было тѣмъ сильнѣе; у Сербовъ западныхъ, возобновилось воспоминаніе о старой далматинской поэзіи, которая стала снова предметомъ изученія. Съ другой стороны въ новой дѣятельности отражались извѣстнымъ образомъ и народно-поэтическіе элементы. Близкое сосѣдство сербскихъ племенъ, единство многихъ старыхъ народныхъ воспоминаній и новыхъ политическихъ интересовъ, наконецъ историческое изученіе больше и больше приводятъ мыслящихъ людей и патріотовъ къ сознанію о необходимости національнаго сербскаго единства. Мы видѣли, какъ эта мысль уже высказывалась въ разныхъ литературахъ сербскаго племени, начиная съ Досиѳея Обрадовича и до поэтовъ иллиризма. Эта идея нашла ревностныхъ проповѣдниковъ и въ поэтахъ новѣйшей сербской литературы всѣхъ ея отдѣловъ: они опять говорятъ о братской любви и единодушной борьбѣ противъ врага, сзываютъ своихъ братьевъ отъ Дравы до Балкана, отъ Дуная до Адріатическаго моря:

„Слышите ли...., чего начинаютъ требовать народы, какія ихъ желанья и надежды, — говоритъ современный далматинскій поэтъ (Сундечичъ). Нынѣ подъ ногами ихъ трясется земля, рѣчи подымаются къ облакамъ, и изъ каждой страны всякій вѣтерокъ приноситъ намъ таинственныя слова, которыя будятъ наши сердца и мысли; онѣ предшествуютъ назначенной порѣ, за которой мы будемъ ждать спасенья. Въ глубинѣ пещеры, гдѣ почиваетъ нашъ Марко, уже засверкалъ его мечъ...

„Пусть витязи опоясываются саблями, пусть приготовятъ добрыхъ коней, пусть спятъ у готовыхъ коней, чтобы скорѣе быть въ сѣдлѣ и скорѣе напасть на врага, а тамъ что дастъ Богъ и наша рука!... Но не будемъ полагаться на одни юнацкія мышцы; противъ коварства надо бороться мудро, а нашъ врагъ — коварство. Пусть умъ повелѣваетъ нашею рукою, но, разъ начавши, пусть не перестаетъ она, пока не падетъ или не побѣдитъ“...

Въ томъ же тонѣ національнаго единства говорятъ и другіе современные поэты, и Сербы, какъ Малетичъ, Якшичъ, Утѣшеновичъ, Субботичъ; и Хорваты, какъ Вукотиновичъ, Мажураничъ, Боговичъ; и Далматинцы, какъ Медо-Пучичъ, Казали и проч. Но дѣйствительность еще мало соотвѣтствуетъ восторженнымъ призывамъ: Сербы все еще остаются крайне раздѣлены и чужимъ гнетомъ, и собственною безтактностью; проповѣдь братства, начатая со временъ Обрадовича, все еще не сблизила племенъ «Дуная и Адріатическаго моря», да и сами проповѣдники изъ австрійскихъ Сербовъ (напр. Субботичъ) мирятъ какъ-то свои національныя воззванія съ преданностью австрійскому престолу.

Но во всякомъ случаѣ эти поэтическіе призывы имѣютъ свой корень въ политическомъ сознаніи, которое, хотя и медленно, развивается однако въ сербскомъ населеніи, и при національныхъ качествахъ Сербовъ даетъ угадывать впереди болѣе прочное, политическое и образовательное движеніе, и можно думать, что опытность, пріобрѣтенная въ прошломъ, послужитъ передовымъ людямъ народа на будущее время.

7. НАРОДНАЯ ПОЭЗІЯ СЕРБОВЪ.

Изъ всѣхъ славянскихъ народовъ, можно даже сказать изъ всѣхъ народовъ европейскихъ, Сербы представляютъ наиболѣе свѣжее и обширное развитіе народной поэзіи, сохранившейся до настоящаго времени въ той же живой полнотѣ, какую мы вообще предполагаемъ для народной поэзіи въ старые періоды непосредственно-патріархальнаго быта. Это явленіе дѣйствительно замѣчательно,— потому что, хотя болѣе внимательное изслѣдованіе народной жизни до сихъ поръ продолжаетъ открывать и у другихъ народовъ много этого поэтическаго матеріала, считавшагося затеряннымъ (примѣръ въ болгарскомъ эпосѣ и въ новыхъ открытіяхъ древняго русскаго эпоса), нигдѣ однако не находится такого роскошнаго обилія пѣсни, такого равномѣрнаго распредѣленія ея въ народѣ и такого живучаго творчества, какъ у Сербовъ. Это явленіе должно конечно имѣть свои причины въ особенныхъ качествахъ національнаго характера и народной исторіи.

Мы уже говорили выше, что честь настоящаго открытія сербской поэзіи для европейской литературы принадлежитъ Вуку Караджичу. Но въ первый разъ она указана была еще въ прошломъ столѣтіи. Умный итальянскій путешественникъ, аббатъ Фортисъ издалъ, въ 1774, очень любопытное описаніе Морлаковъ, сербскаго племени въ Далмаціи, дикаго и мало цивилизованнаго, но привязаннаго къ старымъ обычаямъ и преданіямъ. Онъ упоминаетъ объ ихъ пѣсняхъ и приводитъ нѣсколько образцовъ [1]). Эти пѣсни обратили на себя вниманіе европейскаго литературнаго міра въ переводахъ Гердера и Гёте, сдѣланныхъ съ французскаго,— но масса пѣсенъ оставалась еще неизвѣстна; только очень немногіе знали, что много отрывковъ замѣчательныхъ историческихъ пѣсенъ разсѣяно было въ видѣ объясненій въ словаряхъ Бѣлостѣнца, Ямбрежича и Делла-Беллы, и что цѣлый рядъ историческихъ пѣсенъ переданъ былъ, хотя и не въ первобытной формѣ, въ стихотвореніяхъ Далматинца Качича-Міошича. Въ сборникѣ Вука Караджича (1814 — 15) эти пѣсни явились въ первый разъ цѣлымъ разнообразнымъ цикломъ, въ неподдѣльной народной одеждѣ [2]). Съ

[1]) См. Fortis, Viaggio in Dalmazia, Venez. MDCCLXXIV, v. 1, p. 98. Xalostna pjesanza plemenite Asan-Aghinize, и др.

[2]) Кромѣ позднѣйшаго, дополненнаго собранія Караджича (4 т.), упомянемъ еще изданіе сербскихъ пѣсенъ: Чубра Чойковича, Пѣваннія церногорска и херцеговачка, собрана Ч. Чойк., церногорцемъ (Милутиновичемъ). Вѣна 1833, Лейпц. 1837;—

тѣхъ поръ сербскія пѣсни пріобрѣли европейскую извѣстность и нашли много отголосковъ въ европейской и славянской поэзіи [3]).

Интересъ народной поэзіи Сербовъ чрезвычайно возвышается той свѣжестью, съ какой она до сихъ поръ живетъ и помнится въ народѣ.

«Поэзія Сербовъ самымъ тѣснымъ образомъ связана съ ихъ обыкновенной жизнью. Это—картина ихъ мыслей, чувствъ, дѣйствій и страданій; это—поэтическое воспроизведеніе разныхъ положеній массы людей, составляющихъ народъ. Въ комнатѣ, гдѣ сидятъ у очага женщины за вязаньемъ; въ горахъ, гдѣ парни пасутъ свои стада; на площадяхъ, гдѣ деревенская молодежь собирается танцовать *коло*; на равнинахъ, гдѣ собирается жатва; въ лѣсахъ, черезъ которые проѣзжаетъ одинокій путешественникъ,—вездѣ раздается пѣсня. Пѣсня сопровождаетъ всякую работу и часто относится къ ней. Сербъ *живетъ* свою поэзію.

«Сербы раздѣляютъ обыкновенно свои пѣсни на двѣ большія части. Небольшія пѣсни разныхъ размѣровъ, лирическія или эпическія, и которыя поются безъ аккомпанимента, называются *женскими пѣснями*, потому что онѣ складываются большею частью женщинами. Другія пѣсни, состоящія изъ длинныхъ эпопей въ стихахъ изъ пяти правильныхъ трохеевъ, и которыя поются подъ *гусли*, родъ простой однострунной скрипки, называются *юнацкими* пѣснями... Первыя изъ этихъ пѣсенъ носятъ въ высокой степени домашній характеръ. Они сопровождаютъ насъ во всѣхъ различныхъ отношеніяхъ домашней жизни, какъ въ ежедневныхъ занятіяхъ, такъ и въ праздники и дни веселья, прерывающіе ихъ обыкновенное теченіе. Многое было сказано, и многое еще можно сказать въ похвалу этихъ гармоническихъ изліяній нѣжнаго, свѣжаго и неподдѣльнаго чувства... Мы ограничимся здѣсь замѣчаніями о томъ, что отличаетъ сербскую поэзію отъ другихъ славянскихъ пѣсенъ.

«Это отличіе мы находимъ главнымъ образомъ въ *веселости*, основномъ элементѣ сербской поэзіи,—свѣтлой и прозрачной ясности духа, похожей на блестящую синеву южнаго неба. Только намеки на несчастье замужней жизни собираются иногда въ тяжелыя облака на этомъ прекрасномъ небѣ. Страхъ быть отданной за *стараго* мужа, страхъ злой свекрови, ссоры съ невѣстками, увеличивающіяся заботы домашняго быта, — потому что въ истинно патріархальномъ стилѣ женатые сыновья остаются въ родительскомъ домѣ, и всѣ вмѣстѣ составляютъ одну семью,—всѣ эти обстоятельства возмущаютъ иногда неистощимую веселость сербскихъ женщинъ и часто вызываютъ изъ ихъ покорнаго сердца кроткія жалобы, и можетъ быть еще чаще ужасныя проклятія. Пѣсни, не назначенныя для какого нибудь частнаго слу-

Огледало сербско (юнацкія черногорскія пѣсни), Бѣлградъ 1846; — J. F. Jukić i L. Hercehovac, Narodne pjesme bosanske i hercehovačke, Osiek 1858 и друг.

[3]) Въ нѣмецкой литературѣ сербскія пѣсни извѣстны въ переводахъ Франкля, Зигфрида Каппера, но особенно Тальви (г-жи Робинзонъ); во французской — въ переводахъ Мармье, и новѣйшемъ Дозона (Dozon).

чая, также сильно и ясно носятъ отпечатокъ семейной жизни, и полны намековъ на домашнія отношенія...

«Изъ старинныхъ пѣсенъ, которыя поются въ извѣстныхъ опредѣленныхъ случаяхъ, самыя замѣчательныя— свадебныя пѣсни, приспособленныя къ разнообразнымъ церемоніямъ славянской свадьбы. И здѣсь мы опять встрѣчаемся съ однимъ изъ тѣхъ разнообразныхъ противорѣчій нравственнаго міра, которыя ставятъ философію въ тупикъ. Между тѣмъ какъ всѣ символическія церемоніи сильно выказываютъ постыдное состояніе рабства и униженія, въ какое ставитъ славянскую женщину заключеніе брака (потому что славянскія *дѣвушки* до извѣстной степени свободны и счастливы, и если онѣ красивы и трудолюбивы, то пользуются уваженіемъ и за ними особенно ухаживаютъ), *пѣсни*, поэтическія воспроизведенія этихъ грубыхъ, суровыхъ, унизительныхъ *дѣйствій*,—деликатны, веселы и почти изысканно любезны. Есть разныя указанія на то, что онѣ, подобно русскимъ пѣснямъ этого рода, очень похожимъ на сербскія, происходятъ изъ очень древняго періода. Какъ и въ русскихъ пѣсняхъ, въ нихъ нѣтъ намековъ на церковные обряды...

«Предметъ, еще болѣе достойный удивленія, представляютъ намъ Сербы въ своихъ *героическихъ* пѣсняхъ. Въ самомъ дѣлѣ, по этому множеству простыхъ легендъ и запутанныхъ разсказовъ мы можемъ изучать, что такое народная эпическая поэзія, какимъ образомъ она создается и распространяется, какую естественную силу вымысла она обнаруживаетъ,—силу, которой не владѣетъ никакое искусство. Сербы стоятъ въ этомъ отношеніи совершенно уединенно; ни одинъ изъ новѣйшихъ народовъ не можетъ сравниться съ ними въ эпической производительности; они какъ будто бросили новый свѣтъ на великія произведенія древнихъ. Такимъ образомъ мы безъ преувеличенія можемъ назвать изданіе сербскихъ поэмъ однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ литературныхъ событій новѣйшаго времени.

«Общій характеръ сербскихъ поэмъ—*объективность* и *пластичность*. Въ большей части случаевъ поэтъ замѣчательнымъ образомъ стоитъ выше своего предмета. Онъ рисуетъ свои картины не блестящими красками, а ясными, выдающимися чертами; читателю не нужно никакихъ объясненій, онъ видитъ все своими собственными глазами. Сравнивая сербскія эпопеи съ тѣмъ, что имѣли прежде другіе славянскіе народы, мы находимъ, что Сербы далеко превосходятъ ихъ... Сербъ, даже когда онъ представляетъ своихъ соотечественниковъ въ битвѣ съ смертельными врагами и гонителями, обнаруживаетъ къ первымъ почти столько же пристрастія, сколько Гомеръ къ своимъ Грекамъ... Главное достоинство сербскихъ лирическихъ пѣсенъ заключается вовсе не въ прекрасныхъ частяхъ, но, большею частью, въ цѣломъ ихъ составѣ и въ ясномъ, наглядномъ и пластическомъ способѣ представленія. Относительно ихъ стиля мы прибавимъ только одно замѣчаніе. Въ славянской народной поэзіи нѣтъ вообще ни одного изъ тѣхъ вульгаризмовъ, которые во многихъ случаяхъ обезображиваютъ народныя

баллады тевтонскихъ народовъ. Впрочемъ *достоинства* стиля, какъ оно обыкновенно понимается, нельзя ожидать ни отъ какой народной поэзіи. Тѣ изъ читателей, которыхъ чувство, отъ незнакомства съ поэзіей природы, оскорбляется извѣстными неблагородными выраженіями, безсознательно разсѣянными иногда въ самыхъ прекрасныхъ описаніяхъ, — не избѣгнутъ непріятнаго впечатлѣнія, читая сербскія пѣсни. Картины всегда свѣжи, осязательны и поразительны; но, хотя нерѣдко эффектъ высокаго, и эффектъ глубокаго трагическаго паѳоса, достигается совершенной простотой, ничто такъ не чуждо имъ, какъ напыщенная важность и щепетильная утонченность французской сцены.

«Количество и разнообразіе сербскихъ героическихъ поэмъ огромны. Древнѣйшій циклъ легендъ составляютъ великій царь Душанъ Неманичъ и и его герои; благочестивый князь Лазарь, послѣдній свободный повелитель Сербовъ, взятый въ плѣнъ въ сраженіи и казненный Турками, и смерть его вѣрныхъ сподвижниковъ на Косовскомъ полѣ. Двѣ битвы происходившія здѣсь, въ 1389 и 1447 г., ставятъ конецъ существованію сербскаго царства. Въ непосредственной связи съ этими эпическими пѣснями находятся пѣсни, герой которыхъ — сербскій Геркулесъ, Марко Кралевичъ, — числомъ по крайней мѣрѣ тридцать или сорокъ. Картины, представляемыя этими пѣснями, въ высшей степени суровы и смѣлы, и часто начерчены на миѳологическомъ основаніи» [4]).

Эти симпатичные отзывы писательницы, внимательно изучавшей сербскія пѣсни, тѣмъ больше могутъ быть справедливы, что они чужды всякаго національнаго пристрастія.

Сербскій эпосъ разработанъ отчасти въ подробностяхъ, но до сихъ поръ все еще нѣтъ его цѣльнаго изученія. Мы уже говорили, какъ г. Безсоновъ опредѣляетъ періоды сербскаго эпоса. Это дѣленіе, соотвѣтствующее главнѣйшимъ періодамъ самой исторіи сербскаго народа, вѣрно въ общихъ чертахъ, потому что наиболѣе рѣзкія явленія народной исторіи естественно должны были отразиться и въ содержаніи эпической поэзіи. Къ послѣднему старому періоду гайдуковъ и Ускоковъ, который начинается въ исторіи и въ поэзіи послѣ эпоса Косовской битвы и ближайшихъ къ ней событій, примыкаютъ въ нынѣшнемъ столѣтіи пѣсни о Георгіи Черномъ и его сподвижникахъ, и наконецъ новѣйшія пѣсни, находящія свое содержаніе въ постоянной борьбѣ съ Турками. Черногорія до сихъ поръ даетъ живой матеріалъ для эпоса и онъ продолжаетъ создаваться тамъ съ той же легкостью творчества.

Но съ другой стороны, теперь трудно или даже невозможно опредѣлить реальную исторію этого эпоса: всѣ произведенія его мы знаемъ уже въ ихъ новѣйшей формѣ, гдѣ старое и новое до такой степени сливаются въ

[4]) Talvj, Sketch, стр. 368—378.

одинъ общій тонъ, что эти произведенія могли дѣлать впечатлѣніе одной цѣльной поэмы.

«Сличая разсказы о событіяхъ временъ древнѣйшихъ съ новѣйшими,— говоритъ другой цѣнитель сербской поэзіи, Прейсъ,—мы не находимъ рѣзкаго между ними различія ни въ тонѣ, ни въ слогѣ, ни въ пріемахъ и оборотахъ эпическихъ. Тѣ и другіе кажутся произведеніями одного лица. Правда, въ древнѣйшихъ пѣсняхъ на сценѣ являются преимущественно Сербы; въ новѣйшихъ большею частію изображается борьба Сербовъ съ Турками; въ первыхъ герои сражаются мечами, стрѣлами, копьями; но во вторыхъ господствуетъ уже огнестрѣльное оружіе. Но какъ эти черты, такъ и подобныя имъ, очевидно несущественны, не имѣютъ вліянія на способъ изложенія, служатъ скорѣе доказательствомъ, что въ древнѣйшихъ пѣсняхъ вѣрнѣе отражено прошедшее. Отъ этого такъ нерѣдко новѣйшія пѣсни въ языкѣ и подробностяхъ народнаго быта представляютъ такіе архаизмы, которые не согласны съ нынѣшнимъ состояніемъ языка и народа. Откуда эти архаизмы могли зайдти въ новыя пѣсни, если не изъ стараго, наслѣдственнаго заученнаго матеріала? Эпическій стиль, — работа вѣковъ и поколѣній, — остается вездѣ одинъ и тотъ же: силѣ его подчиняется талантъ народнаго поэта, какъ бы онъ ни былъ оригиналенъ и изобрѣтателенъ». Причину этого единства въ характерѣ пѣсенъ Прейсъ находитъ въ томъ, что сербская поэзія всегда вѣрно отражала жизнь, а самая жизнь въ сущности не измѣнялась и съ перемѣною политическаго господства. Сербы съ давнихъ поръ были народомъ воинственнымъ и пастушескимъ; они, какъ масса, ничего не заимствовали ни отъ Византіи, ни отъ латинскаго запада, съ которыми сближались ихъ династія и бояре; они остались тѣми же и въ эпоху турецкаго господства. Въ это время ихъ воинственность возстала противъ турецкаго гнета и породила безчисленные подвиги Черногорцевъ, гайдуковъ и приморскихъ Ускоковъ, — подвиги, именно и давшіе содержаніе позднѣйшему эпосу, который создался по тому же древнему плану. Таково общее непосредственное впечатлѣніе, которое производитъ сербскій эпосъ, слившійся теперь въ устахъ народа въ длинную, повидимому цѣльную и однородную, поэму его исторической судьбы.

«На всемъ этомъ длинномъ пути — продолжаетъ Прейсъ — эпическія пѣсни всюду сопутствовали народу, въ этой бивачной жизни черпали свой матеріалъ: онѣ донынѣ въ свѣжей памяти народа. Любопытно при этомъ слѣдить за выборомъ предметовъ для пѣсенъ. Народные поэты преимущественно останавливаются на разсказахъ о тѣхъ событіяхъ, въ которыхъ Сербы участвовали своею головою, своими руками. Отъ этого народная пѣсня не говоритъ о кровопролитныхъ войнахъ первыхъ королей изъ дома Немани. Изъ всѣхъ дѣлъ Неманичей уцѣлѣли въ памяти народной одни монастыри—эти «вѣчныя ихъ обители на томъ свѣтѣ», какъ выражаются пѣсни,— и сохранились, вѣроятно, по одному только отношенію монасты-

рей къ послѣдующимъ судьбамъ сербскаго народа. Въ годину тяжкихъ испытаній, монастыри были утѣшеніемъ народа, были щитомъ христіанства, стражемъ народности. Вблизи ихъ Сербы легче забывали настоящее, и въ пѣснѣ вспоминая о священной своей старинѣ, не теряли упованія на будущее, готовились къ нему. Народная пѣсня молчитъ также о подвигахъ Матвѣя Корвина, скупа на разсказъ о дѣйствіяхъ австрійскихъ полководцевъ противъ Турокъ; напротивъ того становится говорливою, когда зайдетъ рѣчь о тѣхъ битвахъ, въ которыхъ каждый въ дружинѣ былъ и вождемъ и воиномъ. Огромныя массы, покорныя мысли одного, не предметъ для народнаго поэта... Здѣсь, кажется, должно искать главнѣйшую причину упадка ея въ настоящее время у большей части славянскихъ народовъ» [5]).

Но это впечатлѣніе единства вѣрнѣе дополняется историческимъ изученіемъ. Если, какъ выше замѣчено, мы лишены возможности имѣть точную хронологію произведеній сербскаго эпоса, современная наука даетъ средство опредѣлить послѣдовательныя эпохи главнѣйшихъ измѣненій, происшедшихъ во внутреннемъ его характерѣ. Такимъ образомъ передъ нами болѣе ясно раскрывается первобытная миѳическая основа эпоса и послѣдовательныя историческія наслоенія позднѣйшихъ временъ. Изученіе эпическихъ пріемовъ и подробностей объясняетъ намъ тотъ первобытный смыслъ, какой имѣлъ этотъ условный языкъ, ставшій теперь однимъ поэтическимъ обычаемъ; мы отличаемъ разныя эпохи народнаго быта, которыя оставляли въ этой поэзіи свое отраженіе и это объясняетъ намъ тѣ мнимыя противорѣчія, какія встрѣчаетъ въ ней непривычное наблюденіе, представляя себѣ область этой поэзіи одной постоянной и неизмѣняющейся картиной; наконецъ въ массѣ сходныхъ и отчасти однообразныхъ подвиговъ мы отличаемъ индивидуальныя черты героевъ.

Такое изученіе и для сербской поэзіи только что начато.

Въ цѣломъ сербскія юнацкія пѣсни представляютъ замѣчательный, и въ настоящее время единственный въ Европѣ, примѣръ живаго народнаго эпоса. Въ нихъ дѣйствительно оживаютъ передъ нами времена гомерической поэзіи, со всѣми свойствами ея творчества и всенародности. Въ прошедшіе вѣка, когда сербская поэзія была ближе къ описываемымъ событіямъ и полнѣе передавала ихъ подробности, ей недоставало только своего собирателя, чтобы представить въ извѣстной мѣрѣ цѣльную и широкую эпопею, какова Иліада. У Сербовъ были для того всѣ задатки. Наблюдая народныя свойства Сербовъ, мы поймемъ и причины превосходства ихъ эпоса относительно поэзіи другихъ славянскихъ народовъ, и въ частности Болгаръ, находившихся въ сходныхъ съ ними условіяхъ. Если сербскій эпосъ вѣрнѣе сохранилъ черты старины, лучше сберегъ память старыхъ героевъ и владѣетъ бо̀льшею степенью творчества, это легко объясняется

[5]) Прейсъ, О эпич. поэзіи Сербовъ, въ Актѣ Спб. Унив. 1845, стр. 143—147.

энергическимъ характеромъ сербскаго народа, не упавшаго подъ тѣми испытаніями, которыя достались ему на долю, и сохранившаго въ отдѣльныхъ, но вовсе не рѣдкихъ, примѣрахъ все геройство патріархальныхъ временъ. Было замѣчено, что гдѣ два населенія встрѣчаются, сербское населеніе беретъ верхъ надъ болгарскимъ, передаетъ ему свои нравы и языкъ: та же бо́льшая степень народной энергіи обнаруживается и въ превосходствѣ сербскаго эпоса.

Мы уже замѣтили выше, что жизненность сербской пѣсни обнаруживается и въ замѣчательной равномѣрности ея распредѣленія: поэтическое чувство и производительность принадлежатъ одинаково всей странѣ, населенной сербскимъ племенемъ. Но справедливое въ цѣломъ, это замѣчаніе должно быть ограничено въ подробностяхъ. Юнацкія пѣсни помнятся и ростутъ больше въ горныхъ краяхъ южной Сербіи, Боснѣ, Черногоріи и сосѣдней Далмаціи. «Къ сѣверовостоку производительность уменьшается,— замѣчаетъ Тальви;—въ австрійскихъ провинціяхъ еще *знаютъ* пѣсни, но рецитированіе ихъ, и самыя гусли, оставлены слѣпцамъ и нищимъ. Пирхъ слышалъ впрочемъ пѣсни о Маркѣ Кралевичѣ въ сосѣдствѣ Нейзаца (Новаго-Сада), въ Венгріи. Съ другой стороны, любовныя сербскія пѣсни и всѣ тѣ, которыя понимаются подъ названіемъ женскихъ,— хотя онѣ поются вовсе не исключительно женщинами,—появляются главнымъ образомъ въ тѣхъ краяхъ, гдѣ, быть можетъ, блескъ западной цивилизаціи далъ нѣкоторую утонченность общему чувству. Родина большей части изъ нихъ— *деревни* Срема, Баната и Бачвы; онѣ слышатся также въ городкахъ Босніи, тогда какъ въ *городахъ* австрійскихъ провинцій онѣ вытѣснены новѣйшими пѣснями, можетъ быть менѣе замѣчательными, и безъ сомнѣнія менѣе національными» [6]). Прейсъ объясняетъ это характеромъ горныхъ жителей, но едва ли не справедливѣе объяснить это во первыхъ тѣмъ, что названныя выше страны были и мѣстомъ самыхъ подвиговъ, во вторыхъ вліяніемъ цивилизаціи, которая невыгодно дѣйствовала на свое сосѣдство относительно сбереженія пѣсенъ. Здѣсь должно было происходить тоже явленіе, какое замѣчается въ этомъ отношеніи вездѣ: народная пѣсня и старина живутъ только тамъ, гдѣ еще тверды традиціи патріархальнаго быта, онѣ забываются и пропадаютъ съ приближеніемъ быта цивилизованнаго. Прейсъ, отчасти безсознательно, но вѣрно опредѣлилъ и сохраненіе цѣлаго поэтическаго матеріала у Сербовъ неподвижностью ихъ народной жизни въ исторіи: въ этомъ ихъ сила, но въ этомъ же и ихъ слабая сторона. Старая поэзія забывается, когда оканчивается патріархальная непосредственность быта и понятій.

[6]) Talvi, ib. стр. 383.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

РУССКОЕ ПЛЕМЯ.

1. Русская литература.

Для полноты обзора цѣлаго круга славянскихъ литературъ мы должны дать въ нашемъ очеркѣ мѣсто и русской литературѣ, хотя извѣстность фактовъ, которую мы можемъ предположить въ читателѣ, позволяетъ намъ ограничиться однимъ общимъ очеркомъ этихъ фактовъ и ихъ значенія: какъ ни были разъединены историческія судьбы славянскихъ племенъ и какъ ни отбилось отъ нихъ русское племя, оно имѣло однакоже извѣстныя связи съ ними и въ послѣднемъ, новомъ періодѣ получило для нихъ особенное значеніе.

Мы уже говорили о разселеніи русскаго племени, его численной силѣ и этнографическомъ распредѣленіи. Намъ достаточно теперь замѣтить, что русское племя не было одной сплошной національной массой: раздѣленное, при первомъ появленіи въ исторіи, на многія мелкія племена, оно не сплотилось и потомъ въ одну такую массу, тѣмъ больше, что первыя эпохи русской исторіи заняты были дѣломъ колонизаціи восточныхъ и сѣверныхъ земель, и эта колонизація скорѣе развлекала и разъединяла націю, чѣмъ сосредоточивала и объединяла ее. Поэтому нѣтъ ничего удивительнаго, что теперь, въ концѣ пройденнаго до сихъ поръ пути, русское племя представляетъ видоизмѣненія весьма несходнаго свойства. Послѣ великорусскаго, существенное изъ нихъ — малороссійское, къ которому примыкаетъ Русь Галицкая и Карпатская; затѣмъ — Бѣлоруссія. Политическая исторія содѣйствовала этому раздѣленію, потому что южная и западная части Руси, связанныя съ Литвой и Польшей, жили въ иныхъ условіяхъ, дѣйствовавшихъ на народный характеръ и образованіе. Эти части Руси сохранили, правда, свой языкъ, подвергавшійся впрочемъ въ значительной степени польскому вліянію, сохраняли религію, до введенія въ западной

Руси унiи, но при всемъ томъ они мало участвовали въ томъ культурномъ состоянiи и литературѣ, которыя развивались въ сѣверной и восточной Руси, централизованной въ Москвѣ. Западная и южная Русь вступаютъ въ этотъ культурный порядокъ уже тогда, когда политическое ослабленiе и потомъ паденiе Польши соединяютъ съ Москвой сначала южную Украйну, а потомъ и Русь Литовскую. Мы увидимъ однако, что въ послѣдней это соединенiе съ Россiей долго не могло пересилить хода вещей, установившагося въ теченiи польскаго перiода. Въ южной Руси 19-е столѣтiе вызвало весьма замѣтное движенiе въ нацiональномъ смыслѣ. Русь Галицкая отдѣлилась отъ цѣлаго племени всего сильнѣе, и теперь принадлежитъ Австрiйской имперiи.

Такимъ образомъ, то, что мы привыкли называть русской стариной, древней (или, и новой) русской литературой, относится существенно только къ великорусской части племени и далеко не всегда можетъ относиться къ другимъ частямъ русскаго племени: послѣ древнѣйшаго перiода, который представляетъ еще извѣстную первобытную связь мелкихъ народностей, другiя части являются уже съ своими иными преданiями и, до соединенiя, участвовали въ культурной исторiи великорусской Москвы, какъ мы увидимъ, только въ одно извѣстное время, въ 16—17-мъ столѣтiяхъ.

Первые литературные факты русскаго языка относятся къ древней кiевской эпохѣ, именно ко временамъ введенiя христiанства. Преданiе упоминаетъ, что Кириллъ, во время своего путешествiя въ Казарiю, видѣлъ въ Корсунѣ евангелiе и псалтырь, «росьскы писмены писано», и нашелъ человѣка, «глаголюща тою бесѣдою»; но критики болѣе благоразумные считаютъ это евангелiе готскимъ, а не русскимъ, потому, что и русскiя письмена—если онѣ существовали въ то время—не были достаточны для подобнаго памятника, и степень культуры русскихъ племенъ дѣлаетъ его существованiе еще менѣе вѣроятнымъ. Всѣ историческiя данныя убѣждаютъ, что евангелiе и вообще священное писанiе и церковныя книги появились у насъ только отъ Болгаръ и въ болгарской формѣ.

Этотъ первый фактъ русской литературной исторiи ведетъ за собой позднѣе рядъ другихъ фактовъ этого рода, которые въ массѣ представляютъ цѣлое историческое явленiе—тѣсную связь древней русской письменности съ Болгарiей или лучше съ южнымъ славянствомъ, потому что Сербы въ этомъ отношенiи, какъ мы видѣли, были также въ тѣсныхъ связяхъ съ Болгарiей, и съ своей стороны имѣли свою долю влiянiя на русскую письменность. Эти связи важны были въ томъ отношенiи, что съ самаго начала они сообщили русской письменности—безъ всякаго труда съ ея стороны—цѣлый запасъ памятниковъ извѣстнаго рода, которые давали первымъ грамотнымъ людямъ русскимъ готовыя понятiя и готовую мораль. Эта многочисленность явившихся теперь готовыхъ памятниковъ конечно усиливала сама по себѣ то направленiе понятiй, которое они съ собой приносили. До какой степени этотъ запасъ пришлыхъ памятниковъ былъ

обширенъ, мы можемъ судить и теперь, хотя еще и теперь далеко не вполнѣ извѣстенъ весь объемъ старо-славянской литературы. Указывая прежде памятники старой болгарской или старо-славянской письменности,—извѣстные у насъ и нерѣдко только въ русскихъ спискахъ существующіе,—мы видѣли, что они представляютъ, по византійскимъ источникамъ и книгамъ, и христіанское вѣроученіе («Слова», «Поученія», «Маргариты», «Измарагды», «Пчелы», «Златыя Цѣпи», «Изборники» и т. д.), и каноническое право («Кормчая», «Церк. Уставы», «Типиконы» и пр.), и сочиненія историческія («Палеи», «Хронографы», «Патерики», «Прологи»), и наконецъ произведенія фантазіи и апокрифическія преданія,—къ этому присоединялись и произведенія собственно болгарскія, христіанско-поучительныя подражанія болгарскихъ писателей и памятники болгарскихъ суевѣрій и богомильства. Однимъ словомъ, это былъ цѣлый литературный циклъ, вліяніе котораго не замедлило обнаружиться.

Этотъ періодъ тѣсныхъ связей, религіозныхъ и литературныхъ, съ южно-славянскимъ міромъ продолжается съ самаго начала нашей письменности до окончательнаго паденія южно-славянскихъ царствъ, до 14—15-го столѣтія. Кромѣ множества произведеній, завѣдомо пришедшихъ къ намъ изъ этого источника, остается еще много переводныхъ византійскихъ памятниковъ, которые имѣли вѣроятно то же самое происхожденіе: по крайней мѣрѣ мы до сихъ поръ имѣемъ еще очень мало извѣстій о греческой учености нашихъ предковъ и часто должны въ такихъ случаяхъ ссылаться на южно-славянскіе источники (хотя въ частности можно замѣтить, что Аѳонъ, игравшій извѣстную роль въ исторіи южно-славянской литературной дѣятельности, имѣлъ и своихъ русскихъ представителей). Изученіе рукописныхъ древностей Болгаръ и Сербовъ, теперь едва начинающееся, вѣроятно подтвердитъ эти предположенія.

Византійскій характеръ литературы, указанный нами въ древнемъ болгарскомъ періодѣ, этимъ путемъ оказалъ преобладающее вліяніе и у насъ. Первые литературные труды русскихъ писателей обнаруживаютъ это ясно. Писатели были почти исключительно духовные; содержаніе ихъ произведеній—по преимуществу догматическое и поучительное—заставляло ихъ обращаться къ византійскимъ пособіямъ, и они заимствовали изъ этихъ пособій не только самую мысль, ея развитіе и примѣненія, но даже форму и способъ выраженія. Произведенія русскихъ проповѣдниковъ стали высокопарнымъ подражаніемъ византійскимъ образцамъ, и Кириллъ Туровскій дошелъ въ этомъ смыслѣ до изысканности, которая была бы очень хороша, если бы только была понятна тогдашней массѣ;—а мы имѣемъ основаніе думать, что это едва ли было такъ. Масса только что выходила изъ язычества, она понимала религію еще весьма грубымъ и матеріальнымъ образомъ (доказательство—напр. вопросы Кирика и много другихъ подобныхъ фактовъ), и реторическое краснорѣчіе для нея пропадало. Эта изысканность мысли и книжность языка не показываютъ конечно литературной силы.

Наши писатели не умѣли освободиться отъ рамки, данной образцами, не умѣли найдти для своихъ произведеній формы болѣе согласной съ домашними условіями, т. е. потребностями и степенью пониманія своихъ читателей и слушателей. Или же, эти произведенія не доходили до массы. Ихъ языкъ всегда оставался тотъ же, который онѣ въ первый разъ приняли, и онъ, какъ однажды усвоенная традиція, переходилъ отъ поколѣнія къ поколѣнію, не сближаясь съ народнымъ, и только невольно подчиняясь его вліянію. Литературнымъ языкомъ этого отдѣла письменности остался старо-славянскій, только въ неизбѣжныхъ случаяхъ видоизмѣненный вліяніемъ русскаго. Были конечно и исключенія, были писатели, болѣе чувствовавшіе требованія живаго языка, но говоря вообще, реторическая манера, начавшись съ первыхъ памятниковъ, проходитъ черезъ всю литературу этого разряда (притомъ переводную по преимуществу). Впослѣдствіи, когда именно зашелъ вопросъ о пониманіи «писаній» и когда, послѣ многочисленныхъ переписываній, складъ этой литературы долженъ былъ повидимому упроститься, оказалось, что и въ грамотной массѣ господствовали объ ихъ смыслѣ крайне превратныя понятія, которыя и стали одной изъ главныхъ причинъ и однимъ изъ орудій раскола.

Указанныя нами свойства произведеній, или прямо переводныхъ, или собственныхъ, догматическаго и поучительнаго содержанія, явившихся подъ византійскимъ вліяніемъ, не остались безъ слѣда въ народномъ развитіи. Слѣдъ этотъ былъ конечно отрицательный: цѣлый разрядъ произведеній былъ доступенъ только извѣстному книжному слою, почти только извѣстному сословію, и оставался, въ суммѣ, недоступенъ народному большинству, которое естественно должно было искать иного удовлетворенія своимъ умственнымъ и нравственнымъ потребностямъ. Мы увидимъ дальше, гдѣ искала своего удовлетворенія полуграмотная и безграмотная масса.

Самостоятельная литературная дѣятельность выразилась существеннымъ образомъ въ *лѣтописи*, которая, начавшись съ первой грамотностью коротенькими монастырскими отмѣтками, доходитъ почти безъ перерыва до событій 17-го вѣка. Первый памятникъ лѣтописи, носящій имя Нестора, былъ для своего времени замѣчательнымъ произведеніемъ и послужилъ исходной точкой для послѣдующихъ лѣтописцевъ. Независимо отъ этой кіевской лѣтописи велись другія мѣстныя лѣтописи — новгородская, волынская, тверская, переяславская, лѣтописи московскія и т. д., вызываемыя болѣе живой исторической дѣятельностью. Погодный разсказъ лѣтописи уже съ самаго начала дополнялся цѣлыми отдѣльными сказаніями о замѣчательныхъ событіяхъ и лицахъ: впослѣдствіи число подобныхъ сказаній увеличивается болѣе и болѣе и наконецъ являются попытки цѣльныхъ историческихъ разсказовъ.

Но за исключеніемъ лѣтописи масса старой русской письменности представляетъ мало самобытнаго. Огромное большинство всего матеріала состояло изъ переводныхъ византійскихъ книгъ; формы письменности были по-

твореніемъ и примѣненіемъ византійскихъ формъ. Такова была напр. и литература *житій*, которая появляется у насъ съ самаго перваго времени (житія Өеодосія, Бориса и Глѣба и т. д., и т. д., кіевскій Патерикъ и т. д.) и которая имѣла свои образцы въ массѣ переводныхъ греческихъ житій, пришедшихъ съ южно-славянскими книгами. Новѣйшее изслѣдованіе этой литературы открываетъ въ ней черты народно-поэтическихъ сказаній (напр. житія Меркурія смоленскаго, Петра и Февроніи муромскихъ и др.); но въ большинствѣ это были произведенія чисто монастырскія, поэзія аскетизма, привитая византійской литературой.

Затѣмъ, изъ того же источника приходило къ намъ множество другихъ произведеній съ тѣмъ же общимъ характеромъ, книги нравственно-поучительнаго содержанія, какъ *Пчела*, *Златая Цѣпь* и много другихъ подобныхъ сборниковъ, начиная съ знаменитаго Святославова или Симеонова *Изборника* 11-го столѣтія; и книги историческія: *Палеи* и особенно *Хронографы*, достигающіе отъ стараго періода до самаго 18-го столѣтія.

Отсюда же шли *поэтическія* произведенія византійскаго происхожденія, о которыхъ мы упоминали въ обзорѣ древне-болгарской и сербской литературы: повѣсти о Троѣ и «Александрія», «Девгеніево Дѣяніе», сказаніе о «Синагрипѣ», и др., къ которымъ примыкаютъ кажется и начатки нашей книжной повѣсти. Всѣ названныя произведенія, несомнѣнно перешедшія къ намъ отъ южныхъ Славянъ, принадлежатъ еще древней порѣ нашей письменности.

Наконецъ, изъ того же общаго источника и изъ того же времени идетъ и цѣлый разрядъ *ложныхъ книгъ*, характеристика которыхъ приведена нами выше. Эти книги, представлявшія разнообразный сборъ фантастическихъ представленій о предметахъ религіи, созданіи міра, раѣ и адѣ, о природѣ и человѣческой жизни, еще въ Болгаріи признанныя «ложными» и «отреченными» т. е. запрещенными, въ нашей грамотной массѣ и народѣ играли ту же роль, какую играли у Болгаръ и Сербовъ. Они удовлетворяли поэтическимъ инстинктамъ, которые не находили себѣ достаточной пищи въ строгомъ и сухомъ догматизмѣ другихъ книгъ; но ихъ фантастика, не уравновѣшенная положительными знаніями, отозвалась въ народѣ развитіемъ суевѣрій, которыя крѣпко укоренились и дожили даже до нашего времени, представляя одинаковое препятствіе и для болѣе разумнаго религіознаго пониманія, и для здраваго смысла.

Намъ остается упомянуть еще немногое, чтобы указать характерныя черты древнѣйшаго періода русской письменности. Это — два-три произведенія вполнѣ самобытно-русскія. Таково, напримѣръ, извѣстное *Слово Даніила Заточника*, сочиненіе грамотника 12-го столѣтія, представляющее сборъ нравоученій, извлеченныхъ авторомъ изъ знакомой ему книжной мудрости и собственнаго опыта. Это — чистая мораль, не имѣющая поэтическихъ претензій и не имѣющая также и большаго литературнаго значенія. Историкъ можетъ найдти здѣсь только образчикъ литературныхъ

пріемовъ времени, уже начинавшихъ позднѣйшее компиляторство, и нѣкоторыя черты стараго быта.

Гораздо болѣе замѣчателенъ другой памятникъ—*Слово о полку Игоревѣ*, единственный сохранившійся образчикъ того чисто-народнаго литературнаго развитія, какое было еще возможно на Руси въ 12-мъ столѣтіи. «Слово» есть одинъ изъ крайне рѣдкихъ памятниковъ славянской народной поэзіи, сохранившихся въ своей древней одеждѣ; при всей испорченности дошедшей до насъ копіи, мы можемъ судить по ней о замѣчательныхъ поэтическихъ достоинствахъ произведенія, которое, наперекоръ христіанской грамотности древней Руси въ 12 — 13-мъ столѣтіи, представляетъ намъ народное сказанье во всеоружіи языческой поэзіи. Критика находитъ, что искусственность уже коснулась этого сказанія, но при всемъ томъ въ немъ сохранилась обстановка, несомнѣнно принадлежавшая языческой эпохѣ: имена языческихъ божествъ, съ ихъ поэтическими аттрибутами, очевидно составляютъ еще живую и всѣмъ понятную подробность. И это обстоятельство тѣмъ любопытнѣе, что сюжетъ эпоса даже не былъ тогда стародавній, сохраненный однимъ воспоминаніемъ; напротивъ, это было свѣжее творчество, поводомъ котораго было событіе послѣднихъ годовъ 12-го столѣтія. Двѣсти лѣтъ, прошедшихъ со времени оффиціальнаго введенія христіанства, не коснулись этой области; эпосъ былъ еще возможенъ, потому что самобытная жизнь еще не бросила массы, и онъ выразился въ своихъ самостоятельныхъ формахъ. Литературная обработка не уничтожала здѣсь народнаго элемента, хотя и не была съ нимъ тождественна: по крайней мѣрѣ собственно-народный эпосъ, жившій въ устахъ народа, имѣлъ повидимому иныя особенности формы.

«Слово о Полку Игоревѣ» остается одинокимъ въ своемъ родѣ; оно не имѣетъ ни предшественниковъ, ни продолженій, потому что позднѣйшая *Задонщина* и *Сказанье о Мамаевомъ побоищѣ* были только сухимъ механическимъ подражаніемъ.

Указанныя нами свойства «Слова о Полку Игоревѣ» заставляютъ насъ возвратиться къ опредѣленію тѣхъ отношеній, въ какія христіанство стало къ народной жизни и ея поэтическому содержанію.

Существованіе несомнѣнныхъ языческихъ элементовъ въ «Словѣ» показываетъ, согласно съ другими историческими данными, что христіанство не вдругъ проникло въ понятія и нравы. Мы видѣли, что первыя начала литературы, сложившіяся по византійскимъ образцамъ, измѣнили патріархальной простотѣ народа, и литература, внушенная чужими вліяніями, стала особнякомъ отъ языческой массы. Духовенство скорѣе всего подѣйствовало на княжескую дружину и горожанъ, но въ 12-мъ столѣтіи язычество оказывается даже и въ городскихъ жителяхъ (въ Ростовѣ), а въ массѣ народа проповѣдники обличаютъ язычество не только въ 14-мъ столѣтіи, но даже и позднѣе. Эту медленность распространенія христіанства объясняли обширностью земли и недостаткомъ учителей, но здѣсь безъ со-

мнѣнія дѣйствовали и народно-психологическія препятствія: народъ не скоро отказывается отъ понятій, съ которыми онъ жилъ столѣтія, или по крайней мѣрѣ нужно, чтобы новыя понятія владѣли большой силой разумнаго убѣжденія. Но мы видѣли, что литература не имѣла, въ большинствѣ случаевъ, должной убѣдительности, и оставалась недоступна не только патріархальнымъ массамъ, но даже и значительной части грамотнаго люда... Наиболѣе доступна была историческая и легендарная часть этой литературы, а въ пропагандѣ всего нужнѣе была догматическая сущность дѣла.

Такимъ образомъ, мы видимъ въ первую эпоху двѣ противоположности, не признававшія другъ друга. Христіанская проповѣдь вооружается обличеніями «бѣсовскихъ» пѣсенъ, увеселеній и нравовъ народа, а «церкви стоять», по выраженію древняго писателя. Народъ конечно не могъ разстаться легко съ тѣмъ, что хотѣли у него отнять; если обрядныя пѣсни языческаго характера сохранились до сей поры, ясно, что въ эпоху этого спора онѣ были еще богаче и свѣжѣе. Мы не будемъ приводить исторіи этихъ обличеній и преслѣдованій стараго быта и народной поэзіи, — они болѣе или менѣе извѣстны; замѣтимъ только, что они проходятъ чрезъ всю древнюю исторію Руси до 18-го столѣтія. Подъ конецъ, когда уничтожилось уже настоящее подлинное язычество, ревнивое усердіе преслѣдуетъ по старой памяти даже безвредные народные обычаи. Это преслѣдованіе беретъ на себя даже свѣтская власть, воеводы, и принимаетъ даже строгія карательныя мѣры. Въ томъ же 17-мъ столѣтіи рѣзко выражалась наконецъ и другая сторона неустановившихся отношеній народа къ оффиціальному клиру и оффиціальной книгѣ: это было то крайне превратное пониманіе церковно-поучительныхъ книгъ, о которомъ мы упоминали выше, и которое выросло въ 17-мъ столѣтіи въ цѣлый разрядъ народныхъ мнѣній и обнаружилось въ расколѣ.

Очень естественно, что это отношеніе древней литературы къ народному быту, наблюдаемое нами съ первой поры нашей письменности, должно было придти къ какому нибудь разрѣшенію. Два элемента нашли себѣ извѣстное примиреніе,—въ среднемъ періодѣ нашей письменности, преимущественно въ 15—17-мъ столѣтіяхъ, — въ цѣлой особой литературѣ, гдѣ сливаются христіанство и народныя преданія, догматика и фантастическія повѣрья, христіанская нравственность и суевѣріе, — сливаются до новаго поворота къ оффиціальной церковности, происшедшаго съ реформой Никона.

Русская литература стараго времени представляла вообще два несходные слоя, которые до извѣстной степени опредѣляются разными слоями народа. На одной сторонѣ продолжается тотъ характеръ литературы, который мы видѣли въ первую эпоху нашей письменности: это догматика и ученая реторика византійскихъ памятниковъ, Кирилла Туровскаго и проч., — по преимуществу литература монастырей, людей болѣе грамотныхъ и высшаго

сословія, владѣвшаго извѣстнымъ образованіемъ. За отсутствіемъ литературнаго содержанія, болѣе грамотная масса питалась почти исключительно этимъ духовно-поучительнымъ чтеніемъ, хронографами и историческими сказаньями. Мысль развивалась въ одномъ направленіи, религіозный интересъ стоялъ на первомъ планѣ. Въ этомъ смыслѣ литература не дѣлаетъ никакого успѣха до самаго 17 или даже 18-го столѣтія. Она возрастаетъ количествомъ, но качествомъ не измѣняется. Являются новые писатели, пріобрѣтающіе большую славу между современниками, какъ пріобрѣли напр. большую славу Іосифъ Волоцкій, Нилъ Сорскій, Максимъ Грекъ и т. д., но существенные вопросы остаются тѣ же. Литература раздѣляется даже на лагери, но раздѣляютъ ее вопросы чисто спеціальные, не выходящіе изъ прежняго даннаго уровня. Споры между «іосифлянами» и «бѣлозерцами» ограничиваются вопросомъ о степеняхъ аскетизма, о монастырской дисциплинѣ. Максимъ Грекъ, котораго вызывали какъ европейскаго ученаго, отличался отъ своихъ московскихъ современниковъ только ученостью, но въ сущности не стоялъ выше господствовавшихъ идеаловъ: его свѣдѣнія были обширнѣе, чѣмъ у кого бы то ни было въ тогдашней Москвѣ; онъ строже и сильнѣе защищалъ чистоту христіанскихъ догматовъ, даже обличалъ тогдашнія общественныя неустройства и т. д., но и онъ не выставлялъ принципа, который бы могъ дать для общественнаго развитія точку опоры. Споръ о монастырскихъ имѣньяхъ, поднявшійся въ это время, и вызвавшій рѣзкія обличенія монастырскаго корыстолюбія, показываетъ конечно извѣстную дѣятельность мысли, но онъ теряетъ историческую цѣну уже тѣмъ, что не принесъ должнаго результата,—котораго нужно было ждать до царствованія Екатерины. Объемъ этого спора не былъ, слѣдовательно, широкъ.

Стремленіе найдти точку опоры для новаго развитія существовало однако въ это время, и въ обществѣ, настроенномъ исключительно религіозно, оно выразилось ересями. Что ересь имѣла тогда свое извѣстное общественное значеніе, видно уже изъ того, что она находила послѣдователей даже въ царскомъ дворцѣ. Жидовствующіе, ересь Матвѣя Башкина и Θеодосія Косаго, вызвавшія «Просвѣтителя» Іосифа Волоцкаго и обличенія Зиновія Отенскаго, конечно не могутъ быть объясняемы одними случайными причинами. Въ особенности ересь Матвѣя Башкина была явно раціоналистическимъ движеніемъ. Но недостатокъ образованія въ цѣломъ обществѣ и ограниченность понятій отразились и въ самыхъ ересяхъ, которыя вступали въ оппозицію съ этимъ обществомъ. Недостаточно продуманная оппозиція ищетъ поддержки въ жидовствѣ; идущая дальше оппозиція Башкина не находитъ себѣ достаточно сильнаго отголоска.

За этой литературой, отличавшейся однимъ разъ принятымъ направленіемъ византійскаго характера, шелъ другой литературный слой, книжность по преимуществу народная.

Какая же доля досталась въ этой старой письменности народу? Мы уже

говорили о тѣхъ разныхъ причинахъ, по которымъ народная масса не могла примкнуть прямо къ господствующему направленію. Но мало по малу, съ увеличеніемъ грамотности, литература расширяетъ свои границы и проникаетъ въ народную массу, которая въ то же время начинаетъ забывать языческую старину, мѣшаетъ старые обычаи съ христіанскими, миѳологическія повѣрья съ преданіями, прочитанными или услышанными изъ книги. Это былъ тотъ кругъ понятій, которому современные проповѣдники давали названіе «двоевѣрія».

Говоря объ этомъ двоевѣріи, мы должны понимать по преимуществу народную массу, патріархальную и плохо грамотную. Соединеніе и смѣшеніе ея народныхъ элементовъ и влеченій съ вліяніемъ византійской книги произвело совершенно особый порядокъ идей, религіозный въ своей основѣ, и представлявшій свою особую космогонію, особыя религіозныя повѣрья, особую суевѣрную мораль, наконецъ особое волшебство. Этотъ новый порядокъ идей невозможно конечно опредѣлить границами извѣстныхъ сословій, потому что во всѣхъ слояхъ можно найдти его понятія и суевѣрія, но главнымъ образомъ онъ держался въ народной массѣ: господствующая церковь его отвергала и предавала запрещеніямъ, люди болѣе свѣдущіе видѣли въ немъ невѣжество.

Литературные памятники этого разряда состоятъ главнымъ образомъ изъ много разъ упомянутыхъ нами *ложныхъ* и *отреченныхъ книгъ*, которыя въ этомъ смыслѣ формально запрещались церковными правилами. Въ обзорѣ древней болгарской и сербской литературы мы уже говорили о характерѣ и происхожденіи этихъ книгъ. Пришедшія отъ южныхъ Славянъ, они пріобрѣли въ старой Руси большую популярность; ихъ фантастическій характеръ какъ нельзя лучше приходился къ условіямъ массы, предоставленной себѣ самой и, по неразвитости, склонной къ религіозной фантастикѣ. Множество книгъ и сказаній этого рода перешло къ намъ уже съ древнѣйшаго времени, и такимъ образомъ южно-славянская письменность дѣйствовала у насъ и другой своей стороной, — запасомъ своихъ суевѣрій. «Ложныя книги» прямо слыли «болгарскими баснями».

Въ нашихъ старыхъ рукописяхъ и сборникахъ снова встрѣчается перечисленный нами прежде рядъ фантастическихъ сказаній. Это были тѣ же сказанья о твореніи міра (*Свитокъ божественныхъ книгъ*, разсказы *Палеи*), — о разныхъ лицахъ и событіяхъ священной исторіи (объ Адамѣ, Ноѣ, Авраамѣ, Моисеѣ, Соломонѣ, о рождествѣ І. Хр., о дѣтствѣ І. Хр., *Преніе діавола со Христомъ*, о томъ *какъ Христа въ попы ставили* и т. д.), далѣе — о будущей жизни (*Вопросы Іо. Богослова къ Авраму*, *Вопросы Іо. Богослова къ І. Христу на Елеонской горѣ*, *Хожденіе Богородицы по мукамъ*, исторія о «мытарствахъ» и т. п.), — апокрифическія житія (напр. Ѳедора Тирона, мученика Никиты, Ипатія и друг.), — символическія толкованія и предсказанія, гаданья, волшебство (*Бесѣда трехъ святителей*, *Громникъ*, *Колядникъ*, *Трепетникъ*

и многіе другіе). Оффиціальная церковная власть, какъ мы сказали, осуждала эту литературу. Древняя статья «о ложныхъ книгахъ», нерѣдко встрѣчаемая въ рукописяхъ, и въ 17-мъ столѣтіи напечатанная въ извѣстной «Кирилловой Книгѣ», подробно перечислила ложныя сказанія и суевѣрья и предавала ихъ проклятію; послѣ на нихъ обращаетъ строгое вниманіе Стоглавъ, Домострой; ихъ обличаетъ Максимъ Грекъ и т. д.

Пришедши разъ въ русскую письменность, эти книги пріобрѣли мало по малу обширный кругъ читателей, и именно въ большинствѣ. Народные грамотники бросились на «болгарскія басни», потому что онѣ именно были доступны неразвитому уму и фантазіи и взамѣнъ сухой отвлеченности другихъ книгъ представляли осязательные образы. Вмѣстѣ съ тѣмъ народные грамотники воспользовались и другой стороной литературы: они выбирали изъ нея то, что было понятнѣе или особенно затрогивало любопытство, — конечно не имѣя достаточно критики ни для выбора статей, ни даже для правильнаго списыванья ихъ. Такимъ образомъ уже издавна, но особенно въ болѣе позднее время, въ 15—17-мъ столѣтіяхъ, появляется огромное количество *сборниковъ* этого народнаго происхожденія, — сборниковъ, составленныхъ самымъ случайнымъ образомъ, соединяющихъ и любимыя поученія Іоанна Златоуста, и статьи Кормчей, и сказки, и самыя баснословныя сказанія ложныхъ книгъ, и наконецъ самыя отъявленныя суевѣрія. Форма случайнаго «сборника» стала характеристической внѣшней формой этой грамотности, которая не полагала между литературными произведеніями критическаго различія и, не задумываясь, выбирала отовсюду сюжеты извѣстнаго завлекающаго содержанія. Такой характеръ «сборника» простонародныхъ грамотниковъ опредѣлялся уже давно, и статья о ложныхъ книгахъ уже въ своихъ старинныхъ редакціяхъ отмѣчаетъ «худые номоканонцы и сборники».

Въ этой литературѣ, какъ представляютъ ее «сборники», вполнѣ выразился особенный характеръ понятій и степени развитія массы. Содержаніе этихъ понятій, господствовавшихъ въ огромномъ большинствѣ, составилось, слѣдовательно, изъ источниковъ весьма разнообразныхъ. Старое язычество, въ томъ видѣ, какъ оно сохранялось даже въ 12-мъ столѣтіи и позднѣе, теперь уже не существуетъ. Христіанскія идеи, понимаемыя такъ или иначе, составляютъ основную подкладку понятій и быта, но недостатокъ образованія, которымъ страдала вся литература и котораго далеко не восполняли византійскія произведенія, этотъ недостатокъ даетъ свободное мѣсто наплыву всевозможной фантастики и суевѣрій. Южно-славянскія «басни» играли при этомъ такую роль, что многое изъ нихъ, — даже слѣды богомильскихъ суевѣрій, — до сихъ поръ остается въ религіозныхъ повѣрьяхъ народа. Сюда вошли наконецъ и воспоминанія чисто-народной русской миѳологіи, сохранившіяся по обыкновенной живучести и инерціи народныхъ представленій, которыхъ не касается культура.

Естественно, что этотъ разрядъ литературы имѣлъ тѣсную связь съ

дѣятельностью народной поэзіи. Эта связь выражается особенно цѣлымъ отдѣломъ народно-поэтическихъ произведеній, извѣстныхъ подъ именемъ *духовныхъ стиховъ*. Содержаніе ихъ — духовно-христіанское: ихъ носители, слѣпцы и «калики перехожіе», существующіе по сію пору, даютъ намъ и теперь понятіе о характерѣ той старинной грамотной массы, въ средѣ которой развилась литература двоевѣрія и ложныхъ книгъ. Духовные стихи въ большинствѣ своемъ имѣютъ содержаніемъ событія священной исторіи, житій святыхъ и христіанскую мораль, — какъ эти сюжеты представляются въ народномъ пониманіи сборниковъ. Стихи касаются въ томъ же смыслѣ и космогоническихъ преданій, какъ напр. различныя редакціи знаменитаго стиха о Голубиной Книгѣ, стихъ о Георгіи Храбромъ; здѣсь они были ближайшимъ истолкованіемъ народной миѳологіи нашихъ среднихъ вѣковъ.

Вся эта литература вообще представляетъ обширное количество сказаній, разнообразныхъ редакцій и въ разной степени принявшихъ народный колоритъ, отъ чисто книжной повѣсти до народнаго стиха. И такъ какъ эти сказанія рѣдко имѣютъ одну постоянную форму и никогда не имѣютъ даты, то исторія литературы можетъ опредѣлять время ихъ происхожденія только приблизительно. Первые памятники ложной литературы восходятъ у насъ еще къ 11—13-му столѣтіямъ; въ теченіе послѣдующихъ вѣковъ этотъ запасъ продолжалъ увеличиваться, и представленія, составившіяся въ массѣ во время ея колебанія между двумя различными способами воззрѣній, христіанскимъ и языческимъ, оффиціально-книжнымъ и народнымъ, начинаютъ наконецъ входить въ письменные памятники; въ 15—17-мъ столѣтіяхъ этотъ разрядъ письменности образуется окончательно.

Слѣды этой письменности и того порядка понятій, который она представляла, мы можемъ изучать еще и теперь, особенно въ средѣ раскольниковъ, которые сберегли ихъ лучше, вообще больше другихъ дорожа въ послѣднее время народной стариной. Если расколъ успѣлъ сохранить до сихъ поръ эти книжныя преданья и повѣрья, то можно думать, что въ то время они утвердились въ народной массѣ очень крѣпко. Въ «Народныхъ Легендахъ», собранныхъ Аѳанасьевымъ и конечно далеко не истощающихъ всего запаса подобныхъ преданій, мы можемъ видѣть наглядное отраженіе народныхъ понятій стараго времени.

Къ 17-му столѣтію результаты древней русской жизни складываются въ извѣстныя опредѣленныя формы. Литература пришла къ послѣднимъ предѣламъ направленія, которое установилось въ ней подъ византійскими вліяніями и оставалось неизмѣннымъ почти до временъ Петра Великаго.

Въ національныхъ понятіяхъ Русскихъ 17-го вѣка господствовала крайняя нетерпимость и исключительность. Отдѣленные историческими обстоятельствами (напр. татарскимъ игомъ, необходимостью бороться на востокѣ

и югѣ съ татарскими ордами и т. п.) и доброй волей отъ цивилизаціи запада, плохо надѣленные цивилизаціей Византіи, русскіе люди послѣ паденія Константинополя считали себя единственными хранителями истинной вѣры и на этомъ основаніи ставили себя выше всякаго другаго народа. Нетерпимость простиралась даже на другія христіанскія религіи, и «латынь» считалась поганой. Въ этомъ согласны были всѣ разряды общества и народа, за немногими исключеніями людей, знавшихъ иноземную европейскую жизнь и судившихъ болѣе безпристрастно. Только восточное и южно-славянское православіе пользовалось извѣстной симпатіей, но и то не вполнѣ, потому что было подъ игомъ и предполагалось утратившимъ должную чистоту. Въ томъ же ограниченномъ смыслѣ развились политическія и общественныя понятія, въ образованіи которыхъ отразились между прочимъ и преданья, наслѣдованныя отъ Византіи, и которыя строго подчиняли авторитету личное право и право мысли. Сношенія съ иноземцами были ограничены, и путешествія въ чужія страны формально запрещены закономъ... При такой исключительности чужія культурныя вліянія были невозможны или ограничивались часто внѣшними матеріальными сторонами быта. Умственное развитіе было закрыто или затруднено до послѣдней степени, потому что должно было ограничиваться однѣми собственными средствами, а эти средства были не велики. Направленіе общественной мысли было исключительно религіозное, считавшее всякую необычную науку зловреднымъ и даже бѣсовскимъ ухищреніемъ разума. Тотъ, кто зналъ «грамматикію», слылъ уже философомъ, т. е. ученымъ. Но и этой учености было мало между своими, и когда наконецъ крайняя необходимость заставила обращаться къ истинному знанію, нужно было вызывать Максима Грека изъ Аѳона, западно-русскихъ ученыхъ изъ Кіева... Извѣстно, что и послѣдніе, при всемъ своемъ православіи, внушали Москвѣ недовѣріе...

Предоставленное собственнымъ силамъ, общество не въ состояніи было выйдти изъ исключительнаго круга понятій, который оно создало и который уже оказывался однако недостаточнымъ. Такова была неудачная попытка собора (1651), постановленія котораго носятъ названіе *Стоглава*. Впослѣдствіи Стоглавъ сдѣлался только источникомъ новыхъ недоразумѣній и орудіемъ для раскола. Общественная нравственность и народный бытъ нашли себѣ выраженіе въ знаменитомъ *Домостроѣ* попа Сильвестра: эта книга представляетъ любопытный сводъ житейскихъ понятій времени, гдѣ мораль стоитъ на ряду съ домашнимъ хозяйствомъ и гдѣ бытовыя отношенія заключены въ строго опредѣляемыя формулы, близкія къ китайской неподвижности.

Литература была безсильна помочь этому застою, если только хотѣла оставаться вѣрна своимъ традиціямъ. Движеніе, если не заглохло совсѣмъ, совершается крайне медленно. Къ 17-му столѣтію размѣры его начинаютъ увеличиваться, появляется книгопечатаніе, грамотность становится обширнѣе, начинаются историческіе труды, замѣняющіе лѣтопись (кн. Курб-

скій, Авраамій Палицынъ и др.), духовная литература стремится къ нѣкоторой системѣ, но общій характеръ остается тотъ же—повтореніе стараго содержанія и компиляція (Макарьевскія *Четьи-Минеи*; *Никоновская Лѣтопись*; *Степенная книга*). Между тѣмъ наука по прежнему не имѣетъ мѣста и голоса въ обществѣ, продолжаетъ господствовать упрямое и подозрительное невѣжество, которое наконецъ приводитъ къ матеріальному безсилію, заставляющему обратиться къ иноземной помощи (вызовы иноземцевъ съ 16-го вѣка).

Таково было положеніе вещей къ 17-му столѣтію. Въ это время начинаютъ дѣйствовать новые элементы, которые измѣняютъ прежній порядокъ вещей и, когда несостоятельность древней Руси обнаружилась окончательно, приготовляютъ реформу Петра.

Порядокъ вещей, нами разсказанный, есть исключительно порядокъ московскій.

Западная и южная Русь, уже давно отдѣленныя литовскимъ завоеваніемъ и связями съ Польшей, жили своей отдѣльной жизнью. Западная Русь подъ литовскими князьями вполнѣ сохраняла свою народность; языкъ ея былъ языкомъ господствующимъ, языкомъ княжескаго дома, законодательства и управленія; народъ оставался православнымъ. Но польское вліяніе, еще до окончательнаго соединенія Литвы съ Польшей, уже давало себя чувствовать. Европейская цивилизація Польши, въ связи съ аристократическими правами и тенденціями, дѣйствовала на высшее сословіе Литовской Руси, и боярство мало по малу принимало польскіе нравы, а съ ними религію и языкъ. Наконецъ, стала угрожать опасность и народному православію. Въ 16-мъ столѣтіи русская аристократія Литвы имѣла еще въ своей средѣ ревностныхъ защитниковъ православія, каковъ былъ напр. Константинъ Острожскій, и между двумя сторонами начинается борьба: въ западной Руси появляется усиленная литературная дѣятельность, которая впрочемъ ограничивалась одной религіозной полемикой. Чтобы противодѣйствовать католицизму и уніи нужно было бороться съ ними равнымъ оружіемъ, и потому западно-русское православіе вооружается той же схоластической наукой и тѣми же схоластическими формами литературы. Кіевская академія стала центромъ юго-западной схоластической науки и литературнаго движенія. Вліяніе Кіева отразилось въ 17-мъ столѣтіи и на Москвѣ. Въ 1649 г. въ Москву приглашены были кіевскіе ученые — для обученія юношества свободнымъ наукамъ и для перевода Библіи съ греческаго языка на славянскій. Число юго-западныхъ ученыхъ въ Москвѣ еще увеличилось съ присоединеніемъ Украйны (Епифаній Славинецкій, Симеонъ Полоцкій и т. д.).

Каково бы ни было само по себѣ кіевское образованіе, оно было безъ сомнѣнія гораздо выше московскаго застоя, потому уже, что схоластика допускала возможность другаго мнѣнія, и споръ противъ него представлялся въ формѣ логическаго вывода. Однимъ словомъ, схоластика была

все таки наукой, особеннымъ независимымъ знаніемъ, и понять это было бы огромнымъ успѣхомъ для Москвы, гдѣ до тѣхъ поръ господствовали, въ вопросахъ о наукѣ, фантастическая привязанность къ старинѣ и исключительный аскетизмъ. Схоластика, хотя и посвященная главнымъ образомъ религіознымъ вопросамъ, незамѣтно вносила совершенно иной порядокъ мыслей, и послѣ знакомства съ схоластикой сближеніе съ европейскими началами было гораздо возможнѣе, чѣмъ прежде. Поэтому, сближеніе Москвы съ юго-западной русской литературой было прямымъ подготовленіемъ реформы.

Между тѣмъ старый московскій порядокъ оказывался болѣе и болѣе несостоятельнымъ. Это обнаружилось всего сильнѣе въ началѣ раскола.

Когда Никонъ задумалъ исправленіе церковныхъ книгъ, это было дѣйствительно необходимо, потому что книги были испорчены. Но невѣжество и благоговѣніе передъ старой буквой были такъ велики, что никоновское исправленіе показалось отступничествомъ. Ревнители старины имѣли съ своей стороны тотъ резонъ, что прежде святые спасались и по старымъ книгамъ, и что Никонъ отвергалъ книги, печатанныя при патріархѣ Іосифѣ и тогда слѣдовательно оффиціально признанныя. Расколъ опирался въ своемъ сопротивленіи именно на томъ принципѣ, который до того времени безраздѣльно господствовалъ въ оффиціальной и народной жизни, на принципѣ преданія. Не смотря на всю спеціальность и неважность вопроса, о которомъ шла рѣчь, движеніе противъ исправленія стало дѣломъ цѣлаго народа, и народъ не только не признавалъ возможности этого вопроса, но взвелъ на Никона и его послѣдователей самое ужасное обвиненіе, какое могло существовать для тогдашняго русскаго человѣка. Расколъ объявилъ Никона антихристомъ.

Смыслъ этого явленія заключается въ томъ, что расколъ сталъ дѣломъ той народной массы, которая въ теченіи прежнихъ вѣковъ, и особенно въ 15—17-мъ столѣтіяхъ, создала себѣ, объясненный нами выше, особый образъ мыслей, особыя религіозныя воззрѣнія и особую литературу. Эта масса понимала религію фантастически, давала чрезмѣрное символическое значеніе внѣшнему обряду, съ ревностью держалась извѣстной, условной буквы. Когда началось исправленіе книгъ, эта масса инстинктивно почувствовала, что это исправленіе можетъ быть началомъ другаго, болѣе радикальнаго измѣненія всей той старины, которую масса считала непогрѣшимой и въ которой она заключала свою религію. Неумѣренное преслѣдованіе предводителей раскола сдѣлало ихъ въ глазахъ народа мучениками за вѣру и тѣмъ еще больше усилило ихъ авторитетъ, —когда притомъ нѣкоторые изъ нихъ, особенно извѣстный протопопъ Аввакумъ, были именно люди энергической пропаганды, съ несокрушимой силой воли и умѣньемъ говорить съ народомъ. Внѣшнія обстоятельства усилили разрывъ; потому что нѣкоторыя нововведенія, появляющіяся въ концѣ 17-го столѣтія, показались раскольникамъ доказательствомъ отступничества никоніанъ, а реформа окончательно ихъ въ этомъ убѣдила. Нововведенія или «новшества», какъ говорили раскольники,

заставили ихъ еще болѣе дорожить стариной, и они усердно сохраняли ее: въ этой старинѣ были старыя книги и рукописи, старые обычаи и понятія, которые такъ рѣшительно и поспѣшно разрушала реформа. Эта бытовая старина была иногда вовсе не хуже нововводимыхъ порядковъ; къ ней прибавилось потомъ въ расколѣ и новое развитіе, вызванное его стѣсненнымъ положеніемъ,—такъ что наконецъ расколъ представляетъ совершенно особый міръ, въ которомъ, кромѣ религіозныхъ понятій, есть и свои бытовыя отличія и особенныя понятія, имѣющія большой интересъ для наблюдателя народной жизни.

Объяснивъ себѣ эту связь раскола съ народнымъ образомъ мыслей 15—17-го столѣтій, мы легко поймемъ, почему расколъ ограничился исключительно московскимъ царствомъ, почему его не было ни на западѣ, ни на югѣ, гдѣ онъ явился потомъ только вслѣдствіе эмиграціи. Юго-западная Русь не участвовала въ московскихъ порядкахъ и великорусской литературѣ упомянутаго періода; она естественно осталась свободна и отъ ихъ результатовъ. До какой степени расколъ былъ силенъ въ прежнія времена и до какой степени онъ продолжаетъ быть народенъ по настоящую минуту (вслѣдствіе того, что для народа оставались до сихъ поръ тѣ же недостаточныя средства образованія), можно видѣть изъ цифры раскола, которая по новѣйшимъ свѣдѣніямъ достигаетъ до 11,000,000.

Наконецъ расколъ произвелъ и свою собственную литературу. Большая часть ея заключается въ защитѣ принятой ими традиціи. Съ этой стороны она слаба, какъ вообще слабо подобное направленіе, но она любопытна въ другихъ отношеніяхъ, потому что въ ней не разъ выражалась чисто-народная мысль о государствѣ и обществѣ, въ которыхъ раскольники были отвергнутыми членами, и высказывалась народная оппозиція противъ порядка вещей, введеннаго 18-мъ столѣтіемъ [1]).

Такимъ образомъ, когда юго-западная схоластика прокладывала въ Москвѣ путь къ какому нибудь измѣненію стараго застоя, расколъ открывалъ полную несостоятельность господствовавшей системы. Расколъ, противъ котораго такъ жестоко вооружилась оффиціальная власть 17-го вѣка, былъ однако весьма логическимъ выводомъ изъ всей предшествовавшей ему старины. Если онъ не выдерживалъ критики, то также точно не выдерживала ея и эта старина... Конечно, въ то время и не задавали себѣ этого вопроса. Мысль о болѣе глубокой критикѣ общественнаго состоянія приходила въ голову только немногимъ. Эти немногіе были люди, начинавшіе понимать необходимость науки и европейскихъ знаній и искусствъ, люди, какъ Ртищевъ, бояринъ Матвѣевъ и др., и два-три писателя, забытые или неизвѣст-

[1]) Изученіе раскольничьей литературы до сихъ поръ весьма затруднительно, потому что большая часть ея до сихъ поръ остается въ рукописяхъ, которыя съ трудомъ можно достать непосвященному. Обзоры, существующіе до сихъ поръ, и раскольничьи, и не раскольничьи, весьма неполны. См. „Словарь“ Павла Любопытнаго, М. 1862, и книгу А. Б., „Описаніе раскольничьихъ сочиненій“, Спб. 1862.

ные въ свое время и открытые только теперь. Такого разряда люди были— князь Курбскій въ 16-мъ столѣтіи, Котошихинъ и Крижаничъ въ 17-мъ. Князь Курбскій оставилъ Россію, не желая подчиняться капризному деспотизму Грознаго, и его книга—первая, написанная подъ извѣстнымъ вліяніемъ западныхъ идей: его оппозиція, какъ и критика Котошихина, могли высказаться только внѣ предѣловъ отечества. Котошихинъ и Крижаничъ одинаково недовольны московскимъ порядкомъ вещей и имъ представляется въ сущности одна мѣра для его исправленія. Но между ними есть и разница: въ Котошихинѣ говоритъ чувство досады и извѣстный скептицизмъ; Крижаничъ надѣется, —онъ говоритъ о необходимости науки, составляетъ проэкты, и въ этихъ проэктахъ любопытна для насъ мысль объ освобожденіи славянства, которое по мнѣнію Крижанича могло быть сдѣлано Россіей. Крижаничъ, — впрочемъ родомъ Сербъ и воспитавшійся въ европейскихъ условіяхъ,—представляетъ одинъ изъ рѣдкихъ примѣровъ пробужденія славянскаго національнаго чувства,—но его собственная судьба и судьба его книги, заброшенной и найденной только теперь въ черновыхъ тетрадяхъ, показываетъ, какъ мало тогда занимала русскихъ людей эта мысль...

Къ 18-му столѣтію кончилась и пора болѣе свѣжаго народно-поэтическаго творчества. Мы видѣли, что Слово о Полку Игоревѣ было единственный памятникъ древней поэзіи, помѣченный извѣстной датой. Затѣмъ мы видѣли вторичную формацію этой поэзіи въ сказаньяхъ и повѣрьяхъ болѣе поздней эпохи, гдѣ древніе народно-поэтическіе элементы уже смѣшиваются съ книжнымъ содержаніемъ. Здѣсь, за рѣдкими исключеніями, мы находимъ только или обломки стараго преданья, или редакцію его, сильно измѣненную: народная поэзія становилась «ложной книгой» — на ней отражался рядъ вліяній, оставленныхъ позднѣйшей христіанской эпохой и ея книжными произведеніями. Таковы нѣкоторые духовные стихи, о которыхъ мы упоминали. Духовный стихъ, миѳическій, историческій и лирическо-поучительный, есть именно произведеніе этого болѣе поздняго времени, хранившаго нѣкоторыя воспоминанія миѳической старины.

Но въ народѣ сохранился и другой запасъ поэтическихъ преданій, не тронутый прямымъ книжнымъ вліяніемъ, всегда жившій въ устахъ народа и испытавшій только тѣ перемѣны, какія неизбѣжно приносило время и мѣнявшійся исторически народный бытъ и характеръ. Это—*устная поэзія*, уцѣлѣвшая до нашего времени.

Нашъ древній эпосъ почти не попадалъ въ книгу. Иногда только лѣтопись упоминаетъ о его героях (напр. о Добрынѣ, «Александрѣ» Поповичѣ); Слово о Полку Игоревѣ называетъ имя вѣщаго Бояна; лѣтопись вспоминаетъ «словутнаго пѣвца» Митусу, и ревнивая проповѣдь обличаетъ языческихъ боговъ. Извѣстная намъ теперь эпическая пѣсня не знаетъ языческихъ божествъ, которыя играютъ такую роль въ Словѣ о Полку Игоревѣ; пѣсня не знаетъ ни Бояна, ни Митусы; не знаетъ и событія,

воспѣтаго въ «Словѣ» — между тѣмъ она сберегла цѣлый циклъ поэтическихъ сказаній объ эпохѣ болѣе древней, чѣмъ 12-е столѣтіе. Этотъ циклъ останавливается съ наибольшей любовью на богатыряхъ князя Владиміра.

Мы не будемъ останавливаться на вопросѣ о томъ, относится ли этотъ циклъ къ историческому князю Владиміру или къ болѣе древнему идеальному князю, которому позднѣе уже дано имя Владиміра. Нѣтъ сомнѣнія, что Владиміровскому эпосу предшествовалъ другой эпосъ, миѳическій и космогоническій, но объ немъ мы можемъ догадываться только по немногимъ указаніямъ и аналогіи. Этотъ миѳическій эпосъ, говорившій о богахъ и космогоніи, до насъ не дошелъ и только отрывки и слѣды его мы можемъ угадывать въ позднѣйшихъ преданьяхъ. Только недавно мы узнали нѣсколько любопытныхъ героическихъ пѣсенъ, болѣе старыхъ, чѣмъ циклъ о Владимірѣ: это пѣсни о старыхъ богатыряхъ, открытыя г. Рыбниковымъ (Вольга Всеславичъ, Святогоръ, Микула Селяниновичъ и др.).

Главнымъ образомъ русскій героическій эпосъ разсказываетъ о Владимірѣ и его богатыряхъ, и кромѣ немногихъ бытовыхъ и миѳическихъ сюжетовъ (былины о Добрынѣ, о Чурилѣ, Соловьѣ Будиміровичѣ, о каликахъ перехожихъ), старая кіевская былина всего чаще останавливается на богатырскихъ подвигахъ, и существенная задача этихъ подвиговъ—борьба съ враждебными племенами, которыхъ позднѣйшее время передѣлало въ Татаръ и Турокъ. Эта борьба стала предметомъ героическаго эпоса весьма естественно, потому что въ ней былъ интересъ цѣлаго народа: главный богатырь, Илья Муромецъ, крестьянскій сынъ, и есть представитель этого народа. Частный интересъ князей и мелкіе областные интересы не нашли въ народѣ эпическаго отголоска; поэтому былина очень рѣдко намекаетъ на удѣльный періодъ, или же, если она и создавалась въ отдѣльныхъ мѣстностяхъ, то забывалась потомъ. Но не забывался эпосъ новгородскій. По крайней мѣрѣ отъ него сберeглось въ народной памяти два эпическіе сюжета, отражающіе двѣ характерныя черты новгородскаго быта—внутреннія отношенія вольнаго города и его торговыя предпріятія (былины о Васькѣ Буслаевѣ и богатомъ гостѣ Садкѣ). Эпоха московскаго царства вызываетъ гораздо меньше пѣсенъ, чѣмъ старый героическій періодъ, и это было очень естественно, потому что именно съ этого времени народъ больше и больше теряетъ ту самодѣятельность, какая была у него въ бытѣ стараго времени или въ новгородской жизни. Пѣсня забываетъ старый эпическій складъ, дѣлается исторической пѣсней и ограничивается немногими событіями, особенно поражавшими воображеніе. Періодъ междуцарствія приводитъ новыя пѣсни о Разстригѣ: пѣсни, записанныя Ричардомъ Джемсомъ, показываютъ, что многое, составившееся въ эту пору, забыто было народомъ впослѣдствіи. Наконецъ, новый обильный періодъ народнаго творчества начинается въ 16—17-мъ вѣка: это эпосъ разбойничій. Въ разсказѣ г. Костомарова о Стенькѣ Разинѣ читатель найдетъ наглядное объясненіе того, почему этотъ знаменитый атаманъ могъ сдѣлаться народнымъ

героемъ. Ермакъ и Стенька Разинъ олицетворяли собой тѣ инстинкты старой свободы, которые жили еще тогда въ народной массѣ и заставляли цѣлыя толпы этого народа оставлять родину и искать новой доли въ южныхъ и восточныхъ степяхъ: это была оппозиція тогдашнему государственному порядку, который такъ тяжело ложился на народъ и такъ противорѣчилъ старымъ бытовымъ привычкамъ. Какъ выраженіе народной антипатіи къ стѣснительной централизаціи московскаго царства, и Ермакъ, и Стенька Разинъ одинаково были для народа не разбойниками, а удалыми молодцами, которыми онъ могъ бы гордиться. Судьба закинула Ермака въ Сибирь, и государство помирилось съ нимъ и признало его за его подвиги. Оно мирилось и съ Разинымъ, пока его дѣянія совершались въ Персіи и на Каспійскомъ морѣ, и вооружилось противъ него уже тогда, когда его замыслы направились противъ самого государства.

Владиміровскій циклъ дошелъ до насъ далеко не въ той формѣ, какую онъ имѣлъ въ древности: кромѣ языка въ немъ подновлялось и самое содержаніе, потому что эпосъ воспринималъ черты позднѣйшаго быта. Древніе враги, съ которыми боролись Илья Муромецъ, Добрыня, Алеша Поповичъ, стали представляться въ видѣ Татаръ и Турокъ; самъ Илья Муромецъ становится удалымъ казакомъ, какъ Ермакъ или Стенька Разинъ. Удальство новыхъ богатырей возбуждало народную симпатію и два эпоса начинаютъ сливаться въ народномъ представленіи: древнія формы переходятъ въ пѣсню о Разинѣ, и Илья Муромецъ ставится рядомъ съ Ермакомъ, какъ люди одного разряда.

Семнадцатый вѣкъ былъ послѣдней порой народно-поэтическаго творчества. Народный бытъ теряетъ послѣднюю независимость и пѣсни замолкаютъ. Времена Петра Великаго произвели еще нѣсколько пѣсенъ, какъ производило изрѣдка и позднѣйшее время, но онѣ показываютъ уже окончательный упадокъ народной поэзіи. Эпосъ лишается нужнаго ему народнаго содержанія; формы его уже не прилагаются больше къ новой жизни и застываютъ. Но 17-е столѣтіе еще способно было къ живому пониманію народно-поэтическихъ формъ и даже удачно пользоваться ими. Примѣромъ этого можетъ служить замѣчательная *Повѣсть о Горѣ-Злочастіи*, извѣстная по рукописи 17-го вѣка. Народно-поэтическое представленіе горя эта повѣсть развиваетъ въ прекрасную картину старинной жизни, которая по своей законченности не имѣетъ себѣ подобныхъ во всей старой письменности. Дидактическое вступленіе, не лишенное патріархальной задушевности, объясняетъ нравственную мысль въ смыслѣ народно-религіозной морали; самый разсказъ отличается всей простотой пріемовъ народной поэзіи.

Кромѣ эпоса русская народная поэзія представляла большое обиліе и въ другихъ направленіяхъ: масса пѣсенъ бытовыхъ, лирическихъ, обрядныхъ до сихъ поръ весьма значительна и онѣ нерѣдко отзываются большой древностью. Онѣ конечно подвергались въ теченіи столѣтій многораз-

личнымъ измѣненіямъ: преданья затемнялись и забывались совсѣмъ, обряды выходили изъ употребленія отъ вліянія новыхъ обычаевъ. Всего лучше то и другое сохранялось тамъ, куда не проникала новая жизнь.

То же нужно сказать и о сказкѣ. Славянскія сказки вообще стали находить собирателей только въ послѣднее время, но и до сихъ поръ мало извѣстны. Лучшій сборникъ представляютъ «Русскія Сказки», изданныя г. Аѳанасьевымъ. Любопытную черту ихъ составляетъ между прочимъ большое развитіе животнаго эпоса, аналогическаго съ нѣмецкимъ, изъ котораго произошли средневѣковыя поэмы о Рейнеке-Лисѣ.

Современное состояніе русской народной поэзіи есть состояніе упадка, начало обширнаго измѣненія старыхъ народныхъ вкусовъ и распространенія новыхъ. Примѣръ Рыбникова, собиравшаго пѣсни въ олонецкомъ захолустьѣ, показываетъ, что до сихъ поръ еще могутъ быть находимы замѣчательныя черты пѣсенной старины, но всѣ новѣйшіе собиратели согласно жалуются, что пѣсни гибнутъ чрезвычайно быстро, видимо исчезая съ каждымъ новымъ поколѣніемъ. Мы говорили уже, что объ этомъ нечего много печалиться: народъ не нуждается въ своей старинѣ, когда забываетъ ее, — для него наростаютъ интересы новой жизни, и съ ней явится у него и новая поэзія. Паденіе старины параллельно съ развитіемъ новой культуры.

Новый періодъ русской исторіи и литературы начинается съ 18-мъ столѣтіемъ. Оно кладетъ начало радикальному измѣненію общественныхъ взглядовъ и первое начало тому движенію, которое овладѣваетъ обществомъ въ настоящее время, — хотя впрочемъ это радикальное измѣненіе и не входило въ планы реформы.

Мы можемъ предположить извѣстными подробности реформы и литературной исторіи петровскаго времени. Намъ достаточно указать книгу г. Пекарскаго: «Наука и литература въ Россіи при Петрѣ Великомъ» (2 тома, Спб. 1862).

Переходъ отъ старины къ новому порядку вещей въ сущности былъ однако довольно медленный, какъ ни сурово дѣйствовала реформа. Преобразованія Петра вовсе не были конечно стремленіемъ лишить русскій народъ его національности, — какъ вопіяли противъ этого славянофилы разныхъ оттѣнковъ: если реформа (часто вовсе невольно) измѣняла во многомъ бытовыя и нравственныя условія прежней жизни, то, собственно говоря, это измѣненіе еще раньше начато было и въ московскомъ царствѣ [2]), и

[2]) „Московское государство внесло въ нашу народную жизнь первые зачатки нравственнаго существованія, развившіеся потомъ; оно впервые посягнуло и на нашу народность, въ тѣсномъ, непосредственномъ значеніи слова. Москва — первоначальница нашего ненаціональнаго развитія. Многимъ это покажется теперь страннымъ, но оно дѣйствительно такъ было". Ср. Соч. К. Кавелина, 1, стр. 374.

свой ближайшій поводъ реформа имѣла уже въ тѣхъ попыткахъ сблизиться съ европейскимъ образованіемъ, которыя мы указывали въ 17-мъ столѣтіи. И впослѣдствіи измѣненіе началъ общественной жизни шло очень медленно; подъ новыми европейскими формами, введенными Петромъ, долго еще продолжало жить старинное невѣжество и старинный фанатизмъ. Самъ Петръ желалъ окончательно разорвать съ древней Русью и сдѣлалъ для этого больше, чѣмъ требовала бы умѣренность и даже человѣколюбіе. Впослѣдствіи дѣло идетъ медленнѣе и нѣсколько ровнѣе.

Реформа Петра В. была реакціей противъ московскаго порядка вещей, но она конечно не имѣла въ виду полнаго измѣненія принциповъ старой жизни въ интересѣ народной массы. Реформа разсчитана была только на цѣли государственныя. Основнымъ побужденіемъ ея былъ инстинктъ самосохраненія, и личный самого Петра, который въ молодости испыталъ опасности стараго порядка, и инстинктъ самосохраненія государственнаго, потому что Россіи пришлось наконецъ бороться съ европейскими врагами, и для этой борьбы нужно было европейское знаніе. Наука, введенная Петромъ, была чисто практическая, прикладная, полезная для непосредственныхъ нуждъ войны и администраціи, но тѣмъ не менѣе она открывала путь и для общественнаго развитія. Петръ Великій понималъ, какую помощь можетъ оказать его дѣлу печать: онъ самъ заботился объ изданіи полезныхъ элементарныхъ книгъ; газеты, и даже особыя книги объясняли во всеобщее свѣдѣніе его распоряженія и учрежденія, и общество въ первый разъ пріучалось думать о предметахъ знанія и даже вещахъ политическихъ. Прежней національной исключительности былъ нанесенъ сильный ударъ; она явно была отвергнута введеніемъ европейскихъ знаній и даже обычаевъ и платья. Путешествія Русскихъ за границу еще болѣе расширяли общественныя понятія, и если большинство все еще чуждалось нововведеній и нерѣдко отчаянно ихъ ненавидѣло, то съ другой стороны являлись и истинные поборники реформы, убѣждавшіеся искренно въ пользѣ новыхъ учрежденій.

Этимъ путемъ реформа радикально отвергала принципъ старой жизни, и результаты ея далеко превзошли ближайшія практическія и государственныя цѣли самого реформатора. Разъ проникнувши въ общество, мысль о пользѣ европейскаго знанія уже не изчезала въ немъ, и вмѣстѣ съ той прикладной наукой, о которой собственно заботилась реформа, въ общество входитъ понятіе о наукѣ вообще, новая образовательная сила, которой совершенно не знала старая русская жизнь.

Эта сила начинаетъ дѣйствовать и въ литературѣ. Въ петровское время извѣстный Посошковъ уже задумываетъ серьезный вопросъ о богатствѣ, занимается проэктами объ общественномъ благѣ. Но вообще говоря, литература еще не скоро пріобрѣтаетъ въ этомъ смыслѣ самостоятельное движеніе, потому что и самое общество только медленно отставало отъ привычекъ стараго застоя. Литературная дѣятельность со временъ

Петра начинаетъ принимать размѣры болѣе широкіе, чѣмъ прежде; реформа находитъ ревностныхъ защитниковъ въ Ѳеофанѣ Прокоповичѣ и другихъ проповѣдникахъ и писателяхъ, но дѣятельность новой внесенной идеи довольствуется пока одной апологіей реформы противъ ея враговъ, которыхъ было много и въ огромной массѣ народа, и въ старомъ поколѣніи всѣхъ другихъ слоевъ общества. При Петрѣ литература въ новомъ духѣ оставалась только однимъ изъ орудій реформы и часто дѣйствовала подъ его непосредственнымъ надзоромъ.

Таково же въ сущности было и положеніе писателя, съ котораго начинаютъ обыкновенно новую исторію русской литературы, Кантемира. Прежніе историки нашей литературы, да и нынѣшніе также, говорятъ обыкновенно, что Кантемиръ и Ломоносовъ были настоящими основателями новой русской литературы, что они представляютъ собой два основныя направленія, проходящія въ ея исторіи, направленіе самобытно-сатирическое и подражательно-реторическое, и что первое изъ нихъ оказало особенно важныя услуги русскому развитію. Но съ этимъ едва ли можно согласиться. На дѣлѣ и эта, мнимо самобытная сатира была столько же подражательно-реторической, какъ и поэзія похвальныхъ одъ и диѳирамбовъ, и играла, въ общественномъ смыслѣ, слишкомъ подчиненную роль, чтобы ей можно было приписать такое обширное значеніе. Сатира Кантемира, какъ проповѣди Ѳеофана, служитъ только для ближайшаго оправданія реформы; она нападаетъ на тѣхъ, кому и безъ того доставалось отъ суровыхъ мѣръ петровскаго правительства,—она караетъ невѣжество и вражду къ наукамъ, монашескую лѣнь, боярскую спѣсь—однимъ словомъ вещи, которыя гораздо сильнѣе карали распоряженія самого Петра, нетерпѣвшаго этихъ вещей конечно гораздо больше, чѣмъ самъ Кантемиръ. Съ другой стороны общественно-историческая важность этой сатиры уменьшается и отъ того, что она была подражательная: Кантемиръ первый сталъ въ то странное положеніе, въ которомъ наши сатирики заимствовали свою сатирическую желчь (т. е. сущность своего дѣла) у иностранныхъ «образцовъ»,—какъ будто эти вещи можно заимствовать,—и вслѣдствіе того иногда обличали предметы, далеко не важные для насъ, потому только, что эти предметы обличались у Ювенала или Буало. Ясно, что это положеніе не было особенно героическимъ литературнымъ подвигомъ, тѣмъ больше, что изъ-за Буало наши сатирики не видѣли въ своей русской жизни вещей, дававшихъ возможность для сатиры гораздо болѣе существенной и безотрадной — они не видѣли истиннаго ужаса нравовъ, которые и въ 18-мъ столѣтіи иногда не уступали нисколько нравамъ 17-го вѣка.

Въ томъ же видѣ, т. е. съ одними уступками русскому содержанію, сатирическое направленіе дѣйствуетъ и въ другихъ писателяхъ. Не говоря о Сумароковѣ, который въ своихъ сатирахъ и комедіяхъ крайне нескладно подражаетъ «образцамъ» и только иногда выражаетъ какую нибудь свою мелкую досаду, сатира оказывается далеко не полна и не дѣй-

ствительна даже въ лучшемъ представителѣ этого направленія—фонъ-Визинѣ. Этотъ комикъ знаетъ двѣ темы — осмѣяніе круглаго невѣжества и нелѣпаго перениманья французскихъ обычаевъ. Нѣсколько сценъ въ «Бригадирѣ» и «Недорослѣ» (далеко не всѣ) составляютъ единственную его заслугу: въ нихъ есть живыя подробности и есть смѣшное; но цѣлый планъ комедій, и взглядъ на вещи, положенный въ ихъ основаніе, не выдерживаютъ критики и значительно сокращаютъ литературную заслугу этого писателя. Теперь извѣстно, что даже для такихъ картинъ русской жизни, доставлявшихъ слишкомъ много самаго пикантнаго матеріала для сколько нибудь наблюдательнаго комика, фонъ-Визинъ иногда побирался у французскихъ писателей. Нравоучительныя проповѣди, вложенныя въ уста Стародума и добродѣтельныхъ молодыхъ людей, имъ поучаемыхъ,—эти проповѣди, во первыхъ, тяжелы и неестественны, а во вторыхъ, изображаютъ весьма жидкую мораль, которая конечно принадлежитъ воззрѣніямъ самого автора. Что эти воззрѣнія были не глубоки, видно и изъ другихъ произведеній автора, напр. изъ его путешествія во Францію. Правда, фонъ-Визинъ рисковалъ и на болѣе смѣлыя мысли, — въ его извѣстныхъ вопросахъ въ «Собесѣдникѣ»,—но этой смѣлости хватило не надолго, и онъ послѣ раскаявался въ ней, какъ въ неприличной выходкѣ. Эти вопросы между прочимъ показываютъ, что для фонъ-Визина—по его уму—возможна была бы и болѣе широкая сатира, потому что онъ могъ понимать серьезные вопросы, но онъ не додумалъ ихъ и подчинился ходячей рутинѣ.

Эта рутина начала составляться уже съ первыхъ попытокъ нашей новой литературы. Съ самаго начала наша литература 18-го вѣка играетъ подчиненную роль—простаго комментарія къ правительственнымъ распоряженіямъ. Позднѣе она стала выраженіемъ вкусовъ высшаго класса. Принужденная, за собственной неопытностью, обращаться къ иноземнымъ «образцамъ», она точно также воспринимала пріемы и содержаніе уже начинавшаго падать классицизма, какъ барство перенимало нравы окончательно портившейся западной аристократіи. Тотъ разрядъ литературы и поэзіи, который сталъ на западѣ «украшеніемъ» дворовъ и развлеченіемъ высшаго класса, сталъ дѣлаться тѣмъ же и у насъ, съ той конечно разницей, что Корнеля, Расина и Буало представляли у насъ Сумароковъ и Тредьяковскій, и не мало другихъ писателей той же силы. Писателей, особенно со второй половины столѣтія, оказалось очень много, такъ какъ не очень трудно было воспѣвать по «образцамъ» торжественные случаи всякаго рода, особенно успѣхи русскаго оружія; не трудно было дѣлать «переложенія на россійскія нравы» французскихъ писателей и выдавать это за комедіи; обкрадывать гремучія фразы у Корнеля и Расина и называть это трагедіей и т. п. Между «образцами» наши писатели нашли и придворныхъ поэтовъ-лавреатовъ, и вслѣдъ за тѣмъ является цѣлая масса торжественныхъ одъ—наиболѣе ничтожной литературной формы, которая процвѣла у насъ больше всякой другой и стала почти обязательна для каждаго, кто желалъ быть писателемъ.

Первыя произведенія этого рода, какъ ломоносовская ода на взятіе Хотина, какъ первыя трагедіи Сумарокова, приняты были довольно благосклонно въ высшемъ, болѣе образованномъ кружкѣ, для украшенія жизни котораго не доставало только «музъ». Теперь эти музы явились и нужно было поддержать ихъ: отсюда съ перваго же времени начинается аристократическое меценатство, въ программу котораго входило между прочимъ и побиваніе Тредьяковскаго. Меценатство еще больше стѣснило и безъ того неширокій горизонтъ литературы, обязавши ее къ извѣстному хвалебному или увеселительному содержанію съ одной стороны, и съ другой внушивши пренебреженіе къ народу, которое было еще сколько нибудь понятно въ самихъ меценатахъ, но не имѣло никакого смысла и было гнусно у ихъ прислужниковъ. Ясно, что съ подобнымъ содержаніемъ литература должна была надолго остаться безплодной для большинства, для народной массы, которая со временъ реформы заперлась, какъ улитка въ раковину, въ преданья старины и отъ административныхъ, и отъ книжныхъ нововведеній. Литература долго оставалась почти безплодна и для другихъ классовъ: она боялась перейдти разъ назначенную ей границу и, не замѣчая своей настоящей задачи въ обществѣ, не видѣла и тѣхъ новыхъ руководителей, которые въ западныхъ литературахъ стали окончательно занимать мѣста ихъ прежнихъ «образцовъ». Наши писатели оставались вѣрны образцамъ даже и послѣ, когда литературныя идеи приняли на западѣ совершенно новый видъ.

Такова была рутина, которой подчинялось большинство нашихъ писателей 18-го столѣтія. Этой рутинѣ подчинился даже Ломоносовъ, безъ сомнѣнія замѣчательнѣйшій изъ людей, вызванныхъ изъ народа реформой. Несмотря на свое крестьянское происхожденіе, Ломоносовъ также какъ и другіе принялъ обозначенный нами характеръ литературной дѣятельности. Онъ имѣетъ огромныя заслуги, какъ ученый естествоиспытатель, первый русскій филологъ, какъ человѣкъ, понимавшій необходимость расширенія образованія въ обществѣ и указывавшій средства къ этому. Въ этомъ отношеніи онъ исполнилъ и оставилъ много плодотворныхъ мыслей и служилъ своему дѣлу съ такой ревностью убѣжденія, примѣръ которой трудно было бы найдти между тогдашними писателями; но его чисто литературная дѣятельность остается въ той условной рамкѣ, которая господствовала въ нашемъ 18-мъ столѣтіи и установленіе которой въ значительной степени принадлежитъ его вліянію. Онъ пишетъ въ условно-подражательномъ вкусѣ оды и трагедіи, эпопеи, оффиціальныя стихотворенія; правда, въ его стихотвореніяхъ виденъ умный человѣкъ, — чего не видно у другихъ, — но и этотъ умъ не помогаетъ ихъ рутинному отношенію къ дѣйствительной жизни. Литература существуетъ для него въ тѣхъ реторическихъ формахъ и въ томъ исключительномъ направленіи, которыя не давали мѣста настоящей дѣйствительности. Народная среда, въ которой онъ принадлежалъ по рожденію, хотя и не забылась имъ окончательно, но не

оказала существеннаго вліянія на его содержаніе; участіе къ народу выражается только случайно, какъ мнѣніе, а не какъ принципъ дѣятельности. Такимъ образомъ, отдавая всю справедливость ученымъ заслугамъ и общественнымъ стремленіямъ Ломоносова на пользу образованія, мы должны признать, что въ литературномъ смыслѣ за Ломоносовымъ остается главнымъ образомъ только формальная заслуга — образованіе литературнаго языка: онъ вывелъ его изъ анархическаго состоянія, въ какомъ онъ находился съ конца 17-го столѣтія и особенно во время Петра подъ вліяніемъ чужихъ элементовъ, входившихъ въ него массой съ разныхъ сторонъ, — и установилъ извѣстный характеръ книжной рѣчи, который продержался почти до Карамзина.

Если обстановка оказывала такое дѣйствіе и на людей съ сильнымъ умомъ, какъ Ломоносовъ, то дѣйствіе должно было оказываться еще сильнѣе на людяхъ, не владѣвшихъ этимъ качествомъ. Высшей точкой нашей поэзіи 18-го столѣтія считается Державинъ, и у него всего рѣзче выразились крайности рутины. У Державина былъ конечно поэтическій талантъ, но качества его ума и развитія были таковы, что этотъ талантъ послужилъ только къ тому, чтобы довести до послѣднихъ предѣловъ исключительное направленіе литературы, о которомъ мы говорили. Какого качества былъ умъ Державина, объ этомъ легко судить въ особенности по его запискамъ и его комедіямъ; развитіе его было очень бѣдно: лиризмъ его направлялся на отвлеченную метафизику и въ то же время на мелкое эпикурейство, на высокомѣрныя мечтанія о своей личности, которую онъ возвышалъ надъ презрѣнной толпой, и на лесть сильнымъ людямъ, выходившую изъ всякихъ границъ. Этимъ опредѣляется общественное значеніе его поэзіи: ея трескучіе эффекты могли плѣнять читателей, не видѣвшихъ еще другой поэзіи, но она не вносила въ читающій слой общества новой развивающей идеи. Онъ конечно былъ «пѣвцомъ» вѣка Екатерины, но за то онъ и теряетъ цѣну внѣ этой спеціальной задачи; онъ не видитъ другихъ сторонъ жизни; не понимаетъ другой литературы, кромѣ преувеличенно-хвалебной оды и анакреонтическихъ стишковъ, и бросаетъ камешки въ людей, которые начинали думать объ общественномъ благѣ и которыхъ онъ не умѣетъ понимать. Вкусы мецената все еще остаются литературнымъ закономъ.

Другое начало, готовившееся постепенно въ общественномъ развитіи, входитъ въ литературное движеніе съ Новиковымъ. Въ 60-хъ годахъ онъ начинаетъ издавать сатирическіе журналы, нашедшіе много подражателей, весьма впрочемъ слабыхъ, и хотя сатира все еще не выходитъ вполнѣ изъ прежней рутины, но въ ней уже встрѣчаются и самостоятельные мотивы, способные къ развитію. Такова была сатира *Живописца*. Здѣсь едва ли не впервые, хотя еще въ слабомъ зародышѣ, является независимая литературная идея, которая ставитъ свою цѣль не въ одномъ невинномъ препровожденіи времени, но въ серьезной пользѣ общества. Есть

причины думать, что сатира Новикова прекратилась потому, что этотъ характеръ ея былъ замѣченъ и продолженіе оказалось невозможнымъ. Затѣмъ Новиковъ обратился къ другой дѣятельности, которая обнаруживаетъ ту же руководящую мысль: начинаются его изданія по русской исторіи, «типографическая компанія» и масонская пропаганда. Какъ бы мы ни думали теперь о преувеличенномъ мистицизмѣ масонства, оно несомнѣнно представляло новый образовательный элементъ, вошедшій въ русское общество независимо отъ оффиціальныхъ внушеній. Масонство было новымъ фактомъ вліянія европейскихъ идей и важно было тѣмъ, что въ общественныя понятія того времени, сильно грубыя, оно вносило мысль о внутреннемъ совершенствованіи, о личномъ и гражданскомъ долгѣ, требовало для общественныхъ отношеній дѣятельнаго человѣколюбія. Здѣсь въ первый разъ появляется кружокъ людей съ дѣйствительными убѣжденіями, добытыми собственной мыслью и переходившими въ дѣло. Начало масонства относится у насъ еще къ первой половинѣ 18-го вѣка, но особенно развивается оно только въ 80-хъ годахъ прошлаго столѣтія, когда его представителями являются Новиковъ и Шварцъ, около которыхъ собирается цѣлое общество, служившее тѣмъ же идеямъ. Масонство произвело съ того времени цѣлую литературу, посвященную распространенію его идей, и хотя преувеличенный мистицизмъ «свободныхъ каменьщиковъ» не давалъ положительныхъ основаній для строгаго развитія, но масонство имѣло свое обширное значеніе въ исторіи русскаго общества, — оно во всякомъ случаѣ стояло выше ходячихъ понятій и выше тѣхъ, кто брался тогда обличать и преслѣдовать его. Старый консерватизмъ инстинктивно почувствовалъ опасность отъ новаго развитія общественныхъ понятій, и оттого дѣятельность Новикова имѣла извѣстный печальный конецъ: освобожденный изъ заключенія при Павлѣ, Новиковъ уже оставилъ мысль объ общественной дѣятельности.

Къ тому же времени относится любопытное явленіе нашей литературы, представляемое Радищевымъ. Его извѣстная книга: «Путешествіе изъ Петербурга въ Москву» (1790), стоившая ему многихъ лѣтъ ссылки, показываетъ, что европейскія понятія принимались уже иногда въ нашемъ обществѣ во всемъ ихъ серьезномъ значеніи. Но здѣсь ихъ вліяніе выразилось иначе, чѣмъ въ масонствѣ. Радищевъ вовсе не мистикъ, какъ масоны, и стремленія къ общественному благу ищутъ себѣ прямаго практическаго примѣненія въ жизни. Замѣчательнѣйшія страницы «Путешествія» посвящены изображенію крѣпостнаго быта, который вызываетъ въ авторѣ горькія размышленія. Въ Радищевѣ русская литература можетъ указать первое отрицаніе крѣпостнаго права, и это отрицаніе было безъ сомнѣнія главнѣйшей причиной осужденія писателя.

Новый періодъ русской новой литературы начинаютъ съ Карамзина и Жуковскаго. Собственно говоря, и здѣсь еще не было радикальнаго измѣненія прежней рутины, которая давала литературѣ только услов-

ное и ограниченное значеніе въ общественномъ развитіи. Карамзинъ имѣетъ конечно большую заслугу, какъ авторъ «Исторіи государства россійскаго», которой удивлялись современники; но его историческая система, сводившая все на исторію государства, уже скоро перестала удовлетворять болѣе свѣжихъ людей, которые, какъ Полевой, уже чувствовали потребность въ исторіи «народа». Въ историческомъ трудѣ Карамзина, какъ онъ повидимому ни далекъ отъ его прежнихъ литературныхъ опытовъ, отражается однако его литературный характеръ, — въ которомъ едва ли не главной чертой была сантиментальная аффектація. Въ своихъ повѣстяхъ и поэтическихъ опытахъ, Карамзинъ съумѣлъ извлечь изъ русской жизни только добродѣтельнаго «Фрола Силина», да «Бѣдную Лизу». Онъ перенялъ свою сантиментальность и (мнимую) любовь къ «натурѣ» изъ французской и нѣмецкой литературы, но перенялъ ее отъ такихъ посредственностей, у которыхъ эта любовь къ «натурѣ» была фразой, способной прельстить только очень незамысловатаго читателя. Но русскій читатель того времени и не былъ конечно замысловатъ, и въ этомъ смыслѣ поэзія Карамзина, говорившая о чувствахъ, о природѣ, о жизни сердца, была извѣстнымъ успѣхомъ послѣ сухихъ реторическихъ «восторговъ» Державина и цѣлой старой школы. Въ сущности у Карамзина не было еще ни истинной любви къ природѣ, ни истиннаго чувства, какъ во Фролѣ Силинѣ или Бѣдной Лизѣ не было русской дѣйствительности. Эта аффектація вошла и въ его исторію. Политическій взглядъ этой исторіи не шелъ дальше знаменитаго изреченія о народахъ дикихъ, любящихъ независимость, и народахъ мудрыхъ, любящихъ порядокъ, и дальше сухой, чисто государственной точки зрѣнія, даже предпочитавшей Іоанна III Петру Великому. Въ немъ были уже задатки настоящаго славянофильства.

Жуковскій конечно стоялъ несравненно выше Карамзина поэтическими инстинктами, но у него эти инстинкты не дошли до настоящей русской жизни и дѣйствительности. Жуковскій сдѣлался романтикомъ; поэзія романтизма, нѣмецкаго и англійскаго, великолѣпно укладывалась въ его стихъ, и какъ истолкователь европейскаго романтизма, Жуковскій сдѣлалъ очень много, потому что этимъ путемъ онъ вводилъ въ нашу поэзію живое человѣческое чувство на мѣсто прежней безжизненной реторики. Но русское содержаніе — за очень немногими исключеніями — ему не давалось: даже въ «Пѣвцѣ во станѣ русскихъ воиновъ», гдѣ такъ сильно вдохновляла его поэзія патріотизма, онъ одѣлъ своихъ дѣйствительныхъ и современныхъ героевъ въ классическую одежду и романтическій туманъ. Такимъ образомъ и Карамзинъ, и Жуковскій, и мелкіе поэты ихъ школы, напр. Дмитріевъ, ограничиваются еще искусственной ненаціональной средой, хотя это и была уже среда болѣе живая и поэтическая. Существенный успѣхъ сравнительно съ прежнимъ былъ тотъ, что литература значительно увеличила читающую публику; высшій классъ, поощрявшій ее въ 18-мъ столѣтіи подъ формой меценатства, теперь перестаетъ интересоваться ей и въ этомъ смы-

слѣ, и она больше проникаетъ въ средніе классы, — хотя впрочемъ настоящей потребностью для этихъ классовъ литература становится только съ поэтической дѣятельностью Пушкина.

Общій уровень литературнаго образованія при Карамзинѣ былъ еще очень не высокъ. Литературный міръ раздѣлился уже на партіи, изъ которыхъ одна отстаивала старыя классическія преданья Ломоносова, Державина и проч., другая стремилась къ нововведеніямъ Карамзина и Жуковскаго: сантиментальная изнѣженность одного и романтическій туманъ другаго показались ересью приверженцамъ старой торжественной оды. Адмиралъ Шишковъ понялъ эту противоположность двухъ школъ только съ точки зрѣнія *слога*, и въ этомъ смыслѣ написалъ свою книгу, направленную противъ Карамзина. Поводъ спора былъ чисто внѣшній, и разница двухъ школъ въ національно-общественномъ смыслѣ въ самомъ дѣлѣ была только внѣшняя: новая школа упрощала поэтическіе пріемы и дѣлала извѣстный шагъ въ литературномъ образованіи, но не представляла собой самостоятельнаго и опредѣленнаго общественнаго принципа. Зависимое, условное существованіе литературы продолжается. Другіе представители этого періода, пользовавшіеся въ то время большой славой, не выходили изъ этого уровня: таковъ былъ чопорный и скучный Дмитріевъ; таковъ былъ Крыловъ, «знатокъ» русскаго языка, мѣшавшій его однако съ самыми натянутыми формами карамзинскаго стиля, и въ своей басенной сатирѣ проповѣдовавшій мораль весьма обиходную и часто далеко не передовую. Болѣе свѣжій талантъ, Батюшковъ, хотѣлъ найдти выходъ изъ господствовавшей искусственности въ древней антологической поэзіи, но его поэтическое поприще кончилось слишкомъ рано. Грибоѣдовъ обратился къ самой дѣйствительности, и извлекъ изъ нея много настоящаго русскаго содержанія, которое при талантѣ этого писателя дало обширную популярность его комедіи, — но идеалъ, который скрывается за отрицаніемъ комедіи, еще не представляетъ ясно сознанной общественной мысли: комическая насмѣшка Грибоѣдова, по прежней программѣ, ограничивается мелочами, надъ которыми смѣяться было довольно легко.

Послѣдній новѣйшій періодъ русской литературы начинается съ Пушкинымъ. Это первый сильный талантъ, въ которомъ сказалось непосредственное чувство русской дѣйствительности, въ которомъ впервые нашлась настоящая русская поэзія. Современное поколѣніе только съ него можетъ вести свою литературную традицію, въ которой можетъ найдти для себя предметы сочувствія не одного чисто-историческаго свойства. Но тѣмъ не менѣе и Пушкинъ не довелъ до конца своей поэтической задачи, какая уже была въ то время возможна. Онъ еще поддается литературному вліянію предшествовавшей школы, въ которой такую роль играло условное поэтическое содержаніе; онъ подражаетъ Байрону, котораго конечно не понималъ, потому что точка зрѣнія Байрона была вообще слишкомъ серьезна для его ума, хотя блестящаго, но неглубокаго. Отношеніе Пушкина къ русской

дѣйствительности было ближе, чѣмъ у кого нибудь изъ его предшественниковъ—но оно все еще было не достаточно глубоко: Пушкинъ рисовалъ превосходныя отдѣльныя картины русской жизни, общества и народа, но ему были еще чужды истинная идея народности, т. е. общественное положеніе этого народа, его думы и стремленія, и его истинныя потребности и идеалы; подойдти совсѣмъ къ народу онъ не могъ уже по своимъ мелкимъ аристократическимъ предразсудкамъ, которые къ сожалѣнію составляли слишкомъ существенную черту его характера. Онъ не выдержалъ и той общественной роли, съ которой началъ свое поприще и которая собственно установила въ первый разъ симпатичную репутацію Пушкина. Судя по этому началу, въ немъ можно было ждать поэта, который выскажетъ задушевную мысль лучшихъ людей общества: его поэтическій энтузіазмъ, его живыя стремленія, сочувствіе къ дѣйствительной русской народности, его знаменитая своимъ остроуміемъ насмѣшка, которая обращалась противъ старыхъ золъ русскаго общества и была злѣе всей сатиры, какая только была въ русской литературѣ съ самаго ея начала,—всѣ эти качества открывали богатыя надежды на великое поэтическое и общественное значеніе его дѣятельности. Но надежды оправдались не вполнѣ: Пушкинъ не устоялъ на своихъ прежнихъ понятіяхъ и энтузіазмѣ молодости, и отдалъ дань тому направленію, которое полагаетъ народное дѣло въ самохвальствѣ и перестаетъ здраво понимать положеніе вещей. Это, безъ сомнѣнія, ограничивало размѣры того, что онъ могъ бы сдѣлать. Болѣе свѣжее поколѣніе, та часть общества, въ которой шло наиболѣе прямое развитіе, уже охладѣвало къ Пушкину въ концѣ его дѣятельности, и поколѣніе современное все еще остается подъ этимъ впечатлѣніемъ.

Въ позднѣйшую эпоху дѣятельности, у Пушкина начинаютъ высказываться вещи, которыя потомъ назывались славянофильствомъ—это слѣды прежней до-петровской исключительности, національное хвастовство, преклоненіе предъ традиціями, непріязненность къ отрицательному взгляду, съ котораго общество должно было неизбѣжно начать, чтобы придти къ какому нибудь положительному выводу. Къ послѣднимъ годамъ Пушкина славянофильство стало складываться въ опредѣленную школу.

Исторія этого направленія можетъ быть проведена очень далеко назадъ, въ старыя времена, если понимать славянофильство какъ упрямую національную исключительность, восхваляющую все свое и ненавидящую все чужое, хотя бы даже и чужое образованіе. Таково было еще московское царство и особенно 16—17-й вѣка. Реформа Петра вызвала пассивное сопротивленіе и недовольство, которое въ 18-мъ столѣтіи уже находило отголоски въ литературѣ, вышедшей изъ реформы. Напр. фонъ-Визинъ изъ чисто-славянофильскихъ тенденцій бранитъ западную Европу, конечно нисколько не умѣя ее понимать, какъ онъ самъ это доказалъ въ своемъ путешествіи. Національное самохвальство развилось въ то же время до послѣднихъ предѣловъ,—такова была поэзія Державина, которую славянофилы кажется

и признали теперь на этомъ основаніи, хотя она и принадлежала ненавистному имъ петербургскому періоду. Въ 20-хъ годахъ, какъ мы уже видѣли, славянофильство спорило противъ новаго «слога», предпочитая ему старый, церковно-славянскій, и отвергая всякія новыя ухищренія, особенно подражанія иноземному. Свою настоящую форму славянофильство принимаетъ уже въ 30-хъ годахъ, когда его проповѣдниками являются Кирѣевскіе, Хомяковъ, Погодинъ, позднѣе Аксаковы и проч.

Славянофилы выставляютъ себя представителями истинно русскихъ началъ: поэтому симпатія ихъ принадлежитъ древней Руси, т. е. собственно московскому царству; поэтому они отвергаютъ законность реформы, будто бы поправшей эти начала, и отвергаютъ такъ называемый петербургскій періодъ; поэтому въ былое время они простодушно ненавидѣли гнилой западъ, какъ источникъ реформы, и въ сущности продолжаютъ также ненавидѣть его и теперь. Наконецъ славянофилы начали говорить у насъ о славянскомъ вопросѣ. Трудно теперь прослѣдить, какимъ путемъ началось это отношеніе къ западному славянству. Извѣстно, что славянскій союзъ былъ уже въ мечтахъ декабристовъ. Немного лѣтъ спустя, Хомяковъ началъ проповѣдовать въ своей поэзіи о славянскомъ братствѣ, призывать славянство къ единенію, вооружаться противъ чужой цивилизаціи, гнетущей славянскія племена, а вмѣстѣ съ ними и русскій народъ, и наконецъ поощрять Славянъ къ основанію новой невиданной цивилизаціи. Этой же точки зрѣнія Хомяковъ и славянофилы держались и относительно внутреннихъ вопросовъ русскаго образованія и литературы, и ради своего археологическаго патріотизма возставали противъ той критики, которая тогда впервые разгоняла мракъ, лежавшій на общественныхъ понятіяхъ. Взамѣнъ, они предлагали свою теорію «народныхъ началъ», которой до сихъ поръ не въ состояніи объяснить осязательно и согласить съ требованіями времени и здраваго разумѣнія.

На сколько они могутъ считаться истинными представителями русской неподдѣльной народности, можно видѣть изъ того, что до самаго опредѣленія своей роли они доходили через философское фантазерство, источники котораго были чужіе (какъ въ философіи Кирѣевскаго, въ умствованіяхъ Хомякова). На сколько искренно они нуждались въ славянскомъ братствѣ, можно видѣть изъ того, что только немногіе изъ нихъ имѣли тогда понятіе о славянскихъ нарѣчіяхъ, и что призыванія къ братству оканчиваются теперь внушеніями о покорности Москвѣ...

Относительно славянскаго вопроса, а вмѣстѣ съ тѣмъ и русскаго, славянофилы составили вообще говоря слѣдующую теорію. Европа представляетъ, начиная съ среднихъ вѣковъ и до настоящаго времени, два отдѣльные и даже противоположные міра: западный и восточный, латино-германскій и греко-славянскій. Эти два міра выражаютъ два различные принципа, которые совершенно отрицаютъ другъ друга: ихъ противоположность обнимаетъ всѣ основныя начала жизни — начиная съ религіи, идей

политическихъ и общественныхъ, до всѣхъ подробностей культуры, до нравовъ и семейной жизни. Религіозная противоположность раздѣляетъ эти два міра съ давнихъ поръ; также давно и также прочно—увѣряютъ они—обнаружились и особенныя свойства славянской національности въ политическомъ и общественномъ устройствѣ, опять противоположныя латино-германскимъ принципамъ, и составляющія непремѣнное условіе нормальнаго славянскаго развитія. Тѣ племена, которыя сохранили византійско-славянскія условія, стоятъ на настоящей дорогѣ; тѣ, которыя были невѣрны византійско-славянскимъ началамъ, совратились съ истиннаго пути и не имѣютъ будущаго. Въ такомъ положеніи находятся славянскія племена, подчинившіяся вліянію запада. Все, что было зловреднаго и разрушительнаго для славянскаго развитія, пришло отъ Нѣмцевъ и отъ католицизма: они разрушили своимъ зловреднымъ вліяніемъ древнее византійское православіе, принятое нѣкогда западнымъ славянствомъ, и старое демократическое устройство славянскихъ общинъ; они ввели неизвѣстное Славянамъ дѣленіе сословій и эгоизмъ личности, въ ущербъ славянской демократіи и принципу любви и смиренія. Но Славяне къ сожалѣнію не понимали этого различія, многіе изъ нихъ уклонились добровольно, или вслѣдствіе насилія, отъ настоящей византійско-славянской дороги и за этотъ грѣхъ наказаны своимъ раздѣленіемъ и ослабленіемъ. Въ настоящее время они пробуждаются отъ своего долгаго усыпленія и имъ предстоитъ возвратиться къ ихъ древнимъ, т. е. византійско-славянскимъ началамъ,—которыя въ своей полной чистотѣ были сбережены только однимъ русскимъ народомъ.

Тѣ же основные взгляды славянофилы примѣняютъ и къ внутреннему русскому вопросу. Реформа Петра осуждается ими, не столько какъ слишкомъ насильственная реформа, но вообще какъ реформа, вводившая европейскую цивилизацію. Реформа раздѣлила русское общество, оторвала высшія сословія отъ массы и сдѣлала ихъ безплодными; единственное, чѣмъ мы могли бы исправить ошибку реформы, это—возвращеніе къ прежнимъ русскимъ идеямъ, къ идеямъ московскаго царства, еще не испорченнаго реформой. Тамъ была чисто русская жизнь, православное русское царство, съ единствомъ убѣжденій, интересовъ и народнаго быта, съ думами и соборами, безъ тлетворнаго вліянія заморскихъ идей, приводящихъ общество въ разладъ. Образованіе конечно нужно, соглашаются славянофилы, но мы должны почерпать его только изъ «народныхъ началъ», руководясь содержаніемъ народности, т. е. народныхъ свойствъ и понятій, и наука, которая можетъ имѣть у насъ мѣсто, должна быть «русская наука», съ нашей точки зрѣнія,—другими словами, наука, говорящая только то, что намъ желательно...

Все это было проповѣдуемо съ крайней ревностью, и нашлись люди, которымъ показалось, что эта теорія дѣйствительно объясняетъ и славянскій, и русскій вопросъ. Не входя въ критическія подробности, мы замѣтимъ только, относительно славянскаго вопроса, что теорія всѣ славянскія народности мѣряетъ только на русскую народность, желая представить

ее единой непогрѣшимой; но исторически она ничего не объясняетъ, потому что на дѣлѣ древнія «славянскія начала» падали и тамъ, гдѣ не было никакихъ вліяній разлагающаго запада. Относительно русскаго развитія теорія ограничиваетъ народную исторію сохраненіемъ стараго преданья и, слѣдовательно, осуждаетъ ее на неподвижность; славянофиламъ и дѣйствительно непонятно то, что есть свѣжаго и плодотворнаго въ новомъ движеніи русскаго образованія и литературы, хотя это послѣднее движеніе въ значительной степени руководится интересомъ къ народнымъ массамъ.

Самымъ простѣйшимъ и не замысловатымъ выраженіемъ славянофильства въ литературѣ и обществѣ было то, что еще Полевой мѣтко назвалъ квасным патріотизмомъ. Въ этомъ, конечно весьма несовершенномъ видѣ, славянофильство имѣетъ огромное количество послѣдователей; хотя сама школа и отказывается отъ этого предиката, но онъ принадлежитъ ей несомнѣнно, и болѣе наивные представители ея постоянно отличаются этимъ качествомъ.

Въ нѣкоторыхъ извѣстныхъ пьесахъ своихъ Пушкинъ отдалъ дань такому направленію, развившемуся потомъ въ переданную нами теорію, и это охладило къ нему энтузіазмъ тѣхъ, кто такъ много ожидалъ отъ него по началу. Его природные инстинкты указывали ему иной путь, но слабость характера, недостатокъ серьезности ума помѣшали ему быть послѣдовательнымъ. Этой послѣдовательности недостало и у другаго великаго таланта, который видѣла русская литература въ послѣднее время, — у Гоголя. Его великолѣпная сатира въ первый разъ вводила въ литературу настоящую русскую жизнь, никакая условность и рутина не стѣсняли глубокаго инстинкта писателя, и результатомъ этой прямой и непосредственной дѣятельности былъ рядъ превосходныхъ произведеній, которыя имѣли огромный и вполнѣ справедливый успѣхъ. Но «Мертвыя Души» остались неконченными, потому что продолженіе ихъ, написанное подъ вліяніемъ искусственныхъ и фальшивыхъ цѣлей, которымъ авторъ хотѣлъ служить въ позднѣйшій періодъ своей дѣятельности, вышло слишкомъ неудачно. Въ писателѣ произошла существенная перемѣна, или, вѣрнѣе, онъ не измѣнился, но въ немъ только сильнѣе, чѣмъ прежде, выдались тѣ индивидуальныя черты его, которыя скрывались прежде въ его непосредственномъ поэтическомъ увлеченіи. Гоголь сталъ жертвой недостаточнаго развитія: онъ не понялъ причины своего громаднаго успѣха; подъ вліяніемъ извѣстныхъ тенденцій, внушенныхъ его болѣзненнымъ состояніемъ, и подъ вліяніемъ отсталыхъ людей, онъ сталъ сожалѣть о прежней дѣятельности, и взамѣнъ глубоко задѣвавшей сатиры, вздумалъ поставлять читателю елейную мораль и мнимые русскіе идеалы въ родѣ безжизненной Улиньки и черезъ-чуръ практическаго Костанжогло. Результатъ, котораго достигалъ онъ прежде глубокимъ поэтическимъ инстинктомъ, сталъ для него недостижимъ, когда онъ вздумалъ поучать читателя собственными соображеніями, которыя такъ странно читать въ «Перепискѣ съ друзьями».

Первыя произведенія Гоголя остаются замѣчательнымъ фактомъ русской литературы. Въ нихъ ясно намѣтилось то направленіе, которое съ тѣхъ поръ утвердилось въ литературѣ и все больше сближало ее съ настоящей русской дѣйствительностью. Прежняя рутина, опредѣлявшая поэтическое содержаніе, прежнее зависимое положеніе литературы, смѣняются теперь, въ ея лучшихъ людяхъ, свѣжими интересами жизни, и литература, служившая прежде забавой дилеттантамъ, становится дѣйствительнымъ орудіемъ общественныхъ стремленій.

Не было случайностью то любопытное обстоятельство, что гоголевскій періодъ былъ и временемъ дѣятельности Бѣлинскаго. Вмѣстѣ съ тѣмъ какъ поэтическое творчество, хотя быть можетъ отчасти и безсознательно, вводило въ литературу неподдѣльную русскую дѣйствительность, начинается критическая дѣятельность писателя, который впервые разъясняетъ общественное значеніе литературы, въ первый разъ ставитъ ей серьезную соціальную задачу. Съ Бѣлинскаго русская литература начинаетъ свой современный періодъ, въ которомъ она стремится стать прямымъ выраженіемъ и дѣятелемъ общественной жизни.

Бѣлинскій имѣлъ впрочемъ своихъ предшественниковъ. Первыя попытки сдѣлать литературу средствомъ общественнаго развитія принадлежатъ еще концу 18-го столѣтія—Новикову и Радищеву. Затѣмъ, въ періодъ сантиментальнаго и туманнаго романтизма, практическій общественный интересъ находитъ своего представителя въ Полевомъ, котораго «Телеграфъ» былъ первымъ вліятельнымъ журналомъ и который, при всѣхъ увлеченіяхъ не всегда достаточно понятымъ европеизмомъ, въ первый разъ думаетъ объ исторіи русскаго «народа». Исторія не удалась Полевому, но его журнальная дѣятельность имѣла свое полезное вліяніе, потому что расширяла общественныя и литературныя понятія. Другой писатель, еще болѣе серьезно понимавшій общественную роль литературы и вызывавшій на серьезную мысль, былъ Надеждинъ, журнальная дѣятельность котораго—въ наиболѣе свѣжее его время—относится къ тридцатымъ годамъ. Тогда же началъ свое литературное поприще и Бѣлинскій, оставшійся до послѣднихъ сороковыхъ годовъ во главѣ русской литературы. Въ тридцатыхъ годахъ вообще шло живое движеніе въ новомъ поколѣніи, которое съ увлеченіемъ воспринимало послѣдніе результаты европейской литературы и нѣмецкой философіи и искало въ нихъ окончательнаго разрѣшенія вопросовъ жизни. Европейская мысль, гегелевская философія, поэтическіе идеалы европейскихъ литературъ никогда не дѣйствовали на молодые умы русскаго общества съ такой силой, какъ въ это время: мыслящіе люди новаго поколѣнія стремились опредѣлить и установить свои поэтическіе идеалы, свои философскіе и общественные принципы, и искали ихъ въ поэзіи Шекспира, Шиллера, Гёте, въ философіи Гегеля, а позднѣе, въ новой общественной наукѣ западной Европы. Таковъ былъ въ тридцатыхъ годахъ извѣстный кружокъ Станкевича. Это увлеченіе было весьма естественно. Новая поэзія и новая философія,

которыми увлекались у насъ, имѣли слишкомъ широкое значеніе въ цѣломъ литературномъ мірѣ Европы, и если только появлялись вопросы такого свойства, они нигдѣ тогда не находили болѣе поражающаго и болѣе глубокаго разрѣшенія. Естественно также, что въ это время стала рѣзко высказываться и разница этого кружка съ крайнимъ славянофильствомъ, которое взамѣнъ этихъ космополитическихъ и общественныхъ увлеченій выставляло свои узкія рамки исключительной національности... Въ этомъ кругѣ понятій, созданномъ вліяніемъ нѣмецкой философіи и европейскихъ поэтическихъ идеаловъ, совершилось и развитіе Бѣлинскаго. Эти условія опредѣлили направленіе его дѣятельности; въ нихъ онъ нашелъ критеріумъ своихъ сужденій о русской литературѣ. Строгія сужденія Бѣлинскаго крайне возмущали его литературныхъ противниковъ, кричавшихъ, что онъ безумно разрушаетъ славы русской литературы, но на дѣлѣ эти сужденія въ первый разъ (и конечно еще далеко не вполнѣ) представляли русскую литературу, а съ ней и общественную жизнь, въ ея настоящихъ размѣрахъ и съ ея дѣйствительными потребностями... Но, какъ ни сильно эта пора перваго развитія опредѣляла взгляды Бѣлинскаго, онъ — не какъ другіе — умѣлъ остаться самостоятельнымъ, и не гоняясь за теоретическими отвлеченностями, выработалъ себѣ тотъ складъ общественно-литературной критики, который давалъ его произведеніямъ такую непосредственную силу и такое вліяніе на новыя поколѣнія. Въ рукахъ Бѣлинскаго журналъ въ первый разъ сталъ въ нашей литературѣ извѣстной общественной силой. Обширное вліяніе Бѣлинскаго не подлежитъ сомнѣнію.

Критика Бѣлинскаго требовала отъ литературы жизненнаго содержанія, и рутина прежнихъ временъ, еще продолжавшая имѣть своихъ представителей, была въ этой критикѣ окончательно осмѣяна и уничтожена. Рядомъ съ поэтической дѣятельностью Гоголя, эта критика имѣетъ существенное значеніе въ развитіи нашихъ литературныхъ понятій. Вліяніе Бѣлинскаго отразилось непосредственно въ новомъ поколѣніи писателей, для которыхъ общественный вопросъ и народная жизнь стали съ тѣхъ поръ существеннымъ матеріаломъ. Въ этомъ смыслѣ литература продолжаетъ дѣйствовать и до послѣдняго времени. Правда, этотъ общественный вопросъ она не всегда понимала довольно глубоко, но по крайней мѣрѣ для нея открылась дорога, по которой она можетъ наконецъ найдти свое истинное содержаніе и настоящее общественное значеніе.

Изъ тѣхъ, упомянутыхъ нами настроеній, которыя проникали въ нашу литературу съ тридцатыхъ годовъ, со временъ Бѣлинскаго, вышелъ новый періодъ нашей беллетристики, занимающій сороковые и отчасти пятидесятые года — дѣятельность Тургенева, Гончарова и прочихъ писателей этой школы. Задача ихъ была преимущественно общественная, и въ этомъ смыслѣ ихъ развитіе было въ значительной степени обусловлено дѣятельностью Гоголя и истолкованіями Бѣлинскаго. Типы новой беллетристики были по преимуществу люди общества, чувствовавшіе на себѣ тяжесть неп[illegible]

ныхъ общественныхъ отношеній и искавшіе изъ нея исхода: это время «лишнихъ людей», «Рудиныхъ» и проч., продолжавшихъ старое поколѣніе Онѣгина и Печорина. Гоголь открылъ этимъ картинамъ жизни путь къ вѣрному изображенію дѣйствительности; Бѣлинскій указывалъ общественную точку зрѣнія. Повѣсти изъ народнаго быта, принадлежащія этому времени, даютъ угадывать, что въ лучшихъ людяхъ уже созрѣла мысль о необходимости уничтоженія крѣпостнаго права. Но за тѣмъ, это была едва ли не единственная, ясно сознанная общественная идея этого времени; всѣ другія общественныя потребности вызывали въ «лишнихъ людяхъ» только темныя предчувствія, въ которыхъ они не могли отдать себѣ точнаго отчета. Эти романы, разсказы, повѣсти, какъ и самая жизнь, ихъ внушавшая, были только заявленіемъ неопредѣленнаго недовольства и неопредѣленныхъ стремленій. Положительнаго общественнаго идеала этотъ періодъ не создалъ... Въ настоящую минуту онъ сказалъ уже свое послѣднее слово, и доказательство этого въ томъ, что писатели этого недавняго періода уже не понимаютъ новаго поколѣнія, которое извлекаетъ изъ прежняго опыта идеи и стремленія, болѣе опредѣленныя не только съ отрицательной, но и съ положительной стороны.

Точно также больше опредѣленности высказывается и въ критической дѣятельности послѣдняго времени. У продолжателей Бѣлинскаго интересъ къ народу есть уже глубокое сознательное убѣжденіе, которое высказывается извѣстными опредѣленными требованіями.

Въ какомъ же отношеніи русская литература находится къ литературамъ западнаго и южнаго славянства?

Мы видѣли, что она какъ и другія славянскія литературы въ теченіи всей своей исторіи опять руководилась исключительно своими частными интересами и цѣлями, что эта исторія представляетъ отдѣльное цѣлое, не имѣющее въ своихъ результатахъ ничего специфически панславянскаго. Единственный періодъ, въ которомъ мы находимъ нѣчто, напоминающее о славянскомъ единствѣ, есть ея древній періодъ, когда русская письменность была въ тѣсныхъ связяхъ съ письменностью южно-славянской. Общей связью было здѣсь одинаково заимствованное изъ Византіи православіе и литературный старо-славянскій языкъ. Благодаря этимъ условіямъ, въ древнюю русскую литературу, а за тѣмъ и въ народное сознаніе перешло много византійскаго и южно-славянскаго содержанія, отъ догматическихъ книгъ до повѣстей и народныхъ суевѣрій. Но эти славянскія связи ограничиваются только Сербами и Болгарами, и корень ихъ очевидно заключается существеннымъ образомъ не столько въ національномъ, сколько въ религіозномъ единствѣ, — первое подчинено второму. Когда южныя славянскія царства пали, и въ нихъ прекратилась литературная дѣятельность, эти междунаціональныя отношенія ослабѣваютъ и даже прекращаются почти окончательно.

Русскимъ уже нечего было заимствовать съ юга; скорѣе на оборотъ, теперь югъ могъ заимствоваться отъ Русскихъ и онъ заимствовался дѣйствительно, и опять въ томъ же смыслѣ. Съ паденіемъ южно-славянскихъ царствъ, въ нихъ прекращается всякая литературная дѣятельность; грамотность удерживается только въ монастыряхъ и ограничивается церковными потребностями. Рѣдкость типографій и потому недостатокъ книгъ заставляетъ южныхъ Славянъ искать этихъ книгъ въ Россіи и русскія церковныя книги идутъ къ Сербамъ и Болгарамъ, вмѣстѣ съ денежной милостыней, за которой южное славянство, вмѣстѣ съ другими восточными православными, обращалось въ московское царство. Такъ продолжалось до самаго 18-го столѣтія, когда Досиѳей Обрадовичъ собирался учиться въ Кіевѣ, и даже до нашего времени, когда южные Славяне искали въ Россіи духовнаго образованія въ семинаріяхъ и академіяхъ. Такимъ образомъ существенной чертой этихъ международныхъ связей было выполненіе религіозныхъ потребностей.

Въ настоящее время, когда потребности образованія не ограничиваются одними потребностями церковными, недостатокъ школъ приводитъ иногда южно-славянскую молодежь и въ русскіе университеты. Въ Москвѣ, въ Кіевѣ, въ Петербургѣ училось немало Сербовъ и особенно Болгаръ, которые стали потомъ ревностными защитниками своего народнаго дѣла. Повидимому здѣсь международныя отношенія заставляютъ уже думать, кромѣ религіознаго единства, о единствѣ, и сочувствіи національномъ; но и это объясняется въ сущности тѣмъ же религіознымъ единствомъ, а также и сосѣдствомъ, которое вызвало въ Россію цѣлыя сербскія и особенно болгарскія колоніи. Съ другой стороны, южно-славянская молодежь искала высшаго образованія не въ Россіи, а въ нѣмецкихъ университетахъ и въ Парижѣ, — а Сербы почти исключительно, и не только австрійскіе, которые совершенно удовлетворяются Пестомъ и Вѣною, но даже Сербы княжества. Очевидно, что если эти не руководствуются чувствомъ національнаго единства, то и въ другихъ, приходящихъ къ намъ, естественно искать не однихъ исключительно національныхъ побужденій.

Точно также мы не находимъ проявленія чисто-національныхъ славянскихъ сочувствій въ тѣхъ отношеніяхъ, какія появлялись вслѣдствіе турецкихъ войнъ Россіи. Въ Русскихъ ожидали освободителей, и этого было достаточно, особенно, если предполагаемый освободитель былъ единовѣренъ. Затѣмъ, отдѣльное отъ этихъ постороннихъ соображеній, и взятое само по себѣ, національно-славянское чувство, въ самомъ южномъ славянствѣ, сводится къ весьма ограниченнымъ размѣрамъ, какіе имѣетъ оно и въ нашемъ обществѣ, о чемъ мы скажемъ дальше.

Каковы были отношенія русскаго племени къ остальному славянству, это довольно извѣстно: для Польши, это была давнишняя и историческая вражда; для остальныхъ Славянъ, Чеховъ, Мораванъ, Хорватовъ и т. д., это было полное отсутствіе всякихъ отношеній. Нѣтъ сомнѣнія, что ре-

лигiозныя условiя, опредѣлявшiя связь съ южнымъ славянствомъ, дѣйствовали опять и въ отношенiяхъ съ Польшей, только въ противоположную сторону. Племенное родство нисколько не помогало международнымъ отношенiямъ; въ 16—17-мъ столѣтiяхъ, Русскiе забывали даже свое близкое родство съ западной Русью, изъ-за ея католичества и унiи; московская исключительность въ дѣлѣ вѣры заставляла Русскихъ заподозривать ея западное православiе и такимъ образомъ отдаляла даже тѣхъ, кто имѣлъ всѣ права и нацiональнаго, и религiознаго единства. Даже послѣ, когда вся старая Литва вошла въ составъ русскаго государства, съ конца 18-го столѣтiя, ея русскiе элементы предоставлены были самимъ себѣ и вопросъ о нацiональномъ единствѣ поднятъ только послѣдними случайными обстоятельствами.

Что касается до западнаго славянства, мы сказали уже, что здѣсь было отсутствiе всякихъ нацiональныхъ отношенiй. Обѣ стороны, раздѣленныя пространствомъ и исторiей, совершенно забыли другъ о другѣ; въ теченiи многихъ столѣтiй только изрѣдка онѣ вспоминали, одни, что есть сильное единоплеменное московское царство, другiе, что между Нѣмцами есть и славянскiе народы, преданные однако латинской ереси. Но воспоминанiя были и рѣдки и смутны. Въ 18-мъ столѣтiи, основанiе могущественной имперiи заставило западныя и южныя славянскiя племена обратить больше вниманiя на восточное царство, и если Крижаничъ еще въ 17-мъ столѣтiи возлагалъ на него надежды освобожденiя, то теперь, когда это царство усиливалось все больше и больше, эти надежды могли появляться чаще въ тѣхъ передовыхъ людяхъ, которые задавали себѣ подобный вопросъ. О Петрѣ Великомъ славянскiе передовые люди говорили уже несравненно больше, чѣмъ о комъ нибудь изъ прежнихъ царей. Лужичанинъ Френцель привѣтствуетъ его какъ единоплеменнаго царя; но Хорватъ Витезовичъ, также его прославлявшiй, оставляетъ единоплеменность въ сторонѣ. Самъ Петръ знаетъ о славянскихъ единоплеменникахъ, и желаетъ воспользоваться ими для реформы, но нацiональное чувство остается крайне поверхностнымъ съ обѣихъ сторонъ [3]). Надежды на освобожденiе съ помощью единоплеменной Россiи, которыя высказывались особенно на югѣ, въ 19-мъ столѣтiи стали проникать и къ западному славянству,—мы рѣ

[3]) Петръ Великiй искалъ напримѣръ переводчиковъ для книгъ, которыя ему хотѣлось издать по русски. Чтобы перевести какой-то „Лексиконъ универсалисъ, въ которомъ есть всѣ художества“, онъ ищетъ переводчиковъ въ Прагѣ, полагая, что Чехи могутъ перевести книги на русскiй языкъ, съ помощью посланныхъ имъ людей. Онъ пишетъ также, чтобы призвать на службу въ Россiю „шрейберовъ—изъ бемчанъ, изъ шленцовъ, или изъ моравцовъ“, которые бы могли завести приказные порядки въ нашихъ основанныхъ тогда коллегiяхъ. Очевидно, что исканiе переводчиковъ и призывъ шрейберовъ, говоря очень мало о чувствѣ нацiональнаго единства у Петра, говорятъ только о крайней безпомощности русскаго общества въ эпоху реформы. См. Пекарскаго, Науки и лит. и проч. 1,231. Не большое доказательство въ пользу чувства нацiональнаго единства представляютъ конечно и такiе писатели, какъ старецъ Паисiй Величковскiй или извѣстный Барскiй Плака-Альбовъ, которыхъ откапываютъ теперь славянофилы.

шаемся сказать, не безъ содѣйствія славянофильскаго хвастовства. Ясно, что если бы мы стали искать здѣсь доказательствъ національно-славянскаго симпатіи и единства, эта симпатія имѣетъ весьма искусственное происхожденіе.

Самъ русскій народъ, и вмѣстѣ и русское образованное общество оставались прежде, да и теперь остаются, напротивъ, весьма хладнокровны къ славянскому вопросу. И это очень естественно: народъ не подозрѣваетъ существованія славянскаго вопроса, а общество инстинктивно чувствуетъ, что славянскій вопросъ,—въ тѣхъ формахъ, какія даютъ ему наши любители,—не представляетъ для него жизненной необходимости, что оно мало извлекло бы изъ него пользы для своего собственнаго внутренняго вопроса. Странно было бы конечно обвинять его за это въ себялюбіи. Національно-славянскія симпатіи остаются принадлежностью незначительнаго кружка; если же въ послѣднее время славянскій вопросъ начинаетъ возбуждать у насъ нѣсколько больше вниманія, чѣмъ прежде, и въ обществѣ оказывается больше сочувствія къ угнетеннымъ славянскимъ національностямъ—то причина этаго вниманія заключается въ томъ, что этотъ вопросъ можетъ опять стать предметомъ европейскихъ политическихъ споровъ, и интересъ къ южному или западному славянству есть или насильственно раздражаемое національное самолюбіе или же (напр. относительно Сербовъ или Болгаръ) интересъ къ угнетеннымъ народамъ, ищущимъ свободы,—слѣдовательно интересъ весьма космополитическій.

2. МАЛОРУССЫ.

Обращаясь къ Малоруссамъ, мы встрѣчаемъ спорный національный вопросъ, какіе порождало не разъ славянское возрожденіе. Споръ идетъ здѣсь о степени отдѣльности и автономіи малорусской народности, языка и литературы. Эти спорные пункты явились именно въ послѣдніе годы, когда въ малорусской литературѣ началось особенно живое движеніе: они рѣшались различно, и когда одни выводили изъ нихъ несомнѣнную полноправность малорусской литературы, другіе выводили ея полное осужденіе. Литературному спору приданъ былъ наконецъ политическій оттѣнокъ, и обстоятельства прекратили его не дожидаясь аргументовъ, какіе захотѣла бы представить altera pars.

Сущность вопроса состояла въ опредѣленіи того, до какой степени народность малорусская или южно-русская составляетъ отдѣльную особность отъ русскаго цѣлаго, какъ давни ея историческія права и до какой степени она можетъ имѣть притязанія на отдѣльную литературу. Споръ о малорусской народности начался на почвѣ чистой филологіи и исторіи, сталъ потомъ вопросомъ литературнымъ, перешелъ дальше въ вопросъ внутренней политики и въ настоящую минуту замолкъ. Не имѣя поэтому возможности говорить о немъ, такъ какъ онъ составляетъ фактъ слишкомъ близ-

каго настоящаго, мы укажемъ только въ общихъ чертахъ разныя мнѣнія, выраженныя обѣими сторонами.

Относительно древности малорусской народности и языка сами Малоруссы думаютъ, что она представляетъ такую же самобытную и старую народность, какъ великорусская, считаютъ эту народность тѣмъ зерномъ, въ которомъ началась русская исторія стараго кіевскаго періода. Южно-русскій языкъ есть исконный языкъ русскаго южнаго племени, это—языкъ Нестора и древнихъ южныхъ и западныхъ лѣтописцевъ, языкъ Слова о Полку Игоревѣ и проч. Другое мнѣніе утверждаетъ, что малорусская народность и языкъ—явленія новыя, что языкъ этотъ выдѣлился изъ русскаго цѣлаго не ранѣе 13—14-го столѣтій, которыя были переходной эпохой въ исторіи цѣлаго русскаго языка; что онъ вообще есть только мѣстное и позднее нарѣчіе. По мнѣнію г. Погодина, рѣзче выразившаго этотъ взглядъ чѣмъ другіе, жители южной Руси въ древности были Великоруссы, которымъ принадлежитъ и характеръ древнерусской исторіи, и древній кіевскій эпосъ о князѣ Владимірѣ—неизвѣстный у нынѣшнихъ Малоруссовъ; происхожденіе малорусской народности и появленіе новаго (будто бы) языка, онъ объяснялъ наконецъ тѣмъ, что нынѣшніе Малоруссы—потомки закарпатскихъ Русиновъ, пришедшихъ изъ-за Карпатъ и занявшихъ земли, опустошенныя татарскимъ нашествіемъ. Относительно языка другіе люди тѣхъ же взглядовъ утверждали, что памятники русскіе до 13—14 вѣка не представляютъ никакихъ признаковъ исконнаго и самобытнаго малороссійскаго нарѣчія; что признаки эти появляются только съ указаннаго періода, и что малорусское нарѣчіе произошло такимъ образомъ въ позднюю сравнительно эпоху, вслѣдствіе обыкновеннаго выдѣленія видовъ языка изъ его рода [1]).

Чѣмъ же рѣшается это противорѣчіе? Изслѣдованій о языкѣ до сихъ поръ сдѣлано еще мало для того, чтобы можно было рѣшить опредѣлительно по памятникамъ вопросъ объ относительной древности малорусскаго нарѣчія, тѣмъ болѣе, что количество древнихъ памятниковъ изъ кіевской эпохи вообще ограниченно, да и въ тѣхъ вліяніе церковнаго языка мѣшало полному обнаруженію народной рѣчи. При всемъ томъ существованіе особой рѣчи и народности очень естественно предположить уже изъ того различія племенъ, которое указывается древнѣйшей лѣтописью (Поляне, Древляне, Уличи, Тиверцы, Сѣверяне) и которое легко могло представлять и различіе мѣстныхъ нарѣчій. Съ другой стороны, современное различіе южнаго русскаго отъ сѣвернаго, далеко превосходящее объемомъ отличія всѣхъ другихъ мѣстныхъ нарѣчій русскаго языка, дѣлаетъ изъ малорусскаго нарѣчія столько же отдѣльную единицу, какъ другія значительныя

[1]) Всю полемику объ этихъ предметахъ, веденную Максимовичемъ, Погодинымъ Срезневскимъ, Лавровскимъ и пр. см. въ „Исторіи русск. языка" г. Срезневскаго, въ Р. Бесѣдѣ, Журналѣ М. Нар. Просв. и Основѣ, а потомъ въ „Моск. Вѣдомостяхъ".

нарѣчія славянскаго языка (что находятъ и серьезные славянскіе филологи), и слѣдовательно допускаетъ заключать о давнемъ отдѣленіи этой вѣтви изъ первобытнаго общаго русскаго корня. Наконецъ приводятъ и другія историческія основанія въ пользу самобытности южно-русскаго народа въ мѣстахъ, занимаемыхъ имъ въ настоящее время. Это, во первыхъ, географическія названія мѣстностей, не измѣнившіяся съ древняго періода, что́ было бы необходимо, если бы жители были пришельцы 13—14 столѣтія. Далѣе, это — народныя южно-русскія преданья, которыя при всей утратѣ эпоса о Владимірѣ, при всемъ накопленіи новаго народно-поэтическаго матеріала, заслонявшаго старину (въ 15—17-мъ столѣтіяхъ), сохраняютъ ясныя воспоминанія о Царьградѣ, о древнемъ Кіевѣ, объ историческихъ Татарахъ, даже о миѳическихъ событіяхъ, разсказанныхъ древней лѣтописью (преданья о Кирилѣ Кожемякѣ, о бѣлгородской осадѣ и пр.), — что опять заставляетъ предполагать въ нынѣшнихъ Южно-руссахъ тотъ же народъ, которому эти преданья принадлежали въ древности. Далѣе, это — Слово о Полку Игоревѣ, по изслѣдованіямъ ученыхъ, носящее несомнѣнные признаки южно-русскаго характера уже въ 12-мъ столѣтіи и проч. [2]).

Съ этимъ противорѣчіемъ двухъ разныхъ взглядовъ на прошедшее малорусскаго нарѣчія тѣснымъ образомъ связано и другое противорѣчіе, о правахъ отдѣльной малорусской литературы въ настоящее время. Одна сторона, считавшая самый языкъ Украйны мѣстнымъ провинціализмомъ, находила, что существованіе малорусской литературы не только безполезно, но даже и вредно, какъ «сепаратизмъ» и какъ безплодное усиліе искусственно дать мѣстному нарѣчію особую литературу, въ которой народъ не чувствуетъ никакой настоятельной надобности. Другая, опираясь на отдѣльность малороссійской народности, защищала литературу съ общей національной точки зрѣнія и на основаніи практической необходимости, такъ какъ отдѣльная національность имѣетъ право развивать свои отличительныя особенности и такъ какъ русскій языкъ въ книгѣ непонятенъ для огромной массы южно-русскаго народа. Ясно, что здѣсь повторяется то же развитіе національнаго принципа и та же реакція противъ него, какія мы можемъ нерѣдко наблюдать въ современномъ движеніи славянскихъ народностей. Но если въ другихъ мѣстахъ вопросъ этотъ можетъ быть разрѣшенъ довольно просто и стремленія мелкихъ народностей къ отдѣльнымъ литературамъ представляютъ крайнее преувеличеніе національнаго начала, — здѣсь этотъ вопросъ болѣе сложенъ и разъяренные вопли газетчиковъ, кричащихъ объ украинофильствѣ, конечно не могутъ представлять здраваго рѣшенія. Дѣло опредѣлилось бы наклонностями самого народа, которыхъ еще нельзя было до сихъ поръ взвѣсить съ справедливой точностью.

Этнографическія отношенія южной Руси г. Костомаровъ, — признающій

[2]) См. ст. Котляревскаго въ Основѣ 1862, октябрь.

полную древность нарѣчія и народности южной Руси, — изображаетъ слѣдующимъ образомъ.

«Обращаясь къ русской исторіи, можно прослѣдить, какъ недосказанное лѣтописцемъ въ его этнографическомъ очеркѣ о южной Руси, само собой высказало себя въ цѣпи обстоятельствъ, образовавшихъ историческую судьбу южно-русскаго народа. Если первоначальный этнографъ, исчисляя своихъ Полянъ, Древлянъ, Улучей, Волынянъ, Хорватовъ, не далъ имъ всѣмъ одного названія, отдѣльнаго отъ другихъ Славянъ русскаго материка, то имъ его дала вскорѣ исторія. Это названіе — *Русь*, названіе первоначально варяжской горсти, поселившейся среди одной изъ вѣтвей южно-русскаго народа и поглощенной ею вскорѣ. Уже въ 11-мъ вѣкѣ названіе это распространилось на Волынь и на нынѣшнюю Галицію, тогда какъ не переходило еще ни на сѣверо-востокъ, ни къ Кривичамъ, ни къ Новгородцамъ... Въ 12-мъ вѣкѣ, въ землѣ Ростовско-Суздальской, подъ Русью разумѣли вообще юго-западъ нынѣшней Россіи въ собирательномъ смыслѣ. Это названіе... сдѣлалось этнографическимъ названіемъ южно-русскаго народа; мелкія подраздѣленія, которыя исчислилъ лѣтописецъ въ своемъ введеніи, исчезли или отошли на третій планъ, въ тѣнь... Названіе Руси за нынѣшнимъ южно-русскимъ народомъ перешло и къ иностранцамъ. Когда толчокъ, данный вторичнымъ наплывомъ литовскаго племени въ судьбу славянскихъ народовъ всей западной части Русскаго материка, соединилъ ихъ въ одно политическое тѣло и сообщилъ имъ новое соединительное прозвище — *Литва*, это прозвище стало достояніемъ Бѣлорусскаго края и бѣлорусской народности, а южно-русская осталась съ своимъ древнимъ привычнымъ названіемъ Руси.

«Въ 15-мъ вѣкѣ различались на материкѣ нынѣшней Россіи четыре отдѣла восточно-славянскаго міра: Новгородъ, Московія, Литва и Русь: въ 16-мъ и 17-мъ, когда Новгородъ былъ стертъ, — Московія, Литва и Русь. На востокѣ имя Руси принималось какъ принадлежность къ одной общей славянской семьѣ, развѣтвленной и раздробленной на части; на юго-западѣ это было имя вѣтви этой семьи. Суздалецъ, Москвичъ, Смолянинъ — были Русскіе по тѣмъ признакамъ, которые служили органами ихъ соединительности вмѣстѣ: по происхожденію, по вѣрѣ, по книжному языку и соединенной съ нимъ образованности; Кіевлянинъ, Волынецъ, Червоно-руссъ — были Русскіе по своей мѣстности, по особенностямъ своего народнаго, общественнаго и домашняго быта, по нравамъ и обычаямъ; каждый былъ Русскимъ въ тѣхъ отношеніяхъ, въ какихъ восточный Славянинъ былъ не Русскій, но Тверитянинъ, Суздалецъ, Москвичъ. Такъ какъ слитіе земель было дѣло общее, то древнее названіе, употребительное въ старину для обозначенія всей федераціи, сдѣлалось народнымъ и для восточной Руси, коль скоро общія начала поглотили развитіе частныхъ: съ именемъ Руси для нихъ издревле соединялось общее, сравнивающее, соединительное. Когда изъ разныхъ земель составилось

Московское государство, это государство легко назвалось русским, и народъ, его составлявшій, усвоилъ знакомое прежде ему названіе, и отъ признаковъ общихъ перенесъ его на болѣе мѣстные и частные признаки. Имя Русскаго сдѣлалось и для сѣвера и для востока тѣмъ же, чѣмъ съ давнихъ лѣтъ оставалось, какъ исключительное достояніе юго-западнаго народа. Тогда послѣдній остался какъ бы безъ названія; его мѣстное частное имя, употреблявшееся другимъ народомъ только какъ общее, сдѣлалось для послѣдняго тѣмъ, чѣмъ прежде было для перваго. У южно-русскаго народа какъ будто было похищено его прозвище. Роль должна была перемѣниться въ обратномъ видѣ. Такъ какъ въ старину сѣверо-восточная Русь называлась Русью только въ общемъ значеніи, въ своемъ же частномъ имѣла собственныя наименованія, такъ теперь южно-русскій народъ могъ назваться Русскимъ въ общемъ смыслѣ, но въ частномъ, своенародномъ, долженъ былъ найдти себѣ другое названіе. На западѣ, въ Червоной Руси, гдѣ онъ сталъ въ сопротивленіе съ чуждыми народностями, естественно было удержать ему древнее названіе въ частномъ значеніи, и такъ Галицкій Червоно-руссъ остался Русскимъ, Русиномъ, ибо имѣлъ столкновеніе съ Поляками, Нѣмцами, Уграми; въ его частной народности ярче всего высказывались черты, составлявшія признаки общей русской народности... Но тамъ, гдѣ та же народность столкнулась съ сѣверною и восточно-русскою, тамъ названіе Русскаго, по отношенію къ частности, не имѣло смысла, ибо Южно-руссу не предстояло охранять тѣхъ общихъ признаковъ своего бытія, которые не разнили, а соединяли его съ народомъ, усвоивавшимъ имя русское. Тутъ названіе Русскаго необходимо должно было замѣниться такимъ, которое бы означало признаки различія отъ Восточной Руси, а не сходства съ нею. Этихъ народныхъ названій являлось много, и, правду сказать, ни одного не было вполнѣ удовлетворительнаго, можетъ быть потому, что сознаніе своенародности не вполнѣ выработывалось. Въ 17-мъ вѣкѣ являлись названія: *Украина*, *Малороссія*, *Гетманщина*, — названія эти невольно сдѣлались теперь архаизмами, ибо ни то, ни другое, ни третье не обнимало сферы всего народа, а означало только мѣстныя и временныя явленія его исторіи. Выдуманное въ послѣднее время названіе *Южно-руссовъ* остается пока книжнымъ, если не навсегда останется такимъ» [3]).

Мы не можемъ пускаться въ подробности исторической судьбы южнорусскаго нарѣчія и его литературныхъ памятниковъ потому уже, что, какъ мы сказали, они мало до сихъ поръ изслѣдованы и свѣдѣнія не собраны въ ясный систематическій порядокъ. Вслѣдствіе указаннаго нами основнаго разногласія двухъ сторонъ о южной Руси, древнѣйшіе памятники русской письменности остаются предметомъ спора между защитниками двухъ нарѣчій: не только Слово о Полку Игоревѣ, но лѣтопись Нестора и другія произ-

[3]) Историч. Монографіи, 1, стр. 229 — 233.

веденія русской старины одними считаются за памятники русскіе, той формы древняго русскаго языка, которой нельзя приписывать специфически малорусскаго свойства, — другими за памятники вполнѣ южные съ южно-русскимъ языкомъ и народностью. Извѣстно наконецъ, что на нихъ изъявили свои притязанія и историки польской литературы, которымъ кіевскіе Поляне казались Поляками (Вишневскій и др.), — притязанія, конечно лишенныя критическихъ основаній. Мы выше уже согласились, что южное населеніе древней Руси имѣло свои національныя отличія, поэтому находимъ возможнымъ называть упомянутые памятники южно-русскими, если они по своему происхожденію принадлежатъ древнему Кіеву, Волыни и проч.; но мы прибавляемъ къ этому, что историческая связь обѣихъ главныхъ частей Руси въ тѣ времена не даетъ, по нашему мнѣнію, возможности провести рѣзкую черту между литературными фактами сѣвера или юга въ періодъ 10—13-го столѣтій. Точно также, какъ древній эпосъ, — и именно въ тѣхъ чертахъ, какія придаетъ ему *кіевская* обстановка [4]), — цѣльнѣе сохранился на сѣверѣ, гдѣ онъ былъ извѣстенъ какъ общее русское преданье; и литературные факты южной Руси, по происхожденію южно-русскіе, одинаково принадлежали и сѣверу, гдѣ отъ этихъ фактовъ — лѣтописи Нестора, духовныхъ писателей, даже Слова о Полку Игоревѣ—велась послѣдовательно уже своя, великорусская или сѣверная традиція. Сѣверъ всегда зналъ Нестора, Θеодосія, Иларіона и вообще всѣ памятники старо-славянской литературы, появлявшіеся сначала въ южной Руси, которые потомъ забылись на югѣ или совершенно, благодаря новымъ книжнымъ вліяніямъ, или помнились далеко не съ той отчетливостью, какъ на сѣверѣ. Слово о Полку Игоревѣ нашло подражателя въ авторѣ «Задонщины» —сказанія уже чисто московскаго. Провести въ этомъ отношеніи исключительную границу становится невозможнымъ.

Это явленіе, т. е. забвеніе югомъ собственныхъ національныхъ и литературныхъ преданій и переходъ ихъ на сѣверъ (или вѣрнѣе, сохраненіе ихъ близко-родственнымъ сѣверомъ) имѣютъ свое достаточное объясненіе въ исторической судьбѣ южно-русскаго племени. При всѣхъ народныхъ особенностяхъ, заставлявшихъ древняго лѣтописца отличать и на югѣ, и на сѣверѣ столько отдѣльныхъ племенъ, при всей давности и полной физической естественности національныхъ отличій юга отъ сѣвера, заставляющей новыхъ этнографовъ принимать здѣсь положительно «двѣ народности»,— между ними было слишкомъ много общаго не только по общему родству и сходству, которыя въ древности гораздо ближе, чѣмъ теперь, соединяли

[4]) Дѣлаемъ это замѣчаніе, имѣя въ виду мнѣнія тѣхъ, которые полагаютъ, что извѣстность южнаго эпоса на сѣверѣ объясняется тѣмъ обстоятельствомъ, что этотъ эпосъ есть до-историческій эпосъ, общій цѣлому племени и болѣе древній, чѣмъ князь Владиміръ. Это можетъ быть вѣрно относительно общихъ эпическихъ основаній, но тѣмъ не менѣе форма эпоса кіевская. Другими словами, переходъ эпоса отъ миθологическаго содержанія къ историческому, совершился еще въ кіевскій періодъ.

разныя славянскія племена, но и по тѣснымъ политическимъ и религіознымъ связямъ, которыя дѣлали тогда изъ русской земли одну связную политическую федерацію (или удѣльную систему—все равно) и соединяли ее подъ одинъ религіозный, византійскій порядокъ. Въ періодъ до-татарскій эта родственность и внѣшняя связь была по крайней мѣрѣ достаточна для того, чтобы разныя племена могли соединяться въ одной общей письменности и въ общихъ національныхъ преданьяхъ.

Впослѣдствіи это становится иначе, и измѣненіе въ судьбѣ народности соединяется съ измѣненіемъ въ политическомъ положеніи и общественныхъ отношеніяхъ южной Руси. Первоначальное политическое и общественное устройство южной Руси представляло общія національныя черты цѣлаго русскаго племени. Приходъ Варяговъ если и не имѣлъ вліянія на самую народность, т. е. языкъ, національныя преданья, обычаи и пр., то онъ имѣлъ несомнѣнно вліяніе соціальное, отдѣливъ дружину въ привиллегированное сословіе: потомство князей и дружина положили начало боярству, сосредоточенію собственности и постепенному стѣсненію самого народа. Это были черты, общія въ до-татарскій періодъ сѣверу и югу. Татарское нашествіе прерываетъ на югѣ это общерусское развитіе: Монголы не измѣняли правда общественнаго устройства, но разоренная и обезлюдѣвшая страна ослабѣла и скоро подчинилась литовскому завоеванію. Въ составѣ княжества Литовскаго боярская аристократія еще больше отдѣлилась отъ народной массы, но русская народность (южной Руси и Бѣлоруссіи) не потеряла своего значенія: извѣстно, напротивъ, что въ началѣ она удерживалась не только въ народѣ, но и въ высшемъ классѣ и черезъ него передавалась литовской аристократіи и даже княжескому дому. Русская народность, въ двухъ оттѣнкахъ, стала господствующей народностью Литовскаго княжества, не только по своей большей численности, но и по нравственному вліянію. Но затѣмъ начинается польское вліяніе и наконецъ происходитъ окончательное соединеніе съ Польшей. Одна часть южнорусскаго народа была покорена Польшей въ концѣ 14-го вѣка; другая, принадлежавшая княжеству Литовскому, хотя и оставалась русской въ массѣ, но уже начала испытывать вліяніе польскихъ нравовъ и образованности, потому что уже въ 15-мъ столѣтіи, князья литовскіе были королями польскими и раздачей аристократическихъ привиллегій привязывали русское дворянство къ польскимъ порядкамъ. Въ первое время и даже послѣ формальнаго соединенія русское дворянство еще продолжаетъ стоять за интересы народности и религіи, но мало по малу дѣйствіе польскаго устройства, разсчитаннаго для выгодъ аристократіи, почти совершенно овладѣло русской шляхтой, желавшей съ своей стороны воспользоваться этими выгодами. Это еще больше отдалило высшіе классы отъ народа, безправіе и угнетеніе котораго увеличивались все больше и больше. Польская образованность, нравы, обычаи, религія и наконецъ языкъ стали переходить и къ русскому дворянству; католичество стало находить въ немъ усердныхъ прозелитовъ. Перемѣна языка и религіи совершенно раздѣлили народъ и шляхетство на два противопо-

ложные и наконецъ враждебные лагеря. Это вліяніе польской народности было уже весьма явно въ 17-мъ столѣтіи и въ отдаленныхъ краяхъ южно-русской земли, когда замѣчаетъ о немъ Бопланъ, въ своемъ Описаніи Украйны: оно началось конечно гораздо раньше и продолжалось потомъ очень долго, до самаго 19-го столѣтія... Народная масса была осуждена на бездѣйствіе и молчаніе; она лишена была правъ, и народно-общественныхъ, а потомъ и религіозныхъ, и наконецъ заявила свой протестъ тѣми возстаніями, которыя начинаются въ концѣ 16-го столѣтія, и въ 17-мъ, при Хмельницкомъ, оканчиваются соединеніемъ съ Россіей. Заднѣпровская Украйна оставалась еще польской и отношенія продолжались тѣ же: во второй половинѣ 18-го вѣка такъ называемая «Коліивщина» напомнила старыя козацкія войны и показала, что въ угнетенной массѣ продолжало жить чувство прежней народной независимости. Только освобожденіе крестьянъ развязало тотъ узелъ, который такъ неловко связалъ народныя и общественныя отношенія южной Руси относительно Польши... Не такъ натянуты, но все таки стѣснительны были отношенія малорусской народности и въ той части, которая соединилась съ Москвою. Непосредственно съ присоединеніемъ началось русское вліяніе, которое подчиняло Малороссію своимъ порядкамъ, правамъ, образованію и проч. Съ Петра начали вводиться нѣмецкіе порядки; въ 18-мъ столѣтіи крѣпостное право ложится даже на свободное населеніе Украйны. Высшіе классы принимаютъ русское образованіе и русскій языкъ, что по прежнему не давало возможности широкаго развитія въ національномъ смыслѣ.

Такими невыгодными условіями обставлено было положеніе собственно народа. Съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ татарское нашествіе прервало его прежнюю исторію, онъ окруженъ былъ обстоятельствами, которыя всего менѣе могли способствовать его правильному и дѣятельному развитію въ національномъ смыслѣ. Высшій классъ, наиболѣе снабженный средствами образованія, рано началъ терять свою народность; съ другой стороны и школа, какъ мы увидимъ дальше, устроенная по иноземнымъ схоластическимъ образцамъ, давала только условную образованность, опять забывавшую о народныхъ потребностяхъ и о народномъ языкѣ. Слѣдствіемъ было то, что подлинная южно-русская народность не имѣла въ сущности своего литературнаго выраженія до того самаго времени, когда на Украйнѣ отозвалось общее возрожденіе славянства въ 19-мъ столѣтіи.

Мы уже говорили о характерѣ древнихъ памятниковъ, составляющихъ общее достояніе сѣвернаго и южнаго русскихъ племенъ. Слѣды того нарѣчія, которое называютъ теперь южно-русскимъ, въ нихъ конечно не могли быть такъ ясны, какъ можно было бы предполагать по его нынѣшней формѣ. Въ большемъ числѣ случаевъ, гдѣ сквозь старо-славянскій текстъ церковныхъ книгъ пробивалось мѣстное нарѣчіе, или въ языкѣ лѣтописей и т. п. памятниковъ южной письменности, эти слѣды бываютъ обоюдные: тѣмъ не менѣе Шафарикъ видитъ слѣды южно-русскихъ формъ уже въ извѣстныхъ сборникахъ 1073 и 1076 года, въ евангеліи 1143 и проч.

Позднѣе, эти признаки носятъ уже несомнѣнно южно-русскій характеръ: таковы Луцкое евангеліе 14-го вѣка (Рум. Муз. № 112), рукопись Ефрема Сирина 1370 г., акты того же стараго времени и множество болѣе позднихъ рукописей, между прочимъ списанныхъ южно-русскими писцами съ старо-славянскихъ оригиналовъ. Смутное время 13-го, 14-го и 15-го столѣтій не дало южной Руси возможности пріобрѣсти самостоятельную литературу; она ограничивалась старымъ церковнымъ содержаніемъ и народное нарѣчіе оставалось нетронутымъ, внѣ литературной обработки. Съ 15-го столѣтія дѣятельность русскаго племени въ предѣлахъ княжества Литовскаго перешла на западъ, и господствующимъ языкомъ книги стало нарѣчіе западно-русское (польско-русское, бѣлорусское)—странный языкъ, соединявшій въ себѣ общую русскую основу съ оттѣнками старо-славянскаго, польскаго, южнаго и собственно бѣлорусскаго.

Западно-русское нарѣчіе долго играло свою господствующую роль. Мы уже замѣтили, что русское племя представляло наибольшую массу населенія княжества Литовскаго; его языкъ, не смотря на связи съ Польшей, долго оставался языкомъ высшаго класса и княжеско-литовскаго двора, и понятно, что онъ могъ стать не только языкомъ церковной книги, но и языкомъ оффиціальнымъ. На этомъ языкѣ писана была цѣлая масса оффиціальныхъ документовъ и грамотъ (изд. І. Григоровича, Оболенскаго, Арх. Коммиссіи и т. д.) и цѣлыхъ законодательныхъ памятниковъ, какъ статутъ Казиміра Ягеллона, Статутъ Литовскій и т. д. Общественныя и религіозныя отношенія русскаго народа въ Литовскомъ княжествѣ дали этому нарѣчію значительное литературное распространеніе: католическая пропаганда, впослѣдствіи особенно проводимая іезуитами, пробудила въ русской народности чувство самосохраненія, и противодѣйствіе ея обнаружилось цѣлой религіозной литературой. Оппозиція держалась даже людьми высшей аристократіи, какъ знаменитый князь Константинъ Острожскій, даже людьми чисто-московскими, какъ князь Курбскій: оружіемъ ея былъ старо-славянскій языкъ библіи и церковныхъ книгъ, и отчасти уже выработавшійся тогда книжный великорусскій стиль. Но большая часть этой литературы говорила тѣмъ западно-русскимъ нарѣчіемъ, которое тогда отразило въ себѣ смѣсь элементовъ, жившихъ въ Литовской Руси и особенно польское вліяніе. Западное нарѣчіе получило свой переводъ библіи трудами извѣстнаго доктора Франциска Скорины, и представляетъ затѣмъ много другихъ книгъ, переводовъ отцовъ церкви, полемическихъ сочиненій; старо-славянскія книги, напр., богослужебныя, печатанныя въ западно-русскихъ типографіяхъ, снабжались бѣлорусскими предисловіями, дополненіями и объясненіями. Школы, основанныя защитниками православія, приняли тотъ же латинско-схоластическій характеръ, какимъ отличались школы католическія: оттого на нихъ такъ недовѣрчиво и смотрѣло потомъ московское православіе, напр. въ дѣлѣ Кирилла Транквилліона, Лаврентія Зизанія и пр., чему способствовала и унія, возбуждавшая крайнюю подозрительность

въ Москвѣ. Школы основались затѣмъ и на югѣ, въ томъ же видѣ и съ тѣмъ же богословскимъ и научнымъ содержаніемъ. Мы не станемъ разсказывать подробностей о судьбѣ этой юго-западной образованности, которая обыкновенно занимаетъ мѣсто въ исторіи русской литературы по тому вліянію, какое западные русскіе ученые и кіевская академія оказали на Москву и на русское образованіе во второй половинѣ 17-го и началѣ 18-го вѣка. Мы предполагаемъ болѣе или менѣе извѣстными имена Константина Острожскаго, Курбскаго, Петра Могилы, Галятовскаго, Барановича, Иннокентія Гизеля, Епифанія Славинецкаго, Симеона Полоцкаго и т. д. Вся эта литература составляетъ особенную группу, которая, начавшись въ западной Руси, стала въ связь съ Москвою, и съ кіевской академіей утвердилась и на малороссійской почвѣ. Это была по преимуществу борьба за православіе оружіемъ схоластической учености, перенятой у его противниковъ. Схоластика пустила съ тѣхъ поръ крѣпкіе корни въ кіевской академіи, потомъ въ московской и черезъ нее въ цѣлой системѣ русскаго духовнаго образованія, вышедшей изъ Кіева. Вмѣстѣ съ схоластической теологіей здѣсь началась и схоластическая литература, перенятая изъ латинизированой литературы польскихъ школъ. Такова была напримѣръ драма, выроставшая изъ мистерій, и цѣлая реторическая поэзія, ограниченная сплетеніемъ духовныхъ и торжественныхъ силлабическихъ виршей. Это стихотворство было конечно далеко отъ поэзіи и отъ народности. Въ содержаніи его попадались иной разъ и предметы, даже очень близкіе народному сознанію,—какъ напр. въ «Плачѣ Россійскомъ», — но выраженіе было крайне безжизненно и книжно. Семинарская схоластика не умѣла поэтически выразить даже патріотическаго чувства [5]).

Собственно южная Русь, какъ мы замѣтили, имѣла много своихъ представителей въ этой книжной дѣятельности, но народный языкъ остался въ сторонѣ, потому что въ книгѣ его заглушали церковные, западные, польскіе и латинскіе элементы.

Литература имѣла мало и самобытнаго содержанія. Вмѣстѣ съ формами чужаго схоластическаго образованія, она перенимала и литературные сюжеты. Самобытное ограничилось едва ли не одними лѣтописями, сохранившими память о событіяхъ Украинской борьбы съ Польшей. Затѣмъ все, вышедшее изъ школы, носило на себѣ черты богословской схоластики, заимствованной изъ латинскихъ образцовъ, или было подражаніемъ польской литературѣ. Путемъ этого юго-западнаго посредничества польская литература пріобрѣтаетъ въ 17-мъ столѣтіи большое вліяніе на русскую, которая заимствовала отъ нея первые примѣры европейскихъ литературныхъ формъ. Вторая половина 17-го столѣтія въ особенности представляетъ цѣлую массу подобныхъ произведеній, — силлабическихъ виршъ, мистерій и другихъ драматическихъ пьесъ, романовъ, повѣстей и шуточ-

[5]) См. напр. этотъ „Плачъ“ въ Основѣ 1861, май, стр. 47—48.

ныхъ разсказовъ. Представители юго-западной учености дѣйствуютъ наконецъ лично въ Москвѣ, какъ Епифаній Славинецкій, Симеонъ Полоцкій и т. д., и юго-западная Русь пріобрѣтаетъ литературную связь съ великорусской Москвой. Вліяніе кіевской академіи продолжается въ томъ же смыслѣ и въ 18-мъ столѣтіи, но теперь уступаетъ уже тѣмъ новымъ чертамъ образованности, которыя являются съ реформой. Народное южное нарѣчіе подчиняется снова — русскій литературный языкъ пріобрѣтаетъ мало по малу полное господство въ книгѣ.

Такова была въ общихъ чертахъ исторія южно-русскаго нарѣчія, сначала имѣвшаго съ сѣвернымъ одну общую литературу; потомъ, отдѣльно отъ него, испытавшаго чужія вліянія и передававшаго ему эти вліянія въ концѣ 17-го и началѣ 18-го столѣтія; наконецъ подчинившагося ему въ новомъ историческомъ періодѣ русскаго господства и реформы. Народный языкъ, вообще говоря, оставался внѣ литературнаго движенія, гдѣ онъ высказывался только частно и случайно; рѣдко заносимый въ книгу, онъ продолжалъ однако свое развитіе въ устахъ народа, и наконецъ, когда явилась мысль о его собственномъ правѣ на участіе въ литературѣ, разница между нимъ и господствовавшимъ въ книгѣ русскимъ языкомъ была уже такъ велика, что литературное единство показалось невозможнымъ. Для него требовалась уже особая литература.... Размѣры отличій южнаго языка отъ сѣвернаго и его литературной формы заставляли наконецъ думать объ исконномъ различіи и независимости двухъ нарѣчій. Эту разницу можно объяснить себѣ изъ общихъ условій исторіи языковъ: разница, хотя и необширная, сѣвера съ югомъ существовала безъ сомнѣнія уже въ кіевскій періодъ, затѣмъ южное племя въ теченіи нѣсколькихъ столѣтій имѣло свою отдѣльную своеобразную жизнь, испытывало совершенно особыя историческія, культурныя и естественныя вліянія, — и тѣ впечатлѣнія, которыя оставались отъ всѣхъ этихъ вліяній на народномъ языкѣ, достаточно объясняютъ развитіе его первоначально близкихъ формъ въ настоящія отдаленныя отъ великорусскаго формы.

Реформа Петра дѣйствовала и въ южной Руси со всѣми тѣми свойствами, какими она вообще отражалась въ литературѣ, школьномъ образованіи, общественномъ устройствѣ и правахъ. Извѣстно, какимъ образомъ Малороссія теряла подъ этимъ русскимъ вліяніемъ отдѣльныя черты своего быта, какихъ она имѣла еще много во время присоединенія: паденіе гетманскаго управленія и введеніе крѣпостнаго права, даже между свободнымъ козачествомъ, въ теченіе 18-го вѣка весьма рѣзкимъ образомъ разрушали тѣнь ея автономіи. Съ тѣхъ поръ Малороссіи представлялась одна перспектива: все больше и больше превращаться въ русскую провинцію, принимать русскіе нравы, языкъ, образованіе и русскую литературу. Съ 18-го столѣтія Малороссія уже дала многихъ писателей этой литературѣ, языкъ ея сталъ мѣстнымъ жаргономъ; правда, онъ оставался цѣлъ не только въ народѣ, но въ среднемъ и мелкомъ дворянствѣ, но ему повидимому уже

не предстояло литературной будущности. Для образованнаго класса болѣе широкія литературныя стремленія были теперь возможны только на русскомъ языкѣ: Богдановичъ, Капнистъ, Гнѣдичъ, Нарѣжный, малоруссы по происхожденію, не вносятъ въ свою дѣятельность ничего малороссійскаго. Гоголь сохранилъ малороссійскія симпатіи, но по широтѣ своихъ поэтическихъ замысловъ могъ быть только русскимъ писателемъ; малорусское нарѣчіе не давало ему достаточнаго поприща.

Такимъ образомъ малороссійское нарѣчіе повидимому окончательно теряло всякую будущность. — Но въ эпоху новаго славянскаго возрожденія эта будущность открылась и для него.

Если и прежде малороссійскій отдѣлъ русской народности не создалъ никакой самобытной народной литературы, то въ 18-мъ вѣкѣ, при сильномъ русскомъ вліяніи, это было еще труднѣе. 18-е столѣтіе было для него временемъ постепеннаго упадка. Отъ начала и до конца его историки малорусской литературы едва выставляютъ два-три имени, но и въ тѣхъ нѣтъ ничего существенно важнаго. Таковъ былъ въ началѣ 18-го вѣка Климентій Зѣновіевъ, повидимому не совсѣмъ доученый и не совсѣмъ монастырски строгій, іеромонахъ временъ Мазепы. Рукопись его силлабическихъ виршей, открытая не такъ давно Шишацкимъ-Иличемъ, представляетъ большой сборникъ стихотвореній въ томъ же схоластическомъ вкусѣ, какой господствовалъ въ 17-мъ столѣтіи. Климентій начинаетъ философскими разсужденіями о правдѣ, о болѣзняхъ, о божіемъ долготерпѣніи, объ именахъ божіихъ, о смерти, но затѣмъ онъ пускается въ изображеніе и обличеніе дѣйствительной жизни, говоритъ о бытѣ разныхъ классовъ общества, о разнаго рода ремесленникахъ, козакахъ и мужикахъ, монастыряхъ и церквахъ, о писаніи и письменныхъ людяхъ, наконецъ даже «о женахъ, рождающихъ дѣти въ скорий часъ по принятю шлюбномъ и по брацѣ въ килько дний минувшихъ, а не въ рокъ», и «о дѣвицахъ, дѣти рождающихъ» и т. д. Такимъ образомъ, по содержанію, стихотворенія Климентія представляютъ пожалуй не безъинтересный матеріалъ о малороссійской жизни того времени. Очевидно, это былъ человѣкъ бывалый и много видѣвшій, но его точка зрѣнія очень не высока, нравственныя понятія не совсѣмъ тверды и онъ нерѣдко противорѣчитъ себѣ въ своихъ похвалахъ и осужденіяхъ. Онъ то проповѣдуетъ строгія правила морали, то оправдываетъ вещи весьма непохвальныя и циническія; но вообще это поклонникъ высшаго господствующаго сословія, и, осуждая пороки другихъ сословій, противъ него онъ не осмѣливается направить своей сатиры. Въ поэтическомъ отношеніи стихотворенія Климентія совершенно ничтожны; это — простой механическій сборъ сухихъ школьныхъ описаній съ собственными нравоучительными сентенціями. Малорусскій языкъ его изуродованъ силлабическимъ стихомъ и примѣсью польскаго и церковно-славянскаго [6]). Такъ какъ до сихъ поръ

[6]) Обширные отрывки изъ его книги приведены въ статьяхъ г. Кулиша, Русск. Бесѣда 1859 и Основа 1861, январь.

нашлась только одна рукопись этихъ стихотвореній, то можно думать, что Климентій и не заинтересовалъ ими своихъ соотечественниковъ.

Въ стихотвореніяхъ Климентія, какъ онѣ ни лишены поэзіи, довольно наглядно отражается внутреннее состояніе Малороссіи въ первое время по присоединеніи и положеніе народа и народности, которые, избавившись отъ прежняго врага, не избавились однако отъ гнета и стѣсненія. Народъ, освободившій родину, остался въ рабствѣ у высшаго сословія, которое, забывая о народѣ, думало только о собственномъ интересѣ; народность болѣе и болѣе уступала превозмогающему вліянію Москвы и Петербурга. Малороссія теряла окончательно мѣстную автономію и въ управленіи, и въ общественной жизни, и русскіе обычаи, языкъ, образованіе и литература замѣняли мало по малу малороссійскую старину, сначала конечно въ высшихъ классахъ, а за ними и въ другихъ сословіяхъ. Отличительныя черты малорусскаго характера, обычаевъ, языка, поэзіи хранились неизмѣнно только въ собственномъ народѣ, т. е. низшемъ классѣ, но этотъ классъ не имѣлъ голоса въ общественной и въ оффиціальной жизни, и вмѣстѣ съ нимъ малорусскій элементъ по необходимости становился на заднемъ планѣ. Простой народъ, презираемый во времена польскаго владычества, и теперь въ сущности стоялъ на той же ступени общественнаго права. Климентій, ученый грамотѣй, находилъ, что «письменному» человѣку имѣть дѣло съ простымъ, все равно, что трезвому съ пьянымъ:

„Бо въ про́стого мужика́ простий есть обичай,
а въ письме́нного осо́бний, политичний, звичай.“

«Этотъ политичный звычай, — замѣчаетъ г. Кулишъ, — развиваясь по началамъ мазепинской аристократіи, естественно долженъ былъ дойдти до полнаго отчужденія отъ всего, что связываетъ любовно одно сословіе съ другимъ». Общество отдѣлилось отъ народа и смотрѣло на него какъ на что-то чужое и низшее, хотя въ то же время и само не далеко ушло отъ него въ нравственномъ развитіи. Народное самосознаніе крайне упало въ одномъ слоѣ, и совершенно бездѣйствовало въ другомъ.

Этимъ объясняется, почему въ этомъ обществѣ могъ играть замѣтную роль и даже получить извѣстное историческое значеніе такой странный человѣкъ, каковъ былъ Сковорода. Его дѣятельность и сочиненія показываютъ въ немъ столько свойствъ семинарскаго схоластика и юродиваго проповѣдника, что многимъ до сихъ поръ мудрено видѣть въ немъ что нибудь кромѣ этого юродства и схоластики, — между тѣмъ, съ другой стороны малороссійскіе патріоты не сомнѣваются приписывать ему положительныя достоинства мудреца и народнаго дѣятеля, имѣющаго несомнѣнное мѣсто въ исторіи общественнаго развитія.

Сковорода, Григорій Савичъ, род. въ кіевскомъ намѣстничествѣ въ 1722 г., †1794. Отецъ его былъ простой козакъ; Сковорода учился въ кіевской академіи, попалъ здѣсь въ число малороссійскихъ пѣвчихъ, от-

правлявшихся тогда въ придворную капеллу въ Петербургъ, возвратился потомъ на родину, изъ любознательности отправился путешествовать по Европѣ, гдѣ онъ странствовалъ (пѣшкомъ) въ Польшѣ, Германіи и Италіи. Воротившись домой, онъ велъ жизнь странника; большей частью проживалъ у пріятелей и знакомыхъ и отказывался отъ всякихъ оффиціальныхъ мѣстъ, которыя стѣсняли его нравъ, привыкшій къ простой, ничѣмъ не связанной жизни и любви къ природѣ. Въ академіи и въ своихъ путешествіяхъ Сковорода набрался свѣдѣній, которыя казались обширны его современникамъ и главнымъ образомъ состояли въ знаніи языковъ и въ туманной мистической теософіи и морали. Сковорода пренебрегалъ всякой внѣшностью и комфортомъ, жилъ крайне бѣдно и мало по малу сталъ бродячимъ философомъ и пріобрѣлъ большую популярность по всей Малороссіи. Онъ былъ наконецъ и писателемъ. Сочиненія его, подъ разными вычурными заглавіями, состояли всего чаще изъ мистическихъ нравоученій, писанныхъ большею частью схоластически-изукрашеннымъ и часто уродливымъ языкомъ. Его басни, «симфоніи», «діалоги», ходили по рукамъ друзей и знакомыхъ; его стихотворенія и пѣсни разошлись даже и въ народѣ черезъ слѣпцовъ и бандуристовъ. Подъ конецъ имя его стало знаменито по всей Украйнѣ: для однихъ это былъ глубокій философъ и мудрецъ, для другихъ просто чудакъ и даже юродивый; на дѣлѣ это былъ сухой и самолюбивый мистикъ, въ своемъ родѣ педантъ, принявшій наставническій тонъ съ окружающими, которые конечно были ему по силамъ. На массу онъ производилъ впечатлѣніе своимъ добровольно наложеннымъ аскетизмомъ, — весьма чуждымъ впрочемъ аскетизму оффиціальному — и своей нравственной проповѣдью. Если говорить безотносительно, — значеніе его конечно существенно уменьшается; но малорусскіе патріоты ставятъ его въ ряду своихъ общественныхъ дѣятелей, вмѣстѣ съ Каразинымъ, Котляревскимъ и Квиткой. Они опредѣляютъ его значеніе такимъ образомъ: «Сковорода составляетъ переходъ отъ міра былой козацкой вольницы, на его глазахъ уничтоженной однимъ взмахомъ пера Екатерины II-й, къ міру государственному, къ міру науки, литературы и искусствъ. Сынъ приходскаго священника, онъ бросаетъ схоластическую академію для странствованія за границей. Голышъ и бѣднякъ, бросаетъ онъ потомъ въ Переяславѣ, въ Харьковѣ и въ Москвѣ удобства профессорства для свободной и бродячей жизни независимаго мыслителя. Съ этой точки зрѣнія онъ, современникъ Сѣчи и хаоса новаго общества, современникъ Гаркуши и былой неурядицы на Украйнѣ, достоинъ полной признательности [7])».

Ему приписываютъ и черты чисто демократическія — возвеличеніе народа въ томъ смыслѣ, какъ оно проповѣдуется теперь; но трудно сказать, чтобы это было проведено у него опредѣлительно; народная сила для него еще не вполнѣ ясна, по крайней мѣрѣ очень не ясно указана. Главнымъ

[7]) Основа 1862, сентябрь, стр. 70.

образомъ пропаганда его была мистически-религіозная и нравственная, заходившая даже дальше предѣловъ возможныхъ въ малороссійской жизни: онъ берется за философскіе вопросы, обличаетъ по своему матеріалистовъ и т. п.

Сочиненія его не были собственно малорусскія, но отчасти онѣ были вызываемы и малороссійской дѣйствительностью и мѣстное нарѣчіе отчасти нашло въ нихъ мѣсто. Поэтому Сковорода можетъ быть названъ на ряду съ малорусскими писателями. Напечатаны далеко не всѣ сочиненія Сковороды: «Библіотека духовная» Спб. 1798, 3 ч., изд. М. Антоновскимъ безъ имени автора; «Начальная дверь къ христіанскому добронравію» въ Сіонскомъ Вѣстникѣ 1806; «Убогій Жайворонокъ», притча, М. 1837; «Басни Харьковскія», М. 1837; «Брань архистратига Михаила съ Сатаною», М. 1839; «Сочиненія въ стихахъ, Г. С. Сковороды», Спб. 1860 и др. Остается кромѣ того много другихъ ненапечатанныхъ сочиненій, съ такими же ухищренными заглавіями, мистической моралью и уродливымъ языкомъ [8].

Такимъ образомъ во внѣшности, да и во внутреннемъ характерѣ писаній Сковороды оказывается весьма мало малорусско-народнаго, хотя это былъ человѣкъ, постоянно жившій въ народной обстановкѣ. Популярнымъ сдѣлала его внѣшняя манера, привлекательная для толпы своей оригинальностью и удивлявшая ее аскетической моралью, и затѣмъ крайній недостатокъ въ лучшемъ матеріалѣ для удовлетворенія нравственныхъ потребностей. Въ немъ еще нѣтъ элементовъ позднѣйшаго развитія «народности».

Строгіе послѣдователи народнаго принципа не признаютъ этого последняго качества и въ томъ писателѣ, которымъ собственно начинается новая малороссійская литература, — въ Котляревскомъ. Иванъ Петровичъ Котляревскій (род. 1769, † 29 окт. 1838) происходилъ изъ дворянскаго малороссійскаго рода, впрочемъ бѣднаго, учился въ полтавской семинаріи, гдѣ уже прослылъ риѳмачемъ, былъ потомъ домашнимъ учителемъ, служилъ въ гражданской и военной службѣ, назначенъ былъ наконецъ надзирателемъ полтавскаго дома воспитанія дѣтей бѣдныхъ дворянъ. Онъ рано сталъ интересоваться народнымъ языкомъ, нравами и обычаями, и дѣйствительно пріобрѣлъ знаніе малороссійскаго быта, которымъ воспользовался въ своихъ произведеніяхъ. Свои литературныя попытки онъ началъ знаменитой *Енеидой* (Енеида, на малороссійскій языкъ перелицiованная, 3 ч. Спб. 1798; потомъ 1808; 1809, 4 ч; Харьковъ 1842, 6 ч.); другими не менѣе извѣстными произведеніями его были пьесы: *Наталка-Полтавка* и *Москаль-Чаривникъ*. Сочиненія Котляревскаго пользовались въ свое время огромной популярностью, которая сохраняется въ извѣстной степени и до сихъ поръ: это былъ первый писатель, заговорившій настоящимъ малороссійскимъ языкомъ; въ его поэмѣ было столько веселой шутки, что она и послѣ надолго осталась любимымъ чтеніемъ грамотнаго люда — стихи ея запоминались и обращались въ пословицы. Котляревскій имѣетъ несомнѣн-

[8]) Основа 1862, августъ, стр. 1—39; сентябрь, стр. 39—96; также 1861, іюль.

ное историческое значеніе по тому впечатлѣнію, которое онъ произвелъ въ свое время; но малороссійскіе критики сильно расходятся въ своихъ взглядахъ на смыслъ его дѣятельности. Въ то время какъ одни считаютъ съ него начало самобытно-малороссійской литературы въ народномъ направленіи, первую попытку національнаго возрожденія, болѣе строгіе ревнители народнаго принципа находятъ въ его сочиненіяхъ только «органъ презрительнаго взгляда на простонародье и на все, во что оно простодушно вѣруетъ и чѣмъ держится въ своей здоровой нравственности... Въ его перелицованной Енеидѣ собрано все, что только могли найдти паны каррикатурнаго, смѣшнаго, нелѣпаго въ худшихъ образчикахъ простолюдина... Уже самая мысль написать пародію на языкѣ своего народа показываетъ отсутствіе уваженія къ этому языку... Тотъ вѣкъ вообще былъ послѣднею пробою малороссійской народности, которая упала мало по малу до безсознательнаго состоянія; но ни что не подвергло ее столь опасному испытанію, какъ пародія Котляревскаго». Вообще «Котляревскій былъ вѣренъ духу времени (т. е. духу времени, презиравшему народъ и отдѣлившему отъ него высшія сословія), и въ этомъ состоятъ какъ его литературная заслуга, такъ и вредъ, который онъ нанесъ украинской словесности». Это обвиненіе конечно ослабляется прежде всего тѣмъ, что у добродушнаго Котляревскаго конечно не было такихъ злостныхъ цѣлей: его пародія не была конечно одной пошлой угодливостью вкусамъ пановъ, — она была отголоскомъ начавшейся оппозиціи старому классицизму и слѣдствіемъ собственнаго юмористическаго настроенія. Въ своихъ драматическихъ пьесахъ Котляревскій удачно схватываетъ черты народныхъ нравовъ, и если, по характеру времени, впадаетъ въ преувеличенную сантиментальность, то все-таки изъ нихъ можно видѣть, что для него народная жизнь не была однимъ поводомъ къ глумленью. Наконецъ, нельзя не замѣтить въ этомъ юмористически забавляющемъ отношеніи Котляревскаго къ народному и черты болѣе общей, которую мы встрѣчаемъ въ различной степени и у другихъ писателей, обращавшихся къ малорусскому народному быту. Въ сочиненіяхъ Основьяненка мы опять находимъ въ сущности тѣ же мотивы: ту же сантиментальность и шутливое отношеніе къ народной средѣ. Затѣмъ та же сантиментальность и поползновеніе къ шутовству — въ малороссійскихъ повѣстяхъ Гоголя. Намъ кажется, что Котляревскій несетъ на себѣ, хотя можетъ быть въ большей степени, общую вину; качества этого взгляда на народную жизнь опредѣлялись не личнымъ капризомъ, а общимъ подчиненнымъ характеромъ народности, которая всегда принуждена была подчиняться чужимъ цивилизующимъ нравамъ и господству. У самого Котляревскаго пропадаетъ шутовской характеръ, когда онъ вспоминаетъ въ той же Энеидѣ о прошедшихъ временахъ гетманщины, — времени національной автономіи [9]).

[9]) „Писання П. П. Котляревського“ (съ портретомъ и проч.). Спб. 1862, и критическія статьи въ Основѣ, 1861, январь и февраль.

Примѣръ Котляревскаго не остался безъ послѣдователей. Появились подражанія «Энеидѣ», которыя ходили по рукамъ между любителями и пріучали общество къ литературнымъ попыткамъ на малороссійскомъ языкѣ. Въ 1816 году основанъ былъ журналъ «Украинскій Вѣстникъ» (прекрат. въ 1821), который, занявшись мѣстными малороссійскими интересами, занялся и малороссійской литературой. Здѣсь началъ свою дѣятельность П. П. Артемовскій-Гулакъ, сочиненія котораго — первое замѣтное явленіе малороссійской литературы послѣ «Энеиды». Артемовскій-Гулакъ напечаталъ въ Украинскомъ Вѣстникѣ юмористическую пьесу «Панъ та Собака», гдѣ въ разсказѣ о бѣдствіяхъ собаки, которая въ награду за все усердіе получаетъ одни побои и преслѣдованія, снова появляется тонъ шутки, но шутка клонится уже въ серьезную сторону, и вмѣстѣ съ тѣмъ самая форма и языкъ показываютъ гораздо больше силы и свѣжести, чѣмъ было у Котляревскаго. За «Паномъ и Собакой» слѣдовали другія пьесы: «Солопій та Хивря, або горохъ при дорозі», переводъ баллады «Твердовскій» изъ Мицкевича, переводы изъ Горація, Гёте и проч. (изд. въ «Славянинѣ» 1827 и въ «Утр. Звѣздѣ» 1834); но всѣ эти вещи далеко уступаютъ его первому опыту. Талантъ Артемовскаго-Гулака не былъ достаточно силенъ для того, чтобы устоять въ томъ свѣжемъ направленіи, которое обѣщалъ онъ въ началѣ; онъ подчиняется господствующему вкусу и у него есть еще манера Котляревскаго, то литературное юродство, какъ называютъ его сами малороссійскіе критики, которое мы вообще замѣчаемъ, кромѣ Шевченка, почти у всѣхъ малорусскихъ писателей, какъ только они берутся за изображеніе народнаго быта. Въ самомъ взглядѣ на вещи литературное сознаніе пошло впослѣдствіи гораздо дальше, и Артемовскій-Гулакъ сохранилъ въ глазахъ малорусскихъ критиковъ извѣстное значеніе только относительно языка, который у него значительно силенъ и выработанъ [10]).

Первымъ писателемъ, который болѣе непосредственно отнесся къ народной жизни и основалъ свою литературную дѣятельность на элементахъ народнаго обычая и поэзіи, малороссійскіе критики согласно считаютъ Квитку (Основьяненка). Только съ Квиткой начинаютъ они настоящій періодъ малорусской литературы, когда ея писатели понимаютъ свою задачу извѣстнымъ сознательнымъ образомъ и ищутъ въ народѣ не однихъ предметовъ шутки и балагурства, но и общественныхъ и бытовыхъ идеаловъ. Это серьезное отношеніе къ народности не было конечно дѣломъ Квитки, — который вовсе не былъ и достаточно глубокъ для подобнаго пониманія, — но по крайней мѣрѣ въ его поэтическихъ взглядахъ малорусская жизнь впервые показалась положительнымъ, хотя и слишкомъ чувствительнымъ и отчасти манернымъ идеаломъ. Эта заслуга — быть первымъ на извѣстномъ литературномъ направленіи — до сихъ поръ кажется преувеличиваетъ

[10]) См. Основу, 1861, мартъ, гдѣ приведены и его лучшія стихотворенія.

въ глазахъ соотечественниковъ его значеніе, котораго вообще не признавали за нимъ его русскіе читатели.

Г. Ѳ. Квитка, въ свое время извѣстный больше подъ псевдонимомъ Основьяненка, изъ харьковскихъ помѣщиковъ, род. 18 ноября 1778, † 8 августа 1843. Квитка не получилъ никакого правильнаго образованія, учился какъ училось тогда большинство помѣщичьихъ дѣтей провинціи, т. е. довольно плохо; на двѣнадцатомъ году ему уже хотѣлось поступить въ монастырь, но его удержали; потомъ его отдаютъ въ полкъ, оттуда онъ переходитъ въ гражданскую службу, потомъ опять въ военную, ни въ той, ни въ другой ничего кажется не дѣлалъ, на 23-мъ году поступилъ наконецъ въ монастырь послушникомъ, гдѣ и оставался около четырехъ лѣтъ. Ему не понравилась потомъ и монастырская жизнь; онъ поселился дома и мало по малу вошелъ въ общественную жизнь Харькова, гдѣ вслѣдствіе основанія университета началось нѣкоторое литературное движеніе. Здѣсь Квитка нашелъ себѣ дѣятельность; онъ хлопоталъ о дворянскомъ клубѣ, театрѣ, институтѣ для дѣвицъ, и игралъ роль въ качествѣ члена институтскаго совѣта, уѣзднаго предводителя и т. п. Съ этой общественной жизнью началась вмѣстѣ и его литературная дѣятельность: онъ принимаетъ участіе въ литературныхъ вечерахъ и въ изданіи «Украинскаго Вѣстника». Эта первая дѣятельность скроена была совершенно по манерѣ тогдашнихъ журналовъ, напр. «Вѣстника Европы» и безчисленныхъ альманаховъ; это была невинная сатира и благонамѣренное остроуміе. Затѣмъ, съ 30-хъ годовъ начинается рядъ его малороссійскихъ разсказовъ, которые и составляютъ главнѣйшую литературную заслугу Основьяненка. Эти повѣсти, разбросанныя въ журналахъ и альманахахъ, появлялись обыкновенно и на малорусскомъ, и на русскомъ языкахъ, переведенныя имъ самимъ или другими, и собраны были самимъ Квиткой въ книжкѣ: Малорусскія повѣсти (М. 1834—37; Харьковъ 1841; изданіе П. Кулиша: Повісті Григόрия Квітки, 2 ч. Спб. 1858). Кромѣ того Основьяненко написалъ нѣсколько пьесъ для театра, изъ которыхъ «Шельменко» до сихъ поръ украшаетъ сцену Александринскаго театра, и два нравоописательные и плохіе романа: «Панъ Халявскій» и «Похожденія Столбикова». Какъ мы сказали, существенное, что осталось отъ трудовъ Основьяненки, составляютъ его малороссійскіе разсказы, изъ которыхъ лучшими считаются *Маруся*, *Сердéшна Оксáна*, *Конотопська відьма*, *Кóзирь-дивка* и *Вотъ любовь* (изъ написанныхъ по русски). Русскимъ читателямъ повѣсти Основьяненка казались вообще сентиментальными идилліями, его женскіе народные характеры слишкомъ идеализированными, фраза слишкомъ манерной и болтливой; но его соотечественники до сихъ поръ сохранили о немъ то же выгодное мнѣніе, какое произвели въ нихъ повѣсти Основьяненка при своемъ первомъ появленіи. Нѣтъ сомнѣнія, что для русскаго читателя не существуетъ прелесть языка, подкупающая Малоруссовъ; Основьяненко не производилъ благопріятнаго впечатлѣнія и степенью своего общественнаго

пониманія, когда брался за сатиру въ своихъ романахъ, или за поученіе народа въ «Листахъ до любезныхъ земляковъ» (юморъ его русскихъ повѣстей положительно не замысловатъ), — но поэтическое изображеніе малорусской жизни и особенно малорусской женщины составляло особенную область, гдѣ онъ могъ остаться болѣе свѣжимъ воспроизводителемъ поэтической правды. Успѣхъ Основьяненка въ этой области имѣетъ несомнѣнное историческое значеніе, потому что своимъ сочувственнымъ отношеніемъ къ народнымъ элементамъ онъ открывалъ возможность новаго литературнаго пути, который и принятъ былъ потомъ малорусскими писателями. Большая часть его сочиненій совершенно забыты самими его соотечественниками: не забылось только то, въ чемъ послѣдующее поколѣніе могло видѣть подготовленіе своего взгляда на значеніе народнаго принципа.

Періодъ тридцатыхъ годовъ былъ и въ малорусской литературѣ наиболѣе отмѣченъ ревнивымъ стремленіемъ народности заявить свою отдѣльность и право на независимое культурное развитіе. Это было время наиболѣе плодовитое. Около Основьяненка, занимавшаго тогда самое почетное мѣсто въ новой литературѣ, группируется цѣлый кружокъ писателей, отчасти выражающихъ тоже самое отношеніе къ народной жизни, отчасти ведущихъ его дальше и понимающихъ сознательнѣе. Къ этому періоду принадлежатъ: Боровиковскій, переводчикъ «Фариса» Мицкевича и авторъ нѣсколькихъ балладъ; Евг. Гребенка, переводившій «Полтаву» Пушкина, издатель малорусскаго альманаха «Ластивка» (1841) и авторъ Сказокъ («Приказки»); псевдонимъ Исько Материнка (О. М. Бодянскій), разсказавшій съ полнымъ знаніемъ языка нѣсколько малороссійскихъ сказокъ («Наськи украинськи казки» 1833); Кириллъ Тополя («Чары или нѣсколько сценъ изъ народныхъ былей и разсказовъ украинскихъ») и псевдонимъ Амвросій Могила (А. Метлинскій: «Думки та Пѣсни», «Южнорусскій сборникъ»), извѣстные своими удачными воспроизведеніями народнаго быта, нравовъ и поэзіи,— въ особенности послѣдній, въ которомъ малорусскіе критики видѣли глубину чувства, прекрасное пониманіе козацкой старины и художественныя достоинства выполненія.

Тому же періоду, т. е. послѣднимъ тридцатымъ годамъ принадлежитъ и начало литературной дѣятельности писателей, которые были представителями малорусской литературы въ послѣднее время. Это псевдонимъ Іеремія Галка (Н. И. Костомаровъ), которому принадлежитъ замѣчательнѣйшій драматическій опытъ изъ старой козацкой исторіи: *Сава Чалый*, далѣе трагедія *Переяславська Ничь* (въ альманахѣ «Снипъ», 1841) и разныя мелкія стихотворенія; затѣмъ П. Кулишъ и Шевченко.

Тарасъ Шевченко († 26 февраля 1861) есть безъ всякаго сомнѣнія замѣчательнѣйшая личность всей малорусской литературы. Принадлежа началомъ своей дѣятельности еще старому періоду тридцатыхъ годовъ, Шевченко былъ талантливѣйшимъ представителемъ современныхъ стремленій малорусской литературы, поэтомъ, въ которомъ видѣли лучшее отра-

женіе достоинствъ національной поэзіи и вмѣстѣ съ тѣмъ выраженіе новыхъ понятій и требованій.

Теперь еще не пришло время для полной его біографіи, какъ и трудно еще сказать, какимъ слѣдомъ отзовется его поэзія въ національномъ дѣлѣ,— но нѣтъ сомнѣнія, что онъ былъ глубокимъ явленіемъ для своихъ современниковъ. Шевченко родился крѣпостнымъ и на себѣ испыталъ тяжесть рабства; оно не подавило однако его поэтической природы. Благодаря сочувствію порядочныхъ людей, которыхъ удалось ему встрѣтить, онъ получилъ свободу, но судьба оторвала у него возможность дѣятельности: когда онъ освободился отъ продолжительной ссылки, передъ нимъ осталось только немного лѣтъ жизни. Перенесенныя испытанія не заглушили въ немъ поэтической силы, не затемнили и не ослабили его свѣтлыхъ и гуманныхъ воззрѣній. Демократъ по происхожденію, онъ естественно привязанъ былъ къ дѣлу народа, и ему не нужно было доходить до этой привязанности путемъ долгой выработки убѣжденій: позднѣйшее развитіе, пріобрѣтенное имъ, должно было только утвердить то, что уже лежало въ основѣ его понятій и стремленій. Оттого Шевченко есть одинъ изъ рѣдкихъ примѣровъ непосредственно народнаго поэта и человѣка убѣжденій, не отдѣлившагося отъ массы лучшими свойствами понятій и характера, но вмѣстѣ съ тѣмъ совершенно свободнаго отъ неизбѣжной ограниченности простонародныхъ взглядовъ. Для соотечественниковъ Шевченка кажутся вполнѣ справедливыми слова, сказанныя о немъ г. Костомаровымъ: «Шевченко, какъ поэтъ—это былъ самъ народъ, продолжавшій свое поэтическое творчество. Пѣсня Шевченка была сама по себѣ народная пѣсня, только новая,—такая пѣсня, какую могъ бы запѣть теперь цѣлый народъ,—какая должна была вылиться изъ народной души, въ положеніи народной современной исторіи. Съ этой стороны Шевченко былъ избранникъ народа въ прямомъ значеніи этого слова; народъ какъ бы избралъ его пѣть вмѣсто себя».

Въ 1840 вышелъ *Кобзарь* Шевченка, и съ тѣхъ поръ его значеніе въ малороссійской литературѣ прочно установилось. Первыя произведенія Шевченка уже обнаруживаютъ въ немъ глубокое поэтическое пониманіе народной жизни, ея настоящаго и прошедшаго; она проходила ясно передъ его фантазіей, съ своимъ горемъ и трудами, мрачными историческими воспоминаніями и свѣтлыми народными идеалами. Его «Гайдамаки», «Катерина», «Тарасова Ночь», много другихъ мелкихъ произведеній сохранили для читающей малороссійской публики всю свою цѣну, не смотря на долголѣтній перерывъ его дѣятельности, и не смотря на то, что современники его начинаній, писатели той литературной эпохи, почти забыты. Его поэзія сложилась сразу, какъ извѣстный поэтическій взглядъ, который проходитъ всю его дѣятельность; эта поэзія такъ естественно проста, что она дѣйствительно можетъ быть названа прямымъ развитіемъ собственной поэзіи народа. По самой формѣ Шевченко непосредственно примыкаетъ къ

ней, не поддаваясь тѣмъ искуственнымъ формамъ, какія старались насильно придать ей другіе малороссійскіе писатели.

Но какъ ни глубоки были въ немъ впечатлѣнія народной жизни, сколько ни входилъ онъ въ ея старыя воспоминанія и въ ея настоящее, свѣжій умъ и широкій талантъ избавляли его отъ крайнихъ увлеченій, которымъ такъ легко поддается возбужденное національное чувство. Малороссійскій патріотъ и демократъ, онъ былъ однако чуждъ всякой религіозной и національной нетерпимости; въ его талантѣ сильно было любящее гуманное чувство, свойственное ему отъ природы и усиленное развитіемъ. Надъ его національными привязанностями всегда стоялъ общечеловѣческій интересъ, и въ своихъ желаніяхъ народнаго блага онъ ждалъ для народа «апостола правды и науки»,—и это было его искреннимъ ожиданіемъ. Его общественныя понятія были понятія серьезныя, и лучшія стремленія времени находили все его сочувствіе (ср. его «Сонъ» и друг.).

Новая дѣятельность Шевченка началась послѣ возвращенія его изъ десятилѣтней ссылки. Въ концѣ его ссылки напечатана была поэма «Наймичка»; въ 1860 изданіе «Кобзаря» было повторено, затѣмъ новый рядъ пѣсенъ «Кобзаря» печатался въ «Основѣ» (1861—62): тамъ же изданъ и его «Дневникъ», который къ сожалѣнію не могъ быть напечатанъ вполнѣ. Передъ концомъ своей жизни онъ задумалъ издать рядъ элементарныхъ книжекъ для народнаго обученія, но успѣлъ издать одну или двѣ.... Въ 1861 онъ напечаталъ свою коротенькую автобіографію («Народн. Бесѣда» 1861).

Шевченко былъ самымъ сильнымъ и характернымъ явленіемъ малорусской литературы въ послѣднее время, да и вообще. Заботы другихъ писателей, собравшихся въ 1861—62 въ изданіи «Основы», заключались въ правильномъ установленіи малорусской литературной дѣятельности, которая до тѣхъ поръ слишкомъ отдана была на волю случайностей и не имѣла постояннаго и ровнаго развитія. Послѣднимъ, болѣе дѣятельнымъ временемъ ея было начало сороковыхъ годовъ. Новыя попытки начинаются уже въ концѣ пятидесятыхъ годовъ. Теперь снова открываются труды прежнихъ дѣятелей, въ особенности упомянутаго псевдонима Галки и Кулиша.

П. Кулишъ есть плодовитѣйшій изъ малорусскихъ писателей и наиболѣе ревностный защитникъ національнаго малорусскаго интереса въ литературѣ. Начало его дѣятельности относится къ 30—40 годамъ, и съ тѣхъ поръ онъ написалъ множество разнообразныхъ произведеній, по русски и по малороссійски; это были вещи литературныя — поэмы, мелкія стихотворенія, романы, разсказы, почерпнутые изъ малороссійской жизни («Досвитки», «Чорна Рада, хроника 1663 року» и проч.); этнографическіе труды, изученіе народнаго быта, поэзіи и преданій («Записки о Южной Руси», 2 т.); труды по исторіи Малороссіи; очерки малорусской литературы (рядъ статей въ «Основѣ»); критическія статьи; наконецъ книги для популярнаго чтенія. Наконецъ г. Кулишу принадлежитъ и устано-

вленіе малорусской орѳографіи — предмета, который вообще во всѣхъ литературахъ славянскаго возрожденія былъ дѣломъ не послѣдней важности [11]).

Послѣднее время вызвало опять много новыхъ писателей, которые явились съ малороссійскими разсказами, очерками, стихотвореніями, книжками для народа: на этотъ разъ тема литературной дѣятельности уже яснѣе, чѣмъ прежде, сводилась на изученіе и изображеніе народнаго быта и сообщеніе народу элементарныхъ знаній и развивающаго чтенія. Замѣчательнѣйшимъ изъ всѣхъ этихъ новыхъ писателей былъ псевдонимъ Марко-Вовчо̂къ, произведенія котораго, русскія и малороссійскія («Повістки», Спб. 1861; русскій переводъ Тургенева) были самымъ свѣжимъ изъ всего, что можетъ представить въ этомъ направленіи малорусская литература. Это было продолженіемъ пріема Основьяненка, но продолженіемъ гораздо болѣе непосредственнымъ и на столько болѣе совершеннымъ, на сколько разнятся два литературныя поколѣнія.

Въ послѣднее время упомянутый нами прежде споръ о правахъ малорусскаго нарѣчія принялъ направленіе весьма неблагопріятное для малорусской литературы, и это обстоятельство — одно изъ многихъ недоразумѣній, раздуваемыхъ въ наше время—значительно ограничиваетъ ея дѣятельность, хотя конечно не уничтожаетъ вызвавшаго ее народнаго инстинкта.

Одно изъ главнѣйшихъ условій, поддержавшихъ стремленія новой малорусской литературы къ особности, были самыя свойства народности, которыя не укладывались въ господствующія литературныя рамки и заставляли искать для нихъ иного исхода. Къ этимъ свойствамъ принадлежитъ и оригинальная особенность и богатство малорусской народной поэзіи. Оттого національное движеніе пріобрѣло здѣсь больше ревниваго увлеченія, чѣмъ можно было бы ожидать въ другихъ обстоятельствахъ. Народность, меньше отличенная своеобразными чертами быта, нравовъ, а затѣмъ и народной поэзіи, имѣла бы и меньше поводовъ настаивать на своей отдѣльности. Напротивъ, народность малорусская, при всемъ тѣсномъ сближеніи съ русскими элементами, проникавшими въ нее всѣми путями непосредственнаго смѣшенія и сосѣдства, администраціи, образованія, сохранила въ массѣ столько оригинальнаго, что при новыхъ условіяхъ общественнаго развитія, вездѣ вызывавшихъ народное движеніе, она естественно должна была стремиться къ своему выраженію. Развитіе поэтическаго чувства и богатая народная поэзія имѣли здѣсь не послѣднюю долю участія.

[11]) Исканіе малороссійской орѳографіи началось давно и въ особенности возбуждало споры съ 30-хъ годовъ: послѣ правописанія Котляревскаго, предлагали свои системы Максимовичъ (1834), Боровиковскій (1852), Метлинскій (1854), Кулишъ (1856), Куцый (1859) и Шейковскій (1860). Правописаніе Кулиша имѣло успѣха всего больше.

*

По развитію своей народной поэзіи Малоруссы занимаютъ одно изъ первыхъ мѣстъ между славянскими народами. Эта народная поэзія привлекла на себя вниманіе вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ стали обнаруживаться первыя сознательныя попытки малорусской литературы. Первая попытка указать на малорусскій эпосъ была сдѣлана княземъ П. Цертелевымъ (Опытъ собранія старин. малоросс. пѣсенъ, Спб. 1819); затѣмъ явился сборникъ М. Максимовича въ 1827, потомъ въ 1834, и наконецъ въ 1849 (Сборникъ украинскихъ пѣсенъ, ч. 1, Кіевъ 1849); г. Срезневскій въ своей «Запорожской Старинѣ» (2 ч. въ 6 кн., Харьк. 1833—38) собралъ значительное количество историческихъ думъ и пѣсенъ и въ первый разъ попробовалъ дать имъ историческое объясненіе; далѣе явился сборникъ П. Лукашевича (Малорусскія и Червонорусскія думы и пѣсни, Спб. 1836), который воспользовался и русинскими собраніями; наконецъ, лучшій до сихъ поръ сборникъ А. Метлинскаго («Народныя южно-русскія пѣсни», Кіевъ 1854). Затѣмъ много любопытнаго представляетъ сборникъ г. Костомарова (въ «Малорусскомъ сборникѣ» Мордовцева, Саратовъ, 1859), матеріалы г. Кулиша въ «Запискахъ о Южной Руси» и друг.

Малорусская пѣсня, какъ мы сказали, представляетъ одно изъ замѣчательнѣйшихъ явленій во всей славянской народной поэзіи. И здѣсь народная пѣсня имѣла ту общую судьбу, какую имѣла у большинства славянскихъ племенъ. Во все время народной исторіи она жила исключительно въ народной средѣ и никогда, кромѣ самаго послѣдняго времени, не входила какъ элементъ въ литературное развитіе. Очень естественно поэтому, что историческая судьба малорусской поэзіи остается для насъ чрезвычайно темна: мы не имѣемъ памятниковъ, которые бы сохранили древнія редакціи ея произведеній и должны судить объ ея исторіи только по основаніямъ теоретическимъ.

Прежде всего, малорусскія эпическія пѣсни, собранныя уже къ наше время, не знаютъ тѣхъ преданій кіевскаго эпоса, которыя повидимому должны бы сохраниться въ нихъ и которыя сберeглись, напротивъ, такъ хорошо въ сѣверной Руси. Мы упоминали уже, что нѣкоторые объясняли это новостью самаго малорусскаго племени, занявшаго свое настоящее мѣсто уже въ періодъ послѣ-кіевскій, но мы замѣтили также, что отсутствіе кіевскаго эпоса у Малоруссовъ можетъ имѣть другія, весьма естественныя причины. Во первыхъ, это отсутствіе не исключительное, потому что южнорусскія преданія и теперь сохранили нѣкоторое воспоминаніе о древнѣйшихъ временахъ, въ формѣ отрывочныхъ и неясныхъ сказаній. Въ 12-мъ столѣтіи, Слово о Полку Игоревѣ остается несомнѣннымъ слѣдомъ южно-русской поэтической дѣятельности, и въ чертахъ его мы—взамѣнъ того—находимъ не столько родства съ сѣверно-русской редакціей кіевскаго эпоса, сколько съ характеромъ малороссійской думы. Существенное же объясненіе упомянутаго нами явленія заключается въ томъ, что преданія кіевскаго эпоса позднѣе были слишкомъ заслонены новымъ содержаніемъ;

что для малорусскаго племени явился въ 15—17-мъ столѣтіи новый героическій періодъ народныхъ подвиговъ, и въ этомъ періодѣ создалась новая героическая эпопея, гораздо болѣе близкая народному чувству, чѣмъ старыя преданія, и эти послѣднія естественно забылись.

14—15-е столѣтія представляютъ весьма темный періодъ малорусской исторіи; разрушеніе старой жизни монгольскимъ нашествіемъ, броженіе, произведенное новыми условіями и кончившееся образованіемъ козачества, полная приключеній дѣятельность народа, складывавшаго новый бытъ и защищавшаго въ то же время свою независимость и свободу отъ врага—эти обстоятельства, вмѣстѣ съ свойствами народнаго характера, весьма легко могли положить начало новому эпосу, произведенія котораго дошли до насъ теперь въ *думахъ* и «бувальщинахъ». Порожденный новыми условіями, этотъ эпосъ отличается и иными свойствами. Между тѣмъ какъ древній кіевскій эпосъ еще носилъ въ себѣ много миѳологическаго, не только въ случайныхъ подробностяхъ, но и въ самой основѣ содержанія, новый малороссійскій эпосъ есть исключительно героическій. Миѳологическіе мотивы могутъ быть найдены въ немъ только въ тѣхъ эпическихъ формахъ, которыя остались въ немъ однимъ пріемомъ, условной манерой, наслѣдованной отъ старины: это скорѣе поэтическій символизмъ, чѣмъ миѳологическое воспоминаніе. Существенное содержаніе эпоса — дѣйствительная народная исторія, его герои—дѣйствительные герои народной борьбы, которыхъ подвиги поражали воображеніе и чувство народа, и которые были его представителями. Такимъ образомъ малорусскій эпосъ обнимаетъ всѣ существенные періоды исторической малорусской жизни съ 15-го по 18-е столѣтіе. Онъ распадается поэтому на три главные цикла. Первый разсказываетъ борьбу козачества съ Татарами и Турками въ степяхъ и на Черномъ морѣ, герои его—Дмитрій Байда (Вишневецкій), Серпяга, Свирговскій, Самойло Кушка и проч. Другой циклъ разсказываетъ подвиги козачества въ войнахъ съ Польшей, гдѣ являются на сцену Наливайко, Лобода, Полтора-Кожуха, Хмельницкій и др. Наконецъ третій циклъ составляютъ думы, относящіяся ко временамъ связей съ Россіей, съ конца 17-го столѣтія: Выговскій, Дорошенко, Палій, Мазепа и пр. Какъ всякій народный эпосъ, малорусская дума есть возвеличеніе событій, въ которыхъ выразилось народное геройство: оно состояло здѣсь въ борьбѣ съ невѣрными, въ защитѣ свободы и вѣры. При всемъ поэтическомъ колоритѣ этихъ произведеній въ нихъ нерѣдко съ точностью можетъ быть указанъ историческій фактъ, послужившій имъ основаніемъ, извѣстное лицо, выбранное въ герои, и наконецъ общественныя отношенія, составлявшія подкладку подвиговъ;—все это очень трудно указать въ древнемъ эпосѣ. Поэтическая картина думы не ограничивается и безстрастнымъ, ровнымъ характеромъ стараго эпоса; она оттѣняется теплымъ меланхолическимъ чувствомъ лирической пѣсни,—черта, опять принесенная сравнительно новымъ происхожденіемъ эпоса думы. Вмѣстѣ съ тѣмъ внѣшнее исполненіе думы представляетъ нерѣдко

замѣчательныя поэтическія красоты, и это дѣлаетъ ее однимъ изъ привлекательнѣйшихъ явленій всей славянской поэзіи. Живое чувство природы даетъ думѣ множество поэтическихъ образовъ, которые выразительно обставляютъ эпическій сюжетъ.

Съ тѣхъ поръ, какъ собственно народная жизнь упадаетъ, малорусскій эпосъ теряетъ свою производительность. 18-е столѣтіе еще сохранило черты малорусской старины; Запорожье еще доживало послѣдніе дни и бурные подвиги прежняго времени находили отголосокъ въ удалыхъ похожденіяхъ гайдамакъ; польскія войны припоминались въ «коліивщинѣ»,—и малорусская дума еще свѣжо хранилась въ памяти народа: бандуристы, кобзари, лирники могли еще передавать богатый запасъ старыхъ преданій, но «послѣдніе менестрели» малорусской поэзіи, нынѣшніе пѣвцы не знаютъ и того, что знали ихъ учители. Для народа наступилъ новый складъ жизни и не только изчезло народное творчество, но окончательно забываются и его старыя произведенія.

Историческій эпосъ конечно не исчерпываетъ всего поэтическаго богатства малорусскаго народа. Лирическія пѣсни отличаются той же поэтической свѣжестью и глубокимъ чувствомъ: кромѣ пѣсенъ личнаго, особенно женскаго чувства, малорусская поэзія представляетъ большое разнообразіе обрядныхъ и бытовыхъ пѣсенъ. Мы едва ли ошибемся въ ея характеристикѣ, если воспользуемся для этого словами Костомарова, который сравниваетъ ее съ народной поэзіей великорусскаго племени. Онъ говоритъ: «Въ своемъ стремленіи къ созданію прочнаго, ощущаемаго, осязательнаго тѣла для признанной разъ идеи, великорусское племя показывало всегда и теперь показываетъ наклонность къ матеріальному и уступаетъ южно-русскому въ духовной сторонѣ жизни, въ поэзіи, которая въ послѣднемъ развилась несравненно шире, живѣе и полнѣе. Прислушайтесь къ голосу пѣсенъ, присмотритесь къ образамъ, сотвореннымъ воображеніемъ того и другаго племени, къ созданнымъ тѣмъ и другимъ народнымъ произведеніямъ слова. Я не скажу, чтобы великорусскія пѣсни лишены были поэзіи, напротивъ, въ нихъ высоко-поэтическою является именно сила воли, сфера дѣятельности, именно то, что такъ необходимо для совершенія задачи, для какой опредѣлилъ себя этотъ народъ въ историческомъ теченіи политической жизни. Лучшія великорусскія пѣсни тѣ, гдѣ изображаются моменты души, собирающей свои силы, или гдѣ представляется торжество ея или неудачи, не ломающія, однако, внутренняго могущества. Оттого такъ всѣмъ нравятся пѣсни разбойничьи: разбойникъ—герой, идущій бороться и съ обстоятельствами, и съ общественнымъ порядкомъ. Разрушеніе—его стихія, но разрушеніе неизбѣжно предполагаетъ возсозданіе. Послѣднее высказывается уже и въ составленіи разбойническихъ шаекъ, которыя представляютъ нѣкотораго рода общественное тѣло. И потому да не покажется страннымъ, если мы будемъ усматривать въ разбойническихъ пѣсняхъ ту же стихію общинности, то же стремленіе къ воплощенію государ-

ственнаго тѣла, какое находимъ во всемъ проявленіи исторической жизни великорусскаго племени. Великорусскій народъ, практическій, матеріальный по преимуществу, восходитъ до поэзіи только тогда, когда выходитъ изъ сферы текущей жизни, надъ которою работаетъ, работаетъ не восторгаясь, не увлекаясь, примѣриваясь болѣе къ подробностямъ, къ частностямъ, и оттого упуская изъ виду образный идеалъ, составляющій сущность опоэтизированія всякаго дѣла и предмета. Оттого поэзія великорусская такъ часто стремится въ область необъятнаго, выходящаго изъ границъ природной возможности, также часто ниспадаетъ до простой забавы и развлеченія. Историческое воспоминаніе сейчасъ обращается въ эпосъ и превращается въ сказку, тогда какъ, напротивъ, въ пѣсняхъ южно-русскаго племени она болѣе удерживаетъ дѣйствительности и часто не нуждается въ возведеніи этой дѣйствительности до эпоса для того, чтобы блистать силою роскошной поэзіи. Въ великорусскихъ пѣсняхъ есть тоска, раздумье, но нѣтъ почти той мечтательности, которая такъ поэтически плѣняетъ насъ въ южно-русскихъ пѣсняхъ.... Участіе природы слабо въ великорусскихъ пѣсняхъ и чрезвычайно сильно въ нашихъ: южно-русская поэзія нераздѣльна отъ природы, она оживляетъ ее, дѣлаетъ ее участницею радости и горя человѣческой души; травы, деревья, птицы, животныя, небесныя свѣтила, утро и вечеръ, зной и снѣгъ—все дышетъ, мыслитъ, чувствуетъ вмѣстѣ съ человѣкомъ, все откликается къ нему чарующимъ голосомъ то участія, то надежды, то приговора. Любовное чувство, обыкновенно душа всякой народной поэзіи, рѣдко возвышается надъ матеріальностью; напротивъ, въ нашихъ оно достигаетъ высочайшаго одухотворенія, чистоты, высоты побужденія и граціи образовъ. Даже матеріальная сторона любви въ шуточныхъ пѣсняхъ изображается съ тою анакреонтическою граціею, которая скрадываетъ тривіальность и самую чувственность одухотворяетъ, облагороживаетъ. Женщина въ великорусскихъ пѣсняхъ рѣдко возвышается до своего человѣческаго идеала; рѣдко ея красота возносится надъ матеріею; рѣдко влюбленное чувство можетъ въ ней цѣнить что нибудь за предѣломъ тѣлесной формы; рѣдко высказывается доблесть и достоинство женской души. Южно-русская женщина въ поэзіи нашего народа, напротивъ, до того духовно-прекрасна, что и въ самомъ своемъ паденіи высказываетъ поэтически свою чистую натуру, и стыдится своего униженія. Въ пѣсняхъ игривыхъ, шуточныхъ, рѣзко выражается противоположность натуры того и другаго племени. Въ южно-русскихъ пѣсняхъ этого рода выработывается прелесть слова и выраженія, доходящая до истинной художественности: отдыхающая человѣческая природа не довольствуется простой забавой, но сознаетъ потребность дать ей изящную форму, не только развлекающую, но и возвышающую душу; веселіе хочетъ обнять ее стихіями прекраснаго, освятить мыслію» [12]).

[12]) Историч. Монографіи, 1, 266—268. Въ его же книгѣ объ историч. значеніи русской народной поэзіи, большая доля посвящена поэзіи малорусской.

3. Галицкіе Русины.

Литература Галицкихъ Русиновъ [1]), какъ отдѣльная попытка національности, можетъ считать свое начало едва съ 30-хъ годовъ нынѣшняго столѣтія и она выросла изъ условій, подобныхъ тѣмъ, какія произвели отдѣленіе словацкой литературы отъ чешской. Галицкіе Русины по характеру своей народности еще ближе къ Малоруссамъ, чѣмъ Словаки къ Чехамъ; но здѣсь отдѣленіе имѣло еще особенное основаніе въ политической принадлежности этихъ двухъ частей одного народа къ двумъ разнымъ государствамъ. Правда, здѣсь обѣ части не спорятъ о своемъ близкомъ родствѣ, напротивъ связываютъ свои историческія судьбы и народность, но за то каждая хотѣла бы считать себя центральной и главной частью народа и онѣ до сихъ поръ не могли соединить своихъ литературныхъ силъ и привести свой литературный языкъ къ одному знаменателю.

Мы уже упоминали о томъ, какимъ спорнымъ предметомъ остаются древнѣйшіе южные памятники русской письменности, которые съ одной стороны составляютъ непосредственное историческое преданье русской литературы, развившейся позднѣе на сѣверѣ и въ Москвѣ, и которые съ другой стороны считаются малорусскими патріотами за традицію, собственно-малорусскую. Галицко-русскіе ученые и патріоты заявили на нихъ и свои притязанія, какъ на старое достояніе своей исторіи. Несторъ, Иларіонъ, Владиміръ Мономахъ, Кириллъ Туровскій, Даніилъ Заточникъ, Слово о Полку Игоревѣ одинаково входятъ въ ихъ историческія воспоминанія и Южная Русь является у нихъ «представительницей всего умственнаго развитія по всѣмъ землямъ, называвшимся русскими» (Головацкій, Предпод., стр. 14)...

[1]) О галицкой исторіи, русинскомъ нарѣчіи и литературѣ см.:

—Д. Зубрицкій, Критико-историческая повѣсть временныхъ лѣтъ Червонной или Галицкой Руси, до конца XV столѣтія. Переводъ съ польскаго О. Бодянскаго. М. 1845; его же, Исторія древняго Галичско-Русскаго Княжества, ч. 1—3. Львовъ, 1852—55 (по русски);—K. Stadnicki, Synowie Gedymina, 3 t. (именно т. 2-й: Lubart, książe Wołynski. Lwów 1853):—Denkschrift der ruthenischen Nation in Galizien zur Aufklärung ihrer Verhältnisse, von der ruthenischen Hauptversammlung. Lemb. 1848 (31 Juli);—An die Russinen. Mit kurzen historisch-politischen und statistischen Notizen über die Russinen überhaupt und jene Galiziens insbesondere. Von einem Russinen. Lemb. 1848;—Słów kilka napisanych w obronie ruskiej narodowości, Lwów 1848:—D. Zubrzycki, Gränzen zwischen der russinischen und polnischen Nation in Galizien. Lemb. 1849;—Die ruthenische Frage in Galizien, beleuchtet von einem Russinen. Lemberg 1851.

—J. Lewicki, Gramm. der klein-russ. Sprache in Galizien. Lemberg 1835;—J. Wagilewicz, Gram. języka małoruskiego w Galycii, Lwów 1845;—J. Lozinski, Gram. ięzyka Ruskiego. Przem. 1846.

—Як. Головацкій, Историческій очеркъ основанія Галицко-русской Матицѣ и про Львовъ 1850;—„Зоря Галицка“ съ 1848;—„Основа“ 1862—апрѣль: Русины въ 1848 году; іюнь: Библіографическій указатель Галицко-русинской словесности, Вл. Межова;—Як. Головацкій, Три вступительнія предподаванія о руской словесности. Львовъ 1849;—„Національная безтактность“ въ Современникѣ 1861, № 7.

— Дешко, О Карпатской Руси (въ русинской „Семейной Библіотекѣ“, 1855); — И. Срезневскій, Русь Угорская (въ Вѣстн. Геогр. Общества, Спб. 1851—52, ч. IV).

Однимъ словомъ, эта давно оторванная часть древней Руси продолжаетъ считать своими тѣ явленія русской исторіи и литературы, когда она еще принадлежала къ цѣлому; національное самолюбіе заставляетъ ее присвоивать себѣ больше, чѣмъ она могла бы по своей мѣстной исторической судьбѣ... Дальше галицкіе ученые считаютъ преданьемъ своей литературы и Литовскій Статутъ, и дѣятельность Швайпольта Фіоля въ Краковѣ и Константина Острожскаго и Скоринны, и козачество съ его подвигами и поэзіей.

До какой степени Галицкая Русь можетъ имѣть притязанія на эти факты, можетъ считать ихъ своей стариной, это можетъ быть опредѣлено историческими отношеніями ея мѣстной національности. Сущность этихъ отношеній состояла въ томъ, что Галицкая Русь составляла нѣкогда часть древней федераціи русскихъ княжествъ; сначала эта часть Руси была тѣсно связана съ цѣлымъ одними общими условіями политическаго быта и національнаго характера, потомъ стала отдѣляться отъ него подъ вліяніемъ иноземныхъ сосѣдей, и складываться въ особую политическую область. Этотъ періодъ Галицкой автономіи былъ непродолжителенъ. Татарскія нашествія подорвали силу всей южной Руси и съ половины 14-го столѣтія Галицкая Русь теряетъ свою независимость и дѣлитъ судьбу Польши и Литвы въ теченіе нѣсколькихъ вѣковъ до паденія Польши.

Вліяніе польскаго господства обнаружилось постепеннымъ и наконецъ крайнимъ упадкомъ русской народности,—что впрочемъ было весьма естественно. Высшіе классы, русинское боярство, принимали польское образованіе, обычаи, языкъ, и наконецъ отрывались окончательно отъ народной массы. Русинская народность осталась за народнымъ большинствомъ, которое болѣе и болѣе теряло свои права; какъ бываетъ обыкновенно съ подчиненными народностями, русская народность была презираема и, стѣсненная въ своихъ общественныхъ отношеніяхъ, лишена была возможности развитія. Православные элементы ослаблены уніей; крѣпостное право завершило упадокъ народности.

Въ этомъ положеніи Галицкая Русь находилась до самаго раздѣленія Польши. Галиція съ 1772 года отдѣлена была къ Австріи. Матеріальный бытъ улучшился съ этого времени, но положеніе народности оставалось то же самое: Поляки хотѣли вознаградить потерю политической независимости расширеніемъ своей народной области на счетъ русинскаго населенія, и конечно значительно успѣвали въ этомъ, потому что имѣли на своей сторонѣ и прежній авторитетъ, и матеріальную силу, и средства образованія. Австрійское правительство не имѣло причинъ защищать Русиновъ и различало ихъ отъ Поляковъ только тогда, когда это оказывалось нужнымъ по его политическимъ соображеніямъ. Исключеніемъ было только время Іосифа II. Его правительство и здѣсь было временемъ пробужденія народнаго сознанія. Выполняя свои гуманные планы, Іосифъ II облегчилъ участь крестьянскаго русинскаго населенія; помѣщичьи права были ограничены, приняты

были мѣры для развитія промышленной дѣятельности, и наконецъ Іосифъ II желалъ поднять и народное образованіе, которое должно было помочь народному благосостоянію. Это самымъ благопріятнымъ образомъ подѣйствовало на Русиновъ и снова открыло имъ возможность извѣстнаго національнаго сознанія. Іосифъ требовалъ, чтобы духовенство—наиболѣе вліятельный классъ у Русиновъ—учило и проповѣдывало на народномъ языкѣ; русинскій языкъ вошелъ въ семинарію и университетъ (во Львовѣ). Къ этому времени относится первое литературное сближеніе Галичанъ съ Россіей. Возрожденіе національнаго сознанія сопровождалось непосредственно желаніемъ собрать свои историческія воспоминанія и возстановить свое національное родство. Русская литература нашла въ первый разъ извѣстный пріемъ въ Галиціи; галицкіе патріоты, за недостаткомъ своихъ книгъ, обращались къ русскимъ книгамъ и сами пробовали писать по русски. Конечно, это ограничилось весьма немногимъ... Да и дальнѣйшее время, послѣ Іосифа II, было опять неблагопріятно для русинской народности, которая снова очутилась въ своемъ прежнемъ безпомощномъ состояніи.

Затѣмъ нѣкоторое движеніе начинаетъ обнаруживаться опять въ тридцатыхъ годахъ. Въ Галицкой Руси съ одной стороны находятъ отголосокъ стремленія западнаго и московскаго панславизма, говорившаго о возстаніи славянскаго племени къ новой жизни и торжествѣ его надъ національными врагами; съ другой стороны отражается здѣсь вліяніе малорусскаго движенія на Украйнѣ, которое уже самымъ дѣломъ давало образцы новой литературы въ національномъ духѣ. При близкомъ родствѣ или даже единствѣ этихъ двухъ малорусскихъ народностей, украинская литература могла оказать самое непосредственное дѣйствіе... Галицко-русинская литература, по сознанію самихъ Галичанъ, начавшая развиваться «раздѣльно ôдъ Украины, безъ всякого сообщенья, пôдъ иншими вліяніями», считала однако эту украинскую литературу своею и конечно должна была считать. Изученіе малорусской народности находитъ своихъ ревностныхъ любителей и въ Галиціи, хотя ихъ было очень мало; къ этому времени относятся труды Маркіана Шашкевича (1811 — 43), Устіяновича, І. Левицкаго, Г. С. Илькевича (†1841) и др.,—первыя попытки изучить народный языкъ и дать доступное чтеніе русинскимъ читателямъ. Но самое дѣятельное время начинается для галицкой литературы съ 1848 года.

Мы не будемъ разсказывать подробностей политическаго и національнаго движенія, происшедшаго тогда въ Галицкой Руси. Достаточно сказать, что Галичане съ великимъ восторгомъ приняли конституцію, обѣщавшую имъ національную равноправность съ Поляками, которые еще оставались по прежнему гнетущимъ высшимъ классомъ населенія, и представительство на сеймѣ, которое могло указывать и защищать права Русиновъ. Непосредственно послѣ объявленія конституціи Русины собрали во Львовѣ «головную раду» т. е. главный совѣтъ, который долженъ былъ опредѣлить желанія и охранять свободу народа. Программа его говорила слѣдующее:

„Чувствомъ народности напоени, и въ томъ намѣренцю собралисьмося, мы Русини, котрымъ добро и щастье народу на сердци, и будемъ дѣлати въ способъ наступающій:

а) Первымъ заданьемъ нашимъ буде заховати вѣру и поставити на ровни обрядокъ нашъ и права церкви и священниковъ нашихъ съ правами другихъ обрядковъ.

б) Розвивати и взносити народность нашу во всѣхъ еи частехъ: выдосконаленьемъ языка нашого, запровожденьемъ его въ школахъ низшихъ и вызшихъ, выдаваньемъ письмъ часовыхъ, утримованьемъ кореспонденцій съ письменными такъ нашими, якъ инными до щепу славяньского належащими, розширеньемъ добрыхъ и ужиточныхъ книжокъ въ языцѣ рускомъ, и усильнымъ стараньемъ впровадити и на ровни поставити изыкъ нашъ зъ инными въ урядахъ публичнихъ и т. д.

в) Будемъ чувати надъ нашими правами конституційными, розпознавати потребы народу нашого и поправленя быту нашого на дорозѣ конституційной шукати, а права наши одъ всякой напасти и оскорбленя стале и сильне хоронити.

О томъ-то всемъ васъ, братя Русини, свѣдомыхъ чинимъ, и упоминаемъ, абысте такъ, якъ доси, незломную вѣру заховали нашому найяснѣйшому цесареви и королеви конституційному Фердинанду I, въ томъ силномъ переконаню, що подъ можнымъ заступленьемъ Австріи права наши и народность наша укрѣпитися и силы свои розвинути могутъ [2]).

Русины стали открытыми поборниками правительства, отъ котораго для своей народности ждали всѣхъ благъ, и главнымъ образомъ избавленія отъ гнета и притязаній со стороны польской народности. Поляки отнеслись враждебно къ русинскому движенію, которое противорѣчило ихъ собственнымъ политическимъ планамъ, и положеніе Русиновъ было весьма затруднительно. Старая вражда народностей обнаружилась снова: событія опять раздѣлили ихъ на два противоположные лагеря. Поляки винили Русиновъ въ служеніи австрійскимъ и клерикальнымъ интересамъ, что не было конечно несправедливо; защитники Русиновъ видятъ въ ихъ способѣ дѣйствій вѣрное пониманіе своего интереса и истинную любовь къ родинѣ и свободѣ. Какъ бы то ни было, Русины, какъ Словаки, изъ чувства самосохраненія защищая Австрію, оказали ей существенную услугу и мало сдѣлали для себя: реакція упала на нихъ точно такъ же, какъ и на враговъ габсбургской имперіи.

Объявленіе конституціи, давшее свободу національнымъ стремленіямъ Русиновъ, открыло дорогу и русинской литературѣ. Въ ней вдругъ оказалась, хотя миньятюрная, но живая дѣятельность, элементы которой подготовлены были указанными выше обстоятельствами. Какъ только открылась «головная рада», основана была въ 1848 Галицко-русская *Матица*, которая вскорѣ начала свои изданія. Но положеніе дѣла было такъ безпомощно, что «соборъ ученыхъ русскихъ и любителей народнаго просвѣщенія», собравшійся во Львовѣ для учрежденія Матицы, буквально долженъ былъ начать—съ азбуки: съ опредѣленія правописанія, печатнаго шрифта и литературнаго языка. Въ то же время, когда шелъ политическій вопросъ о правахъ русинской народности, ученое общество разбирало вопросъ о грамматикѣ и языкѣ, потому что одни предлагали одно правописаніе, другіе — другое, одни хотѣли писать по церковно-славянски, другіе хотѣли чисто народнаго и т. д. Постановленія ученаго съѣзда трактуютъ о раздѣленіи

[2]) Основа 1862, апрѣль, стр. 45, прим.

гласныхъ и согласныхъ, объ удареніяхъ и окончаніяхъ. Съѣздъ постановилъ наконецъ учрежденіе Матицы, которая должна была «различніи добри и ужиточніи руски книги печатати и оныя рускому народови по найменшой цѣнѣ подавати».

Такъ началась русинская литература. По одной довольно отчетливой библіографіи этой литературы, съ 1837 до 1862 вышло до 250 галицкорусинскихъ книгъ—большую часть ихъ составляютъ маленькія брошюрки, букварн, грамматики, дѣтскія книжки, «набожныя пѣсни», поздравительныя и другія торжественныя стихотворенія. Гораздо меньшая доля представляетъ нѣсколько серьезный интересъ: мы постараемся указать болѣе любопытное. Цифра книгъ въ упомянутой библіографіи можетъ быть не полна, но она даетъ все-таки понятіе объ объемѣ этой литературы.

Непосредственно послѣ объявленія конституціи, основанъ былъ журналъ «Зоря Галицка» (1848—1857; въ 1860 въ видѣ альманаха) — важнѣйшій изъ галицкихъ журналовъ, посвященный галицкой старинѣ, исторіи, литературѣ и защитѣ народныхъ интересовъ и выходившій подъ разными редакціями, между прочимъ Гушалевича, Дѣдицкаго и Савчинскаго. «Зоря Галицка» была выраженіемъ общественнаго мнѣнія русинской Галиціи и заключаетъ много матеріаловъ для изученія русинскихъ дѣлъ и національнаго движенія. Кромѣ того издавались: «Семейная библіотека» С. Г. Шеховича (1855—56), которая знакомила своихъ читателей съ галицкой исторіей и также русской литературой; «Галицкій историческій Сборникъ», издававшійся галицкой Матицей (1854—60, 3 вып.); «Отечественный Сборникъ» В. Зборовскаго; альманахъ «Перемышлянинъ» и нѣк. друг. Почти всѣ эти изданія главнымъ образомъ посвящены были изученію галицкой народности, старой и новой исторіи, другихъ славянскихъ литературъ, и особенно русской и малороссійской. Галицкіе издатели перепечатывали повѣсти Основьяненка, «Мичмана Поцѣлуева», «Солдата Перфильева», стихотворенія Хомякова и т. п. Тѣмъ въ сущности и ограничивалось ихъ знаніе русской литературы.

Собственная дѣятельность галицко-русинскихъ писателей была посвящена исключительно своей народности: они защищали ея права во время революціи, изучали исторію и народный бытъ, старались установить литературный языкъ и грамматику, писали элементарныя книжки и стихотворенія въ «набожномъ» или по старинному торжественномъ вкусѣ. Значеніе ихъ исключительно и узко мѣстное. До 1848 русинская книжка была большой рѣдкостью, и едва ли не одна *Русалка Днѣстровая* (Пестъ, 1837), изданная нѣсколькими молодыми русинскими любителями, да еще «Галицкія приповѣдки и загадки», собранныя Григ. Илькевичемъ (Вѣна, 1841), помнятся еще изъ книжекъ прежняго времени. Мы назовемъ наиболѣе извѣстныхъ новыхъ писателей. Я. Ѳ. Головацкій, профессоръ русской словесности во львовскомъ университетѣ и наиболѣе дѣятельный изъ галицкихъ писателей и патріотовъ, издалъ «Граматику Руского языка»,

Львовъ 1849; «Три вступит. предподаванія о руской словесности», 1849; «Розправу о языцѣ южно-рускомъ и его нарѣчіяхъ», 1849; «Историческій очеркъ основанія Галицко-Русской Матицѣ», 1850; «Очеркъ старославянского баснословія», 1860; «Начало и дѣйствованіе львовского ставропигійского братства», 1860, и проч. и наконецъ обширный сборникъ галицкихъ пѣсенъ, издаваемый г. Бодянскимъ въ Чтеніяхъ Моск. Общества (1863—64). Другой Головацкій, Иванъ, издалъ «Вѣнокъ Русинамъ на обжинки» (Вѣна, 1846—47, 2 ч.) и «Пѣніе радостнаго Голоса Государю Николаю Павловичу, императору *всеи Руси*» (1845, изд. 1848). Первую русинскую грамматику составилъ Іосифъ Левицкій (1801—1860), издавшій также нѣсколько другихъ элементарныхъ книжекъ и затѣмъ «Баллады Шиллера» (Перемышль, 1839—44). Ник. Устіяновичу принадлежитъ изданіе «Галичо-рускаго Вѣстника» 1849, и «Поэзіи» (ч. 1, Львовъ, 1860). Иванъ Гушалевичъ издавалъ въ 1849 во Львовѣ «Новины» и въ 1851 «Зорю Галицкую», въ 1861 напечаталъ сборникъ своихъ стихотвореній («Поэзіи» І.Г., Львовъ, ч. 1). Богданъ Дѣдицкій, авторъ поэмъ «Конютій» (1853) и «Буй-Туръ Всеволодъ, князь Курскій» (1860), вообще плодовитый поставщикъ стихотвореній на торжественные случаи, написалъ также разсужденіе «О неудобности латинской азбуки въ письменности рускои» (Вѣна, 1859) и «Споръ о русскую азбуку» (Львовъ, 1859) и разныя журнальныя статьи. Игнатій Галько описывалъ «Народныи звычаи и обряды зъ-надъ Збруча» (2 ч., Львовъ, 1861—62). Духовными сочиненіями и проповѣдями извѣстны М. Малиновскій, Ив. Гушалевичъ, Гр. Гинилевичъ, Ст. Мустяновичъ, А. Радолинскій и проч.

Русинская литература и въ настоящее время еще не установилась вполнѣ ни относительно литературныхъ формъ и языка, ни азбуки. Вопросъ объ азбукѣ представляетъ еще возможность для споровъ, въ которые замѣшивается національный интересъ и даже политическая интрига. Съ 1848 года русинскіе писатели-патріоты пользуются исключительно кирилловской азбукой церковнаго и гражданскаго шрифта. Прежде, до 1848 года, въ русинскихъ книгахъ, которыя были тогда рѣдкостью, показывалась и латинская азбука польскаго правописанія, — такъ употребляли ее напр. Тимко Подура, Вацлавъ изъ Олеска, Вагилевичъ, Лозинскій и даже І. Левицкій. Но съ 1848, вмѣстѣ съ разгаромъ національныхъ стремленій вошла окончательно и національная азбука — Лозинскій, Левицкій, Вагилевичъ возвратились къ ней,—польская азбука была оставлена и потеряла кредитъ, потому что до извѣстной степени сближала читателя и съ чисто-польской книгой въ ущербъ національному интересу азбуки. Въ послѣдне годы польская азбука начала появляться снова, и, какъ говорятъ, это событіе не лишено было политическаго оттѣнка. Не смотря на установившееся съ 1848 года употребленіе кирилловской азбуки, которое служило «доказательствомъ потребъ и общей воли народа» по словамъ русинскихъ патріотовъ, нѣкто Левъ Венглинскій издалъ польскимъ правописаніемъ цѣлую книгу:

«Nowyi poezyi maloruskii» (3 ч., Львовъ и Перемышль, 1859), по словамъ его, «на чистомъ языкѣ Червоно-русиновъ»: эта книга въ глазахъ русинскихъ патріотовъ была цѣлой анти-національной программой и Дѣдицкій счелъ нужнымъ формальное опровержeніе въ упомянутой нами книжкѣ «О неудобности латинской азбуки»... Къ сожалѣнію, мы не имѣемъ теперь подробностей этого національнаго спора объ азбукѣ.

Новая австрійская конституція и послѣднія событія вызвали новую дѣятельность русинской литературы. Новымъ органомъ галицкаго патріотизма явилось львовское «Слово», которое и теперь руководилось тѣми же принципами, какихъ держались Русины во времена австрійской революціи. Приверженность къ австрійскому «отечеству» продолжаетъ прискорбнымъ образомъ запутывать ихъ патріотическія стремленія.

Размѣры галицкой литературы весьма не велики, уровень ея также очень не великъ—въ суммѣ она ограничивается элементарными книжками, первыми попытками изученія народности, языка, исторіи; ея панславянское знаніе литературы родственныхъ племенъ, напр. относительно Русскихъ ограничивается, какъ мы уже замѣчали, перепечаткой Основьяненка, Даля, Майкова и другихъ писателей той же силы; литературные вкусы стоятъ еще на Клауренѣ и торжественныхъ одахъ. Но при всемъ томъ, представители этой литературы питаютъ широкія ожиданія, которыя раздулъ проникшій къ нимъ панславизмъ. Они прилагаютъ къ своему народу панславянскіе принципы, ссылаются на Шафарика и вмѣстѣ съ нимъ на Шевырева, и надѣются не только избавленія отъ всѣхъ золъ, но и блестящаго будущаго. Головацкій заключаетъ свои вступительныя лекціи о русинской словесности слѣдующимъ образомъ:

«Галицкіи Русине, якъ нынѣ видитъ ся, маютъ презначенье, въ крузѣ соплеменныхъ словяньскихъ народо̂въ розвинути свою родиму словесно̂сть, своє питоме житьє, поповнити тую розгрань, яка меже Словянами *безъ нихъ* появляє ся, вплывати на образованьє мильоно̂въ свого племени и переносити европейске просвѣщеніє тихимъ розвоємъ на весь южно-русскій наро̂дъ». Жаль только, что Русины еще плохо исполняютъ эту программу и что ихъ передовые политики не разберутъ пока и своихъ собственныхъ національныхъ отношеній [3]).

Съ національнымъ движеніемъ соединилось въ Галиціи, какъ и вездѣ въ славянскихъ земляхъ, стремленіе къ изученію народности, народной поэзіи, старины и преданій. Начинается прилежное собираніе народныхъ пѣсенъ. Первымъ такимъ собирателемъ былъ для Галиціи извѣстный славянскій археологъ Зоріанъ Доленга-Хо̂даковскій, который еще въ началѣ нынѣшняго столѣтія предвидѣлъ много вопросовъ, занявшихъ потомъ важное мѣсто въ

[3]) Это до извѣстной степени указано въ статьѣ о «Національной безтактности».

славянской національной археологіи; онъ между прочимъ обратилъ вниманіе польскихъ ученыхъ и на важность изученія народныхъ пѣсенъ польскихъ и русскихъ, и собиралъ ихъ, хотя впрочемъ и не успѣлъ издать своего сборника. По его примѣру начинаютъ составляться другіе сборники русинскихъ пѣсенъ, и образчики ихъ вошли въ собранія Челяковскаго и Максимовича. Затѣмъ первое обширное собраніе русинскихъ пѣсенъ, долго остававшееся лучшимъ, издалъ Вацлавъ изъ Олеска (Pieśni Polskie i Ruskie ludu galicyjskiego, полож. на музыку К. Лицинскимъ, Львовъ, 1833). Своей латинской азбукой изданіе Вацлава изъ Олеска не понравилось Русинамъ, но тѣмъ не менѣе оно произвело свое впечатлѣніе въ Галиціи, потому что сборникъ открывалъ въ первый разъ все богатство народнаго творчества, льстившее и помогавшее національному чувству. Далѣе, до 50-ти пѣсенъ напечатано было въ упомянутой нами «Русалкѣ Днѣстровой». Затѣмъ явилось новое обширное изданіе пѣсенъ, которое приготовилъ Жегота Паули (Pieśni ludu Ruskiego w Galicyj, 2 т., Львовъ, 1839—40); числомъ пѣсенъ это изданіе превышаетъ даже книгу Вацлава изъ Олеска, но далеко не можетъ равняться съ нимъ достоинствомъ редакціи, потому что Жегота Паули бралъ свои пѣсни изъ готовыхъ собраній, не довольно критически обращался съ своими источниками и даже иногда приписывалъ Русинамъ такія вещи, которыя имъ вовсе не принадлежатъ. Въ упомянутыхъ выше «Народныхъ звычаяхъ» И. Галька (Львовъ, 1860) помѣщены пѣсни свадебныя, «гаивки», которыя поются при играхъ и проч. Сборникъ Илькевича мы уже назвали выше. Кромѣ того, многіе другіе изъ галицкихъ писателей и патріотовъ,—напр. І. Лозинскій, М. Шашкевичъ, Ив. Вагилевичъ, Ив. Бѣрецкій, Ив. Гушалевичъ,—также собирали пѣсни, печатали ихъ въ журналахъ, альманахахъ, передавали въ другія собранія и проч. Изъ Угорской Руси нѣсколько пѣсенъ напечаталъ священникъ Михаилъ Лучкай въ своей «Grammatica Slavo-Ruthena» (Пестъ, 1830), затѣмъ г. Срезневскій и др. Новѣйшій, наиболѣе обширный и замѣчательный сборникъ русинскихъ пѣсенъ составленъ былъ названнымъ выше Як. Головацкимъ. Это—«Народныя пѣсни Галицкой и Угорской Руси, собраніе, составленное Я. Ѳ. Головацкимъ, и изданное О. М. Бодянскимъ» (въ «Чтеніяхъ», 1863—64).

Что касается до положенія русинской пѣсни въ народѣ, эти пѣсни, какъ мы видѣли, долго жили только памятью народа и только въ новѣйшее время нашли своихъ собирателей. При всемъ томъ, хотя забытыя теперь образованнымъ обществомъ, онѣ сохранились цѣлой обширной массой. Какъ и вездѣ, гдѣ народная пѣсня не была закрѣплена въ древности письменными памятниками, мы видимъ въ современной русинской пѣснѣ произведеніе весьма разнородное, иногда весьма древнее и даже языческое по основѣ, но сильно передѣланное подъ вліяніемъ христіанства и позднѣйшей исторической жизни, иногда новое, создавшееся подъ новыми условіями народнаго быта. Нѣкоторыя русинскія пѣсни, напр. обрядныя, напо-

минаютъ о древнѣйшей миѳической старинѣ, какая рѣдко можетъ быть указана въ пѣсняхъ другихъ славянскихъ племенъ; именно космогоническія представленія карпатскихъ колядокъ имѣютъ несомнѣнный интересъ для славянской языческой миѳологіи. Но затѣмъ русинская пѣсня подверглась общему историческому процессу, потерѣ древнихъ подробностей содержанія и древней формы, и появленію новыхъ.

Въ литературной исторіи онѣ не имѣли никакого значенія. Когда образованный классъ принялъ наконецъ и чужую литературу, онѣ не могли найдти мѣста въ книгѣ и дать содержаніе литературной поэзіи. Тѣмъ не менѣе народная поэзія Русиновъ еще сохраняла свою жизненность въ народѣ и имѣла свою прелесть даже для тѣхъ, кто оставилъ самую русинскую народность для польской. Головацкій такъ характеризуетъ это прежнее и нынѣшнее отношеніе русинской пѣсни:

«Собраніемъ пѣсенъ до новѣйшаго времени никто не занимался, хотя въ пѣсенникахъ набожныхъ иногда попадаются и пѣсни простонародныя свѣтскія. Впрочемъ, сборниковъ такихъ не встрѣчается старше 17-го вѣка, и то на языкѣ славяно-польско-русскомъ. Не смотря на отсутствіе всякой творческой искры въ этихъ виршахъ, онѣ переходили изъ рукъ въ руки, благодаря охотѣ до пѣсенъ и пѣнія. Въ тѣ времена все пѣло, или слушало пѣніе. Самые вельможные, не смотря на измѣну народу и вѣрѣ его, охотно держали у себя бандуристовъ, которые распѣвали козацкія думы, думки и разныя пѣсни. Съ этими-то южно-русскими господами перешли и въ Галицкую Русь многія былевыя и бытовыя пѣсни изъ Украйны обѣихъ сторонъ Днѣпра, освѣжающія и поддерживающія доселѣ народный духъ Червоно-руссовъ. Самое духовенство русское, какъ извѣстно, благопріятствовало и благопріятствуетъ пѣсенности своего народа, чѣмъ, по признанію даже польскихъ писателей, превосходитъ оно духовенство польское и вообще католическое.... Дьячки, дѣти священниковъ и вообще причта церковнаго, ихъ учни, всегда были и есть большіе охотники къ пѣнію, пѣли и поютъ, сколько собственныя стиходѣлія, столько же и пѣсни народнаго творчества. По крайней мѣрѣ еще въ недавнее время не обходилось ни одно пиршество у духовныхъ и свѣтскихъ, горожанъ, чиновниковъ, дворянъ, безъ русскихъ пѣсенъ; да и вообще по вечерамъ города и села представляли собой, особливо въ лѣтнее время, какъ бы одинъ огромный хоръ пѣвцовъ и пѣвицъ: все пѣло и распѣвало. Говорю, пѣло и распѣвало, потому что въ нынѣшнее время каждый, кто только сколько нибудь помазался школой, скорѣе затянетъ какую ни есть арію изъ оперы, или куплетъ водевильный, чѣмъ русскую пѣсню, либо же молчитъ, словно Нѣмецъ; разумѣется, exceptis excipiendis, особливо что касается до простаго народа. Здѣсь все еще, слава Богу, по старинѣ: нравы, обычаи, обряды, преданія, вѣрованія и пѣсенность не выводятся, и не выведутся, пока Русь останется Русью, кто бы что тамъ ни говорилъ и ни дѣлалъ. Не напрасно же испоконные сосѣди наши, Поляки, называютъ насъ «упрямой Русью» (uparta Ruś). Да и

зимой молодежь обоего пола поетъ на своихъ «вечорницяхъ и досвѣткахъ» (посидѣлкахъ), при забавахъ, играхъ, праздникахъ, самыхъ работахъ, не говоря уже объ обрядахъ, особливо свадебныхъ. Въ особенности женщины строго смотрятъ, чтобы на нихъ все было «по старовинѣ, якъ съ давныхъ давень бувало», чтобы «то, що не за насъ настало,—какъ говорятъ онѣ,—не черезъ насъ и перестало». Даже тамъ, гдѣ смѣшанное населеніе, Русскіе и Ляхи, послѣдніе на свадьбахъ весьма часто поютъ пѣсни русскія, приглашаютъ нарочно ихъ спѣвакъ (пѣвцовъ и пѣвицъ), не только для пѣнья, но и чтобъ показали и научили ихъ, какъ это тамъ водится у Руси, какъ Русь, напримѣръ, отправляетъ «закладчину хаты», справляетъ «весѐлье» (свадьбу); нерѣдко, кромѣ своего ксёндза, приглашаютъ и попа, чтобы онъ «и хату посвятивъ, и панахиду одправивъ, и души померших помянувъ» и т. д.

Ходаковскій приписываетъ русскому галицкому духовенству большую заслугу въ сохраненіи народности, и замѣчаетъ, что русскія мѣстности въ Галиціи вообще несравненно больше сберегли старыхъ преданій, откуда онъ и научился имъ. Вліяніе малорусскихъ бандуристовъ произвело любопытный фактъ присвоенія чужаго, хотя и родственнаго эпоса,—перенесеніемъ въ Галицкую Русь пѣсенъ Руси Днѣпровской.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

ЧЕШСКОЕ ПЛЕМЯ.

Въ чешской литературѣ [1]) мы въ первый разъ встрѣчаемся съ дѣятельнымъ и блестящимъ вмѣшательствомъ славянскаго племени въ судьбы европейской цивилизаціи. Этотъ интересъ ея такимъ образомъ высказыва-

[1]) Общія сочиненія: Палацкій, Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě (до конца 15-го в.), v Praze 1848 — 60, 6 т. (Есть и нѣмецкое изд.); — V. Tomek, Dějiny kralovství českého, Praga 1850;—Sommer, Das Königreich Böhmen etc. Prag 1833—34, 12 т.;—Chojecki, Czechia i Czechowie, Berlin 1847, 2 т.;—Čechy, země a národ (изд. «Науч. Словн.». Ригера), v Praze 1863;—Jireček, Slovanské právo v Čechách a na Moravě, v Praze 1863—64;—J. Jungmann, Historie literatury české aneb soustavný přehled spisů českých s krátkou historií národu, osvicení a jazyka, v Praze 1825, 2-е изд. 1849;—Al. Šembera, Dějiny řeči a literatury československé. Věk starší, Вѣна 1858, 2-е изд. 1859. Věk novější, Вѣна 1861 (вып. 1);—Sabina, Dějepis literatury české, 9 вып., Прага 1860—64.

По языку и старинѣ: Er. Wocel, Böhmische Alterthumskunde, 1845;— I. Добровскій, Lehrgebäude der böhm. Sprache, Prag 1819; Gesch. der böhm. Sprache und ältern Literatur, Prag 1818;—Vybor z literatury české, т. 1-й, до 15 вѣка, изд. Шафарикомъ Прага 1845; т. 2-й, со временъ Гуса, изд. Эрбеномъ, 3 вып., 1857 — 64 (при первомъ томѣ—І. Шафарикъ, Počátkové staročeské mluvnice, 1845); — V. Zikmund, Skladba jazyka českého, v Litomyšli a v Praze 1863; — Словари Іордана, Конечнаго Шумавскаго, но особенно І. Юнгманна, Slovník česko-německý, Прага, 1835—1839, 5 т. (Челяковскій, Dodavky do slovn. Jungm. Прага, 1851);—Шафарикъ и Палацкій, Die ältesten Denkmäler der böhm. Sprache: Libuša's gericht, Evang. Ioannis etc. Prag 1840;—І. Шафарикъ, Die Königinhofer Handschr. (предисл. къ Gedichte aus Böhmens Vorzeit, гр. Туна, Prag 1845;)—V. Nebeski, Kralodvorský Rukopis, Пр. 1853;—Ганка, изданія Реймск. евангелія; глагол. отрывковъ; Далимиловой Хроники; Краледворской рукописи; его же Starobylá Skládanie, v. Pr. 1817—24, 7 вып.;—Jireček, J. und Herm., Die Echtheit der Königinh. Handschr., Prag 1862;—Палацкій, Würdigung der alten böhm. Geschichtsschreiber, Prag 1830; Archiv český, v. Pr. 1840—46, 4 т.;—Časopis Českého Museum, изд. съ 1827, представляетъ много изслѣдованій о чешской и друг. слав. литературахъ;—Feifalik, Untersuchungen über die altböhmische Vers-und. Reimkunst (въ Sitzungsb. вѣнской акад. 1859); — Rozbor staročeské literatury, v Pr. 1842;—W. Wattenbach, Die slawische Liturgie in Böhmen und die altrussische Legende von heiligen Wenzel. Breslau 1857;—J. Hanuš, Die lateinisch-böhmische Osterspiele des 14—15 Jahrh. Prag. 1863.

О Моравіи: Pilar et Moravetz, Moraviae historia, Brun. 1785—87, 3 т.;—Gebhardi, Geschichte des Reichs Mähren, Halle 1797.

етъ чужой наблюдатель—извѣстная американская писательница о Славянахъ, г-жа Тальви: «Изъ всѣхъ славянскихъ языковъ, одно чешское нарѣчіе и его литература могутъ возбудить болѣе общій интересъ въ сердцѣ читателя. Не столько впрочемъ своимъ характеромъ, въ которомъ оно мало отличается отъ другихъ славянскихъ нарѣчій, сколько тѣми замѣчательными обстоятельствами, которыя, во мракѣ выродившагося романизма, сдѣлали чешскій языкъ—за исключеніемъ голоса Виклефа — первымъ органомъ истины. Вліяніе Виклефа, какъ впрочемъ оно ни было велико и рѣшительно, тѣмъ не менѣе ограничивалось богословами и писателями того времени; его голосъ не нашелъ того отвѣтнаго отклика въ простомъ народѣ, который одинъ можетъ дать жизнь отвлеченнымъ ученіямъ. Въ Чехіи въ первый разъ эта искра блеснула живымъ пламенемъ, которое черезъ сто лѣтъ распространило освѣщающій огонь по всей Европѣ. Имена Гуса и Іеронима Пражскаго не могутъ погибнуть никогда, хотя меньшій успѣхъ сдѣлалъ ихъ менѣе извѣстными чѣмъ имена Лютера и Меланхтона. Ни на одномъ языкѣ въ мірѣ Библія не была изучаема съ большей ревностью и благочестіемъ; ни одинъ народъ не былъ такъ готовъ запечатлѣть своею кровью свои права на слово Бога. Долгая борьба Чеховъ за свободу совѣсти и ихъ окончательное паденіе представляютъ одну изъ самыхъ поражающихъ трагедій, какія только можно найдти въ человѣческой исторіи». Эти слова совершенно справедливы. Но и кромѣ того широкаго всемірно-историческаго интереса, который заставляетъ сосредоточивать всю важность чешской литературы на эпохѣ Гуса и гусситовъ, для насъ имѣетъ большую занимательность и предыдущій періодъ, бывшій приготовленіемъ гусситской трагедіи. И здѣсь чешская литература выходитъ изъ ряда другихъ славянскихъ литературъ блестящимъ поэтическимъ развитіемъ: правда, оно оставило не много памятниковъ, но эти памятники отличаются замѣчательными достоинствами. Наконецъ и въ новомъ движеніи южныхъ и западныхъ славянскихъ литературъ, ознаменовавшемъ конецъ прошлаго и нынѣшнее столѣтіе, чешская литература шла впереди, какъ образецъ и руководство.

Прежде, чѣмъ мы приступимъ къ изложенію самыхъ фактовъ этой любопытной литературы, мы припомнимъ главнѣйшія черты чешской исторіи, которыя объясняютъ и самое положеніе литературы въ ея разные періоды. Не останавливаясь на баснословныхъ временахъ Боіевъ и Маркоманновъ, первыхъ обитателей чешской земли, мы скажемъ только, что Чехи и соплеменники ихъ Моравапе являются несомнѣнно на своихъ нынѣшнихъ мѣстахъ съ 5—6-го столѣтія, послѣ гуннскаго нашествія. Преданіе разсказываетъ о предводителѣ ихъ Чехѣ, разсказываетъ потомъ о миѳическомъ Крокѣ и дочери его княжнѣ Любушѣ, которая выбрала себѣ мужемъ простаго поселянина Премысла, родоначальника княжеской и королевской династіи Премысловцевъ. Христіанство появляется у Чеховъ и Моравапъ еще съ первой половины 9-го столѣтія: въ 836 г. въ Нитрѣ была освящена христіанская церковь, въ 845 четырнадцать чешскихъ пановъ уже крести-

лись въ Регенсбургѣ, но настоящее введеніе христіанства начинается только съ призванія Кирилла и Меѳодія княземъ Ростиславомъ моравскимъ, который хотѣлъ этимъ освободиться отъ церковнаго вліянія Нѣмцевъ; въ 873—874 чешскій князь Боривой крестился также у св. Меѳодія. Такимъ образомъ въ Чехіи и на Моравѣ господствовали два обряда: византійско-славянскій и нѣмецко-латинскій; но первый не былъ достаточно силенъ уже по одной отдаленности отъ Византіи, а паденіе Моравскаго царства въ Паннонiи, разрушеннаго Венграми, дало окончательный перевѣсъ нѣмецко-латинскому элементу. Въ то же время Чехія подпала съ 10-го вѣка феодальной зависимости отъ нѣмецкихъ императоровъ и съ тѣхъ поръ вмѣшательство нѣмецкаго элемента становится въ Чехіи постояннымъ. Борьба съ нимъ и защита національныхъ началъ дѣлается однимъ изъ существенныхъ вопросовъ всей чешской исторіи. Мы увидимъ въ чемъ состояли подробности этого вопроса. Преобладаніе латинской церкви кончилось совершеннымъ упадкомъ славянскаго богослуженія и кирилловской письменности въ Чехіи: Сазавскій монастырь въ 1096 г. сдѣлался окончательно латинскимъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ теченіе 12-го и 13-го столѣтій начинаются и другіе признаки нѣмецкаго вліянія. До 1126 года (Собѣславъ I) придворные и земскіе порядки удерживали вполнѣ славянскій характеръ. Полная побѣда латинскаго духовенства была уже первымъ началомъ обнѣмеченія: чѣмъ дальше, тѣмъ больше въ чешскомъ обществѣ является стремленіе ввести тѣ привиллегіи и исключительныя права (иммунитеты), которыя составляли характеристическую черту нѣмецкаго феодализма, и отъ духовенства, руководившагося въ этомъ случаѣ обыкновеннымъ духомъ касты и властолюбіемъ, это стремленіе переходитъ и къ владѣльческому сословію. Политическія связи съ Нѣмцами, участіе въ крестовыхъ походахъ и нѣмецкихъ феодальныхъ войнахъ, еще болѣе усиливали вліяніе нѣмецкихъ нравовъ и политическихъ учрежденій: король *Вацлавъ I* (1230 — 53) былъ уже сознательнымъ германизаторомъ своей страны, по крайней мѣрѣ искренно былъ преданъ нѣмецкимъ нравамъ. Король и дворъ приняли не только нравы и обычаи, но даже нѣмецкій языкъ и литературу; сильнѣйшіе паны перенимали вкусы двора и уже начали давать нѣмецкія имена своимъ замкамъ; привиллегіи и иммунитеты въ нѣмецкомъ смыслѣ стали щедро раздаваться не только дворянамъ, но и городамъ; города устроивались на нѣмецкій ладъ не только для переселявшихся въ Чехію и Моравію Нѣмцевъ, но и для туземнаго населенія.

Тѣмъ не менѣе въ періодъ до 1253 г. въ Чехіи все еще преобладали славянскіе порядки. Съ этой поры, со вступленія на престолъ *Премысла Отакара II*, въ чешскомъ королевствѣ начинается положительное преобладаніе феодальныхъ учрежденій и нѣмецкихъ нравовъ. Правда, Чехія достигла въ это время высокой степени внѣшней силы, но внутреннія славянскія начала земли сильно пострадали отъ этого знаменитаго короля Чехіи. Желая поддержать королевскую власть противъ богатой и опасной по-

литически аристократіи, Отакаръ настроилъ новыхъ городовъ и крѣпостей, и населилъ ихъ по большей части нѣмецкими колонистами и преданными людьми изъ низшаго дворянства и народа. Король отдалъ даже цѣлые края Чехіи Нѣмцамъ, которымъ покровительствовалъ вообще, и между прочимъ какъ горнымъ промышленникамъ, доставлявшимъ ему большія денежныя богатства. Съ того времени начинается отдѣльное городское сословіе; феодальные порядки распространялись; судебная власть земства перенесена къ королю. Всѣ эти и подобныя мѣры подрывали старый славянскій бытъ и давали все больше мѣста нѣмецкимъ учрежденіямъ,—хотя, собственно говоря, Отакаръ никогда не былъ врагомъ своей чешской народности. Нѣкоторые изъ сильныхъ пановъ противились иногда стремленіямъ Отакара, но дѣлали это вовсе не для сохраненія народнаго духа. Политическое значеніе Чехіи возрастало иногда въ эту пору до весьма обширныхъ размѣровъ: она пріобрѣтала (и потомъ опять теряла) съ одной стороны Австрію, Штирію, Хорутанію и приморскія земли до Тріэста, съ другой Саксонію, Краковъ и даже Польшу: это политическое положеніе, среди запутанныхъ феодальныхъ и династическихъ распрей, было иногда несчастливо для нея, но иногда ставило ее на высокое мѣсто между европейскими государствами, и, главное, втягивало въ феодальную жизнь, которая такъ вредно отзывалась внутри на положеніи народа.

Въ 1306-мъ году Премысловскій родъ прекратился и съ новой династіей внутренній вопросъ пошелъ еще хуже. *Янъ Люксенбургскій* навсегда остался чужимъ чешской землѣ; проводя на чужбинѣ цѣлые годы, занятый вѣчными войнами, въ которыхъ онъ помогалъ своимъ заграничнымъ пріятелямъ, Янъ приходилъ въ Чехію только тогда, когда ему нужны были деньги или войско. Привязанность его къ чешской землѣ была такъ мала, что 1318 г. разнесся даже слухъ, что онъ вздумалъ выгнать Чеховъ изъ ихъ земли и занять ее одними Нѣмцами. Народъ конечно не могъ ни любить, ни уважать власти, которая отзывалась для него только разными способами выжиманія денегъ со стороны короля, и феодальнымъ раззореніемъ отъ пановъ. Дурное впечатлѣніе, оставленное Яномъ, казалось долженъ былъ вполнѣ поправить его преемникъ Карлъ I, или впослѣдствіи императоръ нѣмецкій *Карлъ IV* (1346—1378), время котораго считается вообще одной изъ самыхъ счастливыхъ эпохъ чешской исторіи. Карлъ дѣйствительно относился иначе къ своему королевству; онъ снова привелъ Чехію въ цвѣтущее состояніе, достигая этого не тяжелыми войнами, какъ его предшественники, а благоразумнымъ управленіемъ и дипломатической ловкостью. Самъ человѣкъ хорошо образованный по своему времени, онъ покровительствовалъ наукамъ и былъ основателемъ Пражскаго университета (1348), перваго университета въ средней Европѣ, предшествовавшаго всѣмъ подобнымъ учрежденіямъ Германіи. Пражскій университетъ имѣлъ потомъ рѣшительное вліяніе на развитіе народнаго духа, и даже на историческую судьбу Чехіи: изъ него вышли люди, рѣшившіе переворотъ въ

чешской жизни въ началѣ 15-го столѣтія. Искусства, промышленность, торговля чрезвычайно оживились; самовластная аристократія была укрощена... Но вмѣстѣ съ тѣмъ усиливалось и онѣмеченіе страны, до такой степени, что самъ Карлъ увидѣлъ необходимость поддерживать чешскій національный элементъ... Чешскіе историки восхваляютъ Карла и какъ законодателя, — но, разрушая всѣ остатки стараго земскаго устройства по странѣ, и вводя вмѣсто него феодальныя отношенія и патримоніальные суды, Карлъ IV, противъ воли и самъ того не сознавая, проложилъ дорогу послѣдующему порабощенію низшихъ слоевъ населенія. Сынъ его, *Вацлавъ IV*, долженъ былъ дѣйствовать въ эпоху, когда общественные и національные элементы дошли до крайняго броженія; такая эпоха была ему вовсе не по силамъ; какъ отецъ, онъ также ревниво смотрѣлъ на притязанія духовенства и аристократіи, но не имѣлъ достаточно энергіи, чтобы совладѣть съ ними; они вынуждали его оружіемъ покоряться своей воли. Въ это же время произошла знаменитая схизма западной церкви, тотъ скандалезный споръ нѣсколькихъ папъ, который такъ сильно подорвалъ кредитъ римской іерархіи, не подорвавъ впрочемъ объема клерикальной власти. Вацлавъ неудачно вмѣшивался и въ споры имперскихъ князей. Видя свою неудачу, онъ поручилъ управленіе брату своему Сигизмунду, но и тотъ, поссорившись съ нимъ, выдалъ его австрійскимъ владѣтелямъ, у которыхъ онъ пробылъ въ плѣну полтора года. Дѣла съ папами дошли до того, что Сигизмундъ запретилъ своимъ подданнымъ повиноваться распоряженіямъ Бонифація IX. Все это какъ нельзя больше помогало усиленію общественнаго недовольства, которое ясно высказывалось еще съ конца 14-го вѣка, и Вацлаву IV пришлось быть свидѣтелемъ бури, которая должна была закончить все предыдущее развитіе враждебныхъ элементовъ, закончить борьбу оффиціальной церкви съ религіозной оппозиціей, развившейся въ обществѣ и народѣ, и борьбу феодализма съ инстинктами свободы.

Мы видѣли постепенное усиленіе нѣмецкаго элемента, которому помогали сами короли, даже патріоты какъ Отакаръ II. Связи съ Нѣмцами мало по малу усилили раздѣленіе сословій, феодальные порядки, господство однихъ и рабство другихъ; нѣмецкое устройство привело за собой сильное измѣненіе національныхъ общественныхъ порядковъ, нравовъ и обычаевъ, особенно когда короли для подкрѣпленія своей власти привлекали массу нѣмецкихъ поселенцевъ. Но все это не проходило безъ слѣда въ народномъ сознаніи; столкновеніе съ чужими началами пробуждало національную энергію, и старый демократическій духъ, благодаря вліянію образованія, началъ складываться въ дѣятельную оппозицію. Крайній упадокъ королевскаго и клерикальнаго авторитета ускорилъ развязку. Все недовольство націи, вся жизненность подавляемыхъ инстинктовъ свободы и внушенія новыхъ идей, пріобрѣтенныхъ образованіемъ, вырвались наружу въ энергическомъ народномъ движеніи. Сообразно съ духомъ времени оно приняло почти исключительно религіозную форму: началась реформа Гуса и гусситскія войны.

Мы не будемъ пересказывать подробностей этой національной трагедіи; намъ достаточно будетъ указать, въ какихъ главныхъ направленіяхъ высказалась національная борьба противъ католическо-феодальнаго порядка. Прежде всего поднялся вопросъ религіозный. Первымъ внѣшнимъ источникомъ, изъ котораго вышло новое движеніе, былъ Пражскій университетъ. Карлъ IV, и пражскіе архіепископы его времени, заботились еще прежде объ исправленіи жизни духовенства, начавшей скандализировать народъ, и поддерживали предшественниковъ чешской реформаціи, Конрада *Вальдгаузера* и *Милича* Кромержижскаго, которые уже начинали дѣйствовать на общественное мнѣніе, хотя ихъ проповѣдь относилась собственно не къ догмату, а къ христіанской дисциплинѣ. Университеты распространяли между тѣмъ въ обществѣ свои знанія и приготовляли ту обширную публику, на которую должны были дѣйствовать послѣдующіе подвижники реформы. *Матвѣй изъ Янова*, переводчикъ цѣлой библіи на чешскій языкъ шелъ уже дальше Конрада и Милича, но, собственно говоря, настоящіе реформатскія попытки открываются только съ тѣхъ поръ, какъ въ Пражской высшей школѣ нашло пріемъ и успѣхъ ученіе Виклефа. Главными поддержками его были мистръ (магистръ) *Янъ Гусъ*, деканъ и потомъ ректоръ Пражскаго университета, и его другъ Іеронимъ пражскій, чешскій дворянинъ. Университетъ два раза (1403—1408) запрещалъ ученіе Виклефа, но не могъ остановить мысли, уже поднятой одинъ разъ, и она распространилась наконецъ и въ массахъ. Гусъ возсталъ противъ папскаго авторитета не только свѣтскаго, но и церковнаго; безпорядки въ жизни духовенства, явныя злоупотребленія и неправды только помогали распространенію оппозиціи въ обществѣ и народѣ. Когда Гусъ, въ слѣдствіе папскаго проклятія, долженъ былъ оставить Прагу, ученіе его распространилось и внѣ столицы. Преслѣдованія духовной власти только усиливали броженіе, которое уже принимало широкіе размѣры; вскорѣ заговорили объ отнятіи имѣній духовенства, за тѣмъ начали отвергать авторитетъ церкви вообще. Сожженіе Гуса и Іеронима Пражскаго имѣло слѣдствіемъ только открытое возстаніе противъ духовенства. Послѣдователи Гуса отдѣлились тогда отъ церкви и внѣшнимъ образомъ, принявъ таинство причащенія подъ обоими видами (sub utraque т. е. specie; оттого—подобои, утраквисты, калишники). Теперь и Пражскій университетъ призналъ себя на сторонѣ реформы, которая овладѣла цѣлымъ обществомъ. Извѣстно, какимъ образомъ религіозный споръ кончился кровопролитными гусситскими войнами, основаніемъ Табора и учрежденіемъ новаго общества, отвергавшаго все, ненавистное ему въ старомъ. Народные инстинкты были также затронуты, потому что церковныя и политическія неустройства соединялись съ господствомъ Нѣмцевъ: въ университетѣ нѣмецкая сторона была консервативна; противъ реформы было употреблено чужое (считавшееся опять нѣмецкимъ по преимуществу) оружіе; возстаніе противъ феодализма, приведенное религіознымъ увлеченіемъ, заинтересовало опять народную массу и

національный элементъ. Народные инстинкты, затронутые серьезно одинъ разъ, уже не успокоивались до тѣхъ поръ, пока не высказались всѣ антипатіи, возбужденныя предыдущей исторіей и всѣ исканія лучшаго религіознаго и общественнаго порядка. Броженіе народной мысли выразилось, какъ и слѣдовало ожидать, множествомъ самыхъ разнообразныхъ стремленій, понятій и заблужденій: тутъ были и мирные преобразователи и восторженные утописты, приверженцы преданія и раціоналисты, терпимость и фанатизмъ, аристократія и демократія, адамитство и хиліазмъ, соціализмъ и коммунизмъ. Гусситы скоро раздѣлились, какъ бываетъ всегда, на болѣе умѣренныхъ и радикальныхъ реформаторовъ: одни довольствовались принятіемъ чаши въ обрядѣ причащенія; другіе, болѣе ревностные, окончательно отвергали всякій церковный авторитетъ, и затѣмъ положили своимъ единственнымъ закономъ священное писаніе. Среди всѣхъ заблужденій, которыя были неизбѣжны въ поднявшейся массѣ цѣлаго народа, ясно однакоже высказалось во первыхъ отвращеніе отъ испорченной церкви, во вторыхъ оппозиція противъ аристократіи и феодализма (въ своемъ собственномъ устройствѣ Табориты доходили до коммунизма), наконецъ чувство самосохраненія народности. Табориты и Сиротки прямо говорили, что они сражаются не только за вѣру, но и за народность. Нѣмцы инстинктивно поняли, что начавшееся религіозное движеніе было вмѣстѣ демократическое и національное: они или стали на сторонѣ враговъ гусситизма и гибли, или заранѣе бѣжали въ сосѣднія страны въ надеждѣ вернуться въ болѣе благопріятное время, — такъ что нѣмецкій элементъ, такъ долго и старательно вводимый, вдругъ исчезъ почти совсѣмъ изъ чешской земли, уцѣлѣвши только въ болѣе отдаленныхъ краяхъ... Но Табориты не удержались: выдержавши нѣсколько крестовыхъ походовъ чуть не съ цѣлой Европы, они не выдержали единодушія въ своихъ стремленіяхъ. Битва у Липанъ (1434), кончившая пятнадцатилѣтнюю гусситскую войну, нанесла рѣшительный ударъ всѣмъ тѣмъ начинаніямъ народа, въ которыхъ было столько чистыхъ и благородныхъ стремленій. Правленіе гусситскаго короля *Юрія Подьбрада* (1438—71), доставивши нѣкоторое спокойствіе странѣ, не могло дать прочной силы этимъ начаткамъ. Церковная реакція стала пріобрѣтать больше и больше силы уже при его преемникѣ Владиславѣ Ягеллонѣ и хотя запись Кутногорскаго сейма въ 1485 г. надолго остановила церковные споры, объявивъ свободу исповѣданія въ Чехіи, но съ другой стороны судьба народа подверглась новымъ опасностямъ. Начались внутренніе соціальные споры, борьба сословій, въ которой народу осталась послѣдняя роль. Аристократія послѣ погрома снова собрала свои силы, и съ конца того же 15-го столѣтія, которое видѣло самые рѣзкіе взрывы демократизма и равенства, открылся порядокъ вещей, приготовившій будущее окончательное порабощеніе и закрѣпленіе народа: сами подобои и «братская община» способствовали этому порабощенію, — проповѣдуя, что всякая власть идетъ отъ Бога, и поддерживая законъ, что всякій, кто

не власть, долженъ быть подъ властью, и кто не панъ, долженъ повиноваться и принадлежать пану. Споры между городами и дворянствомъ, составляющіе исторію этого времени, для насъ теперь не интересны. Порабощеніе народа произвело однако нѣсколько крестьянскихъ возстаній, но всѣ онѣ были частныя и отдѣльныя; кровопролитныя усмиренія остановили ихъ.

Съ начала 16-го вѣка Чехія на свою бѣду выбрала себѣ короля изъ габсбургскаго дома (1526), который не перестаетъ благодѣтельствовать ей и до сихъ поръ. Съ *Фердинандомъ* началось явное религіозное преслѣдованіе, несмотря на объявленную прежде свободу исповѣданія: съ развитіемъ лютеранской реформаціи, въ Чехіи появилось много лютеранъ изъ прежнихъ противниковъ католической церкви, и Фердинандъ началъ преслѣдовать ихъ и «чешскихъ братьевъ», подъ предлогомъ что тѣ и другіе не были настоящими утраквистами (которые были терпимы). Ко второй половинѣ 16-го столѣтія положеніе еще ухудшилось; благодаря распоряженіямъ габсбургскихъ королей, лютеранское населеніе, составлявшее большую массу народа, непризнаваемое оффиціально, лишенное всякой централизаціи, административной и моральной, теряло свою нравственную силу и единство. Внѣшнее положеніе общества и народа соотвѣтствовало религіозному разброду; королевскій дворъ былъ чисто нѣмецкій и короли едва выучивались немного по чешски; аристократія, всего больше католическая, окончательно принимала иноземные нравы и языкъ (нѣмецкій, испанскій, итальянскій), и пополнялась чистыми иностранцами, собиравшимися изъ другихъ владѣній габсбургскаго короля; политика, вмѣсто національной, стала чисто нѣмецкой и династической. Нѣмецкій элементъ опять явился преобладающимъ.

При всемъ томъ чешская аристократія не бросала своихъ притязаній на прежнюю власть и, въ надеждѣ выиграть, вмѣшалась въ споры короля съ его братомъ; ей удалось пріобрѣсти отъ Рудольфа признаніе «чешскаго исповѣданія» и его правъ. Разсчитывая на свою силу, аристократія и послѣ выставляла свои религіозныя требованія въ ожиданіи вліянія при дворѣ; но когда ошиблась въ этомъ, она рѣшилась стать въ открытую вражду съ габсбургскимъ домомъ, пріобрѣла союзниковъ, выбрала другаго не-габсбургскаго короля, искусственно разожгла въ народѣ религіозную ненависть, поводъ къ которой представился въ отношеніяхъ лютеранскаго населенія съ католическимъ начальствомъ, и наконецъ начала войну. Эта послѣдняя война, затѣянная изъ-за эгоистическихъ видовъ аристократіей, не поддержанная энтузіазмомъ народа, не имѣвшаго въ ней своего интереса, — была гибелью націи. Она рѣшилась однимъ пораженіемъ на Бѣлой-Горѣ, 8-го ноября 1620.

Послѣ Бѣлогорской битвы начинается окончательный упадокъ Чехіи: *Фердинандъ II* воспользовался побѣдой какъ слѣдовало ревностному католическому государю того времени. Печальная судьба Чехіи за это время до-

вольно извѣстна. Религіозная свобода пала окончательно: вслѣдъ за казнями, конфискаціей имѣній, заключеніями главныхъ зачинщиковъ, послѣдовало преслѣдованіе цѣлаго населенія; всѣ, не принадлежавшіе и не соглашавшіеся принадлежать къ католической церкви, подверглись изгнанію, — лютеранскіе и «братскіе» священники, потомъ горожане, наконецъ даже дворяне и рыцари. Эти десятки тысячъ семействъ ждали сначала, что придутъ для нихъ болѣе счастливыя времена возврата на родину, но наконецъ многочисленные чешскіе роды безъ слѣда заглохли въ земляхъ, ихъ пріютившихъ. Тридцатилѣтняя война, вслѣдъ за Бѣлогорской битвой, сдѣлавшая Чехію одной изъ главныхъ своихъ сценъ, окончательно привела страну въ упадокъ: Чехи, разоренные нравственно, были разорены и матеріально. Наконецъ, дѣло обращенія въ католичество, взятое на себя іезуитами, было исполнено ими съ обыкновеннымъ усердіемъ; масса народа забыла старое протестантство, за исключеніемъ немногихъ его послѣдователей, особенно «братскаго» толка, скрывавшихся въ тайнѣ. Чешскія «сословія» (къ которымъ прибавилось духовное) потеряли всякое участіе въ законодательствѣ; въ городахъ изчезли всѣ слѣды прежней свободы подъ гнетомъ имперскихъ судей и чиновниковъ; у всего народа отнято даже воспоминаніе о прежнемъ литературномъ развитіи — систематическимъ уничтоженіемъ чешскихъ книгъ. Образованность прежняго времени изчезла.

Въ теченіи 17-го и 18-го столѣтій чешскій народъ, почти совершенно превратившійся въ одно чешское простонародье, подчиненное высшимъ нѣмецкимъ или онѣмечившимся классамъ, жилъ почти безсознательною жизнью, потерявши всякую мысль о національной самостоятельности и свободѣ. Въ концѣ 18-го столѣтія наступили времена просвѣщеннаго абсолютизма, но *Іосифъ II*, при всей гуманности своихъ стремленій, сдѣлался начинателемъ той германизаторской системы, на которую Чехи продолжаютъ жаловаться до сихъ поръ. Съ этого времени начинаетъ дѣйствовать усиленная централизація, отнимавшая у отдѣльныхъ земель ихъ національныя отличія и подводившая ихъ подъ мѣрку вѣнскихъ канцелярій. Но попытки германизаціи вызвали однако еще разъ отпоръ со стороны націи: языкъ, изгнанный изъ школъ и управленія, нашелъ ревнителей въ нѣсколькихъ патріотахъ. Національное стремленіе удалось: съ послѣднихъ годовъ 18-го столѣтія, съ правленія Іосифа II, считаетъ свое начало новая чешская литература, ознаменовавшая возрожденіе чешскаго народа.

Таковы историческія обстоятельства, въ которыхъ развивалась чешская литература. Сообразно съ этими главными событіями народной жизни, историки чешской литературы принимаютъ обыкновенно въ ея исторіи четыре періода: древній, идущій до первыхъ началъ гусситизма (до 1403); второй, обнимающій гусситскую эпоху (до 1620); третій, періодъ паденія націи и литературы до реформъ Іосифа II (приблизительно до 1770—80); наконецъ четвертый, періодъ возрожденія, открывшійся съ послѣднихъ годовъ прошлаго столѣтія. Если гдѣ можетъ быть принято подобное разчи-

сленіе литературы по годамъ, которое вообще бываетъ такъ неестественно, то именно здѣсь оно можетъ имѣть смыслъ на томъ основаніи, что переходы націи изъ одного положенія въ другое совершались вообще довольно рѣзко и быстро,—такъ, быстро развился гусситизмъ, быстро произошло его паденіе въ 17-мъ столѣтіи.

1. Древній періодъ чешской литературы.

Мы уже сказали, что христіанство вошло въ Чехію изъ двухъ источниковъ: нѣмецкаго и византійско-славянскаго. Послѣдній приносилъ вмѣстѣ съ тѣмъ и богослуженіе на славянскомъ языкѣ; но ему не посчастливилось у Чеховъ, какъ и на Моравѣ; нѣмецко-латинское духовенство успѣло вытѣснить славянскій элементъ уже очень рано. Единственное мѣсто, гдѣ онъ пріютился, Сазавскій монастырь, въ концѣ 11-го вѣка былъ отданъ окончательно латинскимъ духовнымъ. Единственными слѣдами этого славянскаго христіанства остались: духовная пѣсня *Hospodine, pomiluj ny*, нѣсколько отрывковъ глагольскихъ рукописей и извѣстное *Реймское евангеліе*, которое именно пріурочиваютъ ко временамъ, когда еще славянское христіанство существовало у Чеховъ.

Латинская церковь была счастливѣе, тѣмъ больше, что ея усиленію способствовали и всѣ историческія обстоятельства. Впрочемъ латинская азбука была вѣроятно принята Чехами гораздо раньше: древнѣйшіе чешскіе памятники, извѣстные до сихъ поръ, писаны уже латинскою азбукой; латинская образованность у Чеховъ начинается очень рано. Но и латинское христіанство также не могло обойтись безъ народнаго языка: поэтому мы уже очень рано встрѣчаемъ памятники, какъ *Сгорѣльскіе отрывки* евангелія св. Іоанна, относимые къ 10-му вѣку.

Но еще раньше мы встрѣчаемся съ памятникомъ иного рода, который собственно и открываетъ собой исторію чешской литературы. Это—знаменитый *Любушинъ судъ* [2]), рукопись котораго относятъ къ концу 9-го вѣка, а содержаніе раскрываетъ передъ нами древнюю, до-христіанскую эпоху чешской жизни. Это древнѣйшій письменный остатокъ чешской и вообще славянской народной поэзіи: никакой другой славянскій народъ не имѣетъ столько древняго памятника, сохранившагося во всей своей первобытной простотѣ. Это произведеніе,—уцѣлѣвшее на двухъ листкахъ пергамена, пожертвованныхъ въ чешскій музей въ 1818 году,—заключаетъ въ себѣ собственно два отрывка: во первыхъ, конецъ описанія «сейма» о родовомъ управленіи, и во вторыхъ, начало Суда княжны Любуши въ спо-

[2]) Лучшее изданіе въ книгѣ Шафарика и Палацкаго: Die ältesten Denkmäler d. böhm. Spr., гдѣ помѣщенъ подробный разборъ памятника и полное fac-simile. Исторія открытія этого памятника, возбуждавшая и прежде, и въ послѣднее время много сомнѣній, недавно совершенно удовлетворительно разъяснена статьей Томка въ „Часописѣ“ чешскаго музея (нѣмецкое изд.: Die Grünberger Handschrift, Prag 1859).

рѣ двухъ братьевъ Хрудоша и Стяглава, изъ рода Тетвы Попелова, о наслѣдствѣ. Этотъ споръ и далъ поводъ къ перемѣнѣ правленія, которое Любуша уступила выбранному ей мужу, поселянину Премыслу. Шафарикъ относилъ событіе, послужившее сюжетомъ поэмы, къ началу 8-го столѣтія. «Любушинъ Судъ» отличается всей простотой и ясностью народной поэзіи и чисто эпическими чертами передаетъ событіе изъ патріархальнаго періода чешской народной жизни: жаль только, что отрывочность обоихъ сюжетовъ не даетъ намъ полной картины древняго быта.

Рядомъ съ этимъ старѣйшимъ памятникомъ могутъ быть поставлены народныя поэмы другаго замѣчательнаго памятника, не менѣе знаменитой въ славянской литературной исторіи *Краледворской рукописи*, хотя время написанія ея гораздо позднѣе, и именно относится чешскими учеными къ 1290—1310 годамъ, или нѣсколько раньше. Краледворская рукопись найдена была въ 1817 Ганкой въ городѣ Краловѣ-дворѣ (Königinhof), въ церковной башнѣ. Эта рукопись, красиво написанная на маленькихъ листкахъ пергамена, составляетъ только небольшую часть первоначальнаго сборника: именно въ ней сохранились только конецъ 25-й, 26—27-я, и начало 28-й главы *третьей* книги. Эти четыре неполныя главы заключаютъ шесть большихъ поэмъ и восемь мелкихъ пьесъ: можно поэтому судить о богатствѣ цѣлой книги, которая притомъ была конечно не единственной въ своемъ родѣ. Словомъ, Краледворская рукопись, кромѣ ея наличнаго поэтическаго седержанія, даетъ намъ угадывать цѣлую область національнаго эпоса и лирики въ чешской литературѣ до 14-го вѣка [3]). Не смотря на свой поздній вѣкъ, рукопись наряду съ поэмами болѣе поздняго времени, 11—13 столѣтій, сохранила и произведенія замѣчательной древности, которыя, какъ «Судъ Любуши», открываютъ передъ нами языческій бытъ Чехіи съ ея внутренними и національными отношеніями,—произведенія съ такимъ отпечаткомъ народно-поэтическаго творчества, что большая часть критиковъ принимаютъ ихъ прямо за самый народный эпосъ, перенесенный на пергаменъ. Это мнѣніе получаетъ тѣмъ большую вѣроятность, что короткія лирическія пѣсни Краледворской рукописи находятъ своихъ двойниковъ въ современной народной поэзіи славянскихъ племенъ, и по-

[3]) Первое изданіе Крал. рукописи, съ нѣмецкимъ переводомъ Вацлава Свободы сдѣлано было Ганкой въ 1819. Съ тѣхъ поръ повторилось до пятнадцати изданій, большею частію въ форматъ самой рукописи, между прочимъ богатая „Полиглотта". Лучшія изданія 1829, Свободы, и изданіе гр. Туна, въ Gedichte aus Böhmens Vorzeit, съ введеніемъ Шафарика и примѣчаніями Палацкаго, Прага 1845. Недавно сдѣлано полное фотографическое изданіе. Замѣчательный памятникъ, уже прежде возбудившій желчную подозрительность Копитара, въ послѣднее время снова сдѣлался предметомъ нападокъ со стороны Нѣмцевъ, которые не хотѣли допустить возможности такого поэтическаго развитія у Чеховъ въ 13-мъ столѣтіи, и выдавали Крал. рукопись за самоновѣйшую подделку. Заключительный пунктъ полемики, поднявшейся по этому поводу, есть упомянутый выше трудъ бр. Иречковъ: Die Echtheit и проч. Русскій переводъ Крал. рукописи сдѣланъ былъ Шишковымъ (Спб. 1820), Соколовымъ (Крал. рук. и Судъ Любуши. Казань 1848) и Н. Бергомъ, въ стихахъ (Москва 1846 и Прага 1852).

тому несомнѣнно перешли въ рукопись изъ устъ народа или народнаго пѣвца. Съ другой стороны не подлежитъ сомнѣнію и то, что въ другихъ своихъ памятникахъ, Краледворская рукопись обнаруживаетъ участіе искусственной поэзіи, хотя и продолжавшей оставаться въ тѣхъ же народныхъ предѣлахъ.

Указывая эти произведенія древне-чешской поэзіи по Краледворской рукописи, мы будемъ слѣдовать тому порядку, въ которомъ онѣ стоятъ по своимъ хронологическимъ отношеніямъ.

Изъ всѣхъ поэмъ ея, древнѣйшей по содержанію и складу считается *Забой и Славой*, поэма, описывающая освобожденіе Чеховъ отъ какого-то иноземнаго короля двумя героями Забоемъ и Славоемъ, — событіе, неизвѣстное изъ исторіи, но относимое не позже какъ къ 9-му столѣтію, или даже къ первой половинѣ 8-го вѣка [4]). Поэма отличается великолѣпными поэтическими достоинствами: чешская старина рисуется живыми чертами, съ энергическимъ чувствомъ народной свободы, могучими боевыми подвигами, жертвами языческимъ «богамъ-спасамъ» и съ воспоминаніями о славномъ пѣвцѣ Люмирѣ, который «словами и пѣньемъ двигалъ Вышеградомъ и всѣми областями». Внѣшняя форма поражаетъ силой выраженія и выдержанностью тона, при всей своей народности никогда не впадающаго въ ту монотонность, которая такъ часто бываетъ недостаткомъ народнаго эпоса въ его современномъ видѣ, напр. даже у Сербовъ. Другая поэма, *Честмиръ и Влаславъ*, разсказываетъ о пораженіи луцкаго князя Властислава храбрымъ Честмиромъ или Цтимиромъ, воеводой князя Неклана,— событіе, извѣстное исторически изъ Козьмы Пражскаго и другихъ чешскихъ лѣтописцевъ, и относящееся къ первой половинѣ 9-го вѣка. Поэма представляетъ ту же картину героическихъ подвиговъ и языческихъ нравовъ; несмотря на сходство сюжета, состоящаго въ разсказѣ о битвахъ, походахъ и жертвоприношеніяхъ, «Честмиръ» имѣетъ свои поэтическія особенности, которыя разнообразятъ воинственную тему этой поэзіи. Затѣмъ *Олень* (извѣстный также и по другой пергаменной рукописи, принадлежащей чешскому музею) —поэтическая картина смерти юноши, льстиво убитаго въ горахъ лютымъ врагомъ: «лежитъ юноша молодецъ въ холодной землѣ, на юношѣ ростетъ дубецъ, дубъ, раскладывается въ сучья шире и шире». Въ этомъ небольшомъ разсказѣ чешскіе критики видятъ отпечатокъ далекой древности [5]). Дальше, *Яроміръ и Ольдрихъ*,—отрывокъ безъ начала, которымъ начинаются уцѣлѣвшіе листы рукописи: здѣсь прославляется пораженіе Болеслава Храбраго, короля польскаго и освобожденіе Чеховъ отъ польскаго владычества, въ 1004 г. *Збыгонь*, небольшая пьеса, также

[4]) Небескій, стр. 191.

[5]) Поэтическій параллелизмъ и сближеніе образовъ природы съ событіемъ и чувствомъ даетъ особенную прелесть этой пѣсни, о которой говоритъ Палацкій: „Та, преимущественно свойственная славянскимъ народнымъ пѣснямъ, символика природы, въ отношеніи къ субъективнымъ моментамъ человѣческой жизни, всего сильнѣе выступаетъ въ этой пѣснѣ, и даетъ ей таинственный, мистическій тонъ“.

какъ «Олень» соединяющая эпическій тонъ съ лирическимъ, хотя и не столько первобытно-древняя, разсказываетъ о похищеніи милой у юноши: онъ тоскуетъ о ней въ лѣсу съ голубемъ, у котораго коршунъ отнялъ голубицу, но потомъ юноша бросается въ замокъ, убиваетъ «молотомъ» Збыгоня и побиваетъ всѣхъ людей въ его замкѣ. Голубка улетѣла въ лѣсъ съ голубкомъ, и освобожденная дѣвушка «ходила тамъ и здѣсь, вездѣ гдѣ хотѣла, — съ милымъ спала на одной постелѣ»:

....I letieše v les
i letieše sěmo, i letieše tamo,
se dřeva na dřevo, se svojím holúbcem,
s holúbcem spáváše na jednej větvici.
Vzradova se děva se svojím junošú
chodi sěmo tamo, vèzde kamo zechtie,
s militkým spáváše na jednom ložici.

Поэма *Бенешъ Германовъ* въ самой рукописи называется «о побитьи Саксонцевъ» и относится опять къ событію 1203 г., извѣстному исторически. Это побитье Саксонцевъ Бенешемъ (извѣстнымъ по чешскимъ грамотамъ 1197—1220 г.) произошло въ отсутствіе короля Отакара I, когда въ Чехію вторглось войско маркграфа Мейссенскаго, мстившаго за удаленіе королевы Аделаиды. «Бенешъ» уже отдѣляется отъ упомянутыхъ нами произведеній своимъ содержаніемъ и формой, которыя ставятъ его внѣ чисто-народнаго героическаго эпоса: это—историческая пѣсня со строфами, что уже обнаруживаетъ нѣкоторое вліяніе искусственной поэзіи,—но пѣсня безъ сомнѣнія современная самому событію, близость котораго чувствуется въ каждой строфѣ. Это не только описаніе «побитья», но и лирическое выраженіе радости о спасеньи отъ врага. Дальше пѣсня *Людиша и Люборъ*, озаглавленная въ рукописи «о славномъ сѣданьи», т. е. турнирѣ, описываетъ турниръ, происходившій будто бы во времена какого-то древняго князя залабскаго: но турниры были введены у Чеховъ не раньше 13-го столѣтія, и древній князь прибавленъ безъ сомнѣнія фантазіей поэта, который руководился уже вліяніемъ искусственной поэзіи, что не мѣшаетъ ему однако высказать народный патріотизмъ. Затѣмъ — одна изъ самыхъ большихъ пьесъ Краледворской рукописи, *Ярославъ*, названная въ подлинникѣ «о великихъ бояхъ христіанъ съ Татарами», относится къ извѣстной исторически побѣдѣ Ярослава изъ Штернберга надъ Татарами въ 1241, при Ольмюцѣ, — побѣдѣ, освободившей отъ Татаръ Моравію. Въ «Ярославѣ» уже окончательно нѣтъ того непосредственнаго народнаго творчества, которымъ отличается «Забой» и другія древнѣйшія пѣсни Краледворской рукописи. При всей народной основѣ преданій, «Ярославъ» не есть произведеніе народнаго поэта, но это произведеніе во всякомъ случаѣ замѣчательно, и чешскіе критики не безъ основанія утверждаютъ, что въ «Ярославѣ» народная поэзія является на вершинѣ своего искусственнаго развитія. Весь складъ поэмы, ея очевидно народные сюжеты, — разсказъ о прекрасной татарской (русской) княжнѣ Кублаевнѣ; разсказъ о побѣдѣ у Ольмюца и

гибели монгольскаго царевича; разсказъ о чудѣ на Гостинѣ, — извѣстное художественное распредѣленіе матеріала, показываютъ, что поэма была дѣломъ автора, знакомаго съ искусственными поэтическими произведеніями того времени и сознательно обдумывавшаго изложеніе своего сюжета. Въ «Ярославѣ» уже замѣтно легкое вліяніе средневѣковаго романтизма, — героическій духъ чешской старины смягчается до извѣстной рыцарской доблести, разсказъ проникнутъ христіанско-набожнымъ чувствомъ, въ которомъ уже играетъ роль романтическое почитаніе св. Дѣвы; — изложеніе не имѣетъ той яркой дикости, которая такъ поражаетъ въ «Забоѣ», и сходитъ на болѣе спокойный тонъ рыцарской поэмы. Вообще «Ярославъ» представляетъ весьма интересное и поэтическое соединеніе національныхъ элементовъ съ вліяніями западной поэзіи и культуры. Два начала, постоянно встрѣчавшіяся враждебно, соединяются здѣсь въ гармоническое цѣлое.

Намъ остается упомянуть о нѣсколькихъ небольшихъ пѣсняхъ, чтобы кончить съ содержаніемъ Краледворской рукописи. Эти пѣсни: *Вѣнокъ, Ягоды, Роза, Кукушка, Сирота, Жаворонокъ* — безъ сомнѣнія чисто народныя лирическія пѣсни, внесенныя въ сборникъ непосредственно изъ устъ народа. Эти пѣсни не рѣдко заключаютъ въ себѣ мотивы, до сихъ поръ извѣстные народной поэзіи славянскихъ племенъ, и по своей простотѣ и поэтической свѣжести стоятъ много выше современныхъ народныхъ пѣсенъ Чехіи, которыя потеряли уже многія достоинства патріархально-свѣжей народной лирики.

Таковъ объемъ замѣчательнаго Краледворскаго сборника, которымъ къ сожалѣнію почти и ограничивается все, что уцѣлѣло изъ чисто народной поэтической дѣятельности древней Чехіи. Мы можемъ отличить въ немъ нѣсколько періодовъ, пройденныхъ чешской народной поэзіей отъ эпохи, чисто языческой и быта, чисто и исключительно славянскаго, до временъ, когда и народный эпосъ началъ слегка проникаться элементами легенды (какъ въ «Ярославѣ»), когда бытъ подвергся вліянію нѣмецкихъ обычаевъ, а поэтическая дѣятельность вліянію искусственной поэзіи нѣмецкаго романтизма. Указывая содержаніе рукописи, мы отмѣтили уже рѣзкую разницу, отдѣляющую одни произведенія Краледворской рукописи отъ другихъ: между «Забоемъ» и «Ярославомъ» лежатъ цѣлыя столѣтія, не только по времени описываемыхъ событій но и по литературному развитію. — Въ какомъ же ближайшемъ отношеніи стоятъ эти произведенія къ устной народной поэзіи? Поэмы Краледворской рукописи до сихъ поръ еще не нашли полной и окончательной оцѣнки въ литературно-историческомъ отношеніи, но мы полагаемъ, что и теперь можно принять сущность выводовъ, сдѣланныхъ чешскими критиками [6]). Большинство ихъ, и Шафарикъ въ ихъ числѣ, принимаютъ, что древнѣйшія пѣсни Краледворской руко-

[6]) Труды Шафарика, Палацкаго, Небескаго и др. Иречковъ, сдѣлавшихъ всего больше для объясненія Краледворской рукописи, еще не вполнѣ разрѣшаютъ вопросъ, и первые давали еще возможность для сильныхъ придирокъ скептицизма.

писи, эпическія и лирическія, по своему духу и происхожденію принадлежатъ народной поэзіи, а никакъ не поэзіи искусственно-школьной. Въ образахъ и формахъ, языкѣ и ритмѣ эпосъ Краледворской рукописи совершенно сроденъ народному эпосу Болгаръ, Сербовъ и Русскихъ, и совершенно отличенъ отъ того школьнаго стихотворства, которое является въ позднѣйшихъ чешскихъ подражаніяхъ романтическому эпосу западной Европы. Эпическія пѣсни Краледворской рукописи безъ сомнѣнія должны были подвергаться измѣненіямъ, неизбѣжнымъ и въ устной, и въ рукописной передачѣ отъ поколѣнія къ поколѣнію, но основа ихъ и даже внѣшнее выраженіе, несмотря на то, удивительно сохранили колоритъ, который онѣ должны были имѣть въ своемъ первоначальномъ видѣ. «Забой» конечно стоитъ передъ нами въ рукописи 13-го столѣтія, и позднѣйшіе пѣвцы безъ сомнѣнія мѣняли старѣвшія формы языка, но всѣ черты его такъ характеристичны, что мы дѣйствительно видимъ передъ собою картину до-христіанскаго быта, до-христіанскихъ понятій и вѣрованій, героизма и обычаевъ, — картину съ красками древней патріархальной поэзіи. Народно-поэтическія качества древнѣйшихъ поэмъ Краледворской рукописи не подлежатъ сомнѣнію. Происхожденіе этихъ пѣсенъ относится несомнѣнно къ тѣмъ же временамъ, которыя въ нихъ описываются. Народный поэтъ говоритъ только о томъ событіи, которое памятно всѣмъ; что не отмѣчено пѣсней теперь, потомъ забывается; впослѣдствіи народная поэзія играетъ этими преданьями, смѣшиваетъ и раздѣляетъ ихъ, но первымъ поводомъ всегда бываетъ свѣжій, памятный фактъ. Такъ было и съ пѣснями Краледворской рукописи, — и если мы по былинамъ Владимірова цикла дѣлаемъ заключенія о древнѣйшихъ поэтическихъ представленіяхъ русскаго народа, то Чехи съ несравненно-бо́льшимъ правомъ могутъ изъ поэмъ Краледворской рукописи дѣлать заключенія о языческой эпохѣ своей страны [7]). Поэмы Краледворской рукописи гораздо ближе къ своему источнику.

Отъ «Суда Любуши», въ которомъ всего меньше можно подозрѣвать участіе личнаго авторства, черезъ рядъ поэмъ Краледворской рукописи мы достигаемъ постепенно уже до временъ, когда народный эпосъ изъ своей чисто народной сферы переходитъ въ область личнаго авторства. Это личное авторство, какъ мы уже сказали, замѣтно въ большей или меньшей степени въ «Людишѣ и Люборѣ», «Ярославѣ» и т. д.; «Бенешъ» вводитъ уже строфическое дѣленіе, котораго не знаетъ славянскій эпосъ; «Ярославъ» дѣлаетъ къ читателю или къ слушателю искусственное воззваніе, разсчитываетъ экономію стихотворенія и т. п., хотя въ характерѣ содер-

[7]) Присутствіе чисто-языческаго элемента въ поэмахъ Краледворской рукописи нисколько не удивительнѣе языческихъ цитатъ Слова о Полку Игоревѣ и другихъ русскихъ памятниковъ. Христіанство и у Чеховъ не вдругъ вошло въ народные нравы. Князь Бржетиславъ въ концѣ 11-го и началѣ 12-го столѣтія изгонялъ изъ страны гадателей, чародѣевъ (очевидно языческихъ) и другихъ подобныхъ соблазнителей народа, велѣлъ сжечь рощи и деревья, почитавшіяся народомъ, и вообще ревностно искоренялъ языческіе обычаи, еще крѣпко жившіе въ народѣ.

жанія остается вполнѣ вѣренъ національному духу. Въ этихъ послѣднихъ поэмахъ приготовлялось національное литературное развитіе на основаніи народно-поэтическихъ началъ, — но къ сожалѣнію, это развитіе, открывшееся такъ прекрасно, останавливается потомъ....

Чтобы заключить обзоръ древнѣйшихъ памятниковъ чешской поэзіи, намъ остается упомянуть еще двѣ небольшія пѣсни. Одна изъ нихъ, *Пѣсня на Вышеградъ* — отрывокъ, сохранившійся въ рукописи 13-го столѣтія, но какъ полагаютъ, относящійся къ древней эпохѣ, когда Вышеградъ казался еще важнѣе са́мой Праги. По отрывку трудно судить, каковъ могъ быть характеръ цѣлаго: пѣсня, начинающаяся восхваленіемъ Вышеграда, продолжается обращеніемъ къ милой и выраженіемъ любви неизвѣстнаго пѣвца [8]). Другая, *Любовная пѣсня короля Вацлава I*, принадлежитъ къ числу памятниковъ, происхожденіе которыхъ не ясно. Это чешскій отрывокъ — одной изъ трехъ пѣсенъ, извѣстныхъ въ нѣмецкомъ текстѣ, по которымъ король Вацлавъ считается въ числѣ нѣмецкихъ миннезингеровъ. Если нѣмецкія его пѣсни были оригиналомъ, то эта «любовная пѣсня» была конечно переводомъ; съ другой стороны короткость чешской пѣсни и растянутость той же пѣсни на нѣмецкомъ языкѣ давали поводъ и къ противоположному мнѣнію. Какъ бы то ни было, въ этой любовной пѣснѣ первой половины 13-го столѣтія (Вацлавъ I, 1230—1253) нѣтъ уже и слѣда народно-поэтическаго духа и склада: это явное и тяжелое подражаніе рыцарской любовной поэзіи, которая была во вкусѣ короля вмѣстѣ съ нѣмецкими нравами и обычаями, господствовавшими при его дворѣ. Неловкость языка показываетъ, что эта чужая поэзія въ то время еще плохо укладывалась въ чешскія формы [9]).

Упадокъ народной поэзіи былъ почти неизбѣженъ. Чешскіе критики относятъ обыкновенно причины его къ нѣмецкому вліянію и сваливаютъ вину упадка на Нѣмцевъ. Справедливо конечно, что усиленіе нѣмецкаго элемента должно было играть въ этомъ случаѣ важную роль; но было бы странно видѣть здѣсь только одну нѣмецкую злонамѣренность. Чешскій народный бытъ на своемъ историческомъ пути встрѣтился съ культурными началами, которыя были довольно сильны для исторической жизни. Эти культурныя начала были не чешскаго народнаго происхожденія, и встрѣтившись съ ними, Чехи должны были или принять ихъ или замѣнить другой болѣе энергической силой, — но этой силы у нихъ недоставало. Если короли призывали Нѣмцевъ, принимали нѣмецкіе обычаи, — ихъ нельзя винить въ анти-національной прихотливости, потому что они выражали только историческую необходимость. Для Чеховъ новые культурные элементы представились въ нѣмецкой формѣ, но они вовсе не были исключитель-

[8]) Издана много разъ, между прочимъ въ „Выборѣ“ изъ чешской литературы, столб. 31—32.

[9]) Издана въ Starob. Sklad. Ганки 5,220; въ изданіяхъ Краледв. рукописи, и въ „Выборѣ“, столб. 55.

но-нѣмецкіе: это были вообще культурныя начала средневѣковой Европы. Нѣмцы были только ихъ ближайшими посредниками.

Въ этомъ сознаются въ сущности и сами чешскіе историки. Одинъ изъ нихъ признаетъ правда, что латинская образованность тѣмъ вредила народному элементу, что отвлекала отъ него много дѣятельныхъ силъ, но вообще находитъ, что это латинское образованіе не только не приносило никакой большой опасности для чешской народности, но и доставляло ей многія значительныя выгоды. Латинскій языкъ не могъ стѣснить народнаго, потому что не былъ языкомъ живымъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ, какъ языкъ обработанный, принесъ богатство готовыхъ понятій, для которыхъ еще не достало бы народнаго языка... Но мирясь съ латынью, какъ средствомъ образованія, чешскіе критики должны въ сущности признать, что это средство также ставило народность на задній планъ, какъ ставили ее нѣмецкіе обычаи и нѣмецкое вліяніе, на которыя считаютъ однако нужнымъ обрушивать свой гнѣвъ и чешскіе критики, и московскіе славянофилы. Иначе и быть не могло: Славяне, не выработавшіе своей образованности, должны были подчиняться чужой, ихъ опередившей; здѣсь они подчинялись латинскому и нѣмецкому элементу, на югѣ и востокѣ — византійскому, и первобытно народныя начала — поэтическія и бытовыя — вездѣ упадали одинаковымъ образомъ.

Первымъ фактомъ, повлекшимъ за собой впослѣдствіи паденіе народнаго элемента въ чешскомъ образованіи и литературѣ, считаютъ вытѣсненіе славянскаго христіанства. Этотъ первый фактъ уже доказываетъ нами сказанное: онъ совершился въ тѣ времена, когда матеріальное давленіе Нѣмцевъ было еще весьма незначительно, даже вовсе не существовало, — такъ что фактъ остается на отвѣтственности самаго народа. Очевидно, въ ту эпоху онъ не умѣлъ защитить славянскаго элемента: преобладающая сила латинскаго христіанства не нашла въ немъ національнаго сознательнаго противодѣйствія. Когда этотъ фактъ совершился, судьба чешской культуры была рѣшена впередъ. Латинская образованность должна была расширяться болѣе и болѣе.

Первое латинское образованіе принадлежало конечно духовенству; уничтоженіемъ славянской литургіи латинскій языкъ постоянно расширялъ свою область и изъ церкви перешелъ въ суды и управленіе. По латыни писались грамоты, ученье ограничивалось латынью; собственныхъ латынщиковъ усилили еще нѣмецкіе монахи и учители [10]).

Характеръ образованія, которое доставлялъ латинскій языкъ, прежде

[10]) Къ числу древнѣйшихъ памятниковъ чешской письменности принадлежатъ между прочимъ множество Глоссъ и Словарей (замѣчательнѣйшій изъ старыхъ — Mater Verborum, списанный въ 1202 Вацерадомъ). Съ переходомъ въ 14-е столѣтіе число памятниковъ увеличивается, и мы легче можемъ слѣдить за распространеніемъ латыни: словари являются цѣлыми массами, напр. словарь Велешина, словака Розкоханаго, дальше Nomenclator, Sequentionarius, Catholicon magnum и др.; они писались наконецъ въ стихахъ какъ Bohemarius.

всего былъ церковный. Первымъ результатомъ знакомства съ латинской литературой, было развитіе легендарной поэзіи. Чешская легенда, представляемая значительнымъ количествомъ памятниковъ, не только по содержанію, но и по формѣ, была копіей чужихъ образцовъ. Въ противоположность древнему народному размѣру, съ нериѳмованными стихами, сохранявшими больше или меньше характеръ славянскаго эпическаго ритма, стихотворныя легенды писаны исключительно риѳмованнымъ стихомъ. Кромѣ прозаическихъ пассіоналовъ и житій святыхъ, начинающихся съ 14-го вѣка, чешская литература этого времени представляетъ много стихотворныхъ легендъ, того самаго характера, какой носитъ этотъ поэтическій родъ во всей христіанской западной Европѣ. Рядъ ихъ начинается съ конца 13-го столѣтія: *легенда о 12 апостолахъ, о св. Аннѣ, о св. Алексѣѣ, о св. Доротеѣ, о св. Прокопѣ, Іисусова молодость* (легендарный разсказъ о дѣтствѣ Спасителя, изъ апокрифическаго Протоевангелія Іакова); *Страданіе Спасителя, Пилатъ и Іуда, Плачъ Святой Маріи, Девять радостей Панны Маріи* и т. д. Лучшимъ изъ этихъ произведеній считается легенда *о св. Катеринѣ*, отысканная недавно въ Стокгольмѣ, куда попало много чешскихъ рукописей во время тридцатилѣтней войны. Легенда о св. Катеринѣ, написанная не раньше второй половины 13-го вѣка, отличается легкостью языка и стиха и принадлежитъ вообще къ замѣчательнѣйшимъ памятникамъ старо-чешской литературы.

Затѣмъ церковная поэзія представляетъ рядъ духовно-поучительныхъ и аллегорическихъ поэмъ и стихотвореній, писанныхъ также по извѣстной мѣркѣ западныхъ, латинскихъ и нѣмецкихъ, образцовъ, съ извѣстною моралью, и тѣмъ же риѳмованнымъ стихомъ, безъ котораго уже не могло обойтись стихотворство начиная съ 14-го столѣтія. Таковы напр. *Десять божьихъ заповѣдей*—нравоучительная поэма 14-го столѣтія, въ которой десять заповѣдей объясняются съ помощью особенно наглядныхъ описаній чорта и легкихъ, даже иногда фривольныхъ анекдотовъ, въ томъ же родѣ какъ нѣмецкіе проповѣдники для большаго интереса своихъ проповѣдей вставляли въ нихъ чисто свѣтскіе разсказы (bîspel), анекдоты и сказки. Цѣль нравоученія достигалась за-разъ двумя путями. Въ другомъ стихотвореніи: *Споръ души съ тѣломъ*, аллегорически разсказывается судьба человѣка по смерти. Послѣ должнаго предисловія о томъ, какъ должно жить въ ожиданіи смерти, передается разговоръ души съ тѣломъ. Тѣло предано роскоши, душа говоритъ ему о смерти и замѣчаетъ, что будетъ за него наказана. Тѣло умираетъ, дьяволъ ухватился за душу, взвѣсилъ ее съ грѣхами на вѣсахъ и взялъ въ адъ. Душа жалуется Божьей Матери, которая отнимаетъ ее у дьявола и молится за нее у Сына; Сынъ отдаетъ душу на судъ Правдѣ, Миру, Справедливости и Милосердію. Дьяволъ жалуется на несправедливость, но Марія и судьи заступаются за душу: Миръ обѣщаетъ ей милость отъ Іисуса, а Милосердіе вѣроятно сжалилось надъ ней, — чего впрочемъ въ рукописи недостаетъ. То же духовно-поучительное

содержаніе представляютъ слѣдующіе, болѣе или менѣе обширные разсказы и размышленія въ стихахъ: *о богачѣ*, погубившемъ свою душу; *о смертности*, отъ которой человѣкъ нигдѣ не можетъ скрыться; *о шести источникахъ* (грѣха); *о двадцати семи глупцахъ* т. е. людяхъ незнающихъ нравственности и душевнаго спасенія; *о непостоянствѣ свѣта* и т. п. (см. въ Star. Sklád. и въ «Выборѣ».)

Церковная поэзія отозвалась и духовными пѣснями. За исключеніемъ упомянутой пѣсни: *Hospodine* и пѣсни *Sv. Vaclave*, которую относятъ къ очень старымъ временамъ, можетъ быть ко временамъ самого князя (10-й вѣкъ), хотя впрочемъ она извѣстна изъ новѣйшаго списка 14-го столѣтія,—въ чешскихъ памятникахъ не сохранилось древнихъ пѣсенъ, которымъ могло бы быть приписано славянско-христіанское происхожденіе. Болѣе позднія пѣсни (образцы въ «Выборѣ», ст. 322 слѣд.) сложены по западнымъ образцамъ и почти всегда риѳмованы. — Наконецъ, 14-е столѣтіе представляетъ первый полный переводъ Библіи

Это латинское образованіе, дѣйствовавшее внѣ народныхъ бытовыхъ началъ, представляло, какъ мы замѣтили, одну сторону вліянія европейской культуры, встрѣча съ которой была для Чеховъ неизбѣжна. Другой стороной этого вліянія было появленіе въ чешской литературѣ средневѣковаго литературнаго романтизма. Какъ Чехи безсильны были противъ матеріальнаго вмѣшательства нѣмецкой націи, противъ ея нравовъ и учрежденій, входившихъ въ народный бытъ, такъ они оказались послушны и въ литературномъ отношеніи. Поэзія высказывала не разъ антипатію къ чужеземцамъ, начиная съ «Любушина Суда», говорившаго: ne chvalno nam v Němcěch iskat pravdu, и съ «Забоя», выражавшаго ненависть къ врагу, который «чужими словами приказываетъ» на чешской родинѣ; несмотря на то, чешская поэзія не устояла противъ заманчивости другой поэзіи, говорившей тѣми же «чужими словами», и въ то самое время, когда народная школа продолжала держаться національныхъ сюжетовъ и формы, другая школа съ охотой обратилась къ европейскому романтизму, приходившему вмѣстѣ съ нѣмецкими обычаями и феодальными учрежденьями. Какъ скоро Чехія не съумѣла сберечь своего древняго княжеско-демократическаго устройства, какъ скоро покорилась притязаніямъ церкви и приняла новую королевскую власть съ ея аристократической обстановкой, народное начало можно было считать побѣжденнымъ (это было въ 13-мъ вѣкѣ), — въ немъ мало было соціальной силы для отпора феодализму, и съ другой стороны не было своихъ средствъ удовлетворить зарождавшимся потребностямъ образованія. Послѣ этого вліяніе средневѣковаго романтизма становится совершенно понятно. Мы увидимъ дальше, какъ лучшіе чешскіе писатели становились проповѣдниками феодальной (не національной, поэтому) морали, и чешскіе историки не отказываются однако видѣть въ нихъ передовыхъ людей чешскаго образованія.

Итакъ, средневѣковыя романтическія поэмы (характеръ и содержаніе ко-

торыхъ мы считаемъ извѣстными читателю) пришли къ Чехамъ какъ естественное дополненіе нѣмецкихъ обычаевъ, которые уже сильно утвердились при дворѣ и въ жизни высшихъ сословій еще съ половины 13-го столѣтія. Вмѣстѣ съ турнирами, рыцарскими учрежденіями, при дворѣ чешскихъ королей явились нѣмецкіе миннезингеры. Король Вацлавъ I даже самъ, какъ мы видѣли, былъ нѣмецкимъ миннезингеромъ. Нѣмцы распространялись и не только при дворѣ; они составили значительную часть городскаго населенія [11]), такъ что вкусы нѣмецкой литературы легко могли распространиться и въ среднемъ классѣ. Къ концу 13-го столѣтія романтизмъ былъ такъ привыченъ, что въ одномъ изъ первыхъ его памятниковъ мы находимъ уже весьма законченное и оригинальное произведеніе, которое чешскіе критики считаютъ лучшимъ плодомъ своей христіанско-рыцарской поэзіи. Это была чешская обработка романтическаго сюжета объ Александрѣ. Чешская *Александреида* сохранилась только въ отрывкахъ, и хотя извѣстна въ спискахъ 14-го столѣтія, считается произведеніемъ конца 13-го вѣка, слѣдовательно современнымъ «Ярославу». Чешская поэма обработана была по латинской поэмѣ Готье Шатильонскаго, написанной во второй половинѣ 12-го столѣтія и передѣланной въ 13-мъ вѣкѣ нѣмецкимъ поэтомъ Ульрихомъ Эшенбахомъ, который въ своихъ странствованіяхъ заходилъ въ Прагу и посвятилъ часть своей книги королю Вацлаву II. Впрочемъ, чешскій поэтъ взялъ себѣ за основу не Эшенбаха, а латинскій подлинникъ, хотя ему извѣстна была и нѣмецкая обработка. Сравненіе чешскаго текста съ подлинной исторіей Готье Шатильонскаго убѣждаетъ однако, что чешскій поэтъ, взявъ главныя черты сюжета, остался совершенно независимъ въ его поэтическомъ изложеніи. Это былъ безъ сомнѣнія даровитый писатель, проникнутый христіанско-рыцарскимъ духомъ своего времени; его поэма есть наиболѣе самобытное и вообще лучшее произведеніе старо-чешской романтики [12]). Поэтъ раздѣляетъ аристократическія мнѣнія чешской шляхты, но вмѣстѣ съ тѣмъ отличается и патріотически-народнымъ духомъ; Нѣмцы были для него такими же непріятными гостями, какъ для знаменитаго патріота, лѣтописца Далимила (см. «Выборъ» 1,166). Другая знаменитая поэма, изъ Артурова цикла, *Тристрамъ* (Тристанъ и Изольда), относится къ 14-му вѣку и обработана вѣроятно по нѣмецкой редакціи Готтфрида Стразбургскаго (около 1232), дополненной потомъ Ульрихомъ Турлиномъ (половина 13-го вѣка) и Генрихомъ Фрейбергскимъ (около 1300). Здѣсь мы опять встрѣ-

[11]) Продолжатель Козьмы Пражскаго замѣчаетъ подъ 1281 г., что въ это время пришло въ Чешскую землю такое множество Тевтоновъ, что многіе полагали, что ихъ было здѣсь больше чѣмъ мухъ.

[12]) Разборъ чешской Александреиды сдѣланъ былъ В. Небескимъ. См. „Часописъ“ 1847, отд. II, вып. 1—2. Отрывки Александреиды печатались въ Starob. Sklád. Ганки (2,151), въ „Часописѣ“ 1828 и 1841, и собраны въ „Выборѣ“, ст. 135 и 1071. Сличеніе отрывковъ показываетъ, что въ началѣ 14-го столѣтія у Чеховъ существовали уже различныя редакціи этой поэмы.

чаемся съ нѣмецкимъ поэтомъ на чешской почвѣ, потому что Генрихъ Фрейбергскій сдѣлалъ свое продолженіе Готтфрида для чешскаго пана Раймунда изъ Лихтенбурга. Дальше, *Тандаріасъ и Флорибелла*, также поэма изъ цикла Круглаго Стола, — неизвѣстно еще какими путями дошедшая до чешской литературы.

Къ числу романтическихъ произведеній можетъ быть отнесенъ и чешскій «Tkadleček», въ прозѣ, который можно назвать маленькимъ романомъ. Лудвикъ Ткадлечекъ и возлюбленная его Адличка жили во второй половинѣ 14-го столѣтія при дворѣ вдовы королевы Елизаветы въ Краловомъ-Градцѣ. Адличка была красавица, и когда она досталась другому, Ткадлечекъ горько ее оплакивалъ, и разсказалъ о ея прелестяхъ въ разговорѣ между Жалующимся и Несчастнымъ; «Ткадлечекъ», нѣсколько монотонный по сюжету, считается за образецъ по легкости и силѣ языка.

Въ слѣдующемъ періодѣ чешской литературы мы встрѣтимъ уже цѣлую массу романтическихъ произведеній, происхожденіе которыхъ отчасти падаетъ вѣроятно еще въ эту эпоху. Другія направленія средневѣковой литературы, ея дидактика, басня, сатира и т. д. также нашли у Чеховъ свой отголосокъ, болѣе или менѣе самостоятельный: очень часто манера чешскихъ писателей самымъ близкимъ образомъ напоминаетъ нѣмецкихъ писателей, соединявшихъ басню съ житейскимъ наставленіемъ и мѣшавшихъ животный эпосъ съ поученіемъ и проповѣдью. Таковъ въ своихъ произведеніяхъ чешскій писатель 14-го столѣтія, ученый панъ Смиль изъ Пардубицъ, по прозванью Фляшка (убитъ въ сраженіи съ Кутногорскими горожанами 1403 г.), которому принадлежитъ *Новый Совѣтъ* (Nova rada 1395 г.), гдѣ разсказывается о томъ, какъ царь левъ, разославши пословъ, собралъ со всѣхъ сторонъ своихъ князей и пановъ на совѣтъ, и каждый подаетъ королю совѣтъ по своему разумѣнію. Чешскіе критики полагаютъ, что аллегорія относится къ двору короля Вацлава IV, но совѣты звѣрей отличаются слишкомъ общей благочестивой моралью, какая была въ ходу въ то время, — авторъ, правда, старался иногда соблюсти индивидуальныя отличія звѣрей, заставляетъ напр. зайца давать совѣтъ бѣгать съ сраженія, медвѣдя — совѣтовать сладко пить, и ѣсть, и спать въ свое удовольствіе, свинью — давать волю своимъ желаніямъ и «смильству», и т. д.; но въ то же время орелъ некстати длинно проповѣдуетъ о страхѣ божіемъ съ примѣрами изъ св. писанія, а лебедь заканчиваетъ совѣтъ проповѣдью о страшномъ судѣ [13]). Смилю изъ Пардубицъ принадлежитъ также собраніе чешскихъ пословицъ (Proverbia Flasskonis, generosi domini et baccalarii Pragensis)

[13]) Янъ Дубравскій перевелъ для короля Лудовика «Новый Совѣтъ» на латинскій языкъ, подъ названіемъ Theriobulia (Нюренб. 1520, Крак. 1521, Бресл. 1614). Новый нѣмецкій переводъ Венцига: Der Neue Rath des Herrn Smil von Pardubic, Leipz. 1855. Болѣе сообразный съ условіями животнаго эпоса разсказъ можно указать въ баснѣ „о лисицѣ и жбанѣ“ (o lišce a o čbanu), которую по языку относятъ еще къ 13-му столѣтію (изд. Ганки, и въ „Выборѣ“, ст. 227).

и ему же приписывается нѣсколько другихъ произведенiй нравоучительнаго содержанiя, напр. любопытные *Совѣты отца сыну* (Rada otce k synu), по манерѣ и стиху дѣйствительно напоминающiе «Новый Совѣтъ». Отецъ хочетъ въ сынѣ «воспитать рыцаря изъ своего племени», и даетъ ему много наставленiй, занимательныхъ по отношенiю къ жизни и обычаямъ чешскаго дворянства 14-го вѣка. Прежде всего онъ учитъ сына страху божiю, усердной молитвѣ, чистотѣ совѣсти, учитъ быть вѣрнымъ своему слову, соблюдать честь, «какъ велитъ рыцарскiй законъ, — потому что нѣтъ ничего дороже чести»; совѣтуетъ быть справедливымъ со всѣми людьми, не желать чужаго имѣнья, но строго защищать и свое отъ другихъ,—быть щедрымъ, милостивымъ къ челяди и т. д. Въ концѣ находятся занимательные совѣты относительно обращенiя съ дамами: въ этихъ совѣтахъ ясно отражаются рыцарскiя понятiя средневѣковой Европы, лучшимъ выраженiемъ которыхъ была провансальская поэзiя. Отецъ даетъ сыну это наставленiе, какъ необходимое для рыцарства: научаетъ его уважать всѣхъ добрыхъ дамъ, защищать и расширять ихъ честь; совѣтуетъ ему вѣрную (рыцарскую) любовь,—благосклонность панны онъ долженъ цѣнить выше золота и другихъ драгоцѣнныхъ каменьевъ,—«дороже ея нѣтъ ни одной вещи въ цѣломъ свѣтѣ». Сынъ, выслушавъ отца, поблагодарилъ его за наставленiе и обѣщалъ служить сначала «Богу милому», и заботиться о добрыхъ поступкахъ, а потомъ служить «и дамамъ и панцамъ вообще всѣмъ», и одной паннѣ всего больше... Тому же Смилю приписывается *Ссора воды съ виномъ*, довольно забавный разсказъ о томъ, какъ вода и вино спорили о своихъ достоинствахъ. Дѣло произошло такимъ образомъ: одинъ «мистръ св. письма», т. е. вѣроятно магистръ богословiя (пражскiй университетъ былъ уже тогда основанъ), накушался сладкихъ яствъ и выпилъ достаточно вина. Во снѣ ему видѣлось, что ангелъ вознесъ его на третье небо и онъ увидѣлъ Бога, сидящаго въ своемъ великолѣпiи,—какъ будто готовился судъ. Вода спорила съ виномъ, и мистръ слышалъ всѣ ихъ рѣчи: вино хвалилось тѣмъ, что безъ него не обойдется ни одинъ пиръ, и всегда имъ заканчиваютъ какъ лучшимъ напиткомъ. Вода отвѣчала, что ея хотѣлъ напиться самъ Христосъ, что она—одна изъ четырехъ стихiй мiра и т. п. Споръ длился очень долго: обѣ стороны прибѣгали очень часто къ священному писанiю,—вода хвалилась, что она исцѣляла болѣзни въ извѣстной купели, что въ ней крестился Христосъ, что вода текла изъ его бока, «все за грѣшнаго человѣка», что вода—мать всего творенiя, что она освѣжаетъ луга, рѣками украшаетъ города и селенья; укоряетъ потомъ вино, что оно одуряетъ человѣка, что оно привело Ноя и Лота на край грѣха и гибели и т. д. Вино отвѣчаетъ, что напротивъ оно выше,—Христосъ воду претворилъ въ вино, а не на оборотъ; что Христосъ назвалъ своей кровью вино, а не воду; что вода есть вещь весьма презрѣнная, въ ней живутъ всякiе гады, ее пьетъ корова, лошадь и коза, и локаетъ всякiй хищный звѣрь; что воду льютъ подъ лавку, тогда какъ вино берегутъ въ чистой скляницѣ; что

когда человѣкъ смѣло подопьетъ вина, то чувствуетъ себя прямымъ витяземъ, хоть можетъ быть самъ не стоитъ ни гроша [14]). Вода однако побѣждала въ спорѣ, — мистръ очнулся и рѣшился ихъ помирить, — онъ испугался, что вода могла загубить вино, и мистру нечего было бы пить: «воды много на этомъ свѣтѣ, а вина мало,—это извѣстно каждому ребенку». Мистръ началъ мирить ихъ и самъ держалъ рѣчь: что Богъ сотворилъ ихъ одинаково, назначивши воду свѣтскому, а вино духовному чину,— и онѣ должны жить вмѣстѣ, какъ нельзя быть духовному чину безъ свѣтскаго, и свѣтскому безъ духовнаго. Потому онъ совѣтуетъ имъ жить въ мирѣ и безъ зависти, и не спорить о томъ, кто пьетъ больше вина, нежели воды: «потому что кто хочетъ пить больше воды, тому вѣрно нечѣмъ заплатить за вино,—поэтому оставьте то на волю Богу, пусть люди пьютъ, кто что можетъ». Аллегорія довольно ясно намекала на нравы католическаго духовенства. Намъ остается еще одно произведеніе, въ которомъ также видятъ трудъ Смиля изъ Пардубицъ; это—*Конюхъ и школьникъ* (Satrapa et scholaris, Podkonė a žák; изд. въ Пильзенѣ, 1498). Конюхъ и школьникъ, вѣроятно очень взрослый, сошлись въ корчмѣ, и спорятъ о своихъ взаимныхъ преимуществахъ. Авторъ «сатирически», но довольно добродушно описываетъ ихъ незавидное положеніе; изъ ихъ разсужденій можно между прочимъ извлечь понятіе о бытѣ тогдашняго школьнаго народа, напоминающемъ бурсацкій бытъ старинныхъ нашихъ академій и семинарій [15]).

Перечисленныя нами сочиненія пана Смиля изъ Пардубицъ,—или кому бы ни принадлежали послѣднія изъ нихъ, — довольно полный образчикъ общественной поэзіи того времени. Смиль былъ писатель нѣмецкаго образованія и аристократическаго рода: съ одной стороны въ его сочиненіяхъ высказываются феодальные вкусы и рыцарскія стремленія, занесенныя въ чешскую жизнь нѣмецкимъ феодализмомъ; съ другой и его литературныя манеры отзываются нѣмецкой начитанностью: «Совѣтъ звѣрей», «Споръ воды съ виномъ» и наконецъ «Конюхъ и школьникъ», хотя сатира ихъ и относится къ чешскимъ нравамъ, не были самостоятельнымъ и національнымъ произведеніемъ, а навѣяны знакомствомъ съ нѣмецкими книгами. Они сходны въ направленіи понятій, въ характерѣ сатиры, нападающей больше на общія человѣческія слабости или осмѣивающей низшія сословія, въ пріемахъ дидактики и т. п. Эти произведенія удачно переводились для чужой публики, какъ «Новый Свѣтъ» или «Ткадлечекъ», нѣмецкое

[14]) Ktož se vínem podpil směle
mniet' byt' mėl často hřiven cele,
mniet' sam, byt' byl pravý vítėz,
protož sam snad nestojí za peniez.

[15]) Разборъ „Новаго Свѣта“ и біографію Смиля Фляшки, напис. Воцеломъ, см. въ Čas. Česk. Mus. 1855.

изданіе котораго вышло въ числѣ первыхъ напечатанныхъ нѣмецкихъ книгъ.

Какъ Смиль «сатирически» изображалъ конюха и студента, такъ и другія произведенія 14-го столѣтія сообщаютъ насмѣшливые разсказы напр. «о сапожникахъ», которые упрекаются въ пьянствѣ; «о лживыхъ судьяхъ», которые кривятъ душой за деньги; «о злыхъ кузнецахъ», которые помогаютъ ворамъ; «о пивоварахъ», которые обманываютъ простодушныхъ поселянъ; «о цирюльникахъ», которые пьянствуютъ и худо исполняютъ свое дѣло—плохо бреютъ и пускаютъ кровь и т. п.

Съ латинскимъ церковнымъ образованіемъ и европейскими обычаями у Чеховъ появилась и средневѣковая драма, въ той же общей западной формѣ мистеріи, смѣшанной съ фарсомъ. Древнѣйшій остатокъ этой чешской драмы есть отрывокъ драматической пьесы: *Продавецъ мазей* (Mastičkař), изъ 13—14-го столѣтія. «Продавецъ мазей» есть безъ сомнѣнія только небольшой клочекъ пьесы, которая представляла вѣроятно цѣлую мистерію о гробѣ божіемъ, т. е. погребеніи Спасителя. «Продавецъ мазей» отличается всѣми свойствами западной мистеріи; серьезное и комическое идутъ въ немъ рядомъ—вслѣдъ за весьма сильными и даже скандалезными остротами шута, играющаго роль слуги продавца, являются на сцену три Маріи и благочестиво поютъ по латыни (и по чешски) о смерти Спасителя и своей горести, продавецъ отвѣчаетъ имъ также серьезно по латыни; но за тѣмъ является Авраамъ съ умершимъ Исаакомъ, котораго продавецъ мазей воскрешаетъ съ помощью своихъ лекарствъ опять самымъ нецензурнымъ образомъ. Одинъ изъ чешскихъ критиковъ указывалъ, что чешскій «Продавецъ мазей» перенесенъ былъ въ нѣмецкую литературу въ нѣсколькихъ мистеріяхъ, которыя носятъ явные слѣды знакомства съ Чехами и чешскимъ языкомъ,—и въ одной изъ нихъ указываетъ полный сюжетъ мистеріи, отрывокъ который мы видимъ въ чешской пьесѣ [16]). Другой извѣстный драматическій отрывокъ, *Гробъ божій*, относимый по языку къ 14-му столѣтію, представляетъ тотъ же сюжетъ, но съ серьезной стороны: дѣйствующія лица въ немъ Іисусъ, Марія Магдалина, Петръ и Іоаннъ, три ангела и т. д. [17]).

Дальше, чешская исторія также началась латынью. Первые чешскіе лѣтописцы по средневѣковому обычаю писали по латыни и представляютъ обыкновенныя качества средневѣковыхъ анналистовъ, ихъ ученыя замашки и баснословныя тенденціи. Кромѣ Козьмы Пражскаго (†1125), другія латинскія хроники написаны были монахами Сазавскимъ и Опатовицкимъ; Винцентіемъ, каноникомъ пражскимъ; Ярлохомъ, аббатомъ Милевскимъ; Петромъ Житавскимъ; Франтишкомъ, пробстомъ пражскаго капитула и т. д. Затѣмъ появляются и чешскія лѣтописи: древнѣйшая и знамени-

[16]) См. подробности у Небескаго, въ Časopis Česk. Mus. 1847, вып. 3, 335—340.
[17]) Оба отрывка изданы въ Starob. Sklad. и въ „Выборѣ“, ст. 65—82, 419—426.

тѣйшая изъ нихъ, писанная риѳмованными стихами, составлена въ первые годы 14-го столѣтія (1310—1314) и приписывается нѣкоему Далимилу Мезиржицкому, канонику Болеславской церкви. Такъ полагали, основываясь на томъ, что Гаекъ ссылался на этого Далимила; но вѣроятнѣе, что авторомъ ея былъ чешскій рыцарь, ученый и патріотъ, въ родѣ Смиля изъ Пардубицъ; притомъ въ началѣ Далимилъ самъ ссылается на Болеславскую хронику, которой пользовался. Далимилъ извѣстенъ въ рукописяхъ уже съ 14-го столѣтія и книга его издана была въ роковомъ 1620 г., но тогда же предана была сожженію,—уцѣлѣло только нѣсколько экземпляровъ [18]). Этотъ лѣтописецъ принадлежалъ очевидно къ оппозиціи, неодобрявшей вліянія Нѣмцевъ и при каждомъ удобномъ случаѣ высказываетъ къ нимъ свою антипатію; какъ горячій патріотъ, онъ заботился о сохраненіи національной чести и роднаго языка. Другая обширная хроника, въ прозѣ, также весьма извѣстная, принадлежитъ священнику Пулкавѣ (Přibislav ze Hradenina или Pulkava, †1380). Исторія ея составленія передается различно; но во всякомъ случаѣ она была написана первоначально по латыни, по порученію Карла IV, и потомъ, какъ думаютъ, переведена самимъ Пулкавой на чешскій [19]).

Наконецъ, въ этомъ періодѣ значительно развилась и литература чешскаго права. Мы только назовемъ главныя произведенія. Къ первой половинѣ 14-го вѣка относится такъ называемая *Книга стараго пана изъ Розенберка* (коморника короля чешскаго, 1312—1346), гдѣ объясняется, какъ слѣдуетъ вести дѣла въ земскихъ судахъ чешскаго королевства,—замѣчательный памятникъ старыхъ юридическихъ обычаевъ Чехіи. Дальше *Земское Право* (Řád práva zemského, 1348 — 1355), написанное сначала по латыни, потомъ свободно переданное на чешскій языкъ, — также какъ книга пана изъ Розенберка, трудъ частнаго человѣка, не имѣвшій оффиціальной силы. Важнымъ юридическимъ памятникомъ надобно дальше назвать *Объясненія на право чешской земли* Андрея изъ Дубы (Ondřej z Dubé, Výklad na pravo zemė české, около 1400), съ посвященіемъ королю Вацлаву, — занимательнымъ не меньше самой книги [20]). Затѣмъ извѣстны переведенныя съ латинскаго «Права великаго города Праги», «Магдебургское право», «Majestas Carolina» Карла IV въ чешскомъ переводѣ, постановленія судовъ и сеймовъ, и т. д. Хотя все это относится къ 14-му столѣтію, когда въ чешской оффиціальной жизни было уже много чужихъ элементовъ, но въ этихъ книгахъ сохранилось однако много юридическихъ обычаевъ,

[18]) Другое изданіе сдѣлано было Прохазкой уже въ 1786; лучшее новое изданіе Ганки Dalimilova Chronika česká, Прага 1851. Далимилъ въ 14-мъ же столѣтіи былъ переведенъ на нѣмецкій; этотъ переводъ, смягчавшій рѣзкости лѣтописи противъ Нѣмцевъ, изданъ былъ также Ганкой въ Сборникѣ нѣмецкаго литературнаго общества въ Штутгартѣ: Dalimils Chronik von Böhmen, von W. Hanka, Stuttg. 1859.

[19]) См. Палацкаго, Würdigung der alten böhm. Geschichtsschreiber, стр. 174. Изд., съ подновленіемъ языка, Прохазкой въ Прагѣ 1786.

[20]) Всѣ упомянутые памятники изданы въ «Чешскомъ Архивѣ» Палацкаго.

идущихъ изъ древнѣйшихъ временъ. Непосредственные источники древнѣйшаго чешскаго права очень бѣдны и заключаются главнымъ образомъ въ старыхъ актахъ и лѣтописныхъ извѣстіяхъ.

Наконецъ назовемъ еще нѣсколько произведеній, уцѣлѣвшихъ отъ 14-го столѣтія: *Аланъ* (1527 стих.), аллегорическое стихотвореніе о нравственномъ обновленіи человѣка. Природа желала усовершенствовать человѣка, порабощеннаго грѣхами, — она совѣтуется объ этомъ со всѣми добродѣтелями, и Мудрость, сопровождаемая Разумомъ, семью Свободными Художествами и пятью Чувствами, отправляется на девятое небо (все это описывается съ баснословными подробностями), и Богъ обѣщаетъ спасеніе человѣка черезъ своего сына. «Аланъ» сокращенъ и пересказанъ чешскимъ стихотворцемъ по латинской поэмѣ Anticlaudianus Алана Рисселя (Alanus ab Insulis, † 1203). Это образчикъ схоластической философіи и космогоніи среднихъ вѣковъ [21]). Далѣе — энциклопедическій *Луцидаріусъ*, знаменитый по всей Европѣ и передающій научныя знанія среднихъ вѣковъ съ цѣлой массой басенъ и чудесныхъ повѣрій, которыя находили тогда вообще вѣру. Чешскій «Луцидаріусъ» относятъ еще къ 14-му столѣтію. Переводились и другія книги нравоучительнаго и образовательнаго содержанія, какъ *Cisiojanus*, *Рай Души* Альберта Великаго, *Дистихи* «мистра» Катона, историческія и географическія книги въ родѣ *Римской Хроники* Мартиміана, или извѣстнаго *Путешествія* Мандевиля, переведеннаго съ нѣмецкаго Лаврентіемъ изъ Бржезова (изд. въ Пильзенѣ 1510—1513 и друг.) и т. д.

2. ГУССИТСКОЕ ДВИЖЕНІЕ И «ЗОЛОТОЙ» ВѢКЪ ЧЕШСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Мы довольно опредѣлительно можемъ начать новый періодъ чешской литературы съ 15-го вѣка, хотя переходъ отъ 14-го столѣтія въ 15-е былъ все-таки довольно постепенный. Если въ однихъ событіяхъ, какъ напр. въ реформаторскихъ стремленіяхъ Гуса, сильно высказалась и проявилась на дѣлѣ новая мысль, то въ другихъ литературныхъ направленіяхъ продолжалось предыдущее развитіе, съ которымъ и самыя идеи Гуса имѣютъ большую связь. Въ 15-мъ столѣтіи намъ часто придется указывать на 14-е [1]).

[21]) Издано въ Staroб. Sklád. Ганки.

[1]) Объ этомъ періодѣ чешской литературы, см.: Die Vorläufer des Husitenthums in Böhmen, Leipz. 1846; — I. A. Helfert, Mistr Jan Hus aneb počátkové církevního rozdvojení v Čechách, Прага, 1857 (съ католической точки зрѣнія); — Новиковъ, Гусъ и Лютеръ (въ „Р. Бесѣдѣ“ и отдѣльной книгой); — В. Надлеръ, Причины и первыя проявленія оппозиціи католицизму въ Чехіи и западной Европѣ въ концѣ XIV и началѣ XV в., Харьковъ, 1864 (также какъ предыдущая книга съ славянофильской точки зрѣнія); — Anton Gindely, Geschichte der böhmischen Brüder, Prag 1857—58, 2 т. (часть цѣлаго сочиненія, предположеннаго авторомъ: Böhmen und Mähren im Zeitalter der Reformation; — Палацкій, Staři lètopisové česti, 1829; — Bohuslai Balbini, Bohemia docta, ed. Raph. Ungar, 1776; — Ad. Voigt, Acta litteraria Bohemiae et Moraviae, 1774—84; — V. Tomek, Geschichte der Prager Universität, Prag, 1849; — V. Hanka, Bibliografie prvotiskův českých od 1468 až do 1526 lèta, Прага, 1853.

Развитіе чешской литературы въ 14-мъ вѣкѣ безспорно усиливалось вслѣдствіе расширенія средствъ образованія и благосостоянія страны въ правленіе Карла IV. Основаніе Пражскаго университета (1348) имѣло при этомъ весьма обширное вліяніе; правда, и въ этой, какъ въ другихъ высшихъ школахъ западной Европы, наука передавалась на латинскомъ языкѣ, но латинскій языкъ былъ очень распространенъ и образованіе расходилось по всей странѣ. Съ другой стороны, въ расширеніи литературной дѣятельности имѣло свою значительную долю участіе нѣмецкой культуры. Время Карла IV и его сына Вацлава (Венцеслава) IV вообще признается блестящимъ періодомъ чешскаго образованія.

Знаніе латинскаго языка распространяется теперь еще больше; въ тѣхъ религіозныхъ спорахъ, которые привлекли теперь всеобщее вниманіе націи, это знаніе было и необходимо. Мы встрѣчаемъ поэтому цѣлую массу словарей латинскихъ и другихъ иностранныхъ, которые обнаруживаютъ сильное литературное движеніе и литературныя связи Чеховъ въ эту эпоху [2]). Кромѣ латинскаго языка, въ нихъ появляется и греческій, нѣмецкій (всего чаще), французскій, итальянскій, венгерскій и польскій. Распространеніе знаній и литературныхъ вкусовъ, вмѣстѣ съ бурнымъ религіознымъ движеніемъ, чрезвычайно распространили литературную дѣятельность, такъ что съ 15-го столѣтія мы имѣемъ огромную массу памятниковъ разнообразныхъ направленій. Мы остановимся сначала на томъ романтическомъ средневѣковомъ содержаніи, которое прочно утвердилось у Чеховъ еще съ 14-го столѣтія. Средневѣковыя поэмы, и позднѣе выродившійся изъ нихъ стихотворный и прозаическій романъ, переходятъ въ чешскую литературу цѣлымъ обширнымъ запасомъ. Изъ античнаго цикла переведена была знаменитая *Троянская исторія*, Гвидона де Колумны, въ 1411 г. и напечатана первой чешской книгой въ Пильзенѣ 1468, въ Прагѣ 1488 и еще нѣсколько разъ, потому что была въ свое время весьма любимымъ чтеніемъ; *Аполлоній Тирскій* (Kronika o Apollonovi, králi Tyrském), сохранившійся въ рукописи 1459 г. и много разъ напечатанный. Изъ духовныхъ романовъ пользовались въ то время не меньшимъ успѣхомъ: *Варлаамъ и Іосафатъ*, рукописи котораго извѣстны со второй половины 15-го вѣка (изд. 1504 и др.); *Іосифъ и Асенеѳъ* (Kniha o Josefovi a Assenach manželce jeho, рукопись 1465, изд. 1570), извѣстная апокрифическая исторія о ветхозавѣтномъ Іосифѣ; *Сольфернъ* (Solfernus aneb život Adamův), романъ, разсказывающій споръ дьявольскихъ силъ съ Богомъ о небѣ, — романъ переведенъ съ латинскаго въ первой половинѣ 15-го вѣка, передѣланъ Гайкомъ Либочанскимъ и изданъ Сикстомъ изъ Оттерсдорфа въ 1553 г. и др. Мно-

[2]) Небольшой словарь составленъ былъ однимъ изъ главнѣйшихъ дѣятелей умѣреннаго гусситизма Рокицаной; другіе словари «Mammotrectus», «Hymbarius», дальше «Оломуцкій», «Вѣнскій» триязычный, но въ особенности «Lactifer»; затѣмъ въ 16-мъ столѣтіи латинско-чешско-нѣмецкій словарь Петра Кодицилла, «Sylva» и «Nomenclator quadrilinguis» Велеславина и множество другихъ, служили или для спеціальныхъ изученій, или старались уже представить полные лексическіе труды.

жество средневѣковыхъ романовъ и повѣстей, перешедшихъ въ чешскую литературу, ходило въ рукописяхъ и печаталось, напр. извѣстный романъ *Flore et Blancheflore* (Velmi pěkna nová kronika aneb historia vo velicé milosti knížete a krále Floria a jeho milé paní Biancefoře, Прага, 1519 и др.); исторія о *Мелюзинѣ* (Kronika kratochvilná и проч. 1555 и др.); о рыцарѣ *Петрѣ* и княгинѣ *Магелонѣ* (Кр.-Градецъ, 1565); Боккаччьева повѣсть о *Гризельдѣ*, извѣстная по рукописямъ съ 15-го столѣтія и много разъ изданная; повѣсть Gesta Romanorum о цезарѣ *Іовиніанѣ*; повѣсть о *Семи мудрецахъ* (Kratochvilná kronika o sedmi mudrcích); повѣсть о *Фортунатѣ*; о *Тиллѣ Эйленшпигелѣ*; разговоры *Соломона съ Маркольтомъ*, и много другихъ подобныхъ произведеній, ближайшимъ источникомъ которыхъ была нѣмецкая литература. Всѣ эти исторіи и у Чеховъ стали такими же популярными книгами, какими онѣ были по всей Европѣ, сначала составляя чтеніе рыцарей и высшаго сословія, а потомъ переходя въ публику простонародную, въ которой онѣ продолжаютъ отчасти жить и до сихъ поръ. Появлялись и собственныя исторіи въ томъ же вкусѣ, — таковы, напр. исторія о князѣ и панѣ чешскомъ *Штильфридѣ и сынѣ его Брунцвикѣ*, о паннѣ *Властѣ* (извѣстной чешской амазонкѣ), извѣстныя по изданіямъ 16-го вѣка; повѣсть о человѣкѣ рыцарскаго сословія *Палечкѣ* (Прага, 1610 и др.), нравоучительная повѣсть Бартоша Папроцкаго (Прага, 1601 и друг.). Мало по малу эта литература переходитъ въ мелкія народныя повѣсти и анекдотическія исторіи, которыя были вѣроятно чтеніемъ одного низшаго класса, особенно съ тѣхъ поръ, какъ наступило время упадка чешскаго языка и литературы.

Самобытное поэтическое развитіе, образчикъ котораго мы видѣли въ 13-мъ столѣтіи, было окончательно прервано этимъ вліяніемъ средневѣковаго романтизма, преимущественно нѣмецкаго. Нѣмецкіе элементы начали такъ сильно входить въ жизнь и нравы, что уже стали возвышаться патріотическіе голоса, требовавшіе возстановленія народной чести и народнаго языка. Мы видѣли такого патріота въ авторѣ Далимиловой хроники и въ поэтѣ Александреиды. Эти патріотическія воззванія 14-го столѣтія приготовляютъ насъ къ тому національному движенію, которое открылось въ Чехіи въ началѣ 15-го столѣтія, съ появленіемъ Гуса.

Движеніе, начавшееся въ 15-мъ столѣтіи, имѣло національный смыслъ и дало совершенно новый оборотъ литературной дѣятельности, хотя основа и поводъ его были чисто религіозные. Что религія стала въ этомъ движеніи на первомъ планѣ и что религіозный вопросъ могъ повлечь за собою такой обширный переворотъ въ общественныхъ и культурныхъ отношеніяхъ, какой произошелъ у Чеховъ въ 15-мъ столѣтіи, — это совершенно объясняется средневѣковымъ значеніемъ религіи и католической церкви въ западной Европѣ вообще, и тѣмъ особеннымъ положеніемъ, которое заняла латинская церковь въ Чехіи. Она принесла измѣненіе общественнаго порядка, открывая дорогу церковнымъ притязаніямъ и феодализму, приносила

съ собой латинскую образованность, непонятную народу и, заботясь о собственномъ благѣ духовенства, какъ сословія, слишкомъ мало заботилась о народѣ, который притомъ не имѣлъ здѣсь, какъ на западѣ, никакихъ римскихъ традицій. Политическія и общественныя злоупотребленія іерархіи и духовенства, владѣвшихъ имѣньями въ ущербъ народному богатству и къ соблазну для народной нравственности, и злоупотребленія королевской власти, нарушавшей и національное чувство и земскія вольности, еще больше подрывали авторитетъ и едва только брошенъ былъ въ этотъ авторитетъ первый камень, какъ въ массѣ пробудилась сознательная потребность новаго порядка.

Предыдущій періодъ приготовлялъ уже къ этому сознанію — прежде всего на церковной почвѣ. Развитіе чешской литературы при Карлѣ, значительно распространило образованность и направило вниманіе на нравственные и религіозные вопросы. Легкая иронія по поводу жизни духовенства просвѣчиваетъ уже въ сатирическихъ пьесахъ, приписываемыхъ Смилю изъ Пардубицъ. Другой популярный писатель второй половины 14-го вѣка, рыцарь Ѳома Штитный (жилъ до конца 14-го вѣка: Rozmluvy nábožné; Knihy učení křesťanského, 1374; Řeči Sváteční; переводы изъ св. Августина 1388 и т. д.), котораго по ясности ума, патріотическому образу мыслей, легкости и ровности языка ставятъ во главѣ писателей того времени, въ своихъ сочиненіяхъ развивалъ уже тѣ христіанскія понятія, которымъ такъ мало соотвѣтствовала церковная іерархія [3]). Оппозиція противъ церкви явилась наконецъ и среди самаго духовенства: Карлъ IV, самъ указывавшій папѣ на церковныя неустройства, покровительствовалъ проповѣдникамъ Нѣмцу Конраду Вальдгаузеру (┼1369: латинская Apologia противъ доминиканцевъ и августиніанъ, по поводу преслѣдованій; Postilla studentium sanctae Pragensis Universitatis super Evangelia dominicalia) и Яну Миличу (┼ 1374: Постилла, Knížky o zarmúcenjch velikých církve svaté [libellus de Antichristo] и проч.), которые ревностно проповѣдывали противъ свѣтской и церковной испорченности, такъ что тѣ, кому не нравились эти поученія, придумали обвинить ихъ въ ереси. Но примѣръ не пропалъ даромъ. Замѣчательнѣйшій изъ учениковъ Милича, Матвѣй изъ Янова (┼ 1394), ученый богословъ и «парижскій магистръ», изъ рыцарскаго рода, пошелъ еще дальше Милича въ проповѣди неиспорченнаго христіанства: въ своемъ большомъ богословскомъ сочиненіи (de regulis Veteris et Novi Testamenti) онъ сильно защищаетъ писаніе противъ церковной традиціи и чистое ученіе Христа противъ позднѣйшихъ прибавокъ людскаго вымысла; онъ также подвергся церковному суду по обвиненію въ ереси.

Но всѣ эти реформатскія попытки въ первый разъ получили обще-

[3]) Изданіе «христіанскаго ученія» сдѣлано Эрбеномъ (съ приложеніемъ біографіи Штитнаго), Прага 1852. См. также Rozbor liter. staročeské, т. 2; Jos. Wenzig, Studien über Ritter Thomas von Štitné. Leipz. 1856. Штитный говоритъ, что на него большое вліяніе имѣлъ проповѣдникъ Янъ Миличъ (см. дальше); это вліяніе и заставило его рѣшиться быть писателемъ.

ственную силу только тогда, когда вождемъ ихъ явился мистръ (магистръ) Янъ Гусъ, проповѣдникъ въ Виѳлеемской часовнѣ въ Прагѣ, профессоръ и потомъ ректоръ пражскаго университета (род. 1369, сожженъ въ Констанцѣ, 6 іюля 1415). Живѣйшимъ образомъ церковный вопросъ поднятъ былъ, когда Іеронимъ Пражскій, чешскій шляхтичъ и баккалавръ свободныхъ искусствъ, принесъ изъ Оксфорда положенія Виклефа, рѣзко стоявшія за ту же реформу, которой до тѣхъ поръ умѣреннѣе требовали чешскіе ея защитники. Ученіе Виклефа было въ этомъ случаѣ поддержкой, явившейся очень кстати: уже Ѳома Штитный, при всей своей умѣренности, сомнѣвался въ транссубстанціаціи; Матвѣй изъ Янова уже стоялъ за подлинное христіанство противъ церковныхъ традицій; авторитетъ іерархіи былъ уже подверженъ сомнѣнію. Гусъ и его друзья между духовенствомъ и изъ университетскихъ наставниковъ приняли ученіе Виклефа съ сочувствіемъ, но собственно говоря, реформатскія стремленія самого Гуса высказались еще раньше, какъ только онъ сталъ публичнымъ учителемъ. Новыя положенія Виклефа проповѣдовались и въ университетѣ [4]), хотя впрочемъ въ первое время ихъ принимали только немногіе изъ членовъ университета.

Не разсказывая всѣхъ подробностей начинавшейся борьбы, мы упомянемъ только главныя ея направленія. Уже съ самаго начала дѣло религіозной реформы стало дѣломъ университета, — который былъ тогда высшимъ ученымъ учрежденіемъ, единственнымъ для всей средней Европы, — и дѣломъ приверженцевъ и защитниковъ чешской народности; самая дѣятельность Гуса была въ одно и то же время дѣятельность церковнаго реформатора и ревностнаго защитника своей народности. Пражскій университетъ въ ту пору привлекалъ множество слушателей, огромное большинство которыхъ состояло изъ иностранцевъ: *націи*, на которыя дѣлились университетскіе граждане, были — чешская (съ Моравянами и Венграми), польская (съ Силезцами, Лужичанами, Пруссаками), саксонская (съ сѣверными Нѣмцами) и баварская (съ южными Нѣмцами, Швейцаріей, Каринтіей, Крайномъ и т. д.); бывали въ университетѣ и Французы, Итальянцы, Англичане. Чешская нація, со всѣми студентами, баккалаврами и магистрами, составляла только около 6-й доли цѣлаго университета. Слѣдовательно, по національности, пражскій университетъ далеко не былъ народно-чешскимъ. По своему характеру университетъ былъ церковный и латинскій, какими были вообще ученыя учрежденія того времени. Такимъ образомъ съ одной стороны университетъ легко могъ быть, и въ это время дѣйствительно былъ, опорой католическаго правовѣрія, съ другой — латинская ученость отчуждала его отъ народнаго развитія, на которое онъ

[4]) Такъ какъ уставъ пражскаго университета дозволялъ профессору читать не только свои сочиненія, но и другія сочиненія, если только онѣ были написаны какимъ нибудь магистромъ пражскимъ, парижскимъ или оксфордскимъ (dummodo sint ab aliquo famoso de universitate Pragensi, Parisiensi, vel Oxoniensi magistro compilata. Helfert, стр. 56), т. е. если только достаточно была обезпечена ученость сочиненія.

смотрѣлъ высокомѣрно и съ презрѣніемъ. Ѳома Штитный въ концѣ 14-го вѣка уже вооружается противъ школьныхъ латынщиковъ, чуждыхъ народу и считавшихъ свое знаніе цеховой тайной: «Богу также угоденъ Чехъ, какъ и латынщикъ», говорилъ онъ. Цѣлью трудовъ его было именно дать читателямъ, необученнымъ латыни, то содержаніе религіознаго ученія, о которомъ писалось только по латыни. Латынщики съ недовѣріемъ и даже враждебно смотрѣли на эти попытки популярнаго ученія: Штитный отвѣчалъ: «Святой Павелъ писалъ свои посланія языкомъ тѣхъ, къ кому писалъ, Евреямъ по еврейски, Грекамъ по гречески.... почему бы Господь Богъ и Чехамъ не написалъ и не напоминалъ своей воли письмомъ, у нихъ употребительнымъ?» Онъ съ своей стороны глумится надъ школьными мудрецами, которые боялись, что простой читатель употребитъ во зло высокое ученіе: «развѣ же не дѣлать моста изъ-за того, что глупый человѣкъ можетъ съ него свалиться?» Преобладаніе чужихъ національностей въ университетѣ конечно только усиливало это взаимное нерасположеніе. Можно было ожидать, что въ случаѣ спора сторона народная и патріотическая будетъ противъ представителей оффиціальной латинской науки.

Этотъ случай представился въ столкновеніи по поводу положеній Виклефа, принятыхъ Яномъ Гусомъ, тогда уже очень вліятельнымъ лицомъ въ университетѣ, и другими ревностными приверженцами реформы, въ числѣ которыхъ былъ и подканцлеръ университета, Николай Литомышльскій. 28 мая 1403 г. собраніе всѣхъ пражскихъ «мистровъ» должно было разсуждать о положеніяхъ Виклефа, которыя отвергались церковью и однако преподавались нѣкоторыми учителями университета. Собраніе должно было разсмотрѣть всѣ пункты этого ученія, противъ которыхъ было уже высказано обвиненіе въ ереси. Несмотря на всѣ старанія Гуса, защитники Виклефа оказались въ меньшинствѣ, и большая часть голосовъ постановила: что ни одинъ членъ пражскаго университета не долженъ учить ни одному изъ 45 положеній Виклефа. Это рѣшеніе конечно не заставило Гуса отказаться отъ его убѣжденій, — и кромѣ того оно ясно опредѣлило положеніе враждебныхъ сторонъ: постановленіе, сдѣланное не національнымъ большинствомъ, сочтено было за дѣйствіе противъ чешской народности, потому что какъ Гусъ, такъ и его товарищи, были чешскими патріотами и друзьями народа въ смыслѣ Штитнаго, а съ другой стороны Нѣмцы, шедшіе обыкновенно вмѣстѣ съ другими чужими національностями университета, держались партіи враждебной Гусу и реформѣ. Такимъ образомъ оба стремленія, сначала независимыя, соединились въ одно: религіозная оппозиція встрѣтилась и слилась съ національной антипатіей къ иноземному преобладанію, и защитники народности стали смѣлѣе, поддержанные реформаторами университета. Уже въ первый моментъ борьбы Гусъ и приверженцы преобразованій являются поэтому дѣятелями чисто народными, а сторона противо-гусситская, нѣмецкіе элементы въ университетѣ и въ городскомъ населеніи, являются вмѣстѣ и партіей противо-народной.

Распространеніе новаго ученія, отвергавшаго разныя церковныя постановленія, противныя чистому христіанству, отвергавшаго совершенно авторитетъ іерархіи, шло все дальше и дальше, не смотря на запрещенія: церковная власть изрѣдка принималась за судебныя преслѣдованія священниковъ и мірянъ, обвиняемыхъ въ ереси, но какъ часто бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, она не замѣчала, что творилось явно вокругъ нея, не видѣла грозившей опасности, и даже оправдывала обвиненныхъ. Внѣшнія условія благопріятствовали Гусу: за него стояло дворянство короля Вацлава IV, много пановъ и рыцарей чешскихъ, которымъ хотѣлось забрать въ руки имѣнья духовенства, потому что отнятіе церковныхъ имѣній уже открыто провозглашалось за необходимую потребность защитниками реформы; король Вацлавъ также покровительствовалъ Гусу, думая поддерживать національное начало изъ политическихъ отношеній къ церкви; Гусъ долго сохранялъ хорошія отношенія и къ архіепископскому двору. Борьба въ университетѣ продолжалась; Гусъ продолжалъ проповѣдывать съ явнымъ виклефовскимъ оттѣнкомъ. Въ 1408 заведенъ былъ еще одинъ процессъ о ереси, и вскорѣ потомъ въ университетѣ собрана была чешская «нація» для разбора тѣхъ же 45 положеній, — потому что въ этой націи собственно и былъ интересъ къ новому ученію. Подъ предсѣдательствомъ ректора сошлось 64 мистра и доктора, 150 баккалавровъ и до 1000 студентовъ, и хотя рѣшеніе постановило, чтобы ни одинъ членъ чешской націи не отваживался признавать, распространять или защищать какое нибудь изъ этихъ положеній, — но къ рѣшенію была сдѣлана оговорка, что это запрещеніе относится только къ тому въ положеніяхъ Виклефа, что въ нихъ есть ошибочнаго или еретическаго (in sensibus eorum haereticis aut erroneis aut scandalosis). Оговорка была многозначительна, потому что каждому предоставлялось рѣшать, есть ли ересь или нѣтъ въ данномъ положеніи: оговорка уничтожала всю силу рѣшенія.

Наконецъ одно событіе дало окончательный перевѣсъ народному началу въ университетѣ, и, по связи его съ дѣломъ реформы, перевѣсъ самому ученію Гуса. Междунаціональная вражда, начавшаяся въ университетѣ изъ-за религіозныхъ мнѣній и народнаго самолюбія, сведена была еще прежде къ вопросу о количествѣ голосовъ, принадлежащихъ отдѣльнымъ націямъ. До сихъ поръ каждая нація имѣла по одному голосу, но такъ какъ между ними было три чужихъ, то Чехи всегда оставались въ невыгодномъ положеніи, если только поднималось дѣло, интересовавшее народную честь. А такихъ дѣлъ было теперь много. Чешская нація требовала, для соблюденія справедливости въ отношеніи иностранцевъ къ туземцамъ, чтобы ей предоставлено было три голоса, а остальнымъ націямъ по одному. Король Вацлавъ сначала было рѣшительно отказалъ въ этомъ чешской націи, но потомъ, подъ вліяніемъ окружавшихъ его патріотовъ, неожиданно рѣшилъ дѣло въ пользу Чеховъ и предоставилъ ихъ націи желаемые три голоса. Это было для нея великимъ торжествомъ, — съ этой

минуты обезпечивалось ея вліяніе въ высшей школѣ, необходимое для успѣха начатаго дѣла. Чтобы установить въ университетѣ новый порядокъ, нужно было вмѣшательство власти; иноземныя націи, огорченныя и оскорбленныя, рѣшились на послѣднее средство. Въ 1409 г. иноземные мистры и студенты, въ числѣ около 5000 человѣкъ, оставили Прагу навсегда, и избрали себѣ новый пріютъ въ Лейпцигѣ — это было основаніемъ лейпцигскаго университета. Это событіе, прискорбное и для ушедшихъ и для самаго города Праги, терявшаго массу интереснаго и прибыльнаго ему населенія, было однако побѣдой національно-реформатской партіи; у нея развязаны были руки. Выходъ Нѣмцевъ сразу выставилъ впередъ чешскіе элементы движенія, и оно осталось національнымъ на все время гусситской борьбы. Первымъ ректоромъ, который былъ выбранъ въ новомъ университетѣ послѣ этого событія, былъ (во второй разъ) Янъ Гусъ. Очевидно, что вся національная борьба сосредоточивалась въ немъ.

Мы не будемъ разсказывать дальнѣйшихъ событій; они принадлежатъ исторіи и читатель гораздо лучше познакомится съ ними изъ Палацкаго или изъ короткаго изложенія у Шлоссера. Проклятіе и удаленіе Гуса изъ Праги не могли остановить распространенія его идей, а напротивъ помогли имъ разойтись между провинціальнымъ населеніемъ. Имя Гуса стало и въ новомъ его мѣстопребываніи также популярно, какъ было между слушателями его въ Виѳлеемской капеллѣ. Осужденіе и сожженіе Гуса раздражили народъ и вызвали въ немъ ту рѣшимость дѣйствовать силой, которая такъ страшно разразилась въ гусситскихъ войнахъ. Дѣло Гуса было сдѣлано.

Вліяніе Гуса, которому такъ много принадлежитъ въ національномъ движеніи Чехіи 15-го вѣка, объясняется его замѣчательной личностью. Менѣе суровый въ своей проповѣди, чѣмъ Вальдгаузеръ, меньше фантазировавшій въ своихъ понятіяхъ, чѣмъ Миличъ, онъ не производилъ на своихъ слушателей такого быстраго впечатлѣнія, какъ его предшественники, но дѣйствіе его было глубже и прочнѣе. Онъ обращался прежде всего къ уму и здравому смыслу и только послѣ убѣжденія дѣйствовалъ на чувство. Быстрота и ясность мысли, способность проникать въ самую сущность предмета и раскрывать ее для всѣхъ, необыкновенная начитанность, особенно въ св. писаніи, твердая защита своихъ положеній давали его проповѣди великую силу и увлекательность. Къ этому присоединялась строгая правдивость, живая и крѣпкая вѣра, безупречно-чистая жизнь, горячее стремленіе къ возвышенію народа и исправленію церкви, и вмѣстѣ съ тѣмъ твердость убѣжденій, шедшая до героическаго самопожертвованія [5]). Нѣтъ сомнѣнія, что эти личныя качества реформатора придали много энергіи національнымъ силамъ, которыя съ тѣхъ поръ сознали свое значеніе и выступили на дѣятельное поприще.

[5]) Палацкій, Dějiny III, 1, стр. 166.

Личное вліяніе Гуса, сильно дѣйствовавшее въ его проповѣди, поддерживалось и его литературной дѣятельностью. Въ литературныхъ трудахъ Гуса мы всего чаще остаемся на реформаторско-богословской почвѣ, но тѣмъ не менѣе и чешскія и латинскія сочиненія его имѣютъ высокій интересъ и историческое значеніе. Въ нихъ больше, чѣмъ въ какихъ бы то ни было другихъ произведеніяхъ того времени, обнаруживается стремленіе къ прогрессу и стараніе осуществить его въ дѣйствительной жизни. Если Гусъ слишкомъ много останавливался на догматической сторонѣ дѣла, это было потребностью времени, для котораго догматическій вопросъ былъ вопросъ существенный и неизбѣжный; но это не помѣшало ему самымъ рѣзкимъ образомъ вмѣшаться въ дѣло національности и народнаго развитія.

Какъ писатель Гусъ выказалъ чрезвычайную плодовитость, такъ что можно удивляться, что при жизни столько бурной и занятой онъ могъ оставить такой длинный рядъ книгъ и трактатовъ, чешскихъ и латинскихъ, и такое множество писемъ и посланій. Изъ чешскихъ сочиненій его изданы только нѣкоторыя; латинскія сочиненія собраны подъ заглавіемъ: *Historia et monumenta J. Husi* («Исторія и памятники І. Гуса», Нюренб. 1558, 1715); отдѣльно вышли: *De unitate Ecclesiae* («о единствѣ церкви», Майнцъ 1520) и *Epistolae,* съ предисловіемъ Лютера (Виттенб. 1537). Болѣе извѣстныя латинскія сочиненія его были: *Explicatio Symboli, Decalogi et orationis Domimicae*; *De decimis; De corpore Christi; De indulgentiis; De pernicie traditionum humanarum* и т. д. Латинскія сочиненія Гуса, — посредствомъ которыхъ онъ только и могъ пріобрѣсти себѣ обширное поприще дѣйствія, простиравшееся кромѣ Чехіи на всю ученую Европу, — обнаруживаютъ замѣчательную ученость, и вмѣстѣ отличаются свойствами тогдашней діалектики и схоластической философіи: они писались для теологовъ и должны были говорить техническимъ языкомъ. Діалектическія и логическія тонкости ихъ разсчитывали на ученыхъ и университетскихъ слушателей, которымъ была привычна эта школьная манера; многія изъ сочиненій его отзываются характеромъ школьныхъ диспутацій, которыя были тогда въ большомъ ходу.

Важнѣйшимъ сочиненіемъ Гуса былъ латинскій трактатъ *О церкви*, написанный по поводу пражскаго синода 1413 г.,—изъ него выбрано было на Констанцскомъ соборѣ тѣ 44 пункта, въ которыхъ Гусъ долженъ былъ оправдываться. Здѣсь онъ изложилъ главныя основы своей теоріи и это сочиненіе можетъ считаться символической книгой отпавшей потомъ чешской церкви. Мы передадимъ въ нѣсколькихъ словахъ содержаніе трактата, чтобы ввести читателя въ кругъ идей, которыя наполняли гусситское общество и за которыя оно выдержало такую ужасную бурю. Гусъ начинаетъ съ ученія о предопредѣленіи: церковь внѣшняя заключаетъ въ себѣ и добрыхъ, «предопредѣленныхъ» (praedestinati) къ небесному благословенію, и злыхъ, «предузнанныхъ» (praesciti) къ вѣчной погибели. Единый глава церкви есть Христосъ, —внѣшній глава по своему божеству, внутренній по своему

человѣчеству: первымъ онъ былъ съ начала міра, вторымъ отъ своего вочеловѣченія. Потому и апостолы не назывались святѣйшими или главами церкви, а только слугами Господа и слугами церкви. Впослѣдствіи это измѣнилось; со временъ Константина В. и его преемниковъ, папа, римскій епископъ, сталъ считаться за начальника церкви (capitaneus), за Христова намѣстника на землѣ. Но на дѣлѣ папа, «какъ папа», вовсе не можетъ быть такимъ намѣстникомъ, и кардиналы, «какъ кардиналы», вовсе не могутъ считаться преемниками апостоловъ. Папа можетъ считаться преемникомъ Петра только тогда, когда равняется съ Петромъ вѣрою, смиреніемъ и любовью,—но то же слѣдуетъ разумѣть и о другихъ людяхъ, не бывшихъ ни папами, ни кардиналами. Св. Августинъ больше принесъ пользы церкви, чѣмъ нѣсколько папъ вмѣстѣ, а въ ученіи сдѣлалъ можетъ быть больше, чѣмъ всѣ кардиналы съ самаго начала и до нынѣ. Если же папа и кардиналы не исполняютъ своихъ обязанностей, и, забывая Христа, заботятся только о вещахъ свѣтскихъ, о роскоши и блестящихъ одеждахъ, и расточительностью превосходятъ даже мірянъ,—тогда они вовсе не намѣстники Христа, или Петра, или апостоловъ, а намѣстники Сатаны, Антихриста, Іуды Искаріотскаго. Папа, какъ и другой человѣкъ, не можетъ навѣрное знать о себѣ, не «предузнанный» ли онъ; а «предузнанный» не только не можетъ быть главой, но и настоящимъ членомъ церкви. Папскаго достоинства и не нужно для спасенія церкви; въ первобытной христіанской церкви были только двѣ священныя должности: діаконы и священники, все остальное явилось послѣ и было людскимъ установленіемъ. Если и до папъ церковью управляли апостолы и вѣрные священники, то, можетъ легко быть, что папъ и опять не будетъ до суднаго дня. Все сказанное слѣдуетъ разумѣть и о цѣломъ духовенствѣ: ихъ два — одно Христово, другое Антихристово. Не должность дѣлаетъ священникомъ, а священникъ дѣлаетъ должность; не каждый священникъ святъ, но каждый святой есть священникъ; вѣрующій христіанинъ принадлежитъ къ божіей церкви, а прелатъ, не исполняющій своей обязанности, не будетъ имѣть никакой части въ царствѣ Христовомъ.—Изъ этого ясно, какъ должно понимать «церковное послушаніе». Послушаніе есть дѣйствіе разумнаго существа, которое свободно и по собственному сужденію (voluntarie et discrete) подчиняется своимъ начальникамъ. Поэтому каждый, получая приказаніе отъ своей власти, долженъ испытать, есть ли это приказаніе дозволительное и честное, потому что, если бы приказаніе было ко вреду церкви и душевнаго спасенія, онъ долженъ ему воспротивиться. Такъ, если приходитъ повелѣніе и отъ папы, вѣрный христіанинъ долженъ испытать его, и если не найдетъ его согласнымъ съ ученіемъ Христовымъ, то долженъ воспротивиться, чтобы повиновеніемъ своимъ не совершить преступленія противъ христовой вѣры (devianti papae rebellare est Christo domino obedire). «Власть ключей», т. е. власть вязать и рѣшить, принадлежитъ одному Богу, который предопредѣляетъ къ спасенію или погибели. Устной исповѣди не нужно для спасенія души,—

доказательствомъ могутъ служить малыя дѣти, глухіе и нѣмые отъ рожденія, обитатели пустынь и насильственно умерщвленные. Грѣхи смываются покаяніемъ и исповѣдью сердца. Ни священникъ, ни папа не можетъ разрѣшать вины, потому что для этого долженъ бы быть непогрѣшимымъ, а непогрѣшимъ только одинъ Богъ. Поэтому и клятва какого нибудь прелата имѣетъ силу только тогда, когда согласна съ волей божіей; въ противномъ случаѣ она нисколько не вредитъ тому, на кого произнесена, — какъ говоритъ и писаніе, повелѣвающее благословлять проклинающихъ.

Изъ этихъ основныхъ понятій можно уже видѣть, какой широкій объемъ принимала реформатская идея Гуса. Въ другихъ своихъ сочиненіяхъ онъ еще подробнѣе развиваетъ свои понятія и различныя подробности своихъ взглядовъ на церковные порядки. Извѣстно, что даже въ констанцской тюрьмѣ Гусъ написалъ нѣсколько трактатовъ въ защиту своего ученія, напр. «о достаточности закона Христова для управленія церкви» (de sufficientia legis Christi ad regendam Suam ecclesiam), гдѣ онъ доказываетъ, что истинный и правдивый законъ есть правда, которая ведетъ человѣка по дорогѣ къ блаженству, что всѣ добрые законы находятся въ св. писаніи, а тѣ, которыхъ тамъ нѣтъ, законы безбожные; что этого Христова закона совершенно достаточно для церкви и что его незачѣмъ ни сокращать, ни расширять и т. д. Не менѣе важна рѣчь, приготовленная имъ для той же цѣли въ тюрьмѣ: «Sermo de fidei suæ elucíatione», о томъ, какъ онъ понимаетъ вѣру и ея познаніе. Основная мысль, и въ этихъ, и другихъ подобныхъ трактатахъ, заключается въ защитѣ истиннаго, простаго, первобытнаго христіанства и въ опроверженіи церковной традиціи, которая измѣнила и исказила его истины людскими прибавками и ошибками: онъ признаетъ постановленія церкви только до тѣхъ поръ, пока находитъ ихъ согласными съ первоначальнымъ ученіемъ Христа. Таковъ же трактатъ «о мирѣ» (De pace), писанный также въ Констанцѣ, гдѣ Гусъ объясняетъ, что миръ человѣка съ Богомъ и свѣтомъ основывается на исполненіи закона, что миръ исчезъ между людьми отъ нарушенія закона, — когда церковь и ея служители стали думать только о внѣшнихъ почестяхъ и богатствѣ, и когда богослуженіе сдѣлалось ремесломъ. Источникомъ всего этого зла Гусъ смѣло называетъ римскій дворъ...

Было бы слишкомъ долго передавать содержаніе всѣхъ этихъ сочиненій Гуса, — мы укажемъ еще только на немногіе изъ его трактатовъ, въ которыхъ онъ говоритъ о подробностяхъ церковныхъ неустройствъ и злоупотребленій. Таковъ напр. трактатъ «о крови Христовой» (De omni sanguine Christi hora resurrectionis glorificato), гдѣ послѣ догматическихъ объясненій онъ возстаетъ противъ преступнаго обмана церковниковъ, которые въ Римѣ показывали мясо изъ тѣла І. Х., въ Прагѣ обманывали многихъ, показывая имъ кровь Христа и молоко Божіей матери; онъ возстаетъ противъ изувѣрства и шарлатанскихъ чудесъ, которыя творились подобными обманщиками въ разныхъ мѣстахъ католической церкви и допускались са-

мими властями, — цѣлая масса примѣровъ приводится имъ въ доказательство этого религіознаго извращенія. Не меньшей энергіей отличается и его латинское сочиненіе «объ отнятіи у духовенства земскихъ владѣній»; справедливость и необходимость этого отнятія онъ доказываетъ множествомъ аргументовъ изъ писанія, изъ исторіи и изъ здраваго человѣческаго смысла. Когда консерваторы стали укорять его за публичныя нападенія на духовенство въ его проповѣдяхъ, онъ отвѣчалъ новымъ трактатомъ, гдѣ съ помощью св. писанія очень остроумно доказываетъ, что оставить въ покоѣ злоупотребленія и негодность духовенства значило бы доставить большое удовольствіе Люциферу: и Антихристъ по словамъ его желалъ бы, чтобы не трогали духовенства, потому что говорятъ и самъ онъ будетъ высшимъ прелатомъ католической церкви и не хотѣлъ бы, чтобы выставляли его недостатки... Большинство священниковъ возстаетъ противъ этого, и говорятъ нужно согласиться съ этимъ большинствомъ, но Гусъ полагалъ, что согласиться нельзя, потому что всегда бываетъ безчисленное множество людей глупыхъ, и очень мало умныхъ; — притомъ соглашаясь съ большинствомъ, слѣдовало бы признать, что и страданія и смерть Христа были справедливы, потому что этого желало большинство еврейскихъ священниковъ и фарисеевъ и т. д.

Если латинскими своими сочиненьями Гусъ дѣйствовалъ на ученую публику, то съ другой стороны не меньше важны его произведенія на чешскомъ языкѣ, которыя доставляли ему множество послѣдователей изъ народа. Оставаясь только латинскимъ писателемъ, Гусъ далеко не могъ бы имѣть такого широкаго вліянія какъ народный реформаторъ. Его противники чувствовали это, и какъ Ѳома Штитный подвергался нападеніямъ за то, что отважился писать для народа то, что было для того времени достояніемъ одной школы и латинской учености; такъ и Гусъ встрѣченъ былъ враждебно людьми, для которыхъ ясна была опасность его народной дѣятельности. Въ 1413 г. епископъ Литомышльскій въ письмѣ къ пражскому синоду находилъ необходимымъ, чтобы Гусу и друзьямъ его запрещена была проповѣдь (на чешскомъ языкѣ), и чтобы всѣ чешскія книги, ими написанныя, были уничтожены. — Для чешской литературы и для собственно народнаго развитія чешскія сочиненія Гуса несравненно важнѣе, и истинный его характеръ высказывается разнообразнѣе, чѣмъ въ латинскихъ. Мы видѣли уже въ немъ защитника народной чести и интереса въ университетскомъ спорѣ: онъ съ особенной ревностью заботился и о народномъ языкѣ и горячо возставалъ противъ нарушенія его старинной самобытности и чистоты смѣшеніемъ двухъ языковъ, — особенно у пражанъ, — отчего происходила, по его мнѣнію, двойственность и непослѣдовательность въ самой жизни и въ духовномъ характерѣ людей. Онъ убѣждалъ князей, пановъ, рыцарей, владыкъ и горожанъ заботиться о томъ, «чтобы чешская рѣчь не погибла», и недовольство его пражанами, мѣшавшими чешскій и нѣмецкій языки, высказывалось въ весьма сильныхъ вы-

раженіяхъ. Какъ писатель, онъ изъ патріотическаго стремленія былъ строгимъ пуристомъ, и, чтобъ установить твердыя правила языка, изобрѣлъ новый способъ правописанія [6]), который принятъ былъ таборитами, и потомъ чешскими братьями;—эти послѣдніе ввели его въ 16-мъ столѣтіи въ общее употребленіе и съ тѣхъ поръ онъ, съ нѣкоторыми улучшеньями, господствуетъ въ чешскихъ книгахъ и до сихъ поръ. Его заботы о языкѣ высказались уже въ томъ чешскомъ сочиненіи, которое выставили Чехи въ опроверженіе нѣмецкой партіи, защищавшей права иностранцевъ въ университетѣ. Въ этомъ опроверженіи виденъ тотъ же характеръ діалектики и полемической ловкости, которая вообще отличаетъ произведенія Гуса, и споръ противъ Нѣмцевъ вполнѣ выдаетъ его понятія объ этомъ предметѣ. Гусъ навлекъ на себя обвиненіе позднѣйшихъ историковъ за вражду къ Нѣмцамъ, переходившую границы по ихъ мнѣнію; но мы думаемъ, что эта вражда имѣла свои достаточныя основанія: хотя Гусъ и не пускался обыкновенно на чисто политическую почву, для него конечно, хотя инстиктивно, понятны были вредныя соціальныя послѣдствія нѣмецкаго вліянія; патріотическое чувство вызывало въ немъ отпоръ противъ притѣснителей, и наконецъ въ Нѣмцахъ онъ не безъ основанія видѣлъ враговъ реформы, — такими онъ встрѣтилъ ихъ уже въ первомъ спорѣ о положеніяхъ Виклефа. Какъ патріотъ и агитаторъ онъ долженъ былъ дорожить народнымъ орудіемъ, а народный языкъ былъ противенъ ученымъ латынщикамъ университета.

Было бы очень долго пересчитывать чешскія сочиненія Гуса. Всѣ они стоятъ въ болѣе или менѣе близкомъ отношеніи къ его реформѣ, отчасти посвященныя объясненію св. писанія; отчасти полемическія — по разнымъ вопросамъ реформы, нами уже указаннымъ; отчасти нравоучительныя. Таковы напр. его *Постилла* (Postilla, т. е. объясненія на недѣльныя евангенія, изд. съ другими его сочиненіями въ Нюренб. 1563), важнѣйшее изъ его чешскихъ сочиненій; *Объясненія* на Символъ и проч. (Výklad větší na páteře, изд.: Mistra Jana Husi kazatele slavného dědice českého dvanácti článkův víry křest'anské obecné и проч. Прага, 1520 и др.); *Девять золотыхъ вещсй*, богословскія разсужденія о твореніи міра, объ ангелахъ, и о вопросахъ христіанской нравственности, гдѣ Гусъ выставлялъ чисто христіанскія идеи въ противоположность условной католической морали: «кто дастъ одинъ геллеръ для Бога при добромъ здоровьѣ, тотъ больше почтитъ Господа Бога и больше принесетъ пользы душѣ своей, чѣмъ если бы по смерти столько далъ за это золота, сколько можетъ помѣститься его между небомъ и землей» и т. п.; *О шести заблужденіяхъ*, полемическое сочиненіе о церковныхъ заблужденіяхъ касательно отпущенія грѣховъ, послушанія, церковнаго проклятія и т. д.,—мы уже ви-

[6]) Его орѳографія написана по латыни и издана, съ чешскимъ переводомъ, А. Шемберой: Mistra Jana Husi Ortografie česká, 1857.

дѣли, въ чемъ состояли его собственныя мнѣнія объ этихъ предметахъ; дальше *Ученіе о Тайной вечери* (Нюренб. 1583), *О бракѣ*, *О церкви*, *Зерцало грѣшнаго человѣка* и др. Это послѣднее впрочемъ, какъ думаютъ, написано его послѣдователями, въ то время, когда уже загорѣлась религіозная ненависть, — потому что «Зерцало» выражается весьма злобно о католическомъ священствѣ. Изъ сочиненій нравоучительныхъ наиболѣе извѣстна его *Дочка, или о познаніи истиннаго пути ко спасенію* (Dcerka), изложеніе христіанской нравственности, какъ понималъ ее Гусъ; *Тройная вервь* (Próvazek tŕípramenný, 1411) — изъ вѣры, любви и надежды, и т. д. Затѣмъ важнымъ памятникомъ его литературной дѣятельности и пропаганды остались многочисленныя *письма*, латинскія и чешскія, изъ которыхъ особенно извѣстны его чешскія посланія къ друзьямъ и товарищамъ, писанныя изъ Констанцской тюрьмы. Гусу принадлежитъ дальше новая редакція перевода цѣлой Библіи, сдѣланнаго въ 14 столѣтіи, какъ полагаютъ, Матвѣемъ изъ Янова. Наконецъ Гусъ былъ авторомъ *духовныхъ пѣсенъ* (напр. Jesu Kriste štědrý kněže, — Ježíš Kristus božská moudrost и др. въ Канціонарѣ, 1576), — это было началомъ гусситской духовной поэзіи, которая значительно развилась впослѣдствіи.

Такова была обширная дѣятельность человѣка, который былъ главой великой нравственной реформы своего народа и первымъ начинателемъ реформы въ цѣломъ мірѣ европейскихъ религіозныхъ понятій и образованія. Въ проповѣди и сочиненіяхъ Гуса мы видимъ въ самомъ дѣлѣ черты, которыя окончательно выводятъ насъ изъ среднихъ вѣковъ и ставятъ на ту нравственную почву, на которой выросло новое европейское развитіе. Гусъ былъ схоластикомъ по внѣшней формѣ своихъ трудовъ, потому что схоластическая теологія и латинская ученость были тогда единственнымъ поприщемъ для дѣятельной мысли; но между его схоластикой и схоластикой Ѳомы Аквината лежитъ цѣлая пропасть: и въ этой схоластической формѣ рѣзко высказывались его страстныя увлеченія, въ которыхъ было столько благородныхъ зародышей. Его національная исключительность основывалась на стремленіи освободить нравственно народную массу, отъ которой онъ ждалъ успѣха дѣлу, и она была прямымъ источникомъ тѣхъ демократическихъ движеній, которыя разыгрались потомъ въ ученіи таборитовъ. Его церковная и догматическая полемика цѣлила къ нравственному освобожденію человѣческой личности, которой онъ въ первый разъ возвращаетъ ея внутреннюю независимость и самобытность: онъ представляетъ личность ея собственному суду на основаніи «разума» и уничтожаетъ всякій внѣшній авторитетъ, на томъ основаніи, что истина стоитъ выше лица и выше всякой традиціи. Единственный обязательный для человѣка законъ былъ указанъ въ евангельскомъ ученіи, которое Гусъ принималъ во всей его первобытности, не стѣсненной никакими іерархическими толкованіями. Однимъ словомъ, въ религіозныхъ и моральныхъ понятіяхъ Гуса ясно и положительно высказались начала чистаго гуманизма, который сталъ впослѣдствіи высшимъ от-

влеченнымъ основаніемъ европейско-человѣческаго развитія. — Непосредственное вліяніе Гуса на реформаторское движеніе въ Европѣ 15-го и 16-го вѣка извѣстно: какъ писатель латинскій, Гусъ принадлежитъ общеевропейской литературѣ тѣхъ временъ, въ которой онъ занимаетъ высокое мѣсто.

Какъ писатель и реформаторъ Гусъ имѣлъ, какъ мы видѣли, и великое народное значеніе. Къ его дѣятельности примкнули, какъ друзья или какъ противники, не только всѣ передовые ученые и образованная часть общества, но наконецъ и цѣлый народъ увлеченъ былъ въ начавшуюся борьбу религіозныхъ и общественныхъ принциповъ. Литература, латинская и народная, которая съ самаго начала сдѣлалась орудіемъ этой борьбы, привлекла общее вниманіе, и литературная дѣятельность распространилась такъ, какъ не распространялась никогда до тѣхъ поръ. Интересы ея были теологическіе по преимуществу, но и въ этомъ смыслѣ она стала средствомъ для народнаго развитія. Освобожденіе отъ авторитета іерархическаго было первымъ шагомъ, который необходимо было сдѣлать средневѣковому обществу; здѣсь этотъ шагъ сдѣланъ былъ массой народа. Литература этого времени не имѣла характера спокойнаго развитія; бурное время общественныхъ несогласій произвело множество сочиненій полемическихъ, въ которыхъ и сосредоточивался интересъ дня. Отношеніе къ прежнему періоду литературы какъ будто порвалось; интересъ настоящаго заслонялъ связь съ прошедшимъ и ближайшее единство идей осталось только со временами Штитнаго, Милича, и Матвѣя изъ Янова. Появились новые литературные вкусы и потребности.

Отъ идей Гуса развилась дѣятельность другихъ передовыхъ людей того времени; ихъ ревностная пропаганда вызывала столько же дѣятельную реакцію со стороны приверженцевъ стараго порядка, а потомъ и умѣренныхъ послѣдователей реформы. Литература продолжала оставаться въ предѣлахъ догматическаго и іерархическаго спора, но событія и живая дѣятельность затронутой народной мысли часто опережали ее и выводили ее за собой на новые пути: такимъ образомъ литература, первоначально по преимуществу духовная, мало по малу расширила свой объемъ до вопросовъ чисто общественныхъ. Она шла на двухъ языкахъ: латынь давала ей доступъ и за границу чешской земли, но вмѣстѣ съ тѣмъ дѣйствовала и дома, потому что школы сильно распространили знаніе латинскаго языка. Литература новаго направленія такъ вошла въ нравы, что въ 15—16-мъ вѣкѣ даже женщины писали недурно въ защиту реформы.

Изъ людей, раздѣлявшихъ пропаганду Гуса, прежде всего называется обыкновенно другъ его **Іеронимъ Пражскій** (сожженъ 30 мая 1416), имя котораго связано съ нимъ не столько объемомъ дѣятельности, сколько исторической судьбой. Іеронимъ, принесшій въ Прагу сочиненія Виклефа, былъ усерднымъ защитникомъ и распространителемъ ихъ; впрочемъ былъ больше извѣстенъ какъ патріотическій и религіозный агитаторъ, чѣмъ какъ

писатель. Онъ знаменитъ былъ своей ученостью, превышавшей, какъ говорятъ, ученость самого Гуса, и своимъ краснорѣчіемъ: «никогда не видалъ я человѣка, — говоритъ его другъ и біографъ Поджіо Браччьолини, — котораго бы можно было лучше сравнить съ ораторами классической эпохи, возбуждающими въ насъ такое удивленіе» [7]). Впрочемъ его рѣчи, латинскія и чешскія, не сохранились; извѣстны только нѣсколько писемъ и переводъ нѣкоторыхъ сочиненій Виклефа, сдѣланныхъ имъ въ 1402 г. вмѣстѣ съ Гусомъ (Юнгм., стр. 41).

Сожженіе Гуса и Іеронима произвело, какъ мы уже сказали, сильное впечатлѣніе въ Чехіи; противъ Констанцскаго собора протестовалъ и пражскій университетъ, который такимъ образомъ становился теперь на сторону гусситизма. Съ этихъ поръ члены пражскаго университета принимаютъ уже дѣятельное участіе въ распространеніи реформы и даютъ ей силу своимъ значеніемъ. Мы назовемъ главнѣйшихъ дѣятелей этого времени, выдающихся особенно или своими литературными трудами, или вообще, своимъ живымъ участіемъ въ религіозной борьбѣ, разгаръ которой наступилъ вскорѣ послѣ смерти Гуса. Въ этомъ перечисленіи обнаружится и разнообразіе мнѣній, порожденныхъ реформой, и колебаніе людей общества, сильно потрясеннаго новыми идеями. Таковъ былъ Яковъ Стрибрскій (или Якубекъ, Jacobellus, † 1429), знаменитый своей ученостью и быть можетъ излишней теологической ревностью, и написавшій много трактатовъ и рѣчей, преимущественно полемическихъ, и нѣсколько чешскихъ сочиненій [8]). Онъ съ самаго начала сталъ ревностнымъ приверженцемъ Гусова ученія и извѣстенъ введеніемъ религіознаго обряда, который еще при жизни Гуса отдѣлилъ гусситовъ отъ католической церкви. Это былъ знаменитый «калихъ» (чаша), причащеніе подъ обоими предметами, хлѣбомъ и виномъ, отчего и послѣдователи реформы получили имя подобоевъ, утраквистовъ, калишниковъ. Якубекъ былъ отчасти продолжателемъ Матвѣя изъ Янова и вмѣстѣ съ тѣмъ стоитъ въ тѣсной связи съ идеями самого Гуса, такъ что католическая сторона ставила его сочиненія на ряду съ книгами Гуса и постановленіе Констанцскаго собора, подтвержденное папской буллой 1418, повелѣвало, чтобы сочиненія Виклефа, переведенныя на чешскій языкъ Гусомъ и Якубкомъ, и затѣмъ сочиненія Гуса (особенно «о церкви») и Якубка (о причащеніи подъ обоими видами, объ Антихристѣ и пр.) были сожжены. Въ раздорахъ пражской партіи съ таборитами Якубекъ придерживался еще радикальной партіи и старался помирить враждующія стороны, но потомъ сталъ на сторонѣ умѣренныхъ реформаторовъ. Сочиненія его, имѣвшія сильное вліяніе, встрѣтили и сильный отпоръ, въ одно

[7]) Descriptio obitus et supplicii Hieronymi Pragensis.

[8]) Epištoly nedělní s výklady přes celý rok, изд. 1564; Kázaní o poctivosti и пр. 1545; Bohomyslne kázaní a rozmlouvání věrné duše s Panem Kristem, 1545; Passio Ioannis Hussi и т. д.

и тоже время отъ правовѣрныхъ католиковъ и отъ радикальныхъ таборитовъ: середина не удовлетворяла ни тѣхъ, ни другихъ. Янъ изъ Есеницъ, близкій другъ Гуса, защитникъ его въ Римѣ, авторъ латинскаго трактата противъ пражскаго богословскаго факультета въ 1412 г. и наконецъ авторъ сочиненія въ защиту Гуса противъ Констанцскаго собора, подвергся проклятію, на которое онъ по принципамъ новаго ученія не обратилъ ни малѣйшаго вниманія. Онъ былъ вообще дѣятельнымъ историческимъ лицомъ гусситской эпохи. Болѣе практическою, чѣмъ литературной дѣятельностью въ пользу гусситизма отличался мистръ Янъ изъ Рейнштейна, по прозванью Кардиналъ, который отправился въ Констанцъ защитникомъ Гуса и былъ потомъ ректоромъ университета (латинскій трактатъ о причащеніи подъ обоими видами въ смыслѣ Якубка). Особеннымъ вліяніемъ отличался многосторонній ученый Христіанъ Прахатицкій († 1439), медикъ, математикъ и астрономъ, оставившій важныя по своему времени чешскія сочиненія по этимъ предметамъ, нѣсколько разъ былъ ректоромъ университета и принималъ весьма живое участіе въ событіяхъ. Это былъ также близкій другъ Гуса,—онъ посѣтилъ его въ Констанцѣ, но и самъ былъ взятъ къ отвѣту за свои мнѣнія и получилъ свободу только черезъ заступничество короля Сигизмунда. Впослѣдствіи, въ спорѣ таборитовъ съ пражанами онъ сталъ на сторонѣ умѣренныхъ, что стоило ему преслѣдованій и изгнанія; но послѣ онъ снова вернулся въ Прагу и незадолго до смерти выбранъ былъ администраторомъ партіи утраквистовъ. Симонъ изъ Тишнова (гусситскій трактатъ de unitate ecclesiae, и пр.) принималъ участіе въ національномъ университетскомъ спорѣ, въ защитѣ сочиненій Виклефа и, будучи ректоромъ университета, защищалъ Гуса противъ архіепископа пражскаго; въ 1417 г. мистръ Симонъ защищалъ трактатъ Гуса о церкви: онъ распространялъ гусситизмъ и на Моравѣ, гдѣ повидимому онъ, сложивъ ректорство, былъ священникомъ, но потомъ, кажется, перешелъ на сторону католиковъ,—по крайней мѣрѣ съ его именемъ извѣстенъ чешскій трактатъ противъ подобоевъ (1428): haereticos acriter oppugnavit, по замѣчанію іезуита Бальбина. Въ числѣ приверженцевъ Гуса долженъ быть еще названъ Прокопъ Пильзенскій, защищавшій публично въ университетѣ сочиненіе Виклефа de ideis, стоявшій за Гуса въ бурномъ собраніи 1412 года, и послѣ нѣсколько разъ бывшій ректоромъ университета. Но впослѣдствіи онъ былъ, какъ и многіе другіе, противникомъ таборитовъ, и вѣрнымъ союзникомъ Прибрама. Прокопъ не отличался ни большой ученостью, ни талантомъ, хотя былъ впрочемъ ревностнымъ агитаторомъ умѣренной партіи въ университетскомъ и священническомъ кругу (Expositio vocabulorum Bibliæ; Veřejné napomenutí k Čechům i Moravanům и пр.). Какъ человѣкъ умѣренной партіи онъ убѣждалъ соотечественниковъ согласиться съ рѣшеніями базельскаго собора; ему хотѣлось только, чтобы люди не волновались изъ-за недостатка политической и церковной свободы и, какъ часто бываетъ съ умѣренными, онъ сталъ такимъ образомъ не далекъ отъ настоящихъ като-

лическихъ ретроградовъ, потому что вмѣсто освобожденія отъ авторитета началъ проповѣдовать смиренную покорность къ властямъ свѣтскимъ и духовнымъ, когда они уже сдѣлали такую уступку, какъ признаніе чаши... Наконецъ, упомянемъ еще Петра изъ Младеновицъ (✝ 1451), который былъ въ Констанцѣ въ качествѣ секретаря Яна Хлумскаго, посла пражскаго университета: Гусъ въ одномъ письмѣ изъ Констанца рекомендовалъ Петра пражанамъ, какъ своего вѣрнѣйшаго друга. Впослѣдствіи и онъ сталъ на сторонѣ пражанъ противъ таборитовъ. Онъ написалъ два важныхъ разсказа о судьбѣ Гуса въ Констанцѣ, одинъ больщій, другой меньшій; нѣмецкій ученый 16-го вѣка Агрикола издалъ ихъ въ нѣмецкомъ переводѣ въ 1538 и въ 1548. Чешскій текстъ изданъ былъ въ Пассіоналѣ 1495, и отдѣльно въ Прагѣ 1533 и 1600 (? Сравн. Юнгман., стр. 71).

Были ревностные и ученые люди и между противниками Гуса; они упрямо защищали дѣло, потерянное уже для массы, и наконецъ повредили реформѣ, потому что, опираясь на нихъ, іерархія могла поддержать свое существованіе и взять верхъ, когда народная сила истощилась въ борьбѣ. Станиславъ изъ Знойма считался однимъ изъ лучшихъ ученыхъ и профессоровъ пражскихъ (комментарій къ физикѣ Аристотеля; Universalia realia и др.): Гусъ былъ его ученикомъ. Въ началѣ Станиславъ также защищалъ Виклефово ученіе и даже превосходилъ Гуса своею ревностью; но съ 1412 онъ совершенно отдѣлился отъ него и съ тѣхъ поръ сталъ въ главѣ его противниковъ на церковныхъ синодахъ и университетскихъ собраніяхъ, и писалъ противъ Гуса полемическіе и обличительные трактаты. Основываясь на изреченіи Августина, что послушаніе выше всѣхъ другихъ добродѣтелей, Станиславъ дошелъ наконецъ до крайняго фанатизма, призывалъ на еретиковъ казнь духовную и свѣтскую, защищалъ гнилую римскую іерархію и ея принципы. Рядомъ съ нимъ стоитъ въ исторіи этого времени Степанъ Палечъ (✝ послѣ 1421); онъ одинъ изъ первыхъ принялъ ученіе Виклефа, но потомъ вмѣстѣ съ Станиславомъ началъ возставать противъ Гуса, съ которымъ въ прежнее время былъ повидимому въ тѣсной дружбѣ. На Констанцскомъ соборѣ Палечъ былъ однимъ изъ злѣйшихъ обвинителей Гуса и Іеронима: фанатизмъ Станислава сообщился и ему, и онъ въ своихъ рѣчахъ и трактатахъ не находилъ достаточно словъ къ униженію Виклефа и приверженцевъ реформы. Замѣчательной плодовитостью отличался также Андрей изъ Брода, стоявшій въ университетскомъ спорѣ на народной сторонѣ, но горячо возстававшій противъ Виклефа; на Констанцскомъ соборѣ онъ былъ ревностнымъ обвинителемъ Гуса. Но первое мѣсто между обвинителями Гуса и Іеронима (Палечъ, Михаилъ de Causis, Андрей изъ Брода, Янъ Протива) занимаетъ Янъ, епископъ Литомышльскій, также оставившій латинскіе трактаты противъ Гуса, эпистолы и другія сочиненія. Чешское духовенство католической партіи на свой счетъ устроило его поѣздку на Констанцскій соборъ, гдѣ онъ считался его представителемъ. Дальше Янъ изъ Голешова (✝1436), Вацлавъ изъ Хвалетицъ, Степанъ Долан-

скій (┼ 1421), авторъ многихъ противо-гусситскихъ сочиненій: Anti-Viklef, Anti-Hus, Epistola invectiva matris Ecclesiæ contra abortivos filios и проч. [9]).

На переходѣ отъ временъ Гуса и въ самомъ разгарѣ гусситскихъ войнъ являются новые писатели, дѣятельность которыхъ тѣсно связана съ событіями. Наибольшимъ значеніемъ пользовались Янъ Прибрамъ и Рокицана. Янъ Прибрамъ (Jan z Příbrami, ┼ 1448), одинъ изъ извѣстнѣйшихъ людей своего времени, выступилъ на сцену въ послѣдніе годы Гуса, котораго былъ пылкимъ послѣдователемъ, — но потомъ сталъ въ числѣ умѣренныхъ и больше отличался враждой къ радикальному таборитству, чѣмъ ревностью къ защитѣ гусситизма отъ католиковъ. Къ таборитамъ онъ относился съ крайней враждой, — и возставалъ противъ стремленій, которыя, опережая свое время, становились выше обыкновеннаго пониманія. Безъ сомнѣнія, и Прибрамъ также не понималъ ихъ. Въ своей умѣренной реформѣ, онъ подобно многимъ другимъ впадалъ наконецъ въ совершенное ретроградство, напр. когда въ 1427 г. онъ открыто присталъ къ тому пражскому духовенству, которое подчинялось папѣ, и когда велъ полемику съ Рокицаной о повиновеніи папскому престолу. Вся литературная его дѣятельность, очень обширная и обращавшая на себя вниманіе, была посвящена опроверженію Виклефа и обличеніямъ таборитовъ: эти обличенія очень важны исторически, особенно потому, что за потерей таборитскихъ сочиненій составляютъ важный источникъ для изученія развитія таборитства. Мы увидимъ, что о таборитахъ и не могъ не говорить враждебно человѣкъ, общественныя и нравственныя понятія котораго почти не выходили изъ рутинной католической морали. Тѣмъ не менѣе онъ игралъ важную роль въ свое время, какъ ловкій проповѣдникъ, общественный человѣкъ и писатель. Сочиненія его, латинскія и чешскія, имѣютъ общій характеръ тогдашней литературы: это богословскіе и полемическіе трактаты, квестіи, рѣчи; въ спорахъ и договорахъ о соединеніи съ таборитами, онъ составлялъ программы переговоровъ со стороны умѣренныхъ пражанъ [10]). Въ особенности важна по свѣдѣніямъ о таборитахъ его чешская книга: «жизнь таборитскихъ священниковъ» (Život kněží Táborských, 1429, рукоп.), гдѣ онъ излагаетъ ихъ ученіе и даже иногда приводитъ буквальныя выписки изъ ихъ потерянныхъ теперь сочиненій. Онъ нападалъ въ особенности на англичанина

[9]) Вся эта латинская литература о Гусѣ и гусситахъ еще не собрана и многое остается въ рукописяхъ. Сборники составлялись впрочемъ уже давно, такова напр. рукопись Invectiva contra Hussitas; Depositiones testium, изъ первой половины 15-го вѣка; сборникъ латинскихъ и чешскихъ трактатовъ, синодальныхъ актовъ (1417—1609), и т. п., составленный въ первой половинѣ 17-го вѣка Волинскимъ. Печатные сборники: Hardt, Magnum Oecumenicum Constantiense Consilium и пр.; Bernard Pez, Thesaurus Anecdotorum 1721.

[10]) De conditionibus justi belli; de articulis Viklefi; De professione fidei catholicæ et errorum revocatione; Articuli et errores Taboritarum и пр. „Архивъ“ Палацкаго, III; латинское и чешское сочиненіе „о послушаніи папѣ и святой церкви“, противъ Рокицаны; чешскія Řeči и т. д.

Пэна, ревностнаго таборита, корилъ таборитовъ, что они оставляютъ даже Гуса и Виклефа, и говоря напр. объ очищеніи грѣховъ на томъ свѣтѣ, которое отвергали табориты, выражается такъ, — что они «ограбивши у святыхъ ихъ силу, грабятъ теперь у бѣдныхъ душъ очищеніе отъ грѣховъ». Прибрамъ возставалъ и противъ чешскаго богослуженія, введеннаго таборитами, которые весьма резонно находили, что «читать на чужомъ языкѣ все равно что не читать». Янъ Рокицана (┼ 1471) также выступилъ на сцену послѣ Гуса; онъ уже рано сталъ во главѣ утраквистовъ, и хотя какъ писатель вовсе не отличался самобытностью и особеннымъ талантомъ, но имѣлъ обширное вліяніе, какъ замѣчательный проповѣдникъ и практическій дѣятель. Партія подобоевъ даже выбрала его архіепископомъ пражскимъ; но защищая права подобоевъ, онъ подвергся преслѣдованьямъ короля Сигизмунда, долженъ былъ бѣжать изъ Праги и вернулся только при Юріи Подѣбрадѣ, и затѣмъ до самой смерти былъ администраторомъ утраквистской церкви. Рокицана оставилъ много чешскихъ сочиненій, поученій и полемическихъ трактатовъ: всего любопытнѣе въ историческомъ отношеніи его полемика противъ чешскихъ братьевъ («посланіе противъ заблужденій Пикартовъ») и противъ Прибрама въ защиту причастія подъ обоими видами («Обвиненіе пражскихъ мистровъ Прибрама и Гиларія» и т. д.). Его рѣшительная манера навлекла ему много враговъ, въ особенности съ католической стороны, хотя и онъ былъ расположенъ къ ней больше, чѣмъ бы слѣдовало утраквистскому архіепископу и защитнику компактатовъ.

Обратимся теперь къ другой, радикальной сторонѣ гусситскаго движенія.

Несмотря на всѣ колебанія приверженцевъ реформы и даже на измѣны, гусситство стало уже широкимъ явленіемъ жизни. Университетъ былъ на сторонѣ реформы; друзья Гуса, при немъ и послѣ, были ректорами университета, и это конечно чрезвычайно способствовало распространенію виклефизма и гусситства. Живая проповѣдь ихъ послѣдователей мало по малу перенесла въ народъ религіозный споръ, къ которому онъ конечно не могъ остаться равнодушнымъ. Народная страсть начала сказываться; ученые, для которыхъ дѣло шло прежде объ ученой полемикѣ и о защитѣ своихъ мнѣній въ области церкви, стали теперь дорожить и народной силой; эта сила обнаруживала горячее сочувствіе, и литература гусситизма изъ латинской по преимуществу скоро дѣлается и чешской. Чѣмъ дальше въ 15-е столѣтіе, тѣмъ чаще мы встрѣчаемся съ чешскими памятниками этой борьбы. Во второмъ десятилѣтіи реформатскій вопросъ дѣлается вполнѣ народнымъ; въ третьемъ десятилѣтіи мы видимъ уже полное развитіе этого народнаго вмѣшательства въ дѣло, до тѣхъ поръ разбиравшееся учеными и попами.

Это полное развитіе является чрезвычайно быстро: черезъ четыре года по смерти Гуса радикальная часть его послѣдователей уже отдѣляется въ особую энергическую партію, и въ 1419 году начинаются кровопролитныя гусситскія войны, — такъ скоро идея, проникши разъ въ народъ, охватила

его дѣятельнымъ и воинственнымъ энтузіазмомъ, противъ котораго ничего не могли сдѣлать крестовыя воинства, собранныя папами изъ вѣрныхъ всей католической Европы. Религіозное настроеніе, видѣвшее въ ученіи противника «дьявольское внушеніе» и въ его дѣйствіяхъ «дорогу, по которой Антихристъ ведетъ къ погибели», думавшее, что «непорядки иной стороны не должны быть терпимы»,—это настроеніе должно было вести наконецъ къ крайнему фанатизму. Свѣжая народная масса сильнѣе чувствовала старую неправду и нетерпѣливѣе ожидала будущей справедливости и счастія, и дѣйствительно увлеклась своими надеждами до фанатизма, который придалъ ей непобѣдимое могущество. Народъ пошелъ дальше и въ развитіи самыхъ принциповъ: не связанный традиціями власти или схоластики, онъ скорѣе принималъ логическія послѣдствія этихъ принциповъ, и въ то время, когда «умѣренные» успокоивались на мелкихъ уступкахъ и исправленіяхъ, онъ, разъ убѣжденный въ нихъ и раздраженный противорѣчіемъ, готовъ былъ совершенно разорвать со старымъ обществомъ и его преданьями,—готовъ былъ основать свое, новое общество. Таковы и были табориты. «Они, очевидно, слишкомъ рано явились съ своими воззрѣніями,—говоритъ одинъ историкъ, — они стали противъ тогдашняго свѣта, а онъ противъ нихъ. Несомнѣнно, что до нѣкоторыхъ принциповъ, которые они высказали прямо и какъ бы неожиданно, позднѣйшая философія додумалась только долгимъ размышленіемъ и только при помощи громаднаго ученаго матеріала,—и несомнѣнно, что ихъ соціальныя стремленія не устарѣли и до сихъ поръ».

Табориты были самымъ полнымъ выраженіемъ гуситизма; они были его наиболѣе послѣдовательнымъ и вмѣстѣ самымъ національнымъ его развитіемъ. Появленіе ихъ было весьма естественно. Какъ скоро провозглашена была мысль, что единственный истинный законъ заключается въ писаніи, что никакой авторитетъ не можетъ стѣснять сознательнаго человѣческаго мышленія и совѣсти, естественно, что дряблые общественные и католическіе порядки потеряли всякую вѣру. Чтеніе библіи чрезвычайно распространилось и люди, искавшіе новыхъ началъ, находили въ ней все, что имъ было нужно. Ревностное убѣжденіе побуждало искать способовъ къ практическому выполненію пріобрѣтенныхъ принциповъ, а для этого прежде всего нужна была свобода. Такимъ образомъ явилась необходимость совершеннаго отдѣленія отъ стараго общества,—и эта необходимость была исполнена таборитами.

Эта рѣшимость идти до послѣднихъ выводовъ не могла конечно принадлежать большинству, которое всегда держится болѣе спокойныхъ путей. Католиковъ оставалось уже мало въ Чехіи; большинство, запуганное трудностями дѣла, оказалось способно только на умѣренный гуситизмъ,—въ приведенномъ нами рядѣ писателей мы видѣли, сколько людей, начавшихъ горячимъ усердіемъ къ широкой реформѣ, кончили золотой серединой. Остальные, искавшіе положительнаго рѣшенія тронутыхъ вопросовъ, стали

таборитами. Къ сожалѣнію мы всего меньше знаемъ именно объ этой, всего больше интересной части гусситства. До насъ уцѣлѣли только немногія сочиненія таборитовъ, отъ другихъ остались только случайные отрывки, такъ что трудно составить себѣ полное понятіе о тѣхъ вещахъ, которыя ходили тогда въ умахъ таборитовъ. Какъ бываетъ всегда съ народными движеньями, отвергающими авторитетъ, въ кругу таборитовъ не было одной господствующей системы; напротивъ, мнѣнія религіозныя и общественныя были крайне разнообразны: каждый, доходившій собственнымъ размышленіемъ до извѣстнаго принципа, необходимо дѣлался пропагандистомъ ученія, которое считалъ истиннымъ, столкновеніе понятій развивало ихъ шире и шире, такъ что въ цѣломъ составилось наконецъ удивительное соединеніе мнѣній, шедшихъ отъ умѣреннаго таборитства, признававшаго первобытное христіанство, до хиліазма, ждавшаго преставленія свѣта, и адамитства, вводившаго на дѣлѣ пантеистическія и коммунистскія начала. «Всякія еретичества, какія только бывали въ христіанствѣ, — говоритъ современникъ Эней Сильвій, — все это собралось на Таборѣ, и каждому тамъ вольно вѣрить тому, что ему нравится». Изъ броженія этихъ мнѣній, представители которыхъ погибали иногда, возбудивъ людскую ненависть непривычными требованьями, выработалась потомъ однако философія Хельчицкаго и соціально-христіанская община «чешскихъ братьевъ».

Это разнообразіе ходившихъ мнѣній, представляющее намъ въ высшей степени любопытное явленіе культуры 15-го вѣка, самими современниками было понимаемо весьма смутно. Извѣстія, сохранившіяся преимущественно отъ непримиримыхъ враговъ крайняго гусситства, изображаютъ всѣ подробности его дѣломъ одной секты, на которую цѣликомъ взваливались всѣ достойныя проклятія ереси. Одинъ простодушный лѣтописецъ тѣхъ временъ такъ передаетъ ожиданія и мнѣнія крайнихъ гусситовъ: «Говорили они, что черезъ нѣсколько дней будетъ судный день; поэтому нѣкоторые постились, сидя въ тайныхъ мѣстахъ и ожидая этого дня (мнѣніе *хиліастовъ*)... Эти священники говорили также, что всѣ грѣшники погибнутъ, что останутся одни добрые; и поэтому безъ всякой милости жестоко убивали людей. Говорили тоже, что придетъ святая церковь въ такую невинность, что будутъ люди на землѣ какъ Адамъ и Ева въ раю, что не будетъ одинъ другаго стыдиться... что должны быть всѣ ровными братьями между собой, а пановъ чтобы не было, и чтобы одинъ другому подданъ не былъ, и потому взяли себѣ имя «братья»... Также говорили, что придетъ и будетъ такая любовь между людьми, что всѣ вещи будутъ у нихъ вмѣстѣ и общія, также и жены; толкуя, что люди должны быть свободными сынами и дщерями божьими, а бракъ быть не долженъ (мнѣніе *адамитовъ*)... Говорили также о тѣлѣ божьемъ не по христіански, и о крови божьей... и о всѣхъ иныхъ таинствахъ божіихъ, насмѣхаясь и ни во что ихъ не ставя... въ костелахъ служить не хотѣли, орнатъ и другихъ священныхъ вещей къ службѣ имѣть не хотѣли (общее мнѣніе *таборитовъ*)... Пѣнье латинское въ костелахъ

называли воемъ и лаемъ псовъ» и т. д. Много подобныхъ свѣдѣній сообщаетъ особенно упомянутый нами Прибрамъ въ книгѣ: Articuli et errores Taboritarum. Онъ съ точностью пересчитываетъ ихъ мнѣнія о второмъ пришествіи и о «царствѣ добрыхъ», ихъ мнѣнія о внѣшней церкви, которую они отвергали со всѣми ея обрядами, какъ составляющими человѣческое установленіе, о единственномъ законѣ, заключающемся въ писаніи, о почитаніи святыхъ и реликвій, въ которыя они не вѣрили, объ очищеніи въ будущей жизни, котораго они не признавали, объ отверженіи священническаго сословія, о постахъ, священныхъ изображеніяхъ и т. д. и т. д. Въ сущности всѣ эти вещи, только иногда преувеличенныя таборитами (напр. чтеніе одной библіи и запрещеніе сочиненій всѣхъ докторовъ и «мистровъ» и т. п.), были только примѣненіемъ къ дѣлу идей Гуса, напр. въ его трактатѣ «о церкви». Ученіе объ Антихристѣ, развитое особенно хиліастами, уже проповѣдовалъ въ 14-мъ столѣтіи Матвѣй изъ Янова. Изъ тѣхъ основныхъ принциповъ, которые изложилъ Гусъ и которые въ началѣ защищаемы были почти каждымъ изъ пражскихъ «мистровъ», ставшихъ потомъ умѣренными калишниками, совершенно послѣдовательно выводятся результаты, которые проповѣдовались потомъ таборитами. Самъ Гусъ конечно призналъ бы своими послѣдователями скорѣе таборитовъ, чѣмъ тѣхъ людей, которые изъ его ученія могли вынести только калихъ и неповиновеніе папѣ.

Одна изъ любопытныхъ подробностей этого практическаго выполненія первобытной церкви заключалась въ демократическомъ ожиданіи уничтоженія всякаго подданства и въ общности имѣній. На пражскомъ совѣщаніи враждебныхъ сторонъ въ 1420 г. — черезъ пять лѣтъ по смерти Гуса — уже обсуждался такой пунктъ таборитскаго ученія: «Въ Градищѣ или на Таборѣ ничего нѣтъ моего или твоего, но всѣ имѣютъ одинаково поровну; и всѣмъ всегда должно быть все общее, и никто не можетъ имѣть ничего про себя,—иначе, у кого есть что либо про себя, тотъ грѣшитъ смертельно». Уже годъ спустя эти коммунистическія начала были ограничены, въ 1422 г. уже нѣтъ упоминаній о «кадяхъ», поставленныхъ для собиранія общей кассы. Обстоятельства ввели раздѣленіе между «полевыми» (военными) и «домашними» таборитами,—эти послѣдніе занимались работами и доставляли для полевыхъ все необходимое; табориты переходили отъ боя къ ремесламъ и наоборотъ. У нихъ были свои «владари», «справщики» и «гетманы» и соціалистскіе порядки сохранялись до послѣдняго пораженія таборитовъ у Липанъ (1434). Палацкій полагаетъ, что этотъ соціализмъ былъ приведенъ хиліастами, которые уже въ 1420 г. проповѣдовали о послѣднихъ дняхъ (consummatio seculi). Этотъ миѳъ, появлявшійся уже и въ первыя времена христіанства, въ бурныя времена гусситства нашелъ себѣ новое развитіе. Люди съ разгоряченной фантазіей уже слышали о битвахъ, знали, что скоро возстанетъ народъ на народъ и царство противъ царства; они уже несли на себѣ ненависть за свою вѣру и видѣли мерзость запустѣнія на мѣстѣ святѣ, предсказанную Даніиломъ; появились уже и ложные пророки

(такъ взаимно корили другъ друга проповѣдники враждебныхъ сторонъ): послѣ этого имъ всего естественнѣе казалось ожидать, что явится и «сынъ человѣческій» въ своемъ могуществѣ и славѣ. Такъ явилась проповѣдь хиліастовъ. Ученіе продержалось не долго, но принесло свои плоды: легковѣрные горожане и поселяне продавали свои имѣнія и спасались «на горахъ», отдавая имущество священникамъ, что произвело въ первый разъ нѣчто въ родѣ общаго имѣнія, и можетъ быть привело за собой таборитскій соціализмъ. Въ 1431 уничтожается военной силой гусситская секта «Среднихъ» (Mediocres) на Моравѣ, главное мнѣніе которыхъ состояло въ томъ, «чтобы только законныя дани платить панамъ, имѣющимъ законное право, но чтобы другія несправедливыя тягости были уничтожены». Изъ этого можно вывести, что кромѣ «среднихъ», т. е. умѣренныхъ, были и такіе, которые отказывались не только отъ незаконныхъ, но и отъ законныхъ тягостей,—что было уже въ ожиданьяхъ хиліастовъ. Фантастическія увлеченія, произведшія хиліастовъ, произвели, мало впрочемъ извѣстную, секту «адамитовъ» (adamnici), которые, основываясь на пантеистическихъ началахъ, можетъ быть наслѣдованныхъ отъ какой нибудь другой средневѣковой ереси, утверждали, что нѣтъ ни Бога, ни дьявола, что они есть только въ добрыхъ и злыхъ людяхъ; находя святой духъ въ самихъ себѣ, они отвергали всякія книги и заповѣди; все имѣніе у нихъ было общее, бракъ они считали грѣхомъ,—нѣкоторые пробовали даже ходить нагими, предполагая въ себѣ райскую невинность; у нихъ принята была наконецъ извѣстная и нашему расколу персоннификація божества, потому что какого-то Петра называли они сыномъ божіимъ, а одного селянина Микулаша называли Моисеемъ... Этотъ новый образчикъ коммунизма нашелъ врага въ Жижкѣ, который и истребилъ ихъ небольшую общину 1421. Самъ знаменитый Жижка, предводитель таборитскаго воинства, представлявшій политическія воззрѣнія таборитовъ, не знавшій различія сословій и врагъ феодальнаго панства, не былъ вовсе крайнимъ въ своихъ религіозныхъ мнѣніяхъ, хотя при всемъ томъ былъ крайнимъ фанатикомъ своихъ убѣжденій и не зналъ милосердія къ тѣмъ, кого по своему считалъ скрытнымъ или явнымъ еретикомъ. Въ послѣднее время онъ уже сильно расходился съ своими таборитами, и его ближайшіе приверженцы, назвавшіеся по его смерти (1424) «Сиротками», составляли уже середину между настоящими таборитами и калишниками. Они признавали спорное пресуществленіе, почитали святыхъ, употребляли при богослуженіи орнаты. По мнѣнію Палацкаго, эти умѣренные табориты стояли всего ближе къ настоящимъ взглядамъ Гуса.

Намъ пришлось излагать эту сторону чешской культуры по чисто историческимъ памятникамъ,—мы сказали уже, что отъ литературной дѣятельности таборитовъ остались только немногіе слѣды. Между тѣмъ и чешскіе, и чужіе писатели свидѣтельствуютъ, что между таборитами вообще было много людей мыслящихъ и образованныхъ. Извѣстный Эней Сильвій (впослѣдствіи папа Пій II), который самъ посѣщалъ таборитовъ и котораго

трудно заподозрить въ пристрастіи къ нимъ, разсказываетъ, что въ Таборѣ его встрѣтили лучшіе горожане, священники и ученики, говоря по латыни,—потому что этотъ неблагородный народъ, по словамъ его, только то имѣлъ въ себѣ хорошаго, что любилъ науки. И въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ, что передъ таборитами «устыдились бы итальянскіе священники, изъ которыхъ едва кто прочелъ вполнѣ Новый Завѣтъ, тогда какъ между таборитами не найдется можетъ быть женщины, которая бы не съумѣла отвѣчать изъ Ветхаго и Новаго Завѣта». Въ присутствіи ученыхъ людей между таборитами не можетъ быть сомнѣнія уже и потому, что табориты не разъ защищали свое ученіе на сходкахъ и въ полемикахъ съ пражскими «мистрами», а для этого нужно было знать дѣло не хуже самихъ мистровъ.

Вотъ нѣсколько именъ этихъ защитниковъ таборитства. Пражскіе мистры всего чаще возставали противъ Петра Пэна, называвшагося также Англичаниномъ (Petr Payne, mistr Engliš): изгнанный изъ Англіи за виклефизмъ, Пэнъ нашелъ убѣжище въ Прагѣ, сдѣлался тамъ мистромъ и съ тѣхъ поръ остался въ Чехіи. Онъ былъ собственно единственнымъ настоящимъ представителемъ виклефизма у Чеховъ, которые вообще воспользовались этимъ ученіемъ весьма самостоятельно. Въ защиту Виклефа онъ написалъ нѣсколько трактатовъ, разсѣянныхъ по библіотекамъ. Изъ туземныхъ писателей въ особенности замѣчателенъ былъ молодой священникъ Мартинъ Гуска (называемый также Локвисъ), изъ сочиненій котораго уцѣлѣли только небольшіе отрывки, напр. у Прибрама. Изъ сохранившихся свидѣтельствъ можно видѣть, что этотъ еретикъ, сожженный умѣренными вмѣстѣ съ своимъ послѣдователемъ Канишемъ, отличался особенной энергіей убѣжденій и раціоналистской простотой своихъ богословскихъ понятій: «мы много говорили съ нимъ о томъ и о другомъ, — говоритъ Хельчицкій,—и онъ сказалъ передъ нами, что на землѣ будетъ царство святыхъ, и что добрые не будутъ больше терпѣть, и что еслибъ христіанамъ приходилось такъ терпѣть всегда, — я бы не хотѣлъ быть божьимъ слугой,—такъ онъ говорилъ». Изъ историческихъ свидѣтельствъ можно заключить, что Мартинъ былъ изъ наиболѣе передовыхъ нововводителей въ Таборѣ: «я благодарю моего Бога,—писалъ онъ къ таборскимъ братьямъ,— что онъ освободилъ меня отъ заблужденій, и я весело ожидаю теперь смерти». Въ своихъ мнѣніяхъ о транссубстанціаціи онъ сходился со всѣми радикальными таборитами и не признавалъ «колдовскихъ обычаевъ» и старался объяснить ихъ здравымъ смысломъ. Стремленія его направлялись къ такому общественному устройству, которое цѣль жизни ставитъ въ самой жизни. Если имя его соединяютъ съ происхожденіемъ хиліастовъ, то нѣкоторые историки предполагаютъ, что его раціоналистскій взглядъ былъ измѣненъ его послѣдователями, которые дали ему фантастическій характеръ. Изъ многихъ «лживыхъ пророковъ», упоминаемыхъ старыми лѣтописцами, мы упомянемъ еще нѣкоторыхъ, оставившихъ какую нибудь литературную память. Таковъ былъ напр. священникъ Вилемъ, который женился въ Таборѣ и вы-

ступилъ противъ пражской партіи, по поводу жестокости противъ священника Яна: о смерти его Вилемъ написалъ еще особую монографію, которая своей свѣжестью ясно отличается отъ остальныхъ историческихъ записокъ того времени. Это сочиненіе нравилось въ свое время и лѣтописцы вставляли его въ свои хроники. Прибрамъ упоминаетъ, что Янъ Чапекъ, одинъ изъ воинственныхъ священниковъ гусситства, издалъ «кровожадный трактатъ», въ которомъ «многими книгами ветхаго закона доказывалъ всѣ тѣ (гусситскія) свирѣпости, совѣтуя и приказывая, чтобы ихъ всѣ совершали не задумываясь». Это была конечно воинственная проповѣдь таборитства, совѣтовавшая не щадить враговъ, какъ и на дѣлѣ табориты не щадили еретической крови. Ольдрихъ изъ Знойма и Петръ Нѣмецъ Жатецкій (священникъ у «сиротокъ») были послами на базельскомъ соборѣ и написали—первый рѣчь въ защиту пунктовъ о свободной проповѣди слова Божія (въ «Актахъ» базельскаго собора), второй—дневникъ о переговорахъ чешскихъ пословъ на базельскомъ соборѣ 1433, и др. Выше всѣхъ ихъ стоитъ Николай изъ Пельгржимова, по прозванію Бискупецъ (Mikulaš z Pelhřimova,—┼1459 въ подѣбрадской тюрьмѣ). Онъ еще въ 1409 былъ баккалавромъ свободныхъ искусствъ; человѣкъ ученый и серьезный, онъ съ самаго начала шелъ дальше другихъ пражскихъ мистровъ и наконецъ совершенно отдѣлился отъ нихъ къ таборитамъ. Разногласія мнѣній въ Таборѣ побуждали его къ попыткѣ сближенія съ умѣренными, посредствомъ котораго онъ надѣялся устранить окончательное распаденіе свободной чешской церкви, но сближеніе не состоялось, и вскорѣ мы снова встрѣчаемъ его въ открытой борьбѣ съ мистрами, особенно съ Прибрамомъ. Къ сожалѣнію, сочиненія его вполнѣ не сохранились, напр. его трактатъ противъ Хельчицкаго; всего важнѣе изъ уцѣлѣвшаго Chronica continens causam sacerdotum Taborensium, до 1443, которой онъ былъ авторомъ или продолжателемъ: она была написана по латыни и по чешски, но сохранился только латинскій текстъ. Упоминаются и другія его сочиненія напр. трактатъ противъ крайняго таборита Каниша и др. Священникъ Янъ Лукавецъ, которому приписываютъ начало хроники Бискупца, написалъ также сочиненіе противъ Рокицаны и пражанъ: Confessiones Taboritarum contra Rokicanum et alios theologos Pragenses, около 1431 (изд. въ Valdensia, Базель 1568). Наконецъ, знаменитый въ таборитской военной жизни священникъ Вацлавъ Коранда. Онъ уже рано оказался неукротимымъ агитаторомъ и больше дѣйствовалъ своимъ вызывающимъ краснорѣчіемъ, нежели сочиненіями. Въ 1419 онъ отправился изъ своего города на происходившую тогда народную сходку для переговоровъ, и за нимъ пошла изъ Пильзена цѣлая толпа его послѣдователей, мужчинъ и женщинъ. На сходкѣ онъ возбуждалъ народъ къ защитѣ, потому что непріятели его умножались: «виноградникъ прекрасно зацвѣлъ, но подходятъ и козлы, чтобы оборвать его», — поэтому и ходить нужно было уже «съ мечемъ въ рукахъ, а не съ дорожной палкой». Онъ самъ отправился на Таборъ, и сталъ тамъ однимъ изъ ревностнѣйшихъ проповѣд-

никовъ борьбы, сопровождая таборскія воинства и возбуждая ихъ мужество своимъ бурнымъ краснорѣчіемъ. Объ его писаніяхъ извѣстно только, что они были; напр. въ 1421 г. онъ написалъ трактатъ противъ Якубка. Во время реакціи (1437) ему запрещено было проповѣдовать, и подъ страхомъ утопленія показываться гдѣ нибудь кромѣ Табора: въ 1451 онъ жилъ еще въ Таборѣ, гдѣ диспутовалъ съ нимъ Эней Сильвій, назвавшій его въ своихъ запискахъ: Venceslaus Koranda, vetus diaboli muncipium...

Въ дополненіе къ литературной исторіи гусситства необходимо упомянуть о множествѣ актовъ, посланій, постановленій общинъ, манифестовъ религіозныхъ партій, частныхъ писемъ,—которые чрезвычайно важны для исторіи и отражаютъ въ себѣ оживленное движеніе времени. Нѣкоторые изъ этихъ памятниковъ отличаются чрезвычайной яркостію своего характера, напр. многія народныя воззванія, и частныя посланія, между которыми замѣтно выдѣляются нѣсколько посланій таборитскаго вождя Яна Жижки изъ Троцнова, въ которыхъ онъ дѣйствуетъ на религіозное и народное чувство Чеховъ, напоминаетъ имъ старыхъ предковъ, которые «бились и за божіе дѣло и за свое», и требуетъ, чтобы они готовы были каждую минуту, «потому что уже пришла пора».

Мы уже много говорили о томъ, какимъ образомъ дѣло чешской народности стало важнымъ ингредіентомъ гусситскаго движенія. Съ уходомъ Нѣмцевъ и развитіемъ гусситства народность чешская выигрывала больше и больше политической и общественной силы. Въ артикулахъ, поданныхъ отъ чешской земли королю Сигизмунду (1419), говорится уже, чтобы чужеземцы, свѣтскіе и духовные, не были допускаемы ни въ какія земскія достоинства и должности, чтобы Чехи вездѣ въ королевствѣ и въ городахъ имѣли первый голосъ. Мы уже замѣтили, что на этотъ разъ было бы трудно обвинять Чеховъ въ нетерпимости, потому что въ Нѣмцахъ они справедливо видѣли защитниковъ привиллегіи, церкви и деспотизма, и потому что съ другой стороны имъ платили тѣмъ же: Чехи слыли за еретиковъ и сіенскій соборъ въ 1423 запрещалъ даже всему католическому христіанству «не только купеческія сношенія съ гусситскими Чехами, но и всякія мирныя сообщенія съ ними». Чешскій языкъ овладѣлъ наконецъ не только проповѣдью, но и богослуженіемъ, — что было важной побѣдой, потому что противорѣчило всѣмъ преданіямъ католицизма. Если и послѣ этой побѣды народности литература осталась въ тѣхъ же религіозно-полемическихъ предѣлахъ и не развила съ одной стороны поэтическаго содержанія, съ другой научнаго изслѣдованія,—это совершенно понятно въ эпоху, когда всякая живая сила была поглощена дѣйствительной борьбой, не дававшей времени сосредоточиться. Но при всемъ томъ мы видимъ уже ясные слѣды философскаго раціонализма и попытокъ основать демократическія начала не на хиліастическихъ фантазіяхъ, а на разумномъ пониманіи общественныхъ отношній [11].

[11]) Ср. Сабина, Dějepis, стр. 588 и слѣд.

Переходимъ къ другимъ направленіямъ литературы. На время разгара гусситскаго движенія прервалось нѣмецкое вліяніе и распространеніе легендарной и романической литературы; чешская литература была поглощена своимъ настоящимъ содержаніемъ, и вопросы религіозные и общественные стали на первомъ планѣ. Чешская поэзія, очень естественно, оставила на это время и романическіе сюжеты, и сюжеты изъ народныхъ преданій и стала отголоскомъ богословскаго и политическаго памфлета. О томъ, что происходило въ области народной поэзіи, трудно сказать за недостаткомъ свидѣтельствъ; иногда только лѣтописи и латинскія стихотворенія упоминаютъ о веселыхъ и сатирическихъ народныхъ пѣсняхъ, ходившихъ въ это время и очевидно уже новыхъ. Въ нравы уже сильно входила средневѣковая мода на латинскія пѣсни. Студенты университета сочиняли латинскія пѣсни въ свое удовольствіе, съ нѣкоторымъ юморомъ, хотя весьма общаго содержанія; одна, еще до-гусситская, нападаетъ сильно на духовныхъ (что уже бывало и въ прежней чешской поэзіи); другія, временъ Гуса и послѣ, писанныя очевидно вѣрными католиками (въ короткихъ стихахъ), наполнены иногда жалобами на испорченные нравы и неуваженіе къ духовенству.... Monachis, fratribus, ac monialibus, Christi virginibus, ceteris fidelibus vivere nilescit... Clerici nonnulli, laycales populi facti sunt scismatici, per libros heretici Wycleff condempnati и пр. Пѣсни эти проклинаютъ Гуса и Виклефа и сравниваютъ Жижку съ Иродомъ. Большая латинская поэма о побѣдѣ Чеховъ у Домажлицъ была написана Лаврентіемъ изъ Бржезова (1767 стиховъ). Были наконецъ латинскія сатиры въ стихахъ и въ прозѣ, напр. замѣчательная Coronae regni Bohemiae Satyra in regem Ungariae Sigismundum 1420 г., написанная чешскимъ патріотомъ. Были сатиры противъ короля Вацлава и гусситовъ, напр. Invectio Satyrica in regem et proceres viam Viklef tenentes 1417 г. и мн. др. Сатира и сатирическая пѣсня, вызванная событіями дня, развиваются съ началомъ гусситскаго движенія и на чешскомъ языкѣ, и замѣняютъ собой ту неопредѣленную сатиру нравовъ, о которой мы упоминали прежде, а вѣроятно вытѣсняютъ въ это время и старую народную поэзію. Прежніе сюжеты пѣсни и прежняя дидактика вѣроятно очень устарѣли за это короткое время, когда всей массой населенія овладѣлъ такой исключительный энтузіазмъ. Новая пѣсня, сочиненная и полународная, получила рѣзкій характеръ раздраженія и насмѣшки, которыя замѣняли поэтическое вдохновеніе. Такъ уже рано появились риѳмованные памфлеты, напр. при самомъ началѣ движенія противъ архіепископа Збынка, велѣвшаго сжечь Виклефовы книги:

Zbyněk mistr abeceda
Spálil knihy, a ne věda
Co je v nich napsáno....

Старый лѣтописецъ замѣчаетъ, что «когда архіепископъ спалилъ книги, то мистръ Гусъ разгнѣвался и нѣкоторые студенты также стали гнѣваться и

складывать о немъ пѣсню». Какъ сильно входили въ нравы подобныя пѣсни, доказываетъ строгій запретъ, изданный противъ нихъ королемъ Вацлавомъ. Новыя событія вызывали новыя насмѣшливыя и злобныя пѣсни, которыя пѣлись на улицахъ и обходили всю Чехію. Пѣсни отмѣтили такимъ образомъ много событій гусситской исторіи, начиная еще съ самыхъ временъ Гуса, борьбу съ Сигизмундомъ, котораго не разъ вѣрно характеризовала гусситская пѣсня (напр. о побѣдѣ надъ Сигизмундомъ у Вышеграда, 1420 и друг.). Всего больше было конечно пѣсенъ и цѣлыхъ длинныхъ стихотвореній противъ римской церкви, приверженцы которой отвѣчали тѣмъ же оружіемъ и писали цѣлыя поэмы о гусситскихъ ересяхъ[11]). Одно изъ такихъ стихотвореній (въ 485 стиховъ), укоряя гусситовъ въ разныхъ ихъ заблужденіяхъ, увѣряетъ, что первымъ желаніемъ гусситовъ было—грабить другихъ людей и особенно духовенство (злость за гусситскія проповѣди объ отнятіи у духовныхъ имѣній), приводитъ противъ нихъ разныя церковныя свидѣтельства, и даетъ между прочимъ любопытное свидѣтельство о демократическомъ происхожденіи гусситской общины. Стихотвореніе упрекаетъ гусситовъ, что они понадѣлали проповѣдниковъ изъ самыхъ простыхъ людей, изъ сапожниковъ, портныхъ, мясниковъ, мельниковъ и всякихъ другихъ рабочихъ и ремесленниковъ, и «také sú ženam kázati kázali»—разрѣшили проповѣдовать даже женщинамъ: это послѣднее подтверждаетъ, мы видѣли, и Эней Сильвій.

Обвиненіе конечно не должно было показаться гусситамъ слишкомъ страшнымъ; другія обвиненія этого рода со стороны католическихъ сатириковъ были даже глупо-несообразительны: «Ale jakož se z kalichu napíjeti počechu,—говорили они напримѣръ,—tak se krásti, páliti, mordóvati jechu»... Многія изъ этихъ стихотвореній составляютъ наконецъ переходъ къ риѳмованной хроникѣ; напр. пѣсня о славной для Чеховъ побѣдѣ при Устьѣ 1426, написанная ревностнымъ патріотомъ, знавшимъ подробности дѣла, называетъ по именамъ всѣхъ главныхъ героевъ этой битвы и описываетъ ихъ подвиги. Наконецъ сохранилась и военная пѣсня гусситовъ, начинающаяся словами:

Kdož ste boží bojovníci
a zákona jeho,
prostež od Boha pomoci
a doufeite v něho,
že konečně s ním vždycky zvítězíte...

Эта пѣсня, которую прежде приписывали обыкновенно самому Жижкѣ, написана хотя и не имъ, но представляетъ одинъ изъ самыхъ характеристическихъ памятниковъ того времени. Эта пѣсня—смѣсь военной коман-

[12]) Старая латинская хроника говоритъ: Cantabant Viclefistae, componentes cantiones novas contra ecclesiam et ritus catholicos, seducentes populum simplicem, et e converso catholici contra eos...

ды съ ожесточеннымъ религіознымъ энтузіазмомъ, сначала передаетъ вкратцѣ военныя правила гуситской битвы и потомъ возбуждаетъ мужество воиновъ, убѣждаетъ ихъ не смотрѣть на то, что ихъ только горсть противъ множества непріятелей, и заканчиваетъ воззваніемъ:

a stím vesele zkřikněte,
řkouc: Na ně! hrr na ně!
bran svou rukama chutnejte,
Bůh naš Pan! vzkříkněte,
bite, zabíte,
žádného neživte!

Наконецъ духовныя пѣсни: значительная часть ихъ происходила еще изъ стараго періода, потомъ къ нимъ присоединилось множество новыхъ, возникшихъ изъ позднѣйшихъ религіозныхъ взглядовъ.

Риѳмованныя хроники (напр. отрывки 1419 и 1420 г.) обыкновенно не имѣютъ ни поэтическаго, ни историческаго значенія. Въ послѣднемъ отношеніи важнѣе историческія записки или настоящія хроники, которыхъ осталось значительное количество. Какъ часто бываетъ съ лѣтописями, это бывали компилятивныя работы, начинаемыя однимъ, продолжаемыя и списываемыя другими: вообще лѣтописи этого времени считаются продолженіемъ хроникъ Бенеша изъ Горовицъ и Пулкавы [13]). Они во всякомъ случаѣ чрезвычайно важны для исторіи гусситской эпохи, и отличаются иногда большой живостью разсказа, иногда страдаютъ большой безцвѣтностью. Замѣчательны напр. уже упомянутый нами разсказъ о смерти Яна Желивскаго и другой, о походѣ Жижки въ Венгрію, 1423 г., гдѣ подробно объясняется и военная система Жижки. Къ числу лучшихъ источниковъ для исторіи того времени принадлежитъ латинская хроника Лаврентія изъ Бржезовы (Vavřinec z Březové, † послѣ 1437), придворнаго Вацлава IV. Человѣкъ многосторонне-образованный, близко видѣвшій событія, подготовленный историческими занятіями, онъ былъ способенъ написать исторію своего времени. Лѣтопись его, написанная по латыни, обнимаетъ только 8 лѣтъ (1414—1422, Historia de bello Hussitico), но тѣмъ не менѣе принадлежитъ къ важнѣйшимъ памятникамъ чешской историографіи. Она долго была любимымъ чтеніемъ и переведена была на чешскій языкъ. «Исторія» написана съ точки зрѣнія партіи; Лаврентій былъ строгій калишникъ и возстаетъ противъ таборитовъ, оребитовъ и вмѣстѣ противъ католиковъ. Къ таборитамъ онъ былъ совершенно несправедливъ и не понималъ положительно ихъ стремленій,—какъ впрочемъ всѣ почти ихъ противники [14]). Какъ латинскій хронистъ извѣстенъ былъ и такъ называемый Бартошекъ (Bartošek z Drahonic): его хроника обнимаетъ время

[13]) См. Палацкаго, Staři lětopisove.

[14]) Лаврентій извѣстенъ также какъ переводчикъ: «Исторія римскихъ цезарей», «Путешествіе» Мандевиля и пр.

1419—1443 г. и имѣетъ потомъ чешскія дополненія до 1464 г., вѣроятно другаго автора. Этотъ слуга Сигизмунда, католикъ и роялистъ, понимаетъ вещи также весьма ограниченнымъ образомъ.

Наконецъ въ числѣ исторически замѣчательныхъ памятниковъ упомянемъ еще произведеніе носящее имя Жижки, его *Военное устройство* (съ латинскимъ заглавіемъ: Constitutio militaris Joannis Žižka, 1423): оно вышло съ именемъ Жижки и всѣхъ главныхъ начальниковъ, Рогача изъ Дубы, Альша изъ Ризенбурка, Бочка изъ Куништата и т. д. и назначено было для сохраненія дисциплины въ таборитскомъ войскѣ. Какъ и все въ то время, оно начинается религіозной мыслью и увѣщеваетъ народъ прежде всего на себѣ и въ себѣ самихъ разрушить смертельные грѣхи, чтобы разрушать ихъ потомъ на короляхъ и князьяхъ, панахъ и горожанахъ и т. д., «никакихъ лицъ не исключая»... Требуя строгаго исполненія правилъ подъ оригинально выраженными угрозами, эти военныя постановленія высказываютъ и равенство передъ закономъ, котораго конечно требовали демократическія наклонности Жижки.

Съ несчастной битвой у Липанъ (1434) чешская демократія таборитовъ потеряла свою силу въ обществѣ; феодализмъ могъ безпрепятственно стремиться къ возвращенію потеряннаго преобладанія. Идеи таборитовъ продолжали жить, но положеніе Табора вообще было трудное, потому что ему приходилось защищать самое свое существованіе отъ возраставшей реакціи. Для самой Чехіи, которая въ половинѣ 15-го столѣтія пріобрѣла короля-патріота въ Юріи Подѣбрадѣ, шелъ вопросъ о народной и политической независимости. Чешская народность въ это время продолжала пользоваться тѣмъ положеніемъ, которое доставлено было ей гусситскимъ движеніемъ; латынь больше и больше уступала чешскому языку: многіе вліятельные люди того времени не знали по латыни, напр. кромѣ стараго Жижки, Юрій Подѣбрадъ, Цтиборъ изъ Цимбурка и др. Католики продолжали видѣть вредъ въ господствѣ чешскаго языка и ратовали за церковную латынь: Павелъ Жидекъ, одинъ изъ извѣстнѣйшихъ писателей этой партіи, положительно утверждалъ, что благо государства достигается именно различіемъ языковъ. Съ другой стороны патріоты, какъ Викторинъ изъ Вшегордъ, находили, что въ управленіи должны участвовать одни Чехи, а Нѣмцы должны быть просто изгоняемы изъ страны, «какъ было при священной памяти (старо-чешскихъ) князьяхъ».

Этотъ спорный пунктъ, вмѣстѣ съ спорными пунктами религіи и политики, продолжаетъ господствовать въ литературѣ второй половины 15-го столѣтія. Историческіе памятники этого времени продолжаются въ тѣхъ же направленіяхъ, латинскомъ и чешскомъ, реакціонномъ и гусситскомъ. Изъ латинскихъ хроникъ особенно извѣстны: Chronica Procopii notarii Novae civitatis Pragensis 1476, — этому Прокопу, католику, но кажется недругу Нѣмцевъ, принадлежитъ и отрывокъ риѳмованной чешской хроники; Nicolai de Bohemia (Mikulaš Čech, въ половинѣ 15-го столѣтія),

Chronicon Bohemiae; здѣсь можетъ быть упомянута и книга, написанная по личному знакомству съ Чехіей Энеемъ Сильвіемъ Пикколомини, Historia bohemica (до 1458 г., Римъ 1475 и мн. др.), переведенная на чешскій Николаемъ Коначемъ (Прага, 1510 и др.), и еще раньше Яномъ Гуской, въ 1487; далѣе Chronica Taborensium, до 1442, рукопись. Чешскія историческія книги этого времени не отличаются особыми достоинствами. Большой плодовитостью отличался Павелъ Жидекъ (по латыни Paulus Paulirinus или Paulus de Praga, еврей): ему принадлежитъ «Всеобщая исторія» (въ ней и чешская), составляющая часть его «Справовны», книги объ обязанностяхъ короля, писанной имъ для Юрія Подѣбрада, и наконецъ латинская энциклопедія «Liber viginti artium», которая приписывалась у Поляковъ знаменитому пану Твардовскому [15]) и друг. Человѣкъ, крайне неуживчивый въ жизни, не особенно правдивый и самохвалъ, Жидекъ и въ сочиненіяхъ своихъ также не былъ особенно совѣстливъ и въ сущности былъ сторонникомъ крайней политической и религіозной реакціи. Такимъ же приверженцемъ рабства былъ Гиларій Литомержицкій (†1467), сначала утраквистскій членъ университета, потомъ отпавшій въ Италіи на сторону католиковъ. Въ его латинскихъ и чешскихъ книгахъ и рѣзкихъ памфлетахъ противъ калишниковъ, напр. противъ Рокицаны, одинаково господствуетъ ультрамонтанская ограниченность; современники прозвали его апостатомъ и «недоукомъ». Гиларій уже прямо проповѣдовалъ, что папа есть владыка всѣхъ странъ, и свѣтскія власти обязаны только наблюдать за исполненіемъ его воли; если же свѣтская власть сама возстаетъ противъ папской воли (намекъ на чешскія обстоятельства), то шляхта (т. е. католическая) имѣетъ право изгнать эту власть.

Гуситская и народная сторона имѣла свои рѣзкія и характерныя выраженія въ историческихъ сочиненіяхъ этого времени. Кромѣ того, что заключается въ «Старыхъ лѣтописяхъ», собранныхъ Палацкимъ, особенно любопытны прибавки къ Далимиловой хроникѣ, написанныя около 1439: «Počína se krátké sebrání z kronik českých k vystraze věrných Čechův». Это «собраніе» проникнуто патріотическимъ стремленіемъ къ охранѣ народности и имѣло кромѣ того спеціальную цѣль дѣйствовать противъ избранія въ короли Нѣмца. Вражда къ Нѣмцамъ была у неизвѣстнаго автора сознательной системой, которую онъ оправдывалъ исторически: «Чехи должны усердно заботиться и со всѣмъ стараніемъ остерегаться, чтобы не впасть въ употребленіе чужаго языка, а особенно нѣмецкаго; потому что, какъ *свидѣтельствуютъ чешскія хроники*, этотъ языкъ есть наилютѣйшій къ пораженію языка чешскаго и *славянскаго*». Хотя авторъ не совсѣмъ правдоподобно утверждаетъ, что уже при созданіи вавилонской башни Нѣмцы враждовали противъ Славянъ и что Александръ Македонскій далъ грамоту славянскому языку, но современныя отношенія своей народности онъ понималъ довольно хорошо и, рекомендуя соотечественникамъ любить божію кровь, т. е. калихъ,

[15]) См. Časopis Česk. Museum, 1837, стр. 225.

предостерегалъ отъ пановъ и духовенства. Изъ ревностныхъ калишниковъ извѣстенъ былъ въ это время своими чешскими полемическими трактатами Вацлавъ Коранда младшій (†1519), важнѣйшимъ трудомъ котораго былъ историческій разсказъ о посольствѣ Подѣбрада въ Римъ (Poselství krale Jiřiho). Весьма любопытно своими подробностями описаніе другаго посольства Подѣбрада къ французскому королю Людовику XI, 1464 г., — изъ этого описанія можно видѣть, между прочимъ, какую ненависть встрѣчали Чехи почти вездѣ въ Германіи въ простомъ народѣ, благодаря своей еретической репутаціи.

Вторая половина 15-го столѣтія принесла два новые культурные элемента — книгопечатаніе и классическое изученіе подъ вліяніемъ «Возрожденія». И то и другое не могло не подѣйствовать на характеръ литературныхъ стремленій, расширяя объемъ и измѣняя характеръ образованія, но вмѣстѣ съ тѣмъ однако удаляя отъ прежняго радикальнаго движенія.

Типографское искусство развилось у Чеховъ съ большимъ успѣхомъ.

Первой печатной чешской книгой считается *Троянская исторія*, напечатанная въ Пильзенѣ, 1468. Но чешскіе историки находятъ, «что достоинство изданія заставляетъ предполагать предыдущіе, менѣе совершенные опыты». Изданіе гусситской пѣсни: «Chceme-li s Bohem byti» съ 1441 годомъ, *вновь* напечатанной въ 1618, заставило предполагать, что первое изданіе было сдѣлано въ 1441. Чешскій индексъ запрещенныхъ книгъ, составленный іезуитами въ позднѣйшую эпоху гоненій, приводитъ нѣсколько такихъ старыхъ датъ, между прочимъ «посланіе изъ Констанца мистра Яна изъ Гусинца», съ 1459 годомъ. Первые типографы всѣ носятъ чешскія имена, что опять давало поводъ предполагать, что въ чешскомъ книгопечатаніи была извѣстная независимость отъ нѣмецкаго. Было даже преданіе, которому вѣрили ревностные славянофилы изъ Чеховъ и Русскихъ, что самъ Гуттенбергъ былъ Янъ Кутногорскій... Какъ бы то ни было, книгопечатаніе распространилось въ Чехіи очень быстро: пильзенская типографія служила католикамъ, пражская и кутногорская (1488) подобоямъ; болеславская (1500) чешскимъ братьямъ и т. д. Полемическая литература того времени тотчасъ же дала работу этимъ типографіямъ.

Первымъ заводчикомъ классицизма считается Григорій Пражскій (иначе Castulus, Haštalský, †1485), который началъ въ университетѣ лекціи о латинскихъ писателяхъ. Правда, съ его смертію въ университетѣ опять упали классическія занятія, но они были въ духѣ времени и число гуманистовъ расширялось. Классическое изученіе имѣло въ чешской литературѣ двоякое положеніе: одни, по старой традиціи, занимались только латынью, въ ней самой находя единственный интересъ; у другихъ изученіе классиковъ соединялось съ народными стремленіями. Усилія латинистовъ перваго разряда, преимущественно рьяныхъ католиковъ, не могли поэтому сдѣлать латыни господствующимъ литературнымъ языкомъ: чешская литература въ гусситскій періодъ относительно языка слишкомъ крѣпко стала на національ-

нальной почвѣ и теперь эти латынщики, стремленія которыхъ были замѣчены патріотами, встрѣтили такой же отпоръ, какъ прежде Нѣмцы. Въ концѣ 15-го и началѣ 16-го вѣка классицизмъ имѣлъ уже много замѣчательныхъ въ этомъ смыслѣ представителей, каковы были напр. Ладиславъ изъ Босковицъ, Турзо, Августинъ Оломуцкій, Янъ Шлехта, но въ особенности Богуславъ Гасиштейнскій изъ Лобковицъ (1462?—1510). Хотя большая часть сочиненій Богуслава изъ Лобковицъ писана по латыни, онъ имѣетъ важное мѣсто въ чешской литературѣ, какъ распространитель классицизма. Одно время онъ былъ калишникомъ, но потомъ сталъ ревностнымъ католикомъ. Свое классическое образованіе онъ получилъ въ Германіи и Италіи, имѣлъ потомъ почетное мѣсто при дворѣ и усердно занимался литературой. Его латинская сатира: «Жалоба св. Вацлава на нравы Чеховъ» 1489 свидѣтельствуетъ о патріотизмѣ автора и представляетъ интересныя черты времени. Богуславъ былъ также знаменитъ какъ путешественникъ: отправляясь въ Іерусалимъ, онъ посѣтилъ Аравію, Египетъ, Малую Азію, Архипелагъ, Грецію, Сицилію, Африку и т. д. Братъ его Янъ также пускался въ далекія путешествія... Богуславъ вывезъ между прочимъ и большое собраніе классическихъ авторовъ, въ книгахъ и рукописяхъ. Домъ его походилъ на академію. Но вся его ученость и многія истинно гуманныя начала, вынесенныя имъ изъ классиковъ, не избавили его отъ крайней отсталости въ религіозныхъ вещахъ: требуя гражданской свободы, осмѣивая аристократическія претензіи и т. д., онъ не замѣчалъ, что его ультрамонтанскія стремленія прямо противорѣчатъ всѣмъ этимъ добрымъ пожеланіямъ [16]). Классическая ученость не освѣжила и другихъ головъ, напр. Станислава Турзо, епископа оломуцкаго, и Августина Оломуцкаго (Kaesenbrot), которые были непримиримыми врагами начавшейся тогда реформаціи. Не упоминая о многихъ другихъ латинистахъ, мы назовемъ еще только двухъ женщинъ — латинскихъ писательницъ. Одна, панна Марта, написала «Excusatio Fratrum Valdensium contra binas literas Doctoris Augustini datas ad regem», 1498, въ защиту реформы: упомянутый Августинъ и Богуславъ были крайне раздражены этимъ ученымъ и остроумнымъ памфлетомъ, и Богуславъ написалъ даже сатиру на его автора! Другая, Іоганна, изъ рода Босковицъ, который, какъ Гасиштейны, имѣлъ своихъ представителей классической учености, — была также дама ученая: она принадлежала кажется къ «братской общинѣ», и ученые мораване Бенешъ Оптатъ и Петръ Кзель посвятили ей свой переводъ «Новаго Завѣта» (съ латинскаго перевода Эразма Роттердамскаго, — изд. 1555).

Такимъ образомъ большинство классиковъ, питавшихся античной философіей, оказывалось въ жизни крайними ретроградами; среди еще продолжавшагося движенія они не умѣли отличить той стороны, которой принадлежало

[16]) К. Винаржицкій, Pana Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic věk a Spisy vybrané, Прага, 1836.

или могло принадлежать будущее. Эти классики не понимали и собственнаго положенія; латинская литература замѣняла имъ ихъ родную литературу, и имъ не приходило въ голову, что ихъ мертвая латынь — средство, изъ котораго они сдѣлали цѣль — была искусственной натяжкой, лишенной собственной жизни.

Національный элементъ не подчинился однако латыни, и хотя знаніе классической древности дѣлалось составной частью литературныхъ идей, народный языкъ, съ которымъ часто понималось вмѣстѣ и народное дѣло, находилъ ревнивыхъ защитниковъ. Таковы были Викторинъ изъ Вшегордъ, Цтиборъ, Григорій Грубый, Вацлавъ Писецкій и другіе.

Имена Викторина и Цтибора принадлежатъ къ числу знаменитыхъ именъ въ исторіи чешскаго права. Главныя произведенія ихъ посвящены были земскому праву, которое въ это время вообще находило дѣятельныхъ объяснителей. Тревожныя времена гуситскихъ споровъ, таборитскихъ войнъ и т. д. нарушали порядокъ юридическихъ отношеній, которымъ угрожало то право сильнаго, то соціалистскія теоріи таборитовъ, такъ что естественно могла явиться мысль о прочномъ установленіи этихъ отношеній. Оттого конецъ 15-го и начало 16-го вѣка богаты изложеніями чешскаго права. Таковы напр. «Земскіе уставы королевства чешскаго при королѣ Владиславѣ» 1500 г. [17]), «Книга Товачовская» Цтибора изъ Цимбурка и Товачова; написанная въ 1481 г. [18]), далѣе «Девять книгъ о правахъ, судахъ и доскахъ чешской земли» Викторина Корнелія изъ Вшегордъ, написанныя въ 1495—1500 г. [19]); затѣмъ Desky zemské, разныя собранія городскихъ правъ и т. п., отражающія тогдашній юридическій бытъ, споры феодаловъ съ горожанами и т. п. Наиболѣе важны три первые памятника. Общая ихъ мысль была сходна: они должны были утвердить положенія права, потрясенныя предыдущими политическими и общественными волненьями, и всѣ они стараются достичь этой цѣли однимъ средствомъ—возобновленіемъ старыхъ юридическихъ обычаевъ. Но юридическое значеніе ихъ было различно: Земское уложеніе Владислава было прямо книгой законовъ; Товачовская книга и девять книгъ Викторина должны были служить только частнымъ руководствомъ къ обозрѣнію старыхъ юридическихъ обычаевъ, одна въ Моравіи, другая въ Чехіи, и первая кажется имѣла больше авторитета, особенно между дворянствомъ, чѣмъ вторая.

Цтиборъ изъ Цимбурка и Товачова (†1494) принадлежалъ къ числу замѣчательнѣйшихъ людей своего времени не только по литературной, но и общественной и политической дѣятельности. Родъ его былъ одной изъ древнѣйшихъ и извѣстнѣйшихъ фамилій въ моравской шляхтѣ: Цтиборъ принадлежалъ къ умѣреннымъ калишникамъ, былъ горячимъ приверженцемъ Юрія Подѣбрада, занялъ важное мѣсто въ королевствѣ и пользо-

[17]) «Zřizení zemské královstvi českého za krále Vladislavą».
[18]) Sepsání obyčejů, řádů, zvyklostí starodávných a prav markrabství moravského
[19]) Knihy devatery o pravích a sudích i o deskách zemė české.

вался вообще большимъ авторитетомъ. Его юридическій трудъ составленъ съ аристократической точки зрѣнія и старательно защищаетъ на основаніи старины права пановъ. Въ чешской литературѣ Цтиборъ извѣстенъ также другимъ сочиненіемъ, написаннымъ еще въ молодости, около 1467 г. и посвященнымъ королю Юрію: «Споръ правды и лжи объ имѣньяхъ и власти духовенства» (изд. въ Прагѣ 1539). Этотъ «Споръ» изложенъ въ прозѣ, на подобіе тѣхъ аллегорическихъ пьесъ, которыя, какъ мы уже указывали, были въ то время модной формой въ европейской литературѣ, а затѣмъ и у Чеховъ. Пьеса не имѣетъ поэтическаго достоинства, но любопытна своимъ содержаніемъ, которое изображаетъ процессъ Правды противъ Лжи, веденный передъ судомъ божіимъ: въ судѣ засѣдаютъ апостолы, подъ предсѣдательствомъ св. Духа; споръ Правды и Лжи, къ которымъ присоединяются всѣ добродѣтели и пороки (напр. «Гордость, княжна римская», «Ненависть изъ Австріи», «Лѣность изъ Польши» и т. п.), представляетъ собственно споръ между христіанствомъ, какъ понимали его съ одной стороны гусситы, съ другой римская церковь; онъ рѣшается конечно въ пользу Правды. Гусситскія наклонности Цтибора, обнаруженныя имъ и въ другихъ случаяхъ, стоили ему проклятій противной стороны: упомянутый нами Богуславъ Лобковицъ въ стихахъ на смерть Цтибора пророчитъ ему, что «небо заперто для него, потому что безъ лодки Петра никто не переправится къ жилищамъ блаженныхъ»,—что «на вѣки не будетъ конца его наказанію и его мукамъ». Такъ конечно и слѣдовало ожидать.

Книги Викторина († 1520) считаются вообще ключомъ къ уразумѣнію всѣхъ старыхъ и новѣйшихъ памятниковъ чешскаго права, и чешская исторія высоко цѣнитъ его литературныя заслуги. Отецъ его былъ простой горожанинъ въ Хрудимѣ; карьера его была сначала ученая, — онъ былъ профессоромъ философіи и деканомъ факультета, — потомъ юридическая и общественная. Трудъ Викторина обширнѣе книги Цтибора и даетъ много любопытнаго матеріала для изученія тогдашнихъ соціальныхъ отношеній. Въ спорахъ феодаловъ съ городами онъ принималъ сторону городовъ и вообще въ его сочиненіи можно замѣтить демократическую тенденцію. Кромѣ того онъ перевелъ на чешскій языкъ нѣкоторыя сочиненія Кипріана и Іоанна Златоуста. Викторинъ былъ и горячій патріотъ: въ своихъ «Девяти книгахъ» онъ восхваляетъ старые обычаи чешскаго права, открытый чешскій судъ и т. п.; въ предисловіи къ одному изъ своихъ переводовъ онъ патріотически защищаетъ чешскій языкъ, — которымъ въ то время пренебрегали приверженцы латыни. Богуславъ Лобковицъ отдавалъ справедливость его честности, но наконецъ возсталъ и противъ него, какъ противъ Цтибора, когда пошла по рукамъ сатирическая латинская пьеса, которую молва приписывала Викторину. Богуславъ не могъ перенести пьесы, которая сильно задѣвала его авторитетъ и говорила между прочимъ:

Da mihi Torquatos, Fabios, fortesque Camillos:
Papa, stupor mundi, sustulit omne decus.

Къ тому же разряду классическихъ ученыхъ, для которыхъ знаніе древности служило только средствомъ къ возвышенію національной литературы и языка, принадлежитъ Вацлавъ Писецкій (ум. въ началѣ 16-го вѣка), и особенно извѣстный Григорій Грубый изъ Елени (или Jelenius, † около 1515), литературная дѣятельность котораго заключалась главнымъ образомъ въ переводахъ и толкованіяхъ старыхъ писателей, между прочимъ и латинскихъ писателей новой школы гуманистовъ. Такъ онъ переводилъ Златоуста, св. Василія, Цицерона, Понтана, Петрарку, Эразма Роттердамскаго, Богуслава изъ Лобковицъ и проч. Извѣстнымъ именемъ былъ и Николай Коначъ изъ Годишткова (или Finitor, † 1546), заслуги котораго высоко цѣнились современниками. Это былъ дѣятельный переводчикъ и типографщикъ, — довольно типическая личность чешскаго литератора въ первой половинѣ 16-го вѣка. По своимъ убѣжденьямъ Конача былъ умѣреннымъ послѣдователемъ компактатовъ: одинъ критикъ 16-го вѣка, изъ чешскихъ братьевъ, называетъ его «добрымъ Чехомъ», но за его религіозныя тенденціи «неумѣлымъ ревнителемъ вѣры». Оригинальнымъ сочиненіемъ Конача считается «Книга о гореваньѣ и печали Справедливости, королевы и госпожи всѣхъ добродѣтелей», содержаніе которой заключается въ томъ, что Справедливость проходитъ всѣ званія духовныя и свѣтскія, высокія и низкія и горюетъ, нигдѣ не находя своихъ истинныхъ чтителей. Это — опять аллегорическая пьеса, не показывающая въ авторѣ оригинальности. Но въ особенности онъ переносилъ въ чешскую литературу чужія произведенія: онъ перевелъ средневѣковой романъ Филиппа Бероальда, два разговора Лукіана, чешскую хронику Энея Сильвія, «Pravidlo lidského života», т. е. басни Бидпая изъ извѣстной латинской редакціи Directorium humanae vitae, драму «Юдиѳь» и проч. Масса переводовъ была весьма значительна, и если чешскіе писатели этого времени не всегда съ плодовитостью соединяли и передовыя качества и новость мысли, какъ напр. не было этого у Конача, то они служили проводниками знанія въ общество, такъ что общій уровень литературной образованности былъ значительно высокій. Мы уже замѣтили, что вмѣстѣ съ классиками были переводимы и сочиненія новѣйшихъ гуманистовъ, а эти люди были тогда передовыми двигателями европейскаго развитія. Имена Петрарки, Лаврентія Валлы, Понтана и особенно Эразма Роттердамскаго часто встрѣчаются въ тогдашней литературѣ: Эразмъ былъ и въ прямыхъ сношеніяхъ съ чешскими учеными, напр. Яномъ Шлехтой, и былъ довольно благопріятнаго мнѣнія о движеніи «чешскихъ братьевъ». Неудивительно поэтому, что реформа Лютера и самъ Лютеръ тотчасъ завязали въ Чехіи прямыя связи, кончившіяся значительнымъ распространеніемъ реформаціи въ чешскомъ народѣ.

Но прежде, чѣмъ мы будемъ продолжать изложеніе литературнаго періода, заключающаго въ себѣ вмѣстѣ съ 15-мъ вѣкомъ самую дѣятельную

пору въ исторіи чешскаго народа, мы должны возвратиться къ судьбѣ таборитскихъ идей. Мы видѣли, что онѣ разбивались на множество индивидуальныхъ ученій, — какъ это и было естественно послѣ отверженія устарѣлаго авторитета, — и что эти ученія выразились образованіемъ религіозныхъ сектъ и политическихъ партій. Борьба ихъ между собою была энергическая и ожесточенная; но тѣ, въ комъ всего сильнѣе дѣйствовало стремленіе къ религіозной и политической реформѣ, оставались—опять, какъ это всегда бываетъ — въ меньшинствѣ и, не смотря на героическую защиту своихъ убѣжденій въ гуситскихъ войнахъ, потеряли свое политическое дѣло. Но идеи, одушевлявшія ихъ, не погибли: онѣ продолжали жить, иногда въ тѣхъ же формахъ, которыя дало имъ первое бурное время гусситизма, и даже нашли свое дальнѣйшее философское и соціальное развитіе. Представителемъ этого развитія былъ Петръ изъ Хельчицъ или Хельчицкій.

Нѣкоторые чешскіе историки можетъ быть не безъ основанія называютъ его геніальнѣйшимъ философомъ своего времени въ цѣлой Европѣ. Его біографія до сихъ поръ мало извѣстна; сочиненія также извѣстны не вполнѣ: поэтому и трудно еще опредѣлить съ увѣренностью его значеніе въ исторіи чешской литературы и народнаго развитія. Хельчицкій родился около 1390 года, и слѣдовательно молодость провелъ во времена Гуса. Происхожденіе его неизвѣстно; онъ учился нѣсколько времени въ пражскомъ университетѣ, но не имѣлъ однако достаточнаго знакомства съ латынью и не имѣлъ ученой степени. Въ 1420 онъ держалъ въ Виѳлеемской часовнѣ споры съ Якубкомъ, утверждая, что въ дѣлѣ вѣры не должно быть никакого насилія. Ходъ дѣлъ въ Прагѣ кажется не нравился ему и онъ удалился въ небольшую деревню Хельчицы, гдѣ онъ жилъ съ тѣхъ поръ въ уединеніи. Но онъ обратилъ однако на себя вниманіе и около него собрался кружокъ друзей, раздѣлявшихъ его мнѣнія. Это былъ вообще человѣкъ скромный въ жизни и толерантный въ дѣлѣ вѣры. Петръ Пэнъ, изгнанный въ 1437 изъ Праги, пользовался нѣсколько времени его гостепріимствомъ. Литературная дѣятельность Хельчицкаго началась повидимому поздно,—ее относятъ къ 1433—43 годамъ,—въ 1443 г. онъ уже былъ позванъ на Кутногорскій сеймъ, чтобы дать отвѣтъ за свои сочиненія. Но судя по количеству сочиненій его надобно думать, что къ этому періоду относятся только главнѣйшія изъ нихъ. Сочиненія Хельчицкаго были слѣдующія: *Сѣть вѣры* (Sit víry изд. 1521); *Трактатъ о вѣрѣ*, писанный въ 1437 (Traktát o víře a o nabožensтví, рук. въ Парижѣ); сочиненіе *объ Антихристѣ* (O šelmě a o obrazu jejim), отъ изданія котораго не сохранилось ни одного экземпляра; «o rotách českých» (не сохранилось); «Книга толкованій на недѣльныя чтенія» или *Постилла* (изд. 1522 и 1532); сочиненія *О божіей милости*, *О свѣтской власти*, разные мелкіе трактаты, толкованія евангелій и т. п., изъ которыхъ особенно любопытна *Рѣчь объ основаніи человѣческихъ законовъ* (Řeč o

základu zakonů lidských). Одинъ изъ почитателей Хельчицкаго въ 16-мъ вѣкѣ, въ предисловіи къ «Сѣти вѣры», такъ восхваляетъ высокое достоинство его сочиненій: «Кто будетъ читать эти книги, тотъ убѣдится, что Богъ не изволилъ забыть о предкахъ нашихъ, но что онъ одарилъ и наполнилъ ихъ духомъ... И потому этотъ превосходный мужъ, избранный сосудъ Господа, имѣетъ великіе дары, данные милостью божіей, выноситъ старыя и новыя вещи изъ сокровищницъ Бога, написавъ и сложивъ эти книги, полезнѣйшія каждому человѣку всѣхъ сословій», — и замѣчаетъ, что сочиненія Хельчицкаго встрѣчаются рѣдко, потому что священники охуждали и преслѣдовали ихъ предъ людьми, называя ихъ лживыми и еретическими — оттого что Хельчицкій укорялъ ихъ за пребенды, — но что другіе люди всѣхъ сословій любили эти сочиненія и не отвращались отъ нихъ изъ-за того, что авторъ былъ міряниномъ и не ученъ былъ латыни.

Главнѣйшими сочиненіями Хельчицкаго были «Сѣть вѣры» и «Постилла». Какъ и его современники онъ основываетъ свое ученіе на религіозныхъ положеніяхъ. Сѣть вѣры есть ученіе Христово, которое должно извлекать человѣка изъ темной глубины житейскаго моря и его неправдъ. Человѣкъ не можетъ ничего утверждать, онъ долженъ только вѣрить: безъ вѣры онъ тотчасъ впадаетъ въ темную пропасть, гдѣ овладѣваетъ имъ ложь. Вѣра состоитъ въ божьихъ словахъ, и потому человѣкъ долженъ вѣрить словамъ божіимъ; но теперь пришло такое время, что люди истинную вѣру принимаютъ за ересь, — и поэтому разумъ долженъ указать, въ чемъ состоитъ истинная вѣра, если кто не знаетъ этого. Тьма закрыла очи людей и они не узнаютъ истиннаго закона Христова. Для объясненія этого закона Хельчицкій указываетъ на первобытное устройство христіанскаго общества, — то устройство, которое, говоритъ онъ, считается теперь въ римской церкви гнуснымъ еретичествомъ. Хельчицкій съ злой ироніей смѣется надъ базельскими защитниками римской церкви, говоря о «глупой первобытной церкви», которая служила безъ орнатъ, безъ костеловъ съ разрисованными стѣнами, безъ музыки и искуснаго пѣнія по нотамъ. Эта первобытная церковь и была его идеаломъ общественнаго устройства, основаннаго на равенствѣ, свободѣ и братствѣ. Христіанство, по мнѣнію его, до сихъ поръ хранитъ въ себѣ эти основанія, и нужно только, чтобы общество возвратилось къ чистому христіанству, и чтобы оказался излишнимъ всякій иной порядокъ, которому нужны короли и папы: во всемъ достаточно одного закона любви. «Кислый уксусъ гражданскаго управленія нуженъ только для преступающихъ законъ этой любви. Поэтому отъ грѣховъ явилась нужда въ королевскихъ порядкахъ и законахъ для отмщенія грѣховъ и непослушанія Бога; и чѣмъ больше человѣческій родъ удаляется отъ Бога и отъ его закона, тѣмъ больше нужно ему держаться этихъ (королевскихъ) правъ и опираться на нихъ. Я не говорю, чтобы человѣческій родъ твердо стоялъ на этихъ правахъ, — онъ только подпирается ими, чтобы совсѣмъ не упасть». Никакихъ законовъ не было бы нужно, если бы

сохранялся законъ любви и если бы христіанство одержало на землѣ побѣду надъ язычествомъ. Изъ этого язычества вышло все неустройство на землѣ и превозмогла свѣтская власть, которая приходитъ отъ грѣха. — Исторически, Хельчицкій относилъ упадокъ христіанства ко временамъ Константина Великаго, котораго папа Сильвестръ ввелъ въ христіанскую вѣру со всѣми языческими нравами и жизнью: Константинъ въ свою очередь надѣлилъ папу свѣтскимъ богатствомъ и властью. Съ тѣхъ поръ обѣ власти постоянно помогали другъ другу, и стремились только къ внѣшней славѣ; докторы, «мистры» и духовенство стали заботиться только о томъ, чтобы покорить весь свѣтъ своему владычеству, вооружали людей другъ противъ друга на убійства и грабежи и совершенно уничтожили истинное христіанство въ вѣрѣ и въ жизни.... Хельчицкій совершенно отвергаетъ право войны и смертную казнь: всякій воинъ, даже и «рыцарь», есть только насильникъ, злодѣй и убійца... Такимъ образомъ въ своихъ окончательныхъ выводахъ Хельчицкій расходился не только съ умѣренными, но и съ самими таборитами и «сиротками». Ученіе Хельчицкаго, основавшись на первобытномъ христіанствѣ, послѣдовательно отвергало цезарскую и папскую власть, привиллегіи сословій, крѣпостное право: онъ называлъ королевскихъ правителей толпой бездѣльниковъ, которая не подходитъ подъ божій законъ, потому что весь христіанскій родъ долженъ быть уравненъ въ любви и правѣ; онъ возставалъ противъ казни преступниковъ, которыхъ нужно только исправлять братскимъ участіемъ; онъ не признавалъ сословій и всякихъ правъ рожденія, смѣялся надъ гербами, и считалъ, что въ нынѣшнемъ устройствѣ общества и господствуетъ сила Антихриста, который занялъ твердыни, города и монастыри своимъ духомъ, противнымъ духу Христа, его жизни и закону...

Другимъ важнымъ сочиненіемъ Хельчицкаго была «Постилла», въ которой онъ старается доказать свидѣтельствомъ писанія идеи, изложенныя имъ въ «Сѣти вѣры». Мы видѣли, что толкованія писанія еще до временъ Гуса стали занимать значительное мѣсто въ чешской литературѣ и служили средствомъ реформаціонной пропаганды. Характеръ толкованій измѣнялся съ характеромъ тенденцій времени: для Милича и Штитнаго толкованіе направлено было на безнравственность и неповиновеніе церкви; Гусъ указывалъ уже на неправильное пониманіе закона и нападалъ на самую церковь, не столько проповѣдуя новую систему, сколько вызывая отрицаніе; Рокипана уже находитъ нужнымъ положить границы этому отрицанію и тѣмъ кладетъ начало реакціи. Хельчицкій опять становится на безусловную точку зрѣнія: онъ отвергаетъ начала своихъ предшественниковъ и не ищетъ въ писаніи доказательствъ христіанской догматики. Цѣль его — указать въ писаніи положительныя основы, по которымъ должно совершиться полное измѣненіе общественныхъ отношеній.

Ученіе Хельчицкаго, въ которомъ идея чешской реформы достигла своего послѣдняго развитія и выраженія, конечно встрѣтило не только полное осуж-

деніе отъ католиковъ, но и оппозицію отъ самихъ калишниковъ. Обличенія, свидѣтельствующія о томъ, какую важность имѣли его книги въ то время, идутъ съ 15-го вѣка до самаго конца 16-го, когда вышло суровѣйшее изъ этихъ обличеній Srovnáni víry и пр. (изд. 1582), написанное iезуитомъ Вацлавомъ Штурмомъ. Строгость ученія Хельчицкаго вызвала сначала мало практическихъ послѣдователей, но число ихъ однако постоянно возрастало, и ближайшіе приверженцы его уже рано приняли имя «братьевъ Хельчицкихъ». Такихъ обществъ явилось въ Чехіи много послѣ паденія Табора: распространеніе идей Хельчицкаго дало новую пищу старымъ таборитскимъ стремленіямъ, и въ 1457 году основалось по идеямъ Хельчицкаго братство Кунвальдское, которое въ 1467 избрало себѣ священниковъ и трехъ епископовъ, получившихъ для поддержанія апостольской традиціи посвященіе отъ вальденскаго епископа Стефана. Это братство приняло потомъ знаменитое имя Общины Чешскихъ Братьевъ (Jednota bratři českých, Jednota bratrská).

Эта община, представляющая такое оригинальное и въ извѣстномъ смыслѣ энергическое явленіе религіозной исторіи, обязана была своимъ происхожденіемъ и характеромъ чисто идеямъ Хельчицкаго, хотя, какъ увидимъ, она выражала эти идеи не вполнѣ. Община была результатомъ стремленія осуществить практически соціальное устройство по началамъ первобытнаго христіанства. Это былъ послѣдній выводъ, до котораго дошла чешская реформаціонная идея въ тѣхъ предѣлахъ, которые оставила ей возставшая на нее реакція. Здѣсь не мѣсто разсказывать трудную судьбу чешскихъ братьевъ, тѣ преслѣдованія, общія и личныя, которымъ подвергались они съ самаго перваго времени и которыя они выносили съ мужествомъ, заслуживавшимъ лучшей участи. Достаточно сказать, что гоненія, иногда очень жестокія, не колебали искренняго и глубокаго убѣжденія, и принципы общины распространились въ огромной части чешскаго и моравскаго населенія. Основная масса «братьевъ» принадлежала тому же простому классу народа, который поставлялъ защитниковъ идей Гуса и воиновъ Табора. Такимъ образомъ община «братьевъ» была столько же самобытнымъ и національнымъ произведеніемъ чешской народной жизни и мысли, какъ были самобытны первые виновники этого движенія, какъ самъ Хельчицкій, не знавшій по латыни — что̀ было замѣтнымъ исключеніемъ для тогдашнихъ «мистровъ», — и братъ Григорій, первый практическій выполнитель его взглядовъ [20]).

[20]) Отъ этихъ знаменитыхъ братьевъ ведутъ свое начало позднѣйшія общины, которыя основались на томъ же принципѣ и существуютъ до сихъ поръ, разсѣявшись отдѣльными колоніями въ старомъ и новомъ свѣтѣ, какъ любопытный отпрыскъ чешскаго движенія 15-го вѣка: это моравскіе братья, евангелическая братская община, Brüder-Gemeinde или Zinzendorfianer, геррнгутеры. См. названную нами выше книгу Гиндели (исторія Чешской общины 1434—1609), и кромѣ того сочиненія Кранца: Alte und neue Brüderhistorie (1772), продолженіе ея Гегнера (1791—1816), затѣмъ Шульце, Von der Entstehung und Einrichtung der evang. Brüdergemeinde (Gotha 1822), и подобныя сочиненія Шаафа (Лейпц. 1825) и Лохнера (Нюренб. 1832).

«Братья», игравшіе важную роль въ чешской религіозной исторіи, занимаютъ важное мѣсто и въ чешской литературѣ своей обширной дѣятельностью; съ самаго начала среди ихъ явилось множество писателей, изъ которыхъ иные принадлежатъ къ самымъ знаменитымъ именамъ чешской литературы. Тѣмъ не менѣе литературная дѣятельность братьевъ не принесла тѣхъ результатовъ, которыхъ можно было бы ожидать по ея началу; по своимъ основаніямъ она не повела дальше идей Хельчицкаго, изъ которыхъ она выросла. Когда въ первый разъ сложилось братство, оно полагало, что для достиженія единства практической жизни и вѣры, необходимо установить извѣстные принципы, которые бы стояли внѣ спора, и на которыхъ могло бы утвердиться выполненіе его идеи: религіозные споры гусситскихъ временъ раздѣляли народъ на множество сектъ и, ослабляя его силы, не давали желаемаго нравственнаго и практическаго результата. Поэтому братья рѣшили «оставить всѣ трактаты, довольствоваться закономъ божіимъ и ему искренно вѣрить»: рѣшать годность или негодность трактатовъ предоставлено было старшимъ. Такимъ образомъ братья добровольно отказались отъ развитія отвлеченной идеи; ихъ дѣятельность направлена была на вопросъ практическій, нравственное усовершенствованіе. Идеи Хельчицкаго они поняли слишкомъ буквально, и надѣялись, что возстановленіе первобытной церкви возможно и совершится одними мирными нравственными средствами, однимъ введеніемъ благочестивыхъ нравовъ и слегка монастырскаго оттѣнка жизни: они не признавали войны, не признавали сословныхъ привиллегій, не признавали судебной и другой присяги, не признавали свѣтскихъ властей и т. д., но ограничивали себя однимъ пассивнымъ противодѣйствіемъ господствующему порядку вещей, — а этотъ порядокъ конечно нисколько не думалъ отказываться отъ своей активной роли. Противорѣчіе, явившееся отсюда, ставило братьевъ съ самаго начала въ самыя затруднительныя положенія, заставляло ихъ прибѣгать къ софизмамъ [21]), но софизмы не уничтожали противорѣчія; общество, имѣвшее громадный успѣхъ благодаря одной силѣ идеи, не могло однако побѣдить господствовавшаго порядка и наконецъ заплатило за исключительность своей основной мысли своимъ паденіемъ. Если чешскіе историки называютъ Хельчицкаго геніальнѣйшимъ мыслителемъ своего вѣка, то его продолжатели, въ лицѣ чешскихъ братьевъ, замѣчательные по своимъ частнымъ усиліямъ, отстали потомъ отъ передоваго движенія, потому что

[21]) Вотъ образчикъ такихъ софизмовъ. По Хельчицкому война была преступленіемъ; братья допускали ее (потому что иначе они должны были бы съ оружіемъ въ рукахъ возстать противъ королевскихъ вербовщиковъ), но съ разными ограниченьями: братъ могъ идти на войну, если дѣло короля было справедливо, это было conditio sine qua non; но если можно, онъ долженъ былъ ставить наемщика, или проситься на службу въ замкѣ, въ должность сторожа, прислужника и т. п. „Но если бы ему все таки нужно было идти, въ случаѣ отказа на это,—говорятъ правила братьевъ, — то онъ долженъ стараться попасть въ прислугу къ обозу; если бы было нельзя и этого, то пусть онъ сражается во имя Бога, но пусть бережется искать суетной славы; пусть онъ берется за мечъ съ отвращеніемъ“. Gindely I, стр. 86.

дали своей дѣятельности слишкомъ тѣсныя границы и слишкомъ исключительное направленіе.

Литературная дѣятельность братьевъ главнымъ образомъ заключалась конечно въ пропагандѣ ихъ понятій, въ развитіи нравственныхъ (но не политическо-соціальныхъ) слѣдствій идей Хельчицкаго. Поэтому, не излагая содержанія трактатовъ этихъ писателей, намъ достаточно назвать замѣчательнѣйшія имена. Таковы были братъ Григорій (Řehoř, ┼ 1473), основатель братства, хотя и не особенно ученый, но «сильный и словомъ и перомъ»,—которому приписывается нѣсколько сочиненій о христіанской морали; братъ Лукашъ (┼ 1527), пражскій баккалавръ, вступившій въ общину въ 1480, первый ученый и теологъ, прочно установившій ученіе братства, и одинъ изъ плодовитѣйшихъ его писателей: онъ оставилъ цѣлую массу сочиненій, трактатовъ, толкованій, писемъ и полемическихъ статей по разнымъ вопросамъ братскаго ученія [22]); Лаврентій Красоницкій (┼ 1532), также пражскій баккалавръ; Прокопъ, ученый баккалавръ, замѣчательный въ исторіи братства тѣмъ, что подалъ поводъ къ первой реформѣ братства — въ смыслѣ его сближенія съ дѣйствительной жизнью, — предложивъ отмѣнить излишнюю строгость нѣкоторыхъ братскихъ правилъ, которая по его мнѣнію вредила успѣхамъ братства. Онъ думалъ, что не слѣдуетъ исключать изъ братства людей сильныхъ и богатыхъ и заставлять ихъ отказываться отъ власти и имѣній, которыя они могли бы употреблять съ пользой для братскаго дѣла; и думалъ также, что человѣку не нужно лишать себя житейскихъ радостей, которыя запрещались прежними аскетическими правилами братства. Предложенія Прокопа, изложенныя имъ и въ своихъ сочиненіяхъ, породили споръ, въ которомъ Лукашъ, Красоницкій и вообще большинство было на сторонѣ Прокопа; но противная партія не согласилась принять его рѣшенія и отдѣлилась въ особую общину, которая по имени своего предводителя, брата Амоса изъ Штекна, названа была Амосовцами (Amosiéti). Далѣе къ первой эпохѣ братской литературы относятся: Ѳома изъ Прелучъ (Tomáš z Přelouč, ┼ 1517), одинъ изъ ученѣйшихъ братьевъ; Янъ Таборскій, бывшій сначала священникомъ въ Таборѣ, потомъ перешедшій къ братьямъ; Янъ Каленецъ, также замѣчательная личность между братьями, ремесломъ ножевщикъ изъ Праги, послѣдователь Амоса.

Противниковъ братства было много не только между католиками, но и между калишниками, и полемика отъ серьезныхъ догматическихъ споровъ доходила до такихъ вещей, какія утверждалъ напр. нѣкто Витъ, священникъ, что будто братья поклоняются крысѣ какъ божеству, соединяются съ сестрами и т. п. Между писателями противъ братства могутъ быть названы упомянутый Августинъ Оломуцкій, Коранда, Мартинъ, и въ особенности Янъ Бехинка.

[22]) Gindely, въ Čas. Česk. Mus. 1861, приводитъ до 80 сочиненій брата Лукаша.

По поводу реформы, предложенной Прокопомъ, у братьевъ явилась мысль устроить экспедицію для отысканія христіанской общины или народа, у которыхъ бы сохранилось первобытное христіанство. Экспедиція снаряжена была въ Италію, гдѣ братъ Лукашъ долженъ былъ ближе ознакомиться съ родственной братьямъ сектой Вальденсовъ; и на востокъ, гдѣ по мнѣнію братьевъ находилось первобытно-христіанское царство попа Іоанна. Плодомъ этого послѣдняго путешествія было «Путешествіе изъ Чехіи въ Іерусалимъ и Египетъ» (1491) брата Мартина Кабатника. Это предпріятіе опять характеризуетъ положеніе братьевъ относительно основнаго принципа ихъ общества: оставивши, какъ мы замѣтили, путь отвлеченнаго развитія идеи о первобытномъ христіанствѣ и объ условіяхъ чисто-христіанскаго общественнаго устройства, они надѣялись найти своей системѣ историческое подкрѣпленіе и отыскать преемственность, которая бы могла благовиднымъ образомъ связать ихъ съ первоначальной христіанской общиной. Это былъ опять одинъ изъ софизмовъ, которымъ они хотѣли спасти односторонне понятую ими идею. Софизмъ не удался и на этотъ разъ: они не нашли на востокѣ первобытнаго христіанства и, какъ видно изъ путешествія Кабатника, мало были приготовлены въ массѣ къ раціональному приложенію своихъ идей. Съ этимъ противорѣчіемъ они остались на все время своего существованія.

Въ 16-мъ столѣтіи, собственно говоря, уже заканчивается тотъ періодъ энергической національной дѣятельности Чеховъ, который начатъ былъ впервые предшественниками Гуса въ концѣ 14-го вѣка. Чешская реформа уже высказалась: она представила много благородныхъ усилій, много примѣровъ сильной мысли и сильнаго дѣла, она открыла дорогу освобожденія... Если конецъ былъ несчастливъ и неудаченъ, это нисколько не уменьшаетъ великости чешскаго національнаго дѣла: реформа возстала на принципы, владѣвшіе цѣлой Европой, возстала на нихъ въ предѣлахъ небольшой народности; естественно было, что она подавлена была еще сильной реакціей. За ней остается заслуга начинанія и заслуга мужества.

Чешскіе историки называютъ обыкновенно 16-е столѣтіе (1526—1620), и особенно послѣднія десятилѣтія его *золотымъ вѣкомъ* чешской литературы. Но вглядѣвшись внимательнѣе въ это время, мы найдемъ, что названіе нисколько не оправдывается его содержаніемъ, — развѣ только оно можетъ быть оправдано внѣшней формальной стороной и матеріальнымъ объемомъ литературы этого періода. 16-е столѣтіе въ самомъ дѣлѣ представляетъ массу писателей и массу книгъ, но всѣ они или продолжаютъ старое, или даже идутъ по чужимъ указаніямъ. Болѣе строгіе критики справедливѣе находятъ, что для этого періода предстоитъ еще трудъ изслѣдовать, «какая часть произведеній того времени была непосредственнымъ результатомъ чешскаго духа и какая была заимствована извнѣ» [23]): ясно,

[23]) Сабина, стр. 832.

что назвать этотъ періодъ золотымъ вѣкомъ чешской литературы можно только съ очень большими ограниченьями, или даже вовсе нельзя назвать его такимъ именемъ, если судить о литературѣ не по массѣ, а по степени самостоятельности и новости ея содержанія. Существенный успѣхъ 16-го столѣтія заключается въ расширеніи литературнаго образованія, въ усиленіи дѣятельности, но литература теряетъ свою оригинальность и энергію развитія: въ своихъ руководящихъ идеяхъ она начинаетъ подчиняться европейскимъ вліяніямъ, и сливаясь съ ними, больше и больше теряетъ собственную инціативу. Этими вліяніями были возрожденіе и реформація. Гиндели, новѣйшій историкъ чешскихъ братьевъ, съ своей католической точки зрѣнія ставитъ въ особенную похвалу чешскимъ католикамъ, что они были ревностнѣйшими приверженцами классическихъ занятій; но мы видѣли на примѣрѣ Богуслава Лобковица, что эти занятія не сдѣлали его передовымъ человѣкомъ въ чешскомъ общественномъ дѣлѣ. Онъ былъ отличный классическій ученый и полнѣйшій ретроградъ. Гуманизмъ, понятый съ католической точки зрѣнія, переставалъ быть развивающимъ знаніемъ: Богуславъ, и всякій другой писатель, переставалъ быть чешскимъ дѣятелемъ, когда вступалъ въ толпу безцвѣтныхъ послѣдователей искусственнаго классицизма и мертвой латинской учености. Въ общественномъ отношеніи эти люди желали только возвращенія стараго порядка и уничтоженія всего, что было пріобрѣтено въ гусситскій періодъ. Съ другой стороны дѣйствовала реформація, уже скоро проникшая въ Чехію: представители чешской реформы и «братья» были даже въ прямыхъ личныхъ сношеніяхъ съ представителями реформы германской — Эразмомъ Роттердамскимъ, Лютеромъ, Цвингли и пр., и ученія послѣднихъ не только нашли пріемъ въ Чехіи, но, когда реформація утвердилась какъ политическій и религіозный принципъ, съ извѣстными догматическими положеньями, эти ученія даже замѣняли собой прежнія національно-религіозныя партіи Чеховъ. Во второй половинѣ 16-го вѣка, когда гоненія со стороны оффиціально-господствовавшаго католицизма еще усилились, калишники стали прямо протестантами (евангеликами), чешскіе братья дѣлались реформатами. Здѣсь кончалась традиція стараго гусситизма, и чешская религіозная исторія сливалась съ религіозной исторіей европейской реформы: если практическую жизнь еще одушевляли гусситскія воспоминанья и если они отличали Чеховъ ревностью религіознаго чувства, то веденіе самаго дѣла принадлежало уже не имъ. Съ этихъ поръ мы рѣдко встрѣтимъ въ чешской литературѣ мысль, владѣющую самобытнымъ культурнымъ значеніемъ.

Поэтому подробное изложеніе «золотаго вѣка» не представляетъ, на нашъ взглядъ, особенной занимательности. Мы удовольствуемся короткимъ указаніемъ главнѣйшихъ фактовъ.

Чешская поэзія уже въ гусситскія времена представляла мало замѣчательнаго. Тѣмъ же безплодіемъ она отличается въ концѣ 15-го столѣтія и въ теченіи всего золотаго вѣка. Она отчасти состояла изъ латинскихъ

стихотвореній разнаго сорта (Богуславъ изъ Лобковицъ, Карлъ изъ Карлсберга, Томашъ Митисъ, Янъ Кампанъ и др.); отчасти изъ переводныхъ рыцарскихъ и духовныхъ романовъ, о которыхъ мы упоминали прежде; отчасти изъ подражаній нѣмецкимъ мейстерзенгерамъ, наполненныхъ моралью и аллегоріей (Гинекъ Подѣбрадъ, сынъ короля Юрія, ┼1491; Májovy sen); наконецъ изъ духовныхъ пѣсенъ. Эти послѣднія были особенно въ ходу въ этотъ періодъ религіозной экзальтаціи, и лучшія пѣсни принадлежатъ чешскимъ братьямъ: изъ нихъ наиболѣе извѣстныя имена—уже названныя нами—братъ Лукашъ, и Янъ Таборскій, кромѣ того Янъ Рогъ, Янъ Благославъ и особенно Юрій Стрицъ, Мартинъ Замрскій (Philadelphus, ┼1592). Кромѣ риѳмованныхъ пѣсенъ являются въ подражаніе классическимъ образцамъ метрическія стихотворенія; таковы переложенія псалмовъ Матуша Бенешовскаго (┼1585) и Лаврентія Бенедикта Нудожерскаго (┼1615). Но знаменитѣйшимъ поэтомъ этого періода считался Шимонъ Ломницкій изъ Будча (род. 1560,┼послѣ 1622), писатель и переводчикъ очень плодовитый, но лишенный и истиннаго таланта, и прочности убѣжденій; онъ былъ сатирикъ и моралистъ, поэтъ-патріотъ, но всего больше усердный версификаторъ и стихотворецъ на случай.

Въ серьезной литературѣ золотаго вѣка замѣтно выдвигается, какъ мы сказали, усиленіе литературнаго образованія, и чешскіе критики видятъ въ этомъ періодѣ прочное утвержденіе научныхъ знаній: дѣйствительно мы находимъ значительное число книгъ по разнымъ отраслямъ знанія; въ Чехію приглашаются ученые въ родѣ Кеплера и Тихо-Браге; являются собственные замѣчательные ученые, въ родѣ ботаника Залужанскаго, предварившаго за два столѣтія теорію Линнея; историческое знаніе расширяется; литература представляетъ множество переводовъ, — но при всемъ этомъ полиграфическомъ характерѣ литература золотаго вѣка лишена той живой самобытности и творчества, въ которыхъ и заключается ея существенный интересъ.

Мы уже указывали типъ тогдашняго писателя въ Николаѣ Коначѣ. Къ нему примыкаетъ цѣлый рядъ писателей, любопытныхъ больше съ исторической точки зрѣнія, чѣмъ по внутреннему достоинству ихъ произведеній. Таковы были историки: Бартошъ Писарь (┼послѣ 1544), написавшій какъ очевидецъ исторію пражскихъ событій 1524 — 30; далѣе, Сикстъ изъ Оттерсдорфа (┼1583), переводчикъ и историкъ чешскихъ событій 1546 — 47, по словамъ Яна Благослава, лучшій Чехъ (т. е. знатокъ языка) изъ всѣхъ тогдашнихъ пражскихъ докторовъ и мистровъ. Особенной извѣстностью пользовался Вацлавъ Гаекъ изъ Либочанъ (┼1553), котораго «Чешская Хроника», написанная противъ утраквистовъ, пріобрѣла огромную славу и сдѣлалась чисто народной книгой, даже между самими калишниками,—старая исторія Чехіи наполнена въ ней множествомъ басенъ, вѣроятно подъ вліяніемъ Ливія и подобныхъ книгъ [24]); Мартинъ Кутенъ

[24]) Изд. 1541, 1818; лат. пер., съ примѣч. Добнера 1761—82, 6 ч.

изъ Шпринсберга (┼1564), написавшій небольшую «Хронику о началѣ чешской земли» съ точки зрѣнія калишниковъ и другую «Хронику» о Жижкѣ [25]); Богуславъ Билейовскій (┼1556), написавшій съ той же точки зрѣнія исторію чешской церкви, и т. д.

Изъ среды чешскихъ братьевъ выдѣляется въ это время знаменитое у Чеховъ имя Яна Благослава, родомъ Моравана, старшины братской общины (1523—1571). Наряду съ Коменскимъ, онъ считается ученѣйшимъ и наиболѣе глубокомысленнымъ представителемъ братства. Важнѣйшими трудами его были: чешская грамматика (1571), сохраняющая свою цѣну и до сихъ поръ; переводъ Новаго Завѣта, вошедшій въ Кралицкую библію; жизнеописаніе Яна Августы, братскаго епископа (1555); исторія братской общины. Ему принадлежитъ также редакція Братскаго Канціонала, т. е. сборника духовныхъ пѣсенъ, изданнаго въ Шамопулахъ, въ Польшѣ, 1561, гдѣ помѣщено и нѣсколько его собственныхъ пѣсенъ. Благославъ самъ получилъ основательное образованіе въ иностранныхъ школахъ; въ братствѣ онъ возсталъ противъ правилъ, принятыхъ общиной и намѣренно пренебрегавшихъ свѣтскимъ знаніемъ, и ввелъ въ братскихъ школахъ высшее обученіе. Наконецъ по мысли Благослава сдѣланъ былъ знаменитѣйшій трудъ всей братской литературы—изданіе *Кралицкой библіи*, которая была вновь переведена восемью братьями съ еврейскаго и греческаго и издана на счетъ Карла изъ Жеротина, въ Кралицѣ 1579—93, въ 6 ч. (2-е изд. 1596, 3-е въ 1613): переводъ до сихъ поръ считается недостижимымъ образцомъ чешскаго языка.

Конецъ золотаго вѣка носитъ у чешскихъ историковъ названіе *вѣка Велеславина*, по имени писателя, который стоялъ во главѣ литературной дѣятельности послѣднихъ десятилѣтій 16-го вѣка. Даніилъ Адамъ изъ Велеславина (1546—99) можетъ служить характернымъ представителемъ этой литературной эпохи: единственный большой трудъ его, писанный по чешски, есть «Историческій Календарь» (1578), разсказывающій при каждомъ днѣ, что̀ и гдѣ въ этотъ день случилось замѣчательнаго; остальные труды его состояли изъ латинскихъ учебниковъ, переводовъ разныхъ полезныхъ книгъ, хроникъ, книгъ для благочестиваго чтенія и т. п., или изъ предисловій къ вещамъ, которыя печатались въ его типографіи [26]). Единственной цѣлью его было распространеніе знаній; онъ повидимому съ намѣреніемъ удалялся отъ полемическихъ споровъ и вражды партій, но это обстоятельство конечно мало приноситъ пользы тамъ, гдѣ масса не смотря на то раздѣляется на партіи. Стиль и языкъ Велеславина и его лучшихъ современниковъ считается образцовымъ чешскимъ стилемъ.

[25]) Kronika velmi pěkná o urozeném a statečném rytíři Janovi Žižkovi, pravdy boži horlivém milovníku, Прага 1564.

[26]) Это былъ ученый издатель. Іезуитъ Бальбинъ говоритъ о немъ: Quidquid doctum et eruditum Rudolpho II imperante in Bohemia lucem adspexit, Weleslawinum vel autorem vel interpretem vel adjutorem vel ad extremum typographum habuit.

Изъ историческихъ писателей этого времени наиболѣе извѣстны: Прокопъ Лупачъ изъ Главачова (+1587), пражскій профессоръ, написавшій исторію Карла IV; Марекъ Быджовскій изъ Флорентина (+1612), также пражскій профессоръ, описывавшій событія временъ Максимиліана и Рудольфа; полякъ Бартоломей Папроцкій изъ Глоголъ (+1614), писавшій по польски и по чешски — между прочимъ нѣсколько генеалогическихъ и историческихъ книгъ; Юрій Завѣта (+1621), описывавшій разныя событія и торжественные случаи 1611—17 годовъ и составившій также «Придворную школу» (Schola aulica), которая считалась въ свое время важнымъ произведеніемъ; Карлъ изъ Жеротина (1564—1636), чешскій панъ и въ свое время великій меценатъ, принадлежавшій къ братской общинѣ и оставившій исторически любопытныя письма. Другіе переводили въ значительномъ количествѣ книги объ иноземной исторіи и космографіи. Въ отдѣлѣ путешествій, — который уже въ 15-мъ вѣкѣ представляетъ описанія Кабатника, Льва изъ Рожмитала (путешествіе въ западную Европу), Яна изъ Лобковицъ (1493, въ Іерусалимъ), — прибавляются путешествія Вацлава Вратислава изъ Митровицъ, описывавшаго свои приключенія въ Турціи; Криштофа Гаранта изъ Польжицъ (казненъ 1621), отправлявшагося въ Палестину; Фридриха изъ Донина, путешествовавшаго въ Венгріи, Германіи и Италіи, и проч. Наконецъ не были забыты конечно право, мораль, классическая литература, церковное поученіе, полемика, начинавшееся естествознаніе и проч.; — по всѣмъ этимъ предметамъ сдѣлано было много переводовъ и самостоятельныхъ опытовъ.

Все это было конечно весьма полезно, распространяло знанія въ массѣ, но это сухое знаніе, оставлявшее въ покоѣ глубокіе принципы, затронутые въ прежнее время, мало приносило пользы въ то время, когда прежніе вопросы еще не были рѣшены. Литература была ниже тѣхъ задачъ, которыя стояли передъ обществомъ. Реакція брала верхъ, католицизмъ одерживалъ рѣшительную побѣду и на его сторонѣ была политическая сила и власть; со второй половины 16-го вѣка въ Чехіи появляются іезуиты, которые уже теперь ревностно взялись за обличеніе ересей и которымъ предстояла еще большая ревность впослѣдствіи. Правда, литературная борьба еще продолжалась, утраквисты и братья полемизировали съ іезуитами, — но мы уже видѣли, была ли способна братская община, представлявшая тогда передовую часть націи, выставить столько силы, чтобы возбудить цѣлыя массы, какъ возбуждали ее проповѣдники гусситизма. Аскетизмъ ея принциповъ, пассивность ея дѣйствій, ея исключительная мораль не были конечно такой силой. Не смотря на успѣхъ реформаціи, въ литературѣ, принявшей на себя полиграфическія заботы о народномъ обученіи, сказывается утомленіе. Въ такомъ видѣ застала ее катастрофа 1620 года.

3. ПЕРІОДЪ ПАДЕНІЯ.

Еще до этого времени, съ первыхъ годовъ 17-го столѣтія, начало обнаруживаться это утомленіе, которое и сдѣлало возможнымъ страшный переворотъ, постигшій Чехію послѣ Бѣлогорской битвы. Эта битва нанесла послѣдній ударъ и національной самобытности, и литературному развитію. Семнадцатое столѣтіе представляетъ только послѣдніе ростки того, что успѣло зародиться прежде; литература жила еще только въ одномъ поколѣніи, воспитавшемся въ прежнее время.

Мы уже говорили о тѣхъ результатахъ, которые принесла Чехіи Бѣлогорская битва. Побѣжденные протестанты, утраквисты и братья, большинство націи, должны были или сдѣлаться католиками, или оставить родину: множество чешскихъ семействъ разошлось по сосѣднимъ землямъ, гдѣ должно было утонуть въ чужихъ народахъ, — съ ними и послѣдніе лучшіе представители гусситства, — Амосъ Коменскій, Карлъ изъ Жеротина, Павелъ Скала изъ Згоржи. Насталъ длинный періодъ окончательнаго упадка литературы, невѣжества и угнетенія народа (1620—1780): католическіе клерикалы, часто иноземцы, требовали отъ народа только исполненія обрядовъ и затѣмъ оставляли его на произволъ судьбы; книги стараго времени истреблялись массами, какъ зараженныя ересью, — для народа положительно исчезали всѣ пріобрѣтенія прежняго развитія. Ученые изгнанники продолжали свою дѣятельность, совершали иногда замѣчательные труды, но эти труды оставались почти безполезны народу, — они совершались на чужбинѣ. Самая страна была притомъ крайне разорена тридцатилѣтней войной: населеніе чрезвычайно уменьшилось отъ эмиграціи и истребленія, новый притокъ нѣмецкихъ колонистовъ еще усилилъ упадокъ чешской народности.

По этимъ условіямъ легко представить себѣ положеніе чешской литературы въ этомъ періодѣ. Лучшіе люди, соединявшіе въ себѣ элементы развитія и представлявшіе лучшую сторону литературы, должны были покинуть страну; въ ней осталась только безпомощная масса, въ тайнѣ сберегавшая немногія прежнія преданья, и осталась католическая ученость, во главѣ которой стояли іезуиты. Поэтому нечего искать въ этомъ періодѣ какого нибудь продолженія прежней жизни; съ 1620 года литература представляетъ картину постепеннаго замиранія національности. Прежняя литература продолжается еще нѣсколько времени въ средѣ эмиграціи, или иногда сказывается у единоплеменныхъ Словаковъ, къ которымъ чешскіе эмигранты принесли свои литературные вкусы.

Поэзія этого времени состоитъ почти исключительно изъ духовныхъ пѣсенъ, переложеній псалмовъ, и т. п. Таковы напр. духовныя пѣсни и переложенія Коменскаго, переводный сборникъ духовныхъ стихотвореній іезуита Феликса Кадлинскаго (†1635, Zdoroslavíček 1665, 1726) и др. У Словаковъ однимъ изъ лучшихъ духовныхъ поэтовъ былъ тогда евангеликъ Юрій Трановскій, родомъ собственно Силезецъ († 1637): его

«Cithara sanctorum neb Žalmy a písnė duchovní staré i nové» и пр. 1635, бывшая церковной книгой чешскихъ евангеликовъ, имѣла потомъ до двадцати изданій, постоянно размножавшихъ его первоначальный сборникъ; затѣмъ извѣстны Эліашъ Лани (+1617), Сам. Грушковицъ (+1748), Даніэль Керманъ, суперинтендентъ евангелическихъ Словаковъ (+1740 въ тюрьмѣ) и др. Въ поэзіи не духовной могутъ бьть названы почти только два имени: Степанъ Пиларжикъ (+1678), родомъ Словакъ, «справца» нѣскольких братствъ и потомъ старшина, выдержавшій много преслѣдованій за свою религію, между прочимъ описалъ въ стихахъ свой турецкій плѣнъ (Sors Pilarikiana 1666; другое изд. 1804 Таблица, съ біографіей Пиларжика); Юрій Вольный (+1745), простой пастухъ и «поэтъ природы», котораго «Веселыя пѣсни» изданы были уже въ новѣйшее время (Veselé písnė, v Hradci Kral. 1822). Но если и въ названномъ нами мало было настоящей поэзіи, и много натянутой искусственности или просто безвкуснаго риѳмоплетства, то этихъ вещей еще больше было въ другихъ произведеніяхъ: въ стихахъ писались изложенія католической вѣры, церковной исторіи, разсказывались историческія событія и т. п. Отупляющая іезуитская школа, господствовавшая теперь въ самой Чехіи, производила свое обыкновенное дѣйствіе.

Обращаясь къ другимъ отраслямъ литературы, мы кромѣ Коменскаго, о которомъ скажемъ дальше, замѣтимъ только немногія имена. Однимъ изъ болѣе замѣчательныхъ эмигрантовъ былъ Павелъ Скала изъ Згоржи, который написалъ въ изгнаніи огромное сочиненіе о церковной исторіи, отъ временъ апостольскихъ до 1624 г., въ десяти частяхъ, гдѣ уже съ 3-ей начинается описаніе событій 1516 — 1624; наиболѣе любопытна та часть сочиненія, въ которой онъ говоритъ какъ очевидецъ, но до сихъ поръ оно извѣстно только по немногимъ выпискамъ. Изъ католическихъ историковъ извѣстенъ графъ Вилемъ Славата (+1652), написавшій обширное сочиненіе объ исторіи своего времени съ Фердинанда I; менѣе замѣчателенъ Вацлавъ Козманецкій, оставившій краткое описаніе тридцатилѣтней войны, дневникъ осады 1648 года, и затѣмъ нѣсколько шуточныхъ пьесъ и плохихъ стихотвореній. Во второй половинѣ 17-го столѣтія лучшимъ сочиненіемъ была историческая книга Томаша Пешины, изъ Чехорода (+1680), о Моравіи («Předchůdce Moravopisu» 1663); въ началѣ осьмнадцатаго вѣка «Poselkynė starych příbėhův ćeskych, aneb kronika česká» Яна Бецковскаго (+ 1725). Ученѣйшій историкъ чешскій того времени, патріотъ, хотя и іезуитъ, Богуславъ Бальбинъ писалъ всегда по латыни. Продолжались въ 17-мъ столѣтіи и описанія путешествій; такъ графъ Германъ Черининъ изъ Худеницъ (+1651) описалъ свое «Посольство въ Константинополь», совершенное въ 1645, а Игнатій изъ Штернберга оставилъ Путешествіе въ западныя земли (1664—65). Это были послѣдніе паны, писавшіе по чешски.

Все остальное содержаніе чешской литературы до самаго конца 18-го

столѣтія состояло изъ вещей низшаго разбора, книжонокъ поучительнаго и благочестиво-католическаго содержанія, рѣдкихъ книжекъ для чтенія и забавы, календарей и т. п. Къ концу этого періода начинаютъ больше и больше пропадать и эти немногіе слѣды книжнаго употребленія чешскаго языка. Это періодъ полнаго упадка. Но раньше, чѣмъ этотъ упадокъ окончательно совершился, чешская литература еще разъ собрала свои силы въ одномъ изъ представителей эмиграціи.

Замѣчательнѣйшей личностью чешскаго 17-го столѣтія былъ Янъ Амосъ Коменскій (или Comenius, 1592—1671). Онъ одинъ напоминаетъ прежнія времена своей обширной дѣятельностью и дарованіемъ. Коменскій [1]) еще въ дѣтствѣ остался бѣднымъ сиротой, и ему было уже 16 лѣтъ, когда онъ началъ свое образованіе; по возвращеніи изъ Гейдельберга онъ былъ «справцей» одной братской общины, но въ 1621, въ шведское нашествіе, потерялъ все свое имѣніе, а въ 1628 году, который положилъ конецъ братскому обществу въ Чехіи и на Моравѣ, онъ долженъ былъ оставить родину и поселился въ Познани. Уже прежде написалъ онъ свой знаменитый «Лабиринтъ Свѣта» и «Centrum Securitatis»; теперь онъ написалъ свой «Informatorium školy materské» и чешскую «Дидактику», отысканную только въ новѣйшее время, и свою педагогическую «Janua linguarum reserrata aurea» (1631, имъ же перевед. на чешскій: «Zlatá brána jazykův otevřená и пр.), которая доставила Коменскому европейскую извѣстность. Возбужденный успѣхомъ этой книги, Коменскій задумалъ другое, болѣе широкое произведеніе, и, самъ лишенный матеріальныхъ средствъ исполнить и издать задуманный трудъ, онъ нуждался въ покровительствѣ и поддержкѣ, которыя доставались ему въ разной степени въ Англіи, въ Швеціи, Венгріи, но главнымъ образомъ оказаны были ему богатымъ голландцемъ Гееромъ. Выбранный старшиной братскаго общества, Коменскій, послѣ различныхъ странствій и лишеній, поселился въ познаньскомъ городѣ Лешнѣ (Лисса), но здѣсь ожидало его послѣднее несчастье. Въ Польшу вступили Шведы; они—именно изъ уваженія къ Коменскому, тогда уже знаменитому—не тронули города, но Поляки, взявши верхъ, жестоко отмстили за это городу: онъ былъ сожженъ, Коменскій снова лишился всего достоянія, и, главное, всѣхъ своихъ рукописей, между которыми были ученые труды цѣлой его жизни. Послѣ того онъ отправился въ Амстердамъ къ Гееру, гдѣ и умеръ. Это былъ «послѣдній епископъ братскихъ общинъ, затворившій за собою дверь», и послѣдній представитель великаго періода чешской литературы.

Коменскій, не смотря на потерю его рукописей въ Лешенскомъ пожарѣ, оставилъ однако огромную массу разнообразныхъ произведеній, которыя, кромѣ упомянутыхъ уже духовныхъ пѣсенъ, представляютъ главнымъ образомъ множество трудовъ историческихъ, поучительныхъ, философскихъ

[1]) Біографія, напис. Палацкимъ, въ Čas. Česk. Mus. 1829; о судьбѣ Коменскаго на чужбинѣ, Гиндели, въ Актахъ Вѣнской Академіи.

и особенно педагогическихъ. Историческія сочиненія его посвящены судьбамъ чешской евангелической церкви, какъ напр. его Historia o těžkých protivenstvích církve české (1-е изд. 1655), вышедшая впрочемъ первоначально по латыни (Hist. persecutionum и пр. Лейденъ 1648), и другія его сочиненія; ко вторымъ относятся его проповѣди «Kazaní», «Umění kazatelské», и рядъ другихъ книгъ, написанныхъ для поученія и возбужденія разсѣянныхъ выселенцевъ, напр. «Nedobytedlny hrád jméno Hospodinovo, k němuž kdo se koli utíká, zachovan bývá» (т. е. Неприступная крѣпость имя Господне,—въ которой спасается всякій, въ нее убѣгающій, 1622), «Praxis pietatis» (Лешно, 1630 и др.), «Centrum securitatis—Hlubina bezpečnosti t. j. světlé rozmlouvání, jak v samém jediném bohu všecka bezpečnost, pokoj a blahoslavenství záleží» (т. е. Глубина безопасности, или ясное разсужденіе о томъ, какъ въ одномъ единомъ Богѣ заключается всякая безопасность, спокойствіе и благословеніе, Лешно 1633 и др.), «Vyhost světu» (Амстерд. 1663) и друг. Заглавія этихъ сочиненій уже намекаютъ на характеръ морали Коменскаго, въ которой аскетизмъ—господствующая черта въ нравственномъ ученіи братьевъ—усиливался тяжелыми испытаніями изгнанія.

Но самыми важными его произведеньями, имѣвшими цѣну не для однихъ его современниковъ и соотечественниковъ, были его философско-педагогическіе труды,—упомянутая *Janua linguarum*, и въ особенности знаменитый *Orbis pictus* [2]). Эти два произведенія, къ которымъ присоединяются другія его сочиненія на латинскомъ языкѣ, собранныя въ Operis Didacticis, изданныхъ въ 1657 сыномъ его покровителя Геера, и которыя всѣ вмѣстѣ заключали въ себѣ цѣлую пансофическую систему воспитанія, имѣли чрезвычайный успѣхъ въ цѣлой Европѣ; они были переведены почти на всѣ европейскіе и даже на нѣсколько восточныхъ языковъ, и Бэйль говорилъ объ его Janua: «Quand Comenius n'aurait publié que ce livre-là, il se serait immortalisé». По этимъ своимъ произведеніямъ Коменскій занимаетъ въ исторіи европейской культуры весьма высокое мѣсто. Его историческое значеніе опредѣляется тѣмъ, что онъ сталъ въ рядахъ оппозиціи, возставшей противъ педагогическаго іерархизма, который господствовалъ въ ортодоксальныхъ «латинскихъ школахъ», въ университетахъ протестантства и въ католическомъ, особенно іезуитскомъ воспитаніи; въ своихъ педагогическихъ трудахъ онъ продолжалъ и велъ впередъ то освободительное дѣло, представителями котораго были Монтэнь и Бэйль во французской литературѣ, Бэконъ и Локкъ въ англійской, и педагогъ Ратихіусъ у Нѣмцевъ [3]). Это была оппозиція противъ извращеннаго классицизма и ортодоксальной ограниченности, которые вводили въ школу сухую и мертвую схоластику. Великая заслуга Ко-

[2]) Полное заглавіе: Orbis Sensualium pictus quadrilinguis — hoc est: omnium fundamentalium in mundo rerum et in vita actionum pictura et nomenclatura latina, germanica, hungarica et bohemica cum titulorum juxta atque vocabulorum indice; чешское изд.—Svět viditedlný namalovaný и пр. по изданію 1685 г.

[3]) О значеніи Коменскаго въ исторіи педагогіи и изложеніе его системы см. Karl Schmidt, Gesch. der Pädagogik, 3-er Bd, стр. 324—353.

менскаго состоитъ въ томъ, что онъ ввелъ въ школу реализмъ, стремленіе согласить воспитаніе съ условіями природы и основать его не на школьной буквѣ и рутинѣ, а на созерцаніи самой природы. Возбудила его главнымъ образомъ Instauratio magna Бэкона, но онъ провелъ свою мысль такъ широко и такъ самостоятельно, съ такимъ изученіемъ подробностей, что его теорія стала дѣйствительнымъ подвигомъ въ исторіи европейскаго воспитанія. Онъ исходилъ изъ мысли, что человѣкъ дѣлается человѣкомъ только черезъ воспитаніе, что воспитаніе должно сдѣлать человѣчество счастливымъ. Его система основывается на естественной, физической и духовной природѣ человѣка; воспитаніе должно обращать вниманіе на всѣ требованія этой природы, въ своихъ пріемахъ руководиться ея указаніями и ея свойствами, и въ обученіи должно основываться не на рутинномъ заучиваніи, а на самостоятельно пріобрѣтаемомъ опытѣ и познаніи. Такимъ образомъ вмѣсто механическаго набиранія свѣдѣній, воспитаніе становится у Коменскаго правильнымъ нагляднымъ обученіемъ и естественнымъ развитіемъ. «Orbis pictus» долженъ былъ служить средствомъ подобнаго обученія,—это былъ первый практическій опытъ раціональной педагогіи. Въ то же время онъ возставалъ противъ преувеличеннаго и часто фальшиваго классицизма, который господствовалъ въ тогдашнихъ школахъ и вмѣсто роднаго языка и христіанскихъ понятій все вниманіе воспитанниковъ обращалъ на Теренціевъ, Плавтовъ, Катулловъ, Цицероновъ и пр.: «отсюда происходитъ то,—говорилъ Коменскій,—что мы среди христіанства съ трудомъ отыскиваемъ христіанъ». Эта христіанская мысль, господствовавшая въ нравственномъ ученіи Коменскаго, составляетъ другую сторону его педагогической системы: христіанство должно быть цѣлью педагогическихъ стремленій и проникать всѣ педагогическіе пріемы, направленные къ нравственному развитію.... Коменскій не свободенъ конечно отъ несовершенствъ и ложныхъ понятій своего времени,—когда напр. въ своей реальной системѣ еще замѣняетъ живую природу посредствомъ Orbis pictus, когда, отвергая образовательную силу классическихъ занятій, онъ не смотря на то давалъ слишкомъ много значенія латинской фразеологіи и т. п.,—но при всемъ томъ система его была цѣльнымъ взглядомъ на естественныя условія человѣческой природы, человѣческихъ отношеній и педагогическихъ задачъ, и справедливо пріобрѣла свою обширную славу.

Наконецъ мы должны упомянуть еще объ одномъ произведеніи, на этотъ разъ болѣе національномъ, которое принадлежитъ къ числу самыхъ извѣстныхъ и уважаемыхъ вещей чешской литературы, хотя теперь конечно не можетъ найти много читателей. Это знаменитый *Лабиринтъ свѣта* [4]). Полное заглавіе этого произведенія даетъ понятіе объ его общей тенденціи: «Лабиринтъ свѣта и рай сердца, т. е. ясное изображеніе того, какъ въ

[4]) «Labyrint Světa a Ráj srdce» и пр., вышедшій въ 1631 въ Лешнѣ, s. l., и затѣмъ въ Амстердамѣ 1663, въ Берлинѣ 1757, въ Прагѣ 1782, 1809, 1862.

этомъ свѣтѣ и во всѣхъ его вещахъ нѣтъ ничего кромѣ суеты и заблужденія, сомнѣнія и горестей, призрака и обмана, тоски и бѣдствій, и наконецъ досады и отчаянія; но—кто остается дома въ своемъ сердцѣ, и запирается съ однимъ Господомъ Богомъ, какъ тотъ самъ собой приходитъ къ истинному и полному успокоенію мысли и къ радости». Авторъ совершаетъ аллегорическое путешествіе по лабиринту свѣта, передъ нимъ раскрываются всѣ картины и вся суета его «рынка», онъ наблюдаетъ жизнь всѣхъ званій и сословій общества, видитъ всю пустоту человѣческихъ заботъ, стремленій и надеждъ, все безсиліе человѣческой науки; на своемъ фантастическомъ пути онъ встрѣчаетъ наконецъ Христа и видитъ жизнь «внутреннихъ христіанъ», въ которыхъ и заключается его идеалъ. Въ этомъ идеалѣ чисто-христіанской жизни, которая находитъ полное успокоеніе и внутреннее счастіе въ вѣрѣ, не знаетъ мірскихъ заботъ, суетности и вражды, не заботится о богатствѣ и славѣ,—въ этомъ идеалѣ не трудно узнать идеи Хельчицкаго о первобытномъ христіанствѣ, и принципы братской общины. Внутреннихъ христіанъ освѣщаетъ двойное свѣтило разума и вѣры, они совершенно свободны, законъ ихъ кратокъ, потому что онъ весь въ заповѣдяхъ Бога; ихъ соединяетъ общность мыслей и чувствъ, и наконецъ общность имѣнія... «Я видѣлъ,—говоритъ онъ, — что хотя большей частью они были бѣдны тѣмъ, что свѣтъ называетъ имѣньемъ, хотя мало имѣли и въ маломъ нуждались, но почти у всякаго было однако что нибудь свое: но такъ, что никто съ этимъ не скрывался и передъ другими (какъ это дѣлается въ свѣтѣ) не утаивалъ, но имѣлъ это какъ бы для всѣхъ, отдавая охотно, что кому было нужно. Такъ что всѣ поступали между собой съ своимъ имѣньемъ не иначе, какъ поступаютъ сидящіе за однимъ столомъ, всѣ съ одинаковымъ правомъ пользуясь яствами. Увидѣвъ это, я устыдился, что у насъ часто дѣлается прямо противное этому... Я понялъ, что не такова божья воля»... [5]).

У Коменскаго мы миримся съ этимъ аскетическимъ соціализмомъ, потому что онъ былъ у него глубокимъ убѣжденіемъ. Этой проповѣдью внутренняго христіанства, — которое заключается видѣніемъ божественной славы и молитвою въ концѣ «Лабиринта», — этой проповѣдью заканчивается старый періодъ чешской исторіи; это послѣдній результатъ гусситскаго движенія. Коменскій «затворилъ за собою дверь», и послѣдній защитникъ своего національнаго дѣла, онъ сталъ вмѣстѣ и ревностнымъ дѣятелемъ европейской культуры: это было характеристическимъ заключеніемъ упадавшей чешской литературы.

[5]) Книга Коменскаго отвѣчала народному настроенію. Въ пѣснѣ чешскихъ изгнанниковъ 17-го вѣка она стоитъ рядомъ съ Кралицкой библіей, какъ единственное достояніе, вынесенное изъ родины:

....Nevzali sme s sebou
Nic, po všem veta!
Jen Biblí Kralickou,
Labyrint světa...

(Kollár, Nar. Zpiew. Slow. 1, стр. 34).

4. Возрожденіе литературы и народности.

Въ концѣ 18-го столѣтія этотъ упадокъ дошелъ до послѣдней степени. Чешская книга стала рѣдкостью: новыхъ не было, старыя истреблялись. Фанатизмъ іезуитовъ уничтожалъ чешскія книги по старой памяти даже и во второй половинѣ 18-го вѣка. Ученый іезуитъ Бальбинъ, патріотъ не по примѣру своихъ собратій, съ сожалѣніемъ говоритъ объ участи чешскихъ книгъ, которыя жглись на кострахъ и истреблялись, какъ еретическія, даже если въ нихъ и не было ничего о религіи. Это было въ 17-мъ столѣтіи. Въ 1783 Тамъ въ «Защитѣ чешскаго языка», одной изъ первыхъ книгъ возрожденія, разсказываетъ: «извѣстно, что еще три года тому назадъ (1780) заведены были такъ называемые высланцы (т. е. жандармы), которые какъ голодные волки бѣгали по всѣмъ краямъ чешской земли, высматривали каждый уголокъ, и если находили гдѣ нибудь какую чешскую книгу, хорошую или дурную, хватали ее и едва заглянувъ въ нее отнимали насильно, и ровно ничего не разумѣя въ чешскихъ книгахъ, ругались надъ ними, рвали и жгли ихъ». Правленіе Іосифа II въ первый разъ дало толчекъ національному сознанію, хотя собственно это и не входило въ его цѣли. Іосифъ II до извѣстной степени справедливо думалъ тогда, что просвѣщеніе всего легче можетъ быть достигнуто его народами путемъ нѣмецкаго языка и образованія, и въ школахъ введенъ былъ нѣмецкій языкъ. Чехамъ грозила совершенная германизація: образованіе, носившее прежде латинскую форму, стало принимать теперь нѣмецкую, и не имѣло, какъ и прежде, народныхъ элементовъ; высшіе классы стали уже почти окончательно нѣмецкой аристократіей; народная масса оставалась въ невѣжествѣ... Но та же угрожавшая германизація произвела и первыя попытки національной реакціи, ознаменовавшей новый періодъ славянскихъ литературъ. То же правленіе Іосифа II, которое грозило уничтоженіемъ національности, принесло возможность и средства этой реакціи. Нѣтъ сомнѣнія, что просвѣтительныя и гуманныя идеи 18-го вѣка, которыхъ Іосифъ былъ такимъ ревностнымъ прозелитомъ, были однимъ изъ главнѣйшихъ двигателей, которымъ чешская литература обязана своимъ возстановленіемъ. Національная реакція дѣйствовала въ видахъ того же просвѣщенія и того же народнаго блага, только другими путями: она стала заботиться о возбужденіи національнаго духа, потому что народный языкъ считала лучшимъ проводникомъ для народнаго образованія. Съ другой стороны подавленіе народности прежнимъ католическимъ угнетеніемъ и потомъ германизаціей Іосифа II вызвало реакцію историческихъ воспоминаній, которыя стали другимъ орудіемъ для защиты народности. Изъ такихъ источниковъ произошло то новое движеніе чешской литературы, которое обозначаютъ именемъ *возрожденія*.

Оно подготовлялось и тѣми изслѣдованьями о чешской старинѣ, кото-

рыя возбуждены были чисто историческимъ любопытствомъ еще съ 17-го вѣка, напр. у Бальбина и др., но особенно во второй половинѣ 18-го, у Добнера, Фойгта, Унгара, Пельцля и особенно у Добровскаго. Возрожденіе началось воспоминаньями о старой литературѣ, перепечаткой старыхъ сочиненій, которыми патріоты хотѣли доказать достоинства старой литературы, такъ долго пренебрегаемой; книжками для народнаго чтенія... Эти первыя попытки были иногда совершенно безсознательны въ національномъ смыслѣ; но историческія воспоминанія, вызванныя ими, нашли горячій пріемъ въ людяхъ, принявшихъ къ сердцу интересъ народа и образованія, и національное чувство высказалось почти вдругъ съ такимъ одушевленіемъ, какого едва можно было ожидать.

Во главѣ новаго движенія ставятъ обыкновенно знаменитаго ученаго аббата Іосифа Добровскаго (1753 — 1829). Онъ оказалъ возрожденію великія услуги: онъ первый научнымъ образомъ установилъ формы языка, своими историческими и филологическими изслѣдованіями въ первый разъ бросилъ яркій свѣтъ на славянскую старину, и въ первый разъ указалъ на тѣсную родственную связь славянскихъ племенъ и нарѣчій и возможность національнаго изученія. Его труды (главнѣйшіе изъ нихъ названы выше въ библіографическихъ указаніяхъ) имѣли уже всеславянскій характеръ, и какъ ни были они неполны и часто ошибочны, они произвели сильное впечатлѣніе. Послѣ Добровскаго національный вопросъ принялъ размѣры, способные воодушевить патріотическое чувство. Славянство признало въ немъ патріарха своей науки. Но при всемъ томъ самъ Добровскій былъ еще безсознательнымъ двигателемъ чешскаго и славянскаго возрожденія: славянская старина, исторія, языкъ, казались ему только матеріаломъ для научнаго изысканія: «оставьте мертвыхъ въ покоѣ»,—говорилъ онъ и писалъ свои изслѣдованія по нѣмецки и по латыни [1]). Но дѣло было уже сдѣлано, и другіе съ горячимъ національнымъ увлеченіемъ повели дальше трудъ, начатый Добровскимъ такъ хладнокровно. Небольшое и несмѣлое общество патріотовъ нашло себѣ твердую опору и ревностно принялось за изученіе народной старины, этнографіи, и за національную пропаганду. Поколѣніе, слѣдовавшее за Добровскимъ, дѣйствовало уже сознательно; число приверженцевъ чешской народности увеличивалось.

Первыя попытки возрожденія относятся къ послѣднимъ десятилѣтіямъ 18-го вѣка и выражались въ желаніи защищать литературное значеніе чешскаго языка. Въ этомъ смыслѣ графъ Францискъ Кинскій написалъ свои «Erinnerungen eines Böhmen über einen wichtigen Gegenstand» въ 1774, Францискъ Пельцель издалъ защиту чешскаго языка іезуита Бальбина: «Dissertatio apologetica pro lingua bohemica» въ 1775, Карлъ Тамъ свою книжку: «Obrana jazyka českého proti zlobivym jeho utrhačům» въ 1783 и др.

[1]) Біографія Іосифа Добровскаго, сочиненная Ф. Палацкимъ, пер. А. Царскій. М. 1838.

Вмѣстѣ съ тѣмъ было перепечатано нѣсколько произведеній старо-чешской литературы, которыя должны были напомнить о старыхъ временахъ и доказать великія достоинства чешскаго языка; такъ были изданы Хроника Далимила, «Лабиринтъ свѣта» Коменскаго, «Приключенія» Вратислава изъ Митровицъ и т. п. Мало по малу явился цѣлый кружокъ приверженцевъ національности, стремившихся къ возстановленію чешской литературы. Это были у Чеховъ: упомянутый Пельцель, Фаустинъ Прохазка (+ 1809), В. М. Крамеріусъ (1753 — 1808), Карлъ Тамъ, Ант. Ярославъ Пухмайеръ (1769—1820), Янъ Неѣдлый (1776 — 1835) и особенно его братъ Войтѣхъ Неѣдлый (1772—1844), Гнѣвковскій (1770—1847), Милота Здирадъ Полакъ (1788 — 1856) и др.; на Моравѣ: Германъ Галашъ, Томашъ Фричай; у Словаковъ: Богуславъ Таблицъ и Юрій Палковичъ. Эти первые писатели, къ которымъ скоро присоединилось новое поколѣніе, усердно трудились для предположенной цѣли, издавали старые памятники, писали грамматики, книжки для народнаго чтенія (въ особенности Крамеріусъ), переводили, затѣвали даже чешскія газеты, занимались исторіей и т. д. Явились и поэты (особенно Пухмайеръ, В. Неѣдлый, Гнѣвковскій), которые не отличались правда особеннымъ талантомъ, но по новости дѣла были полезны по крайней мѣрѣ въ формальномъ отношеніи.

Между тѣмъ съ самаго начала представился вопросъ, долго потомъ занимавшій чешскую литературу и иногда возбуждавшій самые ожесточенные споры; это былъ вопросъ о языкѣ. Старый литературный языкъ остановился на томъ положеніи, въ какомъ засталъ его упадокъ литературы въ 17-мъ столѣтіи; отчасти онъ былъ даже забытъ народомъ, такъ долго неимѣвшимъ книгъ, и во всякомъ случаѣ оказывался недостаточнымъ для выраженія новыхъ понятій. Если только литература хотѣла выражать новыя понятія, и стать выше уровня простонародной элементарной книги, нужно было создать новый языкъ. Чешскіе писатели занимались этимъ дѣломъ весьма усердно, и послѣ многихъ трудовъ, недоразумѣній и ошибокъ успѣли наконецъ установить главныя основанія; послѣ нѣсколькихъ десятилѣтій чешскій языкъ былъ уже достаточно богатъ для того, чтобы сдѣлаться удовлетворительнымъ орудіемъ и для поэта, и для ученаго. Изъ національнаго самолюбія чешскіе писатели были крайними пуристами: они сочиняли терминологію новыхъ понятій изъ народныхъ словъ, давая имъ новый смыслъ, переводили буквально слова иностранныя, особенно нѣмецкія, такъ что въ первое время—и это длилось довольно долго—новый литературный языкъ («vysoká čeština») былъ мало понятенъ для Чеховъ, знакомыхъ только съ обиходнымъ языкомъ народа.

Мало по малу національный интересъ находилъ больше и больше сочувствія въ обществѣ, и затѣмъ даже въ чешской аристократіи, которая слишкомъ отдѣлилась отъ народа въ періодъ австрійскаго господства и въ большинствѣ представителей своихъ была чисто-нѣмецкой. Изслѣдованіе старины также привело къ блестящимъ результатамъ. Въ 1817-мъ г. Ганка нашелъ

Краледворскую рукопись. Замѣчательныя поэтическія достоинства рукописи и далекая древность нѣкоторыхъ ея пѣсенъ давали ей важность національнаго памятника и дѣлали изъ нея предметъ національной гордости: ея пѣсни открывали въ чешской старинѣ богатый запасъ чисто-народныхъ поэтическихъ образовъ, которые должны были пробудить національное чувство въ людяхъ колебавшихся и сообщить литературѣ новую силу. Славянскій романтизмъ, обратившійся теперь къ изученію старины, видѣлъ въ ней одно изъ своихъ лучшихъ преданій. Вліяніе Краледворской рукописи на чешскую литературу того періода не подлежитъ сомнѣнію [2]). Она произвела впечатлѣніе и въ другихъ славянскихъ земляхъ, и даже въ европейской литературѣ, въ которой передъ тѣмъ такое же вниманіе обратили на себя сербскія народныя эпопеи, въ собраніи Караджича. Гёте, оракулъ тогдашней нѣмецкой литературы, призналъ высокое значеніе Краледворской рукописи для чешскаго развитія, и это признаніе могло быть авторитетомъ и для тѣхъ, кто не былъ расположенъ сочувствовать этому развитію.

Новую поддержку національно-патріотическому чувству дало основаніе *Чешскаго Музея*. Въ 1818 графъ Коловратъ-Либштейнскій издалъ воззваніе къ «отечественнымъ друзьямъ наукъ», и Музей, открытый на подписныя деньги, скоро обогатился многочисленными пожертвованіями изъ книгъ, старыхъ рукописей, древностей, коллекцій по естественной исторіи и проч. Графъ Каспаръ Штернбергъ былъ первымъ президентомъ составившагося при Музеѣ ученаго общества. Въ Музей поступила между прочимъ и Краледворская рукопись, и въ томъ же году прислано было еще замѣчательное произведеніе чешской старины «Любушинъ Судъ», о которомъ мы уже говорили прежде. Около Музея стала сосредоточиваться ученая дѣятельность: въ двадцатыхъ годахъ онъ началъ издавать свой журналъ, продолжающійся до сихъ поръ, подъ названіемъ «Časopis Českého Museum» и представляющій много матеріаловъ и изслѣдованій о чешской и славянской литературѣ и исторіи. Въ 1830 при музейномъ обществѣ открыто было особое отдѣленіе для усовершенствованія чешскаго языка и литературы, и для изданія хорошихъ чешскихъ книгъ основано было особое издательское учрежденіе, подъ именемъ *Матицы*, главная мысль и заботы о которомъ принадлежали другому Штернбергу, Францу.

Между тѣмъ старое поколѣніе первыхъ начинателей чешской литературы смѣнилось другимъ, которое дѣйствовало уже съ болѣе опредѣленной цѣлью и съ бо́льшими литературными и научными средствами. Не входя въ подробности, мы остановимся на главнѣйшихъ представителяхъ этого поколѣнія, которымъ чешское возрожденіе всего больше обязано своимъ распространеніемъ и которые расширили чешскій вопросъ до всеславянскаго возрожденія и панславизма. Это были Ганка, Шафарикъ, Палацкій, Юнгманнъ, какъ ученые; Колларъ и Челяковскій, какъ поэты. Къ

[2]) См. Небескаго, Kral. Rukopis, стр. 141 и слѣд.

той и другой группѣ примыкаетъ рядъ второстепенныхъ ученыхъ и поэтовъ... Названные нами писатели были дѣятельнѣйшими проповѣдниками правъ національности, и вліяніе ихъ отразилось далеко за предѣлами чешской литературы. Они сами воспитались на томъ движеніи, начало котораго мы указывали въ концѣ 18-го вѣка, и въ нихъ чешское возрожденіе уже создало себѣ новыхъ людей: почти всѣ они были люди, вышедшіе изъ самаго народа, — коренная масса забытаго чешскаго народа выставила теперь въ нихъ защитниковъ національнаго дѣла, которое было покинуто высшими классами.

Вацлавъ Ганка (1791 — 1861) былъ однимъ изъ самыхъ усердныхъ тружениковъ новой чешской литературы. Сынъ простаго, хотя и зажиточнаго мужика, онъ былъ въ молодости пастухомъ, началъ учиться очень поздно, и не сдѣлался конечно замѣчательнымъ ученымъ, но своей преданностью дѣлу и неутомимымъ трудолюбіемъ онъ оказалъ важныя услуги литературѣ. По открытіи Чешскаго Музея Ганка сдѣланъ былъ библіотекаремъ Музея и оставался имъ до самой смерти: въ этомъ качествѣ онъ имѣлъ случай завязать много отношеній съ писателями другихъ славянскихъ племенъ, что было очень важно въ то время, когда славянскія литературы едва начинали знакомиться между собой черезъ своихъ представителей. Труды Ганки были почти исключительно посвящены чешской старинѣ, литературѣ, археологіи и нумизматикѣ: еще до открытія Краледворской рукописи, онъ началъ изданіе старыхъ поэтическихъ памятниковъ (Starobylá Skládanie, 1817—24), за которымъ слѣдовалъ цѣлый рядъ другихъ изданій, посвященныхъ древне-чешской литературѣ: сборникъ старинныхъ словарей; Далимилъ, въ чешскомъ и старо-нѣмецкомъ текстѣ; трактатъ Гуса; Реймское евангеліе; глаголическіе памятники чешской старины; старинный текстъ Никодимова евангелія; рядъ изданій Краледворской рукописи, для которой онъ составилъ наконецъ обширную полиглотту на всѣхъ славянскихъ и многихъ европейскихъ языкахъ и т. д. Всѣ эти труды имѣли особенный смыслъ въ то время, когда національное чувство главнымъ образомъ питалось изученіемъ народности и прошедшаго, въ которомъ видѣло свои идеалы. Вмѣстѣ съ тѣмъ Ганка былъ и самымъ ревностнымъ панславистомъ: изученіе чешской народности соединялось для него съ изученіемъ славянскихъ народностей вообще, потому что онъ видѣлъ въ нихъ семейство народовъ, которое должно нѣкогда составить одно нравственное цѣлое. Всеславянское изученіе, начатое уже Добровскимъ, въ этомъ поколѣніи становилось уже сознательнымъ стремленіемъ къ національному единству. Въ чемъ должно было состоять единство, въ этомъ еще не отдавали себѣ ясно отчета, но считали его неизбѣжнымъ и необходимымъ для общаго блага, и собразно съ тѣмъ направляли свои труды. Ганка — писавшій и самъ «пѣсни» въ народномъ тонѣ — старался знакомить своихъ соотечественниковъ и съ народной поэзіей другихъ племенъ (изданіе «Слова о П. Игоревѣ»; «Prostonárodni srbská muza» и др.), и вообще со всѣмъ

усердіемъ заботился о распространеніи панславянскихъ понятій. Естественно, что ему могла приходить въ голову мысль о необходимости всеславянскаго литературнаго языка, который долженъ былъ связать разбросанныя нарѣчія: онъ готовъ былъ думать, что этимъ языкомъ долженъ былъ сдѣлаться русскій, принявши въ себя славянскія стихіи,—какъ языкъ самаго многочисленнаго и сильнаго славянскаго племени. Поэтому въ его славянскихъ симпатіяхъ главную роль играли именно Русскіе: онъ старался распространить у Чеховъ знаніе русскаго языка и литературы и черезъ свои личныя сношенія заинтересовать Русскихъ въ панславизмѣ. Преувеличенныя понятія его о славянскомъ настроеніи русскаго общества и о планахъ русской политики до конца сохранили въ немъ это ожиданіе: онъ надѣялся, что спасеніе славянства отъ чужеземнаго ига и чужой народности заключается въ Россіи [3]).

Панславянское увлеченіе гораздо меньше овладѣвало серьезнымъ умомъ Шафарика. Павелъ Іосифъ **Шафарикъ** (1795 — 1861) былъ родомъ Словакъ, изъ верхней Венгріи, гдѣ отецъ его былъ евангелическимъ проповѣдникомъ; онъ учился сначала въ одномъ евангелическомъ лицеѣ въ Венгріи; потомъ въ іенскомъ университетѣ, былъ затѣмъ до 1833 года профессоромъ и начальникомъ гимназіи въ Новомъ-Садѣ (Нейзацъ), въ австрійской Сербіи; впослѣдствіи переселился въ Прагу, гдѣ съ 1842 года и до смерти оставался при университетской библіотекѣ. Немногосложная біографія Шафарика наполняется исторіей его трудовъ, которые начинаются съ 1814, когда онъ былъ еще въ лицеѣ: это была его поэтическая попытка — «Tatranská Muza slyrou slovanskou». Но за тѣмъ Шафарикъ отдался исключительно ученымъ занятіямъ. Уже въ Новомъ-Садѣ онъ обнаружилъ необыкновенную дѣятельность изученія, которое обратилось на славянскій міръ, его прошедшее и настоящее. Въ 1823 и 27 онъ издалъ вмѣстѣ съ Колларомъ словацкія пѣсни (Písně světské lidu slovenského); въ 1826 онъ издаетъ—по нѣмецки—свою всеславянскую исторію литературы, въ которой славянскія племена соединены подъ общую точку зрѣнія и понимались уже какъ одно цѣлое; затѣмъ въ 1828 слѣдуетъ книжка о происхожденіи Славянъ (Ueber die Abkunft der Slawen), въ 1833 книга о сербскомъ языкѣ, бросившая новый свѣтъ на исторію славянскихъ нарѣчій (Serbische Lesekörner); въ 1837 онъ издалъ свое знаменитѣйшее произведеніе «Славянскія древности» (Slovanské Starožitnosti), которое остается до сихъ поръ исходной точкой всѣхъ трудовъ по изученію древней славянской исторіи; въ 1840 онъ вмѣстѣ съ Палацкимъ сдѣлалъ образцовое изданіе «Древнѣйшихъ памятниковъ чешскаго языка» (Die ältesten Denkmäler der böhm. Sprache); въ 1842 издалъ новый панславянскій трудъ — этнографію славянскихъ племенъ (Slovansky Národopis; съ первой этногра-

[3]) Біографію Ганки см. въ „Современникѣ“ 1861; см. также альманахъ „Libussa“, Prag 1852, стр. 285—369.

фической картой славянскихъ народовъ); въ 1845 — грамматику древне-чешскаго языка, наконецъ въ послѣдніе годы «Памятники южно-славянской письменности», «Памятники письменности глагольской», изслѣдованіе о происхожденіи глаголицы и т. д., не упоминая о множествѣ другихъ мелкихъ сочиненій. Все это были произведенія первостепенной важности: Шафарикъ съ огромной ученостью филологической и исторической соединялъ замѣчательный критическій умъ, такъ что его сочиненія стоятъ несравненно выше всего, что можетъ до сихъ поръ представить такъ называемая славянская наука. Книги его, въ особенности Исторія славянской литературы, Древности и Этнографія, были настоящимъ откровеніемъ ученаго панславизма, къ которому примыкали всѣ дальнѣйшія его стремленія: Шафарикъ далъ въ этихъ книгахъ первый общій обзоръ славянскаго міра. Какъ ни были его труды учено-строги и какъ мало они ни разсчитывали на большинство (мы видѣли, что онъ даже писалъ часто по нѣмецки), они произвели однако чрезвычайно сильное дѣйствіе на всю славянскую литературу: они нашли своихъ толкователей, которые популяризовали ихъ основныя мысли и содержаніе и вывели изъ нихъ практическое примѣненіе. Черезъ Шафарика славянскія литературы главнымъ образомъ знакомились другъ съ другомъ, и подъ вліяніемъ этого знакомства въ нихъ устанавливались общія понятія и усиливались общія надежды. Самъ Шафарикъ былъ конечно партизаномъ панславянскихъ взглядовъ, въ томъ смыслѣ, какъ они господствовали въ то время, но его проницательная критика кажется рано начала угадывать слабыя стороны славянскаго дѣла и дала мѣсто скептицизму, который смотрѣлъ на вещи холоднѣе, чѣмъ желали бы славянскіе энтузіасты. Въ послѣднее время это стоило ему нареканій съ ихъ стороны, — конечно несправедливыхъ: онъ видѣлъ дальше недовольныхъ энтузіастовъ, и практическая дѣйствительность его вполнѣ оправдывала...

Труды Шафарика часто раздѣлялъ другой замѣчательный представитель новой чешской литературы, Палацкій. Францъ Палацкій (род. 1798), сынъ евангелическаго учителя на Моравѣ, учился въ пресбургскомъ лицеѣ и въ Вѣнѣ, и поселившись съ 1823 въ Прагѣ, посвятилъ себя историческимъ занятіямъ. Онъ усердно изучалъ источники, разбросанные въ чешскихъ архивахъ и въ европейскихъ библіотекахъ, напр. въ Берлинѣ, Мюнхенѣ, Дрезденѣ, Вѣнѣ, Римѣ и т. д. Въ 1827 онъ принялъ редакцію журнала, основаннаго при чешскомъ Музеѣ и долго завѣдывалъ дѣлами и предпріятіями музейнаго общества; въ 1828 онъ былъ назначенъ чешскимъ исторіографомъ,— званіе, которое остается за нимъ до сихъ поръ. Литературная дѣятельность его началась очень рано: въ 1828 онъ уже дѣлаетъ важное изданіе старыхъ лѣтописей (Staří lětopisové česti), затѣмъ издаетъ замѣчательное изслѣдованіе о древне-чешской исторіографіи (Würdigung der alten böhm. Geschichtschreiber, Пр. 1830), въ 1836 появилось начало его обширной *Чешской исторіи*—сначала на нѣмецкомъ, потомъ на чешскомъ языкѣ,—которую онъ продолжаетъ до сихъ поръ; въ 1840 — 44 онъ издавалъ «Чешскій Архивъ»,

заключающій въ себѣ много любопытнаго историческаго матеріала, извлеченнаго изъ архивовъ чешскихъ и иностранныхъ. — Въ 1848 Палацкій выступилъ на политическое поприще, и былъ самымъ вліятельнымъ представителемъ національной партіи, которая настаивала на федераціи противъ нѣмецкихъ стремленій включить Чехію въ германское единство, и противъ вѣнской централизаціи: онъ не соглашался и съ вѣнскими демократами, и установилъ ту легальную программу чешскаго движенія, которая принята была пражскимъ съѣздомъ 1848 года и которая потерпѣла такое печальное пораженіе отъ абсолютистской реакціи Виндишгреца и Баха. Конецъ революціи удалилъ Палацкаго съ политическаго поприща, на которомъ онъ дѣйствовалъ какъ членъ Вѣнскаго и Кромѣржижскаго сейма; новая конституція опять дала ему мѣсто въ вѣнской верхней палатѣ... Важнѣйшій литературный трудъ Палацкаго есть его Чешская исторія, доведенная теперь, послѣ нѣсколькихъ томовъ, до конца 15-го столѣтія. Книга Палацкаго написана со всѣми требованьями исторической критики и обширнаго изученія источниковъ, и имѣетъ въ глазахъ Чеховъ высокое національное значеніе: какъ Шафарикъ установилъ вопросъ о цѣльности и національныхъ правахъ славянскаго племени, такъ Палацкій опредѣляетъ въ своей книгѣ историческое право своего народа. При всемъ патріотизмѣ, Палацкій остается однако безпристрастнымъ историкомъ, несмотря на свое протестантство довольно хладнокровнымъ даже къ оживленной гусситской эпохѣ. Его изложеніе обличаетъ значительный литературный талантъ [4]).

Въ этомъ ряду ученыхъ должно также стать имя неутомимаго труженика чешской литературы Юнгманна. Іосифъ Юнгманнъ (1773 — 1847), сынъ простаго поселянина, былъ сначала профессоромъ, потомъ директоромъ гимназіи. Литературная дѣятельность его также доставила чешскому возрожденію новую точку опоры въ двухъ произведеніяхъ, которыя были плодомъ необыкновеннаго трудолюбія и должны были связать новую литературу съ ея историческимъ прошедшимъ. Это были *Исторія чешской литературы* (1825, 2-е изд. 1849) и огромный *Чешскій Словарь* (5 т., 1835—39). Исторія литературы Юнгманна есть трудъ чисто библіографическій, снабженный короткими и сжатыми извѣстіями о ходѣ просвѣщенія, языка и литературной дѣятельности; въ ней нельзя конечно искать живой картины умственной жизни, но она остается неистощимымъ указателемъ матеріала, и изученіе фактовъ доведено до рѣдкой полноты. Словарь важенъ не только въ обыкновенномъ смыслѣ словаря: онъ составлялся въ ту эпоху, когда въ чешской литературѣ шелъ еще вопросъ объ организаціи новаго литературнаго языка, и Юнгманнъ, вмѣстѣ съ собираніемъ матеріала, старался выполнить и другую задачу — приспособить языкъ къ выраженію новыхъ идей,

[4]) Біографія Палацкаго, написанная В. Зеленымъ, въ альманахѣ Máj 1860; см. также Revue d. d. Mondes 1855, avril: L'histoire et l'historien de la Bohême;—Reichstags-Gallerie, geschriebene Portraits der hervorragendsten Deputirten des ersten oesterr. Reichstages. Wien 1849, Jasper, Hügel und Manz.

собрать тѣ средства, которыми онъ могъ приблизиться къ этой цѣли. Такимъ образомъ, труды Юнгманна пріобрѣтаютъ то же національное значеніе, какое принадлежитъ трудамъ Шафарика и Палацкаго... Вмѣстѣ съ тѣмъ Юнгманнъ дѣйствовалъ и въ другихъ областяхъ литературы: еще прежде онъ выступилъ какъ переводчикъ «Аталы» Шатобріана (1805) и «Потеряннаго Рая» Мильтона (1811).

Разсказывая объ этомъ періодѣ ученыхъ трудовъ чешскаго возрожденія, мы должны еще упомянуть о писателѣ, имя котораго часто замѣшано въ литературныхъ вопросахъ того времени, но который не принадлежалъ къ направленію, составлявшему знамя чешскихъ ученыхъ. Это былъ Бартоломей Копитаръ(1780—1844), родомъ Словинецъ, библіотекарь вѣнской публичной библіотеки. Копитаръ былъ человѣкъ замѣчательной славянской учености, но вовсе не панславистъ, какъ названные нами чешскіе писатели; онъ напротивъ какъ будто поставилъ себѣ задачей противорѣчить имъ во всѣхъ ихъ ученыхъ тенденціяхъ. Между тѣмъ онъ оказалъ безъ сомнѣнія важныя услуги славянской литературѣ, сначала своей «Словинской грамматикой», потомъ своими изслѣдованьями о глаголитѣ («Glagolita Clozianus»), о Реймскомъ евангеліи и проч., написанными по латыни или по нѣмецки. Вукъ Караджичъ съ его помощью составлялъ свою сербскую азбуку, сербскую грамматику и словарь. Копитаръ расходился съ чешскими учеными во первыхъ на вопросѣ о происхожденіи церковно-славянскаго языка, который онъ считалъ вовсе не болгарскимъ, какъ они, а древнимъ хорутанскимъ нарѣчіемъ; это былъ конечно парадоксъ, но Копитаръ такъ ловко толковалъ памятники въ его пользу, что необходимо вызывалъ болѣе точныя и обширныя изслѣдованія. Онъ разошелся съ ними и въ вопросѣ о знаменитомъ Реймскомъ евангеліи, которое надѣлало такъ много шуму въ 30-хъ годахъ и которое Ганка и другіе старались представить памятникомъ древней чешской письменности 11-го столѣтія, — Копитаръ считалъ его нѣсколькими вѣками позднѣе, такъ что оно теряло конечно всю свою важность. Духъ противорѣчія заставилъ Копитара сомнѣваться даже въ новыхъ открытіяхъ: Любушиномъ Судѣ и Краледворской рукописи.—Люди, знакомые кажется съ закулисными отношеньями славянскаго вопроса, называютъ просто Копитара довѣреннымъ лицомъ и агентомъ австрійскаго правительства въ славянскихъ вопросахъ [5]): но возможно было и независимо отъ этого скептическое настроеніе, вызванное какъ реакція неумѣреннымъ энтузіазмомъ чешскихъ панславистовъ. Точка зрѣнія Копитара принята была и ученикомъ его Фр. Миклошичемъ, также Словинцемъ, который составилъ себѣ уважаемое имя многочисленными изслѣдованіями о славянскихъ нарѣчіяхъ и изданьями старыхъ памятниковъ. Миклошичъ также остается въ сторонѣ отъ всякаго панславизма; интересъ его къ своему

[5]) Les Slaves Occidentaux; p. 49. Біографія Копитара въ Slawische Bibliothek, Миклошича, т. 1.

дѣлу чисто ученый: въ прежнихъ спорныхъ пунктахъ онъ продолжаетъ держаться мнѣній Копитара.

Между тѣмъ вмѣстѣ съ историческимъ объясненіемъ національнаго вопроса больше и больше развивалась литературная дѣятельность. Обработка книжнаго языка шла съ успѣхомъ, и литература усердно трудилась надъ задачами, которыя выростали вмѣстѣ съ ходомъ дѣла. Публика состояла главнымъ образомъ изъ народной массы и отчасти средняго сословія, оставшихся вѣрными народности; литературное развитіе ея нужно было начинать сначала, и эти условія опредѣлили характеръ дѣятельности писателей: руководясь своимъ національнымъ принципомъ, литература съ одной стороны старалась усвоивать результаты европейской мысли и европейской поэзіи, съ другой—дать популярное чтеніе народу. Этотъ двойной характеръ остался господствующей чертой чешской литературы: она представляетъ значительное количество переводовъ и множество общедоступныхъ изданій по разнымъ предметамъ популярнаго знанія. Не составляя оригинальнаго результата самой литературы, эти произведенія имѣютъ свою историческую цѣну въ томъ, что распространяли въ массѣ полезныя свѣдѣнія и создали національную публику изъ пренебреженнаго и угрожаемаго чужимъ племенемъ народа. Національное сознаніе проникло изъ городскихъ литературныхъ кружковъ въ села и деревни, и литература находитъ тамъ много усердныхъ читателей и послѣдователей.

Чешская поэзія имѣла свою большую долю въ развитіи этого національнаго чувства, и какъ въ чешской наукѣ вмѣстѣ съ объясненіемъ собственнаго народнаго вопроса высказалось сознаніе славянскаго родства и единства, такъ и въ поэзіи рядомъ съ частнымъ народнымъ патріотизмомъ обнаруживаются горячія панславянскія тенденціи. Первымъ и замѣчательнѣйшимъ представителемъ этой панславянской поэзіи былъ Янъ Колларъ (1793 — 1852), родомъ Словакъ. Онъ уже въ ранней молодости изучалъ народную поэзію, собиралъ пѣсни и преданья; кончивши свои богословскія занятія въ Бреславлѣ, онъ отправился въ Іену; въ 1817 году Колларъ участвовалъ, какъ іенскій студентъ, въ знаменитомъ вартбургскомъ праздникѣ, гдѣ юная Германія заявила фантастическимъ ауто-да-фè свою ненависть къ реакціи и обскурантизму, — и это настроеніе, которое особенно господствовало тогда въ іенскомъ университетѣ, имѣло вѣроятно вліяніе на складъ патріотическихъ тенденцій чешскаго поэта. Они вызывались въ немъ и другими обстоятельствами. Здѣсь, по берегамъ Салы и Эльбы были нѣкогда жилища полабскихъ Славянъ, и это историческое воспоминаніе возбудило въ Колларѣ національное чувство, которое соединилось съ нѣжнымъ чувствомъ къ Вильгельминѣ Шмидтъ, дочери нѣмецкаго евангелическаго пастора, происходившаго отъ славянскихъ предковъ. Это двойное чувство дало содержаніе поэзіи Коллара, въ которой онъ разсказываетъ свои личныя радости и печали, прошедшее и настоящее славянскаго міра. Колларъ издалъ свое произведеніе подъ именемъ *Дочери Славы*

(Slavy Dcera, 1821, 1824, 1832, 1845, 1852, 1862), подъ которой понималась и возлюбленная Мина и панславянское отечество. «Дочь Славы» написана звучными и иногда истинно поэтическими сонетами (въ послѣднихъ изданіяхъ болѣе шести сотъ); въ содержаніи выразилось все направленіе школы, проповѣдовавшей всеобщую славянскую любовь и единство: это были или патріотическія элегіи, вызванныя воспоминаньемъ о прежней славѣ, или призывы къ единодушію, или обличенія отступниковъ; дидактизмъ играетъ въ поэмѣ не послѣднюю роль. Поэтическая дѣятельность Коллара ограничилась одной этой поэмой, исключая только немногія неважныя стихотворенія. По возвращеніи изъ Іены онъ сдѣлался евангелическимъ проповѣдникомъ въ Пестѣ, писалъ проповѣди, занимался славянской стариной и народной поэзіей, предпринималъ нѣсколько путешествій для изученія остатковъ славянской древности въ Германіи, Швейцаріи, Италіи: таковы его «Народныя пѣсни Словаковъ въ Венгріи» (2 т. 1834—35), его изслѣдованія о происхожденіи, древностяхъ и имени Славянъ (1830, 1839), его «Путешествіе» (1843), «Славянская Старо-Италія» (1852) и др. Но эти ученые труды мало прибавили къ его заслугамъ, потому что розысканія Коллара вовсе не отличаются критикой, и ему вездѣ мерещатся Славяне... Когда начался венгерскій вопросъ, тяжело упавшій на Словаковъ, Колларъ горячо защищалъ своихъ соотечественниковъ, но при началѣ революціи удалился въ Вѣну, гдѣ получилъ славянскую каѳедру въ университетѣ.—Чтобы заключить изложеніе его литературной дѣятельности, мы должны упомянуть еще одно произведеніе Коллара, которое въ свое время оставило сильное впечатлѣніе въ умахъ славянской публики. Это была его нѣмецкая брошюра *О литературной взаимности между различными племенами и нарѣчіями славянскаго народа* [6]). Она была внушена тѣмъ же панславянскимъ патріотизмомъ. Колларъ, при всемъ своемъ пристрастіи къ «славѣ» своего племени, признавался однако, что настоящіе Славяне — «великаны въ географіяхъ и на картахъ и карлики въ искусствѣ и литературѣ»; причиной этого печальнаго факта были по его мнѣнію раздробленіе и недостатокъ единства, и потому для утвержденія своихъ народныхъ стремленій Славяне должны соединиться въ литературной взаимности. «Въ наше время, — говоритъ онъ, — недостаточно быть хорошимъ Русскимъ, горячимъ Полякомъ, совершеннымъ Сербомъ, ученымъ Чехомъ, и только исключительно, хотя бы и хорошо, говорить по русски, по польски, по чешски. Уже прошли односторонніе дѣтскіе годы славянскаго народа; духъ нынѣшняго славянства налагаетъ на насъ другую высшую обязанность, именно: считать всѣхъ Славянъ братьями одной великой семьи и создавать великую всеславянскую литературу...» Для достиженія подобнаго ре-

[6])Ueber die literarische Wechselseitigkeit zwischen den verschiedenen Stämmen und Mundarten des Slawischen Nation. Aus dem Slawischen in der Zeitschrift Hronka gedruckten ins Deutsche übertragen nnd vermehrt vom Verfasser. Pesth 1837. Брошюра была переведена чуть не на всѣ славянскія нарѣчія.

зультата Колларъ считалъ необходимымъ взаимное изученіе нарѣчій: онъ объясняетъ, какая опасность грозитъ славянству отъ его раздѣленія и какъ необходимо духовное общеніе литературъ для выполненія исторической задачи славянскаго племени—вести далѣе цивилизацію и просвѣщеніе, послѣ германскихъ и романскихъ народовъ, которые должны теперь уступить свое мѣсто новому свѣжему народу. Конечно средство, предложенное Колларомъ, было слишкомъ механическое и слишкомъ недостаточное, но тѣмъ не менѣе брошюра имѣла огромный успѣхъ, и о «взаимности» заговорили всѣ панславянскіе патріоты, находившіе въ ней панацею противъ всѣхъ бѣдствій славянскаго племени.—При такихъ условіяхъ и ожиданіяхъ «Дочь Славы» производила тѣмъ болѣе сильное впечатлѣніе, что ея полуфантастическій характеръ какъ нельзя больше соотвѣтствовалъ тѣмъ ожиданіямъ, которыя одушевляли защитниковъ народности: преувеличеній не замѣчали, потому что они были въ духѣ общаго настроенія; дидактизмъ и растянутость не казались недостаткомъ, потому что читатели впередъ увлекались самымъ предметомъ. «Дочь Славы» стала надолго поэтическимъ кодексомъ патріотовъ: съ нея открывается цѣлый рядъ поэтическихъ произведеній, повторяющихъ ту же общую тему всеславянской любви и единства, прошедшей и будущей славы [7]).

Въ одно время съ Колларомъ дѣйствовалъ въ чешской литературѣ другой писатель, пользующійся большой извѣстностью, какъ поэтъ и панславистъ. Францъ Ладиславъ Челяковскій (1799 — 1852) былъ сынъ простаго столяра, но успѣлъ получить университетское образованіе и уже рано отдался литературной дѣятельности. Первымъ его произведеніемъ были «Стихотворенія» (Smíšené basně 1822) и «Slovanské národné písně» (3 ч., 1822), за которыми слѣдовали переводы изъ Гердера, Вальтеръ-Скотта и пр. Настоящая извѣстность его начинается съ 1829, когда онъ издалъ свой «Отголосокъ русскихъ пѣсенъ» (Ohlas písní ruskych), въ которомъ ему удалось мастерски для своего времени передать характеръ русской народной поэзіи. Успѣхъ книжки былъ чрезвычайный, и чешскіе литературные судьи до сихъ поръ говорятъ, что «если бы Челяковскій не написалъ ничего больше, то одинъ «Отголосокъ» обезпечилъ бы ему мѣсто между первыми поэтами». Его «Отголосокъ» не есть одно подражаніе, не ограничивается повтореніемъ общеизвѣстныхъ мотивовъ, но умѣетъ стать на народно-поэтическую точку зрѣнія и приложить ее къ новому содержанію. Подобный трудъ Челяковскій совершилъ и относительно чешской народной поэзіи въ «Отголоскѣ чешскихъ пѣсенъ» (Ohlas písni českych, 1840). Вмѣстѣ съ этимъ послѣднимъ произведеніемъ вышла и его «Столистая Роза» (Růže stolistá); это больше космополитическая, отвлеченная и даже скучноватая

[7]) Собраніе сочиненій его вышло въ 1862 (Spisy Jana Kollára, 4 ч. v Praze 1862—63); въ нихъ находится и любопытная автобіографія его, обнимающая впрочемъ только время его молодости (ч. IV, стр. 89—285). Издатель, Коберъ, объявилъ, что обширную біографію Коллара составляетъ В. Зеленый.

поэзія, впрочемъ съ нѣсколькими живыми и интересными эпизодами, гдѣ авторъ обращается къ своей національной дѣйствительности... Въ литературной дѣятельности Челяковскаго была и другая сторона: если Колларъ изъ поэта счелъ нужнымъ сдѣлаться археологомъ (однако неудачнымъ), то Челяковскій сталъ филологомъ. Въ тридцатыхъ годахъ онъ былъ адъюнктомъ по каѳедрѣ чешскаго языка въ пражскомъ университетѣ, и завѣдывалъ изданіемъ одной газеты: въ 1830—31 году, во время польскаго возстанія, онъ защищалъ сторону Русскихъ, но по усмиреніи возстанія его мнѣнія измѣнились и онъ сталъ сочувствовать Полякамъ. Такіе взгляды выразилъ онъ и въ своей газетѣ. Вмѣшательство русскаго посольства въ Вѣнѣ было причиной, что Челяковскій потерялъ и профессуру, и редакторство. Нѣсколько лѣтъ онъ провелъ въ самыхъ стѣсненныхъ обстоятельствахъ. Наконецъ въ 1842 году онъ получилъ приглашеніе на каѳедру въ бреславскій университетъ, откуда въ 1849 вслѣдствіе измѣнившихся политическихъ обстоятельствъ онъ могъ перейти на ту же каѳедру въ Прагу. Въ это время славянская филологія стала исключительнымъ его занятіемъ: по смерти его были изданы его «Чтенія о сравнительной славянской грамматикѣ», при жизни онъ напечаталъ нѣсколько разныхъ пособій для изученія славянскихъ языковъ и сборникъ всеславянскихъ пословицъ (1852). Впечатлительный характеръ Челяковскаго, раздражавшійся неудачами жизни, сдѣлалъ непослѣдней чертой его поэзіи язвительную эпиграмму, которая и до сихъ поръ еще не могла найти себѣ свободнаго мѣста въ печати [8]).

Поэзія Челяковскаго также была поэзія панславянская: отъ отвлеченнаго дидактизма и восторженныхъ призывовъ Коллара она переходитъ къ задачѣ нѣсколько положительной, стараясь внести въ чешскую литературу народно-поэтическіе результаты другихъ славянскихъ племенъ и обобщить славянское поэтическое сознаніе. Въ этомъ смыслѣ Челяковскій имѣлъ въ свое время несомнѣнное значеніе, что доказывалось успѣхомъ его поэзіи.

Таковы были замѣчательнѣйшіе дѣятели чешскаго возрожденія, опредѣлившіе его характеръ послѣ индифферентнаго начала, положеннаго Добровскимъ. На чисто литературномъ пути чешское возрожденіе раскрыло различныя примѣненія національной идеи, по которымъ и образовались понятія большинства. Такимъ образомъ эта задача была исполнена съ точки зрѣнія исторіи, филологіи, этнографіи и т. д. Затѣмъ въ дальнѣйшемъ развитіи литературы и у другихъ второстепенныхъ писателей мы уже не найдемъ въ этомъ смыслѣ ничего новаго· они идутъ по пробитой дорогѣ и выполняютъ подробности этой программы.

Въ первое время возрожденія чувствовался еще недостатокъ въ силахъ, и первые писатели, разработывавшіе національную идею, всѣ болѣе или менѣе

[8]) J. J. Hanuš, Život a působení Františka Ladislava Čelakovského. Прага 1855. Fr. L. Čelakovský, od J. Malého, Пр. 1852.

брали на себя труды, выходившіе изъ ихъ собственной спеціальности. Колларъ дѣлается археологомъ; Челяковскій занимается филологіей; нумизматъ Ганка пишетъ сантиментальныя пѣсни; Шафарикъ переводитъ «Марію Стюартъ»; Юнгманнъ—«Потерянный Рай», даже знаменитый физіологъ Пуркинье переводитъ стихотворенія Шиллера. Въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ границы литературы значительно расширяются: увеличивается число писателей и объемъ публики, которая пріобрѣталась въ народной массѣ и среднемъ сословіи, начинавшемъ принимать національные вкусы.

Мы уже замѣтили, что названные нами писатели опредѣлили дальнѣйшій характеръ литературы. Чешская поэзія останавливалась всего больше на народныхъ мотивахъ и на пропагандѣ національности. Изъ множества чешскихъ поэтовъ, появившихся въ этотъ періодъ, мы назовемъ только болѣе извѣстныя имена. Таково напр. имя Карла Яроміра Эрбена (род. 1811), архиваріуса города Праги: Эрбенъ — лучшій собиратель чешскихъ народныхъ пѣсенъ (Písně národní v Čechách, 3 ч. 1842 — 45; 2-е изд. 1862)—извѣстенъ своими трудами по чешской старинѣ (изданіе Өомы Штитнаго; Regesta etc.; 2-й томъ «Выбора изъ старо-чешской литературы» и пр.), по славянской народной поэзіи, и вмѣстѣ своими собственными поэтическими произведеніями. Его народныя баллады, «Вѣнокъ» (Kytice z pověstí národních, Прага 1858), высоко цѣнятся чешскими критиками по вѣрной передачѣ народнаго духа. Въ послѣднее время онъ началъ изданіе сказокъ всѣхъ славянскихъ племенъ. Во главѣ «эпическихъ» поэтовъ ставится Эразимъ Воцель (род. 1803), профессоръ археологіи, авторъ поэмъ «Премысловцы» (Přemyslovci, 1839), «Мечъ и Чаша» (Meč a Kalich, 1843), и «Лабиринтъ Славы» (Labyrint Slavy, 1846). Іезуитъ Вацлавъ Штульцъ (род. 1814) извѣстенъ своими «Воспоминаніями на путяхъ жизни» (1845), гдѣ патріотическія воспоминанія соединяются съ религіознымъ мистицизмомъ. Янъ Православъ Коубекъ, профессоръ пражскаго университета, умершій въ пятидесятыхъ годахъ, пріобрѣлъ извѣстность въ особенности двумя произведеніями: «Гробы славянскихъ поэтовъ» и юмористическимъ «Странствіемъ поэта въ адъ». Карлъ Марія баронъ Виллани—одинъ изъ любимыхъ поэтовъ, переставшій писать съ 1849 года, который вообще произвелъ охлаждающее дѣйствіе на чешскую поэзію. Вацлавъ Яроміръ Пицекъ (род. 1812) есть авторъ очень популярныхъ пѣсенъ. Наконецъ: сатирикъ Ярославъ Лангеръ (1806—1846); собиратель духовныхъ народныхъ пѣсенъ, самъ писавшій удачныя духовныя стихотворенія, Іосифъ Властимилъ Камаритъ (1797 — 1833); Карлъ Гинекъ Маха (1810—1838, въ особенности его «Máj»), мечтательный и разочарованный поэтъ; Болеславъ Яблонскій и т. д.

Постепенно развились и другія направленія поэзіи и беллетристика. Чешская драма вообще не богата талантами, но имѣла нѣсколько писателей, удовлетворявшихъ потребностямъ сцены. Первое мѣсто занимаетъ между ними плодовитый Вацлавъ Климентъ Клицпера (1792—1859), оставившій

до пятидесяти пьесъ, трагедій и комедій [9]). Затѣмъ извѣстны Ф. Туринскій (род. 1796), С. Махачекъ (1799—1846, комедія «Ženichové» и трагедія «Záviš»), плодовитый Іосифъ Каэтанъ Тилъ (1808—1856); І. Ю. Коларъ, извѣстный актеръ — изъ его пьесъ наиболѣе замѣчательна патріотическая трагедія «Смерть Жижки», имѣвшая огромный успѣхъ въ 1850 г. и потомъ запрещенная; Ф. Миковецъ, которому принадлежатъ трагедія «Гибель рода Премысловцевъ» и «Дмитрій Ивановичъ» —послѣдняя изъ русской исторіи Лжедимитрія и друг. Богаче отдѣлъ повѣсти, въ которомъ чешскіе писатели усердно разработывали и форму вальтеръ-скоттовскаго романа, и новеллу, и очерки народнаго быта. Здѣсь могутъ быть названы опять Клицпера; Тиль, который какъ разсказчикъ долго пользовался большой любовью своей публики; затѣмъ Янъ Индрихъ Марекъ (или псевдонимъ Jan z Hvězdy), писавшій въ особенности историческія повѣсти; Карлъ Сабина (род. 1814), написавшій также лучшую до сихъ поръ исторію чешской литературы; уже названный Воцель, котораго «Послѣдній Оребитъ» (оребиты—одна изъ сектъ гусситскаго времени) считается одной изъ лучшихъ историческихъ повѣстей чешской литературы; Фр. Яр. Рубешъ, извѣстный также своими стихотвореньями и пѣснями; Риттерсбергъ, І. Ю. Коларъ, и друг. Очерки изъ народнаго быта заняли конечно не послѣднее мѣсто въ чешской литературѣ, и здѣсь на первомъ планѣ должна быть поставлена талантливая и умная писательница Божена Нѣмцова (1820—1860): она хорошо знала народный бытъ въ Чехіи и у Словаковъ, среди которыхъ жила нѣсколько времени, и прекрасно передаетъ колоритъ этого быта. Ей принадлежитъ нѣсколько книжекъ «Народныхъ сказокъ и повѣстей» (1845—46), нѣсколько этнографическихъ очерковъ, и наконецъ разсказы изъ народной жизни, изъ которыхъ особенно извѣстны «Горная деревушка» и «Бабушка»... Все это содержаніе чешской драмы и романа дополнялось значительнымъ количествомъ переводовъ изъ европейскихъ литературъ; Шекспиръ нашелъ очень дѣятельныхъ переводчиковъ, которые перенесли много его пьесъ на чешскую сцену. Затѣмъ вѣроятно ни у кого изъ другихъ Славянъ нѣтъ столько переводовъ изъ родственныхъ славянскихъ литературъ: Чехамъ знакомы въ переводахъ Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь, Тургеневъ, Кольцовъ, Некрасовъ, — Вукъ Караджичъ, Вукотиновичъ, Боговичъ,—Мицкевичъ, Залѣскій и т. д.

Поэма Коллара, какъ мы замѣтили, надолго опредѣлила характеръ чешской поэзіи, утвердивши въ ней національныя и панславянскія стремленія. Свою національную программу Колларъ высказывалъ такими словами: «Меньшее всегда должно быть подчинено большему, высшему: любовь къ родинѣ—любви къ отечеству. Ручьи, рѣки и потоки выливаются въ море; отдѣльныя земли, края, племена, должны выливаться въ народъ. У всѣхъ

[9]) Изъ трагедій Клицперы особенно извѣстны: «Soběslav», изъ комедій лучшими считаются: „Divotvorný klobouk“, „Žižkův meč“ и „Rohovin Čtverrohý“.

Славянъ есть одно только отечество». «Прочныя границы отечества, которыя боится тронуть злоба, — говоритъ онъ въ своей поэмѣ, — лежатъ въ нравахъ, рѣчи и единодушныхъ стремленіяхъ». Отечество, о которомъ говоритъ Колларъ, есть отечество панславянское, и оно стало общимъ идеаломъ: этотъ идеалъ принимали и поэты другихъ славянскихъ племенъ, какъ только выдвигался у нихъ національный вопросъ. Такимъ образомъ въ Колларѣ является первое выраженіе панславянской поэзіи, съ ея патріотическимъ одушевленіемъ и неопредѣленно-мистическими ожиданіями.

Эти мотивы повторяетъ потомъ масса поэтовъ, которые воспѣвали славное прошедшее, проповѣдывали любовь къ родинѣ, чешскому языку и нравамъ, и къ панславянскому отечеству. Вслѣдъ за Колларомъ, который совѣтовалъ соотечественникамъ хранить свою рѣчь и обычаи («Nechte cizích, mluvte vlastní řečí», и т. д.), чешскіе поэты настойчиво рекомендуютъ соотечественникамъ говорить по чешски и любить родину. Дама-поэтъ внушаетъ чешскимъ женщинамъ «съ первымъ сладкимъ поцѣлуемъ вливать въ души своихъ дѣтей чешскіе звуки и горячую любовь къ родинѣ,—называть имъ имена славныхъ отцовъ и напоминать кровь, вылитую за право». Другой поэтъ (Яблонскій) уже заявляетъ свою готовность къ бою за отечество и утверждаетъ, что чувствуетъ въ себѣ «львиную» кровь (левъ—гербъ чешскаго королевства):

Ne divte se, drazí moji,
Pro národ že vždy jsem hotov k boji,
Že se lví krev proudí v žilách těch;
Že bych pro Vlast—pro tu máti —
Se všemi chtěl živly bojovati,—
Jsem ja krví, duchem Čech! и проч.

Другой чешскій поэтъ спрашиваетъ о предѣлахъ славянскаго царства: онъ ищетъ ихъ тамъ, гдѣ царь Лазарь погибъ въ славномъ бою; ищетъ этихъ предѣловъ на Дунаѣ, гдѣ воевалъ славный Зрини; на Волтавѣ, гдѣ Янъ Троцновскій (Жижка) водилъ своихъ воиновъ на святую битву за народъ; на Вислѣ; въ русской землѣ, гдѣ пламень охватилъ Москву,—и все еще эти предѣлы не обнимаютъ славянскаго царства. Наконецъ поэтъ находитъ ихъ:

Tam, kde jazyk Slávy syna
Na čest otců upomíná,
Mysl čistá, srdce vřelé
Pro vlast koná činy smělé,
Pobratřence láska pojí —
Tám slovanská říše stojí!

Эти предѣлы, которые обозначались «чистой мыслью», «горячимъ сердцемъ», «братской любовью», казались тогда сильной защитой славянскаго царства. На дѣлѣ они были конечно слишкомъ ненадежны, но этого не замѣчало только что пробудившееся и неопытное національное чувство. Славянское единство казалось обезпеченнымъ, и поэзія не уставала повторять своихъ воззваній. Русскому читателю не трудно вспомнить при этомъ

поэтическія воззванія Хомякова, Аксакова, Ѳ. Тютчева и др., которыя въ сущности той же силы и также мало имѣютъ положительнаго основанія. Вмѣстѣ съ увлеченьями усиливалась естественно и національная нетерпимость: старинные враги, Нѣмцы, принесшіе столько зла въ прошедшемъ и грозившіе народности въ настоящемъ, стали еще болѣе ненавистны патріотамъ, и хотя австрійская цензура не допускала слишкомъ искреннихъ признаній на этотъ счетъ, читатель угадывалъ ихъ между строками. Колларъ уже совѣтовалъ истиннымъ сынамъ отечества «попрать предательскаго змѣя»; Челяковскій, въ одной сельской пѣснѣ, заставляетъ поселянъ говорить, что они засѣяли льну для своихъ женъ, розъ для своихъ дѣвушекъ и конопли (на веревки) для какихъ-то бездѣльниковъ, которыхъ они не называютъ и предоставляютъ угадывать читателю...

Въ такомъ настроеніи была чешская литература, когда начались событія 1848 года. Конституціонная свобода сообщила сильное движеніе національному вопросу; народность, признанная закономъ, вдругъ усилилась замѣтно, потому что къ ней перешли люди, прежде колебавшіеся и нерѣшительные: это явленіе оказалось даже въ Вѣнѣ. Образовалось нѣсколько славянскихъ политическихъ клубовъ, явились политическія газеты. Свобода книгопечатанія дала литературѣ новый интересъ: ее наводнили политическія разсужденія, патріотическія воззванія и пѣсни. Но все это усердіе было еще слишкомъ неопытно, и журнальной литературѣ предстояло развить въ своей публикѣ здравое пониманіе новыхъ общественныхъ отношеній и пріучить ее къ гражданской самостоятельности. Чешскіе политики, народившіеся въ это время, усердно занимались своей задачей, хотя зачастую слишкомъ простодушно вѣрили въ совершеніе панславянскихъ надеждъ и въ прочность конституціоннаго порядка,—полученнаго безъ всякихъ особенныхъ усилій со стороны самихъ Чеховъ... Но между этими журналистами, образовавшимися изъ прежнихъ поэтовъ, археологовъ и этнографовъ, былъ и писатель весьма замѣчательнаго таланта. Это былъ Карлъ Гавличекъ (или Borovsky, 1821 — 1856). Вступивши въ молодости въ пражскую архіепископскую семинарію, Гавличекъ своими остроумными выходками и сатирическими стишками обѣщалъ изъ себя плохаго теолога и наконецъ оставилъ семинарію, къ удовольствію своему и своихъ наставниковъ. Впослѣдствіи онъ отправился въ Москву, гдѣ прожилъ года два въ качествѣ гувернера. Жизнь въ Москвѣ оставила, говорятъ, свой слѣдъ на его развитіи: критическій и оппозиціонный характеръ его ума опредѣлился здѣсь еще больше; онъ лучше привыкъ понимать между-славянскія отношенія и сильнѣе ненавидѣть насиліе и произволъ. Въ 1845 году онъ вернулся въ Прагу. Свою литературную дѣятельность онъ началъ статьями и письмами о Россіи, которыя въ первый разъ знакомили чешскихъ читателей съ настоящимъ положеніемъ русской дѣйствительности,—хотя все еще съ извѣстной долей славянофильскихъ понятій. Съ 1846 года онъ сталъ редакторомъ «Пражскихъ Новинъ» и «Пчелы», выходившей вмѣстѣ съ ними.

Уже съ этого времени, благодаря его таланту, начинается его популярность, возроставшая съ тѣхъ поръ больше и больше: онъ умѣлъ овладѣвать вниманіемъ общества, и австрійское правительство собиралось уже запретить его журналъ, когда мартовская революція совершенно развязала руки талантливому журналисту. Онъ принималъ самое дѣятельное участіе въ чешскихъ событіяхъ 48 — 49 года и, поддерживаемый графомъ Деймомъ съ матеріальной стороны, началъ съ 1848 изданіе *Народныхъ Новинъ* — журнала, получившаго скоро огромное вліяніе на чешское общество, и вообще лучшаго изъ славянскихъ политическихъ изданій, когда либо выходившихъ въ Австріи. Въ своихъ политическихъ мнѣніяхъ Гавличекъ держался первой конституціи и программы Палацкаго, но въ этихъ предѣлахъ онъ былъ упорнымъ защитникомъ народнаго права отъ всякихъ враждебныхъ покушеній. Онъ понялъ, какъ слѣдуетъ, октроированную конституцію 4-го марта 1849, заключавшую всѣ сѣмена послѣдовавшей затѣмъ реакціи, и рѣзко возсталъ противъ нея въ своей газетѣ. Правительство потребовало его къ суду, но присяжные оправдали его. Послѣ того начались постоянныя преслѣдованія, окончившіяся въ началѣ 1850 запрещеніемъ «Народныхъ Новинъ». Въ томъ же году онъ началъ издавать «*Славянина*» (Slovan), въ формѣ еженедѣльнаго журнала, въ Кутной-Горѣ, такъ какъ въ Прагѣ изданіе было невозможно по ея осадному положенію. Но борьба противъ реакціи была уже невозможна: въ мартѣ 1851 Гавличку запретили въѣздъ въ Прагу, потомъ запретили «Славянина», наконецъ сослали Гавличка въ Бриксенъ, въ Тиролѣ... Ко времени этой ссылки относятся его *Тирольскія элегіи*, нѣсколько разъ переведенныя на русскій языкъ. Въ ссылкѣ постигла его тяжелая болѣзнь; ему позволили ѣхать на чешскія воды, но въ Прагу онъ вернулся только наканунѣ смерти. Гавличекъ былъ несомнѣнно большой талантъ, и въ короткій періодъ своей дѣятельности онъ сдѣлалъ очень много для воспитанія общества въ томъ направленіи, къ которому оно было приготовлено всего меньше въ своихъ національныхъ заботахъ, — въ направленіи политическомъ. Его ясный умъ, простота пониманія и изложенія, остроуміе и юморъ давали ему большое вліяніе на массу, и дѣятельность Гавличка тѣмъ замѣчательнѣе исторически, что въ его пониманіи было очень много здраваго практическаго смысла, который удалялъ его отъ мечтательнаго фантазерства. Онъ еще принадлежитъ къ панславянской школѣ, но онъ цѣнитъ панславизмъ только въ той степени, насколько онъ можетъ принести дѣйствительной настоящей пользы. Послѣднимъ трудомъ Гавличка, напечатаннымъ при его жизни, были «Повѣсти», переведенныя изъ Вольтера [10]).

За 49-мъ годомъ въ чешскомъ обществѣ, охлажденномъ реакціей, на-

[10]) Коротенькая біографія Гавличка у Риттерсберга, Kapesní Slovníček novin. a konversační, Прага 1850. Важнѣйшія статьи изъ „Народныхъ Новинъ„ собраны въ книжкѣ „Duch Narodnich Novin“, Кутная-гора 1851. Переводъ „Тирольскихъ элегій“ Гильфердинга въ Русск. Словѣ 1860, апрѣль, и друг.

стало время томительной апатіи и бездѣйствія. Патріотическія заявленія и тенденціи должны были скрыться со сцены, потому что теперь они становились государственнымъ преступленіемъ. Политическіе дѣятели прежнихъ годовъ, національныя стремленія и литература поручены были бдительному надзору полиціи, которая вмѣшивалась въ самыя мелкія проявленія общественной жизни, принимавшія національный оттѣнокъ, и начала оберегать литературу отъ дурныхъ вліяній, уничтожая всякую возможность какой нибудь живой мысли дома, и запрещая ввозъ «опасныхъ» книгъ (между которыми были даже и русскія!) изъ-за границы. Литература необходимо стала крайне безжизненна и скучна: ученые бросились въ самую безразличную археологію, поэзія ограничивалась любовными стишками...

Въ матеріальномъ смыслѣ литература впрочемъ не упала. Періодъ съ 49-го года представляетъ цѣлый рядъ новыхъ писателей по разнымъ отраслямъ литературы, поэтической и народной. Эта послѣдняя, не имѣвшая никакихъ политическихъ поползновеній, могла существовать довольно безопасно, и произвела значительное число популярныхъ книгъ и изданій по педагогіи, сельскому хозяйству, естественнымъ наукамъ и т. п. Изданія литературныя стали исключительно складомъ безобиднаго легкаго чтенія. Поэтическая дѣятельность также процвѣтала, отложивши въ сторону политику. За послѣдніе годы явилось много новыхъ поэтовъ, изъ которыхъ могутъ быть названы: Іосифъ Фричъ, Витезславъ Галекъ, І. Янъ, Янъ Неруда, Гейдукъ, Пфлегеръ, Іос. Коларжъ и др.; на Моравѣ Сукопъ (Soukop) и Чейковскій. Они писали лирическія стихотворенія, поэмы, трагедіи и комедіи, переводили поэтовъ европейскихъ и славянскихъ, — иные даже обнаружили значительную плодовитость; — но при всемъ томъ мы напрасно стали бы искать въ нихъ продолженія того поэтическаго направленія, которое начато было поэтами панславизма, Колларомъ и Челяковскимъ. Печальная дѣйствительность и прежнія испытанія закрывали путь патріотическаго энтузіазма, и въ ряду новыхъ поэтовъ мы не видимъ ни одного, въ комъ бы сказался жизненный нервъ и надежды настоящаго общественнаго вопроса. Поэзія занялась субъективными вопросами и принялась

....Красу небесъ
И ласку милой воспѣвать, —

и притомъ съ такими настроеніями (напр. иногда съ гейневскою разочарованностью, или неопредѣленнымъ мистицизмомъ), которыя трудно вяжутся съ національными задачами.

Съ новой конституціей 1860 года общественная жизнь пробудилась снова, хотя конечно безъ того одушевленія, которое отличало 48-й годъ; къ такому одушевленію не было и достаточнаго повода, потому что новѣйшая конституція мало измѣняла сущность дѣла и централизаціонная политика австрійскаго правительства вовсе не была благосклонна къ національнымъ стремленіямъ, въ которыхъ видѣла сепаратизмъ и оскорбленіе власти. Па-

*

лацкій и Ригеръ, прежніе дѣятели 48—49 годовъ, опять выступили на сцену въ качествѣ членовъ палаты. Политическая журналистика продолжала дѣло Гавличка въ «Народномъ Листѣ» Юлія Грегера и въ «Голосѣ» Ант. Финка и Винц. Ваврьт, лучшихъ изъ вновь появившихся изданій. Политическая роль чешской національности и въ настоящую минуту не имѣетъ достаточной прочности, и газетная оппозиція удобно сдерживается закономъ о печати и процессами противъ редакторовъ. Такъ, замѣчательный процессъ разразился уже надъ Грегеромъ. Притомъ и въ самомъ либеральномъ лагерѣ начинается разногласіе. «Народный Листъ», выражавшій прежде политическія мнѣнія Палацкаго и Ригера, разошелся съ ними въ понятіи о новѣйшихъ польскихъ событіяхъ, такъ что чешскіе ветераны основали свою отдѣльную газету «Народъ». Этотъ фактъ можетъ, кажется, служить признакомъ, что панславизмъ старой школы не удовлетворяетъ новаго поколѣнія, которое желаетъ иныхъ средствъ рѣшенія національныхъ вопросовъ.

5. СЛОВАЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

Чтобы окончить съ литературной исторіей чешскаго языка, мы должны еще упомянуть о судьбѣ словацкаго нарѣчія, все отличія котораго отъ коренной племенной рѣчи заключаются только въ немногихъ областныхъ отклоненіяхъ [1]). Эти отклоненія были и остаются сами по себѣ такъ незначительны, что Словаки всегда въ прежнія времена имѣли одну литературу съ Чехами, и дали этой литературѣ изъ своей среды много писателей, болѣе или менѣе замѣчательныхъ. Такъ было напр. въ гусситскія времена, такъ было и въ новѣйшее время, когда изъ Словаковъ выходили такіе передовые люди чешскаго возрожденія, какъ Шафарикъ, Колларъ и другіе.

Предполагаютъ, что въ старину словацкое нарѣчіе употреблялось въ юридическихъ актахъ и въ частныхъ сношеніяхъ, но до сихъ поръ такіе памятники остаются неизвѣстны. Съ тѣхъ поръ, какъ мы имѣемъ возможность слѣдить за духовнымъ развитіемъ словацкаго населенія, орудіемъ его былъ всегда чешскій языкъ. Послѣ паденія таборитовъ, значительная часть ихъ, предводимая Искрой изъ Брандейса, переселилась въ половинѣ 15-го столѣтія въ верхнюю Венгрію; за ними послѣдовали другіе колонисты, которые смѣшались съ туземнымъ населеніемъ, но сообщили ему свои религіозныя тенденціи и литературный языкъ, совершенно понятный туземнымъ Словакамъ. Когда проникла въ Венгрію нѣмецкая реформація, она имѣла большой успѣхъ между Словаками, которые были уже приготовлены къ ней чешской пропагандой. Словаки пользовались чешскими книгами: у нихъ бы-

[1]) См. Csaplovics, Gemälde von Ungarn 2 т., Pesth 1829;—Slavomil Čekanovič, Stav a děje národu na zemi Uherské, Прага 1851;—Dohnaneho, Historia povstanja slovenskjeho z roku 1848—1850;—Boguslav Tablic, Poezie, ve Vacovė 1806—1812, 4 вып. (съ жизнеописаніями старыхъ словацкихъ стихотворцевъ); — Грамматики Бернолака, Гатталы; словарь Бернолака, 1825; — L. Bartholomaeides, Comit. Gömör. notitia hist.-geogr.-statistica, въ Левочѣ 1808;—(J. Rohrer), Versuch über die slaw. Bewohner Oesterr., Wien 1804.

ла та же Кралицкая библія, тѣ же канціоналы и религіозные трактаты; словацкое духовенство держалось чешскаго литературнаго движенія. Послѣ окончательнаго паденія реформы въ Чехіи, значительная часть эмиграціи направилась въ Венгрію и опять усилила вліяніе чешскаго языка.—Но это литературное распространеніе чешскаго языка въ области словацкаго нарѣчія не принесло никакого измѣненія въ самомъ характерѣ литературы. Произведенія словацкихъ писателей 16-го и 17-го вѣка, которыхъ мы имѣли случай называть прежде, нисколько не выдѣляются изъ общаго движенія чешской литературы. Эти произведенія ограничиваются почти исключительно теологіей и состоятъ изъ проповѣдей, богословскихъ трактатовъ, духовныхъ пѣсенъ и т. п. Что здѣсь не оказалось болѣе свободнаго развитія,—это легко объясняется и вообще тяжелымъ общественнымъ положеніемъ страны, и религіознымъ преслѣдованіемъ, и оффиціальнымъ господствомъ венгерской латыни.

Первыя попытки дать литературное значеніе самому словацкому нарѣчію относятся къ началу 18-го столѣтія, когда католическій словакъ Александръ Мачай (Al. Maczay) издалъ свои проповѣди на словацкомъ нарѣчіи (Chleby prvotin neb kázaní na neděle celého roku, v Trnavě 1718). Тернавскіе (Tyrnau) іезуиты послѣдовали его примѣру и начали печатать молитвенники и другія религіозныя книги на языкѣ, который представлялъ не столько чистый словацкій, сколько смѣсь его съ книжнымъ чешскимъ. Эти попытки воспользоваться народнымъ языкомъ для религіозныхъ цѣлей, столько странныя въ католическомъ духовенствѣ, обыкновенно стоящемъ за церковную латынь, объясняются желаніемъ духовенства противодѣйствовать протестантскому вліянію, оружіемъ котораго былъ чешскій языкъ. Духовенство ожидало, что употребленіе чисто народнаго языка дастъ цѣну католической книгѣ передъ протестантской чешской, которая при всей доступности языка все-таки говорила не роднымъ языкомъ народа.

Наконецъ наступаетъ періодъ чешскаго возрожденія и господства національнаго принципа. Пробужденіе національностей имѣло тотъ результатъ, что забота о возвышеніи народнаго языка овладѣла въ ровной степени и тѣми мелкими подраздѣленьями племенъ, которыя въ сущности удобно могли бы присоединиться къ своей болѣе крупной единицѣ. Прежде, чѣмъ въ чешскомъ возрожденіи успѣла созрѣть мысль о необходимости поддержать единство племеннаго развитія, словацкая отрасль уже отдѣлялась отъ цѣлаго и стремилась устроить себѣ отдѣльную литературу. Старанія католическаго духовенства 18-го столѣтія нашли своихъ продолжателей. Въ послѣдніе годы 18-го вѣка нѣсколько писателей старались поднять на степень литературнаго языка словацкое нарѣчіе на моравской границѣ, наиболѣе приближающееся къ чешскому языку. Этими писателями были 1. Игн. Байза (1754—1836: René mladenca prihodi a skušenosti 1783; Veselé učinky a rečeni 1795 и пр.); Юрій Фандли (Pilni domajši a polni Hospodar 1792; Prihodné a svatečné kázaní 1795 и др.); Антонинъ Газда (Hortus florum

1798 и др.), но въ особенности Антонинъ Бернолакъ (1762—1813). Бернолакъ былъ католическій деканъ и директоръ народной школы; онъ написалъ (по латыни) словацкую грамматику и другія разсужденія о словацкомъ языкѣ, составилъ большой словарь этого языка, изданный и конченный послѣ его смерти, самъ писалъ проповѣди и т. п. по словацки и вообще больше чѣмъ кто нибудь изъ его предшественниковъ старался дать словацкому языку литературное значеніе. Стремленія Бернолака имѣли значительный успѣхъ: имъ покровительствовалъ примасъ Венгріи, кардиналъ Руднай, который самъ издалъ нѣсколько проповѣдей на словацкомъ языкѣ, и содѣйствовалъ изданію Бернолакова словаря. По слѣдамъ Бернолака шелъ каноникъ Юрій Палковичъ (†1835), который докончилъ словарь Бернолака и перевелъ на нитранское или тернавское нарѣчіе библію (Svaté písmo въ Остригомѣ 1829). Но наиболѣе извѣстное имя въ словацкой литературѣ пріобрѣлъ себѣ Янъ Голли (Holy или Holly, 1785—1849), также католическій священникъ, который воспользовался нитранскимъ нарѣчіемъ или такъ называемой «бернолачиной» для своихъ поэтическихъ произведеній—лучшаго литературнаго результата Бернолаковой школы. Еще будучи клерикомъ въ Тернавѣ, онъ перевелъ Батрахоміомахію и эклоги Виргилія, Энеиду и Гораціевы сатиры, отрывки изъ Өеокрита, Гомера, Овидія, Тиртея. Его собственныя произведенія складывались въ томъ же классическомъ вкусѣ; это были идилліи, элегіи, оды, и главное эпическія поэмы: *Святополкъ* (Swatopluk, wit'azská básen', Тернава 1833), *Кирилло-Меѳодіада* (Cyrillo-Metodiada, wit'azská básen', Пестъ 1835) и *Славъ*, которыя главнымъ образомъ составили его извѣстность,—незаходившую впрочемъ дальше границъ словацкаго языка, тѣмъ больше, что ихъ псевдо-классическая форма и обусловленная ею поэтическая манера, вынесенная Голымъ изъ его воспитанія, уже мало соотвѣтствовали новымъ поэтическимъ вкусамъ и потребностямъ. Онъ составилъ наконецъ и сборникъ католическихъ пѣсенъ. Полное собраніе его сочиненій вышло въ 1841, изданное обществомъ любителей словацкаго языка и литературы (Jana Holého Básně, vidané od spolku milovnikov reči a literaturi slovenskéy, 4 ч. Пестъ 1841—42; 3-е изд. Spisy Básnické, Пестъ 1863).

Мы уже замѣтили выше, что литературная отдѣльность Словаковъ руководилась при Бернолакѣ католическими соображеніями. За пропаганду новой литературы взялось цѣлое общество, усердно старавшееся установить отдѣльный литературный языкъ, — но съ другой стороны протестантская часть Словаковъ продолжала держаться чешскихъ книгъ, такъ что образовалось двѣ различныя партіи. Протестанты не безъ основанія опасались, что это раздѣленіе будетъ опасно для литературнаго и національнаго единства и кончится только ослабленіемъ обѣихъ сторонъ. Они въ свою очередь составили общество и успѣли основать въ пресбургскомъ лицеѣ каѳедру чешско-славянскаго языка и литературы, которую занялъ другой Ю. Палковичъ (1769—1849), послѣдователь партіи единства, довольно извѣст-

ный своими трудами въ чешской литературѣ. Затѣмъ въ 1812 основалось новое общество, стараніями Таблица и Ловиха. Но и это общество, хлопотавшее о сохраненіи единства, продержалось недолго, потому что его тенденціи встрѣтились съ анти-славянскимъ противодѣйствіемъ Венгровъ, которые нисколько не расположены были давать ходъ какимъ бы ни было національнымъ затѣямъ Словаковъ.

Когда славянское возрожденіе стало больше и больше приводить къ убѣжденію о необходимости изученія народности, это изученіе обратилось и на Словаковъ, и главнѣйшая заслуга принадлежитъ здѣсь тѣмъ двумъ замѣчательнымъ представителямъ возрожденія, для которыхъ словацкая земля и была собственно родиной. Однимъ изъ первыхъ трудовъ Шафарика по изученію славянства было изданіе «Свѣтскихъ пѣсенъ словацкаго народа въ Венгріи» (Пестъ 1823—27, 2 ч.), въ которомъ ему содѣйствовали Колларъ и другой словацкій патріотъ Янъ Благославъ. Въ этомъ изданіи Шафарикъ уже высказываетъ по поводу пѣсенъ то теплое національное чувство, которое было такъ рѣдко въ это время и такъ ревностно стало дѣйствовать потомъ [2]). Мы упомянули уже прежде другой подобный трудъ, совершенный нѣсколько позднѣе Колларомъ: сборникъ Коллара, въ который вошло и прежнее изданіе Шафарика, представляетъ до сихъ поръ самое обширное собраніе словацкихъ народныхъ пѣсенъ (Národnié Zpiewanky čili Pjsně swetské Slowáků w Uhrách, 2 ч., Пестъ 1834—35). Колларъ еще жалуется, что его предпріятіе встрѣчено было значительнымъ количествомъ

[2]) Въ предисловіи ко второму выпуску своихъ „Словацкихъ пѣсенъ" Шафарикъ указываетъ удивительное распространеніе пѣсни у Словаковъ, которое составляетъ обще-славянскую черту и котораго не могли не замѣтить самые непріятели славянства. Одинъ нѣмецъ, авторъ книги: Freymüthige Bemerkungen eines Ungars über sein Vaterland, Teutschland (1799) — говоритъ: „Необыкновенная любовь къ пѣнію составляетъ главную и прекрасную черту Славянъ. Весело ходить по полямъ во время жатвы: тогда все поетъ. Рѣдко можно встрѣтить, чтобы славянская женщина молчала: она болтаетъ или поетъ. Въ нѣмецкихъ мѣстахъ, гдѣ служатъ славянскія дѣвушки, онѣ всегда по утрамъ, набравши травы, толпой возвращаются съ пѣснями. Славяне имѣютъ въ этомъ рѣшительное преимущество передъ Нѣмцами, которыхъ Райхардъ справедливо назвалъ безпѣсенными (sanglose) Нѣмцами"

Шафарикъ приводитъ еще другое нѣмецкое свидѣтельство изъ Gemeinnützíger und erheiternder Hauskalender für das Oesterr. Kaiserthum auf das Jahr 1823, Wien, гдѣ описывается сборъ токайскаго винограда: „Замѣчачельнѣйшую изъ группъ прилежныхъ работниковъ представляютъ Венгры. Хотя также какъ другіе работники они состоятъ изъ молодыхъ парней и дѣвушекъ, отъ нихъ чрезвычайно рѣдко услышишь народную пѣсню. Веселѣе идетъ сборъ винограда у Спишскихъ Нѣмцевъ. Но самая одушевленная жизнь поднимается между Словаками, которые сходятъ сюда съ горъ для собиранія винограда. Они не проводятъ минуты, не распѣвая своихъ пѣсенъ въ самыхъ разнообразныхъ мелодіяхъ. И словацкія народныя пѣсни дѣйствительно интересны, отчасти по ихъ особенной мелодіи, иногда чрезвычайно пріятной и украшаемой гибкостью языка, отчасти по ихъ содержанію. Свои элегическія пѣсни Словаки поютъ съ трогательнымъ чувствомъ, и только нѣкоторыя веселыя пѣсни поютъ во весь голосъ. Большая часть ихъ пѣсенъ могла бы дать артисту много матеріала для превосходнѣйшихъ варіацій".

Въ словацкихъ пѣсняхъ есть древніе миѳологическіе мотивы и немногія историческія воспоминанія; но древность ихъ значительно стерта, между прочимъ чужими вліяніями — венгерскимъ и нѣмецкимъ. Господствующая черта ихъ—мягкая простота мирнаго патріархальнаго быта.

его соотечественниковъ очень холодно; — такъ еще мало развито было въ Словакахъ, даже образованныхъ, чувство національности. Ни Шафарикъ, ни Колларъ вовсе не думали впрочемъ объ отдѣльной словацкой литературѣ: и тому и другому словацкій народъ казался только составной частью чешскаго; изученіе пѣсенъ было для нихъ средствомъ объясненія народнаго характера и затѣмъ возбужденіемъ къ единству.

Но случилось иначе.

Въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ въ особенности стало усиливаться то венгерское движеніе, о которомъ мы упоминали прежде по поводу хорватской литературы. Точно также какъ тамъ венгерскія притязанія вызвали «иллирійскую» или южно-славянскую реакцію, такъ и здѣсь эти притязанія заставили словацкихъ патріотовъ защищать національныя права своего народа, и они довели защиту до того, что уже не довольствуясь чешскимъ славянствомъ своей литературы, стали настаивать на исключительной отдѣльности словацкаго элемента. Національная теорія, которую проповѣдовало возрожденіе, вполнѣ благопріятствовала этому предпріятію. Патріоты утверждали, что словацкое племя достаточно отдѣляется отъ чешскаго своимъ языкомъ, нравами и вообще чертами народности, что чешскій языкъ, хотя родственный и близкій, не составляетъ его роднаго языка, и что народное развитіе словацкаго племени имѣетъ право на полное выраженіе всѣхъ народныхъ особенностей, и слѣд. на народную литературу. Это былъ совершенно естественный выводъ изъ того безусловнаго требованія народности, которое выставлено было панславянской школой. Разъ признавалась національная отдѣльность, и необходимость отдѣльной литературы становилась внѣ всякаго спора. Словацкіе патріоты, руководимые отчасти искреннимъ чувствомъ любви къ народу, отчасти мѣстными притязаніями, настаивали на этой отдѣльности, и словацкій литературный сепаратизмъ въ 40-хъ годахъ снова является на сцену, въ новой школѣ, главными представителями которой были Гурбанъ и Штуръ, — двое изъ самыхъ энергическихъ славянскихъ дѣятелей 48—49 года.

Людевитъ Штуръ (1815—1856), изъ евангелическихъ Словаковъ, учившійся въ раабскомъ и пресбургскомъ лицеѣ и въ университетѣ въ Галле, рано проникся патріотическими стремленьями и всю свою дѣятельность отдалъ пропагандѣ народной свободы. Нѣсколько времени онъ занималъ мѣсто стараго Палковича на каѳедрѣ пресбургскаго лицея, устроивалъ литературно-патріотическія общества, и пріобрѣлъ большое вліяніе на словацкую и сербскую молодежь, въ которой старался пробуждать чувство народной независимости. Венгерская партія замѣтила его опасное вліяніе и добилась наконецъ того, что Штуръ былъ лишенъ своей профессуры. Въ это время начинается его литературная дѣятельность: первыми произведеньями его были нѣмецкія брошюры, писанныя въ защиту правъ словацкаго народа противъ венгерскихъ притязаній. Въ 1845, послѣ долгихъ хлопотъ и затрудненій, Штуръ добился позволенія издавать словацкую политическую

газету. Это были «Slovenské národnje Novini», съ приложеніемъ «Orol Tatranski» (Карпатскій Орелъ),—газета, которую онъ издавалъ вмѣстѣ съ другимъ патріотомъ, Гурбаномъ. Газета имѣла большой успѣхъ между словацкими читателями, и это помогло осуществленію практическихъ идей Штура о народномъ благѣ: стали основываться разныя полезныя общества напр. общество трезвости, воздѣлыванія запущенныхъ земель, сберегательныя кассы и т. д. Чтобы поддержать свое литературное нововведеніе,—Штуръ началъ писать вмѣсто нитранскаго новымъ, тренчанскимъ нарѣчіемъ,—онъ издалъ двѣ книжки: «Nauka reči slovenskej» и «Nárečja Slovenskuo alebo potreba pisan'ja v tomto nareči» (Пресб. 1846). Въ 1848 онъ долженъ былъ прекратить свой журналъ, потому что изданіе становилось опасно: затѣмъ вспыхнула венгерская революція и Штуръ вмѣстѣ съ Гурбаномъ сталъ во главѣ словацкаго возстанія. Эти событія болѣе или менѣе извѣстны: Штуръ игралъ въ нихъ самую дѣятельную роль народнаго предводителя и агитатора. Но онъ ошибся въ результатахъ, и послѣ 49 года жилъ въ уединеніи, занимаясь литературными работами, изъ которыхъ въ особенности извѣстна его книжка о народной поэзіи славянскихъ племенъ, изданная чешской Матицей (O národních písních a povéstech plemen slovanskych, Прага 1853). Онъ умеръ отъ раны, которую нанесъ себѣ по неосторожности на охотѣ [3]).

Его политическій товарищъ и литературный сотрудникъ, Милославъ Іосифъ Гурбанъ, евангелическій словацкій пасторъ, началъ свою литературную дѣятельность (съ 1838) чешскими сочиненьями, потомъ сталъ сотрудникомъ Штура въ его словацкомъ журналѣ. Въ 1839 году онъ сдѣлалъ путешествіе по Чехіи и Моравіи съ литературными и патріотическими цѣлями, и описалъ это путешествіе въ книжкѣ: «Cesta Slováka ku bratram slavenskym na Moravé a v Čechách» (Пестъ 1841); затѣмъ слѣдовали альманахъ «Nitra» (3 ч. 1842—46, Пресбургъ и Пестъ), «Svatoplukovci, anebo pád říše velkomoravské» (Прага 1845), наконецъ участіе въ «Словацкихъ Новинахъ» Штура. Гурбанъ, вмѣстѣ съ литературными взглядами раздѣлялъ и политическіе взгляды Штура, и въ событіяхъ 48—49 года игралъ въ словацкомъ народѣ не менѣе замѣчательную роль народнаго оратора и предводителя. Когда Колларъ и его друзья, утомленные венгерскими притѣсненьями, оставили народное дѣло, Гурбанъ вмѣстѣ съ Штуромъ и Годжей стали во главѣ народа, на который пріобрѣли сильное вліяніе энергической защитой его интересовъ. Политическая программа Гурбана и его друзей состояла въ томъ, что предвидя враждебное столкновеніе Венгерцевъ съ династіей, они вошли въ сношенія съ чешскими и южно-славянскими патріотами и организовали словацкое возстаніе въ династическомъ смыслѣ,—чѣмъ надѣялись потомъ пріобрѣсти своему народу обезпеченіе его правъ и національной независимости. Гурбанъ пріобрѣлъ себѣ чрезвы-

[3]) Болѣе подробныя біографическія свѣдѣнія см. въ Рус. Бесѣдѣ 1860, № 1, смѣсь, стр. 51—60.

чайную популярность между своими соотечественниками: это былъ дѣйствительно характерный народный дѣятель, для котораго національный вопросъ былъ не отвлеченнымъ умствованіемъ, а живымъ практическимъ дѣломъ... Послѣ треволненій революціоннаго времени Гурбанъ снова вернулся въ свой приходъ, и съ 1851 года продолжалъ небольшое изданіе: «Slovenskje pohlady na vedi, umen'ja i literaturu», начатое еще въ 1846, и потомъ прерванное революціей [4]).

Новое видоизмѣненіе въ словацкомъ литературномъ языкѣ хотѣлъ ввести Михаилъ Милославъ Годжа (род. 1811), также, какъ Гурбанъ, евангелическій проповѣдникъ, и вмѣстѣ съ нимъ и Штуромъ пропагандистъ словацкаго возстанія. Какъ уроженецъ Липтовскій, Годжа хотѣлъ дать и своему родному говору долю въ составѣ литературнаго языка. Первыми литературными трудами его были народныя словацкія повѣсти, затѣмъ латинская книжка «Epigenes slovenicus», 1847, гдѣ онъ излагаетъ свои соображенія о формѣ словацкаго литературнаго языка, и словацкія: «Dobruo slovo Slovakom» 1847, «Vetin o slovenčinė» 1848 (въ Левочѣ) и друг.

Штуровская школа, какъ мы замѣтили, оставила нарѣчіе, взятое для литературнаго языка Берполакомъ, и выбрала другое, тренчанское нарѣчіе. Это еще больше усилило расколъ. Притомъ, на этотъ разъ литературное дѣленіе возобновлено было не католической партіей, которая еще имѣла бы свои поводы отдѣляться отъ чешскихъ протестантскихъ преданій,—оно возобновлено было самими евангеликами и людьми, которые справедливо могли назваться людьми даровитыми и дѣйствительными друзьями народа. Это отдѣленіе произвело поэтому сильное впечатлѣніе въ чешской литературѣ, представители которой видѣли въ немъ сѣмя гибельнаго народнаго разъединенія. Уже черезъ годъ послѣ основанія Штуровой словацкой газеты, выставившей сепаративное знамя, чешское музейное общество издало цѣлую книгу, направленную противъ этого раскола; въ этихъ «Голосахъ о необходимости единства литературнаго языка для Чеховъ, Моравапъ и Словаковъ» собрано было множество отзывовъ и мнѣній чешскихъ писателей и согласныхъ съ ними людей словацкаго общества, и въ этой формѣ представлены всѣ резоны противъ раздѣленія и въ защиту единства [5]). Гурбанъ отвѣчалъ на эту книгу въ названномъ нами журналѣ, и школа конечно осталась при своемъ.

Въ послѣднее время не смотря на всѣ прежнія неудачи Берполаковой и Штуровой школы явилась новая, которая еще разъ хотѣла установить литературное значеніе словацкаго языка, и теперь приняла за основаніе этого литературнаго языка новое нарѣчіе, зволенское. Эта послѣдняя попытка принадлежитъ опять католикамъ, которые не хотѣли принять языка,

[4]) Коротенькая біографія Гурбана въ Конв. словарѣ Риттерсберга.

[5]) Hlasové o potřebě jednoty spisovného jazyka pro Čechy, Moravany a Slováky, Прага 1846—гдѣ находится также много свѣдѣній о литературной исторіи словацкой въ старое время.

придуманнаго протестантами. Священникъ небольшаго словацкаго городка, а теперь профессоръ славянскихъ нарѣчій въ пражскомъ университетѣ, Мартинъ Гаттала, задумалъ эту реформу въ 50-хъ годахъ, остановившись на зволенскомъ нарѣчіи, которое было языкомъ его родины. По этому нарѣчію составилъ онъ написанную по латыни грамматику словацкаго языка [6]). Мысль Гатталы нашла сочувствіе въ католическомъ духовенствѣ и вообще между словацкими католиками, къ которымъ принадлежатъ почти всѣ нынѣшніе словацкіе писатели. Къ нимъ присталъ и пештскій священникъ Радлинскій, еще недавно горячій защитникъ Штура. Но и новая школа не можетъ похвалиться успѣхомъ: газета «Пестъ - Будимскія Вѣдомости», нѣсколько книжекъ для народа, нѣсколько альманаховъ,— напр. альманахи «Конкордія» и «Липа» (3-й выпускъ, 1864) священника Викторина (написавшаго также словацкую грамматику по нѣмецки)— составляютъ все ея небогатое содержаніе. Это колебаніе въ самомъ элементарномъ вопросѣ литературнаго развитія разумѣется мало помогаетъ дѣлу и безплодно занимаетъ тѣ силы, которыя могли бы быть лучше направлены къ народному благу. Недавно основана была и у Словаковъ своя *Матица*, и какъ говорятъ имѣла большой успѣхъ въ населеніи. Въ Чехахъ новый словацкій сепаратизмъ вызываетъ то же чувство неудовольствія и досады, и не безъ основанія кажется имъ положительно вреднымъ для ихъ племеннаго развитія. Но, какъ мы сказали, это стремленіе къ обособленію народности было естественнымъ слѣдствіемъ тѣхъ принциповъ, которые выставлены были самими защитниками славянскаго національнаго вопроса. Національный принципъ долженъ поплатиться здѣсь за свои собственныя крайности.

[6]) Grammatica linguae Slovenicae 1850; въ словацкомъ переводѣ: Kratka mluvn. slov. 1852; затѣмъ Mluvnica jazyka slovenského, Пестъ 1864.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

ЛУЖИЧАНЕ — ВЕРХНІЕ И НИЖНІЕ.

Возрожденіе маленькаго племени лужицкихъ Славянъ, въ саксонской и прусской Лузаціи (Лужицы, Lausitz), представляетъ одинъ изъ любопытныхъ эпизодовъ современнаго славянскаго движенія [1]. Лужицкій народецъ, издавна покоренный и окруженный Нѣмцами, успѣлъ сохранить свою народность, и въ послѣднее время, преимущественно съ 30-хъ годовъ, посвятилъ ей такія ревностныя заботы, что повидимому обезпечилъ совершенно ея цѣлость, по крайней мѣрѣ заявилъ ее такъ сильно, какъ она еще никогда не заявляла себя въ свое тысячелѣтнее рабство. Это возрожденіе шло также независимо, какъ и въ другихъ славянскихъ народностяхъ, развилось изъ собственныхъ мѣстныхъ потребностей маленькаго племени, — но затѣмъ, когда ему уже положено было прочное основаніе въ его внутреннемъ

[1]) По исторіи Лужичанъ см. Шафарикъ. Древн. §43—44;—Gebhardi, Geschichte aller wendisch-slawischen Staaten, Halle 1790, 4 т.; — Käuffer, Abriss der Oberlaus. Geschichte 3 т., Görlitz 1803;—Knauthen, Derer Oberlausitzen Serbenwenden Kirchengeschichte, Görlitz 1767; — Worbs, Geschichte d. Niederlausitz, Züllich 1824, 2 т.; — Scheltz, Geschichte der Ober-und Nieder-Lausitz, Halle 1847;—Jencz, Powieść wo Serbskich kralach (въ Czasop. Macicy Serb. 1849).

По этнографіи и языку: Engelhardt, Erdbeschreibung d. Mark Ober-und Nieder-Lausitz 2 т. Dresd. 1800;—Jakub, Serbskie Horne Lużicy. Budyszyn 1848; — Seiler, Kurzgefasste Gramm. der Sorben-wendischen Sprache nach d. Budissin. Dial. Bud. 1830; — Jordan, Gramm. der wend. - serbischen Sprache in der Oberlausitz (по системѣ Добровскаго) Prag 1841;—Schmaler, Kleine Gramm. der serbisch-wendischen Sprache in d. Oberlausitz, Bautzen 1852;—Bose, Wendisch-deutsches Handwörterbuch nach d. oberlaus. Dial. Grimma 1840; — Fr. Schneider, Gramm. der wendischen Sprache katholischen Dialects. Budissin 1853;—Zwahr, Niederlausitz-wendisch-deutsches Handwörterbuch, 1846;—Новиковъ, О важнѣйшихъ особенностяхъ лужицкихъ нарѣчій, М. 1849;—Dr. Pful, Serbski Słownik, Будишинъ 1857.

По литературѣ: И. Срезневскій, О литературѣ сербо-лужицкой (въ Ж. М. Нар. Пр. 1844, май, стр. 26 — 66); —Jencz, Stawizny и пр. (Судьбы сербской рѣчи и народности, въ Czas. Mac. Serb. 1849—54);—Гильфердингъ, Народное возрожденіе Сербовъ Лужичанъ въ Саксоніи (Р. Бесѣда, 1856, I, смѣсь, стр. 1 — 35); — Boguslawski, Rys dziejów serbo-lużyckich, Petersburg 1861 (о новѣйшемъ времени, какъ и предъидущая статья, по разсказамъ Смолера);—Fr. Doucha, O postupu národnosti Srbův Lužickych (въ Časop. Česk. Mus. 1845, вып. 3);—M. Горникъ, о языкѣ и литературѣ лужицкихъ Сербовъ, въ Časop. Česk. Mus. 1856.

сознаніи, оно примкнуло къ цѣлому славянскому движенію, и вступило на путь славянской «взаимности». Представители славянскаго движенія, ученые разныхъ славянскихъ народностей, — Палацкій, Мацѣевскій, Штуръ, Милутиновичъ, Срезневскій, Бодянскій, — посѣтили новооткрывшееся поле славянской національности, и передавши славянской публичности это новое движеніе, помогли и самимъ Лужичанамъ найти ихъ національныя связи съ остальными народами цѣлаго племени. Съ тѣхъ поръ забытое племя входитъ въ общій счетъ славянской національности, и ученое пилигримство въ своихъ славянскихъ странствіяхъ не забываетъ Будишина (Бауценъ), въ которомъ сосредоточивается образовательная дѣятельность маленькаго племени.

Нынѣшніе Лужичане, едва превышающіе 150.000 населенія, составляютъ небольшой остатокъ полабскаго славянства, занимавшаго нѣкогда пространство на западѣ за Эльбу и Салу, на сѣверѣ до Шпре и Гавеля, — всю нынѣшнюю Саксонію, часть Саксоніи прусской, Бранденбурга, прусской Силезіи и т. д. Между Салой и Мульдой, между нынѣшнимъ Лейпцигомъ и Дрезденомъ и южнѣе до Чешскихъ горъ, жили Сербы, съ разными подраздѣленьями, за Эльбой — Мильчане, на сѣверъ отъ нихъ, въ низменныхъ мѣстахъ — Лужичане и т. д. Эти славянскія племена извѣстны средневѣковымъ писателямъ уже съ 6—7-го столѣтія, а съ 8—9 вѣка они постоянно упоминаются подъ общимъ именемъ Вендовъ (Винидовъ, Венедовъ) или Сербовъ (Сорбовъ, Сурбовъ) и подъ ихъ мѣстными племенными названьями. Судя по немногимъ историческимъ даннымъ, бытъ лужицкихъ Сербовъ представлялъ извѣстныя черты славянской демократической патріархальности, но къ сожалѣнію отдѣльныя общины не имѣли между собой достаточной внѣшней связи, и отсутствіе единства открыло дорогу нѣмецкому владычеству, которое уже со временъ Карла Великаго намѣтило свою цѣль въ этихъ славянскихъ краяхъ. Начиная съ тѣхъ поръ, полабскіе Славяне мало по малу были покорены, сначала Сербы при Генрихѣ Птицеловѣ, потомъ Мильчане и Лужичане при Оттонѣ: къ 11-му вѣку племенная самостоятельность ихъ окончилась. Лужицкая земля еще долго потомъ была предметомъ феодальныхъ споровъ и переходила изъ рукъ въ руки, доставалась маркграфамъ Мейссенскимъ и Бранденбургскимъ, была подъ властью Поляковъ, долго (до самаго паденія Чехіи) принадлежала чешской коронѣ, — не спасавшей впрочемъ ея славянской народности отъ нѣмецкаго угнетенія, — наконецъ вошла въ составъ Саксоніи, выдержала ужасы тридцатилѣтней войны, раздѣлилась между Саксоніей и Пруссіей, которымъ теперь и принадлежатъ уцѣлѣвшія части лужицкаго народа.

Нѣмецкое покореніе своими ближайшими слѣдствіями имѣло рабство народа и постепенное уничтоженіе народности. Покоренная земля раздѣлилась между феодальнымъ владѣльцемъ, рыцарями и церковью; свободные сельскіе люди стали рабами, крѣпкими землѣ, они лишены были всякихъ правъ, обременены работами и податями, были безотвѣтной жертвой грабежей и насилія. Нѣсколько лучше было положеніе тѣхъ, которые подчинены были

непосредственно феодальному правителю земли, — но общее положеніе края представляло картину самаго ужаснаго угнетенія и безправія. Вмѣстѣ съ паденіемъ народной свободы началось и паденіе самой народности; постоянные грабежи, выселеніе Славянъ въ нѣмецкія земли, гдѣ они изчезали среди чужого населенія (на Рейнѣ и Майнѣ, въ Баваріи и даже въ Голландіи), нѣмецкая колонизація, занимавшая города и отнятыя земли, вліяніе церкви, говорившей по латыни и по нѣмецки, наконецъ обыкновенное дѣйствіе господства чужаго племени,—всѣ эти обстоятельства больше и больше подавляли славянскій элементъ, который жилъ только въ порабощенномъ сельскомъ населеніи и былъ для Нѣмцевъ предметомъ крайняго презрѣнія. Взаимная вражда была такъ велика, что Саксонское Зерцало должно было постановить, чтобы «Сербъ противъ Нѣмца и обратно не могъ свидѣтельствовать въ судѣ, такъ какъ извѣстно, что каждая сторона, для вреда другой, готова подтвердить присягой всякую неправду». Въ 13-мъ вѣкѣ сербскій языкъ еще удерживался въ церковномъ употребленіи и въ судѣ, но къ 14-му столѣтію нѣмецкая народность была уже такъ сильна, что съ этого времени нѣмецкіе князья начинаютъ изгонять сербскій языкъ изъ судовъ: въ 1427 г. это сдѣлано было и въ Мейссенѣ, прежнемъ центрѣ сербскаго народа. Ко временамъ реформаціи область лужицкаго населенія приняла уже почти тѣ границы, въ которыхъ оно остается въ настоящую минуту: лужицкіе Сербы западнаго края были уже окончательно онѣмечены, граница нѣмецкаго языка перешла на востокъ далеко за Эльбу, и память о Славянахъ осталась только въ собственныхъ именахъ мѣстностей.

Христіанство проникло въ лужицкій край повидимому съ двухъ сторонъ. Проповѣдь нѣмецкаго католичества далеко не имѣла здѣсь того свирѣпаго характера, съ какимъ она была приносима къ Славянамъ балтійскимъ, и это обстоятельство объясняютъ тѣмъ, что лужицкіе Сербы были уже приготовлены къ христіанству проповѣдью, шедшею отъ византійскаго славянства черезъ Польшу и Чеховъ. Лужицкіе Сербы уже въ 9-мъ столѣтіи были въ связяхъ съ княжествомъ велико-моравскимъ, одно время даже принадлежали къ нему (какъ впослѣдствіи они были въ связяхъ съ Чехами)—и потому думаютъ, что византійско-славянское христіанство Кирилла и Меѳодія проникло и въ края лужицкіе. Преданье говоритъ, что св. Константинъ приходилъ въ окрестности Сгорѣльца (Görlitz), и тамъ, гдѣ теперь находится Гайнвальдъ (Hainwald), на мѣстѣ капища поставилъ христіанскую церковь. До недавняго времени сохранялся обычай благочестиваго пилигримства къ древнему кресту на горѣ Яворницкой (Jauernik), въ день св. Вацлава, короля чешскаго, — жители-протестанты присоединялись къ католической процессіи, и молельщики пѣли молитву «Господи, помилуй насъ», быть можетъ ту самую, которая подъ именемъ молитвы св. Войтѣха («Hospodine, pomiluj ny») осталась въ чешскомъ племени, какъ память древняго славянскаго богослуженія. Извѣстно, что у Лужичанъ, по

правую сторону Эльбы, лучше сохранявшихъ свою народность подъ политическимъ вліяніемъ Чеховъ и Польши, славянскій языкъ въ церковномъ обученіи употреблялся не только въ 11-мъ столѣтіи, при епископѣ мейсенскомъ Бенонѣ (+1106), но и въ 12-мъ и даже 13-мъ столѣтіяхъ, когда сербо-лужицкій языкъ имѣлъ еще защитника въ епископѣ Брунонѣ, требовавшемъ, чтобы священники хорошо знали сербскій языкъ [2]). Историки замѣчали и то обстоятельство, что тѣ изъ проповѣдниковъ христіанства у балтійскихъ Славянъ, которые пользовались славянскимъ языкомъ какъ средствомъ, были изъ сосѣдства лужицкихъ Сербовъ: такъ еп. мерзебургскій Бозо (971) писалъ по славянски; другой, Вернеръ (1101), велѣлъ изготовить себѣ книги на славянскомъ языкѣ; епископъ альтенбургскій Бруно (1156), отправляясь обращать Оботритовъ, имѣлъ съ собой готовыя славянскія проповѣди и читалъ ихъ народу [3]). Полагаютъ впрочемъ, что эти славянскія книги едва ли были написаны на собственно сербскомъ языкѣ: по крайней мѣрѣ въ лужицкомъ языкѣ находятъ слѣды вліянія языковъ старо-славянскаго и чешскаго, замѣтные при всемъ первоначальномъ сходствѣ этихъ языковъ между собою и несмотря на все позднѣйшее вліяніе нѣмецкаго. Это первоначальное сходство могло сдѣлать чужія славянскія книги доступными для лужицкихъ Сербовъ, особенно при тѣхъ политическихъ связяхъ и сосѣдствѣ, которыя соединяли ихъ съ Чехами. Что чешскія книги въ болѣе позднюю эпоху среднихъ вѣковъ были въ ходу у Лужичанъ, едва ли подлежитъ сомнѣнію.

Первыя попытки ввести сербо-лужицкій языкъ въ книгу относятся только ко временамъ реформаціи. Гуситское движеніе Чеховъ нисколько не отразилось у Лужичанъ: болѣе образованная часть общества была уже чисто нѣмецкая, и въ этомъ качествѣ ревностно держалась католичества: народная масса, состоявшая изъ одного сельскаго населенія, была слишкомъ подавлена, чтобы почувствовать въ себѣ силу для какой нибудь оппозиціи, и въ разгарѣ крестовыхъ походовъ противъ гусситизма и таборитскихъ воинствъ, осталась при безучастной и страдательной роли. Напротивъ реформація Лютера была дѣломъ нѣмецкимъ и имѣла обширный успѣхъ во всей странѣ, отразившійся и на ея славянскомъ населеніи. Къ 16-му столѣтію сербо-лужицкая народность была уже въ совершенномъ упадкѣ, но стремленіе къ распространенію и утвержденію реформы заставило теперь обратиться къ народному языку, и дало начало первой литературной дѣятельности на лужицкомъ языкѣ, если можно назвать литературой духовно-поучительныя книги въ лютеранско-евангелическомъ смыслѣ, къ которымъ присоединилось и нѣсколько подобныхъ попытокъ духовенства католическаго. Съ этого времени начинаютъ появляться письменные сборники переводовъ изъ св. Писанія, необходимыхъ молитвъ, легендъ, духов-

[2]) Bogusławski, стр. 167.

[3]) Срезневскій, Ж. М., стр. 34.

ныхъ пѣсенъ и т. п., которыя отъ священниковъ переходили и къ народу. Въ началѣ 16-го вѣка переведенъ былъ Лютеровъ катихизисъ; въ собраніяхъ духовныхъ пѣсенъ начали позднѣе появляться и оригинальныя сербскія. Шафарикъ указываетъ, что въ 1548 г. Михаилъ Якубицъ перевелъ на верхне-лужицкій языкъ и весь Новый Завѣтъ, рукопись котораго сохраняется въ берлинской библіотекѣ. Верхне-лужицкіе сеймы въ половинѣ 16-го столѣтія не разъ выражали заботы объ учрежденіи школъ и объ лужицкомъ языкѣ. Первая печатная книга, извѣстная до сихъ поръ, вышла на нижне-лужицкомъ нарѣчіи въ 1574 г., когда Альбинъ Моллеръ, евангелическій проповѣдникъ, издалъ книжку, заключавшую духовныя пѣсни, нѣсколько молитвъ и катихизисъ. На верхне-лужицкомъ нарѣчіи первую книгу, малый Лютеровъ катихизисъ, издалъ уже въ 1597 священникъ Вячеславъ Ворѣхъ (Worichius). Затѣмъ въ 1610 Андрей Таракъ составилъ новый сербскій катихизисъ, подъ названіемъ Enchiridion Vandalicum; въ 1627 священникъ Григорій Мартинъ напечаталъ переводъ семи покаянныхъ псалмовъ. — Это было кажется все, вышедшее въ первый періодъ лужицкой книжной дѣятельности.

Середина 17-го вѣка ознаменована была новыми бѣдствіями народа и упадокъ народности продолжался; тридцатилѣтняя война и весь ходъ событій давали большой ходъ германизаціи; но въ концѣ этого столѣтія потребности религіознаго образованія вызвали новыя литературныя стремленія, замѣчательнѣйшимъ представителемъ которыхъ былъ Михаилъ Бранцель (или какъ называли его по нѣмецки, Френцель, 1628—1706), евангелическій проповѣдникъ въ Верхнихъ Лужицахъ. Бранцель въ первый разъ широко понялъ народныя потребности и необходимость возстановленія языка, и дѣятельно трудился надъ переводомъ св. писанія: онъ перевелъ Новый Завѣтъ и нѣкоторыя части Ветхаго, причемъ пользовался и инославянскими пособіями. Онъ началъ издавать отрывки своего перевода съ 1670 г. и на старости дождался изданія своего полнаго перевода Новаго Завѣта. У Бранцеля какъ будто уже были предчувствія славянскаго возрожденія; въ этомъ смыслѣ любопытно письмо его, которое писалъ онъ къ Петру Великому, во время проѣзда царя черезъ Саксонію въ 1697, представляя ему свои переводы: Бранцель съ особеннымъ чувствомъ указываетъ на тѣ связи родства, которыя соединяютъ его народъ съ другими Славянами и обширной Московіей [4]). Труды Бранцеля не остались безъ продолжателей, и съ его времени заботы о религіозномъ образованіи народа постоянно вызываютъ новыхъ дѣятелей. Сынъ Михаила, Авраамъ Бранцель или Френцель (1656—1740), приготовилъ переводъ всего св. писанія, которымъ пользовались при изданіи 1728 и 1742. Получивши образованіе въ виттенбергскомъ университетѣ, Авраамъ Бранцель обратился къ

[4]) Письмо это по лужицки и по латыни напечатано у Срезневскаго, стр. 42—45, прим.

историческому изученію своей земли и народа и написалъ обширное сочиненіе De originibus linguæ Sorabicæ, изданное отчасти отдѣльно (1693—96), отчасти въ Гофмановыхъ Scriptores rerum Lusaticarum (1719). Въ этомъ сочиненіи, онъ хотя и потратилъ безъ пользы много труда на сравненіе славянскаго языка съ еврейскимъ, но обнаружилъ замѣчательныя для того времени археологическія свѣдѣнія и знаніе славянскихъ нарѣчій. Много другихъ латинскихъ его сочиненій, напр. «Сербо-лужицкій словарь», «Верхне-лужицкая исторія», «Естественная исторія верхне-лужицкая», «Словарь нижне-лужицкій», остаются въ рукописяхъ. При всѣхъ слабыхъ сторонахъ тогдашней учености, труды младшаго Бранцеля замѣчательны по своему стремленію къ общеславянскому изученію, и по тому вліянію, которое имѣли они въ свое время, обративши вниманіе на изученіе языка и народа. Съ этого времени въ особенности появляется много трудовъ этого рода, напр. верхне-лужицкія грамматики Маттеи и Шмуца, словари того же Шмуца и Свотлика, составившаго также нѣсколько религіозно-нравственныхъ книжекъ для Сербовъ католическихъ и переводъ Н. Завѣта; нижне-лужицкая грамматика и словарь Фабриція и др., исторія обычаевъ нижнихъ Лужичанъ Тиверія (по латыни и по нижне-лужицки, въ рукоп.). Во второй половинѣ 18-го вѣка это изученіе принесло и серьезные труды— по церковной исторіи и литературѣ Верхнихъ Лужичанъ Кнаутена (по нѣм.), объ обычаяхъ Верхнихъ Лужичанъ Горчанскаго, по славянской археологіи Антона (по нѣм.), который дѣятельно собиралъ этнографическіе матеріалы и едва ли не первый обратилъ вниманіе на изученіе сербо-лужицкихъ народныхъ пѣсенъ: его сборникъ пѣсенъ послужилъ основаніемъ позднѣйшихъ собраній. Нѣмецкія и латинскія книги Антона и его предшественниковъ не принесли, конечно, непосредственной пользы самому народу, но и онѣ были важнымъ орудіемъ его образованія, потому что дѣлали заботу о немъ болѣе сознательною и прочною. Вліяніе это было несомнѣнно.

Съ 18-го вѣка увеличивается и количество книгъ, посвященныхъ религіозному образованію народа, хотя цифра остается конечно крайне скромной. Прежніе библіографы насчитывали до 1700 года только до 50 лужицкихъ книгъ, съ 1700 до 1800 около 200: если новые поиски и увеличили эту цифру, но и она приблизительно вѣрно опредѣляетъ численныя отношенія этой маленькой литературы. Въ 18-мъ вѣкѣ въ первый разъ напечатанъ былъ полный переводъ библіи: она переведена была на верхне-лужицкое нарѣчіе соединенными трудами священниковъ Ланга, Іокуша, Бемера и Вавера: послѣ одиннадцатилѣтней работы, въ которой они сличали свой переводъ съ переводами польскимъ, чешскимъ и старо-славянскимъ, переводъ былъ напечатанъ въ 1728, — это изданіе повторено было потомъ, съ небольшими измѣненіями, въ 1742, 1797, 1821, 1823, гдѣ впрочемъ Новый Завѣтъ печатался по переводу Бранцеля.—Для Нижнихъ Лужичанъ подобный трудъ предпринялъ евангелическій священникъ

Богумилъ Фабриціусъ, другъ Авраама Бранцеля, родомъ Полякъ, который издалъ по нижне-лужицки малый Лютеровъ катихизисъ и переводъ Новаго завѣта (1709); трудъ Фабриція уже впослѣдствіи дополнилъ Фрицъ, издавшій Ветхій Завѣтъ въ 1797. Цѣлая библія вышла въ 1824.

Кромѣ переводовъ св. Писанія, книжная поддержка народности состояла въ духовныхъ пѣсняхъ и проповѣди. Духовныя пѣсни (khyrlusze, т. е. kyrielejson) были сильно распространены въ массѣ народа, и уже съ начала 18-го вѣка существовали въ значительномъ количествѣ, въ переводахъ Преторія, Аста, Маттеи и Вавера, и умножались съ каждымъ новымъ изданіемъ. Для католическихъ Сербовъ сборникъ подобныхъ церковныхъ пѣсенъ былъ сдѣланъ уже названнымъ выше Свотликомъ. На нижне-лужицкомъ духовныя пѣсни въ первый разъ изданы были Гауптманомъ (Lubniowski Szarski Sambuch 1769).

Такимъ же средствомъ для поддержанія народности и для нѣкотораго образованія массы служила проповѣдь. Она развилась впрочемъ довольно поздно и стала пріобрѣтать вліяніе только со временъ Михаила Бранцеля, у котораго вмѣстѣ съ религіознымъ обученіемъ соединялось въ ней и извѣстное патріотическое чувство. Между проповѣдниками болѣе другихъ замѣчательны были, кромѣ Бранцеля, Пехъ, Якобъ, Мёнъ, Богатскій, хотя вообще проповѣдники, подражая своимъ нѣмецкимъ образцамъ, не отличались особенной оригинальностью и чистотой языка. Проповѣдь оказывала, безъ сомнѣнія, большое вліяніе на сохраненіе народности. Историки замѣчаютъ, что «ни одна сербо-лужицкая область, въ которой была постоянная проповѣдь на народномъ языкѣ, не обнѣмечилась» и что напротивъ приходы, не имѣвшіе проповѣди, теряли чувство народности и наконецъ обнѣмечивались [5]). Успѣхамъ проповѣди на народномъ языкѣ особенно благопріятствовало учрежденіе лужицкой семинаріи (для католиковъ) въ Прагѣ и проповѣдническихъ обществъ, устроенныхъ лужицкими студентами богословія при университетахъ въ Лейпцигѣ и Виттенбергѣ. Внѣшнія обстоятельства были крайне неблагопріятны для этого народнаго движенія: нѣмецкія власти и духовенство, по прежней нелюбви къ Сербамъ, не хотѣли ничѣмъ помочь ему. Дѣло было сдѣлано скромными средствами бѣдной молодежи и немногихъ частныхъ лицъ. Пражская семинарія была открыта въ 1704 году: здѣсь, подъ вліяніемъ сильнѣйшаго родственнаго языка, приготовлялись и приготовляются до сихъ поръ священники для небольшой горсти католическихъ Сербовъ. Проповѣдническія общества открылись въ Лейпцигѣ 1716 и Виттенбергѣ 1749: они должны были бороться съ множествомъ препятствій, бѣдность средствъ мѣшала часто сербскимъ поселянамъ посылать свою молодежь въ университеты, и общества иногда закрывались на нѣкоторое время за неимѣніемъ людей. Тѣмъ не менѣе онѣ имѣли

[5]) Boguslawski, стр. 241.

большое вліяніе на поддержаніе народной проповѣди и вмѣстѣ съ ней самой народности.

Но всѣ эти усилія еще не могли дать прочности сербо-лужицкой литературѣ, даже въ тѣхъ скромныхъ размѣрахъ, какіе имѣла она въ 18-мъ столѣтіи. Семилѣтняя война снова упала тяжелымъ бѣдствіемъ на Лужичанъ: народъ бѣднѣлъ, нѣмецкій элементъ усиливался, проповѣдническія общества упадали, какъ виттенбергское. Литература, состоявшая изъ однихъ церковныхъ книгъ, давала не много опоры для народнаго чувства и отдѣльныя вспышки патріотизма, какъ напр. при 50-лѣтнемъ юбилеѣ лейпцигскаго общества въ 1766, имѣли только минутное вліяніе. Правда, была попытка воспользоваться лужицкимъ языкомъ и для свѣтскихъ стихотвореній, и Юрій Менъ (Möhn, +1785) перевелъ даже на лужицкій языкъ значительную часть Клопштоковой Мессіады, но примѣръ его въ первое время не нашелъ послѣдователей. Съ семилѣтней войны сербскихъ книгъ стало появляться меньше и меньше.

Положеніе Нижнихъ Лужичанъ было еще печальнѣе. Они лишены были даже и такихъ средствъ, какія были у ихъ сосѣдей. Со временъ Богумила Фабриція до 1740 по нижне-лужицки напечатаны были только двѣ-три книжки: прусскій король Фридрихъ Вильгельмъ I не терпѣлъ Лужичанъ и принималъ даже насильственныя мѣры для истребленія народности, — у Сербовъ, принадлежавшихъ Пруссіи, лужицкій языкъ изгонялся изъ школъ и даже изъ церкви. Дѣло мало поправилось и послѣ, по смерти прусскаго короля: книжки печатались рѣдко, да и тѣ, какія писалъ напр. Вилла (1736—1771), ограничивались катихизисомъ и нѣкоторыми переводами изъ св. писанія. Послѣ названнаго нами Гауптмана, составившаго сборникъ духовныхъ пѣсенъ и написавшаго по нѣмецки нижне-лужицкую грамматику, на этомъ нарѣчіи писали братья Фрицы, оба священники. Старшій изъ нихъ, Помагай-Богъ Кристалюбъ Фрицъ, издалъ лютеранскій катихизисъ и нѣсколько другихъ поучительныхъ книжекъ; другой, Янъ Фридрихъ, докончилъ, какъ мы выше замѣтили, Фабриціевы переводы св. Писанія, и въ своемъ трудѣ, кромѣ религіозной цѣли, достигъ значительнаго совершенства книжнаго языка... Но тѣмъ все почти и ограничивалось, и если Верхніе Лужичане, имѣвшіе больше средствъ защищать свою народность, терпѣли отъ германизаціи, то у Нижнихъ она дѣйствовала несравненно сильнѣе: въ теченіи послѣдняго столѣтія (1750—1850) онѣмечилось до пятидесяти церковныхъ приходовъ.

Съ наполеоновскими войнами положеніе сербо-лужицкаго народа снова становится крайне затруднительнымъ: страна была опустошена и тріумфъ Нѣмцевъ послѣ войнъ «за освобожденіе» еще болѣе подавлялъ лужицкую народность: образованные Сербы отказывались отъ нея и дѣлались Нѣмцами; народъ былъ совершенно оставленъ, такъ что ему уже грозило повидимому окончательное уничтоженіе. Проповѣдническія общества закрылись снова, и виттенбергское уже не возобновлялось... Но именно съ этого вре-

*

мени, дававшаго такъ мало надеждъ, и начинается такое развитіе сербской народности, какого она еще никогда не имѣла до тѣхъ поръ. Она примыкаетъ къ цѣлому славянскому возрожденію, которое сообщило ей извѣстную нравственную самостоятельность и дало возможность новыхъ патріотическихъ усилій. Первымъ представителемъ этого возрожденія у Лужичанъ былъ почтенный будишинскій пасторъ, Андрей Любенскій (1790—1840). Будучи еще студентомъ въ Лейпцигѣ, Любенскій возстановилъ проповѣдническое общество и старался вывести своихъ товарищей изъ прежней гомилетической рутины, указывая имъ, хотя еще не вполнѣ сознательно, на интересы народности: онъ объяснялъ имъ, что презираемый «вендскій» языкъ принадлежитъ къ великому славянскому цѣлому, и приготовлялъ свое общество къ знакомству съ панславянскими теоріями народности. Начало было трудно, и Любенскій часто терялъ надежду на возможность возрожденія, считалъ свое время послѣднимъ часомъ лужицкаго народа, но не переставалъ работать, писалъ и печаталъ книжки религіознаго и нравственнаго содержанія, стихотворенія и духовныя пѣсни, историческіе разсказы и т. п., занимался лужицкой исторіей и этнографіей, собралъ большіе матеріалы для верхне-лужицкой грамматики и словаря. Защиту сербской народности раздѣлялъ съ нимъ его товарищъ и другъ, д-ръ Адольфъ Клинъ (†1855), писавшій больше по нѣмецки и стоявшій ревностно за народныя права сербскаго населенія. Его заступничеству на саксонскомъ сеймѣ 1833—34 Лужичане обязаны сохраненіемъ народнаго языка въ школѣ, что было для нихъ важной побѣдой. Вслѣдъ за тѣмъ является новое поколѣніе лужицкихъ патріотовъ и писателей, уже окончательно присоединившихся къ панславянскому возрожденію. Андрей Зейлеръ, впослѣдствіи евангелическій пасторъ, возобновилъ снова, послѣ Любенскаго, лейпцигское общество подъ именемъ «Сорабіи» и горячо проповѣдовалъ о служеніи своей народности. Въ 1826 онъ познакомился въ Лейпцигѣ съ Палацкимъ и сербомъ Милутиновичемъ, и ихъ вліяніе еще больше развило его собственныя стремленія. Еще въ университетѣ онъ задумалъ издавать рукописную газету, въ которой собирались труды устроеннаго имъ общества и его собственныя поэтическія попытки; газета имѣла большой успѣхъ и ея переписанные экземпляры ходили по всему лужицкому краю. Какъ поэтъ, Зейлеръ до сихъ поръ остается во главѣ сербо-лужицкой литературы: многія его пѣсни давно сдѣлались народными.

Нѣсколько позднѣе Зейлера началъ свои труды замѣчательнѣйшій и популярнѣйшій изъ всѣхъ представителей лужицкаго возрожденія, сынъ сельскаго учителя въ деревнѣ Лазѣ, — Янъ Эрнестъ Смолеръ (по нѣмецки Schmaler, род. 1817). Еще будучи только четырнадцати лѣтъ, ученикомъ будишинской гимназіи, Смолеръ началъ пропагандировать между своими земляками въ гимназіи лужицкій языкъ, который они забывали для нѣмецкаго: свои вакаціи проводилъ онъ постоянно въ странствованіи по лужицкому краю, изучилъ вполнѣ народный бытъ, обычаи и старину, обошелъ

всю лужицкую землю и первый узналъ, до которыхъ мѣстъ идутъ сербскія поселенія и означилъ на картѣ ихъ границу. Въ 1836 Смолеръ вступилъ въ богословскій евангелическій факультетъ въ бреславскомъ университетѣ, гдѣ вмѣстѣ съ нѣмцемъ Рёслеромъ (впослѣдствіи извѣстнымъ профессоромъ въ Геттингенѣ) и другими студентами изъ Лужичанъ и Нѣмцевъ, основалъ ученое общество, цѣлью котораго было изученіе славянской и нѣмецкой старины въ Лузаціи. Въ Бреславлѣ Смолеръ имѣлъ счастливый случай расширить свои славянскія знанія и ревность знакомствомъ съ знаменитымъ физіологомъ и чешскимъ патріотомъ Пуркинье и поэтомъ Челяковскимъ, получившимъ тогда въ Бреславлѣ каѳедру славянскихъ нарѣчій. Въ 1839 лужицкая молодежь открыла новое ученое общество при будишинской гимназіи (Societas slavica Budessina), главнымъ начинателемъ котораго былъ ревностный лужицкій патріотъ Мусакъ-Клосопольскій (по нѣм. Mossig von Aerenfeld). Посѣщеніе Штура и посланіе Коллара поддержали патріотическіе порывы сербской молодежи. Между тѣмъ Смолеръ продолжалъ свое изученіе лужицкой народности, и уже въ 1842 г. могъ приготовить вмѣстѣ съ Гауптомъ, секретаремъ сгорѣльскаго (гёрлицкаго) ученаго общества, изданіе верхне и нижне-лужицкихъ народныхъ пѣсенъ, исполненное со всѣми требованіями ученаго аппарата [6]). Это изданіе и прежнія славянскія связи лужицкихъ патріотовъ привлекли на лужицкихъ Сербовъ вниманіе славянской литературы и они заняли свое мѣсто въ славянскомъ возрожденіи. Смолеръ обратился теперь къ другой задачѣ своей дѣятельности—распространить національное сознаніе въ самой народной массѣ; нужно было дать ей чтеніе и извѣстныя средства образованія.

За эту мысль взялся еще въ 1842 г. Іорданъ, воспитанникъ пражской семинаріи, лужицкій патріотъ и, по своимъ Slawische Jahrbücher и другимъ ученымъ и публицистическимъ работамъ, извѣстный какъ писатель и журналистъ панславизма. Но маленькій журналъ, затѣянный Іорданомъ, «Jutnička» (Заря), не имѣлъ успѣха и изданіе взялъ на себя Смолеръ, вмѣстѣ съ своимъ отцемъ и упомянутымъ Зейлеромъ. Новая газета, «Tydžen'ska Novina» (Еженедѣльная газета), пошла лучше и въ первый разъ дала чтеніе сельскому населенію, на вкусы котораго была разсчитана. Съ этого времени лужицкая литература обезпечила себѣ вѣрный, хотя и немногочисленный кружокъ читателей. Добывши себѣ журналъ, лужицкіе патріоты задумали основать и *Матицу*, на подобіе другихъ славянскихъ учрежденій того же имени. Матица была дѣйствительно устроена и въ 1847 утверждена саксонскимъ правительствомъ. Съ слѣдующаго года началъ выходить «Часописъ», журналъ Матицы, посвященный изученію серболужицкой исторіи, этнографіи и проч.; въ немъ появились имена новыхъ ревнителей народности, продолжающихъ дѣло, начатое Зейлеромъ и Смоле-

[6]) Pjesnički Hornych a Delnych Lužiskich Serbow, wudate wot L. Hawpta a J. E. Smolerja. Grymi 1842—43, 2 части 4°.

ромъ. Таковы — Вельянъ, филологъ и поэтъ д-ръ Пфуль, Іенчъ, Ростокъ и др. Другая задача Матицы состояла въ изданіи полезныхъ книгъ, преимущественно для народнаго чтенія. Въ числѣ ихъ была издана весьма подробная статистика Верхнихъ сербскихъ Лужицъ, составленная Якубомъ, въ послѣднее время верхне-лужицкій словарь Пфуля.

Всѣ эти труды и предпріятія сербскихъ патріотовъ нашли большое сочувствіе въ народной массѣ, которая на національныхъ сербскихъ концертахъ, въ публичныхъ собраніяхъ Матицы, въ первый разъ видѣла открытое заявленіе своей народности. Люди стараго поколѣнія, не видѣвшіе прежде ничего подобнаго, присоединились къ молодому поколѣнію, и какъ ни были скромны средства бѣднаго лужицкаго населенія, предпріятія патріотовъ имѣли успѣхъ, относительно обширный. Въ этомъ настроеніи засталъ лужицкихъ Сербовъ 1848 годъ. Всеобщее потрясеніе такъ или иначе должно было увлечь и Сербовъ. Съ одной стороны тянуло ихъ къ себѣ національное движеніе австрійскаго славянства у Чеховъ, Кроатовъ, Словаковъ и т. д.; съ другой на нихъ тяготѣли стремленія нѣмецкихъ демократовъ, отрицавшія ихъ народность, но вызывавшія къ общественной и политической реформѣ. Предводители Сербовъ сообразили, что ихъ маленькому народу не предстояло никакой роли ни въ томъ, ни въ другомъ случаѣ, и поставили дѣло такъ, что въ результатѣ сербская народность осталась внѣ политическихъ смутъ и выиграла. Общество «Матицы», единственное общественное учрежденіе Лужичанъ, воспользовалось событіями и составило петицію, собравшую множество подписей, о томъ, чтобы сербскій языкъ получилъ въ лужицкомъ краю тѣ же права, какія имѣетъ нѣмецкій, именно въ школѣ, въ церкви, передъ властями и передъ судомъ. Сербская депутація обратилась съ своей петиціей не въ палату, а къ министерству и королю; власти, забытыя и пренебрегаемыя страной, были польщены преданностью Сербовъ; въ дрезденскихъ событіяхъ только сербскій полкъ остался вѣренъ королю, — и потому усердіе лужицкаго народа не было забыто. По возстановленіи порядка саксонское правительство удовлетворило лужицкой петиціи и дало лужицкому языку право — въ народной школѣ, въ церкви и въ судѣ. Точно также держались сербскіе политики и въ спорахъ феодаловъ съ городскими демократами, и принявъ сторону первыхъ опять поддержали свой частный интересъ и значительно поправили матеріальное положеніе сельскаго населенія Лужичанъ.

Оффиціальное признаніе сербо-лужицкой народности въ королевствѣ, вниманіе къ ней членовъ королевскаго семейства, ревность сербскихъ предводителей дали совершенно новую физіономію этой, прежде забытой и презираемой народности. Она явилась открыто на общественную сцену; сербская книга стала необходимостью для сельскаго жителя; нравственное освобожденіе отъ гнетущаго ига скоро отразилось на улучшеніи матеріальнаго быта — деревни богатѣли, и Лужичане становились лучшими сельскими хозяевами края; цѣнность земли въ короткое время увеличилась въ

нѣсколько разъ. Смолеръ съ 1851 сталъ оффиціальнымъ преподавателемъ сербскаго языка при будишинской гимназіи. Его газета уже въ первые годы послѣ 1849 имѣла до 1200 подписчиковъ, что составляетъ весьма значительную цифру при 90,000 всего верхне-лужицкаго населенія.

Описанный нами переворотъ въ судьбѣ сербской народности происходилъ въ средѣ однихъ Верхнихъ Лужичанъ, въ Саксоніи. Часть Верхнихъ Лужичанъ, принадлежащая Пруссіи, хотя и не имѣетъ оффиціальныхъ выгодъ, пріобрѣтенныхъ земляками ихъ въ Саксоніи, тѣмъ не менѣе участвовала въ ихъ успѣхахъ, раздѣляя съ ними интересы народнаго образованія. Будишинъ оставался и для нихъ нравственнымъ центромъ, къ которому они тяготѣли. Не то было у Нижнихъ Лужичанъ. Мы видѣли, что и прежде положеніе ихъ было гораздо хуже; забывая свое родство съ верхне-лужицкими сосѣдями, на которыхъ они могли бы нѣсколько опираться, не имѣя силы сопротивляться сильно наступавшей германизаціи, они уже давно пришли въ такое состояніе, которое не обѣщало имъ будущаго. Еще въ недавнее время цѣлые приходы онѣмечивались; сельское населеніе, не находя подпоры въ образованномъ классѣ, мало по малу забывало языкъ и старые обычаи и равнодушно смотрѣло на постоянное паденіе своей народности и уменьшеніе ея численности. Книги были рѣдки, верхне-лужицкія изданія не находили здѣсь читателей, потому что народъ чуждался ихъ, хотя бы и могъ ихъ понимать. Нѣсколько людей, писавшихъ по нижне-лужицки, какъ пасторы Шиндлеръ, издатель Новаго Завѣта, Цваръ, составитель нижне-лужицкаго словаря, Бронишъ, Штемпель, потомъ Панкъ, Новка, Леманъ и др. не могли возбудить нижне-лужицкой народности, какъ это удалось у Верхнихъ Лужичанъ. Въ 1849 феодальная партія вздумала издавать для Нижнихъ Лужичанъ журналъ «Bramborski Serski Casnik» (бранденбургскій — какъ отличаютъ себя прусскіе Лужичане — сербскій журналъ), чтобы предохранить народъ отъ демократическихъ вліяній, и хотя журналъ издавался плохо, потому что редакторы плохо знали языкъ и вкусы народа, но по крайней мѣрѣ онъ открылъ дорогу. Другіе начали издавать популярныя книжки для народа; въ 1849 году при гимназіи въ Котбусѣ основалось такое же общество патріотической молодежи, какъ въ Будишинѣ; въ 1857 введено при названной гимназіи преподаваніе лужицкаго языка.....

Исторія возрожденія лужицкой народности представляетъ вообще одинъ изъ самыхъ удивительныхъ примѣровъ славянскаго движенія. Этому маленькому племени, составлявшему исключительно низшій классъ общества, лишенному всякихъ матеріальныхъ средствъ, издавна грозила совершенная германизація, — но при всемъ томъ общій потокъ національнаго движенія вынесъ и эту маленькую народность. Она всплыла снова на верхъ, съ попытками на независимую литературу, даже на двѣ, и какъ мы видѣли, въ короткое время успѣла достигнуть своей цѣли: литература укрѣпилась народнымъ сочувствіемъ и повидимому установилась прочно и крѣпко. Но

на этихъ же Лужичанахъ всего яснѣе видна и обратная сторона дѣла: легко видѣть, что эта литература осуждена остаться элементарной, ограничиваться книжками для первоначальнаго обученія и для простонароднаго чтенія. Матеріальный объемъ этой литературы не допускаетъ возможности болѣе сильнаго развитія: ея научныя стремленія подавляются сосѣдствомъ нѣмецкой книги; ея поэзія стѣснена узкими предѣлами народности, для которой бы она предназначалась; наконецъ, книга, выходящая за уровень элементарной и простонародной, не имѣетъ матеріальной возможности существованія, — ее некому покупать. Высшее образованіе и болѣе широкая поэзія предоставляются по необходимости чужому языку — будетъ ли это нѣмецкій или другое, болѣе сильное славянское нарѣчіе. Литература обусловливается слѣдовательно элементарностью народнаго образованія; другими словами, въ такихъ условіяхъ славянскія народныя литературы были бы не въ состояніи подвигать впередъ цивилизаціи, чего надѣялся отъ нихъ наивно увлекавшійся панславизмъ. Лучшее дѣло этихъ мелкихъ литературъ то, что онѣ сколько нибудь проводятъ въ народъ пріобрѣтенныя другими знанія и результаты: возбужденіе болѣе широкихъ потребностей образованія будетъ и предѣломъ этой литературы, потому что за этимъ предѣломъ она не въ состояніи будетъ выдержать культурнаго соперничества другихъ націй.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

ПОЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

Процессъ развитія польскихъ языка, литературы и государства весьма сложенъ; подкладка польской народности славянская, но славянская стихія не представляетъ ничего опредѣленнаго, выработаннаго, играетъ роль пассивную, подчиняется множеству внѣшнихъ вліяній, усваиваетъ заимствованное съ удивительною воспріимчивостью и требуетъ весьма долгаго времени на такую его переработку, въ которой-бы усвоенныя извнѣ формы выполнились вполнѣ народнымъ содержаніемъ.— Вопросъ о происхожденіи польскаго государства весьма теменъ и сложенъ [1]). По новѣйшимъ изслѣдованіямъ Шайнохи въ среду дробныхъ, невоинственныхъ, занимающихся земледѣліемъ племенъ славянскихъ разсыпанныхъ по теченію Эльбы, Одера и

[1]) См. по географіи: Michał Baliński i Tymoteusz Lipiński, Starożytna Polska pod względém historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana. Warszawa. 1850. 3 tomy.

— По исторіи: Adam Naruszewicz, Historja narodu polskiego, tomow 7 (доведена до Ягеллоновъ); — X. Teodor Waga, Historya książąt i królow polskich tom 1 wydany z przypiskami Lelewela. 1822; — Jerzy Samuel Bandtkie, Dzieje królestwa polskiego, tomow 2; — Joachim Lelewel: Dzieje polski opowiedziane synowcom. 1829. Warszawa; Polska wieków średnich tomow 4 i wstępny 1845 — 1853 w Poznaniu u Żupańskiego; Polska, dzieje jéj i rzeczy, tomow 7, 1855 — 1858 w Poznaniu u Żupańskiego; — Jędrzéj Moraczewski, Dzieje rzeczypospolitéj polskiéj (доведены до 1668 года) tomow 9. Poznań 1852—1855; — Henryk Schmitt, Rys dziejow narodu polskiego od najdawnejszych czasow znanych do r. 1763. Lwow 1854... (не кончено, вышли 3 тома); — W. Koronowicz (Wróblewski), Słowo dziejow polskich. Lipsk 1858—1860. 3 tomy; — Józef Szujski, Dzieje Polski podług ostatnich badań, Lwów 1862... (не кончено; начатъ томъ 3-й); — Richard Roeppel, Geschichte Polens 1 Bd. 1840 (доведена до начала 14 столѣтія); — Jacob Caro, Geschichte Polens (продолженіе труда Реппеля, 1300—1386). Gotha 1863.

— Словари и грамматики: Samuel Bogumił de Linde, Słównik języka polskiego. 1807—1814, 6 tomow; второе изданіе Lwow 1854—1862; — Starożytności polskie, 2 tomy. Poznań. 1846; — Józef Mroziński, Pierwsze zasady grammatyki języka polskiego. 1822. Warszawa; — Józef Muczkowski, Grammatyka języka polskiego. Poznań 1825; — Antoni Małecki, Grammatyka języka polskiego. Lwów 1864.

— Исторія литературы въ общихъ изслѣдованіяхъ: Lesław Łukaszewicz, Rys piśmiennictwa polskiego. 1836; — Michał Wiszniewski, Historya literatury polskiéj, tomow 7. Krakow 1840—1845; — Adam Mickiewicz, Cours de littérature lave professé au Collége de France. Paris. 1840—1845. 5 vol.; — Ludwik Kondra-

Вислы, внесены были первые зачатки общественной организаціи норманскими (ляшскими) дружинами, господствовавшими начиная съ 6 столѣтія послѣ Р. Х. отъ Балтійскаго моря до Карпатъ. Въ теченіи времени пришельцы ославянились, вслѣдствіе чего и совершился въ 9 вѣкѣ переворотъ, доставившій княжескую власть славянской, кметьей династіи Пястовъ.—Изъ сказаній о Лешкахъ, Кракусахъ, Попеляхъ могъ-бы составиться эпосъ народный, если-бы вся языческая старина не была закрыта, подавлена и стерта вслѣдствіе принятія христіанской религіи и наступательнаго движенія на востокъ германизма, которое поставило польскихъ государей на нѣкоторое время въ ленную зависимость отъ германо-римскихъ императоровъ. Германизмъ грозилъ западнымъ Славянамъ совершеннымъ истребленіемъ и поглощеніемъ и имѣлъ видъ вооруженнаго миссіонерства, огнемъ и мечемъ обращавшаго Славянъ въ одно и тоже время въ христіанство и въ подданство императору и Нѣмцамъ. Отъ нависшей страшной опасности спаслась Польша тѣмъ, что добровольно приняла въ 966 году христіанство по обряду римско-католическому, не отъ Нѣмцевъ, но отъ соплеменниковъ своихъ Чеховъ. Христіанство проникало къ западнымъ Славянамъ и изъ Византіи и изъ Рима, но римское католичество одержало верхъ надъ восточнымъ, распространилось быстро и укоренилось глубоко, сдѣлавшись одною изъ главныхъ основъ народной жизни по слѣдующимъ причинамъ: по существу своему оно было вполнѣ космополитическое, слѣдовательно весьма хорошо уживалось со всевозможными народностями, не мѣшая своеобразному ихъ развитію; латинскій языкъ, который употребляла эта религія, и проповѣдывающее ее духовенство явились проводниками и распространителями античной классической культуры; наконецъ подчиняясь главенству папы римскаго, народность польская нашла въ духовной власти папы надежную точку опоры для отраженія направленныхъ противъ нея посягательствъ со стороны свѣтской власти германо-римскаго императора. Принявъ крещеніе Польша преобразуется въ военную монархію и развиваетъ огромную силу въ борьбѣ своей съ Нѣмцами за независимость, которой отголосокъ слышится до сихъ поръ въ народной пословицѣ: jak świat światem, nie będzie Polak Niemcowi bratem. Среди этой борьбы погибли племена славянскія между Одеромъ и Эльбою,

towicz (Syrokomla), Dzieje literatury w Polsce. 2 tomy 1850—1852 (не кончено);—Wacław Aleksander Maciejowski, Pismiennictwo polskie (доведено до 1650 года) 3 tomy. Warszawa 1851—1852.—Kazimierz Władysław Wojcicki, Historya literatury polskiéj w zarysach. 2 изд. Warszawa 1859—1860. 3 tomy;—Juljan Bartoszewicz, Historja literatury polskiéj potocznym sposobem opowiedziana Warszawa 1861.— Съ 1855 года Kazimierz Jozef Turowski сталъ издавать новыми изданіями польскихъ классиковъ подъ общимъ заглавіемъ: „Biblioteka polska“. Эта Библіотека печаталась сначала въ Санокѣ (въ Галиціи), потомъ въ Краковѣ, и выходитъ отдѣльными выпусками, которыхъ насчитывается теперь до полутораста.

— Сборники народныхъ пѣсенъ: польскія народныя пѣсни нашли собирателей только въ послѣднія тридцать пять лѣтъ, начиная съ галиційскаго писателя Залѣскаго, который подъ псевдонимомъ Wacław z Oleska издалъ сборникъ пѣсенъ въ 1832 г. Особенно замѣчательны сборники Войцицкаго, Чечота, Жеготы Паули, О. Кольберга. Послѣдній (въ „Pieśni ludu polskiego“, Warszawa 1857) представилъ и множество напѣвовъ.

не хотѣвшія покинуть язычества, онѣмечены Силезія и Балтійское Поморье, въ самую сердцевину славянства загнанъ клинъ поступленіемъ Пруссіи во владѣніе ордена тевтонскихъ крестоносцевъ, наконецъ аванпостами нѣмецкой народности явились города, основанные большею частію у всѣхъ почти западныхъ Славянъ нѣмецкими выходцами. Народности польской удалось однако создать прочное государство, освободиться отъ всякаго подчиненія имперіи, ополячить городское свое населеніе, распространить далеко свое вліяніе на русскій востокъ, изнемогавшій подъ татарскимъ игомъ, соединить судьбу Польши съ судьбою Великаго Княжества Литовскаго возведеніемъ на польскій престолъ въ 1386 году литовской династіи Ягеллоновъ и совокупными силами Польши и Литвы нанести рѣшительный ударъ тевтонскому ордену на побоищѣ грюнвальдскомъ въ 1410 году. Отстоявъ свою политическую самобытность, польская народность не подчинилась германизму и въ умственномъ отношеніи; она не увлеклась крестовыми походами, она не усвоила себѣ ни феодальной системы, ни рыцарства съ его культомъ чести личной, она выработала почти исключительно на античныхъ, и преимущественно на латинскихъ образцахъ, литературу, въ которой нѣтъ никакихъ почти слѣдовъ романтизма, порывовъ къ неземному, исканія сверхъестественнаго. Вся эта литература отличается чувствомъ довольства, спокойнымъ настроеніемъ, положительнымъ направленіемъ, своею гражданственностью, своими патріотическими мотивами. Подобно римской вся эта литература носитъ на себѣ характеръ политическій и вращается вокругъ государственныхъ и общественныхъ вопросовъ; подобно римской она служитъ главнымъ образомъ выраженіемъ жизни одного только сословія, принимающаго непосредственное участіе въ общественной дѣятельности; проникнутая духомъ гражданской свободы и идеею личности, она остается все таки *шляхетскою*. Высшей точки своего развитія эта литература достигаетъ въ 16-мъ столѣтіи въ такъ называемый золотой періодъ Сигизмундовъ, когда при послѣднихъ государяхъ изъ дома Ягеллоновъ шляхтѣ удалось достигнуть преобладанія, превратить наслѣдственный престолъ королей въ избирательный, въ родъ федеративной республики, имѣющей во главѣ весьма ограниченнаго въ правахъ своихъ монарха, включить въ составъ этой республики и соединить съ нею прочными связями уніи нединастической только, но реальной, многія земли прусскія, литовскія и русскія.

Первый толчекъ развитію богатой литературы періода Сигизмундова дала реформація. Изъ Богеміи проникло въ 14-мъ столѣтіи ученіе Гуса, изъ Германіи протестантизмъ; чтобы привлечь на свою сторону массы, эти ученія заговорили языкомъ общепонятнымъ, народнымъ, и заставили само духовенство римско-католическое оставить латынь и сражаться съ ними орудіемъ народнаго слова. Протестантизмъ распространялся тѣмъ съ большею быстротою между шляхтою, что онъ совпадалъ и согласовался съ развившеюся въ шляхтѣ наклонностью къ расширенію политическихъ свободъ; къ другимъ пріобрѣтеннымъ свободамъ шляхта рада была прибавить сво-

боду вѣроисповѣданія. Въ то время когда во всей западной Европѣ лилась кровь изъ-за вѣры, въ одной Польшѣ религіозная пропаганда совершалась безпрепятственно въ 16-мъ столѣтіи, плодились и размножались до безконечности религіозныя секты. Въ живой, воспріимчивой природѣ славянской вообще замѣтна неспособность къ мѣрному и постепенному развитію, къ строгому разграничиванію сферъ человѣческой дѣятельности, къ остановкамъ на полъ-дорогѣ въ извѣстномъ направленіи, напротивъ видна склонность къ немедленному практическому примѣненію къ дѣлу отвлеченныхъ идей. Этими свойствами славяно-польскаго характера объясняется то, что протестантизмъ шляхетскій въ Польшѣ, не остановившись ни на лютеранизмѣ, ни на кальвинизмѣ, дошелъ до аріанства, и склонялся къ отрицанію всякихъ вообще религіозныхъ догматовъ, а въ области политики подкапывался подъ двѣ коренныя основы общественнаго быта Польши: подъ власть королевскую, которой окончательно связаны были руки и подъ авторитетъ церкви и юрисдикцію духовныхъ судовъ. Крайности протестантизма вызвали въ народѣ реакцію, которая и обнаружила, какъ поверхностно было протестантское движеніе и какъ мало ему сочувствовали народныя массы. Органомъ реакціи является орденъ іезуитовъ, который успѣлъ въ очень скоромъ времени распространиться, завладѣть всѣми почти заведеніями народнаго просвѣщенія и послѣдовательно воспитать нѣсколько поколеній въ духѣ фанатизма и религіозной нетерпимости, столь несвойственной, до того времени, народному характеру. Іезуиты восторжествовали надъ протестантизмомъ, но въ ихъ рукахъ изсякъ родникъ народной поэзіи и творчества; порча вкуса выразилась въ безобразной напыщенной литературѣ макаронической 17-го и первой половины 18-го вѣка. Въ тѣхъ же видахъ узкой сектаторской пропаганды орденъ сталъ дѣйствовать и на церковь греко-восточную, съ цѣлью привести ее въ подчиненіе папѣ, чего орденъ и достигъ отчасти посредствомъ уніи брестской 1596 года. Плоды религіозныхъ гоненій были горькіе: сближеніе протестантовъ съ православными для общей защиты, козацкія войны, вмѣшательство иностранныхъ державъ во внутреннее устройство Польши подъ видомъ защиты своихъ единовѣрцевъ, изнеможеніе государственнаго организма, наконецъ потеря самобытности политической. Паденіемъ своимъ польское государство столько-же обязано умственному застою, въ который общество погрузилось подъ вліяніемъ убаюкавшихъ его ко сну іезуитовъ, сколько и политическому консерватизму шляхты, которая, достигнувъ полнаго господства въ государствѣ, отдѣлялась все болѣе и болѣе отъ остальныхъ слоевъ народонаселенія, превращалась въ касту, забывая о потребностяхъ народныхъ массъ, и совершеннымъ ослабленіемъ королевской власти лишила эту власть возможности содѣйствовать благосостоянію низшихъ рабочихъ классовъ и призвать своимъ начинаніемъ мѣщанство и крестьянство къ общественной дѣятельности. Сознаніе этихъ коренныхъ недостатковъ польской конституціи явилось въ обществѣ во второй половинѣ 18-го столѣтія. Обра-

зованный, умный, но слабый характеромъ послѣдній изъ польскихъ государей, Станиславъ Августъ Понятовскій, хотѣлъ помочь Польшѣ и противодѣйствовать злу распространеніемъ просвѣщенія, преобразованіемъ на широкихъ основаніяхъ системы народнаго просвѣщенія, исправленіемъ вкуса, покровительствомъ литераторамъ и артистамъ. Вокругъ короля мецената собралась цѣлая плеяда замѣчательныхъ талантовъ, языкъ очистился и сдѣлался проще, начался новый періодъ развитія для литературы. При всемъ своемъ блескѣ и изяществѣ формы эта литература есть ничто иное какъ чистѣйшее подражаніе французской литературѣ «освобожденія». Въ ней сквозитъ тотъ же ѣдкій раціонализмъ, та же поверхностная критика, осмѣивающая преданія, презрительно и свысока относящаяся къ исторіи. Въ своихъ политическихъ стремленіяхъ передовые люди реформы не шли дальше буржуазнаго либерализма, то есть признанія за крестьянствомъ личной свободы, призванія мѣщанства къ участію въ представительномъ правленіи, и превращенія королевской власти изъ избирательной въ наслѣдственную. Попытки реформы не могли быть проведены, потому что онѣ были чистымъ подражаніемъ иностранному и шли въ разрѣзъ со всею исторіею народа, съ самыми жизненными его преданіями и что мѣщанскій идеалъ умѣренно-либеральнаго общественнаго устройства былъ слишкомъ узокъ для народа, въ составѣ коего небыло почти мѣщанскихъ элементовъ, а дворянство коего имѣло о гражданской свободѣ гораздо болѣе высокія понятія нежели многія современныя общества западно европейскія, за исключеніемъ Англіи. Разслабленный политическій организмъ не вынесъ работы внутренняго преобразованія, конституція 3 мая 1791 сдѣлалась духовнымъ завѣщаніемъ падающаго государства. Въ кровавой драмѣ раздѣловъ Польши рушились окончательно средневѣковыя формы весьма свободной, но исключительно шляхетской Рѣчи посполитой.

Подъ развалинами государства уцѣлѣла народность, которая стала возрождаться къ новой жизни и при самыхъ неблагопріятныхъ для нея обстоятельствахъ явила замѣчательные примѣры необыкновенной своей силы и живучести. Единственнымъ почти органомъ ея послѣ потери самостоятельности политической и національныхъ учрежденій является литература. Эта литература, отдѣлавшись отъ французскаго псевдо-классицизма и познакомившись съ западно-европейскимъ ново-романтизмомъ, поставила себѣ задачею связать разорванныя нити народныхъ преданій, при совершенно новыхъ внѣшнихъ условіяхъ быта и при сознанной невозможности какихъ бы то ни было аристократическихъ привилегій, которыя бы обезпечивали искусственнымъ образомъ преобладаніе одному классу общества надъ остальными. Эту литературу можно упрекнуть въ томъ, что она задавалась иногда несбыточными мечтаніями, потому что въ самомъ дѣлѣ она занималась болѣе прошедшимъ и будущимъ, нежели настоящимъ, что она обнаруживала тенденціи слишкомъ исключительно политическія и слишкомъ мало вниманія обращала на соціальную сторону поднимаемыхъ ею вопросовъ. При

всѣхъ своихъ увлеченіяхъ и недостаткахъ, эта литература, замѣчательно богатая, есть самая оригинальная, можетъ быть, между славянскими; она несравненно своеобразнѣе и національнѣе и литературы періода Сигизмундовъ, подражавшей древнимъ классикамъ, и литературы временъ короля Понятовскаго, подражавшей Французамъ, тѣмъ болѣе что опустившись до простаго народа, она черпала свое содержаніе въ богатой сокровищницѣ народнаго быта, народныхъ повѣрій, и тщательно изучала особенности мѣстныя, провинціальныя. Этотъ новый періодъ литературы польской въ 19-мъ столѣтіи можно назвать по двумъ главнымъ дѣятелямъ, съ которыхъ начинается ея возрожденіе, періодомъ Мицкевича и Лелевеля.

1. Періодъ съ древнѣйшихъ временъ до 16-го столѣтія.

Въ эпоху принятія христіанской религіи племена славянскія, изъ которыхъ составился польскій народъ, стояли на весьма низкой степени умственнаго развитія, безъ письменности, съ весьма бѣдною системою миѳологіи, которая не шла дальше натурализма и чуждалась, по свидѣтельству современнаго Болеславу Храброму епископа мерзебургскаго Дитмара, всякихъ представленій о жизни загробной. Польша не можетъ представить не только никакого эпоса, подходящаго къ Слову о полку Игоря или къ рапсодіямъ Краледворской рукописи, но и никакого вообще литературнаго памятника, который бы черпалъ свое содержаніе изъ міросозерцанія языческаго и имѣлъ прямую связь со стариною языческою. Бѣдная поэзія народная жила устнымъ преданіемъ въ пѣсни и сказкѣ. Вслѣдствіе принятія христіанства по обряду римско-католическому народная почва покрыта была толстымъ слоемъ наносной латинской культуры, которой разсадниками явились школы основываемыя духовенствомъ. Первыя школы были монастырскія, основанныя древнѣйшимъ орденомъ св. Бенедикта и другими орденами; потомъ появились школы каѳедральныя и приходскія. Въ школахъ этихъ знанія преподаваемы были по системѣ *trivii* и *quadrivii*, сверхъ римской церковной литературы изучаемы были классическіе римскіе поэты и историки, школы дѣлились на высшія и низшія, высшими считались соборная въ Познани (Kollegium Lubrańskiego, основ. 1516) и церкви св. Маріи въ Краковѣ. Любознательные дополняли свое образованіе посредствомъ путешествій и посѣщенія университетовъ иностранныхъ, напр. парижскаго. Когда послѣ усобицъ періода удѣловъ Владиславу Локтику удалось собрать опять въ сильныхъ рукахъ разрозненныя части державы Болеслава Храбраго, тогда сознана была польскими королями потребность украсить свое царство основаніемъ въ Краковѣ университета. Сынъ Локтика Казиміръ Великій пытался создать такой университетъ, открывъ въ 1364 г. въ селѣ Баволъ (нынѣ предмѣстье Кракова Казимѣржъ) *studium generale* изъ трехъ факультетовъ: юридическаго, медицинскаго и философскаго. Впрочемъ попытки эти неудались, профессоровъ недоставало, преподаваніе шло безуспѣшно, наконецъ при преемникѣ Казиміра, королѣ польскомъ и венгерскомъ Лоисѣ,

это учрежденіе пришло въ совершенное разстройство и упадокъ, вслѣдствіе чего польская молодежь стала толпами посѣщать университетъ пражскій въ Чехіи. Настоящими основателями краковскаго университета (академіи) были королева Ядвига и Владиславъ Ягелло. По ходатайству Ядвиги папа Бонифацій IX разрѣшилъ предполагаемому къ возстановленію заведенію имѣть сверхъ трехъ прежнихъ факультетовъ четвертый, богословскій. Университетъ краковскій открытъ былъ торжественно Ягеллою въ 1400 году. Канцлеромъ его положено быть ex officio епископу краковскому; эта зависимость отъ краковскаго владыки и преобладаніе богословскаго факультета надъ остальными сдѣлали изъ краковской академіи учрежденіе преимущественно религіозное, дочь церкви, подпору схоластики. Этому направленію академія осталась вѣрна до самаго паденія Польши. Краткій періодъ ея процвѣтанія совпадаетъ съ царствованіемъ династіи ягеллонской; тогда-то она произвела знаменитаго мыслителя Григорія изъ Санока (+1477), Яна Глоговчика, изобрѣтателя френологіи (+1507), Николая Коперника (1473 — 1543), историка Яна Длугоша. Пока волновавшій тогда умы религіозный вопросъ стоялъ только на томъ, чтобы внутри церкви произвести реформу, исправить ея іерархію и преобразовать распущенные нравы, краковская академія сочувствовала этому движенію, поддерживала литературныя связи съ пражскимъ университетомъ, внимала порою проповѣди гусситской и содѣйствовала немало быстрому распространенію гусситскихъ ученій. Но когда явился протестантизмъ и произвелъ рѣшительный расколъ, окончательно отщепившись отъ церкви, тогда академія отшатнулась отъ него, заключилась въ самый узкій ортодоксальный консерватизмъ, имѣвшій послѣдствіемъ совершенный упадокъ прежняго ея значенія. Профессора занимались кропаніемъ плохихъ книжонокъ, богословскими диспутатами, астрологіею; въ академіи царили плохая церковная латынь и затхлая схоластика. Народъ сдѣлался равнодушенъ къ учрежденію омертвѣвшему. Точно въ такой же упадокъ стали приходить и подвѣдомственныя краковской академіи низшія школы, основанныя и управляемыя ею по всему государству, числомъ до 40. Она не въ состояніи была бороться успѣшно съ протестантизмомъ; когда же выполнить эту задачу взялись іезуиты и стали основывать вездѣ свои коллегіи, тогда академія вступила съ ними въ споръ, доказывая, что она имѣетъ монополію въ дѣлѣ народнаго воспитанія; въ этомъ спорѣ изъ-за привилегій она была побѣждена.

Единственнымъ письменнымъ языкомъ былъ языкъ латинскій, народъ молился и препирался въ судахъ по польски, но проповѣди и приговоры судебные писались по латыни; этимъ же языкомъ писанъ первый кодексъ, заключающій въ себѣ земское право Польши, извѣстный подъ именемъ статута вислицкаго 1347 г. Искусственная латинская литература въ Польшѣ весьма богата и вмѣщаетъ въ себѣ два главные рода произведеній: лѣтописи и поэзію, преимущественно лирическую. Въ лѣтописяхъ сказывается въ иностранной формѣ здоровый практическій смыслъ народа, теп-

лое чувство патріотизма и замѣчательное пониманіе общественныхъ интересовъ. Хотя до самаго 16-го столѣтія исторіографія не выходила изъ рукъ единственнаго книжнаго сословія того времени—духовенства, но въ лѣтописцахъ польскихъ замѣтно очень мало отшельническаго аскетизма, они люди дѣятельные, принимавшіе самое живое участіе въ дѣлахъ государственныхъ, гражданскихъ, дипломатическихъ и даже военныхъ; они изумляютъ часто глубокимъ пониманіемъ событій и художественнымъ ихъ воспроизведеніемъ. Таковы древнѣйшіе лѣтописцы, сподвижникъ короля Болеслава Кривоустаго Галлъ (┼ около 1119), повидимому иностранецъ, но до того сроднившійся съ Польшею, что въ его разсказѣ, перемѣшанномъ со стихами и нелишенномъ поэтическаго колорита, слышится множество полонизмовъ; епископъ краковскій Викентій Кадлубко (1160┼1223), котораго хроника пріобрѣла такую извѣстность, что употреблялась въ школахъ какъ руководство для изученія отечественной исторіи; Годиславъ Башко (┼около 1272); желчный, талантливый Янко изъ Чарнкова, архидіаконъ гнезненскій (┼ около 1389); наконецъ первый критическій историкъ польскій, котораго громадный трудъ составляетъ главный, а иногда единственный источникъ для исторіи царствованій трехъ первыхъ Ягеллоновъ, каноникъ краковскій Янъ Длугошъ изъ Недзѣльска герба Вѣнява (┼1480), другъ кардинала Збигнева Олесницкаго и короля Казиміра Ягеллона, воспитатель дѣтей королевскихъ, замѣчательный ученый, искусный дипломатъ и великій гражданинъ съ непреклоннымъ и ничѣмъ незапятнаннымъ характеромъ. Къ числу польскихъ историковъ въ этомъ періодѣ слѣдуетъ причислить тосканца родомъ, Филиппа Буонаккорси по прозванью Каллимаха (┼1496), любимца короля Яна Альбрехта, подававшаго ему совѣты въ духѣ Макіавеля, которые клонились къ подорванію и обузданію шляхты и ко введенію самодержавнаго правленія. Этотъ Каллимахъ оставилъ написанный имъ со словъ очевидца Григорія изъ Санока великолѣпный въ художественномъ отношеніи разсказъ о крестовомъ походѣ на Турокъ Владислава III Ягеллона и о богатырской смерти его на побоищѣ подъ Варной.

Латинская поэзія въ Польшѣ есть тепличный плодъ школьнаго педантизма и придворныхъ нравовъ. Сухая и холодная, она расточала весь запасъ образовъ античной миѳологіи на эпитафіи, эпиталаміи, на хвалебные гимны и колкія эпиграммы. Она составляла занятіе весьма выгодное и хлѣбодатное, потому что выводила своихъ воздѣлывателей въ люди, сажала ихъ на каѳедры университетскія и епископскія, давала имъ вліятельныя должности придворныя и дипломатическія за границею. Съ легкой руки перваго профессора піитики въ краковской академіи Павла изъ Кросьна, ученикъ его Янъ изъ Вислицы написалъ тяжелую эпическую поэму о сраженіи грюнвальдскомъ въ подражаніе Виргиліевой Энеидѣ; два другіе ученика, Андрей Кржицкій приматъ, и Янъ Флаксбиндеръ болѣе извѣстный подъ именемъ Дантиска, епископъ вармійскій (┼ 1578), писали стихи лирическіе

и сатирическіе. До высшей степени чистоты, изящества и совершенства довелъ отдѣлку стиха питомецъ Кржицкаго, сынъ великопольскаго крестьянина Климентъ Яницкій (1516—1543), который до того проникнулся духомъ римской литературы, что его можно бы взять за современника Катулла или Овидія. Спеціальность его—элегія, а содержаніе пѣснопѣній—собственная личность поэта, которою онъ занятъ исключительно, такъ что муза его описываетъ малѣйшія подробности его небогатой происшествіями жизни или занимается прославленіемъ его благодѣтелей и покровителей. Великіе народные поэты періода Сигизмундова Янъ Кохановскій, Шимоновичъ и Кленовичъ пробовали силы свои въ латинскомъ стихѣ, но только латинскія произведенія Кленовича заслуживаютъ вниманія, объ нихъ скажемъ въ послѣдствіи при разборѣ польскихъ его сочиненій: бѣдный люблинскій мѣщанинъ написалъ противъ всемогущей тогда шляхты ѣдкую политическую сатиру *(Victoria Deorum)*; чтобы не накликать на свою голову бѣды, онъ закуталъ ее въ латинскій стихъ и прикрылъ свою мысль громаднымъ аппаратомъ школьной учености. Сатира эта прозвучала безслѣдно, она не возбудила даже негодованія въ самодовольномъ обществѣ, на нее просто не обратили вниманія. И въ послѣдующія времена ново-латинская поэзія имѣла еще многихъ адептовъ, хотя ряды ихъ значительно рѣдѣютъ и въ произведеніяхъ ихъ замѣтенъ упадокъ вкуса. Послѣдній важнѣйшій между ними былъ Матвѣй Казиміръ Сарбѣвскій (или Sarbevius, † 1640), іезуитъ, потратившій непроизводительно замѣчательный по огню и силѣ талантъ на лирическія пѣснопѣнія на мертвомъ языкѣ. Сарбѣвскій не имѣлъ никакого вліянія на развитіе народной литературы, но онъ пріобрѣлъ громкую европейскую извѣстность между учеными латинистами 17-го столѣтія; онъ добился того, что его ставили на ряду съ Гораціемъ, что его до сихъ поръ изучаютъ въ школахъ, особенно въ Англіи, и что папа Урбанъ VIII увѣнчалъ его лавровымъ вѣнкомъ въ Капитоліи. Предметы, воспѣваемые Сарбѣвскимъ, были вѣра, церковь и война съ Турками; лира его звучитъ громкимъ призывомъ къ западной Европѣ на крестовый походъ и на освобожденіе Грековъ [2]).

О народной польской литературѣ въ этомъ періодѣ не можетъ быть и рѣчи, существуютъ только весьма немногіе памятники письменности польской и начинаются похожіе на дѣтскій лепетъ первоначальные опыты поэзіи на грубомъ и необдѣланномъ народномъ языкѣ. Есть несомнѣнные слѣды того что въ древнѣйшія времена кирилловская азбука была въ употребленіи въ Польшѣ, и что до 13-го столѣтія ею пользовались бенедиктинцы, но въ 13-мъ столѣтіи орденъ этотъ упалъ, мѣсто его заняли цистерсы, премонстратензы, доминиканцы, которые относились болѣе неблагосклонно

[2]) Вся эта латинская поэзія въ Польшѣ оставалась мертвымъ капиталомъ, пока въ пятидесятыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія лучшія изъ ея произведеній не были переведены великолѣпными стихами на польскій языкъ Людвигомъ Кондратовичемъ (Przekłady poetow polsko-łacińskich przez Władysława Syrokomlę).

къ народности славяно-польской и влiянiю которыхъ можно приписать, что кириллица вытѣснена была латинскимъ алфавитомъ, рукописи же, писанныя кириллицею, всѣ до одной изчезли, забытыя или даже истребленныя въ 15-мъ столѣтiи духовенствомъ, которое, будучи напугано гусситизмомъ, крайне подозрительно смотрѣло съ тѣхъ поръ на древне-славянскiя письмена [3]). Такъ какъ языки славянскiе имѣютъ болѣе звуковъ нежели латинскiй, то необходимость заставила развить латинскiй алфавитъ и сдѣлать его пригоднымъ для выраженiя этихъ звуковъ, т. е. дополнить его изобрѣтенiемъ новыхъ знаковъ. Въ правописанiи замѣчается страшная запутанность и сбивчивость, каждое поколѣнiе пишетъ иначе. Въ 15-мъ столѣтiи творецъ польской грамматики Янъ Паркошъ изъ Журавницы, каноникъ краковскiй (умершiй послѣ 1451), пытался установить правила правописанiя, совѣтовалъ употреблять iоты и носовыя гласныя ą, ę, ставить знаки и перечеркивать согласныя (ń, ś, ł и т. п.). Первыми дѣятелями на поприщѣ польской письменности явились духовные, которымъ надобно было научить простой народъ молиться, и такъ какъ христiанство пришло въ Польшу изъ Чехiи, а чешскiй языкъ раньше польскаго подвергся литературной обработкѣ, то съ самаго начала польская рѣчь испытала сильное влiянiе чешской, которое продолжается замѣтнымъ образомъ вплоть до 15 столѣтiя, чему доказательствомъ могутъ служить выписки, сохранившiяся отъ сборника церковныхъ пѣсенъ, извѣстнаго подъ именемъ Канцiонала Пржеворщика 1435 г.; слогъ этихъ пѣсенъ, большею частью заимствованныхъ изъ чешскаго, пестрѣетъ чехизмами. Старѣйшую изъ церковныхъ пѣсенъ преданiе приписываетъ св. Войтѣху, епископу пражскому, апостолу Поморянъ (†997). Это пѣснь о *Богородицѣ*, которую, начиная со временъ Болеслава Храбраго, пѣло воинство идя на бой, которая была помѣщаема на первыхъ страницахъ собранiй законовъ и которая до самаго паденiя Польши считалась нацiональнымъ гимномъ Поляковъ. Первоначальный текстъ этой пѣсни не дошелъ до насъ; древнѣйшiе два списки ея относятся одинъ къ 1408 г., другой къ 1456 г. Она разросталась отъ придѣлываемыхъ къ ней каждымъ вѣкомъ новыхъ строфъ, да и языкъ ея измѣнился, такъ что онъ сдѣлался чисто польскимъ, между тѣмъ какъ первоначально онъ былъ, по всей вѣроятности, ближе къ чешскому [4]). На-

[3]) Bartoszewicz, Histor. liter. polsk. str. 23.

[4]) Приведемъ двѣ первыя строфы, которыя однѣ считаетъ Мацѣевскiй (Piśmiennictwo polskie, dodatki str. 40) произведенiемъ Св. Войтѣха:
Bogw rodzicza dziewicza bogem slawena maria
W twego syna gospodzina mathko swolena maria
Szysci nam spwsczi nam kyrieleyson
Twego dzela Krzcziczela bozide uslisz gloszv napelni myśli czlowecze
Szlisz modlithwa yanz naszymi oddacz radzij yegosz prosimi a na swecze sboszni pobith poszywecze rayski przebith kyrieleyson.
(Богородица дѣва, Богомъ прославленная Марiя,
У твоего сына господина мать возлюбленная Марiя,
Исполни намъ, допусти намъ, кирiе элейсонъ.

родному языку церковь оказала большія услуги. Когда въ 13-мъ столѣтіи вслѣдствіе наѣздовъ татарскихъ, въ обезлюдѣлой странѣ стали толпами селиться колонисты-Нѣмцы, основывая селенія и города, духовенство польское заступилось за польскій языкъ и спасло его отъ наводняющаго страну германизма. Соборными постановленіями архіепископовъ гнезненскихъ Фулькона (Pełko) 1257 г. и Якова Свинки предписано духовнымъ учить народъ на польскомъ языкѣ: *Отче нашъ*, *Богородице дѣво*, *Вѣрую* и молитвѣ: *каюсь Богу;* приходскимъ священникамъ приказано основывать школы и опредѣлять въ эти школы учителями только лица, знающія польскій языкъ. Съ конца 13-го столѣтія начинаются переводы священнаго писанія на польскій языкъ, наконецъ отъ 15-го столѣтія уцѣлѣло пять пѣсенъ религіознаго содержанія, приписываемыхъ пріору монастыря св. Креста на Лысой горѣ Андрею изъ Слупя или Слопуховскому (умершему послѣ 1497 г.), которыя по своей неподражаемой наивности, задушевности и яркости красокъ въ духѣ чистѣйшаго католицизма далеко превосходятъ всѣ послѣдующія произведенія того же рода. Въ этихъ пѣсняхъ поэтъ обращается къ Богородицѣ, называя ее «матушкою Божіею краше розъ райскихъ, царевною небесною, звѣздою заморскою, зарею ясною, солнцемъ вѣчнаго свѣта, —съ нею неможетъ сравняться ни лилія бѣлизною, ни роза красотою, ни цвѣтъ заморскій цѣною, ни нардъ благоуханіемъ» [5]. Чистые, спокойные аккорды этой церковной лирики прерывается порою острыми звуками проповѣди гусситской. Отъ одного изъ послѣдователей новаго ученія, магистра краковской академіи Андрея Галки изъ Добчина, жившаго въ половинѣ 15-го столѣтія, сохранился хвалебный гимнъ Виклефу, замѣчательный не по таланту, котораго мало въ этихъ виршахъ, но потому что они представляютъ попытку обратить пѣснь въ орудіе религіозной пропаганды.

Рядомъ съ старою церковною лирикою пробивалась наружу другая струя поэзіи народной свѣтской, лирико-эпической. Народъ забылъ свою эпическую старину, но принявъ крестъ онъ совершилъ много славныхъ подвиговъ, создавъ могущественное государство и отстоявъ его многократно на полѣ битвы; сознаніе народности выразилось въ многихъ пѣсняхъ и думахъ военныхъ и другихъ историческихъ, которыя извѣстны намъ почти только по заглавіямъ и начальнымъ стихамъ [6].

Ради твоего крестителя божича услыши голоса, исполни мысли человѣческія. Услыши молитву, которую мы приносимъ, желая исполненія; его мы просимъ о томъ, чтобы онъ намъ далъ въ этомъ мірѣ блаженное пребываніе, а послѣ этого міра райскую обитель).

[5]) Приводимъ еще отрывокъ, выражающій плачъ Богородицы у креста:
Synku! zèbym cię tu nizėj miala—Niecobym bym ci dobomagala — Twoja glòwka wisi krzywo, jaćbym ją podparła—Krew po tobie plynie—jaćbym ją otarła—Nápoju wołasz; napoju bym ci dala—Lecz nie mogę dzwignąć twego świętehо ciala.

[6]) A witaj że nam witaj miły hospodynie — при возвращеніи въ Польшу короля Казиміра Обновителя; пѣснь о замиреніи Болеслава Кривоустаго съ Поморянами, пѣсня о Людгардѣ женѣ короля Пржемыслава, пѣсня о войтѣ краковскомъ Альбертѣ, бунтовавшемъ противъ короля Владислава Локтика; пѣсня о битвѣ грюнвальдской: «idzie Witold po ulicy, przed nim niosą dwie szablicy»

*

2. Золотой вѣкъ Сигизмундовъ.

Въ 16-мъ столѣтіи польская Рѣчь посполитая достигла высшей степени своего развитія и вмѣщала въ себѣ, въ болѣе значительной степени нежели многія государства западной Европы, два необходимыя условія благосостоянія: внѣшнее могущество и внутреннюю гражданскую свободу. Польша была весьма могущественна. Ея владѣнія простирались отъ береговъ Балтійскихъ до теперешнихъ новороссійскихъ степей и отъ Карпатъ далеко за Двину и за Днѣпръ. Преемники двухъ раздавленныхъ рыцарскихъ орденовъ, тевтонскаго и меченосцевъ, князь прусскій и герцогъ курляндскій, были въ ленной зависимости отъ короля польскаго. Вліянію Польши подчинялись Молдавія и Валахія; не было счету окружавшимъ короля князьямъ литовскимъ и русскимъ. Ягеллоны садились весьма часто на престолы чешскій и венгерскій. Громадныя матеріальныя силы Рѣчи посполитой обезпечивали за нею совершенную безопасность отъ внѣшнихъ непріятелей и давали ей возможность обратить всю свою дѣятельность на внутреннее развитіе. Послѣдніе два Ягеллона Сигизмундъ I и Сигизмундъ Августъ поддерживали дружественныя сношенія не только съ западною Европою и съ Московіею, но даже и съ врагами всего христіанства, султанами турецкими Солиманомъ и Селимомъ II. Подъ сѣнію благодатнаго мира военное завоевательное государство, имѣвшее когда-то дружинно-вѣчевое устройство, превращается окончательно въ землевладѣльческое и земледѣльческое съ представительною формою правленія. Шляхта, называвшаяся въ прежнія времена рыцарскимъ сословіемъ становится теперь преимущественно земствомъ (ziemiaństwo), такъ что политическою полноправностью пользуются только поземельные собственники дворянскаго происхожденія (bene nati et possessionati). Шляхта ворочаетъ всѣмъ; она имѣетъ въ рукахъ мѣстное земское самоуправленіе, она превратила даже королевскую власть въ учрежденіе отъ себя зависимое посредствомъ избранія королей, она участвуетъ во власти законодательной съ королемъ и сенатомъ посредствомъ своихъ земскихъ нунціевъ или пословъ, дѣйствующихъ по даваемымъ имъ земствами инструкціямъ, и въ судѣ посредствомъ выборныхъ судей. Самъ сенатъ или дума королевская былъ учрежденіе чисто шляхетское, потому что состоялъ изъ высшихъ сановниковъ государственныхъ и земскихъ, духовныхъ и свѣтскихъ, назначаемыхъ на эти должности королемъ изъ среды значительнѣйшихъ землевладѣльцевъ. Землянинъ польскій пренебрегалъ промышленностью техническою и торговлею, предоставляя ихъ мѣщанамъ, иноземцамъ, евреямъ; онъ считалъ исключительно приличными ему занятіями земледѣліе и общественную службу, гражданскую и военную. Вся шляхта представляла какъ-бы одно военно-земледѣльческое братство, готовое ополчиться поголовно въ случаѣ надобности для отраженія опасности, но ведущее только войны оборонительныя и глядящее весьма подозрительно

на завоевательные замыслы и планы тѣхъ изъ своихъ государей, которые одушевлены были болѣе воинственнымъ духомъ (напр. Баторій), изъ опасенія, чтобы не увеличилась въ ущербъ шляхетской свободѣ королевская власть. Польская поэзія любитъ представлять это миролюбивое настроеніе духа въ слѣдующей характеристической картинѣ: убогій шляхтичъ, считающій себя въ душѣ равнымъ по достоинству любому воеводѣ, пашетъ землю, снявъ съ себя саблю и вонзивъ ея клинокъ въ межу своей отчины.

Россію теперешнюю называютъ иногда *мужицкимъ* государствомъ, такъ точно Польшу можно было бы назвать *помѣщичьимъ* государствомъ. Оба прилагательныя не содержатъ въ себѣ ни критики ни укора, а одно простое признаніе факта; они обозначаютъ, что главную силу Россіи составляетъ безспорно простой народъ, между тѣмъ какъ главную силу Польши составляла владѣющая землею шляхта. Элементы землевладѣльческіе, вѣчевые существовали въ изобиліи и въ древней Руси, но они были разметены пришествіемъ Татаръ и московскою централизаціею; извѣстно, какъ безслѣдно пропали всѣ сѣверно-русскія народоправства. Эти же самые элементы достигли въ Польшѣ полнаго развитія и легли въ основаніе общественнаго устройства, сообщивъ этому устройству весьма оригинальный характеръ. При всѣхъ своихъ недостаткахъ это устройство въ высокой степени способствовало развитію личности, и проявленію великихъ гражданскихъ доблестей. Начало полнаго равенства, составлявшее сущность шляхетства, по которому бѣдный усадебный шляхтичъ считался нисколько не хуже первѣйшаго магната, развивало въ этомъ сословіи сильное сознаніе личнаго достоинства, безъ котораго нѣтъ настоящей свободы. Это чувство не походило нисколько на выросшій на почвѣ романтики *point d'honneur* испанскій или французскій, щепетильный, всегда готовый бросить перчатку и обнажить шпагу за малѣйшее язвительное слово или движеніе, задѣвающее личное самолюбіе. Масштабомъ достоинства считалось только служеніе обществу; *rei privatae* противополагалась постоянно *res publica*, причемъ долгомъ честнаго гражданина считалось жертвовать первою послѣдней; подлымъ человѣкомъ признаваемъ былъ тотъ, кто дѣйствовалъ изъ-за привати, но для публики жертвовались ежеминутно съ замѣчательнымъ самоотверженіемъ, напоминающимъ древній Римъ, и жизнь и собственность, и вся почти дѣятельность отдѣльнаго человѣка, потому что въ этомъ странномъ государствѣ, почти безъ центра, съ малымъ регулярнымъ войскомъ, съ плохою системою финансовъ, съ весьма недостаточными уголовными средствами и безъ всякихъ почти полицейскихъ учрежденій, всѣ общественныя отправленія совершались посредствомъ самодѣятельности составныхъ единицъ общественнаго тѣла. Въ иныхъ организмахъ патріотизмъ проявляется вспышками, въ минуты опасности, въ обыкновенное же время требованія его въ отношеніи отдѣльныхъ личностей невелики, но здѣсь онъ требовалъ непрестаннаго служенія—оружіемъ въ народномъ ополченіи, умомъ, словомъ и совѣтомъ на сеймикахъ и сеймахъ,

и въ должностяхъ земскихъ и государственныхъ. Изъ этихъ условій быта вытекало отсутствіе всякаго низкопоклонничества передъ богатствомъ матеріальнымъ, доходящее до презрѣнія, весьма малое значеніе придаваемое имущественному цензу, тѣмъ болѣе, что и самый образъ жизни огромнаго большинства шляхты располагалъ къ умѣренности и скромности. Польша никогда не имѣла блестящаго великолѣпнаго двора, играющаго роль законодателя моды и вкуса; шляхта не любила городовъ и не имѣла въ нихъ постоянной осѣдлости, она не строила замковъ, но жила разсѣянная по деревнямъ, съѣзжаясь періодически на сеймики, судебные роки, каденціи и выборы. Разсадниками шляхетско-польской культуры служили тѣ безчисленные дворики помѣщичьи, которыми усѣяна была Рѣчь посполитая. Дворикъ стоитъ среди деревни, подъ сѣнію прадѣдовскихъ липъ; здѣсь отдыхаетъ помѣщикъ послѣ трудовъ вѣчевыхъ и военныхъ, садясь за одинъ столъ съ своей семьей и челядью, принимая радушно гостей и сосѣдей.

Въ 16-мъ столѣтіи еще не были замѣтны угловатости исключительно шляхетской цивилизаціи, напротивъ того шляхетство было въ полномъ цвѣту, безъ колючекъ и терній. Сторону общеславянскую въ немъ составляли по мѣткому замѣчанію Мицкевича (34 лекція) семейныя отношенія, добродушіе, домашнія добродѣтели, между которыми особенно выдается гостепріимство; сторона исключительно народная, собственно польская, сказывалась въ общественной дѣятельности, въ отношеніяхъ гражданина къ государству; наконецъ сторону европейскую и общечеловѣческую составляли представленія религіозныя и соціальныя, которыя находили къ шляхтѣ легкій доступъ и, заносимыя съ запада, распространялись быстро, будучи усвоиваемы съ свойственною славянской натурѣ воспріимчивостью. Юношество польское толпами ѣздило за границу для усовершенствованія въ наукахъ и привозило съ собою назадъ въ отечество свѣжія и новыя идеи. Магнаты и государственные люди польскіе были въ постоянной корреспонденціи съ знаменитѣйшими учеными и литераторами западно-европейскими. Реформаторы и новаторы, преслѣдуемые за вольнодумство религіозное или политическое, бѣжали въ Польшу и находили здѣсь спокойное пристанище и послѣдователей. Въ ничтожнѣйшихъ селеніяхъ и деревушкахъ основывались типографіи, которыя отпечатывали и пускали въ обращеніе несмѣтное количество книгъ и брошюръ политическихъ, богословскихъ, научныхъ и полемическихъ. При такомъ благосостояніи матеріальномъ, при такой терпимости въ дѣлѣ убѣжденія и вѣры, народная литература должна была получить быстрое развитіе. Она появляется вдругъ, пробужденная религіозными спорами и съ перваго раза становится на такой высотѣ, что ея произведенія до сихъ поръ считаются образцовыми. При этихъ произведеніяхъ кажутся блѣдными, тусклыми и слабыми всѣ послѣдующія созданія польской литературы до самаго неоромантизма, то есть до Мицкевича. Литература эта небогата элементомъ эпическимъ, и живетъ вся въ настоя-

щемъ; она не создала и драмы народной; драматическіе опыты остались на степени искусственныхъ произведеній учености и подражаній. За то особенно выдались и доведены до высокаго совершенства дидактика и лирика въ лицѣ двухъ главныхъ литературныхъ дѣятелей періода Сигизмундова: Рэя изъ Нагловицъ и Кохановскаго, изъ которыхъ первый можетъ быть названъ творцомъ польской прозы, а второй считается пращуромъ польской пѣсни [1]). Оба были малополяне, и обработанное ими малопольское нарѣчіе сдѣлалось литературнымъ польскимъ языкомъ.

Рэй изъ Нагловицъ герба Окша происходилъ изъ древняго рода, издавна осѣдлаго въ землѣ краковской. Отецъ его переселился въ Червонную Русь, женился богато и получилъ за женою огромныя помѣстья близъ города Жидачова надъ Днѣстромъ. Здѣсь, въ мѣстечкѣ Журавнѣ, родился Николай Рэй около 1507 года. Отецъ, добрякъ и домосѣдъ, души нечуялъ въ единственномъ сынѣ, не отпускалъ его отъ себя ни на шагъ и не училъ его ничему; поздно онъ отдалъ сына въ школу въ Львовъ, а потомъ въ Краковъ, но сынъ оказывалъ такую наклонность къ шалостямъ, кутежу и веселой компаніи, что отецъ взялъ его къ себѣ назадъ и держалъ дома неуча, который то и дѣлалъ, что удилъ рыбу въ Днѣстрѣ, стрѣлялъ дичь, ловилъ голубей и бѣлокъ. Отецъ рѣшился опредѣлить его дворяниномъ къ кому нибудь изъ магнатовъ, съ чего и начинала обыкновенно тогдашняя шляхта свою общественную карьеру. Молодой Рэй изрѣзалъ въ куски купленную ему по этому случаю на парадный кафтанъ матерію и наловивши сорокъ и воронъ забавлялся привязываніемъ къ хвостамъ ихъ и крыльямъ нарѣзанныхъ кусковъ матеріи, и затѣмъ пустилъ летать птицъ, такимъ образомъ наряженныхъ. Въ двадцать лѣтъ Рэй былъ въ полномъ смыслѣ слова дитя природы, безъ всякаго научнаго образованія, когда поступилъ на дворъ къ Андрею Тэнчинскому, воеводѣ сандомирскому. Умный воевода, замѣтивъ въ Рэѣ необыкновенныя способности, заставилъ его читать и упражняться въ письмѣ. Самому Рэю стало стыдно, и началъ онъ учиться по латыни и читать безъ разбора книги богословскія и политическія, брошюры полемическія, латинскихъ историковъ, компиляторовъ и анекдотистовъ средней руки; чего не понималъ, о томъ онъ распрашивалъ свѣдущихъ людей. Все шло въ прокъ и укладывалось своеобразно,, хотя безъ всякой системы и критики, въ геніальной головѣ автодидакта, у котораго въ самыхъ зрѣлыхъ его произведеніяхъ сквозь заимствованную уче-

[1]) Это названіе далъ ему Богданъ Залескій:

Wcieniu ludu jak w dąbrowie,
A więc w głosy, spiewakowie!
Nieście waszą dań,
I praszczura polskiej pieśni,
Czcijcie spiewem, bracia cześni,
Jak przystało nań.

Пріятно быть подъ сѣнью народа, точно въ дубравѣ; отзовитесь-же, пѣвцы, несите ему вашу дань; восхвалите же по достоинству, честные братья, пращура пѣсни польской).

ность проскакиваютъ самые странные анахронизмы, Сократъ слѣдуетъ по времени за Эпикуромъ, Помпей считается первымъ римскимъ императоромъ, король аррагонскій Антигонъ сражается подъ стѣнами Аѳинъ [2]). Знанія, которыхъ нахватался Рэй, не залежались у него долго, они шли тотчасъ въ дѣло, Рэй сталъ писать весьма много о самыхъ разнообразныхъ предметахъ, стихами и прозою, и обнаружилъ изумительную авторскую плодовитость при самыхъ неблагопріятныхъ внѣшнихъ условіяхъ, при жизни самой разгульной и шумной. Страстный охотникъ до веселой компаніи, охоты, музыки и бражничанья, Рэй писалъ по ночамъ; написанное имъ расходилось тотчасъ между шляхтою, которая любила безъ ума своего доморощеннаго поэта и у которой онъ пользовался огромной извѣстностью. Рэй не бывалъ никогда за границею, однажды только онъ сдѣлалъ поѣздку въ В. княжество Литовское; онъ не совершилъ ни одного похода, не видалъ ни одного сраженія, а если когда нибудь вынулъ саблю, то развѣ только чтобы разнять и обезоружить поспорившихъ за столомъ собесѣдниковъ, но онъ не пропустилъ ни одного съѣзда шляхты, или одного сейма и часто показывался на дворѣ королевскомъ. Его любили королева Бона, короли Сигизмунды I и II. Никакихъ должностей земскихъ или придворныхъ онъ не согласился принять, боясь потерять двѣ свои драгоцѣннѣйшія вещи: независимость и совѣсть, и предпочитая почестямъ оффиціальнымъ славу остроумнѣйшаго человѣка въ Польшѣ и добродушнѣйшаго юмориста. *Nemini molestus*, говорятъ объ немъ біографъ его Тржецецкій.

Коренной вопросъ того времени былъ вопросъ религіозный. Рэй прельстился женевскими новостями (т. е. кальвинизмомъ) и сдѣлался ревностнымъ апостоломъ протестантизма, переводилъ псалмы, писалъ толкованія евангелія (Posiylla polska), катихизисъ въ разговорахъ, объяснялъ Апокалипсисъ. Всѣ эти сочиненія нынѣ совершенно забыты: Рэй слишкомъ мало имѣлъ научныхъ знаній, чтобы сказать что нибудь свое, онъ повторялъ чужіе доводы, популяризировалъ мысли латино-французскихъ и латино-нѣмецкихъ протестантскихъ богослововъ, пересыпая ихъ бранью и до тривіальности доходящими насмѣшками надъ монахами, католическимъ духовенствомъ и обрядностью. Пріученный къ мелодическимъ напѣвамъ самаго музыкальнаго изъ племенъ славянскихъ—червоно-русскаго, Рэй былъ охотникъ до стиховъ и писалъ ихъ невѣроятно много на всякій случай. Изъ-подъ плодовитаго пера его сыпались и мелкіе стихи (Figliki или «Шуточки» и «Звѣринецъ» 1562) и обширныя поэмы, каково напримѣръ «Изображеніе жизни честнаго человѣка» (Wizerunek własny żywota człowieka poczciwego 1560), родъ божественной комедіи, въ которой онъ изображаетъ юношу, отправляющагося странствовать по свѣту и искать что ни есть лучшаго. Этотъ юноша посѣщаетъ греческихъ философовъ и ветхозавѣтныхъ пророковъ, всходитъ на небеса, попадаетъ въ преисподнюю и получаетъ вездѣ множество назидательныхъ

[2]) Maciejowski I, 416.

наставленій. Рэй пытался даже написать драму, взявъ за сюжетъ жизнь ветхозавѣтнаго Іосифа. Стихотворенія Рэя, сильно интересовавшія современниковъ, были неболѣе какъ рифмованная проза. Настоящей поэзіи напрасно въ нихъ искать, потому что Рэю недоставало культуры, что вкусъ его не былъ выработанъ на классическихъ образцахъ, которыхъ духъ оставался ему недоступенъ, что жизнь его, гулящая и разсѣянная, не давала ему возможности сосредоточиться, наконецъ потому что въ его натурѣ сильной и даровитой, но грубой, мало было струнъ патетическихъ, что въ ней преобладала трезвая разсудочность, и что фантазія его скользила по поверхности земли, не ощущая потребности взлетать въ заоблачный край идеала.

Съ годами пришла рефлексія, страсти перебродили, Рэй остепенился, сталъ серьезнѣе, пресытившись шумомъ и удовольствіями свѣта, сталъ уединяться; умъ его, богатый опытомъ, достигъ полной зрѣлости: тогда-то на старости лѣтъ (1564 — 1567) онъ написалъ знаменитѣйшее изъ своихъ сочиненій, исполненное глубокой мудрости житейской, которая въ немъ рдѣетъ точно густое старое устоявшееся вино, налитое въ цвѣтную чашу чрезвычайно живописнаго и великолѣпнаго стиля. Въ этомъ сочиненіи Рэй является нравоучителемъ, тонкимъ наблюдателемъ и вѣрнымъ портретистомъ человѣческой природы въ условіяхъ польскаго быта. Оно носитъ заглавіе: *Зерцало или жизнь честнаго человѣка* (Zwierciadło albo żywot poczciwego człowieka 1567).

«Зерцало» Рэя есть родъ энциклопедіи знаній, пригодныхъ для шляхтича, трактатъ практической философіи, раздѣленный на три части по возрастамъ: юношескому, зрѣлому и старческому. Трактатъ начинается созданіемъ міра и человѣка, причемъ, хотя Рэй протестантъ, но міросозерцаніе его весьма мало разнится отъ католическаго. Богъ создалъ человѣка изъ четырехъ элементовъ, отсюда различіе въ темпераментахъ. Богъ подчинилъ человѣка вліянію свѣтилъ небесныхъ, сіявшихъ на небосклонѣ въ моментъ его рожденія, такъ что ему при самомъ уже рожденіи предопредѣлено имѣть хорошія или дурныя наклонности. Для противодѣйствія этому фатализму животной стороны человѣка ему даны безсмертная душа, которой Рэй не отличаетъ отъ разума, и Богомъ данныя заповѣди. Разумъ данъ на то, чтобы освѣщать пути человѣка; заповѣди на то, чтобы чтобы укрощать страсти. Обузданію страстей содѣйствуютъ воспитаніе, образованіе и самый выборъ занятій. Рэй приводитъ, между прочимъ, примѣръ, который въ сущности долженъ былъ бы опровергнуть всю его теорію предопредѣленія; онъ разсказываетъ, что у нѣкоего купца родилось дитя злое, которое обнаруживало сильную наклонность къ жестокости; отецъ отдалъ его къ мяснику на ученіе, и изъ будущаго разбойника вышелъ весьма порядочный мясницкаго дѣла мастеръ. Желая содѣйствовать благой цѣли просвѣщенія людей и обузданія дурныхъ наклонностей, Рэй беретъ человѣка у колыбели и ведетъ его чрезъ всю жизнь, научая его обязанностямъ. Подъ человѣкомъ Рэй разумѣетъ только шляхтича; весь міръ существуетъ, по понятіямъ Рэя, только для

Польши, а вся Польша выражается въ шляхетствѣ. Обо всемъ, что ниже шляхты, Рэй имѣетъ весьма смутное понятіе, вовсе не потому, чтобы онъ былъ высокомѣренъ, не потому, чтобы онъ презиралъ людей неродовитыхъ, напротивъ того, онъ клеймитъ рѣзко всякаго рода спѣсь, основаніемъ шляхетства считаетъ личныя доблести и требуетъ гуманнѣйшаго обращенія съ челядью, но потому, что единственная, настоящая, полная жизнь — это жизнь общественная, а этою жизнью общественною жило одно шляхетское сословіе. Идеальный типъ человѣка, по Рэю, соединяетъ въ себѣ такія черты, которыя могли встрѣтиться только въ одномъ шляхтичѣ, а именно: этотъ человѣкъ долженъ имѣть сердце великое, пренебрегающее превратностями судьбы, за которою гоняются и которой служатъ мореходецъ, купецъ, ремесленникъ. «Кто пріучится мыслить только о дѣлахъ важныхъ, себѣ и отечеству пригодныхъ, тотъ уже смотритъ на всѣ отношенія какъ орелъ съ высоты, тотъ мало цѣнитъ и не задумывается надъ мелкими случайностями этого свѣта и судьбы, и объ одномъ только печется, чтобы сдѣлаться полезнымъ не одному себѣ, но всѣмъ вообще по достоинству. Такому человѣку все равно: счастье или несчастье, лечь ли и уснуть на розахъ, или на крапивѣ и полыни. Проснется ль онъ, мысль его опять взлетаетъ, какъ орелъ, на высоту». Когда Рэй говоритъ о выборѣ званій достигшимъ зрѣлости человѣкомъ, то подъ званіями онъ разумѣетъ только занятія приличныя шляхтичу. Такихъ званій главныхъ три: служба военная, служба придворная на дворѣ королевскомъ или котораго нибудь изъ магнатовъ, наконецъ служба земская и государственная въ качествѣ урядника, депутата земскаго на сеймѣ или сенатора Рѣчи посполитой. Рэй останавливается долго надъ каждымъ изъ этихъ поприщъ.

Такова схема сочиненія Рэя. Оно драгоцѣнно не по своимъ нравоученіямъ, но потому, что на этой довольно грубой канвѣ набросано безконечное число снятыхъ съ натуры эскизовъ, представляющихъ всѣ типы тогдашняго общества, такъ что оно составляетъ лучшую физіологію этого общества, галлерею этюдовъ, набросанныхъ немногими штрихами съ неподражаемымъ юморомъ и напоминающихъ манеру фламандской школы. Въ этой пестрой толпѣ есть военные люди и нарядныя дамы, придворные и духовные, пьяницы и скупцы, надменные франты, корыстолюбцы и льстецы. Все сочиненіе Рэя состоитъ изъ подобныхъ картинокъ. Приведемъ для примѣра портретъ гордеца: «Идетъ онъ, надѣвъ пестрые чеботы, на людей не смотритъ, самъ на себя глядитъ, любуется своею тѣнью, плюетъ на сторону, срываетъ перчатку съ руки, на которой кольцо, и держитъ эту перчатку въ другой рукѣ, кашляетъ нехотя, переступаетъ осторожно съ камня на камень, оглядываясь на слугъ своихъ, а когда сядетъ между добрыми товарищами, то молвитъ всякое слово съ разстановкой, раскусывая его на части, заикаясь, чтобы всѣ знали, что онъ говоритъ обдуманно; осматриваетъ ногти, поправляетъ шапку, а товарищи-мошенники льстятъ ему да ухмыляются, глядя другъ на друга, и такъ его умаслятъ, что онъ ихъ подчуетъ всякимъ добромъ, чего

только потребуютъ... Чего ты дуешься, мизерная муха? Сидишь, точно малеванный болванъ за камнемъ изваяннымъ, или за пестрымъ ковромъ, вздернувъ носъ къ верху, а не знаешь, что тѣ, которые льстятъ тебѣ въ глаза, издѣваются надъ тобою за глазами. Надѣвай на себя какія хочешь платья, обливайся духами; если тебя не украшаютъ добродѣтель и разсудокъ, то и духи не помогутъ, будешь вонять какъ козелъ, будешь точно лошакъ, покрытый парчею, снимите-ка съ него парчу, окажется, что у него уши, хвостъ, голова, шея — все къ чорту, все гадко и безобразно». Рэй слѣдующимъ образомъ возстаетъ противъ страсти подражать иностраннымъ модамъ: «Изобрѣти кто нибудь десять покроевъ платья въ недѣлю, всякій покрой хвалить будутъ. Если платье съ воротникомъ по поясъ, скажутъ: красиво и удобно, отъ вѣтра закроешься, да притомъ и не слишкомъ больно, когда кто ударитъ въ спину палкою. Въ другомъ платьѣ нѣтъ воротника ни на одинъ палецъ: и то хорошо, можно куда хочешь обернуться — воротъ шеи не кусаетъ. Иное платье съ предлиннѣйшими, двойными или тройными рукавами; скажутъ: мужчина виднѣе верхомъ, когда рукава вокругъ него мотаются. Въ иномъ платьѣ рукава по локоть: и то хорошо, самому свободнѣе, да и удобнѣе садиться на лошадь. Иное платье длинное до земли, скажутъ: вѣтеръ не гарцуетъ вокругъ колѣнъ... Я увѣренъ, что еслибы кто позолотилъ рога и надѣлъ ихъ на голову себѣ, то и о немъ бы сказали: славно, потому что все славно, что явилось сегодня и чего мы вчера не видали». Рэй превосходно изображаетъ жизнь придворную и военную; сердце его радостно трепещетъ, когда земля дрожитъ, когда мѣрно идутъ сомкнутые ряды и раздаются звучные бубны и литавры, но всего больше любитъ онъ домъ, пашню и семейную жизнь. Прелестны у него описанія хозяйства и занятій польскаго землянина по временамъ года, но трудно себѣ представить что нибудь теплѣе, проще, поэтичнѣе глубоко прочувствованныхъ картинъ семейнаго быта. Жену Рэй предписываетъ любить, уважать, съ нею обо всемъ совѣтоваться, потому что «слаще жить волку съ волчицею въ лѣсу, нежели мужу съ женою, когда явится этотъ скверный нарывъ домашнихъ раздоровъ.» «Какая радость, какое утѣшеніе, — говоритъ онъ, — когда на тебѣ повиснутъ милыя дѣточки, эти прирожденные скоморохи, когда они щебечутъ словно птички, бѣгая вокругъ стола, когда они рѣзвятся и фиглярничаютъ, одинъ что нибудь схватитъ и другому подастъ, да такъ взаимно тѣшатся, что не воздержишься отъ смѣху. Когда дитя начнетъ говорить, то оно лепечетъ всякій вздоръ, а между тѣмъ какъ все это хорошо и мило». Но замѣчательнѣйшая, безъ сомнѣнія, часть «Зерцала» та, которая посвящена политической дѣятельности человѣка; она показываетъ, какъ высокъ былъ въ шляхтѣ уровень политическаго образованія и даетъ весьма ясное понятіе о сущности польской конституціи. Рэй отлично знаетъ механизмъ представительнаго правленія: сеймы установлены для обузданія правителей и надзора относительно законности ихъ дѣйствій; на сеймы не могутъ ѣздить всѣ вообще, цѣлыми толпами, потому они избираютъ довѣренныхъ, пред-

ставителей и называютъ ихъ прекраснымъ именемъ пословъ или стражей Рѣчи посполитой. Должность эту Рэй считаетъ просто священнодѣйствіемъ, потому что послу земскому довѣряютъ братья его, шляхта, свои права и вольности, свои имущества и животы. Такой человѣкъ долженъ остерегаться посуловъ, непотизма, угощеній, и слушать прилежно что кто говоритъ, и взвѣшивать каждое слово, потому что не разъ кажется будто и дѣлается нѣчто ко благу Рѣчи посполитой, но снимешь лишь крышку съ горшка и обнаружится, что въ горшкѣ прѣетъ полынь вмѣсто щавеля. Еще труднѣе, опаснѣе и отвѣтственнѣе высочайшій постъ, до котораго могъ достигнуть гражданинъ польскій, санъ сенатора Рѣчи посполитой, королевскаго совѣтника.

Нигдѣ власть королевская не была слабѣе, нежели въ Польшѣ; но вмѣстѣ съ тѣмъ въ рѣдкой странѣ король пользовался такою любовью и уваженіемъ. Правственный авторитетъ его былъ огроменъ; онъ былъ та сила, приводящая въ движеніе весь конституціонный механизмъ, безъ которой этотъ механизмъ дѣйствовать не можетъ. «Король, — говоритъ Рэй, — святая святыхъ, божій человѣкъ, избранникъ и помазанникъ. Приступать къ нему подобаетъ со страхомъ, потому что будь онъ добрѣйшій человѣкъ, въ немъ все-таки есть нѣчто грозное и божественное, и имѣетъ онъ вѣроятно волчьи волосы, какъ говорятъ, между очами». Со страхомъ и благоговѣніемъ приступая къ нему, сенаторъ обязанъ однако безъ всякаго подобострастія, не обращая вниманія на гнѣвъ и неудовольствіе короля, говорить ему всю правду, напоминать ему всѣ обязанности, предостерегать его отъ страстей и пороковъ, потому что «умъ государя похожъ на пламень, который стремится къ верху, когда къ нему подкладываютъ дрова хорошія, но если подложать дрова мокрыя и сырыя, то огонь вмѣстѣ съ дымомъ будетъ разстилаться по землѣ; такъ точно и совѣтъ, данный государю, или паритъ съ нимъ къ небу, или стелется съ нимъ по землѣ».

Въ пятидесятыхъ годахъ 16-го столѣтія, когда Рэй былъ въ полномъ блескѣ таланта и славы, въ одной компаніи, собравшейся въ землѣ сендомирской, гдѣ и онъ находился, нѣкто прочелъ, какъ новость, только что привезенные изъ-за границы стихи молодаго, никому неизвѣстнаго поэта, жившаго въ Парижѣ. Стихи воспѣвали славу Бога и начинались такъ:

Czego chcesz od nas Panie za twe hojne dary?
Czego za dobrodziejstwa którym niemasz miary?
Kościoł cię nieogarnie, wszędy pełno ciebie,
I w otchłaniach i w morzu, na ziemi i w niebie.

(Чего отъ насъ требуешь, Господи, за твои щедрые дары, чего за благодѣянія, которымъ нѣтъ мѣры? Церковь не вмѣщаетъ тебя, все исполнено тобою, бездны и море, земля и небо...)

Стихи поразили всѣхъ необыкновеннымъ изяществомъ формы. Рэй былъ восхищенъ болѣе другихъ и съ энтузіазмомъ, который дѣлаетъ ему величайшую честь, привѣтствовалъ пѣснь импровизированнымъ двустишіемъ:

Temu w nauce dank przed sobą dawam
J pieśń bogini słowiańskiej oddawam.

(Ему я шлю поклонъ и предоставляю первое мѣсто въ наукѣ, ему передаю я пѣсню музы славянской.)

Молодой поэтъ, которому Рэй передавалъ скипетръ поэзіи и который съ тѣхъ поръ воцарился на польскомъ Парнассѣ, былъ Янъ Кохановскій (1530 — 1584), герба Корвинъ изъ земли сендомирской. Весь родъ Кохановскихъ отличался поэтическимъ дарованіемъ: родной братъ Яна переводилъ Энеиду, двоюродный, Николай, писалъ мелкіе стихи, племянникъ, Петръ (1566—1620), перевелъ «Освобожденный Іерусалимъ» Тасса. Двадцати лѣтъ отъ роду, Янъ отправился за границу и семь лѣтъ пробылъ въ Италіи и во Франціи, учился въ Падуѣ, вмѣстѣ съ Яномъ Замойскимъ, посѣтилъ Венецію, Римъ, Кампанію, долго жилъ въ Парижѣ, и въ 1557 году возвратился въ Польшу. Жизнь его вообще не богата происшествіями. Король Сигизмундъ-Августъ пожаловалъ ему почетное званіе дворянина и почетный титулъ королевскаго секретаря, а другъ его, Петръ Мышковскій, вицеканцлеръ, выхлопоталъ ему разныя церковныя бенефиціи и прелатуру въ капитулѣ познанскомъ; монахи монастыря сѣцеховскаго намѣрены даже были избрать Кохановскаго аббатомъ, но этотъ выборъ какъ-то не состоялся [3]). Подобнымъ образомъ духовныя бенефиціи и должности жалуемы были иногда, какъ доходныя статьи, даже свѣтскимъ лицамъ, лишь бы только неженатымъ, на основаніи фикціи, что владѣлецъ бенефиціи можетъ со временемъ вступить въ духовное званіе. Впрочемъ, несмотря на всѣ старанія Мышковскаго, Кохановскій не сдѣлался духовнымъ лицомъ, не чувствуя къ тому никакого призванія, и предпочелъ блестящей карьерѣ скромную, тихую жизнь простаго землянина. Онъ покинулъ дворъ, отказался отъ бенефицій, женился и поселился въ родовой вотчинѣ своей, Чернолѣсѣ. Онъ до того полюбилъ сельскую жизнь, что неохотно и весьма рѣдко показывался въ публичныхъ многочисленныхъ собраніяхъ, тѣмъ болѣе, что не обладалъ талантами оратора и политика, и нисколько не былъ честолюбивъ. Когда при Баторіѣ, другъ Кохановскаго, Замойскій, сдѣлавшійся любимцемъ и правою рукою короля, предложилъ Кохановскому одно изъ сенаторскихъ мѣстъ — кастелянію полонецкую, Кохановскій отклонилъ это предложеніе, сказавъ, что не желаетъ впускать въ свой домъ надменнаго кастеляна, который растратитъ все то, что онъ, убогій землянинъ, собралъ своими трудами. Король опредѣлилъ его однако на должность войскаго сендомирскаго, —

[3]) Gdziem potem niebył, czego niekosztował?
Jażem przez morze głębokie żeglował
Jażem francuze, ja niemce, ja włochy
Jażem nawiedził sybillińskie lochy.
Dziś tak spokojny, jutro przypasany
Domiecza rycerz, dziś między dworzany
W pańskim pałacu, jutro za się cichy
Ksiądz w kapitule—tylko że nie z mnichy,
Wczoraj w kaplicy aż dwojakim płatem;
I to czemu nie? jeśliże opatem.

должность земскую, безденежную, какъ всѣ земскія, но совершенно спокойную, потому что въ случаѣ народнаго ополченія войскій обязанъ былъ оставаться на мѣстѣ земскимъ хозяиномъ и заботиться о женахъ и дѣтяхъ ополченцевъ. Конецъ жизни Кохановскаго омраченъ былъ раннею смертію любимой дочери поэта Урсулы. Кохановскій скончался въ 1584 году и погребенъ въ фамильномъ гробѣ рода своего, въ Зволенѣ.

Любовь современниковъ къ Яну Кохановскому была безпредѣльна, онъ слылъ княземъ поэтовъ, и утвердилось мнѣніе, что Польша не имѣла никогда и не будетъ имѣть равнаго ему пѣвца.

Современной критикѣ приходится значительно измѣнить этотъ приговоръ и отказать Кохановскому, при всей его художественности, въ названіи народнаго польскаго поэта; онъ великъ какъ писатель отлично усвоившій себѣ духъ античной поэзіи, но эта воспріимчивость нанесла ущербъ оригинальности его творчества, такъ что за нимъ остается только слава величайшаго и талантливѣйшаго подражателя древнимъ образцамъ на языкѣ польскомъ, который онъ преобразовалъ, отдѣлалъ, смягчилъ и довелъ почти до степени музыкальнаго инструмента, способнаго къ произведенію нѣжнѣйшихъ звуковъ. Кохановскій былъ вполнѣ человѣкъ возрожденія, натура въ высокой степени гармоническая, свѣтлая, спокойная, любящая, но неспособная сгарать жгучимъ огнемъ сильной страсти. Эта натура была еще болѣе смягчена воспитаніемъ и долговременнымъ пребываніемъ Кохановскаго за границею. Германія осталась для него какъ и для Польши вообще terra incognita. Съ литературами испанскою и португальскою онъ не былъ знакомъ (современникъ его Камоэнсъ гораздо позже возвращенія его въ Польшу издалъ свою поэму, а Сервантесъ еще ни былъ писателемъ въ то время). Въ Парижѣ Кохановскій свелъ знакомство съ Ронсаромъ, но не видно, чтобы это знакомство съ основателемъ школы педантовъ «французской плеяды» имѣло на него какое либо вліяніе. Въ Италіи предшественниками его были Данте, Петрарка, Боккаччьо и Аріосто. Данта Кохановскій не могъ понимать; ему былъ недоступенъ глубокій восторженный мистицизмъ и страшная энергія воли сосредоточеннаго въ самомъ себѣ автора Божественной Комедіи. Равнымъ образомъ онъ не могъ породниться съ Аріостомъ, потому что рыцарство и романтизмъ, на которыхъ основанъ эпосъ Аріоста, были элементы совершенно чуждые славянскому міру, и что тонкая иронія и шутливый скептицизмъ, знаменующіе упадокъ и разложеніе общества итальянскаго, не могли приходиться по вкусу народу молодому, свѣжему и вѣрующему въ свои идеалы, къ которому принадлежалъ Кохановскій. Такимъ образомъ тѣ образцы, которые содѣйствовали поэтическому воспитанію Кохановскаго, были отчасти итальянскіе лирики, которыхъ приторная сладость не привилась однако къ нему, а болѣе всего классическіе поэты, въ особенности римскіе, и изъ нихъ преимущественно Горацій и Виргилій. Онъ началъ съ латинскихъ стиховъ, потомъ принялся за польскіе и съ такимъ успѣхомъ, что могъ справедливо сказать потомъ о себѣ:

I wdarłem się na skałę pięknej Kalliopy
Gdzie dolychczas niebyto śladu polskiej stopy.
(И взобрался я на утесъ прекрасной Каллiопы,
На которомъ не было и слѣда польской ноги.

Мацѣевскiй говоритъ: «Посвятивши себя ознакомленiю своихъ земляковъ съ античною поэзiею, Кохановскiй пропитался ею насквозь до того, что она постоянно носилась передъ его глазами, и надъ его челомъ: что ни задумывалъ онъ, все выходило античное». Древнiе открыли ему тайну красоты, научили законченности и совершенной опредѣленности формъ, его стихъ походитъ на чистѣйшiй граненый хрусталь, и если Рэй можетъ славиться колоритомъ, то Кохановскiй скульптурнымъ совершенствомъ очертанiй. Производительность его была велика, онъ перепробовалъ всѣ роды поэзiи и всѣ размѣры стиховъ, переводилъ Гомера (Единоборство Париса съ Менелаемъ), писалъ оды, элегiи, сатиры, эпиграммы, даже драмы.

Къ эпическому роду принадлежатъ *Шахматы*, подражанiе итальянскому поэту Вида; *Сусанна*, повѣсть взятая изъ библiи; *Знамя* (Proporzec albo hołd pruski)—великолѣпное описанiе ленной присяги и инвеституры на Пруссiю, данной Сигизмундомъ Августомъ Альбрехту Бранденбургскому, въ которомъ изображается исторiя Польши въ картинахъ; *Походъ на Москву* гетмана Кристофора Радзивилла (1581 г.), отрывокъ героической поэмы о битвѣ съ Турками подъ Варной, въ которой палъ король Владиславъ III Ягеллонъ. Эти отрывки доказываютъ, что Кохановскiй имѣлъ замѣчательный эпическiй талантъ, но великаго нацiональнаго эпоса онъ создать не могъ по недостатку пригодныхъ къ тому элементовъ въ польскомъ тогдашнемъ обществѣ, чуждомъ романтизма, весьма склонномъ къ нововведенiямъ въ религiи и при томъ очень довольномъ своимъ блестящимъ настоящимъ, въ сравненiи съ которымъ прошедшее казалось весьма невзрачнымъ и незавиднымъ. При подобныхъ условiяхъ нельзя было построить эпосъ нина одномъ изъ двухъ сильнѣйшихъ его мотивовъ, ни на религiознсоти, которой идеалы сильно были потрясены реформацiею, ни на патрiотизмѣ, который при успокоенiи государства не требовалъ никакихъ особенныхъ геройскихъ подвиговъ и усилiй. Кохановскiй, дитя своего вѣка, былъ теистъ (его гармоническая натура не допускала въ себя сомнѣнiя и избѣгала внутренней борьбы), но этотъ теизмъ уживался какъ нельзя лучше съ цѣлымъ языческимъ Олимпомъ и оставлялъ Кохановскаго совершенно равнодушнымъ къ религiознымъ спорамъ, такъ что и до сихъ поръ неизвѣстно, въ чью сторону онъ болѣе склонялся, былъ ли онъ въ душѣ католикъ или протестантъ. Изъ миѳологiи христiанской онъ не заимствовалъ никогда картинъ или красокъ. Кохановскiй опасается для Польши послѣдствiй долговременнаго покоя [4]) и хвалитъ добрыя старыя времена,

[4]) Swięty pokoju ty masz wodę w sobie
Że łatwo ludzie zgnuśnieją przy tobie.
(Святой покой, ты тѣмъ нехорошъ, что люди изнѣживаются скоро подъ твоимъ господствомъ).

исполненныя тревоги, бдѣній и битвъ, но эти сожалѣнія только поэтическая фигура и сопровождаются сознаніемъ невозможности возвратиться къ минувшему желѣзному, панцырному вѣку.

Важнѣе эпическихъ отрывковъ драма Кохановскаго: *Отпускъ пословъ греческихъ* (Odprawa posłów greckich), написанная имъ для Яна Замойскаго по случаю его свадьбы съ племянницею Баторія и разыгранная въ 1578 г. передъ королемъ Баторіемъ въ Уяздовѣ близь Варшавы. Зародышъ драмы въ Польшѣ, какъ и въ другихъ странахъ западной Европы, заключался въ мистеріяхъ, порожденныхъ католицизмомъ. Еще и нынѣ на святкахъ хлопцы возятъ такъ называемыя *ясли* или шалашъ (szopka), на которыхъ представляются посредствомъ куколъ рождество христово, поклоненіе волхвовъ, и въ концѣ концовъ чортъ отрубаетъ голову Ироду и тащитъ его въ преисподнюю. Подобнаго рода діалоги въ лицахъ съ масками разыгрывались въ церквахъ и само духовенство принимало въ нихъ участіе. Папа Иннокентій III въ 12 в. строго порицалъ за это духовенство польское, съ тѣхъ поръ драматическія представленія изъ церквей переселяются на кладбища и въ стѣны училищъ и превращаются въ зрѣлища полудуховныя, полусвѣтскія; въ важные сюжеты библейскіе вставляемы были обыкновенно забавныя интермедіи. Духовными сюжетами воспользовались потомъ іезуиты для своихъ піэтистическихъ діалоговъ, чтоже касается до комическихъ интермедій, то изъ нихъ могла выработаться комедія въ чисто народномъ духѣ. Въ 1530 г. вышла: «Komedija o męsopuście», въ 1553 «Разговоры» Вита Корчевскаго, потомъ появилось множество безъимянныхъ сценъ (Albertus z wojny, Peregrynacija dziadowska) и діалоговъ, въ которыхъ принимаютъ участіе простолюдины, взятые изъ живой дѣйствительности и превращенные въ типы, какъ то кметъ Янъ, отстаивающій старые обычаи, сынокъ его студентъ нѣмецкій, нахватавшійся протестантскихъ ученій, приходскій священникъ, причетникъ церковный, прислуживающій и священнику и ктитору и отправляемый въ народное ополченіе, канторъ, церковные нищіе, наконецъ рыбалтъ или органистъ. Кромѣ того наконецъ есть извѣстія и о представленіяхъ въ трагическомъ родѣ; такъ напр. во время Длугоша (15-й

[5]) Szczęśliwe czasy kiedy giermak szary
Był tak poczciwy, jako te dzisiejsze
Jedwabne bramy coraz kosztowniejsze
Wprawdzieć niebyło kosztu na maszkory.
 Ale był zawsze koń na stajni rzeźwy,
Drzewiec, tarcza pewna i pancerz na ścienie,
Szabla przy boku sam pachołek trzeźwy
Nieszukał pierza, wyspał się na sienie,
A bił się dobrze. Bodaj tak uboga
Dziś polska była, a poganom sroga.

(Блаженное время! сѣрый армякъ заступалъ мѣсто драгоцѣнныхъ платьевъ, отороченныхъ шелкомъ, и не тратились деньги на маски; но были всегда наготовѣ конь добрый осѣдланный, копье, щитъ и панцырь на стѣнѣ, сабля у пояса; всякій молодецъ былъ трезвъ, не искалъ перинъ, спалъ на сѣнѣ, за то дрался онъ славно. О, если бы Польша была теперь такая убогая, но и такая страшная притомъ для бусурмановъ).

вѣкъ) представляема была на сценѣ смерть королевы Людгарды. Кохановскій не воспользовался для своей драмы этими данными, не пробовалъ усовершенствовать и развить грубые зачатки, выросшіе на родной почвѣ. Онъ писалъ для отборнаго меньшинства, пропитаннаго, какъ онъ самъ, классическими воспоминаніями и знавшаго прошедшее Греціи и Рима лучше, нежели исторію своего собственнаго отечества. Онъ взялъ темой страницу изъ Иліады. Улиссъ и Менелай пріѣхали послами отъ Грековъ требовать выдачи Елены, увезенной Парисомъ. Парисъ заискиваетъ друзей, собираетъ партію; съ другой стороны, недоступный подаркамъ и лести, честный Антеноръ намѣревается доказывать на вѣчѣ необходимость выдать Менелаю жену. Въ тревожномъ ожиданіи Елена ждетъ рѣшенія своей участи. Возвращающійся съ вѣча троянецъ возвѣщаетъ ей, что голосъ страсти взялъ верхъ надъ внушеніями долга и что, получивъ отказъ, послы возвращаются съ пустыми руками. Вскорѣ являются и сами послы; проницательный Улиссъ предрекаетъ паденіе Трои, управляемой неопытными, пристрастными совѣтниками, пылкій Менелай взываетъ къ богамъ и мечетъ проклятія. Послѣ ухода пословъ, передъ собравшимися въ ожиданіи важныхъ событій троянцами является бѣснующаяся Кассандра, которая произноситъ зловѣщія пророчества. Наконецъ драма оканчивается точно глухимъ раскатомъ далекаго грома, извѣстіемъ, что Греки высадились на берегъ и что война началась. Эта драма, изъ 600 съ небольшимъ бѣлыхъ, не риѳмованныхъ стиховъ, не раздѣляется на дѣйствія и состоитъ изъ короткихъ сценъ, перемежающихся съ пѣніемъ хора; въ ней нѣтъ интриги, сценической завязки и развязки, и весь интересъ основанъ на идеальной борьбѣ между страстью и нравственною необходимостью. Въ этой драмѣ Кохановскій далъ блистательное доказательство своего пониманія древняго міра и умѣнія художественно его воспроизводить. Только въ новѣйшее время Гёте создалъ, въ Ифигеніи въ Тавридѣ, произведеніе, которое сравняется въ этомъ отношеніи съ «Отпускомъ пословъ». Но не имѣя никакой связи съ жизнью народною, эта драма стоитъ совершенно одиноко въ литературѣ. Кохановскій не нашелъ послѣдователей, позднѣйшія поколѣнія перестали понимать эту драму, и совершенно объ ней забыли.

Тотъ родъ поэзіи, которымъ Кохановскій оказалъ великое вліяніе на современниковъ и въ которомъ онъ достигъ совершенства и сдѣлался на два съ половиною столѣтія типомъ поэта, была лирика. Онъ сдѣлалъ полный переводъ псалмовъ Давида (1578), лучшій, какой до сихъ поръ есть, и находящійся до нынѣ въ употребленіи въ устахъ народа. Онъ писалъ оды, элегіи, эпиграммы, идилліи (Sobótka, Dryas zamechska). Въ Сатирѣ или «лѣшемъ», посвященномъ Сигизмунду Августу, онъ влагаетъ въ уста бога лѣсовъ критику народныхъ пороковъ: страсти подражать иностранцамъ, легкомысленности въ сужденіяхъ о дѣлахъ вѣры и политики, и вкрадывающейся въ общественную жизнь роскоши. Въ 1580 г., по смерти любимой дочери Урсулы, которую онъ называлъ «славянскою Сафо»,

и которой онъ надѣялся передать свою лиру въ наслѣдство, Кохановскій написалъ *Трены* или скорбныя размышленія, въ которыхъ порою, отрѣшаясь отъ классическихъ воспоминаній и отъ сухой учености, онъ становится оригиналенъ, когда съ простотою и безъискусственностью, составляющею верхъ искусства, онъ передаетъ свое горе въ тонѣ простонародной пѣсни [6]). Къ замѣчательнѣйшимъ произведеніямъ Кохановскаго принадлежитъ собраніе его «Бездѣлушекъ» (Fraszek), изданное въ годъ послѣ его смерти (1584). Здѣсь игривая мысль блещетъ остроуміемъ, вольная шутка перемежается съ колкою эпиграммою, юмористически обрисованы собесѣдники поэта, прославляются и любовь и вино; надъ веселою компаніею раскинула свои тѣнистыя, душистыя вѣтви знаменитая липа чарнолѣсская, многократно воспѣтая поэтомъ [7]).

Кохановскій умеръ въ полной увѣренности въ свое безсмертіе. Значительною долею этого безсмертія онъ обязанъ тому, что онъ былъ человѣкъ цѣльный, поэтъ столько же въ жизни, сколько и въ пѣсни, добрый, чест-

[6]) Nie do takiéj łożnice, moja dziewko droga,
Miała cię uboga
Doprowadzić. Nietakąć dać obiecowała
Wyprawę, jakąć dała.
Gieżłeczko tylko dała, a lichą tkaneczę,
Ojciec ziemi bryłeczkę
W główki włożył; niestetyż i posag i ona
W jednej skrzynce zamkniona.

(Не до такого ложа надѣялась довести тебя бѣдная мать; о моя милая! Не такое обѣщала она тебѣ дать приданое. Она дала тебѣ только рубашенку, да чепчикъ; отецъ подложилъ глыбку земли подъ твою головку. Увы! и приданое, и она сама уложены въ одинъ деревянный ящикъ).

[7]) Приведемъ очень извѣстное стихотвореніе: «За здоровье», въ которомъ Кохановскій осмѣиваетъ обычай частыхъ тостовъ на пирахъ:

Prze zdrowie gospodarz pije,
Wstawaj gościu! A prze czyje?
Prze królewskie! powstawajmy
I także ją wypijajmy.
Prze królowéj! Wstać się godzi
I wypić, ta za tą chodzi,
Prze królewny! już ja stoję
A podaj co rychlej moję.
Przez biskupie! Powstawajmy
Albo raczéj nie siadajmy.
To prze zdrowie marszałkowe!
Owa gościu wstań na nowe.
To prze hrabi! Wstańmyż tedy!
Odpoczniemże nogom kiedy?
Gospodarz ma w ręku czaszę,
My wiedzmy powinność naszę.
Chłopię wymknilawkę moję,
Już ja tak obiad przestoję и пр..

(Вставай, гость, хозяинъ пьетъ за здоровье. — А за чье?—За королевское. Встанемте живѣе и выпьемъ.—За королеву!—Да, стоитъ встать и выпить. — Теперь само собою разумѣется: за королевну! —Я уже стою и жду, пока наполнятъ мою чашу.— За епископское!—Встанемте или, лучше сказать, не будемте садиться. — За маршала!—Нельзя же, гость, еще не приподняться. — Теперь, за графа!—Будетъ ли когда нибудь отдыхъ ногамъ? Хозяинъ держитъ чашу въ рукахъ, нельзя гостямъ не исполнить ихъ повинности. — Хлопецъ, убери-ка мою скамью. Ужь я постою такъ, до конца обѣда).

ный, умѣренный, скромный [8]), и что онъ былъ полнѣйшимъ выраженіемъ своего общества и умѣлъ высказать тѣ благородныя республиканскія чувства, которыя одушевляли это общество, чувства свободы, человѣколюбія и горячаго сознанія личнаго достоинства.

Теперь прослѣдимъ дальнѣйшія судьбы польской поэзіи послѣ Кохановскаго, и укажемъ на тѣ второстепенные таланты, которые пріобрѣли извѣстность на этомъ поприщѣ. Николай Семпъ Шаржинскій (преждевременно умеръ въ 1581 г., двадцати съ небольшимъ лѣтъ отъ роду) подражалъ удачно Петраркѣ и ввелъ въ польскую литературу форму сонета. Товитъ Вишнёвскій, аріанинъ, писалъ на подобіе Кохановскаго трены на смерть матери (1585 г.). Лирика видимо слабѣетъ и падаетъ, порча вкуса обнаруживается въ томъ, что стихотворенія нагружаются все больше и больше миѳологическимъ балластомъ и классическими воспоминаніями. У нѣкоторыхъ поэтовъ замѣтенъ поворотъ къ мистикѣ, аскетизму и возвратъ къ поэзіи церковно-христіанской. Такими поэтами, составляющими уже переходъ къ послѣдующему періоду іезуитско-макароническому, являются Гроховскій и Мясковскій. Ксендзъ Станиславъ Гроховскій (род. около 1530, ┼ около 1616), человѣкъ очень посредственныхъ дарованій, сквернаго характера, искатель бенефицій, злой на языкъ и вмѣстѣ съ тѣмъ страшный льстецъ, курилъ ѳиміамъ передъ всѣми великими міра сего, притомъ онъ былъ и ябедникъ. Писалъ онъ чрезвычайно много плохихъ по содержанію виршей, духовныхъ и свѣтскихъ, переводилъ по совѣту іезуитовъ церковные гимны изъ *breviarium romanum* и сочинялъ въ томъ же родѣ оригинальныя пѣснопѣнія. Гораздо даровитѣе Гроховскаго былъ Касперъ Мясковскій (1549 — 1622), изъ земли равской, настоящій типъ шляхтича домосѣда, преданнаго сельской жизни, горячій католикъ и консерваторъ. Когда при Сигизмундѣ III борьба партій дошла до открытой междоусобной войны, извѣстной подъ именемъ рокоша Зебржидовскаго, на одной сторонѣ стали прогрессисты, преимущественно протестанты, на другой король, поддерживаемый іезуитами и реакціею. Мясковскій громилъ рокошанъ исполненнымъ силы и негодованія стихомъ. Лучшими его произведеніями считаются его религіозныя пѣсни, элегіи покаянія, «Цвѣты на ясли Спасителя» и «Исторія страданія І. Х.», раздѣленная на часы. Особенное значеніе получили два вида дидактической поэзіи, по которымъ и Кохановскій оставилъ образцы, а именно: идиллія и сатира. Развитіе этихъ двухъ видовъ объясняется причинами соціальными, положеніемъ шляхты въ средѣ общества и отношеніемъ ея къ другимъ сословіямъ въ первой половинѣ 17-го столѣтія. Польша переживала тогда одну изъ тѣхъ критическихъ минутъ, отъ которыхъ зависятъ судьбы народа, и которыя рѣшаютъ, вознесется ли этотъ

[8]) To pan zdaniem mojém
Kto przestał na swojém.

(Тотъ баринъ, по моему мнѣнію, кто доволенъ тѣмъ, что имѣетъ).

народъ еще выше или ступитъ на тотъ отлогій скатъ, въ концѣ котораго ждетъ его неизбѣжная пропасть. Шляхта была всѣмъ въ Рѣчи посполитой, ей Польша обязана тѣмъ могуществомъ и благосостояніемъ, котораго она достигла. Что же требовалось отъ всемогущей тогда шляхты для дальнѣйшаго преуспѣянія Рѣчи посполитой? Эти требованія ясно высказаны въ сочиненіи знаменитаго политика Андрея Фрича Модржевскаго, любимаго ученика Меланхтона: De Republica emendanda, 1551 г. (перевелъ на польскій языкъ Кипріанъ Базиликъ): «Господи Боже! дай всему состоянію рыцарскому такое сердце, чтобы они, отложивъ въ сторону любовь самихъ себя, возлюбили всю Рѣчь посполитую, то есть всѣхъ людей, пребывающихъ вмѣстѣ съ ними въ этомъ общественномъ тѣлѣ; чтобы они обо всѣхъ пеклись и защищали всѣхъ людей животы, интересы и честь. Когда это будетъ, то и окажется, зачѣмъ господа сенаторы и сословіе шляхетское приставлены къ королю, какъ участники въ верховной власти». По отсутствію средняго сословія и малочисленности городского населенія, шляхта непосредственно примыкала къ крестьянству; ей надлежало позаботиться поднять крестьянство, дать ему просвѣщеніе и права, ей надлежало поставить себѣ цѣлью дать шляхетство всему народу и стремиться постепенно къ осуществленію этой цѣли. Литература своимъ вѣрнымъ чутьемъ наводила на эту мысль и, прорвавшись сквозь заколдованный кругъ шляхетства, опустилась въ идилліи до крестьянъ, заимствовала картины и типы изъ мужицкаго быта, стараясь ихъ поэтизировать. Такова была задача, которую себѣ поставила цѣлая школа червоно-русскихъ поэтовъ, во главѣ которыхъ стоитъ Шимоновичъ. Эти стремленія не были никогда осуществлены и остались на степени *pia desideria*, никакая внѣшняя сила не заставляла шляхту сближаться съ массами и идти впередъ по пути, въ окончательномъ результатѣ котораго виднѣлось самоуничтоженіе шляхетства, посредствомъ распущенія его въ цѣломъ народѣ. Никакая сила политическая не рѣшается сама собою на самоубійство, и нерасположена къ самоотреченію безъ предварительнаго боя; тщетно было бы ожидать этого и отъ шляхты. Она почила на лаврахъ и была пробуждена отъ этого сладкаго сна только свирѣпымъ демономъ соціальной революціи въ видѣ войнъ козацкихъ. Одолѣвъ со страшными потерями стоглавую гидру всколебавшейся подъ ея ногами массы, шляхта заключилась въ самый узкій сословный консерватизмъ, причемъ вышли наружу и явственно обозначились всѣ слабыя стороны ея, представлявшія обильную пищу для сатиры. Мы разсмотримъ сначала поэзію буколическую, а потомъ перейдемъ къ сатирическимъ поэтамъ.

Въ восточной половинѣ теперешней Галиціи надъ маленькою рѣчкою Пелтевью, въ великолѣпной мѣстности, у предгорій Карпатскихъ, разстилаются далеко на востокъ широкія равнины. Равнины эти—открытый путь для саранчи и Татаръ. Здѣсь лежитъ, раскинувшись живописно, старинный городъ князя Льва, сердце Руси Червонной, вмѣщающій въ себѣ три духов-

ныя столицы: архіепископскую римско-католическую, митрополичью армянскую и епископскую православную у св. Юра. Въ этой странѣ, которая со времень Казиміра въ 14-мъ вѣкѣ входила въ составъ короны польской, и въ этомъ городѣ, окруженномъ крѣпкими стѣнами и составлявшемъ оплотъ Рѣчи посполитой съ востока, родился въ 1557 г. отъ Шимона (Семена) изъ Бржезинъ, городскаго ратмана, сынъ Шимонъ, который по отчеству долженъ былъ называться Шимоновичемъ, но, сдѣлавшись ученымъ, предпочелъ называться и подписываться по гречески Симонидомъ. Шимоновичъ получилъ воспитаніе въ краковской академіи, потомъ ѣздилъ въ Италію и во Францію, гдѣ подружился съ знаменитымъ гуманистомъ Іосифомъ Юстомъ Скалигеромъ (сыномъ), котораго совѣты имѣли рѣшительное вліяніе на всю его жизнь и будущую литературную дѣятельность. По возвращеніи изъ-за границы, Шимоновичъ познакомился съ Яномъ Замойскимъ, уже канцлеромъ въ то время, поступилъ къ нему въ секретари и содѣйствовалъ ему въ образованіи академіи въ Замосьцѣ. Замойскій поручилъ ему воспитаніе единственнаго сына своего, далъ ему въ пожизненное владѣніе деревню, успѣлъ сдѣлать то, что, по внушенію его и по ходатайству пословъ земскихъ на сеймѣ, король Сигизмундъ III пожаловалъ Симониду шляхетство, съ фамильнымъ названіемъ Бендоньскій, и украсилъ его почетнымъ титуломъ королевскаго поэта. Симонидъ умеръ въ глубокой старости въ 1629 году. Его произведенія дѣлятся на два рода: латинскія оды и польскія идилліи. Остановимся на однихъ только стихотвореніяхъ его буколическихъ. Симонидъ изучилъ основательно Өеокрита и проникнулся имъ весь; онъ началъ съ простыхъ переводовъ изъ Өеокрита, Біона и Мосха, отчасти изъ Виргилія и Овидія или съ такихъ передѣлокъ и подражаній, въ которыхъ все содержаніе античное, но пастухамъ и пастушкамъ даны только названія славянскія (Милко, Собонь и т. под.). Потомъ Симонидъ сдѣлалъ еще одинъ шагъ впередъ и пробовалъ брать темой сельскіе нравы дѣйствительные, не воображаемые, идеализируя ихъ по возможности; иными словами, онъ сталъ писать картины изъ простонароднаго быта. Такъ какъ съ живымъ воображеніемъ онъ соединялъ наблюдательность и талантъ тонкаго психологическаго анализа, то сцены, вставляемыя имъ въ тѣсныя рамки идилліи, плѣняли современниковъ, не смотря на недостатокъ наивности и простоты. Симонидъ не могъ никакъ избѣжать двухъ недостатковъ, неразлучныхъ съ самымъ родомъ буколической поэзіи: тривіальности, когда поэтъ старается вѣрно копировать природу, и приторности, когда поэтъ, идеализируя своихъ героевъ, сходитъ съ почвы дѣйствительности и поселяется въ небывалой странѣ условностей и вымысловъ, безжизненныхъ и безцвѣтныхъ. Желая сдѣлать своихъ пастуховъ правдоподобными, онъ влагаетъ имъ порою въ уста площадныя шутки и скептическія насмѣшки, несвойственныя крестьянамъ, порою же заставляетъ ихъ вести разговоры, исполненные колкаго остроумія и тонкой вѣжливости. Среди множества неудачныхъ нѣкоторыя сцены поражаютъ реализмомъ, воспроизведеніемъ въ художественной формѣ народныхъ представ-

леній и повѣрій. Такова идиллія 15-я, *Чары*, въ которой жена, оставленная невѣрнымъ мужемъ, сыплетъ просо на угли, топитъ воскъ, сожигаетъ ясеневые листья и употребляетъ заклинанія и заговоры, чтобы привлечь къ себѣ невѣрнаго и извести его любовницу. Такова еще прелестная идиллія 12-я, *Коровай* (Kołacz), взятая впрочемъ болѣе изъ шляхетскаго быта и изображающая свадебные обряды [9]).

Наконецъ Симониду пришла счастливая мысль вложить въ уста простого народа патетическія жалобы на его горькую судьбину, на притѣсненія со стороны помѣщиковъ. Эти жалобы писались не въ видахъ демократической пропаганды, потому что поэзія Симонида по своей искусственности никакъ не могла разсчитывать на распространеніе въ простонародьѣ, да и Симонидъ былъ вовсе не революціонеръ, а человѣкъ глубоко преданный существующему порядку. Она заключала въ себѣ только предостереженіе на будущее время и обнаруживаетъ въ авторѣ не только художника, но и человѣка съ направленіемъ, мужественнаго гражданина, который рѣшился говорить весьма непріятныя вещи въ глаза всемогущему тогда сословію, нерасположенному слушать ничего подобнаго. Въ идилліи 17-й, *Пастухи*, мужики толкуютъ о вымогательствахъ со стороны панскихъ лѣсничихъ, о взысканіяхъ за лѣсныя порубки. Въ идилліи 18-й, *Жницы*, барскій управляющій съ кнутомъ въ рукахъ понуждаетъ къ работѣ деревенскихъ бабъ; одна изъ нихъ, Петруха, заводитъ слѣдующую пѣсню: «Солнышко, око свѣтлое, око дня прекраснаго, ты не то, что нашъ староста; ты встаешь, когда пора придетъ; ему этого мало, онъ бы хотѣлъ, чтобы ты въ полночь подымалось. Солнышко, ты день за днемъ водишь, пока не исполнится долгій годъ, а онъ бы хотѣлъ все сдѣлать въ одинъ часъ; ты иногда припекаешь, иногда даешь вѣтерку повѣять и разсѣять зной, а онъ то и дѣлаетъ, что кричитъ: не лѣнись, жни да жни, онъ и знать не хочетъ, что при работѣ серпомъ, потъ льется въ три ручья съ лица. Тебя, солнышко, заслонятъ иногда тучи, но ихъ скоро разгонитъ вѣтеръ; нашему старостѣ не гляди прямо въ глаза,

[9]) Sroczka krzekce na płocie, będą goście nowi;
Sroczka czasem omyli, czasem prawdę powie,
Gdzie gościom w domu radzi, sroczce zawsze wierzą
I nie każą się kwapić kucharzom z wieczerzą...
Sroczka krzekcze na płocie, pewnie się raduje
Serduszko, bo miłego przyjaciela czuje
Jedzie z swoją drużyną panicz urodziwy,
Panicz z dalekiej strony, pod nim koń chodziwy
Koń łysy, białonogi, rząd na nim ze złota,
Panno gotuj się witać, już wjeżdża we wrota... i t.d.

(Сорока стрекочетъ на заборѣ—будутъ новые гости. Сорока иногда обманетъ, иногда правду скажетъ. Въ которомъ домѣ рады гостямъ, тамъ сорокѣ всегда вѣрятъ и приказываютъ поварамъ не торопиться съ ужиномъ. Сорока стрекочетъ на заборѣ, а сердце скачетъ у дѣвушки, потому что она чуетъ милаго друга. Ѣдетъ съ дружиною паничъ красивый, паничъ съ дальней стороны; подъ нимъ конь рѣзвый, конь бѣлоногій, сбруя на немъ золотая. Дѣвица, готовься привѣтствовать его! вотъ онъ въѣзжаетъ въ ворота и т. д.)

потому что у него постоянно нахмуренныя брови. Ты даешь росу, вставая и заходя, у насъ же все постъ отъ утра до вечера» и т. д. [10])

Наслѣдниками лиры Шимоновича въ буколическомъ родѣ являются братья Зиморовичи, армяне, мѣщане львовскіе, изъ которыхъ младшій, Шимонъ, рано умеръ и не могъ вполнѣ развить своего таланта (†1629; *Roxolanki*); старшій, Іосифъ Варѳоломей (1597 — 1628), оставилъ 17 идиллій весьма замѣчательныхъ, потому что въ нихъ болѣе снятыхъ съ натуры эскизовъ, нежели у Шимоновича, языкъ дѣлается живописнѣе и пестрѣетъ русскими провинціализмами (sołowej, władyka, spas, praznik, derewnia и т. под.); наконецъ, когда послѣ страшнаго набѣга козаковъ и Татаръ на Червонную Русь и осады ими Львова въ 1648 г., Зиморовичъ взялся разсказать въ двухъ идилліяхъ эти событія (*Kozaczyzna*, *Burda ruska*), то подъ его перомъ риѳмованный разсказъ крестьянъ, спасшихся отъ наѣздниковъ, о томъ, какъ была взята и кровью обагрена святоюрская обитель, какъ пытаемы были священники, какъ цѣлыя толпы народа продаваемы были въ ясырь Татарамъ, —принимаетъ складъ эпическій и превращается почти въ страницу изъ исторіи [11]).

Отъ идилліи перейдемъ къ сатирѣ. При всемъ блескѣ и великолѣпіи тогдашней Польши передовые люди чувствовали, что не все ладно въ Рѣчи посполитой. Замѣчались симптомы болѣзни, дѣлалась по временамъ ея діагноза, но причина зла оставалась тайною. Янъ Кохановскій и Петръ Збылитовскій (1571—1649) вмѣсто лекарства предлагаютъ одни нравоученія въ родѣ слѣдующихъ: будьте скромны, воздержны, гуманны въ отно-

[10]) Słoneczko! sliczne oko, oko dnia pięknego
Niejesteś ty zwyczajów starosty naszego;
Ty wstajesz kiedy twój czas. jemu się zda mało
Chciałby on żebyś ty od północy wstawało...
Ty dzień po dniu prowadzisz, nim długi rok minie
A on wszystko porobić chce w jednej godzinie.
Ty czasem pieczesz, czasem wionąć wietrzykowi
Pozwolisz, i naszemu dogadzasz znojowi,
A on zawsze: pożynaj. niepostawaj! woła
Niepomnąc że przy sierpie trojpot idzie z czoła...
Ciebie czasem pochmurne obłoki zasłonią,
Ale ich prędko wiatry pogodne rozgonią,
A naszemu staroście niepatrz w oczy śmiele,
Zawsze u niego chmura i kozoił na czele.
Ty rosę hojną dajesz poranu wstawając
I drugą także da, esz w wieczór zapadając—
U nas post do wieczora zawsze od zarania,
Niepytaj podwieczorka, niepytaj śniadania! i t. d.

[11]) dopioro pójrzałem
Kiedy ihumen głosem zawołał niemałym:
Hej! Proboh chrestyanie; temu horylicą
Polawszy plesz na głowie przepalali swiecą,
Żeby wyśpiewał kędy stare ryzy schował,
Albo srebro; on z niemi o wierze rokował
Lecz niejeden powiedział: batenku choroszyj!
Niechoczem twoiej wiry, tysze ditczych hroszej...
Naostatek wołając: proszczaj światyj Juru!
Oberwali na ziemię obraz jego z muru...

шеніи къ низшимъ, не гоняйтесь за модою, остерегайтесь роскоши, храните крѣпко старые добрые нравы. Разумѣется, что эти нравоученія не вели ни къ чему. Потокъ времени увлекалъ съ собою общество въ противоположномъ направленіи. Былъ одинъ только писатель, одаренный замѣчательнымъ критическимъ умомъ, который заглянулъ поглубже въ общественныя отношенія и, дотронувшись до основанія шляхетства, осмѣлился занести руку на самый корень его въ Польшѣ, отвергнуть значеніе и превосходство породы, усомниться въ преемственности наслѣдованнаго отъ предковъ благородства. Это сомнѣніе выражено было намеками, обиняками; при всей слабости выраженія, оно требовало значительнаго гражданскаго мужества. Этотъ писатель, рѣшившійся сознательно идти противъ теченія вѣка и общества, едва замѣченный современниками, но котораго позднее потомство должно привѣтствовать какъ родного брата, былъ Себастіанъ Кленовичъ (или по латыни, отъ acer—кленъ, Acernus, 1551—1608). Кленовичъ происходилъ изъ мѣщанъ города Сульмержицъ, на пограничьи Силезіи, воспитывался въ краковской академіи, поселился въ Люблинѣ, былъ ратманомъ и писаремъ городскаго суда, наконецъ бургомистромъ города Люблина, исправлялъ притомъ должность судьи или войта въ имѣніяхъ монастыря сѣцеховскаго. Жизнь поэта, не блестящую и трудовую, омрачали домашнія бѣдствія; его раззоряла злая и распутная жена, его преслѣдовали многіе непріятели, которыхъ онъ нажилъ себѣ между сильными міра сего своимъ прямодушіемъ, такъ что онъ скончался въ крайней нищетѣ, въ больницѣ іезуитской св. Лазаря въ Люблинѣ. Ученый библіотекарь краковскаго университета Іосифъ Мучковскій открылъ случайно, кто были главные гонители Кленовича (брошюра Мучковскаго издана 1840). Въ іезуитскихъ бумагахъ онъ нашелъ извѣстіе, что отцы іезуиты передъ смертію Кленовича привели его къ раскаянію и заставили его просить прощенія въ томъ, что онъ издалъ безъимянно въ 1600 г. брошюру *Equitis poloni in Jesuitas actio prima*, въ которой онъ доказывалъ, что орденъ занимается больше интригами, нежели наукою, и что орденъ причинилъ вредъ Польшѣ, завладѣвъ народнымъ воспитаніемъ. Рука ордена тяготѣла и надъ произведеніями поэта, которыя были по возможности истребляемы. Въ особенности преслѣдовалась его *Victoria Deorum*, заклейменная слѣдующимъ іезуитскимъ двустишіемъ:

Quid praemii versibus tam dignis?
Nisi carnifex et ignis.

(Чего достойны эти стихи? только огня, и руки палача).

Если на Кленовича смотрѣть съ художественной точки зрѣнія, то приговоръ о немъ выйдетъ не въ пользу автора; поэтическое дарованіе его было слабое; творчествомъ поэтическимъ, умѣющимъ великую мысль облечь въ соотвѣтствующую ей форму, онъ не отличался вовсе. Въ его натурѣ преобладали двѣ способности: острая наблюдательность, и умъ анали-

тическій, разлагающій всякую общую мысль, взятую имъ за тему, на безчисленное множество частностей. Ухватившись за такую мысль, Кленовичъ возился съ нею долго, по цѣлымъ годамъ, оборачивая ее на всѣ стороны, выводилъ по всѣмъ правиламъ логики цѣлую сѣтку систематическихъ дѣленій, и дробныя клѣточки этой канвы онъ наполнялъ постепенно содержаніемъ, заимствуемымъ или изъ запаса громадной его учености, или изъ собственнаго житейскаго опыта. За исключеніемъ *Надгробнаго плача на смерть Яна Кохановскаго*, ряда пѣсней въ лирическомъ родѣ, всѣ остальныя поэмы Кленовича растянуты, носятъ на себѣ слѣды продолжительной и усидчивой работы, читаются съ трудомъ, но изобильны живописнѣйшими частностями. Онѣ могутъ быть отнесены къ двумъ родамъ: землеописательному (такова его поэма писанная по польски, *Flis*, и по латыни, *Roxolania*), и нравоучительному (таковы *Worek Judaszow* или *Мошна Іуды*, и *Victoria Deorum*). Флисами называются судовщики вислинскіе. Кленовичъ садится съ ними на шкуту (баржу) у варшавскаго моста и совершаетъ плаваніе до самого Данцига. Поэма начинается созданіемъ міра, образованіемъ рѣкъ, выводитъ изъ глубочайшей древности, отъ Язона и Одиссея, исторію плаванія по водамъ и торговли, излагаетъ энциклопедически теорію судостроенія, описываетъ нравы судовщиковъ и шкиперовъ, ихъ техническій языкъ и поговорки, ихъ преданія и, останавливаясь при каждомъ поворотѣ и каждомъ рукавѣ рѣки, рисуетъ картины ея береговъ и усѣвшихся на нихъ селеній и городовъ. Въ латинской *Роксоланіи*—пріемышъ Руси Червонной или Галицкой—Кленовичъ взялся описать красоты своего отечества по усыновленію и раздѣливъ свой предметъ на три части, въ первой описываетъ дары и произведенія природы, а также и промыслы жителей: лѣсоводство, земледѣліе, скотоводство, пчеловодство; во второй—червоно-русскіе города: Люблинъ, Львовъ, Кіевъ, Перемышль, Каменецъ; въ третьей—бытъ и нравы жителей, крестины и проводы покойниковъ, посты, чары и религіозное суевѣріе простонародья, бѣдствія и радости мужика, алчность евреевъ. Великій мастеръ пейзажной живописи, Кленовичъ по существу и складу своего ума предпочиталъ однако обработывать матеріи важныя, нравственные вопросы, «писать смѣхотворно не смѣха ради, а для исправленія людскихъ обычаевъ, въ особенности для исправленія людей молодыхъ». Какъ судьѣ, долго возившемуся съ грязью и осадками общества, ему хорошо была извѣстна изнанка человѣческой природы, онъ и далъ волю своему, наболѣвшему отъ созерцанія зла, сердцу въ поэмѣ на польскомъ языкѣ: *Мошна Іуды*, странномъ произведеніи, которое неизвѣстно куда отнести, къ юридической ли литературѣ или къ поэзіи. По пріемамъ автора оно скорѣе походитъ на комментарій къ «Саксонскому Зерцалу», которымъ руководствовались городскіе судьи; это ничто иное какъ юридическій трактатъ, по всѣмъ правиламъ науки, о воровствѣ-кражѣ и о разныхъ иныхъ предосудительныхъ способахъ пріобрѣтенія собственности въ ущербъ другимъ лицамъ. Христовъ предатель, окаян-

ный Іуда носилъ у пояса пеструю мошну, сшитую изъ четырехъ родовъ кожи: волчьей, лисьей, леопардовой и львиной. Четыремъ составнымъ кускамъ мошны соотвѣтствуютъ четыре способа корыстоваться чужою собственностью: кража, мошенничество, ябеда и насиліе, что и даетъ поводъ автору описать и перебрать поштучно всѣ виды этихъ преступленій.

Къ первому куску мошны пріурочены простая кража и святокупство, выдраніе пчелъ и конокрадство, казнокрадство и лихоимство. Наконецъ безстрашною рукою записного юриста-техника начертанъ драматически и картинно весь ходъ суда надъ ворами, съ палачемъ и поднятіемъ на дыбу, съ прожиганіемъ тѣла свѣчами и повѣшеніемъ воришки на высокой перекладинѣ, въ полѣ перекатномъ между небомъ и землею, чтобы онъ не вредилъ болѣе человѣческому племени. Подъ кожу лисью подведены обманщики, испрашивающіе милостыню, нищіе, выдумывающіе чудеса, надувалы, живущіе на счетъ мужей, волочась за женами. Къ леопардовой кожѣ отнесены ябедническое крючкотворство, жидовская лихва и вымогательство монахами записей у умирающихъ на монастыри и церкви. Наконецъ, дошедши до кожи львиной, авторъ вдругъ замолкаетъ, «такъ какъ страшно говорить объ этой кожѣ», и, прервавъ свою рѣчь, заканчиваетъ поэму просьбою, обращенною къ грабителямъ, забравшимъ чужое добро, чтобы они по примѣру того, что сдѣлано изъ сребренниковъ Іуды, купили по крайней мѣрѣ какую нибудь «землю крове» для погребенія обобранныхъ ими жертвъ. У Кленовича болѣе, чѣмъ у кого нибудь другого изъ его современниковъ, надобно читать между строками; въ этой недомолвкѣ, какъ полагаютъ, сквозитъ мысль политическая, подъ львинымъ насиліемъ Кленовичъ разумѣлъ вѣроятно насиліе и притѣсненія со стороны преобладающей въ государствѣ аристократіи въ отношеніи къ другимъ сословіямъ, но слово замерло на устахъ передъ трудностью задачи. Трудность задачи заключалась не въ опасеніи гоненій со стороны власти, потому что учрежденія были въ Польшѣ свободнѣе, чѣмъ гдѣ либо и писатель пользовался полною свободою слова и печати. Она состояла въ томъ презрительномъ невниманіи, съ какимъ настроившееся на извѣстный ладъ общество относится къ непріятнымъ для него истинамъ и совѣтамъ, мѣшающимъ его покою [12]). Кленовичъ хотѣлъ во что бы то ни стало заставить себя слушать, онъ нарядилъ жесткую мысль въ мягкія формы, онъ заявилъ со всевозможными оговорками и уступками протестъ противъ существующаго порядка и идею о необходимости коренной соціальной реформы въ предлинной дидактической поэмѣ, состоящей изъ 44-хъ пѣсенъ на латинскомъ языкѣ, подъ заглавіемъ *Victoria Deorum*. Это

[12]) Въ этомъ отношеніи Польша 17-го вѣка была удивительно похожа на теперешнюю Англію. Заимствуемъ у Франкевилля (Institutions polit., judic., et adm. de l'Angleterre, Paris 1863) слѣдующую выдержку изъ Times: „Хотите знать, какая судьба ждетъ у насъ демократовъ, революціонеровъ, утопистовъ? Мы не заключаемъ ихъ въ тюрьму, мы только затворяемъ передъ ними наши двери и не допускаемъ ихъ въ наше home. Мы не смотримъ на нихъ, мы не занимаемся ими, они угасаютъ въ пустомъ безвоздушномъ пространствѣ, которое образуется вокругъ нихъ“...

произведеніе поэтично только по своей стихотворной формѣ, въ сущности это ничто иное, какъ огромный трактатъ нравственной философіи, весь состоящій изъ тезисовъ, опроверженій, доказательствъ и примѣровъ. Названіе его, совершенно произвольное, взято изъ помѣщеннаго въ концѣ поэмы (XXXIX, XL) эпизода о борьбѣ Титановъ съ Юпитеромъ: въ Титанахъ олицетворены магнаты и шляхта, рокошане, потрясающіе тронъ, въ Юпитерѣ королевская власть. Настоящее названіе поэмы должно бы быть *de vera nobilitate*, а коренная мысль ея заключается въ томъ, что тотъ лишь хорошо рожденъ (т. е. благороденъ), кто хорошо живетъ, а хорошо живетъ, кто хорошо умираетъ. Кленовичъ преклоняется передъ необходимостью существованія шляхетства, потому что люди рождаются не съ одинаковыми способностями, и во всякомъ обществѣ должны быть и управляющіе, и управляемые. Но допустивъ аристократію, Кленовичъ требуетъ, чтобы она была настоящая, а не подложная, настоящая же только и можетъ основываться на *добродѣтели* (въ особенности на храбрости — *virtus*) и на трудѣ, а не на породѣ, и не на богатствѣ.

Такъ какъ шляхетство должно пріобрѣтаться доблестью, то оно превращается у Кленовича изъ родового въ личное, что и подтверждается безчисленнымъ множествомъ примѣровъ объ искаженіи и вырожденіи аристократическихъ фамилій и о даровитости простолюдиновъ и бастардовъ. Вопреки господствующимъ предубѣжденіямъ, Кленовичъ утверждаетъ, что ручной трудъ не унизителенъ для шляхтича; онъ энергически возстаетъ противъ помѣщиковъ, заступаясь за крестьянъ. Кленовичъ только критикъ, а не реформаторъ; указывая на причину зла, онъ не предлагаетъ никакихъ средствъ лѣченія, средствъ этихъ и не было въ польской Рѣчи посполитой, которой органическимъ порокомъ былъ родовой аристократизмъ. Кленовичъ не подозрѣвалъ, что зло столь глубоко, что народъ и освободиться отъ него можетъ не иначе, какъ посредствомъ политической своей смерти. Кленовичъ полагалъ, что его оцѣнятъ по достоинству современники или по крайней мѣрѣ ближайшіе потомки [13]), но память объ немъ затихла, и только послѣ двухъ съ половиною вѣковъ, послѣ паденія Рѣчи посполитой, тѣнь его дождалась того, что ей воздана должная почесть и что ей воздвигають надгробные памятники [14]).

Вмѣсто реформы въ либеральномъ духѣ, которую звалъ Кленовичъ, близилась быстрыми шагами нелиберальная, нетолерантная реакція, возвратъ къ старому, оцѣпенѣніе мысли, разнуздавшейся вслѣдствіе реформаціи, безъ преобразованія учрежденій. Свободныя учрежденія требуютъ въ народѣ, который хочетъ ими пользоваться, здоровыхъ нравовъ и выработки характеровъ. Эту выработку сообщала характерамъ въ средніе вѣка религія. Про-

[13]) Forsitan ad Manes dulcedo posthuma laudis
Pervenit nostros et seri sensus honoris.

[14]) Прекрасную оцѣнку своихъ заслугъ нашелъ Кленовичъ у Мацѣёвскаго, Piśm. Polsk. т. 1, стр. 522—556.

тестантизмъ въ Польшѣ, отвергнувъ авторитетъ церкви, не поставилъ никакого новаго закона нравственнаго вмѣсто католическаго, и видимо стремился въ аріанствѣ, анабаптизмѣ и другихъ сектахъ къ превращенію религіи въ чистую философію, оправдывающую по мѣрѣ надобности и кровосмѣшеніе, и внѣбрачныя связи, и захваты духовныхъ имуществъ, и всякій произволъ. Притомъ этотъ польскій протестантизмъ заключалъ въ себѣ множество противорѣчій, которыя должны были неминуемо привести его къ паденію; онъ пустилъ корни только въ слоѣ высшей шляхты, онъ искалъ поддержки въ магнатахъ, долженъ былъ по необходимости угождать своимъ покровителямъ, спускать имъ многое недостойное, мало заботился о массахъ и привыкалъ смотрѣть на свободу вѣроисповѣданія, какъ на прерогативу, принадлежащую исключительно шляхетству. Протестантская шляхта наслаждалась свободою вѣрованія во что либо или ни во что невѣрованія, и цѣнила высоко эту свободу, но она вмѣстѣ съ тѣмъ сознавала, что для простонародья религія нужна, чтобы держать чернь въ уздѣ. Этотъ союзъ протестантской религіи съ аристократіею могъ продолжаться только до поры до времени, до того момента, когда бы обѣ соединившіяся силы не увидали, что онѣ теряютъ отъ этого союза; религія, потому что она оскорбляется зависимостью отъ своихъ свѣтскихъ покровителей; аристократія, потому что протестантизмъ, какъ элементъ критики и отрицанія, долженъ разъѣдать всякій авторитетъ, а слѣдовательно и авторитетъ шляхты, ея господство надъ крестьянами, ея преобладаніе политическое, ни на чемъ другомъ не основанное, какъ на исторіи и на преданьяхъ. Этотъ моментъ насталъ въ концѣ 16-го и началѣ 17-го столѣтія. Замѣтивъ опасность, большинство послѣдователей протестантизма отшатнулось отъ него такъ же легко, какъ легко къ нему пристало, отказалось отъ свободы мышленія, подчинилось опять авторитету откровенія, представляемому церковью, и римскій католицизмъ, повидимому совершенно было упавшій, воскресъ опять, какъ фениксъ изъ пепла, обновленный, очищенный, и болѣе завоевательный, чѣмъ когда либо въ прежнія времена. Ряды противниковъ его рѣдѣютъ, одинъ за другимъ переходятъ къ нему протестантскіе магнаты, переходятъ и князья, и вельможи литовскіе и русскіе, слѣдовавшіе доселѣ православію. Восторженная пропаганда совершаетъ чудеса, собираетъ опять разсѣявшихся овецъ въ едино стадо, подъ старое знамя, и ставитъ себѣ цѣлью положить основаніемъ государству единство вѣроисповѣданія, заставивъ всѣхъ еретиковъ (протестантовъ) и схизматиковъ (православныхъ) признать главенство римскаго папы. Эти стремленія католицизма совпадали съ наибольшимъ распространеніемъ границъ Польши на востокъ, съ моментомъ, когда орлы польскіе направлялись на самый Кремль московскій, когда существовали не лишенныя основанія надежды, что рано или поздно сама Московія будетъ вовлечена въ систему польской шляхетско-католической федераціи или посредствомъ избранія кого нибудь изъ московскихъ государей на польскій престолъ (по примѣру династіи Ягеллоновъ), или посредствомъ возведенія на московскій пре-

столъ лица, которое бы взялось быть исполнителемъ замысловъ польской политики. Главными дѣятелями на поприщѣ пропаганды религіозной были іезуиты; о вліяніи ихъ на народное воспитаніе, на умственное развитіе народа мы скажемъ впослѣдствіи, при разсмотрѣніи слѣдующаго періода, когда ихъ дѣятельность принесла уже свои плоды, здѣсь только замѣтимъ, что ихъ направленіе было демократичнѣе шляхетскаго протестантизма, наконецъ что между іезуитами попадались и люди честные, исполненные самоотверженія, энтузіастически преданные своему дѣлу, которые именемъ Бога говорили народу горькія истины и укоряли сильныхъ міра сего, не унижая себя никогда лестью. Однимъ изъ такихъ чистыхъ и честныхъ дѣятелей по части прозелитизма и воплощеніемъ, можно сказать, католической пропаганды былъ знаменитый священникъ Петръ Павэнзскій, болѣе извѣстный подъ фамильнымъ прозвищемъ Скарги, стяжавшій себѣ по увлекательному своему краснорѣчію эпитетъ Златоустаго. Вліяніе его на современниковъ было столь громадно и дѣятельность его ораторская и литературная столь тѣсно связаны со всѣми тогдашними политическими событіями, что необходимо изложить подробнѣе главные моменты его 76-лѣтней жизни, посвященной съ начала до конца одной только идеѣ [15]).

Петръ Скарга, дворянинъ родомъ изъ Мазовіи, родился 1536 г., учился въ краковской академіи, вступилъ въ духовное званіе, сдѣланъ былъ канονикомъ львовскаго капитула и проповѣдникомъ соборной церкви въ Львовѣ. Священство свѣтское, которому онъ принадлежалъ, не удовлетворяло души его, склонной къ аскетизму, сдержанной и любящей дисциплину. Онъ его оставилъ, отправился въ Римъ и тамъ, въ столицѣ католицизма, вступилъ въ 1568 г. въ ряды того недавно возникшаго ордена, который былъ построенъ на чиноначаліи, болѣе нежели военномъ, на слѣпомъ и безусловномъ подчиненіи ума и воли человѣка пользамъ и видамъ церкви. Возвратившись въ 1571 г. въ Польшу, онъ былъ поставленъ въ 1573 г. на посту весьма важномъ, но трудномъ, на востокѣ Рѣчи посполитой, въ Вильнѣ, среди преобладающаго на Литвѣ кальвинизма. Скарга отличился вскорѣ какъ проповѣдникъ, онъ обратилъ въ католичество магнатскую фамилію Ходкевичей и несвижскую линію дома Радзивилловъ, онъ велъ диспуты съ протестантскими богословами, основывалъ братства религіозныя и благотворительныя, былъ первымъ ректоромъ образованнаго въ 1579 г. изъ іезуитской гимназіи виленскаго университета, ѣздилъ устроивать іезуитскія коллегіи, школы и церкви въ Полоцкѣ, Дерптѣ, Ригѣ. Изъ Вильна Скарга переѣхалъ въ 1584 г. въ Краковъ; въ 1588 г. избранный королемъ, Сигизмундъ III Ваза, сдѣлалъ его своимъ придворнымъ проповѣдникомъ. Въ теченіи 24 лѣтъ Скарга пользовался неограниченнымъ довѣріемъ Сигизмунда III. По выраженію проповѣдника Бирковскаго, какъ передъ римскими императорами носимы были зажженные факелы, такъ точно Скарга былъ та-

[15]) Rychcicki (M. Dzieduszycki), Piotr Skarga i jego wiek. Kraków 1850. 2 тома.

кимъ горящимъ факеломъ передъ лицомъ польскаго короля и народа. Деньги тысячами проходили черезъ его руки, потому что придворный проповѣдникъ былъ и распорядителемъ денегъ, жертвуемыхъ королемъ на бѣдныхъ, но для себя онъ жалѣлъ и гроша, жилъ въ добровольномъ убожествѣ, въ тѣсной монашеской кельѣ, отказывая себѣ въ малѣйшихъ удобствахъ. Слово его значило много у короля, но ни за кого онъ не просилъ, ни для кого не заискивалъ ни малѣйшей милости. Какъ политическій дѣятель, онъ принималъ живое участіе въ двухъ весьма важныхъ событіяхъ: въ уніи брестской (1596 г.) и въ рокошѣ Зебржидовскаго. Унію брестскую онъ подготовилъ своими политическими сочиненіями, направленными противъ православія («O jedności Kosciola Bożego pod jednym pasterzem i o greckiem od tej jedności odstąpieniu», Wilno 1577). Онъ ораторствовалъ и на соборѣ брестскомъ 1596 г. въ числѣ лицъ, уполномоченныхъ отъ короля; на этомъ съѣздѣ онъ вызывалъ на публичный диспутъ несоглашавшихся на унію православныхъ и описалъ весь ходъ дѣла въ книгѣ: «Synod Brzeski i jego obrona» 1597. Унія брестская, насилія и гоненія со стороны католиковъ противъ слабѣйшихъ числомъ протестантовъ, по наущенію іезуитовъ, и ненавистныя для народа связи короля съ домомъ австрійскимъ вызвали междоусобную войну. Составилась коалиція изъ всѣхъ враждебныхъ королю и іезуитамъ элементовъ, изъ протестантовъ, изъ дизунитовъ православныхъ, изъ магнатовъ, противныхъ союзу съ Австріею и боявшихся стремленія короля къ *absolutum dominium*. Дошло до вооруженнаго возстанія или рокоша, во главѣ котораго сталъ ближайшій другъ покойнаго Замойскаго, краковскій воевода Зебржидовскій. Въ этой игрѣ страннымъ образомъ перемѣшались карты: на одной сторонѣ стала королевская власть, служащая ширмами для ордена и орудіемъ, посредствомъ котораго іезуиты проводили мысль религіознаго объединенія народа во что бы то ни стало; на другой сторонѣ, разнообразныя, ненавидящія другъ друга вѣроисповѣданія и секты акатолическія подавали себѣ руки, соединенныя общею грозившею имъ опасностью, и поддерживали на своихъ плечахъ честолюбивое вельможество, охотно при всякомъ удобномъ случаѣ сопротивлявшееся королю. Скарга ѣздилъ отъ короля къ Зебржидовскому уговаривать его смириться, рокошане требовали отъ короля, чтобы онъ удалилъ отъ себя іезуитовъ; Скарга, не отступавшій отъ короля ни на шагъ, явился бойцомъ ордена и защищалъ его и устно, съ проповѣдническаго амвона, и письменно: «Proba zakonu societatis Jezu», Krakow 1607.

Трагическое въ этой борьбѣ партій было то, что въ чью бы сторону ни склонилась побѣда, польское общество должно было неминуемо потерять; оно и осталось въ двойномъ проигрышѣ. Король осилилъ рокошанъ, но не на столько, чтобы власть его могла въ какой бы то ни было степени облегчить судьбу низшихъ рабочихъ классовъ народонаселенія; за то диссиденты были разбиты, и Скарга дожилъ до полнаго торжества католицизма. Онъ умеръ въ Краковѣ въ 1612 году.

Литературные труды Скарги могутъ быть раздѣлены на сочиненія полемическо-богословскія, на сочиненія, относящіяся до исторіи церкви, и на проповѣди. Скарга полемизировалъ весьма много съ православными, съ протестантами различныхъ толковъ (Siedm filarów, na których stoi katolicka nauka, 1582; Wzywanie do jednej zbawiennej wiary и мн. другія), писалъ сильныя діатрибы въ особенности противъ аріанъ (Zawstydzenie nowych aryanów, Kraków 1608; Messiasz nowy aryanów wedle alkoranu tureckiego, Kraków 1612). Эти сочиненія не подлежатъ нашему разбору, также какъ и опыты его по церковной исторіи, состоящіе въ томъ, что онъ издалъ житія святыхъ (Żywoty Swiętych, 1579) и далъ въ переводѣ сокращеніе труда кардинала Баронія: Annales ecclesiastici (1603—1607). Житія святыхъ написаны безъ критики, но великолѣпнымъ увлекательнымъ слогомъ, которому они одолжены тѣмъ, что имѣли до 25 изданій и болѣе извѣстны и распространены въ массахъ, нежели какое либо другое произведеніе словесности. Всего важнѣе проповѣди Скарги (Kazania na niedziele i święta, 1595; Kazania o siedmiu sakramentach i kazania przygodne, 1600) и въ особенности *проповѣди сеймовыя* (Kazania Sejmowe, 1600). Восемнадцать разъ случилось ему читать передъ собравшимися для законодательныхъ работъ сеймами проповѣди, имѣющія значеніе рѣчей политическихъ, четыре раза пришлось ему произносить проповѣди хвалебныя по поводу величайшихъ побѣдъ, какими прославило себя польское оружіе: въ 1588 г. по случаю взятія въ плѣнъ подъ Бычиною эрцгерцога австрійскаго Максимиліана, въ 1600 г. по случаю подчиненія Молдавіи Польшѣ Замойскимъ, въ 1605 по случаю пораженія подъ Кирхгольмомъ надъ Двиною Карла Зюдерманландскаго, дяди Сигизмунда III, Ходкевичемъ, и въ 1611 г. по случаю взятія Смоленска. Сила его краснорѣчія была столь велика, что враги его диссиденты называли его *тираномъ душъ человѣческихъ* (psychotyrannus). Чтобы оцѣнить по достоинству его рѣчи, надобно забыть, что онъ іезуитъ, надобно войти въ его положеніе, стать на его точку зрѣнія. Онъ былъ въ полномъ смыслѣ слова священникъ-гражданинъ; какъ ни страннымъ можетъ показаться это опредѣленіе, онъ представлялъ собою рѣдкій типъ іезуита-патріота. Родину свою онъ любилъ горячо и страстно, ревниво желалъ ей величія, распространенія ея предѣловъ и могущества и, съ ужасомъ замѣчая признаки гніенія и разложенія, предвѣщавшіе упадокъ Рѣчи посполитой, онъ страдалъ сильнѣе, нежели менѣе проницательные его современники, отъ этихъ болѣзней. Доискиваясь причины зла, онъ ее находилъ прямо и непосредственно въ отщепенствахъ, въ разномысліи и разъединеніи въ дѣлѣ вѣры, по тому евангельскому правилу, что всякое царство, раздѣлившееся въ самомъ себѣ, запустѣетъ и домъ на домъ падетъ (ев. отъ Луки XI, 17). Онъ очень хорошо зналъ, что онъ вызываетъ противъ себя страшную ненависть со стороны диссидентовъ; его называли инквизиторомъ, льстецомъ, королевскимъ паразитомъ, апостоломъ absoluti dominii, онъ не былъ безопасенъ отъ самыхъ наглыхъ и насильственныхъ нападеній и

обидъ, въ Вильнѣ онъ былъ однажды побитъ, въ Варшавѣ дважды получилъ публично пощечину, и всякій разъ не только не озлился на обидчиковъ, но испросилъ имъ великодушно прощеніе. Никогда онъ не позволялъ себѣ нападать или намекать на какія бы то ни было личности, никогда онъ не подстрекалъ католиковъ къ грубому насилію въ отношеніи къ протестантамъ, къ разрушенію ихъ сборовъ или церквей, къ насильственному помѣшательству ихъ богослуженію, тѣмъ не менѣе однако его усилія и совѣты направлены были къ достиженію того же самаго результата, къ искорененію раскола съ помощью свѣтской власти и къ гражданской нетерпимости отщепенства, потому что терпимость ведетъ прямо къ атеизму.

Королевская власть нужна, по мнѣнію Скарги, для доставленія церкви торжества надъ иновѣрцами, для приведенія въ исполненіе приговоровъ духовныхъ судовъ. Онъ не скрываетъ своего расположенія къ идеалу теократическаго правленія (4-е Kazanie sejmowe), къ царскому священству, и къ священническому царству, то есть къ такому устройству, въ которомъ бы священникъ управлялъ вмѣстѣ съ королемъ и посредствомъ короля. Изъ священнаго писанія и природы вещей вытекаетъ необходимость единовластія или монархіи. Скарга не былъ бы прочь и отъ самодержавія, если бы монархъ былъ всегда безгрѣшенъ и мудръ, но какъ это рѣдко случается, то разумъ человѣческій прилагаетъ къ королю совѣтъ и законы, опредѣляя и ограничивая власть его, чтобы онъ не сдѣлался злымъ тираномъ (6 Kazanie sejmowe). Въ томъ и состоитъ настоящая свобода, золотая вольность, чтобы имѣть королей, которые бы правили не самовластно и произвольно, не по тирански, но на основаніи закона; такою вольностью Богъ жалуетъ Поляковъ, давая имъ въ теченіи 600 лѣтъ королей добрыхъ, справедливыхъ и святыхъ. Понятно, что при столь монархическомъ настроеніи своемъ, Скарга относится враждебно ко всѣмъ учрежденіямъ, которыя считались палладіумами свободы въ Польшѣ. Онъ не долюбливаетъ прерогативы шляхты избирать королей, онъ положительно возмущенъ тѣмъ, что по кардинальному закону Рѣчи посполитой: *Neminem captivabimus nisi jure victum,* шляхтичъ не подлежалъ подслѣдственному аресту и могъ быть лишенъ свободы только тогда, когда былъ передъ судомъ изобличенъ въ преступленіи. Скарга сильно вооружается противъ многоголовой гидры собранія земскихъ пословъ, усилившаго свой авторитетъ съ ущербомъ для короля и сената. «Господа послы земскіе, говоритъ онъ, не обращайте Польши въ нѣмецкій городъ имперскій, не дѣлайте изъ короля малеванную фигуру, на подобіе Венеціи, потому что вы не имѣете ума венеціанскаго, да и не живете въ стѣнахъ одного и того же города». Шляхтѣ онъ ставилъ наглядно передъ глазами въ картинахъ, ужасающихъ мрачностью колорита всѣ недуги, которыми страдаетъ Рѣчь посполитая (Kazania sejm. (7), Wzywanie do pokuty, Wilno 1610). «Боже мой, какая роскошь проникла въ это царство. Отъ мала и до велика всѣ отвергли святую умѣренность и презрѣли жизнь старо-польскую, воинственную. Всякій хочетъ пить вино, рѣдкій панъ безъ

шелку, безъ шестерни лошадей и ливреи. Пропало и состраданіе къ Рѣчи посполитой. Никто не озаботится поддержаніемъ крѣпостей и стѣнъ. Рѣчь посполитая становится убогою, богатѣютъ лишь отдѣльные дома. Завелось такое казнокрадство, что почти безъ зазрѣнія совѣсти хранители казны смазываютъ общественнымъ грошемъ свои руки, такъ что лишь половина податей, взимаемыхъ съ мѣщанъ и крестьянъ, доходитъ по назначенію. Кто исчислитъ всѣ клеветы, ябеды, обманы и измѣны въ судахъ; всѣ кровосмѣшенія, прелюбодѣянія и лжесвидѣтельства? А этотъ кровавый потъ живыхъ подданныхъ или крестьянъ, который льется безпрестанно, не накликаетъ ли онъ кары Божьей на все государство?.. По какому праву кмети вольные, Поляки и христіяне убогіе обращаются въ крѣпостныхъ, какъ будто бы они были купленные невольники или военноплѣнные? По какому праву помѣщики дѣлаютъ съ ними что хотятъ? Почему эти люди не имѣютъ ни защиты, ни суда, который бы охранялъ ихъ жизнь, здоровье и собственность? Почему мы распространяемъ на нихъ *supremum dominium*, котораго сами для себя терпѣть не можемъ? Зачѣмъ обращаться съ ними какъ съ невольниками, а не какъ съ наймитами? На твоей землѣ сидитъ крестьянинъ и не дѣлаетъ того, что долженъ; прогони его съ твоей пашни, но не отнимай у него свободы прирожденной и христіанской и не становись верховнымъ властителемъ его здоровья и живота, помимо всякаго суда...» Скарга зналъ, что его политическіе совѣты противны духу времени и приняты не будутъ, сердце его переполняется скорбію, уста его произносятъ слова полныя гнѣва и поражающія какъ громъ; съ ясновидѣніемъ древняго пророка предрекаетъ онъ гибель своему отечеству: «Что мнѣ дѣлать съ тобой, бѣдное государство? Если бы я былъ Исаія, то я бы ходилъ нагъ и босъ, взывая къ вамъ, преступники и преступницы закона Божія. Стѣны Рѣчи посполитой вашей трескаются безпрестанно, а вы говорите: ничего, пустяки. *Польша держится безначаліемъ* (nierządem). Вы не понимаете, что нельзя Польшѣ держаться безначаліемъ, что это противно разуму. Безначаліемъ и безпечностью все валится и падаетъ, а такъ какъ безначаліе проистекаетъ отъ слѣпоты грѣховной, то вышло бы, что Польша держится грѣхами, и уходитъ какъ-то отъ божьяго наказанія. Она падетъ, когда вы и чаять не будете и всѣхъ васъ раздавитъ развалинами. Если бы я былъ Іеремія, я бы надѣлъ оковы на ноги и узы на шею и возопилъ бы къ вамъ грѣшнымъ: такимъ образомъ скованы будутъ старѣйшины ваши; и показалъ бы я изгнившую одежду, и встряхнувъ ее, сказалъ бы: такъ испортится и въ ничтожество обратится ваша слава и всѣ ваши достатки и имущества» (Kazanie 8 sejm., Wzywanie do pokuty). «Наступитъ на васъ врагъ внѣшній; воспользовавшись вашими распрями, скажетъ: раздѣлилось сердце ихъ, теперь они погибнутъ. Эти раздоры заведутъ васъ въ плѣнъ, въ которомъ всѣ вольности ваши утонутъ и въ смѣхъ обратятся. Земли и княжества великія, которыя соединились и въ одно тѣло срослись съ короною, отпадутъ и разорвутся; вы, управлявшіе нѣкогда другими народами,

будете на подобіе вдовицы осиротѣлой, посмѣшищемъ и игрушкою враговъ вашихъ. Вы погубите народъ вашъ и языкъ, единственный свободный между всѣми славянскими языками; вы растеряете остатки этого народа, столь древняго и столь широко разросшагося, и поглощены будете другими народами, которые васъ ненавидятъ. Вы лишитесь не только государя изъ крови вашей и права избирать его, но и королевства и отечества; вы станете нищими изгнанниками, презрѣнными бродягами, которые будутъ попираемы ногами тамъ, гдѣ ихъ прежде превозносили и славили. Вамъ ли стяжать другое отечество, въ которомъ бы вы могли имѣть такіе достатки, деньги, сокровища и удовольствія? Возможно ли, чтобы для васъ и для дѣтей вашихъ родилась другая такая же мать? Если вы настоящую потеряете, то другой такой же вамъ и не вообразить» (Kazanie 3 sejmowe).

Скаргою заключается достойнымъ образомъ золотой сигизмундовскій періодъ литературы; онъ довелъ прозу польскую до высокой степени совершенства, но по справедливому замѣчанію Мацѣевскаго (Piśmien. II, 359), никто изъ писателей польскихъ не содѣйствовалъ болѣе его настроенію рѣчи польской на ладъ латинскій, никто болѣе Скарги не вводилъ въ синтаксисъ чисто латинскихъ оборотовъ. Прежде, нежели разстанемся окончательно съ золотымъ періодомъ Сигизмундовъ, бросимъ бѣглый взглядъ на польскую исторіографію этого времени. Историковъ польскихъ можно раздѣлить на писавшихъ по латыни и по польски. Писавшіе по латыни подраздѣляются на компиляторовъ, сокращавшихъ труды предшественниковъ и пытавшихся составить прагматическую систему національной исторіи, и на историковъ очевидцевъ, съ первой руки разсказывающихъ событія, въ которыхъ они сами принимали участіе или которыя совершались по крайней мѣрѣ на ихъ памяти, на ихъ глазахъ. Къ первому классу принадлежатъ: астрологъ Мѣховита (┼1523), ополячившійся нѣмецъ изъ Эльзаса Децій (┼ послѣ 1576), ученый астрономъ и священникъ Бернатъ Ваповскій (┼1535), епископъ вармійскій (эрмеландскій) Мартинъ Кромеръ (1512┼1589). Между писателями второго класса особенно замѣчательны два лица: Свентославъ Оржельскій и Райнгольдъ Гейденштейнъ. Оржельскій (род. 1549, ┼послѣ 1588) составилъ съ замѣчательнымъ талантомъ исторію четырехъ лѣтъ (1572—1576), отъ смерти Сигизмунда Августа до избранія Баторія, въ теченіи которыхъ Польша окончательно превратилась въ монархію избирательную: Interregni Poloniae libri VIII. Гейденштейнъ (1556┼1620) былъ секретаремъ у Яна Замойскаго и Стефана Баторія и сдѣлался чѣмъ-то въ родѣ оффиціальнаго исторіографа, потому что Замойскій, замѣтивъ въ немъ необыкновенныя способности, поручилъ ему описать событія войны Баторія съ Москвою и другія затѣмъ слѣдующія и самъ вѣроятно продиктовалъ ему и добавилъ многое. Рядъ историковъ, писавшихъ по польски, начинается съ дворянъ Бѣльскихъ или Вольскихъ. Изъ нихъ отецъ, Мартинъ (1495┼1575), сдѣлалъ первый опытъ начертанія всеобщей исторіи отъ созданія міра, подъ заглавіемъ «Kronika świata»,

а сынъ его Іоахимъ (┼1599), взявъ ту часть хроники отцовской, которая относится къ Польшѣ, передѣлалъ ее и издалъ подъ названіемъ «Kronika polska». Лука Гурницкій (во второй половинѣ 16-го вѣка) писалъ *Dzieje w Koronie polskiej*, родъ мемуаровъ о дворѣ королевскомъ при Сигизмундѣ Августѣ, но гораздо болѣе онъ извѣстенъ по своему дидактическому сочиненію: *Dworzanin polski*, написанному въ подражаніе итальянской книгѣ Бальтазара Кастильоне: libri del Cortegiano. Гурницкій даетъ своему трактату слѣдующую рамку. Онъ представляетъ, что на мызѣ епископа краковскаго и канцлера Самуила Мацѣёвскаго, близь Кракова, собрались дворяне епископа и для препровожденія времени задаются вопросомъ, какими качествами долженъ быть надѣленъ дворянинъ идеальный, то есть такой, какимъ ему слѣдуетъ быть? Каждый говоритъ поочереди, другіе возражаютъ, все сочиненіе состоитъ изъ подобныхъ разговоровъ. Бартошъ (Варѳоломей) Папроцкій, герба Ястржембецъ изъ Мазовіи (┼1614), проторилъ новую стезю въ литературѣ своими геральдическими изслѣдованіями объ отдѣльныхъ знаменитѣйшихъ родахъ польской шляхты: *Herby rycerstwa polskiego* (Krakow 1584). Совершенно отдѣльно отъ другихъ стоитъ весьма оригинальный писатель Матвѣй Осостовичъ Стрыйковскій (Maciej Osostowicjusz Prekonides Stryjkowski, род. 1547, ┼ въ восьмидесятыхъ годахъ 16-го столѣтія). Хотя онъ былъ родомъ мазуръ, но, переселившись въ Литву, онъ до того пристрастился къ новому своему отечеству, что сталъ жалѣть о потерѣ Литвою отдѣльнаго политическаго существованія и о томъ, что она покрылась сверху слоемъ польской цивилизаціи и рѣшился увѣковѣчить въ литературѣ остатки пропадающей съ каждымъ днемъ старины древне-литовской. Задача была прекрасная, но не по силамъ Стрыйковскому, который не имѣлъ достаточно ни критики, ни научной подготовки, — онъ имѣлъ за то два качества, которыя сообщаютъ его труду цѣну необыкновенную: любознательность и усидчивость. Онъ научился языкамъ русскому и литовскому, изъѣздилъ всю Литву и Ливонію, обозрѣлъ побоища, арсеналы, раскапывалъ курганы и городища, осмотрѣлъ множество замковъ и церквей, однимъ словомъ былъ первымъ археологомъ литовскимъ. Всѣ разнообразныя добытыя такимъ образомъ свѣдѣнія онъ изложилъ безъ всякой системы, стихами и прозою, перемѣшивая факты исторіи литовской съ событіями своей собственной жизни и пересыпая ихъ порядочною дозою самохвальства въ сочиненіи, которому онъ далъ шумное названіе «невиданной до сихъ поръ хроники польской, литовской, русской и т. д.» (Kronika polska, litewska, żmudzka i wszystkiej Rusi kijowskiej, moskiewskiej, siewierskiej, wołyńskiej, podolskiej, podgórskiej, i podlaskiej, która przedtem nigdy świata nie widziała. Królewiec 1582).

3. ПЕРІОДЪ ІЕЗУИТСКО-МАКАРОНИЧЕСКІЙ.

На всемъ этомъ періодѣ лежитъ печать воспитанія іезуитскаго; чтобы объяснить успѣхи іезуитовъ на этомъ поприщѣ, надобно вернуться назадъ къ эпохѣ реформаціи и указать на обстоятельства, облегчавшія эти успѣхи. Академія краковская съ своими многочисленными филіальными школами находилась въ состояніи оцѣпенѣнія, застоя, упадка; боясь нововведеній, она прервала всѣ связи съ заграничными учеными, ея матеріальныя средства уменьшились, потому что многія доходныя статьи перешли въ руки протестантовъ. Возникло множество протестантскихъ училищъ низшихъ и среднихъ (лицеевъ), въ которыхъ выписанные большею частью изъ заграницы ученые преподавали въ новомъ духѣ, по новымъ методамъ, но въ которыхъ преподаваніе подчинено было цѣлямъ и видамъ односторонней, узкой, сектаторской пропаганды. Лютеранскія школы процвѣтали главнымъ образомъ на сѣверѣ, въ земляхъ прусскихъ, принадлежавшихъ нѣкогда ордену: Кульмѣ, Торнѣ, Данцигѣ. При Сигизмундѣ Августѣ вассалу Польши, князю прусскому Альбрехту, удалось устроить въ Кенигсбергѣ академію или университетъ; этотъ университетъ былъ по духу лютеранскій, а по языку преподаванія первоначально польскій, потомъ въ 17-мъ вѣкѣ онъ обнѣмечился и не могъ имѣть почти никакого вліянія на ходъ образованія въ Польшѣ. Моравскіе (чешскіе) братья имѣли знаменитыя школы свои въ великопольскихъ городахъ Лешнѣ и Козьминкѣ, кальвинисты въ Вильнѣ. Аріане или социніане, гнѣздившіеся преимущественно въ Малой Польшѣ, завели свои высшія училища и типографію сначала въ Пиньчовѣ (надъ Нидою), потомъ въ Левартовѣ (надъ Вепржемъ) и въ особенности съ конца 16-го столѣтія въ Раковѣ (недалеко отъ Сендомира). Этотъ городъ, спеціально для нихъ выстроенный фамиліею Сѣниньскихъ, сталъ средоточіемъ всѣхъ крайнихъ протестантскихъ сектъ, проповѣдывавшихъ чистый теизмъ или доходившихъ даже до атеизма (унитаріи, антитринитаріи, анабаптисты, братья польскіе и др.) и слылъ у нихъ подъ названіемъ сарматскихъ Аѳинъ. Академія краковская не въ силахъ была бороться съ размножающимися учебными заведеніями протестантства. Для борьбы съ ними высшее духовенство польское вызвало и акклиматизировало въ Польшѣ орденъ іезуитовъ. Епископъ вармійскій, кардиналъ Гозій (Hosius) учредилъ первый въ Польшѣ іезуитскій *collegium* въ Брунсбергѣ въ 1564 г.; вслѣдъ за тѣмъ епископъ плоцкій Носковскій учредилъ вторую коллегію въ Пултускѣ, третью въ Вильнѣ епископъ Валеріанъ Протасовичъ. Примѣру епископовъ послѣдовали свѣтскіе ревнители и ревнительницы католицизма, дѣлая богатыя пожертвованія и записи въ пользу іезуитовъ; такимъ образомъ возникли коллегіи въ Ярославлѣ (въ Червонной Руси), въ Познанѣ, Калишѣ, Люблинѣ, Львовѣ, Ригѣ, Дерптѣ, Данцигѣ, Полоцкѣ, Несвижѣ, Варшавѣ. При всѣхъ коллегіяхъ состояли школы, на которыя обращено было особенное вниманіе ордена. Устройство этихъ школъ представляетъ примѣръ неслыханной ни-

гдѣ до сихъ поръ централизаціи. Онѣ были устроены однообразно; малѣйшее отступленіе отъ общаго плана требовало особаго разрѣшенія пребывающаго въ Римѣ и облеченнаго диктаторскою властью генерала ордена. Преподаваніе было въ полномъ смыслѣ слова космополитическое, внѣ всѣхъ условій мѣста и времени, вполнѣ подчиненное одной только идеѣ всемірнаго господства римско-католической церкви, одно и тоже въ Италіи, Испаніи, Австріи и Польшѣ; какимъ оно было задумано основателемъ іезуитской педагогики и сподвижникомъ Лойолы Петромъ Канизіемъ, такимъ почти оно и осталось до паденія ордена. Оно пренебрегало народною мѣстною литературою и новѣйшей исторіей, науками общественными и естествознаніемъ. Главнымъ предметомъ его заботы былъ языкъ церкви римско-католической, то есть языкъ латинскій и римская литература, тщательно очищенная отъ всякихъ идей, несогласныхъ съ церковной ортодоксіей (всѣ классики изучаемы были по такъ называемымъ editiones castigatae). Ученикъ изучалъ въ двухъ низшихъ классахъ (infima и grammatica) основанія латинскаго языка по знаменитому учебнику іезуита Альвара; въ 3-мъ классѣ (syntaxis) онъ оканчивалъ грамматику; въ 4-мъ классѣ (poësis) онъ выучивался свободно читать и понимать труднѣйшихъ прозаиковъ (въ особенности Цицерона) и поэтовъ латинскихъ; въ 5-мъ классѣ (rhetorica) онъ былъ занятъ теоріею краснорѣчія, вспомогательными науками и упражненіями въ стилистикѣ. Сверхъ этихъ пяти классовъ при нѣкоторыхъ важнѣйшихъ коллегіяхъ состояли еще два высшіе курса: философскій (философія преподавалась преимущественно по Аристотелю) и богословскій (въ которомъ господствовалъ авторитетъ св. Ѳомы Аквината). Замкнувъ ученіе въ самую узкую рамку, іезуиты старались, чтобы это немногое усвоено было учениками въ совершенствѣ (non multa sed multum), прилагали всевозможныя старанія къ приготовленію хорошихъ учителей; всякаго молодаго человѣка блестящихъ способностей они старались привлечь въ свой орденъ, а всякій, вступившій въ братство, прежде достиженія высшей степени профессора, долженъ былъ начинать свою дѣятельность съ учительскихъ занятій. Іезуиты старались возбуждать и поддерживать соревнованіе между учениками посредствомъ наградъ, повышеній, диспутовъ, съ учениками обходились гуманно, мягко, въ особенности съ дѣтьми знатныхъ и богатыхъ родителей, шалостямъ которыхъ они не разъ оказывали поблажку; вообще въ ихъ школахъ вѣялъ духъ аристократизма и съ раннихъ лѣтъ наблюдалось начало неравенства состояній. Хотя главнымъ образомъ орденъ одолженъ былъ своимъ распространеніемъ въ Польшѣ королевской власти, но онъ скоро понялъ, что не королевская власть составляетъ главное въ государствѣ, и старался примкнуть къ вельможеству, снискать съ этой стороны поддержку. О народномъ воспитаніи орденъ не заботился нисколько и элементарныхъ школъ не заводилъ вовсе. Со времени введенія ордена въ Польшу онъ стремился къ тому, чтобы основать здѣсь свой особый университетъ, съ правомъ раздачи ученыхъ степеней, чего онъ и достигъ въ 1579 году, когда Стефанъ Баторій подписалъ грамоту на учреж-

деніе въ Вильнѣ іезуитской академіи изъ двухъ факультетовъ: философскаго и богословскаго. Къ этимъ факультетамъ, стараніями подканцлера литовскаго Казиміра Льва Сапѣги и за пожертвованныя имъ деньги, присоединенъ былъ въ 1644 г. третій факультетъ, юридическій, который впрочемъ держался не долго и упалъ тотчасъ по смерти его основателя.

Пустивъ глубокіе корни въ народѣ, іезуиты открыли на всѣхъ пунктахъ государства упорную войну противъ училищъ протестантскихъ. Они старались дѣйствовать на публику и привлекали ее великолѣпіемъ торжественныхъ процессій, разнообразіемъ сценическихъ представленій, публичными диспутами, на которые они вызывали протестантовъ. Чего не могла сдѣлать пропаганда, то довершалось насиліемъ, во многихъ городахъ сборы (церкви протестантскія) были разрушаемы народомъ по наущенію іезуитовъ, школы были разгоняемы учениками іезуитскими и на это насиліе нельзя было нигдѣ найти ни суда, ни управы. Большая часть учебныхъ заведеній лютеранскихъ и кальвинистскихъ пропадаетъ совсѣмъ; множество народныхъ элементарныхъ училищъ, которыхъ число въ 16-мъ столѣтіи Іосифъ Лукашевичъ (Historya szkół w Koronie i W. X. L. t. 1, 1849) доводитъ до 1500 съ 30,000 учащихся, исчезаетъ безслѣдно. Школа аріанъ въ Раковѣ была закрыта въ 1638, по распоряженію сейма, наконецъ всѣ аріане изгнаны изъ Рѣчи посполитой закономъ 1658 года. Первоначально краковская академія была рада іезуитамъ, находя въ нихъ дѣятельныхъ поборниковъ католицизма, но вскорѣ ученая корпорація ужаснулась быстрымъ успѣхамъ своихъ союзниковъ и стала оспоривать у нихъ право основывать школы въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ уже существовали заведенія, подвѣдомственныя академіи краковской. Академія не допустила іезуитамъ открыть въ Познани высшее училище на ряду съ академическою школою Любраньскаго, но іезуитамъ удалось основать въ 1622 свою школу св. Петра въ самомъ Краковѣ. Въ страстной полемикѣ, которой далъ начало этотъ споръ [1]), академія была не права и руководствовалась только одною эгоистическою завистью; воюя съ іезуитами, она сама въ научномъ от-

[1]) Замѣчательнѣйшее изъ сочиненій, родившихся среди этой полемики и направленныхъ противъ іезуитовъ было: Gratis albo Discurs ziemianina z plebanem (1626), написанное знаменитымъ математикомъ Яномъ Брожкомъ (Broscius). Приведемъ изъ нея отрывокъ: Іезуиты все время употребляютъ на ученіе дѣтей претрудной грамматикѣ Альвара по такимъ причинамъ: a) чтобы какъ можно больше брать денегъ съ родителей; b) чтобы на свой ладъ дрессировать молодыхъ волчатъ; c) чтобы уразумѣть характеры дѣтей; d) на случай, если родители захотятъ взять назадъ дитя, чтобы имѣть готовую отговорку: пускай оно изучитъ по крайней мѣрѣ грамматику—основаніе всѣхъ знаній; e) чтобы удержать учащихся до зрѣлаго возраста въ школѣ, послѣ чего если взрослый ученикъ остеръ, порядоченъ, если онъ надѣется получить наслѣдство или пособіе отъ родныхъ, то отцы стараются всячески втянуть его въ свою компанію; если же ученикъ тупъ, и не хочетъ учиться или не хочетъ у нихъ остаться, то они пускаютъ его на свободу. Куда же дѣваться усатому школяру? пристать на службу къ знатному барину? онъ на то слишкомъ простъ и глупъ. Учиться какимъ либо наукамъ? время прошло. Учиться ремеслу? стыдно. Онъ и обращается къ отцамъ и упрашиваетъ ихъ, чтобы они его пристроили. Они его и помѣщаютъ надзирателемъ или писаремъ у кого нибудь изъ своихъ благодѣтелей, или капелланомъ или приходскимъ священникомъ, послѣ чего они его употребляютъ въ смыслѣ орудія для своихъ цѣлей и интересовъ.

ношеніи подражала іезуитамъ и завела въ своихъ учебныхъ заведеніяхъ методы преподаванія іезуитскіе. Вліяніе іезуитовъ было столь огромное и повсемѣстное, что оно простиралось даже на ихъ религіозныхъ противниковъ. Всѣ главнѣйшіе православные противники уніи вышли изъ школъ іезуитскихъ, да и планъ преподаванія въ кіевской академіи, основанной въ началѣ 17-го столѣтія Петромъ Могилою и послужившей образцомъ для всѣхъ духовныхъ учебныхъ заведеній въ Россіи, былъ чисто іезуитскій. Односторонность іезуитскаго воспитанія, не имѣвшаго никакой связи съ общественною жизнью и готовившаго не гражданъ, но поборниковъ католицизма, не могла не поражать лучшихъ и проницательнѣйшихъ людей въ Польшѣ; впрочемъ всѣ попытки реакціи, имѣвшія цѣлью поколебать систему ордена, оставались безуспѣшны до самаго 18-го столѣтія. Къ такимъ попыткамъ слѣдуетъ отнести основаніе академіи Замойской и появленіе въ Польшѣ новаго воспитательнаго ордена піяровъ. Канцлеръ Янъ Замойскій основалъ въ 1595 г. своими частными средствами особую академію въ своей вотчинѣ Замосьцѣ. Хотя онъ былъ весьма богатый человѣкъ, но все же приличное содержаніе академіи было ему одному не по силамъ, вотъ почему съ самаго основанія своего новая академія не могла идти успѣшно по скудости жалованья для учащихъ и по недостаточности учебныхъ пособій. Профессора голодали, ученикамъ негдѣ было помѣщаться. Опытные люди совѣтовали канцлеру открыть одинъ только факультетъ философскій, онъ открылъ три факультета: философскій, медицинскій и юридическій, изъ которыхъ особенно заботился о послѣднемъ. Взглядъ канцлера на тогдашнее законовѣдѣніе былъ весьма здравый и вѣрный; канцлеръ былъ недоволенъ преобладаніемъ каноническаго права и пренебреженіемъ, оказываемымъ римскому праву въ университетѣ краковскомъ, онъ рѣшился притомъ расширить преподаваніе отечественнаго законодательства, которое ограничивалось однимъ только земскимъ правомъ (шляхты), дополнивъ его изученіемъ городскаго права. Главнымъ лицомъ въ юридическомъ факультетѣ былъ Ѳома Дрезнеръ, отличный знатокъ римскаго права, преподававшій законовѣдѣніе по методу сравнительному. Академія замойская дѣйствовала съ успѣхомъ очень не долго и вскорѣ послѣ смерти Яна Замойскаго пришла въ совершенный упадокъ, подчинилась академіи краковской и стала однимъ изъ филіальныхъ заведеній этой послѣдней. Основателемъ ордена піяровъ (patres scholarum piarum) былъ Калазанца (Iosephus de Calasanza, † въ Римѣ, 1648); орденъ исключительно посвященъ былъ воспитанію юношества, училъ почти тому же самому, что и іезуиты, то есть латинскому языку и словесности, но піяры держали учениковъ въ гораздо болѣе строгой дисциплинѣ, учили безплатно и принимали охотно ничего неимущихъ бѣдняковъ. Іезуиты изъ зависти стали такъ относиться къ піярамъ, какъ относилась нѣкогда къ іезуитамъ академія краковская, то есть стали гнать піяровъ самымъ недобросовѣстнымъ образомъ, учреждать свои школы во всѣхъ тѣхъ пунктахъ, гдѣ существовали піярскія, переманивать къ себѣ піярскихъ уче-

никовъ и разорять піяровъ, заводя съ ними безконечныя тяжбы въ судахъ.

Прямымъ послѣдствіемъ іезуитскаго воспитанія была страшная порча вкуса и ничтожество литературы въ отношеніи внутренняго ея содержанія, при необыкновенной ея плодовитости и тщательномъ повидимому воздѣлываніи ея обществомъ. Духъ критики, старинный врагъ авторитета, былъ побитъ, подавленъ, держимъ на возжахъ, наука разошлась съ жизнью, превратилась въ школьную, ни на что непригодную ученость: на этомъ полѣ могли произрастать и успѣвать одни только посредственности. Литература, отъучившись заниматься общественными вопросами, перестала быть дѣломъ серьезнымъ, превратилась для иныхъ въ ремесло, для другихъ въ забаву, въ роскошь, въ игрушку. Чѣмъ безплоднѣе становилась литература, тѣмъ болѣе она пресыщалась педантизмомъ, тѣмъ недоступнѣе она становилась для массы и тѣмъ бо́льшую важность придавали ей умники того вѣка, какъ средству похвастать своею ученостью, озадачить умѣніемъ говорить много о пустякахъ и разсмѣшить неожиданными concetti, забавными сопоставленіями миѳологіи и исторіи съ происшествіями жизни обыденной. Большая часть шляхты говорила бѣгло по латыни, римская литература была единственнымъ источникомъ учености, отсюда проистекъ обычай не только испещрять польскую рѣчь отдѣльными латинскими терминами, но вставлять въ нее цѣлыя латинскія фразы и пересыпать ее этими макаронизмами такимъ образомъ, что послѣ всякаго періода польскаго долженъ былъ непремѣнно идти латинскій и на оборотъ, и что вся рѣчь являла собою подобіе слоенаго пирога. Первый примѣръ подобной смѣси представляетъ въ шутку написанное стихотвореніе Яна Кохановскаго, *Carmen macaronicum*:

Est prope wysokum celeberrima sylva Krakovum
Quercubus insignis multo miranda żołędzio
Istuleam spectans wodam Gdańskumque gościńcum
Dąbie nomen habet, Dąbie dixere priores.
Hanc ego, cum suchos torreret Syrius agros
Et rozganiaret non mądra canicula żakos
Ingredior multum de conditione żywota
Deque statu vitae mecum myślando futurae, etc. etc.

Что у Кохановскаго было сдѣлано въ шутку, то въ 17-мъ столѣтіи дѣлалось серьезно съ полною увѣренностью, что въ томъ-то и состоитъ красота слога. Такъ какъ была разорвана связь между литературою и жизнью, и утвердилось понятіе, что искусство говорить существуетъ само по себѣ, то никто не стѣснялся особенно въ хваленіи другихъ и не затруднялся осыпать ихъ самыми преувеличенными похвалами, зная, что никто конечно не приметъ словъ его за настоящую монету. Панегирики шли цѣлымъ проливнымъ дождемъ, приторный дымъ отъ сожигаемаго ѳиміама заражаетъ воздухъ въ теченіи полутораста лѣтъ. Іезуиты хвалили своихъ благодѣтелей, священники своихъ ктиторовъ, шляхта магнатовъ, сенаторы другъ друга. Самымъ цѣннымъ качествомъ человѣка въ шляхетской Польшѣ 17-го

вѣка считалась родовитость. Знатность происхожденія доказывалась родословною и гербами, отсюда пристрастіе къ геральдикѣ и необыкновенно важное значеніе гербовъ въ панегирической литературѣ. Всякій старается доказать, что гербовный клейнодъ его весьма древенъ, и вывести его изъ Италіи, Германіи. Испаніи; если нельзя отъ Ноя, то по крайней мѣрѣ отъ греческихъ героевъ или отъ римскихъ императоровъ. Появляется безконечное число фальшивыхъ родословныхъ; каждый панегиристъ считаетъ непремѣнною обязанностью взять темой гербъ хвалимаго лица и разыграть на эту тему какъ можно болѣе варіацій. Названія гербовъ входятъ какъ главный элементъ въ заглавія похвальныхъ словъ, поэмъ и сочиненій, заглавія эти становятся до того вычурными, кудрявыми, темными и натянутыми, что наконецъ въ нихъ пропадаетъ всякій человѣческій смыслъ [2]).

Всѣ творческія силы народа ушли въ краснорѣчіе, оно сдѣлалось искусствомъ, преобладающимъ надъ всѣми прочими искусствами и родами литературы, столь національнымъ по преимуществу, какъ ваяніе у Грековъ, вокальная музыка у Итальянцевъ, театръ у Французовъ. Республиканская форма правленія заставляла по необходимости всю шляхту принимать участіе въ гласномъ обсуживаніи дѣлъ общественныхъ, съ юныхъ лѣтъ упражнялся въ живой рѣчи и словопреніи всякій сколько нибудь образованный человѣкъ, вслѣдствіе чего, полюбивъ страстно ораторское искусство, общество польское ввело его въ кругъ жизни не только общественной, но и частной и изобрѣло безчисленное множество формъ его и видовъ, посредствомъ всевозможныхъ примѣненій къ разнымъ явленіямъ и случаямъ быта домашняго и семейнаго. Краснорѣчіе имѣло два главные вида: оно было свѣтское или духовное. Краснорѣчіе свѣтское подраздѣлялось на парламентское (на сеймикахъ и сеймахъ), трибунальное (въ судахъ), военное въ рѣчахъ, которыми вожди воспламеняли воинство предъ боемъ, похоронное, наконецъ домашнее и семейное при встрѣчѣ сановитаго гостя, поздравленіяхъ съ полученіемъ должности, крестинахъ, свадьбахъ и иныхъ высо-

[2]) Приведемъ въ примѣръ нѣсколько такихъ заглавій: Trakt szczęśliwej drogi traktatem wiecznej przyjaźni opisany do wiekującego w dziedzicznej bramie domu J. W. Jegomości Pana Marjana z Kozielca Ogińskiego z herbownym bawołem dążącej J. W. Jejmości panny Teresy Tyzenhauzównej w szczupłym rymie dymensą poetyczną skreślony i t. d..... или: Счастливый путь, описанный посредствомъ трактата вѣчной пріязни, краткимъ стихомъ, дѣвицы Терезіи Тизенгаузъ, направляющейся съ гербовнымъ буйволомъ своимъ къ Г. Маріяну изъ Козельца Огиньскому, на вѣки пребывающему въ гербовныхъ воротахъ дома своего (буйволъ и ворота два герба—одинъ Тизенгаузовъ, другой Огиньскихъ). Pszczołki ziemskiego kwiecia do niebieskiego lecące ula.... или: Пчелки, отъ земныхъ цвѣтовъ летящія въ улей небесный. Topory z prochu pogrzebowego wypolerowane... или: Топоры, очищенные отъ похороннаго праха. Wschód nieśmiertelnej sławy na zachodzie życia śmiertelnego, zakres triumfalny J. O. Książęcej Sanguszków pogoni... i t. d. или: Восхожденіе безсмертной славы на закатѣ жизни смертной, служащей тріумфальнымъ предѣломъ княжеской погони Сангушковъ (погоня или ѣздокъ—гербъ Сангушковъ). Ścierka do utarcia gęby zakamieniałemu grzesznikowi... или: утиральникъ для утиранія устъ нераскаянному грѣшнику. Ogród ale niepleniony, brog, ale co snop to innego zboża, kram rozlicznego gatunku, или: Садъ, но не выполотый, снопъ, но такой, въ которомъ каждый снопъ иного хлѣба, лавочка разныхъ товаровъ.

торжественныхъ случаяхъ. Понятно послѣ сказаннаго, что ораторское искусство составляло пробный камень достоинства человѣка и необходимое условіе его общественной карьеры, такъ что Старовольскій, писатель 17-го вѣка, говоритъ вполнѣ основательно: «не можетъ въ Польшѣ называться гражданиномъ и даже (смѣю сказать) Полякомъ тотъ, кто не умѣетъ красно и изящно говорить о какомъ бы то ни было предметѣ не только по латыни, но и на отечественномъ языкѣ» (De claris oratoribus Sarmatiae 1628). Чтобы показать въ чемъ состояло краснорѣчіе по понятіямъ 17-го вѣка и до какой степени рѣчь польская пестрѣла макаронизмами, приведу два отрывка, одинъ изъ рѣчи извѣстнаго въ свое время оратора, воеводы минскаго Кристофора Станислава Завиши къ королю Августу II, произнесенной въ 1697 году, другой, относящійся къ 1660 году, изъ превосходныхъ записокъ Пасека, которыя придется еще разбирать въ послѣдствіи. Завиша слѣдующимъ образомъ поздравляетъ короля по поводу его коронаціи [3]): «Наша польская *Niobe*, которая еще недавно *effusa in lachrymas*, *hodie concrescit in gemmas*; послѣ темныхъ ночей печали *candida mundi sidera currunt*, потому что ты возсѣлъ на польскій престолъ *vultu sidereo discutiens nubila*. Возвращаются *cum foenore* потерянныя надежды. Отечество *cum suis ordinibus*, созерцая въ нѣдрахъ своихъ *primum majestatis ordinem*, то есть вашу королевскую милость *in diademate suo*, покидаетъ видъ тоскующей горлицы, облекшись въ орлиныя перья. Оно смотритъ въ благопріятное небо развеселившимися очами и паритъ на ту высоту, съ которой оно привыкло *contra superbum orientis tyrannum ignea vibrare tela*; оно восклицаетъ на весь шаръ земной ликующимъ голосомъ: *O! qui nominibus cum sis generosus avitis, exsuperas morum nobilitate genus*»... Яну Пасеку пришлось говорить похоронную рѣчь въ честь умершихъ товарищей Рубѣшовскаго и Войновскаго: «Какими отъ той конституціи защищаться волюминами, къ какимъ подавать жалобу парламентамъ, у кого изъ могущественнѣйшихъ міра сего монарховъ искать спасенія отъ неизбѣжнаго угнетенія, претерпѣваемаго родомъ человѣческимъ со стороны смерти? Не знаю, средства не нахожу, но убѣждаюсь, что законъ не въ состояніи никому въ томъ помочь, когда читаю гіероглификъ генуэзской республики: *Parcam falcem tenentem minaci manu superbam*, которая указываетъ на слѣдующую надпись: *leges lego, reges rego, judices judico*. Кто-же можетъ сопротивляться такому насилію»... Далѣе ораторъ утѣшаетъ себя тѣмъ, что на основаніи конституціи союза, заключеннаго прежде всѣхъ вѣкъ между небомъ и землею, намъ обѣщано *morte renasci* и *ad communem* возвратиться *societatem*... Потомъ онъ упоминаетъ о томъ, что по закону аѳинскому умершій воинъ долженъ былъ быть почтенъ хвалебною рѣчью краснорѣчивѣйшаго изъ его согражданъ. Пас-

[3]) Wybor mów staropolskich świeckich sejmowych i innych zebranych przez Antoniego Małeckiego w Bibliotece polskiej Turowskiego. Krakow 1860.

секъ сознаетъ, что обязанность восхвалить товарищей ему не по силамъ, но «такъ какъ желѣзный Марсъ презираетъ золоченую пышность, то потому любезная ему Минерва, закопченная дымомъ селитры, рѣшилась принять на себя обязанность восхваленія его сослуживцевъ. Съ дѣтства и, даже можно сказать отъ колыбели своей, они поступили на ученіе къ суровой Беллонѣ, не давъ себя прельстить ласками нѣжной Паллады и Аполлона. По обычаю древнихъ воиновъ польскихъ, они какъ птенцы благородной орлицы избрали себѣ директоромъ суроваго Марса и обрекли себя ему пожизненно въ жертву»...... и т. д. Меньшей порчѣ вкуса нежели свѣтское подверглось краснорѣчіе духовное, чему причиною отчасти то, что оно немогло въ такой степени какъ свѣтское пользоваться примѣрами изъ языческой миѳологіи, отчасти то, что въ немъ жили и сохранялись преданія Петра Скарги. Достойнымъ преемникомъ его былъ другъ его доминиканецъ Фабіанъ Бирковскій (1566—1636), дѣлившій многократно лагерные труды польскаго войска въ качествѣ проповѣдника королевича Владислава Сигизмундовича въ кампаніяхъ московской и хотинской. Проповѣди его пахнутъ дымомъ пороху, дышатъ воинственнымъ энтузіазмомъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ онѣ пропитаны въ отношеніи къ протестантамъ всею фанатическою ненавистью католическаго монаха временъ тридцатилѣтней войны. Но и въ Бирковскомъ замѣтны изысканность, напыщенность, остроумничанье и игра словъ, качества, которыя до высочайшей степени доведены проповѣдниками конца 17-го и начала 18-го вѣка. Когда проповѣднику этой эпохи приходилось говорить рѣчь на смерть короля или вельможи, то онъ давалъ ей заглавіе «цвѣтовъ вѣнца» и перечислялъ поштучно всѣ цвѣты, разумѣя подъ цвѣтами добродѣтели, или представлялъ эти добродѣтели въ видѣ зеренъ на четкахъ или брался строить покойнику мавзолей, и дѣлилъ свою проповѣдь на портики, пирамиды и колонны. Основной планъ всякой проповѣди теряется, заслоняемый безчисленнымъ множествомъ эпизодовъ; проповѣднику достаточно взять малѣйшее слово въ св. писаніи напр. слово: *былъ*, или *во время оно*, чтобы отпустить бразды фантазіи; проповѣдникъ вдается въ разговоры съ Богомъ, со святыми и переодѣваетъ въ польскій костюмъ всю священную исторію; Мадіаниты у него являются Татарами, Израильтяне имѣютъ старостъ, епископовъ, сеймуютъ, воюютъ, дѣлаютъ рокоши и конфедераціи, словно Поляки, даже Христосъ принимаетъ видъ короля шляхетской республики, точно какъ на наивныхъ картинахъ Рембрандта.

Перейдемъ къ поэзіи. Думали прежде, что въ теченіи всего этого періода не проявилось ни одного поэтическаго таланта, а выростали и занимались сочиненіемъ книгъ одни только бездарности. Но это мнѣніе теперь оставлено, потому что открыты произведенія, замѣчательныя по силѣ, яркости колорита и богатству мысли (Wojna chocimska, Pamiętniki Paska), но замѣчательно здѣсь то, что подобныя произведенія откапываются только теперь, что въ свое время они не пользовались никакою извѣстностью.

Сильные таланты проходили незамѣченными, царило безвкусіе, составлявшее общее правило; всего больше его господство отразилось въ драмѣ, которая получила складъ совершенно реторическій и нагрузилась балластомъ учености. Дворъ любилъ костюмированные маскарады, балеты. При Янѣ Казимірѣ, который женатъ былъ на француженкѣ Маріи Луизѣ, придворная французская труппа давала большія эффектныя представленія битвъ и штурмовъ. Въ 1661 представленъ былъ въ Варшавѣ при дворѣ корнелевскій «Сидъ» въ переводѣ Морштына. По городамъ ѣздили кочующія артели комедіантовъ, забавлявшія толпу фарсами изъ простонароднаго быта. Но эти представленія не находили поддержки въ шляхтѣ, рѣдко посѣщавшей города и дѣлавшей обыкновенно оппозицію двору. Въ запискахъ Пассека сохранилось слѣдующее характеристическое извѣстіе: въ 1664 придворные актеры представляли сраженіе Французовъ съ Нѣмцами и взятіе въ плѣнъ императора. Это зрѣлище понравилось шляхтѣ, которая присутствовала, вооруженная по своему обычаю, и сильно недолюбливала Габсбурговъ. Она стала кричать Французамъ на сценѣ, чтобы они не церемонились съ императоромъ и зарѣзали его поскорѣе. Актеры поставлены были въ тупикъ, тогда одинъ изъ настаивавшихъ зрителей натянулъ лукъ и пронзилъ императора стрѣлою, другіе послѣдовали тому же примѣру и нашпиговали порядочно кого попало изъ актеровъ. Зрѣлище было прервано, зрители сдѣлавъ свое разсѣялись; не смотря на всѣ поиски, виновники кровопролитія не были открыты и наказаны. Гораздо болѣе цѣнились тогдашнимъ обществомъ діалоги духовнаго и свѣтскаго содержанія, которые устраиваемы были школьными начальствами и въ которыхъ настоящіе живые типы замѣнялись бездушными аллегоріями, олицетворенія отвлеченныхъ понятій являлись на сцену вмѣстѣ со святыми церкви и божествами Олимпа. Іезуиты были мастера въ постановкѣ подобныхъ представленій, великолѣпію которыхъ они и обязаны отчасти успѣшностью своей религіозной пропаганды. Для примѣра приведемъ программу торжества, устроеннаго ими въ Вильнѣ 4 марта 1604 г., по поводу канонизаціи св. Казиміра [1]). Торжественная процессія съ хоругвью св. Казиміра шла черезъ городъ, останавливаясь на всѣхъ главнѣйшихъ пунктахъ. У Рудницкихъ воротъ, устроенныхъ въ видѣ исполинской птицы, явилась женщина въ глубокомъ траурѣ, изображающая городъ Вильно, который страдалъ, какъ извѣстно, отъ частаго неурожая и заразы. Эта женщина утѣшаетъ себя тѣмъ, что послѣ канонизаціи св. Казиміра она получитъ въ небѣ надежнаго ходатая и защитника. Два ангела съ лиліями въ рукахъ возвѣщаютъ ей, что надежды ея исполнились и что канонизація совершилась. Тогда женщина—Вильно—мгновенно преображается въ царицу съ багряницею, короною и скипетромъ, садится въ колесницу и направляется въ городъ, предшествуемая Славою, держащею въ рукахъ золотую трубу. Близъ ратуши путь ея загороженъ огромнымъ картоннымъ замкомъ

[1]) M. Bali ski, Dawna Akademja wileńska 1862, pag. 103.

съ высокими башнями. Четыре ангела и четыре добродѣтели: Мужество, Умѣренность, Расторопность и Справедливость ведутъ между собою передъ замкомъ разговоръ, послѣ котораго замокъ загорается и изчезаетъ среди пламени, шума и ружейныхъ выстрѣловъ. Передъ академическою церковью св. Яна предшествующая кортежу Слава зоветъ академію, чтобы она приняла участіе въ празднествѣ. Является академія, сопровождаемая богословіемъ, философіею, исторіею, краснорѣчіемъ, поэзіею, филологіею, грамматикою, наконецъ девятью музами, покинувшими Олимпъ и поселившимися на берегахъ Виліи. Послѣднюю часть празднества составлялъ діалогъ, гдѣ участвовало семь юношей, олицетворявшихъ семь главныхъ виленскихъ церквей.

Не меньшему искаженію подверглась и лирика; лучшимъ ея представителемъ въ этомъ періодѣ считается Веспасіанъ изъ Кохова, **Коховскій** (+1699), который впрочемъ гораздо болѣе извѣстенъ какъ историкъ, нежели какъ поэтъ. Ѣдкія жолчныя сатиры, не отличающіяся особеннымъ талантомъ, писалъ Кристофоръ **Опалиньскій**, воевода познанскій (+1655), который на дѣлѣ оказался нисколько не лучше осмѣиваемаго имъ общества; человѣкъ онъ былъ гордый, самолюбивый, подкупной, и измѣнилъ своему отечеству, передавъ Великопольшу въ руки короля шведскаго Карла Густава. Одинъ только родъ поэзіи достигъ замѣчательнаго развитія, а именно историческій эпосъ. Недавно, въ сороковыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія, отыскана относящаяся къ 17-му столѣтію и по времени написанія, и по описываемымъ событіямъ, и по духу сильной, горячей вѣры, которымъ она проникнута, героическая поэма въ 10 пѣсняхъ *Wojna Chocimska* (Хотинская кампанія) [5]. Первоначально приписывали эту поэму Андрею Липскому, подвоеводѣ сандецкому, потомъ Ахатію Писарскому, старостѣ вольбромскому; теперь историки польской литературы [6]) пришли къ тому заключенію, что поэма написана Вацлавомъ **Потоцкимъ**, подчашимъ краковскимъ, умершимъ въ 1693 году. Сюжетъ поэмы составляетъ одинъ изъ эпизодовъ той исполинской борьбы христіанства съ исламомъ, которая дала начало сказаніямъ франко-каролингскаго цикла и ученой поэмѣ Тасса, борьбы, въ которой участвовать по мѣрѣ силъ шляхта польская считала своимъ историческимъ призваніемъ, и послѣдній актъ которой разыгрался подъ Вѣною, освобожденіемъ ея отъ Турокъ Яномъ III Собѣскимъ. Въ 1620 г. на Цецорской равнинѣ близъ Яссъ Полякамъ нанесено было Турками страшное пораженіе, убитъ великій гетманъ Жолкевскій, взятъ въ плѣнъ польный гетманъ Конецпольскій. Въ слѣдующемъ 1621 г. нависла надъ Польшею страшная туча турецко-татарскаго нашествія, султанъ Османъ намѣревался воздвигнуть мечеть въ Краковѣ и дѣлилъ уже Польшу на пашалыки; огромная его армія вмѣщала въ себѣ 300,000 человѣкъ всѣхъ цвѣтовъ кожи и всѣхъ націй востока, 150 пушекъ, множество слоновъ,

[5]) Wojna Chocimska poemat bohaterski przez Andrzeja Lipskiego, wydany przez Stanisława Przyłęckiego. Lwów 1850 r.

[6]) **Szajnocha**, Szkice Historyczne 1854.; **Bartoszewicz**.

10,000 вьючныхъ верблюдовъ. Турко-татарскимъ полчищамъ загородили дорогу 65,000 войска польскаго и запорожскаго подъ предводительствомъ престарѣлаго и при смерти больнаго Ходкевича. Объ эту рать, окопавшуюся надъ Днѣстромъ у стѣнъ Хотинскаго замка разбивалась какъ о скалу въ теченіи 40 дней волна нашествія и ничего не сдѣлавъ ушла назадъ. Таковъ предметъ поэмы; она отличается отъ ученаго эпоса западно-европейской романтики полнымъ отсутствіемъ двухъ главныхъ составныхъ элементовъ этого романтическаго эпоса: чудеснаго и любви къ женщинѣ. Въ поэмѣ нѣтъ ни одного женскаго лица, авторъ не выводитъ на сцену ни ангеловъ, ни демоновъ, ни святыхъ угодниковъ, ни чародѣевъ, онъ пренебрегаетъ разсчитанными на эффектъ вымыслами, онъ совершенный реалистъ въ искусствѣ, приверженецъ исторической истины; онъ взялъ за тему событіе свѣжее, извѣстное, слышанное имъ отъ очевидцевъ и еще необросшее мхомъ сказочныхъ прикрасъ. Преобладающія въ авторѣ качества: юморъ и тонкая наблюдательность, потому поэма богата прекрасными описаніями [7]), и

[7]) Въ концѣ первой пѣсни великолѣпно описана зима, во второй пѣсни лѣто. Въ четвертой такимъ образомъ изображенъ походъ войска:

Pięknie tam było patrzeć gdy w onej rowninie,
Tyle krzyżow, tyle się pogoni rozwinie,
Tyle orłow walecznych na zaszczyt korony
Niosąc gotowe skrzydła, wyciągnione szpony
Na ścierwy bisurmańskie, gdzie kruki i sępy
I pożerne harpie wielkiemi zastępy
Czując o pewnym żerże, tém leciały chciwiej,
Nim się każdy przy orłach sarmackich pożywi.
Niemniejszym i to było patrzającym gustem
Gdy się lekkim przechodząc po chorągwiach szustem
Tak wspaniale odymał nasze białozory
Wolny zefir, że znacznie były ich humory.
Jęczy ziemia gęstemi ubita kopyty,
Czująca krwie cecorskiej mściciele Lechity...
Krzyzą wesołe konie w rzędy, w kity, w forgi
Ustrzępione, z wiatrami mieszają swe gorgi.
Tak się zda, lubo w kole obraca się wężej
Lub prosto idzie ktory, że srożéj, że cięzej
Ziemię nieprzyjacielską kopytami depce;
Zwłaszcza w naszym Podolu urodzone źrzebce
Gotują się z pieszczonej Arabii łątek
Pytać jeśli rogowych podków mają szczątek...

Приведемъ еще нѣсколько стиховъ изъ обращенія поэта къ Богу (pieśni 1 и II):

Pojrzy o wieczny Boże, ktoryś niegdyś tęgiem
Ujął gniew sprawiedliwy przez niebo popręgiem
I wiecznieś malowaną zawiązał obręczą
Swój arsenał, skąd grozy twe nad światem brzęczą...
Patrz na świecznik twej chwały, który w tej koronie
Ogniem niezagaszony ku czci twoiej płonie
I chociaż przez złość naszą, przez nasze niecnoty
Częste go w oczu twoich zaciëmniają knoty,
Utrzyj knot, masz nożyce miłosierdzia w ręce,
Że nie zgasisz, ufamy Jezusowej męce.

(Посмотри, Боже превѣчный, ты, который прекратилъ нѣкогда праведный гнѣвъ,

при всей важности ея сюжета, въ ней преобладаетъ тонъ сатирическій. Отъ Потоцкаго, какъ отъ ревностнаго католика 17-го вѣка, нельзя конечно и ожидать той объективности, того полнаго безпристрастія въ отношеніи къ врагамъ христіанства, которыя были доступны, можетъ быть, немногимъ только людямъ временъ возрожденія. У него нехристи—почти не люди, всѣ они злодѣи и негодяи, ихъ страданія и гибель не возбуждаютъ никакого сочувствія; поэтъ описываетъ съ наслажденіемъ (пѣснь VI), какъ кони боевые вязнутъ въ грудахъ мяса человѣческаго, какъ застывающая кровь трясется студенемъ, какъ умирающіе запутываются въ своихъ собственныхъ кишкахъ [8]). Потоцкій не стѣсняется вовсе и въ отношеніи къ своимъ соотечественникамъ, онъ иронически соболѣзнуетъ королевичу Владиславу, страдавшему лихорадкою и все время пролежавшему подъ шатромъ, и къ его наемнымъ Нѣмцамъ, разболѣвшимся отъ излишняго употребленія сочныхъ дынь молдаванскихъ: «покинь лихорадку, говоритъ онъ Владиславу, вспомни, ты Александръ, что Дарій стоитъ у твоего изголовья, надѣнь желѣзныя латы, садись на буцефала, стоящаго передъ шатромъ, Марсъ тебя вылечитъ кровью или потомъ! Недостойно вождя щеголять чужими перьями, не сидѣвъ на конѣ и не видавши Турка» [9]). Потоцкій ядовито насмѣхается надъ тѣми изнѣженными галантомами, которые тяготятся панцыремъ и не любятъ, чтобы шишакъ сминалъ ихъ напомаженную прическу; онъ трунитъ надъ книжными политиками и надъ домосѣдами. Сигизмунда III онъ щадитъ менѣе другихъ, немногими штрихами превосходно очерчена тощая, молчаливая, надутая фигура упрямаго короля «до завтра», который забавляется охотою въ окрестностяхъ Львова, не торопясь нисколько на выручку своей изнемогающей рати.

«Поспѣшай, поспѣшай, Сигизмундъ, въ четыре недѣли ты можешь расположить войска свои на Дунаѣ! Поспѣшай, орломъ пронестись надъ

препоясавъ небо подпругою и завязалъ разноцвѣтнымъ обручемъ твой арсеналъ, изъ котораго раздаются громы твои на весь міръ!... Взгляни на свѣтильникъ славы твоей, зажженный въ честь твою непогасаемымъ огнемъ въ коронѣ польской. Свѣтъ этотъ помрачается порою въ очахъ твоихъ нагаромъ образуемымъ нашею злобою, нашими неправдами, но ты имѣешь ножницы милосердія въ рукахъ, поправь свѣтильникъ, обрѣзавъ фитиль; что ты его не погасишь, въ томъ мы надѣемся на Христа и его мученія).

[8]) Pełno ran, pełno śmierci, konie więzną w mięsie,
Krew się zsiadła na ziemi galaretą trzęsie.
Ludzie się niedobici w swoich kiszkach plączą
Drudzy chlipią z paszczęki posokę gorącą.

[9]) Odłoż na czas gorączkę i febrę niezdrową:
Daryusz Aleksandrze! Daryusz nad głową!
Bierz na się twardy kirys, stoi przed namiotem
Bucefał, uleczy cię Mars krwią albo potem,
Ale w cudze ozdoby, w cudze pstrzyć się piorka
Nie siedziawszy na koniu, niewidziawszy Turka—
Ujma sławie hetmańskiej....

Подоліей, весною, дастъ Богъ, ты будешь уже въ Константинополѣ» [10]). Но король не внемлетъ, онъ предпочитаетъ вести войну не рукою, а ушами (пѣснь IX): «такова уже болѣзнь всѣхъ королей, что они всего охотнѣе слушаютъ совѣты любовницъ, карликовъ, скрипачей, льстецовъ и вообще такихъ людей, которые не промолвятъ трехъ словъ, не сопряженныхъ съ частнымъ интересомъ». Оставленное королемъ, войско заключило перемиріе съ Турками, съ подлинникомъ трактата отправленъ ксендзъ Шолдрскій къ Сигизмунду, «который, будучи занятъ ловлею зайцевъ, слушаетъ вѣсти о войнѣ точно сказку, сидитъ на одномъ мѣстѣ съ сотнею тысячъ сарматской молодежи, дожидаясь великопольскаго ополченія точно утка, которая возится съ молодыми цыплятами и не можетъ сладить съ ними, потому что она плаваетъ, между тѣмъ какъ они бѣгаютъ... Когда Шолдрскій прочелъ ему трактатъ, король разсердился и гнѣвно воскликнулъ, сжимая въ рукѣ эфесъ шпаги: «меня не подождали съ этими-то силами, осмѣлились безъ «меня входить съ Османомъ въ сдѣлки, хозяйничать, хозяина не спросясь! «(Здѣсь онъ съ досадою ударилъ въ столъ шляпою). Не знаю чѣмъ, изви- «нятся предо мною Владиславъ съ Любомирскимъ?—Иду догонять Турокъ, «не скроютъ ихъ отъ меня ни Дунай, ни снѣжные Балканы; если шляхтѣ «не по вкусу война, какъ въ томъ я убѣдился, то я отправлюсь самъ, хотя «бы съ одною только наемною ратью».—Такимъ то образомъ бѣсится король, шагая по комнатѣ, но собственно онъ радуется въ душѣ непомѣрно, что вернется завтра въ любимую Варшаву. Впрочемъ эту радость онъ тщательно таитъ, зоветъ Фридриха, приказываетъ ему готовить кнехтовъ въ путь, осмотрѣть, есть ли у каждаго изъ нихъ шпага, порохъ, мушкетъ съ фитилемъ. «Дальше медлить нельзя, не остановлюсь, доколѣ не дойду до Геллеспонта!» Стой король, спать вамъ, а не воевать. Короля въ его азартѣ убаюкалъ вскорѣ Боболя, подкоморій коронный» [11]).

[10]) Bywaj, bywaj Zygmuncie! a za niedziel cztery
Rozłożysz w podunaju swoich wojsk kwatery
Bywaj i orłem przelecć, możnali, Podole,
Zdarzy Bóg że na wiosnę ujrzysz się w Stambole.

[11]) Z tym Szołdrski ku Lwowu
Do Zygmunta pośpieszy, ktory pełen łowu
Zajęczego, o wojnie jakoby o wilkn
Żelaznym kto mu bajał. Tam powiatów kilku
Czékając wielkopolskich z stem tysięcy młodzi
Sarmackiej siédzi w miejscu; taka kiedy wodzi
Kaczka młoda kurczęta, pospolicie bywa,
Niemasz zgody: bo kury chodzą, kaczka pływa...
Teraz słysząc Szołdrskiego kiedy pakta czytał,
Niekontent, i w rzeczy się za fordyment chwytał:
«Nie poczekać mnie jeszcze z temi apparaty!
Śmieć bezemnie z Osmanem zawierać traktaty?»
Ciśnie o stół kapelusz i coraz powtazra:
«Diabeł kiedy rachunek miał bez gospodarza!
Niewiem czem się Władysław z podczaszym zasłonią?
A w ostatku, ja idę na Turki z pogonią,
Nie wydrze mi ich Dunaj i Bałchany śnieżne,
Choć tylko wojsko z sobą będę miał zaciężne.
Kiedy szlachcie, czegom dziś doznał, wojna śmierdzi»...

Настоящіе герои поэмы Потоцкаго, это—Сагайдачный со своими Запорожцами, сѣдой Ходкевичъ, храбрый Любомірскій, а въ особенности та старая крѣпкая шляхта средней руки, незаискивающая у короля богатыхъ староствъ, слѣдующая неуклонно прадѣдовскимъ обычаямъ и всегда готовая сложить голову по чувству долга за Бога, вѣру и край свой родной. Прекрасный типъ такой шляхты представилъ поэтъ въ старомъ ротмистрѣ гусарскомъ, Янѣ Липскомъ, который съ четырьмя дородными сыновьями сражается подъ однимъ значкомъ, который совѣтуетъ Ходкевичу вѣшать всѣхъ помышляющихъ объ отступленіи и который до того изсѣченъ и изрубленъ, что не можетъ получить новой раны спереди, которая бы не задѣла какого нибудь изъ многочисленныхъ рубцовъ, которыми покрыто его тѣло. Этотъ Янъ Липскій говоритъ съ гордостью, указывая на свои рубцы: «вотъ гербы мои, вотъ мои красныя Шрженявы [12]), съ ними встану я изъ гроба на кличъ архангельской трубы на генеральный смотръ всѣхъ умершихъ и когда я ихъ покажу, то святой полководецъ (т. е. Христосъ) пожалуетъ мнѣ индигенатъ въ небесахъ» [13]).

Отъ толпы стихотворцевъ макароническаго періода отдѣлилась и пошла особою стезею семья Морштыновъ, подражателей французскаго классицизма, предшественниковъ того направленія, которое сдѣлалось преобладающимъ въ послѣдующемъ періодѣ и которое силилось блистать остроуміемъ, гладкостью формы, прославляло легкую любовь, дышало сладострастіемъ. Старѣйшій изъ Морштыновъ, Іеронимъ, стольникъ бѣльскій, жившій въ началѣ 17-го столѣтія, былъ авторомъ аллегорической поэмы въ эротическомъ родѣ «Światowa rozkosz» (1606). Станиславъ Морштынъ, воевода мазовецкій, перевелъ Андромаху Расина. Извѣстнѣе ихъ былъ Андрей Морштынъ (род. около 1620 г., умеръ въ первыхъ годахъ 18-го столѣтія), любимецъ королевы Маріи Луизы, жены Владислава IV, а потомъ Яна Казиміра, одна изъ главныхъ подпоръ французской партіи. Морштынъ занималъ весьма важную и доходную должность подскарбія коронная (мини-

Tak się nasz krȯl, po izbie chodząc wielce sierdzi,
A gdybyś w serce wejrzał, niesłychanie cieszy.
Ze jutro do kochanej Warszawy. paśpieszi.
Ale tego po sobie najmniej niepokaźe,
Owszem wołać Frydryka wskok sobie rozkaże,
Żeby knechty gotował najutrzejszą drogę:
«Żadną miarą jej dłużej odwłoczyć nie mogę;
Niechaj ma każdy szpadę, proch i muszkiet z lontem,
Bo się pewnie nieoprzę aż nad Hellespontem»:
Spać raczej nie wojować! i ledwie Bobola
Podkomorzy koronny ukołysał krola.

[12]) Шрженява—бѣлая рѣка въ красномъ полѣ, одинъ изъ извѣстнѣйшихъ польскихъ гербовъ.

[13]) To herby, to są moje Srzeniawy rumiane,
Z temi z grobu na trąbę archanielskąwstanę
W on pepis generalny i da mi wodz święty
Niebieski indygienat za takie prezenty.

стра финансовъ), но кончилъ свою дѣятельность со скандаломъ, потому что его уличили въ сношеніяхъ, имѣвшихъ видъ государственной измѣны, съ Людовикомъ XIV, такъ что онъ долженъ былъ оставить Польшу и поселиться во Франціи, гдѣ и умеръ подъ именемъ графа de Chateauvillain. Большая часть его легкихъ лирическихъ стихотвореній, которыя онъ импровизировалъ съ замѣчательною быстротою и легкостью, не издана. Его переводъ Корнелева Сида считается до сихъ поръ образцовымъ. Онъ написалъ прелестную повѣсть стихами *Психе*, въ которую на канвѣ греческаго миѳа умѣлъ вставить множество остроумныхъ аллюзій, относившихся къ современному обществу и къ тогдашнимъ политическимъ событіямъ.

Переходимъ къ прозѣ. Въ настоящемъ періодѣ процвѣтали тѣ только отрасли ея, которыя имѣли ближайшую связь съ весьма дѣятельною, хотя и довольно безплодною политической жизнью народа. Польская исторія 17-го и первой половины 18-го вѣка употребляетъ какъ и въ прежнія времена два языка: латинскій и польскій, и вмѣщаетъ въ себѣ двоякаго рода произведенія: опыты прагматическаго изложенія въ связныхъ разсказахъ, по источникамъ, цѣлыхъ царствованій или цѣлыхъ періодовъ изъ политической жизни народа и отрывочные мемуары. Перваго рода произведенія всѣ безъ изъятія писаны по латыни; польская исторіографія, заговорившая у Бѣльскихъ и Стрыйковскаго по польски, надѣла на себя опять латинскій нарядъ. Мемуары писаны почти всѣ на языкѣ польскомъ или лучше сказать на ломаномъ макароническомъ. Извѣстнѣйшіе изъ писателей, заслуживающихъ названіе историковъ, были: Павелъ Пясецкій (1580—1649), епископъ перемышльскій, описалъ царствованія Сигизмунда III и Владислава IV, и замѣчательный своею религіозною терпимостью и враждою къ іезуитамъ Веспасіанъ изъ Кохова, Коховскій, описавшій царствованія Яна Казиміра и Михаила Вишневецкаго въ четырехъ книгахъ, которыя онъ назвалъ климактерами, потому что каждая изъ этихъ книгъ вмѣщаетъ въ себѣ событія за 7 лѣтъ. Этотъ громадный трудъ, написанный съ необыкновеннымъ талантомъ, составляетъ главный источникъ для второй половины 17-го вѣка. Лаврентій Рудавскій, мѣщанинъ пожалованный въ дворяне, каноникъ варшавскій, приверженный къ Австріи до такой степени, что готовъ былъ всею Польшею жертвовать интересамъ габсбургскаго дома, передъ которымъ онъ раболѣпствуетъ. Рудавскій описалъ событія отъ вступленія на престолъ Яна Казиміра (1648) до Оливскаго мира (1660); его сочиненіе важно тѣмъ, что представляетъ оцѣнку съ самодержавной точки зрѣнія тѣхъ событій, которыя Коховскій описывалъ съ точки зрѣнія старошляхетской. Съ Коховскимъ, умершимъ въ 1699 г., видимо склоняется къ упадку искусство историческаго повѣствованія. Уровень политическаго образованія понижается быстро, характеры мельчаютъ, событія политическія становятся менѣе интересными, вмѣстѣ съ тѣмъ слабѣетъ и пониманіе общей ихъ связи и зависимости. Вмѣсто историческаго разсказа, епископъ вармійскій и канцлеръ Андрей Хризо-

стомъ Залускій (+1711) оставилъ пять огромныхъ томовъ своей корреспонденціи (epistolæ historico-familiares), драгоцѣнный, но совершенно сырой матеріалъ. Недостатокъ исторической критики выкупается отчасти чрезвычайнымъ обиліемъ разнообразнѣйшихъ записокъ, журналовъ или діаріевъ, замѣтокъ, въ которыхъ современники записывали все то, что лично ихъ касалось или что съ ними происходило, причемъ они затрогиваютъ на каждомъ шагу и общія политическія событія. Этотъ рудникъ исторіи, чрезвычайно богатый, открытъ недавно и раскопанъ въ незначительной только части; по всей вѣроятности большая половина подобныхъ мемуаровъ хранится еще подъ спудомъ. Чтобы понять весь интересъ подобныхъ мемуаровъ въ этомъ періодѣ, необходимо бросить взглядъ на общественный бытъ народа въ 17-мъ и 18-мъ столѣтіяхъ. Въ этомъ быту всякіе вопросы рѣшены, главная задача упразднена. Броженіе умовъ, порожденное реформаціею, кончилось подведеніемъ всего почти общества подъ общій знаменатель римскаго католицизма; интересъ религіозный до того бралъ верхъ надъ кровными связями и надъ традиціонною ненавистью Польши къ Австріи, что войска польскія, такъ называемые лисовчики или элеары помогали императорскимъ войскамъ въ 30-ти лѣтней войнѣ и участвовали въ знаменитой бѣлогорской битвѣ (1620), облившей кровью всю Чехію и положившей конецъ ея политической самостоятельности. Великая соціальная несправедливость въ отношеніяхъ шляхты къ другимъ сословіямъ сдѣлалась незыблемымъ фактомъ, превратилась въ органическую болѣзнь, неизлѣчимую и тѣмъ болѣе страшную, что никто на нее не указывалъ; она считалась явленіемъ естественнымъ — закономъ природы. Каменною стѣною отдѣлившись отъ мѣщанства и крестьянства и закрывъ глаза на соціальную сторону быта, польское общество занято было повидимому только отдѣлкою своихъ политическихъ учрежденій, но этотъ политическій механизмъ видимо портился въ рукахъ шляхты: идеалъ гражданской свободы, которому всѣмъ жертвовала шляхта, къ которому она стремилась съ безпредѣльною любовью, отодвигается въ неизмѣримую даль, ея усилія къ достиженію этой цѣли приводили на дѣлѣ къ одному только плачевному результату, къ той анархіи, которая сдѣлалась въ 18-мъ столѣтіи наименованіемъ польской формы правленія у западноевропейскихъ народовъ. Какъ будто въ наказаніе за забывчивость относительно судьбы младшей братьи, шляхта увидѣла, что надъ головами ея выростаютъ двѣ враждебныя и опасныя для нея силы — монархизмъ и вельможество, изъ которыхъ первый преслѣдовалъ постоянно идеалъ самодержавія, а второе силилось превратить Рѣчь посполитую въ олигархическую республику. Исторія Польши съ тѣхъ поръ представляетъ однообразную, а потому утомительно скучную и безъисходную игру трехъ исключающихъ себя взаимно принциповъ, монархической власти, олигархіи магнатовъ и шляхетскаго демоса. Каждый изъ этихъ принциповъ не на столько силенъ, чтобы взять верхъ надъ двумя остальными, а разладица между ними до того изнурила общественный организмъ, что

*

въ 18-мъ вѣкѣ Рѣчь посполитая пользовалась только номинальною самостоятельностью.

Каждая изъ трехъ великихъ партій, стремясь къ осуществленію своего идеала и къ совершенію въ свою пользу того, что называлось починкою (naprawa) Рѣчи посполитой, искала безъ зазрѣнія совѣсти точекъ опоры внутри отечества въ постоянномъ войскѣ, и внѣ отечества въ иностранныхъ державахъ, и узаконивала такимъ образомъ вмѣшательство этихъ державъ во внутреннія отношенія Рѣчи посполитой. Главные моменты борьбы партій были слѣдующіе. Въ рукахъ ограниченныхъ со всѣхъ сторонъ пактами и конвентами избирательныхъ королей польскихъ осталась одна весьма важная прерогатива: раздача должностей земскихъ и государственныхъ и доходныхъ староствъ, жалуемыхъ въ пожизненное пользованіе заслуженнымъ отечеству лицамъ (panis bene merentium). Короли изъ династіи Вазы, не могутъ забыть, что они, Dei gratia, помазанники Божіи, сверстники другихъ европейскихъ государей. Всматриваясь въ ростущую всюду монархическую власть и увлекаясь то примѣрами сосѣдей Габсбурговъ, то успѣхами Ришелье, Мазарини и Бурбоновъ, они желаютъ основать монархію неограниченную, употребляя на то конституціонныя, а при недостаткѣ таковыхъ даже и неконституціонныя средства. Владиславъ IV, руководимый канцлеромъ Оссолиньскимъ, лелѣетъ колоссальные замыслы подавленія шляхты, установленія самодержавія и похода на Турцію: для приведенія въ исполненіе этихъ замысловъ онъ хочетъ употребить въ смыслѣ орудія самый враждебный для шляхетства элементъ — козачество. Между королемъ и козачествомъ образуется какъ бы электрическій токъ; шляхта, проникая намѣренія короля, успѣваетъ разстроить ихъ во время и обратить ни во что его планы, но дѣло было сдѣлано, козачество подняло на ноги крестьянскій малороссійскій людъ и вызвало кровопролитную соціальную войну, которая ослабила Польшу, не облегчивъ участи низшихъ рабочихъ классовъ. Бездѣтный Янъ Казиміръ, по внушенію жены француженки Маріи Луизы, пытается исторгнуть изъ рукъ шляхты право избранія королей, и назначить себѣ заблаговременно преемникомъ знаменитаго принца Конде. Встревоженная интригами французской партіи, шляхта заручается убійственнымъ для дальнѣйшаго развитія Рѣчи посполитой средствомъ: *liberum veto*; опасаясь, чтобы въ данномъ случаѣ король, имѣющій въ рукахъ раздачу мѣстъ и староствъ, не расположилъ искуственно въ свою пользу большинства членовъ въ сенатѣ и избѣ посольской, она проводитъ въ практикѣ то начало, что и одного голоса достаточно для того, чтобы прервать сеймъ и уничтожить всѣ его постановленія, а по отреченіи Яна Казиміра отъ престола она разстроиваетъ всѣ козни роялистовъ избраніемъ въ короли кости отъ костей своихъ, настоящаго республиканца, земляка Пяста, Михаила Вишневецкаго. Но между королемъ и шляхтою стояло вельможество, выросшее изъ шляхетства, состоящее изъ родовъ, достигнувшихъ высшихъ должностей въ Рѣчи посполитой, но неимѣющее

прочнаго основанія подъ собою, потому что оно не въ силахъ было ни сдѣлать эти должности наслѣдственными въ магнатскихъ фамиліяхъ, ни обезпечить на долгое время вліяніе этихъ фамилій посредствомъ майоратовъ (пять магнатскихъ ординацій или майоратовъ были рѣдкимъ исключеніемъ изъ общаго правила, число ихъ не могло увеличиваться по непопулярности этого учрежденія между шляхтою). Поставленные въ необходимость искать популярности у шляхты для достиженія высшихъ должностей, даваемыхъ только по заслугамъ и милости у короля и для полученія доходныхъ староствъ, магнаты ставили себѣ за правило колебаться между королемъ и шляхетскимъ демосомъ. Союзъ короля съ демосомъ шляхетскимъ, выдвигая впередъ людей неродовитыхъ и небогатыхъ, грозилъ серьезно вельможеству уничтоженіемъ его. Магнаты не могли никакъ простить Вишневецкому его происхожденія и способа избранія въ короли, и отравили своими происками его правленіе. Преемникъ Вишневецкаго, сіяющій славою блестящихъ, но безплодныхъ побѣдъ надъ Турками, Янъ III Собѣскій, питаетъ опять обширные династическіе планы, клонящіеся къ основанію наслѣдственной монархіи, которая бы опиралась на магнатскую олигархію. Эти планы до того опротивѣли народу, что по его смерти кандидатура какого бы то ни было Пяста сдѣлалась невозможною, и что корона польская поступила такъ сказать въ продажу съ аукціона, съ передачею ея тому изъ иностранныхъ защитниковъ, который предложитъ самыя выгодныя условія. Счастливымъ покупщикомъ явился саксонскій курфирстъ Августъ II, подражатель Людовика XIV, который подписалъ не колеблясь самыя стѣснительныя для него пакта конвента, съ тѣмъ чтобы ихъ не исполнять. Ни одинъ изъ королей не оказывалъ такого презрѣнія къ конституціоннымъ формамъ, ни одинъ не стремился столь открыто къ самовластью, опираясь на свои саксонскія войска, которыя онъ держалъ вопреки конституціи въ предѣлахъ Рѣчи посполитой. Для спасенія конституціи шляхта образовала конфедерацію Тарногродскую и приняла въ своемъ спорѣ съ королемъ вооруженное посредничество Петра Великаго. Слѣдующая элекція совершилась уже при помощи и дѣятельномъ участіи русскихъ штыковъ, употребленныхъ для устраненія французскаго кандидата Станислава Лещинскаго. Новый король Августъ III, обязанный Россіи престоломъ, слѣдовалъ въ своей политикѣ правилу полной уступчивости въ пользу Россіи, чѣмъ и доставилъ конечное спокойствіе Польшѣ, но цѣною достоинства и самостоятельности народа. Чего нельзя было купить за деньги у полновластнаго министра королевскаго Брюля, то можно было выхлопотать по протекціи чрезъ Петербургъ; туда и стали забѣгать честолюбивѣйшіе и предпріимчивѣйшіе изъ искателей мѣстъ и должностей. Патологическій процессъ разложенія государства начинался съ его оконечностей, съ общественныхъ вершинъ, но масса шляхетскаго сословія не поддавалась гніенію весьма долго и продолжала выдѣлять изъ себя въ минуты кризиса и опасности характеры, замѣчательные по силѣ пат-

ріотизма и духу самопожертвованія, которые проливаютъ такой яркій блескъ на послѣднія минуты Польши. Весьма замѣчательные писатели, занимавшіеся упадкомъ Польши, напр. Соловьевъ (Ист. пад. Польши, стр. 10), приписываютъ между прочимъ этотъ упадокъ стремленію шляхты къ необузданной свободѣ, неумѣнію сторониться съ своимъ я передъ требованіями общаго блага». Мнѣніе это крайне ошибочно и не выдерживаетъ ни малѣйшей критики. Свободныя учрежденія въ родѣ польскихъ только и возможны при превратившейся въ нравъ и обычай наклонности подчинять свое я требованіямъ общаго блага; эту наклонность польская шляхта простирала до самоотверженія, до геройства, ея ошибка заключалась только въ томъ, что она отождествляла себя съ народомъ и носясь съ идеаломъ общественнаго устройства, не понимала его иначе, какъ въ формѣ аристократической. Упорная вѣра въ свой политическій идеалъ, изумительная стойкость въ самыхъ трудныхъ обстоятельствахъ, умѣнье единицъ группироваться въ массы по всякому призыву во имя угрожаемаго отечества, сообщали нравамъ шляхетскаго сословія характеръ въ высокой степени эпическій. Представимъ, что на этомъ фонѣ картины рисуются властолюбивые замыслы королей, происки заискивающихъ популярности магнатовъ, проникающія во внутренность Рѣчи посполитой вліянія иностранныхъ государствъ; что жизнь общественная, самая шумная и дѣятельная разыгрывается въ безконечныхъ сеймикахъ, сеймахъ, конфедераціяхъ, при звукѣ чокающихся бокаловъ, бряцаніи сабель и скрежетѣ стали, и мы легко поймемъ какой богатый матеріалъ для зрителя представляло польское общество 17-го столѣтія. Съ упадкомъ просвѣщенія извелся родъ великихъ наблюдателей, которые бы умѣли понимать жизнь общества во всѣхъ ея разнообразныхъ до безконечности явленіяхъ, но за то появилось великое множество разсказчиковъ, которые описываютъ съ точки зрѣнія своей партіи, своего кружка, тѣ событія земскія и государственныя, въ которыхъ они сами принимали непосредственное участіе. Этихъ разсказчиковъ такъ много, что съ помощью ихъ можетъ быть самымъ нагляднымъ образомъ воспроизведенъ бытъ Польши, во всей его поразительной пестротѣ. Важнѣйшія изъ открытыхъ и изданныхъ до сихъ поръ записокъ принадлежатъ слѣдующимъ лицамъ: Альбрехту Радзивиллу канцлеру (+1656), Николаю Іемеловскому (+около 1693), Іоахиму Ерличу, русину, шляхтичу волынскому (+ около 1673), Яну Стефану Выджгѣ, примасу (+1686), Войтѣху изъ Конoядъ Дембoленцкому, францисканцу, капеллану элеаровъ или лисовчиковъ, описавшему подвиги этой дружины въ Германіи и Польшѣ; Эразму Отвиновскому, описавшему весьма обстоятельно событія всего почти царствованія Августа II; Кристофору Завишѣ, воеводѣ минскому, въ началѣ 18-го столѣтія. Во главѣ всѣхъ писателей записокъ стоитъ поражающій своимъ обширнымъ литературнымъ талантомъ и неисчерпаемымъ юморомъ, Янъ Хризостомъ Пассекъ герба Долива, шляхтичъ мазовецкій, храбрый солдатъ и завзятый рубака,

который воевалъ подъ начальствомъ Чарнецкаго со Шведами въ Польшѣ и въ Даніи, съ Москвою на Литвѣ, бывалъ въ премногихъ оказіяхъ, провожалъ изъ Москвы въ Варшаву московскихъ пословъ, побилъ однажды поссорившись Мазепу, будущаго гетмана козацкаго, былъ любимцемъ королей Яна Казиміра и Яна Собѣскаго, наконецъ прошедши, какъ говорится, сквозь огонь, воду и мѣдныя трубы, поселился въ землѣ краковской, гдѣ и дожилъ до глубокой старости (умеръ послѣ 1702 г.). Пассекъ записывалъ свои воспоминанія безъ малѣйшихъ притязаній на авторскую извѣстность, но онъ до того наглядно воспроизводитъ физіономію своего вѣка, что можетъ на долго служить неисчерпаемымъ матеріаломъ для историковъ и романистовъ.

Въ концѣ этого періода появляются первые опыты критической обработки исторіи Польши. Прусскіе Нѣмцы Гарткнохъ (+1687), Ленгнихъ (1689—1774), Браунъ (+1737), съ нѣмецкою усидчивостью и аккуратностью берутся за самый трудный и самый темный въ жизни народа предметъ, за исторію польскаго права. Чрезвычайно плодовитъ былъ историкъ, публицистъ и археологъ Симонъ Старовольскій, каноникъ краковскій (+1656), оставившій до 60 сочиненій; современники называли его по причинѣ обширной его начитанности польскимъ Варрономъ. Іезуитъ Касперъ Несецкій (+1744) оставилъ драгоцѣнный матеріалъ для исторіи польской въ геральдическомъ сочиненіи, въ которомъ онъ собралъ и расположилъ по гербамъ исторію всѣхъ сколько нибудь замѣчательныхъ родовъ шляхетскихъ. Это сочиненіе въ четырехъ огромныхъ томахъ издано во Львовѣ 1728—1748, подъ заглавіемъ *Korona Polska*.

4. ПЕРІОДЪ СТАНИСЛАВА АВГУСТА ПОНЯТОВСКАГО.

Польша достигла крайней степени нравственнаго упадка въ царствованіе послѣдняго изъ Саксонцевъ, Августа III. Съ тѣхъ поръ начинается поворотъ къ лучшему, стремленіе къ возрожденію и обновленію. Начало реформы, которой посвящено все царствованіе Понятовскаго, не вполнѣ совпадаетъ съ избраніемъ его въ короли, реформа началась раньше, предвозвѣстниками ея были въ литературѣ Яблоновскій, Лещинскій, въ дѣлѣ народнаго воспитанія и образованія піяры, Конарскій, Залускій, въ политикѣ князья Чарторыжскіе.

Янъ Яблоновскій, воевода русскій, издалъ въ 1730 г. во Львовѣ безъимянную брошюру, которая надѣлала много шуму и нажила автору столькихъ враговъ, что онъ, самъ будучи нерадъ своему произведенію, не осмѣлился признать себя его отцемъ, но выкупалъ эту брошюру и истреблялъ ее по возможности. Полное заглавіе ея слѣдующее: *Skrupuł bez skrupułu w Polsce* или: «*Что дѣлается безъ зазрѣнія совѣсти въ Польшѣ*,— *объясненіе грѣховъ, болѣе свойственныхъ народу польскому, но не счи-*

таемыхъ грѣхами, *трактатъ*, *написанный нѣкоимъ полякомъ*, *тѣми же грѣхами зараженнымъ*, *но кающимся*, *и изданный во исправленіе его самого и людей*». Авторъ бичуетъ безпощадно тѣ мелкія обыденныя нечестности и пороки, которымъ общество молча поблажало, потому что всѣ въ большей или меньшей степени были имъ причастны: систематическое черненіе министровъ, склонность перечить и досаждать королю, пусканіе въ ходъ ложныхъ вѣстей для поддержанія духа въ своей партіи, пользованіе со стороны стражей казны общественной разными небезгрѣшными доходами, ябедничество и пристрастіе въ судахъ, наконецъ безпорядочный образъ сеймованія, которое, «подобно бурному и бездонному морю, волнуется, Богъ вѣсть откуда вырывающимися вѣтрами страстей и интригъ людскихъ». Еще важнѣе другое сочиненіе, написанное бывшимъ королемъ польскимъ Станиславомъ Лещинскимъ, и изданное во Франціи въ Нанси 1733 г. подъ заглавіемъ: «Głos wolny wolność ubezpieczający» (Вольный голосъ, обезпечивающій свободу). Здѣсь, между прочимъ, прямо уже положенъ палецъ на больное мѣсто Польши, на неправильное отношеніе шляхты къ плебеямъ. «Всѣмъ, чѣмъ мы славимся, мы обязаны простому народу, говоритъ король-философъ. Очевидно, что я не могъ бы быть шляхтичемъ, если бы хлопъ не былъ хлопомъ. Плебеи суть наши хлѣбодатели, они для насъ добываютъ сокровища изъ земли, отъ ихъ работъ нашъ достатокъ, отъ ихъ труда богатство государства. Они несутъ бремя податей, они выручаютъ насъ во всѣхъ трудахъ, такъ что если бы ихъ не было, мы сами должны бы сдѣлаться землепашцами, такъ что вмѣсто обыкновенной поговорки: панъ изъ пановъ, слѣдовало бы употреблять другую поговорку: панъ изъ мужиковъ». Лещинскій упрекаетъ общество въ томъ, что оно обращается съ чернью, какъ съ рабами, «которые тѣмъ только разнятся отъ невольниковъ, что не носятъ оковъ»; онъ требуетъ полной личной свободы для крестьянина, съ правомъ собственнаго перехода съ земли помѣщичьей къ другимъ занятіямъ и съ правомъ жаловаться на помѣщичью расправу судомъ государственнымъ. Высказано было слово реформы, въ умахъ лучшихъ передовыхъ людей общества уяснялось постепенно сознаніе о томъ, что эта реформа должна быть не только политическая, но и соціальная, что она должна предварительно положить конецъ неурядицѣ и безначалію и довести въ окончательномъ результатѣ къ постепенному перемѣщенію центра тяжести государства изъ шляхты въ народныя массы. Новаторы, сходясь между собою совершенно относительно необходимости совершить всестороннее преобразованіе въ быту общества, разнились относительно путей и средствъ. Станиславъ Лещинскій, въ душѣ шляхтичъ, горячо любящій свободу гражданскую, относится крайне осторожно и почтительно къ республиканскимъ польскимъ учрежденіямъ, онъ до того дорожитъ ими, что даже не смѣетъ поднять руки на *liberum veto*, т. е. на право каждаго члена сеймика или сейма не допустить, чтобы состоялось постановленіе, ему лично противное; Лещинскій предлагаетъ только способы

ограничить таковое veto. Королей онъ предлагаетъ избирать письменною и тайною подачею голосовъ по земствамъ — подобно тому, какъ выбираются нынѣ президенты въ Соединенныхъ Сѣверо-американскихъ Штатахъ. Позднѣйшіе новаторы гораздо рѣшительнѣе въ своемъ образѣ мыслей, они стремятся къ болѣе радикальной перемѣнѣ. Общественное устройство Польши противно имъ и по своему въ касту превратившемуся шляхетству, и по нетолерантному католицизму, стѣсняющему свободное движеніе мысли; они смотрѣли съ презрѣніемъ и насмѣшкою на весь старо-польскій бытъ, не обинуясь называли этотъ бытъ варварствомъ и смѣло обрекали его на сломку, съ тѣмъ, чтобы, выровнявъ почву, воздвигнуть на развалинахъ стараго совершенно новое зданіе. Лозунгомъ этихъ людей была личность, съ ея прирожденными правами, ихъ одушевляла любовь къ человѣчеству и вѣра въ нескончаемую его усовершаемость, свѣтильникомъ имъ служила французская философія. Съ тѣхъ поръ и начинаются тѣ связи польскаго общества съ западно-европейскимъ политическимъ радикализмомъ, которыя продолжаются непрерывно и до настоящаго дня. Французскія идеи очень быстро усвоивались и распространялись въ Польшѣ, причемъ лотарингскій домъ Лещинскаго, посѣщаемый множествомъ путешествующихъ за границею Поляковъ, оставался не безъ вліянія на польское общество. Для успѣшности замышляемыхъ преобразованій необходимо было пересоздать упавшія въ рукахъ іезуитовъ школы, чтобы воспитать новое поколѣніе въ духѣ реформы. Эту задачу взялся исполнить ксендзъ Станиславъ Конарскій (род. 1700), человѣкъ происходившій изъ весьма знатной фамиліи, вступившій рано въ орденъ піаровъ и докончившій свое образованіе въ Римѣ и во Франціи [1]). Возвратившись въ Польшу въ 1736 г., Конарскій принялъ на себя обязанности ректора піарской семинаріи въ Ржешовѣ, приготовилъ собственнымъ примѣромъ и наставленіями отличныхъ учителей, а въ 1740 году открылъ въ Варшавѣ образцовый пансіонъ для дѣтей высшаго сословія: *collegium nobilium*; потомъ ему удалось преобразовать всѣ вообще польскія піарскія школы. Альваръ былъ вытѣсненъ изъ преподаванія, большее развитіе получили математика, исторія, географія, на ряду съ латынью заняли важное мѣсто языки новѣйшіе и польскій. Конарскій и его сподвижники приготовили отличные учебники по всѣмъ отраслямъ знаній. Піарскіе конвикты или пансіоны имѣли, правда, аристократическій характеръ и были заведеніями, въ которыхъ дѣти знати получали блестящее свѣтское, хотя и не очень глубокое образованіе во французскомъ вкусѣ, но не слѣдуетъ забывать, что Конарскій былъ дѣятель болѣе политическій, нежели научный, что науку онъ любилъ не для самой науки, но для дѣла и что посредствомъ воспитанія онъ хотѣлъ приготовить не столько ученыхъ, сколько гражданъ, которые могли бы взять на себя инціативу реформы политической и соціальной. Въ 1741 г. Конарскій издалъ сочи-

[1]) Historja szkół etc. przez J. Łukaszewicza.

неніе: *De emendandis eloquentiae vitiis*, въ которомъ сильно нападаетъ на реторическую напыщенность современнаго краснорѣчія. Наконецъ онъ написалъ обширное, глубоко ученое сочиненіе въ 4-хъ томахъ: *O skutecznym rad sposobie*, въ которомъ разбирая порядокъ сеймованія, онъ доказываетъ вредъ и несостоятельность liberum veto и предлагаетъ, чтобы дѣла рѣшались не единогласіемъ, но по большинству голосовъ. Съ воспоминаніемъ о Конарскомъ неразрывно связано имя другаго дѣятеля литературнаго, Іосифа Андрея Залускаго, епископа кіевскаго, получившаго совершенно французское воспитаніе, чудака, исполненнаго аристократическихъ предразсудковъ, но горячаго патріота и страстнаго библіографа. При содѣйствіи Залускаго, Конарскій приступилъ къ изданію полнаго собранія законовъ польской Рѣчи посполитой подъ заглавіемъ *Volumina legum* (8 томовъ, заключающихъ въ себѣ законы до 1780 г., изданы 1732—1782). Всѣ свои огромные доходы Залускій посвятилъ на составленіе богатѣйшаго книгохранилища, изобилующаго рѣдчайшими рукописями и изданіями, относящимися къ исторіи польской; составивъ это книгохранилище, онъ его принесъ въ даръ народу и сдѣлалъ учрежденіемъ публичнымъ. Въ половинѣ 18-го столѣтія число сторонниковъ реформы возрасло до того, что они образовали цѣлую политическую партію, во главѣ которой стала такъ называемая *фамилія*, то есть могущественный родъ князей Чарторыжскихъ, ведущихъ свое начало отъ Гедимина, имѣвшихъ огромныя связи со всѣми магнатскими домами Рѣчи посполитой и обладавшихъ обширнѣйшими помѣстьями. Ко всѣмъ этимъ благопріятнымъ условіямъ слѣдуетъ прибавить необыкновенныя политическія способности главныхъ представителей фамиліи, Августа Чарторыжскаго, воеводы русскаго, его сына Адама, генерала земель подольскихъ, его шурина Станислава Понятовскаго, кастеляна краковскаго, и въ особенности талантливѣйшаго изъ Чарторыжскихъ, канцлера В. К. Литовскаго, Михаила (брата Августа). Фамилія стремилась съ замѣчательнымъ постоянствомъ и настойчивостью къ преобразованію государства въ смыслѣ монархическомъ, старалась занять своими приверженцами всѣ должности Рѣчи посполитой и до того распространила свое вліяніе на всѣ слои народонаселенія, что, по увѣренію современнаго историка Рюльера, четверть шляхты въ Рѣчи посполитой была готова служить политическимъ видамъ Чарторыжскихъ. Задача, которую Чарторыжскіе взялись рѣшить, испугала бы безъ сомнѣнія по своей трудности людей менѣе рѣшительныхъ, потому что надобно было одновременно преодолѣвать препятствія и внутреннія и внѣшнія, посягнуть на учрежденія, считаемыя неприкосновеннымъ палладіумомъ свободы, вступить по этому поводу въ упорную борьбу со всѣми приверженцами покойной старины и вести эту борьбу въ виду смежныхъ съ Польшею державъ, которыя привыкли хозяйничать въ Польшѣ, для которыхъ *liberum veto* и элекція королей были лучшими ручательствами безсилія Польши, и которыя смотрѣли крайне подозрительно на всякое усиленіе королевской власти. Реформа вела, въ болѣе или менѣе от-

даленномъ будущемъ, къ возстановленію народнаго достоинства и независимости, для осуществленія ея Чарторыжскіе должны были искать союзниковъ не только внутри, но и внѣ государства, и, пользуясь антагонизмомъ окружающихъ Польшу державъ, искать точки опоры для себя въ Петербургѣ, выдавая себя за русскую партію. Когда въ 1763 г. умеръ король Августъ III, то фамиліи представился случай устранить домъ саксонскій и возвести на польскій престолъ кого нибудь изъ своей среды. Выборъ короля состоялся не вполнѣ по желаніямъ фамиліи, но, пользуясь вооруженною поддержкою отъ петербургскаго двора, фамилія должна была согласиться съ нимъ и относительно кандидата на престолъ. Такимъ угоднымъ императрицѣ Екатеринѣ II кандидатомъ сдѣлался хорошо ей извѣстный стольникъ литовскій Станиславъ Августъ Понятовскій, племянникъ Августа и Михаила Чарторыжскихъ и внукъ того Андрея Морштына, который при Янѣ Казимірѣ былъ распространителемъ французскаго вкуса, подпорою французской партіи и переводчикомъ Корнелева Сида. Новый король оказался ошибкою попавшимъ на престолъ артистомъ и литераторомъ, тонкимъ цѣнителемъ красотъ въ дѣлѣ искусства, но безхарактерною и пустою куклою въ политикѣ. Этотъ изнѣженный сибаритъ, могущій увлекаться великими идеями, пока осуществленіе ихъ скрывалось въ дали, блѣднѣлъ передъ настоящею опасностью и тотчасъ же безъ боя измѣнялъ своимъ убѣжденіямъ, когда они требовали дѣла. Онъ былъ неспособенъ въ рѣшительную минуту стать во главѣ консерваторовъ подъ древнимъ испытаннымъ знаменемъ шляхетства и католицизма, отстоять старую Польшу, какъ ее отстаивали нѣкогда его предшественники противъ Москвы, Турокъ и Шведовъ, и продлить по крайней мѣрѣ на нѣкоторое время ея существованіе. Онъ былъ не способенъ также стать въ главѣ новаторовъ, призвать на помощь всѣ революціонные элементы и, поставивъ на карту свою корону и даже жизнь, попытаться въ одно и то же время и совершить внутренній переворотъ, и повести внѣшнюю войну съ сосѣдями, которымъ этотъ переворотъ не могъ нравиться и по своему революціонному характеру и потому, что онъ полагалъ конецъ польской анархіи. Тотчасъ по вступленіи Понятовскаго на престолъ, петербургское правительство потребовало отмѣны всѣхъ стѣсненій, которыя терпѣли диссиденты. Требованіе было справедливое, но поддерживалось силою оружія. Сеймъ уступилъ принужденію, но это вмѣшательство вызвало конфедерацію барскую и множество иныхъ. Вся Польша покрылась вооруженными летучими отрядами шляхты, завязалась продолжительная междоусобная война, которая потушена была совокупными дѣйствіями войскъ королевскихъ и русскихъ. Страна, истощенная усобицами, должна была подчиниться всѣмъ условіямъ своихъ могущественныхъ сосѣдей, Австріи, Пруссіи и Россіи: такимъ образомъ совершился первый раздѣлъ Польши 1772 года, — за которымъ слѣдовало 15 лѣтъ отдыха (1772 — 1787). Въ теченіи этого времени король могъ безпрепятственно заниматься литературою, окружать себя отборными

поэтами и артистами, устраивать свои четверговые обѣды, знаменитые по блистательному остроумію приглашаемыхъ къ трапезѣ королевской собесѣдниковъ и стараться славою покровителя наукъ и художествъ прикрыть позоръ срѣзанной до половины короны. Другимъ, подобнымъ королевскому, литературнымъ центромъ сдѣлались Пулавы, гостепріимный для поэтовъ магнатскій домъ Князей Чарторыжскихъ. Въ то же самое время партіи реформы удалось совершить дѣло несравненно болѣе прочное, нежели всѣ политическія преобразованія, потому что оно пережило паденіе Польши и содѣйствовало въ значительной степени сохраненію польской народности и усиленію въ 19-мъ столѣтіи ея всесторонняго нравственнаго вліянія во всѣхъ странахъ, входившихъ въ составъ прежней Рѣчи посполитой, и даже за ея предѣлами. Это великое дѣло было радикальное преобразованіе народнаго воспитанія посредствомъ Эдукаціонной Коммиссіи. Скажемъ сначала нѣсколько словъ о реформѣ училищъ, потомъ обратимся къ литературѣ.

Въ своихъ пактахъ конвентахъ король обязался учредить военное училище. Онъ и открылъ въ 1766 г. корпусъ кадетовъ въ Варшавѣ. По его примѣру Карлъ Радзивиллъ основалъ своими средствами школу артиллерійскую въ Несвижѣ, а подкоморій коронный Потоцкій кадетскую школу въ Немировѣ. Въ 1773 г. буллою папы Климента XIV уничтоженъ орденъ іезуитовъ; сейму предстояло распорядиться огромнымъ, оставшимся послѣ ордена имуществомъ и подумать о способахъ воспитанія юношества послѣ упраздненія іезуитскихъ школъ. Сеймъ установилъ двѣ раздавательныя коммиссіи (одну для Короны, другую для Литвы), которыя по приведеніи въ извѣстность орденскаго имущества должны были заняться раздачею недвижимостей ордена въ вѣчную аренду частнымъ лицамъ и отдачею капиталовъ на проценты; двѣ судебныя коммиссіи для рѣшенія всѣхъ тяжбъ и исковъ, возникающихъ при ликвидаціи имуществъ, и Коммиссію Эдукаціонную, которой передано все воспитаніе народное и которая была первымъ въ Европѣ министерствомъ народнаго просвѣщенія. Эдукаціонная Коммиссія состояла изъ 8 лицъ, между которыми особенныя услуги оказали: Хрептовичъ, подканцлерій литовскій, Игнатій Потоцкій писарь литовскій, Адамъ Чарторыжскій, генералъ земель подольскихъ. Секретаремъ Коммиссіи былъ Григорій Пирамовичъ. Коммиссія имѣла мѣстопребываніе въ Варшавѣ, посылала для осмотра училищъ особыхъ визитаторовъ и давала сейму отчетъ въ своихъ дѣйствіяхъ. Преобразовавъ до основанія обѣ академіи, краковскую и виленскую, и измѣнивъ въ нихъ и планъ и методы преподаванія, Эдукаціонная Коммиссія сдѣлала изъ нихъ центры управленія—изъ краковской академіи для Короны, изъ виленской, переименованной въ главную школу, для Литвы. Республика раздѣлена въ учебномъ отношеніи на 9 округовъ, въ каждомъ округѣ открыта одна высшая школа съ гимназическимъ курсомъ и нѣсколько подъокружныхъ, въ родѣ нашихъ уѣздныхъ училищъ. Общій уставъ для польскихъ и литовскихъ училищъ, выработанный Коммиссіею, введенъ въ дѣйствіе въ 1783 г. и

замѣчателенъ тѣмъ, что послужилъ основаніемъ организаціи училищъ Александра I и уставамъ россійскихъ университетовъ 1803 и 1804 годовъ. Для снабженія школъ хорошими учебниками учреждено при Коммиссіи общество элементарныхъ книгъ, въ которомъ засѣдали ученѣйшіе изъ тогдашнихъ Поляковъ (Гуго Коллонтай, Янъ Снядецкій, Онуфрій Копчинскій). Общество открыло конкурсы на составленіе лучшихъ учебниковъ и посредствомъ этой мѣры польская литература обогатилась возникшею внезапно цѣлою педагогическою литературою. Всего труднѣе было найти способныхъ учителей; на первый разъ пришлось довольствоваться эксъ-іезуитами, которые по старой привычкѣ не могли сочувствовать вводимымъ въ преподаваніе перемѣнамъ; учительскія семинаріи, открытыя въ Краковѣ, Вильнѣ, Кельцахъ, Ловичѣ, не вдругъ могли принести плоды. Впрочемъ и этотъ недостатокъ пополнился къ началу великаго четырехлѣтняго сейма; краковская академія очнулась отъ своего вѣковаго сна, и виленская главная школа развивалась быстро подъ энергическимъ руководствомъ своего неутомимаго ректора, эксъ-іезуита Мартина Одляницкаго Почобута (род. 1728, сложилъ должность ректора 1799, † 1810).

Новѣйшее общество польское привыкло пренебрегать литературой царствованія Понятовскаго. На ней лежитъ тяжелымъ камнемъ обвиненіе въ подражательности Французамъ, въ измѣнѣ народному духу. Замѣчательно, что это обвиненіе явилось только въ 19-мъ столѣтіи, что въ свое время польская старина оказывала этой подражательности одно лишь пассивное сопротивленіе инерціи, одно тупое и безмысленное отрицаніе всякой новизны; въ рѣшительную минуту, отъ которой зависѣла жизнь или смерть народа, старина собралась съ силами на то только, чтобы сказать свое *veto* и самоубійственно посягнуть на самое существованіе государства (конфедерація тарговицкая). Когда Польша пала, шляхетство отодвинулось въ даль, успѣло обрости мохомъ и плѣсенью, тогда-то послышались голоса, выражающіе сожалѣніе о томъ, что эта старина исчезла; умершее въ жизни стало воскресать въ пѣсни, причемъ требованія и краски настоящаго подкладывались весьма часто подъ образы прошедшаго. Старое шляхетство было вполнѣ исчерпано въ 18-мъ столѣтіи, идеалы его оказывались несостоятельными, общество требовало обновленія, проложенія новыхъ путей къ творчеству. — Для своего обновленія оно должно было прибѣгнуть къ заимствованіямъ. Изъ Франціи вѣялъ тогда на всю Европу сухой и рѣзкій вѣтеръ раціонализма. Популярная философія французскихъ энциклопедистовъ, дѣйствовавшая орудіемъ здраваго человѣческаго смысла во имя неотъемлемыхъ правъ личности, пришлась какъ разъ въ пору польскому обществу 18-го вѣка и помогла ему взглянуть на свой бытъ критически, опредѣлить и сформулировать свои неясныя стремленія къ лучшему порядку вещей. Всѣ передовые люди тогдашняго времени—раціоналисты, поклонники Вольтера и Руссо, любители французской культуры. Они пропитаны ею до мозга костей и потому съ презрѣніемъ относятся

къ стариннымъ учрежденіямъ Польши, къ ея «варварству», съ презрѣніемъ тѣмъ болѣе понятнымъ, что они сознавали въ себѣ призваніе къ безпощадной войнѣ со всѣми порожденіями среднихъ вѣковъ. Заимствованія начались, какъ обыкновенно водится, съ внѣшностей, съ простыхъ подражаній модѣ, костюмамъ, складу рѣчей. Весь край раздѣлился на два враждебные лагеря, съ одной стороны бритые лбы, контуши и сабли, латинская начитанность, и вѣра по преданію отъ праотцевъ, съ другой стороны парики, пудра и шпага, щепетильный point d'honneur, языкъ испещренный галлицизмами, систематическое безвѣріе и ироническая насмѣшка надъ всевозможными предразсудками, — причемъ конечно проскакивало много уродливаго, каррикатурно-смѣшнаго и плоскаго. Потомъ постепенно подражаніе стало уступать мѣсто сознательному усвоиванію того, что приходилось обществу польскому по темпераменту и росту, и постепенной переработкѣ чужаго въ собственную плоть и кровь. Оба эти момента отразились въ польской поэзіи, которая представляетъ разнообразнѣйшіе типы и легкомысленнаго пренебреженія роднымъ и просвѣщеннаго патріотизма, умѣющаго цѣнить свое собственное. Литература эта, которая носитъ названіе классической, есть отголосокъ и копія французской литературы освобожденія, а французская литература освобожденія, какъ ни далека она отъ придворнаго классицизма своими внутренними тенденціями, во внѣшней формѣ и пріемахъ часто носитъ отпечатокъ той же сухости и холодности, которыя отражались еще сильнѣе въ подражаніяхъ. Тѣми же свойствами отличается поэтому и ея польская копія; она бѣдна творчествомъ, но блещетъ остроуміемъ, отличается изысканнымъ изяществомъ формы, шлифуетъ тщательно и тонко всякій стихъ и всякую фразу. Главная сила ея заключается въ сатирѣ. Эта сатира рѣзко и безпощадно бичуетъ общественные недостатки и пороки. Главными представителями польскаго классицизма были четыре поэта: Венгерскій, Трембецкій, Красицкій и Нарушевичъ. Каэтанъ Венгерскій (1755 — 1787) представляетъ примѣръ увлеченія иностраннымъ, которое доведено до низкопоклонничества и кончается тѣмъ, что описывая свои задушевныя мечтанія, свое желаніе посѣтить Парижъ, а потомъ поселиться на родинѣ Руссо, въ мѣстѣ жительства Вольтера, на прелестныхъ берегахъ Женевскаго озера, поэтъ восклицаетъ: «Куда ты меня увлекаешь, мысль моя неспокойная! надобно остаться въ отечествѣ въ числѣ несчастныхъ, среди варваровъ, едва выдвигающихся изъ тьмы, и стонать подъ ярмомъ грубѣйшихъ предразсудковъ» [2]). Сынъ незнат-

[2]) Najpierwej twe Paryżu szedłbym widzieć dziwy,
I z źrvodła rożnych zabaw czerpając potrosze
Chwilebym na nauki dzielił i roskosze,
Pókiby krew gorąca i potrzebne siły
Takiego mi sposobu życia dozwoliły.
Ale jakbym się tylko zbliżał do starości

ныхъ родителей, одаренный блистательнымъ поэтическимъ талантомъ, Венгерскій втерся ко двору, сдѣланъ королевскимъ шамбеляномъ, но надоѣлъ всему двору своимъ злымъ, острымъ языкомъ, который не спускалъ даже самому королю [3]) и нажилъ Венгерскому безчисленное множество враговъ. Въ 1779 г. вслѣдствіе пасквиля на нѣкоторыхъ высокопоставленныхъ дамъ онъ долженъ былъ оставить дворъ, отправился за границу, велъ жизнь очень веселую, къ чему давала ему средства счастливая карточная игра, посѣтилъ Италію, Францію, Америку, Англію, наконецъ истощивъ свои силы всевозможными излишествами, умеръ отъ чахотки въ Марсели на 33 году жизни. Венгерскій смотрѣлъ на жизнь какъ на шумную оргію, какъ на непрерывающійся маскарадъ; онъ былъ эпикуреецъ и воспѣвалъ одну только философію наслажденія. Мастеръ острить, въ остротахъ онъ всего ближе подходитъ къ Вольтеру. Венгерскій осмѣиваетъ священнѣйшіе предметы [4]), муза его любитъ нескромные сладострастные

Gdzie mniej trzeba uciechy a więcej wolności
Tamby najpierwsze osiąść było me staranie,
Kędy ojczyzna Russa, Woltera mieszkanie
Tam wespół z pracownemi obcując Szwajcary
Paliłbym tym dwóm mężom niezgasłe ofiary,
Jod brzegów Genewy rzekłbym sobie z cicha:
Darmo Polak do dawnej szczęśliwości wzdycha!
Ale gdzie mnie uwodzisz obłędliwa myśli!
Próżno sobie mój umysł obraz szczęścia kryśli.
Trzeba zostać w ojczyznie, w liczbie nieszczęśliwych...
Chwalić wartych nagany, przed podłemi klękać,
Pod jarzmem najgłębszego uprzedzenia stękać,
Widzieć co dzień nieuków mędrcami nazwanych,
I bzdurzących o cnocie za cnotliwych mianych...
Nie sądźcie że jesteście bliscy oświecenia;
Ledwie się z barbarzyństwa dobywacie cienia.

[3]) A uczone obiady: znasz to może imie
Gdzie połowa niegada, a połowa drzymie,
W których król wszystkie mu i zastąpić expensa
Dowcipu, wiadomości, i wina,s i mięsa

Извѣстная острая эпиграмма Венгерскаго на короля, когда этотъ послѣдній соорудилъ памятникъ Яну Собѣскому:
Sto tysięcy na pomnik, jabym dwakroć łożył
Gdyby Staś był skamieniał a Jan III ożył.
(Сто тысячъ на памятникъ. Я бы далъ двѣсти за то, чтобы Станиславъ окаменѣлъ, а Янъ III ожилъ).

[4]) ... radbym widzieć Pana Boga,
Jak poważnie na tronie z djamentów siada,
Jak zręcznie bez ministrow tą machiną włada,
Bo jak moim rozumem słabym mogę sądzić
Trudno kawałkiem ziemi, trudniej światem rządzić
Ale gdy pilnie sobie zważam z drugiej strony,
Żem wcale do śpiewania nieprzyzwyczajony,
I choćbym był największem nabożeństwem zdjęty
Nie w taktbym pewno śpiewał: święty, święty, święty;
Cefas ktryo jest na czele
Całej niebieskiej kapele,
Mowią że jest zapalczywy,
Uciął ucho Malchusowi
Jak mu się dawna cholera odnowi

разсказы, наконецъ онъ доходитъ до крайнихъ предѣловъ цинизма въ множествѣ грязныхъ стихотвореній, которыя ходили въ рукописи по рукамъ, остались неизданными и могутъ соперничать съ знаменитѣйшими французскими произведеніями подобнаго свойства изъ послѣдней четверти 18-го вѣка. Вѣтренный, легкомысленный Венгерскій при всѣхъ своихъ недостаткахъ былъ все таки, что называется добрый, честный малый, не торговалъ своимъ талантомъ, и стоялъ, если не по искусству писать звучные стихи, то по нравственному характеру своему несравненно выше другого шамбеляна королевскаго, та-такого же атеиста и эпикурейца, Станислава Трембецкаго, въ которомъ можно видѣть образецъ придворнаго паразита-стихотворца (род. около 1722,† 1812). Трембецкій имѣлъ бойкое перо, тонкій вкусъ, и былъ хорошо знакомъ съ латинскими классиками и даже съ мало читаемыми въ то время старинными польскими поэтами періода Сигизмундовъ. Ему принадлежитъ безъ всякаго спора слава перваго въ свое время стилиста, услуги оказанныя имъ языку велики; будучи пуристомъ, онъ по возможности изгонялъ изъ языка иностранные слова и обороты и изобрѣлъ множество новыхъ, поражающихъ своею силою и выразительностью. Самъ Мицкевичъ считалъ его первокласснымъ мастеромъ по отдѣлкѣ стиха, и научился у него многому. Впрочемъ величественные образы и торжественные аккорды прикрывали мысль самую убогую и самую пошлую. Трембецкій не отличалъ поэзіи отъ стихотворства, за формою не видѣлъ содержанія, онъ былъ жрецъ чистаго искусства, для котораго всякое содержаніе безразлично. Если бы онъ поставленъ былъ судьбою въ другое общественное положеніе, то по всей вѣроятности онъ бы и ограничился любезничаньемъ съ дамами, сочиненіемъ легкихъ стишковъ анакреонтическаго содержанія и другихъ подобныхъ бездѣлушекъ, въ родѣ французскихъ vers de societé того времени [5]);

Mogę być w niebie z ręki jego nieszczęśliwy.
A potem jeśli mam prawdę powiedzieć,
Niemogłbym tam długo siedzieć
Gdzieby mnie w wieczor, w południc i rano
Codzień to samo śpiewano i t. d.

[5]) Привѣду для примѣра пьесу, въ которой Тромбецкій изобразилъ всего лучше самаго себя и свое направленіе:

O, wdziękow zbiory,
Piękności wzory,
Panie, krolowe, boginie!
Niech wasze oko
Sięga głęboko,
Niesądząc gracza po minie.
Włos mi ubielił
I twarz podzielił
Srogi czas w rożne zagony,
Lecz za tę szkodę
Dał mi w nagrodę
Serdeczny upał zwiększony.
Tak Hekla siwa
Sniegiem pokrywa

Но Трембецкій очутился на дворѣ королевскомъ, среди сильнѣйшаго разгара политическихъ страстей, его и заставили писать политическіе памфлеты на заданныя темы, хвалить по приказанію или ругать тѣхъ, кого онъ прежде превозносилъ. Трембецкій, который отличался полнымъ отсутствіемъ убѣжденій, готовъ былъ на всякія услуги. Свое достоинство чувствовалъ онъ такъ слабо, что въ одномъ изъ своихъ стихотвореній онъ уподобляетъ себя собачкѣ короля Понятовскаго и расточаетъ передъ нимъ самую пошлую лесть, называя его «отцомъ отечества». «Отъ тебя, — говоритъ онъ — идетъ свѣтъ, сіяющій между нами, который сдѣлаетъ насъ опять достойными имени Славянъ. Твоими стараніями просвѣщенный Полякъ умѣетъ предпочитать прекрасную смерть безславному бытію [6].... Ты насъ наставилъ, прославилъ и украсилъ. Явись, Фурія, и скажи: что могъ онъ сдѣлать и чего не дѣлалъ» [7]. Король былъ въ самомъ дѣлѣ умный, любезный человѣкъ и благодѣтель Трембецкаго; можно было бы подумать, что благодарность ослѣпила стихотворца, скрыла отъ него недостатки короля и заставила забыть о необходимыхъ приличіяхъ. Но не одному королю льститъ Трембецкій; есть много произведеній его, которыя не иначе могутъ быть объяснены какъ литературной его продажностью. Когда орденъ іезуитовъ уничтоженъ былъ папою Климентомъ XIV, Трембецкій, атеистъ въ душѣ, пишетъ элегію на его паденіе [8]. Будучи въ числѣ петербургскихъ пансіонеровъ,

Swoje ogniste pieczary;
Wierzch ma pod lodem,
Zielona spodem
I wieczne karmi pożary.
Płyń mi w potoku
Bachowy soku,
Ręką przelany życzliwą,
Gdy na cześć waszę
Pełniąc tę czaszę
Przygaszam ogień oliwą.

(Прелестныя созданія, образцы красоты, мои царицы мои богини! Вглядитесь въ меня пристальнѣе и не осудите игрока по наружности. Жестокое время убѣлило мою голову и взбороздило лицо, но въ замѣнъ оно удвоило жаръ сердечный. Такова сѣдая Гекла, покрывающая снѣгомъ свою огненную утробу, ея голова одѣта льдомъ, ея стопы зеленѣютъ, а въ сердцѣ вѣчное пламя. Струись живѣй, Вакхова влага, наливаемая доброжелательной рукой. Въ честь вашу, наполню я эту чашу; тушу масломъ огонь).

[6]) Odciebie światło ktore między nami błyska,
I ktore nam Słowakow przywroci nazwiska...
Umie przez twe staranie Polak już nie ciemny
Zgon przekładać szlachetny nad żywot nikczemny.
(Wiersz do St. Augusta powracającego z podroży Wołyńskiej 1787 r.)

[7]) ... tyś nas nauczył, wsławił i ozdabit
Jędzo! powstań i powiedz, co mogł a nie zrobił?..

[8]) ... synow Jgnacego ta sława przed światem
Tysiąc z nich męczennikow, żaden nie był katem.
Chcąc zupełnie wywrocić gmach świątyni stary
Trzeba było najpierwiej obalić filary:

Трембецкій прославляетъ высокоторжественнымъ тономъ доблести сѣверной Минервы и ея сподвижниковъ, соединяющихъ версальскую любезность съ отвагою Скиѳовъ. Онъ воспѣваетъ какъ кедръ дамасскій Потемкина и Румянцова, который повергъ двурогую луну подъ стопы своей повелительницы [9]). Совершенный космополитъ, чуждый всякаго патріотизма, Трембецкій восхваляетъ однако патріотическими стихами кузнеца, который пожертвовалъ нѣсколько походныхъ фургоновъ для войска Рѣчи посполитой [10]), но когда грянулъ громъ и на сеймѣ въ Гроднѣ, послѣ знаменитаго нѣмаго засѣданія, подписанъ былъ второй раздѣлъ Польши, у Трембецкаго достало смѣлости и духу утѣшать возвращавшихся изъ Гродна сеймовыхъ пословъ и хвалить ихъ за ихъ радѣніе о Рѣчи посполитой. Чтобы чѣмъ нибудь оправдать свою измѣну, Трембецкій изобрѣлъ цѣлую панславистическую теорію и на свѣжей могилѣ отечества онъ, космополитъ, поетъ о братскомъ единеніи единокровныхъ племенъ [11]). Въ одѣ къ князю Репнину по поводу замышляемой войны съ Турціею, Трембецкій говоритъ слѣдующее: «сросшись силами и укрѣпившись, мы разрушимъ рѣшетки гаремовъ и потанцуемъ въ Стамбулѣ съ обворожительными дочерьми солнца» [12]). Въ дополненіе въ характеристикѣ Трембецкаго скажемъ,

Tym końcem towarzystwu cios zadając silny,
Ten raz wierzę, Klemensie, żeś jest nieomylny!..
Z tych kolumn zgruchotanych zbierając kamyki
Możecie mieć, krolowie, piękne mozaiki.

(Сыновья Лойолы тѣмъ могутъ похвалиться, что орденъ далъ тысячи мучениковъ, но ни одного палача. Для подкопанія стариннаго храма, надобно было прежде всего сокрушить столбы; если съ этою цѣлію ты нанесъ ударъ ордену, о Климентъ, то я повѣрю, что ты непогрѣшимъ... Цари! собирая камешки изъ дребезговъ опрокинутыхъ колоннъ, вы можете составить прекрасныя мозаики).

[9]) Dorodni, oświeceni i pełni zaszczytow
Łączą grzeczność wersalską z walecznością Scytow...
Jako na damasceńskiej cedr wyniosły gorze
Srod jaworow obłoki wyższą głową porze,
Tak Potemkin szlachetny między całym dworem...
Był i Romańcow przy niej, ktory dumne rogi
Księżycowe podesłał pod Pani swej nogi.

(Do Ad. Naruszewicza z powodu podroży Kaniowskiej 1787 r.).

[10]) Wiersz do Jana Marjańskiego, kowala.

[11]) Z tegoż się co my szczepu, Rossijanin rodzi,
Rownej mu się odwagi uwłoczyć niegodzi.
Lecz kraj ludny, rozległy, a monarsze wierny,
Z trzech powodow przed naszym trzyma przod niemierny.

(Россіянинъ происходитъ изъ того же племени, изъ котораго и мы, мы не можемъ отказать ему въ равномъ нашему мужествѣ. Но страна эта, обширная, населенная и вѣрная своимъ монархамъ, имѣетъ передъ нами преимущество въ этихъ трехъ отношеніяхъ).

[12]) Wkrotce zrosłemi krzepcy siłami
Rozkuwszy kratne haremy,
Z uwolnionemi słońca corami,
Hasać w Stambule będziemy.

что эпиграммы его были грубыя и плоскія, а политическія пьесы смахивають на поэтическіе доносы. Одинъ изъ самыхъ гнусныхъ доносовъ такого рода носитъ заглавіе: *Joannes Sarcastmus*, и направленъ противъ подозрѣваемаго въ якобинствѣ публициста Войтѣха Турскаго, которому Трембецкій сулитъ розги въ исправительномъ заведеніи, послѣ чего совѣтуетъ помѣстить его въ домѣ сумасшедшихъ.

Конецъ Трембецкаго былъ плачевный. Когда короля не стало, Трембецкій нашелъ пріютъ при дворѣ одного изъ самыхъ высокомѣрныхъ вельможъ и самыхъ мрачныхъ политическихъ дѣятелей того времени, Феликса Потоцкаго, зачинщика тарговицкой конфедераціи. Потоцкій женатъ былъ на гречанкѣ Софіи, купленной за деньги на базарѣ невольницъ въ Стамбулѣ и славившейся на всю Европу своею красотою и своимъ развратотъ; въ честь ея Потоцкій устроилъ садъ, стоившій милліоны, близь Умани въ Подоліи, который назвалъ Софіевкой (Zofjowka). Услаждая досуги своего новаго господина, Трембецкій сочинилъ длинную и скучную описательную поэму во вкусѣ Делиля, изображающую всѣ прелести Софіевки. На старости лѣтъ Трембецкій видимо опустился, впалъ въ нищету; этотъ блестящій нѣкогда кавалеръ, который имѣлъ до 30 поединковъ большею частью изъ-за женщинъ, сталъ грязнымъ неряхою и чудакомъ-нелюдимомъ; онъ умеръ незамѣченный и всѣми забытый въ концѣ памятнаго 1812 года.

Успѣхъ Трембецкаго, при всемъ внутреннемъ ничтожествѣ его произведеній, есть явленіе патологическое, болѣзненный плодъ гніенія. Но общественный организмъ при всей своей порчѣ пускалъ изъ себя здоровые и сильные ростки, свидѣтельствующіе о присутствіи нравственныхъ силъ. Лучшимъ представителемъ 18-го вѣка въ Польшѣ—въ томъ, что этотъ вѣкъ имѣлъ благороднаго, гуманнаго, общечеловѣческаго—явился Игнатій Красицкій, епископъ вармійскій (род. на Руси Червонной въ Дубецкѣ, 1735,—†въ Берлинѣ, 1801). Красицкій былъ въ полномъ смыслѣ слова баловень счастія; съ дѣтства онъ былъ поставленъ въ самыя благопріятныя условія и по происхожденію, и по богатству, и по общественному положенію. Родъ его весьма старинный и знатный, и получилъ когда-то графское достоинство отъ германскихъ императоровъ. Родители его имѣли значительныя помѣстья въ землѣ саноцкой; не желая раздроблять этихъ помѣстій между своимъ многочисленнымъ потомствомъ, они обрекли съ раннихъ лѣтъ Игнатія и трехъ младшихъ братьевъ его въ духовное званіе, въ надеждѣ, что при ихъ связяхъ дѣти ихъ достигнутъ высшихъ мѣстъ въ церковной іерархіи. Нельзя сказать, чтобы наклонности живаго и впечатлительнаго мальчика соотвѣтствовали поприщу, къ которому его предназначали, на священство смотрѣлъ онъ какъ на карьеру. Онъ учился во Львовѣ, и шестнадцати лѣтъ отправился въ Римъ оканчивать свое воспитаніе. Здѣсь, въ столицѣ католицизма, умъ юноши-священника былъ болѣе всего пораженъ не блескомъ богослуженія и преданіями церкви, но ве-

ликими воспоминаніями античнаго Рима. Онъ самъ говоритъ о себѣ, что онъ съ благоговѣніемъ касался почвы, по которой ходили нѣкогда Катоны; любимымъ мѣстомъ прогулокъ его было *forum romanum*.

Воображеніе рисовало ему на этомъ мѣстѣ ростральную трибуну, ему слышались рѣчи Гракховъ, Гортензіевъ, Цицероновъ; монахи бернардинцы, обладатели остатковъ храма Юпитера олимпійскаго, казались ему древними авгурами; даже гусей на скалѣ тарпейской считалъ онъ потомками тѣхъ, которые спасли Римъ отъ Галловъ. Кто видѣлъ Италію и вспоминалъ, чѣмъ она была когда-то, тому по словамъ Красицкаго все потомъ будетъ казаться мелкимъ. Красицкій совѣтовалъ, чтобы граждане вольныхъ народовъ въ зрѣлыхъ лѣтахъ своихъ ѣздили на поклоненіе въ вѣчный городъ съ тѣмъ, чтобы вдохновляться остатками римскаго прошедшаго [13]). По возвращеніи изъ Рима, Красицкій сталъ быстро подвигаться по ступенямъ церковной іерархіи, прославился проповѣдями и сдѣлался весьма извѣстенъ, какъ остроумный чрезвычайно образованный человѣкъ и милый собесѣдникъ. Въ Варшавѣ Красицкій подружился съ молодымъ стольникомъ литовскимъ, которому дяди его Чарторыжскіе прочили польскій престолъ. Вскорѣ потомъ, въ 1765, Красицкому пришлось предсѣдательствовать въ качествѣ депутата отъ капитула львовскаго, котораго онъ былъ членомъ, въ одномъ изъ двухъ верховныхъ трибуналовъ коронныхъ — малопольскомъ. На этомъ важномъ посту онъ умѣлъ изучить всю изнанку правосудія, всѣ ябеды и крючкотворства тогдашней судебной практики. Дружба короля пригодилась ему въ очень непродолжительномъ времени. Въ этой части королевской Пруссіи, которая называлась Варміею (Ermeland), доживалъ послѣдніе дни свои старый епископъ Грабовскій. Слѣдовало озаботиться пріисканіемъ коадъютора (викарія), который бы по его смерти занялъ его мѣсто. Отъ коадъютора-епископа требовалось, чтобы онъ былъ обыватель прусскій, членъ капитула, чтобы Грабовскій предложилъ его капитулу и чтобы капитулъ его выбралъ. Друзья помогли Красицкому удовлетворить двумъ первымъ условіямъ, то есть получить прусскій индигенатъ и склонить одного изъ канониковъ капитула, чтобы онъ уступилъ Красицкому свое мѣсто. Труднѣе было уломать старика Грабовскаго, человѣка старомоднаго, которому Красицкій съ его великосвѣтскими манерами и умомъ долженъ былъ показаться лицомъ неподходящимъ къ епископскому сану. Красицкій въ самомъ дѣлѣ болѣе занимался стихами нежели требникомъ, любилъ дамское общество, въ памфлетахъ того времени носилъ прозвище *Умизгальскаго* (волокиты) и даже ходила по рукамъ каррикатура, изображавшая Красицкаго служащаго обѣдню и окруженнаго дамами въ фижмахъ, исправляющими обязанности церковнаго причта. Просьбы короля были однако такъ убѣдительны, что старикъ не устоялъ

[13]) Pisma rożne w t. VII Dzieł Krasickiego, въ изданіи I. Н. Бобровича, 1860 г.

и согласился. Предложенный имъ Красицкій избранъ въ 1766 г. коадъюторомъ вармійскаго епископа. Въ томъ же 1766 г. умеръ Грабовскій и тридцатилѣтній Красицкій сдѣлался его преемникомъ. Вармійскій епископъ считался первымъ прусскимъ сенаторомъ; со временъ, когда Вармія принадлежала ордену Крестоносцеевъ, онъ носилъ титулъ князя священной римской имперіи, имѣлъ обширную судейскую власть, великолѣпный замокъ въ Гейльсбергѣ, а по доходности вармійская епископская столица была третья,—она уступала въ этомъ отношеніи только архіепископству гнѣзненскому и епископству краковскому. Молодой князь-епископъ поселился въ Варшавѣ и предался со страстью любимому своему занятію — литературѣ. По своему образованію и направленію онъ былъ вполнѣ человѣкъ реформы, ревностный приверженецъ той философіи 18-го столѣтія, которая, затѣявъ войну на смерть со средними вѣками и вѣруя въ силу разума и въ свободу человѣка, мечтала о радикальномъ преобразованіи всего человѣчества, безъ крови и насилія, посредствомъ одного только знанія и успѣховъ просвѣщенія. Реформа нуждалась въ такихъ представителяхъ какъ Красицкій; его басни, сатиры, посланія и повѣсти расходились по рукамъ и читались публикою съ жадностью. Время не благопріятствовало литературнымъ трудамъ, страна была взволнована смутами, извѣстными подъ именемъ конфедераціи барской. Они миновались съ первымъ раздѣломъ Польши (1772), при которомъ Вармія отошла къ Пруссіи и Красицкій отдѣленъ былъ отъ Польши граничнымъ кордономъ. Изъ вліятельнаго сенатора свободной республики епископъ вармійскій превратился въ подданнаго самодержавной монархіи; въ добавокъ король Фридрихъ II обрѣзалъ его доходы, забравъ въ казну духовныя его помѣстья. Политическая дѣятельность была для Красицкаго закрыта, онъ не могъ дѣйствовать ни какъ ораторъ, ни какъ законодатель, ни какъ министръ; тѣмъ съ большемъ рвеніемъ посвятилъ онъ всѣ свои умственныя силы литературѣ. На этомъ поприщѣ онъ обнаружилъ изумительную дѣятельность, и работалъ скорѣе и больше нежели литераторы по званію и ремеслу. По разнообразію своего образованія онъ былъ живая ходячая энциклопедія всевозможныхъ знаній и самый сильный популяризаторъ прогрессивныхъ идей 18-го вѣка. Онъ содѣйствовалъ успѣхамъ этихъ идей больше, чѣмъ всѣ остальные писатели современные ему вмѣстѣ взятые. Обыкновеннымъ его мѣстопребываніемъ былъ Гейльсбергъ, иногда посѣщалъ онъ Берлинъ и Санъ-Суси, куда его звалъ Фридрихъ Великій, который какъ извѣстно любилъ собирать вокругъ себя кружокъ литераторовъ и философовъ и бесѣдовать съ ними за-просто безъ церемоній. Остроумный епископъ и реформаторъ-король имѣли много общаго во взглядахъ, въ наклонностяхъ и стремленіяхъ. Рѣже видала Красицкаго Варшава; однажды только въ 1782 собрался онъ на болѣе продолжительное время въ путешествіе по Польшѣ и Руси Червонной, превратившейся между тѣмъ подъ владычествомъ Австріи въ королевство Галицію и Лодомерію. Ко времени великаго четырехлѣтняго

сейма Красицкій постарѣлъ, производительность его уменьшилась, оригинальныхъ сочиненій онъ сталъ писать мало и то больше прозою, и занимался большею частью переводами и компиляціями. Когда польское государство рушилось окончательно, Красицкій перенесъ этотъ ударъ спокойнѣе чѣмъ многіе другіе; его умъ проницательный, сатирическій, критически относившійся къ вещамъ и останавливавшійся прежде всего на изнанкѣ изучаемыхъ предметовъ, предвидѣлъ издали и разсчиталъ это паденіе. Красицкій имѣлъ возможность свыкнуться съ мыслью о роковомъ событіи и примириться съ его неизбѣжностью. Вслѣдствіе послѣднихъ раздѣловъ Польши не только Познань, но и половина теперешняго царства Польскаго включены въ составъ Пруссіи. Король прусскій, желая очистить Вармію для какого нибудь нѣмца, назначилъ Красицкаго въ 1795 г. архіепископомъ гнѣзненскимъ, гнѣзненскій же престолъ, какъ извѣстно, былъ первымъ въ польской церкви, да и послѣ раздѣловъ за нимъ осталась часть прежняго блеска и значенія. Въ осиротѣлой и опустѣвшей Варшавѣ, гдѣ всего чаще жилъ Красицкій, собиралъ онъ подъ свое крыло уцѣлѣвшихъ отъ великаго кораблекрушенія писателей, и старческими руками своими работалъ надъ поддержаніемъ свѣточа народной литературы, въ которой онъ видѣлъ залогъ будущаго возрожденія націи. При его содѣйствіи возникло незадолго до его смерти Варшавское общество любителей наукъ (Towarzystwo przyjacioł nauk), въ которомъ и сосредоточилась вся почти умственная дѣятельность польскаго народа въ первой четверти 19-го столѣтія.

Приступая къ разбору сочиненій Красицкаго, мы коснемся мимоходомъ его переводовъ и подражаній и остановимся дольше на произведеніяхъ его оригинальныхъ. Красицкій былъ хорошо знакомъ съ классическою древностью; онъ перевелъ всего Плутарха и всего Лукіана самосатскаго. Лучшіе люди 18-го вѣка вдохновлялись республиканскими доблестями великихъ мужей Плутарха, а между злымъ насмѣшникомъ Лукіаномъ и Красицкимъ было весьма много общаго. Въ подражаніе Плутарху и Лукіану Красицкій написалъ много біографій великихъ мужей новѣйшаго времени и разговоровъ въ царствѣ мертвыхъ. Чрезвычайную услугу оказалъ Красицкій изданіемъ обширной энциклопедіи всѣхъ знаній въ алфавитномъ порядкѣ подъ заглавіемъ *Zbiór wiadomosci* (1781—1782, 2 тома); онъ же предпринялъ первый въ своемъ родѣ въ Польшѣ опытъ исторіи всеобщей поэтической литературы европейской подъ заглавіемъ: «О стихотворствѣ и стихотворцахъ» (книга эта издана по его смерти). — Задача была громадная, книга поражаетъ не столько объемомъ, сколько обширною начитанностію Красицкаго, который долженъ былъ для составленія этой хрестоматіи познакомиться съ цѣлымъ міромъ поэтовъ отъ Орфея и Пильпая до Вольтера и Геснера, — изъ каждаго поэта послѣ краткой его характеристики надлежало привести въ переводахъ отрывки. Въ своихъ сужденіяхъ о поэтическомъ творчествѣ Красицкій—поклонникъ Аристотеля, и не стоитъ выше Буало; поэзію онъ считаетъ пріятнымъ вымысломъ, въ драмѣ тре-

буетъ стараго соблюденія трехъ единствъ; отъ эпоса требуетъ, чтобы герой былъ одинъ и притомъ, чтобы этотъ герой былъ во всѣхъ отношеніяхъ достойный уваженія (Мильтонъ, по мнѣнію Красицкаго, поступилъ неприлично, избравъ главнымъ своимъ героемъ Сатану). О Шекспирѣ Красицкій судитъ по вольтеровски: «въ этомъ писателѣ недостатокъ науки выкупался величіемъ ума; его произведенія дышатъ какою-то дикостью, посреди грубѣйшихъ ошибокъ у него прорываются порою такіе проблески, которые ставятъ его превыше мастеровъ». О народности въ поэзіи Красицкій не имѣлъ ни малѣйшаго понятія: индивидуальности всякаго народа, всякаго писателя и всякаго вѣка стушевываются и стираются въ его гладкомъ переводѣ, который болѣе походитъ на парафразу и въ которомъ о точной передачѣ оригинала переводчикъ не заботится нисколько. Отсутствіе исторической критики и элемента народности въ поэзіи имѣли то послѣдствіе, что всѣ эпическіе опыты Красицкаго слабы, а нѣкоторые ниже всякой критики. Ему захотѣлось создать настоящую національную героическую поэму въ высокомъ родѣ, и онъ выбралъ тотъ самый эпизодъ изъ польской исторіи, который вдохновилъ Вацлава Потоцкаго. Не зная даже о существованіи «Хотинской войны» Потоцкаго, онъ написалъ вторую «Хотинскую войну»,—въ которой и форма стиха (октава), и весь механизмъ заимствованы у Тасса, съ примѣсью аллегорическихъ олицетвореній, каковы Слава, Вѣра и т. п.; въ которой являются и пустынники, и чернокнижники, и ангелы, и черти, но нѣтъ природы края, служившаго мѣстомъ событій, который столь вѣрно изображенъ у Потоцкаго, нѣтъ живыхъ лицъ, а только куклы, нѣтъ наконецъ ни малѣйшаго уваженія къ исторической истинѣ,—такъ что напримѣръ герой поэмы, сѣдой, шестидесятилѣтній Ходкевичъ, превращенъ въ пылающаго огнемъ любви новобрачнаго. Машинная искусственность и ложь основы не окупаются, какъ въ Генріадѣ Вольтера, нравственнымъ содержаніемъ и направленіемъ поэмы. Это содержаніе самое пошлое; нѣтъ философской идеи, которая была бы положена въ основаніе эпопеи. Когда въ кульминаціонномъ ея пунктѣ духъ Владислава Ягеллона, погибшаго подъ Варной, увлекаетъ во снѣ Ходкевича на небо, на то пустынное, холодное небо 18-го столѣтія безъ образовъ и лицъ, населенное одними только планетами, солнцами и кометами, то весь смыслъ рѣчей путеводителя-духа заключается только въ томъ, что все земное—суета суетъ и что не слѣдуетъ къ нему прилѣпляться. Гораздо лучше героическаго удался Красицкому эпосъ шуточный, происходящій въ мірѣ животныхъ или заимствованный изъ быта монастырскаго. И по складу своего ума и по духу времени, занятаго разрушеніемъ всякаго рода кумировъ, Красицкій былъ сатирикъ и только тамъ чувствовалъ себя на просторѣ, гдѣ могла розыграться его наивная веселость и тонкая иронія, опирающаяся на необыкновенно мѣткую наблюдательность. Къ разряду такихъ шутливыхъ эпическихъ произведеній принадлежатъ три поэмы: *Мышеисъ* (1775), *Монахомахія* или война монаховъ (1775) и *Антимонахомахія* (1780).

У древняго польскаго лѣтописца Кадлубка сохранилось преданіе о сказочномъ царѣ польскомъ Попелѣ, котораго заѣли мыши на острову озера Гопла, не вдалекѣ отъ доисторической столицы польской Крушвицы. Это преданіе, общее Польшѣ и Германіи, которое новѣйшая историческая критика (Szajnocha, Lechicki początek Polski) считаетъ отголоскомъ норманскихъ набѣговъ на племена славянскія въ дали временъ языческихъ, Красицкій взялъ за канву для поэтическаго разсказа, въ которомъ онъ описалъ гоненіе, воздвигнутое на мышей царемъ Попелемъ, взявшимъ себѣ въ любимцы кота Мручислава, бурное мышиное вѣче, кровавую битву котовъ съ собравшимися со всѣхъ сторонъ свѣта мышиными полчищами, наконецъ отчаяніе и плачевную кончину царя Попеля, который съ горя напивается пьянъ. Въ мышиномъ вѣчѣ, въ распряхъ между породами мышей и крысъ осмѣяны польскій способъ сеймованія и антагонизмъ между сословіями сенаторскимъ и шляхетскимъ. Въ засѣданіи царской думы представлены въ каррикатурахъ тогдашніе политическіе дѣятели: «Идетъ по очереди дальнѣйшее голосованіе, подымаются споры, не лишенные основанія, подскарбій порицаетъ мнѣніе канцлера, канцлеръ винитъ маршала, гетманы совѣтуютъ спѣшную войну, суматоха длится часа четыре; иной присутствующій одобряетъ или порицаетъ что другіе говорятъ, чтобы только не сидѣть по пустому. Приходится собирать разрозненные голоса, чтобы прійти къ заключеніямъ. Мнѣнія столь же раздѣлены какъ и умы. Оказывается, что болтовня была напрасная; чтобы дойти до желаемаго результата рѣшили слѣдующее: для сохраненія авторитета престола пусть государь дѣлаетъ все, что ему угодно» [14]). Другая шуточная поэма Красицкаго, *Монахомахія*, имѣвшая громадный успѣхъ, есть подражаніе «Налою» Буало и написана по вызову Фридриха Великаго, выразившаго желаніе, чтобы Красицкій ознаменовалъ свое пребываніе въ Санъ-Суси какимъ нибудь поэтическимъ произведеніемъ. Въ угоду королю-esprit fort Красицкій учинилъ нѣчто весьма скандальное по понятіямъ тогдашняго времени: онъ поднялъ на смѣхъ монастыри, умственную лѣнь монаховъ ихъ нескон-

[14]) Jdzie kolejno dalsze wotowanie;
Rożnią się w zdaniach i nie bez przyczyny.
Podskarbi gani kanclerzowe zdanie,
Kanclerz w marszałku wynajduje winy,
Hetmani radzą spieszne wojowanie,
Trwa wrzawa wiecej jak cztery godziny,
Tamten ażeby daremnie nie siedział.
Chwali lub gani, co drugi powiedział.

Przychodzi zbierać wota rozstrzelane
Ażeby wiedzieć co skonkludowali.
Na wzór umysłow zdania pomieszane:
Pokazało się iż darmo gadali:
Żeby wię wrocić czasy pożądane
Wtumulcie na tém niby to przestali:
Ażeby tronu niespełzła ozdoba
Nech pan to robi, co mu się podoba.

чаемыя попойки [15]), ихъ ученые диспуты, ихъ привязанность къ Аристотелю, уродливую напыщенность ихъ торжественныхъ рѣчей. «Въ одномъ изъ тѣхъ мѣстечекъ, которыхъ такъ много въ Польшѣ, гдѣ гнѣздятся только мужики и евреи, гдѣ гродъ и земство помѣщаются въ развалинахъ стараго замка, гдѣ на девять монастырей приходится три корчмы да немного домиковъ» [16]), возникаетъ соперничество между орденами доминиканцевъ и кармелитовъ, доходящее до вызова на ученый диспутъ. Этотъ диспутъ оканчивается рукопашнымъ боемъ спорщиковъ; судьи-рѣшители боя, благочинный и мѣстный адвокатъ, вносятъ торжественно на мѣсто битвы наполненную виномъ большую монастырскую чашу, *vitrum gloriosum*. Одинъ видъ этого почтеннаго предмета усмиряетъ бойцовъ и водворяетъ мигомъ блаженное согласіе. Трунить надъ монастырями было не новость въ 18-мъ столѣтіи, но этотъ неожиданный ударъ шелъ отъ руки одного изъ князей церкви и сильно потрясъ старую Польшу, въ которую монашескіе ордена вростали множествомъ корней. *Антимонахомахія* имѣла цѣлью успокоить раздраженныхъ и помириться съ ними, представивъ «Монахомахію» въ видѣ невинной шутки. Въ полнѣйшемъ блескѣ сатирическій талантъ Красицкаго выражается въ его басняхъ, посланіяхъ, особенно въ сатирахъ, которыя исполнены тонкой скептической ироніи въ отношеніи къ тѣмъ вѣкамъ варварства и суевѣрія, когда «скабины съ бурмистромъ жгли вѣдьмъ на площади, между тѣмъ какъ помощникъ старосты — чтобы вполнѣ удостовѣриться въ ихъ виновности — опускалъ ихъ на веревкѣ въ прудъ; когда старухи снимали съ дитяти зароки, когда чортъ плясалъ нѣмчикомъ на развалившейся башнѣ, когда свирѣпствовалъ колтунъ вслѣдствіе чарованій и болтали по французски бѣс-

[15]) См. напр. апострофу къ королю Понятовскому въ 3-ей пѣсни:

Zgóry zły przykład idzie w każdej stronie,
Zgory naszego nieszczęścia przyczyna,
O ty, na polskim ktory siedzisz tronie,
Wzgardziłeś miodem i nielubisz wina;
Cierpisz pijaństwo że w ostatnim zgonie,
Z ciebie gust ksiażek a piwnic ruina,
Tyś narod z kuflow, szklanic, beczek złupił,
Bodajeś w życiu nigdy się nie upił.

(Сверху идетъ дурной примѣръ, у вершины причина нашихъ бѣдствій. О ты, возсѣвшій на польскомъ престолѣ, брезгающій медомъ и не жалующій вина, ты допускаешь падать пьянству, отъ тебя идетъ страсть къ книгамъ и гибель погребамъ. Ты лишилъ народъ кружекъ, чашъ и бочекъ, да не опохмѣлишься ты ни разу въ своей жизни).

[16]) W mieście ktorego nazwiska niepowiem
Nic to albowiem dorzeczy nieprzyda;
Wmieście, ponieważ zbior pustek tak zowiem,
Wgodnem siedlisku i chłopa i żyda;
W mieście grod ziemstwo trzymało albowiem,
Stare zamczysko, pustoty ohyda;
Były trzy karczmy, bram cztery ułomki
Klasztorów dziewięć i gdzie niegdzie domki.

нующіяся бабы или, чихая на папертяхъ церквей по святымъ мѣстамъ, наводили неисповѣдимый страхъ на зрителей» [17]). Въ позднѣйшихъ своихъ произведеніяхъ Красицкій, тяготясь октавою и правилами піитики, избралъ болѣе свободную форму новеллы и романа съ тенденціей. Таковы его *Исторія*, *Приключенія Николая Досвядчиньскаго* (1776) и *Панъ Подстолій*. Его «Исторія» есть злая насмѣшка надъ исторіографами, родъ мемуаровъ, написанныхъ неумирающимъ человѣкомъ, который молодѣетъ и возрождается при помощи чудеснаго бальзама. Этотъ безсмертный человѣкъ переживаетъ всѣ важнѣйшія историческія эпохи, сражается съ Александромъ Македонскимъ и съ Аннибаломъ, философствуетъ въ Аѳинахъ, дружится съ Помпоніемъ Аттикомъ, живетъ потомъ при дворѣ Оттона В. и разсказываетъ тоже что историки, но не такъ какъ они; событія у него выворочены такъ сказать на изнанку. «Приключенія Досвядчиньскаго» изображаютъ въ живомъ, остроумномъ разсказѣ, модное воспитаніе, получаемое отъ плутовъ французовъ, выдающихъ себя за маркизовъ, роскошь и карточную игру, страсть къ путешествіямъ за границу, крючкотворство адвокатовъ, судейскую продажность и политическія партіи. Въ концѣ концовъ Красицкій, который такъ силенъ въ сатирѣ, снимаетъ въ «Досвядчиньскомъ» покрывало съ своихъ собственныхъ идеаловъ и рисуетъ свою утопію. Герой, испытавъ кораблекрушеніе, выброшенъ на островъ Нипу, гдѣ дикари учатъ его уму-разуму. Они не знаютъ желѣза, а слѣдовательно и войнъ, ни серебра, ни золота, не ѣдятъ мяса, не читаютъ книгъ, презираютъ всякое краснорѣчіе, занимаются земледѣліемъ, не имѣютъ ни частной поземельной собственности, ни политическихъ учрежденій кромѣ родительской власти, ни судовъ кромѣ третейскаго, наконецъ исповѣдуютъ одну только естественную религію, то есть сухой разсудочный теизмъ въ духѣ «profession de foi савойскаго викарія». Утопія Красицкаго есть общество, состоящее изъ однихъ философовъ-раціоналистовъ 18-го вѣка, перенесенныхъ въ то небывалое состояніе, которое будто бы предшествовало общественному договору и исторіи, пустая фантазія безъ идеи, скучное по несбыточности своей построеніе, состоящее изъ однихъ только отрицаній всего существующаго порядка. Въ томъ же поучительномъ тонѣ написанъ другой романъ Красицкаго «Панъ Подстолій», въ которомъ Красицкій изобразилъ идеальный

[17]) . . . Ująwszy gromnicę
Palił ławnik z burmistrzem w rynku czarownicę,
Chcąc jednak pierwej dociec zupełnej pewności
Pławił ją na powrozie wstawie podstarości.
Zdejmowały uroki stare baby dziecku,
Skakał na pustej baszcie djabeł po niemiecku;
Krzewiły się kołtuny czarami nadane,
Gadały po francuzku baby opętane,
A czkając po krużgankach na miejscach cudownych
Nabawiały patrzących strachów niewymównych.

(Satyra 2 części 2: Pochwała wieku).

типъ польскаго гражданина, какимъ онъ долженъ быть по его понятіямъ. Романъ этотъ начатъ въ 1778 г.; пока Красицкій его кончилъ, польское государство, панское, шляхетское, успѣло развалиться; подъ обломками остался хранителемъ народныхъ преданій польскій помѣщикъ, ограниченный тѣснымъ кругомъ своихъ отношеній къ другимъ, точно такимъ же какъ онъ, единицамъ и къ крестьянскому народонаселенію. Красицкій, съ философскимъ спокойствіемъ помирившійся съ паденіемъ государства, изображаетъ въ Панѣ Подстоліемъ образцоваго помѣщика въ его домашнемъ быту и хозяйствѣ, въ его занятіяхъ и увеселеніяхъ, и влагаетъ въ уста его наставленія, исполненныя житейской мудрости.

Элегантная сатира Красицкаго самаго незлобнаго характера; она одѣта въ кружева, носитъ пудру и манжеты и невиннымъ образомъ подсмѣивается, выставляя на показъ общіе пороки и недостатки переживаемаго вѣка. Совершенную противоположность съ Красицкимъ составляетъ другой стихотворецъ, также епископъ, Адамъ Нарушевичъ (1733 — 1796), который смотритъ угрюмымъ, желчнымъ моралистомъ среди шумной оргіи временъ Понятовскаго и произноситъ «memento mori», самъ не подозрѣвая того, какъ скоро оправдаются на дѣлѣ его мрачныя предчувствія. Красицкій былъ явленіемъ совершенно новымъ въ польской литературѣ, объясняемымъ только посредствомъ вліянія французской культуры и литературы. Нарушевичъ стоитъ на народной почвѣ, и въ польской литературѣ легко указать на его предшественниковъ, съ которыми онъ имѣетъ весьма много общаго. Такимъ образомъ если не по характеру, который не можетъ назваться вполнѣ безукоризненнымъ, то по крайней мѣрѣ по складу ума, Нарушевичъ можетъ считаться преемникомъ Кленовича и продолжателемъ начатаго имъ дѣла. Нарушевичъ знаменитъ и какъ стихотворецъ и какъ историкъ; мы начнемъ съ оцѣнки его стихотворной дѣятельности. Родомъ изъ Пинска, потомокъ знаменитой, но обѣднѣвшей литовской фамиліи, Нарушевичъ съ раннихъ лѣтъ вступилъ въ орденъ іезуитовъ, ѣздилъ для усовершенствованія въ наукахъ за границу, и занималъ каѳедру піитики, первоначально въ виленской академіи, потомъ въ collegium nobilium на Старомъ мѣстѣ въ Варшавѣ. Іезуитское воспитаніе пустило глубокіе корни, отъ которыхъ Нарушевичъ не могъ во всю жизнь свою освободиться. Отъ іезуитовъ перенялъ онъ свой напыщенный и шумно-торжественный слогъ, которымъ писаны всѣ его лирическія произведенія, тяжелыя и безвкусныя [18]). Въ качествѣ профессора піитики, преподающаго правила сти-

[18]) Въ особенности поражаютъ своею вычурностью сочетанія прилагательныхъ: miodopłynne słowa, wodogromna Tetyda, jędze płaczorode, losy ludotłumne, pszczoła złotogwara, tęsknosmutny widok, sowy smutnowrogie i t. d. Въ одѣ къ солнцу Нарушевичъ дѣлаетъ слѣдующее обращеніе къ дневному свѣтилу:

O ty prawicy tworczej najdroższy sygnecie!

(О ты! дражайшее гербовное кольцо на десницѣ Создателя).

хосложенія и практически обучающаго воспитанниковъ сочиненію стиховъ на заданныя темы, Нарушевичъ и самъ предавался піитическимъ упражненьямъ, которыя только по языку своему, очищенному отъ макаронизмовъ, стоятъ выше панегириковъ 17-го столѣтія, но по содержанію могутъ смѣло съ ними состязаться. Нарушевичъ плачетъ надъ гробомъ Августа III и радуется восшествію на престолъ стольника литовскаго; прославляетъ своихъ покровителей Чарторыжскихъ, ихъ дачу Повонзки, даже сани жены Адама Чарторыжскаго, генерала земель подольскихъ, и считаетъ обязанностью слагать гимны, оды и идилліи при бракосочетаніяхъ разныхъ магнатовъ и другихъ тому подобныхъ оказіяхъ. Его поэтическая плодовитость сблизила его съ королемъ, которому Нарушевичъ сталѣ съ тѣхъ поръ посвящать безъ мѣры и счета свои лирическіе восторги по случаю всякаго посѣщенія школъ королемъ, всякихъ имянинъ, всякой годовщины коронаціи или по случаю полученія отъ короля медали, часовъ или ордена, или при поднесеніи королю чернильницы или перевода изъ Горація. Иногда муза его становилась даже попрошайкою; когда орденъ іезуитовъ былъ уничтоженъ папою, и сорокалѣтній поэтъ остался безъ крова и хлѣба, онъ написалъ риѳмованное прошеніе, въ которомъ, перечисляя свои заслуги, выражалъ надежду, что не будетъ оставленъ милостью монарха.

Однако въ этомъ напыщенномъ панегиристѣ жила душа великаго и доблестнаго гражданина, и ошибся бы сильно тотъ, кто, основываясь на его лирическихъ произведеніяхъ, поставилъ бы его на одномъ ряду напримѣръ съ лизоблюдомъ Трембецкимъ. Конечно Нарушевичъ платилъ обильную дань своему вѣку, копошился вмѣстѣ съ другими въ тинѣ пошлости, и брызги этой грязи пристали къ поламъ его рясы, но въ оправданіе его слѣдуетъ замѣтить, что тогдашній вѣкъ не былъ такъ щепетиленъ какъ нынѣшній на счетъ поэзіи, не относился къ ней серьезно, не считалъ ее служительницею истины, не простиралъ уваженія къ ней до культа, а смотрѣлъ на нее просто какъ на пріятное развлеченіе и благородную забаву.

Приведемъ изъ оды на мраморную залу въ замкѣ варшавскомъ строфу о Янѣ Собѣскомъ, которая долго слыла образцовою въ своемъ родѣ:

Już widzę jako wdziawszy hart niezłomnej zbroje
Zmiata z karków niewiernych odęte zawoje,
A posoką i prochem ozdobnym okryty,
Tratuje zdarte członki końskiemi kopyty.
Na wzrok jego ogromny, na blask płytkiej stali
Kupami się od Wiednia zbita gawiedź wali
Stoi zdrętwiały Dunaj, że na bystrym grzbiecie
Most mu z trupów usłany pławne barki gniecie.

(И вижу я—какъ, надѣвъ на себя закалъ несокрушимыхъ латъ, сметаетъ онъ съ затылковъ одутловатые тюрбаны; — и какъ, покрытый кровью и почетнымъ прахомъ, топчетъ онъ копытомъ своего коня разорванные члены. — Предъ взоромъ его громаднымъ (?), предъ блескомъ гибкаго булата, бѣжитъ толпами отъ Вѣны перемѣшанная чернь, самъ Дунай остановился, остолбенѣвъ отъ того, что на спинѣ его быстротечной сталъ мостъ изъ труповъ, который давитъ его судоходныя плечи).

Прибавимъ къ тому, что перомъ Нарушевича руководила не одна только лесть и даже не одна только благодарность къ королю, который отличилъ его, обласкалъ, сдѣлалъ его своимъ приближеннымъ другомъ и совѣтникомъ, который наконецъ внушилъ ему мысль и далъ средства совершить громадный трудъ, увѣковѣчившій его имя,—первую критическую исторію Польши. Нарушевичъ былъ просто очарованъ королемъ, ослѣпленъ его умомъ и вкусомъ, его любовью къ прекрасному, его обширными планами относительно обновленія и возрожденія Польши. Это возрожденіе представлялось Нарушевичу въ иномъ видѣ, нежели Красицкому; Красицкій изъ неурядицы настоящаго спасался въ туманную, пустую глубь философскихъ абстракцій. Нарушевичъ въ сравненіи съ Красицкимъ былъ человѣкъ положительный, до мозга костей Полякъ и притомъ Полякъ стараго покроя. Его уму представлялась блестящая картина славнаго прошедшаго Польши, передъ которой современники были просто карликами. Мысль его стремилась въ даль, ко временамъ Пястовъ, къ тому періоду польской исторіи, когда нравы были демократичнѣе, когда не раздѣлялись рѣзко сословія и когда подъ мощною десницею самодержавныхъ еще королей слагалось польское государство. Демократъ въ душѣ, и оттого монархистъ, Нарушевичъ понималъ, что настала пора покончить съ спѣсью и исключительностью шляхетскою, а реформу понималъ онъ какъ возвратъ къ старому, къ давноминувшему; однимъ словомъ, еслибы можно было употребить сравненіе заимствованное изъ другаго общества и изъ настоящаго времени, то Нарушевича слѣдовало бы назвать первымъ представителемъ того направленія, которое носитъ въ Россіи названіе славянофильства. Въ этомъ отношеніи онъ—предшественникъ Лелевеля; онъ прокладываетъ путь цѣлому поколѣнію польскихъ историковъ и поэтовъ 19-го вѣка. «Правленіе въ Польшѣ всегда было дурное,—восклицаетъ онъ,—но люди были лучше. Отмѣченные клеймомъ стародавней добродѣтели, они имѣли прекраснѣйшія души при внѣшней простотѣ. Они были ближе къ тѣмъ счастливымъ временамъ, когда умы связывались сильнѣе узломъ славы и чести. Измѣнчивый міръ совершаетъ круговой оборотъ: послѣ золотаго вѣка наступилъ вѣкъ изъ худшаго металла; потомъ серебро смѣнено было мѣдью; Богъ вѣсть, можетъ быть сыновья наши будутъ глиняные послѣ желѣзныхъ родителей. Черты лѣтъ молодости стушевались,—ржавчина летаргическаго сна въѣлась въ оружіе. Чрезмѣрная свобода, въ видахъ частнаго интереса, угнетаетъ слабѣйшихъ, грязью закидываетъ ровныхъ, попираетъ авторитеты. Нѣтъ наказаній за злодѣянія, развѣ гдѣ нибудь въ статутѣ; насиліе куетъ законы, которые безнаказанно нарушаетъ злоба; продажное правосудіе склоняетъ вѣсы въ ту сторону, на которой тяжеловѣсное золото или грозный булатъ. О вы, мощнымъ скипетромъ управлявшіе нѣкогда краемъ, вы почиваете нынѣ желѣзнымъ сномъ въ глухой обители смерти; ваши бренные остатки лежатъ на горѣ Вавель, платя должную дань смертной природѣ человѣческой. Приподнимитесь на минуту изъ праха, мощный Вла-

диславъ, воинственный Стефанъ!—посмотрите во что обращается стародавняя земля».... [19]). При подобномъ взглядѣ на прошедшее Польши, понятно, что къ настоящему ея Нарушевичъ долженъ былъ относиться какъ строгій судья и нещадный сатирикъ; сердце его переполняется негодованіемъ, и въ гнѣвѣ льются горькія рѣчи. Въ сатирахъ Нарушевича сказываются проповѣдникъ и наставникъ; онъ говоритъ правду просто, безъ прикрасъ, такъ что весь балластъ миѳологіи, весь кортежъ классическихъ воспоминаній оказывается ненужнымъ. Подобно Кленовичу Нарушевичъ возмущается до глубины души несправедливостью; онъ прежде всего задается извѣстнымъ нравственнымъ вопросомъ, начинаетъ работать мыслью подбирая доводы, желчь его разливается и онъ пишетъ картины, начерченныя рѣзко и грубо, но трепещущія жизнью, поражающія сильнымъ колоритомъ. Міръ весь вертится кругомъ сатирика, вихремъ несутся пляшущія пары, идетъ бѣшеный маскарадъ среди великаго поста: «нищета прикрывается парчею, дураки понавѣшали бѣлыя философскія бороды, женщины скачутъ верхомъ, а всякій мужчина глядитъ бабой: сердце пасъ, выдержки мало, безсильны мысль и руки. Старики превратились въ дикихъ Панталоновъ, молокососы — въ арлекиновъ съ лисьими хвостами; Вакховы ягоды рдѣютъ на щекахъ у священниковъ, носы стали точно гроздья, животы точно колоды. Легкомысліе, спѣсь и корысть затѣяли непрерывный балъ. Полякъ скачетъ на одной ногѣ подъ музыку иностранцевъ. Не надо искать въ гомеровыхъ сказкахъ Цирцеи, — которая людей превращала въ безсловесныхъ,—хочешь ли видѣть подборъ всевозможныхъ животныхъ? Пройдись по ратушамъ, по благочестивымъ мо-

[19]) Изъ «Ody na obrazy Polakow starożytnych»:

To pewna że rząd zawsze był zły, lepsi ludzie.
 Wytłoczeni na stęplu starożytnej cnoty
Piękniejszą mieli duszę, pod barwą prostoty...
 Blizsi wiekow fortunnych, gdy jeszcze umysły
I sławy i honoru trzymał węzeł ścisły...
 Płochy zawsze w obrotach świat koleją chodził,
Po złotym z podlejszego kruszcu wiek się rodził:
Srebro miedzi plac dało: kto wie, nasze syny
Po żelaznych rodzicach czy nie będą z gliny?
 Już się w nas cecha pierwszych lat do szczętu starła,
Rdza gnuśnego letargu męzką broń pożarła;
Wolność z kluby wyparta, pod hasłem prywaty.
Ciśnie słabszych, lży rownych, depcze majestaty.
 Nie masz kaźni, chyba gdzie w statucie, na zbrodnie;
Przemoga kuje prawa; złość je rwie swobodnie;
Przedajna sprawiedliwość tam ugina szali,
Gdzie złoty gwicht lub groźny błyska miecz ze stali.
 O wy! co berłem niegdyś rządząc swiat przeważnym
W głuchych śmierci łożyskach zdjęci snem żelaznym,
Uspiwszy martwe zwłoki na Wawelskiej gorze,
Płacicie skazitelnej winny hołd naturze!
 Podnieście chwilę czoła z prochnistej otchłanie,
Przemożny Władysławie, waleczny Stefanie!
Patrzcie w co idzie wasza ziemia starodawna...

настырямъ, посѣти судебныя избы и присутственныя мѣста: подъ собольими шапками и подъ рясами — ты узришь чудеса; кричи, преклонивъ колѣна: «волы, ослы и всякій скотъ, хвалите Господа» [20]). Въ шелку и золотѣ, въ пышной каретѣ, запряженной кровными скакунами, мчится господинъ Бери-деньги, который взялъ вчера десять талеровъ у лакея, сегодня занимаетъ сто у трубочиста и выманилъ двѣнадцать у той бабы, которая продаетъ крупу съ лотка близъ церкви св. Яна. У этого господина только и осталась деревня *Голыши*, усадьба *Заемщина*, да корчма *Неотдавай*. Расталкивая толпу и сердито подбоченясь, идетъ бравый молодецъ Сорви-голова, изъ глазъ блещутъ искры какъ изъ подъ пистолетнаго курка; побьемся объ закладъ, что онъ спѣшитъ въ Маримонтъ драться на дуэли. Я самъ былъ свидѣтелемъ, какъ онъ камнями сгонялъ галокъ съ крышъ, какъ евреи почтительно разступались передъ нимъ, какъ сто крапивныхъ верхушекъ срѣзалъ онъ однимъ взмахомъ булата. Но сердце заячье у этого парадиаго героя съ аксельбантами, ему бы только разгонять безоружныя толпы на сеймикахъ или бряцать саблею по мостовой; онъ готовъ за столомъ при бутылкѣ головою жертвовать отечеству, зная, что никто этой головы не возьметъ... Церемоніальнымъ маршемъ валитъ блестящая ватага — дворъ перваго министра царя Фараона: два трефовые туза, запряженные въ побѣдную колесницу, саженные валеты стоятъ на запяткахъ, а позади тянется длинный хвостъ, подборъ всякой швали: босая нищета безъ шапки и въ лохмотьяхъ, грязное проклятіе, отчаяніе съ поникшимъ взоромъ, потасовка съ повязанною головою и подбитымъ глазомъ, мошенники и шулера въ шелковыхъ перчаткахъ. Нарядная мадамъ ѣдетъ на балъ съ напудреннымъ аббатикомъ и разговариваетъ съ господиномъ Хамелеономъ, который торгуетъ убѣжденіями, точно жидъ товаромъ: вчера былъ монархистъ, сегодня республиканецъ, ругалъ дворъ на чемъ свѣтъ стоитъ, а теперь хвалитъ его, въ надеждѣ получить по-

[20]) Reduty, Satyra 7:

Chudoba się w przepysznych złotogłowach pisze,
Głupcom się filozofskie z brody bielą wisze,
Białki siedzą na koniach, a co chłop to baba:
Serca pasz, statku mało, myśl i ręka słaba.
Starcy się przedzierzgnęli w dzikie Pantalony,
Z młokosow arlekini z lisiemi ogony.
Na księżach Bachusowe porosły jagody,
Nosy jako winograd, brzuchy gdyby kłody.
Płochość, duma, interes bal tu wieczny dają:
Skacze Polak na jednej nodze, obcy grają...
Nietrzeba szukać Cyrcy w bajecznym Homerze,
Co twarz rozumną w nieme zamieniała zwierze.
Chcesz widzieć pełne zwierza rożnego obory:
Przebież nasze ratusze, pobożne klasztory,
Odwiedź izby sądowe, przedniejsze urzędy:
Pod czapki sobolemi i pod rewerendy
Ujrzysz dziwy, a wołaj padłszy na kolana:
Woły, osły i wszystko bydło, chwalcie Pana!

іезуитское имѣніе; напишетъ панегирикъ, если же не достанетъ желаемаго, то скажетъ: здѣсь не цѣнятъ заслугъ, и — уѣдетъ въ Италію.

«Лицемѣръ, повстрѣчавшись на серединѣ улицы съ монахомъ, цалуетъ его въ плечо; этотъ господинъ—волкъ въ овечьей шкурѣ, онъ то и дѣло перебираетъ пальцами четки, онъ излизалъ языкомъ весь лакъ на иконахъ, полъ церковный испорченъ отъ его поклоновъ. Чернь считаетъ его святымъ угодникомъ за то, что онъ отколотилъ протестантскаго предиканта, что онъ утопилъ двухъ вѣдьмъ и вѣруетъ въ упырей. Этотъ же самый господинъ запираетъ дверь передъ должниками, на однихъ и тѣхъ же четкахъ считаетъ и молитвы и проценты, читаетъ десять Отче нашъ, а беретъ пятнадцать со ста, чернитъ ближняго тотчасъ послѣ акаѳиста и волочится за чужою женою...

«Тощему литератору нечего ѣсть, нечѣмъ одѣться. Другъ мой! люди едва не замучатъ тебя похвалами, они величаютъ тебя красою народа, пчелою Геликона, цвѣтомъ, жемчужиною, канарейкою, солнцемъ польской земли. Однако, судя по виду, ты живешь на какомъ-то навозномъ Парнасѣ, и твоя худая кляча, Пегасъ, которою надѣлилъ тебя за кровавыя услуги Аполлонъ, привыкла возить тебя только кормиться къ святому Лазарю. За то какая толпа низкопоклонниковъ и паразитовъ окружила высокороднаго магната. Одинъ ему говоритъ: эччеленца, я никогда въ жизни не видалъ ничего подобнаго вашему блестящему двору; другой примолвитъ: кто можетъ похвалиться именемъ болѣе знаменитымъ? родъ вашъ можетъ насчитать десятокъ кастеляновъ, дюжину воеводъ, пуда два жезловъ, ключей и печатей; за тысячу лѣтъ первый предокъ вашъ, пріѣхавъ изъ Монголіи вмѣстѣ съ царемъ Кракомъ, изволилъ сдѣлаться Полякомъ. Третій, свирѣпый забіяка, въ лосинкахъ, съ рубцемъ на лбу, съ пребольшущей рапирой, увѣряетъ, что онъ проучитъ всякаго, кто не воздастъ господину его должной чести. Его слова подхватили многіе другіе: прикажи намъ разогнать сеймикъ — мы готовы; прикажи сдѣлать наѣздъ на чужой домъ, отодрать палками сосѣда—для твоего удовольствія мы рады умереть. Пускай весь край въ развалинахъ, твоя бы только честь уцѣлѣла!...» Нарушевичъ выходитъ изъ себя при видѣ беззаконій и разражается порою и проклятіями: «лучше, говоритъ онъ, жить съ козаками въ Сѣчи, нежели съ ясневельможными панами живодерами, потому что у этихъ разбойниковъ кто что награбилъ на чужбинѣ, того не возьметъ ни сотникъ ни кошевой. Савка можетъ спокойно гулять по майдану, съ люлькою во рту, въ шараварахъ чешника и въ жупанѣ подсудка, а Микита можетъ смѣло гарцовать на рысакѣ панцырнаго знака. У насъ же никто не знаетъ, для кого онъ сѣетъ и молотитъ хлѣбъ, всякій можетъ ему разрушить гумно и усадьбу, напустить на него наемныхъ злодѣевъ, заграбить, покосить, изрубить, разгородить, сжечь и утащить. Гдѣ же правосудіе? дожидайся его когда

усопшіе услышатъ гласъ трубы страшнаго суда» [21]). «Измѣна, вымогательство, наѣзды слывутъ добродѣтелями, потому что господа грабители имѣютъ деньги, гербы и помѣстья, а ты, бѣдный мужикъ, за кражу снопа пойдешь упитывать тѣломъ своимъ алчныхъ вороновъ, потому что золотая вольность польская держится такихъ правилъ: сажай мужика на колъ, барину спусти, а шляхтича запри въ тюрьму» [22]).

Сильный талантъ, который обнаружилъ Нарушевичъ въ сатирахъ, еще ярче сіяетъ въ его «Исторіи польскаго народа», произведеніи замѣчательномъ и по плану и по способу выполненія, и составляющемъ безъ всякаго сомнѣнія самый прочный памятникъ царствованія короля Понятовскаго. Король оцѣнилъ великія способности бывшаго іезуита, пріютилъ его, выхлопотавъ ему приходъ въ Нѣменчинѣ, а потомъ коадъюторію епископства смоленскаго и предложилъ ему быть королевскимъ исторіографомъ Польши; всѣ издержки по собранію матеріаловъ, по перепискѣ рукописей, король бралъ на себя, много ученыхъ отправлено было за границу для собиранія источниковъ въ архивѣ Ватикана, въ канцеляріяхъ шведскихъ, берлинскихъ и вѣнскихъ; перерыты были государственныя метрики и архивы знатныхъ польскихъ родовъ. Нарушевичъ, весь отдавшись великому труду, покинулъ Варшаву и шесть лѣтъ, 1774—1779 г., прожилъ въ глухой тиши среди полѣсскихъ болотъ за кипами ветхихъ бумагъ. Король скучалъ и безпрестанно звалъ его къ себѣ; Нарушевичъ наконецъ возвратился въ Варшаву съ цѣлою канцеляріею, и съ готовыми первыми томами своей исторіи. Король помѣстилъ его въ замкѣ и слѣдилъ за ходомъ работъ, которыя подвигались быстро впередъ не смотря на то, что король отрывалъ Нарушевича отъ работы, заставляя его сопутствовать себѣ въ своихъ путешествіяхъ, и что сеймъ выбралъ Нарушевича въ 1782 секретаремъ постояннаго совѣта. Отъ 1780 по 1786 изданы всѣ семь томовъ исторіи Польши съ древнѣйшихъ временъ до вступленія на престолъ дома Ягеллоновъ. Нарушевичъ разсмотрѣлъ критически обширную область прошедшаго Польши, отбросилъ ска-

[21]) Fragment X.

Lepiej stokroć z kozaki żyć na dzikiej Siczy,
Bo to zbiegłe hultajstwo kiedy co w zdobyczy
Z granicznych urwie siedliszcz; co los zdarzył komu,
Nie weźmie mu ni sotnik, ni koszowy z domu.
Chodzi z fajką bezpieczny Sawka po majdanie
W cześnika szarawarach, w podsędka żupanie.
Na kłusaku pancernym harcuje Mikita
Z kąd wziął, jak to obroci nikt o to niepyta...

[22]) Satyra 2, Szlachetność:

Zdrady, zdzierstwa,, najazdy wszystko to są cnoty,
Bo ichmość mają dobra, summy i klejnoty,
A ty, ubogi kmiotku, za snopek kradziony
Będziesz kruki opasał i żarłoczne wrony,
Bo w Polsce złota wolność p wnych reguł strzeże:
Chłopa na pal, panu nic, szlachcica na wieżę.

зочныя преданія, провѣрилъ источники. Его трезвый, полный содержанія разсказъ имѣлъ для Польши точно такое значеніе, какое для русской исторіи повѣствованіе Карамзина. Онъ поставилъ рамку для будущихъ изслѣдованій, закладывалъ основанія зданія будущей науки и предлагалъ готовый методъ. Нарушевичъ не подозрѣвалъ, что изданный имъ седьмой томъ будетъ послѣднимъ — планы его были обширные, матеріаловъ много. Близилась политическая сумятица, наступилъ великій четырехлѣтній сеймъ, рѣшительная минута, въ которую молодому поколѣнію, выросшему среди пятнадцати-лѣтняго покоя пришлось подъ страхомъ смерти совершить въ одинъ мигъ коренную реформу или погибнуть. Нарушевичъ засѣдалъ въ этомъ сеймѣ сначала какъ епископъ смоленскій, потомъ какъ епископъ луцкій; онъ вѣрилъ, что мысль, которую онъ лелѣялъ вмѣстѣ съ другими людьми реформы, станетъ дѣломъ, но дѣйствительность разочаровала патріота. Слабость людей реформы, интриги магнатовъ, вѣковая анархія, воскресающая съ своимъ тупымъ сопротивленіемъ, навели мрачную тоску на Нарушевича, онъ усомнился можно ли построить зданіе изъ грязи на рыхломъ пескѣ, и въ припадкѣ разъѣдающаго душу отчаянія написалъ знаменитое стихотвореніе: *Голосъ мертвецовъ*, въ которомъ съ паѳосомъ, достойнымъ Скарги, онъ предрекаетъ смерть обществу, но видя ея причину не въ религіозномъ разъединеніи, какъ Скарга, а въ ослабленіи королевской власти. Это стихотвореніе Бартошевичъ [23]) справедливо называетъ философіею польской реформы конца 18-го столѣтія. Вотъ что говорятъ къ потомству великіе мертвецы, покоящіеся въ гробницахъ краковскаго собора:

«Сокрушивъ узы мира и согласія, заключающіяся въ верховной власти, вы разбѣжались — точно стадо безъ вождя, правленія, совѣта и защиты. Остыло сердце для общественнаго блага: всѣ вы или льстецы или клеветники.

«Ни въ чемъ отечеству не было успѣха, съ тѣхъ поръ какъ члены отдѣлились отъ главы; кметь пересталъ промышлять, ремесла пришли въ упадокъ, — Ѳемида спрятала острый мечъ въ ножны, священникъ сталъ скопидомомъ, панъ—нарушителемъ порядка, король—кажущимся королемъ, солдатъ—парадны мъ солдатомъ.

«Святое достояніе Ягеллоновъ и Пястовъ пошло на удовлетвореніе подлаго высокомѣрія; по празднымъ дворамъ обжираются толпы позолоченныхъ паразитовъ,—разсѣялось награбленное королевское добро, вѣтеръ хозяйничаетъ по замкамъ и обрываетъ башни.

«Несмѣтны были соединенные подъ однимъ скипетромъ вооруженные ряды воинственныхъ полчищъ. Передъ ними дрожали берега двухъ морей, которымъ Днѣпръ и Висла сплавляли свои произведенія. Сегодня нѣтъ ни рыцарей, ни военной славы, хотя число гетмановъ и стало больше.

«Дружина бѣдныхъ птенцовъ прячется подъ распростертыя крылья од-

[23]) Znakomici mężowie polscy XVIII wieku t. 1, str. 130.

ной матери, когда на нихъ налетаетъ сверху коршунъ съ острыми когтями; вы общипали у этой матери перья,—чѣмъ же она можетъ васъ прикрыть?

«Какъ свѣтъ свѣтитъ, во всей подсолнечной нѣтъ правленія, въ которомъ бы творились бо́льшія чудеса. Зачѣмъ сіять королевскому величію, когда оно маска для бездѣйствія? Зачѣмъ искать королей дорогою цѣною, если дознано, что короли—враги наши?

«Если король—отецъ, то почему же не довѣряютъ ему дѣти? Если король—государь, то чѣмъ же подданные удостовѣряютъ свою подчиненность? Если король—верховный полководецъ, то почему же онъ безъ солдатъ? Если король—судья, то гдѣ же его мечъ и книга законовъ? Безумная, бѣдная и дикая страна, гдѣ вѣнценосцы царствуютъ только по имени.

«Блуждающее стадо гербовныхъ голышей! Глядя на твоихъ хитрыхъ предводителей, само ты не знаешь, какъ, издѣваясь надъ твоею простотой, они пользуются тобой для своей частной выгоды, склеивая или разрывая продажные сеймики. Ты ищешь свободы, свободу имѣютъ только они одни.

«Ты продаешь палладіумъ унаслѣдованныхъ вольностей за рюмку вина, за вѣжливый поклонъ; ты выбираешь ясновельможныхъ пословъ, охрипнувъ отъ нападокъ на самодержавное правленіе; не для тебя они удятъ твоею же удочкою; ты пашешь плугомъ, они будутъ пахать тобою» [24]).

[24]) Ztorgawszy węzeł pokoju i zgody
Niegdyś w najwyższej władzy osadzony,
Rozbiegliście się jako liche trzody
Bez wodza, rządu, rady i obrony.
Ostygło dobra publicznego serce:
Albo pochlebce, alboście oszczerce...
W niczém ojczyzna dotąd nieurosła,
Jako się członki rozprzęgły od głowy;
Stracił kmieć przemysł, upadły rzemiosła,
Włożyła w pochwy Temis miecz surowy,
Kapłan dla zbioru, pan został dla zwady,
Król dla pozoru, żołnierz dla parady.
Swięte Jagiełłow i Piastowe zbiory
Na pastwę dumy nikczemnie zmienione,
Gnuśne proźniakow uzłociły dwory,
Albo w stołowych zbytkach ponurzone,
Zginęły z krolów odarte łupieże:
Wiatr ich roznosi i zamki i wieże.
Zbrojnych zastępów ogromne szeregi
Pod jednem berłem ledwo kto policzy.
Drżały przed niemi oba morza brzegi,
Gdzie im Dniepr z Wisłą pławi swe zdobycze:
Dziś ni rycerstwa, ni wojennej sławy,
Chociaż się liczne podniesły buławy.
Pod jednej matki skrzydła rospostarte
Sierocych piskląt garnie się drużyna,
Gdy na nie Orlik pazury otwarte
Z góry podnosząc uderzać poczyna,—
Wyście ją z piórek obnażyli marnie,
Czemże was w trwodze ta matka ogarnie?
Niemasz pod słońcem, jak świat stoi światem,
Gdzieby się wrządzie większe działy cuda.

Суровый моралистъ искалъ спасенія въ монархизмѣ, переставалъ вѣрить въ народъ и всѣ свои надежды возлагалъ на короля. Этотъ послѣдній якорь спасенія былъ потерянъ. Тотъ, кого Нарушевичъ считалъ героемъ, не выдержалъ и малодушно измѣнилъ народному дѣлу. Въ послѣдній разъ онъ имѣлъ свиданіе съ королемъ въ Семятичахъ, въ декабрѣ 1793 г., когда король возвращался съ гродненскаго сейма: король совѣтовалъ Нарушевичу продолжать начатой историческій трудъ, Нарушевичъ съ негодованіемъ замѣтилъ, что онъ не возьметъ пера въ руки, что ему не для кого писать. Сердце его надорвалось, нравственныя страданія ускорили его кончину; онъ не долго пережилъ паденіе государства. Въ числѣ трудовъ Нарушевича заслуживаютъ еще вниманіе переводъ Тацита и жизнеописаніе Ходкевича, прекрасная монографія, въ которой изображены главные моменты царствованія Сигизмунда III.

Кромѣ четырехъ великихъ поэтовъ послѣднихъ временъ Польши, періодъ Понятовскаго ознаменованъ появленіемъ множества второстепенныхъ дарованій, между которыми особенно замѣчательны: сантиментальный элегикъ Францискъ Карпиньскій (род. 1741 на Руси Червонной, †1785) и бѣлоруссъ Францискъ Діонисій Князьнинъ (1750—1807), происходившій изъ того же рода смоленской шляхты, который далъ русской литературѣ Княжнина. Князьнинъ былъ можно сказать домашнимъ бардомъ рода Чарторыжскихъ и стоитъ во главѣ небольшой группы поэтовъ пулавскаго двора, занимавшихся болѣе прославленіемъ красоты сельской природы, нежели движеніемъ общественной жизни. Переводами съ древнихъ и новыхъ классиковъ пріобрѣли извѣстность Францискъ Ксаверій Дмоховскій (†1808) и краковскій профессоръ Акинѳій Пржибыльскій (†1811). Король, интересуясь успѣхами драматическаго искусства, учредилъ въ Варшавѣ первый постоянный польскій театръ, котораго репертуаръ долгое

Poco królewskim błyskać majestatem,
Jeśli bezczynna w nim tylko obłuda?
Poco ich szukać, łożąc kosztow wiele
Jeśli królowie są nieprzyjaciele?
 Ojciec król: czemuż dziecię mu nie wierzy?
Pan: cóż poddaństwo w hołdzie mu oddawa?
Wódz jest najwyższy: czemuż bez żołnierzy?
Sędzia: gdzież w jego ręku miecz i prawa?
Nędznaż to ziemia dzika i szalona,
Gdzie same tylko w rządzących imiona.
 O! błędno trzodo herbownej gołoty,
Co na twe chytre patrząc przewodniki
Nieznasz jak z twojej żartując prostoty
Klejąc, zrywając przedajne sejmiki,
Dla twych cię oni posług używają
Ty chceż wolności: a oni ją mają.
 Dziedzicznych swobód twierdzę i obronę
Z kielich trunku, ukłon bałamutny,
Wybierasz posły jaśnie oświecone,
Wrzeszcząc do chrypki na rząd absolutny:
Nie tobie oni twoją łowią wędą, —
Ty pługiem orać, oni tobą będą.

время состоялъ только изъ переводовъ и передѣлокъ съ французскаго. Къ временамъ четырехъ-лѣтняго сейма театръ видимо оживляется, и начинаютъ на немъ появляться комедіи съ направленіемъ и намеками на современныя событія; такова напримѣръ пьеса «Возвращеніе посла», Ю. У. Нѣмцевича, имѣвшая большой успѣхъ во время великаго сейма и проводящая идею реформы. Даровитѣйшимъ писателемъ комедій того времени былъ Францискъ Заблоцкій (1750—1821), поставившій до 80 комедій оригинальныхъ и переводныхъ (Zabobonnik, Fircyk w zalotach и пр.). Послѣ паденія Польши Заблоцкій, пораженный этимъ событіемъ, вступилъ въ духовное званіе, сдѣлался аскетомъ и стыдясь своей литературной дѣятельности истреблялъ свои прежнія поэтическія произведенія. Въ 1778 г. на сцену вступилъ молодой познанскій дворянинъ Войтѣхъ Богуславскій (1760—1829), который долго велъ исполненную приключеній жизнь странствующаго актера, получилъ въ 1790 званіе директора королевскихъ спектаклей и поставилъ на сцену множество пьесъ собственнаго сочиненія; изъ нихъ особенной новостью была игранная въ 1794 г. опера «Краковяки и Горцы» (Krakowiacy i Górale): она воспроизводила въ наивной простотѣ нравы, пѣсни и напѣвы крестьянъ и пастуховъ, занимающихъ предгорья Карпатъ. Въ области критической исторіи стоитъ одиноко Нарушевичъ, безъ предшественниковъ и послѣдователей. Весьма богатъ отдѣлъ писателей записокъ. Такихъ записокъ открыто весьма много, между ними замѣчательны записки Іосифа Выбицкаго, померанца (†1822), Яна Дукляна Охоцкаго, и въ особенности труды Андрея Китовича (1728—1804), бывшаго барскаго конфедерата, потомъ священника, человѣка бывалаго, любознательнаго, юмориста и чудака, который съ пристрастіемъ и безъ критики, порою сплетничая и утрируя, начертилъ однако самый живой образъ послѣднихъ временъ Рѣчи посполитой.

Окончательное раздѣленіе Польши, совершенное послѣ народнаго движенія, во главѣ котораго стоялъ Косцюшко, взбороздило общество польское до самаго основанія. Потери были громадныя, страданія великія, цѣлый верхній слой этого общества былъ какъ бы срѣзанъ. Лица, игравшія какую либо политическую роль, или пали на полѣ брани или томились въ ссылкѣ и темницахъ или бѣжали за границу и положили начало и основаніе польской эмиграціи, имѣвшей съ тѣхъ поръ столь важное вліяніе на дальнѣйшій ходъ развитія польской народности и литературы. Часть польскихъ магнатовъ пристроилась къ дворамъ берлинскому, вѣнскому и петербургскому; толпы шляхетской молодежи формировали за границею легіоны и сражались сначала подъ знаменами французской республики, потомъ подъ орлами Наполеона, въ надеждѣ, что этотъ «богъ войны» возстановитъ политическое существованіе ихъ отечества. Эти надежды не осуществились, только изъ маленькой частички бывшихъ польскихъ владѣній возникло герцогство варшавское, подъ скипетромъ саксонскимъ, изъ котораго вѣнскіе трактаты образовали потомъ конституціонное Царство Польское, присоединен-

ное къ Россіи. Съ 1815 по 1830 г. слѣдуетъ періодъ совершеннаго покоя, въ теченіи котораго возникъ университетъ варшавскій; краковская академія и школы галиційскія спали глубокимъ сномъ, а въ Литвѣ цвѣлъ и развивался университетъ виленскій съ многочисленными подвѣдомственными ему учебными заведеніями средними и низшими, подъ умнымъ и энергическимъ управленіемъ попечителя виленскаго округа, князя Адама Адамовича Чарторыжскаго. На Волыни стараніями Ѳаддея Чацкаго возникаетъ волынскій (кржеменецкій) лицей. Въ всѣхъ этихъ учебныхъ заведеніяхъ господствуетъ исключительно то направленіе, которое извѣстно подъ именемъ классицизма, а именно, увѣренность въ незыблемой прочности логическихъ построеній, хотя бы и не опирающихся на обширный кругъ наблюденій, преобладаніе логики и математическихъ методовъ надъ всѣми другими научными пріемами, разсудочная трезвость и сухость вмѣсто творчества, господство безцвѣтныхъ отвлеченностей и формъ, разсматриваемыхъ отдѣльно отъ содержанія. Представителемъ этого направленія былъ знаменитый въ свое время преемникъ Почобута въ виленскомъ университетѣ, и на каѳедрѣ астрономіи и въ должности ректора, Янъ Снядецкій (1756—1830), великополянинъ, хорошій математикъ, претендовавшій на славу великаго оратора и литературнаго критика, врагъ Канта и нѣмецкой философіи, которой онъ не понималъ, сухой педантъ, пренебрегавшій историческими науками и выжившій изъ виленскаго университета Лелевеля, наконецъ человѣкъ, противодѣйствовавшій всѣмъ вѣсомъ своего великаго въ то время авторитета неяснымъ неоромантическимъ стремленіямъ молодежи, которыя нашли себѣ выраженіе въ лицѣ Мицкевича.

Вліяніе классицизма было для литературы самое неблагопріятное; на этомъ поприщѣ подвигаются одни только посредственности. Ихъ тщательно полированныя произведенія теперь совершенно забыты, вмѣстѣ со всѣмъ ареопагомъ тогдашнихъ критиковъ и рецензентовъ, трунившихъ надъ Шекспиромъ, знавшихъ только по имени Гёте, Шиллера и Байрона, ревновавшихъ о чистотѣ слога и языка и судившихъ о поэтическихъ созданіяхъ по Аристотелю и Буало, Горацію и Лагарпу. Средоточіемъ литературной дѣятельности какъ по части наукъ, такъ и по части беллетристики служило общество любителей наукъ, образовавшееся въ 1801 г., котораго первымъ предсѣдателемъ былъ историкъ-компиляторъ Альбертранди, вторымъ Сташицъ, а третьимъ по очереди Юліанъ Урсинъ Нѣмцевичъ. Общество хотѣло серьезно заняться разработкою отечественной исторіи и довести до конца остановившійся на Пястахъ трудъ Нарушевича, но оно оказалось ниже своей задачи и не умѣло взяться за дѣло. Члены его раздѣлили между собою отдѣльныя царствованія; въ результатѣ вышли безсвязныя компиляціи изъ трехъ-четырехъ источниковъ, передѣланныхъ и изукрашенныхъ каждымъ авторомъ по своему; компиляціи эти не прибавляли ровно ничего къ массѣ знаній и были чистою тратою труда. Въ поэзіи особенно любимыми родами произведеній были напыщенныя оды и трагедіи въ духѣ расиновской

школы, которыя при строгомъ соблюденіи условныхъ приличій и трехъ единствъ времени, мѣста и дѣйствія, лишены были всякаго историческаго колорита и ставили себѣ задачею не изображеніе настоящихъ характеровъ и живыхъ личностей, но борьбу чувствъ и столкновенія отдѣльныхъ страстей въ идеальномъ человѣкѣ, разсматриваемомъ внѣ времени и мѣста. Въ этомъ родѣ отличились Францискъ Венжикъ (1785 — 1862), Людвигъ Кропиньскій, авторъ «Людгарды» (┼ 1844), и въ особенности Алоизій Фелиньскій (1771—1822), написавшій трагедію изъ польской исторіи: «Барбара Радзивиллъ», которая при появленіи своемъ принята была съ неописаннымъ восторгомъ. Историческаго въ этомъ холодномъ произведеніи только имена дѣйствующихъ лицъ; оно написано искусно, обильно сильными лаконическими фразами, заключающими бездну умствованій въ нѣсколькихъ словахъ, и пересыпано по образцу Альфіери, которому подражалъ Фелиньскій, множествомъ политическихъ намековъ, затрогивавшихъ тайныя струны и задушевныя мысли тогдашняго общества, о любви къ отечеству, объ обязанностяхъ монарха, о крамолахъ и высокомѣріи магнатовъ. Сильнѣйшую поддержку отживающій классицизмъ нашелъ въ декламаторѣ, профессорѣ варшавскаго университета, Людвигѣ Осиньскомъ (род. 1775), котораго звучная и эффектная дикція привлекала на его лекціи многочисленную и самую пышную варшавскую публику.

Важнѣе трагедіи была для народной литературы комедія, которую поддерживали неутомимый и плодовитый Богуславскій, а потомъ Янъ Непомукъ Каминьскій, посѣщавшіе съ труппами актеровъ поочередно Львовъ, Познань, Калишъ, Варшаву, Одессу, Кіевъ и Бѣлостокъ. Оставной наполеоновскій офицеръ Александръ Фредро писалъ стихами и прозою множество комедій, которыя представляютъ въ довольно удачныхъ каррикатурахъ разные типы общества какъ новѣйшаго, такъ и старошляхетскаго.

На пограничьи стараго времени и новой эпохи ставятся обыкновенно въ исторіяхъ и учебникахъ польской литературы два писателя, Нѣмцевичъ и Вороничъ. Юліанъ Устинъ Нѣмцевичъ, литвинъ, родился въ 1758 г., былъ адъютантомъ у Косцюшки, товарищемъ его въ плѣну, ѣздилъ потомъ въ Америку; возвратившись оттуда, онъ былъ при Александрѣ I секретаремъ сената въ Царствѣ Польскомъ и предсѣдателемъ общества любителей наукъ, принялъ участіе въ польскомъ возстаніи 1830 г., долженъ былъ бѣжать за границу и умеръ въ Парижѣ въ 1841 году. Баснописецъ, сатирикъ, драматургъ, писатель романовъ и повѣстей, Нѣмцевичъ ни въ одномъ изъ своихъ произведеній не возвышается надъ уровнемъ посредственности, но онъ былъ человѣкъ живой, затрогивалъ всѣ животрепещущіе современные вопросы и ударялъ постоянно въ чувствительную струну патріотизма. Несмотря на всю слабость его «Историческихъ Пѣсенъ» (Śpiewy historyczne), въ которыхъ онъ хотѣлъ изобразить польскую исторію въ картинахъ, пѣсни эти заучивались публикою наизусть. Янъ Павелъ Во-

роничъ, эксъ-іезуитъ, потомъ епископъ краковскій и сенаторъ Царства Польскаго, наконецъ съ 1827 по 1829 г. архіепископъ варшавскій, краснорѣчивый проповѣдникъ, вдохновлялся въ своихъ стихотвореніяхъ болѣе библейскою поэзіею ветхозавѣтныхъ пророковъ, нежели классическою древностью (Lechjada, Swiątynia Sybilli) и оплакивалъ паденіе Польши съ силою, которая напоминаетъ Плачъ Іереміи.

5. ПЕРІОДЪ ЛЕЛЕВЕЛЯ И МИЦКЕВИЧА.

Приступая къ изложенію новѣйшаго періода исторіи польской литературы, считаемъ нужнымъ предупредить читателя, что въ настоящую минуту нѣтъ никакой возможности выполнить эту задачу удовлетворительно въ научномъ отношеніи, потому что спокойной критикѣ фактовъ мѣшаютъ возбужденныя послѣдними событіями политическія страсти. Еще не просохла кровь на свѣжихъ побоищахъ, еще, можно сказать, раздаются стоны сраженныхъ и побѣдные клики. Общественное мнѣніе, настроившееся извѣстнымъ образомъ, не расположено терпѣть сужденій, неотчеканенныхъ сообразно господствующему нынѣ направленію. При подобныхъ условіяхъ, едва ли своевременно касаться литературы, которая работала не ради одного эстетическаго наслажденія, но съ начала до конца имѣла направленіе практическое и развивала извѣстныя политическія идеи, враждебныя, конечно, Россіи. Она походитъ на великую лабораторію, въ которой исподоволь и въ теченіи многихъ лѣтъ, не смотря на всѣ цензурныя стѣсненія, выработывались тѣ горючіе матеріалы, которые и произвели два волканическіе взрыва, одинъ 1831, другой 1863 года. На оба взрыва потрачено непроизводительно множество живыхъ силъ, которыя пригодились бы на иное дѣло; если онѣ обнаруживаютъ необыкновенную живучесть національности, то съ другой стороны онѣ представляютъ весьма назидательный не только для народа польскаго, но и для всѣхъ другихъ, примѣръ того, какъ гибельны могутъ быть увлеченія однимъ исключительнымъ и одностороннимъ патріотизмомъ, если этому патріотизму приносятся въ жертву общечеловѣческіе интересы, справедливость, истина, цивилизація. Всю эту литературу, отличающуюся замѣчательнымъ единствомъ стремленій, иные огуломъ предадутъ анаѳемѣ, но такое валовое порицаніе едва ли можетъ принести какую либо пользу; оно безплодно, потому что оставляетъ безъ отвѣта вопросъ: почему у польскаго народа въ 19-мъ столѣтіи явилась та, а не другая литература? могла ли она пойти другимъ путемъ? Уразумѣть роковую необходимость борьбы двухъ главнѣйшихъ вѣтвей славянскаго племени можетъ только тотъ, кто способенъ становиться мысленно на точку зрѣнія каждой изъ двухъ враждебно одна къ другой относящихся національностей; въ противномъ случаѣ ему будетъ недоступна тайна творчества и вліянія на народъ такихъ писателей, каковы Мицкевичъ, Кра-

синьскій, Словацкій. Wer den Dichter will verstehen, muss in Dichters Lande gehen, сказалъ Гёте. Постараемся писать какъ можно объективнѣе, ограничимся по возможности одними только фактами, и предоставимъ дѣлать выводы изъ нихъ самому читателю.

Самый крупный фактъ, который знаменуетъ 19-й вѣкъ какъ въ западной Европѣ, такъ и въ обществѣ польскомъ послѣ паденія польскаго государства, есть безъ сомнѣнія торжество и преобладаніе демократическаго элемента. Старыя аристократическія учрежденія рушились, сословія перемѣшались, исчезъ король съ блестящимъ дворомъ, знатные роды перевелись или были истреблены, или заклейменные именемъ измѣнниковъ народному дѣлу, стали искать счастія при дворахъ иностранныхъ, обрусѣли или онѣмечились; густая фаланга средней шляхты была тоже въ дребезги разбита, въ образовавшіеся въ ея растрескавшейся массѣ промежутки и щели стали со всѣхъ сторонъ втискиваться люди новые, безъ гербовъ и преданій, подстрекаемые жаждою наслажденій и довольства и сильные увѣренностью въ томъ, что умомъ и упорнымъ трудомъ можно всего на свѣтѣ добиться и стать въ ряду между людьми извѣстными и вліятельными. Въ этомъ новомъ обществѣ, которое уже не брезгаетъ ни перекрестомъ изъ евреевъ, ни выслужившимся канцелярскимъ чиновникомъ, ни купцомъ и ремесленникомъ, положеніе писателя сдѣлалось совершенно иное. Просвѣщенныхъ писателей-дилеттантовъ изъ аристократіи, въ родѣ Красицкаго, стало меньше, за то умножилось число голышей и плебеевъ, пишущихъ изъ-за куска хлѣба, но эти плебеи стали несравненно самостоятельнѣе, потому что они не пресмыкались болѣе въ переднихъ и гостинныхъ у магнатовъ, меценатомъ сталъ книгопродавецъ-издатель, аристархомъ — простой журнальный рецензентъ, а дарителемъ славы и успѣховъ—многоголовое собирательное существо, читающая публика. Одновременно съ демократизмомъ въ нравахъ и съ измѣненіемъ обстановки писателя, расширился и умственный кругозоръ людей 19-го вѣка. Германизмъ проникалъ въ бывшую Польшу съ запада и юга посредствомъ административныхъ системъ, порядковъ и законовъ австрійскихъ и прусскихъ, и посредствомъ школъ, въ которыхъ преподаваніе совершалось на нѣмецкомъ языкѣ. Полчища Наполеоновы избороздили бывшія земли польскія по всѣмъ направленіямъ въ многочисленныхъ своихъ походахъ, между тѣмъ какъ польскіе легіоны побывали въ Германіи, Франціи, и познакомились съ горячимъ небомъ юга въ Италіи и Испаніи. Отъ столкновенія стольких языковъ, народностей, цивилизацій увеличилась масса знаній, великія свѣтила германской поэзіи Шиллеръ и Гёте стали точно родные, Вальтеръ-Скоттъ увлекалъ всѣхъ съ собою въ романтическія горныя ущелія Шотландіи, могучій геній Байрона имѣлъ безчисленное множество обожателей, вдали виднѣлись Оссіанъ и Петрарка, Шекспиръ и Данте, а еще глубже за ними Римъ и Греція, и царства дальняго Востока. Всѣ эти новые міры

освѣщала своимъ свѣточемъ новая критика историческая и эстетическая, которая учила вдумываться въ давноминувшее прошедшее и возсоздавать нагляднымъ образомъ не только внѣшнія стороны быта, но мысли и чувства минувшихъ поколѣній. Этому обществу, испещренному примѣсью къ нему множества разнообразнѣйшихъ элементовъ, имѣющему плебейскіе нравы и подвижное воображеніе, способное переноситься во всѣ вѣка, не могла служить достаточною пищею отощавшая салонная литература временъ короля Понятовскаго и четырехлѣтняго сейма. Потребность въ обновленіи была такъ настоятельна, что переворотъ совершился мгновенно съ быстротою, съ которою въ театрахъ мѣняются декораціи. Прелюдіями къ возрожденію послужили появленіе романтиковъ и бой ихъ съ классиками, усѣвшимися спокойно на польскомъ Парнассѣ и выбиваемыми теперь изъ своихъ позицій; потомъ вдругъ и одновременно появляются Залѣсскій, Гощиньскій, цѣлая школа украинскихъ поэтовъ, Мицкевичъ съ своими литвинами. Вызванные общими потребностями времени, они возникаютъ и развиваются безъ всякаго вліянія другъ на друга, между тѣмъ какъ старше ихъ по времени, но союзникъ по направленію, Лелевель, прокладываетъ новые пути для исторической науки.

Первыми плодами романтизма были дѣтскіе опыты, переводы съ иностраннаго, подражанія: появилось множество романтическихъ балладъ; весь сценическій гардеробъ мѣнялся, вмѣсто божествъ Олимпа и Атридовъ выводились на сцену вѣдьмы и отшельники, рыцарскіе турниры и привидѣнія. Въ Варшавѣ Витвицкій и Вильнѣ Занъ, Одынецъ и многіе другіе пошли этимъ путемъ; самъ Мицкевичъ началъ свою дѣятельность съ идиллическихъ, сантиментальныхъ балладъ, романсовъ и сказокъ (Switezianka, Kurhanek Maryli, To lubię, Tukaj). Романтики надѣлали много шуму и скандалу, они бунтовали противъ установившихся издавна правилъ и порядковъ, а между тѣмъ и сами не могли опредѣлить, чего именно они желаютъ и въ чемъ состоитъ сущность романтизма. Выигрышъ отъ новизны былъ бы не великъ, если бы все это кончилось тѣмъ, что какъ прежде подражали французскому, такъ потомъ стали бы подражать средневѣковому и нѣмецкому; но романтизмъ служилъ только оболочкою для выклевывающейся въ литературѣ поэзіи чисто народной. Романтики съ первыхъ же поръ должны были натолкнуться на два неисчерпаемые источника: на непочатый запасъ непосредственной простонародной поэзіи, къ которой они имѣли влеченіе по своей страсти къ сверхъестественному, чудесному, и на свѣжія преданія только что уложившагося въ могилу великаго прошедшаго, которое они и попытались возстановить въ пѣсни и съ точностью, свойственною археологамъ, во всей рѣзкости и шероховатости средневѣковыхъ формъ быта. Въ обоихъ этихъ направленіяхъ имъ предшествовалъ въ качествѣ вожатаго человѣкъ, одаренный необыкновенно вѣрнымъ эстетическимъ чутьемъ, самъ поэтъ, но еще болѣе извѣстный какъ профессоръ литературы и критики, Казиміръ Бродзиньскій, котораго по справедливости назы-

вають предтечею Мицкевича и новой польской поэзіи 19-го вѣка. Бродзиньскій былъ бѣдный галицкій шляхтичъ (род. 1791 г. въ Крулевкѣ близь Бохни, умеръ въ Дрезденѣ 1855), натерпѣлся вдоволь съ малолѣтства отъ злой мачихи, которая его не любила, отъ деревенскаго учителя нѣмца, который училъ посредствомъ розги на непонятномъ польскомъ языкѣ. Дикій, пугливый, впечатлительный мальчикъ бѣгалъ изъ дому къ крестьянамъ, которые не разъ его отогрѣвали и кормили, и съ бытомъ которыхъ онъ сроднился съ первыхъ дней молодости. Самое лучшее его произведеніе — *Вѣславъ*—взято изъ воспоминаній молодости и представляетъ живую картину деревенской свадьбы по обычаю краковскихъ крестьянъ. Способному юношѣ нѣмецкіе учителя въ тарновской школѣ старались привить любовь къ литературѣ нѣмецкой; читать польскія книги запрещалось, да и достать ихъ было весьма трудно: Бродзиньскій только случаю обязанъ знакомствомъ съ Яномъ Кохановскимъ; онъ нашелъ экземпляръ стихотвореній этого поэта у бабы, рыночной торговки, которая употребляла листы его на обертки. Когда сѣверная часть Галиціи вошла въ составъ В. Герцогства Варшавскаго, 18-лѣтній Бродзиньскій вступилъ (1809) въ ряды польскаго войска, ходилъ съ Французами въ Москву въ 1812 г., испыталъ всѣ ужасы бѣгства великой арміи изъ Россіи и попалъ въ 1813 въ плѣнъ къ Пруссакамъ подъ Лейпцигомъ. Этимъ и окончилась его военная дѣятельность; съ 1818 года онъ поселился въ Варшавѣ, а въ 1822 онъ издалъ два томика своихъ стихотвореній и получилъ каѳедру польской литературы въ Александровскомъ варшавскомъ университетѣ. Въ одно и то же время этотъ предметъ преподавался здѣсь двумя профессорами. Людвигъ Осиньскій, директоръ театра и деканъ филологическаго факультета, привлекалъ къ себѣ въ аудиторію толпы великосвѣтской публики, которая восторгалась его звучною дикціею и краснорѣчіемъ; Казиміръ Бродзиньскій читалъ тихимъ голосомъ для немногихъ цѣнителей науки свои богатыя содержаніемъ лекціи, съ духомъ и направленіемъ которыхъ всего лучше могутъ познакомить слѣдующіе отрывки:

«Мы были народъ могущественный, единственный по оригинальности своей формы правленія, по быстротѣ своего паденія и скорости возрожденія. Опережая Европу, мы прошли сквозь всѣ крайности ея теперешняго развитія. Учрежденія отцовъ нашихъ были пріятнымъ воспоминаніемъ быта древнихъ свободныхъ народовъ и содержали въ себѣ въ зачаткѣ всѣ тѣ начала, на которыхъ стараются основать свое устройство новѣйшія государства. Одни только ангелы съумѣютъ управляться успѣшно, при столькихъ свободахъ, которыми мы пользовались; во всякомъ случаѣ насъ надобно назвать людьми хорошими, если при столькихъ свободахъ и безначаліи такъ мало совершалось у насъ возмущеній и злодѣяній, сравнительно съ другими народами, которые содержатся въ крѣпкомъ послушаніи. Мы пали, сраженные внезапнымъ громомъ, и такъ же нечаянно воскресли, получивъ существованіе и нераздѣльную съ нимъ свободу отъ рукъ вели-

чайшаго изъ монарховъ (Александръ I). Обожженный громовымъ огнемъ, пень пустилъ изъ себя вѣщую вѣточку; въ ней витаетъ наше прошедшее и наше будущее. Мы нынѣ въ полной силѣ молодости и вмѣстѣ съ тѣмъ мы увѣнчаны сѣдымъ вѣковымъ опытомъ. Цѣль наша можетъ быть только одна: обогащаться въ мирѣ нравственнымъ просвѣщеніемъ и достоинствомъ народнымъ. Запасъ нашихъ средствъ для слѣдованія по этому пути не великъ. До сихъ поръ мы имѣемъ только желанія, способности да надежды, но не болѣе. Выродившись политически, мы исказились и нравственно. Политически разбитые на разные куски, мы разрознены до безконечности въ нашихъ мнѣніяхъ и вкусахъ. Тридцать лѣтъ продолжались наши скитальчества по чужбинѣ на службѣ у разныхъ народовъ. Не могши сдѣлать у себя ничего въ теченіи этого времени и обреченные на пассивное созерцаніе величайшихъ событій въ Европѣ, сильнѣйшихъ переворотовъ въ мнѣніяхъ и вкусахъ, мѣняя системы воспитанія каждыя десять лѣтъ, при переходѣ изъ рукъ въ руки, — мы нынѣ едва ли образуемъ нѣчто цѣльное, котораго бы всѣ части могли быть управляемы единымъ духомъ. Законы, обычаи, вкусы и литература — все у насъ иностранное. Если при этомъ столпотвореніи не стерлись наши народныя примѣты, — это залогъ того, что онѣ не изгладятся и въ будущее время. Мы толкуемъ много о народности, но народность эта есть духъ, который нигдѣ до сихъ поръ не являлся въ своемъ собственномъ видѣ. Древность не можетъ насъ спасти въ литературѣ, потому что намъ надобно идти впередъ, рука объ руку съ духомъ времени. Споры классиковъ съ романтиками безплодны: классицизмъ требуетъ строгаго ума, романтизмъ или лучше сказать новѣйшая литература требуетъ новыхъ представленій. Намъ слѣдуетъ уважать старый умъ, но мы не можемъ принести ему въ жертву то, чѣмъ обогатилось просвѣщеніе со временъ Квинтиліана. Мистицизмъ и идеализмъ нѣмецкій не могутъ быть для насъ достаточною пищею, потому что божественная правда всегда проста и не можетъ состоять въ путаницѣ понятій. Въ теченіи многихъ вѣковъ мудрецы должны были блуждать и спорить, чтобы сдѣлать истину яснѣе и чище; запутывать ее — значитъ уничтожать работу вѣковъ. Мы заимствовали зло и добро отъ иностранцевъ. Какъ намъ поступать съ этими металлами разнокалиберными и разноцѣнными? Намъ слѣдуетъ выбирать лучшія штуки, и перечеканивать ихъ, кладя на нихъ народное клеймо; слѣдуетъ также переплавлять и нашу собственную старинную монету, давая ей номинальную цѣну, сообразную нынѣшнему времени; весь этотъ капиталъ долженъ быть расчетливо обращаемъ на насущныя потребности страны. Не въ томъ дѣло, чтобы пополнить книгохранилища нашими трудами, но въ томъ, чтобы эти труды обращались быстро, соотвѣтствовали потребностямъ массы и могли доходить до послѣдняго изъ рабочихъ. Я не желаю народу моему ни стольких философовъ какъ въ Греціи, ни столькихъ ученыхъ книжниковъ какъ въ Германіи, ни столькихъ стихотворцевъ какъ въ Парижѣ. Я даже убѣжденъ, что когда нибудь закроются тѣ исполинскія литературныя фаб-

рики, которыя мы видимъ теперь, и что дошедши до практическихъ результатовъ наукъ, люди освободятся отъ того громаднаго сыраго матеріала, который, отрывая отъ настоящаго дѣла множество рукъ, дѣлаетъ народы иногда изнѣженными, а иногда фанатическими. Всѣ эти фоліанты, комментаріи, философскія спекуляціи и ученые споры будутъ когда нибудь забыты, какъ тѣ рыцарскіе доспѣхи, которые показываются нынѣ въ видѣ курьезовъ въ старинныхъ замкахъ. Ученые труды должны имѣть то главное назначеніе, чтобы связать какъ можно сильнѣе понятія политическія, религіозныя и философскія съ интересомъ народа»... [1])

Мы дольше можетъ быть, чѣмъ слѣдуетъ, остановились на литературной дѣятельности Бродзиньскаго, но намъ необходимо было обрисовать собственными же его словами задумчивое и кроткое лицо честнаго демократа, который весь жилъ для дѣла, для труда скромнаго, ежедневнаго, общеполезнаго [2]).

Въ то самое время, когда онъ читалъ свои лекціи и писалъ свои критическія разсужденія, въ той же Варшавѣ вращалось нѣсколько молодыхъ людей родомъ изъ Украйны, которые, безъ всякаго между собою соглашенія и взаимнаго себѣ подражанія, стали воспроизводить въ стихахъ необозримую ширь южно-русскихъ степей, и вдохновляться заунывными мотивами пѣсенъ малорусскаго простонародья, его повѣрьями, въ которыхъ отпечатлѣлась сильная и мрачная фантазія этого племени, наконецъ свѣжими преданіями козачества и борьбы его съ польскимъ шляхетствомъ. Первый по времени изъ польско-украинскихъ поэтовъ былъ Антонъ Мальческій (1793 — 1826), который жилъ и умеръ въ совершенной почти неизвѣстности и написалъ одну только небольшую поэму *Марія*, которая при выходѣ въ свѣтъ не имѣла никакого успѣха и не окупила издержекъ изданія и только много лѣтъ спустя, когда авторъ давно лежалъ въ могилѣ, сдѣлалась самымъ популярнымъ поэтическимъ произведеніемъ въ Польшѣ. Мальческій [3]) провелъ первые годы молодости въ Дубнѣ на Волыни, получилъ блистательное аристократическое воспитаніе во француз-

[1]) См. сочиненія Бродзиньскаго въ Biblioteka polska, Turowskiego: o dążeniu polskiej literatury str. 374—394; o klassyczności iromantyczności str. 1—105.

[2]) Приведемъ еще слѣдующій отрывокъ изъ стихотворенія Бродзиньскаго „Возвращеніе изъ Италіи“ (1826), прекрасно опредѣляющій его направленіе:

Wszędzie piękność, wesołość, natura i sztuka,
Lecz niema czego serce Słowianina szuka:
Niema błogiej szczerości i głębszego czucia,
Pełno zewnątrz okrasy, a wewnątrz zepsucia,
Pyszne Panu świątynie, lecz pobożność płocha,
U nas w śniegach lud prościej, lecz szczerzej go kocha;
Tu wreszcie w gruzach, przodków i grają weseli....
 Więc zwiastunki połnocy wy, jodły i sosny,
Drzewa mojego kraju, witam was radośny!
A wy, wiatry alpejskie! tam przez te płaszczyzny
Ponieście tęskne tchnienia do mojej ojczyzny....

[3]) Cmentarz powązkowski, Wojcickiego, tom 1, str. 41 (1855).

скомъ духѣ въ домѣ родителей; побывавъ въ кременецкомъ лицеѣ, онъ вступилъ въ военную службу (1811—1815), потомъ пять лѣтъ странствовалъ за границею, прожилъ все свое состояніе, испилъ, можно сказать, до дна чашу наслажденій, но и познакомился со всѣмъ, что имѣло лучшаго западно-европейское общество, съ литераторами, учеными, артистами. Подъ конецъ своей жизни онъ обѣднѣлъ до того, что не на что было его похоронить. Мальческій былъ что называется бѣлоручка, нѣжный и красивый, какъ женщина; нервный и раздражительный въ высшей степени, болѣзненно страдавшій отъ всякой неудачи, онъ постоянно носился съ горькими осадками неудовлетворенныхъ желаній въ душѣ. Прибавимъ къ этимъ даннымъ близкое знакомство Мальческаго съ однороднымъ ему геніемъ, Байрономъ. Они познакомились въ Венеціи; преданіе говоритъ, что разсказъ Мальческаго о Мазепѣ вдохновилъ Байрона и послужилъ ему темою для поэмы. Съ другой стороны Мальческій поддался обаянію необузданной въ своихъ порывахъ демонической натуры Байрона и сталъ въ искусствѣ его подражателемъ. У Байрона пресыщеніе жизнью разражалось ненавистью и презрѣніемъ къ людямъ и мятежнымъ поруганіемъ всего, что условлено считать святымъ; у Мальческаго тоже неизлѣчимое разочарованіе выразилось въ снѣдающей душу безпредѣльной и безнадежной тоскѣ: «Я много ѣлъ горькихъ, отравленныхъ калачей, говоритъ поэтъ; мое увядшее лицо поблѣднѣло, изъ одичавшей души моей искоренена радость»... [4]) Отъ Байрона Мальческій заимствовалъ форму его поэтическаго разсказа, а сюжетъ взялъ изъ весьма извѣстнаго на Украйнѣ уголовнаго дѣла, котораго главными фигурантами были Феликсъ Потоцкій, основатель тарговицкой конфедераціи и Софіевки, и его отецъ, воевода кіевскій. Феликсъ Потоцкій въ юности своей женился противъ воли родителей на молодой шляхтянкѣ незнатнаго происхожденія, Гертрудѣ Коморовской. Родители Потоцкаго, недовольные неравнымъ бракомъ, извели ее измѣннически͏мъ образомъ. Феликсъ превратился у Мальческаго въ прекраснаго Вацлава (чего онъ конечно не заслуживалъ), Гертруда—въ Марію. Мрачный и непреклонный воевода, тая въ душѣ злобные замыслы, шлетъ козака съ письмомъ къ старому Мечнику—отцу Маріи, въ которомъ расточая лесть онъ проситъ примиренія и вмѣстѣ съ тѣмъ предлагаетъ Мечнику начальство надъ войскомъ, въ экспедиціи, снаряжаемой противъ Татаръ, въ которой долженъ принять участіе и Вацлавъ. Экспедиція была только благовиднымъ предлогомъ для удаленія Вацлава и Мечника изъ дому. Въ то время когда Вацлавъ съ Мечникомъ сражаются храбро съ крымскими хищни-

[4]) I świata jadłem gorzkie, zatrute kołacze....
Bo w mojej zwiędłej twarzy zamieszkała bladość,
Bo z mej zdziczałej duszy wypleniono radość....
....Co czułe, szlachetne chwilkę tylko świeci....
....Rola wzniosłych uczuć nigdy się nie uda,
Bo w śliczny welon cnoty stroi się obłuda.

ками на дворъ Мечника валитъ шумная ватага масляничныхъ гостей въ маскахъ и костюмахъ. Напрасно старый слуга отказываетъ отъ дому незваннымъ гостямъ, у него самого зарябило въ глазахъ, когда начали передъ нимъ плясать цыгане, вѣдьмы, арлекины и черти. Всѣ эти маски — никто иные, какъ подосланные воеводою убійцы: они топятъ въ пруду Марію. Побѣдоносный Вацлавъ, тревожимый страннымъ предчувствіемъ, опережая Мечника, летитъ къ женѣ, прискакалъ ночью во дворъ Мечника, стучится въ домъ, влѣзаетъ въ окно и находитъ холодный, распухшій трупъ любимой женщины. Таинственный пажъ, лицо фантастическое, добрый или злой духъ Вацлава — неизвѣстно, сообщаетъ ему о виновникахъ смерти его жены; сердце у Вацлава пропиталось ядомъ въ одну минуту: испытывая всѣ муки ада, онъ исчезаетъ съ жаждою крови и мщенія, съ мыслью объ отцеубійствѣ въ душѣ. Поэма оканчивается изображеніемъ сѣдаго Мечника, угасающаго тихо безъ слезъ и ропота, на могилѣ дочери [5]). Главная задача, которую поставилъ себѣ Мальческій, была конечно психологическая: изобразить развитіе страсти, порчу и искаженіе благородной души, изнывающей въ желѣзныхъ и роковыхъ тискахъ несчастія. Подобно Байрону, онъ преимущественно лирикъ, его поэма есть, можно сказать, вырванная страница изъ его же автобіографіи, передача имъ самимъ прочувствованнаго; свою собственную личность выводитъ онъ вездѣ на сцену то въ образѣ довѣрчиваго Вацлава, то въ образѣ таинственнаго ангела или демона—пажа, юнаго и между тѣмъ безотрадно грустнаго, то въ прелестномъ образѣ блѣдной и чистой, какъ голубица, Маріи [6]). Подобно Байрону, онъ грѣшитъ порою изысканностью подобранныхъ эффектовъ и злоупотребляетъ аллегоріею, олицетворяя отвлеченныя понятія, страсти и чувства [7]). Но не смотря на эти недостатки, онъ пріобрѣлъ гро-

[5]) Ni żalu ni skargi
Nikomu nie zwierzyły wypłowiałe wargi;
Ni łez w hardem spójrzeniu niebyło poznaki,
Mniej z ludźmi, więcej z Bogiem, a zresztą jednaki.

[6]) Ani łzy, ani żalu w jej mglistém spojrzeniu;
O nie; przeszłych już zgryzot niewidać tam wojny,
Tylko znikłej nadziei grobowiec spokojny,
Tylko się lampa szczęścia w iej oczach paliła,
I zgasła—i swym dymem całą twarz zaćmiła.

(Нѣтъ ни слезъ ни скорби въ ея туманномъ взорѣ, не видать въ этомъ взорѣ борьбы минувшихъ страданій, а одинъ только покойный гробъ исчезнувшихъ надеждъ. Въ глазахъ горѣла когда-то лампада счастія, но погасла и только дымомъ своимъ прикрыла все лицо).

[7]) Приведемъ для характеристики манеры Мальческаго слѣдующее четверостишіе, изображающее тоску Маріи послѣ отъѣзда Вацлава; здѣсь что ни слово, то аллегорія:

Już w jego proźnem miejscu zadumana, blada
Ciszę budząc wspomnieniem samotność osiada,
A na odłogu szczęścia zgryzota korzeni
Swe kolczaste łodygi robaczliwej rdzeni.

(Въ оставшемся послѣ него пустомъ пространствѣ садится блѣдное, задумчивое уединеніе, прерывающее тишину вздохами, а на паровомъ полѣ счастія коренится тоска и пускаетъ колючіе стебли, точимые червями).

мадную извѣстность, любовь и посмертную славу у молодаго поколѣнія, потому что среди педантской литературы, занятой холодною рефлексіею чувствъ и страстей, онъ заговорилъ языкомъ настоящаго, хотя и болѣзненнаго чувства. Притомъ, хотя воспроизведеніе прошедшаго составляетъ весьма второстепенный элементъ въ планѣ его поэмы, однако онъ, какъ великій художникъ, умѣлъ изобразить это прошедшее немногими, но весьма типическими чертами. Ястребиный профиль воеводы наводитъ ужасъ, исполинская фигура стараго Мечника кажется высѣчена изъ камня и просится въ эпосъ. Впрочемъ Мальческій схватилъ только нѣкоторыя стороны этого прошедшаго. Его Украйна есть Украйна магнатская и шляхетская. Простонародье является у него только какъ живописный аксессуаръ къ пейзажу, въ видѣ воеводскаго гонца-козака, скачущаго съ письмомъ къ Мечнику: «простъ былъ его поклонъ, коротко привѣтствіе, но онъ видимо выдается изъ толпы служителей; онъ крѣпостной, но свобода врождена ему отъ отца. Когда, гордо взглянувши, онъ требуетъ, чтобы его повели къ барину, то онъ кажется будто господиномъ среди провожающей его дворни»...[8]) Мальческій былъ совершенно чуждъ украинскому простонародью по своему воспитанію, онъ не видѣлъ его за шляхетствомъ, но онъ понялъ сердцемъ артиста красоты украинской природы, и неподражаемо передаетъ широкіе прямолинейные контуры степнаго пейзажа: «Взоръ бродитъ въ пространствѣ; но ему негдѣ пріютиться, и не подмѣтитъ онъ движенія. Солнце косвенно озаряетъ разстилающіяся нивы, изрѣдка пронесется воронъ, каркая и бросая отъ себя тѣнь, изрѣдка застрекочетъ полевая стрекоза въ бурьянахъ. Глухо кругомъ, только во воздухѣ какой-то гулъ. Мысли о прошедшемъ нельзя отдохнуть въ цѣлой этой странѣ ни на одномъ памятникѣ отцовъ, въ которомъ бы она могла сложить бремя скорбныхъ чувствъ. Ей слѣдуетъ развѣ, опустивъ крылья, погрузиться въ землю, тамъ найдетъ она древнія заржавѣлыя латы и кости, невѣдомо чьи: тамъ найдетъ она надежное зерно въ плодоносномъ пеплѣ или червей, упитывающихся свѣжимъ еще трупомъ, но по полямъ мысль эта блуждаетъ, ни за что не цѣпляясь, какъ отчаяніе, безъ пріюта, безъ цѣли, безъ границъ» [9]).

[8]) Prosty był jego ukłon, krotkie pozdrowienie,
Jednak róznym się zdaje od służalców grona,
Poddany, lecz swobodę z ojca powział łona,
I gdy spójrzawszy dumnie do pana iść żąda,
Sród wiodącej go zgrai jak władca wygląda....

[9]) Włóczy się wzrok w przestrzeni, lecz gdzie tylko zajdzie;
Ni ruchu nie napotka, ni spocząć nie znajdzie;
Na rozciągnięte niwy słońce skosa świeci —
Czasem kracząc i wrona i cień jej przeleci,
Czasem w blizkich burzanach swierszcz polny zaświerka.
I głucho, tylko jakoś w powietrzu rozterka.
To jakże? Myśl przeszłości w całej tej krainie,
Na żaden pomnik ojców łogodnie nie spłynie,
Gdzieby tęsknych uniesień złożyć mogło brzemię.

Несравненно глубже Мальческаго заглянули въ сердце Украйны Іосифъ Богданъ Залѣскій и Северинъ Гощиньскій. Мальческій догадывался только о сокровищахъ, таящихся въ украинской почвѣ. Залѣскій вскрылъ, можно сказать, эти сокровища, раскопалъ курганы, извлекъ оттуда груды драгоцѣнныхъ камней и выгранилъ ихъ съ такимъ искусствомъ, которое въ отчаяніе приводитъ переводчика и дѣлаетъ всякое подражаніе невозможнымъ. Въ этой поэтической отдѣлкѣ онъ не имѣетъ себѣ соперниковъ въ польской лирикѣ 19-го столѣтія. Нѣтъ ни одного польскаго писателя, который бы въ такой степени приближался къ идеалу объективной поэзіи какъ Залѣскій, который бы такъ мало вносилъ въ эту поэзію своего собственнаго, личнаго: можно сказать, что онъ не господствуетъ надъ матеріаломъ, но находится въ такомъ подчиненіи этому матеріалу, какъ зеркало или какъ эолова арфа, изъ которой каждое дуновеніе вѣтра извлекаетъ чудные звуки. Матеріалъ этотъ — козацкая дума, малороссійская пѣсня и сказка. Изъ этого заколдованнаго круга онъ не можетъ выйти никакимъ образомъ. Среди Альпійскихъ горъ онъ вспоминаетъ Рось, Тясьмину, въ римской Кампаніи онъ тоскуетъ по степямъ, настоящимъ варваромъ прохаживается онъ по Капитолію, но въ немъ вскипаетъ кровь при видѣ брата Славянина—умирающаго гладіатора [10]). Когда въ послѣдствіи Залѣскій пытался въ Святомъ Семействѣ (Przenajświętsza Rodzina) изобразить юность Христа, то и въ это библейское произведеніе онъ внесъ точно также свою родину, такъ что въ ней мало галилейскаго, іорданскаго, а толпы народа, спѣшащія въ Іерусалимъ на праздникъ, точь въ точь похожи на чумаковъ, располагающихся ночлегомъ, или на богомольцевъ, странствующихъ къ святымъ мѣстамъ, въ Почаевъ или въ Кіево-

Nie!--chyba lot zwinąwszy zanurzy się w ziemię:
Tam znajdźie zbroje dawne co zrdzewiałe leżą,
I kości co nie wiedzieć do kogo należą;
Tam znajdzie pełne ziorno w rodzajnym popiele,
Lub robactwo rozległe w świeżem jeszcze ciele;
Ale po polach błądzi niesparłszy się na nic,
Jak rozpacz—bez przytułku, bez celu, bez granic.

10) Wciąż na piersiach mnie dusi wczorajsza ta zmora;
Bystro w konającego twarz gladiatora
Patrzałem, aż mi żyła w skroń nabiegła sina
I w całej krwi zagrało: hura! Słowianina...
I gdziem się potem ruszył, w przeświętych pieczorach,
Zamierzchłych gdzieś stoleci brat ożył w posągu,
Jęknął co czuł i cierpiał w bolesnych dni ciągu;
W krużgankach Kapitolskich—odtąd ciąż na marach
Sunął się gladiator,—a noc straszna taka,
Jakbym w tarcze pogrzmiewał na godach Spartaka....

(Меня давитъ вчерашнее привидѣніе; я взглянулъ пристально на умирающаго гладіатора, и синія жилы выступили на лобъ, а въ крови всей взыграло славянское ура. Померкшихъ вѣковъ братъ ожилъ въ статуѣ и передалъ стономъ все, что перечувствовалъ и выстрадалъ онъ въ теченіи горькихъ дней. Гдѣ я ни толкался потомъ, въ священныхъ подземельяхъ, въ портикахъ капитолійскихъ, вездѣ преслѣдовалъ меня трупъ гладіатора, а ночь такая страшная, какъ будто бы я самъ гремѣлъ, ударяя щитомъ объ щитъ на свадьбѣ Спартака).... (Przechadzki po za Rzymem).

печерскую лавру. Для того, чтобы выйти изъ волшебнаго круга чисто украинскихъ представленій, Залѣскому недоставало широкаго философскаго образованія. Онъ въ томъ еще отношеніи близокъ и вѣренъ простонародью, отъ котораго бралъ изъ первыхъ рукъ тоны и краски, что никогда не сомнѣвался, не мудрствовалъ, не колебался, но отъ начала до конца былъ вѣрнымъ сыномъ церкви и миѳологіи христіанской. Отсутствіемъ философскаго элемента объясняется и то, что Залѣскій не создалъ ни одного великаго и цѣльнаго произведенія, для чего необходима философская мысль въ качествѣ цемента. Залѣскій пробовалъ въ поэмѣ *Духъ Степей* (Duch od stepu) построить нѣчто большее, представить въ связномъ эпосѣ исторію человѣчества, но, при превосходныхъ подробностяхъ, поэма вышла неудачна въ цѣломъ по бѣдности содержанія. Поэтъ разсказываетъ исторію своей души до рожденія; мать-Украина отдала эту душу на воспитаніе русалкамъ; по мановенію Божію, воздушная шалунья опускается, воплощается, тоскуетъ по своей заоблачной родинѣ и проживаетъ мысленно всѣ моменты развитія человѣчества, причемъ виновникомъ всѣхъ бѣдствій является горделивый разумъ, бунтующій противъ вѣры, и плотскія похоти,— какъ будто слышишь исповѣдь любого средневѣковаго монаха-аскета. Мѣстами разсказъ оживляется и блещетъ первостепенными красотами, напримѣръ, когда поэтъ рисуетъ переселеніе народовъ и Аттилу, но и то по той только причинѣ, по которой онъ не можетъ равнодушно относиться къ умирающему гладіатору, то есть потому, что онъ натолкнулся на варвара и на полчища, которыя представляютъ какъ бы первообразъ будущихъ козаковъ [11]). Но въ этомъ узкомъ кругѣ, въ которомъ вращается поэтъ, какая свѣжесть, какая игривость! это море свѣта въ каплѣ воды. Всѣ

[11]) W stal zakuty wódz na przedzie,
Przez bezdroża, jedzie—wiedzie—
Konny posąg Al-huk-ryka,
Niedzwiedziemi strzępi kudły,
Suchożyły, w kość zachudły
Boży gniew—twarz groźna, dzika,
Wzrok co nigdy się nie zmyka,
Bo powieki wrosły w czoło....
Jako rzeka w skałach stroma
Pluszcze za nim gwar w około:
«Roma! Roma! gdzie ta Roma?...»
 Konny poząg wódz na przedzie
Nieprzystępny, głuchy, niemy,
Przez bezdroża jedzie-wiedzie,
Nagle staje.—Tu spoczniemy.
Strona w stepach ta czy nieta?
Wnocy wskaże nam kometa!
Roma-Roma—niedaleko....
Tam za siódmą tylko górą
Za dziewiątą tylko rzeką....

(Закованный въ сталь вождь ѣдетъ, ведетъ по безпутьямъ,—конная статуя Аль-гунрика (всѣхъ Гунновъ царя), мохнатая какъ медвѣдь, сухожилая, сухощавая, изъ однихъ костей состоящая, Божій гнѣвъ, ликъ грозный и дикій, взоръ никогда несмыкающійся, потому что рѣсницы приросли ко лбу. Подобно рѣкѣ, прокладывающей себѣ путь между крутыхъ скалъ, шумятъ текущія за нимъ толпы: Римъ, Римъ, гдѣ же Римъ?

цвѣты радуги сіяютъ, искрятся, но сіяніе длится одну только минуту и исчезаетъ съ быстротою сгорающихъ потѣшныхъ огней. «Съ торбаномъ выросъ я,—говоритъ поэтъ,—Днѣпръ, Ивангора, въ дубравѣ хата старика знахаря,—все вижу я, точно вчера простился съ ними. Пѣли тамъ птицы чуть чуть божій день, и дѣвы пѣли на майданѣ, то раздавался мужественный голосъ воинской славы атамановъ — все смѣшалось въ одну живую пѣснь, и я испилъ эту пѣсню» [12]). Въ пѣснѣ Залѣскаго больше красокъ яркихъ, чѣмъ темныхъ, больше звуковъ радостныхъ, нежели скорбныхъ. Подобно Яну Кохановскому, къ которому онъ весьма близко подходитъ и по своей спокойной натурѣ, и по мелодичности своего стиха, Залѣскій избѣгаетъ диссонансовъ и отражаетъ одну только граціозную сторону народной украинской поэзіи; въ этомъ его прелесть, въ этомъ и слабость. Самыя удачныя его произведенія тѣ, въ которыхъ, взявъ за основаніе какой нибудь простонародный мотивъ, онъ ткалъ на этой канвѣ свои чудные фантастическіе узоры: таковы его *Русалки*, *Калиновый мостъ*, *Холмъ прощанія*. Гораздо менѣе удовлетворительны его эпическія рапсодіи. Малороссійскій народъ имѣлъ два эпоса, народныя былины Владимірова цикла, почти забытыя самимъ народомъ и уцѣлѣвшія только въ отрывочныхъ преданьяхъ, и—замѣнившія ихъ въ позднѣйшую эпоху козацкія думы, новый національный героическій эпосъ, живо сохранившійся до настоящаго времени. Залѣскому всего ближе знакомы были козацкія думы. Козачество возникло и развилось подъ крыломъ Польши, и только съ 17-го вѣка обратило противъ Польши оружіе междоусобной войны. Эта послѣдняя сторона козачества, обрызганная кровью, противна Залѣскому и по его натурѣ, ясной и мягкой, и по народности, какъ Поляку. Онъ и поставленъ былъ въ необходимость вернуться дальше назадъ, къ 16-му вѣку и воспѣвать событія и людей, о которыхъ онъ вычиталъ нѣчто въ старыхъ польскихъ хроникахъ, но которыхъ украинскій народъ успѣлъ перезабыть со временъ Богдана, напр.: походы Запорожцевъ за Черное море, Евстафія Дашковича, Ляха Сердечнаго (Передслава Ланцкоронскаго), атамана Косинскаго и храбраго Сагайдачнаго, ведущаго подъ Хотинъ свои полки подъ начальствомъ королевича Владислава. Всѣ выведенныя лица движутся стройно, рѣзво, красиво, живописно и складно, но въ томъ-то и ложь, что они не настоящіе, а балетные козаки, что они гладко причесаны,

Конная статуя—вождь неприступенъ, глухъ и нѣмъ, ѣдетъ, ведетъ по безпутьямъ; вдругъ онъ останавливается: здѣсь отдыхъ. Въ ту ли, въ другую ли сторону пойдемъ въ степяхъ? то скажетъ намъ комета ночью. Римъ, Римъ недалеко, за семью горами, за девятью рѣками).

[12]) Z torbanem wyrosł ja. Dniepr, Iwanhora,
Chata gdzieś w gaju starego znachora,
Widzę—ach—jakbym pożegnał je wczora:
Spiewało ptastwo tam byle dzień biały;
I znów dziewczęta z majdanu śpiewały;
To znowu męski głos wojennej chwały

*

что отъ нихъ несетъ духàми, а не дегтемъ, и что изъ-подъ ихъ булата брызжетъ кровь красивыми малиновыми струями. Въ этой миньятюрной живописи не отличишь вѣщаго Бояна отъ Вернигоры, князей и бояръ кіевскихъ отъ Хмѣльницкаго и Мазепы. Эта способность примирять противоположности и сглаживать диссонансы дѣлаетъ изъ Богдана Залѣскаго настоящаго панслависта. «Любо мнѣ въ славянскомъ гулѣ,—восклицаетъ онъ,—я рукоплещу, стоя на украинской могилѣ. Молодецъ Шафарикъ! Славно, Копитаръ! Давай побольше пѣсенъ, Вукъ Караджичъ! Остальное доскажемъ мы, гусляры» [13]). Въ особенности же эта способность поражаетъ насъ въ религіозно-миѳологическихъ произведеніяхъ Залѣскаго. Онъ до того сжился съ народными малороссійскими повѣрьями, что не различалъ, кто онъ, римскій ли католикъ, или православный, а за христіанскими образами и представленіями виднѣется у него старая славянско - языческая подкладка изъ древнихъ, померкшихъ до-историческихъ временъ (Księżna Hanka, Podzwonne ku ojcom). «Тучи гремятъ издали, снуетъ стая свѣтящихся ладей, святой архангелъ Михаилъ, стражъ земли нашей, смотритъ вправо и влѣво, весь яркій, межь тѣмъ какъ черти мчатся оврагами верхомъ на вихряхъ. Святой архангелъ Михаилъ несетъ на Божій дворъ на подушкѣ изъ тучъ свой свѣжій вѣнокъ изъ цвѣтовъ и листьевъ—душъ отцовъ. Тамъ Богъ исполнитъ обѣщаніе. Пора, пора, отзовитесь сердцами съ земли; звучно бряцайте на гусляхъ вслѣдъ за ними, да благословятъ насъ пречистые. Святый Боже, сильный Господь нашъ! Могилы полны костей отцовъ; души отцовъ высоко одесную Тебя. О Господь преподобный, милый, благослови насъ дѣтей твоихъ, сидящихъ на ихъ пашняхъ, какъ старыхъ кметей твоихъ, и благословенъ будь самъ между насъ на вѣкъ. Души отцовъ, пролетѣвшія сквозь семь золотыхъ небесъ, и на высокомъ дворѣ Господа вкушающіе хлѣбъ святыхъ его на вѣки, дуньте сладостью среди горечи дней на насъ, покорныхъ дѣтей вашихъ. Пречистые, веселые, какъ ликующіе ангелы господни, взгляните на міръ покаянія» [14])... «Господь, присущій въ храмѣ, совершаетъ таинство подъ звѣзднымъ шатромъ. Небеса горятъ, подножья столицы трепещутъ, служба великая, избранный ликъ святыхъ бьетъ челомъ на колѣ-

W cześć atamanow—mąciły się społem
W jedną pieśń żywą—i pieśń tę połnałem.
(Żywa pieśń.)

[13]) Lubuję bardzo w słowiańskim ja gwarze,
Klaskam od mogił w krąg na rozgraniczu,
Tak Szaffarzyku! tak, tak Kopitarze!
Pieśni hej dawaj, Wuku Karadziczu!
Resztę my powiem guślarze-gęślone.
(Gwar Słowiański.)

[14] Ho, ho, chmury z dalekich odgrzmiewają stron;
)Cma się wyrywa swiecących łodzi,
To Michał archanioł, ziemi naszej stróż,
Na lewo, na prawo,
Spoziera jaskrawo,

нях̆ъ. Дымъ куренья исходитъ изъ міровъ — золотыхъ сосудовъ, держимыхъ пречистыми. Книга—вѣчность, изъ книги струится потоками время, безчисленные солнечные круги извиваются лентами. Сколько тѣней, оттѣнковъ, дни, годы и столѣтія въ безконечномъ пространствѣ летятъ точно цвѣтистые листки» [15]). Тѣми качествами творчества, которыхъ недоставало Залѣскому, надѣленъ съ избыткомъ его землякъ и ровесникъ, Северинъ Гощиньскій. Онъ полюбилъ въ народной фантазіи дикое, темное, бѣсовское: зловѣщіе крики совъ, скрипѣніе мертвеца, качаемаго вѣтромъ на висѣлицѣ, и черную ночь, среди которой безпятый играетъ съ людьми злыя штуки. Онъ обладаетъ рембрандтовскою кистью для изображенія огневаго свѣта въ ночномъ мракѣ. Подъ днѣпровскими ли-

I czorty na wichrach mkną jarami już.
Swięty archanioł Michał na wezgłowiu chmur,
Swieży swoj wieniec kwieci i liści—
Dusze ojcòw—na Boży oto niesie dwór,
Gdzie obietnice Pan in uiści.
O! rzewniej sercami czas się ozwoć, czas!
Za gęslą od ziemi
Podzwończeż za niemi,
Niech pobłogosławią, o przeczyści, nas
Boże święty—o Mocny!—Hospodynie nasz!
Kości twych ojców pełne mogiły.
Dusze ojcow wysoko, na prawicy masz
O! hospodynie przedobry, miły,
Błogosław na roli ich siedzącym nam:
Jak starym swym kmieciom
Błogosław, o! dzieciom
I bądź, bądź pochwalon między nami Sam.
Dusze ojcòw! latowce siedmiu złotych Nieb
Na hospodyna wysokim dworze
Swiętych jego na wieki pożywacie chleb!
Ku nam — o! ku nam dzieciom w pokorze
Powiońcie słodkością w goryczach!
Przeczyści weseli,
Jak pańscy anieli,
Sród goòdw—patrzajcie na pokutny świat!

[15]) Pan przytomny w świątyni
Pod gwiaździstą oponą
Tajemnicę swą czyni,
I niebiosa wskróś płoną,
Drzą stołeczne podróża,
Wielka służba — Cześć Boża....
Lik najświętszych wybrany
Bije czoły, kolany;
Swiaty — złote naczynia
Które dzierżą przeczyści
Na około woń zioną....
Wieczność — księga, od księgi
Czas bujnie się strumieni,
Niezliczonych słońc kręgi
Zwija niby na wstęgi
Co w krąg cieni — półcieni?
Doby, lata, stolecia,
W niezmierzonej rozstrzeni,
Jako listki od kwiecia....
(Sam z pieśnią).

пали паробки и дѣвчата сошлись на вечерницу, поютъ, пляшутъ и цалуются вокругъ пылающаго костра, а немного подальше собралась иная, болѣе тихая компанія; тамъ бесѣдуютъ между собою бѣднякъ, несомый злымъ вихремъ, красный упырь, который въ полночь доитъ изъ косяка кровь сонныхъ дѣтей; вѣдьма, росою цвѣтовъ окропляющая сметану; некрещенная душа, которая стонетъ на высяхъ, огненный змѣй, изсушающій бабъ [16]).

Изученіе народныхъ суевѣрій у Гощиньскаго весьма серьозное; онъ не смотритъ на нихъ какъ на матеріалъ для поэтическихъ вымысловъ, онъ, какъ истый романтикъ, доискивается въ нихъ глубокаго смысла, и почти сожалѣетъ о томъ, что вліяніе цивилизаціи разорвало старинный союзъ первобытнаго человѣка-младенца съ природою-кормилицею; онъ ставитъ своей задачей возстановленіе этого древняго союза: «Земля стародавняя—говоритъ поэтъ—во время оно, теперешнее диво не было дивомъ; невидимыя силы играли видимо и сторожили человѣка, какъ ребенка. Въ воздухѣ, въ деревьяхъ, въ камняхъ, подъ водою, люди обрѣтали кровное сочувствіе; потому что они не презирали природу, они ее знали и любили какъ мать» [17]). И поэтичекіе пріемы у Гощиньскаго иные, произведенія его задуманы хитрѣе, нити разсказа сплетаются въ крѣпко завязанные узлы, выведены на сцену настоящіе характеры, не въ видѣ китайскихъ тѣней и силуэтовъ, какъ воевода и мечникъ у Мальческаго, но въ живомъ движеніи, въ борьбѣ и столкновеніи, и въ этомъ изображеніи характеровъ Гощиньскій обнаружилъ значительный драматическій талантъ, котораго нѣтъ и задатковъ ни у Мальческаго, ни у Залѣскаго. Кровь его не

[16]) Lecz niech bandurki i piszczałki dzwonią
Niechaj się płocho rozkochani gonią,
Niech ziemia tętni, gdy taniec zakręca
Z lekszej młodzieży zaplecione koło,
Niech na ustroniu dziewczę skryte połą
Bijącém łonem rozgrzewa młodzieńca.
Tam pod drzewami posiedzenie cichsze,
Tam skłonne serca i kielich godowy
Kupią płci obie na ważne rozmowy;
Tam nieszczęśliwy, znikły we złym wichrze,
Czerwony upior, co połnocną chwilą
Krecw sennych dzieci wydaja z odźwierka,
Wiezma oczyma wartowana tylą,
Co rosę z kwiatów na śmietanę cerka,
Jęcząca w górze nieochrzczona dusza,
Latawiec-gwiazda co kobiet wysusza,
Litość i trwogę budzą na przemiany.
(Zamek Kaniowski.)

[17]) Alež bo wówczas, ziemio starowiecka!
Dzisiejsze dziwy dziwami nie były:
Grały widomie niewidome siły
I pilnowały człowieka, jak dziecka.
W powietrzu, w drzewach, w kamieniu, pod wodą,
Krewne spółczucie ludzie znajdowali,
Bo nie gardzili na ówczas przyrodą,
Bo ją jak matkę znali i kochali.
(Sobótka.)

пугаетъ, руки его не дрожатъ, когда онъ вскрываетъ живую грудь съ равнодушіемъ анатома. По тому же тайному сродству, которое привлекало его къ мрачному въ суевѣріяхъ, его влекло къ такимъ именно событіямъ, которыя всего меньше пріятны Полякамъ, къ воспоминаніямъ, отъ которыхъ всякій радъ бы отвернуться, а именно къ Колищизнѣ, то есть къ тому крестьяскому бунту, который вспыхнулъ въ 1768 году, облилъ кровью Украйну и вызвалъ самыя свирѣпыя репрессаліи со стороны правительства польскаго и помѣщиковъ. Капитальное произведеніе Гощиньскаго — *Каневскій Замокъ*—имѣетъ слѣдующее содержаніе. Въ окрестностяхъ Смилы родился и выросъ козакъ Небаба, статный, смѣлый, ловкій молодецъ, который обольстилъ дѣвушку изъ того же селенія, Ксенію. Ксенія была испорчена и каждую ночь она бывало ждала къ себѣ огненнаго летуна—любовника. Небаба изъ пустой шалости выдалъ себя за такого летуна; но когда Ксенія привязалась къ нему на дѣлѣ и стала его преслѣдовать своею докучливою любовью, то Небаба бросилъ ее въ Днѣпръ, а самъ бѣжалъ. Эти событія случились до начала поэмы. Ксенія спаслась какимъ-то образомъ изъ воды, окончательно помѣшалась и бѣгала изъ селенія въ селеніе растрепанная, дикая, какъ зловѣщее привидѣніе, предсказывающее недобрыя событія. Страшныя событія готовились въ самомъ дѣлѣ, крестьяне точили ножи на пановъ, рѣзня готова была вспыхнуть. Ксенія появляется въ окрестностяхъ Канева — замка, принадлежащаго знаменитому по своей лютости старостѣ Николаю Потоцкому. Замокъ расположенъ надъ Днѣпромъ и господствуетъ надъ городкомъ того же названія. Въ замкѣ живетъ и бывшій любовникъ Ксеніи Небаба, который, поступивъ на службу къ старостѣ, за свою смѣтливость, храбрость и расторопность поставленъ начальникомъ надъ замковыми козаками старосты. Онъ страстно влюбленъ въ козачку Орлику, которая имѣла несчастіе обратить на себя вниманіе управляющаго замкомъ. Управляющій хочетъ на ней жениться и изобрѣтаетъ слѣдующую хитрость, чтобы вынудить отъ нея согласіе на этотъ бракъ. Братъ Орлики, козакъ, поставленъ ночью на часахъ близь висѣлицы; управляющій сманилъ его съ поста и приказалъ во время его отсутствія снять трупъ повѣшеннаго съ висѣлицы. Вина оплошнаго караульнаго такова, что онъ долженъ быть повѣшенъ. Управляющій предлагаетъ Орликѣ на выборъ или смерть брата или бракъ. Орлика рѣшается на послѣднее. Бракъ состоялся, Небаба внѣ себя отъ ярости; онъ клянется отмстить измѣнницѣ и ея Ляху, и навести на замокъ гайдамаковъ, но на всякомъ шагу ему мѣшаетъ докучливая Ксенія, отъ которой онъ не можетъ никакъ отдѣлаться. Онъ ударилъ ее въ високъ и обезобразилъ, онъ ранилъ ее ножемъ, но несчастная любитъ его пуще прежняго. Небаба отправляется тайкомъ въ разбойничій лагерь Швачки, но Швачка, старикъ, тяжелый на подъемъ и пьяница, не рѣшается на предлагаемое Небабою предпріятіе; между тѣмъ, когда Швачка, охмѣлѣвши отъ горилки, лежитъ безъ чувствъ, Небаба увлекаетъ за собою всю его ватагу, разсыпаетъ гай-

дамаковъ въ оврагахъ и кустарникахъ подъ самымъ Каневомъ, съ тѣмъ, чтобы въ слѣдующую ночь сдѣлать нападеніе и завладѣть замкомъ. Когда Швачка вытрезвившись увидѣлъ себя всѣми оставленнымъ, хитрый старикъ смекнулъ въ чемъ дѣло и вздумалъ предупредить Небабу; онъ бѣжитъ въ Каневъ и возмущаетъ мѣщанъ. Ни Швачка, ни Небаба не знаютъ, что регулярное войско польское приближается къ Каневу и окружаетъ ихъ со всѣхъ сторонъ и собирается накрыть ихъ. Въ то же время несчастная Орлика, которой не въ терпежъ брачное ложе, рѣшается зарѣзать мужа ночью. Раньше всѣхъ начинаютъ дѣйствовать Орлика и Швачка. Этотъ послѣдній врывается съ мѣщанами въ замокъ, поджигаетъ его, вламывается въ комнаты управляющаго и находитъ тамъ трупъ и помѣшанную женщину, облитую кровью. — Орлика бѣжитъ, ее преслѣдуютъ; бѣшеная погоня длится долго, преслѣдующіе взламываютъ дверь за дверью, и узнаютъ куда бѣжала несчастная по кровавому отпечатку руки ея на стѣнахъ. Послѣднее убѣжище Орлики — главная башня замка; убійцы готовы проникнуть туда, но въ ту самую минуту обрушились стропила пылающаго зданія и въ его развалинахъ гибнутъ и гонимая, и чернь, и самъ Швачка. Между тѣмъ Небаба, собравъ свою ватагу, направляется къ Каневскому замку, но наталкивается на регулярное войско. Происходитъ страшная сѣча, которую освѣщаетъ зарево отъ пожара замка и которая оканчивается тѣмъ, что раненаго Небабу Поляки берутъ въ плѣнъ. Замокъ не существуетъ, но на его дымящемся пожарищѣ побѣдители пытаютъ арестантовъ и совершаютъ казни. Небабу посадили на колъ, къ торчащему на деревѣ въ предсмертныхъ судорогахъ подбѣгаетъ Ксенія и ничѣмъ уже неудерживаемая кладетъ на замирающихъ устахъ страстный поцалуй. Поэтъ великолѣпно заканчиваетъ свой потрясающій разсказъ: «Когда духъ мой посѣщалъ побережье Днѣпра и останавливался на развалинахъ Канева, онъ отыскалъ еще слѣды ужаснаго дня гибели и разрушенія. По стѣнамъ алѣла еще кровь въ тѣхъ мѣстахъ, которыхъ касалась жена рукою, обагренною въ крови мужа, спасаясь отъ преслѣдующихъ ее убійцъ; крови этой ничто въ свѣтѣ не могло смыть, на мѣсто смытыхъ выступали новыя пятна, но само тѣло несчастной преступницы обратилось въ пепелъ и разсѣяно вѣтрами. Въ укромномъ уголку, покрытомъ мягкою травою, духъ мой нашелъ пряди растрепанныхъ кудрей Ксеніи, въ которыхъ птичка свила себѣ гнѣздо. Тутъ же лежала сталь отъ оружія Небабы, перегорѣвшая и почернѣвшая отъ огня; наконецъ, блуждая среди нагихъ череповъ, онъ откопалъ подъ обломками зданія торбанъ и одну только струну на этомъ торбанѣ. Ни годы, ни ненастья не могли помрачить золотистый блескъ этой струны, а любовникъ ея, вѣтеръ изъ сосѣдней рощи, каждую ночь повторялъ съ нею старое былое. Мнѣ полюбились острые звуки этой пѣсни» [18]). «Каневскій Замокъ» — не только замѣчательное художественное произ-

[18]) Gdy duch mój zwiedzał Dnieprowe pobrzeże
I na Kaniowa odpoczął ruderze,

веденіе, но и знаменательный фактъ въ исторіи польскаго общества. Съ такимъ безпристрастіемъ и безучастіемъ можно относиться лишь къ безвозвратно прошедшему, къ окончательно умершему. Поэма служитъ доказательствомъ того, что составъ общества измѣнился, что противоположности слились и перемѣшались, что «демоны разрушенія и соціальной войны возвратились въ адъ», что шляхетство и гайдамачество присмирѣли въ царствѣ тѣней въ одной общей могилѣ, а на могилѣ этой играетъ поэтъ на мѣдныхъ струнахъ своей лиры, предсказывая лучшее, болѣе гуманное будущее. Северинъ Гощиньскій принадлежалъ къ числу зачинщиковъ польскаго возстанія 1830 г.; послѣ неудачъ 1831 г. онъ долженъ былъ бѣжать за границу, изучилъ въ Галиціи бытъ и повѣрья карпатскихъ горцевъ, которые изобразилъ въ прекрасномъ отрывкѣ *Суботка;* потомъ написалъ еще поэму изъ шляхетскаго быта, съ примѣсью волшебства и чарованій, *Anna z Nadbrezu* и нѣсколько повѣстей прозою, между которыми важнѣе другихъ *Царь развалинъ* (Król zamczyska). Но ни одно изъ этихъ произведеній не можетъ равняться по достоинству съ «Каневскимъ Замкомъ». И Залѣскій и Гощиньскій до сихъ поръ живы; оба они выходцы, поселились во Франціи и давно уже перестали писать. Съ именемъ ихъ неразлучно воспоминаніе о недавно умершемъ въ Варшавѣ (1864) знатокѣ украинской исторіи и древностей и тонкомъ критикѣ, умѣвшемъ оцѣнить значеніе писателей школы украинской—Михаилѣ Грабовскомъ (Literatura i Krytyka, 2 t., 1837—1840).

Хотя украинская школа считала въ своихъ рядахъ замѣчательные таланты, но ихъ славу затмило новое свѣтило, которое взошло въ Литвѣ, и сдѣлалось на долго главнымъ представителемъ польской поэзіи 19-го вѣка во всѣхъ почти ея родахъ и направленіяхъ. Это свѣтило—Мицкевичъ. Онъ выросъ и образовался въ Вильнѣ, подъ вліяніемъ университетскаго препо-

Jeszcze tam w koło wyszukał on ślady
Dnia okropnego ostatniej zagłady:
Jeszcze po ścianach krew się czerwieniła,
Gdzie żona, gnana morderców pogonią,
Mytą w krwi męża, chwytała się dłonią;
Żadna wywabić nie mogła ją siła,
Na miejscu starej inna wystąpiła;
Ale nieszczęsne zabójczyni ciało,
W popioł przetlałe, w proch się rozleciało.
W porosłej mięką murawą uboczy
Trafił na kołtun kseninych warkoczy,
Ale w nim drobny gniezdził się już ptaszek.
Obok leżała, z Nebaby ratyszcza,
Stal, od płomienia w ciemny żużel zlana.
A błądząc długo śród skostniałych czaszek
Odgrzebał torban między gruzem zgliszcza,
I jedną strunę z całego torbana.
Ani lat ani pogody kolejе
Niemogły przyćmić złotego jej blasku;
A wiatr, kochanek z pobliskiego lasku,
Co noc z nią dawne odśpiewywał dzieje.
I jam polubił chrypliwe jej tony.

даванія, среди цѣлаго кружка молодежи, изъ котораго вышло много другихъ, болѣе или менѣе извѣстныхъ литераторовъ. Изъ профессоровъ онъ болѣе другихъ обязанъ филологу Нѣмцу Гроддеку и историку Лелевелю. Намъ слѣдуетъ теперь перенестись мысленно изъ Варшавы въ лѣса литовскіе и ягеллово Вильно, изучить условія, при которыхъ совершилось поэтическое воспитаніе литовскаго пѣвца, а также очертить при этомъ случаѣ и личность Лелевеля, который у учившейся въ Вильнѣ молодежи начиналъ пользоваться большимъ авторитетомъ. Преобразованный въ 1803 г., виленскій университетъ достигъ высшей степени процвѣтанія послѣ паденія Наполеона и вѣнскаго конгресса, при преобладаніи либеральнаго направленія въ дѣйствіяхъ правительства, подъ попечительствомъ князя Адама Чарторыжскаго, при ректорахъ Янѣ Снядецкомъ и Симонѣ Малевскомъ. Старые профессора изъ іезуитовъ перевелись, для пополненія персонала выписаны были изъ-за границы многіе ученые Нѣмцы и Итальянцы (Баянусъ, Гроддекъ, Лангдорфъ, Франкъ, Теронги, Капелли; оріенталистъ Мюнихъ). Лекціи читались по польски, по латыни, и по французски. Братья Снядецкіе отличались пуризмомъ въ языкѣ и понятіяхъ; литературу преподавали два классика, Евсевій Словацкій и Левъ Боровскій; впослѣдствіи, съ 1822, нѣмецкая трансцендентальная философія, которую ненавидѣлъ Янъ Снядецкій, нашла даровитаго защитника въ лицѣ шеллингіанца Іосифа Голуховскаго. Въ разнообразіи не было здѣсь конечно недостатка. Въ этотъ разношерстный, если можно такъ выразиться, университетъ поступилъ въ 1815 году на каѳедру всеобщей исторіи Іоахимъ Лелевель, бывшій воспитанникъ того же университета, родившійся въ Варшавѣ въ 1786 г. [19]). Первоначальное названіе этой фамиліи Loelheffel a Loewensprung и родомъ она изъ Пруссіи; дѣдъ Іоахима былъ королевскимъ лейбъ-медикомъ, отецъ совсѣмъ уже ополячился, получилъ въ 1777 г. польскій индигенатъ и былъ кассиромъ въ эдукаціонной коммиссіи; сынъ и не подписывался иначе какъ «Mazur», то есть мазовецъ по происхожденію. Іоахимъ родился можно сказать книжникомъ, страсть къ сочинительству и оригинальничанью обнаружилась въ немъ почти съ младенчества. Десятилѣтній мальчикъ дѣлалъ уже компиляціи, составлялъ извлеченія и таблицы изъ своихъ школьныхъ книгъ, и упрямился, не смотря на розги, давать субботѣ болѣе правильное по его мнѣнію названіе «шестка». Первые труды свои Лелевель сталъ издавать будучи студентомъ въ Вильнѣ (Historika, Edda Skandinawska, Rzut oka na Herule 1807, 1808). Всѣ силы и способности его ушли въ этотъ книжный міръ, такъ что для дѣйствительной жизни не осталось ничего. Въ жизни практической онъ былъ самый ненаходчивый человѣкъ и чудакъ, но умъ его, необыкновенно живой и дѣятельный, работалъ безпрестанно, сочетая, группируя все, что онъ вычиталъ и усвоилъ обширною своею памятью и

[19]) Автобіографія Лелевеля издана подъ заглавіемъ: Przygody w poszukiwaniach i badaniu rzeczy narodowych polskich, przez Joachima Lelewela. Poznań u Żupańskiego 1858.

строя безчисленное множество смѣлыхъ и новыхъ гипотезъ. Такимъ образомъ въ этой счастливой въ научной отношеніи психической организаціи совмѣщались въ ровной почти степени два рѣдкія условія, встрѣчающіяся обыкновенно врозь: необыкновенная усидчивость при усвоеніи себѣ самаго обширнаго и безвкуснаго матеріала, самыхъ сухихъ подробностей, и умъ самый индуктивный, способный по нѣсколькимъ чертамъ возстановить характеръ. При этихъ данныхъ замѣчалось еще и совершенное отсутствіе художественности и полная неспособность къ историческому живописанію угадываемыхъ и превосходно понимаемыхъ событій. Лелевель игралъ странную роль во всѣхъ совѣщательныхъ собраніяхъ, напримѣръ на сеймѣ въ Царствѣ Польскомъ и въ составѣ революціоннаго правительства въ 1831 г., гдѣ онъ служилъ громоотводомъ для остальныхъ членовъ этого правительства; публика считала его радикаломъ, между тѣмъ какъ Лелевель, мысленно не соглашаясь съ товарищами и пожимая плечами, авторитетомъ своего имени санкціонировалъ иногда самыя ретроградныя мѣры и мнѣнія, которымъ вовсе не сочувствовалъ. Но на каѳедрѣ Лелевель былъ точно въ своей стихіи; какъ ученому кабинетному, знающему свѣтъ изъ книгъ и посредствомъ книгъ; ему нужны были для того, чтобы одушевиться, отрывокъ хроники, старый пергаментъ или древняя монета. У Лелевеля было всегда больше мыслей, нежели словъ, о внѣшности своего преподаванія онъ нисколько не заботился, такъ что онъ никогда не выучился совладать съ своимъ слогомъ, который у него былъ самый варварскій и запутанный, но вмѣстѣ съ тѣмъ лаконическій и оригинальный. Отвращеніе отъ рутины и отъ торныхъ дорогъ заставило его изобрѣсти даже свое особенное правописаніе. Совершенный аскетъ, одинокій, безсемейный, Лелевель работалъ съ трудолюбіемъ болландиста и вмѣстѣ чрезвычайно быстро, и производилъ страшно много, писалъ о самыхъ разнообразныхъ предметахъ, о судьбѣ древней Индіи и царствованіи Станислава Августа, о меркантильной политикѣ Карѳагена, о древнихъ Славянахъ, куфическихъ монетахъ и о польскомъ лѣтописцѣ Матвѣѣ герба Холева; передѣлывалъ старые учебники (Teodor Waga przerobiony) и составлялъ новые (Dzieje powszechne); издавалъ руководство къ библіографіи (Bibliograficznych Ksiąg dwoje) и древніе памятники польскаго законодательства (Księgi ustaw polskich i mazowieckich). Чуждый всякихъ современныхъ политическихъ тенденцій и всякой національной и религіозной исключительности, Лелевель съ такою же любовью относился къ корсунскимъ вратамъ св. Софіи въ Новгородѣ, какъ и къ гнѣзненской святынѣ, къ Руси какъ и къ Польшѣ. Въ польской исторіи онъ всего больше работалъ надъ періодомъ Пястовъ, сожалѣлъ о порабощеніи кметей въ 11-мъ столѣтіи и возвращался особенно охотно къ двумъ личностямъ, знаменующимъ усиленіе монархической власти: къ Болеславу Храброму, впервые опредѣлившему оружіемъ границы польскаго государства, и къ Владиславу Локтику, собирателю польской земли послѣ неурядицъ удѣльнаго періода. Товарищи Лелевеля по виленскому

университету не умѣли оцѣнить его, что и заставило его въ 1818 покинуть Вильно и уѣхать въ Варшаву, но молодежь осталась сердцемъ привязана къ геніальному изслѣдователю, общество сожалѣло о его потерѣ, такъ что когда Лелевель былъ выбранъ вторично по конкурсу въ 1821 г. на ту же каѳедру, то возвращеніе его сдѣлалось настоящимъ торжествомъ. Оно понятно между прочимъ и по стихамъ, которые въ честь возвращающемуся написалъ Мицкевичъ [20]). Впрочемъ Лелевелю пришлось не долго быть профессоромъ. Въ Вильно назначенъ былъ попечителемъ сенаторъ Новосильцевъ, начались строгія преслѣдованія студентскихъ обществъ; Лелевель былъ удаленъ отъ должности вмѣстѣ съ Голуховскимъ и нѣкоторыми другими товарищами. Онъ возвратился въ Варшаву, къ несчастію своему выбранъ депутатомъ на сеймъ въ 1829 г., участвовалъ во всѣхъ его дѣйствіяхъ и былъ до самаго конца мятежа членомъ революціоннаго правительства. Онъ долженъ былъ бѣжать за границу и влачить горькую жизнь скитальца безъ денегъ, безъ книгъ, записокъ и извлеченій, на которые онъ потратилъ столько труда. Изгнанный изъ Франціи, онъ съ 1822 г. поселился въ Брюсселѣ, гдѣ и провелъ 29 лѣтъ въ страшной, но добровольной нищетѣ, передѣлывая, дополняя старыя сочиненія (Polska wiekow średnich, четыре тома; Polska, dzieje i rzeczy, въ семи томахъ), издавая новыя работы по части нумизматики (La numismatique du moyen âge, 1835) и географіи (Pytheas de Marseille, Géographie du moyen âge), питаясь скудными гонораріями въ нѣсколько десятковъ или сотенъ франковъ за томъ, а иногда отказывая себѣ въ дровахъ и теплой пищѣ, чтобы пріобрѣсти какую нибудь книгу или атласъ. Лелевель умеръ, имѣя 76 лѣтъ, въ 1862 г. въ Парижѣ, куда перевезенъ былъ друзьями передъ самою своею кончиною.

Адамъ Мицкевичъ былъ двѣнадцатью годами моложе Лелевеля; онъ родился на канунѣ Рождества 1798 г. въ старинной столицѣ Миндовга Новогрудкѣ (минской губ.), почти на самой этнографической границѣ двухъ племенъ — бѣлорусскаго и литовскаго [21]). Въ Литвѣ и въ особенно-

[20]) O, długo modłom naszym będący na celu,
Znowuż do nas koronny znijdziesz Lelewelu!...

Въ слѣдующемъ отрывкѣ изображено направленіе преподаванія Лелевеля:

A słońce prawdy wschodu niezna ni zachodu,
Równie chętnie każdego plemionom narodu,
I dzień lubiące każdej rozszerzać ojczyznię,
Wszystkie ziemie i ludy poczyta za bliźnie.
Z tąd kto się w przenajświętszych licach jej zacieka,
Musi sobie zostawić czystą treść człowieka.

(Солнце истины не знаетъ ни востока, ни запада, оно охотно и безразлично даритъ день всѣмъ племенамъ и всякому отечеству, а потому тотъ, кто хочетъ наслаждаться его лицезрѣніемъ, долженъ быть вполнѣ человѣкъ).

[21]) Adam Mickiewicz, rys biograficzny (изъ Postępu), Wiedeń 1863. См. также біографію Мицкевича, написанную Войцицкимъ, въ варшавскомъ изданіи сочиненій Мицкевича, 1858.

сти въ принѣманскихъ и привилійскихъ ея частяхъ было вообще не много магнатскихъ родовъ и помѣстій, за то особенною многочисленностью и густотою отличался классъ мелкопомѣстной и даже безпомѣстной шляхты, хранящей крѣпко старые обычаи и преданія бывшей Рѣчи посполитой. Сильныя связи, основанныя на этихъ преданіяхъ, соединяли помѣщиковъ, владѣющихъ населенными имѣніями и потому пользующихся если не богатствомъ, то по крайней мѣрѣ достаткомъ, съ цѣлыми селеніями или такъ называемыми «застѣнками», околичныхъ, сѣриковъ-шляхтичей, которые не имѣя крестьянъ, сами обработывали свои небольшіе поземельные участки и которые въ быту своемъ весьма немногимъ отличались отъ крестьянъ. Отношеніе помѣщиковъ къ крестьянамъ, хотя патріархальныя, не были однако слишкомъ дурны, или лучше сказать были на столько сносны, на сколько они могли быть таковы при существованіи крѣпостнаго права; по крайней мѣрѣ элементъ козачества и общихъ крестьянскихъ возстаній былъ до того времени чуждъ крестьянскому народонаселенію Литвы. Помѣстья держались въ однихъ и тѣхъ же родахъ, старый обычай сдерживалъ наклонность къ роскоши, нравы были гостепріимные, но простые, а при малой предпріимчивости и коммерческой смѣтливости въ характерѣ шляхты, еще не начиналась экономическая эксплуатація крестьянина, которая такъ сильно развилась впослѣдствіи, въ особенности послѣ 1830 г. Такова была среда, которую поэтъ воспѣлъ потомъ въ «Панѣ Тадеушѣ». Родители Мицкевича принадлежали къ числу небогатыхъ мелкихъ помѣщикокъ и жили въ стѣсненномъ положеніи, обремененные довольно значительнымъ семействомъ. На десятомъ году Мицкевичъ поступилъ къ отцамъ-доминиканцамъ въ Новогрудокъ въ училище, въ 1812 г. онъ потерялъ отца, былъ свидѣтелемъ величайшаго событія первой четверти 19-го столѣтія, похода Наполеона на Россію. Это событіе какъ лучезарное видѣніе ослѣпило пылкаго юношу и навсегда врѣзалось въ его памяти. Съ Наполеономъ шли польскіе легіонисты, бѣлые орлы рядомъ съ золотыми орлами первой имперіи, и оба эти представленія неразрывно связались въ душѣ Мицкевича [22]), который съ тѣхъ поръ и сдѣлался наполеонистомъ, и у котораго въ послѣдствіи, подъ конецъ его жизни, расположеніе къ Наполеону I превратилось въ мистическое обожаніе этой личности (см. Cours de littérature slave 1842 — 1843, послѣдняя лекція). Въ 1815 г. Мицкевичъ поступилъ въ виленскій университетъ, слушалъ Лелевеля, познакомился у Гроддека съ нѣмецкою критикою въ примѣненіи къ классической филологіи, очень много читалъ, начиналъ

[22]) O wiosno! kto cię widział wtenczas w naszym kraju
Pamiętna wierno wojny, wojno urodzaju!
O wiosno! kto cię widział jak byłaś kwitnąca
Zbożami i trawami a ludzmi błyszcząca,
Obfita we zdarzeniu, nadzieją brzmienna!
Ja ciebie dotąd widzę, piękna maro senna!....
Ja jedną tylko wiosnę taką miałem w życiu.
Urodzony w niewoli, okuty w powiciu.
(Pan Tadeusz, XI.)

даже писать, находя сильное сочувствіе и поддержку въ кружкѣ университетскихъ товарищей. Въ то время въ Вильнѣ было много обществъ, терпимыхъ правительствомъ и преслѣдовавшихъ извѣстныя литературныя или нравственныя цѣли. Двѣ масонскія ложи существовали съ давнихъ поръ, профессора и старые литераторы составили съ 1807 г. общество такъ называемыхъ Сорвиголовъ (Szubrawce), раціоналистовъ и пуристовъ, трунившихъ надъ туманностью нѣмецкой философіи и надъ романтическими стремленіями молодежи (Шубравцы издавали журналъ «Вѣдомости съ мостовой» — Brukowe Wiadomości); наконецъ студенты образовали съ давнихъ поръ обширную ассоціацію «Филаретовъ», съ цѣлью вспоможенія бѣднымъ и успѣшнаго занятія науками. Мицкевичъ вступилъ въ общество Филаретовъ и здѣсь сошелся очень близко съ нѣкоторыми людьми, которые потомъ сдѣлались извѣстны въ литературѣ: Иваномъ Чечотомъ, собирателемъ народныхъ пѣсенъ, А. Э. Одыньцомъ, отличнымъ переводчикомъ иностранныхъ поэмъ изъ эпохи романтизма, съ оріенталистомъ Алекс. Ходзько, съ юристомъ Францомъ Малевскимъ, въ особенности съ Ѳомою Заномъ (род. 1795), который стоялъ во главѣ молодежи и былъ любимцемъ и оракуломъ студентовъ, ихъ законодателемъ и организаторомъ. Первые опыты поэта не обѣщали ничего особеннаго. Старѣйшее изъ извѣстныхъ стихотвореній, *Городская зима* (Zima miejska), написано въ дидактическо-описательномъ родѣ, по сильному языку и манерѣ оно напоминаетъ Трембецкаго и изображаетъ зимнія удовольствія и забавы въ городѣ. Къ тому же вполнѣ классическому роду принадлежатъ изъ позднѣйшихъ произведеній молодости Мицкевича «Шашки» (Warcaby), стихи къ Іоах. Лелевелю, къ доктору С., «Господинъ Баронъ» и нѣкоторыя шуточныя мѣста въ «Панѣ Тадеушѣ», гдѣ торжественность образовъ и подобій вызываетъ улыбку своей противоположностью съ простотою самаго обыденнаго содержанія. Классическій стиль былъ для Мицкевича небольше какъ игрушка; къ иной дѣятельности звали его изученіе иностранныхъ великихъ поэтовъ начала 19-го вѣка и подходящая волна романтизма, которая увлекала за собою все молодое поколѣніе. Изъ великихъ современныхъ поэтовъ на Мицкевича особенно сильное вліяніе оказали Гёте и Байронъ, напротивъ Шиллеръ дѣйствовалъ весьма слабо, что объясняется коренным различіемъ народныхъ характеровъ нѣмецкаго и польскаго. И Шиллеръ и Мицкевичъ были энтузіасты; но неопредѣленная сладкая мечтательность Шиллера, его стремленіе къ доброму и прекрасному съ полнымъ сознаніемъ о неосуществимости того и другаго (о томъ, что das Dort ist nimmer hier) не приставали къ славяно-польской натурѣ Мицкевича, не отдѣляющей такимъ образомъ слова и дѣла и не понимающей чисто платонической любви къ идеалу. Первый толчекъ къ самобытному творчеству дала Мицкевичу страсть къ женщинѣ безъ взаимности съ ея стороны. Еще будучи студентомъ, Мицкевичъ влюбился въ сестру одного изъ своихъ товарищей, Марію Верещака, которую родители выдали между тѣмъ замужъ за богатаго помѣщика Путкамера. Ни по возрасту, ни по состоянію Мицкевичъ

не былъ ей пара, да и по характеру едва ли онъ былъ бы съ нею счастливъ, потому что его «Марыля» была женщина спокойная, положительная; ей могъ нравиться пылкій юноша, но она его не обнадеживала и охотно приняла предложенную ей приличную партію. Этотъ бракъ случился въ то время, когда Мицкевичъ опредѣленъ былъ учителемъ латинскаго и польскаго языковъ въ уѣздное училище въ Ковнѣ. Тогда и обнаружилась главная черта психическихъ свойствъ Мицкевича, необыкновенная, мужественная чувствительность, дѣлающая его способнымъ ощущать несравненно сильнѣе другихъ и радость и горе. Его энтузіазмъ для всякой великой идеи былъ пламенный, сильный, потрясающій всѣ нервы, напрягающій всѣ мышцы воли—настоящій орлиный полетъ генія, направляемый вѣрою въ достиженіе даже несбыточнаго и невозможнаго. Такова его ода къ юности, сдѣлавшаяся марсельезою молодаго поколѣнія: «Кто, бывъ ребенкомъ, въ колыбели обезглавилъ гидру, тотъ возмужавъ задавитъ кентавровъ, исторгнетъ жертвы у ада, взойдетъ на небо за лаврами. Бери, чего взоръ не обнимаетъ, ломи, чего разумъ не сломитъ. О юность! орлиная сила въ твоихъ крыльяхъ и грому подобна твоя рука!—Друзья, рука въ руку, давайте опояшемъ одною цѣпью весь шаръ земной, соединимъ мысли и духъ нашъ въ одинъ фокусъ!.. Впередъ, впередъ, міръ-громада, мы толкнемъ тебя на новые пути; освободившись отъ заплѣснѣвѣвшей коры, ты вспомянешь зеленые года» [23]). Мицкевичъ не умѣлъ совладать съ своимъ вдохновеніемъ; въ минуты, когда по выраженію друга его Пушкина, «быстрый холодъ вдохновенія подымалъ у него волосы на челѣ», Мицкевичъ обращался въ вѣщую Пиѳію, въ древняго sacer vates, пламенѣющаго божественнымъ огнемъ. Сраженный горемъ, онъ впадалъ въ отчаяніе, доходившее до безумія. Одынецъ разсказываетъ, что когда онъ навѣстилъ Мицкевича въ Ковнѣ вскорѣ послѣ выхода замужъ Маріи Верещака, то Мицкевичъ, читая ему свой переводъ Чайльдъ-Гарольдова прощанія, пришелъ въ такое волненіе при словахъ: Czegoż mam płakać za kim i po kim, kiedy nikt po mnié niepłacze,—что упалъ въ обморокъ. Впрочемъ отчаяніе Мицкевича имѣло характеръ активный, оно не высказывалось въ пассивной тоскѣ, но разражалось воплемъ раненаго, про-

[23]) Dzieckiem w kolebce kto łeb urwał hydrze,
Młodzieńcem zdusi Centaury,
Ten piekłu ofiarę wydrze
Do nieba sięgnie po laury!
Tam sięgaj—gdzie wzrok niesięga;
Łam—czego rozum nie złamie.
Młodośći, orla twych lotów potęga
Jako piorun twoje ramie!
 Hej! ramie do ramienia! spólnemi łańcuchy
Opaszmy ziemskie kolisko!
Zestrzelmy myśli w jedno ognisko,
I w jedno ognisko duchy!....
Dalej z posad, bryło świata!
Nowemi się pchniemy tory,
A spleśniałej zbywszy się kory
Zielone przypomnisz lata.

тестомъ, жаждою мести, крикомъ бойца, не сдающагося даже въ минуту смерти. Ни у кого страданіе не было въ такой степени плодотворно, производительно; по мѣрѣ того, какъ утихали первыя судороги раздраженнаго чувства, изъ наболѣвшаго сердца выливались чудныя произведенія, отличающіяся неподражаемою свѣжестью и непосредственностью чувства. Поэтъ зналъ за собою этотъ даръ и изобразилъ его въ одномъ изъ крымскихъ сонетовъ, подъ заглавіемъ «Аюдагъ» [24]). Страсть, мучившая Мицкевича, была глубокая и продолжительная; девять лѣтъ спустя (1829), послѣ множества пережитыхъ событій, его преслѣдовалъ еще въ Альпахъ образъ любимой женщины [25]). На первыхъ порахъ въ Ковнѣ онъ жилъ уединенно, мрачнымъ нелюдимомъ, потомъ онъ написалъ два капитальныя произведенія перваго періода своего творчества, *Поминки* (Dziady) и *Гражину*. Въ католической церкви день 2 ноября посвященъ памяти умершихъ предковъ. По обычаю, восходящему ко временамъ язычества и сохраняющемуся не смотря на противодѣйствіе со стороны духовенства, простой народъ собирается въ этотъ день на кладбищѣ, ставитъ на могилахъ яствы и напитки и угощаетъ ими мертвецовъ. На этой основѣ поэтъ построилъ обширное произведеніе, въ нѣсколькихъ частяхъ, изъ которыхъ первая и до сихъ поръ не издана (нѣкоторые отрывки помѣщены въ парижскомъ полномъ собраніи сочиненій Мицкевича 1860, т. 3-й), а вышли въ свѣтъ сначала только части вторая и четвертая. Вторая часть «Поминокъ» представляетъ въ лицахъ простонародный обрядъ. Толпа собралась, тайкомъ отъ ксендза, въ развалинахъ старой церкви ночью; главное дѣйствующее лицо, гусляръ-знахарь, вызываетъ по очереди духовъ, блуждающихъ за грѣхи свои между небомъ и землею; когда ни молитвы, ни яствы, ни питья не помогаютъ страданіямъ того или другаго привидѣнія, тогда гусляръ гонитъ ихъ прочь

[24]) Podobnie na twe serce, o poeto młody,
Namiętność często groźne wzburza niepogody,
Lecz gdy podniesiesz bardon, ona bez twej szkody
Ucieka w zapomnienia pogrążyć się toni
I nieśmiertelne pieśni za tobą uroni,
Z których wieki uplotą ozdobę twych skroni.

(И въ твоемъ сердцѣ, молодой поэтъ, страсть возбуждаетъ часто грозныя ненастья, но когда ты поднимешь лиру, она, не причинивъ тебѣ вреда, бѣжитъ погрузиться въ забвеніе и роняетъ за собою безсмертныя пѣсни, — вѣка сплетутъ изъ нихъ вѣнокъ и украсятъ имъ твое чело).

[25]) Nigdy więc, nigdy z tobą rozstać się nie mogę!
Morzem płyniesz i lądem idziesz zemną w drogę,
Na lodowiskach widzę błyszczące twe ślady,
I głos twój słyszę w szumie alpejskiej kaskady;
I włosy mi się jeżą, kiedy cię oglądam,
I postać twą widzieć lękam się i żądam.

(И такъ я не могу разстаться съ тобой; ты слѣдуешь за мною и на морѣ и на сушѣ; твои блестящіе слѣды вижу я на ледникахъ и слышу голосъ твой въ шумѣ альпійскаго водопада; волоса становятся у меня дыбомъ, когда я вижу тебя; я и боюсь и желаю созерцать твое лицо).

знаменіемъ креста и молитвой. Въ четвертой части сцена дѣйствія перенесена въ домъ ксендза; ксендзъ собирается ужинать съ дѣтьми, входитъ въ странномъ нарядѣ отшельникъ, въ которомъ ксендзъ узнаетъ потомъ бывшаго любимаго ученика своего Густава. Густавъ помѣшанъ; безсвязныя рѣчи его и костюмъ вызываютъ смѣхъ дѣтей, но изъ нихъ брызжутъ слезы и кровь. Густавъ страстно влюбился въ женщину, которая играла съ нимъ и отдалась другому; онъ не можетъ вынести сердечной муки и рѣшается наложить на себя руки. Потомъ, когда онъ пронзилъ себя кинжаломъ, оказывается, что онъ пришлецъ съ того свѣта, духъ, которому въ наказаніе за грѣхи суждено ежегодно опять переживать для назиданія и предостереженія живущихъ всѣ тѣ страданія, которыя онъ испыталъ передъ смертію. Быть можетъ ни у кого со временъ Шекспировскаго Ромео и Джульетты любовь къ женщинѣ не выражалась такъ нѣжно и страстно, и вмѣстѣ такъ просто и естественно. Въ «Гражинѣ» Мицкевичъ доказалъ, что кромѣ удивительнаго лиризма, онъ обладаетъ и сильнымъ эпическимъ талантомъ. Сюжетъ взятъ изъ исторіи той старой языческой Литвы, которой каменныя развалины торчатъ до сихъ поръ по берегамъ Нѣмана и Виліи, иззубренныя мечами монаховъ-рыцарей тевтонскаго ордена. Задача состояла въ томъ, чтобы представить геройскій типъ женщины Литовки, которая цѣною собственной жизни спасаетъ край свой отъ Нѣмцевъ, а мужа своего князя новогрудскаго Литавора отъ измѣны родному племени, которую онъ готовъ былъ совершить, призывая Нѣмцевъ противъ князя Витовта. Стихотворенія Мицкевича изданы въ свѣтъ въ двухъ томахъ, въ 1822 и 1823 г.; слава поэта распространялась; пѣвца любви любили и ласкали дамы, товарищи по университету навѣщали его въ Ковнѣ, поддаваясь обаянію его пылкой, энергической натуры, онъ самъ дѣлалъ частыя поѣздки въ Вильно, куда окончательно переселился въ 1823 году. Здѣсь онъ охотно импровизировалъ въ кружкѣ друзей, при звукахъ музыки, за бокаломъ вина. Это была самая счастливая пора его жизни. Ее прервало событіе, которое сильно потрясло его, дало новый строй его чувствамъ, и его мыслямъ новое направленіе, которому онъ остался вѣренъ до конца жизни. Въ Вильно пріѣхалъ Новосильцевъ, между студентами начались аресты. Новосильцевъ игралъ ту же роль въ Вильнѣ, какую Магницкій въ Петербургѣ и въ Казани. Преслѣдованіе тайныхъ обществъ и студенческихъ ассоціацій въ Германіи послѣ убійства Коцебу въ 1819 г., отразилось рикошетомъ и въ русской административной средѣ; къ подозрѣнію въ вольнодумствѣ присоединились подозрѣнія въ національномъ недоброжелательствѣ. Ассоціація Филаретовъ, закрытая въ 1822 г. и продолжавшая существовать въ тайнѣ, сдѣлалась предметомъ слѣдствія, къ которому привлечено было множество лицъ, за дѣянія, совершенныя до запрещенія указомъ 1822 г. всякихъ обществъ и ассоціацій. Мицкевичъ, арестованный въ ноябрѣ 1823, содержался въ тюрьмѣ до октября 1824 г.; свое тогдашнее перерожденіе онъ выразилъ въ составленной изъ тюремныхъ воспоминаній третьей ча-

сти «Поминокъ», въ той сценѣ, гдѣ узникъ пишетъ углемъ на стѣнѣ: Gustavus obiit MDCCCXXIII calendis novembris.—Hic natus est Conradus. Юноша сталъ мужемъ, струны любви порвались и замолкли, одно глубокое чувство воцарилось безраздѣльно въ душѣ поэта—привязанность къ родной странѣ, къ обществу, изъ котораго онъ выросъ. Этимъ чувствомъ вдохновлены три величайшія произведенія Мицкевича: *Конрадъ Валленродъ*, третья часть *Поминокъ* и *Панъ Тадеушъ*. Русской публикѣ хорошо извѣстенъ «Валленродъ» изъ нѣсколькихъ русскихъ переводовъ поэмы, и это избавляетъ меня отъ необходимости передавать подробно ея содержаніе [26]).

Поэма исполнена недостатковъ въ частностяхъ; широкій колоссальный планъ, по которому она задумана, не выполненъ какъ слѣдовало. Мораль произведенія весьма опасная; она столь же сомнительна, какъ и тотъ эпиграфъ, взятый изъ Макіавелли, которымъ поэма помѣчена: Sono due generazioni di combattere; bisogna essere volpe e leone. Такія положенія вообще похожи на тѣ обоюдуострыя орудія, которыми порѣжетъ себя прежде всего рука, хватающаяся за нихъ для употребленія ихъ въ дѣло. Если устранимъ эту нравственную сторону задачи и посмотримъ на поэму съ точки зрѣнія художественной, то и здѣсь насъ поразитъ невыдержанность характеровъ, отсутствіе объективности, приписываніе историческимъ лицамъ невозможныхъ мыслей и чувствъ, свойственныхъ людямъ 19-го столѣтія, но никакъ не среднихъ вѣковъ. Дѣйствіе идетъ скачками, многое интересное не досказывается и едва обозначено, какъ напримѣръ походъ ордена на Литву; старый Альфъ, носящій подложное имя Валленрода и званіе великаго магистра, мужъ крови и дѣла, въ которомъ замерли всѣ чувства кромѣ непримиримой ненависти къ ордену, сантиментальничаетъ съ неменѣе пожилою Альдоною, и возвратившись изъ похода, въ которомъ онъ извелъ измѣною тысячи Нѣмцевъ, разсказываетъ ей и о камняхъ ковенскаго замка, и о аллеяхъ изъ вербъ, и о цвѣткахъ любимой долины, какъ будто нашъ современникъ, анализирующій по кусочкамъ свои представленія и мысли. Сѣдая Альдона кокетливо отказывается выйти изъ своей башни и бѣжать съ Альфомъ, боясь, чтобы мужъ не разлюбилъ ее, увидавъ, что она стара и безобразна. Всѣ эти странности и анахронизмы забываются при созерцаніи исполинской фигуры Альфа въ минуту, когда съ величавымъ презрѣніемъ онъ скидаетъ съ лица маску лицемѣрія и, попирая ногами магистерскій крестъ, смѣется страшнымъ смѣхомъ утоленной ненависти.

«Вотъ грѣхи моей жизни!... я готовъ умереть: что же вы еще хотите? вы требуете отъ меня отчета по должности? Посмотрите на тысячи погибшихъ, на города въ развалинахъ, на выжженныя владѣнія... Слышите

[26]) Русскіе переводы Шершеневича въ «Современникѣ» 1858, Бенедиктова и другихъ.

вихорь, онъ мчитъ тучи снѣга, тамъ замерзаютъ остатки вашей рати! Слышите, воютъ стада голодныхъ псовъ... Они грызутся надъ остатками пира!... Все это я сдѣлалъ, я великъ и гордъ; столько головъ у гидры отсѣкъ я однимъ ударомъ; подобно Самсону потрясши одинъ столбъ, я разрушилъ все зданіе и гибну подъ его обломками!..» [27]). «Валленродъ» представляетъ величественный апотеозъ силы воли. Мицкевичъ писалъ его во время своихъ странствованій по Россіи. Въ октябрѣ 1824 отправленный съ товарищами въ Петербургъ, онъ былъ по собственному желанію высланъ въ Одессу для опредѣленія профессоромъ въ ришельевскій лицей, но этотъ проэктъ не осуществился, по неимѣнію вакантныхъ каѳедръ. Мицкевичъ пробылъ безъ всякихъ занятій девять мѣсяцевъ въ Одессѣ, побывалъ въ Крыму, оттуда вывезъ впечатлѣнія для своихъ *Крымскихъ сонетовъ* и *Фариса*, въ которыхъ врожденная ему торжественность и важность превосходно мирятся съ богатствомъ красокъ, роскошью и гиперболизмомъ востока. Изъ Одессы онъ былъ переведенъ въ концѣ 1825 г. въ Москву, гдѣ и зачисленъ на службу въ канцелярію военнаго генералъ-губернатора. Многія лица изъ высшаго русскаго общества заинтересовались молодымъ польскимъ поэтомъ; княгиня Зинаида Волконская взялась ему покровительствовать. Когда въ 1828 г. Мицкевичъ пріѣхалъ въ Петербургъ, передъ нимъ открылись аристократическіе салоны, онъ подружился съ Пушкинымъ, и нашелъ самый радушный пріемъ у Поляковъ, осѣдлыхъ въ столицѣ. Здѣсь онъ познакомился съ семействомъ знаменитой піанистки Маріи Шимановской, на дочери которой Сэлинѣ, въ то время малюткѣ, онъ и женился пятнадцать лѣтъ спустя. Близорукіе люди упрекали поэта въ лѣни и эпикуреизмѣ; самымъ лучшимъ отвѣтомъ на то было петербургское изданіе «Валленрода», 1828. Основная мысль поэмы не могла ускользнуть отъ болѣе прозорливыхъ глазъ, вслѣдствіе чего дальнѣйшее пребываніе въ Петербургѣ сдѣлалось для поэта неудобнымъ и непріятнымъ. Стараніями княгини Волконской онъ получилъ заграничный паспортъ и отплылъ изъ Кронштадта 25 іюня 1829, чтобы никогда уже не возвращаться въ Россію, сопровождаемый другомъ своимъ Одыньцомъ. Въ Берлинѣ путешественники познакомились съ познанскимъ поэтомъ и гегеліанцемъ Стефаномъ Гарчиньскимъ (1806—1833), поклонились въ Веймарѣ старику

[27]) Oto są grzechy mojego żywota!
Gotowem umrzeć; czegoż chcecie więcej?
Z urzędu mego chcecie słuchać sprawy:
Patrzcie na tyle zgubionych tysięcy,
Na miasta w gruzach, w płomieniach dzierżawy!
Słyszycie wicher? pędzi chmury śniegów:
Tam marzną waszych ostatki szeregów!
Słyszycie? wyją głodnych psów gromady—
One się gryzą o resztki biesiady!
Ja to sprawiłem! takem wielki, dummy;
Tyle głow hydry jednym ściąć zamachem,
Jak Samson—jednem wstrząśnieniem kolumny
Zburzyć gmach cały i runąć pod gmachem!...

Гете и черезъ Швейцарію и Альпы пробрались въ Италію, которую изъѣздили вдоль и поперегъ. Зиму съ 1830 на 1831 г. Мицкевичъ провелъ въ Римѣ, вдохновляясь памятниками прошедшаго и прислушиваясь издали къ вспыхнувшему 29 ноября 1830 г. польскому движенію. Вѣроятно подъ впечатлѣніемъ этой борьбы онъ и началъ писать третью часть «Поминокъ», и составляющій приложеніе къ нимъ отрывокъ «Петербургъ», посвященный друзьямъ-Москалямъ (оба произведенія изданы въ Парижѣ, 1833). Герой третьей части «Поминокъ», Конрадъ (т. е. самъ Мицкевичъ), принадлежитъ къ той же породѣ дерзкихъ титановъ, ведущихъ бой съ Олимпомъ, какъ Фаустъ Гете и Манфредъ Байрона. Конрадъ не пресытился жизнью подобно Манфреду; онъ не извѣрился подобно Фаусту вслѣдствіе пытливости всеразлагающаго ума. Онъ стоитъ на почвѣ христіанскаго міросозерцанія; передъ нимъ носится образъ библейскаго личнаго Бога, окруженнаго миріадами безплотныхъ духовъ. Въ реальномъ существованіи этого невидимаго міра Мицкевичъ убѣжденъ; вотъ почему онъ серьезенъ и никогда не является насмѣшникомъ, какъ Байронъ, никогда не издѣвается надъ божественнымъ. Но Конрадъ поднимаетъ до богохульства доходящій протестъ противъ сущаго во имя чувства, оскорбляемаго слезами и кровью, несправедливостью и страданіями милліоновъ людей.

Пребываніе въ Римѣ въ 1831 было важно для Мицкевича и въ другомъ отношеніи; общество, въ средѣ котораго онъ жилъ, было очень разнообразно: его короткіе знакомые этой эпохи были Гарчиньскій, писавшій философскую поэму «Вацлавъ», Монталамберъ, Ламеннэ, княгиня Волконская, ксендзъ Холоневскій и въ особенности графъ Генрихъ Ржевускій (род. 1791), который по своимъ фамильнымъ связямъ и преданіямъ и по своей обширной памяти служилъ, можно сказать, живою лѣтописью лицъ и событій старой Польши, о которыхъ свѣдѣнія онъ заимствовалъ изъ первыхъ рукъ и которыя онъ описывалъ и разсказывалъ съ поразительнымъ талантомъ. Сближеніе обоихъ этихъ писателей подѣйствовало плодотворно на каждаго изъ нихъ. Ржевускій по совѣту Мицкевича взялся за перо и написалъ свои превосходныя «Записки Соплицы» (Pamiętniki Jana Sewerуna Soplicy). Прошедшее представилось Мицкевичу съ новой стороны; онъ убѣдился, что для исторической поэмы незачѣмъ рыться въ старо-литовскихъ хроникахъ, достаточно посмотрѣть сквозь призму лѣтъ издалека на свои собственныя юношескія воспоминанія, взять за основу шляхетское прошлое, слишкомъ презираемое и оклеветанное за то именно, за что бы его слѣдовало хвалить, а не порицать, однимъ словомъ снять только съ этого прошедшаго заслоняющую его кору буржуазныхъ воззрѣній, наслоившихся въ 18-мъ столѣтіи. Подъ вліяніемъ этой мысли Мицкевичъ написалъ свой знаменитый эпосъ въ двѣнадцати книгахъ «Панъ Тадеушъ», изображающій жизнь и бытъ польской Литвы до 1812 г. Главную основу поэмы составляетъ тяжба двухъ домовъ, Соплицовъ и Горешковъ, оканчивающаяся тѣмъ, что враждующіе мирятся при появленіи наполеоновскихъ

полчищъ и польскихъ легіоновъ. Характерныя, усатыя лица застѣнковой шляхты и графъ Горешко—чудакъ и романтикъ, сельская дѣвушка Зося и кокетка Телимена, наполеоновскій эмиссаръ, монахъ Робакъ, и два русскіе офицера нарисованы смѣлою кистью; разсказъ разнообразится удивительными по красотѣ и точности описаніями литовской природы и прерывается иногда лирическими страницами, въ которыхъ изгнанникъ изливаетъ свою любовь къ далекой и недоступной для него родинѣ: «Сегодня для насъ, непрошенныхъ гостей, въ цѣломъ прошедшемъ и цѣломъ будущемъ осталась одна только страна, которая хранитъ крошку счастія для Поляка: край дѣтскихъ лѣтъ!... онъ останется навсегда святъ и чистъ какъ первая любовь, невозмущаемый воспоминаніями ошибокъ, неподкапываемый иллюзіями надежды, неизмѣняемый потокомъ событій. Я бы радъ привѣтствовать мыслью ту страну, гдѣ я рѣдко плакалъ и никогда не скрежеталъ зубами; гдѣ бѣгалъ я по свѣту точно по лугу, зналъ одни только маленькіе и красивые цвѣты, бросалъ ядовитые и не обращалъ вниманія на полезные»... [28]).

«Когда же Господь Богъ дастъ намъ вернуться изъ скитаній, поселиться на отцовской нивѣ и служить въ конницѣ, которая воюетъ съ зайцами, или въ пѣхотѣ, которая стрѣляетъ дичь, не знать иной аммуниціи, кромѣ косы и серпа, и иныхъ газетъ, кромѣ домашнихъ счетовъ» [29]).

Мицкевичъ началъ писать «Пана Тадеуша» въ Познани, которую онъ посѣтилъ осенью 1831, по совершенномъ уже подавленіи польскаго возстанія; кончилъ эту поэму въ 1834 г. въ Парижѣ, гдѣ онъ поселился съ 1833. Немного раньше онъ издалъ въ Авиньонѣ, гдѣ на рукахъ его скончался Гарчиньскій, «Книгу польскаго пилигримства», родъ эмигрантскаго

[28]) Dziś dla nas w świecie nieproszonych gości,
W całej przeszłości i w całej przyszłości,
Jedna już tylko dziś kraina taka,
W której jest trochę szczęścia dla Polaka:
Kraj lat dziecinnych!... on zawsze zostanie
Swięty i czysty, jako pierwsze kochanie.
Niezaburzony błędow przypomnieniem,
Niepodkopany nadziei złudzeniem,
Ani zmieniony wypadkow strumieniem,
Te kraje radbym myślami powitał
Gdziem rzadko płakał, a nigdy nie zgrzytał:
Kraje dzieciństwa, gdzie człowiek po świecie
Biegł jak po łące, a znał tylko kwiecie
Małe, i piękne, jadowite rzucił
Ku pożytecznym oka nieodwrocił.

(Вступленіе къ «Пану Тадеушу», въ парижскомъ изданіи 1860).

[29]) Kiedyż nam Pan Bóg wrócić z wędrowki dozwoli
I znowu dom zamieszkać na ojczystej roli,
I służyć w jeździe która wojuje szaraki,
Albo w piechocie, która nosi broń na ptaki,
Nieznać innych prócz kosy i sierzpa rynsztunkow
I innych gazet oprócz domowych rachunkow.

(Книга II.)

profession de foi и евангелія, которая послужила образцомъ для Ламеннэ въ «Paroles d'un croyant».

Удаленіе изъ отечества оказало свое неизбѣжно-неблагопріятное вліяніе на творчество поэта, лишая его возможности освѣжаться новыми впечатлѣніями и слѣдить за перемѣнами, происходящими въ средѣ польскаго общества на родной почвѣ. Къ тоскѣ по родинѣ присоединились еще семейныя хлопоты. Слыша похвалы дѣвицѣ Сэлинѣ Шимановской, которую онъ оставилъ ребенкомъ въ Петербургѣ, Мицкевичъ проговорился передъ друзьями, что онъ бы радъ на ней жениться; друзья устроили дѣло, вызвали Сэлину въ Парижъ; свадьба отпразднована была въ августѣ 1835, за свадьбою пошли дѣти, заботы о насущномъ хлѣбѣ. Въ 1839 Мицкевичъ поступилъ на каѳедру латинской словесности въ лозанской академіи, въ 1840 правительство Луи-Филиппа предложило ему преподаваніе славянскихъ литературъ въ Collége de France, которому онъ и посвятилъ себя исключительно съ 1840 по 1844 годъ. Исторія этого курса есть вмѣстѣ съ тѣмъ и исторія умственнаго паденія Мицкевича; тогда-то въ немъ развились и созрѣли тѣ задатки мистицизма, которые существовали изначала и коренились въ особенностяхъ его психической организаціи. У Мицкевича надъ всѣми способностями души преобладало чувство; съ ранней молодости [30]) онъ ставилъ инстинктъ сердца выше разума и привыкъ предаваться ему съ вѣрою въ его всемогущество [31]). При такомъ настроеніи естественно было, что Мицкевичъ выше всего поставилъ наконецъ вдохновеніе, далъ поэтическому непосредственному созерцанію истины (intuitio) первенство передъ копотливою работою размышляющаго и методически отвлекающаго разума. Въ то время въ Парижѣ появился нѣкто **Т о в я н ь с к і й**, полушарлатанъ, мистикъ съ религіознымъ ученіемъ, которое во многомъ отклонялось отъ преданій католической церкви. Мицкевичъ, сдѣлавшись однимъ изъ ревностнѣйшихъ послѣдователей Товяньскаго, изъ профессора превратился въ проповѣдника и пророка, изъ каѳедры сдѣлалъ орудіе ре-

[30]) Martwe znasz prawdy nieznane dla ludu,
Widzisz świat w proszku, w każdej gwiazd iskierce
Nie znasz praw żywych, niezobaczysz cudu!
Miej serce i patrzaj w serce!....
(Romantyczność — изд. 1822).

[31]) Człowieku, gdybyś wiedział jaka twoja władza,
Kiedy myśl w twoiej głowie, jako iskra wchmurze,
Zabłyśnie niewidzialna, obłoki zgromadza,
I tworzy deszcz rodzajny, lub gromy i burze;
Gdybyś wiedział że ledwie jedną myśl rozniecisz,
Już czekają w milczeniu, jak gromu żywioły,
Tak czekają twej myśli Szatan i anioły:
Czy ty w piekło uderzysz, czy w niebie zaświecisz;
A ty jak obłok górny, ale błędny pałasz,
I sam niewiesz gdzie lecisz, sam niewiesz co działasz....
Ludzie! każdy z was mogłby, samotny; więziony,
Myslą i wiarą zwalać i podzwigać trony.
(Прологъ 3-й части «Поминокъ».)

лигіозной пропаганды, сталъ предрекать пришествіе новаго Мессіи, котораго предтечею онъ сталъ называть Наполеона I. Прямымъ послѣдствіемъ такого образа дѣйствій была потеря каѳедры въ Collége de France. Династія Наполеонидовъ воцарилась въ самомъ дѣлѣ во Франціи послѣ февральской революціи; когда возгорѣлась крымская война, то всѣ давнишнія надежды, которыя поэтъ возлагалъ на Францію, ожили въ немъ, чего печальнымъ доказательствомъ служитъ «Ode in Bomarsundum captum ad Napolionem III Caesarem Augustum», и поѣздка поэта въ Константинополь съ порученіемъ отъ французскаго правительства содѣйствовать образованію польскихъ легіоновъ въ Турціи. Труды путешествія и лишенія лагерной жизни ускорили кончину Мицкевича. Онъ умеръ 28 ноября 1855 въ Константинополѣ, погребенъ въ Монморанси близь Парижа.

На Мицкевичѣ намъ приходится кончить обзоръ польской литературы въ 19-мъ столѣтіи. Мицкевичъ служилъ звѣномъ соединенія этой литературы съ литературою русскою. Послѣ него всякія связи между обѣими литературами прекращаются и каждая идетъ своимъ путемъ, не зная о направленіи и стремленіяхъ своей единоплеменницы. Событія 1831 года сдѣлали надолго всякое общеніе невозможнымъ и произвели еще слѣдующую чрезвычайно важную по своимъ послѣдствіямъ перемѣну. Главный центръ литературной дѣятельности переносится за границу. На родной почвѣ, въ бывшихъ польскихъ владѣніяхъ и въ земляхъ подчиненныхъ русской державѣ, польская литература прозябаетъ слабо и даетъ плоды рѣдкіе и малосочные. За то между эмиграціею польскою во Франціи появляется цѣлая плеяда замѣчательныхъ поэтовъ и прозаиковъ, которые, пользуясь совершенною свободою дѣйствія, даютъ тонъ цѣлой польской литературѣ, не испытывая никакого противодѣйствія, и сообщаютъ ей, начиная съ 1821 и до послѣднихъ временъ, то революціонное направленіе, которымъ были отчасти подготовлены послѣднія событія. Произведенія эмиграціонной печати ускользаютъ отъ нашего анализа по невозможности высказать ихъ оцѣнку съ совершеннымъ безпристрастіемъ. Укажемъ только главнѣйшихъ дѣятелей на этомъ поприщѣ, потомъ перечислимъ писателей не эмигрантовъ, работавшихъ въ Познани, Галиціи, Краковѣ, Варшавѣ, Царствѣ Польскомъ и Россіи.

Эмиграція 1831 года считала въ своихъ рядахъ множество первостепенныхъ талантовъ: по исторіи Лелевеля, по политикѣ замѣчательно талантливаго Маврикія Мохнацкаго (1804—1834), который написалъ исторію польскаго движенія 1830 г. (въ 2-хъ томахъ; начатой, но неоконченный трудъ), а еще прежде возстанія, 1830 пріобрѣлъ извѣстность сочиненіемъ «о польской литературѣ въ 19-мъ столѣтіи», 1830. Къ группѣ знаменитыхъ поэтовъ, состоящей изъ Мицкевича, Залѣскаго, Гощиньскаго, присоединились новые, между которыми первое мѣсто занимаютъ Красиньскій и Словацкій. Сигизмундъ Красиньскій (1813—1859), аристократъ и римскій католикъ, сердцемъ былъ привязанъ и къ политическимъ и религіознымъ идеаламъ прошедшаго, но умомъ понималъ, что эти идеалы

разбиты и что выработывающійся новый міръ никогда къ нимъ не возвратится. Поэтъ развалинъ, онъ выразилъ свою трагическую скорбь о прошедшемъ и изобразилъ борьбу непривлекательнаго новаго съ великимъ, но омертвѣвшимъ прошлымъ въ цѣломъ рядѣ философско-символическихъ драмъ на манеръ Каульбаховой живописи, изъ которыхъ самыя замѣчательныя двѣ: *Иридіонъ* и *Небожественная комедія*. Въ «Иридіонѣ», драмѣ изъ римской жизни временъ Геліогабала, тема та же, какъ и въ «Валленродѣ» Мицкевича, но задачѣ дается совсѣмъ иное рѣшеніе. Иридіонъ, сынъ мести, гибнетъ самъ, не успѣвъ разрушить ненавистный ему Римъ; на развалинахъ Рима торжествуетъ не онъ, а христіанство. Въ «Небожественной комедіи» изображается кровавая побѣда черни, совершающей соціальную революцію во имя насущнаго хлѣба и устраивающейся по своему безъ замковъ и церквей, безъ заботы о другихъ потребностяхъ человѣка кромѣ матеріальныхъ. Страдающій отъ предчувствуемой соціальной революціи, поэтъ находитъ успокоеніе въ мистической вѣрѣ въ великое будущее назначеніе своего народа. Этимъ чувствомъ одушевлены его лирическія поэмы, каковы *Разсвѣтъ* (Przedświt), *Псалмы будущаго* и др.—Юлій Словацкій (1809—1849, сынъ Евсевія Словацкаго, профессора словесности въ виленскомъ университетѣ) имѣетъ почти такое же значеніе въ литературѣ польской, какое Гейне въ нѣмецкой и Байронъ въ европейской. Онъ одаренъ огненнымъ и въ высшей степени подвижнымъ воображеніемъ, способнымъ создавать идеалы, и ѣдкимъ остроуміемъ, никого и ничего нещадящимъ, съ которымъ онъ осмѣиваетъ всѣ идеалы и кумиры, всѣ произведенія собственной фантазіи, а наконецъ и самого себя. Лучшая драма Словацкаго—*Мазепа*, а изъ поэмъ—начатый и неконченный эпосъ *Беньовскій*, въ родѣ байроновскаго Донъ-Жуана. Изъ второстепенныхъ поэтовъ и прозаиковъ эмиграціи, старой и новой, заслуживаютъ быть упомянутыми: легіонистъ баснописецъ Антонъ Горецкій, Стефанъ Витвицкій, другъ Красиньскаго, Константинъ Гашиньскій, Эдмундъ Хойецкій, мистикъ секты Товяньскаго Карлъ Балиньскій, Сигизмундъ Милковскій, Кипріанъ Норвидъ. Михаилъ Чайковскій, родомъ изъ Украйны (отуречившійся въ послѣдствіи и извѣстный нынѣ подъ именемъ Задыгъ-Паши), опошлилъ козачество Украйну и ея преданія въ своихъ украино-польскихъ повѣстяхъ. Изъ современныхъ молодыхъ лириковъ польскихъ за границею больше другихъ славится проживающій во Флоренціи Теофилъ Ленартовичъ; впрочемъ въ его сладенькихъ религіозно-сельскихъ произведеніяхъ нельзя не замѣтить манерность и упадокъ искусства. Эмиграція имѣла своего философа въ лицѣ Бронислава Трентовскаго, жившаго во Фрейбургѣ in Breisgau, который знакомилъ ее съ результатами гегелевой философіи. Пальма литературной критики нынѣ принадлежитъ безспорно талантливому Юліану Клячкѣ (еврею по происхожденію).

Изъ бывшихъ польскихъ земель всего менѣе производительна была Познань. Стефанъ Гарчиньскій, обѣщавшій много, умеръ преждевременно въ

1833. Изъ поэтовъ можно назвать только Франца Моравскаго (1785—1861). Распространенію гегелевой философіи много содѣйствовали Карлъ Либельтъ, Августъ Цѣшковскій; исторіею занимался Андрей Морачевскій (1802—1855). Вольный городъ Краковъ произвелъ замѣчательнаго по свѣжести лирика Эдмунда Василевскаго. Въ Царствѣ Польскомъ литературная дѣятельность сосредоточилась вокругъ ежемѣсячнаго журнала «Варшавская Библіотека», основаннаго въ 1841 году. Большія услуги по изданію этого органа оказалъ археологъ Владиславъ Казимиръ Войцицкій, собиратель сказокъ, поговорокъ, народныхъ легендъ и пѣсенъ. Здѣсь начали въ сороковыхъ годахъ свое поприще эмигрировавшіе впослѣдствіи Ленартовичъ, Норвидъ, Хойецкій, а изъ оставшихся Романъ Зморскій, Владиміръ Вольскій, Антонъ Чайковскій. Юмористъ Августъ Вильконьскій, родомъ изъ Познани, поселившійся въ Варшавѣ, бичевалъ остроумно общественныя слабости и пороки (Ramoty i Ramotki, 4 t.). Въ литовскихъ западныхъ губерніяхъ имперіи работали понемногу послѣ 1830 г. сверстники и товарищи Мицкевича А. Е. Одынецъ, который сдѣлалъ нѣсколько неудачныхъ попытокъ создать историческую драму (Felicyta, Barbara Radziwiłłówna, Jerzy Lubomirski); Юліанъ Корсакъ (†1860), который перевелъ весьма старательно Божественную комедію Данта; Игнатій Ходзько (†1861), авторъ прелестныхъ «Литовскихъ картинокъ» — цѣлаго ряда разсказовъ и повѣстей, взятыхъ изъ свѣжихъ преданій и изъ собственныхъ воспоминаній разсказчика (Brzegi Wilji, Pamiętniki Kwestorza, Domek na Antokolu). Умственная дѣятельность страны пришла послѣ 1831 г. въ застой, изъ котораго старался ее вывести Іосифъ Игнатій Крашевскій (род. въ 1812), публицистъ и историкъ, поэтъ, критикъ и нувеллистъ. Крашевскій писалъ за десятерыхъ, «Исторію Города Вильно», путешествія, драмы, эпосъ изъ старо-литовскихъ языческихъ преданій *Анафіелясъ* (въ 3-хъ частяхъ: Witoloranda, Mindows, Witoldowe boje), издавалъ въ Вильнѣ журналъ «Атеней». Въ концѣ тридцатыхъ годовъ Крашевскій переселился на Волынь, а въ началѣ шестидесятыхъ въ Варшаву. Онъ издалъ болѣе полутораста повѣстей и романовъ и изобразилъ съ точностью фотографіи множество типовъ современнаго общества. Значительно позднѣе Крашевскаго, въ концѣ сороковыхъ годовъ, появился поэтъ необыкновенно плодовитый, Людвигъ Кондратовичъ, писавшій подъ псевдонимомъ Владислава Сырокомли (1822 — 1862). Кондратовичъ брался за всѣ роды поэзіи, но онъ достигъ до высокаго совершенства только въ одномъ, а именно въ такъ называемыхъ «гавендахъ» или мелкихъ разсказахъ изъ быта бѣдной шляхты и простого народа. Въ эпическомъ родѣ онъ занимаетъ почти такое же мѣсто, какое Ленартовичъ въ лирикѣ религіозной; читая его, удивляешься граціозности картинокъ, но чувствуешь, что у литовскаго поэта вывѣтрилось изъ пѣсни все великое, грандіозное, пропали самородки золота, остались одни крупинки и мишура. Кондратовичъ израсходовалъ свой талантъ по мелочамъ и безпутною жизнью ускорилъ

свою кончину. Къ поэтамъ литовскимъ слѣдуетъ причислить Эдуарда Желиговскаго, написавшаго подъ псевдонимомъ Антона Совы въ сороковыхъ годахъ драматическую фантазію «Іорданъ»; фантазія эта подавала большія надежды, которыя однако не оправдались впослѣдствіи. Въ южно-русскихъ провинціяхъ зя Припетью, Александръ Гроза, одаренный меньшимъ талантомъ, нежели Залѣскій и Гощиньскій, собиралъ и давалъ художественную обработку простонароднымъ сказаніямъ и думамъ. Іосифъ Корженёвскій (1797—1862) сдѣлался извѣстенъ какъ талантливый драматургъ (Karpaccy Górale, Zydzi) и какъ писатель повѣстей и романовъ изъ современнаго быта. Въ Кіевѣ жилъ и собиралъ вокругъ себя литераторовъ Михаилъ Грабовскій; изъ этого шляхетскаго и ультракатолическаго кружка вышелъ Игнатій Головиньскій, который былъ ректоромъ духовной академіи въ Петербургѣ и умеръ 1855 въ званіи архіепископа-митрополита римско-католическихъ церквей въ имперіи. Изъ новѣйшихъ писателей заслуживаетъ вниманіе какъ ѣдкій сатирикъ Аполлонъ Налэнчъ-Корженёвскій. Съ переселеніемъ въ Петербургъ Головиньскаго и пріѣздомъ туда же Генриха Ржевускаго составился здѣсь въ сороковыхъ годахъ цѣлый кружокъ литераторовъ, который, имѣя органомъ своимъ Tygodnik Petersburski, щеголялъ своими самыми ретроградными тенденціями. Это пренебреженіе къ общественному мнѣнію Ржевускій довелъ до цинизма въ своей «Нравственной всякой всячинѣ» (Mieszaniny obyczajowe Jarosza Bejły) и въ романахъ каковы «Ноябрь»; «Краковскій замокъ»; онъ казалось поставилъ себѣ задачею дразнить молодое поколѣніе и издѣваться надъ его благороднѣйшими стремленіями, во имя средневѣковой шляхетско-магнатской старины. Польское литературное движеніе сообщилось даже бѣлорусскому краю (губ. могилевской и витебской), въ которыхъ Казиміръ Буйницкій затѣялъ недолго впрочемъ державшееся повременное изданіе «Рубонъ» (такъ называлась у Римлянъ западная Двина).

Въ Галиціи образовалась въ тридцатыхъ годахъ особая школа червонорусскихъ поэтовъ, которой главнымъ центромъ былъ Львовъ, а родоначальниками братья Дунины-Борковскіе, Іосифъ (1809—1843) и Александръ (Leszek). Эта школа главною задачею поставила себѣ возсозданіе съ помощью науки стариннаго эпоса пястовскаго или даже до-историческаго общеславянскаго. Она тщательно изучала пѣсни всѣхъ славянскихъ народовъ, переводила старинныя эпическія рапсодіи (переводъ слова о Полку Игоревѣ Августомъ Бѣлёвскимъ, Краледворской рукописи Люціаномъ Семеньскимъ), пристрастилась къ архаизму и стала поддѣлываться подъ слогъ и складъ древнихъ историческихъ думъ (пѣснь о Генрихѣ Благочестивомъ Бѣлевскаго, многія стихотворенія Семеньскаго). Къ этой школѣ примыкаетъ Доминикъ Магнушевскій (род. въ 1810, поселился съ 1831 г. въ Галиціи, † въ 1845), который имѣлъ сильный драматическій талантъ (Zemsta panny Urszuli, Niewiasta polska), но испортилъ его излишнею страстью къ архаизму и подражаніемъ размашистой манерѣ В. Гюго и растрепанной

школы французскихъ неоромантиковъ (école échevelée). Галиція менѣе другихъ частей прежней Польши подверглась измѣненіямъ со времени паденія Рѣчи посполитой, нравы сохраняли здѣсь множество чрезвычайно характерныхъ особенностей, которыя и послужили готовымъ и весьма обильнымъ матеріаломъ для поэзіи. Этимъ матеріаломъ воспользовались съ великимъ успѣхомъ два галицкіе писателя, Викентій Поль (род. 1807 г.) и Сигизмундъ Качковскій, — первый для построенія старо-шляхетскаго эпоса, второй для историческаго романа, который оставилъ далеко за собою блѣдныя и водянистыя творенія польскихъ вальтеръ-скоттистовъ, каковы: Бернатовичъ (1786—1836: Pojata córka Lezdejki, Nałęcz), Брониковскій (1783—1834, писалъ по нѣмецки романы изъ польской исторіи: Hippolit Boratyński, Zawieprzyce и др. всего до 30 томовъ), даже Михаилъ Грабовскій (Koliszczyzna i Stepy, Stanica Hulajpolska и др). Поль началъ съ лагерныхъ пѣсенокъ (pieśni Janusza), изобразилъ бытъ Карпатскихъ горцевъ (Obrazy z życia i podróży), сдѣлалъ поэтическое описаніе всѣхъ бывшихъ польскихъ земель (Pieśń o ziemi naszej), наконецъ создалъ цѣлый рядъ произведеній, занимающихъ середину между шляхетскою гавендою и эпопеею (Przygody Winnickiego, Sejmik w Sądowej Wiśni, Senatorska zgoda, Mohort, Hetmańskie pachole). Эти произведенія обнаруживаютъ—правда—глубокое знаніе народнаго характера и старины, но идеализація этой старины доведена въ нихъ до крайности, разукрашены даже скверныя стороны, пороки и слабости народные, напримѣръ шляхетскія попойки, буйства и драки на сеймикахъ, отцовская плетка, пренебреженіе къ черни. Изъ романовъ Качковскаго лучшими считаются: «Murdelio», «Bracia ślubni», «Wnuczęta» «Dziwożona». Новѣйшіе галицкіе поэты воспитывались всѣ подъ сильнымъ вліяніемъ Словацкаго. Изъ нихъ Корнелій Уѣйскій (род. 1823) извѣстенъ своими великолѣпными религіозно-патріотическими гимнами (Skargi Jeremiego); Мечиславъ Романовскій (убитый 1863) подавалъ блестящія надежды драмою «Пястъ и Попель»; Захарьясевичъ уважается какъ искусный нувеллистъ. Въ львовскомъ университетѣ литературу польскую читаетъ талантливый Антонъ Малэцкій (Malecki), отличный филологъ, авторъ исторической драмы «Опасная грамота» (List żelazny) и вмѣстѣ лучшей грамматики польской, изданной въ 1863 [32]).

[32]] Въ нынѣшнемъ столѣтіи польская литература стала распространяться и дѣлать успѣхи даже въ такихъ мѣстахъ, которыя считаются сильно онѣмеченными и даже потерянными для славянскаго міра, какъ напр. въ Силезіи (тамъ издается газета Gwiazdka cieszyńska) и въ западной—такъ называемой королевской—Пруссіи (Nadwiślanin, газета издаваемая въ Кульмѣ). Главными дѣятелями, поддерживавшими польскую литературу въ Пруссіи, были Мронговіусъ и Гизевіусъ. Кристофоръ Целестинъ Мронговіусъ (1764—1855.)—былъ пасторомъ польской евангелическо-лютеранской общины въ Данцигѣ, собиралъ народныя пѣсни, издавалъ словари и переводы старинныхъ классиковъ на польскій языкъ. Густавъ Гизевіусъ (1810—1848), тоже протестантскій священникъ, получилъ чисто нѣмецкое воспоминаніе и пристрастился къ народности польской только тогда, когда женился въ Кёнигсбергѣ на дѣвушкѣ мазурскаго происхожденія; она съумѣла сообщить ему любовь къ родному языку, которой сама была одушевлена. Гизевіусъ жилъ въ мѣстечкѣ Остероде, издавалъ жур-

Польская исторіографія послѣ Лелевеля обогатилась многими превосходными сочиненіями, изданіями памятниковъ, комментаріями, отдѣльными монографіями, многотомными и систематическими обработками польской исторіи въ цѣломъ ея составѣ или по періодамъ. Обширный и весьма почтенный трудъ Андрея Морачевскаго: «Исторія Польской республики» (9 томовъ) доведенъ только до отреченія отъ престола короля Яна Казиміра. Въ болѣе сжатомъ видѣ стараются представить этотъ же предметъ въ своихъ учебникахъ галицкіе ученые Генрихъ Шмитъ и Іосифъ Шуйскій. Теодоръ Нарбутъ (1864) составилъ обширную девяти-томную исторію (┼1864) Литвы, которая грѣшитъ отсутствіемъ исторической критики и научнаго метода, такъ что имѣетъ только значеніе сыраго матеріала. Во главѣ всѣхъ современныхъ историковъ Польши слѣдуетъ поставить Карла Шайноху (род. 1818 около Самбора въ Галиціи), который по живости воображенія, смѣлости гипотезъ и способности живо рисовать лица и событія, не имѣетъ себѣ равнаго. Въ Польшѣ онъ можетъ быть поставленъ въ одномъ ряду съ Огюстэномъ Тьерри и съ Маколеемъ. Въ своемъ сочиненіи: «Ядвига и Ягелло» онъ изобразилъ начало соединенія Польши съ В. К. Литовскимъ, а въ сочиненіи «Лехитское происхожденіе Польши» старался доказать, что польское государство основано Норманнами. Августъ Бѣлевскій старался дать иное рѣшеніе темному вопросу о происхожденіи Лехитовъ, выводя ихъ съ юга и распутывая сбивчивыя сказанія Кадлубка и его предшественниковъ (Wstęp krytyczny do Dziejów polskich). Нынѣ Бѣлевскій занятъ изданіемъ древнѣйшихъ польскихъ лѣтописцевъ (Monumenta historica Poloniae). Въ Варшавѣ пользовался большимъ авторитетомъ трудолюбивый, но хаотическій писатель Александръ Вацлавъ Мацѣевскій, панславистъ по направленію. Въ Вильнѣ весьма почтенную извѣстность пріобрѣли Николай Малиновскій и Михаилъ Балиньскій (┼1863) *). Знатокъ польской исторіи и критикъ Юліанъ Бартошевичъ, живущій въ Варшавѣ, оказалъ большія услуги наукѣ разработкою эпохи короля Понятовскаго, временъ Сигизмунда Августа и своей «Исторіей польской литературы», которая была бы несравненно лучше, если бы авторъ не стоялъ слишкомъ исключительно на католической, церковной точкѣ зрѣнія. Тою же узкостью воззрѣній отличаются сочиненія галицкаго писателя Маврикія Дзѣдушицкаго (Skarga i wiek jego; Zbigniew Oleśnicki); они походятъ скорѣе на богословскіе памфлеты, нежели на историческій разсказъ. Казиміръ Стадницкій, въ Галиціи, издалъ два тома неоконченныхъ еще изслѣдованій, относящихся ко временамъ, когда Великое Княжество Литовское существовало самостоятельно, подъ заглавіемъ: «Сыновья Гедимина».

налъ «Другъ лецкаго народа» (Przyjaciel ludu leckiego), и писалъ стихи, проникнутые вѣрою въ духовное возрожденіе поморскихъ Мазуровъ.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

ВОЗРОЖДЕНІЕ И ПАНСЛАВИЗМЪ.

Было время, еще не очень давно, когда слово «панславизмъ» [1]) без-

[1]) Было бы чрезвычайно длинно высчитывать литературу панславизма. Многое, прямо относящееся къ его развитію, указано въ самомъ текстѣ; литературу русскаго славянофильства мы предполагаемъ извѣстною. Здѣсь мы назовемъ еще нѣсколько сочиненій и брошюръ, ближайшимъ образомъ касающихся предмета и изображающихъ разныя его частности со стороны защитниковъ и со стороны враговъ славянскаго возрожденія.

Cyprien Robert, Le monde gréco-slave (статьи въ Revue des deux Mondes, переведенныя по нѣмецки въ брошюрѣ: Die griechisch-slavische Welt, Leipz. 1845);—Der zweifache Panslawismus. Mit Anmerkungen von Dr. J. P. Jordan, Leipz. 1847;—A. Mauritius, Der Panslawismus, Leipz. 1843;—Spráwa o sjezdu slovankém (изъ Часоп. Чеш. Муз.), v Praze 1848;— Count Valerian Krasinski, Panslavism and Germanism, London 1848;—Колларъ, Ueber die literarische Wechselseitigkeit zwischen den verschiedenen Stämmen und Mundarten der slawischen Nation, 1837 (чешскій перев., v Pr. 1853);—Chr. Ostrowski, Lettres slaves, 3-me ed. Paris 1857; —Ist Oesterreich deutsch? Eine statistische und glossirte Beantwortung dieser Frage, Leipz. 1843; —Der Sprachenkampf in Oesterreich (изъ Бидерманнова Monatsschrift 1844), Leipz. 1845;—A. Tebeldi, Die Slawen im Kaiserthume Oesterreich, Wien 1848; — M. Polith, Die Nationalität und ihre staatsrechtliche Begründung, Wien 1862; —Die Rechte der böhmisch-čechischen Sprache an den politischen und Gerichtsämtern, so wie den höheren und niedern Schulen Böhmens, Mährens und Schlesiens, Leipz. 1846; — Graf I. M. v. Thun, Der Slawismus in Böhmen, 1845; —Worte eines Čechen, veranlasst durch die Thun'sche Brochüre, 1845;—Ein Beitrag zur Charakteristik der Deutschthümlerei in Böhmen, Leipz. 1846; —Geschichte des Illyrismus, nebst einem Vorworte von Dr. W. Wachsmuth, Leipz. 1849;—Das Verhältniss Croatiens zu Ungarn. 1846;—La Croatie et la Confédération italienne, avec une introd. par L. Léouzon Le Duc, Paris 1859; —S. H****, Apologie des ungrischen Slawismus, Leipzig 1843;—Slawismus und Pseudomagyarismus, Leipzig 1842;—Ludw. Štúr, Das neunzehnte Jahrhundert nnd der Magyarismus, Wien 1845;—Graf Leo v. Thun, Die Stellung der Slowaken in Ungarn, Prag 1843;—D. H.. Sollen wir Magyaren werden? Fünf Briefe geschrieben aus Pesth... Karlstadt, 1833;—M. M. Hodža V. D. M., Der Slowak. Beiträge zur Beleuchtung der slawischen Frage in Ungarn, Prag 1848;—Petitionen der Serben und Slowaken vom Jahre 1861. Wien, 1862;—Die serbische Bewegung in Südungarn. Ein Beitrag zur Geschichte der ungarischen Revolution, Berlin 1851;—Die polnische Sprachfrage in Preussen, Leipz. 1845—1846, 3 вып;—Die Russinen in Gallizien, Leipz. 1846;—Słow kilka napisanych w obronie ruskiej narodowości, Lwów 1848; П. Л., О литер. языкѣ у Славянъ (Рус. Вѣстн. 1863, іюнь);—В. Ламанскій, Изъ записокъ о слав. земляхъ (От. Зап. 1864, февр).

престанно вертѣлось на языкѣ не только славянскихъ и русскихъ политиковъ и патріотовъ, но даже и европейскихъ политиковъ и дипломатовъ. Панславизмъ представлялся тогда новой силой, почти готовой измѣнить политическій видъ Европы; славянскіе патріоты считали даже эту силу готовой начать новый періодъ европейской цивилизаціи, которая должна была замѣнить цивилизацію отжившаго запада; русскіе славянофилы надѣялись на такую перспективу еще больше, и полагали, что блестящая роль предоставлена именно русскому племени,—не даромъ сидѣвшему сиднемъ тридцать лѣтъ... Между тѣмъ и въ это время, приписывавшее панславизму такую широкую будущность, панславизмъ былъ понятіемъ крайне неопредѣленнымъ, даже для тѣхъ, кто были самыми усердными его проповѣдниками. Одна общая мысль была повидимому раздѣляема всѣми; это—неминуемое будущее (болѣе или менѣе близкое) соединеніе славянства въ одно великое цѣлое. Но какъ должно было оно совершиться, въ чемъ должна была заключаться сущность будущаго единства, мнѣнія крайне расходились. Одни полагали, что славянство составитъ одинъ великій союзъ равноправныхъ народностей; другіе (польскіе панслависты) ставили во главѣ этого союза Польшу; третьимъ казалось, что «славянскіе ручьи сольются въ русскомъ морѣ», и что средоточіемъ славянскаго міра сдѣлается Москва и т. д. Словомъ, открылось обширное поприще для притязаній національнаго самолюбія и кваснаго патріотизма; каждая замѣтная славянская національность разсчитывала составить себѣ славу въ этомъ будущемъ: чехи ожидали, что они будутъ настоящими вожатаями будущей славянской цивилизаціи, потому что считали себя передовыми людьми современнаго движенія; польскіе панслависты (которыхъ, впрочемъ, было вообще немного) надѣялись вознаградить въ будущемъ союзѣ неудачи прежней исторіи; московскіе славянофилы надѣялись, что всѣхъ превозможетъ Русь и возвратитъ на настоящій путь и тѣ славянскіе народы, которые въ древности совратились съ него, вступивши въ связь съ «латинствомъ», и т. п.

Съ другой стороны, панславизмъ породилъ самыя разнообразныя мнѣнія въ Европѣ, которая стала интересоваться имъ въ 30-хъ и 40-хъ годахъ, и особенно въ той части ея, которой всего ближе касалось развитіе этой идеи—у Нѣмцевъ, особенно Нѣмцевъ австрійскихъ. Такъ какъ въ панславизмѣ одинъ изъ главныхъ вопросовъ былъ вопросъ о самобытности славянскихъ національностей, не только культурной, но и политической, слѣдовательно объ освобожденіи отъ нѣмецкаго вліянія, то для Нѣмцевъ панславизмъ сталъ предметомъ ожесточенной ненависти. Вслѣдъ за ними и въ западной Европѣ многіе стали вѣрить, что панславизмъ грозитъ европейской цивилизаціи чѣмъ-то въ родѣ монгольскаго нашествія; Славяне, до тѣхъ поръ забытые и пренебрегаемые, вдругъ выростали въ глазахъ европейскихъ политикановъ въ громадную силу, грозящую цивилизаціи. Преувеличивая славянское единство, эти политиканы предвидѣли, что славянскіе народы просто примкнутъ по первому знаку къ Россіи, которой такъ

боялись въ Европѣ въ сороковыхъ годахъ, и затѣмъ пойдутъ густой массой на Европу. Начали даже думать о спасеніи Европы отъ катастрофы: съ одной стороны Нѣмцы сильнѣе заговорили о нѣмецкомъ единствѣ; съ другой Венгры обѣщали быть оплотомъ Европы отъ славянскаго нашествія; нѣкоторые изъ польскихъ панславистовъ утверждали, что такая роль всего приличнѣе Польшѣ, которая сама можетъ стать во главѣ славянскаго союза и отвратить его отъ Россіи.

Все это кажется немного странно въ настоящую минуту, но обѣ стороны серьезно предавались, одна—надеждамъ, другая—опасеніямъ, и видѣли въ панславизмѣ наступающій, или даже наступившій историческій фактъ громаднаго вліянія. Панславянскій вопросъ составилъ цѣлую литературу, въ которой высказывались эти надежды панславизма, предвидѣлись и обсуждались разныя возможности его развитія, обдумывались средства остановить его опасное распространеніе.

Изъ чего же родилась эта тревога, которая кажется намъ теперь такъ преувеличенна; въ чемъ заключалось настоящее, реальное значеніе дѣла, изъ котораго выводились подобные результаты?

Панславизмъ принадлежитъ къ числу самыхъ характеристическихъ проявленій національной идеи. На немъ ясно обнаружились тѣ свойства этой идеи, которыя одинаково могутъ дѣлать національное движеніе и средствомъ общественнаго прогресса, и причиной его упадка; панславизмъ соединялъ въ себѣ и примѣры національнаго увлеченія, способнаго дать нравственную энергію ослабѣвшему и запуганному обществу, и тѣ заблужденія и предразсудки, которые вредятъ самымъ существеннымъ его интересамъ, когда общество выше всего ставитъ свою исключительную національность и для нея забываетъ о другихъ необходимыхъ условіяхъ своего нравственнаго существованія.

Панславянская идея есть явленіе новое въ исторіи славянскихъ народностей. Она была результатомъ такъ называемаго славянскаго возрожденія, начало котораго относится къ концу прошедшаго столѣтія, когда славянскія національности, подавленныя на западѣ и на югѣ иноземнымъ господствомъ, снова начали обнаруживать признаки жизни. Возрожденіе выразилось въ славянскихъ народностяхъ появленіемъ новой литературы, стремленіемъ вывести народъ изъ его нравственной апатіи и подчиненія иноземнымъ началамъ, усиліями поднять народное образованіе, возстановить забывавшіяся національныя преданія. Но это возрожденіе было еще далеко отъ панславизма. Первыя стремленія отдѣльныхъ народностей ограничивались ихъ собственными предѣлами и еще не раскидывались на томъ широкомъ пространствѣ, которое они усиливаются занять впослѣдствіи. Тѣмъ не менѣе панславизмъ, идея о всеславянскомъ національномъ единствѣ, о возрожденіи національной жизни въ цѣломъ составѣ племени, былъ весьма понятнымъ результатомъ этого частнаго движенія отдѣльныхъ народностей. Съ одной стороны національныя стремленія были такимъ новымъ интересомъ въ жизни этихъ

подавленныхъ народностей, что естественно было ожидать самаго крайняго развитія этихъ стремленій, не сдерживаемыхъ опытностью соціальной и политической жизни: національная идея перешла мало по малу отъ частностей къ цѣлому, отъ національнаго возстановленія одного отдѣльнаго народа до возстановленія цѣлаго племени. Съ другой стороны панславизмъ становился необходимымъ потому, что идея о цѣломъ славянствѣ должна была подкрѣплять стремленія отдѣльныхъ народностей, которыя не могли не сознавать своей слабости въ виду такихъ національныхъ враговъ, какими были Нѣмцы, Мадьяры, Итальянцы и пр.

Это сознаніе своей слабости въ самомъ дѣлѣ было такъ настоятельно, что каждая отдѣльная народность необходимо должна была искать себѣ нравственной опоры. Они стали поэтому ссылаться на силы цѣлаго громаднаго племени, и въ большинствѣ народностей панславянскія стремленія и произошли именно изъ этого источника, а не изъ другого. Ревностнѣйшіе изъ панславистовъ увѣряютъ, что эти стремленія имѣли источникъ болѣе глубокій, что чувство племеннаго единства всегда было живо въ славянскихъ народахъ; что оно ожидало только благопріятной минуты, чтобы сказаться во всей своей силѣ; что это было, наконецъ, неизбѣжное историческое явленіе, которое должно было закончить историческую судьбу племени, раздѣленнаго несчастными случайностями прошедшаго.

Мы говорили прежде, почему мы думаемъ иначе. Идея о племенномъ единствѣ въ томъ смыслѣ, какъ ее проповѣдовали крайніе панслависты, была новѣйшимъ изобрѣтеніемъ. Она удалась и имѣла успѣхъ только какъ послѣднее средство общественной борьбы и была вызвана чисто внѣшними условіями, въ особенности иноземнымъ угнетеніемъ.

Славянскія народности стояли въ этомъ отношеніи весьма различно.

Панславянскія тенденціи всего меньше прививались у Поляковъ; за это ихъ не преминули конечно обвинить въ недостаткѣ славянскаго патріотизма, въ отступничествѣ отъ началъ племеннаго единства и т. п.; но дѣло объясняется проще: панславизмъ не прививался у нихъ именно потому, что при всемъ недостаткѣ политической самостоятельности Поляки привыкли считать свою *націю* достаточно самобытной, способной собственными силами выдержать свою исторію; въ нихъ было столько національной гордости, что они не опасались за свое національное существованіе; они надѣялись, что имъ нѣтъ нужды прибѣгать для этого къ рессурсамъ цѣлаго славянскаго союза. Наконецъ, у тѣхъ немногихъ польскихъ панславистовъ, которые думали о цѣломъ славянствѣ, панславизмъ большею частію является опять только подкла́дкой для той же національной гордости: Польша могла, по ихъ мнѣнію, пристать къ славянскому союзу, но только съ первенствующей ролью,—хотя первенство Польши и не входило въ планы западнаго славянства...

Для другихъ Славянъ, западныхъ и южныхъ, дѣло стояло иначе. Если только ихъ національностямъ предстояла политическая будущность, они со-

знавали, что достиженіе ея невозможно для нихъ безъ чьего нибудь заступничества, или безъ союза съ другими народами, находившимися въ такомъ же положеніи. Эти мысли уже довольно ясно высказывались въ послѣднихъ сороковыхъ годахъ, когда повидимому приближалась эта политическая будущность славянства: западно-славянскіе публицисты особенно значительнымъ тономъ указывали на «славянскаго исполина», протянувшагося отъ Камчатки до Адріатическаго моря, и въ частности на русскую имперію.... Случай, что Россія принимала извѣстное участіе въ освобожденіи Сербіи, подтверждалъ ихъ надежды, что подобное вмѣшательство сильныхъ единоплеменниковъ можетъ помочь и ихъ собственному запутанному дѣлу; преувеличенія и хвастливость ихъ русскихъ друзей укрѣпляли ихъ въ этой пріятной надеждѣ.

У насъ панславизмъ имѣлъ мало успѣха: большинство нашего общества, способнаго интересоваться соціальными и политическими вопросами, осталось ему совершенно чуждо. Онъ усвоился только въ небольшомъ кружкѣ, славянофильскомъ. Кружокъ ревностно принялся толковать о славянской національности и защитѣ народныхъ началъ: русская публика извѣщена была въ одно прекрасное утро, что у нея есть братья, съ которыми она должна соединиться для попранія гнилаго запада, и т. п. Но эта пропаганда не отличалась особенной ловкостью; надъ ней скоро начали подтрунивать, какъ надъ безплодной и фантастической затѣей, тѣмъ больше, что защитники ея у насъ были иногда порядочными мистиками и даже обскурантами. Въ самомъ дѣлѣ, хотя русское общество и много говорило тогда о *народности*, заинтересовалось народнымъ бытомъ, литература принялась изображать его, — но общество вовсе не безпокоилось о русской *національности*: обращаясь къ народу, оно руководилось идеей общественнаго прогресса, а не идеей національности, которая стояла на первомъ планѣ у западнаго славянства. Это были двѣ вещи совершенно разныя. Интересъ къ народу выражалъ собой стремленія къ общественной реформѣ, къ общественной равноправности, и особенно къ освобожденію крѣпостныхъ. Объ національности же своей общество могло не заботиться: со временъ Рюрика она стояла цѣлая и невредимая, и только разгоряченнымъ головамъ могло казаться, что ей грозитъ какая нибудь опасность, что мы можемъ когда нибудь вдругъ превратиться въ Нѣмцевъ. Панславизмъ очевидно не имѣлъ корней въ нашемъ обществѣ, но тѣмъ не менѣе онъ существовалъ: на чемъ же онъ здѣсь основывался? Надобно, кажется, придти къ заключенію, что главнѣйшимъ основаніемъ его были притязанія національнаго самолюбія: мысль о томъ, что славянскіе ручьи сольются въ русскомъ морѣ, была господствующей у нашихъ панславистовъ, хотя они не всегда рѣшались открыто ее высказывать. На этомъ условіи панславизмъ былъ вещью очень пріятной...

Что панславизмъ въ сущности дѣла былъ вызванъ въ большинствѣ славянскихъ племенъ именно этими внѣшними условіями, а не отвлеченной идеей мнимаго врожденнаго единства, ясно уже изъ того, что панславизмъ

далеко не представлялъ одного цѣльнаго движенія,— что было бы необходимо, если бы въ его появленіи въ самомъ дѣлѣ работала сознательная славянская идея.

Дѣйствительно, возрожденіе подготовлялось и началось у разныхъ племенъ совершенно независимо, и имъ прежде всего руководилъ инстинктъ частнаго народнаго самосохраненія. Періодъ возрожденія простирается съ конца прошлаго столѣтія, когда впервые стали оживать забытыя славянскія націи, и до тридцатыхъ годовъ нынѣшняго столѣтія, когда это движеніе появилось и тамъ, куда оно еще не проникало до тѣхъ поръ. Возрожденіе въ настоящемъ смыслѣ слова не простирается на тѣ славянскія націи, которыя сохраняли въ цѣлости свою національную личность: въ такомъ положеніи, какъ мы сказали, находилась Россія и Польша; въ этой послѣдней, даже послѣ раздѣла, національность хотя и терпѣла извѣстный ущербъ въ провинціяхъ, доставшихся Нѣмцамъ, оставалась господствующей въ областяхъ, принадлежавшихъ Россіи. Здѣсь для нея до послѣдняго времени оставалась возможность національнаго развитія: ея языкъ, нравы, религія, литература оставались польскими.

Въ иномъ положеніи находились всѣ другіе Славяне. Ихъ національности, — нѣкогда свободныя, — давно уже потеряли свою независимость: онѣ или подавлены были деспотизмомъ турецкаго владычества, или терпѣли тяжелое подчиненіе нѣмецкому политическому и культурному вліянію, которое, отнимая матеріальную свободу, подрывало и самую національность. Славянскія націи, вслѣдствіе того, или возвращались къ патріархальнымъ нравамъ, какіе свойственны народамъ неразвитымъ, или принимали цивилизацію изъ чужихъ рукъ, и платили за нее національностью, или просто принимали чужую національность и безъ этого вознагражденія. Такимъ образомъ Славяне или должны были оставаться въ качествѣ народа подчиненнаго, въ качествѣ низшаго класса, или превращались въ Нѣмцевъ, Итальянцевъ, Мадьяръ, и даже въ Турокъ, и въ этомъ видѣ становились даже преслѣдователями своихъ единоплеменниковъ. Такую судьбу въ большей или меньшей степени имѣли всѣ западные славянскіе народы. Періодъ этой подчиненности длился очень долго. Народы жили со дня на день, не задавая себѣ никакихъ широкихъ задачъ и слабо сопротивляясь чужимъ культурнымъ началамъ, гдѣ приходилось съ ними встрѣчаться. Существованіе ихъ было почти вполнѣ безсознательно, идея славянской родственности или вовсе не существовала или была крайне смутной.

Пробужденіе славянскихъ національностей произошло не вдругъ; оно заняло продолжительный періодъ съ конца прошедшаго столѣтія, и возможность его приведена была вовсе не одной внутренней работой самихъ народовъ, но—въ очень значительной степени—и внѣшними историческими обстоятельствами. Мы достаточно убѣждаемся въ этомъ, наблюдая начало и ходъ новаго появленія славянскихъ національностей на исторической сценѣ.

Прежде всего это пробужденіе обнаружилось у Чеховъ, именно тамъ, гдѣ историческія обстоятельства сложились всего благопріятнѣе. Чехи кончили свою самостоятельную историческую роль въ 17-мъ столѣтіи, когда Чехія, поднятая въ 15-мъ вѣкѣ гусситствомъ, упала политически и стала провинціей Австріи и добычей іезуитства. Но гусситское движеніе слишкомъ глубоко затронуло народное чувство, и память о временахъ независимости оставалась преданьемъ національной славы; объ этомъ преданьѣ и вспомнили при самыхъ первыхъ попыткахъ новой чешской литературы, въ 70-хъ годахъ прошлаго столѣтія. Но было и другое важное обстоятельство, приводившее къ оживленію упавшей національности,—это были освободительныя идеи восемнадцатаго вѣка, проникшія тогда не только въ среду образованнаго общества, но и въ оффиціальныя сферы, и соединявшіяся съ патріотическими заботами о народной массѣ и ея просвѣщеніи. Время Іосифа II было именно такимъ временемъ въ Австріи. Въ стремленіяхъ Іосифа была въ то же время и другая черта, враждебная національнымъ началамъ, и однако сильно способствовавшая ихъ развитію. Іосифъ имѣлъ, относительно своихъ не-нѣмецкихъ подданныхъ, германизаторскія наклонности, но нѣмецкая принудительная школа вызвала реакцію, которая обнаружилась національными стремленіями. Такимъ образомъ, новая литература, которая выразила собой первые шаги возрожденія, началась воспоминаньемъ о старо-чешской жизни и книгами, назначенными для народнаго образованія. Къ этому присоединилась еще одна черта: старая исторія и національность сдѣлались въ то же время предметомъ науки, которая, еще задолго до собственнаго возрожденія, обратилась къ изученію славянской исторіи и стала потомъ сильнымъ орудіемъ въ пробужденіи національнаго чувства. Эта наука, сама по себѣ, опять не была вовсе созданіемъ національнаго чувства: это была историческая и археологическая наука въ той формѣ и съ тѣми тенденціями, съ какими она существовала тогда въ Германіи. Это была наука нѣмецкая, и такою она долго еще оставалась въ рукахъ людей, съ которыхъ обыкновенно начинаютъ періодъ западно-славянскаго возрожденія: не только Добнеръ или кто другой изъ тогдашнихъ ученыхъ, но даже и Добровскій вовсе не думалъ объ основаніи особой національной литературы, въ томъ смыслѣ, какъ стремилось къ этому слѣдовавшее за нимъ поколѣніе. Ясно изъ этого, что развитіе національныхъ стремленій происходило не исключительно отъ внутреннихъ силъ національностей: для этого развитія нужны были постороннія обстоятельства, отсутствіе или присутствіе которыхъ приближало или отдаляло эпоху національнаго пробужденія. Характеръ этихъ обстоятельствъ опредѣлялъ и характеръ самаго возрожденія. Обращеніе къ народу, стремленіе поднять его изъ того униженія, въ которомъ держали его феодальныя преданья старой Европы,—были несомнѣнно слѣдствіемъ освободительныхъ идей восемнадцатаго столѣтія. Нѣмецкая по происхожденію наука указывала на родство славянскихъ племенъ, изучала славянскую старину, и національ-

ныя стремленія замѣтнымъ образомъ выростали вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ эта наука, постепенно совершенствуясь, разъясняла полнѣе и отчетливѣе это родство и это прошедшее. Новыя открытія науки становились открытіемъ и для національныхъ инстинктовъ.

Это послѣднее всего больше замѣтно на чешской литературѣ, которая вообще рельефнѣе другихъ западно-славянскихъ литературъ выражаетъ эпоху возрожденія. Прежде, чѣмъ явились вполнѣ опредѣлившіеся проповѣдники панславизма, Колларъ, Челяковскій и т. д., въ ней долго шло это приготовительное изученіе, еще чуждое національному вопросу и разсматривавшее славянскую старину чисто какъ предметъ науки. Съ другой стороны, писатели, заботившіеся о просвѣщеніи народа, Амерлинги, Крамеріусы, и т. д., были вполнѣ преданы интересамъ чешскаго народа и не были вовсе панславистами. Славянское единство стало занимать уже слѣдующія поколѣнія. Самые панслависты, уже сознательно понимавшіе свою идею, также приходили сначала только къ однимъ извѣстнымъ пунктамъ ея, не касаясь другихъ: они хлопотали о литературномъ единствѣ, мечтали о будущей славянской цивилизаціи, но еще не думали, или думали очень мало о политической и соціальной сторонѣ вопроса, которая одна, конечно, и стоила серьезнаго вниманія въ практическомъ приложеніи. Вражда къ нѣмцамъ—преданье старой исторіи — сказалась снова и теперь, но и она оставалась глухой, неясной, хотя и крайней нетерпимостью.

Другіе народы чешскаго племени, Мораване и Словаки, мало отличающіеся отъ Чеховъ по языку и вообще по свойствамъ своей національности, примкнули къ этому движенію, — потому что и въ прежнія времена они пользовались одной литературой и наравнѣ съ Чехами имѣли въ ней своихъ представителей. Мы уже разсказывали, какимъ образомъ національная идея, доведенная до своей крайности, стала здѣсь впослѣдствіи въ противорѣчіе самой себѣ и привела снова къ раздѣленію.

У Сербовъ восточныхъ или православныхъ возрожденіе шло иными путями и имѣло другой характеръ. Если Чехи, подъ вліяніемъ большаго образованія и развитой по нѣмецкимъ образцамъ науки, раньше пришли къ національному сознанію и дали ему потомъ форму панславизма, у Сербовъ возрожденіе долго оставалось на степени элементарной заботы о просвѣщеніи народа и на степени непосредственнаго наблюденія народности, не задававшаго себѣ никакихъ широкихъ задачъ. Въ концѣ прошлаго столѣтія собственная Сербія была еще подъ турецкимъ владычествомъ и испытывала тяжелую участь современной Босны и Герцеговины. Въ то время не могло быть поэтому и вопроса о какомъ нибудь обширномъ развитіи національныхъ интересовъ: для угнетенныхъ національностей оставался только вопросъ о защитѣ своего матеріальнаго существованія; заботы національности ограничивались ближайшими предѣлами сербскаго племени. Первыя попытки народной литературы появляются у тѣхъ Сербовъ, которые жили въ Австріи, куда они переселились въ 17-мъ столѣтіи, избѣгая турецкаго

ига. Здѣсь имъ представлялась нѣкоторая возможность школьнаго образованія, и это въ первое время дало австрійскимъ Сербамъ роль въ маленькой сербской литературѣ. Но существенный успѣхъ возрожденія принесенъ былъ здѣсь политическимъ освобожденіемъ той части сербскихъ земель, которая составила независимое сербское княжество. Литературное образованіе и школы появились и въ свободномъ княжествѣ, но образованіе народа шло не такъ далеко, чтобы у Сербовъ могли появиться ученыя панславянскія стремленія. Съ другой стороны, здѣсь не было и не могло быть тѣхъ опасеній подавляющаго культурнаго вліянія чужой народности, которыя произвели у Чеховъ такую нетерпимость къ Нѣмцамъ и такое ревнивое хвастовство своей національностью. Сербамъ не грозили ни Нѣмцы, ни Турки, и національное чувство не дошло до такой щепетильной раздражительности: оно могло быть спокойнѣе, потому что никто не нарушалъ его нравственныя права; національнымъ врагомъ и для княжества, и для Сербовъ, Босны и Герцеговины, была сила чисто матеріальная. Безпокойныя волненія панславизма остались мало извѣстны для восточныхъ Сербовъ: для этого они или были достаточно обезпечены политически (въ княжествѣ), или слишкомъ мало учены.

Иначе дѣло возрожденія шло у Сербовъ западныхъ, католическихъ, въ Далмаціи и далматинско-хорватскихъ земляхъ. Славянская Далмація со второй половины 15-го столѣтія стала пріобрѣтать замѣчательное литературное развитіе, совершавшееся подъ сильными итальянскими вліяніями, и наиболѣе богатое въ 16—17-мъ вѣкахъ. Эта литературная жизнь продолжалась, впрочемъ гораздо слабѣе, въ 18-мъ столѣтіи, такъ что здѣсь почти не прекращалась литературная традиція, и если новое славянское движеніе должно было распространиться и на эту область, то здѣсь для него уже была подготовлена почва, по крайней мѣрѣ до извѣстной степени: здѣсь, напримѣръ, могло не быть заботы о литературномъ языкѣ, какъ было у Чеховъ и православныхъ Сербовъ, которые должны были потратить на это много времени и труда, потому что новая литература должна была начинать сначала и нуждалась въ новомъ языкѣ. Тѣмъ не менѣе славянское возрожденіе шло у далматинскихъ Сербовъ крайне туго: они слабо откликались на тѣ первые панславянскіе призывы, которые уже слышались у Чеховъ, и доходили даже и къ русскимъ.

Но за то оно произвело здѣсь явленіе весьма оригинальное: съ 30-хъ годовъ дѣло возрожденія почти вдругъ взяло здѣсь на себя небольшое славянское племя (Хорваты или Кроаты собственно), отличное по языку и національности отъ тѣхъ далматскихъ Сербовъ, которымъ принадлежала цвѣтущая литература 16—17-го столѣтій, и само почти не имѣвшее литературныхъ преданій... Немногочисленные Хорваты, лишенные сами по себѣ литературныхъ средствъ, необходимыхъ для защиты національности, просто оставили свое провинціальное нарѣчіе и воспользовались языкомъ и литературой своихъ далматинскихъ сосѣдей; они оставили и свое провинціаль

ное имя и назвались «Иллирами»—общій терминъ, который долженъ былъ соединить въ одно цѣлое всѣ оттѣнки сербскаго племени, даже Сербовъ православныхъ. Это національное переодѣванье имѣло почти полный успѣхъ: правда, восточные Сербы не захотѣли вступать въ новую національность, но Сербы западные, австрійскіе Далматинцы и проч., приняли новый національный терминъ, и такимъ образомъ у раздѣленныхъ до того времени западныхъ Сербовъ явилось общее національное знамя. Имя «Иллировъ», правда, удержалось не долго, но заключенный этимъ именемъ союзъ уцѣлѣлъ. Въ новой хорватской. или иначе «иллирійской», «южно-славянской» литературѣ въ то же время обнаружились и самыя ревностныя панславянскія тенденціи... Это оригинальное явленіе объясняется опять тѣми же историческими обстоятельствами, которыхъ дѣйствіе вообще обнаруживается въ славянскомъ возрожденіи. «Иллирійское» движеніе было чисто результатомъ политическихъ отношеній Кроаціи къ Венграмъ; это была національная реакція противъ притязанія Венгровъ — дать преобладаніе мадьярскому элементу въ тѣхъ земляхъ, которыя соединены были подъ венгерской короной. Хорваты были прежде совершенно спокойными зрителями движенія, начинавшагося въ другихъ славянскихъ земляхъ; теперь они вдругъ поднимаютъ національную тревогу, заявляютъ о своихъ славянскихъ симпатіяхъ, становятся въ ряды горячихъ панславистовъ — поводъ былъ въ томъ, что Венгры начали принимать практическія мѣры, чтобы обезпечить преобладаніе своей національности. Въ строгомъ смыслѣ національныя стремленія Хорватовъ были результатомъ обстоятельствъ весьма случайныхъ: Хорватамъ нужно было защищать свой частный вопросъ, и національное движеніе, панславизмъ, были готовы... На сколько этотъ панславизмъ Хорватовъ былъ слѣдствіемъ исконнаго сознанія славянскаго единства, о которомъ говорятъ панслависты, можно видѣть изъ того, что хорватское движеніе — какъ положительно извѣстно — въ значительной степени обязано было австрійскому правительству, которое въ извѣстную минуту нашло нужнымъ раздуть національную интригу, чтобы въ Кроатахъ поставить противодѣйствіе слишкомъ назойливымъ Венграмъ. Ученыя объясненія славянскаго единства очевидно были излишни для Хорватовъ. Ихъ національныя стремленія руководились ближайшими интересами: народъ довольно первобытный по своимъ нравамъ, поставляющій отличные полки для австрійской арміи, и поднятый искуснымъ образомъ, они явились защищать свою національность съ оружіемъ въ рукахъ—защищать въ интересахъ австрійской имперіи (венгерская война 1848—49 года). Только лучшіе люди говорили о панславизмѣ.

Опять иной видъ принимали національныя стремленія у Болгаръ, наиболѣе забытаго изъ всѣхъ славянскихъ племенъ. Турецкое иго лежало на нихъ такъ тяжело, что собственная Болгарія была не въ состояніи противопоставить ему какое нибудь сопротивленіе, а національность поддерживалась только религіею, но и въ этой нравственной области надъ ними

тяготѣло другое иго—иго греческой іерархіи. Болгары теряли своихъ людей, которымъ удавалось устроить себѣ болѣе независимое общественное положеніе: эти люди всего чаще отказывались отъ своей національности, дѣлались Турками или Греками, выселялись въ сосѣднія земли. Возрожденіе проникло сюда всего позже. Оно было дѣломъ пылкаго панслависта Венелина, и нѣсколькихъ болгарскихъ эмигрантовъ, въ которыхъ его дѣятельность пробудила національный патріотизмъ. Національное движеніе, сначала весьма слабое и безпомощное, началось здѣсь собственно только съ тридцатыхъ годовъ, когда появились первыя болгарскія школы и первыя болгарскія книги: роль литературы у Болгаръ еще скромнѣе, чѣмъ у Сербовъ. Но въ послѣднее время національное движеніе переходитъ на практическую общественную и опять исключительную почву: болгарскіе патріоты, еще не думающіе пока о политической свободѣ, стремятся къ основанію національной болгарской церкви, которая бы освободила народъ отъ угнетенія со стороны греческой іерархіи...

Такова была почва, на которой подготовлялся панславизмъ. Эта идея очевидно шла въ подмогу тому сознанію своей слабости, которое рождалось болѣе или менѣе у всѣхъ представителей юго-западныхъ славянскихъ національностей: панславизмъ обѣщалъ имъ внѣшнюю помощь цѣлаго племени. Мы увидимъ, кромѣ того, что панславизмъ имѣлъ общественный успѣхъ только тамъ, гдѣ общество владѣло извѣстнымъ образованіемъ, гдѣ оно доступно было вліяніямъ ученой литературы, которая участвовала въ образованіи панславянской идеи съ археологической стороны. Въ самомъ дѣлѣ нѣтъ никакого сомнѣнія, что панславизмъ—въ его законченномъ широкомъ видѣ—могъ быть раздѣляемъ только людьми образованнаго класса, которые могли найти въ книгахъ доказательства славянскаго единства; только въ книгахъ можно было познакомиться со всѣми племенными родственниками, раскинутыми отъ Камчатки до Адріатическаго моря,—народная масса не могла и подозрѣвать такого многочисленнаго родства.

Это обстоятельство достаточно доказываетъ само по себѣ, что панславянское единство было прежде всего только ученымъ открытіемъ; оно конечно нашло отголосокъ во всѣхъ славянскихъ племенахъ, но вовсе не имѣло такого глубокаго значенія, которое приписали ему въ свое время и славянскіе, и европейскіе публицисты. Одни увлекались панславизмомъ какъ любопытнымъ результатомъ археологическаго изученія, и преувеличивая—по обыкновенной маніи спеціалистовъ — значеніе этого результата, распространили прошедшій фактъ на настоящее; другіе увлеклись имъ какъ величественной политической комбинаціей, которая въ будущемъ представляла для славянскаго патріота самую завлекательную перспективу,—преувеличенныя опасенія Нѣмцевъ сдѣлали изъ этой комбинаціи пугало, которому повѣрила и Европа, опасавшаяся, что панславизмъ можетъ сдѣлаться орудіемъ въ рукахъ Россіи. Славянскіе мечтатели также стали вѣрить, что они страшны Европѣ и что они принесутъ новую цивилизацію.

Въ ученомъ открытіи панславянской идеи всего больше работали чешскіе писатели и археологи. У Чеховъ вообще панславянская идея имѣла всего больше вліятельныхъ представителей, и это очень понятно: они были наиболѣе развиты сравнительно съ другими западными Славянами; непосредственые сосѣди съ Нѣмцами, они всего легче могли усвоить себѣ оружіе нѣмецкой науки и всего скорѣе почувствовали потребность выйти изъ-подъ чужой опеки. Патріоты желали поднять свой народъ,—для этого нужно было провести народный языкъ въ школу; нужно было доказать историческое право чешской народности, ея право современное—такимъ образомъ ученое изслѣдованіе о старинѣ становилось въ прямую связь съ вопросами настоящаго. Эти изслѣдованія ведены были съ замѣчательнымъ успѣхомъ, и въ нихъ явился первый соединительный пунктъ. Та же потребность историческаго доказательства національныхъ правъ сказывалась и у другихъ славянскихъ народовъ, которые собирались теперь снова выступить на историческую сцену; каждый выставлялъ прошедшіе подвиги, чтобы исторической заслугой подкрѣпить свои притязанія въ настоящемъ. Болгары съ патріотическимъ самодовольствомъ узнали (отъ другихъ), что ихъ народу принадлежатъ первые памятники славянскаго христіанства. Сербы вспоминали о старинномъ царствѣ, о борьбѣ съ Турками. Чехи съ гордостью указывали на гусситскую эпоху, которая дѣлала ихъ въ свое время передовымъ народомъ Европы, и на древніе памятники своего стараго развитія. Ставши разъ на эту точку, славянскіе патріоты не замедлили придать своей старинѣ больше блеска, чѣмъ она заслуживала. Экстравагантные ученые утверждали, что славянскій языкъ есть прямое продолженіе языка Гомера [2]); новоизобрѣтенные «Иллиры» считали свою генеалогію со временъ Кадма, за тысячу лѣтъ до Рождества Христова; наши русскіе квасные патріоты отыскивали необычайныя добродѣтели въ древней Руси и за неимѣніемъ другаго восхваляли ея смиренномудріе... Эти наивности любопытны для насъ именно потому, что высказываютъ затаенную мысль славянскихъ патріотовъ, и обнаруживаютъ, какія прорѣхи хотѣли они прикрыть въ своемъ національномъ прошедшемъ и настоящемъ.

Но этимъ прошедшимъ и настоящимъ занялась и истинная наука. Славянская исторія еще въ концѣ прошлаго столѣтія останавливала на себѣ вниманіе ученыхъ, очень часто ученыхъ нѣмецкихъ, которые для нея были почти тѣмъ же, чѣмъ былъ Шлецеръ для русской исторіи;—или иногда и Славянъ, но съ нѣмецкимъ или латинскимъ образованіемъ и писавшихъ по нѣмецки или по латыни. Таковъ былъ даже Добровскій, непосредственный предшественникъ настоящихъ ученыхъ панславизма. Было бы долго и излишне пересчитывать труды всѣхъ этихъ ученыхъ прошлаго столѣтія, посвящавшихъ свое изученіе славянской исторіи и археологіи (напримѣръ Ассемани, Лингартъ, д-ръ Антонъ, Энгель, Гебгарди, Катанчичъ,

[2]) Извѣстная книга: „Homerus Slavizans“.

Мейнертъ, Шнуррeръ, Тунманъ, Добнеръ, Дуричъ и мн. друг.). Эти ученые смотрѣли на свой предметъ чисто сціентифическимъ образомъ; это была для нихъ такая же археологія, какъ всякая другая, и національность автора имѣла вліяніе развѣ только на выборъ сюжета. Тѣмъ не менѣе они имѣли свое значеніе въ образованіи панславянской идеи: ихъ изслѣдованія, объяснявшія частную исторію славянства, дали слѣдующему поколѣнію ученыхъ возможность общаго обзора, который указывалъ связь этихъ частностей между собою и открывалъ общія черты цѣлаго племени. Труды Добровскаго уже имѣютъ этотъ общеславянскій характеръ: онъ былъ первымъ энциклопедистомъ славянскихъ нарѣчій и славянской исторіи. Труды Добровскаго были еще отрывочны, но съ нимъ уже начинаютъ опредѣляться вопросы славянскаго изученія: по грамматической системѣ Добровскаго начинаютъ составляться грамматики разныхъ славянскихъ нарѣчій; изученіе, начатое имъ, дало точку отправленія для изслѣдованій другихъ, и эти изслѣдованія стремятся найти взаимную связь. Второе и третье десятилѣтія нынѣшняго вѣка представляютъ уже значительное расширеніе этого славянскаго знанія, хотя оно все еще шло ощупью и только начинало раскрывать картину славянской старины и славянскаго настоящаго. У Чеховъ въ это время открыты были «Судъ Любуши» и «Краледворская рукопись», которые подѣйствовали такъ сильно и на науку и на патріотическое чувство; начинаются труды Шафарика, Палацкаго, Ганки. У Сербовъ появился въ это время сборникъ пѣсенъ Караджича; сербскій эпосъ, въ первый разъ указанный здѣсь во всей своей патріархальной красотѣ, сталъ новымъ предметомъ славянской національной гордости и новымъ орудіемъ литературнаго возрожденія. У Русскихъ также начинается особенно усердное изслѣдованіе старины, стоящее въ связи съ изученіемъ славянства: это было время трудовъ Востокова, Калайдовича, Строева, Кеппена.

Такимъ образомъ начиналась новая наука и вмѣстѣ начиналось и болѣе близкое знакомство славянскихъ племенъ между собою, потому что серьезное изученіе старины неизбѣжно этого требовало. Тѣмъ не менѣе эта новая наука все еще была неполна и отрывочна; подробности уже связывались, но еще не было одного законченнаго цѣлаго.

Такимъ законченнымъ цѣлымъ изученіе славянскаго міра въ первый разъ является въ трудахъ Шафарика. Знаменитый ученый былъ первымъ и до сихъ поръ почти единственнымъ ученымъ вполнѣ панславянскаго характера. Ему принадлежитъ первый общій обзоръ славянскихъ литературъ, древностей, этнографіи. Все это были труды, исполненные съ замѣчательной ученостью и здравой критикой, и съ нихъ въ первый разъ начинается цѣльный взглядъ на славянскія національности, стремленіе связать ихъ въ единое историческое цѣлое, объяснять ихъ одну другою. Съ тѣхъ поръ частныя изслѣдованія находили себѣ въ этомъ общеславянскомъ изученіи Шафарика точку опоры, какой имъ до тѣхъ поръ недоставало; обще-

славянская идея становилась обязательной и неизбѣжной для тѣхъ, кто брался теперь за объясненіе вопросовъ славянской жизни.

Въ этомъ смыслѣ совершались труды послѣдующихъ ученыхъ: принадлежа къ разнымъ славянскимъ народностямъ, они имѣли уже одинъ общій интересъ и общую цѣль; ихъ изученіе обнимало уже болѣе или менѣе всѣ отрасли славянскаго племени, и ихъ частныя національныя стремленія принимали на себя оттѣнокъ общеславянской идеи. Ученые современники Шафарика, дѣйствовавшіе въ томъ же смыслѣ, и новое поколѣніе, образовавшееся подъ ихъ прямымъ вліяніемъ, уже положительно отличались этимъ общеславянскимъ характеромъ своего изученія, какъ напр. Челяковскій, Палацкій, Эрбенъ, Мацѣевскій, Бодянскій, Срезневскій, Григоровичъ, Миклошичъ и т. д. Это согласіе въ общемъ направленіи соединило ихъ въ касту, которая ревностно распространяла свои идеи въ литературѣ... Ученая каста, сначала немногочисленная, потомъ болѣе и болѣе возраставшая, была соединена довольно тѣсно, даже личными отношеніями, какъ случается впрочемъ между учеными спеціалистами. Члены ея дѣлились учеными открытіями, помогали другъ другъ въ своихъ трудахъ, воспитывали новыхъ адептовъ. Каста имѣла наконецъ значительное вліяніе, потому что ея панславянскіе интересы совмѣщались съ національными стремленіями отдѣльныхъ племенъ: къ защитѣ своей собственной народности ученые прибавляли указаніе на цѣлую семью племенъ, которая должна быть сильна взаимной симпатіей и согласіемъ въ общемъ дѣлѣ, — одна славянская народность должна была укрѣпляться вмѣстѣ съ тѣмъ какъ укрѣплялись другія. Въ подмогу этимъ практическимъ соображеніямъ явилась и европейская теорія національнаго фатализма, которая нашла горячихъ послѣдователей между славянскими патріотами. Теоретики панславизма проповѣдывали, что каждому народу отъ начала предопредѣлена извѣстная историческая задача, что каждому на роду написано провести въ своемъ существованіи извѣстную идею, что такую идею, совершенно особую, должны выполнить и славянскіе народы. На эту тему написано было множество трактатовъ, весьма лестныхъ для національнаго славянскаго чувства. Изъ этой теоріи панславизмъ сдѣлалъ наконецъ тотъ выводъ, что западные народы уже совершили свою задачу, что имъ нечего больше дѣлать на свѣтѣ, и что мѣсто ихъ должно занять теперь свѣжее, неиспорченное славянское племя, для котораго наступила пора исполнить свою миссію. Будущее отдавалось теперь «славянскимъ началамъ»... Это была извѣстная теорія Хомякова, Шевырева, Кирѣевскихъ и т. д. и множества западно-славянскихъ патріотовъ. Возрожденіе создало этимъ путемъ одинъ общій образъ мыслей, который болѣе или менѣе согласно повторяли всѣ пропагандисты панславизма, какой бы народности они ни принадлежали.

Такимъ образомъ и эта серьезная литература, начавши съ строгаго фактическаго изученія, кончала увлеченіями, не имѣвшими никакого реальнаго основанія. Патріоты приготовлялись уже видѣть паденіе запада и тор-

жество славянскаго востока, предсказывали будущую славянскую цивилизацію, въ то время, когда славянскій міръ, въ массѣ, только что начиналъ усвоивать элементарныя понятія цивилизованной жизни.

Во всемъ этомъ нельзя не видѣть обыкновеннаго увлеченія начинающейся пропаганды. Недостатокъ прямой дѣятельности и непосредственной политической жизни естественно заставляли Славянъ возлагать свои надеждежды на фантастическое будущее: въ немъ патріотамъ представлялась несомнѣнная побѣда. Ясно, что въ эту эпоху своего развитія панславизмъ былъ скорѣе патріотической поэзіей, чѣмъ политическимъ ученіемъ.

Эта патріотическая поэзія развилась дѣйствительно съ большой плодовитостью и съ большимъ успѣхомъ. Обстоятельства были вполнѣ благопріятны этому. Съ первыми началами возрожденія со всѣхъ концовъ славянскаго міра послышались заявленія братской любви, вездѣ заговорили о великой славянской будущности, о взаимности и единствѣ и т. д. Вездѣ началось раскапыванье старины, и усилія цѣлой школы ученыхъ достигли, наконецъ, того, что возстановили до извѣстной степени образъ стараго славянства, принимавшій въ отдаленіи поэтическія краски, указали историческія нити, соединявшія настоящее славянскаго племени съ его прошедшимъ, нашли извѣстныя родственныя черты въ характерѣ отдѣльныхъ племенъ, указали дѣйствительныя красоты славянской народной поэзіи. Идея панславизма, развитая школой, была увлекательна по своей фантастической широтѣ и, распространенная въ литературѣ, имѣла успѣхъ вездѣ, гдѣ она или подавала славянскимъ національностямъ надежду поправить свое настоящее, или льстила ихъ самолюбію. Въ славянскомъ обществѣ таилось какое-то неясное ожиданіе... Поэзія взялась высказать эти ожиданія. Замѣчательнѣйшія проявленія панславянской поэзіи относятся къ тому же самому періоду, которому принадлежитъ научное открытіе панславянской идеи, и одно нерѣдко питалось и поддерживалось другимъ: оттого самая поэзія принимала нерѣдко свой извѣстный археологическій оттѣнокъ. Поэты панславизма явились съ разныхъ сторонъ, но самые ревностные изъ нихъ принадлежали Чехамъ, которымъ, мы видѣли, принадлежала и наибольшая доля въ ученомъ открытіи панславизма. Во главѣ ихъ стоитъ Колларъ, авторъ знаменитой «Дочери Славы». Эта поэма, указывавшая славянскимъ племенамъ принципы ихъ нравственной солидарности, стала поэтическимъ кодексомъ панславизма. Такимъ же поэтомъ панславизма былъ Челяковскій: онъ пересаживалъ на чешскую почву народныя пѣсни другихъ Славянъ, съ панславянской цѣлью показать ихъ родство и познакомить народности между собой. Вражда къ Нѣмцамъ умѣла находить себѣ рѣзкое выраженіе у Челяковскаго и другихъ поэтовъ юной Чехіи: это былъ одинъ изъ любимыхъ мотивовъ національной поэзіи, юные Чехи вспоминали о старыхъ несправедливостяхъ «враговъ цѣлаго славянства», и пророчили освобожденіе отъ ненавистнаго ига. Панславянская поэзія нашла пылкихъ представителей и въ новой «иллирской» національности. «Иллиры»

готовили свое оружіе на другого врага—на Венгровъ. Поэзія Вукотиновича и другихъ представителей юной Иллиріи въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ была вовсе не двусмысленна на этотъ счетъ; но и въ этой поэзіи была обыкновенная панславянская подкладка и мечтательныя надежды на единство. Панславянская поэзія оказалась затѣмъ и въ русской литературѣ. Здѣсь даръ пророчества взялъ на себя Хомяковъ... Нашимъ читателямъ знакома, безъ сомнѣнія, эта поэзія, въ которой панславянскія стремленія, мистицизмъ и реторика складывались въ высокопарныя оды и элегіи. Хомяковъ едва ли не самый характеристическій представитель русскаго панславизма: мистическое превознесеніе славянской расы, изъ которой онъ дѣлалъ настоящее «избранное» племя, враждебное пренебреженіе западомъ и его національностями, внѣшнее, довольно іезуитское «смиреніе», и подъ его личиной властолюбивыя и самолюбивыя замашки. Хомяковъ очень давно выразилъ эти качества своихъ взглядовъ и своей поэзіи, и его «Орелъ», котораго онъ призываетъ «простереть свои крылья надъ слабой главой младшихъ братій», производилъ въ свое время впечатлѣніе между западнымъ славянствомъ, которое тогда еще не подозрѣвало тенденцій московскаго панславизма. Панславянскіе мотивы послышались наконецъ и въ польской литературѣ, и казалось, что въ самомъ дѣлѣ наступила пора, когда разъединенныя части одной семьи, столько страдавшія въ своемъ раздѣленіи, соединятся наконецъ въ свой прежній тѣсный союзъ и что для нихъ начнется новая жизнь; эту жизнь, повидимому, такъ единодушно встрѣчали вездѣ славянскія племена, что сомнѣніе не приходило въ голову.

Но славянской семьѣ недоставало еще самаго необходимаго орудія всякаго національнаго единства,—единства языка, т. е. простой возможности понимать другъ друга. Колларъ хотѣлъ достигнуть этого единства своей теоріей о «славянской взаимности». Книжка его объ этомъ предметѣ, переведенная на разныя славянскія нарѣчія, имѣла большой успѣхъ: читатели его полагали, что предложенное имъ средство — взаимное изученіе славянскими народами ихъ главнѣйшихъ нарѣчій (Колларъ сравнивалъ ихъ съ діалектами греческаго языка, не мѣшавшими греческому единству) — рѣшаетъ дѣло и соединитъ Славянъ нравственной солидарностью. Имъ не приходило въ голову, во первыхъ, что изученіе нѣсколькихъ нарѣчій никогда не будетъ возможно для большинства, которое въ вопросахъ національности и рѣшаетъ все дѣло; во вторыхъ, что филологическая ученость народовъ, если бы она и была возможна, нисколько не поправила бы ихъ положенія: хотя бы даже славянскіе народы достигли взаимнаго пониманія своихъ литературъ (относительно языка), это еще вовсе не сближало бы ихъ общественныхъ и политическихъ интересовъ и понятій. Русскому или Поляку по прежнему оставались бы чужды и незанимательны дѣла далматинскаго Серба; Чехъ по прежнему былъ бы безсиленъ помочь Болгарину и т. д., — и ихъ собственнымъ дѣламъ филологическая ученость помогла

бы очень мало. Но въ свое время «литературная взаимность» показалась панславистамъ полнѣйшимъ разрѣшеніемъ національнаго затрудненія. Они полагали, что изучивъ четыре главныя славянскія нарѣчія, можно считать единство совершившимся и національную цѣль достигнутою. Что же по ихъ мнѣнію могло дать разнымъ Славянамъ это изученіе? Взаимность, по мнѣнію касты, должна была главнымъ образомъ направиться на изученіе славянскихъ народностей,—т. е. народной поэзіи, старины, нравовъ и обычаевъ, однимъ словомъ, всего того, что конечно представляло собой «народность», т. е. характеристическіе признаки славянскихъ племенъ, но что *само по себѣ* было еще крайне непроизводительно для общественнаго развитія. Каста состояла преимущественно изъ спеціалистовъ филологіи, археологіи и этнографіи; самъ Колларъ, пѣвецъ «Дочери Славы» и авторъ «Литературной взаимности», вздумалъ сдѣлаться археологомъ и занялся отыскиваньемъ Славянъ въ Швейцаріи, въ Италіи и проч. Каста имѣла значительное количество послѣдователей, но большинство тѣмъ не менѣе осталось хладнокровно къ придуманной взаимности. Причина этого понятна: «взаимность» сводилась на археологическій интересъ, нисколько не касаясь существенныхъ соціальныхъ вопросовъ, которые собственно и требовали улучшенія.

Нѣкоторое неясное понятіе о взаимной связи было впрочемъ и безъ того между новыми славянскими литературами. Ученымъ уже была знакома родственная связь славянскихъ племенъ; были примѣры, что эта родственность была даже ощущаема ими съ извѣстной долей славянскаго патріотизма. Политическая сила Русской имперіи въ восьмнадцатомъ столѣтіи возбуждала удивленіе и нѣкоторую неопредѣленную симпатію даже и въ народныхъ западно-славянскихъ массахъ, когда имъ приходилось что нибудь слышать объ этомъ. Первыя попытки изученія славянской исторіи пробуждали еще яснѣе эту мысль о славянскомъ родствѣ. Труды Добровскаго казались уже близки русскимъ ученымъ, его современникамъ. Извѣстный защитникъ «стараго слога», адмиралъ Шишковъ, перевелъ на русскій языкъ «Краледворскую рукопись», какъ только вышло ея изданіе у Чеховъ... Когда создалась наконецъ каста, эта взаимность конечно усилилась; труды разноплеменныхъ ученыхъ скорѣе становились извѣстны въ славянскомъ мірѣ, мѣна идей стала чаще, но результатомъ этой взаимности, какъ понимала ее каста, было только развитіе ультранаціональныхъ понятій, которыя мы уже указывали, распространеніе разныхъ фантастическихъ ожиданій, лишенныхъ всякаго реальнаго значенія. Съ этими вещами трудно было измѣнить тѣ политическія и общественныя условія, отъ которыхъ главнымъ образомъ страдали національности: Болгарину или турецкому Сербу было вовсе не легче отъ того, что ученые увѣряли его, что въ его народности заключается корень будущей цивилизаціи; Чеху было бы гораздо полезнѣе сколько нибудь поправить свои внѣшнія обстоятельства, чѣмъ поучаться изъ «взаимныхъ» умствованій Хомякова и проч.

Надобно впрочемъ сказать, что панславизмъ пріобрѣлъ наконецъ и свою политическую сторону. Въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ о панславизмѣ заговорили европейскіе журналы: неопредѣленное броженіе, обнаружившееся въ славянскихъ земляхъ, показалось цѣлой политической революціей, готовой измѣнить положеніе Европы. Политическіе элементы и дѣйствительно были въ этомъ національномъ броженіи, но тогдашніе политики слишкомъ преувеличили ихъ значеніе. Недоразумѣніе разсѣялось только послѣ событій 48—49 года.

Политическій смыслъ приданъ былъ панславизму и раньше 30-хъ годовъ. Панславянскія тенденціи были уже, какъ извѣстно, у заговорщиковъ 14-го декабря. Достаточно вспомнить то положеніе, въ которомъ находились тогда славянскія племена, чтобы видѣть, что мечты о славянскомъ союзѣ были слишкомъ преждевременной фантазіей. Въ двадцатыхъ годахъ славянскій союзъ не представлялъ никакихъ практически возможныхъ основаній: думать о немъ могли только люди, слишкомъ мало знакомые съ положеніемъ вещей. При всемъ томъ мысль о славянскомъ союзѣ была пущена и находила потомъ ревностныхъ прозелитовъ: туманъ, покрывавшій славянскія дѣла, еще облегчалъ созданіе политическихъ фантазій. И тѣ, кто желалъ, и тѣ, кто боялся славянскаго союза, считали его дѣломъ возможнымъ, хотя въ то время и наука еще очень немного знала о томъ, насколько славянскій міръ представляетъ гарантій единства или союза. Панславизмъ былъ уже названъ въ это время, и хотя съ этимъ словомъ соединялось крайне темное понятіе, оно заняло политическихъ дилеттантовъ,—въ родѣ того, какъ въ прошломъ столѣтіи занимала греческая имперія, задуманная Потемкинымъ. Говоря о панславизмѣ, такіе дилеттанты понимали не правильное политическое развитіе народовъ, а просто только размежеваніе Европы, болѣе или менѣе пріятное для глазъ... Мы считаемъ излишнимъ распространяться о подобныхъ теоріяхъ политическаго панславизма. Достаточно сказать, что этотъ панславизмъ не имѣлъ ничего или мало общаго съ дѣйствительными стремленіями славянскихъ племенъ; онъ даже становился къ нимъ въ прямое противорѣчіе. Для примѣра достаточно указать книжку ревностнаго панслависта этого разряда, графа Гуровскаго [3]): по мнѣнію его, славянскія племена юга и запада — ни больше ни меньше, какъ вѣтви, отдѣлившіяся отъ своего корня, и своей порчей вредныя самому корню; эти національности стали безплодны въ своемъ отдѣленіи, и единственное средство исцѣлить ихъ отъ этого безплодія — привязать ихъ къ здоровому славянскому племени, которое для ихъ же пользы должно абсорбировать ихъ въ одно славянское цѣлое. Подъ здоровымъ племенемъ разумѣется конечно Россія.

Книжка Гуровскаго была далеко не единственнымъ образчикомъ этого абсорбирующаго панславизма: было не мало брошюръ, развивавшихъ ту же

[3]) La civilisation et la Russie, St.-Pétersb. 1840.

мысль въ поученіе европейскимъ политикамъ. Они производили свой эффектъ, потому что разныя политическія событія подтверждали повидимому общую мысль, которая въ нихъ проповѣдовалась. Это было время, когда Россіи приписывались вообще завоевательныя стремленія, и въ западной Европѣ постоянно выражались опасенія по этому поводу.... Какъ ни противорѣчилъ этотъ абсорбирующій панславизмъ сепаративнымъ національнымъ усиліямъ отдѣльныхъ славянскихъ народностей, намъ совершенно понятна мысль такого единства: Гуровскій весьма естественно приходилъ къ ней, если считалъ славянскія національности «безплодными», а на это послѣднее онъ имѣлъ нѣкоторое право, потому что цѣлыя столѣтія западное и южное славянство оставалось совершенно нѣмо въ исторіи. Неправъ былъ онъ (и всякіе люди его мнѣній,) только въ томъ, что рѣшалъ судьбу славянства, не спросившись его самого: какъ ни казалась ему самому блестяща перспектива русской націи, усиленной десятками милліоновъ всего остальнаго славянства, — само славянство могло имѣть свои, не совсѣмъ похожіе на это, идеалы, и кто же имѣлъ право навязывать имъ другіе?..... Наше московское славянофильство было, на дѣлѣ, гораздо хуже: въ сущности оно держалось тѣхъ же мнѣній, какъ книжка графа Гуровскаго, хотя вовсе не утверждало, что національности безплодны; въ одно и тоже время оно и выказывало заботы объ ихъ развитіи, и свои стремленія къ опекѣ; оно и поощряло ихъ, и старалось втолковать имъ, что они собственнаго интереса не понимаютъ, и должны исправиться, т. е. слушаться московскихъ наставленій.

Люди болѣе либеральныхъ стремленій находили другія средства дать исходъ развитію славянскихъ національностей: они признавали за этими національностями способность жить и развиваться, и полагали, что самая естественная форма панславизма есть панславянскій союзъ изъ равноправныхъ народностей, федерація, въ которой и Россія займетъ мѣсто наравнѣ съ другими безъ всякаго первенства; или федерація только изъ однихъ западныхъ и южныхъ Славянъ, съ исключеніемъ Россіи, которая и сама по себѣ достаточно сильна, чтобы обезпечить свою національную самобытность; или федерація изъ австрійскихъ славянскихъ земель, съ присоединеніемъ Польши и т. д. Комбинацій представлялось вообще довольно много, и мысль о федераціи всего чаще кажется привлекала славянскихъ патріотовъ, помышлявшихъ о будущей судьбѣ славянскаго міра. До 1848 года эта мысль росла въ славянскихъ земляхъ Австріи втихомолку и медленно: славянская печать была въ такомъ загонѣ, что ей трудно было говорить прямо объ этихъ предметахъ, да притомъ ученая каста, на то время почти исключительно завѣдывавшая литературой, мало и думала о томъ, что національный вопросъ можетъ потребовать, наконецъ, практическаго разрѣшенія въ политической борьбѣ и революціи. Впослѣдствіи, съ свободной печатью эта мысль смѣлѣе явилась на сцену, но затѣмъ опять заглохла въ министерство Баха. Новая австрійская конституція опять дала возможность

выразиться этимъ федеративнымъ стремленіямъ, конечно въ предѣлахъ преданности австрійскому престолу.

Кромѣ этого наиболѣе распространеннаго мнѣнія, польскій панславизмъ выставилъ свою теорію, крайнимъ выраженіемъ которой былъ извѣстный «Мессіанизмъ» Мицкевича. По этой теоріи славянскій міръ представляетъ двѣ стороны, положительную и отрицательную: первая, заключающая въ себѣ начала будущаго славянскаго и человѣческаго прогресса и братства людей и народовъ, и истинное выполненіе христіанства, — представляется Польшей; вторая, деспотическая и разрушительная, представляется Россіей, для которой Мицкевичъ вообще не пощадилъ темныхъ красокъ. Польшѣ предстоитъ, по теоріи Мицкевича, великая роль вести впередъ развитіе человѣчества и дать наконецъ полное выраженіе христіанской идеѣ. Поэтому спасеніе славянскаго міра, отставшаго болѣе или менѣе вездѣ отъ истинныхъ славянскихъ началъ, заключается въ Польшѣ, которая должна занять первенствующее мѣсто въ союзѣ славянскихъ народностей.

Понятно, что эта теорія, имѣвшая свой успѣхъ въ польской литературѣ и естественно созданная всѣми условіями этой литературы, была слишкомъ далека отъ дѣйствительности. Но такими же фантастическими представленіями изобилуютъ и многія другія теоріи о будущей судьбѣ славянскаго міра: здѣсь выразилось опять и инстинктивное желаніе вознаградить себя за неутѣшительную дѣйствительность и крайность національнаго самолюбія.

Теорія, въ сущности неуступающая «Мессіанизму» своими преувеличеніями, есть наконецъ та теорія, которую началъ нѣкогда развивать кружокъ Хомякова, Кирѣевскихъ и т. д., и которая теперь окончательно завершена публицистами «Русской Бесѣды» и «Дня». Мы уже упоминали о ней прежде: она, такъ же какъ и другія, пророчитъ славянскому міру великую будущность и торжество славянскихъ началъ надъ западной цивилизаціей; она крѣпко стоитъ за развитіе народности и ея права, рекомендуетъ славянское братство, но въ то же самое время проповѣдуетъ такія вещи, которыя уже никакъ не укладываются въ принципъ національности. Именно, славянофильская теорія начинаетъ съ разными словоизвитіями повторять то же самое, что совершенно откровенно утверждала упомянутая книжка Гуровскаго. Московскіе славянофилы находятъ теперь, что кромѣ насъ, Русскихъ, почти все славянское племя (за исключеніемъ Болгаръ и православныхъ Сербовъ) совратилось съ истиннаго пути, утратило свой настоящій первобытный характеръ и чистоту славянскихъ началъ, и потому погибаетъ въ сѣтяхъ латинскаго запада. Можно было бы замѣтить на это, что въ этомъ совращеніи прошла вся исторія католическаго славянства, что поэтому смѣшно было бы и требовать отъ него иныхъ славянскихъ началъ, кромѣ тѣхъ, какія даны были ему исторической жизнью, — но славянофильская теорія, не смотря на то, утверждаетъ, что истинныя начала скрываются только въ той части славянскаго племени, которая приняла сначала

кирилловскую, а не латинскую азбуку. Это положеніе славянофильская теорія подтверждаетъ съ одной стороны доказательствами чисто-метафизическаго свойства, напр. приписывая Славянамъ кирилловской азбуки разныя отвлеченныя нравственныя качества, какихъ не имѣютъ Славяне западные; съ другой тѣмъ, что будто бы первые вѣрнѣе сохранили чистоту древне-славянскаго быта и славянской природы, которыя у другихъ были нарушены и подавлены вліяніемъ испорченнаго запада.... Въ настоящемъ случаѣ намъ излишне и неудобно подробно опровергать эти доказательства, тѣмъ больше, что они до сихъ поръ излагаемы были большей частью только въ видѣ патетическихъ восклицаній, а не разумнаго и серьезнаго изслѣдованія...... Достаточно сказать, что изъ нихъ славянофильская теорія выводитъ то заключеніе, что всѣ западные Славяне, уклонившіеся на ложный путь отъ истинно-славянскихъ началъ, могутъ спастись только возвратившись къ этимъ началамъ, т. е. другими словами, они должны отказаться отъ всей прошедшей исторіи, отъ всего тысячелѣтняго существованія, которое и создало ихъ современный характеръ; иначе, они должны отказаться отъ своихъ національностей и поступить въ распоряженіе московскихъ мудрецовъ.

Какое политическое примѣненіе можетъ имѣть подобная теорія, славянофилы не объясняютъ ближайшимъ образомъ. Но ясно, что это примѣненіе было бы очень недалеко отъ абсорбирующаго панславизма, о которомъ мы говорили выше. Рельефное выраженіе тенденцій московскаго панславизма см. въ брошюрѣ «Посланіе къ Сербамъ изъ Москвы».

Итакъ, не смотря на то, что политическій вопросъ, какъ мы сказали, до 1848 года мало могъ появляться въ западно-славянской литературѣ, онъ уже останавливалъ на себѣ европейское вниманіе. Внутренніе споры Кроатовъ и Словаковъ съ Венграми, начавшіеся съ тѣхъ поръ, какъ Венгрія взялась за политическое развитіе своей національности, стали предметомъ европейскаго интереса; кроатскіе публицисты не скрывали своего ожесточенія противъ Мадьяръ, и въ Европѣ стали вѣрить, что панславизмъ дѣйствительно можетъ угрожать европейскому спокойствію. Всего больше боялись этого Нѣмцы, и потому тѣмъ сильнѣе настаивали на германскомъ единствѣ, какъ единственномъ ручательствѣ за господство нѣмецкаго племени: чтобы укрѣпить силы этого единства, нѣмецкіе патріоты считали необходимымъ внести въ него и Австрійскую имперію, какъ бы ни было велико число ея не-нѣмецкихъ обитателей,—на томъ основаніи, что нѣмецкій элементъ былъ тамъ господствующимъ и цивилизующимъ началомъ. Австрійское славянство казалось имъ тѣмъ опаснѣе, что къ его движенію могло примкнуть національное движеніе турецкихъ Славянъ, которые заявляли о своей народной самобытности и могли бы еще болѣе усилить славянскій союзъ. Та же опасность могла явиться и со стороны Польши. Наконецъ въ то время были убѣждены, что панславизмъ составляетъ мечту Россіи, и что Россіи стоило выразить свое желаніе, поднять знамя, чтобы всѣ эти народы стали подъ это знамя... Въ 1846 г., одинъ изъ депутатовъ

баденской палаты заявлялъ открыто свои опасенія и указывалъ на страшное развитіе славянской національности, грозившее нѣмецкому отечеству,— и его слова произвели тогда впечатлѣніе. Естественно ожидать, что нѣмецкіе патріотическіе публицисты смотрѣли недружелюбно на славянское движеніе. Они подозрѣвали его въ соглашеніи съ Россіей, видѣли въ немъ русскую интригу, считали русскими революціонными эмиссарами тѣхъ мирныхъ ученыхъ, которые ѣздили почерпать у Славянъ свою археологическую ученость — и въ самомъ дѣлѣ кромѣ этой археологіи ничего отъ нихъ не вывозили.

Наконецъ въ 48-мъ году славянскій вопросъ является на открытой политической сценѣ. Австрійское славянство отвергло притязанія франкфуртскаго парламента, настаивавшаго на нѣмецкомъ качествѣ славянскихъ земель Австріи,—но этимъ заявленіемъ о своей національности и ограничился весь политическій результатъ революціи для славянскаго дѣла. Затѣмъ политическая роль славянства въ это время была самая несчастная: славянскій съѣздъ въ Прагѣ доставилъ представителямъ славянскихъ національностей короткое удовольствіе, — при которомъ они успѣли впрочемъ увидѣть, какъ много нужно еще сдѣлать, чтобы возможно стало «единство». Славянскіе представители плохо понимали другъ друга, и разошлись, не сдѣлавши собственно ничего. Торжественный манифестъ разувѣрилъ Европу, что ей совершенно нечего опасаться, что славянство остается такъ же вѣрно какъ прежде габсбургскому дому, и что оно будетъ защищать его интересы... Кроаты успѣли подавить венгерскую революцію; Чехи посылали своихъ волонтеровъ; Россія, которой приписывалось столько страшныхъ завоевательныхъ плановъ, очень естественно приняла въ этомъ дѣлѣ сторону порядка... Все это габсбургскому дому было совершенно пріятно.

Такъ это должно было конечно случиться по тѣмъ условіямъ, въ которыхъ находилось въ тѣ времена славянское движеніе. Славяне были слишкомъ мало развиты политически, чтобы сдѣлать что нибудь больше; изъ противодѣйствія франкфуртскому парламенту, они усердно защищали ту самую Австрію, которая стояла на дорогѣ всего славянскаго вопроса. Реакція, послѣдовавшая съ усмиреніемъ Венгріи, поставила ихъ въ то же положеніе, въ какомъ они были до 48 года: оно было даже хуже, потому что австрійское правительство увидѣло, что славянство способно къ безпокойному образу мыслей, и съ тѣхъ поръ стало принимать всѣ мѣры къ истребленію такого образа мыслей.

Теперь могли успокоиться тѣ славянскіе патріоты и публицисты, которые еще наканунѣ событій 48 года и въ теченіе этого самаго года утверждали, что единственное спасеніе Австріи—сдѣлаться славянской федераціей, или даже имперіей, но съ преобладающимъ славянскимъ характеромъ. Оказалось, что славянскій міръ можетъ еще на нѣкоторое время довольствоваться тѣмъ политическимъ режимомъ, какимъ онъ пользовался;

онъ еще не былъ на уровнѣ тѣхъ политическихъ условій, съ которыми собирался бороться.

Славянское движеніе компрометировало себя и съ другой стороны. Въ австрійской революціи оно встрѣтилось съ нѣмецкимъ либеральнымъ движеніемъ, которое, раздѣляя тенденціи германской національной партіи, требовало либеральныхъ учрежденій, которыя бы избавили страну отъ прежняго угнетенія и произвола. Нѣтъ сомнѣнія, что это движеніе было дѣйствительно прогрессивное, но славянскіе политики видѣли въ его представителяхъ только приверженцевъ ненавистнаго франкфуртскаго парламента: свою вражду къ нимъ славянскіе политики простерли и на всѣ ихъ принципы,—естественно, что такимъ образомъ, при всѣхъ своихъ благородныхъ пожеланіяхъ, они должны были очутиться на сторонѣ консерваторовъ и реакціонеровъ... Въ томъ же самомъ положеніи они оказались отчасти и въ послѣдніе годы, въ новой конституціонной палатѣ: національная задняя мысль сдѣлала славянскихъ депутатовъ врагами нѣмецкихъ прогрессистовъ палаты, и это вовсе не внушало къ нимъ довѣрія. Славянскіе депутаты не находили поддержки и своимъ собственнымъ требованіямъ.

Эти обстоятельства сдѣлали славянское движеніе еще менѣе популярнымъ, чѣмъ оно было прежде. Въ немъ не могли искать себѣ союзниковъ люди, стремящіеся къ прочной реформѣ общественныхъ и политическихъ отношеній. Извѣстно, что Венгерцы, по окончаніи войны, смѣялись надъ Кроатами, что они, Венгры, возставшіе противъ Австріи, выиграли отъ нея больше, чѣмъ Кроаты, защищавшіе ее. Это было совершенно справедливо. То же самое можно было сказать и о Чехахъ, и о всѣхъ остальныхъ австрійскихъ Славянахъ, которые приняли тогда програму Палацкаго.

Намъ скажутъ, что программа была доказательствомъ благоразумія. Съ этимъ можно пожалуй согласиться, но въ такомъ случаѣ къ чему было предаваться безмѣрному національному самовосхваленію, въ которомъ такъ сильно упражнялись тогда славянскіе патріоты?

Такимъ образомъ ожиданія обманули: славянскій міръ не возсталъ какъ одинъ человѣкъ, не произвелъ на Европу страшнаго нашествія, котораго боялись отъ него, цивилизація была не тронута. Одна часть славянства (Сербія и турецкіе Славяне), не заинтересованная прямо въ австрійскомъ вопросѣ, осталась совершенно спокойна [1]); другая (Польша) благоразумно уклонилась отъ политическихъ безпокойствъ; третья (Россія) поддержала въ Австріи законный порядокъ,—о разрушеніи европейской цивилизаціи не было конечно и рѣчи. Съ другой стороны обнаружилось также и то обстоятельство, что подъ національнымъ движеніемъ вовсе нельзя подразумѣвать непремѣнно движенія прогрессивнаго, — потому что панславизму

[1]) Экспедицію Сербовъ изъ княжества въ Венгрію на помощь Сербамъ австрійскимъ надобно считать отдѣльнымъ случаемъ, исключеніемъ.

приходилось именно становиться въ положеніе начала консервативнаго и реакціоннаго.

Послѣ неудачъ 48—49 года панславизмъ совершенно изчезъ съ литературной и политической сцены. Мечта, построенная археологами и крайними приверженцами національнаго принципа, потеряла кредитъ, и панславизмъ былъ почти забытъ. Эта неудача панславизма сама по себѣ обнаруживаетъ его реальную слабость. Она показала, что стремленія кружка еще не выработали прочной практической идеи. Чего требовалъ этотъ кружокъ? Прежде, до взрыва революціи, онъ постоянно рекомендовалъ своимъ адептамъ отвлеченное изученіе славянской народности; выступивши на политическое поприще, онъ рекомендовалъ программу, которая нисколько не разрѣшала вопроса, и въ сущности только поддержалъ прежній порядокъ, т. е. австрійскую опеку. Народныя массы были слишкомъ мало развиты въ политическомъ отношеніи, и это отозвалось на нерѣшительномъ и срединномъ поведеніи ихъ предводителей. Кружокъ и не приготовилъ народной массы къ подобной дѣятельности. Правда, ему трудно было бы свободно излагать свои теоріи въ государствѣ, которое держало строгій контроль надъ литературой; но во всякомъ случаѣ кружокъ имѣлъ возможность направлять народную мысль такъ или иначе, по крайней мѣрѣ указывать темы для размышленія. Онъ не дѣлалъ и этого. Всѣ тенденціи панславистовъ 30-хъ и 40-хъ годовъ ограничивались или фантазерствомъ о будущей славянской цивилизаціи, или наставленіями объ изученіи народности. Это изученіе было, конечно, дѣло прекрасное, но знать хорошо тонкости этнографіи еще мало для того, чтобы принести настоящую пользу общественному вопросу.

Какими же явленіями отразилось это время на литературахъ славянскихъ племенъ, и каковы національныя отношенія племенъ въ настоящемъ ихъ положеніи?

Въ нашемъ введеніи мы показали, что задатки единства, на которые ссылались панслависты, далеко не имѣютъ такого обязательнаго значенія, какъ этимъ послѣднимъ казалось. Мы видѣли напротивъ значительное количество элементовъ разъединенія.

Литературная судьба славянскаго возрожденія снова отразила на себѣ это старое историческое разъединеніе. Возрожденіе прежде всего обнаружилось появленіемъ множества отдѣльныхъ литературъ, оправдывавшихъ свое существованіе тѣмъ, что выгоды народнаго развитія требовали необходимо, чтобы съ народомъ говорили на его собственномъ языкѣ, что тогда только можетъ вполнѣ высказаться содержаніе его народной идеи и т. п. Теорія предопредѣленныхъ народностей требовала развитія этой народной идеи, какова бы она ни была, и литература возрожденія, бѣдная и писателями и публикой, бѣдная и по языку и по содержанію, разбилась на множество осколковъ. Въ этихъ новыхъ литературахъ нужно было иногда все начинать сначала, съ азбуки и литературнаго языка, народъ получалъ только элементарныя книги и иногда, какъ бывало у Словаковъ, добровольно лишалъ

себя произведеній другой близко-родственной литературы изъ-за того только, чтобы читать книги на своемъ мѣстномъ нарѣчіи. Изъ чешской выдѣлилась словацкая литература, хотя языкъ Словаковъ отличается отъ чешскаго только самыми незначительными подробностями, и хотя Словаки въ прежнія времена постоянно пользовались чешской литературой и доставили ей многихъ писателей. Литература Сербовъ издавна была раздѣлена на кирилловскую и латинскую: эта разница была удержана и теперь, хотя «единство» и было бы очень возможно, такъ какъ литературы Сербовъ, православныхъ и католическихъ, отличаются только азбукой и почти нисколько не отличаются по языку. Но этого мало: самая литература православныхъ Сербовъ едва не разбилась опять на двѣ части изъ-за ороографіи: Сербы австрійскіе приняли ороографію Вука Караджича, Сербы княжества держались своей и даже налагали запретъ на книги съ правописаніемъ Вука. Особая литература была у Хорватовъ, особая у Словинцевъ... Въ тридцатыхъ годахъ стали появляться болгарскія книги. Въ Галиціи русинская литература опять составила особую школу, не принимавшую вполнѣ ни языка русскаго, къ которому хотѣла приближаться, ни своего народнаго, который тогда принятъ былъ въ начавшейся литературѣ русской Украйны. Маленькое племя Лужичанъ также не могло обойтись безъ своей литературы и даже пріобрѣло двѣ: явилась одна литература для нѣсколькихъ десятковъ тысячъ Верхнихъ Лужичанъ, и другая литература для нѣсколькихъ десятковъ тысячъ Нижнихъ Лужичанъ... Были люди, которые радовались этому богатству,—но ему трудно было радоваться, если эти люди желали въ то же время единства: это литературное столпотвореніе могло грозить тѣми же послѣдствіями, какія имѣло столпотвореніе вавилонское, т. е. окончательнымъ разбродомъ. Какой бы общій и согласный энтузіазмъ ни соединялъ всѣ эти литературы подъ одно знамя, для нихъ трудно или даже невозможно ожидать культурной будущности, какую прочилъ себѣ панславизмъ. Эти литературы, предназначенныя для народа, должны впередъ осудить себя на служебную роль элементарнаго обученія; онѣ едва будутъ успѣвать питаться чужими трудами, потому что если бы славянское племя и могло представить богатство сильныхъ умовъ и сильныхъ талантовъ, это раздѣленіе роковымъ образомъ ограничиваетъ ихъ дѣятельность предѣлами небольшаго племени и потребностями мало развитой массы. Для сильнаго таланта нужно будетъ или стѣснить свою дѣятельность по размѣрамъ своей народной области, или, если этотъ талантъ требуетъ себѣ широкой дѣятельности,— покинуть свою литературу для другой, и въ такомъ случаѣ остаться безполезнымъ для своей собственной народности. Исторія литературы представляетъ не мало подобныхъ примѣровъ.

Эти народныя литературы могутъ конечно принести свою великую пользу первоначальнымъ развитіемъ народныхъ массъ, особенно въ народностяхъ слишкомъ подавленныхъ, какъ напримѣръ болгарская, и въ этомъ

смыслѣ онѣ совершаютъ дѣло весьма почтенное, но такая программа славянскихъ литературъ въ результатѣ слишкомъ мало обѣщаетъ для будущей «панславянской» цивилизаціи. Для подобнаго труда, мы думаемъ, нуженъ болѣе обширный запасъ силы, чѣмъ могутъ представить эти разбросанныя литературы, осужденныя на повтореніе вещей, уже извѣстныхъ. Какъ бы то ни было, панславизмъ не устрашился этого затрудненія, и Колларъ, ограничившись четырьмя главными литературами, считалъ возможнымъ соединить ихъ въ искусственное единство, посредствомъ теоріи взаимности. Славянская литература покамѣсть успокоилась на этомъ.—Что же было пріобрѣтено положительнаго?

Литературная дѣятельность панславизма, по самой сущности своей, не могла принести большой пользы практическому объясненію дѣла, и даже въ извѣстной степени вредила ему. За отсутствіемъ вопроса политическаго, поэзія осталась почти единственнымъ выраженіемъ панславянскихъ стремленій и поддерживала ихъ постоянно въ той фантастической окраскѣ, которая такъ знакома намъ въ славянофильской поэзіи Хомякова. Въ патріотическихъ воззваніяхъ славянскихъ поэтовъ и ихъ русскихъ сотоварищей говорилось много о братствѣ, о сверженіи иноземнаго ига, о высокомъ подвигѣ славянскаго племени: весь этотъ романтизмъ звучалъ пріятно для уха, годился пожалуй на подготовленіе общественнаго вниманія, но въ заключеніе онъ только безплодно раздражалъ фантазію, давая очень мало матеріала для серьезной мысли. Послѣ 49-го года поэты панславизма окончательно устарѣли. Прозаическое переложеніе этихъ идей прибавляло имъ мало ясности и дѣйствительнаго смысла. Если западные панслависты и философы московскаго славянофильства и сходились въ своихъ мнѣніяхъ объ искорененіи западной цивилизаціи и въ ненависти къ Нѣмцамъ, то это нисколько не подвигало дѣла и кончалось безплоднымъ пустословіемъ.

На дѣлѣ, не смотря на всѣ эти проповѣди о взаимности, Славяне знали другъ друга крайне мало, и теперь знаютъ почти также мало, какъ тридцать лѣтъ тому назадъ. Правда, сціентифическое знаніе славянства съ тѣхъ поръ значительно усилилось, но это знаніе по прежнему ограничивается кружкомъ спеціалистовъ. Говоря о собственномъ обществѣ, это знаніе до сихъ поръ крайне ничтожно, и въ этомъ легко убѣдиться, наблюдая тѣ взаимныя личныя встрѣчи и отношенія, какія бывали и бываютъ между представителями разныхъ славянскихъ народностей, и взаимное положеніе славянскхъ литературъ въ настоящую минуту.

За исключеніемъ ближайшаго сосѣдства, Славяне начали сознательно знакомиться между собой только со временъ такъ называемаго возрожденія. Сначала это знакомство было только ученое, потомъ оно стало отчасти оказываться и за предѣлами спеціальнаго кружка: славянскій вопросъ былъ одно время извѣстной модой. Въ своихъ путешествіяхъ въ западную Европу, наши дилеттанты считали необходимымъ заѣхать въ Прагу и погово-

рить тамъ о своемъ сочувствіи къ славянскому возрожденію и проч. Въ 30-хъ и 40-хъ годахъ въ славянскія земли послано было нѣсколько ученыхъ, которые заняли потомъ университетскія каѳедры и распространили до извѣстной степени интересъ къ своему изученію, едва начинавшемуся. Наконецъ заѣзжали къ Славянамъ и чистые славянофилы, и просто люди, руководившіеся однимъ любопытствомъ. На мѣстѣ всѣ эти путешественники встрѣчались конечно только съ тѣми, кто были передовыми людьми и патріотами славянскаго дѣла; путешественники находили самый любезный и дружескій пріемъ, въ слѣдствіе котораго они всѣ оказывались ревностнѣйшими панславистами, хотя до тѣхъ поръ большинство ихъ имѣло о Славянахъ весьма слабое понятіе. Вслѣдствіе взаимныхъ комплиментовъ, въ Прагѣ,— а тамъ былъ всегда центръ славянскаго движенія,— установилось мнѣніе, что въ Россіи славянскій вопросъ пользуется такимъ же сочувствіемъ, какъ у самыхъ ревностныхъ Чеховъ. Въ этомъ особенно увѣряли ихъ славянофилы, всегда имѣвшіе слабость говорить отъ лица всего русскаго народа, и въ настоящемъ случаѣ утверждавшіе, что русскій народъ также имѣетъ желаніе искоренить зловредную западную цивилизацію и основать, въ братствѣ съ остальнымъ славянствомъ, новую цивилизацію на своихъ національныхъ началахъ любви и смиренія. Чехи были увѣрены, что русское образованное общество и не думаетъ иначе. На сколько это было вѣрно, читатель можетъ судить, если припомнитъ положеніе нашего славянофильства въ сороковыхъ годахъ... Была конечно возможность извлечь совершенно другія понятія объ интересахъ и настроеніи большинства русскаго общества—изъ книгъ,—но къ Славянамъ достигало изъ русской литературы только очень немногое, достигали почти только даровыя книги, которыя посылались имъ русскими послѣдователями школы. Это были почти исключительно или книги научныя, или славянофильскія творенія.

Такимъ образомъ распространялись здѣсь самыя превратныя понятія о существенно-важномъ пунктѣ панславянскаго дѣла: отношенія двухъ главнѣйшихъ народностей, въ немъ заинтересованныхъ, представлялись въ такомъ видѣ, что результатомъ могло быть одно вредное недоразумѣніе. Люди не-славянофильскаго образа мыслей, не накидывавшіе на себя фальшиваго панславизма, или болѣе осторожные въ сужденіяхъ — были такъ непривычны для представителей западнаго славянства, что послѣдніе скорѣе готовы были обвинять ихъ въ недостаткѣ патріотизма, чѣмъ допустить возможность скептицизма, который такъ не похожъ былъ на заявленія странствующаго славянофильства. Никто не вѣрилъ, что русское общество имѣетъ свои другіе, болѣе близкіе интересы, что объ нихъ оно думаетъ больше, чѣмъ о панславизмѣ. Съ другой стороны и западные панслависты столько же преувеличивали славянское настроеніе собственнаго общества и особенно народа [5]).

[5]) Безпристрастный наблюдатель и тогда могъ бы замѣтить въ этихъ международныхъ отношеніяхъ черты совершенно иного рода. Вотъ одинъ примѣръ изъ многихъ.

Намъ возразятъ вѣроятно, что мы преувеличиваемъ, что австрійское правительство вѣроятно не даромъ старается по возможности обрывать возможность связей Славянъ съ Русскими и между собою и т. п. Но, во первыхъ, Австрія надѣется (справедливо или нѣтъ,—это другой вопросъ) этими средствами совершенно уничтожить національныя сочувствія славянства, которыя и есть, хотя въ весьма неразвитомъ состояніи; съ другой стороны извѣстно также и то, что подозрительность самой австрійской полиціи очень преувеличиваетъ дѣло, потому что если и было когда нибудь два-три настоящихъ эмиссара, то наши нынѣшніе дилеттанты вовсе не могутъ взять на себя такого титула.

Взаимныя сношенія и связи западныхъ Славянъ между собой также были чрезвычайно мало развиты: исключая спеціалистовъ, слѣдившихъ за литературой, этихъ сношеній почти не существовало. Правда, славянскіе патріоты навѣщали другъ друга; пріѣздъ Штура былъ событіемъ для лужицкихъ патріотовъ; въ Вѣнѣ и даже въ Прагѣ собиралось въ университетѣ много славянской молодежи, даже изъ православныхъ Сербовъ и Болгаръ,

Въ то время, когда поднялся національный вопросъ въ Венгріи, онъ возбудилъ сильную реакцію со стороны Хорватовъ и Словаковъ, которые не хотѣли признать надъ собой первенства мадьярской народности. Возбужденныя страсти высказывались довольно искренно, когда искренность была полезна для настоящей минуты. Венгерскіе публицисты, желая подорвать кредитъ своихъ славянскихъ противниковъ у австрійскаго правительства, бросали подозрѣніе на симпатіи славянства къ Россіи (дѣло было въ 1842 году). Хорватскіе панслависты и не отказывались отъ этой симпатіи; въ интересѣ славянской идеи они только просили не смѣшивать ее съ ихъ споромъ противъ Венгріи,—и поступали послѣдовательно. Но одинъ наивный защитникъ Словаковъ проболтался. Онъ пришелъ въ негодованіе отъ этихъ подозрѣній и торжественно обличилъ венгерскаго публициста! Онъ утверждаетъ, что если „даже православные австрійскіе Славяне выше всего цѣнятъ кроткое, родительское правленіе нашихъ (т. е. австрійскихъ) повелителей", то „католическіе и протестантскіе Славяне привязаны къ любимому австрійскому императорскому дому съ такой же любовью и вѣрностью, какъ православные". Онъ положительно увѣряетъ, что сомнѣнія и обвиненія въ противномъ можетъ выставлять только нечестность и слѣпой, глупый фанатизмъ (nur Unredlichkeit und ein blinder, stupider Fanatismus). Въ доказательство этой непоколебимой вѣрности и въ опроверженіе „постыднаго подозрѣнія" онъ приводитъ наконецъ „одинъ историческій фактъ, который самымъ яснымъ и поразительнымъ образомъ обличаетъ эту выдуманную симпатію австрійскихъ Славянъ къ Россіи, и если бы оказалось нужнымъ,—прибавляетъ онъ,—мы могли бы прибавить къ нему еще сотни подобныхъ историческихъ примѣровъ вѣрности Славянъ къ своему монарху". Дѣло идетъ о кроатскихъ полкахъ, отправившихся съ французской арміей въ походъ 1812 года: „Больше половины иллирскаго отряда, отправившагося противъ Русскихъ, состояло изъ православныхъ, слѣдовательно они были совершенно одной религіи съ новыми противниками; но тѣмъ не менѣе всѣ Иллирійцы, безъ различія религіи, при каждой встрѣчѣ съ врагами, такъ доказали свою старую военную славу и вѣрность своему знамени, что французскіе генералы считали назначеніе этихъ войскъ подъ ихъ команду особенной милостью императора. Ни одинъ иллирійскій солдатъ не перешелъ къ Русскимъ во все продолженіе похода..." (Slawismus und Pseudomagyarismus. Leipz. 1842). Читатель пойметъ, что мы сдѣлали эту выписку вовсе не за тѣмъ, чтобы онъ осудилъ иллирійскихъ солдатъ за недостатокъ панславянской любви. Солдаты дѣлали свое дѣло, т. е. то, что было имъ приказано. Мы хотѣли только обратить вниманіе на способъ воззрѣній самого защитника славянской національности. Этотъ защитникъ очевидно не вошелъ надлежащимъ образомъ во вкусъ школы, онъ еще не создалъ себѣ фантома всеславянской любви и потому проговаривается правдой: защищая національный славянскій интересъ въ Венгріи, онъ довольно хладнокровно относится къ своимъ славянскимъ родственникамъ, и это конечно не было ни притворствомъ, ни случайностью.

но всего этого было мало для широкаго сближенія. Взятыя въ цѣломъ, народности остаются чужды одна другой по прежнему: ихъ частные интересы различны, и даже племена австрійскаго славянства, стоящія въ сходныхъ политическихъ условіяхъ, не могли придти въ этомъ отношеніи ни къ какому соглашенію и единству. Южное славянство въ своемъ общественномъ и политическомъ интересѣ не имѣетъ почти ничего общаго съ австрійскимъ; австрійское теряетъ свой патріотизмъ на пустыя мелочи и на фанатическую ненависть къ Нѣмцамъ, нѣмецкому языку и литературѣ, оставаясь въ то же время совершенно преданнымъ Австрійской имперіи; русское славянство опять занято только своимъ личнымъ вопросомъ; о Польшѣ нечего и говорить.

Естественно, что литературное движеніе должно было оставаться при этомъ раздробленнымъ и что причина раздробленности заключалась въ отсутствіи болѣе тѣсныхъ соціальныхъ и политическихъ связей. Самыя требованія «взаимности» показываютъ, что на дѣлѣ взаимность была очень мала и что панславянская идея связывала литературы племенъ слишкомъ неопредѣленнымъ образомъ. Очевидно, что такое положеніе не представляло большихъ надеждъ, если бы ему суждено было остаться такимъ.

Славянскія литературы, большія и маленькія, начатыя возрожденіемъ, существуютъ и теперь отдѣльными разбросанными центрами, но понятія, а съ ними и положеніе дѣла, начинаютъ уже опредѣляться яснѣе. Чего могутъ ждать теперь славянскія литературы отъ прежняго панславизма, можно видѣть изъ послѣднихъ плановъ «единства», придуманныхъ московскими славянофилами.

Московскій панславизмъ, представляемый теперь «Днемъ» и его послѣдователями, въ послѣдніе года высказался наконецъ положительно, и его новѣйшія теоріи не совсѣмъ похожи на то, что онъ говорилъ прежде. Онъ открыто заявилъ тѣ свои тенденціи, которыя прежде закрывались у него туманомъ славянской любви. Московскіе славянскіе братья прямо стали утверждать, что они братья старшіе, что другіе братья обязаны ихъ слушаться, и въ противномъ случаѣ корили ихъ измѣной славянскимъ началамъ и служеніемъ себялюбивому антиславянскому западу. Московскіе братья стали предписывать западнымъ, и южнымъ (напр. Чехамъ и Сербамъ) не только политическія, но даже религіозныя правила. Въ прежнія времена все славянское вызывало въ московскихъ славянофилахъ безусловное сочувствіе и одобреніе; въ послѣднее время славянство не все уже пользовалось его благосклонностью, стали дѣлаться исключенія, даже въ томъ разрядѣ славянскихъ народностей, которыя прежде выставлялись какъ образецъ національнаго патріотизма; иногда грозилъ чуть не разрывъ, какъ недавно съ Чехами... Каковы бы ни были обстоятельства, производившія этотъ раздоръ въ славянскомъ мірѣ,—это былъ по крайней мѣрѣ знакъ, что на мѣсто высокопарныхъ фразъ стала наконецъ являться болѣе или менѣе опредѣленная мысль и опредѣленный интересъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ стали пропадать

и нѣкоторыя прежнія заблужденія. Думали прежде, напримѣръ, что Славянъ такъ и тянетъ взаимно другъ къ другу, что они жаждутъ изучать другъ друга. Оказалось, что ихъ тянетъ не такъ сильно, и что они въ сущности плохо знаютъ и понимаютъ другъ друга, въ особенности Русскихъ. Оказалось, что какъ бы ни жаловались австрійскіе Славяне на несправедливости Нѣмцевъ, нѣмецкій элементъ, не смотря на свою малочисленность, все таки въ ней самый сильный, какъ своей исторіей, такъ и образованностью, и что Славяне австрійскіе, хотя и выносятъ дѣйствительно сильный нѣмецкій гнетъ, должны быть до извѣстной степени осторожны въ своихъ жалобахъ на Нѣмцевъ, которымъ сами Славяне дали всю возможность господства. Разбирая отношенія славянскихъ народностей въ Австріи, московскій панславизмъ понялъ. что ихъ многочисленность, далеко превышающая число самихъ Нѣмцевъ, ровно ничего не значитъ, такъ какъ 15 или 17 милліоновъ австрійскихъ Славянъ распадаются на 7 различныхъ народностей, что эти народности «представляютъ собой организмы больные, нецѣльные», такъ какъ одни изъ нихъ сильно обнѣмечены, другіе раздѣлены взаимной непріязнью, которая ослабляетъ окончательно Славянъ, доставляя всѣ выгоды нѣмецкому, австрійскому правительству. Столько же вѣрно было замѣчено, что у славянской интеллигенціи въ Австріи панславизмъ очень мирно уживается съ чувствами глубокой преданности къ габсбурской династіи, которая однако исторически была и есть врагъ славянской народности, потому что эта послѣдняя мѣшаетъ нѣмецкой централизаціи государства. Было замѣчено и то, что славянская интеллигенція имѣетъ совершенно превратное понятіе о своемъ собственномъ положеніи: она желаетъ Австріи успѣха на славянскомъ югѣ въ ожиданіи, что Австрія сдѣлается славянской имперіей, если къ ней прибавятся турецко-славянская Боснія и Герцеговина, и пр., — хотя конечно Австрія останется и тогда такой же, какой была, потому что прибавка нѣсколькихъ лишнихъ милліоновъ къ не-нѣмецкому населенію имперіи нисколько не измѣнитъ сущности дѣла и историческихъ преданій габсбургской династіи. Славянскія народности, сами по себѣ, такъ слабы, что онѣ не могутъ составить *націи* съ своей самостоятельной образованностью и литературой, и чтобы не подчиниться неизбѣжно чужимъ подавляющимъ вліяніямъ, онѣ нуждаются въ поддержкѣ обширной нравственной силы. Эту силу, по мнѣнію московскихъ панславистовъ, можетъ доставить имъ только принятіе *русскаго языка*, какъ языка образованія и литературы. Только этимъ способомъ онѣ найдутъ твердый центръ, около котораго онѣ могутъ собрать свои разрозненныя силы. Это распространеніе русскаго языка, замѣчали нѣкоторые изъ московскихъ панславистовъ, должно имѣть чисто нравственныя основанія, «свободныя отъ всякихъ политическихъ замысловъ». Прежде всего должны принять русскій языкъ Болгары и Сербы, а за ними и другіе Славяне. Ознакомившись съ русскимъ языкомъ, они увидятъ необходимость принять его языкомъ науки и высшей образованности, но могутъ сохранить пожа-

луй свои нарѣчія въ администраціи, въ судѣ, школахъ и въ произведеніяхъ поэтическихъ, особенно мѣстнаго содержанія, въ проповѣдяхъ, календаряхъ, учебникахъ и т. д.

«Надѣяться на то,—говоритъ дальше эта теорія,—что Сербы и Болгары могутъ со временемъ создать свою богатую литературу и образованность на своихъ собственныхъ нарѣчіяхъ, нѣтъ ни малѣйшаго строгаго основанія, ибо малочисленность ихъ и бѣдность ихъ нынѣшней словесности съ одной стороны, а съ другой современное развитіе образованности и нынѣшняя спеціализація наукъ отымаетъ такую надежду даже въ самомъ далекомъ будущемъ. Въ наше время наука стала такою силою, *безъ которой не можетъ удержаться* ни одна народность, и Сербамъ и Болгарамъ, освобожденнымъ и соединеннымъ въ одну державу (конечно не безъ помощи Россіи), предстанетъ выборъ, или утратить мало по малу свою народность и принять органомъ образованности одинъ изъ соплеменныхъ языковъ, или же сохранить свою народную и племенную особенность и принять русскій языкъ, который съ каждымъ, можно сказать, десятилѣтіемъ все болѣе пріобрѣтаетъ себѣ характеръ всеобщаго всемірнаго языка (?), подобно англійскому, нѣмецкому и французскому».

Такую же будущность новѣйшая славянофильская теорія предсказываетъ для другихъ западныхъ Славянъ.

«Славяне въ Австріи заслуживаютъ только названіе народностей, и, какъ таковые, *не могутъ не подчиняться Нѣмцамъ*, которые, по всей справедливости, должны быть названы націею, ибо семь народностей: Поляки, Малороссы, Чехи, Словаки, Сербы, Хорваты, Словинцы, составляющія слишкомъ 15 милліоновъ славянскаго народонаселенія Австріи, сами по себѣ такъ слабы и малочисленны, что ни одна изъ нихъ не можетъ теперь образовать независимаго, сильнаго государства и самостоятельной образованности и литературы на своемъ родномъ языкѣ. Если польская и чешская литературы иногда называются богатыми, то это совершенно относительно: онѣ очень бѣдны и ничтожны въ сравненіи съ литературами нѣмецкою, англійскою, французскою, итальянскою и даже испанскою. Не надо забывать, что чешская и польская литературы въ 15, 16, 17 и 18 вѣкахъ обработывались на гораздо большемъ пространствѣ, чѣмъ теперь. Что касается до южныхъ Славянъ, то они образуютъ федерацію, общимъ органомъ высшей образованности можетъ быть у нихъ только русскій языкъ. Славяне въ Австріи, изъ чувства патріотизма, не хотятъ сознаться, что они находятся къ Нѣмцамъ въ отношеніи народностей къ національности. Тутъ вводитъ ихъ въ *недоразумѣніе* мысль, что они принадлежатъ къ одному великому 80-ти милліонному племени, но они совсѣмъ, кажется, не обращаютъ вниманія на то, что изъ этихъ 80-ти милліоновъ, 50 принадлежатъ къ одному русскому племени, уже выработавшему себѣ одинъ письменный языкъ, а остальныя 30 милліоновъ раздѣлены на 8-мь народностей, имѣющихъ каждая свою особенную литературу, находящихся въ самыхъ неблагопріятныхъ внѣшнихъ обстоятельствахъ...»

Это введеніе русскаго языка подвинетъ впередъ и самые внутренніе вопросы западнаго и южнаго славянства, примиритъ племенную вражду и дастъ возможность бороться съ вліяніемъ другихъ націй, мадярской, итальянской и нѣмецкой, и даже вытѣснитъ его совсѣмъ. «Если русское образованное общество искренно желаетъ пользы Славянамъ, то оно обязано помогать имъ не только матеріально, но и духовно, ибо русскій народъ отличается отъ своихъ бѣдныхъ и слабыхъ соплеменниковъ не только внѣшнею силою, но и нравственною мощью и богатствами духовныхъ силъ» [1]).

Переданныя нами разсужденія составляютъ во всякомъ случаѣ большій успѣхъ сравнительно съ прежнимъ мистицизмомъ московскаго панславизма. Но вопросъ о будущности славянскаго образованія и народности едва ли рѣшается такимъ простымъ пріемомъ. Во первыхъ, почему необходимо требовать, чтобы славянскія племена непремѣнно составляли большую *націю?* Извѣстно, что могутъ быть и небольшія націи, какъ напр. шведская, и очень маленькія народности, напр. фламандская, которыя однако продолжаютъ существовать, и послѣдняя не упадаетъ даже подъ французскимъ вліяніемъ, которое въ Бельгіи едва ли не сильнѣе, чѣмъ нѣмецкое въ Австріи или чѣмъ когда нибудь могло бы быть тамъ русское вліяніе. Славянскія племена могутъ до нѣкоторой степени сосредоточиться изъ своего нынѣшняго разброда (напр. Чехи, Мораване, Словаки и даже Лужичане въ одну группу; Сербы, Хорваты, Словинцы, Далматинцы и даже Болгары въ другую; Поляки въ третью) и вести отдѣльную народную жизнь, какъ ведутъ ее Шведы, не сливаясь съ Нѣмцами, или даже Датчане, не сливаясь со Шведами. Отчего бы было невозможно такое отдѣльное существованіе славянскихъ народностей? Какая принудительная сила заставила бы въ особенности западное славянство принять русскій языкъ?

Если южное славянство, т. е. Сербы и Болгары, составятъ когда нибудь свободную федерацію, то при большей близости этихъ нарѣчій къ русскому языку, при единствѣ народной религіи, и наконецъ при близкомъ сосѣдствѣ, русскій языкъ еще имѣетъ вѣроятіе получить здѣсь какое нибудь вліяніе. Но этихъ вѣроятій гораздо меньше, если дѣло идетъ объ австрійскихъ Славянахъ, особенно Чехахъ. Здѣсь въ особенности дѣло будетъ зависѣть отъ устройства политическихъ отношеній: останутся Чехи подданными габсбургской династіи, надъ ними по прежнему будетъ сильно нѣмецкое вліяніе, и введеніе русской образованности будетъ равносильно политической революціи, имѣющей весьма мало шансовъ; распадется Австрійская имперія, и получитъ въ ней роль Венгрія, Славяне, связанные съ ней, подпадутъ венгерскому вліянію, которое будетъ столько же враждебно введенію русскаго элемента; удается національный переворотъ и федерація, стремленіе къ которой замѣтно во всей Австрійской имперіи, главныя славянскія племена будутъ еще ревнивѣе заботиться о своей національной автономіи, и

[6]) См. В. Ламанскаго, Сербія и южнослав. пров. Австріи, и „День“, passim.

дѣло опять скорѣе придетъ къ образованію указанныхъ нами группъ, чѣмъ къ господству чужаго, все таки, русскаго языка.

Если западное славянство отличается и теперь крайнимъ невѣжествомъ относительно Россіи, то не даетъ ли это обстоятельство и въ будущемъ мало надежды на принятіе русскаго языка? Вѣроятно въ русской литературѣ (какова она была до сихъ поръ, и какой можетъ, пожалуй, оставаться надолго) слышится Славянамъ нѣчто чужое, или же нѣчто недостаточное. Другое дѣло, если бы русскій языкъ явился къ нимъ въ союзѣ съ политическимъ освобожденіемъ и союзомъ: успѣхъ его былъ бы тогда вѣроятнѣе, но возможность подобнаго явленія остается также дѣломъ весьма загадочнымъ.

Какія же выгоды принесетъ русскій языкъ этому западному и южному славянству? Теорія замѣчаетъ, между прочимъ, что русскій языкъ дастъ ему возможность изучить Россію и укажетъ на возможность сравнительнаго изученія славянскихъ языковъ, народной словесности, народнаго быта и т. д. Сравнительное изученіе едва ли можетъ имѣть слишкомъ большое вліяніе на народную судьбу, и этнографія поможетъ ей такъ же мало, какъ мало до сихъ поръ помогала филологія и археологія, которой такъ много занималась славянская интеллигенція. Этнографическая ученость не разрѣшитъ славянскихъ затрудненій: для народовъ и интеллигенціи гораздо важнѣе политическое пониманіе и защита мѣстныхъ народныхъ требованій, а не возвращеніе къ старо-славянскимъ идеаламъ, которые скрываются подъ «сравнительнымъ изученіемъ», рекомендуемымъ теоріею. Нынѣшнему Болгарину безъ всякаго сравнительнаго изученія ясно, что ему нужно въ настоящую минуту: угнетеніе отъ фанаріотовъ, турецкое иго, недостатокъ школъ совершенно для него понятны, и уничтоженіе этого зла составляетъ его первую потребность; если сербскіе паризліи и поклонники Австріи навязываютъ Сербамъ ненародныя учрежденія, законодательство и т. п., то и здѣсь средство противъ этого зла заключается не въ сравнительномъ изученіи, а въ сознательности народной воли. Для будущей федераціи нужна не этнографическая ученость, а развитіе народной массы, т. е. умѣнье понять и защищать свой собственный интересъ, какъ это успѣлъ нѣсколько сдѣлать сербскій народъ когда освободился отъ турецкаго ига.

Существеннымъ аргументомъ въ пользу принятія западными и южными Славянами русскаго литературнаго языка, служитъ въ теоріи культурное значеніе его, которое она не усумнилась назвать всемірнымъ, сравнивая русскій языкъ, какъ орудіе «высшей образованности» съ французскимъ, нѣмецкимъ и англійскимъ. Получитъ ли русскій языкъ такое значеніе для западнаго и южнаго Славянства, мы не беремся рѣшить, потому что это значило бы брать на себя роль предсказателя; мы сдѣлаемъ только нѣсколько замѣчаній о томъ, какія условія дѣлаютъ языкъ «всемірнымъ», т. е. даютъ ему возможность обширнаго вліянія и возможность

служить орудіемъ «высшей образованности», даже для тѣхъ народовъ, которые употребляютъ собственно другой языкъ.

Замѣтимъ сначала, что не всѣ славянскія нарѣчія такъ безпомощны, какъ хочется теоріи. Если сербскій языкъ дѣйствительно только теперь начинаетъ примѣняться къ терминологіи науки, т. е. къ высшей образованности, то языки польскій и чешскій мало или нисколько не уступаютъ русскому. Чешскій языкъ пріобрѣлъ возможность передавать высшую образованность въ очень короткій недавній періодъ времени, и тѣмъ самымъ уже сильно подрываетъ сомнѣніе теоріи въ способности западныхъ нарѣчій быть орудіемъ высшей образованности. Этотъ недавній трудъ образованія литературнаго языка конечно заставитъ Чеховъ еще болѣе дорожить имъ, и покамѣстъ онъ еще вовсе не въ томъ положеніи, чтобы русскому языку пришлось въ одно прекрасное утро замѣнить его собой въ произведеніяхъ науки, высшихъ родовъ литературы и поэзіи. Мысль отказаться отъ своего собственнаго литературнаго языка, конечно, долго не придетъ въ голову не только Чехамъ, но даже и гораздо слабѣйшимъ народностямъ; она была бы возможна для нихъ только тогда, когда бы они потеряли всякую надежду на національное существованіе; и если бы Чехи пришли къ добровольному рѣшенію оставить свой языкъ, то взамѣнъ его они едва ли бы не приняли скорѣе нѣмецкій, чѣмъ русскій,—точно также какъ и въ настоящее время многіе изъ ученыхъ и даже лучшихъ патріотовъ западнаго славянства выбираютъ иногда исключительно нѣмецкій языкъ, когда идетъ для нихъ вопросъ о болѣе широкомъ интересѣ науки или политики (Шафарикъ, Палацкій, Колларъ, Миклошичъ, Ткалацъ, Утѣшеновичъ, и мн. друг. Наконецъ, для того, чтобы чужой, хотя и родственный языкъ—которому все таки нужно учиться—могъ замѣнить свой народный, нужно, чтобы этотъ чужой языкъ представлялъ много своего внутренняго авторитета.

Если французскій, нѣмецкій, англійскій языки могутъ дѣйствительно назваться языками всемірными, это названіе основывается на слишкомъ важной роли ихъ въ исторіи человѣческаго развитія. Мало того, что ихъ литературы создали множество произведеній, имѣющихъ большое національное значеніе; они имѣютъ множество произведеній, обладающихъ великимъ общечеловѣческимъ значеніемъ. На этихъ языкахъ высказывались существенные вопросы и рѣшенія человѣческой мысли, составлявшіе дѣйствительную задачу человѣческаго развитія и потому важные не только въ средѣ этого самаго народа, но и вездѣ, гдѣ только являлась мысль о божествѣ, природѣ, человѣкѣ, обществѣ, знаніи и т. д. Было время въ древности, когда это такъ называемое общечеловѣческое значеніе принадлежало греческой литературѣ и тогда греческій языкъ былъ языкомъ «высшей образованности»; потомъ эта роль перешла къ латинскому и осталась за нимъ до самаго конца среднихъ вѣковъ, и до нѣкоторой степени даже позже; затѣмъ въ новѣйшія времена это значеніе принадлежитъ языкамъ

французскому, англійскому и нѣмецкому,—вовсе не потому, что это языки большихъ народовъ и большихъ странъ (Китай несравненно обширнѣе всѣхъ ихъ вмѣстѣ), а потому, что на этихъ языкахъ выражалось европейское развитіе, т. е. высшее человѣческое знаніе и наиболѣе знаменательныя произведенія поэзіи. Англія шла впереди европейскаго развитія съ конца 17-го вѣка; въ 18-мъ дѣло англійскихъ мыслителей продолжала французская литература, идеи которой стали руководствомъ для цѣлой Европы; съ конца 18-го и особенно въ 19-мъ къ нимъ присоединяется дѣятельность нѣмецкой науки и поэзіи, которыя также были орудіемъ и выраженіемъ «высшей образованности». Въ томъ и дѣло, что языкъ и литература, чтобы достигнуть истинно-всемірнаго значенія, должны стать орудіемъ идей и знанія, представляющихъ общечеловѣческій интересъ и ознаменовать себя великими произведеніями науки и поэзіи, которыя только и дадутъ имъ право занять мѣсто между передовыми націями человѣчества. Внѣ этихъ условій языкъ не можетъ ни пріобрѣсти «всемірнаго» значенія, ни претендовать на изгнаніе дѣйствительно-всемірныхъ языковъ оттуда, гдѣ они уже успѣли утвердиться, благодаря своему культурному значенію.

Мы полагаемъ, что не можетъ быть спора о томъ, имѣетъ ли русскій языкъ указанныя нами культурныя права, и можетъ ли онъ назваться всемірнымъ въ такомъ смыслѣ. До сихъ поръ литература его ограничивалась или только подражаніемъ или, въ послѣднее время, нѣсколько самостоятельнымъ усвоеніемъ и примѣненіемъ европейскаго знанія на своей почвѣ и къ своимъ условіямъ. Если наша литература уже сдѣлала коечто въ этомъ смыслѣ, то она не сдѣлала ничего такого, что бы имѣло силу внѣ предѣловъ русской страны, что бы могло ее сравнять съ господствующими европейскими литературами. Наша наука до сихъ поръ есть только повтореніе европейской науки, не идущее дальше предѣловъ ея; наша поэзія не создала общечеловѣческихъ идеаловъ и живетъ только нашимъ мѣстнымъ содержаніемъ, имѣющимъ для другихъ народовъ одинъ этнографическій интересъ. Вся наша духовная дѣятельность остается еще въ размѣрахъ крайне скромныхъ, удобныхъ для домашняго употребленія, но недающихъ никакого авторитета внѣ нашихъ собственныхъ потребъ и условій. Тотъ, кто захотѣлъ бы искать въ русской литературѣ плодовъ «высшей образованности», увидѣлъ бы скоро свою ошибку и обратился бы къ тѣмъ источникамъ, изъ которыхъ мы сами до сихъ поръ почерпаемъ всю мудрость, и притомъ въ этихъ источникахъ онъ нашелъ бы плоды «высшей образованности» болѣе свѣжими и цѣлыми, чѣмъ въ нашемъ невѣрномъ и очень неполномъ переводѣ.

Такимъ образомъ распространеніе русскаго языка, рекомендуемое теоріей нисколько не уничтожитъ нынѣшняго онтошенія славянскихъ народностей къ нѣмецкой или другой образованности. До тѣхъ поръ, пока славянскія народности не могли бы находить въ русской литературѣ настоящей

«высшей образованности», онѣ будутъ въ своихъ лучшихъ представителяхъ оставаться подъ вліяніемъ образованности европейской; до тѣхъ поръ Славяне будутъ пренебрегать знакомствомъ съ нашей литературой и языкомъ. Распространеніе русскаго языка можетъ конечно вознаградить до извѣстной степени ихъ трудъ содержаніемъ русской литературы, но оно нисколько не разрѣшитъ имъ вопросовъ «высшей образованности», которые конечно неизбѣжны для сколько нибудь серьезнаго умственнаго развитія: какъ только будутъ являться эти вопросы передъ мыслью западнаго Славянина, онъ опять невольно долженъ будетъ обратиться къ своимъ нѣмецкимъ, французскимъ или даже итальянскимъ наставникамъ.

Или же—русская литертура должна подняться до той степени, гдѣ бы она могла свободно и безъ опасенія отдаваться изученію «высшей образованности».

Такимъ образомъ, дилемма, представляемая теоріей, принимаетъ иной видъ и сводится къ вопросу о внутреннихъ качествахъ самой русской литературы. Каковы бы ни были опасности, грозящія славянскимъ народностямъ на западѣ, русскій языкъ не спасетъ ихъ, если въ его собственной литературѣ не произойдетъ поворота, который бы далъ развиться въ ней всѣмъ условіямъ «высшей образованности». Когда это случится, есть опять вещь весьма гадательная.

Славянскія литературы продолжаютъ въ настоящее время исполнять ту программу, которую далъ имъ періодъ возрожденія — одни болѣе, другіе менѣе успѣшно,—но есть уже признаки, которые отдѣляютъ современный періодъ отъ предыдущаго періода крайнихъ національныхъ увлеченій. Въ этихъ признакахъ заключается единственная возможность будущаго.

Время дѣлаетъ свое и старыя увлеченія начинаютъ объясняться для новыхъ поколѣній. Они начинаютъ оставлять прежнія метафизическія разсужденія о «національныхъ началахъ» и меньше вѣрятъ сантиментальнымъ ожиданіямъ, которыя такъ грубо опровергала дѣйствительность фактовъ. Этотъ скептицизмъ, который начинаетъ овладѣвать болѣе свѣжими умами славянткаго общества, можно считать весьма благопріятнымъ оборотомъ для славянскаго сознанія, потому что только онъ можетъ привести къ здравому взгляду на вещи, и разумному веденію славянскаго вопроса.

Эта перемѣна должна была произойти естественно; пора неопредѣленнаго энтузіазма проходила, и сами событія привели мыслящихъ людей къ непосредственно практическимъ вопросамъ. Славяне, восточные и западные, сѣверные и южные стали замѣчать, что расходятся въ понятіяхъ, когда дѣло пошло о вещахъ положительныхъ. Московское славянофильство начало терять свой кредитъ и даже подвергаться насмѣшкамъ, какъ послѣ знаменитаго посланія

къ Сербамъ. Національныя цѣли стали опредѣляться яснѣе и старая рамка панславизма, въ которую школа хотѣла вставить славянскую жизнь, начала казаться неудовлетворительной.

Скептицизмъ конечно не даетъ еще положительныхъ основаній, но по крайней мѣрѣ онъ отстраняетъ прежнія произвольныя теоріи, приписывавшія національнымъ силамъ славянства больше, чѣмъ онѣ могли сдѣлать, и заставляетъ искать новыхъ болѣе положительныхъ путей для народнаго развитія. Опытъ долженъ научить, что національное начало, и выстроенный на немъ панславизмъ, есть обоюдуострое оружіе, которое можетъ повредить и тому, кто на него полагается; что оно перестаетъ помогать настоящему благосостоянію массъ, какъ скоро переходитъ въ національную и конфессіональную исключительность и нетерпимость, и достиженіе этого исключительнаго интереса ставитъ выше интереса общественнаго развитія. Опытъ научаетъ понимать и настоящій смыслъ московскаго славянофильства, которое уже достаточно высказалось въ послѣднее время, и то національное единство, какое желательно ему водворить между славянскими народами. Онъ научаетъ понимать этихъ присяжныхъ проповѣдниковъ національности, которые при первомъ серьезномъ вопросѣ ставятъ на первый планъ себялюбивый разсчетъ, жертвуя для него самимъ національнымъ принципомъ, которые ради единенія совершали напр. такіе подвиги противъ миѳическаго сепаратизма и возбуждали религіозную нетерпимость, возстановляя Сербовъ православныхъ противъ Сербовъ католиковъ, и осуждали цѣлыя племена западнаго славянства за то, что они стали въ древности «латинянами». Наконецъ опытъ научилъ друзей народнаго дѣла и главному—что народное развитіе совершается не возстановленіемъ всякаго національнаго старья, а усвоеніемъ тѣхъ результатовъ, какихъ достигло современное европейское знаніе и общественная исторія. Та, исключительно славянская, на старинѣ основанная цивилизація, о которой толковалъ панславизмъ, есть фраза, которая не должна вводить въ заблужденіе мыслящихъ друзей народа: отказываться отъ существующей цивилизаціи и ея выводовъ невозможно безнаказанно, это значило бы осудить себя на подчиненное культурное мѣсто, которое для второстепенныхъ славянскихъ народностей будетъ теперь же равняться окончательному паденію. Если бы національность стала держаться исключительно старины изъ опасенія потерять свою самобытность, то при близкомъ сосѣдствѣ сильной цивилизаціи она тѣмъ скорѣе потеряла бы свое значеніе,—какъ теряютъ дикари передъ европейцами.

Славянскимъ народностямъ предстоитъ еще тяжелая политическая борьба: въ австрійскихъ земляхъ онѣ должны отстаивать себя отъ Нѣмцевъ, Венгровъ, Итальянцевъ; на Балканскомъ полуостровѣ отъ ига Турокъ и отъ притязаній Грековъ и т. д., и по освобожденіи выдержать еще опеку европейскихъ государствъ. Мы не будемъ отгадывать политическихъ возможностей, которыя могутъ быть весьма разнообразны. Но если въ славянствѣ сохранится наклонность къ единству, это единство и солидарность

народностей возможны только при равныхъ правахъ народностей, при ихъ аналогическомъ развитіи, а это послѣднее возможно только тогда, когда основой его будетъ европейская цивилизація, а не странно понимаемыя преданья патріархальныхъ временъ или предразсудки консервативной отсталости и обскурантизма. Въ противномъ случаѣ подвергаются опасности и правильное развитіе отдѣльныхъ народовъ и ихъ общественное благо.

УКАЗАТЕЛЬ.

Аввакумъ, попъ 183.
Аксаковы 198.
Альбертранди 454.
Амосъ, „братъ“ 309.
Амосъ, см. Коменскій.
Англичанинъ, Петръ (Englis) см. Пэнъ.
Андричъ, Ал. 149.
Антонъ см. Далматинъ.
Антонъ, д-ръ, 353.
Априловъ В. 50, 84.
Артемовскій-Гулакъ, П. 222.
Астъ, 354.
Атанацковичъ, Богобой 149.
Атанацковичъ, П. 145.

Бабукичъ 109.
Базиликъ, Кипріанъ 388.
Байза, І. Игн. 341.
Бакшичъ, Богданъ 82.
Балиньскій, Мих. 361. 412. 492.
Балиньскій, Карлъ. 488.
Бальбинъ, Богуславъ 316. 321. 322.
Банъ, Матей 150—151.
Барановичъ, Лазарь 215.
Бартошевичъ, Юл. 413. 492.
Бартошекъ 296.
Бартошъ см. Писарь.
Батюшковъ 196.
Башко, Годиславъ 368.
Безсоновъ П. 43. 50. 87. 88.
Бемеръ 353.
Бенешовскій, Матушъ 312.
Бергъ, Н. 252.
Берличъ, А. 109.
Бернатовичъ 491.
Бернолакъ, Антонинъ 342.
Берчичъ, Янъ 115.
Беровичъ, Петръ 83.
Бетондичи — Яковъ и Іосифъ 126.
Бехинка, Янъ 309.
Бецковскій, Янъ 316.
Билейовскій, Богуславъ 313.
Бирковскій, Фабіанъ 411.
Бискупецъ см. Пельгржимовскій.
Благославъ, Янъ 312. 313.
Богатскій 354.
Богашиновичева, Лукреція 126.
Богдановичъ 217.
Богдановъ, Н. 85.
Боговичъ, Мирко 153. 158. 161.
Богоевъ. І. А. 84. 87.
Богоричъ, Адамъ 135. 136.
Богуславскій, Войтѣхъ 453. 455.
Бодянскій, О. 34. 43. 224. 239.
Боичъ 145.
Боровиковскій 224. 227.
Боровскій, см. Гавличекъ.
Боровскій, Левъ 474.
Босковицъ, Іоганна 300.
Бошковичева, Аница 126.
Бранковичъ, Юрій 103.
Бранковичъ, К. 148.
Бранцель, Михаилъ 352.
Бранцель, Авраамъ 352.—353.
Браунъ 423.
Бржезовы (изъ), Лавр. см. Лаврентій.
Брода (изъ), Андрей 284.
Бродзиньскій, Казиміръ 458—461.
Брожко, Янъ (Broscius) 406.
Брониковскій 491.
Бронишъ 359.
Брюеръ 128.
Буйницкій, Казиміръ 490.
Буонаккорси, Фил. (Каллимахъ) 368.
Бургаделли 129.
Буслаевъ, Ѳ. 34. 43.
Бучичъ, Мих. 131.
Бѣлёвскій, Августъ 490—492.
Бѣлинскій, В. 201—203.
Бѣлостенецъ, Ив. 109.
Бѣльскій, Іоахимъ 403.
Бѣльскій, Мартинъ 402—403.
Бѣрецкій, Ив. 239.
Быджовскій, Марекъ 313.

Ваверъ 353. 354.
Вавра, Винц. 340.
Вагилевичъ, Ив. 237. 239.
Вальвасоръ 136.
Вановскій, Бернатъ 402.
Василевскій, Эдмундъ 489.
Вацерадъ 258.
Вацлавъ I, чешскій король, 257.
Везиличъ, Алекс. 142.
Велеславина (изъ), Адамъ 268. 313.
Вельянъ 358.
Венгерскій, Каэтанъ 430—432.
Венглинскій, Левъ 237.
Венелинъ, Юрій 50. 83—84.
Венжикъ, Францискъ 455.
Верковичъ, Ст. 87. 148.
Ветраничъ, Николай 119. 120.
Видаковичъ, Милованъ 142.
Викторинъ изъ Вшегордъ 301—302.
Викторинъ (пис. словацкій) 347.
Вилемъ 291.
Вилла 355.
Виллани, Карлъ-Марія 334.
Вильконскій, Августъ 489.
Винцентій, 265.
Вислицы (изъ), Янъ 368.
Витвицкій, Стефанъ 488.
Витезовичъ, Павелъ (Риттеръ) 27. 28. 132.
Вишневскій, Товитъ 387.
Вишневскій, Мих. 361.
Водникъ, Валентинъ 137.
Войцицкій, Каз. Владисл. 362. 489.
Вольный, Юрій 316.
Вольскій, Владиміръ 489.

Вольтиджи 109.
Вороничъ, Янъ Павелъ 455. 456.
Ворѣхъ, Вячеславъ (Worichius) 352.
Востоковъ, Ал. 33.
Воцель, Эразимъ 242. 264. 334.
Вразъ, Станко 137. 153. 158.
Врамецъ, Антонъ 131.
Вуичъ 145.
Вуковичъ, Божидаръ 104.
Вукотиновичъ, Людевитъ 153. 155. 158.
Выбицкій, Іосифъ 453.
Выджга, Янъ Стеф. 422.

Габделичъ, Юре 132.
Гавличекъ, Карлъ (Боровскій 337—338.
Гаекъ, Вацлавъ, изъ Либочанъ 312.
Газда, Антонинъ 341.
Гай, Людевитъ 132. 153. 155—156. 158.
Галашъ, Германъ 323.
Галекъ, Витезславъ 339.
Галка, Андрей, изъ Добчина 371.
Галка, Іеремія см. Костомаровъ.
Галлъ 368.
Галько, Игнатій 237.
Галятовскій 215.
Ганка, Вацлавъ 34. 242. 252. 267. 323. 325—326.
Ганушъ, І. 8.
Гарантъ, Криштофъ 314.
Гартknохъ 423.
Гарчиньскій, Стефанъ 484. 485. 488.
Гаттала, Мартинъ 347.
Гауптманъ 354.
Гауптъ 357.
Гашиньскій, Константинъ 488.
Гаштальскій, см. Григорій Пражскій.
Гейденштейнъ, Райнгольдъ 402.
Гейдукъ 339.
Гекторевичъ, Петръ 119. 121.
Георгій (инокъ серб.) 103.
Геровъ, Найденъ 50. 85.
Гизевіусъ, Густавъ 491. 492.
Гизель, Иннокентій 215.
Гильфердингъ, А. 6. 8. 50. 91. 348.
Гнилевичъ, Григ. 237.
Гледьевичъ, Антунъ 125.
Глоговчикъ, Янъ 367.
Гнѣвковскій 323.
Гнѣдичъ 217.
Гоголь 200—201. 217.
Годжа, Мих. Милославъ 346.
Голешовскій, Янъ 284.
Головацкій, Ив. 237.
Головацкій, Яковъ 232. 236—239.
Головиньскій, Игнатій 490.
Голуховскій, Іосифъ 474.
Голый, Янъ 342.
Гончаровъ 202.
Горецкій, Антонъ 488.
Горчанскій 353.
Гощиньскій, Северинъ 469—473.
Грабовскій, Михаилъ 473. 490. 491.
Гребенка, Евг. 224.
Грегеръ, Юлій 340.
Гренъ 136.
Грибоѣдовъ 196.
Григорій (пресв. болгар.) 55.
Григорій Пражскій (Гаштальскій, Castulus) 299.
Григорій, чешскій „братъ“ 309.
Григорій изъ Санока 367.
Григорій, Грубый изъ Елении 303.
Григоровичъ, Викторъ 4. 33. 34. 50. 87. 91. 98—100. 214.
Гроддекъ 474. 477.
Гроза, Александръ. 490.
Гроховскій, Станиславъ 387.
Груевъ, І. 85.
Груичъ, Н. 148.
Грушковицъ, Сам. 316.
Гулакъ-Артемовскій, см. Артемовскій.
Гундуличъ, Иванъ 123—124.
Гундуличъ, Ив. (другой) 125.
Гурбанъ, Милославъ Іос. 345—346.
Гурницкій, Лука 403.
Гуровскій, графъ А. 510.
Гуска, Мартинъ (Локвисъ) 291.
Гусъ, Янъ 243. 247. 267. 271—281. 282. 283.
Гушалевичъ, Ив. 236. 237. 239.

Давидовичъ, Дмитрій 144.
Даинко 133. 137.
Далимилъ 266.
Далматинъ, Антонъ 114. 115. 135.
Далматинъ, Юрій 148.
Даничичъ, Юрій 148.
Даніилъ (архіеп. серб.) 103.
Дантискъ см. Флаксбиндеръ.
Даржичъ, Георгій 120.
Даржичъ, Маринъ 122.
Делла-Белла, Арделій 109. 125. 163.
Демболенцкій, Войтѣхъ 422.
Деметеръ, Д. 158.
Державинъ 193.
Децій 402.
Дзѣдушицкій, Маврикій (Рыхницкій) 397. 492.
Дивковичъ, Матвѣй 116.
Длугошъ, Янъ 367. 368.
Дмитріевъ 196.
Дмоховскій, Фр. Ксаверій 452.
Добнеръ 322.
Добровскій, Іосифъ 33. 34. 242. 322.
Доланскій, Степанъ 285.
Дометіанъ 103.
Донина (изъ), Фридрихъ 314.
Дошенъ, Видъ 129.
Джорджичъ, Игнатій 126. 127.
Дрезнеръ, Ѳома 407.
Дубравскій, Янъ 262.
Дубы (изъ), Андрей 266.
Дуклянскій попъ 115.
Дунины-Борковскіе, І. и А. 490.
Дѣдицкій, Богданъ 236. 237. 238.

Евѳимій (патр. болгар.) 55.
Епифаній см. Славинецкій.
Ерличъ, Іоахимъ 422.
Есеницъ (изъ), Янъ 283.

Желиговскій, Эдуардъ 490.
Жеротина (изъ), Карлъ 313. 314. 315.
Жефаровичъ, Степанъ 138.
Живковичъ 145.
Жидекъ, Павелъ 298.
Жижка, Янъ, изъ Троцнова 290. 293. 297.
Жинзифовъ, Р. 85.
Житавскій, Петръ 265.
Жуковскій 194.

Заблоцкій, Францискъ 453.
Завиша, Кристофоръ 410. 422
Завѣта, Юрій 314.
Залужанскій 312.
Залускій, Андрей Хризостомъ 418. 419.
Залускій, Іосифъ Андрей 426.
Залѣскій, Іосифъ Богданъ 465—469.
Замрскій, Мартинъ 312.
Занъ, Ѳома 458. 478.
Захарьясевичъ 491.
Зборовскій, В. 236.
Збылитовскій, Петръ 391.
Зейлеръ, Андрей 356—357.
Зизаній, Лавр. 214.
Зиморовичъ, Шимонъ и Іосифъ Варѳ. 391.

Златаричъ, Динко 122.
Златаричъ, Маринъ 128.
Змаевичъ, Винцентій 114.
Зморскій, Романъ 489.
Знойма (изъ), Станиславъ 284.
Знойма (изъ), Ольдрихъ 292.
Зринскій, Петръ 138.
Зубрицкій, Д. 232.
Зузоричева, Флора (Цуццери) 122. 123.
Зупанъ, Як. 137.

Игнатовичъ, Якубъ 149.
Иларіонъ Меглинскій 60.
Иларіонъ (русскій пис.) 211.
Иличъ, Іованъ 149.
Иличъ, Лука 109.
Ильковичъ, Г. С. 234. 236.
Ипполитъ (капуцинъ) 136.
Иречекъ 242. 252.
Исайловичъ 148.

Іемеловскій, Николай 422.
Іенчъ 358.
Іеремія, „попъ болгарскій“ 72—78.
Іеронимъ Пражскій 243. 247. 271. 281—282.
Іоаннъ, Экзархъ болгар. 54. 59.
Іовановичъ, Павелъ 149.
Іовановичъ, Петръ 148.
Іовановичъ, Хаджи-Найденъ 87.
Іокушъ 353.
Іорданъ 4. 242. 357.
Іосифъ Волоцкій 177.

Кабатникъ, Мартинъ 310.
Кадлинскій, Феликсъ 315.
Кадлубко, Вик. 368.
Кадчичъ, Антонъ 114.
Казначичъ 261.
Калайдовичъ, Конст. 34.
Каленецъ, Янъ 309.
Каллимахъ см. Буонаккорси.
Камаритъ, Іос. Властимилъ 334.
Каминьскій, Янъ Непомукъ 455.
Кампанъ, Янъ 312.
Канавеличъ, Петръ 125.
Канижличъ, Антунъ 128. 129.
Капишъ 291.
Кантемиръ 190.
Капнистъ 217.
Караджичъ, Вукъ Стефановичъ 87. 143. 144. 163.
Караманъ, Матвѣй 114.
Карамзинъ 194—196.
Кардиналъ, Янъ 283.
Карлсберга (изъ), Карлъ 312.
Карпиньскій, Францискъ 452.
Кассій 129.
Кастеличъ, Миха 137.
Кастеллецъ, Матія 136.
Катанчичъ, Матія Петръ 109. 129.
Качичъ-Міошичъ, Андрія 126—128. 163.
Качковскій, Сиг. 491.
Квитка, Григ. (Основьяненко) 222—224.
Кёппенъ, Петръ 3.
Керманъ, Даніилъ 316.
Кермпотичъ, Іосифъ 129.
Керстникъ, Янежъ 136.
Кзель, Петръ 300.
Кинскій, Францискъ 322.
Кириллъ и Меѳодій 33—34.
Кириллъ (Туровскій) 172.
Кириллъ Транквилліонъ 214.
Кирѣевскіе 198.
Китовичъ, Андрей 453.
Кленовичъ, Себастіанъ (Acernus) 369. 392—395. 446.
Климентій Зѣновіевъ 217—218.
Климентъ 54.
Клинъ, Адольфъ 356.
Клицпера, Вацлавъ Клим. 334.
Клунъ 133.
Клячко, Юліанъ 488.
Княжевичъ, Петръ 128.
Князнинъ, Фр. Діонисій (Княжнинъ) 452.
Ковалевскій, Егоръ 92.
Козманецкій, Вацлавъ 316.
Козьма (пресв. болгар.) 55. 60. 68. 73.
Козьма Пражскій 265.
Коларжъ, Іосифъ 339.
Коларъ, І. Ю. 335.
Колларъ, Янъ 59. 330—332. 343. 344.
Коллонтай, Гуго 420.
Коловратъ-Либштейнскій 324.
Коменскій, Янъ Амосъ 315. 317. 320.
Конарскій, Станиславъ 425—426.
Коначъ, Николай (Finitor) 303.
Кондратовичъ, Людвигъ (Сырокомля) 369. 489.
Конечный 242.
Константинъ (еписк. болгар. 55.
Константинъ, князь Острожскій 182. 214.
Консулъ, Степанъ 135.
Коперникъ, Ник. 367.
Копитаръ, Бартоломей 33. 34. 133. 134. 137. 329.
Копчиньскій, Андрей 429.
Коранда, Вацлавъ (старшій) 292—293.
Коранда, Вацлавъ (младшій) 299.
Корженёвскій, Іосифъ 490.
Коритичъ 132.
Коритко 137.
Короновичъ (Врублевскій) 361.
Корсакъ, Юліанъ 489.
Корчевскій, Витъ 384.
Костомаровъ, Н. 43. 224. 228.
Котляревскій, П. 220—221.
Котошихинъ 185.
Коубекъ, Янъ Православъ 334.
Кохановскій, Янъ 369. 375. 380—387. 408.
Коховскій, Веспасіанъ 413. 418.
Крамеріусъ, В. М. 323.
Красиньскій, Сигизмундъ 487—488.
Красицкій, Игнатій 435—443.
Красоницкій, Лавр. 309.
Крашевскій, Іосифъ Игнатій 489.
Крель, Себастіанъ 135.
Кржицкій, Андрей 368.
Крижаничъ, Юрій 27. 185.
Кризманичъ 132.
Кромеръ, Мартинъ 402.
Кропиньскій, Людвигъ 455.
Кросьна (изъ), Павелъ 368.
Крыловъ 196.
Кукулевичъ-Сукцинскій, Ив. 109. 118. 153. 159—161.
Кулишъ, П. 226. 227. 228.
Кумердей, Блажъ 137.
Курбскій, князь 181. 185. 214.
Кутенъ, Мартинъ 312. 313.
Кухарскій 105.
Куцый 227.
Кюзьмичъ, Степанъ 137.

Лаврентій изъ Бржезова 267. 296.
Лавровскій, П. 34.
Лазаревичъ, Л. 146.
Лангеръ, Ярославъ 334.
Лангъ 353.
Лани, Эліашъ 316.
Леваковичъ, Раф. 114.
Левицкій, Іосифъ 234. 237.
Лелевель, Іоах. 361. 474—476. 487.
Леманъ 359.
Ленартовичъ, Теофилъ 488. 489.
Ленгнихъ 423.

Лещинскій, Станиславъ 424—425.
Либельтъ, Карлъ 489.
Лингартъ, Антонъ 137.
Липскій, Андрей 413.
Литомержицкій, Гиларій 298.
Лобковицъ, Богуславъ 300. 302.
Лобковицъ, Янъ 300. 314.
Лозинскій 237.
Локвисъ см. Гуска.
Ломницкій, Шимонъ 312.
Ломоносовъ 192.
Лукавецъ, Янъ 292.
Лукашевичъ, П. 228.
Лукашъ 309.
Лупачъ, Прокопъ 314.
Луцій 109.
Лучичъ, Ганнибалъ 120.
Лучкай, Мих. 239.
Любенскій, Андрей 356.

Магарашевичъ, Юрій 145.
Магпушевскій, Доминикъ 490. 158.
Мажураничъ, Антонъ 109. 153. 158.
Мажураничъ, Ив. 153. 158.
Майковъ, А. 91.
Максимовичъ, М. 227. 228.
Максимъ Грекъ 177. 179. 181.
Малевскій, Францъ 478.
Малетичъ, Юрій 147. 162.
Малешевичъ, Ив. 135.
Малиновскій, М. 237.
Малиновскій, Николай 492.
Мальческій, Антонъ 461—465.
Малэцкій, Ант. 361. 410. 491.
Марекъ, Я. И. 335.
Маринковичъ 148.
Марко-Вовчокъ 227.
Марта, чешская панна 300.
Мартинъ, Григорій 352.
Маруличъ, Марко (Марули) 115. 117. 119.
Матвѣй изъ Янова 247.
Матичъ 148.
Маттеи 353. 354.
Маха, К. Г. 334.
Махачекъ, С. 335.
Мацѣевскій, А. З. 492.
Мачай, Ал. 341.
Медаковичъ, Даніилъ 149.
Медаковичъ, Милорадъ 149.
Медо-Пучичъ 161. 162.
Мёнъ 354. 355.
Мерчеричъ, Леонардъ 135.
Метелко 133.
Метлинскій, Амвр. 224. 227. 228.
Миклошичъ, Фр. 3. 4. 33. 34. 50. 92. 137. 329.
Миклушичъ, Тома 132.
Миковецъ, Ферд. 335.
Миладиновы, братья 87. 88. 89.
Милаковичъ, М. 150.
Миличъ, Янъ 247. 270.
Милковскій, Сигизмундъ 488.
Милутиновичъ, Сим. 92. 146. 147. 149. 163.
Минчетичъ, Владиславъ 124. 125.
Минчетичъ, Шишко 119.
Митисъ, Томашъ 312.
Митровицъ (изъ), Вратиславъ 314.
Михайлевичъ-Буничъ, Лука 128.
Михайловичъ, Дм. 149.
Мицкевичъ, Адамъ 458. 473. 476—487.
Младеновицъ (изъ), Петръ 284.
Могила, Амвр. см. Метлинскій.
Могила, Петръ 215. 407.
Модржевскій, Андрей Фричъ 388.
Моллеръ, Альбинъ 352.
Моравскій, Францъ 489.
Морачевскій, Андрей 361. 489. 492.
Морштынъ, Андрей 417—418.
Морштынъ, Іеронимъ 417.
Морштынъ, Станиславъ 417.
Мохнацкій, Маврикій 487.
Мрозинскій, Іос. 361.
Мронговіусъ, Крист. Целестинъ 491.
Мурко 133.
Мустяновичъ, Ст. 237.
Мутіевъ, Д. 85.
Мушицкій, Лукіанъ 144. 145.
Мучковскій, Іос. 361.
Мѣховита 402.
Мясковскій, Касперъ 387.

Нагловицъ(изъ), Рэй см. Рэй.
Надеждинъ 201.
Налешковичъ 122.
Налэнчъ-Корженевскій, Аполлонъ 490.
Нарбутъ, Теодоръ 492.
Нарушевичъ, Адамъ 430. 443—452.
Нарѣжный 217.
Небескій, В. 242. 261.
Неофитъ (іеромонахъ Рыльск. м.) 83. 84.
Неофитъ (архим. Хиланд. м.) 84.
Неруда, Янъ 339.
Несецкій, Касперъ 423.
Несторъ 26. 210. 211.
Неѣдлый, Войтѣхъ 323.
Неѣдлый Янъ 323.
Николаевичъ, Юрій 150.
Николичъ, А. 146.
Николичъ, І. 146.
Нилъ (Сорскій) 177.
Новиковъ 193. 201.
Новка 359.
Норвидъ, Купріанъ 488. 489.
Нудожерскій, Лавр. Бенед. 312.
Нѣгошъ, Петръ Петр. (владыка Черногорскій) 146. 149. 150.
Нѣмецъ, Петръ (Жатецкій) 292.
Нѣмцевичъ, Ю. У. 453. 454. 455.
Нѣмцова, Божена 335.

Обрадовичъ, Досиѳей 140—142.
Огняновичъ, К. 85.
Одынецъ, А. Э. 4?8. 478. 489.
Олеска (изъ), Вацлавъ 237. 239.
Оломуцкій, Августинъ 300. 309.
Опалинскій, Кристофоръ 413.
Оптатъ, Бенешъ 300.
Орбинъ, Мавро (Mauro Urbini) 118. 125.
Оржельскій, Свентославъ 402.
Осиньскій, Людвигъ 4?5. 459.
Основьяненко см. Квитка.
Отвиновскій, Эразмъ 422.
Оттерсдорфа (изъ), Сикстъ 312.
Охоцкій, Янъ Дуклянъ 453.

Павловичъ, Теодоръ 146.
Павэнзскій см. Скарга.
Пагловицъ 136.
Палаузовъ, Спир. 34. 50.
Палацкій, Францъ 91. 242. 252. 267. 327—328. 340.
Палечъ, Степанъ 284.
Палицынъ, Авр. 182.
Палковичъ, Юрій 342.
Палковичъ, Юрій (2-й) 342.
Пальмотичъ, Юній 124. 125.
Пальмотичъ, Яковъ 124. 125.
Панкъ 359.
Папроцкій, Бартошъ 269. 314. 403.
Паркошъ, Янъ 370.
Парѳеній, Зографскій 85.
Пассекъ, Янъ 410. 411. 422—423.

Пастричъ, Янъ 114.
Паули, Жегота 239.
Пачичъ, Іованъ 146.
Пелегриновичъ 122.
Пельгржимовскій, Николай (Бискупецъ) 292.
Пельцель, Фр. 322. 323.
Пергошичъ, Ив. 131.
Петрановичъ, Теодоръ 150.
Пехъ 354.
Пешина, Томашъ 316.
Пиларжикъ, Степанъ 316.
Писарскій, Ахатій 413.
Писарь, Бартошъ 312.
Писецкій, Вацлавъ 303.
Пицекъ, В. Я. 334.
Поглинъ, Маркъ 136.
Погодинъ 198.
Подура, Тимко 237.
Подѣбрадъ, Гинекъ 212.
Полакъ, Милота Здирадъ 323.
Полевой, Н. 195. 200. 201.
Полоцкій, Симеонъ 215. 216.
Поль, Викентій 491.
Поповичъ, Евг. 146.
Поповичъ, Іованъ Ст. 146. 147. 148.
Поповичъ, Матвѣй 135.
Поповичъ, Милошъ 148.
Поповичъ, Райно 84.
Посошковъ 189.
Потоцкій, Вацлавъ 413—417.
Пражскій, Григ. см. Григорій.
Праусъ 158.
Прахатицкій, Христіанъ 283.
Прейсъ, Петръ 34.
Прелучъ (изъ), Θома 309.
Преторій 354.
Прешернъ, Францъ 137.
Пржибыльскій, Акинθій 452.
Пржилецкій, Станиславъ 413.
Прибрамъ, Янъ 285.
Прокоповичъ, Θеофанъ 191.
Прокопъ 297.
Прокопъ, чешскій „братъ" 309.
Прокопъ Пильзенскій 283.
Прохазка, Фаустинъ 266. 323.
Пулкава 266.
Пуркинье 334.
Пухмайеръ, Ант. Ярославъ 323.
Пушкинъ 196—168.
Пфлегеръ 339.
Пфуль 358.
Пэнъ, Петръ (Англичанинъ, Engliš) 291.
Пясецкій, Павелъ 418.
Равникаръ, Матеужъ 137.
Радзивилъ, Альбрехтъ 422.
Радичевичъ, Бранко 149.
Радищевъ 194. 201.
Радлинскій 347.
Радолинскій, А. 237.
Радуловъ, С. 85.
Райковичъ, І. 149.
Раичъ, І. 50. 91. 139.
Раичъ, Ст. 139.
Раковецъ 158.
Раковскій, Г. С. 88.
Раньина, Динко 122.
Рачкій, Франьо 34.
Релковичи, М. А. и І. Ст. 128.
Ржевускій, Генрихъ 484. 490.
Ригеръ, Л. 4. 340.
Ристичъ 92.
Риттерсбергъ 335.
Рожмитала (изъ), Левъ 314.
Роза 129.
Розенберка (панъ, изъ) 266.
Рокицана 268. 286.
Романовскій, Мечиславъ 491.
Ростокъ 358.
Рубешъ, Фр. Яр. 335.
Рудавскій, Лаврентій 418.
Руднай 342.
Рыхцицкій см. Дзѣдушицкій.
Рэй изъ Нагловицъ 375—380.

Сабина, Карлъ 242. 335.
Савва (архіеп. серб.) 102.
Савчинскій 236.
Сакцинскій см. Кукулевичъ.
Салатичъ, Ив. 128.
Сапуновъ, Петръ 83.
Сарбѣвскій (Sarbevius) 369.
Светичъ, Милошъ (псевд.) см. Хаджичъ.
Свотликъ 353.
Сельянъ 109. 157.
Семеньскій, Люціанъ 490.
Семпъ, Ник. см. Шаржинскій.
Сильвестръ (попъ) 181.
Скала, Павелъ, изъ Згоржи 315. 316.
Скарга, Петръ, Павэнзскій 397—402.
Сковорода, Григорій 218—220.
Скоринна, Фр. 214.
Славата, Вилемъ 316.
Славинецкій, Епифаній 182. 215. 216.
Словацкій, Евсевій 474.
Словацкій, Юлій 488.
Слопуховскій, Андрей, изъ Слупя 371.
Смиль изъ Пардубицъ (Фляшка) 262—264.
Смолеръ, Янъ Эрнестъ 4. 356—359.
Снядецкій, Янъ 429. 454.
Соколовъ 252.
Соларичъ 142.
Соркочевичъ 128.
Спасичъ, М. 148.
Срезневскій, И. 34. 50. 228. 348.
Стадницкій, Казиміръ 492.
Стаматовичъ, П. 146.
Станкевичъ 201.
Старовольскій, Симонъ 410. 423.
Сташицъ 454.
Степанъ (Истріянинъ) 114.
Стефанъ Первовѣнчанный (краль серб). 102.
Стойковичъ 142.
Стойшичъ, П. 146.
Стоядиновичева, Милица 149.
Стояновичъ-Кипиловскій 83.
Стоячковичъ, А. 149.
Стрибрскій, Яковъ 282.
Стрицъ, Юрій 312.
Стрыйковскій, Матвѣй 403.
Стулли 109.
Субботичъ, В. 148.
Субботичъ, І. 92. 146. 148. 162.
Сукопъ 339.
Сумароковъ 190.
Сундечичъ, Іованъ 150.
Суровецкій 3.
Сырокомля см. Кондратовичъ.

Таблицъ, Богуславъ 323.
Таборскій, Янъ 309.
Тамъ, Карлъ 321. 322. 323.
Тарнскій, Ив. 155.
Терлаичъ 139.
Тиверій 353.
Тиль, І. К. 335.
Ткалацъ, Имбро 161.
Товяньскій 486.
Томашичъ, Никола (Niccolo Tommasco) 158.
Томекъ, В. В. 242. 267.
Тополя, Кириллъ 224.
Трановскій, Юрій 315.
Трембецкій, Станиславъ 430. 432—435.
Трентовскій, Брониславъ 488.
Труберъ, Примусъ 135—136.
Тудижевичъ, Маройе 126.
Тургеневъ 202.
Турзо, Станиславъ 300.
Туринскій, Ф. 335.
Туровскій, Іос. 362.

Унгаръ 322.
Унгнадъ 114. 135.

Устіановичъ 234. 237.
Утѣшеновичъ 149. 162.
Уѣйскій, Корнелій 491.

Фабрицій 353. 354.
Фандли, Юрій 341.
Фелиньскій, Алоизій 455.
Феричъ, Юрій (Гвозденица) 128.
Филаретъ (еп. рижскій) 34.
Финкъ, Ант. 340.
Флаксбиндеръ, Янъ (Дантискъ) 368.
Фойгтъ 322.
Фонъ-Визинъ 191.
Фотиновъ, К. 85.
Франтишекъ 265.
Френцель см. Бранцель.
Фредро, Александръ 455.
Фрицъ, Помагай-Богъ 355.
Фрицъ, Янъ 354. 355.
Фричай, Томашъ 323.
Фричъ, Андрей см. Модржевскій.
Фричъ, Іосифъ 339.
Фрушичъ, Ст. 149.

Хаджичъ І. (Светичъ) 145—147.
Хаджичъ П. 142.
Хвалетицъ (изъ), Вацлавъ 284.
Хельчицкій, Петръ 304—309.
Хидья, Юрій 128.
Ходаковскій, Зоріанъ Доленга 3. 238. 241.
Ходзько, Александръ 478.
Ходзько, Игнатій 489.
Хойецкій Эдм. 242. 488. 489.
Хомяковъ 198.
Храбръ (монахъ) 55.
Христаки-Дупничанинъ 84.

Цамблакъ, Григорій 55. 103.
Цанковъ, Драганъ 50. 86.
Цваръ 359.
Цейнова 8.
Цертелевъ, П. князь 228.
Цтиборъ изъ Цимбурка 301. 302.
Цуццери, Бернардо 125.
Цуццери, Флора см. Зузоричева.
Цѣшковскій, Августъ 489.

Чайковскій, Антонъ 489.
Чайковскій, Михаилъ 488.
Чапекъ, Янъ 292.
Чарнкова (изъ), Янъ 368.
Чевапoвичъ, Гергуръ 129.
Чейковскій 339.
Челяковскій, Фр. Лад. 3. 242. 332—333.
Чернинъ, Германъ графъ 316.
Черноевичъ, Юрій 104.
Чехъ, Николай 297.
Чечотъ, Иванъ 478.
Чойковичъ, Чубръ (псевд.) см. Милутиновичъ.
Чубрановичъ, Андрія 121. 122.
Чуличъ, Матей 128.

Шайноха, 413. 492.
Шаржинскій, Ник. Семпъ 387.
Шафарикъ, Павелъ Іосифъ 3. 8. 10. 14. 33. 34. 79. 92. 102. 109. 118. 133. 213. 242. 252. 255. 326—327. 334. 343. 344.
Шафарикъ, Янко 91. 148.
Шашкевичъ, М. 234. 239.
Шварцъ 194.
Швеаръ 109.
Шевченко, Тарасъ 222. 224. 225—226.
Шейковскій 227.
Шембера, Алоисъ 242.
Шенлебенъ, І. Л. 135.
Шеховичъ, Г. С. 236.
Шимоновичъ, Шимонъ 369. 388. 389—391.
Шиндлеръ 359.
Шишковъ (адмиралъ) 196. 252.
Шлехта, Янъ 300. 303.
Шмитъ, Генрихъ 492.
Шмуцъ 353.
Штемпель 359.
Штернберга (изъ), Игнатій 316.
Штитный, Ѳома 270. 271. 272.
Штульцъ, Вацлавъ 334.
Штурмъ, Вацлавъ 307.
Штуръ, Людевитъ 43. 344—345.
Шуйскій, Іосифъ 492.
Шумавскій, Франта 242.

Эрбенъ, Карлъ Яроміръ 242. 270. 334.

Юкичъ, 50. 91. 164.
Юнгманнъ, Іос. 242. 328—329.
Юричичъ, Юрій 135.

Яблоновскій, Янъ 423—424.
Яблонскій, Болеславъ 334.
Якобъ 354.
Якубекъ см. Стрибрскій.
Якубицъ, Михаилъ 352.
Якубъ 358.
Ямбрежичъ 109.
Янежичъ 133.
Яницкій, Климентъ 369.
Янковичъ 139.
Янова (изъ), Матвѣй 270—271.
Янъ, І. 339.
Янъ изъ Вислицы, см. Вислица.
Япель, Юрій 137.
Ярлохъ 265.
Ярникъ, Урбанъ 137.

Ѳеодосій 211.

[illegible]

Bayerische StaatsBibliothek
Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Pypin, Aleksandr Nikolaevič,

Obzor istorii slavjanskich literatur

S.-Peterburg 1865

Hbost/Au 181
urn:nbn:de:bvb:12-bsb10810510-3